





*граф Эммануил Павлович Беннигсен
с женой
Екатериной Платоновной Охотниковой
1903 г.*

Э.П. Беннигсен

Записки

(1875 – 1917)

I

Москва

Издательство им. Сабашниковых

ММХVIII

УДК [94(47).08:929Беннигсен Э. П.](093.3)
ББК 63.3(2)52-8Беннигсен Э. П.ю14
Б46

*Издано при финансовой поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям в рамках
Федеральной целевой программы «Культура России» (2012 –2018)*

*Составитель А.Г. Римский-Корсаков
Именной указатель С.М. Артюхов
Редактор Л.И. Заковоротная*

Беннигсен, Эммануил Павлович

Б46 Записки (1875 – 1917) / Э.П. Беннигсен. – М.: Издательство им.
Сабашниковых. 2018. – 816 с.: ил.

978-5-8242-0159-8

Граф Эммануил Павлович Беннигсен (1875 – 1955) – праправнук знаменитого генерала Л.Л. Беннигсена, участника покушения на Павла I, командующего русской армией в 1807 г. и сдержавшего натиск Наполеона в сражении при Прейсиш-Эйлау. По-своему оценивая исторические события, связанные с именем прапрадеда, Э.П. Беннигсен большую часть своих «Записок» посвящает собственным воспоминаниям.

В первом томе автор описывает свое детство и юность, службу в Финляндии, Москве и Петербурге. Ему довелось работать на фронтах сначала японской, а затем Первой мировой войн в качестве уполномоченного Красного Креста, с 1907 года избирался в члены III и IV Государственных Дум, состоял во фракции «Союза 17 Октября».

Издание проиллюстрировано редкими фотографиями из личных архивов. Публикуется впервые.

От издательства

Удивительным образом порой переплетается личная, семейная хроника с историей жизни страны и государства. Прапрадед автора публикуемых «Записок» – генерал Леонтий Леонтьевич Беннигсен – известен прежде всего тем, что был одним из участников заговора, результатом которого стало убийство императора Павла I, и 12 марта 1801 года императором стал его сын Александр I.

А двоюродный прапрадед жены автора – кавалергард Алексей Яковлевич Охотников – был тайным возлюбленным супруги Александра I, императрицы Елизаветы Алексеевны. Охотников погиб от раны, нанесенной ему наемным убийцей, подосланным предположительно братом Александра I – в. кн. Константином Павловичем.

Спустя сто лет после этих драматических событий, в мае 1900 года автор «Записок» граф Эммануил Павлович Беннигсен и Екатерина Платоновна Охотникова обвенчались и прожили рука об руку 55 лет. «Мы до сих пор вместе, и ни жена, ни я до сих пор не жалуемся на судьбу, которая нас свела вместе», – пишет в своих воспоминаниях Э. П. Беннигсен.

Исторический отрезок более чем в 150 лет охватывают два тома повествования, в котором соединились семейные предания, собственные воспоминания, русско-японская и Первая мировая войны, две революции и вынужденная эмиграция. Сотни людских судеб запечатлел автор на страницах своих записок, работая в земстве, на государственной службе, уполномоченным Красного Креста, в Государственной Думе 3-го и 4-го созыва, был очевидцем боевых действий в составе Северо-Западной армии Юденича, последних отчаянных попыток свергнуть большевистский режим.

Как и большинство соотечественников, вынужденных покинуть Россию, семья Беннигсенов осталась за пределами родины без средств. Каждый устраивался как мог. Кто-то из офицеров шел служить в Иностранный легион, кто-то, как брат автора Адам Павлович, завербовывался в английскую армию, кто-то пытался начать новое дело. Сам граф, выпускник Училища Правоведения, работал некоторое время бухгалтером в Доме моды Шанель, а когда в конце 30-х в Европе запахло новой войной, решено было перебраться с семьей в Бразилию, в Сан Пауло.

Свои мемуары Э.П. Беннигсен писал в течении многих лет, в частности, в 1930-е годы подолгу работая в Нью-Йоркской Публичной библиотеке, просматривая думские стенограммы, уточняя забытые детали.

О записках графа Э.П. Беннигсена

В 1974 году моя троюродная сестра М.Э. Степаненко (урожд. Беннигсен), пригласила меня посетить ее в Бразилии и помочь разобрать архивы ее покойного отца, графа Эмманула Павловича Беннигсена (1875 – 1955). Он, как и мой отец, Г.А. Римский-Корсаков, приходился внуком Н.Ф. фон Мекк, известной меценатки и корреспондентки композитора П.И. Чайковского, называвшего ее своим лучшим другом. Кроме того, граф, как и многие члены Российских дворянских фамилий, был связан родством или близким знакомством со многими людьми, оставившие свой след в истории. Так жена его, Екатерина Платоновна – внучка известного адмирала Г.И. Невельского, исследователя Амура и Сахалина. А сам граф – праправнук соратника Кутузова, генерала Л.Л. Беннигсена.

К архивам Э.П. Беннигсена проявил интерес Дом-музей П.И. Чайковского в Клину. И благодаря ходатайству Музея перед Министерством культуры разрешение на мой выезд в Бразилию было дано, и в ноябре 1975 года я прибыл в Сан-Пауло.

В архиве М.Э. Степаненко-Беннигсен, кроме различных семейных материалов (писем, фотографий и пр.) оказались и объемные, около 1000 страниц, «Записки» Э.П. Беннигсена, которые и были мне подарены хозяйкой с пожеланием доставить их в Москву для возможного опубликования в будущем. При беглом ознакомлении с текстом, напечатанным на портативной машинке, где почти на каждой странице мелькали фамилии Гучков, Милюков, Юденич, Деникин, имена великих князей и княгинь, стало ясно, что нечего и думать везти эту «крамолу» через советскую границу. Пришлось обратиться в советское консульство, с помощью которого 1-я часть «Записок» была переправлена в СССР в Дом-музей Чайковского, откуда затем она была передана мне. Спустя год 2-ю часть «Записок» на свой страх и риск смогла провезти в Москву и сама Марина Эммануиловна.

«Записки» эти Э.П. Беннигсен начал писать еще до революции, но все им написанное пропало после отъезда из России в 1917 году. Писал он и в эмиграции на протяжении многих лет (сначала в Дании и во Франции, затем в Бразилии). Дочь графа Марина Степаненко отмечала, что прекрасная память и привычка заносить в записные книжки отдельные фамилии и даты, очень помогали ее отцу восстанавливать в памяти многие пережитые события. Кроме того, когда была возможность, он пользовался библиотеками, чтобы уточнить факты, о которых писал. Семейное несчастье – гибель в автокатастрофе в 1933 году старшей дочери, привела его в США. Долгая бюрократическая процедура оформления

наследства, с судами и тяжбами, задержала графа в Нью-Йорке на год с лишним. Но деятельный граф времени даром не терял и каждую свободную минуту пропадал в Публичной Библиотеке. В ее славянском отделе, насчитывавшем около 80 тысяч книг на русском языке, граф мог читать как все дореволюционное, так и самое свежее, вышедшее в Советской России. «Лично я интересовался в библиотеке разными историческими вопросами и, в частности, теми, в которых принимали участие представители нашего рода и других, связанных с ним», – вспоминал позднее граф. И в одном из каждодневных писем-отчетах, какие писал он жене в Канн, он отмечал: «Опять обычный день – адвокат, потом библиотека. В последней я просматриваю думские стенографические отчеты и вспоминаю по ним сцены, совершенно теперь забытые. Интересно пересчитать, что я тогда говорил. В общем, мне кажется и теперь, что я тогда был прав и, кроме того, у меня остается впечатление, что то, что я говорил, было дельно и сказано, во всяком случае, гладко».

В 30-е годы в Европе и Америке вряд ли могли читать труды Ленина, в огромном количестве экземпляров издаваемые в СССР. А значит Э.П. Беннигсен так и не узнал, будучи в эмиграции, что вождь мирового пролетариата в свое время очень его недолюбливал в качестве «думца-октябриста», и не раз саркастически писал о деяниях графа-помещика в своих статьях. Впрочем, и Ленин никогда не узнал, что вскоре его ненавистник оказался среди тех, кто откликнулся на призыв генерала Юденича идти на Петроград в 1918 году, против него, Ленина.

Нет сомнения, что это «нью-йоркское сидение» в библиотеке очень помогло графу в написании собственных воспоминаний о давно прошедшем. Все, чем здесь напиталась его память, выливалось позже в обширное повествование о дореволюционной жизни в России, изобилующей самыми неожиданными поворотами.

Для сегодняшнего россиянина фамилия Беннигсен мало что скажет. А для советских историков эта фамилия всегда была связана с прапрадедом автора, генералом Л.А. Беннигсеном, который характеризовался ими самыми нелестными эпитетами: интриган, взяточник, бездарность и пр. Это повелось еще с Льва Толстого, с романа «Война и мир». Возможно, что всему виной была немецкая фамилия. В своих мемуарах автор пытается дать более справедливую оценку своему прапрадеду, отдавшему почти полвека служению России. Автор подробно останавливается на деяниях людей своего круга, прослеживает судьбы своих именитых родственников, дает характеристики государственных и военных деятелей. В первой части «Записок» подробно описано его детство и юность, затем – пребывание в стенах Императорского Училища Правоведения, государственная служба в Москве и Петербурге, а также в Новгороде и Старой Руссе. Большая часть «Записок» посвящена работе на фронтах сначала японской, а затем Первой мировой войн в качестве уполномоченного Красного Креста и, конечно, работе в III и IV Государственных Думах. Вторая часть – жизнь и деятельность автора и всей русской эми-

грации в Дании, во Франции, а затем и в Бразилии. «Записки» охватывают период с 1880-х годов по 1955 год. Все эти периоды жизни автора, отраженные в «Записках», изобилуют малоизвестными подробностями и интереснейшими деталями и штрихами к портретам современников автора. Всего в «Записках» насчитывается около 4-х тысяч имен людей самых разных сословий и профессий, среди которых и люди, наделенные властью, и члены семей Дома Романовых, и крупные военачальники, и деятели культуры.

Мне известно, что один экземпляр «Записок» их автор переслал в США вдове генерала Деникина, которая собирала такие материалы от русских эмигрантов. Отдельные выдержки из «Записок» были мною опубликованы в книге «П.И. Чайковский – Н.Ф. фон Мекк. Переписка» (том I, изд. 2007 г., Челябинск), в главе «Из семейного архива». Фрагменты «Записок» (о 1917 годе) публиковались в журнале «Возрождение» (Париж), 1954. №33.

Свыше сорока лет пролежали эти воспоминания в наших семейных архивах, но теперь мы имеем возможность без купюр и идеологических шор ознакомиться с судьбой незаурядного человека, свидетеля и прямого участника многих судьбоносных для России и для эмиграции событий.

*Андрей Георгиевич Римский-Корсаков
Москва, 2018 г.*

Пояснение

Еще в 1906 г. начал я писать мои записки и довел их тогда, насколько мне припоминается, до лета этого года. Затем избрание меня в гласные СПб-й Городской Думы и в члены 3-й Государственной Думы отвлекли меня от подробных записей о моем времяпрепровождении, и я делал только краткие ежедневные отметки о том, где я был и что делал. Как эти записные книжки, начатые в 1905 году, так и мои первоначальные записки остались в России, и что с ними случилось, я не знаю.

Затем еще в Дании, в 1918 г., я написал записки о революционных днях, и в Париже, вскоре после 1920 года, о моей работе в Северо-Западной Армии. Для последних я использовал в значительной степени мои письма жене. Затем в Париже, уже в 1926-1927 годах, написал я записки сперва о моем детстве, учебных годах и службе до 1907 г. Период 1907-1917, когда я был членом Государственной Думы, я тогда пропустил, ибо события Думской жизни я затруднился точно распределить по годам, и только в 1933-1934 годах, будучи в Нью-Йорке, нашел в «Паблик Лайбрани» стенографические отчеты Гос. Думы, послужившие мне основой для записок о Думе.

Все эти отдельные части моих воспоминаний я пересмотрел в 1947-1948 гг., кое-что к ним добавил, кое-что исправил и кое-что согласовал, но в основе первоначальный текст остался неизменным. Изменил я кое-где и мою оценку событий, ибо ясно, что, принимая известное участие в их развитии, я не мог не смотреть на них иначе, чем теперь, когда меня от них отделяет от 50 до 30 лет. Кое-что, что тогда казалось важным, теперь вызывает только улыбку, и наоборот, теперь видишь, что известные, по тогдашнему суждению, мелочи породили позднее важнейшие события. Возможно, конечно, что и настоящие мои оценки далекого уже сейчас прошлого, окажутся ошибочными, но, во всяком случае, излагая прошлое, я старался не поддаваться посторонним влияниям (главным образом, печати того или другого лагеря), а сохранять независимость их оценок, как это не является подчас трудным.

Введение

Уже более полувека тому назад началась моя так тогда называемая «государственная и общественная деятельность», так что сейчас я являюсь одним из сравнительно немногих оставшихся в живых осколков того «потонувшего мира», от которого мало что сейчас сохранилось. Ушел он в прошлое не только внешне, но ушла с ним и его психология и его понимание жизни, и ныне многое в нем кажется странным, а подчас или смешным или преступным. Между тем, многое из этого, может быть, если не оправдано (чем я и не собираюсь заниматься), то понятно, если обратить внимание на постепенное развитие русской жизни и всего ее прежнего политического и экономического уклада. Между тем, если период до царствования Александра III более или менее освещен различными материалами и в числе их многочисленными воспоминаниями современников, то последние 40 лет империи обрисованы пока лишь по официальным данным, неизбежно оставляющим в тени ту духовную подкладку событий, которая подчас более всего интересна для понимания происшедшего. Поэтому мне казалось, что и мои воспоминания могут быть интересны для будущего историка нашей родины, как человека, в течение ряда лет стоявшего вблизи от власти. Мне не пришлось занимать видных ответственных постов, но наблюдать нашу общественную жизнь, вплоть до ее верхов, я мог с юншества, и позволяю себе думать, что кое-что из этих наблюдений будет небесполезно передать.

Я предвижу, что кое-что из моих заметок покажется сейчас не только странным, но даже непонятным – настолько радикальна перемена всего строя жизни в России. Прекрасно сознаю я также, что мой подход к тем или иным событиям будет иным, чем тот, в котором выросло настоящее поколение русских людей как в самой России, так и в эмиграции. Но если этим запискам доведется когда-нибудь увидеть свет, пусть мои читатели учтут, что я жил и работал в обстановке совершенно других идей, чем они. Пусть поверят они также, что пишу я не для того, чтобы подлаживаться под те или иные взгляды, чтобы обвинять или оправдывать кого-либо: целью моей является лишь рассказать то, что я видел или слышал, а насколько удачно я это сделал, судить, конечно, не мне.

1946 г. Граф Эм. Беннигсен
г. Сан-Пауло,
Бразилия

Детство и немного истории

Когда я читал пресловутый «Mein Kampf» Гитлера, мне всегда казалось, что мои родители могли бы служить ярким опровержением националистических теорий «фюрера»: в жилах отца моего не текло ни капли русской крови, а в материнских ее была только половина, однако они были исключительно русскими людьми, ничего чужестранного в себе не сохранившими. И нас, детей своих, они воспитывали в том же духе, так что служение родине явилось для нас первым нашим долгом, в чем мы, впрочем, только разделяли общее всем русским убеждение.

Род наш до XIX века был почти исключительно военным, да и позднее не военные были в нем в меньшинстве, так что не удивительно, что не менее четверти взрослых его представителей за шесть с половиной веков существования рода сложили свои головы в боях в самых разнообразных странах света. Хотя род наш и был с 1311 г. дворянским, но богатым не был, и чтобы жить, надо было служить, а служба была в те времена только военная и то больше вне Германии. Таким образом, и мой прапрадед Левин Беннигсен, в виду затруднительного материального положения перешел в 1773 г. на русскую военную службу. Пробыл он на ней 45 лет, но, как сказано в его послужном списке, русского подданства никогда принимать не пожелал. Вообще, в смысле национальном его личность, несомненно, курьезна: немец по происхождению, он был, как ганноверец, подданным английского короля, большую часть своей жизни пробыл в России, но говорил и писал всегда по-французски.

Начал он службу пажом при Ганноверском дворе, 13-ти лет был офицером и сражался в Семилетней войне, попав вскоре в плен. После войны он женился и вышел в отставку. Овдовев и денежно запутавшись, прапрадед отправился в Россию и вскоре женился в Москве на дочери аптекаря Мейера, умершей после первых же родов, оставив сына Адама, моего прадеда. После этого прапрадед, переименованный в России в Леонтия Леонтьевича, был женат два раза – на немке графине Швихельт, которую он похитил во время отпуска в Германии и увез в Россию, где она умерла через несколько лет, тоже, по-видимому, в родах, и наконец, в последний раз, уже почти 60-ти лет, на польке Анджейкович, которая была уже невестой его сына и которую он перебил у него. По семейным преданиям все его жены были красавицами, а относительно Анджейкович это подтверждается и печатными указаниями.

Прапрадед был очень высокого роста (Денис Давыдов в своих воспоминаниях говорит, что он возвышался, как знамя над рядами) и красив. У Ермолова в его записках есть указание, что Беннигсен был «лично известен Екатерине II», сделанное в форме, позволяющей предполагать, что он был в числе ее мимолетных фаворитов, но подтверждения этому не невозможному факту я нигде не нашел. Во всяком случае, его военной карьере это не помогло, и через 15 лет службы, начатой в России майором, он был еще только полковником. У Воейкова есть указание, что, когда Суворов был командирован против Пугачева, в числе взятых им с собою офицеров, был и Беннигсен, но и этому других подтверждений нет.

В периоды, когда он бывал в Москве, он принимал участие в масонских ложах и, по-видимому, к нему относится указание у Пыпина на майора Беннигсена, открывшего в Москве по полномочию великого мастера шотландских лож великого герцога Брауншвейгского русскую Великую ложу этого ордена.

Во вторую турецкую войну Екатерины он был командиром Изюмского гусарского полка, в полковой песне которого он остался в числе других командиров как «...и Беннигсен, судьбой хранимый для битв иных, в стране иной». С полком он принимал участие в штурме Очакова. Все это, однако, была служба рядовая, как и участие с полком, но уже в чине бригадира, в Польской кампании 1791 г. Надо сказать, что вся армия генерал-аншефа Кречетникова, в которой был тогда и Изюмский полк, потеряла за всю эту кампанию всего что-то около 100 человек. В частности, Изюмский полк принимал участие в осаде Несвижа. Полякам сразу предложили сдаться, однако сдача были принята только после того, как замок был подвергнут бомбардировке, правда, по-видимому, несерьезной.

Самостоятельная деятельность Беннигсена началась только в 1794 г. во время военных действий против поляков, приведших к 3-му разделу Польши. На его долю выпала борьба против них в Литве, где в ряде сражений под Зельвой, Олитой и Вильной он одержал блестящие победы, по представлению Суворова был произведен в генерал-майоры и награжден новым тогда орденом Георгия 3-й степени. Сверх того он получил 2.000 душ из конфискованных тогда владений Виленского епископа. Во время этой войны ему пришлось сражаться совместно с Валерианом Zubовым, братом фаворита и мужем «Суворочки», а после нее он оказался в подчинении у Палена: таким образом уже тогда оказались соединенными на полях сражения трое из четырех главных дея-

телей заговора против Павла I. В 1794-1795 гг. Беннигсен охранял новую границу с Пруссией со стороны, с которой в Петербурге опасались нападения немцев, впрочем, судя по донесениям Беннигсена, без оснований, что и подтвердилось.

В Персидском походе 1796 г. Беннигсен был одним из подчиненных В. Зубова, командуя кавалерийской бригадой. В военном отношении этот поход интереса не представляет. Довольно быстро войска Зубова дошли до Персидского Азербайджана, но здесь застряли из-за отсутствия продовольствия и фуража, а также воды. Развились болезни, лошади стали падать, и, вероятно, отряду пришлось бы вернуться, даже если бы не пришло распоряжение об отходе в пределы России от нового императора Павла I.

Первоначально отношение этого последнего к Беннигсену было благоприятным. Он был произведен в генерал-лейтенанты и получил благодарность за блестящий смотр подчиненных ему частей, но уже в 1798 г. был отставлен от службы и выслан в свои поместья. По-видимому, причиной этого были его добрые отношения с Зубовыми, ибо, когда вскоре после этого генерал Ласси формировал корпус, который Суворов повел в Италию, и наметил Беннигсена для командования в нем одной из дивизий, то получил за это строгий выговор от Павла со ссылкой в этот раз именно на связи с Зубовыми.

История заговора 11 марта 1801 г., казалось бы, достаточно известна, и как раз одна из немногих сохранившихся частей записок Беннигсена говорит об этом событии, однако, кое-что остается в ней недоговоренным. Например, известно, что группа заговорщиков под командой Палена значительно запоздала на пути с Миллионной до Инженерного Замка, что по семейным рассказам объясняется тем, что Пален якобы продолжал играть свою двойственную роль и рассчитывал в случае неудачи группы Беннигсена явиться спасителем Павла. Можно ли, однако, доверяться таким рассказам? Мне пришлось, например, слышать еще от отца, что после убийства Павла Беннигсен пошел предупредить о нем императрицу Марию Федоровну, которая пожелала пойти сразу к телу мужа. Опасаясь, что она сможет поднять против заговорщиков караул (у солдат отнюдь не было против Павла того озлобления, которое существовало у офицеров), Беннигсен не пустил ее туда, на что она ему сказала: «Je ne vous l'oublierai jamais»*. Этим мелким событием в семье объясняли позднейшее враждебное отношение государыни к Беннигсену, которое она передала и сыну

* Я вам этого никогда не забуду (фр.).

Николаю. Однако, в 1807 г., когда после Эйлау шли разговоры о смене Беннигсена, в числе его защитников едва ли не первой явилась Мария Федоровна. Пример того, что семейные предания не всегда отвечают действительности.

На войну 1806 г. Беннигсен пошел корпусным командиром, и стал главнокомандующим в декабре, когда выяснилось, что Каменский окончательно впал в детство. Положение армии было очень тяжелым: бросая армию, Каменский не оставил заместителя, отдав лишь приказание корпусам отступать в пределы империи. При отходе армия потеряла в грязи немало обозов и орудий и, главное, у нее не было продовольствия. Вся война прошла на прусской территории и, согласно договору с пруссаками, продовольствие должно было быть заготовлено ими. Это, однако, выполнено не было, и Беннигсену пришлось в первую очередь заняться добыванием не только продовольствия, но и фуража. В этом ему помог его тесть Анджейкович, председатель Виленской палаты гражданского суда, а поставщиками явились местные евреи, которые вообще в то время сосредоточивали в своих руках в этой местности все торговые операции. Несмотря на все затруднения, уже в середине марта снабжение армии было налажено, но именно к этому периоду относится обвинение прапрадеда в нечестности. Единственное, однако, указание на это я нашел в письме князя Куракина Марии Федоровне, и потому меня удивила фраза профессора Тарле о Беннигсене, как об «известном взяточнике».

Беннигсен, несомненно, был плохим хозяином, не любил этих дел и лично большей частью жил выше средств. 2.000 душ, пожалованных ему Екатериной, были очень крупным состоянием (недаром позднее Писемский дал одному из своих романов название «Тысяча душ», обозначив им провинциального богача), но хватило ему только до 1812 г. Ему принадлежало еще тогда последнее из этих имений Закрет, позднее одно из предместий Вильно, в котором дан был известный бал, на котором Александр I узнал о вторжении Наполеона. Как раз в эти дни, во время посещения императором Беннигсена, к Александру подошел его маленький крестник Левин-Александр, сын генерала, и произнес заученную им фразу: «Крестный, возьми Закрет в казну». Действительно, как говорил мне отец, вскоре это и было сделано. Таким образом, Беннигсена, казалось бы, можно было бы обвинять в бесхозяйственности, но не в злоупотреблениях. Как раз к войне 1806-1807 гг. относится фраза Дениса Давыдова в его «Записках», подчеркивающая честность Беннигсена. Еще раньше про его честность говорит Бакунина, жена командира Нижегородского драгунско-

го полка, входившего в бригаду Беннигсена. Она сопровождала мужа в Персидском походе, и говорит о Беннигсене вообще очень хвалебно, подчеркивая его честность, но признавая его несамостоятельность пред Валерианом Зубовым.

В феврале 1807 г. в армию прибыл Попов, знаменитый помощник Потемкина по хозяйственным делам, дабы наладить ее снабжение, но в это время главное уже было сделано.

Битва под Прейсиш-Эйлау была первым не выигранным сражением Наполеона, и вечером после нее в штабе Беннигсена произошли горячие прения, продолжать ли бой на следующий день или отойти. Во время споров Беннигсен и его начальник штаба Кнорринг были готовы броситься друг на друга со шпагами в руках. Надо сказать, что уже в это время Беннигсен, сам немец, разошелся с так называемой «немецкой» партией генералов; они были балтийцы, и он, как ганноверец, оказался среди них нежелательным пришельцем. Беннигсен не решился продолжать боя под Эйлау и отошел, что, по-видимому, было ошибкой и вызвало жалобы царю его противников. Беннигсен послал тогда в Петербург Багратиона, бывшего – и тогда, и позднее – его сторонником. Говорю это, ибо летом 1812 г. великая княгиня Екатерина Павловна, бывшая любовницей Багратиона, отстаивала в своих письмах Александру назначение Беннигсена главнокомандующим, чего, вероятно, не было бы, если бы Багратион относился к нему критически.

Весной 1807 г. армия Наполеона оказалась почти вдвое многочисленнее русской, и Беннигсену пришлось избегать решительных боев. Притом и здоровье его в это время было плохо, и он еще в конце зимы просил об увольнении его от командования армией, что, однако исполнено не было. Во время удачного боя под Гейльсбергом у него сделался припадок почечных камней, и он часть боя пролежал под деревом в обмороке. Прохождение камней было у него ночью и утром в день Фридландского сражения, начавшегося после полудня, когда он еще лежал. В самом начале боя одним ядром были контужены начальник штаба Эссен и генерал-квартирмейстер армии Штейнгель, и, как говорит Ермолов, армия в этот день была без командования. На следующий день Беннигсен донес, что армия более неспособна продолжать войну, недооценив способность русских войск быстро оправляться после самых тяжелых боев, а когда через несколько дней он донес, что армия вновь боеспособна, Александр уже решил заключить мир.

После Тильзита Беннигсен жил до 1812 г. в Закрете в полуопале, и в это время сблизился с Кутузовым, тоже тогда опаль-

ным Виленским генерал-губернатором. Добрые их отношения продолжались до оставления Москвы; и еще в день Бородинского сражения Кутузов в письме жене шлет привет «Марии Фадеевне» (жене Беннигсена) и дает ей сведения о ее муже.

Есть сведения, со слов Барклая, что в Вильне Александр предлагал Беннигсену быть главнокомандующим, но тот отказался, считая, что в такой войне немцу неудобно быть во главе русской армии. (Отмечу еще, что в своей переписке с Александром великая княгиня Екатерина Павловна летом 1812 г. признаёт, что Беннигсен является лучшим кандидатом в главнокомандующие, но не подходит из-за немецкой фамилии). Трудно судить теперь о мыслях тех, кто жил полтора-два года тому назад, но мне кажется, что у Беннигсена была надежда, что Александр примет на себя командование армией и возьмет его к себе начальником штаба. Александр, однако, не решился после Аустерлицкого прецедента взять на себя ответственность личного командования, а Беннигсена назначил только «состоять при особе Его Величества», на эту, специально для него созданную должность. В ней он и состоял все это время, но лишь номинально, будучи назначен Кутузовым начальником его штаба. По-видимому, у него были в это время плохие отношения с Барклаем, который ряд лет был его подчиненным в Изюмском полку и которого он осуждал за отсутствие инициативы.

Серьезные разногласия у него начались с Кутузовым, по-видимому, с военного совета в Филях; несомненно, Кутузов был прав, хотя, быть может, и преувеличивал неспособность тогдашних наших генералов производить сложные маневры, вроде предлагавшегося тогда Беннигсеном. Несомненно также, что дисциплина в командном составе армии была тогда недостаточно сильна, и интриги в армии были очень развиты. В этом, однако, виноват был сам Александр, никогда никому полностью не доверявший и, в частности, назначивший Кутузова вопреки собственному своему желанию. Весьма вероятно, что как в 1807 г. Толстой должен был следить за Беннигсеном, также в 1812 г. Беннигсену было поручено следить за Кутузовым. Курьезно, что именно в это время в армии развились особые национальные партии, главным образом немецкая (именно тогда Ермолов просил якобы Александра пожаловать его в немцы), а Беннигсен считался якобы главою польской партии, хотя ни одного видного поляка в армии не было. Отношения между обоими генералами испортились, однако, окончательно лишь после Тарутинского боя, имевшего лишь частичный успех, что Кутузов приписывал сложности плана Бен-

нигсена, а этот – тому, что Кутузов преждевременно прекратил бой.

Из Красного Кутузов выслал Беннигсена из армии, но сразу после смерти главнокомандующего этот подучил командование «Польской», или резервной армией, с которой он и участвовал в кампаниях 1813 и 1814 гг., после чего еще командовал, живя в Тульчине, 2-й армией. Будучи уже стариком и начав дряхлеть, он, по-видимому, распустил армию, что вызвало командирование в нее для ревизии известного тогда генерала Киселева, который, однако, нашел рассказ о беспорядках в армии преувеличенными.

В 1818 г. Беннигсен ушел в отставку и вернулся в Ганновер, где и жил на пенсии. В это время Киселев узнал, что Беннигсен оставил в Тульчине вексель на 30.000 рублей какому-то еврею, поставщику армии, о чем и сообщил в письмах Закревскому, ставя это генералу в укор. Одобрить этого, конечно, нельзя, хотя мой отец объяснял это тем, что вообще в эти годы прапрадед, уже начавший слепнуть, был под влиянием своей последней жены, которая вообще в семье оставила неблагоприятные о себе воспоминания. Могу, однако, привести в оправдание прапрадеда еще один рассказ, как иллюстрацию того, что если берут взятки, то документов об этом не оставляют. Уже в эмиграции из семьи потомков Морозовых мне пришлось слышать, как сто лет тому назад в отсутствии основателя этой фирмы к его жене приехала в Москве просить 5.000 р. на благотворительность графиня Нессельроде, дочь тогдашнего генерал-губернатора Закревского; деньги эти и были ей выданы. А вскоре потом вернулся Морозов и сразу спросил, выдала ли Нессельроде расписку, и, узнав, что да, воскликнул: «Эх, беда, придется, значит, еще другие 5000 отвезти».

Еще в Тульчине Беннигсен написал свои записки, которые и читал там многим, в том числе военному историку Михайловскому-Данилевскому, нашедшему их очень интересными и верными. Когда в 1826 г. прапрадед умер, к вдове его приехал посланник наш в Гамбурге Струве и потребовал выдачи ему этих мемуаров под угрозой прекращения пенсии. Наскоро дочери прапрадеда успели переписать несколько отрывков (о заговоре против Павла и о Персидском походе), но через несколько дней записки были переданы, и с тех пор след их пропал. Позднее великий князь Николай Михайлович, написавший ряд книг об эпохе Александра I, говорил моему брату Георгию, что он тщетно искал их в разных архивах, и думает, что они попали в число документов о смерти Павла и других, уничтоженных Николаем I в немалом количестве по настоянию Марии Федоровны. Тогда же Николай Михайлович

рассказал брату, что он видел первоначальный проект постановки памятников Кутузову и Барклаю, рядом с которыми предполагалось поставить 3-й, Беннигсену. Однако Николай его исключил, ввиду участия Беннигсена в заговоре 1801 г.

Отмечу, что вообще отношения к прапрадеду в те времена были иными, чем позднее. Кроме уже приведенных отзывов Дениса Давыдова и Бакуниной о нем, в общем, положительных, а также Ермолова, и факта поддержки его Багратионом, укажу еще на письма Дохтурова к жене в 1812 г., определенно стоявшего на стороне Беннигсена против Кутузова. Правда, в 1814 г. Дохтуров отмечает, что Беннигсен одряхлел и не желает рисковать штурмом осаждавшегося им Гамбурга. Про дряхлость Беннигсена, как и Кутузова, но уже в 1812 г., писал тогда жене и Раевский. Первые отрицательные суждения о Беннигсене появились только после 1870 г. в статьях Попова о войне 1812 г. По-видимому, Л. Толстой позаимствовал кое-что о прапрадеде именно у этого автора, а также у состоявшего при русской армии австрийского генерала Кроссара, довольно курьезно приписывавшего себе чуть ли не все блестящие идеи русских генералов этого года. Кроссар, кажется, пустил в оборот и фразу, приписываемую Беннигсену в Филях о необходимости защиты Москвы, как «священной столицы» России – конечно, странной со стороны не православного и не русского по рождению.

Мое общее впечатление о личности прапрадеда, сопоставляя в частности то, что я знаю о нем, с тем, что известно о его потомках, вплоть до моего отца, несомненно унаследовавших многие его черты – это то, что он был человеком, по существу, мягким, но очень горячим. Лично очень храбрый и спокойный в опасности, он не был способен поддерживать строгую дисциплину среди подчиненных, что проявилось и в 1806-1807 гг., и в период командования им 2-й армией. Его разногласия с Кутузовым, принявшие такой резкий характер, оказались возможными благодаря тому недоверчивому отношению, которое вообще установилось у Александра I к главнокомандующим, и двойственному характеру царя. Кроме того, не надо забывать, что за редкими исключениями весь генералитет осуждал тогда осторожность Кутузова.

Попутно укажу тут, что современные порицания Александра за то, что он не остановил армии на границе России, как это советовал Кутузов, а продолжал войну до занятия Парижа, мне кажется психологически неправильными. Уже после Тильзита Александра сильно порицали за его сближение с Наполеоном, и не только, как говорят теперь подчас, под влиянием английской пропаганды

и из-за частичного распространения на Россию «континентальной блокады». В 1812 г. после сожжения Москвы, приписывавшегося тогда единодушно французам, и других разрушений в стране, ожесточение против Наполеона было очень сильным. Ведь многие искренне считали его даже за антихриста. Мог ли тогда Александр, даже если бы этого хотел, не продолжать войну? Мне кажется, что нет, да и по существу, хотя и в меньших размерах, положение мало отличалось от 1944 г., когда немцы были изгнаны из СССР. Остановись Александр на границе, Германия осталась бы под властью Наполеона, и считать, что он перестал бы быть опасным для России, едва ли было бы возможным. Мне кажется, что психологическое отношение к Наполеону было тогда приблизительно таким же, что позднее было к Гитлеру, и не учитывать этого теперь нельзя. Русская армия дралась против французов в 1799, 1805, 1806-1807 и 1812 гг.; были в этой борьбе блестящие победы, но и тяжелые поражения, и французы стали традиционным врагом, не добить которого после 1812 г. было невозможно. Немцы в то время были ничтожеством, с которым никто не считался, и предвидеть, что они в результате ряда политических ошибок следующих поколений станут сильнейшей военной державой всего мира, опасной для России, никто тогда не мог...

После того, что прапрадед отбил у сына Адама его невесту, отношения между ними остались, по-видимому, холодными. Прадед (Адам) женился через несколько лет на подруге своей мачехи, тоже польке – Шимборской, женщине властной и неприятной, всецело подчинившей себе мужа. (В виду несогласия отца, женился он под материнской фамилией Мейер, и только позднее по особому Высочайшему повелению в метрические книги было внесено соответствующее исправление).

Жили они перед 1812 г. в Царском Селе, где прадед командовал, тогда в чине полковника, одним из эскадронов Лейб-гвардии Гусарского полка. Когда началась война, полк был сразу отправлен в армию, но эскадрон прадеда Адама остался по жребию в Царском в качестве резервного. Однако в то время как полк во время войны крупным ничем себя не проявил, эскадрон прадеда был вскоре вместе с другими резервными эскадронами отправлен в корпус Витгенштейна, защищавший подступы к Петербургу. Здесь прадед сражался под начальством Кульнева и получил «золотое оружие» (награда, позднее переименованная в Георгиевское оружие). Осенью 1812 г. он был командирован формировать новый гусарский полк, с которым принял участие в войнах 1813 и 1814 гг. Под Лейпцигом, командуя фактически бригадой, он опро-

кинул французскую кавалерийскую колонну, был потом сам опрокинут ее подкреплениями, но, устроив свои эскадроны, вновь и окончательно опрокинул французов. Картина эта, которую я нашел в донесениях о сражении, сейчас кажется несколько странной, но в то время была нормальной для кавалерийских боев. За Лейпциг прадед Адам Беннигсен получил Георгия 4-й степени и затем повел бригаду во Францию. Уже в эмиграции я слышал рассказ одного француза, что его предок-офицер лежал раненый на поле одного из многочисленных сражений этой кампании и делал масонский «знак вдовы», обозначавший призыв к помощи. Его увидел якобы русский бригадный генерал Беннигсен, тоже масон, и оказал ему действительно «братскую» помощь. По возвращении в Россию прадед продолжал службу в лейб-гусарах, но уже в 1817 г., генерал-майором, по болезни ушел в отставку, и вскоре умер. Четверо его малолетних сыновей были отданы по распоряжению Александра I на казенный счет, по двое – в Александровский Лицей и Пажеский корпус. Из них кончил учение в этих заведениях только старший, Карл, пошедший, однако, из Лицея, как и многие его товарищи, на военную службу. Мой дед, Александр, был позднее лесничим в Гродненской губернии, и умер молодым от тифа, а двое младших были офицерами. Умерли они тоже молодыми, один, как рассказывали, был талантливый поэт, но спился, что нередко бывало тогда в офицерской среде*, а другой погиб, свернув себе, зевая, челюсть; дело было в какой-то глуши, вправить челюсть никто не сумел, у него распухло горло, и он умер от голода.

Пока мой дед и его братья еще учились, умер в Ганновере в 1826 г. прапрадед Леонтий Леонтьевич, совершенно слепым. Последние годы он гулял в аллее своего имения, держась за протянутую по деревьям веревку. После него осталось завещание, по которому он все оставил младшему сыну, обязав его лишь выплачивать внукам от старшего сына ничтожные ежегодные пособия. Отец рассказывал потом, что утверждали, что это завещание было подсунуто на подпись слепому прапрадеду его женой, вместо другого, продиктованного им и распределявшего наследство между всеми потомками. Надо, впрочем, сказать, что кроме родовых земель и пенсии он ничего после себя не оставил.

Про вдову прапрадеда, приехавшую в Ганновер 35-тилетней красивой женой 75-летнего слепого старика, говорили, что она была любовницей вице-короля ганноверского, герцога Кем-

* Уже в эмиграции я недавно услышал, что он был за что-то разжалован в солдаты, позднее женился и оставил потомство. В семье, однако, никогда про такой случай не говорили.

бриджского, брата короля Георга IV английского, что само по себе не похвально, но в те времена расценивалось значительно снисходительнее, чем ныне. У нее было два брата, один из которых был Варшавским губернатором, а другой флигель-адъютантом Александра I, звание для военного лестное и в то время редкое и данное ему, очевидно, из внимания к прапрадеду. В конце царствования Александра он был произведен в генералы и назначен командиром гренадерской бригады, но подал как раз в это время рапорт о разрешении ему продолжительного отпуска для устройства дел слепого моего прапрадеда, на что ему был дан характерный ответ царя: «Объявить Андржейковичу, чтобы выбирал или службу мне, или частные дела». Видимо, он выбрал службу, ибо принимал участие генералом в Турецкой войне 1828-1829 гг.

Мой дед, Александр Адамович, женился на польке и католичке, хотя и русской по фамилии, Суровцевой. Ее отец, артиллерийский полковник, умерший, когда ей было всего несколько лет, был женат на польке баронессе Шиллинг фон Капштадт, и их единственная дочь, выросшая в Западном крае, мало что имела в себе русского. Я помню бабушку уже 70-летней старушкой, маленькой и толстой. Была она большой доброты, и все ее любили, но, насколько я могу судить, она не обладала большой волей. После смерти деда она осталась без средств с двумя маленькими детьми и сравнительно скоро согласилась выйти вновь замуж за брата деда, Карла Адамовича, который как раз в это время, после 20 лет службы в Лейб-гвардии Драгунском полку, получил в командование Литовский Уланский полк. Как-то позднее, когда бабушке было уже больше 90 лет и она уже больше не вставала с постели, я сидел около ее кровати, и заговорили мы о моем дяде Иосифе, ее сыне от второго брака, о странностях которого я скажу после, и она, быть может, не сознавая хорошо моего присутствия, сказала, что дядя явился для нее наказанием Божьим за второй брак. «Но что ж мне было делать, чтобы дети не умерли с голода».

В начале Крымской войны Литовский полк пошел в Румынию, и бабушка вместе с детьми провожала мужа до границы. К этому времени относятся первые интересные воспоминания отца. Помнил он, как в Бессарабии эскадроны разлетелись по степи, испуганные гонимыми ветром шарами перекаати-поля, видел целые стада дроф, и рассказал мне и про один тяжелый эпизод. Как-то Карл Адамович пересел в коляску бабушки и увидел в это время прячущегося в кустах около дороги солдата. Вестовой его привел и оказалось, что это был дезертир, которого было приказано отвести в эскадрон, и было добавлено «двести», т.е. розог. Карл Ада-

мович считался мягким командиром, и такое наказание считалось не строгим, но у отца эта сцена осталась в памяти на всю жизнь.

Литовский полк принимал участие в боях под Силистрией, и Карл Адамович получил за них «золотое оружие» (в котором, кстати, ничего золотого, кроме названия, не было). Георгиевский крест у него уже был за 25 лет службы. Когда началась война в Крыму и Дунайская армия вернулась в пределы России, Литовский полк был поставлен на охрану участка побережья около Одессы. Бабушка поселилась в этом городе, и отец помнит панику, вызванную бомбардировкой его английской эскадрой, во время которой отличилась батарея Щеголева. Сенсацией явилось взятие кавалерией английского судна «Тигр», севшего на мель около Одессы, во взятии которого принимал участие и Литовский полк.

Отец передавал мне, что в армии было сильное возмущение командующим ею князем Горчаковым, уже слишком старым для этого поста. Помню из его рассказов, что у князя был попугай, который в Севастополе, где Горчаков заменил Меншикова, после каждого артиллерийского выстрела, кричал «бум!». Утверждали, что будто бы после попугая это «бум» повторял аккуратно и Горчаков.

После войны Литовский полк стоял в районе Курска, и отец мне больше всего рассказывал про эти годы. По обычаю того времени у полкового командира был открытый стол для всех офицеров полка, а у эскадронных – для подчиненных им младших офицеров. Были у командиров и другие обязательные расходы, покрывавшиеся так называемыми «безгрешными» доходами. Эскадронные командиры получали деньги на продовольствие солдат и прокормление лошадей по так называемым «справочным ценам», которые всегда бывали выше действительных, и, таким образом, даже у вполне честных командиров оставалась экономия, увеличивавшаяся значительно у военных, злоупотреблявших своим положением. Полковые командиры в свою очередь получали деньги на обмундирование солдат, от чего тоже оставалась экономия. Считалось, что она больше всего в драгунских полках с их скромным обмундированием, затем шли гусарские, и наиболее дорого было обмундирование улан. При некоторой нещепетильности экономия могла быть очень крупной, и часто кавалерийские полки давались прожившимся гвардейским офицерам для покрытия долгов. Отец говорил про какого-то гвардейца, командовавшего в той же дивизии гусарами (фамилии его не помню), быстро покрывшего долги, но выгнанного со службы за злоупотребления после первого же высочайшего смотра.

Отчим отца, Карл Адамович, вскоре после войны был произведен в генерал-майоры и назначен помощником начальника дивизии, как тогда именовались бригадные командиры. Определенных функций у них не было, и в действительности все три генерала командовали дивизией поочередно, по четыре месяца в году. Штаб дивизии (кажется 13-й) стоял в Твери и командовал ею барон Каульбарс, с двумя старшими сыновьями которого, позднее известными генералами, у отца осталась дружба на всю жизнь. Оба они были люди очень порядочные, но с некоторыми странностями, особенно старший, Николай.

Из Твери вся семья бабушки ездила в свободное время в Кемцы, купленное тогда в Валдайском уезде имение. Заплачено за него было около 20.000 рублей (все экономии Карла Адамовича за его 30-летнюю службу). Имение было скромное, и когда через 30 лет я впервые в нем был, оно поразило меня своею, я сказал бы, убогостью. Доходов оно не давало уже с самого начала, но тогда был в распоряжении труд немногих крепостных; позднее же Кемцы служили лишь бесплатным жилищем для семьи бабушки. Карл Адамович вышел в отставку около 1860 г., совершенно больной, и умер незадолго до освобождения крестьян. Странно теперь слышать определение его болезни, как «водянки». Отчего происходила эта «водянка» – последствие, а не суть болезни, в основании которой лежало неправильное функционирование сердца или почек – тогда никто не знал. Вообще, не раз мне приходилось позднее слышать от стариков, по-тогдашнему образованных, рассказы про смерть их близких еще в середине прошлого века, о которой никто не знает, от чего она произошла.

Как это ни странно, в семьях всех моих близких освобождение крестьян, по-видимому, не произвело большого впечатления, быть может, потому, что жили они больше в полосе России, где крепостной труд большой роли не играл. В семье бабушки, жившей уже в это время исключительно на пенсию, освобождение, по-видимому, ничего не изменило.

Около этого времени отца отдали в Училище Правоведения. Говорю «отдали», ибо решающий голос в этом принадлежал не бабушке, а опекуну отца, другу его отчима, графу Ламберту. Два брата Ламберт, сыновья французского эмигранта и генерала Отечественной войны, принадлежали к группе молодежи, окружавшей с детства Александра II, и все они (кроме двух Ламбертов, еще Адлерберг и Паткуль) были позднее генерал-адъютантами. Один из Ламбертов был недолго наместником Царства польского во время восстания 1863-1866 гг., но был смнен после резко-

го столкновения с генералом Герстенцвейгом, командовавшим в Варшаве войсками, на почве обвинения последним Ламберта, как католика, в потворстве полякам. Столкновение закончилось американской дуэлью, в которой Герстенцвейг вытянул черный жребий и застрелился, после чего и Ламберт был смещен.

Опекун отца был человек, по-видимому, ничем не замечательный, но хороший, и кроме хорошего я лично ничего о нем не слышал. Женат он был на дочери министра финансов графа Канкрина, которая вошла в историю нашей литературы, как, быть может, одна из наиболее интересных женщин, которыми увлекался Тургенев.

Кроме семьи Ламбертов, отец часто бывал тогда в доме директора Пажеского корпуса генерала Желтухина, тоже товарища его отчима. Позднее на двух дочерях этого генерала женились друзья отца Каульбарсы. Между прочим, отец рассказывал, что за обедами у Желтухиных он постоянно встречал двух полковников, воспитателей корпуса, фамилий которых я не помню, но один из них, француз, упоминается в записках Кропоткина. Каждый раз при этом повторялась та же сцена: один из них за закуской обращался к моему отцу со словами: «Молодой человек, не пейте водки, я ее не пил и благодаря этому дожил до 70 лет», на что другой сразу отвечал: «Не слушайте его, я всегда пил водку и тоже дожил до 70 лет». Отец последовал совету второго.

Училище Правоведения было открыто в 1835 г. по инициативе племянника Николая I, принца Петра Георгиевича Ольденбургского, бывшего сенатором и в заседаниях Сената убедившегося, насколько тогдашние суды были, действительно, «неправдою черны». Училище, попечителем которого он был назначен, должно было подготовить кадр честных и знающих юристов для замены старых «судейских крючков», большею частью выслужившихся из писцов; задачу эту оно и выполнило, ибо в 1864 г., при введении судебной реформы, большое число новых судебных деятелей были бывшими «правоведами». Принца Петра, человека мягкого и гуманного, все любили, и память о нем свято чтилась в Правоведении и в те годы, когда я там учился, хотя все признавали, что ума он был далеко не крупного*.

* Старый принц страдал отсутствием обоняния, и рассказывали, что, влетев как-то на кухню (он тоже был скоропалителен, как и его сын), схватил ложку и, не разобравшись, взял пробу из первого попавшегося котла: «Да это же просто помой!», на что и получил ответ повара: «Так точно, Ваше Высочество».

В 1848-1849 гг., в связи с обнаружением кружка Петрашевского и с революционным движением в Западной Европе, Правоведение, как и другие высшие учебные заведения, подверглось разгрому. Гуманный его директор князь Голицын и несколько воспитателей были удалены, двое выпускных правоведов были отправлены солдатами на Кавказ*, и директором был назначен Варшавский полицмейстер Языков. Отзывы, которые мне о нем пришлось слышать, были очень различны. Вначале он, по-видимому, ввёл в Училище чисто военную, вернее даже тогдашнюю солдатскую дисциплину. Позднее мне один бывший правовед, Принц, тогда сенатор, рассказывал, что в первые месяцы правления Языкова, правоведа одного из старших классов, Извольского, тоже будущего сенатора, за что-то пороли перед строем всего училища. Позднее, однако, под влиянием перемены всего общественного настроения и Языков изменился, и о нем осталось у правоведов этого периода хорошее воспоминание. Во всяком случае, никто в его личной порядочности не сомневался.

Инспектором он взял артиллерийского полковника Алопеуса, которого через 40 лет я застал еще директором училища; ряд офицеров были назначены и воспитателями, и один из них, в мое время 70-летний старик – В.М. Лермонтов, был еще два года моим классным воспитателем. Уже раньше нам говорили, что нам повезло, ибо наш класс примет именно он, и действительно, за два года, что он еще пробыл с нами, мы все его глубоко полюбили, ибо за его строгостью мы чувствовали его неподдельное благородство.

Конечно, не все воспитатели эпохи Языкова были похожи на него, но осуждать их огульно едва ли было бы справедливо. Не знаю, насколько пострадал в ту пору преподавательский состав, но, как и всюду, преподавание «философских» наук, даже такого безобидного предмета, как логика, было передано законоучителям. Отец рассказывал, что тогдашний настоятель училищной церкви вызывал его: «Ну, нехристь, отвечай», и если ответ был удачен, то замечал: «Вот и нехристь, а знает хорошо». Замечу, кстати, что отец был по отцу лютеранином, тогда как его сестра была по матери католичкой.

Преподавательский состав в Училище был всегда из лучших учителей столицы, и во времена отца, по-видимому, не составлял исключения в этом отношении. По крайней мере, могу сказать,

* Один из них, князь Гагарин, был позднее Кутаисским губернатором, другой, Билинский, был убит в сражении не то с горцами, не то с турками.

что те два преподавателя того времени, которых я еще застал в Училище, не оставляли желать лучшего в смысле преподавания. При отце был в числе их и математик Вышнеградский, брат будущего министра финансов, сам известный деятель в области женского образования. С ним у класса отца произошло характерное столкновение. Не знаю из-за чего, как-то весь класс не подошел на уроке под благословение законоучителя, за что и был наказан; зачинщики, однако, не были обнаружены до тех пор, пока в дружеском разговоре в классе Вышнеградский не узнал их имен и не сообщил их Языкову. На следующем уроке класс не встал при его входе, что было серьезным нарушением дисциплины. Недели две Вышнеградский не ходил на уроки, а когда вновь пришел, юноши опять не встали, после чего Вышнеградский совсем оставил Училище.

Во времена отца в Училище находился ряд лиц, составивших себе позднее имя, начиная с Чайковского, Апухтина и Горемыкина, но из ближайших к отцу классов вышел лишь ряд почтенных, но рядовых, в общем, судебных деятелей. Отец был, по-видимому, слабо подготовлен и в 6-м (по гимназически 5-ом) классе просидел два года. Его, впрочем, ни разу за плохие отметки не пороли, но для иных из его товарищей это было обычное субботнее угощение. В то время (как и в первые годы при мне) по субботам, перед завтраком, перед фронтом гимназических классов читались наказания за плохое учение, и отец рассказывал, что еще до того, что их имена были названы, из фронта выходили всегда два его товарища – Савельев и Энгельгардт, и на вопрос, куда они идут, лаконически отвечали: «пороться», чтобы через 10 минут, как ни в чем не бывало, появиться за завтраком. Если таковы были порядки в этом привилегированном учебном заведении, то можно судить, каковы они были тогда в более простых. Скажу, впрочем, в оправдание нашей школы, что во Франции битье линейкой по рукам сохранилось в младших классах до последней войны.

Отец не кончил Правоведения. В 4-м (последнем гимназическом) классе у него произошло какое-то столкновение с преподавателем геометрии полковником Ильяшевичем, крайне горячим человеком. Про него говорили, что у него шпага была припаяна к ножнам, чтобы предупредить ее использование, и что у него стояла на столе надпись: «Сегодня Яшу (то есть сына) не бить»; несмотря на это, Яше доставалось чуть не ежедневно. Так как отец тоже был крайне вспыльчив, то столкновение их было понятно, и отец говорит, что начальство признало в нем правым его. Однако весной Ильяшевич его срезал на экзамене, и ему предстояло вновь

остаться на 2-й год. Это и было бы нормальным, но отец почему-то решил не оставаться в Училище, а ехать продолжать учение в Гейдельбергском университете. Ламберта уже не было в живых, а бабушка была слишком слаба, чтобы противодействовать, и отец оказался осенью в этом маленьком прелестном городке, где в то время училось много русской талантливой молодежи (например: Бородин, Менделеев, Мечников). Отец поступил на камеральный факультет (нечто среднее между юридическим и экономическим), где в то время крупных профессоров, кроме Блюнчли, не было.

Из его рассказов о студенческой жизни у меня сохранилось то, что он говорил про студенческие корпорации (ни к одной из коих он, однако, не принадлежал). Насколько я могу судить, чуть ли не главное занятие в них было питьё пива, причем выделялась манера его, известная как «ein Salamander drehen» (вертеть саламандру). Все сидящие за столом по команде вертели на нем свои кружки, после чего, тоже по команде, пили пиво, и после перерыва вновь начинали то же. Продолжалось это чуть ли не часами и, главное, все время молча.

Отец пробыл в Гейдельберге, если не ошибаюсь, два года, и перешел в Дерптский университет, дабы, окончив его, получить права государственной службы. Это ему, однако, не удалось, ибо, не имея диплома об окончании гимназических классов Правоведения, он был зачислен в университет только вольнослушателем. В Дерпте отец подружился с сыновьями известного Булгарина (старика, кажется, уже не было в живых), у которых под Дерптом было имение «Карлово».

После Дерпта отец вернулся в Петербург, где и поступил на службу в Министерство внутренних дел, сдав очень скромный экзамен на 1-й классный чин (позднее он сдал еще «дипломатический» экзамен в Министерстве иностранных дел, куда перешел через несколько лет). На службе отец не преуспел, и вскоре после его женитьбы моя мать заставила его выйти в отставку, ибо считала, что все равно при его характере из него ничего не выйдет. Действительно, отец, при обычной его мягкости и безвольности, был очень горяч и несдержан, и как подчиненный был из-за этого абсолютно недисциплинирован. Из Министерства внутренних дел он, например, ушел из-за пустяка: его непосредственный начальник сперва забраковал составленный им проект какой-то бумаги, а через два часа его одобрил, хотя отец и подал ему по совету сослуживцев неизменный первоначальный текст; при этом его начальник добавил: «Ну вот, это не то, что раньше», на что отец не сдержался и ответил, что он, однако, ни одного слова

в нем не изменил. Отношения их после этого, конечно, испортились, и совместная служба стала невозможной. Вообще отца все любили, ибо, кроме мягкости, он был человеком редкой порядочности, но в деловом отношении мало на что был способен. Чтобы не возвращаться к нему позднее, отмечу еще, что он обладал абсолютным слухом, и часто после того, что один раз слышал новую оперу, по слуху играл на рояле ее мотивы. Техника у него была, однако, не блестящая, и когда он играл на рояле с матерью в 4 руки, то всегда на его долю выпадал аккомпанемент. Всегда он много читал и был вообще человеком образованным, хотя системы в его образовании и не было.

Другой особенностью отца, развившейся у него с годами, была его страшная мнительность. Ни одной крупной болезни я у него не помню. Только еще около 1880 г. он болел кишечником, но месяц в Эссентуках быстро поправил его. Тем не менее, он всегда находил у себя различные болезни, и градусник не сходил с его стола. Возможно, конечно, что безделье, которым он, вероятно, тяготился, сыграло свою роль в развитии у него этого неформального интереса к своему здоровью.

Перемена в жизни отца произошла с его женитьбой. Не знаю, где и как мои родители познакомились, слышал только, что отец сделал матери предложение, которое и было принято, через неделю знакомства. Удивляться этому не приходится: кроме того, что отца все любили, он был мужчиной красивым и видным, также как и мать. Чайковский в переписке с моей бабушкой, Н.Ф. фон Мекк, говорит, что моя мать была красавицей чисто русского типа. Едва ли, однако, это не преувеличение, и, кроме того, тип у матери был скорее цыганский, чем русский. Несомненно, однако, что мать могла быть привлекательной, и, кроме того, оказалась для отца, – при слабости его характера, той женой, которая ему была нужна, ибо характер у нее был сильный и властный.

Моя мать, Александра Карловна фон Мекк, была дочерью известного в то время инженера и строителя железных дорог Карла Федоровича фон Мекк. Род Мекк, хотя и был записан в Лифляндское дворянство, как коренной (Uradel), ведет свою родословную лишь со времен падения Ливонского ордена в конце 16-го века. Первый из Мекков был в это время Рижским бургомистром, стал сразу на польскую сторону, за что и был назначен Рижским «каштеляном» (губернатором) и получил дворянство. Потомство его ничем особенным не отличалось, и с течением времени расселилось по всем соседним странам: были они и в Швеции, и в Дании, большая же часть со времен Петра оказалась в России.

Полученные основателем рода от поляков имения были быстро прожиты, и после этого Мекки жили службой, обычно военной. Кавалеристом был и мой прадед. За время наполеоновских войн он дослужился до чина ротмистра, и умер молодым, оставив вдову с четырьмя маленькими детьми без всяких средств. Через несколько лет мой дед был принят на казенный счет в Корпус путей Сообщения, будущий институт этого имени. Прабабка моя, дочь Митавского бургомистра Гафферберга, была, по-видимому, женщиной энергичной, и жила эксплуатацией имений, которые она арендовала. Между прочим, ей приписывают первоначальное преобразование известного ныне Кеммерна в курорт. Из детей ее высшее образование получил только мой дед, младший же его брат жил до конца скромным заработком лесничего в больших имениях.

По окончании ученья дед служил сперва на постройке, а затем на поддержании в порядке Московско-Варшавского шоссе, будучи начальником дистанции в Рославле. Здесь он и женился на моей бабушке, Надежде Филаретовне Фраловской, дочери местного выборного уездного судьи и мелкого помещика. Этот мой прадед (Филарет Фраловский), был человеком слабым, находившимся всецело под властью жены, подчас его, говорят, бившей. Страстно любил он музыку и играл на скрипке, хотя, по-видимому, и неблестяще. Женат он был на Анастасии Демьяновне Потемкиной, дочери «полковника Смоленской шляхты», воинской части, о которой я, к сожалению, нигде ничего узнать не мог. Эти Потемкины были ветвью известного рода, давшего России посла царя Алексея Михайловича во Франции и Испании, портрет которого и посейчас находится в Мадридском Прадо. Посольство его не обошлось без курьезов, и, между прочим, когда ему был назначен в Копенгагене прием у короля, больного и лежавшего в постели, потребовал, чтобы не унижить царского достоинства, чтобы и ему была поставлена другая кровать около королевской. Другой представитель рода Потемкиных, знаменитый фаворит Екатерины достаточно известен, чтобы о нем говорить. Менее известен его двоюродный брат, генерал-поручик и наместник кавказский, человек тоже способный, но нечестный. Сейчас этот род прекратился, и, в частности, у Демьяна Потемкина были только три дочери (две другие были замужем тоже за представителями коренных смоленских семей – Челищевым и Энгельгардтом). В моей прабабке, видимо, отразились семейные черты ее рода – власть и склонность к мистике, которые под конец ее жизни и привели ее к постригу. Семьи Фраловских и Потемкиных были небо-

гаты, и бабушка в приданое принесла деду, по-видимому, только унаследованный ею от матери сильный характер. Любопытно, однако, что и два ее брата, позднее офицеры одного из полков Варшавской гвардии, и ее единственная сестра, бывшая замужем за Воронцом, были сравнительно слабохарактерными.

Бабушке не исполнилось еще 16 лет, когда она вышла замуж, но, тем не менее, сразу пошли одна за другой беременности, число коих достигло, как я слышал, восемнадцати. Детей родилось, однако, всего 14, и из них достигло совершеннолетия всего 10. В начале дед, Карл Федорович фон Мекк, продолжал служить в Рославле, и в одном из своих писем Чайковскому бабушка позднее писала, что в это время ей пришлось быть в доме всем – и хозяйской, и кухаркой, и камердинером мужа.

Дед до конца своей жизни сохранил репутацию честного человека, и в Рославле, несмотря на многочисленные примеры своих сослуживцев, воровать не хотел. Как можно было красть инженерам, кроме обычных процентов с поставок, приведу лишь один способ, который применялся еще в мое время, как я узнал во время приемки шоссе от казны Новгородским земством. Ежегодно особая комиссия принимала щебенку для ремонта шоссе. Кучи ее обмерялись и на них ставились известковым раствором белые кресты. По отъезде комиссии закрашенная щебенка рассыпалась, а остальная перевозилась на следующие версты, где через год снова принималась той же комиссией. Жалованье военных инженеров было, однако, ничтожным (дед был тогда капитаном), и существовать на него с родившимися к этому времени шестью детьми стало невозможным, почему он согласился последовать советам бабушки, и, выйдя в отставку, превратился в подрядчика, первоначально работая на занятые деньги.

Это были первые годы частного железнодорожного строительства, и дед получил небольшой подряд на постройке линии от Москвы к Троице, первого участка Ярославской железной дороги. К этому времени относится знакомство деда с П.Г. Дервизом, тогда обер-прокурором одного из департаментов Сената. Не знаю, как они пришли к мысли о самостоятельной постройке железных дорог, но вскоре они выступили конкурентами на концессию по постройке Московско-Рязанской железной дороги. Объединение их с Дервизом оказалось очень для них удачным: дед был хорошим строителем, Дервиз же знал хорошо всю тогдашнюю бюрократическую процедуру, имел хорошие связи в правительственных кругах и оказался прекрасным финансистом. Концессии выдавались тому из конкурентов, кто заявлял наименьшую по-

верстную цену постройки линии, причем он должен был и образовать акционерное общество для постройки линии, и выполнить самую постройку. Дед и Дервиз были первыми, значительно понизившими поверстную плату, и получили одну за другой концессии на постройку Московско-Рязанской, Рязанско-Козловской и Курско-Киевской железных дорог.

Несмотря на понижение ими поверстных цен и на добросовестное исполнение работ, заработок на этих постройках был очень велик, и на Рязанско-Козловской, например, все работы были выполнены за счет облигационного капитала, а акции остались как бы премией концессионерам. На Московско-Рязанской они могли оставить себе только часть акций, хотя и значительную, но и тут их заработок был очень велик, ибо подписная цена акций была 60 руб. за 100 номинальных, а биржевая цена их скоро достигла 400 рублей. Надо сказать, что так как правительство гарантировало тогда обычно 5 % дохода не только по железнодорожным облигациям, но и по акциям, по их номинальной цене, то и акционерные капиталы на постройку находились без затруднений. Поясню еще, что главная разница между акциями и облигациями заключалась в том, что доход по первым мог повышаться беспредельно в зависимости от результатов эксплуатации линии, тогда как по облигациям он оставался постоянным. Кроме того, в момент выкупа линии в казну акционеры не получили ничего, тогда как облигационерам возмещалась их номинальная стоимость.

К этому периоду, но не знаю к какому точно моменту, относится казус, про который я слышал от матери. Дед произвел изыскания линии от Козлова через Воронеж на Ростов, которые вместе с расчетами ее стоимости лежали у него в столе. В то время у деда часто бывал будущий миллионер Самуил Соломонович Поляков, в то время не то мелкий подрядчик, не то маклер. Мать говорила, что дед обращался к нему на «ты» и называл его «Шмуйлой». Мать хорошо помнила его сидящим в передней, дальше которой он не проникал, и утверждала, что через кого-то из прислуги он выкрал изыскания и узнал из них вероятную стоимость линии. С этими данными в руках он убедил нескольких деятелей Воронежского земства выступить конкурентами на постройку, понизив цену, заявленную дедом и Дервизом. Концессия досталась, таким образом, Воронежскому земству, которое поручило ее выполнение Полякову, построившему линию очень скверно и, благодаря этому, немало на ней заработавшему, несмотря на низкую цену. Вообще, репутация этого Полякова была весьма не блестяща, тогда как

про его брата, Лазаря, составившего также миллионное состояние на банковских операциях, худого ничего не говорили.

По окончании постройки Курско-Киевской железной дороги дед и Дervиз разошлись. Признавая полную порядочность Дervиза, мать говорила, что характер его был тяжел, и работать с ним деду было нелегко. После этого Дervиз жил больше в Ницце, где он содержал, будучи большим любителем музыки, свой частный оркестр. Купил он здесь большой участок земли, на котором была позднее построена целая часть города и где и посейчас одна из улиц носит его имя.

Время после постройки Курско-Киевской железной дороги было и временем наибольшего материального благополучия семьи Мекк. Мать говорила мне, что годовой доход семьи достигал тогда 800.000 рублей, по тому времени суммы громадной не только в России. Так как, однако, дед был еще человеком не старым, и энергия его не уменьшалась, то вскоре он выступил конкурентом на постройку Ландварово-Роменской железной дороги (позднее составившей часть Либаво-Роменской дороги). Про необходимость ее для развития торговли России тогда много писал Катков в своих «Московских Ведомостях», и это толкнуло мысли деда в эту сторону, но, как говорила мать, отсутствие Дervиза сказалось на этом предприятии большим убытком.

Постройка линии была закончена к январю 1876 г., но расчеты по ней еще не были заключены, когда дед скоропостижно скончался в Европейской гостинице в Петербурге от разрыва сердца. Вечером он обедал у моих родителей, был весел и ничто не предвещало близости смерти, а через несколько часов наступил конец. В завещании он назначил отца одним из душеприказчиков, и в связи с этим отец наткнулся на историю получения концессии на Ландварово-Роменской линии. Разбираясь в счетах по ней, отец увидел в книгах сумму в 800.000 р. без указания ее назначения и получил от бухгалтера ответ, что это взятка за концессию. Кому она была дана, я лично от родителей не слышал, и уже только в эмиграции прочитал в записках Феокистова рассказ князя Барятинского про заседание, в котором был поднят вопрос об этой взятке, но проверить его у родителей я уже не мог и судить о его точности не могу. Не знал я также, что Барятинский, брат фельдмаршала и сам генерал-адъютант, принимал участие в этом деле, но слышал от матери, что какие-то дела у него с дедом были, причем она говорила о несерьезности Барятинского, хотя ничего худого о нем не говорила.

Про получение взятки я слышал от нее только, что тогдашний министр финансов Рейтерн, узнав от деда про требование взятки в 800.000, сперва посоветовал ему их не платить, но позднее вызвал деда и сказал ему, что, несмотря на все его старания, если дед этой суммы не уплатит, то концессии не получит. Рейтерн был человек безукоризненной честности и независимый, и мать всегда отзывалась о нем хорошо (как и о бывшем ранее министром путей сообщения генерале Чевкине). Фамилию Юрьевской, которой предназначалась взятка, отец позднее назвал моему брату Адаму. Моя мать, помню, только один раз очень резко отозвалась о Юрьевской, когда мы как-то с ней проезжали мимо особняка княгини. Было это, еще когда я был в младших классах Правоведения.

Меня интересовал вопрос, знал ли Александр II про эту взятку или эта махинация была устроена за его спиной близкими Юрьевской? Несомненно только, что взятка предназначалась ей и что поэтому влияние Рейтерна не могло пересилить ее настояний. Мать моя и бабушка, как я могу судить по ее переписке с Чайковским, не думали, чтобы государь был в курсе этого. Зато мать всегда с презрением говорила о Юрьевской. За последние годы во Франции пытались ее идеализировать (между прочим, в одной книге бывшего посла в России Палеолога), но мне кажется без достаточных оснований. Все русские, которые ее знали (я ее лично никогда не встречал), считали ее глупой и, сверх того, жадной. В этом она, по-видимому, сходилась со своим братом, бывшим позднее Витебским губернатором, державшимся на этом посту только благодаря ей и оставившем после себя память взяточника. Мне пришлось слышать, что в виду ограниченности Юрьевской, вся ее финансовые операции за ее Петербургские годы выполнял Шебеко, муж ее институтской подружки, бывший позднее товарищем министра внутренних дел, заведующим полицией. Он-то и потребовал у деда взятку за концессию Ландваровской дороги в заседании, описанном у Феокистова.

Между прочим, с именем Юрьевской у меня связано комичное воспоминание. В 1911 г. я был на Рождестве в Ницце и зашел в помещение, где должен был состояться русский благотворительный базар. Собравшиеся там дамы возмущались скупостью Юрьевской, приславшей на базар старенький кожаный портсигар. Я пошутил, что зато, должно быть, это реликвия Александра II, и позднее узнал, что за таковую этот портсигар, проданный за хорошую цену, и пошел. Так создаются легенды.

Возвращаясь к деду, отмечу, что на него сильно подействовала неудача с этой постройкой, и, быть может, ускорила его смерть. Позднее выяснилось, что убыток от постройки выразился в сумме около двух миллионов. За это время сильно упал курс рубля, так что за рельсы и подвижной состав, заказанные в Германии (в России тогда еще не было заводов, выделявавших их), пришлось переплатить на миллион больше против сметы, что вместе со взятой и составило два миллиона убытка.

Перечитывая переписку бабушки с Чайковским, я наткнулся на просьбу ее к Чайковскому повлиять на дядю Колю, чтобы он снисходительнее относился к дяде Володе. В другом месте я встретил указание, что после дедушки осталось 6 миллионов долга. Между тем, мне говорил отец, что после деда остались только два миллиона платежей по Ландварово-Роменской ж.д. и 75.000 по векселям г-же Максимович. Объясняется это разногласие, мне кажется, тем, что к долгам деда бабушка присоединила и одновременно уплаченные ею долги дяди Володи, которые она старалась скрыть и которые в то время (1885 г.) достигали уже не менее 4.000.000 рублей. На почве этих долгов у бабушки уже были прерваны одно время отношения с моей матерью, и, видимо, бабушка боялась, что и дядя Коля тоже не примирится с образом жизни дяди Володи, с которым он тогда впервые ближе познакомился и которому не сочувствовал. Не решившись прямо обратиться к дяде Коле, она прибегла к посредничеству Чайковского.

Возвращаюсь теперь к моим родителям. Свадьба их состоялась во Франции, в По, где их обвенчал иеромонах Нестор, о котором мать, не любившая вообще духовенства, всегда тепло отзывалась. Вскоре потом он был назначен епископом на Аляску, сошел там с ума и во время какого-то переезда бросился с парохода в море. Жили мои родители первое время в Петрограде, где отец еще служил, но вскоре, с выходом его в отставку, они перебрались в купленное ими с торгов имение Гурьево, расположенное в 8 верстах от Венева, имение, с которым связаны мои лучшие воспоминания детства.

Гурьево, о котором я в 1915 г. поместил заметку в «Старых Годах», в начале 19-го века принадлежало Муромцеву, который и построил в нем дом в стиле Александровского ампира, с двумя колоннадами, соединявшими его с флигелями, один из которых был занят кухней и комнатами для прислуги, а другой предназначался для гостей. После войны 1812 г. французские пленные разбили около дома два сада, один из которых, устроенный по образцу французских садов, именовался «верхним», другой же –

«английский», спускавшийся сперва полого, а потом обрывисто к реке Осетр – «нижним».

Надо сказать, что местность, где была расположена усадьба, была исключительно красива в этой довольно однообразной части Тульской губернии. Позднее Гурьево перешло к зятю Муромцева, князю Евгению Александровичу Черкасскому, которого я еще помню стариком. Брат известного деятеля эпохи освобождения крестьян и автора Болгарской конституции князя В.А. Черкасского Евгений Александрович быстро прожил состояние свое и двух своих жен, и не смог удержать Гурьева, которое мой отец купил в очень печальном состоянии. В доме, кроме стен, почти ничего не оставалось, и в зале видно было небо сквозь потолок двух этажей. Черкасский был человек воспитанный и изысканно вежливый с дамами, но фантазер, не считавшийся со своими возможностями.

Помню я два каменных столба на проходившем мимо Гурьева Каширском большаке с вделанными в них железными листами, на коих был изображен герб Черкасскими с надписью: «Поворот на хутор кн. Черкасского». Злые языки уверяли, что многочисленные в то время богомолки, проходившие по большаку в Москву, часто молились перед этими столбами и клали земные поклоны.

Черкасский пробыл 25 лет Веневским предводителем дворянства, и по этому случаю волостные старшины уезда поднесли ему какой-то подарок, купленный, впрочем, как утверждали, на деньги самого князя. Позднее, оставшись без средств, Черкасский служил председателем земской управы. Припоминаю один личный его рассказ. Прочитал я в «Историческом Вестнике» в воспоминаниях князя Д.Д. Оболенского, как Черкасский, большой любитель лошадей, выиграл пари, что 30 верст от Москвы до Химок и обратно он сделает зимой на тройке в час и пять минут. Я рассказал ему про это, и он подтвердил, что действительно это было, и добавил, что он держал и другое пари, что в полтора часа доскачет из Гурьева в Тулу (48 верст), но проиграл его, ибо за три версты до Тулы у коренника лопнуло копыто. Помолчав, князь затем с улыбкой добавил: «А вот петух меня обогнал». Оказывается, какой-то его сосед предложил ему пари, что на 100 саженьях его петух обгонит его тройку. Надрессировал он петуха бросаться стрелой из клетки, где его держали без пищи, по направлению к стоящей в 100 саженьях кормушке. Пока тройка разошлась, петух уже пронесся до цели и Черкасский проиграл пари.

С Гурьевом связаны мои первые воспоминания, если не считать совершенно неясного воспоминания о каком-то переезде на

пароходе, во время которого горничная матери, Анисья Васильевна, молилась Богу о спасении нас от опасности. Когда я позднее спрашивал родителей об этом переезде, они могли припомнить только поездку с нею по Женевскому озеру, причем ни бури, ни даже качки не было, и страхов Анисьи, запавших в мою память, забыть себе не могли.

Первое точное воспоминание осталось у меня об убийстве Александра II. Отец был в эти дни болен и лежал, и к нему в спальню вошел кто-то, сказал, что из Венева привезли известие, что царя убили. У меня не осталось впечатления, чтобы оно очень всех поразило, вероятно, потому, что предшествующие покушения уже приготовили умы к возможности этого. Сразу мать поехала, захватив меня, тогда 5-летнего мальчика, в соседнюю Хрусловскую церковь на панихиду по царю. Церковь была переполнена, и у меня осталось впечатление, что крестьянская масса жалела царя. Через несколько дней в Гурьево приехал исправник, – вообще в помещичьих домах в то время явление редкое, ибо полиция в средней полосе России была в загоне, – приехал он предупредить, что среди крестьян ходят слухи, что царя убили «господа» за то, что он их освободил, и что надо быть осторожными. Какой смысл имело это предупреждение не знаю, ибо полиция в те времена была столь малочисленна, что все равно никого ни от чего защитить не могла. Если не ошибаюсь, урядники введены были только через два года после этого, а вся полиция состояла из выборных сотских и десятских, в которых, кроме носимого ими знака, ничего полицейского не было.

Жизнь в Гурьеве текла очень скромно. По своему завещанию дед оставил большую часть состояния бабушке, но выделил и всем 11 детям приблизительно по полумиллиона, дававшие доход, на который тогда можно было хорошо жить. Однако мать выросла в скромной обстановке, и богатство родителей ее вкусов не изменило. Прислуги в доме было много и ели сытно, но все остальное было очень заурядно. Скромная обстановка дома, отсутствие всякой роскоши в одежде (и платья матери, и наши костюмы шились в доме) делали Гурьево сходным с большинством помещичьих усадеб того времени, владельцы коих в громадном большинстве случаев жили или на жалование, или на пенсию. Повторяю, главной роскошью была еда, да и то благодаря ее изобилию, а не изысканности. Только по случаю каких-нибудь торжеств выписывались из Москвы деликатесы, вроде осетрины, икры или сыра. В этом отношении, да, впрочем, и во многих других, русская жизнь 80-х годов была намного проще даже начала 20-го века. В Гурьеве был

только один пережиток прошлого – это любовь матери к лошадям. Еще вскоре после покупки его, распродался где-то недалеко конный завод Норова, и отец купил тогда из него 5 жеребцов и 5 маток, которые, впрочем, служили только для выездов.

Хозяйство тогда велось в Гурьеве собственное, в аренду ничего не сдавалось, и персонал усадьбы был большой. Кроме полевых рабочих, которые большею частью менялись ежегодно, остальные служащие оставались подолгу, начиная с домашней прислуги. Во главе ее стояли супруги Миловидовы, Ефим Иванович и Нунехия (или Анефья) Васильевна. Он служил еще у моей бабушки, затем у моих родителей, и кончил свои дни у меня, причем, однако, бывали перерывы, когда он возвращался к бабушке в Кемцы (коих он был уроженцем) из-за своих амурных походов и вызываемых ими семейных скандалов. Еще мне, тогда совсем молодому человеку, пришлось позднее мирить его с супругой (обоим было уже за 65 лет), поймавшей его на месте преступления с горничной моей жены. Анефья была мастерица по разным заготовкам, и таких маринованных грибов, как ее, я нигде потом не видал. В доме у родителей служила потом и дочь Миловидовых Таня, вышедшая замуж за повара родителей, но скоро умершая от чахотки. Их две девочки жили позднее у нас при бабушке, когда она ведала нашим хозяйством в Рамушеве. У Ефима были два подручных мальчика, которые потом стали лакеями. Один из них, Иван Фадеев, прослужил у родителей больше 30 лет и ушел только, чтобы открыть свою лавочку в Веневе.

Сменялись быстро только повара, у которых неизменно бывали два недостатка: или они пили, или уж очень увеличивали счета. Уже на моей памяти в доме появилась няня моего третьего брата Прасковья Артемьевна, тогда еще молодая женщина. Тулячка, она согрешила там с довольно известным тогда в Туле адвокатом Грушевским, который купил ей небольшой домик, в котором она поселила двух своих сестер и, оставив на их попечение сынишку, поступила к нам. Вынянчила она пятерых моих братьев и сестер, и стала как бы членом нашей семьи, в которой она осталась до самой своей смерти, лет через 30.

Горничная матери, Пелагея Петровна, тоже прожила в доме до смерти. Про нее сохранялось много анекдотических рассказов, вроде того, что, говоря отцу, что «мороза сегодня 10 градусов», она добавляла: «А сколько тепла, не знаю». Как-то она сообщила отцу, что пришел «позвоночник», т.е. мастер по звонкам. Вообще у родителей в доме до конца сохранилась до известной степени патриархальная обстановка большой семьи, и даже после рево-

люции мои сестры продолжали жить вместе с последней их молоденькой горничной, работая где кто мог, и когда она заболела туберкулезом, не расстались с ней до самой ее смерти.

В усадьбе ведал хозяйством «прикащик», коим долгие годы был А.Я. Немцов, бывший каптенармус одного из кавказских полков, со шрамом над глазом от раны, полученной в турецкую войну. Человек исполнительный, но большой жмот, себя не забывающий, он был очень не любим крестьянами, и позднее это, по-видимому, отразилось и на отношении их к матери, переставшей совершенно интересоваться хозяйством.

Особенно остался у меня в памяти кузнец Аполлон. Имя его отнюдь не гармонировало, однако, с его мрачной, некрасивой внешностью и угрюмым характером. Был он, кроме того, косноязычен, и возможно, что не вполне нормален, что не мешало ему быть прекрасным кузнецом в усадьбе. Когда я мог, я всегда убегал в кузницу «помогать» Аполлону, и ковал вместе с ним раскаленное железо, которое он затем ловко превращал в подковы и другие изделия. Аполлон был, однако, горький пьяница и погиб, замерзнув пьяный, возвращаясь в Гурьево из Хрусловского шинка; помню, что смерть его меня очень огорчила.

Жизнь в усадьбе текла тогда по обыкходу, установленному во всей центральной России. Хозяйственный год начинался с весной, когда вывозился на поля навоз. За зиму он нарастал в конюшнях и хлевах настолько, что скотина почти что доставала спинами потолки, и теперь вывозить его собирались в усадьбе десятки крестьянских подвод. Обычно все работы сдавались соседним крестьянам еще с осени, когда они получали задатки, шедшие на уплату податей, главным образом, «выкупных» за землю платежей. Цена устанавливалась, главным образом, за уборку десятины, и была в те времена очень низкой. Не помню ее точно сейчас, но в памяти сохранилась у меня поденная плата за осеннюю и зимнюю работу взрослой работницы в 13-14 копеек, и девочки – в 9 копеек.

Когда сходил снег и поля обсыхали, начиналась весенняя вспашка и посев. У отца появилась первая в округе конная селяка, вызвавшая большой интерес, соединявшийся, впрочем, с известным скептицизмом. Работать на всех новых машинах мало кто умел, поломки в них были часты, запасных же частей обычно не было, и приходилось сломанные части посылать для отливки в Тулу. Кроме того, многие инструменты, даже плуги заграничного изделия оказались непригодными в России, и в Гурьеве был целый склад тех из них, которыми не пользовались. Парные плуги

были, например, рассчитаны на крупных заграничных лошадей, и наши мелкие коньки с ними не справлялись.

Вывозка навоза оставила у меня и по сей час воспоминания о различных его запахах, которые как-то незаметно переходят в воспоминания о весенней оттепели – одной из самых веселых пор для детворы – и о борьбе с ручейками, которые неизменно побеждали все попытки их запрудить. Вдудался Осетр, лед на нем синел, на мельнице разбиралась плотина, и вскоре начинался ледоход. На берегах реки появлялись рыбаки в надежде поймать в мутной воде щуку, единственную более крупную рыбу, которая у нас водилась, кроме несчастных пескарей. В двух верстах ниже, в Хрусловке, сносило в это время ежегодно мост, сообщения с Веневым прерывались на несколько дней, и затем переправа в Хрусловке производилась на пароме, пока мост не восстанавливался.

Совпадавшая с этим временем Пасха вызывала общую всюду чистку и приготовление к разговенью. Впрочем, из нашей семьи у Пасхальной заутрени никто в то время не бывал, как вообще в церкви. Мать моя была атеисткой, и когда в большие праздники в доме появлялось духовенство, молебны отстаивали отец и мы, дети, а мать никогда к нему не выходила. Как это ни странно, отец, раньше скорее безразличный к религии, на старости лет решил перейти в православие, правда, как он говорил, главным образом, чтобы не быть другой веры с семьей; выполнил он это, однако, только после революции, когда его не могли заподозрить, что делает он это из каких-либо земных побуждений. Не менее странным покажется, вероятно, многим, что все мы, его дети, выращенные в атмосфере полного безбожия, позднее все стали религиозными. Чтобы не возвращаться к этому, отмечу, что первой, кто меня научил молиться, была уже упомянутая старушка горничная Анисья, которая спала рядом с моей детской, и которую я часто видал долго и горячо молящейся. Позднее, когда я научился читать, я аккуратно читал в кровати все вечерние и утренние молитвы, чему меня научила няня Прасковья Артемьевна. Религиозность эта была, однако, поверхностной и не выдержала столкновения со школьной обстановкой, на 30 почти лет отдалившей меня от религии...

Весна навсегда связана для меня еще с запахом сирени и позднее – жасмина, большие кусты которых росли под окнами моей детской.

С покосами начиналась летняя страда, заканчивавшаяся только в сентябре или начале октября с уборкой картофеля. Как теперь мне кажется примитивным все тогдашнее хозяйство! Кон-

ные грабли, сгребавшие сено, дисковая борона, распаривание корма для скота, силосование его – все это были новшества, испытывавшиеся в Гурьеве и удержавшиеся в хозяйстве, равно как и конная молотилка, но завести паровую молотилку тогда побоялись, ибо не было механика для нее. Хозяйство велось приблизительно на 500 десятинах, и оживление в усадьбе в летние месяцы было большое, особенно во время уборки хлебов, когда не только заполнялись все большие сараи, но и ставились во дворе ряды скирдов, постепенно до нового года обмолачивавшихся. Как я завидовал тогда деревенским мальчишкам, сидевшим на возах, один за другим тянувшихся с полей! Мне разрешалось только убирать сено и снопы на постепенно выраставших стогах и скирдах.

Кстати скажу, что так как мой следующий брат был на три с половиной года моложе меня, то я вырос, скорее, один и, быть может, благодаря этому более самостоятельным. При мне не было в те годы ни гувернантки, ни гувернеров, и в усадьбе я делал, в общем, что хотел. Не раз бывали со мною казусы, которые могли кончиться плачевно, да Бог хранил. Лет семи меня научили ездить верхом. Ученье, правда, было довольно условным. Говорили тогда, что чтобы хорошо ездить верхом, надо три раза упасть с лошади. Я эти три раза весьма благополучно и падал, но, тем не менее, хорошим наездником никогда не был. Лошадь мне для начала дали старую и смирную, но почти сразу дали полную свободу ездить, когда и куда я захочу. Объездил я тогда всю округу, и до сих пор, кажется, помню в ней каждый камень и рытвину. Завидовал я очень деревенским мальчишкам, которые под наблюдением старика Филиппа каждый вечер прогоняли лошадей в ночное.

Филипп долго работал у нас, но с перерывом в несколько лет, проведенных им в арестантских отделениях. Был он из соседней деревни Матвеевки, где хозяйничали его сыновья. В один прекрасный день вернулся к ним со сверхсрочной службы брат Филиппа, уже пожилой солдат, и потребовал выделения приходящейся ему надельной земли. Вызвали Филиппа, и после общего обеда брат умер, как показало вскрытие, от отравления мышьяком. Филипп принял всю вину на себя (хотя не менее его виноваты были его сыновья), только чтобы не разрушить хозяйства. Отношение к Филиппу моих родителей, как к надежному человеку, и после тюрьмы не изменилось, но сам он позднее был более мрачным.

Несколько аналогичный случай мне пришлось наблюдать уже в самостоятельной жизни. После Японской войны вернулся в Рамушево домой инвалидом с парализованной рукой славный красивый Александр Чайкин, получивший за рану пенсию в 6

рублей. Вскоре он собрался жениться, но семья восстала против этого, ибо невеста, портниха, была слаба для полевых работ. На этой почве произошел ряд семейный ссор, и во время одной из них Александр рассек топором череп старшему брату, который через несколько дней и умер. На суде семья старалась всячески смягчить вину Александра, как они объясняли потом, чтобы с лишением его прав он не лишился и пенсии. Это было избегнуто, и через два года Александр, присужденный к тюремному заключению, вернулся домой и служил у нас караульщиком. Утверждали также, что в это время он сошелся с вдовой убитого им брата. Нравы были простые.

Тульская губерния была из самых помещичьих. Усадьбы в ней находились почти что в виду одна от другой, но были большей частью очень скромны. Надо, однако, сказать, что дворянское «оскудение» после освобождения крестьян сказалось здесь меньше, чем в других местностях. Выкупленные платежи были и тут прожиты, земли заложены и перезаложены, но все еще оставались в руках их прежних владельцев. Среди них были люди весьма различного достоинства. Князя Владимира Александровича Черкасского я уже лично не помню, и в его усадьбе Васильевском бывал уже только значительно позднее. По наследству оно перешло к жене князя Григория Николаевича Трубецкого, брата известных профессоров философии. Порядочный и весьма культурный человек, Григорий Николаевич был дипломатом, и перед своим назначением посланником в Белград ведал в Министерстве иностранных дел отделом Ближнего Востока. Про В.А. Черкасского осталось в Вене довольно странное воспоминание. Говорили, что он освободил еще до 1861 г. крестьян деревни Пригори, но без земли, тогда, когда, будто бы, уже было известно, что освобождение произойдет с землею, сторонником которого он был. Уже только после его смерти его вдова выделила этим крестьянам так называемый «нищенский» надел.

Из помещиков-стариков наиболее ярким был П.С. Ржевский. Бывший преображенец, он отправился на Кавказ еще в 30-х годах, когда там был наместником его дядя – Головин, и принимал там участие в экспедициях против горцев. Так как во время них часто приходилось голодать, то он уверял, что якобы приучил себя есть всякую дрянь, до мышей и тараканов включительно. Был он большой сластена и уверял, что засахаренным вообще можно съесть что угодно. Кроме того, был он страшно грязен, и сам уверял, что моется мылом только в гостях. Наряду с этим, однако, дом его и особенно сад поддерживались в образцовой чи-

стоте. Был он человеком умным и исключительно порядочным и поэтому долгие годы его выбирали мировым судьей.

Из других соседей, до конца помню я Н.П. Иордана и барона В.В. Розена. Оба они бывшие офицеры, служили в уезде по выборам, ибо именья их мало что давали. Милое воспоминание осталось у меня особенно об Иордане, красивом старике с белыми бакенбардами и всегда чисто пробритым подбородком. Розена, типичного крупного немца, честного, но тяжелого человека, мать не особенно любила, особенно за его отношение к жене. Слабенькая, она была до крайности истощена непрерывными беременностями, и врачи предупредили, что следующий ребенок может свести ее в могилу. Вообще большой эгоист, барон не обратил на это внимание и, действительно, она погибла во время следующей беременности. Розен был большой любитель ботаники и составил книжку по флоре Веневского уезда, причем на Гурьевских скалах он нашел какое-то ранее неизвестное растение. Любовь к растениям он передал своему сыну Гарри, с которым мне пришлось вновь встретиться уже в Новгородской губернии, где он работал в качестве дельного специалиста по культуре болот, будучи одним из первых таковых в России.

Про Розена ходило немало анекдотов, вроде, например, что когда ему показали, что в его коляске от стершейся оси виляет колесо, он ответил: «Нет, это просто подлец кучер мало мази положил». Хорошо передразнивал его немецкий акцент Иордан.

Помню я еще семью Поповых. Старик Николай Дмитриевич ничем не славился, кроме своей крайней скупости. Старший его сын, Дмитрий Николаевич, был в Веневе предводителем дворянства, и позднее был убит собственным сыном, которого признали затем душевнобольным. Говорили, однако, что подкладка этого преступления была романическая: любовь отца и сына к одной и той же женщине. Младший сын старика Попова, Сергей, был директором Тульской гимназии, и как мне говорили, был посмешищем гимназистов. Его сменили после женитьбы на цыганке из какого-то второстепенного хора, но еще перед тем он поразил своего отца, появившись у него в Петербурге с просьбой познакомиться с балериной Цукки, к которой он воспламенился пламенной любовью. Отец никогда не был близок к артистическому миру, Цукки не знал, почему и мог только отказать ему в этой просьбе.

Ввиду изобилия помещиков, Веневский уезд был исключительно дворянским, и таковым же было и его земство. По-видимому, главным занятием его собраний были выборы на разные платные должности. Уже значительно позднее мне попала в руки книж-

ка отчетов Веневской земской управы, поразившая меня мизерностью работы этого земства. Вначале отец был в нем гласным от землевладельцев, но его быстро признали беспокойным, и далее он избирался от крестьян. Отношение их к общественным делам было в то время совершенно безразличным, и главная забота была, чтобы не увеличивалось обложение. Поэтому гласными от себя они избирали часто помещиков, причем этим после избрания, полагалось выставить избирателям ведро (т.е. 20 бутылок) водки. Ведро водки было вообще неизбежным придатком всех событий сельской жизни, и без него не обходились, например, ни начало, ни конец различных полевых работ.

В земском собрании у отца вышел как-то крупный скандал. Его предложение открыть какую-то школу вызвало замечание адвоката Черносвитова, что это демагогия. Отец вспылал, послал собрание к чёрту и ушел, несмотря на старания председательствовавшего Черкасского уладить инцидент.

Бездеятельность земства побудила мою мать выстроить в Гурьеве здание для школы и фельдшерский пункт, причем эти школу и пункт она ряд лет содержала на свои средства. Школу она позднее передала земству с небольшим капиталом, обеспечивавшим тогда выплату жалованья учителю. По-видимому, это составляло что-то около 180 руб. в год. Передать школу земству побудили мать какие-то недоразумения с инспектором народных училищ. Фельдшерский пункт мать содержала значительно дольше, ибо земство отказалось его принять, так как находило его излишним ввиду того, что от Гурьева всего 8 верст до Венёва. По субботам на пункт приезжал из Венева врач, который затем обычно оставался у родителей до вечера. Сперва ряд лет это был д-р Замбрыцкий, большой, несколько угрюмый человек и хороший врач; позднее его заменил д-р Успенский, с познаниями довольно средними, которого, однако, все любили, благодаря его добродушию.

Зимой Замбрыцкий оставался часто у родителей на два и три дня, как, впрочем, и другие заезжавшие в Гурьево соседи, и тогда с утра и до ночи шла карточная игра. Азартные игры у нас не допускались, но зато из коммерческих не забывалась ни одна. Царил винт, но когда не хватало партнера, играли в преферанс, а если игроков было всего два, то в безик или «66». Рано научился играть в винт и я, и играл недурно, но с окончанием ученья совсем забросил карты. Отмечу, что русские вообще всегда хорошо играли в коммерческие игры, среди которых винт позднее уступил место менее сложному бриджу. Знаменитый американский специалист по нему Кульбертсон ведь тоже вырос в Баку.

Поездки в Венев, в общем, довольно редкие, были в числе первых моих воспоминаний. В географиях специальностью Венева обозначалась тогда хлебная торговля, но в самом городе она вначале ничем не проявлялась. При въезде в город стояло самое большое в нем здание – белый, окруженный высокой стеной острог, из-за решеток которого выглядывали арестанты (тогда это не воспрещалось). Целью поездки бывали местные универсальные магазины, лавки Тулина и Шаталова. У Тулина была особая достопримечательность: Спаситель в штофе – искусно склеенный в нем образ с различными украшениями.

Сам Венев, ничтожный городишко с 5.000 жителей, ничего интересного не представлял, а вся его промышленность сводилась к небольшому винокуренному заводу Махотина. В семье старого его владельца была какая-то драма, вызвавшая вмешательство судебных властей, но кончившаяся ничем. Говорили потом, что с нею был связан переход в адвокатуру старшего из сыновей старика, талантливого товарища прокурора В.Е. Махотина. Позднее он был веневским городским головой и славился своим умением петь цыганские романсы.

Хлебная торговля производилась Веневскими купцами по всему уезду. Когда устанавливался санный путь, они объезжали помещиков и скупали их запасы. Помню я долгую их торговлю с отцом, особенно за последнюю копейчку, битие по рукам и через несколько дней появление в усадьбе сотен подвод, отвозивших купленный хлеб на железную дорогу. Целые дни насыпались рожь и овес в кули, взвешивавшиеся на весах и тут же зашивавшиеся, и большие закрома, заполненные доверху зерном, быстро пустели. Все это прекратилось в конце 80-х годов, когда в связи с введением Бисмарком высоких таможенных пошлин на привозные хлеба, культура их в России стала безвыгодной. Собственные посевы в Гурьеве тогда сократились и землю стали сдавать в аренду, благо брать ее всегда было больше охотников, чем ее имелось. Наделы в Тульской губернии были небольшие, и с приростом населения крестьяне испытывали острый земельный голод, почему и были готовы арендовать земли даже за плату, превышающую нормальный ее доход, только бы найти применение своему труду.

Посевы у родителей были особенно большие в те несколько лет, что им принадлежали 300 десятин в соседней Хрусловке, купленные у старушек Яньковых. Они выговорили себе право жить в ней до смерти в их доме, но через несколько лет посланная на чердак девушка подпалила свечкой соломенную его крышу, и дом сгорел с такой быстротой, что старушки почти ничего спасти не успели.

Пожары вообще были тогда главным бедствием русской деревни, и в сухие годы не раз бывало, что по ночам было видно зарево на горизонте в двух-трех местах. Во всех почти усадьбах были пожарные трубы, выезжавшие на ближайшие пожары, но большой пользы от них не было, ибо пока они приезжали, пожар обычно уже разрастался, а кроме того почти всюду не хватало воды. Гурьево на моей памяти горело два раза и оба ночью (что давало основание предполагать поджоги), и оба раза из-за недостатка воды пожар прекращался, лишь дойдя до края деревни. После одного из этих пожаров в Гурьеве была бабушка Мекк Н.Ф., и, убедившись, что в усадьбе положение не лучше, устроила в ней водопровод из Осетра. Было это еще в 1880-х годах, и водопровод был предметом интереса во всей округе, хотя, припоминая его теперь, я не могу не признать его довольно примитивным. К числу первых моих воспоминаний относятся также огромные гурты скота, которые по Каширскому большаку прогонялись из степных местностей в Москву. Обычно они останавливались на ночь около усадьбы, раскладывали костры, и получалась картина довольно живописная, напоминая мне сцены из увлекавших меня тогда повестей Жюль Верна, Майн-Рида и Купера. Вскоре, однако, гонять гурты было запрещено, ибо они распространяли сибирскую язву и чуму рогатого скота.

Ярким осталось в памяти у меня и пребывание в садах «съемщиков», арендаторов урожая яблок. Еще с весны объезжали они всю округу, толковывались с помещиками о цене, и в середине лета ставили в садах свои шалаши, в которых помещались караульные, оберегавшие сады от набегов соседних мальчишек. В этих шалашах всегда был какой-то приятный, но неопределенный запах, смесь яблочного с дымом от костра, на котором сторожа готовили себе пищу. Позднее, с созревaniem яблок, начиналась их съемка и постепенная отправка в Москву на подводах – уложенные в «бунты», обшитые рогожами. На эти дни сады оживлялись толпой баб и мальчишек, снимавших и собиравших яблоки. Как-то в период съемки меня, еще маленького, напугал юродивый, появившийся в саду в одной грязной рубашке, все время подпрыгивавший и издававший какие-то нечленораздельные звуки. Пальцев у него не было – он их отморозил, а как я потом слышал, он вскоре совсем замерз, бегая зимой все в той же одной рубашке.

Кроме соседей, в Гурьево наезжали и гости из Москвы, больше родные, но как-то с моими дядями приехал и Дебюсси, будущий знаменитый композитор. У меня о нем не осталось, впрочем, никакого воспоминания, и лишь значительно позднее, наткнувшись

в одном из нотных альбомов, уступленных мне матерью, на рукопись какой-то пьесы, посвященной ей и подписанную им, как он себя именовал еще тогда – де-Бюсси, я узнал от матери, что он эту пьесу написал в Гурьеве. По общим отзывам был он очень неинтересен и бесцветен, и в те годы память о нем быстро стусевалась в семье.

Из других более или менее постоянных посетителей Гурьева отмечу характерную фигуру «дяди-кума», Александра Филаретовича Фраловского (он кого-то крестил во время бно с моей матерью, тогда еще девочкой, почему она и звала его кумом). Старик цыганского типа, он после смерти деда К.Ф. фон Мекка выполнял все денежные поручения бабушки с большой аккуратностью и щепетильностью. В семье его очень любили и уважали, хотя подчас и посмеивались над ним. Много рассказывали анекдотов про его поездки за границу к своей сестре, нашей бабушке: говорил он только по-немецки, да и то очень плохо и не раз попадал в комичные положения, напоминавшие до известной степени «Наших за границей» Лейкина. В Москве случилось ему как-то, зайдя в известную тогда кондитерскую Трамбле, несмотря на свою аккуратность, забыть там портфель с процентными бумагами на 800.000 руб. Когда он, перепуганный, вернулся за ним через час, продавщица вернула ему портфель, не посмотрев даже, что в нем находится; он дал ей за это 1000 р., сумму в то время крупную; но он очень не любил, чтобы ему напоминали этот казус. В Гурьеве он сразу налаживал охоты и рыбные ловли, но обычно с плачевными результатами. Хотя в лесах водились зайцы и лисицы, а зимой появлялись и волки, однако только в редких случаях дяде-куму удавалось застрелить какого-нибудь жалкенького зайчонка.

Вообще про охоты в Гурьеве в то время говорили, как о чем-то прошедшем, и хотя Веневская засека, в которую еще в конце 70-х годов ездил охотиться Вронский (из «Анны Карениной»), подходила к Гурьеву верст на десять, про охоты в ней я уже не слышал. В Гурьевском лесу, впрочем, я помню одну охоту. Как-то с утра из него стал доноситься лай, улюлюканье и крики. Отец послал туда справиться приказчика Немцова, который вскоре вернулся с известием, что он получил удар нагайкой от хозяина охоты, корнета Савина, с угрозой, что если он не уберется, то Савин прикажет его выпороть. Почему Савин попал в Гурьево, не знаю, но вообще он был всероссийской знаменитостью, ибо о его похождениях и мошенничествах рассказывали в самых разнообразных местностях, не раз он за них отсиживался в тюрьме, но, выйдя из нее, снова придумывал какой-нибудь новый фортель и всегда находил наи-

вных людей, которых и нагревал на большие суммы, моментально проживавшиеся. Охота, с которой он явился в Гурьево, тоже была результатом одной из таких выдумок. Учился он в Николаевском Кавалерийском Училище с дядей моей жены М.М. Охотниковым, который позднее оказался невольным виновником одного из первых арестов своего бывшего товарища. Не то в Козлове, не то в Грязях он столкнулся, входя в вагон, с Савиным и воскликнул: «Здравствуй, Савин!». Сразу же к нему подскочили два сыщика, следившие за мошенником уже в поезде, и с возгласом «А, так это действительно Савин!» арестовали его.

Веневская засека, через которую проходил Тульский большак, памятен мне еще по Веневу Монастырю, расположенному при въезде в нее. Монастырь этот был из числа упраздненных еще при Екатерине II, и от него оставалась только одна небольшая и неинтересная церковка, зато на кладбище я записал несколько курьезных эпитафий. Одна из них запомнилась еще и посейчас: «Памини, Господи, душу приставшую Тебе».

На седьмом году меня стали учить. Первым моим учителем был учитель гурьевской школы Спасский, научивший меня читать, писать и четырем правилам арифметики. Хуже обстояло с Законом Божьим, ибо я всегда, при хорошей вообще памяти, очень туго заучивал что-либо наизусть, и молитвы не составляли исключение. Воспоминание о Спасском наводит меня на мысль о тогдашнем отношении к заразным болезням: было известно, что Спасский был болен чахоткой в одной из последних ее стадий, и вскоре умер. Однако, несмотря на заразный характер его болезни, он мог учить и в школе, и меня. Мать моя, между тем, всегда интересовалась медициной, и, казалось бы, понятие о заразности тех или иных болезней должно бы было у нее быть.

Одновременно с уроками Спасского отец стал учить меня географии России у стенной карты Ильина. География меня всегда интересовала, и я очень охотно запоминал все, что отец мне говорил. Зато обучение меня отцом столярному мастерству не пошло мне впрок. Научился я с грехом пополам строгать, но дальше этого не пошел. Отец вообще любил разные работы, пилил и рубил дрова, красил и косил, и эту любовь я унаследовал от него. С ним был как-то курьезный, но неприятный случай: он красил вместе с маляром крышу, где у него сделался прострел, уложивший его без движения. Пришлось завязать его в тюфяк и на веревках спустить на землю.

Работы эти напоминают мне разных рабочих и подрядчиков, появлявшихся периодически в усадьбе. Туманно помню я старика

обойщика, говорившего, что ему пошел якобы 3-й, т.е. 103-й годок; хорошо зато сохранились у меня воспоминания о плотнике Пармене и каменщике Меньшикове, долгие годы почти каждое лето работавших в Гурьеве со своими артелями. Они работали хорошо, и я не помню, чтобы с ними бывали какие-нибудь неприятности. Честность их была бесспорна и никаких расписок с них не требовалось. На постройку шел местный гурьевский известняк, из которого выпиливались плиты и цоколя, в первые годы желтоватобелые, а позднее принимавшие темно-синий, почти черный цвет. Плиты и цоколя эти, шедшие в Тулу и даже в Москву, добывались из двух «гор», подземных туннелей, один из которых, в так называемой «бьяковской» горе (под соседней деревней Бяково), тянулся на несколько верст. Во избежание обвалов в них ставились подпорки, но подчас работающие пренебрегали ими и платились за это увечьями, а то и жизнью, когда на них обрушивались камни. «Горы» были на земле отца, и работающие платили ему с «топора», т.е. с человека, если память мне не изменяет, до трех рублей в год. Работа производилась при свете лучины в конце туннеля и его ответвлений, где отсекались камни, которые затем вывозились на салазках на малорослых лошадях, шедших подчас в полной темноте. Рассказывали мне, что для того, чтобы приостановить рост жеребят, предназначенных для этой работы, их поили водкой, но за достоверность этого не поручусь. Распилка камня на плиты и цоколя производилась снаружи на самой горе, образовавшейся за многие годы работы целых поколений из осколков добывавшегося камня. Работа в горах прекратилась, когда для добычи камня для постройки Веневской ветви Рязанско-Уральской ж.д. был открыт в Бякове большой открытый карьер.

Из Гурьева почти каждый год родители ездили в Москву – или через Тулу, или через Лаптево. До Лаптева было всего 35 верст, тогда как до Тулы 49, так что приходилось высылать на полдороги, в Ананьино, подставу. Поэтому ездили обычно на Лаптево. Дорога туда была близка к тем, о которых раньше в почтовых дорожниках обозначалось: «Сей тракт во все времена года неудобопроезден». Две засеки и последние деревни перед станцией были полны препятствий, которые удавалось преодолеть только шагом, да и то с опаской. Поэтому выезжали из Гурьева заблаговременно, часов за семь до поезда, в двух или трех экипажах, и на станции направлялись на постоянный двор Шепелева, где закусывали и пили чай. У нас, детей, эти дни были часами нервного возбуждения, которое успокаивалось только, когда садились в вагон. Часто это бывал директорский вагон Московско-Рязанской

ж.д., высылавшийся для нашей семьи в Тулу, где его прицепляли к скорому поезду.

Не скажу, впрочем, чтобы и дорога на Тулу была идеальна: много рассказывали про то, что в Чулкове, на окраине Тулы в весеннюю распутицу тонули в грязи лошади. Возможно, что это было преувеличение, но помню, что как-то мы с отцом ехали в Тулу именно в распутицу, и как раз в Чулкове кучер остановил четверку, перекрестился и погнал лошадей карьером через залитое водой месиво, которое представляла улица этой слободы.

Первое мое воспоминание об этих поездках относится к 1881 или 1882 г. Остановились мы тогда в доме бабушки Н.Ф. фон Мекк, в котором я родился (кстати, мать не без огорчения передавала мне о том, что дед приветствовал мое появление на свет – я был первым его внуком – фразой: «Какой урод!»). О доме этом говорится в переписке бабушки с Чайковским, но у меня о нем почти не осталось воспоминаний*. Какие-то большие и темные комнаты, светлая застекленная галерея и, главное, два каменных льва, стоявших при входе, и которые оставались там до 1917 г.

Впервые помню я в этот период моих младших дядей, Макса и Мишу, еще мальчиков. Через полгода Миша, здоровый и несколько толстоватый, умер на руках у моей матери от эндокардита. В числе врачей, лечивших его, был и знаменитый тогда Захарьин. Миша лежал в купленном тогда бабушкой именице Плещееве, около Подольска, и Захарьин потребовал за визит туда 3000 руб. и коляску с сиденьем определенной высоты, ибо он страдал ишиасом. Перед тем как сесть в нее, он проверил эту высоту своей палкой, на которой была соответствующая метка. Про Захарьина вообще тогда ходило много анекдотов о его причудах, которые всем, и особенно московскому купечеству, приходилось исполнять без возражений.

После Нового 1882-го года вся наша семья поехала во Флоренцию к бабушке. Надо сказать, что она, по-видимому, давно уже болела туберкулезом, и доктора посоветовали ей проводить зимы в более теплом климате, что она и выполняла. Ехали мы через Вену и Земмеринг, частью в старых вагонах с боковыми входами, в которые в часы обеда подавали особые блюда с едой. С нами ехал повар для бабушки, который в Вене пропал и вернулся только в последнюю минуту, умудрившись найти в этом городе какой-то Кремль. Хотя никакого иностранного языка он не знал, в Италии он сумел получать процент с покупок не хуже, чем в Москве.

* Ныне Рождественский бульвар, 12. – *Примеч. сост.*

Бабушка занимала во Флоренции большую виллу банкира Оппенгейма, в которой была также зрительная зала. В ней я изображал публику, а мои две младшие тетки, обе еще девочки, что-то представляли. Из сада был вид вниз на весь город, который уже тогда произвел на меня большое впечатление. Мост с лавками на Арно и площадь Сеньории со статуями величайших скульпторов, и один из соборов, в котором, когда мы вошли в него, играл военный оркестр, остались у меня в памяти, так же, как и похороны по ночам, когда гроб несли члены особых похоронных братств в закрывавших их лица особых черных плащах с капюшонами. Говорили, что в числе их членов был и тогдашний король. Почти каждый вечер раздавался унылый колокольный звон, вызывающий очередных членов братства, и затем можно было видеть их, собирающихся около квартиры умершего.

В эту зиму бабушка пригласила во Флоренцию Чайковского, которого я тогда не помню, но с этим периодом связаны зато мои первые впечатления о бабушке. Хотя ей было всего немного более 50 лет, выглядела она, вероятно благодаря болезни, гораздо старше и совершенно отошла от всякой общественной жизни. Весьма возможно, что это отдаление от людей она унаследовала от своей матери (я уже упоминал, что она умерла монахиней), но сказала, по-видимому, и та подлость, которую она увидела, когда дед разбогател, даже среди близких людей. Позднее мать мне рассказывала, например, что муж ее тетки Воронеж, получив от деда 30.000 рублей без расписки, потребовал эту сумму вторично. Другой раз дед забыл на столе у князя Урусова, брата мужа одной из племянниц его, известного адвоката князя Александра Ивановича, портфель с несколькими тысячами рублей, который тот вернул, но потребовал себе треть денег за «находку».

Трудно судить об отношениях между бабушкой и дедом. Несомненно, она много помогала ему в делах, но осталась ли в их отношениях сердечность, боюсь сказать. Были, по-видимому, и грешки со стороны деда. Отец рассказывал, что у него был очень неприятный разговор после смерти деда с флигель-адъютантом Максимовичем (позднее Варшавским генерал-губернатором), явившимся получить 75.000 руб. по векселю, оставленному дедом женщине, с которой он, по-видимому, был в связи и на которой Максимович сразу после этого женился. Отец, выплатив эту сумму, отказался подать Максимовичу руку, что тот и скупал. Должен, причем, сказать, что я впоследствии слышал не раз, что госпожа Максимович была женщина не только интересная и любезная, но и морально более высокая, чем ее супруг.

Бабушка отдалилась понемногу и от детей. Уже давно младшими из них занимались старшие и еще незамужние ее дочери. У матери осталось об этом времени довольно тяжелое воспоминание, и она как-то сказала мне, что проводить бессонные ночи около кровати своего больного ребенка и естественно, и не утомительно, но не то чувствуется, когда приходится ухаживать хотя бы даже за братом.

Когда, мы были во Флоренции, бабушка уже никого не видела из посторонних, и даже зятя допускались к ней лишь изредка. Однако более ярко все это выразилось в Плещееве. Перед тем бабушка продала Браилово – большое имение, купленное дедом около Жмеринки. Отцу пришлось перед этой продажей разбираться в Браиловских счетах, довольно путанных, и он вывел заключение, что большой сахарный завод, которым управлял поляк «граф» Сципио, давал доход только потому, что свекловица из имения передавалась ему за гроши, последствием чего были крупные убытки по имению. Заключение отца было об общей бездоходности Браилова, которое и было продано князю Горчакову, племяннику канцлера.

Плещеево было, несмотря на свои 100 десятин, скорее дачей, чем имением, и хозяйство в нем было ничтожно. Расположено оно было на берегу Пахры, вблизи Подольского цементного завода, и позднее было им куплено. Было в нем два солидных каменных дома, в главном из которых висели на стенах портреты каких-то современников Екатерины II. Говорили, что это бывшие владельцы Плещеева Лазаревы. Основатель этой семьи (один из представителей которой основал в Москве Лазаревский институт восточных языков) привез якобы в Россию из Персии знаменитый бриллиант «Орлов», зашитым под кожей в ноге и составил себе позднее крупное состояние, в основание которого легли полученные за этот камень деньги.

Жизнь в Плещееве в те годы текла очень оживленно, хотя бабушка держалась ото всех в стороне, и в ее четыре комнаты большинство обитателей доступа не имели. С утра, когда бабушка пила кофе в первой из этих комнат, маленькой и выходившей на большую крытую и темноватую веранду, мы ходили здороваться с ней. Бабушка всегда была с нами очень ласкова, разговаривала с нами своим слабым голосом. Позднее, когда мы играли в больших Плещеевских садах, бабушка обычно проходила мимо нас, гуляя с кем-либо из дочерей, большей частью с тетей Юлей. Никто из многочисленных гувернеров и гувернанток не должен был к ней подходить, и как-то общее смущение вызвал гувернер моих

братьев Беклер, подошедший здороваться с ней, вместо поклона издали. После завтрака и обеда, когда бабушка по совету врачей четверть часа сидела без движения в той же маленькой комнатке, мы приходили благодарить ее, а вечером прощались с нею в ее гостиной, довольно большой комнате, в которой она слушала чтение одной из своих дочерей. У нее было слабое зрение, и много читать она не могла, отдавая зато много времени писанию писем. Делами она занималась сама до конца жизни, и они вызывали большую переписку. Кроме того, часто писала она детям и писала немало. Письма ее Чайковскому в этом отношении не были исключением.

Читала обычно бабушке тетя Юля, а когда бывала в Плещееве моя мать, то и она. По вечерам часто играло в столовой трио, должно быть лет 15 бывшее у бабушки. Часто пела тетя Юля. Голос у нее был большой, но она часто детонировала. Лучше ее пела тетя Лида Левиз, но она редко бывала в Плещееве. Про некоторых участников Трио – Котека и Дебюсси я только слышал, зато хорошо помню двух братьев Пахульских, Владислава и Генриха Альбертовичей, и Данильченко, виолончелиста, игравшего позднее в Московской опере. Отец Пахульских, совсем простой человек, был управляющим в Плещееве. Из его сыновей, Генрих был преподавателем рояля в Московской консерватории и композитором, хотя и не из крупных. Владислав, талантливый скрипач, женился потом на тете Юле, и после смерти бабушки жил с тетей в Плещееве. В 1896 г. я был в последний раз там у них и вынес оттуда очень тяжелое впечатление: Владислав был уже определенно ненормальным, а тетя, полу-глухая и старая, была около него просто жалкой.

В концертах бабушкиного Трио исполнялась музыка самая разнообразная. Играли Моцарта, Бетховена, часто слышал я Менделсона, но, как это ни странно, мало воспоминаний осталось у меня о Чайковском, если не считать его романсов, которые пели тети. Играли в столовой при довольно слабом свете лампы и свечах пюпитров (электричества еще не было), и с этой картиной у меня связана неизбежно фигура Аркадия, давнишнего бабушкиного лакея, всюду ее сопровождавшего. Никогда ее не оставляла и ее очень старая горничная Лукерья, которую мать очень не любила за ее сплетни, имевшие иногда вредные последствия. Третьим непременным членом бабушкиного штаба (вообще, как и у нас, все жили у нее долго) был Иван Васильев Байков. Он был как бы ее представителем в Москве, заведовал ее домом и выполнял поручения всей семьи. О нем упоминает в своей переписке и Чайковский. Иван Васильев был человек крупный, весь заросший

волосами и весьма грязный. Все свои ответы он начинал словом «слушаюсь», а затем, подчас подробно, объяснял, почему поручаемое ему дело неисполнимо.

С Плещеевым у меня связаны первые, вполне точные воспоминания о семье, матери и в первую очередь о тете Юле. Бесконечно добрая, но незаметная, она отдала себя всецело другим, своей матери и младшим братьям и сестрам, и личной жизни не имела. Долго оставалась она старой девой, и почему, в конце концов, вышла замуж за Пахульского, я так и не знаю. Любви ни с той, ни с другой стороны предположить я не могу, самое большее – могла быть долголетняя привычка.

При бабушке еще, первоначально жили в Плещееве две ее младшие дочери – тетя Соня и Милочка. Эта последняя была всего на три года старше меня, и я ее никогда тетей не называл. Обе они были прелестными девушками и позднее женщинами, и, кажется, все их любили. Вскоре тетя Соня вышла замуж (ей только что исполнилось 16 лет) за артиллерийского офицера Алексея Александровича Римского-Корсакова. Знакомство их состоялось в Гурьеве, куда по указанию бабушки были они приглашены. Хотя у бабушки были более или менее современные взгляды на брак, и никакого насилия над детьми она себя не позволяла, тем не менее, она считала, что в выборе их привязанностей она должна ими руководить, и устраивала их встречи, якобы случайные, с подходящими женихами или невестами. О женитьбе дяди Коли на Давыдовой говорится в переписке бабушки с Чайковским, и их планы не оправдались только в том, что дядя выбрал не ту сестру, которая ему предназначалась. А.А. Римский-Корсаков был братом мужа другой Давыдовой, будущего адмирала Н.А. Римского-Корсакова, и был указан бабушке дядей Колей. Надо признать, что выбор этот был во всех отношениях неудачным. Не было в Алексее ни красоты, ни особого ума, а в моральном отношении оказался он далеко не идеальным мужем. Уже гораздо позднее мне пришлось слышать про его крупные траты на довольно известную тогда танцовщицу Трефилову, хотя в это время состояние тети Сони он уже порядочно порастряс.

Был он одно время Зубцовским предводителем дворянства, и стремился попасть в Тверские губернские предводители, но безуспешно, и, разойдясь с тетей, сошел на нет. У них было четверо детей, про которых ничего особенного сказать не приходится.

Тетя потом вышла вторично замуж за своего соседа по имени князя Д.М. Голицына, но долго с ним не прожила. Он был раньше офицером Конвоя, но должен был оставить службу за какой-то

пьяный скандал. Позднее в Государственной Думе А.А. Лодыженский, другой сосед тети, мне как-то сказал: «Удивительно, какая Софья Карловна прелестная женщина, а как ей с мужьями не повезло». После второго мужа тетя оказалась без средств, и тогда стала директрисой одной из известных московских гимназий, которую ей купил дядя Коля за счет семейного фонда. Позднее она открыла первые в России Высшие женские курсы, известные тогда под названием Голицынских.

Тетя Соня всем интересовалась, и Лодыженский был прав, что она была очень привлекательна, хотя мать моя ее любила меньше других сестер. Быть может, ее ригоризм не мирился с семейными неладами тети, а возможно, что сама неоспоримая глава дома, она не прощала сестрам того, что они так легко подчинялись мужьям.

Кстати, чтобы потом к ним не возвращаться, упомяну здесь о семье Корсаковых. Как раз вскоре после замужества тети Сони три их ветви – просто Корсаковы, Римские-Корсаковы и князья Дондуковы-Корсаковы праздновали 500-летие пребывания их рода в России, и все они рассказывали, что происходят от известной римской семьи князей Корсини, причем эти были якобы потомками бога Сатурна.

У Алексея Александровича Римского-Корсакова было 5 братьев, один из коих, Сергей, одно время часто бывал у моих родителей и постоянно играл с моим отцом в безик. Он был тогда полковником и адъютантом Артиллерийской Академии, а выйдя в отставку, стал главноуправляющим графа Строганова. Сын его, Александр, в последние месяцы перед революцией был где-то губернатором, не знаю насколько удачным. Могу только сказать, что по своему тихому, скромному характеру бороться с «гидрой революции» он был совершенно не пригоден. Двое других его дядей – Николай и Александр были более известны. Николай (тот, что был женат на Давыдовой) был позднее директором Морского корпуса и товарищем Морского министра, а Александр дошел по судебному ведомству до члена судебной палаты, но, не знаю почему, сослуживцы его не любили, возможно, что из-за его крайних правых убеждений. Позднее он был губернатором и членом Государственного Совета, и везде его сопровождал аромат ретроградства. Кроме того, бывают люди, которых мало кто любит, и он был из числа их, хотя оговорюсь, что я его очень мало знал.

Возвращаюсь к Плещееву и Милочке. В то время при ней состояла пожилая гувернантка, немка, Юлия Францевна, несколько припоминаю – хорошая, но несколько смешная женщина. Всегда около ее комнаты или в ней помещался тоже старей, уже облез-

ший попугай-какаду, говоривший несколько слов, и совершенно ручной. Юлия Францевна и попугай исчезли как-то сразу, вероятно умерли одновременно. Все мои игры проходили тогда под попечением и при участии Милочки, хотя я ей и надоедал подчас моими приставаниями. Впрочем, при мягкости ее характера я этого тогда не замечал. Как-то у нас с нею случился казус, впервые поставивший меня перед вопросом смерти. Поехали мы как-то кататься. Милочка и я впереди в маленькой колясочке на пони, сзади – Юлия Францевна с другими детьми на большой лошади. Когда мы повернули назад, этой очевидно надоело тащиться за нашим Понькой, и она нас в несколько шагов обогнала. Понька оказался, однако, с гонором, помчался вскачь, и скоро мы оказались опрокинутыми в канаве, я – на Милочке, которая лишилась сознания. Эти несколько секунд, пока она не пришла в себя, и когда я представил себе, что она убита, до сих пор остались одним из самых страшных воспоминаний моего детства.

У моих теток была тогда еще другая гувернантка, англичанка Анни, молоденькая, очень выдержанная девушка, на которой вскоре женился дядя Саша, очень к ней подходивший своим спокойным характером. Свадьба их состоялась в 1886 г., почти одновременно со свадьбой тети Сони, в приходской церкви на Мясницкой. Дядя Саша был вообще не крепкого здоровья, и во время венчания почувствовал себя дурно, так что среди набравшейся в церковь случайной публики пошел говор, что его насильно женят. Дядя Саша учился в Правоведении, но из-за плохого здоровья ушел из гимназических классов, что не помещало ему стать позднее очень образованным человеком. Он очень интересовался экономическими вопросами и написал по ним ряд статей в специальных журналах. Другими его двумя страстями были книжные знаки (*ex libris*) и особенно альпинизм. Несмотря на свою физическую слабость, он совершил много восхождений на Кавказе, и был одним из учредителей и долголетним председателем Русского альпинистского* общества (точнее его названия я не помню).

Вскоре после свадьбы он поехал с тетей Анни в Аргентину, где на Уругвае поселились родители его жены, тогда, кажется, простые фермеры, позднее с поднятием цен на землю, ставшие богатыми людьми. С ними поехал и дядя Макс, потом рассказывавший мне, что в каком-то уругвайском городе он попал в очередную, непродолжительную и бескровную южноамериканскую революцию. Из Аргентины уже тогда вывозилось в Англию мясо,

* Русского Горного. – *Прим. сост.*

и по возвращении дядя Саша решил заняться этим делом в России. Заказал он два парохода-холодильника для перевозки мяса в Англию из Либавы, наладил доставку скота в этот порт, но все это дело проводилось с большим убытком для дяди, ибо русское мясо оказалось качеством гораздо ниже аргентинского, и сбыт в Англии находило только по очень низким ценам. Позднее дядя был несколько лет членом правления Московско-Казанской ж.д., но делом этим не интересовался, кажется, не ладил с дядей Колей и скоро из управления ушел.

Дядю Колю фон Мекк я в эти годы мало помню. В Плещееве он бывал, ибо это были годы его жениховства и женитьбы. Познакомился он с невестой, если не ошибаюсь, в Петербурге, но сблизился с нею в Каменке, где и сделал предложение. Каменка, родовое имение Давыдовых, с начала 19-го века принадлежало двум братьям, один из которых принимал участие в заговоре декабристов. У них собирались заговорщики, и вместе с ними там был как-то и Пушкин, увлекавшийся тогда женой одного из братьев, рожденной герцогиней Граммон, известной по его стихам под именем Аглаи.

Другой Давыдов, Василий, полковник или генерал-майор – не уверен, женился на крестьянке, которая последовала за мужем в Сибирь, когда он был сослан туда на каторгу. Там родился у них сын Лев, который носил, однако, до амнистии в 1856 г. фамилию не Давыдова, а по отцу – Васильева. Когда он вернулся в Каменку, братья, рожденные до ссылки, приняли его в общение, но Каменка осталась их собственностью, а Лев Васильевич стал только ее арендатором. Был он мужчина крупный и очень красивый. Вероятно, красавицей была и его жена Александра Ильинична Чайковская, которую я помню только пожилой. Красота родителей передалась и большинству детей. Только тетя Анна и ее младшая сестра Наталия уступали в этом отношении родителям.

Редкой красоты были две старшие сестры – Татьяна и Вера, оставшиеся у меня в памяти, как олицетворение воздушных фей. Вера вскоре умерла от туберкулеза, а Татьяна скончалась на балу в Дворянском Собрании. Судьба была к ней мачехой: еще в Каменке у нее был роман с каким-то музыкантом-евреем, что по тогдашним понятиям исключало возможность брака. Так как она, однако, забеременела, двое ее дядей, Петр и Модест Чайковские, которым она открылась, увезли ее за границу, где она и родила мальчика, усыновленного третьим дядей, Ипполитом. Рассказывали мне, что как-то уже после смерти Тани, Лев Васильевич стал смеяться над Ипполитом Ильичом, что он усыновил «жиденка»,

на что тот, не сдержавшись, ответил, что это собственный внук Давыдова. Позднее Таня была невестой какого-то князя Грубцового, но тот отказался от брака, узнав о ничтожности ее приданого. Говорили, что после этого она стала морфиноманкой, что и вызвало преждевременную ее смерть.

Тетя Анна была умной женщиной, хорошей женой и матерью, но ее холодность не располагала к ней сердца, и в семье Мекк ее не любили. Александр Филаретович Фраловский дал ей кличку «Анна I-й степени», и я её потом часто слышал. Когда дядя Коля ею увлекся, он был правоведом предпоследнего класса, и весной отложил экзамены до осени, летом в Каменке ничего не делал и осенью срезался. Так как ему предстояло, следовательно, учиться еще два года, он бросил Училище и женился. В семье осталось воспоминание, что наиболее способным из братьев был не он, а старший брат, дядя Володя. Я дядю Володю знал только будучи мальчиком и подростком, и судить лично об этом не могу, но про дядю Колю могу сказать, что это был человек, несомненно, блестящий и симпатичный. Отзывался он на все новое, рутинером никогда не был и легко воспринимал все. После свадьбы он поселился в Москве, где поступил рабочим в мастерские Московско-Рязанской железной дороги, и вскоре был назначен начальником этих мастерских, проработав еще машинистом поездов. С тех пор у него установились со служащими добрые отношения, сохранившиеся до конца его жизни.

В 1896 г. он как-то предложил мне сопровождать его на паровозе до Вешняков. Поезд шел двойной тягой, и на какой-то остановке дядя, ставший править I-м паровозом, не дотянул его сразу до водокачки. Тут же со второго паровоза недовольный старик-машинист выскочил ругать переднего машиниста, но, сконфуженный, переменял тон, и они обменялись с дядей самыми дружескими фразами.

Дядя Володя бывал в Плещееве редко и ненадолго. Он был любимцем своей матери, но не скажу, чтобы у меня осталось о нем приятное воспоминание. Внешностью он не был красив, а вся обстановка вокруг него слишком уж отличалась от той, к которой я привык. Дядя кончил юридический факультет Московского университета, — говорят, хорошо, но на свое несчастье, еще совсем молодым человеком, получил в свое распоряжение крупные суммы, а безграничная любовь матери позволила ему вытворять все, что он хотел. Сразу после университета он был выбран председателем правления Ландварово-Роменской ж.д., все акции которой

принадлежали бабушке, и стал бесконтрольно распоряжаться доходами общества.

Уже тогда вокруг дяди Володи собралась теплая компания приятелей, и отец мне рассказывал про случай, что дядя поехал на осмотр линии с этими приятелями, которые сели играть с ним в азартные игры. Когда дядя проиграл все наличные деньги, он стал забирать кассы с попутных станций, которые тоже перешли в карманы его спутников. У отца, по-видимому, осталось впечатление, что игра была нечистая. Отмечу впрочем, что среди этих приятелей оказалось и несколько людей порядочных, которые остались верны дяде до самой его смерти, когда он умирал от прогрессивного паралича.

Наиболее известен из них рассказчик И.Ф. Горбунов, которого я помню рассказывающим у дяди анекдоты, вызывавшие общий смех. По-видимому, большей частью они были нецензурные. Один из них, хотя и вполне приличный, нигде, кажется, не воспроизведен, почему я и приведу его здесь. Горбунов был также дружен с графом С.Д. Шереметевым, и как-то был с ним на охоте в Псковской губернии. На обратном пути на станции Псков Горбунов, умевший всюду выживать курьезы, разговорился в буфете с соседом по столу, оказавшимся гробовщиком. На вопрос Горбунова «Как дела?» он ответил, что «сейчас дела плохи, а вот весной были хороши». – «А что?» – «Младенец шел».

П.А. Скальковский – был человек незаметный, и запомнился мне, главным образом, своей постоянной экземой.

В.А. Назаров – товарищ дяди Володи по Университету и заведующий коммерческой частью Московско-Рязанской железной дороги, изрядный был забулдыга, что не мешало ему, впрочем, быть дельным и работающим человеком. Сам про себя он говорил, перефразируя известное французское стихотворение:

«Pauvre fille deséchée, de ta tige détachée
D'on tu vievs? De chez Felicien
Cri tu vas? Chez Cubàt»*.

Как-то в ресторане, будучи уже пьян, он стал надоедать Е.М. Лейхтенбергскому, который старался от него отделаться. Заметив это, Назаров обратился к герцогу: «Eugène, je te gêne?»**. Ввиду крайнего добродушия Назарова, которого обычно все называли

* Несчастный высохший лист, оторвавшийся от стебля
Откуда ты идешь? От Фелисьена
Куда ты идешь? К Кюба.

Кюба и Фелисьен – известные тогда рестораны.

** Эжен, я тебя беспокою.

просто «Васькой», ему обыкновенно все прощалось. Кстати, запишу еще несколько слов про К. Скальковского, брата Павла. Моральные его качества оценивались не особенно высоко, но талантливость его признавалась всеми. Когда Ермолов был назначен министром земледелия и решил уволить Скальковского, тогда директора Горного департамента, то сослался на его сотрудничество по вопросам балета в «Новом Времени». На это он получил ответ: «Вот вы мои легкие статьи, как и все, читаете, а знаете ли вы, что у меня около ста статей в специальных журналах по вопросам горного дела?». Тем не менее, Скальковский был смещен. У Скальковского была еще сестра певица, вышедшая замуж за известного врача Бертенсона.

Дружен был с дядей Володией Мекк также известный тогда приятель Александра III генерал Черевин, начальник дворцовой охраны. По-видимому, их сблизило вино, но говорили, что Черевин был вообще человек честный и не интриган.

В числе дядиных приятелей оригинальной личностью был сенатор П.Г. Извольский, который остался верен памяти дяди даже после его смерти. Уже старик, очень некрасивый, он был всегда в кого-нибудь платонически влюблен. Последним его увлечением была жена дяди, Елизавета Михайловна. Дядя обращался с ним под пьяную руку даже жестоко, но старик ему все прощал, по-видимому, из-за тети.

Женился дядя рано на 15-летней девушке, дочери «вдовы Поповой», владелицы известного тогда завода водок, разделявшего по всей России славу с другим водочным фабрикантом – Смирновым. У тети Лизы Мекк-Поповой было два брата, которых я помню. Один из них, кажется «сумец», застрелился еще молодым офицером, и это были первые военные похороны, которые я помню. Другой брат – штатский, был женат на известной тогда опереточной певице В.В. Зориной. Довольно высокая блондинка, она была миловидна и мне нравилась, но моя мать ее очень не любила и избегала встреч с нею. Впрочем, «ахтёрки» были тогда вообще племенем отверженным в глазах всех классов населения.

Елизавета Михайловна была типично цыганской внешности, всегда очень элегантно одетая, но я сказал бы некрасивая. По-видимому, жизнь ее была не сладкая около мужа, очень часто пьяного и скоро заболевшего сифилисом, после чего, говорят, их супружеские отношения прервались. Должен сказать, что никогда я ни от кого не слышал о каких-нибудь ее неверностях. Дядя Володя, наоборот, легко увлекался, и про одно из этих увлечений я слышал позднее: это была цыганка Пиша, про которую в старом

цыганском романсе пелось: «Что за хор певал у Яра, он был Пишей знаменит». У цыган дядя бывал так часто, что уверяли, что ежедневно к Тверской заставе выезжал владелец фисгармонии (дядя недурно играл на ней) на случай, что дядя ее потребует и заплатит за это 25 рублей.

Про дядю ходил еще рассказ, что они с Коншиным, владельцем Серпуховской мануфактуры, съели купленную ими за 5000 руб. дрессированную свинью из цирка. Случай этот, говорят, действительно имел место, но потом дядя утверждал, что за эту глупость ответствен был всецело Коншин. Самое комичное было, однако то, что клоун продал им самую заурядную свинью, а с дрессированной выступил вновь через несколько дней, что вызвало из райка возглас: «Врешь, это не та, настоящую Коншин с Мекком съели».

Вообще в московских нравах того времени было немало примитивного. С тем же дядей Володей был казус, что приехав к вернувшемуся из путешествия по Туркестану купцу Хлудову, он был введен в гостиную, где вместо хозяина его встретил привезенный из Азии большой тигр. Это была забава Хлудова, который смеялся над испугом гостей, пока те не перестали его посещать.

Такая жизнь стоила много и, спустив свое личное состояние, дядя стал брать в долг у ростовщиков. Говорила мать, что бабушка не то два, не то три раза платила эти долги, и что в общей сложности они составили около четырех миллионов рублей. В семье жизнь дяди очень не одобряли, но одна моя мать протестовала против снисходительного отношения бабушки к ней, и был период, когда на этой почве у них были даже прерваны отношения. Позднее, когда я был кандидатом на судебные должности, я присутствовал на процессе ростовщика Кашина, которого мне отец называл как наиболее поживившегося ранее на дяде. Называл он мне также и фабриканта Рябушинского, отца известных либеральных деятелей, тоже ссужавшего дяде под большие проценты, но этот был осторожнее в таких операциях и под суд не попал.

У дяди Володи был только один сын, тоже Владимир, или Вололичка. В Плещееве он был постоянным товарищем игр Милочки и моим, и, будучи сыном любимого сына бабушки, был и любимым ее внуком. Надо сказать, что его вообще все любили. Был он полным контрастом отца, не пил, не курил, не был ухаживателем и был удивительно скромен. Будучи человеком очень культурным и знающим, он никому не навязывал своих мнений и высказывал их, как бы стесняясь. Его страстью была живопись, но он скоро пришел к убеждению, что крупным художником не станет, и пото-

му перешел на прикладное искусство, создавая рисунки материй и ювелирных изделий в жанре тех, коими прославился в Париже Лялик. В Москве он сблизился с художественной молодежью конца века и был одним из первых, оценивших Врубеля, с которым он был дружен и которого поддерживал материально, когда тот сошел с ума.

Бывала в Плещееве также тетя Лида, вышедшая замуж за приятеля моего отца Левиза-оф-Менар, когда я его знал, отставного полковника Кирасирского Его Величества полка. Тетя была женщина хорошая, и подходила к мужу – честному и вообще порядочному. Жили они в Риге, в среде совершенно немецкой, и мои многочисленные двоюродные братья и сестры (их было всего 12) говорили по-русски с акцентом. У Левиза был двоюродный брат Верман (из семьи, давшей свое имя рижскому парку), женившийся на дочери поэта Жуковского. Прелестная по всем отзывам женщина, она была фрейлиной императрицы Марии Александровны, и сперва вышла замуж за великого князя Алексея Александровича, будущего генерал-адмирала. Когда об этом узнали его родители, брак был признан недействительным, а Алексея Александровича отправили на три года в кругосветное плавание. У Жуковской родился от этого брака сын, которому был дан титул графа Белевского (поэт Жуковский, его дед, был уроженцем Белевского уезда). Он был позже офицером Сумского полка, а в 1915 г. я его встретил уездным начальником в Галиции, где его не очень хвалили за его вздорность и уверяли, что он человек ненормальный. Моя мать, при всей своей моральной строгости, ничего, кроме хорошего, про г-жу Верман не говорила.

Наоборот, ни разу не видел я в Плещееве старшую сестру матери, тетю Лизу фон Мекк, бывшую замужем за инженером А.А. Иолшиным. По-видимому, техником он был хорошим, и был вместе с Борейшей и Максимовичем подрядчиком по постройке Петербургского порта и переустройству Мариинской системы, но в семье его не любили. Тетя была милым, но забитым существом, всецело отдавшим себя заботам об их трех детях. В семье часто говорили о преувеличенных заботах Иолшиных о физическом здоровье детей и об их изнеженности, как результате этого воспитания. Свелось это к тому, что двое из них, мальчик и красавица девочка Верочка, погибли почти одновременно от бросившегося на сердце сочленовного ревматизма...

Жизнь в Плещееве текла, несмотря на отшельничество бабушки, шумно. Молодежь семьи, педагогический при них персонал, музыканты – все объединились в одну большую компанию,

устраивавшую различные развлечения. Отмечу, кстати, что совершенно не осталось у меня в памяти, чтобы в семье моих родных много пили. Дядя Володя был единственным в этом отношении исключением, а мой отец выпивал по рюмочке, другой, но дальше обычно не шел. Поэтому много хохота было, когда наши педагоги устроили выпивку и пустые бутылки побросали в Пахру, течение которой принесло их в купальню, где их и обнаружили мои тетки.

Иногда ездили большой компанией по окрестностям. Помню я поездку в имение графа Келлера под Подольском, если не ошибаюсь, Ивановское, тогда уже превращенное в дачный поселок. Говорили, что Ивановское изображено в известном тогда романе Маркевича «Четверть века назад» под видом имения князя Троекурова. Этот роман и два других, связанных с ним, имели большой успех в Москве, где узнавали его действующих лиц. Говорили, например, что Ашанин, покоритель сердец этого романа, списан с одного из чиновников особых поручений при Московских театрах, если не ошибаюсь, Бегичева.

Говоря о Плещееве, я не коснулся еще педагогов, которых я там видел, и сыновей дяди-кума (А. Фраловского, брата Н.Ф. фон Мекк) – постоянных там гостей. Последние все хорошо учились; двое старших, Александр и Сергей, кончили прекрасно, первый – Институт Путей Сообщения, а второй – Московский Университет по юридическому факультету. Третий, Вася, был инженером-техником, но скоро умер, а младший, Володя, прошел два факультета – филологический и юридический, и был потом адвокатом в Москве. Еще будучи гимназистом, он сотрудничал в маленьких московских газетках, помещая в них рецензии об оперных спектаклях и концертах, которые вызывали подчас едкие замечания В.А. Пахульского. Много говорили позднее в семье про семейные неудачи Саши Фраловского, жизнь которого сложилась не так, как в то время полагалось. Увлёкся он женой своего товарища инженера Будагова и, разведя ее, женился на ней. После этого началась, однако, серия ее переездов от одного из них к другому, причем уверяли, что они будто подчас вместе оплакивали свою горькую судьбу. У Саши была единственная дочь, которая будучи, по-видимому, вполне счастливой невестой, неизвестно почему застрелилась. Вообще все братья Фраловские, милые, способные и порядочные люди, не отличались сильным характером.

Из педагогов, которых я помню в Плещееве, отмечу Н.К. Бржеского, автора первого труда о русских государственных долгах, если не ошибаюсь – его магистерской диссертации. Он был очень дружен с дядей Сашей, и хорошие отношения сохранились

с ним и у моего отца до самой смерти Бржеского, рано прервавшей его блестящую карьеру в Министерстве финансов. Невольно останавливал на себе взгляды другой репетитор дядей – Хрулев, высокий красивый брюнет с голубыми глазами. Значился он сыном известного севастопольского героя, генерала Хрулева, но утверждали, что в действительности им не был. Генерал этот был страстным и, видимо, неудачным картежником, и когда нуждался в деньгах, якобы усыновлял за несколько тысяч чужих незаконных детей. Мне пришлось знать двух из них, и оба были красавцы. Про одного из них, кирасирского офицера, говорили, что он побочный сын одного из великих князей. Мой же знакомый по Плещееву Хрулев был позднее прокурором окружного суда в Ярославле, где я его видел в 1896 г., а затем где-то прокурором судебной палаты. Умер он в должности начальника Главного Тюремного Управления, еще не старый, оставив память, как о человеке мягком и симпатичном. Отмечу, что случай генерала Хрулева был не единственным мне известным. Отец рассказывал мне про своего товарища, князя Черкасского, прямо со школьной скамьи назначенного товарищем прокурора, но быстро спившегося. Его жена сошлась позднее с мужем своей сестры Звегинцевым, и потом мне пришлось встречать детей из обеих семей: один из них был губернатором, другой членом Государственной Думы. Оба были очень почтенными людьми, но, несмотря на близкое родство, по-видимому, избегали друг друга. Черкасский-отец, умерший в больнице для чернорабочих, получал якобы за каждого ребенка жены по 25 р.

Наиболее продолжительные пребывания наши в Плещееве бывали, когда моей матери приходилось рожать. Тяжелые роды были моего младшего брата Адама: беременность была неправильная, брат родился семимесячным и выжил только благодаря тому, что два месяца его выращивали между грелками. Впрочем, это не помешало тому, что он вырос позднее не менее крепким, чем мы. Все эти роды происходили в Мясницком доме бабушки*, первые воспоминания о котором и связаны именно с этими родами, и куда мы после родов и ездили навещать маму. Младший брат родился в день смерти Скобелева, и сенсация, связанная с исчезновением «белого генерала» ярко осталась в моей памяти. Все знали, что он не любил немцев, и в этом его поддерживало громадное большинство народа. В своей парижской речи он ярко проявил эти свои взгляды. Знали также, что Скобелеву не

* Москва, ул. Мясницкая, 44. – *Примеч. сост.*

было еще 40 лет и считали его, по его образу жизни, образцом здоровья. Умер он в обществе немки веселого поведения, и сразу пошли разговоры, что она его отравила. Верили этому в самых различных кругах, и мне кажется, например, что и моя мать не очень-то верила в официальную версию этой смерти. Бывают, однако, курьезы даже в связи со смертями: как мне говорили, немка, в обществе которой умер Скобелев, именно поэтому имела потом в течение ряда лет особый успех в веселящихся кругах Москвы.

Мать приезжала рожать в Москву, ибо в Гурьеве, в сущности, никакой акушерской помощи не было. Кроме родов младшего брата, с осложнениями прошла у нее и последняя беременность: в конце ее она оступилась и упала с крыльца. Сами роды прошли нормально, но последняя моя сестра, Екатерина, родилась всего с тремя пальцами на левой руке, и вообще вся левая сторона ее оказалась слабее развитой. Позднее врачи говорили, что именно последствием этого явилась и психическая ненормальность сестры, развившаяся к 20 годам.

Мясницкий дом, купленный бабушкой после продажи Рождественского, был расположен на углу Малого Харитоньевского переулка, против дома Бутенопа (позднее Липгардта). В те времена, кроме склада сельскохозяйственных машин последнего, в нем помещалось какое-то реальное училище, и я часто вглядывался в лица входящих в него реалистов, чтобы узнать Васю Фраловского, которого я очень любил...

В Мясницком доме родители прожили две зимы, по-видимому, 1882-1883 и 1886-1887 гг. По Мясницкой всегда шло большое движение, и из углового окна я любил смотреть на улицу. Главным интересом были похороны, и среди них особенно военные, с музыкой. Из других помню похороны И.С. Аксакова, гроб которого несли студенты и которого сопровождала, по тогдашним понятиям, громадная масса народа. Характерно было, однако, что для многих хоронили не известного писателя и журналиста, а директора одного из крупных банков. Чтобы не возвращаться к этому вопросу, отмечу здесь, что газеты того времени были, в общем, весьма скучными. В Москве публиковались тогда расхвалившиеся по всей России «Московские Ведомости». Все знали, что их правому направлению сочувствует Александр III, и поэтому читали их, дабы быть в курсе того, что, как думали, предполагает делать правительство. Впрочем, представление это было ошибочным, и тот же Катков за свои правые, но подчас «вольнодумные» мысли не раз получал «предостережения».



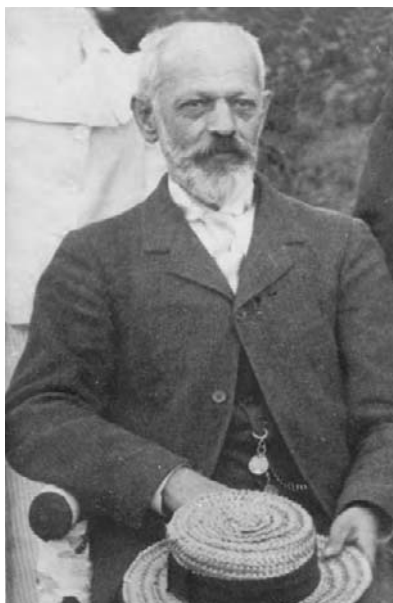
Генерал Л.Л. Беннигсен,
(гравюра неизв. художника).



Карл Федорович фон Мекк,
дед автора, СПб, 1876 г.



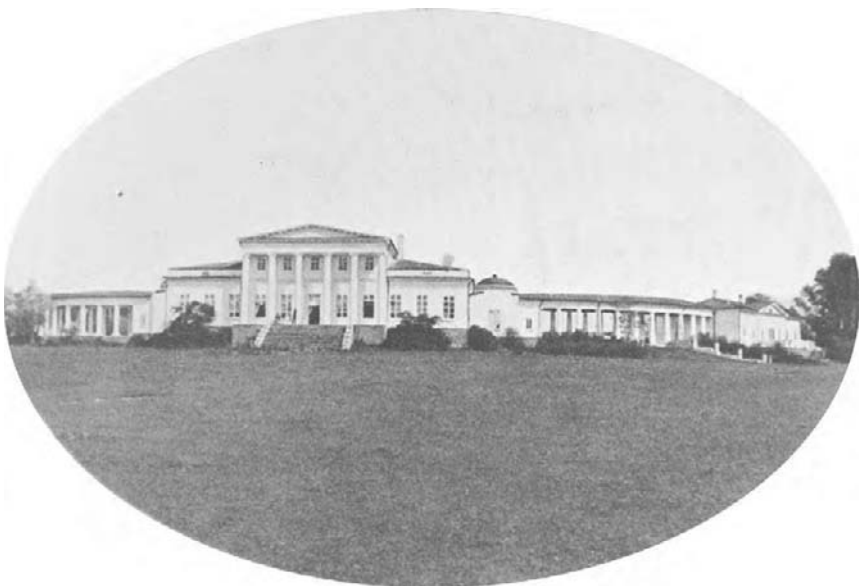
Надежда Филаретовна фон Мекк,
бабушка автора.



Беннигсен Павел Александрович,
отец автора.



Беннигсен Александра
Карловна, мать автора
с сыном Леонтием,
1882 г.



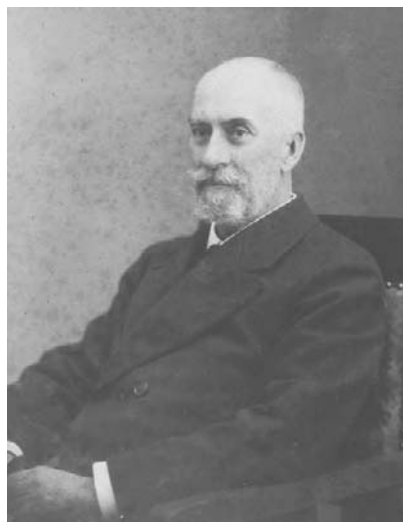
Гурьево, имение Беннигсен.



Плещеево, имение Н.Ф. фон Мекк.



Людмила Карловна фон Мекк
(Милочка, тетка автора).
Ницца, 1880-е гг.



Николай Карлович фон Мекк,
дядя автора.



Юлия фон Мекк и ее тетка
Елизавета, Висбаден, 1900.

Беннигсен Эммануил
Павлович с женой
Екатериной Платоновной
(рожд. Охотниковой)
1903 г.



Алексей Яковлевич Охотников,
(неизв. художник, нач. XIX в.).



Елизавета Алексеевна, императрица,
тайная возлюбленная А. Охотникова.



Владимир Владимирович
Мекк (Воличка), внук Н.Ф.
фон Мекк. Рис. В. Серова.



Варвара Геннадиевна Мекк
(жена В.В. фон Мекка), 1907 г.



Беннигсен Адам Павлович,
его сын Александр
и жена Фанни
Париж, 1930-е гг.

Беннигсен Георгий
Павлович (брат, Юша)
и его жена Ольга
Васильевна Скарятин.
Лондон, 1919 г.



Беннигсен Ксения
Павловна (сестра
милосердия), 1915 г.





Беннигсены Адам и Ольга, 1912 г.
Тульская губерния, первый автомобиль.



Э.П. Беннигсен (справа) главноуполномоченный Красного Креста, 1915 г.

«Московские Ведомости» были порядочно скучны, но еще скучнее были «Русские Ведомости», издававшиеся группой профессоров, юристов и экономистов. Направление их было либеральное, но весьма и весьма умеренное, ибо говорить даже о конституции было абсолютно недопустимо. Мне кажется, что именно скучность этих двух газет и создала успех петербургского «Нового Времени». Издатель его А.С. Суворин был сам, несомненно, блестящим журналистом и сумел объединить вокруг себя группу других талантливых людей. «Новое Время» читали тогда все культурные люди, хотя и осуждавшие взгляды или, вернее, отсутствие взглядов у издателя этой газеты. Позднее говорили, что он принадлежит к партии К.В.Д. (куда ветер дует), и это была правда, но интереса газеты не уменьшало. Успех «Нового Времени» был превзойден позднее только «Русским Словом», издатель которого Сытин понял своевременно, что политические взгляды «Нового Времени» начали претить публике.

Все три первые газеты одно время получались в Гурьеве, но после смерти Каткова обе московские быстро отпали. Получались у нас и еженедельные журналы: «Неделя» Гайдебурова и иллюстрированные – «Нива», которую можно было найти тогда по всей России, и «Новь», а для меня выписывалось «Вокруг Света». «Новь», издававшаяся с большой по тому времени рекламой известным книготорговцем Вольфом, объявила, что выдаст в течение первого года издания ряд премий, в том числе какую-то картину «в роскошной рамке». В действительности эта рамка оказалась воспроизведенным олеографией бордюром, довольно жалкого вида, что вызвало большое недовольство подписчиков. Говорили, что кто-то предъявил даже Вольфу обвинение в мошенничестве. Олеографии картин выдавала также «Нива», и хотя знатоки искусства критиковали оба журнала за их подлаживание к вкусу масс, они много сделали для развития его в России. Никто не скажет, что «Свадебный пир» К.С. Маковского или пейзажи Клевера были крупными произведениями искусства, но забывали, что это были первые воспроизведения картин, попавшие в нашу деревню, где до того видали только иконы или портреты помещиков, работы большей частью доморощенных художников. Сознаюсь также, что когда мне позднее приходилось видеть где-нибудь в глуши, например, засиженный мухами «Свадебный Пир», у меня всегда появлялось милое воспоминание о далеком прошлом, которое и наложило свой отпечаток на все, с этой олеографией связанное. Уже взрослым встречал я жену Маковского, которую он изобразил в «Свадебном пире». Хотя она и сохранила

тогда следы былой красоты, я все-таки пожалел об этих встречах, которые разрушили тот ореол чуть ли не неземной красоты, который у меня создался в связи с этой картиной.

Упомянув о «Ниве», не могу не отметить и общего культурного влияния этого журнала. Вообще, повторю еще раз: слишком часто забывают поговорку – «всякому овощу свое время», и в частности в отношении «Нивы» не оценивают всей тогдашней обстановки. Исторические романы Всеволода Соловьева и Салиаса – произведения, конечно, не первоклассные, но тогда ими зачитывались и с нетерпением ждали следующего номера журнала. Впрочем, культурное значение приложений к «Ниве», в которых, начиная с Достоевского, появился ряд собраний сочинений русских авторов, включая и такие, которые уже стало почти невозможно добыть, кажется, никто не отрицает.

Чтобы не возвращаться к печати этого времени упомяну еще про «толстые» журналы. Больше всего читали тогда «Русский Вестник» и «Вестник Европы», которые можно назвать параллелями «Московских» и «Русских Ведомостей». «Русский Вестник» издавал тот же Катков, что и «Московские Ведомости». Направление журнала было правое, и в нем, например, появились антисемитские романы Всеволода Крестовского «Тьма Египетская» и «Тамара Бендавид», но в нем печатал свои произведения и Л.Н. Толстой, и это привлекала читателей к журналу. У «Вестника Европы» круг читателей был более либеральный: они интересовались статьями издателя журнала Стасюлевича и К.К. Арсеньева, но журнал был сам по себе скучноват, уступая в живости «Русской Мысли», в которой в то время печатался Короленко и которая была умеренно социалистического направления. Со смертью Каткова «Русский Вестник», как и «Московские Ведомости», быстро сошел на нет.

Отец всегда интересовался историей, и у нас получались все три тогдашних исторических журнала: «Русский Архив», «Русская Старина» и «Исторический Вестник». «Архив» и «Старина» были сборниками исторических материалов, конечно, весьма различного достоинства. «Исторический же Вестник», издававшийся Суворовым, печатал также беллетристические произведения исторического содержания, начиная с того же Салиаса. Более живо были написаны и печатавшиеся в этом журнале более серьезные статьи, и неудивительно, что у него быстро создался крупный цикл читателей.

Возвращаясь после этого отступления, вызванного воспоминаниями о похоронах Аксакова, к Мясницкому дому бабушки,

отмечу сперва его примитивность по теперешним понятиям. На весь дом была одна ванная комната без душа. Был проведен газ для освещения, но его, по-видимому, побаивались и им не пользовались. Были воздушные звонки, которые, однако, постоянно бездействовали, ибо мальчишки (в том числе и я) соблазнялись их свинцовыми трубками, и, несмотря на грозившие нам, если попадемся, строгие наказания, мы постоянно вырезывали из них кусочки для наших игр.

Построен был дом, как и большинство домов того времени, крайне бестолково, с большими парадными комнатами и немногочисленными и маленькими жилыми. Кроме двух спален в главном этаже, было их несколько в полуподвальном этаже и в мезонине, где помещались детские. Дом в общем был наряден, хотя обстановка была и не новая, перевезенная из Рождественского дома. Когда мы в первый раз в него въехали, еще заканчивалась его отделка, работали обойщики, а в зале паркетчики стлали очень красивый мозаичный пол. На стенах висел ряд картин, все иностранных художников, из коих у меня осталась в памяти эффектная картина Каульбаха «Встреча Марии Стюарт с Елизаветой». Вкус бабушки не отличался в области живописи от общего того времени, и это отражалось на картинах, украшавших ее жилище. Более интересны были бабушкины альбомы акварелей и рисунков итальянцев, начиная с Микель-Анджело и Корреджио и кончая Гуаренги. После смерти бабушки этот альбом достался моей матери, и тогда отец возил его Сомову, тогдашнему хранителю Эрмитажа, который исправил некоторые определения авторов (например, Гуаренги вместо Гверчини) и высказал предположение, что этот альбом был собран в середине 19-го века одним из известных в то время русских любителей живописи (к сожалению, фамилию его я забыл). Альбом этот был отдан отцом моему второму брату, Георгию, который, уходя в 1914 г. на войну, оставил его в Орле в ящике банка, и сохранился ли он, я не знаю. Более интересными казались мне, впрочем, два альбома акварелей русских художников, которых после смерти бабушки я больше не видел. Кажется, они перешли к дяде Саше. Составлены они были из рисунков большею частью передвижников, и давали, насколько я припоминаю, яркое представление о нашей живописи 1860 и 1870-х годов.

Я мало помню первую зиму в Мясницком доме, да и вообще затруднился бы распределить события между обеими зимовками в Москве. Жизнь родителей шла в ней больше в кругу родных. Посторонних знакомств в Первопрестольной у них было мало. Общественная жизнь в ней тогда, по-видимому, была довольно

мало интересной. В центре ее стоял генерал-губернатор князь Долгоруков. Владимир Андреевич, как его все называли, пробыл на этом, более почетном, чем ответственном посту, более четверти века, и был очень популярным лицом, ибо от него зависели все милости, все же неприятности исходили от обер-полицмейстера, коим в то время был генерал Козлов. Полиция московская была при нем ни лучше, ни хуже, чем в других городах, и, если пристав «брали по чину» – претензий на нее не было. Про земство и городскую думу говорили мало, вероятно потому, что они еще не завоевали себе в общественной жизни видного места. Кажется в 1887 г. был уже городским головой Алексеев (двоюродный брат артиста Станиславского), начавший проявлять свою кипучую энергию. Город оставался, однако, все таким же полуазиатским, каким он был до нашествия Наполеона.

В Китай-городе я застал еще Старые ряды, вскоре снесенные к великому огорчению коренных москвичей, особенно же их лавочников. Надо признать, что в этих «калашных» и «суконных» рядах, темных и грязных, всегда была толпа, которой потом никогда не было в новых рядах. Со сносом старых рядов значительная часть их торговли перешла в «пассажи», особенно в Солодовниковский, и вообще в район Кузнецкого Моста и Петровки. В район последней ездили специально тогда в Петровский проезд прокатиться по первой в Москве асфальтовой мостовой. Освещение было газовое, а на окраинах частью и керосиновое. По вечерам бегали по улицам фонарщики, зажигавшие фонари, а по утрам они обходили их с лестницами и чистили. Первые электрические фонари (Яблочковские) появились около 1885 г. на Лубянской площади, и москвичи ездили посмотреть на этот «дивный» свет. Вода была проведена по всему городу, но канализации не было, и на улицах постоянно встречались бочки ассенизационного обоза, распространявшие вокруг себя далеко не приятные ароматы. Вода в Москве была тогда Мытищенская, хорошая, в то время еще не чрезмерно известковая, и москвичи хвастались ею перед петербуржцами.

Слабое воспоминание осталось у меня о выставке 1882 г., для маленького мальчика, каким я был, представлявшая мало интереса. Припоминаю я только вагоны санитарного поезда Московско-Рязанской ж.д., снаряженные для войны 1877 г. по идее дяди Володи.

В Москве меня взяли тогда в Большой театр на «Конька-Горбунка», уже тогда усаждавшего не первое поколение москвичей. В театре, если не ошибаюсь Лентовского, мне показали «80 дней

вокруг света». Тогда это казалось фантастической быстротой, и мало кто верил в возможность действительного осуществления такого путешествия, как и вообще в осуществление других гениальных идей Жюль Верна. Почему-то ни разу не был я в Малом театре, но зато припоминаю какую-то комедию в новом тогда театре Корша. Наибольшее впечатление оставил, однако, у меня «Цыганский Барон» в какой-то немецкой оперетке, хотя я и далеко не все понял, что в ней говорилось.

Мясницкий дом явился для меня кладом по части книг. В Гурьеве было много журналов, начиная с конца 60-х годов, но книг было сравнительно мало, и чтение мое сводилось преимущественно к детской литературе – Жюль Верну, Куперу, Эмару, Майн-Риду и переложениям для юношества Вальтер Скотта. Увлекался я также сборником рассказов о последней турецкой войне, изданным князем Мещерским в 6 или 7 томах с альбомом большинства участников этой войны. Тогда эта война была еще почти что событием дня.

Когда мне было лет 7, мне подарили сочинения Пушкина, затем получил я Лермонтова, и так начала образовываться моя библиотека. Однако все это было ничто по сравнению с тем, что я нашел в Мясницком доме, где я часами проводил время в библиотеке, переходя от Шекспира и Шиллера к Моммсену (которого, впрочем, мало оценил) и к путешествиям. Почему-то у бабушки почти не было французских авторов, ни классиков, ни современных. Наоборот, их было много в Гурьеве, также как и английских томиков издания Таухница, бывших постоянным чтением матери. Чтением моим никто не руководил, и только было мне запрещено читать Золя и почему-то «Обрыв», считавшийся тогда сочинением безнравственным. Кстати отмечу, что бабушка Н.Ф. фон Мекк очень интересовалась личностью Людвига II Баварского, быть может, вследствие его увлечения музыкой, собирала все книги о нем, и когда после его смерти появился какой-то немецкий роман о нем в нескольких томах, то моя мать взялась перевести его на русский язык. Было это, впрочем, уже в Петербурге.

Еще до последней зимовки в Москве появился в Гурьеве первый мой гувернер, Рудольф Иванович Таль, только что окончивший тогда филологический факультет Дерптского университета, где его отец был обер-педагогом. Типичный немец, добродушный, но недалекий. Он стал меня пичкать греческой мифологией и пересказами Илиады и Одиссеи по немецкому учебнику, который я тогда с трудом понимал. У всех в Гурьеве осталось о нем доброе воспоминание, хотя о наивности его рассказывали немало анек-

дотов. Так, в Москве он поверил, что в бочках ассенизационного обоза развозят пиво, и подивился – сколько его пьют в этом городе. В одном из Кремлевских соборов он спросил, настоящий ли зуб какого-то святого, показанный ему. Продержался он у нас, однако, не больше года, ибо мать обнаружила, что он часто бывает пьяненьким, напиваясь в одиночку в своей комнате. Заменял его Василий Михайлович Аннинский – тоже филолог, позднее бывший где-то, кажется, директором гимназии. С ним начались у меня серьезные занятия, которыми он сумел меня заинтересовать. Преподаватель он был хороший, и за одну зиму подготовил меня к экзаменам в среднее отделение приготовительного класса Училища Правоведения, соответствующее 2-му классу гимназии. Еще раньше я и мои три брата были записаны кандидатами в Пажи, но позднее, так как ученье давалось мне легко, родители решили отдать меня в Правоведение – считалось тогда, что для древних языков необходимы большие способности, чем для реальных наук.

С Мясницким домом связано у меня воспоминание о борьбе между семьями Мекк и Дервиз за господство над Московско-Рязанской ж.д. Спор возник из-за управляющего ею Ададунова, которого дядя Володя, как председатель правления, находил необходимым сменить. Ему удалось, однако, привлечь на свою сторону братьев Дервиз, сыновей компаньона деда. Началась подготовка к общему собранию акционеров «расписыванием» акций. Ни один акционер не мог иметь на этом собрании более 10 голосов, дававшихся 250 акциями. При этом, однако, уже 10 акций давали 1 голос, а 25 – два. Поэтому производилось распределение их по мелкому числу между фиктивными акционерами, чтобы получить больше голосов. У группы Мекк было меньше акций, чем у Дервиза, но она победила, благодаря 3000 акций Солодовникова, владельца Пассажа и миллионера. Был он человек крайне скупой, и рассказывали, например, что он не подписывался ни на одну газету, а ходил читать их в магазины Пассажа, которые были обязаны выписывать какую-нибудь из них. Если память мне не изменяет, он что-то взял за предоставление дяде своих голосов, хотя и ценил и способности, и честность дяди и, наоборот, не высоко ставил деловитость С.П. Дервиза. Для «расписания» акций были наняты с обеих сторон биржевые артели, члены которых явились фиктивными акционерами. Всего было предъявлено несколько тысяч голосов, но семья Мекк победила всего несколькими десятками голосов. Позднее подобной борьбы уже больше не было, особенно после того, как дядю Володю заменил дядя Коля,

авторитет которого в железнодорожном мире установился очень быстро.

Приблизительно к этому времени относится образование дядей Володей пароходного общества «Ока», в которое вступили акционерами и мои родители. Через несколько лет отец поехал с дядей Володей в Нижний Новгород и захватил меня с собой. Оттуда для разнообразия он решил вернуться по Оке до Рязани, однако плохо рассчитал время года (был уже август), и на реке один перекат сменялся другим. Только через 15 часов после ухода из Нижнего, уже поздно ночью, добрались мы до Горбатова, где отец решил бросить пароход, и где нас направили на ночлег к какому-то местному купцу-старообрядцу. Хотя и довольно хмуро, он все же дал нам приют у себя, несмотря на то, что мы и явились к нему без всякой рекомендации, прямо с улицы. Единственное, о чем он нас попросил, это было, чтобы отец у него в доме не курил.

На следующий день через Гороховец мы выбрались в Москву поездом. «Ока» понемногу развилась в крупное предприятие, чему в значительной степени она была обязана А.А. Соколову, бывшему члену Тульской губернской земской управы, которого отец знал за дельного и честного человека и рекомендовал в управляющие «Оки». После его смерти у родителей не было того же доверия к его преемнику, ставленнику дяди Коли, и через некоторое время они вышли из дела, которое осложнилось с покупкой дядей крупного лесного имения «Фоминки», где-то около Оки. Распределение прибылей между имением и пароходством вызывало те же нарекания, что в Браилове между заводом и имением, и, чтобы не портить отношений с дядей Колей, родители предпочли уступить ему свою долю.

Кажется еще в 1881 г. отец ездил в Ессентуки лечить свой кишечник, оставив нас с бабушкой Беннигсен в Гурьеве. В 1887 г. мы снова поехали на Минеральные Воды, на этот раз всем семейством. Ехали мы с исключительными удобствами, в директорском вагоне Рязанской дороги, из «фонаря» которого я любовался всей местностью от Москвы до Кавказского предгорья. В Аксае отец купил осетра, из которого выбрали порядочно игры, а самого его сварили тут же в вагоне.

От Минеральных Вод железной дороги на группы еще не было, и ехали на них в колясках. Дорога по солнцу была для нас, детей, утомительной и тянулась долго с перепряжкой или кормежкой лошадей в колонии Каррас. В Ессентуках мы остановились в единственной в них тогда Казенной гостинице, где у родителей нашлись знакомые, но где мне было изрядно скучно. Гораздо

веселее было зато в Кисловодске, где поселились мы в пансионе на даче известного художника Ярошенко. Сам ее владелец, артиллерийский полковник, был на службе в Петербурге, а дачей ведала его жена, внушавшая нам порядочный страх. Кроме нас жили на даче толстая старуха Соловьева, вдова известного историка и мать философа, и ее дочь, если не ошибаюсь, поэтесса Аллегро, молчаливая и, вообще, на мой детский взгляд, неинтересная девушка. В Кисловодске пребывание оживлялось поездками верхом и прогулками, связанными с купанием в речке Березовке, в Березовой Балке. Нашлись там у меня и товарищи по этим прогулкам, которых не хватало в Ессентуках.

Зимовка в Москве в 1887 г. закончилась в конце марта, когда в полную распутицу вся семья направилась в Гурьево. Я не помню другого такого долгого переезда; пришлось делать длинные объезды, ибо кое-где в низинах дорога была уже затоплена, и сани не могли в них пробраться. Когда через 9 часов пути мы добрались до Гурьева, то через Осетр еле перебрались, и через несколько часов лед на нем прошел.

Другая, не менее сложная, поездка в те годы была только раз, но летом, когда отец должен был ехать в Москву во время сильных дождей. До Лаптева он добрался, сидя местами на козлах, ибо ничтожные ручейки раздулись в потоки, и вода доходила в экипаже до сиденья. Добравшись поездом до Серпухова, отец должен был ехать дальше на лошадях до Подольска, ибо паводком снесло железнодорожный мост на Лопасне. По-видимому, на Московско-Курской железной дороге расчеты отверстий мостов и труб были сделаны неправильно или построены они были плохо, ибо за несколько лет до этого на этой же линии была размыва насыпь около станции Кукуевка, что вызвало прогремевшую тогда катастрофу с несколькими десятками жертв.

В Училище правоведения

Весной 1887 г. через месяц по возвращении в Гурьево, отец повез меня в Петербург сдавать экзамены в Правоведение. Все в этой поездке было для меня ново. Тогда как на Московско-Курской ж.д. от Лаптева до Москвы я знал по дороге почти каждый кустик, на Николаевской – и местность, и тип станций, и самые их названия были для меня необычными. В «Питере», как его часто тогда звали, поразило меня электрическое освещение всего Невского, торцовая на нем мостовая и величественность Невы.

Остановились мы в меблированных комнатах на Малой Садовой, в доме, где в 1881 г. помещалась лавка, из которой Кобозев* вел свой подкоп. Про революционное движение тогда писалось мало, но говорилось много, и мне показали, между прочим, и эту лавку. Когда через несколько дней мы были у моей тетки Погоржельской – сестры отца, в Саперном переулке, то там рассказывали про убийство Судейкина, совершенное в квартире над Погоржельскими. Никто из них выстрела не слышал, но потом им пришлось долго возиться с разными допросами об условиях жизни в доме.

Тетя Лиза Погоржельская мало напоминала моего отца. Было ей в это время несколько больше 40 лет, но впечатление она производила старше, благодаря своей полноте. Муж ее, Виктор Казимирович Погоржельский, служил раньше в Военном министерстве и шел в нем довольно хорошо, но оставил эту службу во время польского восстания 1863 г. Как поляк, он, наверное, сочувствовал повстанцам, а кроме того, участие в восстании ряда военных, вплоть до офицеров Генерального штаба, делало его положение в министерстве деликатным. После этого он стал заниматься ведением в Сенате юридических дел польских магнатов, и заработок его давал семье возможность жить, хотя и скромно, но прилично. Тетя была лет на 20, а то и больше, моложе его, и когда я его впервые увидел, он был уже грузным, малоподвижным стариком типичного польского типа. Через несколько лет он и умер. У них было четверо детей. Трое сыновей были в то время пажами, но старший, кажется, как раз тогда должен был перейти в Николаевский Кадетский Корпус за какой-то дерзкий ответ воспитателю.

Директором Николаевского корпуса был в то время генерал Дружинин, известный своим снисходительным отношением к молодежи. К нему собирались все изгнанные из других корпусов и благополучно кончали у него ученье. Большею частью шли от него в Николаевское Кавалерийское Училище, так называемую «Лошадиную Академию», и пользы от большинства из них стране было немного, но часть вырабатывалась в дельных людей, и за это следовало благодарить Дружинина.

* Кобозев – подпольная кличка народовольца Юрия Богдановича, устроившего подкоп из снятой им лавки под Малую Садовую для закладки мины. Накануне убийства Александра II подкоп был обнаружен полицией. На другой день, 1 марта 1881 г., Александр II был смертельно ранен на набережной Екатерининского канала. Богданович был впоследствии арестован и приговорен к смертной казне.

Братья Погоржельские звезд с неба не хватали, но были людьми порядочными и работающими, и позднее стали хорошими офицерами: двое младших в Семеновском, а старший – в Харьковском Драгунском полку. Ко времени войны 1914 г. все они были уже в запасе, и двое младших пошли на нее командирами ополченских дружин, а по развертывания их в полки – и командирами их. Сестра их, Мария, миловидная, но незаметная девушка, была столь же ревностной католичкой, как и мать, и когда ей сделал предложение приват-доцент Блуменау, молодой, но дельный психиатр, она ему отказала только потому, что он был лютеранином. Позднее она осталась старой девой, и всю свою любовь отдала заботам о матери и бабушке, поселившейся окончательно у них, а позднее – племянникам, детям дяди Иосифа Беннигсена.

К экзаменам я был подготовлен хорошо, и сдал их без затруднений, так что последний из них, по арифметике, сдал даже до срока в квартире старшего воспитателя приготовительных классов Э.С. Шифферса. Это был единственный случай, что я с ним имел дело: когда осенью я явился в Училище, Шифферс уже умирал от чахотки, и я его увидел вновь только в гробу, когда мы ходили прощаться с ним. Он был братом известного шахматиста Эм. Ст. Шифферса – чемпиона России перед Чигориным, и сам тоже выступал на русских турнирах. Мои новые товарищи его очень любили и жалели, особенно, когда его заменил преподаватель греческого языка Бюриг, пользовавшийся общей антипатией.

Приготовительный класс Правоведения состоял из трех отделений, соответствовавших первым трем классам гимназии. Помещался он на Сергеевской, против Моховой, в небольшом домике, в котором, кроме трех классов и рекреационного зала, помещались еще дортуары для интернов, коих было большинство. Вошел я впервые в него с трепетом, но после первого удачного экзамена быстро освоился со школьной обстановкой, чему способствовало то, что почти сразу я встретил со стороны будущих моих товарищей доброе отношение. С пятью из них я потом прошел вместе девять классов, кончил с ними же большое Училище, и только позднее судьба разлучила нас.

Уже на втором или третьем экзамене я присоединился к хору товарищей, дразнившему старшего годами и самого сильного из них Радзивилла двустушием «Князь Радзивилл, князь крокодил», который решил меня за это проучить, но я стал сопротивляться, и только появление воспитателя спасло меня от трепки. Тем не менее, эта борьба сблизила меня сразу с классом, в который осенью я явился уже как свой.

В свободные дни мы ездили с отцом по окрестностям Петербурга: через Кронштадт в Петергоф и в Царское Село. Повидали мы и кое-что из достопримечательностей самого Петербурга. В то время перед выходом войск в лагерь, на Марсовом поле устраивались майские парады, и отец взял меня посмотреть один из них с трибун, устроенных вдоль Лебяжьего Канала. В середине их был императорский павильон и перед ним, впереди большой конной свиты, виднелась массивная фигура Александра III.

Это был единственный раз, что я его видел, да и то издали и сбоку, и впечатления на меня он не произвел, но если говорить о «последнем самодержце», то им был именно он, а не Николай II. Правил Россией несомненно он, а не его министры, и если в первые годы его царствования он слушал Победоносцева и читал Каткова и князя Мещерского, то скоро, наоборот, его стали слушать все его министры, хотя вначале они его сильно критиковали. Никто не утверждал, что он был человек большого ума или образования, но никто не отрицал у него твердых убеждений и воли, которых не доставало его отцу и сыну. Кроме того, Александр III был известен, как хороший семьянин и человек, беспощадный к денежным злоупотреблениям, что было другим его плюсом по сравнению с Александром II. Отмечу, впрочем, что подчас ответы Александра III бывали удачны, и передавались с хохотом, указывая, что он за словом в карман не лазил.

Кажется, в этот раз, возвращаясь из Петербурга, оказались мы в купе с красивым старым генерал-адъютантом, как оказалось – Тимашевым, бывшим министром внутренних дел. В памяти остался у меня его рассказ, как в Уфимской губернии, около его имения, крестьяне не хотели унавоживать землю: «Что ж мы станем Божью землю г...м пакостить».

После экзаменов мы заехали с отцом в Кемцы, где я впервые познакомился с северной полосой России, столь мне близкой и дорогой теперь. Старый деревянный, очень скромно меблированный дом, внизу под ним мелководная Кемка с многочисленными омутами, сосновые леса с тучами оводов, облепывших лошадей, «бейшлоты» на озерах, питавших Вышневолоцкую систему – все это картины посейчас живо стоящие у меня в памяти.

В доме оставалось несколько воспоминаний о Карле Адамовиче – его золотое оружие, на котором я с почтением прочитал слова «за храбрость», и кубок с уланом на крышке, довольно мизерный, поднесенный ему офицерами Литовского полка при оставлении им командования. Увидел я также портрет прадеда Адама Леонтьевича, писанный каким-то неизвестным художником уже с

мертвого, с каким-то рыбьими, без всякого выражения глазами. Карл Адамович был похоронен около Кемецкой церкви в склепе, где рядом с ним лежал его старший сын, умерший мальчиком.

Дядя Иосиф Карлович был точной копией Обломова. Воспитывался он в Александровском Лицее, где его товарищами по классу были будущие министры: А.П. Извольский и П.М. Кауфман-Туркестанский, так что и он мог бы сделать хорошую карьеру. Учился он хорошо, однако на выпускном экзамене отказался отвечать известному профессору государственного права Градовскому, мотивируя отказ тем, что Градовский мерзавец. Директор Лицея, Гартман, человек пользовавшийся общим уважением, вызвал моего отца для совместного убеждения дяди, что, однако, результатов не дало. Путем какой-то комбинации дядю все-таки выпустили, но по 2-му разряду. После этого он поступил вольноопределяющимся в Конный полк, но вскоре был забракован по причине крайней близорукости. Было это вскоре после введения всеобщей воинской повинности, и я припоминаю рассказы еще и через 10 лет о том, что дяде пришлось дежурить в конюшне и чистить свою лошадь; в 70-х годах эти, позднее обычные для вольноопределяющихся, вещи казались чем-то странным для «барина». После полка дядя поселился в Кемцах и понемногу уподобился Обломову. Позднее ему случалось по два-три дня не вылезать из халата, и все его интересы сводились к заботам о здоровье, которое, впрочем, никаких мотивов к беспокойству тогда не представляло.

В первые годы дядя еще бывал у соседей и, говорят, ухаживал за хорошенькой соседкой Поливановой, племянницей будущего военного министра, но не решился сделать ей предложение. Позднее он сошелся с горничной бабушки – женщиной, как говорят, и физически, и духовно весьма неинтересной, – от которой у него было трое сыновей, которых он узаконил после опубликования закона, облегчавшего это. Она вскоре после замужества с дядей умерла от чахотки, а дети попали под попечение Погорельских. Все они были славные мальчики, и двое старший учились в Пажеском Корпусе (младший – слабенький, еще нигде не учился, и в 1919 г. умер в Ленинграде от тифа). Старший в 1917 г., за несколько дней до революции, был произведен из Пажеского Корпуса в офицеры в Лейб-драгуны, где приобрел себе быстро хорошую репутацию, и в гражданскую войну пропал без вести. Второй кончил только общие классы Корпуса, был добровольцем в армии Юденича, и затем жил в Ревеле (Таллинне), работая там шофером.

После лета 1887 г. я должен был к 1-му сентября явиться в Училище, но родители задержались на мое несчастье в Гурьеве, и я, носясь по холмам, изображая маневры с имевшейся в имении медной пушкой, простудился и свалился с воспалением легких. В Петербург мы попали только в середине октября, и то я еще был очень восприимчив к простудам, так что через две недели вновь захворал, и около Рождества у меня развилось 2-ое воспаление легких, чуть не сведшее меня в могилу. Мысль о смерти у меня мелькнула тогда, когда ночью, придя в себя, я увидел нагнувшееся над собой встревоженное лицо матери, но сразу же я снова впал в забытие.

Вышел я из дома только весной, в ростепель, и тут явился для меня вопрос об экзаменах. Так как зимой я почти не был в классе, меня не могли допустить до них, и пришлось отцу взять меня из Училища и мне вновь явиться на экзамены со стороны. Сдал я их хуже, чем в первый раз, но все-таки благополучно, и на лето мы вновь собрались в Гурьеве. Это были годы моего увлечения оловянными солдатиками, которые в то время были одним из главных развлечений состоятельных мальчиков. Фабриковались они в Нюрнберге, и, надо признать, очень хорошо воспроизводили формы русских частей. В те годы в числе книг, которые я прямо глотал во время моих болезней, я перечитал и большую часть историй войн, начиная с Екатерининских. Михайловский-Данилевский и Богданович были в числе моих любимых авторов, и я пытался моими солдатиками воспроизводить некоторые из сражений, про которые я читал. Такое увлечение игрой в солдатики у мальчика едва ли кого-либо удивит; однако, видоизменения ее мне пришлось позднее встретить у взрослых. В Осло тогдашний русский поверенный в делах граф Коцебу-Пиллар-фон-Пильхау собрал громадную коллекцию этих оловянных солдатиков. Коллекционеры бывают всего и уверяли, что были, например, собиратели даже спичечных коробочек, но почтенный дипломат, вообще человек не мудреный, говорят, посвящал игре в эти солдатики все свои досуги. Позже в Каннах встретился я с генералом Гудим-Левковичем, который сам изготавливал солдатиков, тоже металлических, но более крупных, чем Нюрнбергские. Он сам раскрашивал их в формы частей русской армии и устроил небольшой их музей, в котором собрал и кое-какие другие реликвии, например, купленную им в Цюрихе гренадерку русского солдата, убитого в бою под этим городом в 1799 г.

Две недели, проведенные в Среднем отделении, меня только познакомили с приготовительными классами, но сойтись с това-

рищами я ещё не смог. После болезни отец привел меня в Училище изрядно обросшим, и хотя через два часа меня уже обстригли, товарищи успели меня окрестить «папуасом» – кличка, под которой я и ходил два года. У меня осталось об этих классах милое воспоминание – и о воспитателях, и о товарищах. Это было до известной степени продолжением семейной жизни, с неизбежными шалостями и нарушениями порядка, но в которых еще ничего нехорошего не было.

Познакомился я тогда с классной жизнью и, хотя и отстал в уроках от своих товарищей, быстро их нагнал. Вообще три первые года моей школьной жизни, когда я пропускал много уроков, меня убедили, что громадное большинство учеников способно быстро нагонять пропущенное, но что подчас бывают у всех небольшие заминки, в которых им необходима помощь, которую они, однако, иногда не в состоянии найти в школе. У меня за эти годы было три таких пункта, в которых частный репетитор мне помог, но, в сущности, было бы необходимо, чтобы такие репетиторы были при самих учебных заведениях, ибо, особенно сейчас, мало кто из детей находится в столь благоприятных условиях, как я тогда. Часто из-за каких-нибудь подобных мелочей молодежь теряет лишний год, и не принимается во внимание, что эта потеря отражается и на всем государстве. Лично я после двух-трех дополнительных часов знал эти детали на зубок (одна из них, например, была такая несложная вещь, как разложение многочлена) и думаю, что и у всех почти учеников бывали аналогичные случаи.

Осенью 1888 г. отец повез меня в Ялту, ибо врачи посоветовали не везти меня сразу в Петербург на его сырость и туманы. Об этой поездке у меня осталось чудное воспоминание. Несколько дней провели мы в Севастополе, обороной которого я увлекался и герои которой, начиная от адмиралов и до матроса Кошки, вырисовывались здесь предо мной в той обстановке, в которой они дрались и умирали. Малахов курган, бывший еще в той обстановке, в которой его оставила война, и Братское Кладбище – эти два контраста, и сейчас ярко стоят у меня в памяти. Погода была чудная и все наши поездки по окрестностям удались. В Ялту мы поехали на лошадях с ночевкой в Байдарских Воротах, но, увы, знаменитого восхода солнца мы не видали, ибо все внизу было затянуто облаками.

Ялта была тогда еще в очень примитивном виде, и кроме двух гостиниц – «Россия» и «Франция» (в которой мы пробыли два дня, пока не устроились в каких-то меблированных комнатах), крупных зданий в ней не было. Из развлечений помню малорос-

сийскую труппу, кажется, Кропивницкого, в которой участвовала знаменитая Заньковецкая. Мы с отцом несколько раз были на этих спектаклях, и позднее я часто жалел, что мне вновь не пришлось видеть этих прелестных в их наивности и столь живо исполненных пьес.

Из Ялты мы проехали как-то в Алупку, где ночевали в какой-то сакле среди скал и поужинали татарской едой. У меня осталось воспоминание об Алупке, – не знаю, правильно ли, – как о самом красивом месте южного побережья Крыма.

В другой раз проехали мы в Гурзуф, где в то время находился дядя Володя. Гурзуф принадлежал бывшему тогда миллионером железнодорожному подрядчику П.И. Губонину, которого я там и видел гуляющим в парке. Петр Ионович, ходивший, как и ранее, в поддевке, был тогда одной из всероссийских знаменитостей и отзывы о нем были положительными. В Гурзуфе, где все удивлялись построенным им гостиницам, к каждому этажу коих можно было подъезжать в экипаже, Губонин любил принимать важных сановников и при отъезде их приказывал не брать с них денег за прожитые. Финансистом он оказался, однако, плохим, и когда через несколько лет умер, оставил семью почти без средств.

Вернулись мы из Крыма в Плещеево, где нас поджидала мать с братьями и сестрами. Через день или два вернувшийся из Москвы отец привез известие о крушении царского поезда около станции Борки. О причинах его имелись две версии: официальная, установленная особой комиссией при участии известного юриста Кони, указывала на непрочность пути и чрезмерную быстроту тяжелого царского поезда. Говорили, что поезд опаздывал в Харьков, и Александр III приказал нагнать опоздание. Говорили, также, что государь поднял лично кусок гнилой шпалы. Однако, наряду с этим, читал я про то, что катастрофа была последствием взрыва на паровозе бомбы, подложенной туда кочегаром-революционером. Где правда, я и посейчас не знаю.

Когда мы через несколько дней приехали в Петербург, отец пошел к своему старому портному «Ганри», ставшему за эти годы портным Александра III. Раньше все царское семейство шило штатское платье у «Тедески» – итальянца, славившегося как лучший портной города. Однако как-то в Дании Александр на ком-то из своей свиты увидел костюм, тождественный с его, и сшитый «Ганри» за полцены. Он сразу перешел к нему и оставался ему верен до смерти. После катастрофы отец видел у «Ганри» царскую военную тулупку, разорванную во время падения вагона-столовой, которую император, очень, вообще, бережливый, прислал для починки.

В один из первых дней по приезде нашем в Петербург все учебные заведения были выведены на Невский, по которому проезжала вся царская семья в Казанский собор к молебну по случаю «чудотворного» ее спасения. За это стояние я вновь простудился, а затем большую часть зимы опять хворал, хотя и не так, как годом раньше. К экзаменам меня допустили, и перебрался я в «большое» Училище, хотя и не блестяще, но без переэкзаменовок. Старшее отделение приготовительного класса служило вообще фильтром, через который процеживались все переходящие в VII класс «большого» Училища, и поэтому было самым многочисленным в нем. Кроме того, плата за учение в Училище была высока – 600 руб. в год, и казенные стипендии были только начиная с 7-го класса, поэтому бывали случаи, что не получившие стипендии оставались на второй год, чтобы добиться ее после повторных экзаменов.

Таким образом, из 50 бывших в старшем отделении нас перебралось в 7-й класс всего около 35. Была, впрочем, еще одна причина этому: попечитель Училища принц Ольденбургский восставил в это время требование, чтобы в гимназических классах все были интернами, и кое-кто ушел из-за этого, в том числе и наш первый ученик Урусов. И мой отец сперва думал перевести меня из-за этого в соответствующий класс Лицея, почему на лето с нами поехал репетитор Василий Иеронимыч Соболевский (программы обоих учебных заведений не вполне совпадали), филолог, уроженец Верного, рассказывавший мне про страшное землетрясение, разрушившее этот город, где его отец был врачом.

Перед отъездом из Петербурга меня показали тогдашней знаменитости по детским болезням профессору Раухфусу, который нашел, что хотя у меня ничего серьезного нет, но за лето надо было бы меня подкрепить и посоветовал отправить меня первым делом в Погулянку, санаторий в 6 верстах от Двинска (тогда еще Динабурга) в чудном сосновом лесу графа Зиборг-Платера. Здесь под наблюдением д-ра Рентельна было устроено кумысолечебное заведение, которым я и воспользовался. Одновременно с нами находился там лейб-медик государя д-р Гирш, уже старик и, как все говорили, никуда не годный врач. Александр III, человек очень крепкого, казалось, здоровья, лечиться не любил, и Гирш ему подходил, но зато, когда царь заболел серьезно, его болезнь не была своевременно замечена Гиршом, и за ее лечение принялись, когда уже было поздно.

Из Погулянки мы направились в Берлин, где пробыли два дня. Обычно Берлин было принято критиковать за его безобра-

зие и за скучность. Жить мне в нем не приходилось, и судить о скучности его я не могу, но должен признать, что в смысле архитектурных красот он не блистал, даже на мой детский вкус. Позднее я убедился, что в нем были сосредоточены большие научные и художественные богатства, но в этот первый мой проезд через него у меня остались воспоминания лишь об аквариуме, галерее восковых фигур и о шоколаде со сбитыми сливками в известном кафе Бауер.

Из Берлина отправились мы через Дрезден и Веймар, где у отца жил двоюродный брат, в Швейцарию. Единственная тетка отца, тетя Маша, воспитывавшаяся у прапрадеда в Бантельне, вышла замуж за англичанина Вентворт-Поль, и у нее было два сына: один английский адмирал, уже тогда умерший, и младший, майор Веймарской службы, к которому мы и заехали. Это был единственный случай, что я видел группу немецких офицеров его батальона, и воспоминание о них осталось у меня, как о людях выдержанных, но, вероятно, далеко не мягких. На следующее утро побывали мы в музее Гете, и к вечеру были во Франкфурте, поразившем меня своим недавно законченным тогда громадным центральным вокзалом. По дороге, когда поезд проходил около Иены, какой-то немец обратил мое внимание на замок на горе, знаменитый Вартбург, столь связанный с историей Лютера и в котором еще показывали на стене чернильное пятно, сделанное им, когда он бросил в явившегося ему дьявола свою чернильницу.

В Швейцарии мы направились в прелестное местечко Бад-Хейстрих, указанное тоже Раухфусом, дабы брать серные ванны. Расположенное в 20 минутах от городка Шпис на Тунском озере, в долине у подножья горы Ниссен, конкурировавшей с Риги и Пилатом по красоте видов с нее на главную цепь альпийских гор, это местечко подавлялось снежной вершиной Блюмлисальп, хотя до нее и было еще около 40 километров.

В Хейстрихе оказалось довольно много русских, среди коих центральной фигурой была знаменитая певица Славина, по мужу баронесса Медем, жена жандармского полковника. Помню еще красивую брюнетку, именовавшую себя графиней Кассини и женой нашего посланника в Вашингтоне. Отец мой сомневался в этом, зная Кассини за вдовца, но, по-видимому, действительно старик закончил браком свою связь с этой дамой. Был еще там грузный д-р Беляев, помощник начальника Главного военно-санитарного управления, человек довольно тупой, если судить по тому, что на вопрос отца, почему он не вернется с семьей в Россию через Вену, где он никогда не был, ответил, что он этот путь не

знает и потому предпочитает «торную дорожку через Берлин и Эйдкунен».

Из Хейстриха устраивались различные прогулки, частью коллективные, частью нами отдельно, причем самыми интересными были импровизированные. Несколько раз было, что отправлялись мы на прогулку на час-два, а потом увлекались и иной раз возвращались только на следующий день, ибо окрестности Хейстриха столь очаровательны, что гулять можно по ним без конца. Как-то, выйдя с утра, мы стали подниматься на Ниссен, гору в 7500 футов и днем добрались до ее вершины, где была построена тогда довольно примитивная гостиница для туристов. По дороге перекусили мы в пастушьей хижине хлебом с сыром и молоком. Надо сказать, что по другую сторону Ниссена лежала долина реки Симмо, где разводился знаменитый Симментальский скот, производители которого вывозились и в Россию. Вершина Ниссена была, однако, уже в облаках, и когда мы поднялись на следующее утро, чтобы увидеть хваленый восход солнца, ничего не было видно уже в 10 шагах, а когда мы начали спускаться, пошел дождь и в Хейстрихе мы были через два часа насквозь мокрыми.

Из Хейстриха через три недели направились мы в Женеву, где отец хотел повидать старого своего друга еще по Гейдельбергу, Деппе (Derpe), бывшего там *régent du Collège* (преподавателем среднего учебного заведения, принимавшим младший класс и ведшим его до выпуска). Деппе после университета некоторое время пробыл в России гувернером дяди Иосифа и жил в Кемцах, где отец еще более сблизился с ним. Кстати, в то время в Кемцах жил, изучая русскую деревню, также знаменитый позднее английский журналист Mac-Kenzie Wallace, собиравший там материал для известной его книги о России, с которым мне пришлось познакомиться уже почти через 40 лет, когда я был членом Государственной Думы и он меня интервьюировал по финляндскому вопросу. В книге, которую он тогда написал о России, по словам отца, он упомянул его, как «легкомысленного молодого человека», но я этого места не нашел.

Кстати, говоря о Кемцах, я забыл сказать, что там была вторая усадьба, Веригиных, перешедшая позднее к известному математику и другу нашей семьи профессору К.А. Поссе.

О Веригине отзывы были неважные. Был он офицером Конной Гвардии, и должен был уйти оттуда вместе с некоторыми другими офицерами по скандальному делу, если не ошибаюсь, «Червонных валетов» – кружка мошенников и жуликов. Папа называл мне, как участников этого кружка, еще двух братьев Све-

чинских. Кое-кого из этой группы судили, но против большинства достаточных улик не было, и они отделались лишь исключением со службы. Бабушка рассказывала мне как-то, что ей пришлось присутствовать в доме знакомых при тягостной сцене, когда один из этих подозреваемых, тоже конногвардеец, резко обратился к даме, заговорившей об этом скандале, и предупредил ее, что, если она еще будет говорить на эту тему, то он вызовет ее мужа на дуэль. Бабушка называла мне тогда все фамилии этих лиц, но я их теперь не помню.

Папа не раз говорил мне про других Валдайских помещиков. Д.А. Поливанова он не особенно любил, а брата его, Митрофана, считал просто жуликом. Кстати, не был ли этот Митрофан тем самым Поливановым, о котором упоминается в биографиях Л.Н. Толстого в связи с семьей Берс?

Валдайцем был и Климов, директор департамента Министерства Гос. имуществ, вместе с Оренбургским генерал-губернатором Крыжановским главный виновник так называемого расхищения «башкирских» земель, которые розданы были ряду лиц. Я упоминаю в другом месте про увольнение из министров за это дело князя Ливена, виновного в том, что проглядел эту махинацию. Но Крыжановский и Климов тоже были тогда уволены, избежав, однако, суда. Не знаю, были ли возвращены в казну розданные тогда земли. Вероятно, нет.

В Кемцах же долгие годы был священником всеми уважаемый и культурный о. Петр Пятницкий, сын которого, естественник К. Пятницкий, был позднее известным преподавателем в Петербурге и соиздателем, вместе с М. Горьким, прогрессивного книгоиздательства «Знание». Сестра его была замужем за С.П. Боголюбовым, учителем Кемецкой школы и позднее управляющим «Знанием», и одновременно управляющим домами отца.

Возвращаясь к Женеве, где Делле и на меня произвел чарующее впечатление, отмечу вздорный, но врезавшийся у меня в памяти казус, как я хотел, подражая взрослым, положить в кафе мелкую монету на тарелку певичке и по ошибке положил единственный бывший у меня золотой 10-франковик, весь мой тогдашний капитал. Отец заметил это и стал надо мной смеяться, что я раненько начинаю ухаживать, чем меня, мальчика вообще очень застенчивого, сконфузил настолько, что и посейчас этот вечер остался в числе наиболее неприятных воспоминаний моей жизни.

После Женевы мы провели неделю в Париже, где в то время была открыта всемирная выставка 1889 г. Главной ее достопримечательностью была новая тогда Эйфелева башня, на которую и мы

поднялись в числе тех громадных толп, которые считали необходимым полюбоваться видом с этой необычайной тогда вышины. Все Парижские выставки, насколько я могу судить, очень схожи друг с другом, и главное их отличие одной от другой заключалось в развлечениях и в архитектурных украшениях. Из «аттракционов» особенно кричали в 1889 г. про «танец живота», в общем, довольно неинтересный и позднее изображавшийся не только африканками, как тогда.

Последними визитами нашими были посещения родных отца в Ганновере. Остановились мы в этом городе, и оттуда съездили в Бантельн, где уже 80-летним стариком жил брат моего прадеда граф Александр Беннигсен. Воспитывался он в Германии и был близок к либеральным кругам Ганновера, почему в 1848 г., когда произошла французская революция, отразившаяся и в Германии, король поручил ему составление либерального министерства. Через два года это министерство было сменено, причем король заявил, что по своей воле он с ним не расстался бы, но вынужден подчиниться давлению других немецких правительств, в то время уже вновь реакционных. Перед тем, еще в 30-тых годах Александр Леонтьевич был в России, где Николай I предложил ему поступить на русскую службу, но он уклонился от этого. И после 1850 г. он принимал участие в политической жизни Ганновера и был одно время и председателем палаты депутатов, пока особым законом бывшие министры не были лишены права быть депутатами. Все время он был сторонником осторожной политики по отношению к Пруссии, которой давно боялся, и, еще будучи главой правительства, пытался в 1849 г. создать на сейме во Франкфурте союз второстепенных государств, дабы нейтрализовать Прусское влияние, но это ему не удалось.

В 1866 г. его реакционный преемник Борриес привел Ганновер к войне с Пруссией, накануне которой в Бантельн из соседнего королевского замка Мариенбург приехала королева (король был слеп) просить Александра Леонтьевича вновь стать во главе правительства, но он отказался, считая, что спасти независимость Ганновера уже нельзя. Война продолжалась всего несколько дней и закончилась капитуляцией ганноверской армии, после чего королевство было присоединено к Пруссии. Александр Леонтьевич Беннигсен остался, однако, до конца сторонником независимости Ганновера и в прусском парламенте был главой небольшой группы «вельфских» депутатов. Говоря как-то с моим отцом о Рудольфе Беннигсене, который в 60-х годах основал вместе с Ласкером партию национал-либералов, после 1866 г. наиболее сильную в

Германии, и который, будучи ее главой, кроме нескольких частных случаев, поддерживал Бисмарка в его политике, Александр Леонтьевич назвал его предателем ганноверского дела, и вообще, с моральной стороны ценил его не слишком высоко, хотя и признавал его способности.

В Бантельне, небольшом чистеньком городке, кроме усадьбы, была большая паровая мельница и церковь. В церкви по левую сторону от алтаря висела большая картина библейского содержания, а по правую – большой портрет по весь рост прапрадеда Л.Л. Беннигсена в русском генеральском мундире с Андреевской лентой через плечо. Сам он был похоронен под церковью, а на кладбище я нашел несколько запущенных могил других предков. Мельница еще до последней войны носила название графской, Беннигсеновской, хотя уже почти 40 лет ни одного представителя нашей линии в Германии не было. Кажется, и сейчас она носит это название.

В усадьбе главный дом, светлый и чистый, не представлял никакого интереса, но был прекрасно расположен над рекой Лейне – с видом на поля, полого поднимающихся за нею к горам Зибенгебирге (Семигорье). Стоявший рядом старый господский дом и по архитектуре, и по характеру комнат мало отличался от старинных крестьянских домов, хотя когда-то и назывался «зámком». Прекрасны были зато все хозяйственные постройки, отделенные от дома старинным садом, в главной аллее которого стояли деревья в несколько обхватов.

Александр Леонтьевич, маленький старичок со слабым голосом, жил в то время со своей младшей сестрой, довольно несимпатичной старухой, вдовой их двоюродного брата Андржейковича. При ней были трое ее уже пожилых детей, двое сыновей и дочь. Один из них позднее женился на княжне Огинской, и к его детям перешли все благоприобретенные имения Александра Леонтьевича.

Уже тогда меня поразило то почтение, которое оказывалось Александру Леонтьевичу, но я думал, что оно было связано с его прежней политической ролью, и только позднее, после его смерти, я убедился, что оно в значительной степени зависело от его положения, как помещика, ибо позднее такое же почтение оказывалось моим отцу и дяде.

Между прочим, в Бантельне жила семья «русских» Ванькиных, по-русски, однако, не говоривших. Это были потомки одного из нескольких крепостных, которых прапрадед, выйдя в отставку, привез с собою в Бантельн. Отсюда мы проехали еще в соседний Гиль-

десгейм, где доживала свой век тетка отца, милая старушка Мария Вентворт-Поль со своей, тоже старой, незамужней дочерью.

Кажется, возвращались мы в этот раз из Москвы в Гурьево с ночным поездом, и с Лаптева ехали с доктором Замбрицким, возвращавшимся с процесса обанкротившегося Кронштадтского банка, на котором он выступал свидетелем защиты директора банка князя Д.Д. Оболенского, по суду оправданного. В Оболенском видели одного из прототипов Облонского в «Анне Карениной». Действительно, он был приятелем Толстого и был человеком легкомысленным, как и Облонский. Известен он был как «сухарный» Оболенский, ибо принимал какое-то участие в компании интендантских поставщиков «Горвиц, Грегер и Коган», которой во время Турецкой войны 1877-1878 гг. был сдан подряд на снабжение Дунайской армии сухарями. На компанию эту было тогда много нареканий, что сухари ее доходили до войска с опозданием и, главное, были недоброкачественными. Оболенский, как и ряд других носителей видных фамилий, занимался тогда хлопотами по получению крупных подрядов в правительственных кругах Петербурга. В сухарном подряде его роль этим и ограничилась, но в Кронштадтский банк он вошел, не имея никакого понятия о банковском деле, в состав правления. Злой воли у Оболенского, вероятно, не было, а когда коллеги Оболенского довели банк до краха, то и он сел с ними на скамью подсудимых.

В Гурьево вернулись мы в конце августа, и вскоре меня отправили в Петербург в Правоведение. За лето я очень оправился, переходить в Лицей мне не хотелось, и родители согласились оставить меня в Правоведении.

Лето 1889 г. было годом «реакционных» реформ Александра III. У нас, как и всюду, много говорили о них и осуждали их, но сейчас, вспоминая всю тогдашнюю обстановку России, мне кажется, что их влияние на дальнейшую эволюцию страны переоценивается. Несомненно, что уже при Александре II ход его реформ после 1870 г. затормозился, и уже с первых месяцев царствования его сына, когда он решил не опубликовывать весьма скромную «Лорис-Меликовскую» конституцию, было ясно, что при этом государе шансов на немедленное дальнейшее политико-социальное развитие страны нет. Однако, все реакционные его реформы, по моему глубокому убеждению, имели только поверхностное значение, и только немного усилили противоправительственное движение. Основная идея всех этих реформ – передать власть на местах поместному дворянству – оказалась попыткой с негодными средствами.

К роли дворянства в эволюции России я вернусь позднее, теперь же укажу только, что реформы 1889-1890 г. лишь переименовали одних и тех же дворян-чиновников, выбираемых дворянами же, руководившими земством и назначаемых губернатором, и классовое начало в земских выборах заменили сословным. На деле перемена была не велика – люди, в общем, остались те же, но была подчеркнута привилегированная роль высших сословий без всякой нужды и пользы для них. Много говорили тогда про идиотскую фразу Делянова о «кухаркиных детях», которым не нужно даже среднее образование, но в сущности все реформы того времени были основаны на том же принципе искусственного обособления овец (дворян) от козлиц (других сословий).

Веневский уезд был соседним с Михайловским и Зарайским, в одном из которых был забаллотирован в гласные бывший министр народного просвещения граф Д.А. Толстой, и у нас говорили, что именно это забаллотирование и лежало в основе его враждебности к бессословному началу, приведшей к реформам Александра III, когда Толстой стал министром внутренних дел. Реформы эти были встречены враждебно даже в чиновничьих кругах, и в Государственном Совете большинство высказалось против них, но Александр III утвердил мнение меньшинства. По существу, обо всех их мне придется говорить, когда я перейду к моей работе в Старорусском уезде, пока же, в виде общей характеристики их, скажу только, что реформы эти ни в коем случае не остановили революцию, а скорее ее приблизили.

В сентябре я явился в «большое» Училище, где первые дни привыкания к обстановке всей его жизни были довольно тяжелыми для всех нас, живших до того только в среде своих семей. Весь училищный строй шел по полувоенному шаблону, установленному еще с Николаевских времен. Поднимались мы на младшем курсе, т.е. в гимназических классах, по звонку в 6 часов, и должны были в 7-м классе сразу вскакивать, ибо задержавшихся в умывалке выгонял оттуда 6-й класс, запаздывавший вставанием на четверть часа.

В 6.30, после общей молитвы, мы шли строем пить чай, в те времена очень безвкусный, дававшийся в кружках полуостывшим с трехкопеечной булкой. С 8 до 11 часов шли уроки, после чего мы, опять строем, шли завтракать в столовую. Кормили нас, в сущности, достаточно и свежей провизией, но еда была очень невкусно приготовлена. Уверяли, что смотритель Федоров, заведовавший кухней, очень на ней наживался, но когда позднее кухня была поставлена под контроль самих воспитанников и нас стали

кормить прекрасно, то результатом этого явился крупный перерасход, и возможно, что нарекания на Федорова явились результатом общего недоверия ко всем, кто ведал хозяйственной частью

После завтрака гуляли в саду, большинство в куртках, без пальто, даже в большие морозы, затем шел медицинский прием доктором Снежковым, неизвестно почему ставшим училищным врачом, ибо специальность его была акушерство. К нему всегда являлось много народа, ибо наряду с настоящими больными к нему прибегали и пытавшиеся увильнуть от неприятных уроков, что иногда и удавалось тем, кто умел каким-то постукиванием по градуснику взбить температуру. Во время дневной перемены бывали и уроки танцев. Давал их бывший балетмейстер Троицкий, величественный мужчина с большими бакенбардами, которого изводили, танцуя польку с подпрыгиваниями, – нарочно, чтобы довести его до фразы, что «так танцуют только в публичном доме», что вызывало общий хохот всех мальчишек. От часу до четырех были вновь уроки, затем в 5 часов был обед, и от 6 до 8 – приготовление уроков. В 9.00, после чая, ложились спать.

По вечерам бывала еще гимнастика на «машинах», которую не все любили, но которой я дорожил, и думаю, что она была нам, несомненно, полезна. Спорт в те годы еще не существовал, и эта гимнастика была единственным физическим упражнением, развивавшим в нас ловкость и силу.

Интернат развивал товарищество, и появление «фискалов» и даже случайных доносчиков было в нем явлением исключительным. Из моих товарищей я не могу никого упрекнуть в измене этому кодексу товарищества. Если же приходилось нам сталкиваться со случаями непорядочности в нашей среде, то в младших классах виновного избивали, а в старших изгоняли по товарищескому суду. Мне известны три таких случая, один из коих в моем классе. После страстных прений громадным большинством мы высказались за удаление одного из наших товарищей за мелкие мошенничества, и когда он сам не ушел, сообщили это директору, вызвавшему отца виновного, почтенного профессора-генерала, сразу понявшего, что сыну его оставаться в нашей среде невозможно. Позднее я его встретил в Москве офицером, и возможно, что наш урок его направил. Мне пришлось не раз видеть, что из мальчишек беспутных и, казалось бы, ни на что не годных, вырабатывались хорошие люди. Один из таких моих товарищей, например, Дунин-Слепец, ушедший еще из младших классов, оказался позднее фанатиком военного дела. Георгиевский кавалер за осаду Порт-Артура, в 1915 г. он мне встретился в Минске этап-

ным комендантом, где плакался, что из-за его 14-ти ран его считают неспособным к командованию полком на фронте, но надеялся, получив полк сперва в тылу, перебраться затем на фронт. Все это он проделал, но в 1917 г. оказался в числе многих погибших тогда в различных столкновениях с подчиненными, возможно, что без сколько-нибудь серьезной вины со своей стороны. Он командовал летом 1917 г. полком в Выборге, и был убит одновременно с генералом Орановским.

Упомяну про «подтягивание» старших младшими. Часто это считают явлением безобразным, и подчас, действительно, хорошего в нем было мало. То, во что оно выродилось в Николаевском Кавалерийском училище, было действительно глупо. Однако, оно имело известную хорошую сторону, дисциплинируя молодежь, всегда до известной степени анархическую. Мне кажется несомненным, что есть истина в утверждении, что чтобы научиться командовать, надо сперва научиться подчиняться. Но при всем том, «подтягивание» даже в Правоведении носило подчас глупый, хотя больше и мальчишеский характер, причем особенно отличались в нем те, кто наименее преуспевали в науках.

Директором Училища я застал Алопеуса, уже глубокого старика, элегантного, несмотря на его шаркающую после удара ногу. Когда он входил в зал во время рекреации, командовалось «смирно», и он с нами здоровался по-военному. Относился он ко всем очень мягко, и его скорее любили, хотя непосредственного общения с ним у нас и было мало. Ближе к нам стояли два инспектора: «классов», ведавший вопросами преподавания, и инспектор «воспитанников», наблюдавший за воспитательной и хозяйственной частью. Первую из этих должностей занимал сперва профессор римского права Дорн, сошедший вскоре с ума; немного спустя он оправился, но вероятно не вполне, ибо мысль, что его продолжают считать душевнобольным его не оставляла и через некоторое время он повесился. Позднее его заменили: в специальных классах – попечитель Санкт-Петербургского учебного округа Капустин, а в общих – некий Покровский, педагог, скорее, отрицательного типа. Инспектором воспитанников был полковник Ганике, артиллерист-академик, бывший ранее воспитателем принца Петра Александровича Ольденбургского, сына нашего попечителя. Ганике был человек глубоко порядочный, и я не могу припомнить за семь лет, что мы с ним пробыли в Училище, ни одной несправедливости с его стороны.

Старость Алопеуса имела, однако, одно отрицательное последствие: он не замечал, что его давнишние сотрудники тоже устаре-

ли и подлежали бы в значительной части смене. Вследствие этого, среди наших воспитателей и преподавателей было несколько руин, в лучшем случае бесполезных. В каждом классе был свой воспитатель, переходивший с ним до выпуска и затем принимавший вновь переходивших из приготовительного класса. Из стариков умственно вполне сохранился только мой воспитатель В.М. Лермонтов, суровый на вид, но с золотым сердцем, одинаково понимавший и детей, и молодежь. Худого не могу сказать ничего и про других воспитателей, но трое из них были уже почти выжившими из ума, особенно некий Герцог. Мальчишки подчас подбегали к нему в саду и кричали ему в лицо – «бум», на что и он повторял: «Бум».

Среди воспитателей всегда было два или три француза и один или два немца, что, несомненно, помогало усвоению французского языка; с немцами же все говорили по-русски. Среди французов отличался Гютине, про которого придумали, что он французский дезертир, бывший барабанщик, которого прозвали «мародером». Я не видел другого воспитателя, который так как он умел бы брать нас в руки. Часто устраивались воспитателям «скандалы» – довольно безобидные, в сущности, общие нарушения дисциплины, особенно ночью в дортуарах, – но достаточно было появиться Гютине, чтобы порядок моментально восстанавливался. Кроме того, он знал, как с кем обращаться и, будучи очень строгим в младших классах, ближе к выпуску становился старшим товарищем своих воспитанников. В общем, я должен сказать впрочем, что если к части воспитателей осталось у нас безразличное или ироническое отношение, враждебности не было ни к кому.

С преподаванием обстояло, несомненно, гораздо хуже. Оплачивалось оно в Правоведении лучше, чем в гимназиях, и поэтому приглашались преподаватели из числа лучших в Петербурге, однако некоторые старики уже мало чего стоили. Латинский язык, например, преподавал Слефогт, спрашивавший всегда по книге от точки до точки, так что всего остального можно было не учить. Если за два года ученья с ним мы его предмет не забыли, то лишь потому, что до и после него у нас были по латыни прекрасные преподаватели. Когда в 70-х годах греческий язык был сделан обязательным в гимназиях, его ввели и в Правоведении, но уже через 15 лет было решено заменить его естественными науками, и мой класс был последним, его изучавшим. Вероятно, это сказало и на нас и на нашем преподавателе Бюриге, и хотя мы и читали с ним Гомера, но знатоками греческого не стали. Хорошо зато было поставлено преподавание новых языков – французско-

го и немецкого; два последних года мы проходили даже литературу этих языков и в общем знали ее. Впрочем, наши успехи в них надо объяснить и тем, что большинство из нас знали языки еще дома; ведь, чтобы научиться говорить на том или ином языке на школьных уроках, необходимы исключительные способности. Хорошо преподавался у нас русский язык, особенно в младших классах, исключительным его преподавателем был Устьрецкий. Наоборот, русскую литературу уже в университетских классах очень неважно читали нам университетские профессора Незеленов, скоро умерший, и после него Бороздин.

Очень плохо знало большинство моих товарищей геометрию, физику и географию. Про преподавателя первого предмета – генерала Ильяшевича я уже упоминал, говоря о Правоведении времен моего отца. Объяснял он прекрасно, а другой генерал – Шнейдер, несмотря на свои 70 лет, мог считаться передовым преподавателем физики, но оба они были от старости невероятно близоруки, и у них ученики часто один отвечал за другого. Учитель географии Карлов видел хорошо, но у него слабела память, и он часто повторялся. У него была недурная система преподавания – путешествовать по берегам морей и рек, при этом сообщал он подчас интересные сведения о попутных городах, но иногда забывал, о чем уже говорил, и повторял то же самое. Например, начав описание берегов Европы с Мезени и дойдя через несколько уроков до Батума, он вновь возвращался тем же путем в Северный Ледовитый океан.

Нарочно оставил я на конец уроки истории. Преподавал нам историю в подготовительном классе очень недурно приват-доцент Сенигов, ученая карьера которого закончилась довольно быстро уголовным обвинением в каких-то мошенничествах, связанных с затеянным им книгоиздательством. Потом перешли мы к Добрякову, преподавателю очень требовательному, благодаря которому мы знали даже самые неинтересные исторические эпохи. Своего он вкладывал в преподавание мало, и учили мы историю преимущественно, как и вся Россия, по знаменитому Иловайскому. Я далек от того, чтобы считать эти учебники идеальными, но не стал бы их и осуждать огульно. Несомненно, они были одним сухим изложением фактов почти исключительно политической истории, но они имели ту хорошую сторону, что давали каркас, на котором потом надлежало уже самому развивать дальнейшее. Я всегда любил историю, и, в общем, ее знаю, но и посейчас у меня в моих познаниях в ней есть пробелы, и в них мне часто помогает старый Иловайский, как исходный пункт для дальнейших

поисков. Эти учебники, несомненно, ничего не давали по истории социального развития и очень мало по истории общей культуры, но когда позднее мне приходилось заниматься с моими дочерьми историей и просматривать в эмиграции учебники внука, я не знаю, были ли они лучше. Во всяком случае, к возрасту учеников они были приспособлены не больше, и, например, учебники Виноградова, заменившие до революции Иловайского, едва ли могли больше заинтересовать подростков, чем их предшественники.

Мои занятия, хотя в 7-ом классе и прерывавшиеся еще частыми простудами, пошли гораздо лучше, и, к изумлению моих родителей, я скоро оказался в числе первых учеников. Плохо давался мне только Закон Божий. У меня была всегда какая-то странная память: вообще запоминал я все очень хорошо, но никогда я не мог почти ничего выучить хорошо наизусть. Поэтому и Богослужение, и Катехизис явились для меня камнем преткновения, на котором я позднее серьезно спотыкнулся. Наш законоучитель о. Певцов был позднее у нас и профессором Церковного права, но читал его очень скверно, да и Закон Божий преподавал неважно.

Учебный год шел вначале однообразно и оживлялся лишь престольным праздником нашей училищной церкви Святой Екатерины, и особенно блестящим праздником 5-го Декабря, днем основания Училища. Церковь была хорошенькая, со стеклянным алтарем работы Мальцевских заводов, пожертвованным их владельцем Мальцевым, бывшим во время учреждения Училища адъютантом принца Ольденбургского. В торжественные дни пел ученический хор – надо признаться, довольно неважно. Псаломщические функции тоже обычно исполняли воспитанники. В мое время среди них выделялся Шеин, потомок знаменитого защитника Смоленска боярина Шеина. Человек очень добросовестный и работающий, но незаметный, наш Шеин преподавал потом в Училище Гражданское право и был вместе со мной членом 4-й Государственной Думы. После революции он пошел в монахи, и, будучи архимандритом, был расстрелян вместе с митрополитом Венямином.

5-го Декабря в Училище собиралось всегда много бывших преподавателей, а воспитанникам давался в рекреационном зале старшего курса улучшенный завтрак. На оба праздника – Екатеринин день и 5-ое Декабря – приезжали обычно принц и принцесса Ольденбургские. Она, рожденная герцогиня Лейхтенбергская и правнучка императрицы Жозефины, была женщина мягкая, но некрасивая и незаметная. Жизнь ее с мужем была, вероятно, несладкой, ибо он был человеком, несомненно, неуравновешенным. Принц Александр Петрович постоянно переходил от одного ув-

лечения к другому, и надо признать, что многое, чему он дал свою поддержку, было очень ценно. Например, Институт Экспериментальной медицины, который был позднее прославлен Павловым, и Народный Дом в Петербурге возникли, если и не по его инициативе, то благодаря его энергичной поддержке. Наряду с этим, однако, о нем постоянно ходили различные анекдоты, основанные на фактах большей частью безвредных, но иногда имевшие трагические последствия. Таков, например, был случай в 1916 г. со Смоленским губернатором Кобеко, которого он устранил от должности за то, что тот не смог ему на память сказать, сколько в губернии госпитальных мест и который по возвращении домой умер от разрыва сердца. Когда я был в младших классах Училища, принц был командиром Гвардейского Корпуса и одновременно с этим увлекался зубоврачебным искусством. Ввиду этого к нему по наряду командировали солдат с больными зубами, которые он и рвал, правда, говорят, мастерски.

Лично я был в Училище свидетелем двух вспышек принца, закончившихся в конце концов ничем, но весьма неприятных. Когда впервые в Училище был новый министр юстиции Муравьев, принц возмущался тем, что один из воспитанников стоял в строю не прямо (в действительности он был хромым), и, проводив министра, вернулся разносить нас. По команде «строиться» мы выбежали из классов, но после команды «смирно» один из моих товарищей, Рембелинский, не успел до нее занять своего места, и шелохнулся. Заметив это, принц, успевший только обратиться к нам со словом «господа!», забыл, что хотел дальше сказать, бросился на Рембелинского с криком: «Балл из поведения долой, два балла долой!», и затем: «Где классный воспитатель? Месячный оклад жалования долой», после чего, не сказав нам ни слова, умчался. Конечно, ни одно из этих наказаний применено не было.

В другой раз, уже в выпускном I-м классе, я был дежурным по Училищу, функция которого сводилась к тому, чтобы спать не раздеваясь, поднимать по утрам спящих и составлять дневной рапорт. Конечно, вытаскивать из кроватей своих товарищей по классу дежурному не удавалось, да и вообще на запоздание старших во вставании смотрели снисходительно. И вот, когда после побудки я шел на младший курс, чтобы получить там данные для рапорта, я услышал, что там кричат кому-то: «Здравия желаем!», и через мгновение навстречу мне в зал старшего курса влетел принц. Зная, что главное для него получить какой-нибудь ответ, я отрапортовал ему совершенно фантастические цифры, он пролетел дальше в дортуары, где увидел еще не одетых моих това-

рищей, разнес и чуть ли не отправил под арест воспитателя Ле-Франсуа и умчался дальше. Наряду с такими неуравновешенными выходками, надо, впрочем, сказать, что принц был очень добрым и хорошим человеком.

Иногда 5-го Декабря появлялся с родителями и принц Петр Александрович Ольденбургский, окончивший Правоведение, когда я переходил в большое Училище. Высокий и очень бесцветный блондин, он через несколько лет женился на сестре Николая II Ольге Александровне, но скоро она с ним развелась, чему, кажется, никто не подивился, ибо, при всех своих прекрасных моральных качествах, интересным он ни в каком отношении не был. Надо отметить, что он всегда был склонен к социализму, в эмиграции примкнул открыто к социалистам-революционерам и опубликовал под псевдонимом Александра книжку рассказов в правосоциалистическом духе. В эмиграции он женился вторично на сестре моего старшего товарища Ратькова-Рожнова, вдове генерала Серебрякова, и вскоре после этого умер.

После училищного праздника и рождественских каникул занятия шли у нас без чего-либо замечательного до Масленицы, когда все обязательно направлялись на Марсово Поле, где тогда, до переноса их на Семеновский плац, устраивались балаганы, среди коих главное место занимала всегда большая деревянная постройка Малафеева. Глазели все на придворные кареты, в которых институток катали по полю, но не выпускали их погулять. Все было примитивно, но пьяно и для большинства весело.

На 1-й неделе Великого Поста все Училище говело, и поэтому со среды занятий не было. Два раза в день водили нас в церковь, но надо признать, что молитвенного настроения у большинства эти службы не вызывали и, наоборот, вся обстановка в Училище была на этой неделе такая, что только разрушала веру, с которой большинство приходило в Училище. Все, тем не менее, исповедовались и причащались. При мне был казус с воспитанником Потемкиным, который заявил о. Певцову, что он в Бога не верит, и в результате попал на сутки в карцер; после этого больше никто столь откровенен не был.

Со среды начинался в Училище шахматный турнир. Самым сильным игроком был тогда среди нас тот же Потемкин. Юноша, несомненно, способный, но очень некрасивый, косой и с физиономией Мефистофеля, он был невероятный циник, и всегда болел венерическими болезнями. Учился он, несмотря на свои способности, плохо, в специальные классы не перебрался и вскоре умер от туберкулеза. Кажется, он был инициатором первого в Учили-

ще шахматного турнира, но кроме него никто мало-мальски хорошо в Училище не играл; меня, во всяком случае, шахматы заинтересовали, и на четыре года я стал их фанатиком. Позднее, по-видимому, эти турниры заинтересовали и будущего чемпиона всего мира Алехина, который, еще будучи правоведом, стал чемпионом России. Замечу кстати, что в Училище обращалось всегда большое внимание на разностороннее развитие воспитанников. Всегда были в нем хорошие преподаватели музыки и рисования, были хор и оркестр, и ежегодно устраивались ученические спектакли с весьма разнообразной программой, до французских шансонеток включительно.

Среди моих товарищей оказалось тоже несколько увлекающихся сценой, и на дому у одного из них – Бобрищева-Пушкина, сына известного в то время адвоката, устраивались спектакли. Сам мой товарищ был мальчиком странным уже в младших классах, и с годами эти странности только увеличились. Вначале он был у нас 1-м учеником, но потом съехал на середину. Писал он еще в детстве стихи, и некоторые его стихотворения были напечатаны, но крупного он ничего не дал. Позднее он стал тоже известным адвокатом по уголовным делам, и случалось, что он и его отец выступали защитниками по одному и тому же делу. Семья Бобрищева была дружна с семьей Суворина, дочери которого принимали там участие в любительских спектаклях. Из моих товарищей играл у Бобрищевых Лапицкий, ставший позднее известным директором Музыкальной драмы. К этому кружку принадлежал и Кармин, пасынок писателя Гнедича, ставшего вскоре после того директором Александринского театра. И сам Кармин тоже приобщился позднее к театральному миру, женившись на известной артистке Читау.

В начале мая начинались экзамены – для многих страшное время, но для меня за все время пребывания в Училище – самое беззаботное. Мысли о том, что я могу срезаться, у меня ни разу не было, и только раз за все время я ответил неудачно, как раз в присутствии принца Ольденбургского, не смоги ответить безошибочно ни одного русского стихотворения. Я всегда старался ответить одним из первых, и никогда не мог понять товарищей, которые старались ответить последними, чтобы еще раз повторить слабые места. Отвечали по билетам, которые во время перерыва для завтрака смешивались и на которых плохие ученики просили первых отвечающих делать какие-либо условные знаки. Не знаю, удавалось ли им по этим знакам вытаскивать отмеченные билеты, но отмечать их считалось обязательным. Выходили подчас с над-

писанными программами или с пометками на манжетах, но если попадались, то за это грозило исключение.

Иногда на письменных экзаменах помогали старшие воспитанники, но опять же с риском наказания. Как раз, когда я переходил в «большое» Училище, был исключен из него Никольский, будущий приват-доцент и деятель «Союза Русского Народа», попавшийся воспитателю, когда подсовывал в один из младших классов «шпаргалку», и грубо ему ответивший. Кстати добавлю, что в течение года было немало способов избегать ответов. У подслеповатых преподавателей, которые не знали воспитанников в лицо, дежурный по классу просто докладывал преподавателю, что незнающих урока нет в классе. У других – прятались под кафедру учителя, под которой могли свободно лежать двое. Наконец, у некоторых преподавателей просто «подставляли» себе баллы, пользуясь их невниманием. Особенно отличался этим один из моих товарищей, некий Колмогоров, малоспособный и грубый подросток. В конце концов, он попался на экзамене Закона Божьего со сплошь надписанной программой, и был исключен, но перед тем его прямые мошенничества практиковались несколько лет. Будучи очень сильным, он не стеснялся в применении своей силы, и поэтому его очень не любили, и случалось, что его начинали изводить всем классом и доводили прямо до истерики. Мальчики бывают подчас безжалостны, и я помню, что Колмогорова довели как-то до того, что он сполз под парту и горько там плакал.

Был у меня и другой товарищ, Казаковский, по прозвищу «Луна», которого тоже невероятно изводили, но этого добродушно. Его лицо, исключительно круглое, действительно, очень напоминало луну, и каждую минуту ему делали или «апельсин» и «лимон» или «смазь вселенскую», что он принимал, впрочем, без протестов. Долго он в Училище не продержался и вскоре был исключен за плохое ученье. Из исключенных припоминается мне еще пробывший с нами два года Дмитриев-Мамонов. Ушел он из Училища, ибо какие-то денежные операции показались начальству неподходящими для будущего юриста, и перешел в университет, которого, однако, тоже не кончил. Рассказывали, что у него и тут была «неприятность», ибо он попытался шантажировать какого-то иерарха, о котором он узнал про какую-то его любовную связь. Это не помешало ему, однако, в 1913 г. получить право именоваться графом. Дмитриевы-Мамоновы, так же, как Лопухины и Шереметевы, были когда-то в свойстве с Романовыми (один из них, петровский сенатор, был женат на сестре императрицы Анны Иоанновны) и, воспользовавшись этим, мой бывший това-

рищ, ставший за это время финансовым деятелем, хотя и из сомнительных, исхлопотал себе графский титул другой, давно вымершей линии.

Мое учение, как я уже упомянул, шло хорошо, и в 6-м классе (в Правоведении 7-й класс был младшим) я совершенно неожиданно для себя оказался первым учеником, чтобы, правда, на следующей трети слететь из-за Закона Божьего на второго, каковым я затем и оставался три года. Сейчас смешно вспоминать огорчения, вызываемые подобными перемещениями, но, сознаюсь, что мне потеря первого места была очень неприятна, хотя я и не плакал, как за год до того мой предшественник по нему. Отмечу, кстати, что мне, как в нашем классе, так и в других, пришлось не раз наблюдать, что первые ученики младших классов оказывались позднее на последних местах, да и что, вообще, хорошее учение еще не есть гарантия больших способностей.

В мое время в общественных кругах стали обсуждать вопрос об экзаменах, требуя большею частью их упразднения. И, действительно, позднее почти во всех учебных заведениях стали переводить по годовым баллам, оставив экзамены лишь для плохо преуспевающих, т.е. именно для тех, для кого они были пугалом. Обычно против экзаменов приводилось, что они напрасно нервнируют молодежь, но на моих товарищах я этого не замечал, а лишнее повторение курса в конце года мне казалось и кажется не вредным. Быть может, впрочем, это мнение «удачника» не будет одобрено середняками, хотя я и оценил очень освобождение меня от экзаменов в 6-м классе, когда я в самом конце учебного года заболел корью, благодаря чему тогда на месяц раньше обычного попал в Гурьево.

Уже в младших классах многие из нас начали выпивать, причем первые выпивки обычно бывали связаны как раз с экзаменами. В те времена во время экзаменов было принято на пароходике ездить в часовню Спасителя (домик Петра Великого), якобы помолиться об их успехе, и поэтому желающим это свободно разрешалось. В действительности, перебравшись на другую сторону Невы, мы закупали в лавочке около садика часовни ситник и чайную колбасу, которыми и закусывали водку, распивавшуюся прямо из горлышка. В самом Училище в младших классах зато почти не бывало, чтобы пили. Наоборот зато, через наших «дядек» очень часто посылали за какой-нибудь провизией, большею частью за сладкими пирожками. Кроме того, так как кормили нас тогда неважно, то многим, у кого родители жили в Петербурге, родные присылали бутерброды и пирожки, которыми они и де-

лились с товарищами. Говоря о посылках за провизией, отмечу, что в младших классах различие в материальных средствах мало сказывалось среди нас. Большинство из нас были детьми чиновников, да и родители остальных обычно жили своим заработком и мало у кого были значительные средства. Я был из богатых, и то получал первоначально в месяц 5 рублей, позднее, начиная со старших гимназических классов, увеличенные до 25.

Наши «дядьки», о которых я упомянул, оставили у меня, в общем, самое хорошее воспоминание, особенно старик Ларченко, который меня принял в 7-м классе. На нем лежало попечение о наших вещах, которых, правда, было немного, ибо все наше обмундирование, белье и обувь были казенные. Мундир и куртку – все еще Николаевского образца – мы сперва получали ношенные, с фамилией предшественника, написанной чернилами на подкладке. Затем, еще с осени, снималась с нас мерка и шилось новое обмундирование, которое, однако, под наименованием «первосрочного», выдавалось нам этой зимой лишь в дневные часы между Рождеством и Масленицей, когда традиционно ожидался, хотя и напрасно, приезд Государя.

Все выдававшееся нам из казны было прочно, но грубо и довольно некрасиво, но в те времена, до специальных классов, мало у кого из нас было свое обмундирование. Самый большой «шик», который мы себе позволяли, это покупать себе собственную треуголку. Собственное обмундирование тогда преследовалось начальством, и бывали случаи его конфискации, ибо начальство считало тогда недопустимым, чтобы более богатые выделялись среди массы более бедных. В этом отношении, да и в некоторых других, Правоведение моего времени было гораздо проще, чем оно стало потом, лет через 20. Было оно значительно проще также и Лицея.

Были для нас установлены строгие правила поведения и вне Училища. Государю и членам царской фамилии, принцу и директору мы должны были становиться во фронт, другому Училищному начальству и друг другу полагалось отдавать честь. Из театров разрешалось бывать только в Императорских, да и то только в ложах или креслах, но не ближе 7-го ряда. Уже при мне было, да и то неофициально, допущено посещение частных театров, в первую очередь итальянской оперы. Бывать в ресторанах тоже не разрешалось, кроме почему-то второстепенного ресторана «Альбер». Впрочем, в большинстве ресторанов нас пускали в отдельные кабинеты. В результате, обычным местом сбора для нас бывал в младших классах буфет Николаевского вокзала, наиболее подходящий и для наших карманов.

Чтобы покончить с общими классами Училища, упомяну еще про генерала Пантелеева, заменившего, когда мы переходили в 5-й класс Алопеуса. Офицер Преображенского полка во время Турецкой кампании, он был 4-м командиром Архангелогородского полка, в котором три его предшественника были убиты на трех штурмах Плевны. Пантелеев получил за войну Георгиевский крест, и позднее командовал Семеновским полком. Человек он был мягкий и порядочный, и мы с ним сошлись, тем более что особых новшеств он в нашу жизнь не внес. Оговорюсь, впрочем: при нем нас стали гораздо лучше кормить. Смотритель Федоров остался тот же, но старшим курсом стал избираться особый заведующий кухней, так называемый «генерал от кухни», и воспитанники, дежурные по кухне, принимали все продукты. Сознаюсь, что когда мне пришлось нести это дежурство, я чувствовал себя довольно глупо, ибо, если проверка веса была проста, то в качестве продуктов я абсолютно не разбирался. Улучшение пищи имело, однако, результатом значительное ее вздорожание, а так как казенный отпуск увеличен не был, то, как я уже говорил, получился значительный перерасход, как я позднее, уже в эмиграции, узнал от принца Ольденбургского. Перерасход этот, если не ошибаюсь, в 38.000 рублей был покрыт самим принцем, если судить по тому недовольству, с которым он мне про него рассказывал.

Жизнь нашей семьи эти годы шла довольно однообразно. В 1887 г. отец нанял большую квартиру на углу Пантелеймоновской и Моховой, где мы прожили 11 лет. По мере того, как мы подрастали, квартира эта стала нам, однако, мала, и тогда отец нанял над ней вторую, освободившуюся после смерти занимавшего ее сенатора князя Ширинского-Шихматова, отца мужа моей тетки, Андрея. Этот Ширинский был племянником министра народного просвещения при Николае I, про которого кто-то сострил, что он дал народному образованию «шах и мат». Сам он был раньше товарищем того же министра при Александре II, но я его помню уже сенатором и глубоким стариком. У него было много детей, старший из коих – Алексей, был позднее обер-прокурором Синода.

Ширинские перероднились с семьей Мезенцевых, один из коих, конный артиллерист, занимал квартиру против Ширинских. Позднее судьба снова свела меня с ним в Государственной Думе, куда он был выбран от Пензенской губ. Ширинские были крайне правых убеждений, тогда как Мезенцевы – все очень порядочные – были скорее умеренной оппозиции.

Упомяну еще про всех других жильцов нашей лестницы. Против нас жил известный педиатр доктор Коровин, довольно не-

симпатичный человек, ставший потом врачом царских детей, а под нами жил генерал Толстой, товарищ отца по Правоведению, и Нарышкина, ставшая позднее гофмейстериной царского двора. Сын ее – позднее преображенец и флигель-адъютант – кончал в то время Правоведение, но столь плохо, что не натянул даже на третий разряд, и получил аттестат, в сущности, равнозначный окончанию гимназических классов.

Летом 1888 г. к нам в Гурьево приехали дядя Макс с Милочкой, которой тогда исполнилось 16 лет, и одновременно появился у нас товарищ дяди Андрей Ширинский-Шихматов. Андрея я знал с предыдущей зимы по Правоведению, в котором он славился своей громадной силой и основательным прохождением курса; ему было уже 20 лет, и он только что закончил гимназические классы, в трех из коих он просидел по два года. На моих глазах начался его роман с Милочкой, тогда прелестной девушкой, хорошенькой, и с милым, мягким характером. Будучи еще мальчишкой, я ничего еще не замечал, пока как-то не разрубил себе топором ногу, после чего должен был несколько дней пролежать, и в одну из ночей случайно услышал разговор родителей о том, что Андрей сделал предложение Милочке. Свадьба их состоялась в конце лета, после чего они поселились в Москве, где Андрей отбывал воинскую повинность в Сумском полку. Его в семье Мекк не любили, ибо он был хвастуном и вруном, хотя, в общем, и безобидным. Милочка была всецело под его влиянием, и он делал с ней, что хотел. Состояние ее, благодаря нарастанию процентов, было более значительное, чем всех других членов семьи; он понемногу его спустил, главным образом, на медвежью охоту. Он говорил, что убил больше ста их, причем среди них был один больше 22 пудов. На медведя пудов 8-9 он ходил иногда с усовершенствованной им самим рогатиной. Он был первым, вывезшим из Сибири лаек, которых и выставял на собачьих выставках, получая постоянно первые призы.

Как и прочие члены его семьи, Андрей был очень религиозен, и за ним стала верующей и Милочка, до того к вере индифферентная. В имении своем около станции Заречье-Академическая, они построили церковь, и в ней я видел много старинных икон, которые Андрей понемногу собрал в своих поездках на Север на охоты. Судить об их художественной ценности я, впрочем, не берусь.

У Ширинских в деревне я был как-то зимой, и Андрей меня взял с собой на охоту на лисицу. У него жил пскович, специалист-обкладчик, который выследил лисицу и выгнал ее на меня (кроме участка, откуда шли загонщики, на деревьях и кустах были раз-

вешаны цветные тряпочки, чтобы лисица не прошла в этом месте). День был чудный, солнечный и тихий, и у меня до сих пор ярко стоит в памяти лисица, вышедшая на тропинку с опаской и оглядывавшаяся. Я выстрелил, но, по-видимому, промахнулся, и лисица была убита, мне кажется, Андреем, выстрелившим сразу за мной, который, однако, присудил ее мне. Это был единственный мой трофей за немногие охоты, на которых я перебивался: на глухарей в Новгородской губернии и на зайцев в Тульской и Тамбовской, и в которых я ценил, в сущности, только ту природную обстановку, в которой эти охоты развивались, а не то, что удавалось убить безобидного зверька или птицу.

В своем Вышневолоцком уезде Андрей служил по выборам Предводителем дворянства и Председателем земской управы, но долго нигде не уживался. Был он позднее вице-губернатором в Ревеле и губернатором в Саратове, уже когда я был членом Государственной Думы, и мои коллеги его единодушно не хвалили, хотя честность его никем не ставилась под сомнение.

Про мое лечение летом 1889 г. я уже говорил, а летом 1890 г. отец взял меня с собой в Эмс, где он пил воды от катара желудка. Это прелестное местечко было модным во времена Вильгельма I и Александра II, но когда мы там были, оно уже было в упадке, хотя мы и застали там немало русских. Техника лечения довольно слабыми Эмскими щелочными водами была зато, насколько я могу судить, прекрасна.

Следующий, 1891 г., был исключительно неурожайным, и все интересы страны были посвящены борьбе с голодом. Несомненно, правительство запоздало и в установлении размеров бедствия, и в принятии мер борьбы с ним, а кроме того местная администрация даже в эти тяжелые дни не поняла, насколько преступно затруднять доступ к помощи голодающим политически ненадежным, по ее мнению, лицам. Родители в эту зиму и на свои средства, и на значительную сумму, данную бабушкой, закупали через дядю Колю муку десятками вагонов и часть ее раздавали даром окрестным деревням, а другую уступили Веневскому земству, которое само не смогло достать всей необходимой ему муки. Кроме того, тоже через дядю Колю, родители закупили в степных районах около сотни лошадей, которых и раздали соседним безлошадным крестьянам. Приучить этих лошадей, никогда не бывших до того в упряжи, к работе было, однако, вещью не легкой. Надо сказать, впрочем, что Веневский уезд был на окраине пострадавшей от засухи полосы и что настоящего голода в нем, такого, как в Поволжье, не было.

В Правоведении этой зимой был устроен концерт в пользу голодающих, собравший массу народа. В этот вечер я впервые увидел П.И. Чайковского и Николая II, тогда наследника и Председателя комитета помощи голодающим. Чайковский дирижировал нашим училищным оркестром и был главной приманкой концерта, наряду с известной певицей Мравиной, сестрой бывшего правоведа Мравинского (их отец, генерал и старший техник городской Думы, был в 1881 г. отставлен от службы за то, что, будучи отправлен с полицией на обыск в лавку Кобозева, не обнаружил ведшегося из нее подкопа). Николай II ухаживал на концерте за красивой сестрой моего старшего товарища Мятлева; его связь с Кшесинской в это время, кажется, уже прекратилась, а увлечение будущей императрицей Александрой Федоровной еще не началось.

Осенью, тоже неурожайного 1892 г., прибавилось новое бедствие: холера. Как всегда она появилась сперва на юге, по Волге поднялась вверх и к осени достигла Петербурга. В те времена даже в культурных кругах еще не отдавали себе хорошенько отчета о способах распространения этой болезни, и хотя врачи предупреждали о необходимости не есть ничего сырого и пить только кипяченую воду, многие этого не соблюдали.

Через год от холеры погиб жертвою своей неосторожности и Чайковский. После концерта в Училище я его видел несколько раз, но более или менее мимолетно. У нас в доме он не бывал, как мне кажется, вследствие его половой ненормальности, которая глубоко возмущала мою мать. В это время моя бабушка Надежда Филаретовна фон Мекк уже прекратила переписку с ним в форме, которая его глубоко задела. Позднее мне несколько раз пришлось говорить о мотивах этого разрыва, но сказать вполне точно, почему она поступила так резко, я затруднился бы и сейчас. Вдова моего двоюродного брата Волички – В.Г. фон Мекк – утверждала, что это было последствием тяжелой болезни моего дяди Володи. Бабушка, до того неверующая, увидела в этом наказание Божие за свое увлечение музыкой, и порвала с Чайковским. В своей, имевшей большой успех в Соединенных Штатах книге о Чайковском и бабушке «Beloved friend»*, В.Г. этого предположения, однако, не повторила. С другой стороны, писательница Н.Н. Берберова, опубликовавшая о Чайковском книгу в эмиграции, писала мне, спрашивая, не порвала ли бабушка с Чайковским, узнав о его сексуальной ненормальности? Я ей ответил, что бабушка отнюдь

* Любимый друг (англ.).

не была такой пуристкой, чтобы эта аномальность могла на нее подействовать, а кроме того вкусы Чайковского давно не составляли ни для кого секрета. Вернее всего, мне кажется, то, что мне говорил дядя Макс – что с годами прежний интерес к музыке у бабушки пропал (в это время она распустила свое трио), а с другой стороны – материальное положение Чайковского настолько упрочилось, что субсидия бабушки ему уже не была больше необходима...

Должно быть осенью 1891 г. я впервые пошел в Шахматный клуб, где меня очень любезно принял его секретарь и издатель «Шахматного журнала» А.К. Макаров. Как раз начинался тогда очередной турнир-гандикап Клуба, и Макаров записал меня в последнюю, 5-ю категорию, но после первой же партии, которую я выиграл у кого-то из лучших игроков, я был переведен в 4-ю. С этого началось мое трехлетнее посещение клуба, сперва на Мойке, около Конюшенного мостика, а затем два года на Невском около Литейного. Одновременно с этим я усиленно изучал теорию шахмат, но крупным игроком не стал. Если не ошибаюсь, под конец я должен был перейти во вторую категорию, и главным моим успехом за эти годы был выигрыш партии у Чигорина, который мне давал коня вперед. Чигорин был тогда чемпионом России и претендентом на мировой чемпионат. Это была еще эпоха открытых дебютов, и Чигорин славился, как мастер гамбита Эванса; наоборот, его горячий характер мало подходил к медленному темпу развития игры в дебюте королевых. Красивый, довольно полный брюнет среднего роста, он порядочно пил, и это уже сказывалось на его нервности. На моих глазах развернулись два его состязания: с чемпионом мира Стейницем, и затем с Таррашем. Все мы знали, что Чигорин способен на самые невероятные зевки и, играя с Таррашем, он как-то сделал один, произведший на нас удручающее впечатление. За столиками в соседней с игроками комнате сидели группы наблюдателей, анализируя развитие партии. Чигорин сделал какой-то никому не понятный ход, и сидевший около меня игрок немного более сильный, чем я, артиллерист князь Кантакузен, шутя показал: «Тарраш ответит теперь так-то, на что Михаил Иванович пойдет так-то и прозевает королеву». Действительно Тарраш ответил, как предполагал Кантакузен, и сразу в зале все замолкли в страхе, что Чигорин действительно проглядит угрожающую ему опасность, что, правда, и случилось.

Забросил я шахматы в специальных классах, когда пришлось больше заниматься и когда я стал больше бывать в театрах и в обществе. В шахматы в то время многие играли в моем классе и,

одновременно с этим и в выпускном классе Пажеского Корпуса. Бывавший у нас тогда в доме камер-паж барон Каульбарс предложил мне устроить турнир наших классов. У нас он и состоялся, и, кажется, правоведы победили. Мне пришлось играть с сильнейшим пажом, будущим профессором и писателем Головиным, и мы сыграли вничью, выиграв по одной партии. С нашей стороны играли, кроме меня, Бобрищев и Юргенс, а 3-м пажом был Пуятин, следующим летом утонувший во время купания в Бологовском озере...

В младших классах я бывал только в Александринке; позднее видел я у гастролировавших в Петербурге «мейнингенцев» две пьесы их известного репертуара, и посейчас помню «Лагерь Валленштейна», как говорят, так повлиявшего на Станиславского. Затем два года я аккуратно посещал по субботам в Михайловском театре французские спектакли, после Нового Года обычно бенефисные, на которые бенефицианты продавали по повышенным ценам наиболее дорогие места. Субботние спектакли собирали самую элегантную публику, и часто на них бывал директор Императорских театров Всеволожский, с которым началось их обновление. В его ложе сидел обычно его сын, студент-медик, ставший позднее пропагандистом в России автомобильного спорта.

Труппа Михайловского театра была прекрасна, и для молодых актеров была как бы преддверием «Comédie Française». В те годы *jeune premier*’ом труппы был Люсьен Питри, заменивший Вальбея, на несколько лет оставившего Петербург после какого-то пьяного инцидента с великим князем Владимиром Александровичем. С Питри приехала его жена, посредственная, но эффектная актриса Анжель, и раз я как-то видел с нею в ложе маленького мальчика, ставшего позднее знаменитостью французской сцены Сашей Питри. Комиками я застал давнишнего любимца петербургской публики Андрие и Иттманса, которого затем заменил значительно ему уступавший Лортер. С этим появилась его «жена», красивая Баллета, быстро ставшая содержанкой великого князя Алексея Александровича, о которой много говорилось в 1904 г. На более серьезных женских ролях выступали одна за другой две Мент: Лина и Сюзанна. Ролей для них было, однако, сравнительно мало, ибо репертуар Михайловского театра состоял главным образом из легкомысленных фарсов, дававшихся сперва в маленьких парижских бульварных театрах.

В специальных классах я перекочевал из Михайловского театра в Мариинский, где, впрочем, бывал исключительно на оперных спектаклях (в балете за всю мою долгую жизнь я, вероятно,

не был и десяти раз, и никогда не понимал его увлечения со стороны иных его любителей, абонированных в нем и смотревших, например, «Спящую красавицу» по 50 и даже 100 раз). В оперной труппе тогда царили Н.Н. Фигнер, бывший моряк и талантливый артист, брат В.Н. Фигнер, и его жена красавица – итальянка Медея Фигнер. Надо признать, что в те годы они – тенор и сопрано – были лучшими артистами русской оперы. Прекрасными певицами были также и сопрано Мравина, которой, впрочем, Фигнеры не давали хода, и контральто Славина. Славились еще баритоны Яковлев и Чернов и бас Серебряков.

Репертуар Мариинского театра был исключительно разнообразен, и едва ли вообще какой-либо оперный театр в мире мог с ним состязаться. Оркестром его руководил Направник, отец моего товарища по Правоведению, милого Кости Направника, непонятно почему застрелившегося через несколько лет по окончании Училища. Старика Направника в театре не особенно любили, но, кажется, все признавали его исключительный музыкальный вкус и талант дирижера.

Не помню точно, когда отцу уступил свое абонементное кресло в Мариинском театре один из его приятелей: в то время это была находка, ибо абонементы в нем переходили почти что по наследству. Уже значительно позднее родные жены предложили нам половину ложи бельэтажа, находившуюся рядом с левой боковой императорской. Мы, конечно, согласились, но, как мы узнали позднее, сперва было произведено особое расследование обо всех нас охранной полицией, ибо из аррьер-ложи была всегда запертая дверь в царскую ложу.

В эти годы я стал понемногу бывать в разных домах, первоначально у знакомых моих родителей, а также у моих товарищей. Понемногу научился я танцевать, и проводил на вечерах время более или менее так, как это описано у А.А. Игнатьева* в его воспоминаниях. Не буду, поэтому, описывать их, хотя мои знакомства и принадлежали к более скромному кругу петербургского общества, чем знакомства Игнатьева. Отмечу только, что насколько я мог заметить, с каждым царствованием состав этого самого высшего круга общества менялся в зависимости от близости к царской семье. Мне кажется также, что у Игнатьева больше чем должно было бы отдаваться внимания отрицательным сторонам

* Граф Алексей Алексеевич Игнатьев (1877 — 1954), служил в Кавалергардском полку, участвовал в русско-японской войне, в 1912-1917 – военный агент во Франции, после революции перешёл на советскую службу, опубликовал мемуары «Пятьдесят лет в строю».

старой жизни и пропускается то, что в ней было положительного. С одной стороны это понятно, ибо после такого катаклизма, через который прошла Россия после 1917 г., естественно припоминать в первую очередь все то, что могло быть поставлено в пассив прежнему строю, а с другой – все отрицательное ярче остается в памяти, чем положительное. Но все-таки меня удивило, что например, говоря о своем полку, Игнатьев не упомянул о двух своих однополчанах – Панчулидзе и великом князе Николае Михайловиче – если не первоклассных историков, то, во всяком случае, авторах, собравших и напечатавших много интересного материала.

Кстати, отмечу, что факт, указываемый Игнатьевым, что в армии и, быть может, особенно в гвардии, было так много офицеров, совершенно лишенных военного духа, объясняется тем, что в то время на военную службу шли все те, у кого вообще не было ни к чему особого призвания, и в особенности те, у родителей которых не было средств дать им иное образование, а также и все неудачники. Ведь для того, чтобы поступить в часть вольноопределяющимся 2-го разряда, было достаточно пройти всего 4 класса среднего учебного заведения, что давало право поступления в юнкерские (так называемые окружные) училища. Этот порядок был изменен только после японской войны, когда обнаружился недостаток офицерской подготовки и когда курс юнкерских училищ был приближен к курсу военных.

Возвращаясь к моим знакомствам, отмечу среди них три дома, о которых у меня сохранились особенно хорошие воспоминания, хотя в дальнейшем, с моей женитьбой, мои отношения с двумя из них прекратились. Я уже упомянул про семью Булгариных, с которой был близок мой отец. Он же меня свел в семью старушки Ольхиной, на двух дочерях которой были женаты двое сыновей писателя Булгарина. Милая старушка, Ольхина, объединяла всю семью, жившую, в общем, довольно скромно. К единственному ее сыну, тогда старшему полковнику Конной Гвардии, относились, в общем, довольно иронически, ибо особым умом он не блистал и в доме матери бывал редко. Меня привлекало в этот дом третье поколение семьи – круглые сироты одной из его сестер, Булгариной, из коих мой ровесник Фаддей, про которого упоминает в своих записках А.А. Игнатьев, был, впрочем, наименее симпатичным. Зато привлекательны были своим веселым милым характером обе его сестры. Одна из них позднее была замужем сперва за Лопухиным, а после его смерти за графом Л. Милорадовичем, человеком значительно старше ее и очень неблестящим, с которым у меня как-то произошел неприятный казус. Я ему сказал, что я

про него читал в мемуарах Башкирцевой (она его упоминает, как намечавшегося ей жениха под именем Гриши М—ч) и он заинтересовался моими словами. Каков был потом мой ужас, когда, проверив мое указание, я нашел, что, главное, что она про «Гришу» говорит, это, что он дурак.

В семье Ольхиных мне приходилось подчас слышать про Победоносцева: старуха Ольхина и жена знаменитого обер-прокурора были двоюродные сестры, обе рожденные Энгельгардт. Про Победоносцева здесь отзывались всегда с уважением, но холодно. Вообще, надо сказать, что любви к нему, кажется, никто не питал. Сын расстриженного дьякона, ставшего позднее профессором литературы Московского университета, он сам читал в нем позднее русское гражданское право и написал лучший курс этого предмета дореволюционного периода. Победоносцев был человеком скромного образа жизни, бессребреником, и в распущенные времена Александра II произвел большое влияние на Александра III, когда ему было поручено преподавание сыновьям царя юридических предметов. Фанатик самодержавия и, вероятно, лучший его теоретик, Победоносцев в первые годы царствования своего воспитанника имел на него большое влияние, да и позднее продолжал быть бесконтрольным распорядителем православной церкви. Было ли оно столь вредным, как это говорят обычно, не знаю, но что он оказал морализующее влияние на высшее наше духовенство, мне кажется несомненным. Вообще, православное духовенство, значительно уступавшее католическому в интеллектуальной подготовке, было всегда выше его морально, но среди иерархов подчас попадались недостойные лица. Говорили про Победоносцева, что его влияние на наших иерархов держалось на сосредоточенных у него сведениях об их частной жизни, не всегда идеальной, и приписывали ему фразу, что, показывая на ящик своего большого письменного стола, он кому-то сказал: «Вот, чем я их держу». Победоносцев, несомненно, был человеком независимым. Уже позднее Б.К. Ордин, помощник секретаря императрицы Александры Федоровны рассказал мне, например, что как-то Государыня послала его к Победоносцеву, чтобы поторопить его с прославлением Святого Иоасафа Белгородского. Победоносцев прямо рассвирепел и почти закричал: «Скажите вашим, чтобы они производили своих генерал-адъютантов и фрейлин, а в церковные дела пусть не суются». Не знаю, как Ордин передал этот ответ.

Еще когда я был подростком, мой дядя Макс свез меня в дом к И.Н. Герарду, где по субботам собиралось много молодежи. Здесь я

впервые стал встречаться с барышнями моего возраста, и немного развернулся (до того я был невероятно конфузлив в обществе и, вероятно, часто производил впечатление глупенького). Обе барышни Герард были старше меня и, хотя я никаких нежных чувств ни к той, ни к другой не питал, я им до сих пор благодарен за их доброе ко мне отношение. У И.Н. было два брата – Николай, в то время член Государственного Совета и будущий Финляндский генерал-губернатор, и Владимир, один из наиболее известных тогда адвокатов, у которого тоже еженедельно собирались. Из трех его дочерей выделялась особенно вторая – Екатерина Владимировна, столько же блестящая, как и отец, живая и остроумная. Герард был товарищем по Правоведению Чайковского и поэта Апухтина, которого я у него как-то и видел. Апухтин поражал своей невероятной толщиной, над которой он сам смеялся. Как-то, гостя у родственницы моей будущей жены, Козловой, в ее имении Пирожково (которое он наименовал «Шатó-Гатó»), он написал про себя стихотворение-четверостишие, что тогда как пословица говорит, что жизнь пережить не поле перейти, ему грустно прийти к сознанию, что ему поле перейти все-таки труднее.

У Герардов часто бывал бывший кавалергард Карцов, поклонник таланта Апухтина, у которого было собрание не напечатанных стихотворений поэта, некоторые из коих Владимир Николаевич читал при мне и которые, несомненно, были не менее талантливы, чем напечатанные. С Карцевым бывала и его интересная жена, певица Панаева-Карцова, для которой ее отец, инженер Панаев, построил на Адмиралтейской набережной театр, позднее известный под именем Панаевского. Встречал я у Герардов и Н.Н. Фигнера с женой, и разведенную в это время с мужем, К.Е. Маковским, его красавицу жену, известную, как я уже писал, по его «Свадебному Пиру» (я слышал, что она была жива еще в 1952 г. и жила в Ницце). У Герардов я познакомился и с Любовью Федоровной Достоевской, дочерью знаменитого писателя, и стал у них бывать. Мать ее была известна, как большая труженица и верная подруга Федора Михайловича, которой он был обязан тем, что она создала ему обстановку, в которой он мог прилично жить и работать. После его смерти она поставила на ноги своих детей и весьма умно вела дела по изданию сочинений мужа. Как раз, когда я стал у них бывать, она продала Марксу за 40.000 руб. право на издание полного их собрания в виде приложений к «Ниве». В те времена это казалось суммой невероятной.

Любовь Федоровна, девушка некрасивая, была интересной собеседницей, и я всегда с удовольствием разговаривал с ней. В

эмиграции писали, что она умерла в сумасшедшем доме, написав перед поступлением туда книгу об отце, в которой главным пунктом было утверждение, что Достоевские были знатного происхождения. Надо думать, что книга эта была написана, когда Л.Ф. уже была не вполне нормальна.

Наконец, упомяну еще про дом Романовой – матери с пятью детьми. Екатерина Владимировна, рожденная баронесса Меллер-Закомельская, приходилась, не знаю точно как, двоюродной сестрой философу Соловьеву, который ею увлекался в молодости, и мне пришлось позднее встретить напечатанным одно из его писем к ней. Когда я стал бывать у них, она была уже вдовой морского доктора, и ее старший сын Владимир кончал в то время первым Морской Корпус. Позднее он стал горным инженером и работал на Кыштымских заводах, принадлежавших семье Меллер-Закомельских, продавших в то время часть их английским капиталистам, давшим деньги на их модернизацию. Из трех ее дочерей средняя, оставшаяся незамужней, стала потом образцовой сестрой милосердия Георгиевской Общины, работавшей и в японскую, и в первую большую войну. Две же другие вышли замуж: за конногвардейцев фон-Валя и Чичерина, товарищей по Пажескому Корпусу моего третьего брата Леонтия. Когда Чичерин, очень остроумный и живой человек, женился на младшей из Романовых – Вере, его однополчанин князь Иоанн Константинович, не блиставший наоборот умом, спросил его, из каких она Романовых, на что Чичерин ответил: «Из тех же, что и Вы, Ваше Высочество, но из старшей линии», оставив того в полном недоумении. Вера Вадимовна быстро овдовела – ее муж погиб от припадка аппендицита, сделавшегося у него в поезде при возвращении с Полтавских торжеств, и по приезде в Петербург операция уже оказалась запоздавшей. Вера Вадимовна во время первой мировой войны оказалась, как и ее сестра, очень энергичной сестрой милосердия, проработав ее всю, начиная с Ивангорода, с 3-м Кавказским корпусом и фактически будучи начальником отряда Красного Креста, приданного этому корпусу. Красивая и умная, она легко добивалась своего, но многие, особенно женщины, ее недолюбливали.

Екатерина Владимировна Романова была членом Санкт-Петербургского дамского тюремного Комитета, председательницей которого была княжна Дондукова-Корсакова, которую я, кажется, раз там и встретил, – небольшая старушка, о которой не раз упоминается в воспоминаниях революционеров. Она отдала всю свою жизнь заботе о заключенных и, когда дело шло о «по-

литических», обращалась непосредственно к министру юстиции, а если нужно было, то и к Александру III, большею частью добиваясь своего, благодаря своему высокому нравственному авторитету.

Говоря об Училище и себе, я отстал от нашей, семейной жизни, которая, впрочем, текла эти годы своим нормальным чередом; братья мои учились в Пажеском Корпусе. Мой брат Георгий прошел в нем, начиная с 1-го младшего класса до специального, но после него два младшие класса были упразднены, чтобы дать возможность поместить в том же здании двойной комплект специальных классов. Поэтому его погодок, Леонтий, эти классы прошел в Александровском корпусе, у которого была тогда репутация, что в нем лучше всего поставлено преподавание; в Пажеский корпус он перешел только в 3-й класс. В него же поступил прямо и младший мой брат Адам. Все мои братья шли без переэкзаменовок, но двое младших ближе к середине, тогда как Георгий был почти все время в числе первых трех. Перейдя в младший специальный класс, он и два других первых тогда в классе ученика, Потockий и Скалон, перешли в технические учебные заведения, они – в Институт Путей Сообщений, а брат – в Технологический. Ему собственно хотелось поступить в Горный Институт, но туда он по конкурсу не попал. Кстати, отмечу, что в то время существовали особые пансионы, в которых кандидатов в эти учебные заведения «натаскивали» к экзаменам. Принималось в среднем не больше 10 % кандидатов, и экзамены были поэтому очень строги, причем у профессоров были в большинстве свои особые каверзные вопросы, на которых они из году в год резали. Вот с этими особенностями, главным образом, и знакомили в пансионах, содержатели которых наживали на этом хорошие деньги.

Директор Пажеского корпуса был тогда старый генерал Дитерихс, которого пажи очень жалели, когда он ушел. Новый директор граф Келлер во время турецкой войны заменил при переходе через Балканы Куропаткина, когда тот был ранен, в качестве начальника штаба у Скобелева, и получил за эту операцию Георгиевский крест. Келлер был человек неглупый и благородный, и его быстро полюбили, но у него был большой недостаток для педагога – он любил выпить. В Японскую войну, будучи Екатеринбургским губернатором, он просил о назначении его на фронт, получил, если не ошибаюсь, 3-й сибирский корпус и был убит в одном из боев еще до Ляояна.

Братья свой корпус все очень любили, и окончившие его составляли, в общем, одну дружную товарищескую семью. Отмечу еще, что в те времена говорили с иронией, что у бывших воспи-

танников таких учебных заведений, как Пажеский корпус, Лицей и Правоведение, с одного конца есть петелька, а с другой крючок, при помощи которых они друг друга тянут. Несомненно, в этом была своя доля правды, ибо известная корпоративная связь между ними была, но, вероятно, не больше, чем вообще в любой товарищеской среде, и если она обращала на себя внимание, то главным образом потому, что среди студентов наших университетов она почти совершенно отсутствовала.

Внутренняя жизнь нашей семьи шла эти годы шаблонно. Зима проводилась в Петербурге, и лето в Гурьеве. Бабушка Мекк старилась и давний, видимо, туберкулез разрушал понемногу ее организм. Поэтому она перестала возвращаться в Россию даже летом. Кажется летом 1892 г. (а быть может – 1893 г.) мы ездили всей семьей навестить ее в Висбаден, где она нанимала большую виллу. Туда же приехали Левис-оф-Менар со старшими сыновьями, так что жизнь наша могла бы быть очень веселой, если бы тут же рядом не находился в последней стадии прогрессивного паралича дядя Володя Мекк. Его катали в кресле, – обычно так, чтобы его никто не встречал, но когда это случалось, он уже никого не узнавал.

Я немало часов проводил в курзале, играя там в шахматы. Устраивались поездки в Швальбах – другой курорт по соседству, и во Франкфурт-на-Майне, с его старинным кварталом и с еврейским гетто, где показывали дом Ротшильдов «Ариаднеумом» – особым зданием, где помещалась известная статуя Ариадны работы Торвальдсена. Для большей иллюзии розовые занавески должны были придавать белому мрамору телесный цвет, довольно, впрочем, неудачно. Отец свез нас в Гейдельберг, где мы обошли красивые руины укреплений, разрушенных французами во время войн Людовика XIV и громадную бочку, про которую с гордостью говорилось, что больше ее нет во всем свете. Другой раз большой компанией на пароходе спустились мы по Рейну до Кёльна, где в те годы была закончена длившаяся несколько веков постройка его знаменитого собора. Горы около Рейна, несомненно, ничего особенного не представляли, но вместе с голубыми водами реки и развалинами целого ряда замков (первая из них, на небольшом островке, напомнила мне Жуковского и его епископа Гаттона, якобы съеденного здесь мышами) составляют очаровательную, мирную картину.

Наиболее крупную поездку из Висбадена сделали мы, однако, в Лондон, куда бабушка отправила Воличку Мекк, Володю Фраловского и меня в сопровождении гувернеров: Воличкиного – англичанина Кроуфорда, и моих братьев – француза Беклер. Кроу-

форд, ирландский помещик и бывший гвардейский офицер, разорился, когда его арендаторы отказались платить ему и другим помещикам аренду, и поступил тогда гувернером в дом дяди Коли. Замашки его были широки и, как я потом узнал, бабушка была очень недовольна им, ибо наша поездка оказалась гораздо более дорогой, чем предполагалась. Вместе с тем, вспоминая свою офицерскую жизнь, он больше знакомил нас с лондонскими ресторанами и театрами, чем со стариной города и его художественными сокровищами. На обратном пути из Дувра в Остенде мы попали в здоровую бурю, и я впервые узнал, что такое морская болезнь.

Беклер пробыл у нас в доме, кажется, три года, после чего отец устроил его (как раньше Соболевского) воспитателем в Правоведение. В это время он женился, и у него скоро родился сын, ныне известный французский писатель Андре Беклер. Однако, оставив наш дом, Беклер продолжал часто бывать у моих родителей, став общим нашим другом. С ним связаны у меня, в частности, два воспоминания. В Гурьеве он завел из яблочных падальцев производство сидра, которым он сам восхищался, и который отец иногда пил, но который ни у кого больше успеха не имел. Затем в Петербурге он научился переплетному мастерству у известного тогда переплетчика Ро (Rau), и весь дом наш стал переплетать книги. Переплеты выходили прочные и красивые, но до конца ни сам Беклер, ни все мы не могли научиться хорошо отпечатывать названия книг на корешках переплета.

Добрые отношения остались у нас и вообще со всем многочисленным педагогическим персоналом, перебивавшим у нас в доме. Комична была в нем уже пожилая, стыдливая англичанка мисс Биклей. Когда она серьезно заболела и вскоре умерла, величайшим для нас сюрпризом было узнать, что ускорению трагической развязки ее болезни помогло начало у нее прогрессивного паралича. Была она очень неумна, и все мы много смеялись, когда она написала письмо в Министерство финансов, прося объяснений, почему купленный ею выигрышный билет не выигрывает ничего в течение уже что-то 10 лет. К общему нашему изумлению, на свое послание она получила ответ из министерства, где, очевидно, нашелся комик, написавший ей, что это, вероятно, упущение банка и что она, несомненно, выиграет в одном из ближайших тиражей. Бедная мисс, однако, так и умерла, ничего не выиграв.

Кстати вспомнилось мне здесь забавное объявление, которое в те годы попало нам, кажется, в «Русских Ведомостях», что за рубль почтовыми марками высылается откуда-то из Подольской губернии пакет порошка для разведения рыб. Кто-то у нас пред-

ложил выписать один из этих пакетов, но хорошо, что этого не сделали, ибо затем было напечатано письмо, полученное одним из пославших марки: в нем с благодарностью возвращались марки, и сообщалось, что объявление – результат пари, что какую бы глупость не напечатать, всегда найдется не менее 100 наивных людей, которые на него отзовутся. Добавлялось затем: «Для вашего успокоения добавляю, что вы были сто пятым».

В начале 1893 г. умер ганноверский дядя Александр Беннигсен, и на похороны его отправились отец и дядя Иосиф, захватив и меня. Похороны были очень торжественны, и на них собрались не только немецкие представители нашего рода, но и многие представители старого ганноверского, еще независимого от Пруссии по духу, общества. Видел я тогда единственный раз в жизни Рудольфа Беннигсена, бывшего в то время ганноверским «*oberlandespräsident*» – что-то вроде генерал-губернатора – приехавшим с двумя из своих сыновей (старший из них уже был в это время крупным чиновником в немецких колониях, и позднее – первым губернатором немецкой Новой Гвиней). Почтение, которое окружало Рудольфа, меня поразило, – настолько в России все было тогда проще.

Через год умерла в Ницце бабушка Мекк; незадолго перед этим умерла там и вдова дяди Володи от слишком большой дозы морфия. Бабушка купила в Ницце большую виллу «Дамаянти», в которой она тихо утасла. Хоронить ее привезли в Москву, где собралась вся семья.

Из своего еще очень крупного состояния она выделила значительную сумму, которую оставила в распоряжении дяди Коли Мекк для помощи обедневшим членам семьи, а все остальное разделила поровну между детьми. Внукам она оставила принадлежавшие ей акции Волжско-Камского Банка, причем нашей семье досталось их 250, то есть, по тогдашнему курсу их около 300.000 руб. Таким образом, и я в 18 лет стал капиталистом. Оставленный для помощи членам семьи капитал в 1917 г. уже не существовал, ибо дядя Коля к тому времени его уже роздал целиком некоторым своим сестрам. Вначале он советовался об этих выдачах с моей матерью, но потом они разошлись во взглядах, ибо она считала, что лучше сохранить капитал, а на помощь обратить лишь проценты, а дядя предпочел распределить по мере нужды самый капитал. Должен сказать, что после смерти бабушки, наши отношения с другими членами семьи матери понемногу стали все более отдаленными, быть может, вследствие строгости моральных требований матери, которым не все мужья теток отвечали.

Весной 1893 г. я перешел на старший курс Училища, получив при этом «нашивки» – полоску галуна на обшлагах мундира, за хорошее учение. До меня эти нашивки были редкостью в гимназических классах, при Пантелееве их стали давать чаще, а затем и совсем легко. В это время изменилось и отношение к отметкам, и более молодые преподаватели ставили всем полный балл, тогда как старики придерживались еще правила, что на 12 знает только Господь Бог, на 11 они сами, а воспитанники знают предмет самое большее на 10. Я окончил гимназические классы, не добрав до 12 только по латыни и немецкому языку, и перешел 2-м. Первым продолжал быть Кармин.

Кстати, этим летом отец, хворавший в те годы желудком, поехал лечиться в Киссинген, захватив с собой нас, двух старших сыновей, и доктора Шилова. Петр Федорович уже за несколько лет до этого стал нашим домашним врачом. Начал он свою карьеру земским врачом в Кемцах, и вылечил тогда мою бабушку Беннигсен от какой-то болезни печени, тогда как петербургские светила определили у нее бесспорный рак, что не помешало ей прожить после этого больше 15 лет. Лечить у нас Шилов стал, когда приехал в Петербург писать и защищать докторскую диссертацию, темой для которой избрал перекись водорода. Работа его оказалась ценной, и его фамилия в связи с этим веществом попала даже в словарь Брокгауза. Позднее Петр Федорович был врачом Военно-Топографического Училища, и умер в 1918 г., причем за 25 лет, что он лечил в нашем доме, он стал общим для всех нас другом, чем он был обязан своей исключительной порядочности и деликатности.

В Киссингене в тот год мы встретили великого князя Михаила Михайловича с его молоденькой и миленькой женой, рожденной графиней Меренберг. Её мать, красавица, дочь А.С. Пушкина, была сначала замужем за Дубельтом – сыном, если не ошибаюсь, шефа жандармов – развелась с ним и вышла вновь замуж за герцога Гессен-Нассауского, одного из представителей семьи, в 1866 г. лишившейся своих владений. При этом она получила титул графини Меренберг, который и носили ее дети. За брак с ее дочерью Михаил Михайлович, не испросивший на него разрешения ни родителей, ни Александра III, был исключен из военной службы и выслан из России. В записках А.А. Игнатьева говорится про неудачное сватовство Михаила Михайловича к его двоюродной сестре. Добавлю еще к этому, что тогда рассказывали, что столь строгая кара постигла Михаила Михайловича за то, что он якобы женился на Меренберг как раз тогда, когда Александр III ре-

шился дать согласие на его брак с Игнатьевой. Говорили еще, что против его брака с последней была особенно его мать, великая княгиня Ольга Федоровна, которую, впрочем, вообще не любили за ее жадность и готовы были ей приписать многое, в чем она, быть может, и не была повинна. Прощён был Михаил Михайлович только значительно позднее, при Николае II, но в Россию не вернулся, и остался жить в Англии.

Из Киссенгена отец отправил нас втроем – Шилова, брата и меня – познакомиться с Швейцарией. В этот раз побывали мы у Чёртова Моста, где обошли все столь памятные по боям 1799 г. места. Местами казалось нам прямо непонятным, как человек мог там пройти, а, между тем, солдаты Суворова и Багратиона не только прошли здесь, но и победили храброго и упорного врага.

На обратном пути отец заехал в Бантельн, где его, как нового владельца, местное население приветствовало «факел-цугом» – шествием вечером с фонариками и песнями, на что он ответил угощением пивом.

Осенью 1893 г. начались мои серьезные занятия. Говорю «серьезные», ибо до того я почти ничего не делал. Вместо уроков нам стали читать лекции, и, кроме экзаменов, приходилось сдавать в декабре репетиции по главнейшим предметам. Приходилось, следовательно, работать самостоятельно и не ограничиваться одними читаемыми курсами. Кроме того, надлежало сдать каждый год по две письменных работы. Из них помню три, которые я выбрал: реферат известной книги Фюстель-де-Куланжа «*La cité antique*», по истории римского права и сравнение Судебников по истории русского. Позднее, по уголовному праву я еще написал работу об условном осуждении. Насколько могу теперь судить, ничего самостоятельного ни в одной из этих моих работ не было.

На первый год ни одного крупного профессора у нас не было. «Энциклопедию права» читал нам Капустин, бывший тогда и попечителем учебного округа – высокий, благообразный старик с бакенбардами. Ничего из того, что вскоре потом получило название петражистики, в его лекциях не было, были они шаблонным переводом немецких теорий, а так как своего курса Капустин не написал, то готовиться к экзаменам приходилось по разным учебникам, довольно среднего достоинства. В одном из них мне запомнился пример, могущий доказать, что угодно, кроме независимости юристов, а именно, что шотландские судьи признали, что беременность может продолжаться 11 лет, и это для того, чтобы только признать законным ребенка, родившегося через этот срок после смерти ее мужа у их королевы-вдовы.

Историю русского права читал малоспособный профессор Латкин, зять тогдашней знаменитости по этому предмету Сергеевича. В университете он читал внешнюю историю этого права, и нас пичкал ею, оставляя совершенно в стороне его содержание, которое приходилось нам самим изучать по книгам его тестя. Неважным лектором, как и Латкин, был профессор римского права Д.Д. Grimm, но, по существу, его лекции были и содержательны, и интересны.

Сверх этих трех «главных» предметов в 3-м классе нам читались еще русская литература, политическая экономия (бездарным профессором Ведровым) и история философии, это – талантливым, но ленивым Э.Л. Радловым, библиотекарем Публичной Библиотеки. Не слушать его лекций было невозможно, настолько он говорил увлекательно, но за год он успевал в лучшем случае добраться только до схоластики, и готовить к экзамену новую философию нам предоставлялось самим по различным учебникам, также как, впрочем, и политическую экономию.

Репетиции, и особенно экзамены, произвели в классе большую перетасовку. Требования университетские оказались иными, чем среднего учебного заведения, и, например, Кармин, несомненно, неглупый и работающий человек, сразу слетел со своего первого места чуть ли не в конец. Таким образом, я оказался первым, и затем должен был в течение трех лет следить за собой, чтобы по какому-нибудь предмету не получить неполного балла, ибо у меня оказался конкурент, все эти годы шедший со мной голова в голову – Чаплин, очень добросовестный, скромный человек, шедший с нами с младших классов, но до того ничем не выделявшийся. Кстати, прямо в 3-м классе к нам присоединилось несколько человек, окончивших перед тем гимназии, и в числе их был Тетеревенков, позднее бывший членом 3-ей Государственной Думы, где он, однако, ни разу не открыл рта, чем, впрочем, не грешил он и в Училище. Тогда же поступили к нам и два очень милых москвича, Тверской и Полуэктов. Женя Полуэктов избрал позднее скромную, но более выгодную карьеру нотариуса в Первопрестольной, а Тверской, пройдя блестяще прокурорскую карьеру, был во время войны назначен Саратовским губернатором, и во время гражданской войны был министром внутренних дел у Врангеля. Из моих товарищей он, несомненно, был один из наиболее талантливых.

3-й класс был, если можно так сказать, вводным к изучению права, которое по существу и серьезно мы начали изучать только во 2 классе. Центральным было в нем уголовное право, которое

читала нам тогдашняя международная знаменитость проф. Н.С. Таганцев. Уже старик, в это время перенесший 1-й удар, он был еще весь полон жизни, и курс общего уголовного права читал великолепно; особое уголовное право, которое он читал на следующий год, его интересовало меньше. Громадным достоинством Таганцева было то, что он все излагал удивительно просто и понятно, вплоть до самых сложных философских систем. Очень милый человек и приятный собеседник в частной жизни, Таганцев был, однако, очень требователен на экзаменах, и его предмет (около 2000 печатных страниц) только во 2-м классе все знали назубок. Обращал он внимание и на усвоение его. Так, припоминается мне изгнание им из Училища одного идиотика, поступившего прямо в специальные классы – некоего Гротенгельма. Обладая усидчивостью и прекрасной памятью, он, несмотря на свою ограниченность, благополучно перебирался из класса в класс, хотя и был общим посмешищем. Таганцев решил с основанием, что выпустить его из Училища будет позором для всего учебного заведения, и срезал его на вопросах, которые обнаружили исключительно формальное усвоение Гротенгельмом всего курса. Таганцев был человек общительный, что называлось «душа общества», и не прочь был выпить, причем на вопрос, чего ему налить, неизменно отвечал: «Пью всё, кроме керосина».

Другим известным профессором, тоже еще предшествующего поколения, был С.В. Пахман, в то время сенатор гражданского кассационного департамента. Читал он неважно, и видно было, что лекции его давно перестали интересовать. Возможно, что ко всему он относился безразлично по своему природному скептицизму, который выразился уже во вступительной его лекции, когда он заявил нам, что криминалистом принято называть в России того, кто не знает гражданского права, а цивилистом – не знающего уголовного права.

Пахман, хотя и еврей по происхождению, очень гордился какой-то особой благодарностью от Святейшего Синода. В Сенате он провел, благодаря своему ученому авторитету, решение, согласно коему на монастырские земли не распространялось право давностного владения. Вынесено оно было по делу, если не ошибаюсь, Серпуховского монастыря, который когда-то обменял с соседом свою землю и искал ее возврата, ибо мена земель была законом запрещена (во избежание уклонения от платежа крепостных пошлин). Ответчик сослался тогда на давность владения, и тут-то Пахман провел свою теорию. Когда, однако, этот ответчик стал требовать возврата променянной им земли, то монастырь сослал-

ся именно на давность владения, и выиграл процесс. Положение получилось возмутительное, и теория Пахмана в Сенате не удержалась.

У меня лично о Пахманом связано неприятное воспоминание о репетиции у него во 2-м классе. Отвечая на вопрос о гражданском самоуправстве, как о нарушении «чужого» права, я пропустил это слово «чужого» и получил от него лаконическое «нет», которое повторилось несколько раз, пока я не замолчал, сидя против Пахмана, державшего свою толстую одуряющую сигару. Только тогда процедил он сквозь зубы это злосчастное «чужое». В конце концов, продержав меня минут сорок, он все-таки поставил мне 12.

Третьей тогдашней знаменитостью был в Училище Ф.Ф. Мартенс, профессор международного права, читавший у нас и государственное право, но довольно неважно. Ф.Ф. был членом Совета министра иностранных дел, и в качестве такового выступал представителем России в разных международных третейских судах. Особенно гордился он тем, что председательствовал на каком-то разбирательстве между двумя южно-американскими государствами. Злые языки уверяли, впрочем, что это судилище присудило одному из спорящих земли, принадлежащие в действительности 3-му государству.

Читал Мартенс довольно скучно и, вероятно, для оживления своих лекций вставлял в них рассказы о разных дипломатических казусах. Например, говоря об экстерриториальности монархов, он привел случай с баварским королем Людовиком II, который, будучи уже сумасшедшим, вышел гулять где-то в Швейцарии, по выражению Мартенса, «без галстука», а в действительности – совершенно голым, и как местные власти не знали, что с ним делать. У Мартенса была слабость к аристократизму и внешнему благообразию, и посему, особенно в Университете, на экзаменах у него хороший мундир давал экзаменуемому большой плюс, не говоря уже про титул. Не прощал он, если кто-либо спал на его лекциях, и посему его слушатели все время, согласно солдатскому выражению, «ели его глазами». Частного международного права, получившего вскоре такое развитие, он нам совершенно не читал (оно, впрочем, тогда еще только зарождалось).

Судебную медицину (на 1-й год, в сущности, начала анатомии и физиологии) читал нам В.К. Анреп. Прекрасный оратор и очень умный человек, он вскоре был назначен попечителем Санкт-Петербургского учебного округа, и в 1-м классе его заменил гораздо менее даровитый профессор Косоротов. Несколько

раз водили нас на вскрытия в Мариинскую больницу. В первый раз некоторые из моих товарищей не смогли выдержать этой картины и ушли, не дождавшись начала вскрытия, и у всех осталось неприятное воспоминание о ней. Как-то непонятно было нам тогда то легкое отношение к смерти, которое мы увидели в больнице и которое позднее стало столь обычным. После вскрытия, сделанного для всех, на другие вскрытия, производившиеся в этот день в больнице, нас осталось человек пять, и тут мы наслышались циничных острот прозектора. Вскрыв, например, молодую девушку, умершую от туберкулеза, оставившего у нее очень увеличенную желтую печень, он заметил: «Вот вам, господа, настоящий Страсбургский пирог»; большинство же его острот было просто не производимо в печати.

В I классе к этим профессорам прибавились два профессора судопроизводства: Гольмстен, читавший гражданский процесс, и Случевский – уголовный. Гольмстен был профессором четырех юридических учебных заведений, и как-то в разговоре с нами высказал мнение, что лучше всего знают гражданское право военные юристы; правоведы шли у него на 2-м месте, после них стояли лиценсисты и хуже всего оценивал он познания студентов Университета. Сам он был профессор посредственный. Выше его стоял В.К. Случевский, брат довольно известного поэта и автор недурного курса уголовного процесса. В то время он был обер-прокурором Уголовного кассационного департамента и пользовался общим уважением за свою безусловную порядочность. Случевский был правоведем по образованию, как и профессор «практики» гражданского процесса адвокат Самарский-Быховец. Этот глубоко любил свою «alma mater» и читал нам лекции бесплатно. Сознаюсь откровенно, что я, как вероятно и большинство моих товарищей, затруднился бы сказать, о чем он нам читал, ибо предмет его был необязательным, и никто его не слушал. На этой почве даже был с ним в нашем классе очень неприятный казус. Увидев, что никто его не слушает, Самарский остановился, медленно обтер несколько слез и, ничего не говоря, вышел из класса. Все бросились за ним, прося у него прощения, ибо его искренно любили и знали, что в случае какого-либо инцидента он будет нашим лучшим заступником в Совете Училища, членом коего он был.

Быть может из этого обзора профессоров, как ранее преподавателей, будет выведено заключение, что в Правоведении учебная часть была поставлена плохо. Аналогичное заключение о Пажеском корпусе и о Военной Академии делает в своих записках А.А. Игнатъев. Мой вывод является, однако, иным. Как в жизни

люди выдающиеся являются исключением, так и среди педагогического персонала большинство является посредственностью, да это и не может быть, в сущности, иным. Что бы ни говорили, а от Передоновых* и им подобных никакая школа не избавится, и единственное, что я бы указал для этого, это необходимость усиленного контроля за пожилыми преподавателями для удаления тех из них, кто неспособен заинтересовать в своем предмете и сам перестал интересоваться столь быстрым сейчас прогрессом науки; ведь, в конце концов, все сводится к пробуждению интереса в ученике или студенте к той или иной научной дисциплине. Школа времен Николая I никуда не годилась, а гении и талантливые ученые из нее выходили, и все зависит в первую очередь от ученика, а уже затем от преподавателя. Надо только, чтобы ученик попал на надлежащие рельсы, а это всегда, более или менее, дело случая.

Осенью, во 2-м классе, мы собрались под впечатлением слухов о серьезной болезни Александра III. Сейчас едва ли кто-нибудь поймет то значение, которое тогда имела личность царя: в нем олицетворялась вся Россия, и все ее судьбы направлялись им. Критика царя не допускалась ни в печати, ни в речах, и все непорядки относились на счет министров, которых, как например, графа Д.А. Толстого или Делянова, ругали очень дружно. Хотя я не помню, чтобы кто-либо восхвалял ум Александра III, но за ним признавался здравый смысл, и ценились его качества хорошего семьянина и человека честного. В некоторых отношениях, например, в области финансов, были при нем достигнуты значительные улучшения и особенно повысился при нем внешний престиж России. Мало популярный союз с Германией был нарушен (правда, благодаря не Александру III, а Вильгельму II), и Россия сблизилась с республиканской Францией, что гораздо больше отвечало взглядам русского общества, очень недолюбливавшего Германию после Берлинского конгресса. Наконец, царь был единым верховным судьей всего чиновного мира, и Александр III поблажки ему не давал. Рассказывали, как он удалил от службы министра путей сообщения Ап. Кривошеина за то, что тот из своего имения поставлял на казенные Полесские железные дороги дрова и шпалы, хотя, по существу, злоупотреблений в этих поставках не было. Смеялись над его резолюцией «Убрать этого мерзавца» на докладе о жалобе испанского посланника на директора департамента полиции П.Н. Дурново, с которым у них оказалась общая содержанка. Чтобы ее уличить Дурново приказал своим агентам

* Герой романа Ф. Сологуба «Мелкий бес». – *Примеч. сост.*

выкрасть у посла ее письма, и затем сделал ей скандал. Квалификация «мерзавца» не помешала, однако, Дурново быть «убранным» только в Сенат, и позднее, при Витте, стать министром внутренних дел.

В общем, когда Александр III заболел, это было равносильно параличу центрального мозга страны, и все в первую очередь читали телеграммы из Ливадии о здоровье Государя. Для многих эта болезнь силача-царя, сгибавшего рублевик пальцами, была просто непонятна, и незнакомое тогда название ее – нефрит – смущало многих. Я сказал бы даже, что смерть Александра III больше поразила всех, чем убийство его отца, ибо к этому Россия была подготовлена серией предшествующих покушений.

Похороны Александра III происходили по старинному церемониалу, и нашему Училищу пришлось принимать в них участие, будучи выстроенным в две шеренги на Невском проспекте против Малой Морской, в утро, когда гроб царя перевозили в Петропавловский собор. Николай II шел сразу за гробом. Сейчас меня поражает, как мало его тогда охраняли. За нами стояла густая толпа, и на всем протяжении шествия устроить покушение, конечно, было не трудно. Через несколько дней все Училище ходило в Петропавловский собор прощаться с умершим царем. Мы шли к назначенному часу, и ждали очереди недолго, но рядом с нами стояла очередь частных лиц, часами ждавшая, когда их пропустят в крепость. В соборе сильно пахло благовониями, чтобы отбить сильный, как говорили, трупный запах. К гробу, стоявшему под громадным черным балдахином на возвышении, подходили в две очереди, которые все время торопили. Разобрать лица я не смог, ибо оно было под густой вуалькой.

Через несколько дней состоялась свадьба Николая II. Случайно в этот день я был на Невском, когда раздались вдали крики «ура», и все гуляющие бросились на середину улицы (движение было остановлено). Молодые ехали в карете на поклон к старой императрице в Аничковский дворец.

Это был недолгий период, когда Николай II мог привлечь к себе сердца всего народа. Александр III жил в Гатчине отшельником, и сыну его не многого стоило бы сблизиться со своими подданными, особенно если бы он сделал небольшие уступки либеральным требованиям. Сейчас странно вспомнить, но в то время говорили, как о событии, что царь с молодой женой пошел как-то вечером прогуляться по Невскому без всякой охраны. Все ожидания перемен были, однако, недолговременны. На приеме депутатов в Зимнем Дворце Николай II произнес по пово-

ду весьма умеренных земских пожеланий о народном представительстве свою знаменитую фразу о «бессмысленных» мечтаниях. Говорили тогда, что он оговорился, и что в приготовленном для него, кажется Победоносцевым, тексте, лежавшем, как говорили, в донышке царской фуражки, стояло слово «беспочвенных». По существу, это, однако, ничего не меняло, и для всех стало ясно, что никаких перемен в строе правления не будет. Оглядываясь назад, можно даже, пожалуй, сказать, что этой речью революционному движению была создана твердая база не только в нем самом, но и других слоях народа.

Через год после этого все в Училище ждали рождения наследника, и когда раздались уже вечером выстрелы с Петропавловской крепости, все были разочарованы, когда их оказалось вместо 101 всего 33, что указывало, что родилась великая княжна и что мы будем гулять не три дня, а один. Тем не менее, сразу целая экспедиция отправилась в Милютины ряды, где можно было и в поздние часы достать и вино и закуски, и ночью в наших зубрилках было устроено пиршество, в котором, впрочем, о царской семье совсем не вспоминалось. В первую зиму после вступления на престол нового монарха он побывал вместе с царицей и в Правоведении. Как полагалось, их провожали с криками «ура» далеко по Фонтанке, иные уцепившись за царские сани. Энтузиазм этот был, несомненно, не искусственный.

По поводу упомянутой пирушки отмечу, что Пантелеев легализовал те традиционные выпивки, которые издавна установились в Училище. До него начальство с ними боролось, но тщетно, он же поставил их под свой контроль через классных воспитателей. Первым из этих праздников был «перелом» – обед, устраивавшийся в 4-м классе по случаю половины нашего пребывания в Училище. Наш класс устроил его в квартире моего дяди Макса Мекка, и перепились на нем все основательно, конечно с рядом комичных инцидентов. В 3-м классе устраивалось его «слияние» с двумя старшими специальными классами. Раньше оно происходило в «курилке», где много выпивалось и где все пили друг с другом брудершафт. Пантелеев перенес эти «слияния» в столовую Училища, где они потеряли свой колорит, и все, что осталось от прежнего, это то, что с этого дня все обращались друг с другом на «ты», и 3-й класс становился равноправным со старшими.

Наконец, в 1 классе, получавшем шпаги, устраивался осенью в одном из городских ресторанов особый «шпажный» ужин, центром которого было приготовление жженки. На стол ставилась большая ваза, на которой скрещивались все наши шпаги и на них

ставилась голова сахара, которую поливали ромом. Все огни тушились, и ром зажигался, причем операция эта продолжалась, пока сахар весь не таял.

На нашем «шпажном» ужине был и наш воспитатель А.А. Страубе, заменивший с 5-го класса Лермонтова. Мы его знали еще с Приготовительного класса, как хорошего преподавателя латыни, но приняли его, как воспитателя, скорее враждебно, и первый год с нами едва ли оставил у него хорошие воспоминания о нас. Понемногу мы, однако, сблизились с ним, примирились с его несколько нудным характером и оценили его безусловную порядочность. Я думаю, что у всех нас остались о нем только самые лучшие воспоминания.

Кажется, дважды в Училище устраивались при мне балы. Первый из них было особенно сложно наладить, ибо в это время у нас не было еще электрического освещения, а керосиновое было слишком мизерно. Спасла нас Военно-электрическая школа, наладившая нам всё в 24 часа. Для балов классы превращались в гостиные (мебель и ковры нанимались в магазинах), устраивались буфеты, хотя и без вина, и веселье шло до утра. Все это обходилось нам, в общем, недорого, но хлопот, конечно, было вволю.

Наряду с этим иногда бывали у нас и другие складчины, благотворительного характера. Припоминаю я одну просьбу о помощи, обращенную к нам одним бывшим правоведем, к которому мне пришлось поехать по поручению класса: это было первое мое знакомство с людьми «дна». Человек, несомненно способный, декламировавший прекрасно стихи, он показал нам тетрадь своих собственных произведений и тут же предложил нам рюмочку водки, которая, несмотря на ранний час, была у него, по-видимому, не первой.

Электрическое освещение было устроено в Училище, кажется, летом 1893 г., только при его перестройке. Несомненно, она улучшила наши помещения, но все мы пожалели старое Училище с его укромными уголками, с которыми уже было связано у нас столько воспоминаний. В частности, был уничтожен наш садик и в нем «горка» с павильончиком, на младшем курсе бывшим привилегированным местом сидения 4-го класса. В садике осенью и весной шла во время перемен, и особенно во время экзаменов, игра в городки, а под большим навесом – в теннис (футбол тогда был еще неизвестен). Одно время в Училище приводили лошадей из манежа на Моховой, но большею частью желающие брать уроки верховой езды в этот манеж ходили.

Добавлю еще, что, так как 1 классу полагалось носить шпаги, то в Училище давались также уроки фехтования. Преподавал его отставной подполковник Гавеман, когда-то европейская знаменитость, бывший стариком уже ко времени моего отца. При мне ему, вероятно, было около 80 лет, но он сохранил еще всю свою подвижность, и учил немногих своих учеников прекрасно.

Через год после перестройки в Училище произошел пожар, начавшийся, по-видимому, от короткого замыкания и быстро распространившийся по вентиляционным каналам на чердаке. Было это весной, во время экзаменов, и я прибежал в Училище, когда вся крыша над классами, рекреационным залом и церковью была уже в огне. Вся обстановка уже была вынесена оставшимися в Училище, и пожарным приходилось только останавливать дальнейшее распространение огня, что и было сделано через несколько часов. К осени все было восстановлено.

Когда в 1895 г. я переходил в 1 класс, у родителей явилась мысль о полезности познакомить нас с Россией. Должен сказать, что вообще моя мать смотрела весьма здраво на жизнь и считала, что мы должны быть подготовлены ко всяким превратностям судьбы. Поэтому она еще в гимназических классах заставила меня на всякий случай пройти курс бухгалтерии. Могла ли она тогда думать, что позднее, в эмиграции, эта бухгалтерия прокормит меня с семьей в течение нескольких лет! Из мысли об ознакомлении с Россией вышли три поездки: в 1895 г. – моя, о которой я сейчас расскажу, двух моих братьев в 1896 г. на Урал, по которому они проехали с севера из-за Чердыни до южных степей, и брата Георгия в 1897 г. – в Туркестан и на Памир с профессором Головиным.

В 1895 г. было решено отправить меня и Георгия на север России, послав с нами также врача, молодого доктора Георгиевского. Отправились мы из Петербурга сразу после экзаменов пароходом в Петрозаводск. Надо сказать, что север России, теперь столь хорошо всем знакомый, тогда был немногим более известен, чем во времена Державина. Когда в 80-х годах туда отправился великий князь Владимир Александрович, то его поездке был придан характер события, и его сопровождал, например, поэт Случевский для описания этой экспедиции. Вообще, литература о Севере была очень тогда скудна, и едва ли не главным источником сведений о нем была книжка Немировича-Данченко, столь же легкая, как и вообще все его многочисленные произведения. Из более серьезных произведений мне помнится тогда только сочинения Максимова. У Случевского я побывал перед отъездом, но ничего интересного он не сообщил.

Сразу отойдя от Литейного моста, мы начали знакомиться с нашими спутниками, среди коих оказался под-эсаул Лейб-гвардии Казачьего полка С.В. Евреинов. Он решил отправиться в этом году в отпуск на Дон водным путем по Мариинской системе и Волге, и должен был ехать с нами до Петрозаводска. Однако, узнав наши планы, он передумал, и проехал с нами до Архангельска. Если бы у него было время, он проехал бы с нами и на Мурман, но эта поездка не вмещалась в срок его отпуска. Спутником он оказался очень милым, и, будучи старше нас троих, несколько раз помог нам своей опытностью в наших передвижениях. Позднее он был генералом, и в 1914 г. повел на войну какую-то второочередную казачью дивизию, кажется Уральскую. В первых же боях под Люблиным она стойкости не проявила, и Евреинов был отставлен от командования. Не знаю, был ли он в этом виноват, но отставления этого он не перенес, и сразу же в Люблине застрелился.

В 1895 г. до всего этого было еще, впрочем, далеко, и наше путешествие шло весело и без осложнений. В Петрозаводске мы стали, между прочим, искать музей, о котором прочитали, что он находится в здании присутственных мест, но постовой городской нам очень вежливо сообщил, что он только что «сменился», и музея не видал. На Киваче мы видели павильон для посетителей, в который нас, однако, не пустили. По инициативе Евреинова мы записали об этом жалобу в книгу посетителей, чем, очевидно, испортили настроение начальства Горного округа, в ведении коего павильон состоял, ибо через полгода я получил от него объяснение в довольно кислом тоне, смысл коего был, что мы были слишком мелкая сошка, чтобы попасть в павильон.

Не описываю здесь местности, по которой мы ехали теперь – это давно сделано другими и, несомненно, лучше, чем это сделал бы я, и не упоминаю поэтому ничего, например, и про северные церкви, которыми позднее всегда любовался у Грабаря. Кстати, у нас был с собой фотографический аппарат, и все наиболее интересные виды мы по дороге снимали: это была пора, когда у нас в семье все увлекались фотографией, тогда еще процессом довольно сложным. Поэтому про Петрозаводск упомяну еще только, что мы познакомились там с местной достопримечательностью, вице-губернатором Страховским, занимавшим эту должность в двух губерниях больше 40 лет. Человек это был весьма уважаемый, и почему его дальше не продвинули, не знаю, но, по-видимому, из-за его небольшого образования, что не исключало, впрочем, несомненного его ума. На пароходе по пути в Повенец нас поразил

местный говор – как и в некоторых местностях Псковщины, здесь заменяли «ч-ц» и «е-и» (например, «свица», вместо «свеча»). Когда я спросил какую-то девушку, возвращавшуюся домой из Петербурга, почему она с нами говорит по-городскому, а с местными жителями с особенностями их говора, она ответила, что иначе ее засмеют, скажут: «Ишь, зачвакала».

Дорога из Повенца на Сумской посад, проложенная лет за десять до того для проезда великого князя Владимира Александровича для сокращения ее, почти не обходила вершин холмов и наподобие Николаевской ж.д. шла напрямик. Позднее, впрочем, кое-где были устроены обходы. Ввиду этого, наши почтовые лошаденки то мчались карьером под крутые, большею частью, спуски, то карьером же взлетали до половины следующего подъема и затем шажком дотягивали тарантас до верху, чтобы затем вновь пуститься вскачь.

В Сумском посаде мы узнали, что очередной пароход ушел за несколько часов до нашего приезда и что следующий придет не ранее как через четыре дня. Перспектива сидеть эти дни в этом неинтересном селе была не из веселых, и поэтому мы без замедления последовали совету отправиться на «почтовых» в Сороку, откуда бывают оказии в Соловецкий монастырь. В Архангельской губернии были в книгах почтовых станций три графы для обозначения, сколько взято лошадей, оленей или карбасов, причем прогонная плата с версты была одинакова за тройку лошадей и за карбас с его шестью «гребчихами». Еще до начала таяния снегов все мужское население Поморья уходило на промысел на Мурман, и когда льды расходились, почтовые карбасы обслуживались каким-нибудь древним «коршиком» (кормщиком) и шестью здоровыми крупными женщинами. Отмечу кстати, что население Севера поразило нас своим здоровым видом, что, вероятно, надо было приписать тому, что жизнь в суровых местных условиях выдерживали только наиболее крепкие. Население Севера было более развитым, чем в центральной России. А это, вероятно, надлежало приписать тому, что оно никогда не знало крепостного права, да мало знало и начальство, от которого у него якобы была особая молитва.

Из Сумского посада до Сороки было 60 верст, но из них 10 падало на заход на какую-то промежуточную почтовую станцию, что вместе со сменой карбаса обозначало потерю не менее трех часов, почему мы охотно приняли предложение наших гребчих доставить нас прямо в Сороку с тем, чтобы мы заплатили им лично прогоны за вторую станцию. Провели мы в карбасе около 12

часов, и простояли только около получаса, приткнувшись к небольшой «луде» для того, чтобы перекусить.

В Сороке мы были поздно ночью (хотя солнце и сияло уже ярко), и мы еле добудились управляющего лесопильным заводом Беляевых, к которому нас направили. Один из этих крупных лесопромышленников Беляевых, Митрофан, был большим любителем музыки, и вошел в историю русского музыкального творчества музыкальными собраниями, которые были у него, и особенно издательством, которое он открыл в Лейпциге для напечатания произведений русских композиторов, до того не находивших издателей. Представитель Беляевых в Сороке принял нас очень любезно, устроил нам ночлег, утром показал завод и затем накормил чудным обедом, главным образом, из семги в разных видах, и даже с шампанским. После обеда он показал нам еще свою главную достопримечательность – аппарат для подвешивания (он был болен сухоткой спинного мозга), и демонстрировал, как он сам себя им подвешивает за голову. После этого он провел нас на заводский колесный пароход, который через два часа доставил нас на Соловки.

Не буду описывать жизни в этой большой монастырской рабочей коммуне, ведшийся с большим умением, и в которой всякому находилось дело. В монастыре имелось, кроме образцового молочного хозяйства и огородов, свое пароходство с небольшой верфью и даже типография. Монастырь был, несомненно, культурным центром Севера России, и не удивительно, что он привлекал много «годовиков» – крестьян-северян, приходивших по обету бесплатно проработать здесь в течение года. Жизнь в монастыре была и интересней, и поучительней, чем в их деревнях.

Незадолго до нашего приезда в Соловки в нем происходили выборы нового настоятеля, на которые приезжал и игумен Трифоно-Печенгского монастыря, зависевшего от Соловков. Мы с ним ехали до Архангельска, и у нас зашел с ним разговор о роли Соловков. Был он человек умный и культурный, и значение монастыря видел в распространении культуры на Севере, но так как она в это время уже близко подошла к монастырской, то он находил, что монахи должны из Соловков перейти куда-либо в Сибирскую глушь, где и служить образцом для туземного населения.

Из Архангельска на Мурман мы плыли на новеньком тогда пароходе «Ломоносов». Тогда это судно в 1200, если не ошибаюсь, тонн, показалось нам большим, но когда через 25 лет, в Копенгагене, я его вновь увидел уже под другим названием, оно произвело на меня мизерное впечатление. Шли мы до Вадсо больше 8 суток,

ибо во всех становищах выгружали бревна для проводившегося по Мурману телеграфа. В Коле встретили мы архангельского губернатора Энгельгардта, который пришел туда пешком из Кандакши с инженерами Главного Управления почт и телеграфов; они отрицали возможность провести телеграф на этом участке, и он заставил их пойти с собой, чтобы убедить их в противном. Так как мореходные суда не могли по мелководью подходить к Коле, в то время устраивался порт в Екатерининской гавани, который, однако, по своим миниатюрным размерам тоже развития не получил...

Вернулись мы через Гаммерфест, Трондгейм и Христианию (теперь Осло), откуда заехали в Копенгаген и затем из Гетеборга по каналам и озерам пробрались в Стокгольм. Нужно побывать в этих местах, чтобы оценить их красоту и культуру. Особенно чарующи норвежские фиорды, где прямо из моря поднимаются громадные горы, местами на севере покрытые вечным снегом, и с которых спускаются ледники. Иной характер представляют ласковые виды Швеции, столь близкие финляндским, и ее столица Стокгольм – один из самых красивых и современных городов мира. Отсюда через Або мы вернулись в Гурьево, где и провели остаток лета.

Сюда приехал к нам погостить мой товарищ Д.А. Плазовский. Небольшого роста и некрасивый, но способный и удивительно милый, он присоединился к нам в 4-м классе, будучи оставлен на 2-й год из-за какого-то столкновения с одним из воспитателей. Понемногу мы с ним сблизились, и он проводил у нас в доме все свое свободное время. Из всех моих товарищей он был мне ближе всех, хотя позднее судьба нас и разъединила: прослужив несколько лет в Министерстве внутренних дел, он пошел юнкером во флот и, будучи мичманом, был убит в 1904 г. в бою на крейсере «Рюрик».

Вместе с ним в конце августа мы отправились на две недели в Ялту. В Севастополе, где уже существовала теперь панорама его обороны, мы встретили бывшего правоведа графа Соллогуба, тогда мичмана, и он позвал нас пообедать на свой броненосец. Этот вечер, проведенный на рейде, в чудесную погоду, и по сей час остается в числе самых приятных моих воспоминаний. В Ялте мы провели одну ночь в знаменитой тогда «России», но так как жизнь в ней была нам не по карману, то на следующий день перебрались куда-то на окраину, наняв комнату в татарской сакле. Время провели мы в Ялте очень весело, хотя и скромно, в обществе нескольких семей с молодежью. Тем не менее, видели мы и всю

ту распущенную жизнь, центром которой была «Россия», бывшая сборищем молодых и красивых женщин, искавших приключений, и менее интересных, но богатых, и большею частью пожилых мужчин.

За годы старшего курса у меня остались воспоминания о двух свадьбах наших родных и, в связи с ними, о двух семьях: Воронец, двоюродного брата матери, и ее родного брата Максимилиана Мекк. Семья Воронец в большинстве была очень красива, но заражена туберкулезом. Красавица Ларисса умерла совсем молодой, заразив туберкулезом своего мужа Языкова – конногвардейца, а позднее военного инженера и командира одного из первых в России железнодорожных батальонов. Он женился затем на ее младшей сестре Юлии, которая похоронила и его, и своего второго мужа, также красавца, грузина Пурцеладзе, которого я помню еще студентом и который, кажется, тоже заболел чахоткой в этой семье. Красавицей была и другая Воронец, тетя Надя, вышедшая замуж за князя Б.И. Урусова, брата известного московского адвоката А.И. Урусова. И он умер молодым, тоже от чахотки. Тетя же Надя выжила и поставила на ноги свою очень хорошенькую дочь, мою ровесницу Верочку, вышедшую замуж за артиллериста Цур-Мюлена, который, уже будучи генералом, бросил ее с кучей совсем маленьких детей и сошелся с другой. Верочка, больная уже в это время множественным склерозом спинного мозга, мужественно боролась за существование, сотрудничая в журналах, но скоро умерла, и после этого дети остались на попечении старухи тети Нади или, вернее, ее родных. Но революция окончательно добила ее, и вскоре она умерла. Из братьев тети Нади, которые оба кончили Лицей, Дмитрий оставил скверную память – просто мошенника, но скоро, к счастью, чахотка погубила и его, а другой, Александр Васильевич Воронец, часто бывал у моих родителей. Тоже красивый и симпатичный мужчина, он женился в 1894 г. на Вере Кронидовне Панаевой, некрасивой, но умной и симпатичной женщине, дочери Боровичского помещика и двоюродной сестре известной певицы. Свадьба была в имении Панаевых, в Боровском уезде, куда мы ездили с дядей Максом. Было шумно и весело, и жизнь молодых шла затем гладко до смерти Александра Васильевича в одном из северных губернских городов, куда он был вскоре назначен непрямым членом одного из присутствий. Кажется, на их свадьбе, или вскоре, познакомился я с Дягилевым, двоюродным братом Веры Кронидовны, звали его еще все «Сережа», и относились тогда более или менее иронически к его художественным увлечениям. Немало слышал я тогда от Веры

Кронидовны и про семью Горемыкиных, соседей Панаевых, тоже Боровичских помещиков, которых все хвалили, как очень хороших людей, говорили про ум старшей их дочери, уже бывшей замужем за бароном Медемом, которым она командовала. Позднее утверждали, что когда он был губернатором в Пскове, фактически она правила губернией.

Через год был я шафером на свадьбе дяди Макса. Кончил он Правоведение неважно, как тогда говорили – «перед союзом». Когда на акте оглашали имена кончивших, их список заканчивался словами «и такой-то»; таким образом, дядя окончил предпоследним, – однако, не потому, чтобы был неспособен, но потому, что интересовался чем угодно, кроме юридических наук. Служил он затем в Министерстве иностранных дел, и в это время познакомился со своей невестой, очень красивой, хотя и несколько полной брюнеткой Ольгой Михайловной Донауровой, разведенной женой лейб-драгунского офицера. Рожденная Кирьякова, она была очень любезна, и, видимо, от своих греческих по отцу предков унаследовала некоторые финансовые таланты, но вообще умом не блистала. Мать ее была Иславина, сестра известного по дневникам Л.Н. Толстого и по его «Детству и отрочеству» «дяди Кости». Другой брат ее, Владимир, в это время уже глубокий старик и отец многочисленной семьи, был крупным чиновником Министерства земледелия. Свадьба дяди прошла очень скромно, и, хотя я и был на ней шафером, не оставила у меня сколько-нибудь ярких воспоминаний. Вскоре после свадьбы дядя уехал в Стокгольм, куда был назначен вторым секретарем миссии. Оттуда он был позднее переведен в Вашингтон, а затем был первым секретарем в Цетинье, где и закончилась его дипломатическая карьера.

Уже давно дядя увлекался эзотерическими вопросами, спиритизмом и сношениями со сверхчувственным миром, теперь же эти увлечения еще усилились, и поверенный в делах в Черногории Щеглов сообщил в Министерство о ненормальности дяди, которого вызвали в Петербург и устроили здесь для проверки его умственных способностей беседу с высокими чинами департамента. Кончилась она переводом его на консульский пост в Англии, ибо в Министерстве нашли, что увлечение дяди эзотеризмом для дипломата чрезмерны. В эти годы, я помню, он говорил про Николая Черногорского, «единственного друга России», по определению Александра III, что это был просто уголовный преступник, который в любой другой стране, кроме Черногории, был бы на каторжных работах. Ольга Михайловна за эти годы наоборот сблизилась с семьей старого князя, и позднее, еще в эмиграции,

поддерживала с некоторыми ее членами дружественные отношения...

Последняя зима в Правоведении пролетела быстро. Случевский задавал нам практические работы, принося нам из Сената старые дела, которые мы должны были докладывать. Кроме того, он рекомендовал нам посещать Окружной Суд, где я за эту зиму прослушал несколько громких процессов. Два из них у меня остались в памяти. По одному из них, о подлоге духовного завещания архангельского лесопромышленника Грибанова, главным обвиняемым был граф Соллогуб, отец того, который за несколько месяцев до этого угощал нас в Севастополе. Меня тогда поразила наивность этого человека: никакой близости к Грибанову у него не было, и с места возникал вопрос, почему умерший вдруг так заинтересовался им, чтобы завещать ему свои миллионы? Впрочем, позднее мне пришлось читать про не менее наивную подделку завещания князя Огинского отцом и сыном Вонлярлярскими. Присяжные признали Соллогуба виновным и, кажется, никто не сомневался в правильности их вердикта. На этом процессе я слышал известного адвоката Жуковского. Когда-то он был блестящим товарищем прокурора, но отказался обвинять Веру Засулич, и должен был тогда оставить государственную службу. В адвокатуре он оказался, однако, плохим защитником, но прославился в качестве гражданского истца (частного обвинителя): его саркастический ум и едкое остроумие не подходили к роли защитника. Соллогуба он обвинял с таким юмором, что все хохотали, и говорят, что сам обвиняемый смеялся.

По другому процессу обвиняемым был полковник Новочеркасского полка Максимов, уже удаленный со службы. Обвинялся он в шулерстве, в котором он был якобы изобличен в каком-то клубе. Говорю «якобы», ибо эти обвинения принадлежат, вообще, к числу наиболее сомнительных. Максимов, которого хорошо, но несколько холодно защищал Герард, присяжные оправдали, что вероятно сделал бы и я на их месте, но без полной уверенности в его правоте. Через несколько лет про Максимова вновь пришлось всем услышать. В поезде у него произошло столкновение с известным скандалистом, конвойным офицером князем Грицко Витгенштейном, которого он на дуэли и убил. Вскоре после этого началась японская война, Максимов пошел на нее добровольцем, и, командуя батальоном, сам был убит в каком-то бою.

5-го Декабря, в день Училищного праздника, полагалось двум воспитанникам I-го класса поздравлять бывших правоведов на их обеде, и одним из них полагалось быть первому в классе, т.е.

в данном случае мне. Чтобы произнести приветствие от нашего имени был выбран наш лучший оратор, красивый Митя Познанский. За два года до этого поздравления закончились печально для одного из поздравляющих – Мятлева, которого по положению накачали настолько, что вскоре, там же у Контана, уложили спать. Однако он вскоре проснулся и вспомнил, что его товарищи собирались вечером в Малый театр и, совершенно еще пьяный, поехал туда. По ошибке он попал в чужую ложу, выходя оттуда, упал и почему-то во всю глотку завопил: «Пожар!». Я не разобрал, сидя в первом ряду, этого крика, и остался сидеть, но почти вся публика бросилась к выходам, впрочем, скоро успокоившись. На следующий день Мятлева засадили в карцер, спорили нашивки, и при выпуске он лишился медали. Помня этот прецедент, я, несмотря на усилия моих соседей, пил с опаской, и за это должен был доставить в Училище менее осторожного Познанского, превратившегося в мертвое тело.

Когда в записках Игнатьева я читал недавно, как пили раньше в полках, я могу его успокоить, что не меньше пили и штатские, причем пила вся Россия, с той только разницей, что одни начинали водкой и кончали шампанским, а другие водкой же и кончали. Вспоминая свое прошлое, могу сказать, что, хотя я и не отказывался никогда от вина, и подчас даже выпивал в компании лишку, я ни разу на этой почве ни скандалов, ни историй не делал. Могу, однако, отметить один курьезный случай со мной по окончании Училища. Заехав днем в ресторан Контана заплатить по счету, я нашел там компанию товарищей, с которыми просидел меньше получаса, за которые они заставили меня выпить порядочно ликеров. Возвращался я по Невскому, и меня поразило его особое необычное освещение солнцем, что вызвало у меня тогда же мысль, что многое в области световых ощущений зависит от субъективного нашего состояния. Позднее, не раз вспоминал я эту мысль на картинных выставках перед модернистскими произведениями, в частности, Ван-Гога с его красной окраской всего, – по-видимому, результат его общей психической ненормальности.

Вернувшись в тот день домой, я прилег поспать. Чувствовал я себя вполне трезвым, но когда через какой-нибудь час поднялся, то оказалось, что в оба снятые мною башмака была налита вода из графина с умывальника. Сделать это мог только я, но, как и почему я это сделал, я понять совершенно не мог, и был очень этим казусом сконфужен...

Чтобы не возвращаться дальше к обедам бывших правоведов, скажу еще, что обычно на них собиралось до 200 человек, а в 1910

– в год 75-летия Училища – вероятно, до 400 из приблизительно 800 бывших тогда в живых. Долгие годы распорядителем их был Н.Н. Сущев, конкурент Апухтина по толщине и один из старейших правоведов. Очень способный человек и когда-то обер-прокурор Сената, он был любопытным типом старого режима. Уйдя с казенной службы, он стал заниматься частными делами, и скоро стал знаменитостью по своему умению их налаживать и выводить из затруднительного положения разные крупные предприятия. Рассказывали, что он получал по несколько тысяч за выступление на общем собрании того или другого акционерного общества в защиту правления, которому угрожали серьезные нападки акционеров. Когда я стал бывать на обедах бывших правоведов, Сущев был очень богатым человеком, и обеды эти при нем имели более изысканный характер, чем ранее. Во время их играл струнный оркестр Преображенского полка, а после него пел хор цыган Н.И. Шишкина, причем я не раз видал, как старенькие сановники ухаживали за молоденькими и хорошенькими цыганками, и таяли от их улыбок.

Когда Сущев умер, его заменил председатель Правоведской кассы сенатор Н.Н. Шрейбер, и при нем состоялся большой обед в год 75-летия Училища. На этот день собрались в Петербурге правоведы, которые десятки лет не были в своей «alma mater», и особенное внимание привлекал к себе 90-летний старик, правовед 1-го выпуска (1840 г.) Барановский. Во время освобождения крестьян он был губернатором, кажется, в Самаре и был смнен за свой «либерализм», т.е. за защиту интересов крестьян при отводе им наделов.

Упомянув о струнном оркестре Преображенского полка, еще раз отвлекусь в сторону, чтобы отметить его исключительный характер: в этот полк шли обычно отбывать воинскую повинность оканчивающие Консерваторию по соответствующим классам, и это давало возможность содержать этот нештатный оркестр, составленный из настоящих артистов. С ним конкурировал только духовой оркестр Финляндского полка, игравший, например, на сцене Мариинского театра марш в «Аиде».

Скоро подошли экзамены, прошедшие для большинства благополучно. Срезался на одном из них только шедший с нами семь лет Поярков (кажется, потомок известного казака). Сряду он решил покончить с собой, и по состряпанному им самим рецепту выписал из аптеки кураре. Фармацевт заподозрил, однако, что-то неладное, и яд заменил китайской тушью. Таким образом, Поярков остался жив, но за подделку рецепта был уже на следующий

день исключен из Училища. Через год он кончил университет, и был затем председателем либеральной Весъегонской земской управы. Зимой 1905-1906 гг. он неизвестно зачем вдруг явился ко мне и произвел на меня какое-то странное впечатление. Оказалось потом, что события этих революционных месяцев произвели на него столь сильное впечатление, что он почти помешался, сбежал из Весъегонска, и там даже заподозрили, что он произвел растрату, ибо с собой он увез ключи кассы. Когда он отошёл и все выяснилось, ему пришлось все-таки из Весъегонска уйти, и он оказался в Ставрополе Кавказском, где его через несколько лет выбрали городским головой и, наконец, в годы 1-й войны великий князь Николай Николаевич провел его в губернаторы, кажется, в Эривани*. В годы перед революцией было много странных назначений, и это было, несомненно, одно из них, ибо, хотя Поярков и был порядочным и безобидным человеком, но умом отнюдь не блистал.

Кончая Училище, все мы должны были выбрать, куда мы пойдём служить (на нас лежало обязательство прослужить государству три года). У меня никакого особого влечения куда бы то ни было не было и, когда моему отцу его товарищ по Правоведению Посников, тогда прокурор Московской Судебной Палаты, предложил, чтобы я пошел служить у него в канцелярии, я это предложение охотно принял, и оказался, таким образом, кандидатом на судебные должности при Московской Судебной Палате.

Перед экзаменами, в последний день лекций, по старинной традиции происходили «выносы». Во время большой перемены тех из оканчивающих, которых любили 2 и 3 классы схватывали и качали во всех залах, затем выносили по лестнице вниз, к парадному выходу, где еще раз качали. На обратном пути выносившего подхватывал младший курс, и в свою очередь «выносил». Признаюсь, что вся эта процедура – конечно, лестная – особого удовольствия мне не доставила, и взлетать высоко на воздух было скорее неприятно.

Кстати, замечая, что я ничего не упомянул еще про Училищного швейцара Михайлу Бурым, большого красивого человека, бывшего раньше «тамбурмажором» Преображенского полка (когда-то тамбурмажоры шли перед полками и жонглировали тяжелой палкой; назначения их я указать не могу). Через Михайлу многое устраивалось, и с его соучастием мы удирали из Училища, конечно, за надлежащий «на чай».

* Ереван.

Еще с началом экзаменов все, кто рассчитывал выдержать их, начинали заказывать себе штатское платье; происходили совещания, какой портной сколько берет, кто что лучше шьет и т.п. Экзамены в 1896 году кончались раньше обычного, ибо 14 мая должна была состояться коронация Николая II, и все должно было быть закончено к этому дню. Наши экзамены закончились даже 1-го мая, ибо до акта должен был быть отдан приказ о нашем производстве в чины и назначении на службу. В течение этих дней шли прощальные общие обеды, на которые мы приглашали наших профессоров и иное начальство. Познакомились мы тут с только что назначенным новым нашим инспектором, егерским полковником Ольдерогге, хромым после ранения, полученного в 1877 г. в геройском бою этого полка под Телишем. Ольдерогге, бывший позднее директором Училища, и после обеда сопровождал нас по разным увеселительным местам, дабы оградить нас, по-видимому, от весьма возможных с подвыпившей молодежью скандалов. Пообедал весь класс и у нас в доме, по приглашению моего отца.

Наконец, 11-го мая состоялся торжественный акт, на котором принц Ольденбургский раздал нам наши дипломы и, кому полагалось, и медали. Акты всегда выполнялись по давно установленному церемониалу. В зале старшего курса принца и почетных гостей встречали выстроенные остающиеся шесть классов. Выпускные классы, со своим воспитателем во главе, входили затем одетые во фраки под звуки Преображенского марша. Когда читалась фамилия, окончившего первым, с последней мраморной доски падала закрывавшая ее простыня, и открывались имена вновь занесенных на нее.

Из нашего класса были занесены я и Чаплин. В течение 40 лет записывалось всегда одно имя, но затем в 1881 г. записали два: первым шел в этом классе будущий министр юстиции Щегловитов, но в 1 классе его опередил 2-й воспитанник предшествующего выпуска Карпов, нарочно оставшийся на 2-й год, чтобы попасть на мраморную доску; тогда было решено записать их обоих, и с тех пор и дальше придерживались этого правила в случае равенства двух.

Акт заканчивался речами выпускных на 4 или 5 языках; полагалось обычно говорить русскую речь 1-му оканчивающему, но я в то время был столь застенчив, что категорически от этого отказался. По насмешке судьбы именно мне в дальнейшем пришлось из нашего выпуска наиболее часто выступать публично.

Кончило нас 36, и судьба сразу разнесла нас по разным углам России. Никто из нашего выпуска не выдвинулся или, вернее, не

успел выдвинуться на видные посты, двое спились, один, Слефогт, сын нашего преподавателя латыни, погиб случайной жертвой взрыва на даче Столыпина, другой, Олферьев, мировой судья в Туркестане, был убит революционером после 1905 г., и четверо погибли в революционные годы. Многих я давно потерял из виду, да вероятно мало кто сейчас и остался в живых.

На службе

Вечером, в день акта я выехал в Москву, где меня приютил в своем доме в Денежном переулке дядя Коля Мекк. У него же оставались также Дмитрий Львович Давыдов с женой Натальей Михайловной, рожденной Гудим-Левкович, молоденькой и милой женщиной, питавшей, однако, какой-то панический страх к кошкам. Как-то в одном из выходящих на Арбат переулков перед нами шмыгнула в подвал кошка, и нам пришлось сделать большой обход по другим улицам, ибо моя спутница нервно дрожала и отказывалась пройти мимо этого фатального подвала. Почти каждый день бывал у дяди Анатолий Ильич Чайковский со своей эффектной женой и кирасир Л.А. Давыдов, двоюродный брат тетки.

Сразу по приезде я явился Посникову, занимавшему казенную квартиру в Кремле, в здании Судебных Установлений. Он сказал, что я могу пока гулять, и дней пять я, действительно, был свободен. Ни парадного въезда Николая II в Москву, ни коронации я не видел, и только в вечер ее ездил с семьей дяди смотреть иллюминацию города, по тогдашним понятиям «роскошную» (перед тем обязательная в царские дни иллюминация сводилась в Москве к тому, что в окнах ставили разноцветные стаканчики, вроде лампадок, а перед каждым домом в плошке горело деревянное масло).

Вечером 16-го мая Давыдовы и я были в каком-то театре и затем поужинали в Эрмитаже. Когда около часа ночи мы разошлись, Л.А. Давыдов и я пошли пешком по бульварам, и до Тверской шли вместе с густой толпой, которая затем свернула направо по направлению к Ходынке. За Тверской такая же толпа шла навстречу нам. Уже тогда у нас мелькнула мысль про то, что будет при раздаче подарков?

За завтраком 17-го кто-то принес довольно неопределенное известие, что на Ходынке было какое-то несчастье. Днем я поехал туда, но билет у меня был не на трибуны, а только на впуск на поле, откуда я ничего, кроме большой толпы не видел, и через

полчаса поехал обратно. Издали слышались только звуки гимна и крики «ура». Когда я трясся на извозчике по левому от Ходынки проезду, на правом я увидел пожарные дроги, полные трупами, и как раз в этот момент меня обогнали, ехавшие по шоссе в открытой коляске Государь и Государыня. Несомненно, они тоже видели эти трупы. Около Тверского бульвара была какая-то задержка в движении, я бросил извозчика и почти сразу наткнулся на другие дроги, в которых трупы лежали, как дрова. Лица двух были видны: это были не старые, крепкие мужчины, видимо раздавленные, ибо лица их были налиты кровью. Народ проходил мимо молча, только крестясь.

Вечером у всех, кого я видел, настроение было подавленно. На следующее утро, кажется по телефону, я получил приказание быть на Ходынке, где будет Посников. Кроме него я встретил там и судебного следователя по особым важным делам Кейзера, которому было поручено ведение следствия по делу о катастрофе. Мне было приказано ходить по полю, слушать разговоры и записывать имена и адреса лиц, показания которых могли бы оказаться полезными для следствия. Ни одного такого лица я за три часа гуляния, однако, не встретил, но зато вся картина места катастрофы у меня и сейчас стоит перед глазами. На окраине большого поля, шагах в 5-10 от неглубокой ложбины вытянулись 100 барачков, из которых выдавались подарки-кульки с ситцевым платком, эмалированной кружкой с государственным гербом, колбасой и сладостями. Между барачками были проходы для двух человек сразу.

Еще 15 барачков стояли со стороны Всесвятского, но там все прошло благополучно. Края ложбины – невысокие, в несколько метров, были, однако, довольно круты, и на их слежавшемся песке нога скользила, даже когда я один поднимался по ним, и пришлось много помочь себе руками. Здесь, и около стенок барачков и оказалась главная масса раздавленных. Много говорили про колодец на дне ложбины, в котором погибло много людей: колодец этот был выкопан для выставки 1882 г., после чего его покрыли бревнами, которые засыпали песком. О существовании его в 1896 г. никто не знал, и когда на нем оказалась масса людей, прогнившие бревна не выдержали их веса, провалились, и колодец оказался заполненным трупами. Число их, однако, едва ли было велико, особенно по сравнению с общим числом жертв, ибо глубина колодца была невелика.

Под руководством Кейзера второстепенные следственные действия производила также группа старших кандидатов на судебные должности, а несколько младших, и в их числе и я, долж-

ны были сразу же переписывать все следственные акты. Не помню, существовали ли уже тогда пишущие машинки, но, во всяком случае, следователи ими не пользовались. Таким образом, у меня в руках были почти все акты этого дела, ибо все, что было в нем интересного, мы друг другу показывали. Кейзер был следователь опытный и независимый, и, по моему убеждению, выяснил все, что было необходимо. Говорилось, что погибло три-четыре тысячи человек, но опубликовано было, что погибло 1300 с чем-то, и эта цифра соответствовала установленной следствием, которое собрало свой материал из всех возможных источников. Наиболее точными были данные о числе похороненных на кладбищах. Между прочим, для проверки мне пришлось быть на Ваганьковском кладбище.

По окончании следствия доклад по нему Государю был сделан бывшим министром юстиции графом Паленом, известным своей независимостью и высказывавшемся против Московской полиции. С самого дня катастрофы она старалась свалить ответственность на дворцовое ведомство, выстроившее бараки, о которые было раздавлено много людей. В результате следствия был удален от должности обер-полицмейстер Власовский, человек, несомненно, энергичный, но, по-видимому, типичный полицейский. Припоминая теперь все следствие, я задаюсь, однако, вопросом: был ли и он виноват, и не была ли главная ошибка в том, что вообще был устроен этот праздник? Во всем деле мне попалось только одно показание, бывшего обер-полицмейстером во время коронации 1883 г., ген. Козлова, которое указало на меру, принятую тогда и упущенную в 1896 г. Тогда перед бараками поле было разделено на квадраты цепями солдат, и только когда передние квадраты проходили через бараки, на их место пропускались люди из следующих квадратов. В защиту Власовского можно сказать, что уже за неделю до этого он спал всего по 2-3 часа в сутки и, несмотря на это, не успевал лично за всем доглядеть.

Картина катастрофы в общих чертах представлялась следующей: раздача подарков должна была начаться в 8 или 9 часов утра, но уже в час ночи местный полицейский пристав сообщил по телефону, что его немногочисленных городских недостаточно, чтобы поддержать порядок в толпе, которая валом валит, и просил о немедленной присылке назначенного на праздник наряда. Немного позднее о том же сообщили бывшие на трибунах чины Министерства Двора. Сообщалось, что в толпе видны мертвые, столь сжатые, что не могут упасть, и что из толпы по рукам передают на поле и мертвых, и лишившихся чувств, некоторые из

которых приходят в себя. К пяти часам собрался весь наряд полиции, и тогда полицмейстер барон Будберг по соглашению с Бером, представителем Министерства Двора, решили сразу начать раздачу подарков. Но как только толпа это узнала, она бросилась к баракам, и в 20 минут все кончилось: толпа прошла, получив свои грошовые подарки и оставив за собой груды трупов.

По окончании этого следствия началась моя нормальная работа в канцелярии Прокурора Палаты. Я уже упоминал про Н.П. Посникова, занимавшего эту должность, о котором я должен сказать несколько хороших слов. Над ним несколько посмеивались, ибо держал он себя весьма важно и подчеркивал, что он гофмейстер Высочайшего двора, но, быть может, правы были те, которые его оправдывали, указывая, что в те годы, когда суд в России был в загоне, подобный образ держаться поддерживал авторитет юстиции в Москве. С товарищами прокурора Палаты нам мало приходилось иметь дела. Из них выделялись Бобрищев-Пушкин, дядя моего товарища по выпуску и автор книги в защиту суда присяжных, на который тогда сильно нападали, и Громницкий, одно время бывший присяжным поверенным. Оба они считались хорошими ораторами, но в Палате применения этому их таланту не было. Да и вообще надо сказать, что в Судебной Палате фактически роль прокурорского надзора была гораздо менее важна, чем намеченная по Судебным Уставам, в частности, по гражданским делам. Рассказывали, что один из предшественников Посникова, Гончаров, позднее известный главарь правых в Государственном Совете, считавший себя знатоком гражданского права, явился давать лично заключения по гражданским делам в Палате, но его живо отвадили от этого насмешливым к нему отношением. Таким образом, нормально роль товарищей прокурора палаты была чисто формальной.

Как кандидат, я попал в непосредственное подчинение секретарю Прокурора Судебной Палаты М.Ф. Ошанину, хорошему исполнительному чиновнику, но не крупному человеку, карьеры позднее не сделавшему. Кроме него, в канцелярии был помощник секретаря Н.П. Федоров, брат известного профессора-хирурга, закончивший свою карьеру довольно неудачно председателем суда на Кавказе, и старший кандидат Д.Д. Иванов, заменивший вскоре Ошанина. Очень скромный и скорее незаметный, он был хорошим юристом, но главным образом интересовался голландской живописью, по которой, говорят, написал ценные исследования; позднее он был председателем Санкт-Петербургского Окружного Суда.

Одновременно со мной поступили в канцелярию два других кандидата, оба из Московского университета – Н.Н. Марков, сын моего будущего коллеги по Государственной Думе Маркова-1, и князь Д.Д. Урусов. Марков пошел по обычной судебной карьере, и был перед революцией председателем суда в Курске; Урусов же, как и я, хотя и позднее меня, бросил судебное ведомство. Он был братом князя С.Д. Урусова, назначенного бессарабским губернатором после Кишиневского погрома*, и бывшего затем недолго товарищем министра внутренних дел. С.Д. после этого написал на шумевшую тогда книгу «Записки губернатора» и был выбран в I-ю Гос. Думу, где, однако, роли не играл и после этого сошел на нет. Судьба Д.Д. была несколько аналогична. Красивый брюнет с голубыми глазами он был крайне привлекателен своим мягким характером и порядочностью, но, по-видимому, стойкости характера у него не было. Судьба свела меня с ним вновь в Новгороде, где он был товарищем прокурора, и в 4-й Гос. Думе, куда его выбрали от Ярославской губернии, где он был до того председателем одной из земских управ. Его сразу же выбрали товарищем председателя Государственной Думы от левого крыла, но неизвестно почему, он через два или три месяца ушел из Гос. Думы и скрылся вообще с общественного горизонта.

Почти сразу же мне была дана в канцелярии моя первая «самостоятельная» работа: написать заключение по «политическому» делу об оскорблении Величества. Ставлю «самостоятельная» в кавычках, ибо заключение мое должно было быть написано по установившемуся шаблону, в сущности с подстановкой лишь других имен и дат. Это заключение мое пошло на просмотр Посникову и вернулось лишь с одной поправкой: вместо полагающегося «имею честь» я написал «честь имею».

Другое слово в кавычках – «политическое», нуждается в более подробном пояснении. Дела политические или, как они назывались, «о государственных преступлениях» в то время шли особым порядком. Сообщения о них поступали к жандармам, которые и производили по ним следствия (именовавшиеся, впрочем, дознаниями), причем при всех их следственных действиях должен был присутствовать товарищ прокурора. По-видимому, бывало, что именно товарищи прокурора и писали все эти акты. Затем эти дознания поступали к прокурору Судебной Палаты, и с его заключением шли дальше, к министру юстиции. Обычно про-

* Еврейский погром в апреле 1903 г. Бездействие городских властей привело к десяткам убийств, сотни были искалечены. – *Примеч. ред.*

курор высказывался за «направление дела в административном порядке», т.е. за окончание его по Высочайшему повелению, без суда, тем или иным наказанием. Наказания эти варьировали в то время от недельного ареста до ссылки в отдаленные места Сибири. В 1896 г. громадное большинство «политических» дел было именно об оскорблении Величества, за которые полагались по закону каторжные работы и которые кончались обычно арестом обвиняемого на неделю-две «во внимание к его опьянению и невежеству». Лишь изредка назначался арест на месяц, как в случае одного спившегося барона, кажется Бистрома, бывшего вольноопределяющимся, где-то в кабаке выругавшего Государя. По всем этим делам, без исключения, обвинялись пьяные, и подчас обвинения бывали прямо курьезны. В одном деле обвиняемым явился половой трактира, по-видимому, сам выпивший, который обругал какого-то пьяненького посетителя. Тот, показывая ему на выштампованную на самоваре медаль с портретом Государя, стал протестовать: «Не вишь, что ли, чей тут патрет», на что получил ответ: «А что мне твой патрет, я ему каждый день рожу кирпичом чищу!» Из трактира посетитель прямо отправился в полицию, и возникло дело, закончившееся, однако, направлением на прекращение.

По делам о хранении и распространении нелегальной литературы полагалось обычно в то время от одного до трех-четырех месяцев тюрьмы, но они считались уже более ответственными, и мне заключений по ним писать не приходилось. Пришлось мне прочесть одно любопытное дело этого рода. Граф Л.Н. Толстой написал Тульской женщине-врачу Смидович (сестре писателя Вересаева) записку, прося ее дать подателю этого письма имеющиеся у нее запрещенные его сочинения. Она это выполнила, но получатель этих брошюр попался с ними, и возникло дело о Смидович и Толстом. Когда оно попало к Посникову, то он дал заключение о прекращении дела в отношении Толстого, ввиду его громадного авторитета в стране, а Смидович, если не ошибаюсь, предлагал подвергнуть непродолжительному аресту. Тем дело, по-видимому, и закончилось.

1896 г. был еще политически очень спокойным, и более крупных дел при мне не поступало. Только в конце моего пребывания в Москве к Посникову пришло дело о социал-демократической пропаганде, в котором я прочитал впервые некоторые из ставших позднее известными брошюр, вроде «Царь-Голод». Это было дело уже о целой организации, и заключение по нему писал товарищ прокурора Окружного Суда А.А. Лопухин. В то время в Москве

четыре товарища прокурора занимались исключительно политическими делами, и Лопухин был среди них старшим. Работал он и в Жандармском управлении и в Охранном отделении. Последних было тогда еще немного, и отличались они от жандармских тем, что в них назначались наиболее способные жандармские офицеры и что роль прокурорского надзора в них была меньше. Между прочим, жандармы имели права арестовывать обвиняемых ими не более как на 2 недели, а затем должны были сообщать о продлении ареста прокурору, что, правда, было пустой формальностью, но Охранные отделения, насколько мне помнится, и этим связаны не были.

Говоря о жандармах, надо отметить, что пополнялись они большею частью из пехотных офицеров. Служба в армейской пехоте мало что обещала: нормально лет через 25-30 офицер дослуживался до подполковника, и в совершенно исключительном случае мог рассчитывать быть назначенным полковым командиром. Жалование платилось им грошовое, и из него еще производились разные обязательные вычеты, причем надлежало еще быть прилично одетым. Естественно, что из пехоты офицеры стремились уйти куда угодно, и после трех обязательных лет службы в строю, все наиболее способные пытались поступить в одну из академий. Многие из тех, кому это не удавалось, подавали заявление о приеме в жандармы. Здесь тоже были экзамены и затем специальные годичные курсы, но и те, и другие с гораздо более скромными требованиями, чем в академиях. Наконец, последним убежищем от строя была должность делопроизводителя воинских начальников, из коих удавалось кое-кому попасть и в сами воинские начальники.

Жандармы делились довольно определенно на две категории: политических и железнодорожных, причем из одной в другую переводили редко. Железнодорожные, в сущности, были полицией железнодорожных путей, и политикой не занимались, причем в их группу назначались наименее способные и наименее морально стойкие. У меня создалось даже впечатление, что станционные унтер-офицеры были гораздо выше их офицеров. Несомненно, и среди жандармов были порядочные и убежденные лица, но самая их служба делала их всех подозрительными в глазах общества, и не только в глазах левых: жандармов чуждались буквально все. Я упомянул выше про жандармского полковника барона Медем, мужа певицы Славиной, которого мы встречали за границей, но родителям и в голову не пришло бы поддерживать знакомство с ними в Петербурге. Равным образом, когда мой двоюродный брат

Левиз-оф-Менар, неудачно женившийся и прокутившийся, ушел из кирасир в жандармы, он порвал этим все связи с семьей.

Было бы, однако, ошибочно утверждать, что все жандармы были личностями отрицательными: наоборот, между ними встречались лица вполне порядочные, и, вообще, они не пользовались своей властью в каких-либо личных интересах. Они были служителями режима, как и большинство других чиновников, и со своей точки зрения выполняли обычно свой служебный долг добросовестно. Значительно позднее, уже во время войны и после революции, мне пришлось слышать довольно своеобразные рассказы жандармских офицеров об их работе, в правильности которой они не сомневались, но могу только сказать, что вероятно в их положении я лично так бы не поступил.

Летом 1896 г. должна была открыться Всероссийская выставка в Нижнем Новгороде, а до того было намечено открытие окружного суда в Архангельске. На последнее Посников, кроме Ошанина, взял и меня. Скажу кстати, что, как бывший воспитанник Училища Правоведения, окончивший его по 1-му разряду, я получал тогда жалование в 16 рублей в месяц, и все мои служебные поездки ничем не оплачивались, почему, вероятно, Посников так охотно и брал меня с собой.

В Архангельск, где Окружной суд заменял дореформенные судебные учреждения, кроме Посникова, ехал еще В.Р. Завадский, заведующий Межевой частью, на правах товарища министра юстиции, и старый судебный деятель.

В пути, на пароходе, от Вологды до Архангельска, он много рассказывал курьезов из своего прошлого, из которых ярко остался у меня в памяти рассказ о председателе Курского Окружного Суда Пузанове. Человек исключительной порядочности, Пузанов жил очень скромно, раздавая бедным большую часть своего жалования, и пользовался в Курске громадным уважением. Однако, как председатель суда он поступал очень произвольно, не назначая к слушанию дела, по которым он считал исковые требования, хотя юридически и обоснованные, несправедливыми. Вследствие жалоб на него, Министерство юстиции назначило его ревизовать председателя Московской Судебной Палаты Стадольского, которого Пузанов принял чуть ли не подобострастно и даже пригласил в заседание Общего собрания Окружного Суда. Однако когда Стадольский стал высказывать в нем свои мнения, Пузанов резко обратился к нему: «Ваше Превосходительство, вы находитесь в Общем Собрании Курского Окружного Суда, к составу которого вы не принадлежите, попрошу вас выйти вон». Стадольский

сразу уехал, и на смену ему был послан Завадский, которому после долгого пребывания в Курске удалось добыть у Пузанова инкриминируемые ему дела, после чего ему было предложено уйти в отставку или быть отданным под суд. Он подал в отставку, и позднее я его встретил доживающим свой век в Старой Руссе, где я спросил этого очень мирного старика про казус со Стадольским. Он улыбнулся и кратко ответил: «Да, было».

Завадский рассказывал еще про свою молодость, как, будучи товарищем прокурора в Пензе, бывал на именинах в имении известного прокурора Судебной Палаты Жихарева, инициатора «процесса 193-х»*. Пили всегда много, и был случай, что один товарищ прокурора свалился в пруд и стал вопить о помощи. Все бросились к пруду, и Жихарев, заявив сентенциозно, что раз товарищ прокурора тонет, то прокурор Палаты должен его спасти, первый бросился в воду.

В Архангельске несколько дней нашего пребывания прошли очень весело, обеды и вечера сменялись один другим. Местное общество дало большой бал, на котором мне единственный раз в жизни пришлось дирижировать танцами. Несмотря на близость к Полярному кругу, в Архангельске, оживленно торговавшем с заграницей, было немало не только богатых, но и культурных людей, а также иностранцев, голландцев и англичан, частью совершенно обрусевших. Бал не имел, таким образом, провинциального характера, и у некоторых дам были платья не только петербургские, но даже парижские.

После Архангельска Посников взял меня, вновь вместе с Ошаниным, в Нижний Новгород на дни пребывания там царя с царицей. Устроились мы с Ошаниным в конторе общества «Ока», ибо город был переполнен, но, конечно, только ночевали там. На выставке наиболее интересным был павильон Крайнего Севера, устроенный Мамонтовым, председателем Московско-Ярославской железной дороги, строившим тогда Архангельскую узкоколейку. Мамонтов, несомненно, очень яркая личность, вошедшая в историю русского искусства, отправил перед тем на Новую Землю несколько художников, и их картины украшали павильон. Особенно интересны из них были картины Коровина.

Главным торжеством был прием Государя в Ярмарочном доме, на котором обращала на себя внимание характерная фигура князя Л. Голицына, которого знали тогда во всей России по его Крымским винам. Он был также инициатором выделки в России шам-

* Судебный процесс 1877 года над 193 народниками.

панского. Голицын был известен своим апломбом и подчас остроумными ответами, которые заставляли с ним считаться. Не раз он оказывался на мели, но потом вновь выплывал и начинал новые предприятия. На приеме в Нижнем Голицына сопровождала толпа, с интересом слушавшая все, что он говорил. Голицын напомнил мне другого весьма любопытного князя – Д.Д. Оболенского, которого, впрочем, я встретил лично только 80-летним стариком, уже в эмиграции. Часть своего прошлого он рассказал в своих интересных, напечатанных в «Историческом Вестнике», воспоминаниях. Он был из тех, в то время довольно многочисленных лиц, которые, пользуясь своим именем, устраивались директорами в разные предприятия, чтобы улучшить свое материальное положение и, если понадобится, оказать предприятию помощь в проведении тех или иных его дел, пользуясь своими связями...

Возвращаясь к Нижнему, вспоминаю обед с начальством у Омона (московский кафешантан, на время выставки перебравшийся в Нижний). Мне приходилось не раз читать про исключительные пьяные кутежи во время ярмарки в Кунавине, тогда пригороде Нижнего, и в этот раз я сам убедился, как в Нижнем пьют. Скрамником я никогда не был, и пить не отказывался, но в этот раз мне пришлось впервые оказаться в компании уже пожилых людей, не уступавших молодежи. За обедом, кроме Посникова, был нижегородский прокурор Макаров, будущий министр внутренних дел, был еще один из местных товарищей прокурора, после же обеда в отдельном кабинете к нам присоединилось уже несколько высокопоставленных лиц. Посников и Макаров были, в общем, сдержанны, остальные же разошлись вовсю, и в кабинете до утра сменялся калейдоскоп развлечений. Пели цыгане, пели певички, из коих особым успехом пользовалась хорошенькая «итальянка Миликетти», оказавшейся чистокровной русской, до сцены именовавшейся просто «Милой Катей». В «Оку» мы с Ошаниным вернулись уже под утро, и изрядно «уставшие».

По возвращении из Нижнего Посников уехал в «вакант» и отпустил и большую часть канцелярии. Таким образом, до конца августа я пробыл в Гурьеве, а когда вернулся в Москву, то Посников объявил мне, что дает мне в здании Судебных Установлений две комнаты, полагающиеся секретарю прокурора Палаты, ибо Иванов, заменивший Ошанина, был женат, а Федоров жил с родителями. Комнаты эти, громадной вышины, находились в верхнем этаже здания около Никольских ворот и выходили на Арсенал, так что в течение всей зимы первое, что я видел, были французские пушки, лежащие перед ним. Квартира эта налагала на меня

обязанность утром по воскресениям и по праздникам относить Посникову срочную корреспонденцию. Что являлось срочным – решал я, причем Иванов дал мне инструкцию толковать это слово распространительно. За всю зиму, однако, ничего действительно срочного не случилось, и носил я Посникову большей частью разные доносы, обычно вздорные, а иногда и от явных сумасшедших, вроде, например, обвинения неизвестно кого в изнасиловании Успенского собора. Надо сказать, что вообще к прокурору Палаты стекались самые разнообразные дела. Припоминается мне, например, переписка о передачи княжеского титула одной из самых известных в истории России фамилий племяннику последнего мужского ее представителя. Заключение Посникова было отрицательное, ибо этот племянник был полное ничтожество, а командовавшая им жена была известна только своим бурным прошлым. Тем не менее, передача титула состоялась.*

К прокурору Палаты стекались и все дела о провинностях лиц судебного ведомства. За поведением их следили строго, и в случае каких-либо малейших подозрений в нечестности, не говоря уже о явных злоупотреблениях, виновные удалялись, причем «несменяемым» судьям ставилась дилемма: прошение об отставке или суд. Не прощались обычно и мелкие грешки. Как-то товарищ прокурора Ярославского суда был переведен куда-то в глушь за то, что во время сессии в одном из уездов, после хорошего завтрака у местного предводителя забрался с ним на крышу – оба без пиджаков – и продолжал там с ним пить.

По возвращении в Москву, я представился также старшему председателю Судебной Палаты А.Н. Попову, очень почтенному старцу, у которого я был потом на даче, где-то под Москвой. Принимала гостей его младшая дочь, очень милая и скромная, тогда уже невеста товарища прокурора Хвостова, позднее ставшего министром внутренних дел. У Попова председателями департаментов Палаты были старые юристы Лопатин и Тихомиров. Дом семьи Лопатиных был в то время одним из главных культурных центров Москвы; сын председателя Палаты был профессором философии, и вокруг него собиралась тогдашняя московская ученая молодежь. Тихомиров вскоре душевно заболел**, и его заменил председатель Окружного Суда Ивков. Этого в Москве тоже очень

* Речь шла о передаче титула князя Меншикова его племяннику Корейше, офицеру Сумского полка, ставшему князем Меншиковым-Корейшей.

** Он, между прочим, испражнялся в коридорах здания Судебных Установлений и покрывал испражнения бумажкой с исходящим номером.

уважали, и по случаю его перехода в Палату ему был дан в «Эрмитаже» большой обед.

На обеде в числе многих адвокатов был и Ф.Н. Плевако, быть может, самый крупный мастер русского слова, которого я когда-либо слышал. Когда Ивкова после обеда усадили играть в карты, Плевако подошел к нему с вопросом: «На языке какого столетия прикажете вас чествовать?», и на ответ Ивкова: «На языке “Судебников”» начал говорить слогом 16-го века, затем по подсказу кого-то перешел на язык «Уложения» и закончил на современном. Плевако был одной из достопримечательностей Москвы, и, как истый москвич, был не прочь и кутнуть. Рассказывали, что случалось ему приезжать в суд после бессонной ночи и, не прочитав дела, с которым он знакомился только во время разбирательства, все-таки добиваться оправдания своего клиента, благодаря своему исключительному таланту. Говорил он при этом удивительно просто.

Вскоре Посников направил меня заниматься, как это тогда полагалось кандидатам, в камеру судебного следователя. Мне пришлось работать в 17-м участке у пожилого следователя Глушанина, добросовестного, но довольно ограниченного человека. Через некоторое время стал давать он мне самостоятельные поручения, конечно второстепенные. Из них припоминается мне поездка в университетские клиники на вскрытие какой-то пьяной, раздавленной конкой. Почему-то товарищ прокурора, к которому попало полицейское дознание об этом происшествии, потребовал судебного следствия, и Глушанин послал меня на вскрытие. Раздавленная пролежала в земле два месяца, но дело было зимой и посему совершенно не разложилась, но что поразило меня – это, что когда вынули мозг, от него пошел сильный спиртной запах. В другой раз мне пришлось в одном из замосквореченских полицейских участков опрашивать свидетелей по безнадежному делу об отравлении, по которому никаких указаний на возможного виновного не было.

После опроса я разговорился с приставом, недавно перешедшим в полицию из Варшавской гвардии, который жаловался на положение полиции. Он признавал, что полиция берет и приводил примеры других приставов, умалчивая, естественно, про себя. Но больше говорил он про отношение к полиции публики, причем привел характерный пример с ним лично. Как-то на улице он вмешался в пререкания прилично одетого господина с извозчиком. «Вероятно, я поднял голос, и господин вдруг ответил мне: “Господин пристав, забудьте, что вы служили в гвардии; здесь

кричать могу только я, а вы должны молчать, и можете только составить на меня протокол”». К положению полиции я еще вернусь далее, а пока только отмечу, что, действительно, в общественном мнении она стояла очень низко.

После следователя Посников направил меня выступать защитником на выездных сессиях Окружного Суда. При отсутствии избранного подсудимым защитника, таковой по закону назначался от суда – или из местных адвокатов или из кандидатов на судебные должности, и для этого я и отправился с судом на сессии в Клин и Можайск. Первое дело, по которому я выступал, было явно безнадежным: обвинялся вор, уже не раз ранее судившийся, в краже чемодана из вагона поезда около Клина. Попался он, продавая серебряные ложки с буквой Б из этого чемодана, и для смягчения наказания только объяснил, что он украл их не в поезде, а в московском трактире Бекастова (за кражу «в пути» наказание повышалось). При таких обстоятельствах защищать его было трудно, и, кроме того, я так волновался, что боялся, что не смогу встать, когда придет мой черед. Вероятно, говорил я очень скверно, а когда кончил призывом к присяжным не быть столь жестокими, как товарищ прокурора, то этот будущий прокурор Харьковской Судебной Палаты, Лошкарев, сделал изумленное лицо. Присяжные, действительно, отвергли кражу «в пути» и дали снисхождение, но я думаю, что пожалели скорее меня, а не моего клиента.

В Можайске мне пришлось защищать конокрада, и ему тоже присяжные дали снисхождение, что с конокрадами и поджигателями в уездных городах случалось редко: к этим двум категориям преступников крестьяне относились беспощадно, а в этих городах большинство присяжных бывали крестьяне. От поджогов и конокрадов они страдали столь жестоко, что часто расправлялись с пойманными сами: поджигателей бросали в огонь, а конокрадов избивали до смерти. Виновных в этом судили, но присяжные их обычно оправдывали. Позднее в Новгородской губернии я слышал про менее ответственный, но не менее жестокий способ расправы с конокрадами. Взяв конокрада за руки и за ноги, его роняли на мягкие части с высоты около метра, и после повторения этого несколько раз, отбивали ему почки. Следов от этого не оставалось, а конокрад через некоторое время умирал.

Борьба с конокрадством была крайне трудна, ибо сеть укрывателей краденых лошадей была очень обширна, и эти лошади сбывались за несколько сот верст уже через несколько дней, и улик против попавшихся бывало обычно мало. Маловато было

их и против моего клиента, и, хотя его и осудили, но, вероятно, именно потому и дали снисхождение.

На обе сессии ездил 70-летний член суда Григорович, увеличивавший прогонами и суточными свое скромное жалование. У него было что-то около 10 детей, из них несколько еще маленьких, и материальное его положение было очень тяжело. К нему все относились с уважением, но материальное положение его никого не удивляло, ибо вообще оклады чинов судебного ведомства, установленные еще около 1860 г., были определенно недостаточны.

На этих сессиях видел я одного курьезного защитника, выступавшего довольно часто (по уголовным делам мог выступить всякий). Чтобы внушать доверие малограмотным родственникам обвиняемых он носил на своем фраке какой-то большой значок, похожий на звезду. Как оказалось, это был значок Кавказского благотворительного общества Св. Нины, который всякий мог носить за ежегодный взнос в 5 руб. Защищал он тех, кто ему доверялся, немногим лучше меня.

Уже с осени я начал бывать в Москве кое у кого. Московское общество в то время довольно определенно делилась на три группы: стародворянскую, купеческую и интеллигентско-чиновную. У меня был плюс, что я был чужим для всех этих групп, и по сему меня приглашали во все три, но зато интимно я ни в одну из них не вошел. Дворянская группа была еще наиболее многочисленной, но из мужской ее молодежи мало кто оставался в Москве – большинство шло служить в Петербург, где легче было выдвинуться; поэтому появлявшимися новыми молодыми людьми, особенно танцующими, очень дорожили. Купеческая группа в это время была уже далеко не та, что изображал Островский. Достаточно упомянуть имена Третьякова, Солдатенкова, Бахрушина, Алексеева-Станиславского и наряду с ними женских представительниц купечества, вроде Морозовой и Якунчиковой, чтобы отметить, насколько высоко стояли культурно многие представители этого класса. Наряду с этим, политическая роль купечества, представлявшего развивавшийся тогда промышленный капитализм, была ничтожна, и уже тогда намечалось в его среде движение, которое лет через 10 получило особенно яркое выражение в речах Рябушинского. Известная аналогия может быть указана в этом движении с тем, что во времена французской революции выражал Сиейес, но в России оно запоздало и не успело развиться. Группа интеллигентско-чиновная была, быть может, наиболее интересная, ибо к ней примыкали и все наиболее культурные эле-

менты других, но в мои 21 год я был еще слишком молод, чтобы глубоко заинтересоваться ею.

Кстати, с осени я стал сперва готовиться сдавать весной при Университете государственный экзамен* (правоведение ученых степеней не давало, и с его дипломом нельзя было сдавать магистерского экзамена). Причем меня особенно пугали строгостью профессора финансового права Янжула, Но к весне мои мысли о подготовке к ученой карьере по уголовному праву развеялись. Позднее мне пришлось разговаривать с профессором уголовного права Сергиевским на тему об ученых карьерах более или менее состоятельных людей, и он категорически утверждал, что богатому не легче стать ученым, чем, по Евангелию, войти в Царствие Небесное. По его словам, один лишь из его богатых учеников-студентов, Прутченко, сдал магистерский экзамен, да и то стал потом не профессором, а попечителем учебного округа. В этом мнении есть преувеличение, но признаю, что в молодые годы, когда требуется от будущего ученого особенно усиленная работа, соблазны общественной жизни, гораздо более доступные человеку со средствами, изрядно от этой работы отвлекают...

Жизнь моя в Москве в это время шла довольно однообразно. С 10 до 5 я бывал на службе; завтрак нам приносили из буфета здания Судебных установлений, а обедал я в одном из хороших ресторанов, большей частью, в одиночестве, ибо обычно зимой мало кто в них обедал. Вечера, первое время, когда я еще мало кого знал в Москве, были довольно скучны. Кроме семей двух дядей, родных у меня не было, и слишком часто надоедать им было нельзя; из театров были интересны только императорские, да и из них Большой значительно уступал Мариинскому; в Мамонтовской опере еще только начинал выступать Шаляпин, а Станиславский с его любителями выступал лишь изредка в Охотничьем клубе.

Еще с осени Посников предложил мне вступить в число членов Английского клуба. Когда-то это было знаменитое в Москве учреждение, вошедшее в историю благодаря Л.Н. Толстому, и очереди быть баллотлируемым в его члены ожидали тогда годами. Но в мое время его славная пора прошла, и я был сразу пробаллотирован и избран. Уже помещение клуба было архаично, и какой-то налет отжившего лежал и на большинстве его членов. Мне в нем делать было нечего, и те немного раз, что я в нем был, я изрядно скучал. Из его членов у меня остался в памяти толь-

* При окончании Училища, Таганцев хотел взять с меня обещание, что я сдам государственный экзамен, но я от этого уклонился, хотя сам об этом тогда подумывал. Чаплин это обещание дал, но его не сдержал.

ко член Судебной Палаты Вульферт, да и то, вероятно, потому, что на тогдашней жене его сына-кирасира, дочери московского адвоката Шереметьевского, женился позднее великий князь Михаил Александрович. Это было уже в годы, когда женитьбы членов царской семьи с простыми смертными вошли более или менее в привычку, и Михаил Александрович не понес наказания за свою. Примирились и с тем, что жена Михаила Александровича, получившая позднее титул княгини Брасовой, была уже два раза разведена, тогда как еще незадолго до того великий князь Павел Александрович, женившийся на разведенной жене бывшего конногвардейца Пистолькорса, должен был ряд лет прожить за границей. Как писал известный великосветский поэт-сатирик Мятлев: «Русский царь хоть добр, но семейных твердых правил, не на шутку рассердился, как в Ливорно дядя Павел на чужой жене женился»^{*}. Кстати, если бы было возможно собрать сейчас стихотворения этого Мятлева, они могли бы послужить не безынтересной и остроумной иллюстрацией к тогдашним великосветским, а частью и политическим, событиям.

Упомянув про Л.Н. Толстого, отмечу, что один из моих первых визитов в Москве был в Хамовники к графине Софье Андреевне, к которой меня направила жена дяди Макса, родственница Берсов. Софья Андреевна приняла меня очень любезно, но молодые Толстые в доме бывали мало, а к старикам я мало подходил, и, побывав еще один раз, я больше у них не бывал. О доме их у меня осталось воспоминание, как о семье со старым укладом, на который походила жизнь и нашей семьи.

Несколько позднее Посников упомянул обо мне великому князю Сергею Александровичу, и мне было назначено представление ему, после чего я стал получать приглашения на большие приемы у него. Сергей Александрович был уже пять лет московским генерал-губернатором, но симпатий московского общества не приобрел; великая княгиня Елизавета Федоровна, старшая сестра Государыни, наоборот, была популярна. В эмиграции, в воспоминаниях великой княгини Марии Павловны-младшей, воспитывавшейся в семье дяди, я встретил как раз обратное суждение: Сергей Александрович был, по ее мнению, и образован, и сердечен, тогда как его жена была бездушной формалисткой. Конечно, Мария Павловна их лучше знала, но мне все-таки ее суждения кажутся преувеличенными. У Сергея Александровича были, не-

^{*} Точная цитата: «Царь наш добр, но строгих правил, Не на шутку рассердился, Как узнал, что дядя Павел На чужой жене женился». – *Примеч. ред.*

сомненно, благие намерения – например, стремление обновить полицию, но все свелось, в конце концов, к назначению нового обер-полицмейстера Власовского, наведшего в Первопрестольной несколько больший внешний порядок, но не изменившего духа полиции. В пассиве Сергея Александровича значилось усиленное выселение из Москвы евреев; не знаю, много ли их было действительно выселено, но шуму было много, а главное, свелось это к тому, что очень увеличились доходы полиции.

После Нового Года я был на двух балах в генерал-губернаторском доме, где увидел собранных здесь представителей всех трех указанных мною выше групп. Меня, естественно, интересовали тогда больше хорошенькие женские личики, а из мужских я запомнил только одно – усиленно танцевавшего уже не молодого господина с громадным орденом на шее; оказалось, что это профессор римского права Соколовский, несмотря на свою фамилию – немец, и один из первых проповедников в России спорта. На улицах на него обращали внимание, ибо в самые сильные морозы он никогда не одевал пальто. Говорят, что тогда он пользовался известной популярностью среди студентов, но позднее оказался реакционным попечителем Харьковского учебного округа.

У великого князя был свой штат, с которым я и познакомился, хотя и не близко. Бóльшей частью это были сослуживцы его по Преображенскому полку, которым он командовал до назначения в Москву. Исключением был кавалергард Стахович, уже тогда бывший в числе любителей, игравших со Станиславским, а позднее ставший одним из постоянных артистов труппы Художественного театра. К другому, адъютанту Гадону, мне еще придется вернуться позднее, а третий – Джунковский, с которым мне ничего общего иметь не пришлось, стал всем известен по дальнейшей его деятельности. В это время я вошел в кружок фрейлины великой княгини, княжны «Фафки» Лобановой-Ростовской, некрасивой, но веселой, в клетушках которой наверху генерал-губернаторского дома собиралась компания молодежи, якобы для того, чтобы развлекать присланную под попечение великой княгини хорошенькую, но легкомысленную графиню Адлерберг. Собрания эти бывали очень веселы, но скромны, и, кроме чая с печеньем, гостям ничего не давалось. За «порядком» наблюдал всегда Гадон, бывший лет на 10 старше всех нас.

На прощенное воскресенье в Нескучном великий князь устроил *folle journée**, начавшуюся после завтрака и продлившуюся до

* Безумная езда (фр.).

полуночи. На ней была группа офицеров-гвардейцев и в числе их великий князь Борис Владимирович, у которого как раз перед тем была история из-за только что упомянутой мною графини Адлерберг. Она была невестой графа Олсуфьева, однополчанина великого князя, но великий князь довольно бесцеремонно за ней ухаживал, и Олсуфьев вызвал его на дуэль. Не помню, под каким предлогом ее не разрешили, Олсуфьеву пришлось уйти из полка, и свадьба его расстроилась. Это был, кажется, первый, но далеко не последний скандал, связанный с именем Бориса Владимировича. Не во всех их он был главным виновником, а тем менее инициатором, но понимания, что его положение обязывает его избегать быть замешанным в такие истории, у него абсолютно не было.

Во время Великого Поста Лобанова устроила еще поездку на дровнях на Воробьевы горы; опять же это было лишь вывеской, ибо в действительности приглашения исходили от великой княгини. Собралось всего человек 30, в Нескучном, где нас рассадили по дровням, причем я оказался в одних с мрачным В.Н. Львовым, будущим Обер-прокурором Синода при Временном Правительстве. Едва ли не веселее всех был в этот день сам великий князь, видимо, чувствовавший себя вырвавшимся из-под власти вечно господствовавшего над ним этикета. Обгоняя наши дровни, он нам крикнул: «Что ж вы не выворачиваете (в снег) ваших дам?». После дровней вернулись в Нескучное, где нас ждали чай и шампанское, и где мне пришлось долго разговаривать с великой княгиней Елизаветой Федоровной о русской литературе, с которой она оказалась прекрасно ознакомленной. Потом она с мужем уехала, а молодежь еще каталась с гор, вновь под менторством Гадона.

Года через два бедная «Фафка» была удалена от великой княгини, как тогда говорили, в результате интриг других приближенных. Девушка без средств, она была влюблена в великую княгиню, и собирала всякие сувениры о ней. Когда по чьему-то доносу у нее был произведен обыск, в ее комодке нашли много перчаток и носовых платков великой княгини, а также засушенных цветов из ее букетов, за что «Фафка» была обвинена в краже, и покинула генерал-губернаторский дом...

Не буду перечислять тех домов, где мне пришлось за эту зиму побывать, и остановлюсь только на двух. В числе адъютантов великого князя Сергея Александровича был еще Юсупов-Сумароков-Эльстон, о котором я пока не упоминал. Семье Эльстона, екатерининского врача-англичанина, повезло в России. Сын этого врача женился на единственной дочери фельдмаршала графа Сумарокова и стал графом Сумароковым-Эльстон, а один из его

потомков женился на дочери последнего князя Юсупова, принесшей ему в приданое и громадное состояние отца, и его титул, и имя. Так как старик Юсупов был очень скуп*, то Сумароков, по ходившему тогда рассказу, чтобы получить его согласие на брак, якобы пришел к нему со словами, что хотя он не имеет средств, но смог, благодаря своей бережливости, служить в Кавалергардском полку, и что посему он не только не растратит состояние своей будущей жены, но его еще более приумножит. Это, будто бы, так понравилось Юсупову, что он согласился на брак дочери.

Сумароков не только получил громадное состояние, но и прелестную жену, и красивую, и с мягким характером, благодаря которому никто ничего худого про нее никогда не говорил. В Москве они жили в Юсуповском доме около Красных Ворот, не видном с улицы, но одном из напоминающих старую Москву, и внутри отделанном в русском стиле. Был я в нем два или три раза, раз на большом балу – более элегантно, чем великокняжеские. Другой дом, где я был тоже всего два раза, был дом княгини Мещерской. Муж ее, князь Н.П. Мещерский, брат известного правого журналиста (о котором в семье, впрочем, избегали говорить и которого явно стыдились), был раньше помощником попечителя Московского учебного округа, но когда я был у них в доме, он был уже хронически болен, и никому не показывался. Старая княгиня, рожденная графиня Панина, унаследовала от отца известное имение Дудино, в котором сохранялись все архивы Паниных, и, в частности, известного инициатора заговора против Павла I, посланного туда еще этим императором и оставленного там и при Александре I.

В старом, но нарядном доме Мещерских на Никитской, недалеко от Университета, еще оставались две незамужние дочери, для которых и делались приемы. Одна из них была уже невестой барона Оффенберга, а младшая вышла позднее замуж за графа П.Н. Игнатьева, известного дореволюционного министра народного просвещения. Меня судьба свела через год также с двумя старшими дочерьми княгини – тоже княгинями – Васильчиковой и Голицыной, о которых мне еще много придется говорить дальше и у которых я встречал потом и обоих их братьев. Таким образом, мне пришлось познакомиться со всей это многочисленной семьей.

* Во Флоренции он спрашивал моего отца, куда бы можно было подешевле отдать отточить ножницы.

В Москве в эти месяцы я часто встречался с группой молодежи, проводившей свободное время, в общем, довольно беспутно. Как-то мне пришлось с одним из них, артиллеристом князем Гагариным, возвращаясь из Яра или Стрельны, попасть на «Балканы» в два известных трактира – в «Молдавию» и к «Капкову». Здесь якобы цыгане делили свой ночной заработок и сюда приезжали также те любители цыганского пения, которым было недостаточно того, что они слышали в кабинетах больших ресторанов. «Молдавия» и «Капков» были трактирами для извозчиков, и в обоих их было по одной отдельной комнате, «кабинету», как их называли, где цыгане пели, а слушавшие их могли, кроме водки и соленых огурцов, получить шампанское и поджаренный миндаль. Картина, в общем, была очень своеобразная своею смесью бедноты и безграничного швыряния денег. В Петербурге ничего подобного этому я никогда не видел.

С наступлением Великого Поста жизнь в Москве затихала и кроме маленьких собраний у некоторых моих новых знакомых, делать по вечерам вновь стало нечего. В это время как раз переменилось отношение ко мне Посникова; мои шаблонные «заключения» о направлении жандармских дознаний, в течение полугодя проходившие без сучка и задоринки, стали возвращаться от Посникова совершенно переделанными, и вообще он показывал свое недовольство мною. В это время через Москву проезжал мой отец, и я попросил его зайти к Посникову и выяснить в чем дело. Оказался я виновным в проступках, о который я не имел до тех пор ни малейшего представления, и главным из коих было, что на балу у великого князя я не танцевал с племянницей Посникова – Варженевской, поэтессой и милой девушкой, но дурной, как смертный грех. Ни один из этих проступков отношения к службе не имел, и в худшем случае проявил я в них только легкомыслие. Вероятно, если бы я пошел извиниться к Посникову, он преложил бы гнев на милость, но я этого не хотел, отец был согласен со мной, а кроме того в Петербурге жила семья, в которой я встретил мое первое увлечение.

Служба в Москве мне поэтому более не улыбалась, и я решил вернуться в Петербург, где меня причислили к Государственной Канцелярии. Это было учреждение, вырабатывавшее главным образом прекрасных редакторов официальных текстов, ибо на них лежало составление журналов заседаний департаментов Государственного Совета и различных при нем комиссий. Надлежало точно и кратко излагать мысли говоривших в этих заседаниях (иногда более ясно даже, чем они были высказаны) и затем

столь же точно изложить мысли, на коих было основано решение. При разногласии следовало беспристрастно и точно изложить оба мнения (Государь мог утвердить любое из этих мнений, которое и становилось законом). Чины канцелярии составляли часто и справки по обсуждавшимся в Государственном Совете делам, и надлежало делать их тщательно и умело, ибо среди членов его были наряду с уже мало на что способными стариками, люди большого опыта и знаний.

Таким образом, работа в Гос. Канцелярии давала большую бюрократическую подготовку и выдвигала молодежь способную и работающую; многие из нее и занимали потом высокие административные посты. Отмечу еще, что при Гос. Канцелярии было особое отделение «Свода Законов» – учреждение, которому могли позавидовать все другие государства. Еще со времен Елизаветы делались попытки кодификации наших законов, но до царствования Николая I напрасные, и после «Уложения» Алексея Михайловича 1648 г. ни одного свода законов в России не было. Со своей любовью к порядку и регламентации Николай решил упорядочить это дело и поручил Сперанскому (а после его смерти Блудову) составление сперва Полного Собрания Законов, начиная с 1648 г., и на основании его – «Свода Законов». Работа эта была выполнена прекрасно и быстро и, кроме знаменитого «Кодекса Наполеона», гораздо менее, впрочем, всеобъемлющего, нигде такого свода не было. Но на этом работа не остановилась, и до самой революции продолжалось переиздание пополненных томов «Свода Законов». 2-е Отделение Собственной Его Величества Канцелярии, которое этим ведало, превратилось позднее в Кодификационный отдел и затем в Отдел Свода Законов, но работа его оставалась все той же, причем, сталкиваясь с противоречиями в законах, эти кодификаторы не раз давали указания на необходимость издания новых узаконений.

Несомненно, в «Своде Законов» было много архаизмов и курьезов (например, запрещение в Уставе о предупреждении и пресечении преступлений «всем и каждому пьянства» или в нем же – употребления на свадьбах артиллерийских орудий), но нигде больше я не видал такой удачной в кодификационном смысле работы. Быть может, это надо объяснить тем, что Россия унаследовала свою культуру от Византии и что у русских юристов идеальный кодекс Юстиниана всегда оставался перед глазами.

В Государственную Канцелярию я попал уже только в мае 1897 г. перед концом его занятий перед летом; явился новому начальству (во главе Канцелярии тогда стоял еще сравнитель-

но мало известный Плеве) но мое непосредственное начальство, статс-секретарь отделения, мне заявил, что до осени мне не стоит приниматься за работу.

Таким образом я только видел тогда внешнюю обстановку работы в Мариинском Дворце, в котором не было почти разделения между членами Госсовета и членами Канцелярии и в котором меня поразило богатство обстановки. Дворец этот был выстроен для великой княгини Марии Николаевны, бывшей замужем за герцогом Лейхтенбергским, сыном Евгения Богарне, пасынка Наполеона, а позднее за графом Строгановым, и после ее смерти был куплен для Госсовета, сохранившем весь его прежний столь не похожий на казенную обстановку вид.

В это же время отец купил для меня имение в Старорусском уезде Новгородской губернии. Уже тогда родители решили, что Гурьево перейдет моему младшему брату, и хотели, чтобы и у меня было свое пристанище. Только это покажется странным, но в те еще в сущности недалекие времена городское обиталище, даже собственный дом, не считалось своим коренным жильем и нормально предполагалось, что каждый состоятельный человек, независимо от своего общественного положения связан с землей.

Купленное для меня имение Рамушево в Старорусском уезде, принадлежало при Александре I известному тогда ученому, академику Озерецковскому, затем его зятю Аклечееву и, наконец, дочери последнего, жене умершего еще молодым офицера фон-дер-Вейде, потомку Петровского генерала и автора его «Воинского Артикула»; она и продала имение моему отцу. Была она милая, добрая старушка, но об отце, Аклечееве, сохранились среди крестьян тяжелые воспоминания, как о человеке крутом и безжалостном. Кажется, он служил в военных поселениях, и в имении своем ввел такие же порядки, как в них. Он же выстроил и большой каменный дом, несравнимый, конечно, с Гурьевским, но поместительный, хотя, конечно, без всяких современных удобств. Усадьба была запущена, да и в доме было немало не порядков. Сада, в сущности, не было, но зато к дому подходил чудный сосновый лес с уютными в нем дорожками. Усадьба была расположена над Ловатью, на правом ее берегу, от которого ее отделял большой заливной луг. По другую сторону реки тянулось село Рамушево с церковью посредине, а рядом с имением была расположена деревня – Старое Рамушево. Эта деревня, равно как и Александровка, деревушка по другую сторону имения, были бывшими крепостными фон-дер-Вейде, тогда как почти все остальные деревни вокруг входили в состав Военных Поселений.

Местность во всей северной и западной части Старорусского уезда, ровная и неинтересная, была без особых исторических воспоминаний. По летописям, в 11-13 веках ее постоянно разоряли литовцы; в числе сожженных ими (и не раз) поселений значатся не только Старая Русса, но и Рамушево, и соседнее Налочи. Позднее между селами Коростынью и Шелонью князь Даниил Холмский разбил новгородские ополчения. Слышал я, что на месте этого боя еще недавно крестьяне выпаживали части вооружения дравшихся здесь воинов, но сам я никогда их не видел.

В уезде в ту пору было несколько монастырей – Леохновский, Косинский, Рдейский, но ни один из них не пережил Екатерининских реформ, и воспоминанием о них остались лишь несколько имен святых в святцах. В 80-х годах прошлого (XIX-го) столетия Косинский и Рдейский монастыри были восстановлены частными благотворителями, оба с небольшим комплектом монахинь, и были небогатыми трудовыми общинами. В Косинском монастыре под Старой Русской, где я был позднее в школе, была забавная живопись в церкви, изображающая дьявола, подводящего человека к книгам с различными греховными названиями и в числе их к «Философии».

Более интересным был Рдейский монастырь, расположенный на большом озере того же имени. Какой-то московский благотворитель восстановил его очень солидно, но вскоре умер, и монастырь остался без средств, так что, когда я был в нем около 1900 года, он начал уже приходить в упадок, и штукатурка кое-где обвалилась. Попадать в этот монастырь было не просто: расположен он был в 12 верстах от Каменки, последней почтовой станции на Холмском тракте, и 6 вёрст из них шли по болоту, замощенному бревнами, в значительной части сгнившими. Вид у монастыря был, в общем, еще внушительный, но как-то поражал контраст его с окружающей бедностью природы.

В самой Старой Руссе, кроме собора местного монастыря, построенного около 1100 г., но ни в каком отношении не интересного, старины не было, если не считать названий ее речек – Полисти, Порусьи и Перерытыцы. Эта последняя была, якобы, прорыта во время какой-то доисторической осады для того, чтобы проникнуть в город по дну отведенной Порусьи, наименование же этой, равно как и Полисти, были даны якобы в память дочери и жены основателя города – Русса. По местным преданиям Русса именовалась Старой, потому что она была старше Новгорода, который так именно и был назван, потому что был основан после Руссы. Про Русса в летописях говорилось, что он – «сын Словена,

правнука Яфетова». В исторические времена Русса была пригородом Новгорода, и еще тогда началась в ней выварка соли, благодаря которой при Грозном она была вторым в царстве городом по количеству платимых пошлин. Эта выварка прекратилась только, когда все леса поблизости от города были вырублены, и соль стала обходиться здесь гораздо дороже, чем добываемая на северо-востоке страны.

В 19-м веке Старая Русса была признана лечебным местом, и, благодаря вниманию министра государственных имуществ Муравьева, здесь была построена роскошная, по тогдашним понятиям, казенная гостиница и каптирован большой фонтан соленой воды, получивший тогда наименование Муравьевского. Позднее минеральные воды были сданы в аренду доктору Рохелю, при котором они сперва значительно развились, но который потом, перед концом арендного срока, их порядочно запустил.

Две трети Старорусского уезда в начале 19 века были скуплены в казну одновременно с частью Новгородского уезда для образования в них знаменитых Аракчеевских военных поселений. После холерного бунта 1831 г., в котором погибли лица и виновные, и невинные, наказанию были подвергнуты более 1000 человек, и из них сотни были запороты насмерть, военные поселения были заменены «округами пахотных солдат», просуществовавших почти до 1860 г. По-видимому, общий их строй подходил к строю волостей казенных крестьян, но под военным начальством. Во главе каждого округа стоял его начальник, при коем был адъютант, и они вместе с окружным священником составляли правление, от которого зависело, между прочим, наложение более строгих наказаний. Нельзя сказать, чтобы все было плохо в этом строе: дороги содержались в известном порядке, и позднее мне приходилось встречать остатки мостовых и шоссе, заброшенных после упразднения округов. Как-то, когда уже при мне земство решило устроить мостовую в одной из деревень, под полуаршином наносной грязи оказалась старая мостовая периода военного управления. Был образован тогда особый «капитал пахотных солдат» для помощи им в голодные годы, по которому велась по каждому селению точная отчетность и который к 1900 г. превышал миллион рублей. Но наряду с этим крутость обращения с крестьянами не много уступала военным поселениям.

Как-то я ехал со станции Волот после сильных дождей, и на многих полосах стояла вода. Старик-ямщик обернулся ко мне со словами: «А вот при военном начальстве этого не было бы», и на мой вопрос почему, объяснил: «Вот едет окружной, скажем, как

вы, ваше сиятельство, увидит вот такую залитую полосу и сейчас спросит: “А чья это полоса?” – “Ивана Иванова”, – “Давайте его сюда”. Приведут раба Божия на полосу, снимут порты, уложат носом в грязь, да и всыпят горяченьких; после этого уж у него вода на полосе не стояла». Такие положительные суждения о военном начальстве, конечно, встречались не часто, и большинство его уже не помнило, но, во всяком случае, военное начальство повлияло, несомненно, на огрубение населения, что особенно ярко было видно в Старорусском уезде, где к западу от Ловати были военные поселения и было гораздо больше драк и в результате их – убийств и увечий, чем к востоку от этой реки.

К востоку от Ловати начинались холмы, которыми заканчивалась здесь Валдайская возвышенность, больше было здесь лесов, и эта часть уезда не имела того безотрадного вида, который представляла западная. Наконец, в низовьях Ловати и Пола лежали «пожни», заливные луга, с ранней весны и до поздней осени бывшие приманкой для охотников на разную дичь, особенно весной, когда пролетали гуси и утки. Привлекали эти места и петербургских охотников во главе с великим князем Николаем Николаевичем и его компанией, которым было предоставлено право охоты, по-видимому, бесплатно, во всех казенных лесах уезда.

После покупки Рамушева, наладив сперва ремонт дома (во всех работах по имению мне очень помогал учитель местной школы А.М. Аксенов – энергичный, толковый и порядочный человек), я стал устраивать хозяйство. Отмечу еще только, что агрономом земства, тогда единственным в уезде, был перед тем составлен план преобразования хозяйства имения в образцовое, но у фон-дер-Вейде не было средств для приведения этого плана в исполнение. Я принялся за это, но результаты оказались плачевными, расходы оказались выше предусмотренных, а урожаи никогда не достигали обещанной средней. Кроме того, насколько мне помнится, не были предусмотрены общие расходы, и вместо приличного дохода имение все 20 лет, что я им владел, требовало постоянных приплат. Вообще, хозяйства на севере России в те времена были почти сплошь убыточны и относительно выгодны были только те, которые могли посылать молоко в столицы (маслоделие и сыроварение, наоборот, обычно давали недостаточный доход), а в последние годы перед 1914 г. выгодным оказалось также и крупное птицеводство, со сбытом птицы непосредственно в большие столичные рестораны. В моем случае убыточность хозяйства объясняется еще, впрочем, тем, что я никогда никакими хозяйственными талантами не обладал и выжимать из людей копейку

не умел, а без этого в те времена никакое хозяйство преуспевать не могло.

Наметив все эти работы, я стал знакомиться со Старорусским обществом, и оказалось, что с момента начала переговоров о покупке Рамушева, еще не зная меня, на меня стали смотреть как на возможного кандидата в местные предводители дворянства. Более определенно об этом со мной заговорил губернский наш предводитель дворянства князь Б.А. Васильчиков, когда я был у него с первым визитом в его родовом имении Выбити. Говорили мне, что раньше оно принадлежало новгородским боярам Овцыным и затем перешло по женской линии к Васильчиковым. В имении было 8000 десятин, но дохода и оно не давало и, наоборот, требовало постоянных приплат, хотя в имении и были винокуренный завод и образцовое молочное хозяйство с сыроварением. Усадьба Выбитская была устроена на заграничный лад, особенно господский дом с рядом комнат для гостей. Князь был любителем охоты и у него содержались для нее и лошади, и собаки. Я застал еще у него знаменитую «Лебедку», о которой говорит в своих воспоминаниях академик Крылов. Покаюсь, впрочем, что меня достоинства этой собаки оставили совершенно равнодушным.

Борис Александрович приходился внуком I-му князю Васильчикову, генералу наполеоновских войн, бывшему позднее командиром гвардейского корпуса и своим поведением в день Декабристского восстания заслужившего полное доверие Николая I. Позднее он был председателем Государственного Совета. Сын его Александр Илларионович, Новгородский губернский предводитель дворянства, был в свое время известен, как пропагандист мелкого сельского кредита, по которому он опубликовал несколько сочинений, и считался вообще либералом.

Судя по портретам, он был очень красив, и женился тоже на красавице Сеньвиной, почему не удивительно, что и сын его Борис Александрович был тоже очень красив. Очень высокий брюнет, он был женат, как я уже упомянул, на княжне С.Н. Мещерской, тоже высокой, но блондинке, и вместе они составляли пару, которой все любовались. Оба они были притом люди глубоко порядочные и отзывчивые на всякую нужду, почему все относились к ним очень хорошо. Кончив Правоведение за 15 лет до меня, он через три года был выбран Старорусским уездным предводителем дворянства, а еще через 6 лет – Новгородским губернским, оставив в Старой Руссе немало воспоминаний о своей широкой жизни. Одно лето провела с ним там известная балерина, итальянка Цукки, женщина некрасивая, но, как говорили, очень при-

влекательная. Быть может, всё, что я говорю сейчас и еще буду говорить дальше о Васильчикове, покажется излишним, но он был одним из наиболее ярких положительных типов русского барина, которые мне пришлось видеть; несомненно, его можно было критиковать, как политического и государственного деятеля, но морально он стоял очень высоко, и я не знаю никого, кто бы его с этой стороны осуждал.

Когда я в первый раз был у Васильчиковых, я застал у него М.И. Тетерюковского, уже старика, мелкого помещика, прошедшего почти через все уездные должности и, кажется, со всех ушедшего со скандалами. Когда-то он был артиллерийским офицером (Л.Н. Толстой упоминает мимоходом о нем в своих дневниках времен обороны Севастополя), и за дуэль был лишен права на получение ордена Святого Владимира. Из мировых судей он ушел после того, как в совещательной комнате мирового съезда оттащил за волосы его председателя Максютенко. Наконец, из земских начальников он вылетел за то, что побил в клубе судебного следователя Завадского. Последний был переведен в Старую Руссу после того, что его кто-то побил в Демянске, что совпало с получением им ордена Станислава 3-ей степени; поэтому Тетерюковский, давая ему пощечину, прибавил: «На тебе Анну» (следующий орден). Результат этого инцидента был, впрочем, для Завадского не менее плачевен, чем для Тетерюковского – он тоже был уволен в отставку. У Васильчиковых, к которым Тетерюковский относился с искреннею преданностью, он был завсегдатаем, не замечая, что они относятся к нему несколько иронически. Первое время он относился и ко мне хорошо, надеясь взять меня в свои руки, но быстро охладел, увидев, что это ему не удастся, а после того, как в первом же земском собрании мне пришлось сделать ему замечание, он стал явно враждебен ко мне.

По-видимому, после моего визита к Васильчикову, князь собрал обо мне сведения, и через месяц приблизительно, в конце июня 1897 г., на экстренном дворянском собрании в Старой Руссе я был избран предводителем дворянства – на должность, которая оставила у меня самые лучшие воспоминания. Русское дворянство вообще имело много своих особенностей и, несмотря на все попытки придать ему характер западного, никогда ему не удалось. Еще в царской России, как известно, основная ее идея была обязательность для всех службы государству. Служилые люди, из которых позднее образовалась дворянство, несли свою службу, пока могли, часто в условиях мало отличающихся от тех, в которых жили их холопы, и могли, когда угодно будет власти,

лишиться их «поместий» коими они были «испомещаемы», пока служили. Если семья не могла выставить государству такого слуги, поместье отбиралось, чем эти владения отличались от «вотчины», составлявшую неотъемлемую собственность рода. Петр Великий уничтожил это различие между поместьем и вотчиной, уничтожив «Поместный Приказ», но зато он сделал из служилых людей вечных своих слуг и при этом оформил своею «Табелью о рангах» доступ в их ряды людей других сословий: любой военный офицерский чин давал тогда потомственное дворянство, равно как и гражданский чин титулярного советника. Доступ на государственную службу был при этом при нем свободен всем сословиям. Вскоре после его смерти обязательная служба дворян была, однако, ограничена 25 годами, а полоумный Петр III, выросший в немецких понятиях, и совсем освободил дворян от нее. Естественным было бы одновременно с этим освободить и крестьян от их крепостной зависимости от дворян с передачей им обрабатываемой ими земли, но, по-видимому, и мысль об этом никому тогда не пришла в голову. Спрашивается, впрочем, было ли тогда самодержавие достаточно сильно, чтобы провести такую меру? Мне мысль о ней пришла еще когда я учил историю русского права, но когда я ее случайно высказал в перерыве одного из земских собраний, она произвела такую сенсацию, что была сразу же доведена до сведения Васильчикова. Когда на его вопрос я ему позднее изложил мои взгляды, он только улыбнулся, но посоветовал мне, если я не хочу быть забаллотированным на предстоящих вскоре выборах, не излагать этих взглядов столь публично.

Екатерина II оформила строй русского дворянства, создав по губерниям дворянские общества и передав в руки дворян почти все местное управление: не только должности предводителей дворянства, но и уездных судей и исправников замещались до реформ Александра II по выборам дворянства. Однако оно не было закрытым сословием, как в западных странах, и до середины 19-го века почти все «разночинцы», получая те или иные чины или ордена, вливались в его ряды. Лица свободных профессий, единственные не числившиеся на государственной службе, были тогда единицами, и только при Николае I число их стало увеличиваться. Этому надо приписать, что самый вопрос о несправедливости привилегированного положения дворянства в то время еще почти не поднимался. Только при Александре II, с распространением народного образования и появлением не только в крупных центрах, но и вне их, того, что тогда называлось «третьим элементом», а позднее образовало кадры интеллигенции,

стала укрепляться мысль о необходимости перестройки порядка на бессословных началах, которая и отразилась в реформах 60-х годов. Однако, реакционные течения, победившие при Александре III, повернули вновь страну на сословные рельсы: сословным стало земство, сословным учреждением явились и вновь введенные земские начальники.

По существу все эти реакционные изменения, как я уже говорил, мало что изменили: люди остались те же, и полномочия их мало изменились, но для авторитета тогдашнего правительства все эти нововведения оказались только вредными, ибо они уже не отвечали духу времени. Впрочем, этот вред мог бы быть ослаблен, если бы за земскими начальниками был с места установлен строгий надзор, но это было предоставлено усмотрению местных властей, которые в громадном большинстве губерний ничего не делали в этом направлении и земские начальники скоро стали объектом в лучшем случае иронического, а обычно враждебного отношения. Первоначальная идея графа Толстого, проводшего их в жизнь, была, что они будут отечески опекать крестьян, и что для этого наиболее подходящи будут местные помещики-дворяне, но на практике получилось, однако, нечто совершенно иное. По поводу одного из назначений в Старорусский уезд мне пришлось в 1898 г. говорить с Г.Г. Савичем, тогда управляющим Земским Отделом, в ведении которого находились земские начальники. Он хотел поднять их уровень (по-видимому, неудачно), и сообщил мне тогда, что около четверти земских начальников не имели тогда даже среднего образования и были не из дворян.

В конце 19 века ненормальность положения дворянства уже, в сущности, была всем ясна, и в Министерстве внутренних дел были созваны наиболее видные губернские предводители дворянства для обсуждения намеченных изменений в соответствующем законодательстве. Однако, кроме разных мелочей, намечалось только одно более крупное нововведение – прием в дворянство по его постановлениям лиц из других сословий. Само по себе второстепенное это предложение, которое, быть может, сблизило бы дворянство с интеллигенцией, нашло себе поддержку только у двух предводителей – Васильчикова и Зиновьева (петербургского). В это время уже намечалось разделение дворянства на два течения – правое и крайне правое, которое вскоре образовало печальной памяти «Совет Объединенного Дворянства».

Дворянство северных губерний всегда было более либеральное, чем центральных, и Новгородское было в числе их, но надо сказать, что эта либеральность была очень условна. Когда я был

выбран предводителем дворянства, то я немало слышал в Старой Руссе обвинений в революционности по адресу тех или других лиц, и в числе их, например, даже по адресу С.Е. Крыжановского, будущего известного товарища министра внутренних дел, незадолго до меня бывшего в Старой Руссе судебным следователем. Северное дворянство было, кроме того, гораздо беднее в среднем, чем центральное и южное, и очень многие из его состава не продавали своих имений только для сохранения «ценза», дававшего права на участие в дворянских и земских выборах, а, следовательно, и на избрание в различные должности.

Кстати, расскажу, что в северных уездах губернии при составлении в те годы земством статистического описания губернии, был обнаружен ряд фиктивных цензов. Мне объяснили тогда, что для создания их была придумана курьезная судебная процедура. Для приобретения ценза, Икс якобы давал в долг какому-нибудь Игреку ту или другую сумму, с тем, чтобы при неплатеже ее взыскание могло быть обращено исключительно на землю, принадлежащую Иксу в такой-то волости, в действительности несуществующую. В срок Игрек долга не платил, Икс предъявлял к нему иск, и эта земля продавалась с торгов, на которые, кроме Икса, естественно, никто не являлся, и земля оставалась за ним, давая ему, таким образом, все избирательные права. В Старорусском уезде таких случаев не было, но мне пришлось обнаружить другие, а именно, что некоторые бывшие помещики продавали свои остатки земель крестьянам, причем, ничем это оформлено не было. Например, мне пришлось познакомиться позднее с председателем Петербургского Мирового Съезда Путиловым, которому я ряд лет посылал окладные листы по дворянским сборам и от которого узнал тогда, что он эту бездоходную землю подарил своим бывшим крепостным уже несколько десятков лет тому назад. Как мало ценились тогда земли, видно из примера продажи графом Кушелевым-Безбородко (владельцем известной картинной галереи, оставленной им Эрмитажу) около 2.000 десятин на границе Холмского уезда одному из кабатчиков уезда по рублю за десятину по совету старой нянюшки графа, получившей за это, как говорили, 100 рублей от покупателя.

Вообще по всей России дворянское землевладение неуклонно уменьшалось, и курьезно, что Дворянский банк, созданный в 1885 г. для поддержки дворян, только ускорил этот процесс, хотя целью его и было прямо обратное. Льготные условия займов в нем соблазнили немалое количество дворян, которые иначе воздержались бы от залога своих земель и которым затем при пер-

вых трудных обстоятельствах пришлось продавать свои родовые гнезда. В Старорусском уезде, таким образом, из более, чем 90.000 десятин в момент освобождения крестьян, к 1897 году оставалось за дворянами всего около 30.000, и почти треть из них принадлежала Васильчикову. Вместе с тем, почти все уцелевшие помещики должны были служить, чтобы существовать, и на бесплатные должности предводителя дворянства кандидатов находилось все меньше.

После избрания Васильчикова губернским предводителем, в Старой Руссе выбрали предводителем Дирина, у которого кроме редких имен его и его детей – Сократа, Диодора и Ираиды – других достопримечательностей не было. Вскоре после избрания он был назначен вице-губернатором в Ревель, а позднее переведен на ту же должность в Новгород, где и оставался до революции. Человек недурной, но очень ограниченный, он очень наивно рассказывал, как все министры внутренних дел обещали назначить его губернатором, но никто этого обещания не исполнил. Премьером его в Старой Руссе, бывший кавалергард Н.А. Симанский умер через год, оставив после себя только одно воспоминание большого пьяницы. После этого, до моего появления на Старорусском горизонте, то есть в течение более 4-х лет, предводителя в Старой Руссе не было, почему для избрания моего на эту должность было созвано экстренное дворянское собрание, на котором я и был избран единогласно. Через месяц я был утвержден в этой должности, и стал знакомиться со своими обязанностями и с людьми, с которыми судьба меня свела.

Должность уездного предводителя дворянства была своеобразна тем, что почти никаких единоличных обязанностей у него не было. В крупных городах было немало опекунских дворянских дел (опеки были, как и вообще почти все в дореволюционной России, построены на сословном начале), и предводителям приходилось следить за тем, чтобы со стороны опекунов не было злоупотреблений, но в старой Руссе за мое время не было ни одного такого дела. Все остальные обязанности предводителя были бессословного характера, причем всюду он являлся председателем коллегиальных учреждений с предусмотренным по закону заместителем. Таким образом, при желании предводитель мог играть в уезде большую и ответственную роль, но мог и ничего не делать, что случалось значительно чаще. Как-то я подсчитал свои обязанности, и оказалось, что я состою председателем 13 учреждений, некоторые из которых существовали, однако, только на бумаге, вроде, например, Комитета общественного здоровья, после введе-

ния земства переставшего фактически существовать. Положение предводителя в уезде было, во всяком случае, почетным, а влияние его зависело, конечно, от его личности. Для внешних выступлений уездных предводителей существовал особый церемониал, как и для губернских властей (например, что в церкви губернатор подходит к кресту ранее начальника дивизии, а в уезде предводитель раньше командира полка). Все это сейчас кажется просто смешным, но когда-то, до установления этого церемониала, еще во времена моих родителей, вызывало немало столкновений между военными и гражданскими властями.

Переходя к описанию моей работы, останавлиюсь сперва на единственном деле по опеке, по которому мне пришлось активно выступить. Ко мне обратился офицер какого-то пехотного полка с заявлением, что отец его совершенно спился и что потому он просит о назначении над ним опеки. Подобные опеки над людьми психически ненормальными и расточительными назначались особым присутствием под председательством губернатора и в составе представителей различных общественных учреждений, куда я и направил это заявление. Однако перед тем я поехал лично ознакомиться с возможным моим опекаемым. Мне приходилось уже видеть усадьбы «оскудевших» помещиков, но эта побила все рекорды и, вероятно, не уступила бы тому, что Чичиков увидел у Плюшкина. Приехал я в нее скоро после обеда и застал ее владельца уже пьяным перед бутылкой водки, которой он стал сразу угощать и меня. Весь опухший от водки, грязный, в халате (позднее он мне вспомнился, когда я увидел известный ныне портрет Мусоргского), он сразу стал рассказывать различные интимные подробности жизни своей дочери, как позднее оказалось, сгущая их и придавая им некрасивый характер, которого они в действительности не имели. Опека после этого моего визита была назначена, и старик под наблюдением сына закончил свои дни спокойно, хотя и продолжал пить.

С опеками над сумасшедшими мне не пришлось иметь дела, но позднее я видел душевнобольного, который аккуратно подавал в Новгороде просвирки о «смягчении сердец новгородских мучителей графа Оттона и князя Бориса» (губернатора графа Медем и Васильчикова), принимавших участие в признании его ненормальным, в чем, впрочем, никаких сомнений у врачей не было.

Настоящая моя работа началась в уездном съезде – учреждении, совместившем с 1890 года функции упраздненных тогда мирового съезда и уездного по крестьянским делам присутствия. Ежемесячно съезд собирался на неделю, причем в первый день

разбирались дела «административные», об утверждении разных крестьянских приговоров и по жалобам на них, и в следующие пять дней – судебные, по жалобам на судебные приговоры городского судьи и земских начальников, а главным образом на волостные суды. Ежедневно разбиралось съездом по 30 таких жалоб, и могу сказать, что разбирались они добросовестно. Часто подолгу горячо спорили мы в совещательной комнате, и нередко бывало, что тот или иной из нас оставался при особом мнении, которое мы затем и прилагали аккуратно к делу. Чаще всего расходились не во взглядах, но в вопросах чисто юридических, я и уездный член окружного суда А.И. Кучинский. Наши личные отношения с ним были все время прекрасны, и я не помню какого-либо с ним столкновения, но споры с ним по юридическим вопросам были у нас очень часто.

До Кучинского и меня у Старорусского съезда была неважная репутация, причем на почве исключительно личных отношений. Кроме Тетерюковского в этом был повинен уездный член окружного суда Гаршин, брат писателя. У меня составилось по рассказам о нем впечатление, что он был не вполне нормален или, в лучшем случае, обладал очень тяжелым характером. На своих сослуживцев он писал доносы, что стало вскоре известно, и тогда, когда он пришел в Съезд, ему никто руки не подал. Он подал рапорт о болезни и прошение о переводе в другой уезд, на что получил ответ, что пусть сперва он проведет хоть одно заседание съезда. Примириться с этим он не мог, и застрелился. Преемника ему довольно долго не назначали и, наконец, прислали его из Киева – Кучинского. Своей порядочностью и ровным характером он быстро заставил забыть Гаршина, и за все время прерывания в Старой Руссе никаких инцидентов с ним ни у кого не было. Был у него только один грешок: любил он выпить и особенно в картишки перекинуться, и случалось, что в заседание съезда он приходил почти прямо из клуба, зайдя только домой помыться. Никогда, впрочем, я не замечал, чтобы бессонные ночи отзывались на ясности его суждений. Уже пожилой вдовец, он женился позднее вторично – тоже на вдове-рушанке Вейс, и вместе они составили очень симпатичную, хотя и очень некрасивую пару.

Секретарем съезда я застал очень почтенного И.П. Скорина, типичного старого канцелярского чиновника, которому съезд был более всего обязан тем, что дела шли в нем без завалей и без канцелярских упущений. Никакого образовательного ценза у него не было, но простой грамотности, трудолюбия и особенно большого здравого смысла было достаточно, чтобы сделать его

идеальным помощником председателя съезда. За 30 лет службы в съездах – мировом и уездном – он узнал весь уезд, и мог дать справку о любом его обывателе, но, будучи очень скромным и тактичным, никогда со своими указаниями не навязывался.

Заместителем уездного члена окружного суда являлся городской судья. Застал я в этой должности уже порядочно спившегося Соловьева, скоро ушедшего в присяжные поверенные, и его заменил забавный полячек Савицкий. Во всякой нации есть свои смешные стороны, и Савицкий как раз и олицетворял то, что вызывает насмешки в поляках. Он очень любил говорить о своих важных знакомствах и особенно боялся уронить свое достоинство. В частности, он всегда старался показать, что его должность выше земского начальника и посему непременно садился в заседаниях съезда рядом со мной и подписывался выше земских начальников. Впрочем, юрист он был недурной и человек порядочный.

Характерным явлением в съезде были лжесвидетели. Одно время они выходили с категорическими заявлениями, что такого-то числа (иногда год тому назад) при них произошло то-то и то-то; после того, однако, что они несколько раз попались на мой вопрос, какое сегодня число (на что мне обычно отвечали: «Откуда ж мне это знать»), показания их стали менее определенными и вообще более осторожными. Насколько вообще приходилось быть осторожным в судебных делах, приведу один пример. Как-то в Рамушеве ко мне пришел старичок за советом: его сын вырвал ему клоч бороды, который он и вытащил из кармана, аккуратно завернутый в бумагу. Я его направил к Судебному Следователю, которому надлежало производить следствие по подобным делам, но когда через несколько дней ко мне пришел этот самый сын за другим советом, и я стал его стыдить за обращение с отцом, то получил ответ: «Да помилуйте, ваше сиятельство, ведь он за этот клоч уже получил четвертной билет с моего брата».

В Старорусском уезде было 7 земских участков, которые за все время моего знакомства с уездом были заняты почти без исключения бывшими офицерами. Должен признать, впрочем, что они не были в общем хуже, чем их коллеги-юристы, – быть может, правда, оттого, что из последних в земские начальники шли обычно самые неудачные. Среди всех этих многих лиц были люди разного калибра, но ни про одного из них я не знаю ничего определенно худого, хотя о многих из них не могу ничего сказать хорошего. Таков был, например, уже позднее присланный в наш уезд Стромилов, с первых дней заставивший вспомнить гоголевского Ноз-

древа; таков был и старик Сурин, отставной подполковник, уже утомленный жизнью и сводивший свои функции к минимуму, чем пользовались старшины и писаря, чтобы за его спиной злоупотреблять. Наконец, таковы были два брата Максютенко, сыновья бывшего председателя мирового съезда, почтенного Ивана Михайловича, – люди хорошие, но очень бесцветные. Более яркие были из них только трое: фон-дер-Вейде, Сесицкий и Меркулов. Вейде, бывший моряк и сын владелицы Рамушева, тактичный и скромный человек, был, быть может, лучшим из земских начальников уезда, ибо у него было понимание крестьянина и его нужд и инстинктивное понимание, что высшее право может стать высшей несправедливостью.

Когда Вейде ушел из уезда, будучи назначен командиром Рижского торгового порта, я о нем искренно пожалел. Меркулов, бывший артиллерист, формально был прекрасным земским начальником и навел в своем участке весь порядок, который было возможно. Строго следил он за исправным состоянием дорог, за применением противопожарных постановлений губернского земства и т.п., но, будучи крайне требовательным к себе самому, он был беспощаден и к другим, и не считался с личными условиями крестьян. Мне приходила не раз мысль, что он был бы идеальным офицером во времена военных поселений, но, понятно, что именно поэтому крестьяне его ненавидели, хотя и признавали и разумность его требований, и его справедливость. Когда он был назначен непременным членом Губернского Воинского Присутствия, они свободно вздохнули.

Недолго пробыл у нас земским начальником младшей брат Меркулова, молодой лицеист, вскоре ушедший в судебное ведомство. Он был довольно точной копией брата, но особенных воспоминаний не оставил, если не считать казуса, по-видимому, ускорившего его уход. Прискакав на пожар в одной из соседних со станцией Волот деревень, он стал распоряжаться и, между прочим, гнать свободных людей на крыши поливать их; одного из них, отказавшегося сперва лезть, он хватил нагайкой, после чего тот полез. После этого Меркулов приехал ко мне за советом по этому вопросу, и я предупредил его, что если на него поступит жалоба, дисциплинарного производства ему не избежать. На его счастье, жалобы не поступило, ибо побитый оказался вновь посвященным дьяконом, боявшимся со своей стороны ответственности за то, что был в штатском платье.

Наиболее характерным из земских начальников был Ю.Б. Сесицкий, сын бывшего Старорусского исправника и бывший офи-

цер Вильманstrandского полка. Большой, грузный мужчина, он очень сильно косил на оба глаза, и на этой почве происходили постоянно казусы при разборе им дел. Те, к кому он обращался, этого не понимали, оборачивались и искали, кому он говорит. Сесицкий сердился, и свидетелям этих сцен оставалось только улыбаться. Сесицкий был человек исполнительный и толковый, но крайне горячий спорщик, и в совещательной комнате съезда упорно отстаивал свои мнения. К нему в Старой Руссе установилась несколько юмористическое отношение, но, в конце концов, оно не помешало ему быть назначенным неперменным членом Губернского Присутствия.

Уже в зиму 1897-1898 гг. стали у меня на квартире собираться земские начальники по вечерам в дни Съезда для обсуждения общих вопросов и установления единообразия в работе. Прения у нас подчас бывали очень оживленные, хотя сами по себе обсуждавшиеся вопросы крупного значения не имели. Думаю, однако, что эти собрания имели и известное моральное значение, заставляя подтягиваться небрежных. В частности, старик Сурин ушел в отставку до известной степени под влиянием моей детальной оценки его деятельности, или вернее бездеятельности.

Закон предоставлял предводителю право ревизовать земских начальников и волостные правления, но, кроме меня, за четверть века существования земских начальников, кажется, ни один предводитель этим правом не воспользовался. Ревизия земских начальников, кроме указаний на устарелость Сурина, мне мало что дала, зато ознакомление с работой волостных правлений было очень интересно. И до, и после революции было принято беспощадно критиковать ее, и во многом эта критика была справедлива. Надо сказать, однако, что обязанности, возложенные на волостные правления, были столь разнообразны и сложны, что следовало бы наоборот удивляться, как они с ними справлялись. В сущности весь государственный строй царской России держался на волостных правлениях; все решения Петербурга в конечной стадии приводились в исполнение волостными правлениями, которые, с другой стороны, доставляли большую долю того материала, на основании которого эти решения принимались. Смеялись, что вся русская статистика основана на данных, доставляемых волостными правлениями, а в виде иллюстрации того, какова она, рассказывали анекдот, что как-то в Пензенской губернии в числе прочих убитых диких зверей оказались два тигра. Выяснилось, что новый волостной писарь думал, по своей неопытности, что надо обязательно заполнять все графы в ведомостях, и таким об-

разом привел в недоумение своими тиграми петербургских статистиков.

Волостные правления держались, главным образом, на их писарях. Вознаграждение их в то время колебалось обычно от 20 до 30 рублей в месяц, но, несомненно, увеличивалось частными заработками, вроде писания прошений. Нельзя отрицать их злоупотреблений, но обычно они имели характер «на-чаёв» за исполнение того, что они и без того должны были сделать. Главным образом связаны они были с работой волостных судов, на решения которых волостной писарь, в качестве их делопроизводителя, обычно более культурного, чем судьи, имел большое влияние. Надо отметить, однако, что среди волостных писарей были и люди, про которых я никогда ничего, кроме хорошего, не слышал. Упомяну, например, про Жгловского волостного писаря Бойцова, скромного, незаметного человека, пользовавшегося, по-видимому, общим доверием.

С волостными старшинами дело обстояло хуже. Их можно было разделить на две группы: большинство было из той же категории крестьян, которую сейчас называют «кулаками» – лавочников, стойщиков и т.п., и меньшинство из рядовых крестьян. Были, несомненно, в первой категории вполне добросовестные люди, но многие из них не отделяли своей частной деятельности от общественной. С самого начала мне пришлось выдержать борьбу с Суриным за удаление Воскресенского волостного старшины, стойщика Гоноболина, про которого я не слышал ни одного хорошего отзыва. Позднее до меня стали доходить нехорошие сведения о нашем Черенчицком старшине Сорокине, Рамушевском лавочнике; жаловались, что он задерживает приходящие через волостное правление денежные переводы в уплату за долги по лавке. Как-то он не постеснялся, и чтобы моей жене сдать сдачу, вскрыл при ней чужое денежное письмо, о чем я и сообщил фон-дер-Вейде. Была произведена ревизия, и Сорокин был удален.

Из рядовых крестьян вырабатывались подчас очень хорошие и добросовестные старшины, но несколько раз видел я, как они спивались на этой должности. Куда бы они ни приезжали по делу в волости, их угощали, и эти угощения через несколько лет развивали привычку пить. В результате, мало кто из них оставался старшиной более двух трехлетий, и некоторые из них после этого совершенно опускались. Надо отметить, что подчас земские начальники оказывали давление на выборы старшин, не утверждая избранных сходом кандидатов и принуждая его, таким образом, к избранию, в конце концов, своего ставленника, не всегда удачного.

После первой моей ревизии волостных правлений я написал доклад о ней и о земских начальниках в Губернское Присутствие и к нему приложил и выборку некоторых данных о постановлениях наших частных совещаний. Губернское Присутствие широко использовало их для своего, кажется, наказа земским начальникам. Позднее их использовали по инициативе Васильчикова и в Псковской губернии, а отражение их я нашел и в «Наказе» земским начальникам, выработанном через 15 лет после их введения Министерством внутренних дел. Мой доклад вызвал большое недовольство мною со стороны Сурина, но, кажется, и он сам, в конце концов, признал, что я был прав.

Во время объездов школ и ревизии волостных правлений я хорошо ознакомился с нашим, в общем, очень скучным, уездом. Интересного в нем, в сущности, было очень мало. Кроме самого города, старины в нем не было; только на Ловати, повыше Черенчиц, видел я один курган. Не было в нем и природных красот, кроме нескольких живописных мест на Ловати и Поле; наконец, и современных интересных построек тоже не было. Из заводов в уезде тоже не было ничего, кроме двух лесопилок и небольшого пивоваренного завода. Уже ближе к войне ревельская фирма Лютера купила расположенное около станции Парфино имение Хмелево и устроило в нем фанерочную фабрику. Раньше это имение принадлежало известному немецкому промышленнику Сименсу, проводившему тогда в России телеграфные линии и устроившему в Хмелеве завод для выделки телеграфных фаянсовых колпачков. Позднее Хмелево принадлежало одной из дочерей Сименса, баронессе Гревениц.

Сельское хозяйство уезда тоже не процветало; земли наши бедные, и родили только при хорошем удобрении, которого, однако, не хватало. Из восточной части уезда в Петербург сплавлялось на баржах сено, западная же культивировала лен, скупавшийся в Руссе, главным образом, Ванюковым за счет рижских экспортеров, и овес, небольшие избытки которого шли в Петербург. Западная часть уезда была гораздо беднее восточной, и из нее значительно больший процент населения уходил в столицу на заработки. Несколько деревень жили нищенством, причем у них было налажено снабжение уходящих побираться различными ответственными свидетельствами, главным образом, о пожарах.

По Ловати и Поле весной сплавлялся лес, бревна россыпью, до устраивавшихся в низовьях этих рек запаней, где эти бревна сплавивались в плоты и спускались до Петербурга. Дрова шли на барках. Лес сплавлялся в полую воду, и его разносило часто

довольно далеко; поэтому, когда реки входили в берега, по ним проходили партии рабочих и сталкивали в воду оставшиеся на берегах бревна. Таких партий «хвостов» было обычно три, и последний проходил уже в июне. Работа в лесу по вырубке, вывозу и сплаву леса была значительным заработком для населения, но обходилась ему во много болезней и немало смертей. Не раз любовался я ловкостью сплавщиков, прямо перебежавших через широкую весной Ловать, перепрыгивая с бревна на бревно, но нередко бывало, что они при этом и тонули.

Оплачивался этот труд очень не высоко; отмечу, что еще зимой лесопромышленники сталкивались, как они будут в этом году принимать дрова, по сколько четвертей с сажени; рассказывали крестьяне, что, бывало, что принимали ее в 15-16 четвертей (вместо 12), что считалось прижимкой, нормальная же сажень мерилась в 13 четвертей – одна шла на дефекты в кладке и на снег и лед, которыми обмерзали дрова.

В работе Съезда мне пришлось ближе познакомиться с тогдашними условиями крестьянской жизни северной России, причем в нашем уезде отношения к помещикам роли в ней не играли. Еще при крепостном праве в немногих не скупленных под военные поселения имениях крестьяне были большею частью на оброке, а в мое время, кроме Васильчикова, ни у кого из помещиков сколько-нибудь значительного своего хозяйства не было. Таким образом, за все время я не помню ни одного помещичьего дела в Съезде, да и вообще 99 процентов всех дел поступали в него из волостных судов. На волостные суды было вообще много нареканий и, конечно, в значительной степени заслуженных, но наряду с этим в решениях их встречалось много здравого смысла. Им предоставлялось вместо законов применять местные обычаи, которых в нашем уезде я не обнаружил, как вероятно в области права не существовало их и в большей части России, но вместо них они решали просто «по справедливости», и решениям их обычно нельзя было отказать в разумности. Не раз приходилось слышать, что судей стороны угощали, а иногда и просто давали им взятки, но ни одного определенного такого случая мне не пришлось установить, и я думаю, что в этих разговорах было немало преувеличений. Повторяю, однако, что громадную роль в волостных судах играли волостные писаря, как наиболее грамотный в них элемент, как я уже писал выше.

Споры по земельным делам вызывали процессы, тянувшиеся подчас годами. Приходилось из-за какой-нибудь полосы усадебной земли в четверть аршина назначать часто осмотры на месте

не только волостным судом, но затем и земским начальником, и после окончательного решения дела, вновь возвращаться к нему по новой жалобе, ибо были сутяги, которые ничем не удовлетворялись. Попадались и курьезные дела, эти больше уголовного характера: то мошенничество, где обвиняемый расплатился повесткой о взыскании с него трех рублей, то о применении правила о ненаказуемости взаимных обид к парню, который побил девушку, ибо она заявила, что забеременела от него. Было как-то дело о возврате невесте подарков, сделанных ею жениху, когда он отказался от венца, ибо, как он объяснял, он имел полное право задержать эти подарки: «Ведь с такой её мордой разве даром с ней гулять можно?».

В Уездном Съезде при рассмотрении административных дел сидел также исправник; говорю «сидел», а не «участвовал», ибо не помню, чтобы кто-либо из трех исправников, с которыми мне пришлось иметь дело, высказал когда-либо какое-нибудь свое мнение. С исправниками я подхожу, быть может, к наиболее большому вопросу старого режима – о полиции. В нем нужно, однако, отличать факты от легенды. Несомненно, полиция брала взятки и, несомненно, в ее деятельности было немало произвола и еще более глупости, но в рассказах о ней было очень много преувеличений. Полиция вне немногих наиболее крупных городов была крайне немногочисленна. В Старорусском уезде, с его населением в 200.000 было 30 городских в самом городе, с его 17.000 населения, двумя вокзалами, полком и минеральными водами; в уезде же до 1905 г. было всего 4 станowych пристава и 15 урядников. Только после революционного движения 1905 г. к ним было прибавлено около сотни стражников, но от этой грубой физической силы пользы ни в каком отношении не было.

Также малочисленны были и жандармы – на всю громадную Новгородскую губернию было всего три политических жандармских офицера и около десятка унтер-офицеров. В деревнях была еще своя сельская полиция – сотские и десятские, но, в сущности, только в то патриархальное время можно было называть их полицией. Часто приходилось видеть исполняющими функцию этих представителей власти их жен, которые только прикрепляли на груди небольшой медный значок с названием должности. Не раз приходилось мне встречать на дороге баб, ведущих в Старую Руссу двух-трех арестантов, иногда обвиняемых в тяжелых преступлениях, которые, однако, не делали никаких попыток сбежать – в сущности безопасных, ибо никакого оружия у этих «полицейских» не было.

Не говоря уж об этой выборной полиции, вообще не оплачивающейся, хуже было, однако, что все оклады чинов полиции были более чем скромными, и иногда прямо толкали на взятки. Урядник получал 30 рублей в месяц, и на эти деньги должен был не только быть обмундированным, но еще содержать верховую лошадь. До введения казенной винной монополии, а отчасти и при ней, их главным доходом была беспатентная торговля водкой. Следили они за нею довольно строго и составляли немало о ней протоколов, но часто дальше установленной обычаем мзды (нормально – не выше 5-ти рублей) они не шли.

Становой пристав получал 600 рублей в год и находился в самом скверном положении, ибо ему обычно не за что было брать. Разговоры о взяточничестве полиции или о «принятии ею добровольных приношений от благодарного населения» шли, однако, по поводу, преимущественно, исправников и участковых приставов. Если человек не вымогал и брал, что называется, «по чину», то все были довольны, и жалоб ни с чьей стороны не было. Наоборот, к этим полицейским относились подчас без всякой враждебности, ибо иначе они и не могли поступать при окладах и штатах их управлений, установленных еще при Николае I. Впрочем, такое отношение бывало лишь в маленьких городах. В больших же, где полиция стояла гораздо дальше от населения, к ней относились или враждебно, или, еще чаще, презрительно.

О денежных условиях службы полиции в Москве мне пришлось, например, слышать два рассказа, в искренности коих не имею оснований сомневаться. В 1890 г. дядя моей будущей жены А.М. Охотников, о котором мне придется еще говорить дальше, будучи мировым судьей, отказался пойти в земские начальники, находя эту должность слишком зависимой от губернатора, и приехал в Москву к великому князю Сергею Александровичу просить о какой-нибудь другой должности. И сам великий князь, и ряд его окружающих были товарищи Охотникова по Преображенскому полку, и они убедили его пойти в участковые приставы, ибо, как они говорили, в полиции надо искоренить взяточничество, и в ней нужны честные люди. Уже с первых дней А.М. Охотников убедился, что на отпускаемые ему средства содержать канцелярию участка невозможно, но его успокоили, что великий князь надеется скоро получить на это дополнительные кредиты. Через 6 месяцев они отпущены, однако, не были, и Охотников из приставов ушел, приплатив за это короткое время на содержание участка своих 8000 рублей.

Несомненно, будучи богатым человеком, он являлся исключением в полиции. Громадное же большинство ее чинов, люди немущие, чтобы покрывать эти расходы, должны были брать, и об этих взятках мне пришлось слышать от бывшего Старорусского исправника Мосолова, переведенного в Москву приставом около 1900 года и быстро сведенного в могилу тамошней интенсивной работой. Он был позднее в Старой Руссе в отпуску, и из рассказов его выяснилось, что с 1890 года положение не изменилось и что потому было неизбежно брать. Помню, что он говорил, что в его окраинном участке было много извозчичьих дворов, и с каждой извозчичьей «жестянки» он брал по рублю, что и составляло ему в год 3000 рублей. Конечно, часть этих сумм увеличивала скромные оклады и его, и его помощников, но сколько это им составляло, я, конечно, никогда не слышал.

В Петербурге, где у моего отца были дома, в участок посылались «праздничные» на Рождество и на Пасху – просто потому, что так полагалось, хотя никаких требований о них не было. Это была, конечно, своего рода страховка на всякий случай от неприятных придилок, главным образом на случай упущений по «прописке» чьих-либо паспортов, что – при почти 250 квартирах в домах отца – со стороны старших дворников было всегда возможно.

В уездах я никогда не слышал, чтобы такие систематические взносы кем-либо делались, хотя и допускаю вполне, что фабриканты их делали. Надо, впрочем, отметить, что в прежние времена очень развита была практика, что фабриканты, а иногда и помещики, оплачивали за свой счет дополнительных полицейских, которые их охраняли. Естественно, что для этой своего рода частной полиции интересы ее нанимателей были им более близки, чем общегосударственные соображения. Между прочим, известный юрист Носович, тогда обер-прокурор Сената, принимавший участие в сенаторской ревизии по случаю известного расстрела рабочих на Ленских приисках, объяснил его отчасти тем, что не только полицейские, но и вообще все местные представители власти оплачивались из кассы компании.

Был, несомненно, и произвол в действиях полиции, но опять же в гораздо меньших размерах, чем про это обычно говорилось. Большею частью это была просто грубость и проявление невежества низших ее чинов, то, что называлось «административным восторгом», но в этом именно полиция была повинна менее, быть может, чем многие другие должностные лица. На ней лежало поддержание внешнего порядка, и это выполнялось ею часто грубо,

но надо также считаться с тем, что набиралась она ведь из слоев очень в то время мало культурных.

Когда говорилось про подавление полицией беспорядков, про порку и стрельбу, то забывали, что нормально в этих случаях она была менее всех ответственна; пороть приказывал обычно губернатор или вице-губернатор, а стрельба зависела от военных властей. Ведь полицейские набирались из тех же крестьян, и классовой враждебности ни к ним, ни к рабочим у них не было, но служба была их куском хлеба, и они и выполняли свои обязанности так, как это тогда полагалось.

В Старой Руссе при мне сменились три исправника. Застал я там Н.Х. Мосолова, цыгана по типу, – сына известного Казанского полицмейстера, точного исполнителя приказаний губернатора Скарятина, отданного, в конце концов, Сенатом под суд за то, что на пожаре он приказал выпороть кого-то, кого не полагалось. По высочайшему повелению дело это было, впрочем, прекращено, но и Скарятину и, кажется, Мосолову пришлось со службы уйти. Наш Мосолов был отцом большой семьи, содержать которую было ему нелегко, и он стремился перейти в одну из столиц, что ему, как я уже говорил, и удалось. Был он несколько театрален, но его скорее любили, ибо вреда он никому не делал. Заменял его тихенький старичок Плеснев, на поколение запоздавший смертью, очень почтительный и никогда не подымавший голоса; скоро он умер и в исправники попал тогда давнишний помощник исправника И.С. Грузинов, который и пробыл в этой должности до революции. Был он без всякого образования, и службу начал урядником, но благодаря природному уму и такту, дошел до исправника. Несмотря на свой совершенно «стриюцкий» вид и на то, что внешнего авторитета у него как будто не было, он был в Старой Руссе популярен. Насколько я замечал, он был всегда хорошо осведомлен обо всем, что происходило в уезде, но никогда не раздувал зря того, что можно было якобы проглядеть, не отвечая самому за это.

Его заменил в должности помощника исправника наш становой пристав В.Н. Владыкин, большой мужчина в очках, хороший, но очень наивный человек. Пройдя младшие классы гимназии, он по бедности должен был ее бросить, работал писцом в полиции и, понемногу продвигаясь, дошел до исправника в Устюжне. Он был фанатик эсперанто, и даже меня как-то пытался привлечь в адепты этого языка. В первые дни революции он глупо погиб: ничего про нее не зная, он вернулся из уезда с какой-то комиссии на одну из железнодорожных станций, где уже образовалась не-

большая революционная группа; когда Владыкин и его спутники вошли на станцию, их встретили возгласом: «Руки вверх!». Не обратив на это внимания, он сунул руку в карман за платком, чтобы протереть очки, без которых ничего не видел, но это приняли за попытку вытащить револьвер, и он был убит наповал.

Я пропустил упомянуть раньше про двух моих непосредственных помощников – заседателей дворянской опеки. Дела у них не было никакого, и все их функции сводились к получению жалований из дворянских сборов по 350 рублей в год, причем, когда я вступил в должность, они не получили еще за два года. Обычно избирали на эти должности каких-нибудь старичков для увеличения их ничтожной пенсии; при мне это были два отставных полковника: Долгоруков и Шемякин. Долгоруков, бывший ротный командир Аракчеевского кадетского корпуса, был деликатный человек, которого все уважали.

Отношение к Шемякину было иным: не назову его прямо жуликом, но, несомненно, он был очень характерным представителем предшествующего мне поколения. Ко мне он относился исключительно хорошо, и до известной степени играл при мне роль Тетерюковского при Васильчикове, хотя боевого характера того у него не было.

На Шемякине я останавлиюсь более подробно, ибо на нем я начал знакомиться с нравами, уже отходившими в прошлое. Произведенный в офицеры вскоре после Севастопольской кампании, он рассказывал мне, как сам научился на горьком опыте, как надо быть осторожным. Как-то, например, будучи назначен отводить команду, он принял для ее продовольствия мешки с сухарями, которые на первом же ночлеге оказались битым кирпичом. Под хохот крестьян: «Ай да офицер, солдат кирпичом кормит!», ему пришлось закупить хлеб за свой личный счет. Зато позднее, когда он был уже подполковником, он сам нагрел интендантство. Его полк (в 25-й дивизии) принял его товарищ по корпусу Чайковский, позднее командир корпуса. «Ну, знаете, он был офицер Генерального штаба, хозяйства не знал, и принял всякое гнилье; особенно плохи были сапоги. Вот он и говорит мне, что хоть пулю в лоб ему пускать, а я ему отвечаю: зачем, назначь меня заведующим хозяйством, и я тебе все устрою. Назначил он меня, я и требую сапоги из интендантства. Присылают они прекрасные сапоги, а я приказываю их развязать, оставить только снаружи пары интендантские, а внутри заменить моим гнильем. Затем пишу в интендантство и с негодованием протестую, что они мне такую дрянь прислали. Приехал их чиновник, посмотрел, покачал головой, за-

брал сапоги и даже извинился; в два раза я так всю мою гниль и сдал, и говорю Чайковскому, что все у нас в порядке. Спрашивает он меня, как я это сделал. Ну, конечно, объяснил я ему все, посмотрел он на меня и говорит: “Ну и жулик же ты”. Только после этого сдавать свое обмундирование ко мне приезжали целые интендантские комиссии».

Шемякин был вдовец с одним сыном Андрюшей, парнем лет 17, которого он возил ко всем знакомым, которые должны были этого балбеса просить спеть что-нибудь. Как-то у Васильчикова тот и стал при большом обществе, которое с трудом воздерживалось от смеха, тянуть «до, ре, ми, фа...».

Уже после 1897 года Шемякин женился на вдове дьякона, соборной просвиrne. Рассчитывал он, что она удешевит его хозяйство, но ошибся, и скоро стал жаловаться, что, наоборот, она утаивает у него по копейке на фунт сахара, мяса и т.п. Отношения их быстро столь обострились, что скоро они оба обратились ко мне с просьбой оформить свой разъезд. Очень быстро сошлись они на том, что он будет платить ей по пяти рублей в месяц, но труднее было убедить его принять ее требование добавить по пятерке на Рождество и Пасху. Сидели они в это время в разных комнатах квартиры и я переходил из одной в другую, пока они не одобрили составленного мною текста. Подписывая эти взаимные обязательства, они еще предупредили меня оба, чтобы я не отдавал их расписок другому, пока и тот своей не подпишет. Вскоре после этого Шемякин уехал в Святую Землю и по возвращении, перед Пасхой, прислал мне письмо, что в Старой Руссе его ожидала большая радость – за три дня до этого похоронили его жену. Шемякина вообще не любили и не раз забаллотировали, чем он особенно не возмущался, и только раз с негодованием рассказал мне, что, забаллотировав его единогласно, все его баллотировавшие потом его убеждали, что именно они ему положили единственный избирательный шар, которого в действительности не было.

В конце сентября всегда собиралось Уездное Земское Собрание, в Старой Руссе проходившее в 3-4 дня. Земство, как я уже говорил, было в то время сословным, и гласные распределены были между тремя группами – от дворян, от не дворян и от крестьянских обществ, причем решающая роль принадлежала дворянам. Обычно число гласных было около 35-50, но в Старорусском уезде их было всего 15, ибо землевладельцев с полным цензом, которые непосредственно участвовали в выборах, здесь было очень мало. Кандидаты в гласные от крестьян избирались на волостных сходах, по одному от каждого, но из 26-ти их губернатор выбирал 6

в гласные, а остальные числились затем кандидатами. Выбор из них гласных производился обычно по рекомендации земских начальников.

Состав гласных Старорусского земства был очень серый. Кроме Васильчикова и старика Максютенко, отмечу только очень милого полковника Шабельского, человека богатого и независимого, числившегося всю свою жизнь на разных адъютантских должностях – в сущности, только для того, чтобы иметь право носить мундир. Жена его, рожденная Симанская, тоже очень милая женщина, была дочь и сестра Старорусских предводителей. У них было имение на реке Поле, против Борков, единственная в уезде, кроме Выбити и Рамушева, помещичья усадьба старого времени. Из других гласных отмечу еще судебного пристава Вейса, главной достопримечательностью коего было то, что он всюду молчал. Он напоминает мне рассказ про его отца – мирового посредника и взяточника. Одновременно с ним был мировым посредником отставной генерал Маевский, человек независимый и честный, который подучил кого-то из крестьян снести Вейсу взятку в виде головы сахара. В тот же день у Вейса играли в карты, и при всех гостях Маевский снял колпак с этой сахарной головы, на которой он заранее написал: «Вейс – вор». Не знаю только, был ли после этого Вейс удален от должности.

Совершенно бесцветны были гласные не дворяне, кроме появившегося ненадолго молодого доктора Боговского, милого и способного. Его интересы были, однако, связаны с Сольцами, где у его семьи было крупное льняное дело, и он вскоре совсем забросил Руссу. И.С. Мельников, которого я застал городским головой и участником по должности Земского Собрания, держался с большим внешним достоинством, но ни в городе, ни в земстве ничем себя не проявил.

Заменял его гораздо более энергичный Ванюков, остававшийся городским головой до самой революции. Человек без образования, но умный, он обладал большим даром интриг, и в избирательных операциях того времени разбирался посему прекрасно. Надо признать, впрочем, что Старая Русса обязана ему многим: при нем был основательно перемощен ряд улиц, проведена вода из Дубовиц, соседней деревни (раньше ее возили оттуда водовозы и продавали ведрами), проведено также электричество и, наконец, устроен телефон. В 1900 г. в Руссе была только женская прогимназия, при Ванюкове преобразованная в гимназию, и при нем было открыто Реальное училище. Однако у него всегда была в характере властность, с годами только увеличивавшаяся и создав-

шая ему немало врагов. В результате в первые же дни революции, в феврале 1917 г., его дом был сожжен, и я его потерял из вида.

Кроме гласных, с 1890 года в Земском Собрании участвовали, сверх городского головы, еще представители казны и духовенства, а также уделов, если у них были земли в уезде. Таким образом, в нашем Земском Собрании участвовало до 20 человек, из коих мало кто говорил. К очередному годичному собранию Земская Управа представляла доклады о своей деятельности и о своих предположениях на будущий год, но и в ревизионной, и в «докладной» участвовали все те же лица, и заключения их собрания давать приходилось обычно мне.

Председателем земской управы я застал Владислава Владиславовича Карцова, бессменно занимавшего этот пост с 1890 года до революции. По окончании в Петербурге коммерческого училища, он почти совершенно спился, и одно время даже служил в уезде урядником. Потом он попал письмоводителем к мировому судье Чирикову, и когда последний был выбран председателем земской управы, то обусловил свое согласие принять эту должность избранием Карцева членом ее. В это время он уже совершенно не пил, и работником оказался хорошим и честным. Если прибавить к этому, что у него был и природный ум, то понятно, что когда Чириков вскоре умер, то он его заменил. Отмечу только, что свою личную инициативу он проявил лишь в деле постройки в уезде участков шоссе. Ни в школьное, ни в лечебное дело он ничего не внес. В оправдание его скажу, впрочем, что в старом земстве управе приходилось очень считаться с повышением земского обложения, к которому особенно враждебно относились гласные-землевладельцы. Если председатель земской управы пользовался авторитетом, ему удавалось проводить увеличенные сметы, но Карцову долгие годы припоминали его прошлое урядника, и ему приходилось быть осторожным. Поэтому школьное дело было у нас в уезде в порядочном загоне, и ассигновки на народное здравие, хотя и увеличивались, но очень медленно.

Членами земской управы я застал Е.Е. Ильина и М.Н. Стратилатова, покончивших позднее свою службу в земстве довольно печально – растратами, которые были, как и 3-я, произведенная по книжному складу бухгалтером управы, обнаружены при ревизии мною. Все они были сразу пополнены, и имели последствием лишь удаление виновных (по закону пополненная растрата более строгого наказания не влекла и по суду). Из этих двух членов управы остановлюсь только на Ильине. Потомок героя Чесменского сражения, Егор Егорович был милейший человек, очень не-

далекий, очень честный, и сам, кажется, был больше всех удивлен, когда просчитался, кажется, в 2000 рублях. Образования он был невысокого, и сам смеялся, что никто из Ильиных дальше 3-го класса не идет, поэтому, принимая щебенку для шоссе, он обычно не мог точно рассчитать, сколько за нее придется платить, и давал приблизительные за нее авансы, в которых, в конце концов, и запутался. Он продал свое имение и пополнил недостачу, тогда как две другие растраты были пополнены Карцовым.

Председательствовать в земском собрании мне было в первый раз страшновато: ни разу я в нем в качестве зрителя не присутствовал, и было мне всего 21 год, но справился я с этой обязанностью довольно сносно, и позднее, могу сказать не хвастаясь, был хорошим председателем и в гораздо более ответственных собраниях, чем Старорусское земство.

Вскоре после вступления в должность я отправился в Новгород познакомиться с губернскими властями. Губернатором был там в то время граф Оттон Людвигович Медем, типичный немец, говоривший по-русски с сильным немецким акцентом, но человек исключительной порядочности и духовной чистоты. Он должен был унаследовать, как старший, родовое имение Штокмансгоф, но отказался от него, чтобы жениться на Нарышкиной, русской и православной. Был он в Хвалынске предводителем дворянства и председателем земской управы, и в 1892 году, когда по Поволжью прошла волна холерных беспорядков, не побоялся спасти земских докторов от разъяренной толпы. Его моральный авторитет был тогда уже настолько высок, что вскоре он был назначен вице-губернатором в Воронеж. Всегда он был очень внимателен к простому народу, и рассказывают, что как-то, возвращаясь из служебной поездки, он подобрал в свой тарантас усталого путника, которого и спустил в Воронеже. Утверждали, что это был будто бы знаменитый в то время разбойник Черников, убивший более 30 человек, и которого караулили при въезде в Воронеж, но пропустили, не предполагая, что преступник может ехать с вице-губернатором.

Таких анекдотов про Медема рассказывали массу, и сам он с улыбкой говорил, что как-то в Устюженском уезде содержательница почтовой станции на его просьбу поторопить с лошадьми, ответила ему: «Сиди старичок, не губернатор будешь». Его проезда ждали, но никак не предполагали, что губернатор может появиться в образе скромного штатского. Надо сказать, что перед Медемом губернатором в Новгороде был Штюрмер, будущий председатель Совета Министров. Человек мало вообще симпа-

тичный, он раньше служил в церемониальной части Министерства Двора и, будучи губернатором, в этой должности проявлял свои воспоминания о церемониале, окружавшие царей, подчас, как говорят, в смешной форме. Впрочем, работник он был хороший и с этой точки зрения его иные хвалили. Из Новгорода его убрали из-за неладов с Васильчиковым, который позднее всегда отзывался о нем отрицательно. Впрочем, ни от Бориса Александровича, ни от других я никогда в Новгороде не слышал, чтобы Штюмер был взяточником, как это позднее мне утверждали некоторые члены Государственной Думы от Ярославской губернии, куда Штюмер был переведен от нас.

Графиня Александра Дмитриевна Медем была под пару мужу, такая же простая и хорошая женщина. Если не по внешности, то по духу, их можно было назвать настоящими толстовцами. Хорошими людьми были и их дети, которые в то время были еще подростками, причем все они были уже совершенно русскими.

Вице-губернатором был тогда А.А. Эйлер, потомок известного астронома. Должность вице-губернатора была всегда довольно бесцветна, и проявлять свою личность в ней не приходилось, дабы не вызвать столкновений со своим шефом и не испортить своей карьеры. Эйлер, бывший потом губернатором и сенатором, был человек умный и тактичный. К Медему он относился несколько иронически, но проявлял это очень осторожно.

Познакомился я тогда, главным образом, с двумя постоянными членами Губернского Присутствия: Кршвицким и Масловским, и с судебными деятелями – со всеми ими мне больше всего приходилось иметь служебные отношения. В Губернское Присутствие шли все жалобы на постановления Уездных Съездов, и мне не раз приходилось пререкаться по поводу его решений с его членами. Кршвицкий, умный и работающий человек, поставил в губернии очень хороший надзор за земскими начальниками, и позднее я имел случай убедиться, что в таких губерниях, как Тульская, Тамбовская и Псковская, ничего подобного ревизиям, которые Кршвицкий производил в уездах, не было. К сожалению, позднее, когда Кршвицкий по старости ушел в отставку, его преемники не имели его авторитета. Кршвицкий был старым и авторитетным земским деятелем, и к его выступлениям в губернском земском собрании всегда прислушивались. Говорил он неважно, запинаясь и постоянно вставляя слова: «Ну вот». Как-то я помню, как все Губернское Собрание покатилося с хохота, когда сосед Кршвицкого при его запинке сказал: «Ну вот», на что тот серьезно ответил: «Не подсказывайте».

Масловский был человек тоже добросовестный, но менее крупный, чем Кршвицкий, и ведал в Губернском Присутствии судебными делами. Являясь кассационной инстанцией, Губернское Присутствие не должно было касаться существа дел, но как я убедился, не только в нем, но и в Сенате, да и в кассационных инстанциях других стран, это правило часто нарушалось. В частности, при наличии чьего-либо особого мнения, решение Съезда без исключения отменялось: «Если вы сами не пришли к единогласию, то как хотите вы, чтобы мы не поручили другому Съезду проверить ваше постановление», – было мне как-то сказано.

Члены Новгородского Окружного Суда, и особенно товарищи прокурора постоянно принимали участие в деятельности Съезда, и мне многих из них пришлось позднее встречать на более высоких постах. Из председателей суда отмечу, впрочем, только Кемпе, добросовестного немца, но бюрократа и скорее ограниченного юриста, позднее выступавшего в ряде политических процессов. Чаще всего приходилось мне заседать с членом суда Дементьевым, маленьким рыжим человеком, довольно мрачным, большим приятелем Тиличеева.

Прокуроры были более интересными. Застал я в этой должности Д.Р. Вилькена, которого я помнил еще как постоянного посетителя правоведской церкви. Позднее я был одновременно с ним членом Главного Управления Российского Общества Красного Креста, где, как и в предшествующих его занятиях, его глубоко уважали, что, впрочем, не мешало тому, что относились к нему несколько иронически, ибо человек он был немудреный. Заменял его в Новгороде Трусевич, позднее бывший директором Департамента полиции. Ему предшествовала из Петербурга неважная репутация, ибо ему там другие товарищи прокурора не подавали руки: он был в числе «политических» товарищей прокурора и подал рапорт, что один из его коллег пропустил в тюрьму, проглядев спрятанную в переплете книги записку к какому-то политическому заключенному. Поэтому и в Новгороде отношение к Трусевичу тоже было осторожное. Заменял его С.В. Завадский, сын того, про которого я говорил выше, лично привлекательный и прекрасный юрист, бывший в эмиграции профессором Пражского университета. Много сменилось при мне товарищей прокурора в Новгороде: этот город, как и Псков, считался для них преддверием к переводу в Петербург; и многие из них потом быстро выдвинулись на государственной службе. Застал я в Новгороде в числе их Степанова, бывшего потом товарищем министра внутренних дел Урусова, о котором я уже упоминал, и Иславина и Вороновича,

бывших позднее губернаторами. Степанов оставил у меня воспоминание, главным образом, как о хорошем чиновнике, а к двум последним мне еще не раз придется вернуться.

Последним упомяну я князя П.П. Голицына, тогда Новгородского уездного предводителя дворянства, человека удивительно привлекательного и глубокой порядочности, который в Новгороде пользовался исключительной популярностью. Женат он был на А.Н. Мещерской, сестре княгини Васильчиковой, женщине очень скромной и достойной, которую все глубоко уважали. Голицыну принадлежало около станции Ушаки громадное имение Марьино, если не ошибаюсь в 14.000 десятин, которое, однако, только окупало расходы по своему содержанию. Других средств у Голицыных не было, и по мере того, как семья его увеличивалась, жить ему становилось все труднее. Поэтому, когда он был выбран губернским предводителем, что требовало значительных расходов, ему стали помогать богатые родственники. В день серебряной свадьбы Голицыных я был у них в Марьине, где из громадного дворца их оставалась только половина – другая сгорела за несколько лет до того, и у них не было средств восстановить его. Один из предков Павла Павловича был известным министром Александра I, и в Марьине показывали ряд вещей, связанных с памятью этого государя. В 1906 году Голицын был выбран от дворянства членом Государственного Совета, где тоже пользовался общей симпатией, но роли не играл. В 1912 году он начал худеть и хворать, оказался у него рак, и весной 1913 года он умер. Быть может, ему я обязан, более, чем кому-либо другому, примером и советом, а при первом моем избрании в члены Государственной Думы и помощью. Должен сказать, что, хотя он и не был светилом, но если бы в среде дореволюционного правящего класса было больше людей морально и по такту подходивших к Голицыну, многие ошибки могли бы быть предупреждены.

Вскоре после этой поездки в Новгород мне пришлось поехать туда вторично, уже по делам службы, в качестве сословного представителя на выездную сессию Судебной Палаты, по делу о растрате в Старорусском Городском банке. Проворовался в нем бухгалтер, принимавший по знакомству разные взносы, но не сдававший их в кассу, а правление, тоже сидевшее на скамье подсудимых, обвиняли в бездействии власти. Суду Судебной Палаты с сословными представителями (предводитель дворянства, городской голова и волостной старшина) подлежали тогда дела о государственных и служебных преступлениях. Первоначально они судились присяжными, но потом частые оправдания по этим

делам привели власть к мысли о передаче их в судилище особого состава. Слабость репрессии присяжными и вообще привела к мысли об установлении чего-то вроде немецкого суда шеффенов. Сторонником вообще замены присяжных шеффенами был тогдашний министр юстиции Муравьев, но это не встретило поддержки со стороны большинства судебных деятелей. Утверждение о чрезмерной снисходительности присяжных, впрочем, повидимому, не подтверждалось статистикой, и мои личные впечатления (позднее в качестве почетного мирового судьи мне не раз пришлось заседать в суде присяжных) были, что коренные судьи были гораздо более снисходительны, чем народные.

Заседать в Судебной Палате мне пришлось через несколько месяцев всего после того, что я ушел из кандидатов на судебные должности, и я был поражен, что кроме председателя ее – Геракова – все остальные члены Палаты оказались совершенно несведущими в уголовных вопросах: все они были цивилисты и оправдывали парадоксальное суждение о юристах Пахмана, выше мною приведенное. Когда я высказал мнение, что растрата бухгалтера имела не служебный, а частный характер, Гераков это принял, а остальные ни слова не сказали даже. И по остальным вопросам также все было решено Гераковым и мною.

По окончании сессии Палаты я поехал в Петербург пароходом до станции Волхов вместе с составом Палаты. Ехал с нами и один из защитников – Рейнбот, бывший раньше областным прокурором в Ташкенте, который рассказал нам разные курьезы из этой своей службы. Впервые услышал я тогда про жизнь там великого князя Николая Константиновича. В молодости офицер Конной Гвардии, он был обвинен в краже драгоценностей у своей матери, великой княгини Александры Иосифовны и выслан в Ташкент. Позднее мой тесть, бывший однополчанин великого князя, высказывал мне свое мнение о невинности Николая Константиновича, что вся эта якобы кража была подстроена, но на чем было основано его мнение и кто всю эту историю подстроил, я не знаю. В Ташкенте Николай Константинович женился на дочери исправника, сильно пил и часто устраивал скандалы. Про один из них нам и рассказал Рейнбот. Как-то утром к нему явился нарочный от генерал-губернатора барона Вревского с приказанием немедленно явиться. У Вревского он застал чиновника по фамилии, кажется, Иванов, которому сразу и было приказано рассказать прокурору, что делают его судейские. По рассказу Иванова, накануне ночью его разбудил стук в ворота. Оказалось, что стучат Николай Константинович и мировой судья Лохвицкий. Зная, что

от великого князя хорошего ждать нечего, Иванов выслал к ним сперва жену, которая их и угостила водкой с закуской. После нескольких рюмок рискнул выйти и сам Иванов, над которым гости и произвели по его терминологии «правоведские жесты», то есть попросту избили. Сразу же Рейнбот вызвал Лохвицкого и узнал от него, что накануне он обедал с великим князем и что, когда было достаточно выпито, тот предложил ему ехать бить военного губернатора генерала Гродекова. Сообразив, несмотря на хмель, какой это был бы скандал, Лохвицкий якобы ответил, что конечно Гродеков заслуживает, чтобы его побили, но что раньше лучше побить его чиновника особых поручений Иванова, тоже большую дрянь. Это и было выполнено. В результате Лохвицкий был уволен от службы, а великому князю не было ничего.

В октябре всегда производился набор новобранцев, в Старорусском уезде в те годы от 500 до 600 человек. Производился он в Старой Руссе и двух селах – Ефремове и Городце, где на предводителе лежала неписанная обязанность кормить Воинское Присутствие, что было далеко не просто, ибо все приходилось привозить с собой.

Уже перед набором пришлось мне познакомиться с тогдашним воинским начальником, одним из последних представителей старой России, и с его более чем своеобразной репутацией. Через год он ушел, и мне лично столкнуться с его злоупотреблениями не пришлось, ибо они происходили вне Воинского Присутствия, но упомянуть о них стоит. Главный его доход был от распределения новобранцев; в те годы большинство новобранцев шло в стоявший в Старой Руссе Вильманstrandский полк, и оставление в Старой Руссе оплачивалось или несколькими рублями, или, более часто – «гусем». Утверждали, что не раз неимущие жены новобранцев оплачивали оставление в Старой Руссе своих мужей собственным телом. Большой доход доставляли также учебные сборы запасных и ополченцев: их отпускали домой за несколько рублей, а кроме того ассигновки на продовольствие выписывались на полное число людей. Когда через год воинским начальником был назначен к нам почтенный Н.И. Филипповский, он не раз рассказывал весьма комично, как ему предлагали, по примеру его предшественника, различные взятки. Филипповский был первоначально студентом в Киеве, но был исключен за участие в каком-то украинском кружке, что не помешало ему быть затем офицером и позднее воспитателем и ротным командиром в кадетском корпусе.

Набор был пьяным временем и для призываемых, и для Присутствия, члены которого тоже выпивали изрядно. Большинство их, в сущности, только сидело в Присутствии без всякого дела. Жеребьевка в первый день и осмотр в следующие три лежали на мне и на врачах, а воинский начальник только делал отметки для дальнейшего распределения принятых. Все эти годы в Воинском Присутствии работал, главным образом, уездный врач В.П. Ельцов, очень порядочный человек и опытный медик. Обязанности уездного врача были, главным образом, полицейские, и Ельцову приходилось постоянно ездить со следователями и чинами полиции на вскрытия и осмотры. Эти разъезды были его главной доходной статьей, ибо жалование его было небольшое, и выручали его только разъездные, которые он получал на тройку, то есть по 9 копеек с версты, а ездя с лицами, пользовавшимися лошадьми бесплатно, ничего за них не платил. С Ельцовым я мог быть спокоен за Воинское Присутствие, но в первый год в Старой Руссе осматривал новобранцев еще старый «городовой» врач Грабовский, плохо видевший и слышавший, признавший как-то годным человека слепого на один глаз, что вызвало, конечно, большой скандал. Грабовский ограничивался обычно тем, что тыкал пальцем в пупок, чтобы увериться, что у призываемого нет грыжи, и при измерении объема груди почти всегда находил ту же величину. Надо, впрочем, сказать, что в случае разногласия о годности или негодности призываемого, он шел на переосвидетельствование в Губернское Присутствие.

Особенно тщательно воинский начальник осматривал новобранцев большого роста, как возможных кандидатов в гвардию: туда полагалось направлять только людей без всяких изъянов, что, однако, не предупреждало часто их заболевания; в частности, старые казармы и плохой петербургский климат были ответственны за высокий процент в гвардии туберкулезных.

Врачей в Старой Руссе было больше, чем обычно бывает в уездных городах, благодаря полку и минеральным водам. Мне привелось иметь дело больше, впрочем, с земскими врачами, среди которых доктор Эттер, старший врач Старорусской больницы, был врачом, несомненно, опытным и знающим. Земскую больницу я застал со всеми ее отделениями в одном здании, но года через два она сгорела, и тогда в ней был построен ряд барачков, хотя и деревянных, но гораздо более подходящих к требованиям современной медицины. Летом в этой больнице обычно работали бесплатно приезжие на минеральные воды врачи-специалисты, среди которых были опытные хирург, окулист и гинеколог. Со Ста-

рой Руссы началось мое знакомство на практике с медициной, ибо меня выбрали тогда попечителем Старорусской земской больницы. Ею особенно интересовался В.В. Карцов, и по нашему мнению она все время прогрессировала, но петербургские врачи находили ее (и, конечно, с основанием) весьма и весьма примитивной.

Находить врачей в уезд было не легко, ибо, если оклад содержания был и не хуже, чем в других местностях, культурного общества в нем почти не было, и вся обстановка была такая серенькая, что врачи старались перейти куда угодно, где она была бы более привлекательной. Однако я могу отметить в уезде двух врачей, которые быстро приобрели общее доверие и любовь – докторов Владимирского и особенно Троменицкого.

Недурным врачом был доктор Верман, эпидемический врач губернского земства, крупный, сильный мужчина. Летом у него была порядочная практика на минеральных водах. Впрочем, смеялись, что чтобы сделать впечатление, что она больше настоящей, он нанимал двух старушек сидеть в его приемной в приемные часы. Верман был вообще аферистом, и скоро купил несколько домов в Старой Руссе, а затем и имение в Новгородском уезде, где очевидно прижимал крестьян, ибо его усадьба была в числе первых трех, сожженных еще в Февральскую революцию.

Еще 30-го августа я был приглашен на полковой праздник в 86-й Вильманstrandский пехотный полк. Сравнительно недавно сформированный, он не имел боевого прошлого и представлял из себя типичный армейский полк, который, однако, и в Японскую, и в I-ю великую войну честно выполнил свой долг. В Японскую он отличился участием во взятии в битве на Шахе так называемой Новгородской сопки, а в великую – участвовал в целом ряде боев с громадными потерями. Командиром полка я застал георгиевского кавалера еще за штурм Закалат (кажется, в 1862 году) – полковника Вишнякова. Человек простой, он отличался исключительным умением пить: ему было достаточно после нескольких часов, проведенных за столом, закрыть глаза на пять минут, чтобы вновь быть способным пить без конца. С пьянством среди офицеров он, естественно, не боролся и командовал полком по старинке, едва ли имея понятие о технических усовершенствованиях, введенных со времен франко-прусской войны. Все это не мешало ему быть позднее московским комендантом и членом военного совета.

Заменил его гвардеец Курганович, сильно подтянувший полк во всех отношениях – и в строевом, и в хозяйственном. В общем, у меня осталось о Вильманstrandском полку очень хорошее впечат-

ление, но, конечно, за почти 20 лет, что я мог наблюдать его, в среде его офицеров попадались отрицательные типы, и большинство из них относились как раз к периоду Вишнякова. Поэтому Кургановичу и пришлось в ряде случаев быть очень крутым. Одна из его жертв даже покушалась на самоубийство, а несколько человек должны были уйти в запас. Кстати, отмечу здесь, что зачисление в запас таких лиц сказалось на армии впоследствии весьма отрицательно. Вся дрянь, которая обнаружилась в войсках и которая из них выбрасывалась, в Японскую войну была призвана в строй, и этим образом как бы реабилитировалась.

В числе удаленных Кургановичем был, например, один поручик, продававший в лавки муку полковой хлебопекарни. В японскую войну он был призван, легко ранен и после этого назначен делопроизводителем воинского начальника, где снова пользовался своим положением. Сам Курганович пошел на Японскую войну начальником дивизии, но славы не приобрел и, кажется, был отставлен от этой должности. Заменял его в полку полковник Сивицкий, когда-то при взрыве в Зимнем дворце бывший младшим офицером в караульной роте Финляндского полка и раненый тогда. Человек, в общем, бесцветный, он повел полк на Японскую войну, и был легко ранен на Шахе. Как военный, и он оставил в полку неблестящую память. Позднее, в Государственной Думе, мне пришлось иметь стычку с Коковцовым по поводу Отдельного Корпуса Пограничной Стражи, подчиненного Министерству финансов и охранявшего Китайско-Восточную железную дорогу. Командир его, генерал Мартынов, способный, но далеко не идеальный человек, был удален с этой должности, и передал тогда Гучкову ряд документов, компрометирующих его бывших сослуживцев, причем Сивицкий, бывший тогда помощником Мартынова и заведовавший хозяйственной частью корпуса, оказался в числе наиболее скомпрометированных.

Последним командиром, которого я знал в Старой Руссе, был Киселевский. Его я встретил в 1915 году на войне командиром одной из гренадерских дивизий: когда я его встретил там в первый раз, мне рассказали, что во время отхода из Польши ему пришлось самому дать артиллерии приказ уничтожить принадлежавшую ему усадьбу, в которой он вырос. Из всех командиров Вильманстрандского полка за это время это был самый симпатичный.

Полк придавал Старой Руссе большое оживление. Зимой его офицерское собрание было главным центром, где собиралась молодежь и где можно было скромно и прилично провести время. В царские дни много народа собиралось к собору, где происходил

парад. Посейчас у меня в памяти остался старый барабанщик, еврей (фамилии его я не помню) с характерной черной бородой с проседью, шедший перед полком с важностью, точно он им командует. Серьезный вид был также у капельмейстера чеха Козела, и не менее серьезный у проходивших перед командиром рот, старавшихся не потерять равнения. В среде офицеров помню поручика Узенького, поступившего в полк по призыву, бывшего в нем фельдфебелем и затем прошедшего юнкерское училище. Предельный возраст настиг его поручиком, и он несколько лет работал затем мельником. Когда полк пошел на Японскую войну, он просил об определении его вновь в строй, но я не уверен, что это было сделано. Привожу здесь имя одного Узенького, но знаю, что в каждом полку было много таких офицеров, и в Вильманстрандском полку я многих знал из них, которые смотрели на него, как на свою семью и которыми полк имел все основания гордиться. С другой стороны, не могу не отметить известного недоверия к офицерам – не русским; уже после Японской войны я слышал рассказ одного Рамушевского запасного, как под Мукденом его ротный командир поляк Володзько якобы хотел передаться японцам. Володзько вывел роту из почти полного окружения благополучно, но чуть не на сутки позже других, ибо приказ об отходе до него своевременно не дошел; однако, этого запоздания было достаточно, чтобы заподозрить с его стороны измену.

Периодически объезжал части военного округа его командующий, коим в те годы был великий князь Владимир Александрович. За годы моего предводительства он был раз и в Старой Руссе. Уже не молодой, но еще очень красивый человек, военным он был посредственным, хотя, казалось бы, быв командиром корпуса в Турецкую войну, он должен был бы иметь боевой опыт. Фактически за него распоряжались все время начальники штаба округа, долгие годы Бобриков, а затем Васмундт. Не знаю, был ли великий князь образованным и умным человеком, как уверяли иные, но в тот единственный раз, что я с ним завтракал в Вильманстрандском полку, он на меня произвел странное впечатление, особенно, когда просто окрикнул скромного графа Медема: «Губернатор, едем!» Вообще, великие князья его возраста еще сохранили отчасти манеры Николая I, да и Александра II, еще говоривших всем «ты» и смотревших на всех свысока. На их несчастье к этому времени отношение к ним стало иным, да и самое их поведение не внушало больше того трепета, как предшествующим поколениям.

Осенью 1897 года мне пришлось распутываться с делами по оценке земель, отчужденных под постройку Псково-Бологовской

железной дороги. В оценочной комиссии менялись, в зависимости от участка, земские начальники, и, так как их голос давал перевес разделившимся пополам остальным голосам, то оценки совершенно одинаковых, рядом лежащих земель колебались между 100 и 300 рублями за десятину. Сурин был за самые высокие оценки, а Сесицкий за самые низкие, оба без всяких оснований. Мне пришлось председательствовать при рассмотрении жалоб и крестьян, и железной дороги на эти первоначальные оценки, но привести их к одному уровню мне так и не удалось. Обычно все эти дела шли на окончательное рассмотрение в Государственный Совет, который, если не ошибаюсь, установил свою цену, чему удивиться не приходилось, ибо, повторяю, наши были ни на чем не основаны. Зато через несколько лет, когда мне пришлось председательствовать в комиссии по оценке городских имуществ, отчужденных под расширение парка Старорусских минеральных вод, я собрал все возможные данные, и оценка, насколько я мог судить, отвечала действительной стоимости участков. Против нее протестовала тогда дирекция минеральных вод, но безуспешно. В числе отчужденных тогда домиков был и принадлежавший известной артистке Савиной, которая в течение ряда лет проезжала летом в Старую Руссу, а подчас и выступала в его театре.

Оценка земель, занятых железной дорогой, происходила, когда она уже заканчивалась постройкой, и вскоре в Старой Руссе состоялось ее торжественное открытие, на котором я почему-то не был. Во время завтрака по этому случаю, около станции Волот произошло, однако, и первое крушение на ней. Машинист какого-то резервного паровоза, чтобы не опоздать на завтрак, пустил машину полным ходом и на закруглении вылетел из рельс. Объясняли это тем, что около Волота путь в одном месте долго оседал, и как раз в этом месте и произошла катастрофа.

Строил дорогу управляющий Новгородской линии инженер Свенцицкий, с которым мне позднее пришлось быть вместе членом 3-й Государственной Думы, где он представлял Виленскую губернию. Летом в те годы в Старой Руссе жила его семья – жена и ряд маленьких сынишек, и у них постоянно останавливался прокурор Всеволожский, остроумный, но подчас неприятный господин. Жена Свенцицкого, дочь известного строителя Литейного моста в Петербурге – Кербадзе, красивая и любезная, привлекала всегда в дом много гостей, и как раз в 1897 году на ее именины Всеволожский устроил хозяевам сюрприз, едва ли им понравившийся. Когда все гости собрались, в гостиную ворвались сынишки хозяев и повалились в кучу: «Что это такое?», – спросил Всево-

ложский, на что они хором ответили, – «Ключение поезда»... «А кто строил дорогу?» – «Инзенел Свенцицкий». Утверждали, что, действительно, дорога была построена не блестяще.

Кажется, в октябре этого года в Старой Руссе был большой пожар. Сгорело около моста через Полисть больше 30 домов. Когда они отстроились вновь, один из них был куплен земской управой, а в другом Кучинский и я сняли верхний этаж под помещение съезда, которым мы могли затем гордиться все время, что мы оба работали в Старой Руссе.

Приблизительно в это же время я был назначен председательствующим директором местного тюремного отделения. Вся организация этого Комитета и отделений была создана в Николаевские времена по идее известного доктора Гааза, и, несомненно, сыграла свою роль в культурном развитии России; было бы впрочем ошибочно ее переоценивать, ибо в этой организации участвовали большею частью все те же лица, которые руководили местной администрацией. В Старорусском отделении, кроме разных должностных лиц, участвовали всего два не служащих «директора» – бывший чиновник Морского комиссариата, в честности которого никто не был уверен, но который был полезен, ибо энергично следил за тем, чтобы не крали другие; зато надежным элементом был А.Т. Иванов, казначей отделения и местный купец, который и производил все закупки за счет отделения. Хозяйство тюрьмы носило двойственный характер: отделение сдавало начальнику тюрьмы дрова, муку, мясо, соль, масло и т.п., а овощи выращивались на тюремном огороде под наблюдением начальника тюрьмы. На продовольствие арестанта отпускалась в день стоимость трех фунтов муки, то есть в среднем за эти годы 9 копеек, но полагалось каждому заключенному три фунта не муки, а хлеба. На экономию на «припеке» (в среднем 18 фунтов на пуд) полагалось закупать мясо и всякие приправы. Иванов справлялся с этой механикой удачно и кормил арестантов сытно, хотя и ходили слухи, что первый при мне начальник тюрьмы старик Якубовский и себя при этом не забывал.

Старорусская тюрьма была первой в России после дома Предварительного заключения в Петербурге, построенной по системе одиночного заключения. Нормально могли в ней помещаться 160 человек, но в мои времена этого числа обычно не бывало. Громадное большинство их были местные крестьяне, и мало кто из них был осужден за «имущественные преступления». Большинство сидело по «пьяному делу». Редкий праздник проходил в уезде без убийств в драке, причем орудием убийства обычно бывала

жердь из изгороди, как ее называли «трёсточка». Как было сказано в одном полицейском протоколе, обвиняемый бил свою жертву «обнаженным колом по головному черепу до тех пор, пока из носа кровь не пошла». Понятно, что смерть была нормальным результатом такого обращения. Политических арестантов при мне не было совсем, а более интеллигентных было всего два за 6 лет, оба осужденные по сенсационным процессам в Петербурге и почему-то пересланные для отбытия наказания к нам. Уже застал я в тюрьме Ольгу Палем, убившую своего любовника студента Довнара; по-видимому, личностью он был неважной, ибо пользовался деньгами ее содержателя, и наказание ей было назначено мягкое. Однако она была, вероятно, не вполне нормальна (хотя психиатры это и отвергали), и изводила всех своими самыми разнообразными жалобами. Я бывал в тюрьме обычно раз в месяц и обходил всех арестантов, причем в ее камере терял не меньше четверти часа на совершенно пустые разговоры. Возможно, конечно, что для нее это было одно из немногих доступных арестанту развлечений. Вскоре после ее выхода из тюрьмы она вышла замуж за морского офицера, которому пришлось из-за этого уйти в запас. Во время Японской войны этот, как говорят, вполне порядочный человек, вел себя вполне достойно и остался на действительной службе. Однако, когда я был уже членом Государственной Думы, меня вызвала в приемную какая-то по фамилии неизвестная мне дама, оказавшаяся Ольгой Палем, с просьбой помочь служебному продвижению ее мужа, вероятно ничего об этом ее визите не знавшем. Отделаться от нее и в этот раз было не легче, чем бывало в тюрьме.

Одно лето в Старой Руссе я видел несколько раз в парке красивую брюнетку, какую-то балтийскую баронессу, жену скромного помощника начальника товарной станции Старая Русса Геккера. Как позднее выяснилось, она была на содержании у известного петербургского окулиста профессора Донберга, изобретателя известной в то время лампы и большого любителя женщин. Геккер потребовал от него объяснений и убил его, когда тот ему в них отказал. Не знаю почему, его прислали в Старорусскую тюрьму, но как-то, войдя в ее канцелярию, я почувствовал себя очень неловко, увидев вытянувшегося за столиком Геккера, теперь тюремного писца. Ни разу я с ним в тюрьме не говорил, но чувство неловкости в отношении этого человека, которого я видал раньше в другой обстановке, у меня оставалось до самого конца его пребывания в тюрьме.

Якубовского вскоре заменил скромный и порядочный другой начальник тюрьмы (фамилию его я забыл), и при нем помощником оказался очень аккуратный, но ограниченный молодой человек, некий Бородулин. После 1900 года, когда Васильчиков был Псковским Губернатором, Бородулин обратился ко мне с просьбой рекомендовать его князю, ибо, будучи псковичем, хотел бы служить в родных местах, причем просил о месте начальника какой-нибудь маленькой уездной тюрьмы. Я написал о нем Васильчикову, но результат оказался совершенно неожиданным: Бородулин был назначен начальником Псковских арестантских отделений, и оказался и тут отличным, с точки зрения начальства, служащим. При его исполнительности и, как мне говорил Васильчиков, несомненной честности, это было понятно, и вскоре он был назначен начальником одной из каторжных тюрем в Забайкалье, кажется, Акатуйевской. Здесь, однако, сказалась его ограниченность и непонимание того, что не только надо иметь то или иное право, но и уметь его применять. Очутившись перед значительной группой политических арестантов, он стал строго формально применять к ним обычно забываемые требования уставов и инструкций и представляемые ими начальнику права, и в результате вскоре, в годы первой революции, был убит.

С наступлением зимы началось мое знакомство со школьным делом в уезде, так как по должности предводителя я состоял и председателем Училищного совета. Делопроизводство его лежало на инспекторе народных училищ Кострицыне – уже старике, еще одном ископаемом прежней эпохи. И про него ходили неважные слухи, рассказывали, например, что он брал с учителей за то, чтобы переводить их в школы, где было приличное для них помещение. Поэтому я не плакал, когда он вскоре ушел и его заменил П.М. Шевяков – незаметный, но порядочный человек.

В 1897 году в Старорусском уезде было 6 министерских школ, 30 земских и 60 церковноприходских. Министерские помещались в собственных зданиях, и вообще были обставлены лучше других. Земские большей частью еще помещались в простых крестьянских избах, на севере России более просторных, чем в центре, но все-таки мало пригодных для школ; а церковно-приходские большей частью в церковных сторожках, тоже слишком маленьких. В церковных школах учителями были часто дьяконы, должности которых специально подчас учреждались для преподавания в школе и которые за него ничего не получали. В то время Старорусское земство выдавало пособия этим школам по 50 рублей в год на учебники и учебные пособия. Это было время борьбы меж-

ду земскими и церковно-приходскими школами, борьбы, которую я сейчас иначе, как абсурдной, назвать не могу. Связана она была с именем Победоносцева, но мне непонятно, как этот, во всяком случае, умный человек, мог придавать какое-либо политическое значение распространению церковно-приходских школ.

В течение шести лет я ежегодно бывал, в среднем, в 30-40 школах – и земских, и церковно-приходских, и в общем мало видел между ними разницу, да и ту надо приписать главным образом, большей бедности последних. Среди земских школ было много прекрасных, как, например, Поддорская, где учил Д.И. Федулин вместе с дочерью Анной Дмитриевной, или Цемьянская, где прекрасных результатов добивался невеселый и хмурый Подосиновиков – как говорили, выпивавший. Но прекрасные школы были и среди церковно-приходских – например, Шотовская, где учила молоденькая сестра тоже молодого священника. С другой стороны, однако, надо признать, что самые плохие школы были среди церковно-приходских: учительницами в них назначались обычно «епархиалки» (из коих было немало и среди земских учительниц), но так как в духовном ведомстве эти места давались часто, как пенсия за службу их отцов, то учительницами терпелись подчас полные бездарности, которые не были бы даже приняты в земские школы. Моральное воспитание отсутствовало одинаково во всех школах, кроме редких исключений, а также отсутствовало еще и политическое воздействие учителей на детей, как в монархическом, так и в революционном духе. Припоминается мне лишь один разговор в училищном совете – об учителе, которого жандармы обвиняли в левой пропаганде, но вне школы, насколько мне помнится, никакого постановления о нем вынесено тогда не было.

Весной все члены училищного совета распределяли между собою школы для присутствия на выпускных экзаменах. Число являющихся на них бывало не велико, человек пять в среднем на школу, но зато обычно сдавали они экзамены прекрасно. Припоминается мне, что я затруднился решением какой-то арифметической задачи из известного учебника Малинина и Буренина, по которому я сам когда-то учился, а все экзаменуемое решили ее без всякого затруднений. Как-то по этому поводу Васильчиков мне рассказал, смеясь, что он задал на экзамене вопрос, вызвавший общее смущение – о «купели Гефсиманской», и как к нему наклонился инспектор с поправкой: «Вы, ваше сиятельство, вероятно хотели спросить о купели Силоамской?».

Мне лично пришлось присутствовать при тяжелом обмене фразами в школе, куда во время моего посещения пришел местный священник, еще молодой, но уже спившийся, и на ответ мне мальчика, прикрикнувший ему: «Врешь, не верно», – на что получил уверенный ответ: «Нет, батюшка, верно» (ученик и был прав). За время моей службы в уезде мне пришлось встретить двух таких спившихся священников, которые были вскоре удалены, но пьющих в пределах приличия было порядочно. Вся обстановка деревенской жизни и их служения толкала их на это. В Рамушеве я застал священником о. Александра Зернова, очень популярного в приходе, но изрядно пившего. Заменивший его зять его о. Иосиф Фадеев отнюдь не был столь популярен, хотя и был священником во всех отношениях достойным: его считали «гордым», ибо при обходе прихода на Рождество и Пасху он отказывался выпивать в каждом доме по рюмочке водки. Едва ли будет вообще ошибочно сказать, что сами прихожане спаивали свое духовенство.

Мне пришлось познакомиться со многими священниками нашего уезда, и я отнюдь не вынес о них впечатления как о какой-то реакционной массе. Общие их выступления могли оставить подчас такое впечатление, но нельзя забывать ту зависимость, в которой они были от епархиального архиерея. В Старой Руссе я застал соборным протоиереем о. Устинского, известного по его письмам, выдержки из коих, конечно, довольно странные, опубликовал в своих сочинениях философ Розанов, и настоятелем одной из церквей друга Достоевского о. Румянцева, в мое время уже довольно угрюмого старика.

Когда говорят о духовенстве, то забывают обычно о материальном его положении, которое никогда, в общем, не было блестящим. Если и бывали «жадные попы», то их было меньшинство, а масса мало отличалась от средних крестьян, с которыми и вела сходный образ жизни. Рамушевский приход был из сравнительно доходных, но рядом с ним было два новых и совсем бедных: Плешаковский и Коровичинский, вновь образованные по просьбе самих крестьян, в которых, кроме казенного жалования в 300 руб., доход священника не превышал 100 р. в год. В Коровичине священником был о. Новорусский, пьяница и забитый судьбой; брат его был шлиссельбуржцем, и это сказалось на его служении, ибо вся его жизнь прошла под знаком начальственного недоверия.

Политически масса духовенства была мало развита, но ведь то же надо сказать и про другие классы населения в то время. До 1900 г. приблизительно я не видел в духовенстве политиканства, и появление его у нас потом было связано с назначением в

Новгородскую епархию архиепископа Арсения. Человек умный и волевой, он очень подтянул подчиненное ему духовенство, пораспустившееся при его дряхлом предшественнике архиепископе Гурии. При этом, однако, он бывал подчас прямо безжалостен. Наш Рамушевский дьякон заболел туберкулезом, и мне удалось устроить его бесплатно в санаторию Халила. Через 6 месяцев, на которые Арсений дал ему отпуск, директор санатории д-р Габричевский дал удостоверение, что больному необходимо пробыть в санатории еще несколько месяцев. Приход засвидетельствовал, что может без него это время обойтись, но Арсений под угрозой увольнения его за штат, потребовал от дьякона его возвращения, что тот и сделал, и вместо выздоровления через несколько месяцев умер.

Под влиянием Арсения духовенству пришлось сильно повернуть вправо, но насколько этот поворот бил искренним, не знаю, хотя мне и пришлось позднее лично почувствовать на себе эту перемену.

Когда говорят о духовенстве, обычно имеют в виду священников и забывают сельских дьяконов, и особенно псаломщиков, в сущности, настоящих пролетариев. В отношении умственного развития они стоят очень не высоко, а материальное положение их было подчас прямо трагично. Должен, впрочем, сказать, что все, что я говорю здесь про духовенство, относится к северу России, и оговариваюсь, что в центральной ее полосе условия жизни его были иные. Насколько мне пришлось наблюдать, в черноземной полосе 30 десятин, наделявшихся каждой церкви, делали из священников более или менее обеспеченных землевладельцев, и часто противопоставляли их крестьянам.

Летом 1897 г. я еще не смог познакомиться ближе со Старорусскими Минеральными Водами, и только уже после закрытия их сезона встретился в первый раз с их директором д-ром С.В. Тиличевым, которому они были обязаны их развитием.

Тиличев был кирасирским офицером, когда увлекся дочерью одного из профессоров Военно-Медицинской Академии, который заявил ему, что не отдаст ее за такое пустое существо, как гвардейский офицер. Тогда он оставил полк, сдал экзамен на аттестат зрелости и прошел курс Академии, после чего служил земским врачом в Любани. Брак его с его возлюбленной оказался, однако, неудачным, и закончился разводом. В это время кончился арендный контракт доктора Рохеля на Старорусские Воды, и губернатор Мосолов, бывший товарищ Тиличева, кажется, по полку или училищу, предложил Министерству взять их в ка-

женное управление и назначить Тиличеева их директором, что и было сделано. Пока Воды оставались в ведении Министерства внутренних дел, Тиличеву, несмотря на его громадную энергию, мало что удалось сделать, но когда в конце века они перешли в Министерство земледелия, ему удалось получить значительные кредиты, благодаря которым Минеральные воды получили совсем иной вид. Высокий, очень худой человек, Тиличев быстро реагировал на все и интересовался всем, но наступать себе на ногу не позволял, и на этой почве у него подчас бывали инциденты. Со Старорусской публикой у него были в начале натянутые отношения из-за его требований к ней платить входную плату в парк. Из-за этого произошло несколько инцидентов еще до меня, но отзвуки их чувствовались еще при мне.

Сезон Минеральных Вод начинался 25-го мая (старого стиля) и тянулся до 30-го августа, причем обычно в последние дни в Парке уже никого не бывало, ибо бывало и свежо и сыро. Иногда и в первые дни сезона приезжие сидели по домам из-за холода: как-то снег шел в конце мая. В Старую Руссу публика приезжала небогатая, хотя ее грязевые ванны очень помогали от ревматизмов и женских болезней. Более богатые ехали на юг или за границу, ибо местность там была более интересна и было больше развлечений. Зато в Старой Руссе лечение проходило в климате, в котором больные обычно жили весь год, и возвращение в который не вызывало у них отрицательной реакции. Слабым местом курорта был жилищный вопрос, ибо, кроме казенной гостиницы, все другие помещения были довольно примитивны.

Публика, повторяю, лечилась в Старой Руссе скромная; сенсацию произвел поэтому приезд королевы Ольги Константиновны, вдовы короля Георга I греческого. Уже старуха, в темных очках, она вызывала немало рассказов своей чрезмерной стыдливостью, ибо не допускала банщиц присутствовать при ее ваннах: говорили, что у ней какие-то скрытые язвы, которые она никому не хотела показывать.

В Старую Руссу каждое лето приезжали две семьи из Петербургского гранмонда: Мятлевы и Галл. Владимир Иванович Мятлев, отец моего товарища, был раньше очень богатым человеком, но почти все спустил. Был он сыном автора «Сенсаций мадам де-Курдюковой за границей», и сам писал стихи, – впрочем, скверные. Я его застал уже малоинтересным, дряхлым стариком, тогда как жена его Варвара Ильинична была еще полной жизни, интересной женщиной. Видно было, что раньше, когда с нее Зичи писал свою известную Тамару, она была действительно очень кра-

сива. У Мятлевых часто гостила в Руссе старшая ее сестра Е.И. Татищева, «кавалерственная» дама и мать генерала, бывшего военным агентом в Берлине перед 1914 г. Мне пришлось с ним познакомиться у Мятлевых, и он оставил у меня очень приятное воспоминание. После революции, когда Николай II писал в своих записках про окружающую его подлость и измену, Татищев оказался одним из немногих верных до конца своему бывшему государю. Когда Николай II должен был выехать в Тобольск, он предложил Татищеву сопровождать его, и тот поехал, хотя никакой формальной обязанности для этого на нем не лежало, – а просто потому, что считал, что не имеет права бросить в беде человека, которому был раньше всем обязан. Младший его брат Леонид, был художником-ювелиром и выделывал вещицы, вроде известного французского мастера Лялик. Как-то я ехал с ним вместе в Петербург в одном купе и мы оживленно разговорились. Вдруг он остановился, вытащил записную книжку и стал что-то в нее зарисовывать: оказывается, вечерние лучи солнца образовали около моей головы на спинке сиденья световые сочетания, которые ему показались интересными. Мать их, женщина, во всяком случае, состоятельная, была страшная картежница, и даже, когда играла без интереса (крупно она вообще не играла), неизбежно себе приписывала. Постоянно ее в этом ловили, но на следующий день вновь повторялось то же.

Другой петербургской семьей, ряд лет приезжавшей в Старую Руссу, была семья Галл. Полковник А.А. Галл, сын генерал-адъютанта, был страстным охотником, и Старая Русса была центром, из которого он делал набег даже на соседние уезды. Большие средства его очень милой жены, рожденной Голицыной, позволяли ему жить, и жили они, не стесняясь ни в чем; поэтому все были поражены, когда стало известно, что Галл уехал куда-то в глушь Сибири на принадлежавшие его жене прииски, и еще более, когда узнали, что это было последствием того, что в одном из петербургских клубов его поймали в шулерстве.

Азартные игры меня никогда не увлекали, и страсть к игре мне всегда была непонятна, а тем более, когда она доводила людей до бесчестности, но сколько раз приходилось мне встречаться с такими случаями. Отец и бабушка рассказывали мне про целую шайку шулеров из блестящей гвардейской молодежи, обнаруженную в 60-х годах; чтобы оставить незапятнанной честь мундира, эти офицеры ушли из своих полков по прошению, и позднее вновь появились в Петербурге, как ни в чем не бывало. Бывали такие случаи и в среде моих товарищей, и я помню два случая удаления

по товарищескому суду из Правоведения за шулерство, хотя и не из моего класса. Третий случай интересен потому, что никаких мер против виновного принять было нельзя. Случился он в следующем за мной выпуске, уже по окончании экзаменов, с неким Жеребковым, пойманным в шулерстве будущим мужем певицы Вьяльцевой – Бискупским. Все, что было возможно сделать, это лишить Жеребкова права на ношение правоведского значка, что не помешало ему быть потом нотариусом в Москве и оформлять там разные темные сделки. Любопытно, что этот Жеребков принадлежал к наследственно преступной семье: отец его, генерал от кавалерии был командиром одного из гвардейских казачьих полков, и избежал суда по делу о злоупотреблениях в этом полку, по которому были осуждены его преемники генералы Греков и Иловайский, только вследствие истечения срока уголовной давности. Другой сын генерала, офицер Атаманского полка, был осужден в каторжные работы за убийство однополчанина Иловайского. Все тогда морально осуждали Жеребкова, и, в частности, указывали, что, начав стрелять в Иловайского в бильярдной собрания полка, он спокойно добил его, когда тот уже лежал на полу. Между тем, этот убийца был вскоре помилован, даже, кажется, не дойдя до Сибири «во внимание к заслугам отца». К сожалению, право монарха помиловать использовалось часто его окружающими в весьма некрасивых личных интересах.

Возвращаясь к Старой Руссе, должен отметить ее театр, в котором во время сезона играла недурная труппа с участием всегда столичных актеров. В 1899 г. театр снял известный старый актер А.А. Нильский, скоропостижно умерший во время сезона. В семье его я провел тогда ряд очень милых часов. В его труппе играла гастролершей М.Г. Савина, о которой я уже упоминал и которая господствовала тогда на русской сцене, и с которой я познакомился в это лето. Лично я не был таким поклонником ее таланта, как многие другие, и всегда считал, что, например, Ермолова гораздо выше ее, и личное знакомство с Савиной скорее разочаровало меня в ней и как в человеке. Я ее встретил через 20 лет после того, что ею увлекался Тургенев, и в ней, естественно, уже не было той юношеской прелести, что очаровала великого, но уже старого писателя. Но меня поразил ее эгоцентризм, обычно наблюдающийся только у второстепенных артистов. Насколько она все сводила к себе, доказывает ее фраза, сказанная моей жене, с которой они как-то завтракали вместе за столом Тиличевых в парке. Жена сказала, что она уезжает в Рамушево, где оставила детей, на что Савина ей обиженно заметила: «Как, графиня, ведь

я сегодня вечером играю». Видал я в те годы в Руссе и Далматова, и Дальского, но дальше мимолетных встреч наше знакомство не пошло.

В январе в те годы собиралось обычно в Новгороде Губернское земское собрание, на котором я и встретился со всем цветом тогдашней губернской общественности. Основу собрания составляли гласные, избранные уездными земскими собраниями, к которым присоединялись председатели уездных земских управ и уездные предводители дворянства. В качестве такового принимал в нем участие и я, хотя мне было всего 22 года, тогда как минимальный возраст для гласного и земского, и городского был 25 лет. Кстати, еще в 1899 г. мне пришлось председательствовать в Старой Руссе на выборах земских гласных, не имея права класть по возрасту свой шар, который по моей доверенности клал мой отец. Отмечу и другой возрастной курьез моего прошлого, что, проведя в 1897 г. набор в качестве предводителя, я отправился сам «ставиться» в воинское присутствие в Петербурге. Так как у меня была льгота 2-го разряда, и у меня не вышел объем груди, я был зачислен в ополчение 2-го разряда. Кстати, мой пример заставил меня уже тогда задуматься над правильностью определения годности к военной службе. Моя «куриная грудь» и воспаления легких в детстве не помешали мне дожить до старости без всяких органических болезней, тогда как служба в гвардии, в которую выбирались самые крупные и здоровые новобранцы, заканчивалась для многих неизлечимыми болезнями. Несомненно, сложение новобранца имеет большое значение, но еще большее – те гигиенические условия, в которые он попадал и на которые в те времена не обращалось достаточного внимания. При улучшении их, несомненно, возможно и смягчение строгости условий годности для военной службы.

В Новгородской, губернии, как и во всей России, земские собрания делились на правые и левые – сейчас понятия кажущиеся странными, ибо самые левые тогдашние собрания ныне оказались бы до смешного правыми. Крайне левое тогда Тверское земство и крайне правое Курское, за исключением случаев немногих и крайне редких обращений левых с ходатайствами к правительству, мало в чем в своей деятельности отличались. Новгородское губернское земство считалось в числе левых, причем северные уезды губерний были левыми, а южные – правыми. Когда я вступил в губернское собрание, в нем было «левое» большинство, к которому принадлежало и большинство лучших ораторов. Вопрос, разделявший в те годы наше собрание на две группы – был

вопрос о начальном народном образовании. В то время, как в большинстве уездов оно, если и недостаточно, но все же продвигалось, в Старорусском, Демянском и Валдайском оно стояло на точке замерзания. Ввиду этого губернская земская управа выработала школьные сети по всем уездам и предполагала взять их осуществление в свои руки. Здесь оно столкнулось, однако, с возражением, которое тогда еще не было столь ясно сформулировано, как сейчас, но уже намечалось более или менее всюду – о вреде излишней централизации. Несомненно, что в этом была своя доля истины, и отстаивавший эту точку зрения председатель Череповецкой земской управы Сомов отнюдь не принадлежал к числу зубров. Но многие сторонники этого взгляда с правой стороны боялись расширения компетенции губернского земства, главным образом, потому, что оно, как организация культурно выше стоящая, чем земства уездные, могло бы начать осуществлять мероприятия, по их взглядам, политически опасные или излишние. В конце концов, правая точка зрения тогда победила, и дело народного образования осталось в руках уездов, но, тем не менее, оно было сдвинуто с мертвой точки.

В тот год Губернская Управа была без председателя. Этот пост занимал раньше Н.Н. Качалов, незадолго перед тем назначенный директором Электротехнического Института, и нам предстояло избрать ему заместителя. Перед нами было два главных кандидата: Сомов и Родзянко, будущий председатель Государственной Думы. Родзянко, бывший кавалергард, перед тем был Новомосковским предводителем дворянства, и ушел оттуда после того, как во время Земского собрания побил кого-то из гласных. Ему очень хотелось попасть в председатели Губернской управы, и как смеялся Васильчиков, он каждый день то ставил, то снимал свою кандидатуру, но с первого дня было, однако, ясно, что он не пройдет. Наоборот, Сомов, красивый брюнет и прекрасный оратор, имел за собою значительное большинство и был избран. Временно исполнял тогда обязанности председателя старик Рейхель, хороший, но ограниченный человек, вскоре умерший. Другими членами Управы были с ним А.И. Колюбакин, М.А. Прокофьев и А.П. Храповицкий, все трое бывшие позднее председателями губернской управы. Все трое они были людьми безусловной порядочности, но, кроме этого, совершенно во всем различные.

Колюбакин, самый молодой из них, бывший измайловец, ушел вскоре в председатели Устюженской земской управы, а после ухода Сомова, заболевшего туберкулезом и вскоре умершего, заменил его. Позднее он был выбран членом Гос. Думы от

Петербурга как кандидат кадетской партии, но был привлечен полицией к суду за какую-то предвыборную речь и устранен из Думы. В 1915 г. он был убит около Варшавы, ведя роту на немецкие окопы. Все, даже те, кто не разделял его убеждений, не могли не ценить его искренности и горячности часто прекрасных его речей.

У Храповицкого не было этого блеска, и говорил он довольно скучно; он был из семьи помещиков Крестецкого уезда, в которой три брата отличались различием своих политических воззрений: один брат, инженер, был социалистом, наш Александр Павлович – кадетом, а третий брат – известный позднее митрополит Антоний, возглавлял в православии самые правые течения. Подобный факт был бы невозможен в Англии, где обычно семьи из поколения в поколение остаются верными одной и той же партии, но было скорее правилом, чем исключением, для России.

М.А. Прокофьев, пользовавшийся полным уважением и в 1906 г. выбранный председателем Губернской земской управы, долгие годы заведовал в ней страховым отделом, который и поставил прекрасно, обратив особое внимание на противопожарные мероприятия. Выдвинувшись из волостных писарей, М.А. считался в молодости очень левым, но с годами, как эта бывает часто, постепенно правел, и оказался к 1917 г. значительно правее меня, хотя и я тогда отнюдь не был левым. В это время у него, впрочем, был уже удар, и он оказался уже не тем энергичным человеком, каким я его знал в 1897 г., и в первые же дни революции подал в отставку.

Из позднее избранных членов Губернской земской управы отмечу еще Пузино и А.А. Булатова. Пузино заведовал дорожным отделом, и в губернском масштабе напомнил мне нашего старорусского Ильина. Характеризовала его фраза, которую я слышал как-то от него после заседания Земской редакционной комиссии: «Весь день, вот, работаешь, а как придет вечер, обязательно напьешься». Впрочем, работал он не особенно интенсивно, и когда ему пришлось подать в отставку из-за пополненной растраты, потерей для земства это не было. Кажется, его заменил Булатов, на котором последние годы держалось все наше земство. Человек умный и образованный, он относился к своему делу с любовью и горячностью, и хотя политически мы с ним и расходились, в земском деле, насколько помнится, мы с ним обычно были единомышленниками. Позднее, когда я был в эмиграции (должно быть, в 1923-1925 гг.), а он оказался в Ревеле, мне пришлось обменяться с ним письмами. Я, как и все эмигранты, не верил тогда в проч-

ность советского режима, и был удивлен, когда он оказался обратного мнения, и только значительно позднее убедился, насколько точнее он оценивал тогда положение. Его взгляды настолько меня удивили, что я ему, кажется, даже на второе письмо не ответил.

Губернское земское собрание по своему составу, еще более уездных собраний было отражением помещичьего класса, почти исключительно дворянского и притом лучшей его части. Сейчас тогдашние наши взгляды, даже таких «либералов», каким считался Колюбакин, показались бы архаичными, но, хотя с тех пор прошло всего 50 лет, надо принять во внимание, какие это были годы. В громадном большинстве это были люди безукоризненной честности, и очень многие из них несомненные альтруисты, но жившие по шаблону, и новизны какой бы то ни было, не понимавшие. Состояло Собрание приблизительно из 60 человек, среди коих многих стоит отметить, как характерных, хотя и не всегда положительных представителей той эпохи.

Среди гласных Новгородского уезда особым уважением пользовался бывший председатель Губернской земской управы М.А. Костливец. Глубокий старик, он сохранил идеализм и горячность юности, и когда оспаривал взгляды противные его убеждениям, то его волнение подчас вызывало у нас, молодых, улыбки. Другой старик, новгородец Лутовинов, таким уважением и любовью не пользовался, ибо славился своей прижимистостью. Поэтому, когда рассказывали, как в столярной мастерской в Колмове душевнобольной, считавшийся спокойным, ударил его по голове рубанком, и он не был изувечен только благодаря меховой шапке, то сочувствия к нему это ни в ком не вызвало. Оба его сына были уездными предводителями в Новгороде: старший умер, не достигнув 30 лет от рака на языке, который ему повторно оперировали, младший, бывший тогда гораздо более правых взглядов, чем я, в январе 1917 г. ставил свою кандидатуру в губернские предводители. Всех новгородцев-эмигрантов крайне удивило поэтому, когда стало известно, что во время гражданской войны он был расстрелян белыми, как командир красноармейского полка.

Перед Лутовиновыми предводителем в Новгороде был Болотов, личность сама по себе ничтожная, но характерная для последних лет перед революцией. Кончив Училище Правоведения, если не ошибаюсь, последним, он был вскоре избран мировым судьей в Петербурге, но уже на следующих выборах был забаллотирован, оставив после себя самые печальные воспоминания. Я застал его земским начальником в Любани. Это был период, когда он думал только о еде; смеялись, что уже часа за три до обеда он беспоко-

ился, что у него еще «не открылся аппетит». В 1904 г., во время мобилизации, он был предводителем дворянства, и понравился присланному наблюдать за нею князю «Котику» Оболенскому, другу Матильды Витте, и Оболенский рекомендовал его Дурново, когда тот осенью 1905 г. решил обновить состав губернаторов более энергичными людьми. Болотов был назначен губернатором на Урал, кажется, в Пермь, но уже через год вылетел оттуда после ревизии, установившей, что он больше интересовался женщинами, чем делами. Кстати, замечу, что у меня вообще осталось впечатление, что с 1905 г. и до самой революции происходило непрерывное ухудшение кадра губернаторов и вице-губернаторов. Выбирались они из той же среды, что и раньше, но с меньшим разбором, и притом не имели, быть может, ни служебного, ни жизненного опыта прежних. И раньше часто назначались губернаторами гвардейские офицеры чуть ли не прямо из строя, а теперь, около 1910 г., только бывших преображенцев было среди них 9 человек. Машина административная шла прежним ходом, и среди новых ее руководителей было немало, несомненно, способных людей, но, в общем, авторитета их предшественников у них не было.

После удаления из губернаторов, Болотов уже никуда больше попасть не мог. В эмиграции он написал две книжки воспоминаний, довольно печальных для их автора, а позднее, совершенно для всех неожиданно, оказался монахом в одном из наиболее строгих монастырей на Афоне, где и умер.

В порядке уездов следующее место после Старорусского занимал Крестецкий; возглавлял его долгие годы барон В.П. Розенберг, пользовавшийся авторитетом как бывший участник еще предшествовавших освобождению крестьян редакционных комиссий. Говорили, что он был человек очень умный, но я, возможно по его старости, убедиться в этом не мог. Во всяком случае, в общественных вопросах он представлял правые взгляды 60-х годов, даже к 1900 г. сильно устаревшие. Я уже называл из других гласных этого уезда Храповицкого, Родзянко и Булатова, и мне остается упомянуть еще про Я.И. Савича, с которым мы одновременно вступили в Губернское земское собрание и с которым оставались в нем до самой революции. Человек добрый и мягкий, он был сыном бывшего губернского предводителя дворянства И.Я. Савича, бывшего крупным финансовым деятелем, и сам вскоре стал членом правления разных банков, считаясь посему у нас знатоком всех денежных вопросов.

Из Крестец один за другим приезжали губернскими гласными отец и сын Демчинские. Отец – сперва юрист-адвокат, а затем инженер путей сообщения, был, несомненно, человеком очень способным, но кидаящимся из стороны в сторону. Сперва он пропагандировал в России китайскую грядковую культуру, а затем перешел на предсказания погоды. Он говорил, что ее изучение привело его к выводу, что она сменяется равномерно, по циклам в 14 лет, но на чем он основывал свою систему, да и была ли она у него вообще, я не знаю. В начале у него было много страстных поклонников, но позднее они исчезли, и выражение «жить или хозяйничать по Демчинскому» звучало насмешкой. В Новгороде на эту тему с ним, впрочем, не спорили, а больше слушали его анекдоты, которые он рассказывал артистически (лишь одного другого такого рассказчика – балалаечника В.В. Андреева – я позднее встретил). Позднее Демчинского заменил его тоже способный сын Борис, с которым у отца установились курьезные семейные отношения: в то время, как сын женился на пожилой вдове, отец женился вторично на ее дочери.

Соседний с нашим Старорусским Демянский уезд был самым отсталым во всех отношениях на юге губернии. Я уже не застал в нем предводителем Сиренко, в течение 21 года правившего уездом. Про него рассказывали, что он умудрялся на бесплатной должности предводителя получать в год до 1500 руб. Все канцелярские суммы по многочисленным функциям предводителя поступали в его распоряжение и, недоплачивая понемногу то тут, то там, из остатков он сколачивал, таким образом, детишкам на молочишко приличную сумму. Все шло хорошо, пока один из земских начальников уезда Павел Дишин (брат вице-губернатора), не был обвинен в изнасиловании нищенки. Дело это возбудило страстные разногласия в уезде, и я боюсь сказать, был ли Дишин виноват или явился жертвой шантажа, как многие утверждали. Во всяком случае, следствие было прекращено за недостатком улик, но Дишину пришлось уйти в отставку. Он обвинил в этом Сиренку, и тот на следующих выборах был забаллотирован и заменен крайне ограниченным Карповым. Позднее, в Демянске, был предводителем и Дишин. Как и брат, очень красивый, он был умнее его, но не слишком стеснялся в средствах.

Мне рассказывал позднее Голицын, что ему как-то пришлось председательствовать на Демянских выборах, и Дишин все время подкладывал в ящик лишний шар, чтобы иметь затем повод для обжалования их. Только когда Голицын потребовал, чтобы все засучили рукава, Дишин со злобой бросил в ящик свой шар, и после

этого счет оказался правильным. Дирин женился на крестьянке, кажется, из Молвотиц, красивой и умной, которая его понемногу прибрала к рукам, и, говорят, распоряжалась и уездом. Позднее Демянск стал присылать в Губернское земское собрание профессора О.А. Гримма, директора первой в России Никольской рыбообразовательной станции, немало сделавшего для развития рыбного дела.

Валдайский уезд вначале присылал бывшего председателя Губернской земской управы Нечаева, человека всеми уважаемого. В 1894 г. он (в то время председатель где-то казенной палаты) высказался в Новгороде за конституцию, и получил за это «высочайший» выговор. В то время это было наказание, законом не предусмотренное, но практикой с начала 60-х годов установленное для более или менее крупных чиновников, соблазнявшихся либеральными учениями (в частности, как кто-то сказал – «для поврежденных юридическим образованием»). Все время при мне Валдай был представлен Кршивицким, человеком умным и работающим, позднее дававшим тон уезду. В Валдае был одно время предводителем дворянства некий Штриттер, бывший чиновник Министерства внутренних дел. Дворянство он получил по чину действительного статского советника, и возобновил, таким образом, старую традицию, что в императорской России «чин» был важнее «породы». Надо сказать, что Штриттер, кроме Кршивицкого, был и умнее, и, во всяком случае, и культурнее большинства валдайцев, среди которых долго играли роль два брата Мельницких, типичные армейские офицеры, оба ограниченные, а один из них еще настолько скупой, что, говорят, не женился, чтобы не было лишних расходов. Другой из них любил, кстати и не кстати, повторять, что он «верит в Бога и безгранично предан своему царю». После революции он, впрочем, оказался одним из немногих последовательным правым, и, несмотря на свои 70 лет, во время гражданской войны пошел добровольцем в ячейку своего бывшего полка. Штриттер был первым и, кажется, единственным на севере хозяином, поставившим у себя птицеводство на крупных и, несомненно, капиталистических началах. Из его рассказов было ясно, что наиболее трудным было наладить сбыт: хорошую цену давали только большие столичные рестораны, а чтобы установить с ними прочные связи, необходимо было иметь всегда в запасе чуть ли не тысячи штук откормленной птицы, что мелким хозяйствам было недоступно. В конце концов, я, впрочем, боюсь сказать, было ли его хозяйство рентабельно, как он говорил, или же, как и вообще северные хозяйства, было скорее дорогой игрушкой богатого человека.

В Валдайском уезде поселился, выйдя в отставку, очень красочный, по всем отзывам, генерал Косаговский (лично я его не знал), организовавший персидскую казачью бригаду, на которой последние годы держалась власть династии Каджаров. Когда после русской революции из этой бригады были удалены русские офицеры и их заменили персы, унтер-офицеры без всякого образования, один из них, Риза-хан, вскоре сам стал шахом. Про Косаговского говорили, что он завел у себя в имении целый гарем, и вообще делал все, чтобы возбудить против себя местных крестьян, в результате чего и был расстрелян уже в первые месяцы после Октябрьской революции.

Боровичский уезд пересекался поперек Николаевской дорогой, и в нем было около нее много мелких владельцев, полудачников, способствовавших оживлению его культурной жизни. В нем больше всего оставалось и старых коренных помещиков, в массе, однако, обедневших. Отсюда вышли Горемыкин, Коковцев, гнездами сидели здесь Аничковы и Панаевы, и надо признать, что большинство всех их было людьми культурными, не походя в этом на массы помещиков других уездов. Во главе их стоял в то время Д.В. Стасов, менее известный брат Владимира Васильевича, но такой же чистый и хороший человек. Когда я с ним познакомился, ему было около 70 лет, но он оставался все таким же энтузиастом, как в молодости, и моральной оценкой его все дорожили. Я уже упомянул, что когда я вступил в Губернское земское собрание, там страстно обсуждался вопрос о принятии на себя Губернским Земством дела начального народного образования, что, однако, было отвергнуто. После этого, так как я был в числе голосовавших против него, я считал себя морально обязанным провести в нашем Старорусском уезде то, что тогда называлось «всеобщим» народным образованием, и в 1900 г. мое предложение об открытии новых 67 школ в течение 10 лет было принято. После этого в Губернском земском собрании Стасов подошел ко мне и поблагодарил меня за это, точно это была личная моя ему услуга.

Аничковых я знал четверых. Самым симпатичным из них был Иван Васильевич, член Новгородского Окружного Суда, большой любитель наших древностей. Брат его Евгений был либеральным приват-доцентом по истории общей литературы, и в Новгородской жизни участия не принимал. Судьба свела меня с ним только в Польше в 1915 г., где он, уже пожилой человек, был прапорщиком в штабе 25-го корпуса; нас обоих вьюга захватила в Стопнице, наши автомобили застряли в снегу, и мы затем целую ночь ехали с ним 60 верст в крестьянской подводе до Келец. По-

разила меня тогда его фраза о его странной судьбе, что он, старый либерал, попав в Польшу, становится здесь понемногу антисемитом. Еврейский вопрос на западе России был тогда определенно болезненным, и антисемитизм заражал часто людей, казалось бы, наиболее к нему не восприимчивых. Впрочем, мне к нему еще придется вернуться.

Двоюродный брат этих Аничковых, человек очень бесцветный, был одно время предводителем в Боровичах, а его брат Дмитрий, адъютантствовавший в Петербурге, считался ярким либералом. В Японскую войну он попал в Сибирские казаки, и потом рассказывал, что известие об убийстве Плеве приветствовали на позициях их дивизии криками «ура». Перед Аничковым предводителем в Боровичах был старик, отставной горный инженер Михель, с которым постоянно случались разные анекдоты. Много смеялись, например, над казусом, что в Чудове его спутник по купе захватил по ошибке его штаны, и Михель, вылезший в Волхове, оказался в трагикомическом положении. Из Боровичского уезда был и один из первых членов Государственной Думы от Новгородской губернии Корсаков, умный и знающий адвокат и порядочный человек, однако, в местной жизни не принимавший почти участия.

Устюженский уезд присылал только одного интересного гласного, петербургского мирового судью Окунева, инициатора в России судов для малолетних преступников. Помнится мне его рассказ, как в находящейся под его наблюдением колонии для них он наладил производство «старинных» икон, причем для придания металлическим ризам вида древности, по ним стреляли из дробовика. Как тогда хохотали над Окуневым, что исправления воришек он добывается путем обучения их подделкам.

Тихвинский уезд присылал в Новгород в течение более 25 лет своего предводителя М.М. Буткевича, крайне скромного человека, которого все уважали и любили. Несмотря, однако, на всю его культурность и деликатность, крупным деятелем он не был и роли в Губернском Земстве не играл. В первые годы его службы предводителем, в уезде шла ожесточенная борьба между его сторонниками и семьей Агафоновых, до него распоряжавшейся всем в уезде. При тогдашней «цензовой» системе право участия в выборах принадлежало лишь владельцам определенных цензов, т.е. недвижимого имущества. Поэтому в Тихвинском уезде в те годы создавались искусственные цензы – отделялись несколько сот десятин болот, ни во что не ценившихся, и по купчей передавались какому-нибудь новому фиктивному землевладельцу, все обязанно-

сти которого сводились к поддержанию на выборах того или другого кандидата. В Тихвинском уезде, таким образом, было создано в те годы и около 50 таких искусственных цензов, и партия Буткевича победила двумя-тремя голосами. Против него, в сущности, возражений, кажется, ни у кого не было, но оппозиция была, главным образом, против председателя Земской управы Бередникова, под влиянием которого, говорили, находился Буткевич.

Теперь смешно припомнить, что Бередников мог считаться либералом. Как и многие другие его единомышленники в то время, он дальше весьма осторожных фраз не шел, но и этого было тогда достаточно, чтобы, когда в 1905 г. произошла первая русская встряска, Бередникова забаллотировали. В Губернском земском собрании он был из наиболее многоречивых ораторов, хотя и не из более деловых. Кстати, скажу, что действительно хорошо в те годы говорили в Губернском земском собрании только Колюбакин и Сомов, и человек 10 говорили дельно, большинство же молчало или даже мирно спало. Из Тихвинского уезда был гласным еще Тимирев, с которым я позднее 10 лет пробыл в Государственной Думе.

Из Череповецкого уезда, кроме Сомова, были Румянцев и Милютин, с которыми я был позднее в Гос. Думе. Румянцев в 80-х годах был председателем местной Земской управы и был повинен в том, что правительство приостановило в Череповце деятельность земства, а самого его сослало в Вятку. Позднее я его спросил про этот инцидент, и он мне рассказал, что его идея была, чтобы плательщики поземельного налога сами его разлагали между собою, и поэтому он провел в Земском собрании, чтобы налог этот распределялся управой только по волостям, а в них – по отдельным плательщикам их общим собранием. Конечно, результатом этого был только общий хаос, и от этого пришлось очень быстро отказаться. Во всем этом курьезно более всего, однако, было то, что правительство усмотрело во всем этом революционную крамолу и сослало Румянцева. Когда через 15 лет после этого он вернулся в Губернское земское собрание, где я с ним познакомился, я, сознаюсь, был очень в нем разочарован: по всем рассказам я ждал увидеть в нем крупного человека, а оказался он милым старичком, но абсолютно непрактичным. Более всего поразило меня, в конце концов, то, что из-за такой безобидной личности могли приостановить в уезде работу земства.

Милютин, дельный инженер Петербургского водопровода, был племянником И.А. Милютина, в 80-х годах известного всей культурной России Череповецкого городского головы. При нем

Череповец, городок тогда с 6000 жителей, получил название «Северных Афин», ибо в нем было около 1000 учащихся; то, что теперь является почти общим правилом – городок с тремя средними учебными заведениями тогда было явлением исключительным. Ивана Андреевича я встретил уже стариком. Ходил он тогда всегда в сюртуке с черной овчинкой на плечах и особенно интеллигентного впечатления не производил.

Два северных уезда – Белозерский и Кирилловский, были наиболее захолустными в губернии. В Белозерске большое влияние имели инженеры Кульжинские: отец, а позднее и сын, обычно проверявшие в Губернском земском собрании все технические сметы. Как техники они пользовались авторитетом, но почему-то популярными в Собрании не были. Одно время предводителем в Белозерске был Владимирский, издатель «Петербургского Листка», трактирной газетки, основанной его отцом. Владимирский был на два года старше меня по Правоведению, всегда отличался своей хлыщеватостью, и авторитетом нигде не пользовался.

Кирилловский уезд был уделом многочисленной семьи Тютрюмовых. Я застал из них в Новгороде Александра, бывшего тогда там управляющим отделением Госбанка. Небольшой и не презентабельный, он симпатий никому не внушал, и я думаю, что именно это, а не его довольно умеренный либерализм, сгубило его карьеру в 1905 году. Два его брата были – предводитель дворянства и председатель Губернской земской управы; первый из них кончил свою деятельность как-то печально, а другой был таким зайкой, что как-то в уездном Земском собрании был приглашен «переводчик» для истолкования его объяснений. Наконец, один из братьев был где-то на севере исправником. Словом, положение в уезде было такое, что как-то Бередников даже сострил, говоря в Земском собрании про гласного «Александра Кирилловича, представителя Тютрюмовского уезда». Остроумие было не Бог весть какое, но все невольно усмехнулись. Всю семью Тютрюмовых возил Игорь Матвеевич, видный юрист, профессор гражданского права и позднее член Гос. Совета от Новгородского земства. Когда Стасов отказался быть дальше гласным, на его место был избран председателем редакционной комиссии именно Тютрюмов, и всегда прекрасно вел ее. Кирилловский уезд долгие годы выбирал предводителем дворянства старика Богдановича, в общем – копию Сиренко, так же, как и тот, пользовавшийся канцелярскими суммами. После его смерти эти суммы привлекли ряд других кандидатов в предводители, которые, однако, все были хуже один другого. Про одного из них, совершенно спившегося, рассказы-

вали, например, что он из милости жил на печи у содержателя почтовой станции: невольно являлась мысль, что вся предводительская организация, столь до революции влиятельная, уже совершенно себя пережила.

В Губернском земском собрании участвовали, как и в уездных, еще представители «ведомств»: «казны» и епархиального ведомства. Ими были в эти годы управляющий Госимуществами Лебедев и епархиальный наблюдатель церковных школ Спасский. Роль их была минимальна (Лебедев обычно только подавал протесты против неправильного обложения казенных земель), но тогда как к Лебедеву отношение было добродушное, Спасского все дружно терпеть не могли, впрочем, не могу сказать, за что.

Мне пришлось как-то в первые годы председательствовать один раз в Губернском земском собрании, и довольно неудачно. Прения по какому-то пустяшному вопросу чрезмерно затянулись, и я их прекратил своей властью. Закон давал мне право на это, но это была неустановившаяся практика, и мне за это после конца заседания досталось от старших гласных, в чем они, должен сознаться, были правы.

В первые дни Собрания члены редакционной комиссии, разделившись на группы, осматривали разные учреждения земства. В то время Губернское Земство ведало у нас борьбой с эпидемиями и эпизоотиями, и, в частности, содержало в Новгороде заразную больницу. Одно время издавало оно свой очень недурной журнал и содержало сельскохозяйственную школу в Григорове под Новгородом. Ближе я ее не знал, но общее впечатление о ней осталось скорее отрицательное, как об учреждении недостаточно практически поставленном. Позднее я был в числе тех, которые голосовали за открытие взамен этой школы учительской семинарии. В ведении Губернского Земства находились в то время все почтовые станции губернии, передававшиеся ему почтовым ведомством, которые оно в свою очередь сдавало частным «стойщикам». Не помню точно, сколько земство на этом зарабатывало, но, кажется, что-то около 20.000 рублей. Характерно в этой операции было лишь то, что ежегодно один из членов Губернской земской управы ездил в Тверь, где помещалось Управление почтового округа, и передавал его начальнику взятку в размере 3000 руб. Кажется, она выплачивалась до самой революции, но поручиться за это не могу.

Позднее земство приняло на себя также содержание в пределах губернии казенного шоссе за годичную плату в 160.000 руб. Из этой суммы оставалась у земства экономия около 35.000 руб. в год, которая распределялась между уездами на капитальные до-

рожные улучшения. Наш Старорусский уезд на эти остатки замащивал около полутора-двух верст пути в год. Любопытно было, что по условиям передачи шоссе земство было обязано довести толщину щебеночной коры на нем до 6 вершков, тогда как по приемочным ведомостям она на ряде верст была тоньше одного вершка. Когда я спросил, как это, лучшее во всей стране шоссе, соединявшее обе столицы, могло быть доведено до такого плачевного состояния, то мне объяснили, что ассигнуемые на поддержание шоссе кредиты были всегда достаточны, но воровство на нем было исключительное. Повторяю то, что уже приводил выше, что ежегодно назначалось на ремонт шоссе количество щебенки даже превышающее нормальную необходимость, которое и принималось особой комиссией с участием представителя Гос. Контроля. Составляли они надлежащий акт, кучи щебенки закрашивались охрой, и все казалось чинным и благородным. Однако после отъезда комиссии рассыпалась только покрашенная щебенка, а остальная перевозилась на следующую версту, где вновь принималась через год. Не удивительно, что при таких нравах шоссе было близко к полному исчезновению.

Благодаря деятельности М.А. Прокофьева, Новгородское земство было передовым в области противопожарных мероприятий. В Колмове, где был устроен черепичный завод, возводились также опытные огнеупорные постройки. Не все эти опыты были удачны, и, например, уже позднее я слышал, что Колмовская черепица была в нашем сыром климате не достаточно стойка, но, во всяком случае, заслуг нашего земства в этом отношении отрицать нельзя; если оно и виновато в чем, то, главным образом, в том, что не было достаточно энергично в этом отношении, но для этого не хватало кредитов.

Рядом с черепичным заводом помещалась Колмовская больница для душевнобольных, с которой у меня установились связи на 20 лет. Когда-то Колмово было монастырем и, если не ошибаюсь, архиерейской дачей. Позднее я видел немало других психиатрических лечебниц, но наше Колмово ни в каком отношении другим не уступало, несмотря на свое старое помещение и на ограниченные отпускавшиеся ему средства. Несомненно, основная заслуга в этом принадлежала медицинскому персоналу больницы. В 1897 г. главным врачом ее был д-р Синани, которого заменил через несколько лет д-р Краинский, бывший позднее профессором в Харькове, и, наконец, д-р Фрикен, начавший в Колмове свою службу младшим врачом. У всех у них были свои особенности, но ни одного из них нельзя было назвать заурядным врачом. Синани был

из тех психиатров, которые сами под конец становятся несколько странными, но ему принадлежит заслуга введения в Колмове лечебного порядка, который делал эту больницу образцовой. В отделении для буйных он отменил связывание больных, и не помню я, чтобы в Колмове были и изоляторы. Ввел он и размещение спокойных больных на работы к соседним крестьянам.

Синани ушел из-за разногласия с Губернской земской управой, но заменивший его Краинский ничего серьезного в Колмове не изменил и только, в частности, улучшил его порядки. Человек энергичный, способный и молодой, он, однако, оживил персонал больницы после уже устаревшего несколько Синани, и я бы сказал, что за 20 лет эти годы были самыми блестящими. Фрикен, впрочем, сумел поддержать больницу на том же уровне.

Большинство больных в Колмове ничего интересного не представляло. В первые годы я застал там писателя Глеба Успенского; он ненавидел Синани, и по секрету жаловался, что тот кормит его мясом своей собственной дочери. В 1899 г. в числе гласных оказался петербургский журналист Соколов, который использовал пребывание в Новгороде для нескольких фельетонов, в одном из коих описал, в какую развалину превратился Успенский. Эта заметка возмутила родных писателя, которые после этого перевели его в другую лечебницу, где он вскоре и умер.

В Колмове долгие годы находился также актер Бураковский, который очень ценил, когда его узнавали. Это был один из немногих больных, которых я знал и которые сознавали, где они находятся. Он страдал манией величия и по секрету сообщал, что он сын Александра III, и в детстве его подменили в царском дворце на сына чиновника Бураковского, который и царствует под именем Николая II. Позже Бураковский был уже чудотворцем Николаем, и врачи предсказывали, что он закончит Господом Богом.

В Колмове был небольшой павильон Машковцевых, построенный этой семьей для их сестры, одной из первых студенток высших женских курсов. Она считала себя хозяйкой этого здания, и все посещавшие его должны были к ней подходить и здороваться. После этого она старалась незаметно тронуть их сзади, все время бормоча что-то, в чем иногда удавалось разобрать имена Сеченова и Мечникова.

Несмотря, насколько я мог судить, на хорошее отношение к больным, в Колмове раза два возникали судебные дела об увечьях. Про подобные случаи не раз приходилось слышать мне и в других больницах, и всегда врачи объясняли их хрупкостью костей у душевнобольных. Весьма вероятно, что так это и есть,

но подобные казусы всегда вызывали обвинения против персонала, быть может, преувеличенные, но не всегда обоснованные, ибо низший персонал больниц в те времена был нормально совершенно к этим функциям неподготовлен.

Во время пребывания в Новгороде понемногу знакомился я с его стариной, теперь, по-видимому, так жестоко пострадавшей от немцев. Знатком ее я никогда не был, как и вообще никогда не мог сделаться каким-либо узким специалистом, но от увлечения прелестями далекого прошлого никогда свободен не был. Всегда я был под очарованием народных легенд, а в Новгороде, куда ни двинься, везде все ими было полно. Как прелестны своей наивностью все легенды о Святом Савве Вишерском или о епископе Иоанне. Вероятно, не многие видели скромные «палаты» владыки, где сохранялся его якобы чуть ли не 1000-летний умывальныйник, в котором он когда-то закрестил соблазнявшего его дьявола. Когда я впервые был в Новгороде, там еще жил Ласковский, много поработавший над его стариной, и инициатор музея, помещавшегося напротив Софийского Собора. И тут поражала наивность нашего древнего искусства, хотя бы, например, изъятые из северных церквей скульптурные изображения святых, вроде, например, серии их из жизни, если не ошибаюсь, Святого Сергея Радонежского, первое из коих изображает его ребенком, отстраняющим рукой грудь матери с объяснением: «В постные дни не желает принимать даже молоко матери».

В те дни производился ремонт Софийского собора, и архиепископ Гурий привлек к нему наиболее известных тогда знатоков искусства во главе Д.П. Боткиным. Не жалел Гурий и средств; однако, когда работа была закончена, ее стали с разных сторон критиковать, чем бедный старик был очень огорчен, ибо сам в вопросах искусства плохо разбирался, и не думал, что и Боткин тоже не достаточно в них компетентен. Между тем, Д.П. – знаток западной и особенно голландской живописи, древнерусскую знал, по-видимому, очень мало.

Позднее архиепископ Арсений образовал еще епархиальный музей, в котором был ряд замечательных икон; среди них выделялась икона Спасителя работы Симона Ушакова. Этому художнику ставили часто в укор его итальянизм, и, действительно, меня как-то поразило сходство этой иконы по тонам со знаменитой «Ледой» Корреджио, которую я перед тем незадолго видел в Вене.

В Новгороде в то время существовал уже частный музей Передольского, позднее, незадолго до революции купленный в казну. Как и многие другие подобные музеи, составленные частными

лицами, в нем, наряду с ценными находками во время производившихся им долгие годы раскопов, преимущественно в районе Рюрикова Городища, было немало и дребедени. Но, к сожалению, изучение его собраний было мало кому доступно, ибо характер у Передольского, как говорили, был не легкий и, особенно с годами, он мало кого допускал в свой музей. Я в нем был всего один раз благодаря графине Медем, предложившей мне еще в первые годы поехать туда с нею. Что-то из всего этого сохранилось?

Любители местной старины всегда были в Новгороде, но в 1897 г., кроме Передольского, еще ни о ком из них не говорили, и на сохранение ее внимания не обращали. О замечательной работе Юкина по обнаружению старинных фресок и реставрации живописи стали говорить только в последние годы перед революцией. Припоминается мне, между прочим, этот фанатик своего дела, когда в январе 1917 г. вместе с несколькими другими гласными был я в церкви Феодора Стратилата и видел там Юкина, работающего в ее куполе, несмотря на то, что в церкви была температура ниже нуля.

Познакомился я в Новгороде с местным антрепренером и актером Мерянским (Богдановским), издававшим также «Волховский Листок». Жаловался он постоянно на цензуру, но, кажется, главные неприятности с нею у него были из-за его выпадов, которые имели исключительно личный характер.

После Губернского земского собрания я конец зимы провел в Петербурге. Отец записал меня тогда кандидатом в члены Английского Клуба, и в марте 1898 г. я и был им выбран. Если не ошибаюсь, для этого надо было получить не менее 6/7 белых шаров, но избрание было в это время легче, чем раньше, когда очереди вступления в число 400 членов приходилось, как и в Москве, ждать годами. Английский Петербургский клуб был клубом преимущественно высшего чиновничества и земельного дворянства. Высшая аристократия собиралась на Морской в Яхт-клубе, где бывали и великие князья. Недалеко от Английского Клуба на Дворцовой набережной помещался «Новый Клуб», посещавшийся преимущественно военной богатой молодежью, и, наконец, на Невском шла большая игра в Сельскохозяйственном клубе, собиравшем представителей свободных профессий. Кстати, азартные игры официально нигде не разрешались, но в определенные дни после полуночи в задних комнатах клубов они шли везде. Они были значительным доходом клубов, ибо каждая метка производилась новой колодой, чтобы предупредить шулерство, а за карты клубы взымали приличную приплату.

Английский клуб, в котором отец был членом уже много лет, помещался в собственном очень нарядно отделанном доме (может быть, с избытком позолоты). Ведали им 9 выборных старшин, – должность, считавшаяся почетной и требовавшая хороших средств, ибо полагалось, что дежурный старшина приплачивает из своего кармана за улучшение субботнего обеда, на который собиралось человек до ста. В эти дни в клубе бывало и немало гостей, приезжих из провинции. После обеда расходились по трем этажам дома: кто в бильярдную, кто в кегельбан (где особенно отличался мой бывший профессор Мартенс), большинство же усаживалось за карточные столы.

Я в клубе бывал довольно редко. Вначале я играл в винт и, если не ошибаюсь, в 1907 г. не возобновил своего билета. В то время смеялись, что я упустил случай стать со временем бесплатным членом клуба – привилегия старейших по году их избрания членов, а я был при избрании на много моложе всех остальных его членов. Стариков в клубе было большинство, и среди них выделялся граф Гейден, праздновавший уже 50-летие пребывания в адмиральских чинах и мичманом участвовавший в Наваринском бою, в котором его отец командовал русской эскадрой. Изредка он еще бывал в клубе, где рассказывали, что, играя в вист со своим 80-летним братом, еще в 60-х годах бывшим начальником Главного штаба, но на 10 лет его младшим, он кричал на него при спорах о неправильном ходе: «Молчи, мальчишка!».

Среди моих клубных партнеров по винту запомнились мне несколько лиц, не раз упоминавшихся в общественной жизни и тогда, и позднее. Из стариков отмечу И.Н. Дурново, бывшего раньше министром внутренних дел, а тогда занимавшего пост председателя Комитета Министров. Человек он был, несомненно, не крупного ума, но всеми считался порядочным, в отличие от своего дальнего родственника П.Н. Дурново, у которого и тогда, и позднее была репутация умницы. И.Н. Дурново отличался от своего однофамильца и своим добродушием, которого у того и в помине не было. Другим моим партнером-стариком был генерал Авинов, молчаливый и хмурый, напоминавший мне известную картину «Сдача Шамиля», на которой он изображен молодым капитаном. Винтил я в клубе также с будущими министрами Кривошеиным и А. Треповым. Кривошеин был скромного происхождения (если не ошибаюсь, сын каптенармуса Варшавской цитадели), и сделал карьеру без всякой чужой помощи. Ему придавал воинственный вид шедший через все лицо глубокий шрам, происхождение коего мне объяснил А.И. Гучков: в молодости Кривошеин ухаживал

в Москве, по-видимому, с успехом, за какой-то девицей, за которой ухаживал также некий Гатцук, сын издателя известного тогда календаря Гатцука и менее известной «Газеты Гатцука». Гатцук пустил про Кривошеина какую-то грязную сплетню, что вызвало их дуэль на эспадронах, на которой Гучков был секундантом. Гатцук нанес Кривошеину страшный удар по голове не то, когда тот упал, не то, когда дуэль была приостановлена, за что потом судился, и был осужден за нарушение правил дуэли. Еле выжив от этой раны, Кривошеин женился на Е.Г. Карповой, дочери московского профессора истории и сестре жены моего двоюродного брата В.В. фон Мекк. После этого он перебрался в Петербург, где и стал делать быструю карьеру. Когда я с ним познакомился, это был выдержанный, спокойный человек, несомненно, умный и умеющий, когда нужно, показать товар лицом.

Совершенно бесцветным был А.Ф. Трепов, как и я, бывший тогда предводителем дворянства, кажется, в Полтавской губернии, но значительно меня старше. Своим выдвижением он был первоначально обязан, главным образом, своим братьям. Род Треповых начался с их отца, известного петербургского обер-полицмейстера, подкидыша, получившего, как говорили, свою фамилию от лестничной площадки (по-немецки *Trepphoffs*), на которой он был найден. В эмиграции в бумагах В.П. Платонова, бывшего в годы Польского восстания 1863-1866 гг. министром Статс-секретарем Царства Польского, я видел письмо ему этого Трепова, тогда варшавского полицмейстера, очень характерное для той эпохи. В те годы конфискованные имения польских помещиков, участников восстания, раздавались в виде майоратов русским генералам и администраторам, служившим в Польше, и из письма Трепова я узнал, что мерилом при этом служил чин одаряемого. Трепов тоже получил майорат по своему чину генерал-майора, но просил о замене его бoльшим, указывая, что его заслуги по подавлению восстания дают ему на это право. Не знаю, каковы были результаты этого письма. Из его сыновей мне пришлось потом встречать еще, кроме Александра, Федора, бывшего Киевским генерал-губернатором, о котором мне еще придется говорить. Из двух других братьев – по-видимому, способных – Дмитрий, прославившийся своим приказом «патронов не жалеть», как мне говорили, далеко не был тем обскурантом, каким он остался в памяти многих и, наоборот, понимал необходимость изменений в тогдашнем строе, но его внезапная смерть в 1906 г. помешала ему улучшить тогдашнее положение.

Быструю карьеру делал и 4-й брат, Владимир, бывший директором Департамента Общих Дел в Министерстве внутренних дел – пост, от которого зависели все назначения губернаторов. Эта карьера, однако, оборвалась на деле о ремонте дома министра внутренних дел, порученного ему Сипягиным при назначении его министром. Дело это огласки не получило, но утверждали, что этот ремонт обошелся в громадную по тому времени сумму 200.000 руб. Говорили еще, что Трепов был повинен только в излишнем доверии к экзекутору министерства, которому он поручил непосредственное наблюдение за работами и который на этом хорошо поживился. Но были и такие, которые не доверяли бескорыстию и самого Трепова, которого переместили потом в Сенат. Позднее он занимаясь частными железнодорожными делами, и роли больше не играл.

Молодежи в клубе было мало, и среди нее не вспоминаю никого, кто бы позднее выдвинулся на том или ином поприще. Впрочем, большинство моих однолеток моего круга в те годы собирались больше в «Новом Клубе».

В январе 1899 г. состоялось первое Губернское дворянское собрание, на котором я принимал участие. Позднее я принимал участие в этих собраниях и в Петербурге, где они имели несколько другой характер благодаря преобладанию в них дворян-домовладельцев над землевладельцами, но ритуал их был один и тот же, установленный еще законом Екатерины II. Впрочем, уже на моей памяти от него стали все больше и больше отступать. Сейчас даже комично вспомнить, как закон пытался урегулировать все детали – вроде, например, того, что собравшиеся в день открытия собрания дворяне должны были следом за губернатором шествовать попарно в собор к молебну и также попарно возвращаться в дом дворянства, где собрание «торжественно» открывалось губернатором. В Новгороде собрание продолжалось обычно три дня, и, кроме выборов, ничего интересного не представляло. Никакого, например, сравнения с Губернским Земским Собранием, после которого оно обычно собиралось, прения в дворянских собраниях не выдерживали. Единственный вопрос, более интересный из обсуждавшихся в них, был о стипендиях для детей дворян, но и то большинство из этих стипендий были казенными, а не за счет дворянского обложения. Съезжалось на эти собрания в Новгород около 150 человек, и среди них, наряду с университетскими профессорами, встречались прямо ископаемые, с идеями, уже моему поколению часто совершенно непонятными.

Если в прошлые времена дворянские собрания имели, быть может, одной из побочных задач – оживлять своим церемониалом крайне скучную провинциальную жизнь, то при мне и она не достигалась. Единственное интересное зрелище представлял молебен в Софийском соборе, по этому случаю более торжественный, чем обычно. Служил его обычно архиепископ Арсений, о котором я уже упоминал и к которому многие заходили во время земского и дворянского собраний. Человек вообще суровый, он и во время этих посещений часто не стеснялся в оценке современных событий. Уже во время войны, в начале 1917 г., видел я в соборе и молодого его викария епископа Алексея, нынешнего Патриарха Московского*. Кто бы подумал тогда, что так скоро старая Россия исчезнет, и что всего через 30 лет я буду писать о ней в далекой Бразилии, как о невозвратном прошлом!..

Дворянские выборы (обычно так, сокращенно, назывались вообще наши собрания) происходили в последний день. Сперва имели они место за уездными «столами» на уездные должности, причем, требовалось присутствие не менее 12 дворян этого уезда. Если их было меньше, то губернский предводитель присоединял их к одному из соседних уездов, но в последние годы перед революцией интерес к этим выборам настолько упал, что на севере нашей губернии даже в двух соединенных уездах не набиралось подчас 12 человек. Полагалось, что дворяне уезда, к которому присоединялся уезд более слабый, будут класть шары направо всем баллотирующимся, чтобы не идти вразрез с волей присоединенных к нему, но подчас это беспристрастие вызывало уже заранее сомнение, и тогда губернскому предводителю приходилось лавировать при выборе уезда, к которому присоединить, чтобы никого не обидеть. Надо сказать, что по закону на все должности выбиралось два кандидата, но по традиции губернатором утверждался (а губернский предводитель – Государем) всегда получивший большее количество голосов. Поэтому, после выбора основного кандидата всегда столковывались, что второму будет положено несколько лишних голосов. Однако на этой почве не раз получались неожиданные сюрпризы. Случалось, что клавшие налево 1-му кандидату, если он все-таки проходил, клали направо 2-му, и этот получал голосов больше первого. И бывало, что в сомнительных случаях сперва баллотировали, чтобы выяснить силу обеих группировок, кого-либо из второстепенных кандидатов.

* Эти строки написаны в 1940-50 годах. Имеется в виду патриарх Алексий I (Симанский С.В.). – *Примеч. сост.*

Так, уже позднее, моего брата Георгия баллотировали, например, в Орловские губернские предводители и, только когда он был выбран, пошел баллотироваться главный кандидат Куракин. В этом случае не было никаких подвохов, и брат знал, что его баллотировка является лишь пробной, но бывали случаи и иного рода. Так, в Твери, выбирали как-то сперва 1-м кандидатом в губернские предводители мужа моей тетки Алексея Римского-Корсакова, которого все и поздравляли с избранием, а затем переложили шаров 2-му кандидату Всеволожскому. В этом случае, как говорят, мой дядюшка сыграл, сам того не зная, роль пробника, ибо Всеволожский был настоящим кандидатом большинства, которое, однако, не хотело заранее лишиться голосов тех, которые предпочитали ему моего дядюшку.

В Новгороде я не помню таких случаев, и получившие большинство голосов обыкновенно сразу же утверждались губернатором, после чего происходили за губернским «столом» выборы на губернские должности. Только раз Медем не утвердил сразу выборов по Кирилловскому уезду, где все три выбранные после смерти Богдановича кандидата совершенно не отвечали тогдашним представлениям о предводителе. Губернский «стол» мог пересмотреть выборы уездов, и поэтому я предложил произвести за ним выборы Кирилловского предводителя, но мое предложение было отклонено во имя самостоятельности уездов. Медем утвердил потом предводителем, но лишь после вторичных выборов, одного из трех выбранных первоначально, человека смирного, но мало культурного и пьяницу.

В 1899 г. в последний раз был выбран губернским предводителем Васильчиков, через год назначенный губернатором, а в 1902 г. почти единогласно был выбран на его место Голицын. Обычно после избрания своего новые уездные предводители угощали обедом своих избирателей (независимо от того, были ли они их сторонниками или противниками), а затем все уезды объединялись для чествования губернского предводителя. Все это происходило в Новгороде в доме дворянства, где помещалось и, так называемое, Благородное Собрание – в сущности, клуб новгородского чиновничества, буфет которого и устраивал все эти обеды. Первое чествование Голицына сопровождалось вечером основательной попойкой, затянувшейся почти до утра и о которой у меня осталось порядочно курьезных воспоминаний, из коих приведу только одно, показывающее, как изменились с тех пор понятия. Тогда (это было, ведь, уже в 1902 г.) Васильчиков и Колубакин – правда, бывшие оба навеселе – могли долго спорить

о том, что такое «интеллигенция», и существует ли она в России. Васильчиков ее отрицал, как отдельную социальную группировку. Колубакин, наоборот, ее защищал. Теперь, когда из России этот термин распространился по всему свету, как-то даже смешно вспомнить, что еще так недавно возможность существования соответствующей ему общественной группировки могла вызывать столь горячие споры...

Весной 1899 г. отец купил дом на 12-й линии Васильевского Острова, за Средним проспектом. Район этот был, по тогдашним понятиям, очень отдаленный, и многие наши знакомые удивлялись, что мы забрались в такую глушь. Принадлежал дом адвокату Зеленко, незадолго перед тем судившемуся и осужденному в ссылку по громкому делу о мошенничестве. У Зеленко были большие связи среди высокопоставленных пожилых людей, падких на женский пол. Рассказывали, что он устраивал им обеды, на которые приглашал и красивых женщин не слишком строгого поведения, а затем пользовался этими знакомствами, чтобы устраивать те или иные дела. По-видимому, у него были большие связи и в жандармском мире, и в числе бывавших у него были начальник дворцовой охраны генерал Черевин и жандармский генерал князь Туманов.

Осужден был Зеленко по довольно курьезному делу: у отставного генерала Попова, потомка Потемкинского секретаря, было два сына, одного из которых он по завещанию лишил наследства за женитьбу против его воли. Обделенный обратился за советом к Зеленко, и по его указанию подал прошение об уничтожении завещания, как несправедливого, в Собственную Его Величества Канцелярию по принятию прошений. Это было учреждение с довольно оригинальной компетенцией, возможной только при абсолютистском строе. Оно рассматривало всевозможные прошения по вопросам, выходившим из рамок закона или даже противоречащим ему. По идее оно было коррективом к случаям, когда по латинскому выражению «*Summum jus, summa injuria esto*»*, но в действительности понемногу в Канцелярии выработалась практика не представлять на утверждение Государя решений, идущих вразрез с законом. Поэтому и прошение Попова, вероятно, не имело бы успеха, если бы пошло нормальным порядком, но Зеленко это и не интересовало; при Канцелярии состоял всегда жандармский офицер, вероятно в воспоминание о тех временах,

* «Высшее право – высшая несправедливость», т.е. слепое исполнение закона ведет к крайней несправедливости. – *Примеч. сост.*

когда по легенде Николай I, назначая Бенкендорфа первым шефом жандармов, дал ему платок, дабы утирать слезы вдов и сирот. В тот момент при Канцелярии состоял в этой должности молодой офицер Меранвиль-де-Сен-Клер, приятель Зеленко, которого тот убедил поехать к брату наследника Попова, унаследовавшему все состояние, и передать тому, якобы от имени управляющего Канцелярией барона Будберга, что Государь возмущен завещанием его отца и что Будберг советует ему добровольно поделиться наследством с братом. Оба Поповы были, как говорили, люди хорошие, но недалекие, и этот без всякой проверки согласился на раздел, но его тесть отправился проверить все к Будбергу, где и выяснилась вся махинация Зеленко. Ссылка на жительство, к которой были присуждены оба мошенника, как я уже говорил, была очень несерьезным наказанием, особенно для людей богатых, а Меранвиль еще до суда успел жениться на богатой собственнице известных тогда в Петербурге Воронинских бань. Из ссылки после отбытия наказания он перебрался в Ниццу, где о его процессе ничего не знали, и перевел туда все женино состояние, что дало ему возможность после революции оказывать помощь многочисленным русским эмигрантам, заброшенным судьбою на юг Франции; в это время он именовал себя «маркизом», не знаю, насколько законно, но, во всяком случае, он вполне искупил своей добротой погрешность своей молодости.

В доме Зеленко, когда отец купил его, жил квартирант князь Лев Кочубей, брат Виктора Кочубея, бывшего долгие годы начальником Главного Управления Уделов. Лев Кочубей, человек легкомысленный, быстро спустил свое значительное состояние и в ту пору был весь в долгах, перебиваясь случайными заработками на различных аферах. Часто носил он шляпу с очень широкими полями, якобы, чтобы напомнить фразу из «Полтавы»: «Богат и славен Кочубей, его поля необозримы», ибо настоящих полей у него уже не было. Поэтому, в 1905 г. все были удивлены известием о пожертвовании им миллиона рублей в образованный тогда комитет по воссозданию флота на добровольные пожертвования, и сперва не могли понять, откуда у него взялись деньги. Позднее говорили, что за его спиной стояли иностранные аферисты, надеявшиеся тогда продать России южноамериканские военные суда или получить выгодные заказы на постройку новых судов.

Когда отец въехал в дом после Кочубея, ему первое время так надоедали своими телефонными звонками разные кредиторы Кочубея, что он попросил переменить ему номер телефона. Кстати, телефон явился тогда у нас в доме новостью, ибо, хотя он суще-

ствовал в Петербурге уже ряд лет, мои родители, живя в центре города, не чувствовали в нем потребности.

В новом доме родители и сестры разместились первое время довольно тесно в главной постройке, а мне и братьям был отведен двухэтажный флигель во дворе. Позднее, по мере того, как все мы становились самостоятельными, в доме производились надстройки и перестройки. Затем все старшие из нас разъехались, и, наконец, родители, оставшись в нем одни с двумя младшими сестрами, решили сдать его (это было уже около 1914 г.) и перебраться вновь в центр города. Поместился тогда в их доме Музей Почвоведения, в то время еще очень скромное учреждение.

В нашем флигеле я помещался только во время приездов из Старой Руссы, и более постоянно занимали его только мои братья. Георгий, оставив Пажеский корпус, был эти годы студентом Технологического Института, из которого, впрочем, ушел в 1899 г. с 3-го курса после студенческих беспорядков, которые не позволили ему сдать экзаменов и лишили веры в возможность кончить нормально курс. Пошел он тогда вольноопределяющимся в Преображенский полк, и блестяще сдав в 1900 г. экзамены при Павловском Училище, остался в полку офицером. Следующий брат, Леонтий, был в те годы в специальных классах Пажеского корпуса, и одновременно с Георгием был произведен в офицеры в лейб-гусары. И наконец, младший, Адам, еще через год был выпущен в Конную Гвардию.

У братьев я видел многих их товарищей, иных еще мальчишками, других юношами, особенно из класса Леонтия. У него часто собирались, как раньше у меня, человек по 10-15 товарищей, и в те годы (как, вероятно, и сейчас) такие сборища не обходились без хорошей выпивки. Как и из моих товарищей, по-видимому, мало кто из них остался сейчас в живых, особенно принимая во внимание, сколько из них погибло на войнах Японской и 1-й мировой. В те годы жизнь гвардейских офицеров, конечно, не была серьезной, и со многим, что я прочитал в записках графа А. Игнатьева нельзя не согласиться. Однако мне кажется, что в описании им военных периода до Японской войны есть и утрировки. Затем надо заметить, что урок этой войны не прошел даром и что после 1905 г. военная подготовка, одинаково во всех частях, значительно поднялась.

Не лишнее также отметить, что уже в эмиграции, живя во Франции, мне пришлось убедиться, что еще и после 1930 г. во французских войсках обучение солдат производилось исключительно унтер-офицерами, и офицеры своими подчиненными почти не занимались. Главным недостатком тогдашнего офицер-

ства была пьянство и то, что в нем было порядочно лиц, военной службой совершенно не интересовавшихся. Но ведь пьянствовали тогда во всех слоях русского народа – от высших до низших, а если среди военных было много службой не интересующихся, то этому виной то, что в нее шло много людей, как, впрочем, часто в другие профессии, не по призванию, а потому что родители отдали их в военное учебное заведение, или потому, что лучшего ничего не подвернулось.

Когда братья были офицерами, мне приходилось бывать в собраниях их полков. Обычно бывали в них дни обедов с приглашенными, в одних более частые, в других более редкие, но везде угощение бывало на славу, и гостей старались не выпустить трезвыми. В Конном полку мне рассказывали, например, как за одним таким обедом напоили до бесчувствия Мольтке, немецкого начальника Главного штаба, через несколько лет столь печально отличившегося в 1-ю мировую войну. В Преображенском и Гусарском полках в дни их полковых праздников обычно засиживался долго после обеда и Николай II, проведенный в них годы своей военной службы. Потом писали, что он много пил, но братья мне говорили, что ни разу при них он лишнего не выпивал; вероятно его тянули в эту обстановку и воспоминания о времени, когда он жил в ней вполне беззаботно, а возможно также и то, что когда он жил в ожидании всегда возможных покушений, он мог быть вполне уверен, что эта военная молодежь его не предаст.

Еще зимой 1898-1899 г. я познакомился с семьей Охотниковых и стал бывать у них в доме. Следующей зимой эти посещения участились, в конце марта 1900 г. я сделал предложение старшей их дочери Екатерине, и в мае состоялась наша свадьба. Венчались мы в столь хорошо знакомой мне церкви Правоведения, и после обеда у моих родителей для родных и близких, уехали вечером в Рамушево. Как полагается, нас отговаривали венчаться в мае, чтобы всю жизнь не «маяться», но другая примета – проливной дождь во время венчания, была благоприятной, и, очевидно, пересилила дурное влияние мая: 47 лет прошли мы до сих пор вместе, и ни жена, ни я до сих пор не жалуемся на судьбу, которая нас свела вместе.

С семьей Охотниковых я вошел в новый круг людей. Охотниковы по преданиям были ветвью новгородского рода Ямских, память о которых сохранилась, кажется, только в церкви села Мшаги (недалеко от Шимска на Ильмени), где некоторые из них были записаны на вечное поминание. Именовались они тогда будто бы Ямскими-Охотниковыми, но документальных подтверждений

этому я не нашел, и первые точные указания на Охотниковых относятся только к царствованию Михаила Федоровича, когда «Гур Андреев Охотников писан был служилым человеком» сперва по Белевскому, а позднее по Московскому уезду (по тогдашней терминологии перевод в Московский уезд был почти вроде производства в следующий чин). Обязанности его были несложные: вместе с другими служилыми людьми в 7140 (1632) году охранял он в Белом городе Никитские ворота, а в 1737 был в свите бояр, посланных в Валуйки для переговоров с послами Крымского хана. Затем об Охотниковых ничего не известно до конца 18 века, если не считать, что один из них был одним из Петровских солдат Преображенского полка.

Во времена Павла три брата Охотниковых были гвардейскими офицерами, и один из них, Алексей, красавец-кавалергард, остался в придворной истории, благодаря стоившему ему жизни роману с Императрицей Елизаветой Алексеевной. Так как эта история описана в повести Шумигорского «Принцесса Иеверская» и частью у Мережковского, а также в биографиях кавалергардов Панчулидзева, то я ее здесь касаться подробно не буду. Панчулидзев использовал для биографии Алексея Охотникова сохранившиеся в семье записки его старой гувернантки и мемуары Вилламова, секретаря Императрицы Марии Федоровны. Кстати, использованы в этой и в других биографиях семейные материалы, опубликование которых в те времена считалось невозможным и которые в революционные годы, по-видимому, погибли.

Меня удивило, что в своей трехтомной истории Императрицы Елизаветы Алексеевны великий князь Николай Михайлович ни слова не упомянул про ее роман с Охотниковым, но из статьи Краковского профессора Ашкенази в эмигрантском «Голосе Минувшего» за 1923 г. я узнал, что этому роману была посвящена отдельная глава, которую, однако, даже особое положение великого князя среди историков его времени не позволило опубликовать. Что удивляет в описании этого романа в опубликованных материалах – это своеобразное отношение к нему наиболее близко заинтересованных в нем лиц. Охотников погиб от раны в бок кинжалом, полученной им при выходе из театра. Рана эта, по-видимому, сама по себе не смертельная, ибо умер он от нее всего через два месяца, была ему нанесена по предположению наемным убийцей, подосланным великим князем Константином Павловичем, влюбленным в жену брата, и, должно быть, узнавшем об этом способе устранять счастливых соперников в Италии, где он был в 1799 г. в свите Суворова.

Более понятно поведение Александра I, простившего жену, когда после смерти Охотникова она пришла сообщить царю, что она беременна от умершего, и предложить ему развестись с ней. По-видимому, Александр считал, что его собственное поведение, далеко не безупречное, давало и ей право быть ему неверной. Более странно, однако, отношение ко всему этому Императрицы Марии Федоровны, которая, не осуждая измен ни сына, ни невестки, находила, что всему виной было слишком строгое отношение последней к первым изменам мужа.

По словам Марии Федоровны, в виду бедности Охотниковых ее невестка поставила сама на могиле Алексея великолепный памятник, по собственному рисунку. Изображал он ангела, склонившегося над сломанной бурей березкой. Как-то я поехал в Александро-Невскую Лавру, где был похоронен Охотников и нашел, уже тогда заброшенную, его могилу с очень скромным мраморным памятником, в котором трогало лишь воспоминание об этой несчастной, единственной, по словам историка, любви красавицы-императрицы. В книге Гроссмана «Невеста Пушкина» я встретил указание, что теща поэта, Гончарова, гордилась тем, что отбила Охотникова у Императрицы. Возможно, что Гончарова и была любовницей Охотникова, но Императрица была, во всяком случае, его последним увлечением, и Гончарова его отбить у нее не могла.

Родной племянник этого Алексея Охотникова – Михаил Александрович, был дедом моей жены. Ротмистр Кирасирского Его Величества полка он женился на молоденькой дочери Царско-сельского предводителя дворянства А.П. Платонова Ольге. Когда он сделал ей, вернее, ее родителям предложение, ее вызвали из классной (ей было всего 16 лет) и, сообщив, что Михаил Александрович «сделал ей честь просить ее быть его женой», спросили, согласна ли она на это. Когда он уехал, получив ее согласие, она спросила, может ли теперь вернуться продолжать урок, и получила ответ, что больше учиться она не будет. Ольгу Александровну я помню уже красивой старухой исключительной доброты, которую все ее знавшие любили и которая объединяла не только семьи своих сыновей, но и других родных, до самих отдаленных. Хотя, надо признать, особенным умом она не отличалась.

Отец ее, Александр Платонович Платонов, 48 лет пробывший в Царском Селе предводителем Дворянства, и в 1887 г. переизбранный на эту должность на 17-е трехлетие, но сразу разбитый параличом, был, несомненно, человеком незаурядным. Был он незаконным сыном князя Платона Зубова, у которого, кроме него,

было еще трое детей (впрочем, от трех разных матерей). Мать Александра Платоновича вышла потом замуж и у нее была дочь, бывшая замужем за неким Похвалинским. Я еще видел старушку Похвалинскую, когда ей было больше 90 лет. Ее в семье очень любили и уважали. Когда ей было уже 93 года, ее вывернул на мостовую извозчик, но, несмотря на ее возраст, ей это прошло, как ничто.

Всем своим детям Зубов дал хорошее воспитание, оставил по миллиону и дал им положение; Александр Платонович был, например, сперва офицером Кавалергардского полка, куда по тем же «Биографиям Кавалергардов» был принят по особому высочайшему повелению, как «происходящий по удостоверению светлейшего князя Зубова от благородных родителей». Женился он на дочери директора всех оркестров гвардии Дерфельда (если не ошибаюсь, автора известного Преображенского марша. Кстати, уже в беженстве, изучая испанский язык, я наткнулся на указание, что этот марш получил полуофициальный характер при Мадридском дворе). Роли в семье она не играла, быть может, из-за деспотического характера мужа. Наиболее ярким примером его самодурства было его несогласие на брак его младшей дочери Натальи с ее двоюродным братом Менгденом на том только основании, что он был гораздо ее богаче. Наряду с этим, Александр Платонович был, однако, либералом, не боявшимся высказывать свои убеждения, и еще в 1849 г. поднявшим в Петербургском губернском дворянском собрании вопрос об освобождении крестьян, хотя и без успеха. Надо, впрочем, сказать, что, как и многие другие либеральные дворяне того времени, он предполагал, что это освобождение произойдет без наделения крестьян землей и, когда через 10 лет он был членом Петербургской редакционной комиссии по освобождению крестьян, то горячо протестовал в ней против этого наделения. Позднее я читал у моего тестя записки Александра Платоновича по этому вопросу, и они поразили меня тем, как за 40 лет даже без перемены режима перемешались взгляды.

Во время осады Севастополя Александр Платонович, захватив с собою двух старших сыновей-подростков, отправился туда и, хотя был зачислен в один из находившихся на охране побережья кавалерийских полков, просил о прикомандировании его к пехоте, дравшейся на бастионах, что и было сделано. После освобождения крестьян он поднял, опять же в Петербургском Губернском Дворянском Собрании вопрос об обращении к Александру II с просьбой о даровании конституции (это было, кажется, в

1862 г.). Большинство дворян ему сочувствовало, но не решалось прямо поддержать его. И резолюция Собрания гласила, что «выражая сочувствие предложению дворянина Платонова, признать возбуждение соответствующего ходатайства несвоевременным» (цитирую по памяти). Однако, и это, более чем умеренное постановление, вызвало негодование в сферах, и Платонову, а также губернскому предводителю графу Шувалову, допустившему обсуждение этого предложения, было по Высочайшему повелению предложено подать в отставку, что Шувалов и исполнил. Платонов же ответил министру внутренних дел, что он поступил, как ему указывала его совесть и убеждения, и что, не считая себя виновным перед Государем, в отставку не подаст; однако, если Государь не согласится с этим и удалит его от должности предводителя, то он безропотно примет это наказание. Удален он не был, и пробыл после этого предводителем еще 25 лет. Подымали он вновь позднее вопрос о конституции, я не знаю (в одной из книг профессора барона Б.Э. Нольде, напечатанной в эмиграции, я нашел указание на «платоновские» конституционные проекты, относящиеся, по-видимому, к более позднему времени). Не знаю я также, как Александр Платонович представлял себе – какова должна быть русская конституция? Но, по-видимому, она должна была походить на английскую, но с еще большим преобладанием в палатах дворянства*.

Александр Платонович не сочувствовал русской политике в Польше, и у него всегда бывало много поляков, один из коих, известный адвокат Спасович, посвятил ему очень сочувственный некролог. Перед смертью у него был католический патер Лагранж, и, хотя похоронен был Александр Платонович по православному обряду, в семье осталось предположение, что он перешел перед смертью в католичество. Говорили, что он передал тогда Лагранжу имевшиеся у него процентные бумаги, которых после смерти не оказалось. Лагранжа, очень авторитетного в Петербургском большом свете, я встретил глубоким стариком в Париже, в эмиграции, и он подтвердил мне, что Платонов, действительно, перешел в католицизм, но про бумаги, естественно, промолчал. Хотя со времени смерти Платонова прошло уже тогда почти 35 лет, Лагранж с нескрываемой враждебностью упомянул про его млад-

* На мое письмо Нольде ответил, что не помнит, откуда взял это указание, но, кажется, что из ненапечатанных мемуаров председателя Государственного Совета князя Гагарина.

шую дочь: «Cette Nathalie»*. Быть может, это надо приписать тому, что Наталья Александровна была очень предана православию, и потом устроила в имении отца – Вохоно (около станции Елизаветино) женский монастырь. Наталию Александровну молодежь семьи довольно непочтительно называла «архиерейшей» за ее преклонение перед духовенством.

Обе сестры Александра Платоновича были старше его; одна из них была замужем за командиром Преображенского полка графом Пирхом, и вторично, после его смерти, за сенатором Кайсаровым, если не ошибаюсь, бывшим адъютантом Кутузова, упоминающемся в «Войне и Мире» и взявшим Реймс во Франции в 1814 г. Одна из ее дочерей была замужем за Львовым, автором гимна «Боже, Царя храни». Другая сестра Александра Платоновича Платонова была замужем за графом Менгден; внучка ее, графиня Гюмпеш, родственница последнего великого магистра Мальтийского ордена, была, по семейным преданиям, первым серьезным увлечением Бисмарка, который ей делал якобы предложение во время своей службы в Аахене. Не знаю, верно ли это, но сопоставление лет, казалось бы, делает маловероятным, чтобы внучка Платоновой могла быть уже взрослой к этому времени.

Единственный брат Александра Платоновича Валериан, очевидно, названный так в честь Валериана Зубова, оставил несколько страничек записок, которые мне пришлось читать и переписать у его вдовы. Относились они к его детству, когда Зубов и до, и после 1812 года жил в Курляндии в имении своем Руэнталь, и к пребыванию его детей в военные годы в семье его племянницы Бороздиной, жены корпусного командира Отечественной войны и дочери известной О.А. Жеребцовой.

Отвлекусь здесь о семье Зубовых, чтобы привести несколько мелочей, по-видимому, нигде не опубликованных. О Платоне отзывы, большей частью, сохранились только отрицательные, и, в частности, ум его расценивался, по-видимому, невысоко; но тут сказалось, очевидно, неблагоприятное для него сравнение с Потемкиным, которого он заменил при Екатерине II, будучи тогда заурядным строевым офицером. В дальнейшем круг его знакомств указывает скорее, что ум его ценился высоко, и, например, когда обсуждался в 1812 году вопрос о назначении главнокомандующего, Александр в числе немногих привлеченных им членов этого совещания привлек и Зубова. Зато заносчивость Зубова, и особенно его скудость, стоят вне сомнения, также как и его, более

* Эта Натали (фр.).

чем легкое, отношение к женщинам. Женился он уже пожилым человеком на шляхтянке Валентинович. Встретив на какой-то ярмарке эту красавицу-девочку, он попытался сперва купить ее у ее матери, но, получив отказ, женился на ней. У Валериана Платоновича сохранился рассказ, как он играл с этой «мачехой» в куклы. После женитьбы Платон Зубов прожил недолго (умер он от рака), и все его громадное состояние перешло к почти что новорожденной его дочери, которая тоже вскоре умерла, и состояние осталось тогда у ее матери, а после нее перешло к ее детям от второго брака с Шуваловым.

Сестра Зубовых, Ольга Жеребцова, тоже красавица, известна, главным образом, своим косвенным участием в заговоре против Павла I. Она была любовницей английского посла Витворта, и через нее к заговорщикам шли якобы английские деньги. Александр I выслал ее после убийства отца за границу. В Англии она сошлась, как рассказывали в семье, с будущим королем Георгом 4-м, уже тогда правившим страной в период сумасшествия его отца. От этой связи у нее родился сын, получивший фамилию Норд; потомки его еще на моей памяти служили в лейб-гусарах. Позднее об Ольге Александровне упоминает в своих воспоминаниях Герцен, которого направили к ней как к возможной заступнице за него перед ее зятем Орловым, тогда шефом жандармов. У Герцена осталось о ней, по-видимому, симпатичное воспоминание. У нее в доме доживал свой век карлик ее брата, о котором я нашел упоминание в «Историческом Вестнике» в статье, кажется, Бороздина «Три столетних старца». Этот карлик оставил тетрадку записок, которая хранилась в Вохоне у Наталии Александровны Платоновой; что в ней было, не знаю, ибо Наталия Александровна не давала ее никому для прочтения, а в революционные годы сама она была убита, а дом ее сожжен. Таким образом, и тетрадка эта, вероятно, погибла.

Современному читателю, вероятно, покажется странным то обилие незаконных детей и то количество связей, о которых я упоминаю, но надо сказать, что Россия и 18-го, и начала 19-го веков не была в этом отношении исключением. Большим исключением было только то, уже отмеченное мною, отсутствие традиционной наследственности политических убеждений. Таким образом, например, в то время как из двух братьев генералов Орловых один был декабрист, бывший каторжник, и оставался в ссылке в Сибири, другому – зятю Жеребцовой – было доверено Николаем I руководство тайной полицией.

Возвращаясь к В.П. Платонову, отмечу, что и после смерти отца он воспитывался в семье Бороздиных и затем служил, почему не знаю, почти исключительно в Царстве Польском. При Александре II он сперва был товарищем министра Статс-секретаря по делам этого Царства, но то, что он был женат на польке и считался полонофилом, хотя и правых взглядов, помешало, по-видимому, его назначению министром до 1864 г., когда, после проведения в Польше «крестьянской» реформы, он сменил Милютину на этом посту и занимал его до его упразднения. Затем больше 20 лет он был членом Гос. Совета, но больше неprisутствующим, и жил во Франции, где и женился вторично на восьмом десятке лет на очень хорошенькой 16-летней француженке, главным образом, чтобы ей оставить свою большую пенсию. Она жила в Ницце еще в 1946 г., где, несмотря на свои старые годы, работала сестрой милосердия, ибо в 1917 г. лишилась этой пенсии. За несколько лет до отъезда в Южную Америку я бывал у нее, и как-то странно бывало в 1935 г. разговаривать со снохой фаворита Екатерины II, умершей в 1796 г. У нее сохранился большой чемодан с бумагами мужа, которые она мне показала как-то, желая их продать в какой-нибудь русский архив. Среди них были доклады Платонова Александру II с пометками последнего по вопросам, которые тогда считались секретными, но которые с тех пор многократно обсуждались публично. Ничего особенно интересного для себя я в них не нашел, кроме нескольких страничек воспоминаний Валериана Платоновича, уже упомянутых выше, и доклада его по вопросу об отношениях к католической церкви в Царстве Польском. Где сейчас находятся эти бумаги, не знаю.

Михаил Александрович Охотников после женитьбы поселился в родовом имении Дубовец около Орла. У него был брат Яков, старше его на 26 лет и от другой матери, с многочисленной семьей которого у него почти никаких сношений не было, и шесть сестер, все вышедшие замуж за Орловских помещиков, большей частью, ничем не достопримечательных. По-видимому, сестры Охотниковы были все красивы, и среди их потомства было тоже немало известных своей красотой. Когда я был в Москве кандидатом на судебные должности, там славилась своей красотой внучка одной из них – Наташа Секерина, которой особенно увлекался композитор Скрябин, но которому она предпочла гораздо менее интересного Маркова, моего сослуживца по Судебной Палате.

Вскоре Михаил Александрович, как я уже упоминал, купил 6000 десятин в Усманском уезде, по одному рублю за десятину, к которым прикупил позднее еще имение князя Голицына Салты-

ки и имение Мариных – Александровское. И Голицын, и Марины были из числа тех дворян, которые быстро разорились после освобождения крестьян. В Усманский уезд Охотниковы и перебрались после этих покупок, причем Михаил Александрович одно время был там предводителем дворянства. Вообще, в семье о нем сохранилось удивительно мало воспоминаний. Чему приписать это, не знаю, и только одна мелочь осталась о нем в памяти: он был крайне бережлив в мелочах, но свободно давал крупные суммы, чем и пользовались его сыновья.

Их было у него четверо: трое почти погодки и 4-й – лет на десять их моложе. Все они были военными, хотя старший Александр и кончил Морское Училище. Еще до производства в офицеры он увлекся своей двоюродной сестрой, красавицей О.К. Карцовой, но она заявила, что за моряка замуж не пойдет и потребовала, чтобы он вышел в гвардию. Хотя ему нравилась именно морская служба, он вышел тогда в Преображенский полк, но этим жену удержал ненадолго, и когда, будучи уже ротным командиром, он ушел на Турецкую войну, она увлеклась неким бароном Корфом. Когда муж ее вернулся из-за Балкан, первое, чем она его встретила, было требование развода. Он его дал и уехал на хутор, который построил в голой степи на границе Бобровского уезда и где единственным его интересом был небольшой конный завод. Служил он сперва мировым судьей, но отказался пойти в земские начальники, прослужил, как я уже рассказывал, полгода приставом в Москве и после этого окончательно засел на своем хуторе. 11 месяцев в году сидел он обычно на нем, копил деньги, и затем отправлялся в Петербург, куда брал обратный билет. Там в течение месяца спускал весь свой годовой доход (что-то около 20.000 руб.) и возвращался на хутор, когда в кармане у него оставалась лишь одна пятачка.

Увлекался он в эти годы пением одной цыганки из хора, которая чем-то напоминала ему его красавицу-жену, которую он до конца жизни не переставал любить. Правда, от кого бы я ни слышал об О. Корф (Карцовой) – все вспоминали о ней не только, как о красивой, но и очаровательной женщине. По-видимому, была она несколько шалая (одна из ее сестер, Офросимова, была сумасшедшая, а один из братьев со странностями) и быстрая в решениях и в словах. Когда в начале 1-й Великой войны ее 2-й муж, бывший тогда Варшавским губернатором, отправился проверить, как производится эвакуация гражданского населения, и был взят немцами в плен, она кому-то из родных сказала: «Слышали, мой-то дурак – немцам попался?».

Другой брат тестя, Михаил Михайлович, отставной штаб-ротмистр, был типичным степным помещиком. Кстати, именно в Усманском уезде мне пришлось потом увидеть, что многие литературные типы оказались удивительно живучими у нас на Руси. Стоек оказался, например, Ноздрев, многое от которого я потом замечал в Тамбовских помещиках. Но что меня поразило особенно – это то, что духовно они очень мало ушли от предшествующего поколения, так ярко описанного С. Атавой в его «Оскудении». Даже такая мелочь, отмеченная им, как то, что почти все они уходили в отставку штаб-ротмистрами, а затем кое-как перебивались в своих имениях, сохранилась без перемен. Михаил Михайлович был человек не дурной, но недалекий; в службе он не нуждался, но одно время был земским начальником. Женился он на своей соседке Плохово, женщине неглупой, но неприятной, которая смотрела на мужа свысока. Ее сестра была замужем за министром земледелия А.С. Ермоловым, честным и образованным, но очень невзрачным человеком, так что его подчиненный К. Скальковский дал ему прозвище «навозного жука», надолго за ним удержавшегося. Ермолов был из тех, кому суждены были благие порывы, но свершить ничего не дано, ибо во всех своих предположениях он натывался на противодействие Витте, всегда его третировавшего и обрезававшего постоянно кредиты на его Министерство, с чем невлиятельный Ермолов бороться был не в состоянии.

У Михаила Михайловича было пятеро детей. Двое его сыновей, давно умершие; старший из них, тоже Михаил, милый, но несколько слабовольный, был председателем Усманской уездной управы и после революции уездным комиссаром Временного Правительства. Женился он на дочери известного писателя Потапенко, которая сама тоже писала. Ее повесть «Тетрадь в сафьяне», напечатанная под псевдонимом Савватия, имела перед 1914 годом успех, и была основана, будто бы, на том, что она узнала из тетради, найденной на чердаке Александровского дома (это имение перешло к ее мужу). В семье моего тестя, где о бывших владельцах этого имения Мариных сохранилось воспоминание, как о людях пропившихся, мне говорили, однако, что о фактах, подобных описанным в «Тетради в сафьяне» они ничего не слыхали.

Младший брат тестя Григорий, хотя физически и походил на братьев, морально очень отличался от них. Быть может, это следовало приписать, впрочем, двум кровоизлияниям в мозг, бывшим у него, когда он был еще молодым офицером в лейб-гусарах. Он был «либералом», восхвалял кадетскую партию, но когда в годы

1-й революции я высказался публично за принудительное отчуждение земли, он был глубоко этим возмущен. Скупость была основной его чертой, и он невольно напоминал мне в ослабленном виде Иудушку Головлева. В семье его тоже недолюбливали, и молодежь часто потешалась над ним. Как-то две его племянницы, загримировавшись, пришли просить его пожертвовать что-либо на студентов. Ответом его было, однако, только приказание лакею: «Гони их в шею!». Другой раз он, однако, основательно перетрусил. Зная, что его либерализм не идет дальше слов, несколько его родных, к которым присоединился и я, написали ему анонимное письмо, угрожая ему, если он не пожертвует 100 руб. на Союз Русского Народа, доносом за то, что он ругает «царя и правительство». Эффект этого письма был, однако, гораздо больший, чем ожидалось. Григорий Михайлович перепугался невероятно, побывал у ряда кадетских лидеров, но, вместе с тем, 100 руб., несмотря на всю свою скупость, черносотенцам, кажется, заплатил. Неприятно было в этой смехотворной истории только то, что он заподозрил в авторстве этого письма несколько совсем неповинных лиц. Нам же, еще молодым, была наука: что могут вызвать даже такие, в сущности, безобидные шутки, если они делаются в анонимной форме.

Мой тесть Платон Михайлович Охотников, человек глубоко порядочный и чуждый всяких эксцессов, был офицером Конной Гвардии еще во времена, когда ею командовал Фредерикс, будущий министр Двора. На Турецкую войну этот полк, как и вообще 1-я Гвардейская кавалерийская дивизия, не пошел, но Платон Михайлович отправился на нее добровольцем, и был назначен ординарцем к герцогу Николаю Максимилиановичу Лейхтенбергскому, командовавшему кавалерийской бригадой, посланной в состав отряда Гурко в летний поход за Балканы. Николай Максимилианович, по словам тестя, прелестный человек, храбростью, однако, не обладал, и после боя под Эски-Загрой (ныне, кажется, Новой Загорой) был от командования отставлен, после чего тесть мой состоял при князе румынском Карле I во время штурмов и осады Плевны. О времени состояния при Николае Максимилиановиче тесть рассказал мне странный эпизод. Герцог увлекался всем сверхчувственным, и как-то за обедом в Плоешти, еще до начала боевых действий, предсказал, что двое из присутствующих будут убиты. Одного из них, пожилого полковника графа Роникера он назвал, и, действительно, тот был убит еще во время 1-го похода Гурко за Балканы. Другого Лейхтенбергский не назвал, но когда через полгода был убит его брат Сергей, тоже бывший на

этом обеде, то он сказал моему тестю, что он видел на лице брата печать смерти, но не хотел его назвать, увидев, какое тяжелое впечатление произвело на всех его указание на Роникера.

В 1878 году Платон Михайлович женился на младшей дочери в то время уже умершего адмирала Г.И. Невельского – Александре Геннадиевне. Об адмирале и его жене Екатерине Ивановне я написал отдельную статью, в которую включил и несколько до сих пор не опубликованных подробностей, которые мне пришлось слышать от детей адмирала, и поэтому здесь не буду повторять их. Александра Геннадиевна была младшей дочерью адмирала, и, видимо, была характером больше похожа на мать, чем на отца, на которого зато походила физически. Была она гораздо более живой, чем муж, и в обыденной жизни семьи сказывалось больше ее влияние, хотя в серьезных вопросах преобладало мнение Платона Михайловича. Единственный ее брат, Николай, был неудачником: нигде учения не кончил, небольшое свое состояние даже не прожил, а роздал без отдачи милым друзьям, служил на разных маленьких должностях, покушался на самоубийство, но и то неудачно: только выбил себе глаз, и после этого больше жил у Охотниковых. Был он, впрочем, человек безобидный, и его в семье все любили.

Несколько походила на него его сестра Мария Геннадиевна Кукель, тоже бывшая несколько не от мира сего. Еще молодой осталась она вдовой без всяких средств, и отдала себя всецело воспитанию двух своих сыновей, которые потом были дельными моряками. Когда Мария Геннадиевна овдовела и осталась без гроша с двумя маленькими сыновьями, она взяла их и отправилась на прием к управляющему Морским министерством Чихачеву, когда-то бывшему на Амуре подчиненным ее отца – Невельского. И Чихачев выхлопотал ей небольшую пенсию, а мальчиков определил в Морской Корпус.

Наиболее интересной в семье была старшая сестра Ольга Геннадиевна. Несколько лет пробыла она замужем за лейб-гусаром полковником Сорохтиным. Это были годы, когда гусарами командовал будущий верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич.

Сорохтин ничем, кроме военной службы и лошадьми не интересовался, тогда как Ольга Геннадиевна вся ушла в эзотеризм, и, естественно, что между ними ничего общего не имелось (она была старшей полковой дамой и, следовательно, на всех полковых торжествах играла полуофициальную роль). Сорохтин не долго пробыл в полку после женитьбы – жизнь в нем была ему уже не по

средствам, даже несмотря на приданое Ольги Геннадиевны, и он, выйдя в отставку, купил небольшое имение в Смоленской губернии с кожевенным заводом. Хозяин он был хороший, и дело у него пошло, но вскоре он просрочил на сутки со взносом страховки за завод, который как раз в эту ночь сгорел. Это его доконало, и он пошел служить управляющим в крупных имениях, а Ольга Геннадиевна отдалась журнальному труду, корреспондируя из Парижа в разные газеты и сотрудничая в парижской «Nouvelle Revue», издававшейся тогда известной M-me Adam. Эта дама, которая в 1900 г., когда мы с женой у нее были, была уже старухой, за 20 лет до того горячо поддерживала Гамбетту* и пропагандировала идею франко-русского союза. С русской стороны им откликнулись тогда очень многие, и в числе их был Скобелев, уже тогда предвидевший опасность нападения со стороны Германии, а имя «белого генерала» значило много. Из этого союза, как известно, тогда, однако, ничего не вышло: с одной стороны Францией правили тогда сторонники сближения с Германией, а с другой – в России Гамбетта и К° считались опасными революционерами. Сейчас это все смешно, но не надо забывать, что еще когда впервые французская эскадра ожидалась в Кронштадте, даже в не правительственных кругах говорили о том, что – как же «наш Государь будет стоя слушать Марсельезу?». Тогда боялись всякого лишнего слова и жеста.

Ольгу Геннадиевну встретили мы в эмиграции глубокой старухой, полуслепой и со слабым сердцем, но живо откликающейся на все современное. Она отрицала свою старость и утверждала, что стар тот, кто сам это признает. Работать она уже не могла, и существовала лишь благодаря поддержке нескольких друзей. Она была убежденная эзотеричка, и принадлежала к ордену розенкрейцеров, или, вернее, мартинистов, в котором достигла высоких степеней. Политической деятельностью она не занималась и ставила своей задачей нравственное усовершенствование. От Ольги Геннадиевны я узнал, между прочим, что один из великих мастеров ордена был Филипп, которого выписывали в Россию, где он одно время пользовался большим влиянием при дворе. По словам Ольги Геннадиевны, он был человек, безусловно, честный и убежденный, многих излечивший внушением (за лечение без надлежащего на то права его судили во Франции), но по всему, что я о нем слышал, недалекий.

* Гамбетта, Леон Мишель (1838 – 1882), премьер-министр и министр иностранных дел Франции в 1881 – 1882 годах. – *Примеч. ред.*

Кстати, во Франции, в русских масонских кругах, мне утверждали, что в России Филипп открыл в Царском Селе розенкрейцерскую ложу, членами которой были обе великие княгини-черногорки и их мужья – великие князья Николай и Петр Николаевичи. Про розенкрейцеров мне говорили еще, что по России были рассеяны группы их, потомков екатерининских розенкрейцеров, от отца к сыну передававших учения основателей этих групп. Мне называли имена двух из этих наших современников, двух судебных деятелей, одного из которых я знал, но в котором ничего особенного, высоко-духовного не видал. Ольга Геннадиевна умерла в 1933 г., внезапно, через час после того, как у нее побывала моя жена, оставившая ее такой же бодрой и спокойной, как всегда.

Возвращаясь к нашей личной жизни. После нашей свадьбы и двух недель, проведенных в Рамушеве, отправились мы с женой на полтора месяца за границу. Я уже упоминал про то почтение, с каким относились в Бантельне к моей жене, еще почти девочке, пожилые женщины, не называющие ее иначе, как «Frau Gräfin», и низко перед нею приседавшие. И лично я впервые испытал это отношение, подобного которому я нигде в России не видел. Казалось бы, в Германии, несомненно, тогда более культурной, должна была бы развиться большая независимость, чем среди наших еще недавно бывших крепостных крестьян. Однако, у какого-нибудь гурьевского приказчика, которого отец никогда, стоящего, не сажал и которого он мог в любую минуту «прогнать», я никогда не видел того подобострастия, с которым ко мне относился в Бантельне управляющий, упитанный и прекрасно одетый господин, Herr Dörrics, все время старавшийся точно показать мне, что я на общественной лестнице стою несравненно выше его.

На чердаке Бантельнского дома помещался архив имения, в котором я нашел грамоты на владение им, начиная с 15 века. Некоторые из них, написанные на пергаменте и с печатями, в деревянных коробках, я отобрал еще в одно из предыдущих посещений Бантельна, и они потом хранились у отца в Петербурге, но что с ними стало после революции, я не знаю.

Из Бантельна мы отправились в Париж, где в то время особой приманкой была Всемирная выставка. Через 35 лет мне попала в руки книга известного писателя Paul Morand «Paris-1900», но мне она мало что напомнила. Очевидно, внимание парижанина привлекало иное, чем то, что интересовало иностранца. Поразила нас дешевизна многого, и особенно бережливость французов, хотя мы, русские, были гораздо беднее западных европейцев, на-

тура у нас всегда была более широкая. До сих пор осталось у меня в памяти маленькая сценка в каком-то скромном ресторанчике на выставке, где мы оказались за одним столиком с четой простых французов; мясное блюдо было украшено какой-то травкой, по нашему несъедобной, но которую наши соседи проглотили, чтобы использовать полностью свои деньги.

Остановились мы у Ольги Геннадиевны Сорохтиной в ее скромной квартирке в двух шагах от выставки, и все время, проведенное в Париже, посвятили ознакомлению с выставкой или, вернее, с ее «аттракционами» и, главным образом, с самим городом. Выехали мы из него, переполненные самыми разнообразными впечатлениями, благодаря их обилию несколько хаотического характера.

Вернулись мы в Россию через Швейцарию, север Италии и Вену. В Шамони мы попали на *Mag de Glace* под грозу, и пока вернулись вниз промокли до последней нитки. Потом нам пришлось в гостинице отлеживаться несколько часов в кроватях, пока наши вещи сушились: кроме самого необходимого, весь наш багаж мы послали вперед, кажется в Берн, и нам не во что было переодеться.

В Италии мы были в жару, когда в ней иностранных туристов совсем не бывает, и поэтому все могли видеть без всяких затруднений. Чарующее впечатление произвела на меня в этот раз Венеция, и вообще, такая привлекательная всей своей стариной и обстановкой, правда, подчас приспособленной под художественные вкусы средней, более или менее мещанской публики.

После недолгого пребывания у родителей жены в их имении Березнеговке и у моих в Гурьеве, мы вернулись в Рамушево. Березнеговка, как и имения других Охотниковых этой линии, расположены в степной части Тамбовской губернии, безлесной и совершенно ровной, и мне показалась скучной. Скучны были и поездки к родным и соседям, когда часто сами лошади бежали в облаках пыли по однообразным полям. Около Березнеговки было много помещичьих имений самого различного характера. Наиболее крупным из них было имение князя Вяземского. Человек характера не легкого, он был личностью незаурядной. Георгиевский кавалер за Турецкую войну, он был позднее начальником Главного Управления Уделов, объединявшего всю администрацию имуществами царской семьи. Надо сказать, что Уделы считались собственностью правящего дома, как такового, а не семьи Романовых; все члены ее могли иметь свои отдельные личные состояния, но на удельные имущества прав не имели. Согласно законам того времени при совершеннолетию или замужестве членов царской семьи

им выдавались определенные суммы (если не ошибаюсь, по миллиону рублей), выдавались и пособия по особым непредусмотренным случаям, но, кроме Императора, никто из членов его семьи никаких прав на распоряжение удельными имуществами не имел.

Главное Управление Уделов было одним из наиболее хорошо поставленных и передовых ведомств, чем оно было обязано, главным образом, Вяземскому. Его преемник князь Кочубей только продолжал его начинания. Усовершенствование крымского и кавказского виноделия, орошение переданного уделам Мургабского имения и разведение в нем хлопка и, наконец, разведение чая в Чаквинском имении – всё результаты инициативы Вяземского. Чаквинское имение он поручил управлению своего соседа и младшего товарища по Лейб-Гусарскому полку Г.Г. Снежкову, впоследствии женившемуся на младшей сестре моей жены. Остановлюсь на нем подробнее, хотя ближе узнал его только позднее. Крупный и очень красивый мужчина, очень всеми любимый, он отличался своей скромностью и редкой добросовестностью. Вяземский поручил ему вместе с профессором-ботаником Красновым изучить дело на месте, в Китае, после чего направил его в Чакву. Снежков после этого до самой революции служил в Уделах, дойдя в последние годы до поста помощника начальника Главного Управления. В это время он женился на сестре моей жены и, несмотря на то, что ему было 59 лет, а ей только 29, брак их был исключительно дружным и счастливым; прожили они вместе еще почти 30 лет, и до самого конца их жизни относились друг к другу трогательно хорошо. В эмиграции Снежков, уже 65-летний старик, не отказывался ни от какой работы: был сапожником, чернорабочим на фабрике, посыльным и, наконец, заведующим хозяйственной частью маленького дома в Париже, до конца сохранив свою щепетильную честность. Будучи еще молодым корнетом, в бою под Телишом, он с разъездом был окружен башибузуками; когда у одного из его солдат, уже раненого, была убита лошадь, он отдал ему свою, а сам, отходя затем пешком, отстреливался из револьвера, пока не подошла выручка.

Возвращаясь к Вяземским. Женат он был на графине Левашовой, очень культурной женщине, одной из первых студенток Петербургских высших женских курсов. Моя теща ее очень любила и считала ее очень сердечной, но не знаю, насколько обоих Вяземских вообще любили по соседству. Несмотря на то, что они много делали для окрестного населения, оба они были людьми, на первый взгляд, холодными, и притом сразу чувствовалось, что в глубине души они чувствуют себя выше окружающих.

Уже при Николае II, замененный Кочубеем Вяземский, тогда член Гос. Совета, присутствовал при разгоне казаками студенческой манифестации перед Казанским собором, и высказал свое негодование кому-то из руководивших этим разгоном чинов полиции. За это он получил высочайший выговор за «вмешательство» в деятельность полиции, и после этого до смерти уже роли не играл. Два его старших сына погибли в 1917 г. Второй, Дмитрий, работал с 1914 г. в Красном кресте, где обратил на себя внимание своей исключительной храбростью, которая привлекла к себе внимание А.И. Гучкова. Поэтому, когда А.И. стал организовывать свой заговор против Николая II, то одним из первых он привлек к нему Дмитрия Вяземского. Когда в первые дни революции прошел слух, что к Петрограду подходят верные царю войска, Гучков поехал ночью налаживать оборону вокзалов и взял с собой Вяземского. На обратном пути их автомобиль не остановился на оклик караульного дозора, который дал выстрел, и Вяземский был убит. Старший его брат Борис, бывший Усманский предводитель дворянства, был убит в Грязях солдатами проходившего эшелона, как «шпион». Шпионства никакого не было, но, несомненно, со стороны Вяземского было незадолго до того проявлено отсутствие гибкости в его отношениях с соседними крестьянами, столь часто вызывавшее в те годы различные эксцессы. В передаче из уст в уста столкновение его с крестьянами стало шпионажем, и погубило его.

Из других соседей Охотниковых никого интересного не было. Все это были люди, хотя и богатые, но по природе своей мелкие, иные внешне порядочные, другие жмоты, которых не хвалили: одних за отсутствие в них всякого альтруизма, у других – за их грубость. Впрочем, отмечу рассказы об одном из них (у Охотниковых он не бывал), некоем Бартенева. Еще около 1890 г., будучи корнетом Лейб-гвардии Гродненского полка, он увлекся известной тогда польской артисткой Висновской, женщиной экзальтированной и возможно, что не вполне нормальной. Она его убедила покончить их любовь совместным самоубийством. Бартенева убил ее, но застрелиться у него не хватило мужества. История эта рассказана Буниным в его повести «Дело корнета Елагина», но Бунин изобразил в ней Бартенева совершенно незаслуженно им идеализированным. В 3-й Государственной Думе со мной были ее членами однополчане Бартенева – П. Крупенский и Лихачев, рассказывавшие мне, что, убив Висновскую, Бартенева явился к Лихачеву, старшему полковнику Грозненского полка, и они вместе с Крупенским, полковым адъютантом, заперли его в одной из

комнат офицерского собрания, дав ему заряженный револьвер. Однако и тут у Бартенева не хватило духа покончить с собой. На суде, как позднее рассказывал один из судей, Денисенко, бывший потом председателем суда в Воронеже, Бартенев держал себя без всякого достоинства, и был присужден к каторжным работам. Несмотря на это, почти сразу, по просьбе отца, он был помилован и вернулся в свое имение. Крестьяне его ненавидели, ибо он был из тех помещиков, которые прибегали к кулачной расправе, причем, однако, били ладонью, чтобы не было следов.

Недалеко от Березнеговки было маленькое имение Шингарева, будущего члена Гос. Думы и тогда земского врача. Сам он, впрочем, в этом имении никогда не бывал, а хозяйничал в нем его дядя. Шингарев был один из немногих культурных людей среди помещиков уезда, большинство которых нигде не доучились. Отмечу среди них еще только семью Катениных, сын которых позднее делал быструю карьеру и был начальником Главного Управления по делам Печати. Человек способный и крайних правых взглядов, он был из тех сравнительно немногих высших чиновников, которые все больше тянули правительство вправо и абсолютно не понимали, как далеко страна от них ушла. После революции он был сперва грузчиком на юге России, затем оказался в эмиграции при деньгах, но ненадолго, и перед смертью торговал спичками на улицах Берлина.

Не раз слышал я разговоры про одно опекуновское дело, которое доставляло немало беспокойства моему тестю, как предводителю дворянства, ибо ходили слухи о том, что отец опекаемой девочки, наследницы крупного состояния, был отравлен и что то же угрожало и ей самой со стороны ее родных. Девочка эта росла в атмосфере борьбы за обладание ее состоянием между родней отца, покойной матери и отчима (впрочем, последний был вполне бескорыстным, и просто хотел оградить падчерицу от хищных родных). Когда она выросла, она вышла замуж за известного в Москве, и притом со скверной стороны, Окромчеделова, и вскоре после этого была найдена мертвой, причем, рядом с сундуком, на котором она лежала, была найдена пустая бутылка из-под нашатырного спирта, рот же ее был сильно обожжен. Было ли это самоубийство или убийство, так это и осталось неразгаданным.

Побывав у всех родных жены, мы вернулись в Рамушево, где начали устраиваться, как тогда казалось, на всю жизнь. Ближе ознакомились мы тогда и с имением и со всей его округой. В имении почти каждое дерево стало нам известно, а особенно все рассказы о прошлом. Небольшая лужайка в лесу носила, например,

название «Бабьего Покоса», ибо когда-то Аклечеев превратил ее из болота в луг, приказав своим крепостным бабам наносить на него земли. Небольшой насыпной холмик около леса назывался «Денежной Сопкой», ибо приказавший его неизвестно зачем насыпать Аклечеев бросил под него несколько монеток. Все имение было покрыто сетью канав для стока воды, необходимых в нашей местности, где все низины очень быстро заболачивались, но которые в большинстве уже все заплыли. В результате почти весь лес имения почти не выходил из-под воды, а в самом конце его находилось большое болото, тянувшееся, по большей части, по казенной земле, до Пола. В конце моей земли был на болоте островок леса «Малиновый Остров», на который тогда попадали только зимой. Стоило мне, однако, нанять землекопов-демянцев и восстановить в лесу несколько канав, чтобы обсохло и болото, якобы бездонное вокруг «Малинового Острова», и я проходил в него и летом. Вообще, у меня осталось впечатление, что наши старорусские болота значительно разрослись во 2-й половине 19-го века, когда они были заброшены без всякого внимания казенными лесничими. Не поддерживались ими и дороги по этим болотам. Как-то я пошел пешком по одной из этих дорог на ст. Пола навестить Шабельских; вместо 30 верст по почтовому тракту мне пришлось сделать всего 12, но я еле пробрался по средней части этой дороги, когда-то, видимо, прекрасной, да и то не по прогнившим бревнам, а прыгая рядом с ними с кочки на кочку.

Понемногу познакомились мы с нашими соседями-крестьянами. У усадьбы еще со времен крепостного права сохранились особые связи со Старым Рамушевым и с Александровкой, и все работы в имении выполнялись ими. Кое-кто из них работал в имении и постоянно; в числе их был садовник Степан, уже старик. Жил он бедно, ибо любил выпить больше, чем надо. Главной его способностью была его богатая фантазия, делавшая не раз его рассказы забавными: то ему Николай I давал серебряный целковый, чтобы выпить за его здоровье, то парусный корабль, на котором он служил (моряком он, кстати, никогда не был), так разогнался, что еще пролетел три версты по сухопутью, и ветви хлестали Степана по лицу. Постоянно работала в доме Домна Антоновна, хорошая работающая женщина, очень любившая всю семью фон-дер-Вейде и, кажется, перенесшая эту привязанность и на нас. Муж ее, Евстигней Снетков, был тогда одним из немногих местных грамотеев. Постоянной «людской» кухаркой была уже пожилая Прасковья Митрофановна, тщетно пытавшаяся разводить кофе на нашем огороде. Первые годы все хозяйство в нашем

доме вела Анефья Васильевна, о которой я уже упоминал, а жена моя больше присматривалась к нему, но уже с самого начала на нее легла обязанность поддерживать мир и спокойствие в доме и усадьбе, нарушавшиеся обычно по вздорным, а подчас и смешным поводом, вроде, например, того, что кто-то обозвал Прасковью развратницей и полькой, что та сочла крайне обидным.

Среди соседних крестьян отмечу старика Ивана Ивановича из Александровки. Несмотря на свои с лишком 80 лет, он всегда шел первым косцом, и часто следующие не могли за ним угнаться. Как-то на покосе его односельчане стали при мне острить на его счет, а он только сердито пофыркивал. Позднее я узнал, что поводом к насмешке было ранение его предыдущей зимой 15-летней девочкой, на невинность которой он покушался. Незадолго перед тем он свалился с крыши, которую полез чинить, но и это на его здоровье не сказалось. Однажды, будучи приглашенным на свадьбу, он у хозяев украл самовар. Словом, этот старик был богатой темой для разговоров во всей округе.

В те годы в селе Рамушеве еще не было почтово-телеграфного отделения, и все новости узнавались на перевозе; движение по Демянскому тракту всегда было большое, и через перевоз проходило много самого разнообразного народа. Надо, впрочем, сказать, что новости были не из крупных, вроде, например, жалоб богомолков на то, что у Нила Столбенского монахи стали брать за молебен копейку лишнюю.

Кстати, эти монахи напоминают мне других, из Валдайского монастыря, обходивших в эти годы с Иверской иконой и восточную часть Старорусского уезда до Ловати. Прохождение иконы напоминало известную картину Репина, на которой вы видите, как под иконой, согнувшись, продвигается ряд верующих. Менее благообразна была торговля, происходившая около иконы: многие крестьяне вместо денег платили за молебен яйцами, хлебом и т.п., которые монахи тут же и продавали. Картина была не из самых назидательных, но несомненно жизненная.

За Ловатью, за которую Иверская икона не переходила, начинался район иконы Старорусской Божией Матери. Когда-то тихвинцы попросили ее для охраны их от подходившей к ним чумы и не вернули ее, хотя у них позднее объявилась и собственная, Тихвинская чудотворная икона. Рушане не раз просили о возврате им их иконы, но безуспешно. В последний раз Синод признал, что судиться об иконе непристойно и оставил икону в Тихвине, пока не умягчатся сердца его обывателей на добровольное ее возвращение. Через несколько лет они, действительно, и умягчились, на

что, главным образом, повлиял великий князь Владимир Александрович, в один из своих объездов военного округа попавший в Тихвин после Старой Руссы, где на него надлежащим образом повлияли.

Первые годы нашей супружеской жизни были для меня годами обучения на практике началам акушерства и гинекологии. Конец 19-го века был периодом, если можно так сказать, полового ханжества. В России оно не достигло таких абсурдов, как в Англии, где его поощряла королева Виктория, но у меня остались в памяти такие курьезы, как, например, что «Обрыв» считался столь безнравственным романом, что девицам его давать не полагалось (про «Анну Каренину» я уже не говорю). Конечно, такой пуританизм по существу ничего в нравах не переменял, но сделал открытое обсуждение вопросов женской гигиены и медицины невозможным, и посему, будучи в то время среди людей наиболее образованных в моей среде, я оказался совершенным профаном перед самими обычными явлениями. Теперь мне это кажется странным, но, думается, что многие женские жизни были бы спасены в те времена, если бы на вещи смотрели проще, и молодежь знала бы, что ей делать в самых обыденных случаях. Между тем, для меня, как и для жены, неудачный исход первой ее беременности и несколько преждевременные роды при второй, были связаны с абсолютными сюрпризами. Отмечу еще, что у меня осталось впечатление, что в те времена, всего 45 лет тому назад, даже крупнейшие светила акушерства еще далеко отстояли от совершенного уровня этой науки. Когда я привез жену в Петербург в октябре 1900 года, как мне казалось тогда в очень опасном состоянии, профессор Феноменов ее поставил на ноги в несколько дней, но нашел излишним сделать, обычную ныне, операцию выскабливания, на которой настаивал его ассистент Михнов. В результате жене недомогалось чуть ли не 10 лет, и, в конце концов, операцию все-таки пришлось сделать.

В ноябре 1901 г. мы собирались ехать в Петербург, где и должны были произойти роды, когда они внезапно начались приблизительно за месяц раньше срока. Опять и жена, и я сперва не разобрались в том, что происходит, но, в конце концов, все произошло благополучно, и мы оказались через 12 часов волнений счастливыми родителями старшей нашей дочери Анны. Появление ее на свет было таким сюрпризом, что у нас не нашлось даже, во что ее завернуть. Во время родов у меня была большая тревога: выйдя на площадку внутренней лестницы, я увидел всю лестничную клетку ярко освещенной снизу пламенем – горела

корзина с сеном, в которой помещалась большая бутылка с керосином. Взбежать обратно наверх, схватить мой бушлат и набросить его на горящую корзину, – после чего прибежавшие на мой зов лакей и горничная закидали огонь песком, – было делом, вероятно, не больше 2-3 минут, но, кажется, никогда моя мысль, а также фантазия, не работали так быстро: я уже видел весь дом в огне, и соображал, как перенести жену в людскую и устроить ее там.

Еще до родов было решено, что за новорожденной будет ухаживать старая няня Катерина Антипьевна, выхаживавшая большинство братьев и сестер жены, и через несколько дней она к нам и приехала. Пробыла она у нас около года, но ее уже старые годы и, быть может, устаревшие навыки – иные, чем устанавливались у нас в доме, заставили ее вернуться к Охотниковым, где она спокойно и дожила свои последние годы. Как и многие другие старые слуги, она была скорее членом семьи жены, и, быть может, даже незаметно для моей тещи влияла на весь уклад их жизни. Но у нас он был иным, олицетворяли его люди ей незнакомые и, по-видимому, многое в нем она не одобряла.

Забыл сказать, что в этот первый год нашей общей жизни в Рамушеве, до того, что пошли дети, жена всегда ездила со мной в Руссу, когда у меня бывали какие-нибудь заседания. Первые годы у меня была там квартира на Соборной стороне, которую иные критиковали, ибо мимо нее носили на кладбище гробы, по местному обычаю открытые. Так что часто, подойдя к окну, я видел в них застывшее лицо покойника. Позднее мы переехали на Красный Берег, в дом Шемякина, откуда мне было ближе до Съезда. Служба оставляла у меня много свободного времени, и в те годы я посвятил его самообразованию, ибо мои сведения в области, особенно, естественных наук были весьма примитивны. После них занялся я вопросами искусства и, в частности, живописи, которая меня всегда интересовала. Более всего занимался я, однако, историей, быть может, по наследству от отца, читавшего всегда преимущественно книги исторического содержания. Книжки стали мне дарить, начиная с 7-8 лет, позднее я стал их покупать. Понемногу их набралось у меня до 6000 томов. Редких и ценных изданий среди них, впрочем, не было, если не считать «Русских портретов» великого князя Николая Михайловича.

Меня всегда интересовало только содержание книги, а не то, кто и когда ее издал, и библиотека моя, кроме нескольких не книжных личных сувениров, единственное, о чем я жалею из материальной обстановки моей дореволюционной жизни. Поступила она позднее в Старорусскую городскую библиотеку, но у меня

были сведения, что кто-то из местных обывателей отправился в Петербург с ее каталогом и кто-то из тамошних букинистов отметил книги, которые его интересуют. Все книги по этим отметкам сразу после этого исчезли из Рамушева. Исчезли и бывшие в Рамушеве картины: большая марина Айвазовского, акварель Репина, тройка польского художника Хельмонского, картины Сверчкова, Писемского и несколько других. Случайно их принесли позднее продавать в Петербурге в комиссионную контору, в которой работал тогда один из моих двоюродных братьев.

Оглядевшись в Рамушеве, решили мы переустроить сад. Когда-то в имении было немало плодовых деревьев, но еще не то в 60-х, не то в 70-х годах в очень суровую зиму они вымерзли, и после них осталась очень некрасивая неровная площадка, еще более обезображенная двумя аллеями хвойных подстриженных деревьев. Переустройство сада произвел талантливый садовник Старорусских минеральных вод Аболин, и он же рекомендовал нам садовника помещика Виллика, эстонца, как и он сам, который потом в течение 15 лет ведал у нас всем хозяйством имения. Переустройство сада придало имению более современный и менее запущенный вид, хотя посаженные Аболиным деревья и разрастались довольно медленно.

Жизнь наша в имении протекала тихо и спокойно. От времени до времени наезжали родные из Петербурга и знакомые из Руссы, большое сборище бывало в Катеринин день, в именины жены. На Рождество устраивали мы елки для школьников в трех школах, где жена и я числились «попечителями». Кинематографа тогда еще не было, и, кроме собственно елки, главным развлечением были картины «волшебного фонаря».

В начале 1902 г. состоялась свадьба моего брата Георгия, в то время уже офицера Преображенского полка. Женился он на Ольге Владимировне Скарятинной, дочери генерала Владимира Владимировича Скарятин. Дед моей невестки был убит на царской охоте неосторожным выстрелом другого охотника, Ферзена, но прошел слух, ни на чем не основанный, что фатальный выстрел был сделан в действительности Александром II. По этой ли причине, или иной, дети убитого пользовались покровительством царской семьи, и Владимир Владимирович продвинулся на разных адъютантских должностях (главным образом, при великом князе Владимире Александровиче) до чина генерал-лейтенанта. Человек он был добродушный, но когда я с ним познакомился, совершенно глухой, так что разговаривать с ним, в сущности, было невозможно. Благодаря глухоте он и погиб, будучи убит

вскоре после Октябрьской революции, когда не остановился после сделанного ему оклика. Женат он был на красавице, дочери убитого в Севастопольскую кампанию полковника князя Лобанова-Ростовского, женатого на одной из дочерей фельдмаршала Паскевича. Во время женитьбы брата еще был жив единственный сын фельдмаршала, небольшой старичок, женатый на прелестной старушке, сестре бывшего министра Двора Воронцова-Дашкова. Когда-то этот Паскевич делал блестящую карьеру, был генерал-адъютантом еще в совсем молодых годах, но в начале 60-х годов голосовал в Петербургском дворянском собрании за упоминавшуюся мною выше резолюцию Платонова о конституции. За это ему был сделан высочайший выговор, после чего он сразу подал в отставку. Позднее Александр II при открытии памятника фельдмаршалу Паскевичу сделал попытку примириться с его сыном, но в неудачной форме и, получив иронический ответ того, сразу обо-
рвал разговор.

Паскевичи жили обычно в Гомеле, когда-то имении Понятовских, конфискованном после восстания 1831 г. и пожалованном отцу Паскевича. Судьба привела меня в Гомель только во время 1-й мировой войны. Княгини тогда там не было, и я усадьбы не видал, но по общим отзывам это была одна из наиболее роскошных усадеб всей России. В ней находился и известный памятник наполеоновскому маршалу Понятовскому работы Торвальдсена. Паскевичу принадлежала и Добружская писчебумажная фабрика, первая в России, где рабочий день с 11 часов был сокращен до восьми; тогда это считалось мерой чуть ли не революционной. Инициатором ее был тогдашний управляющий фабрикой, но Паскевичу надо поставить в заслугу, что он не побоялся возможного значительного уменьшения доходов с фабрики.

Паскевич был коллекционером предметов искусства, но, по-видимому, не всегда удачным, и в годы женитьбы брата говорили много про купленную им голову Христа, работы Бенвенуто Челлини, оказавшуюся, правда, довольно тонкой подделкой. Надо признать, впрочем, что подделки делались и делаются столь удачно, что на них попадались подчас крупнейшие знатоки. Достаточно вспомнить покупку парижским Лувром знаменитой тогда «тиары царя Сайтаферна»; покупку эту особенно рекомендовал известный знаток искусства Рейнак, попавшийся на подделку, произведенную двумя малокультурными уроженцами юга России. Во время последней войны немецкие коллекционеры, скупавшие за гроши произведения искусства в оккупированных странах, попались в Бельгии на картинах какого-то современного художни-

ка, удачно придававшего им старинный вид и выдававшего их за творения наиболее знаменитых мастеров фламандской школы.

Свадьба брата состоялась в церкви Преображенского полка, и была очень нарядной, хотя «посаженная» мать невесты, Императрица Мария Федоровна, в церкви и не была. Познакомился я тогда и с потомками фельдмаршала Паскевича от других его дочерей – Балашевой и Куракиной, двое из коих позднее были моими коллегами по Государственной Думе, в то время, как их отцы были членами Гос. Совета.

Брат после свадьбы еще два года прослужил в полку, и незадолго до Японской войны взял 11-месячный отпуск. С началом войны он вернулся в полк, и окончательно смог выйти в запас только в конце 1906 г. Таким образом, он оказался свидетелем так называемого бунта 1-го батальона этого полка, события по существу не крупного, но произведшего тогда значительное впечатление. В этом батальоне служил Николай II, когда был наследником, и у него сохранилось к нему особенно теплое отношение, поэтому ничтожное само по себе проявление недовольства солдат какими-то мелочами обыденной их жизни явилось показателем того, как далеко проникла «крамола». По-видимому, в «бунт» все превратилось вследствие полной растерянности начальства – полкового командира Гадона и начальника дивизии Озерова, обоих бывших преображенцев, спасовавших перед новым для них явлением. В других батальонах настроение, видимо, было не лучше, однако, там влияние офицеров оказалось большим, и никаких беспорядков в них не было. Закончилось все судом и присуждением всего батальона вместе с офицерами к году пребывания в дисциплинарном батальоне в Медведе. Наказание это дальнейших последствий ни для кого не имело (если не считать, что Гадон и Озеров были отставлены от должности) и, например, один из осужденных ротных командиров, очень заурядный по уму князь Оболенский, выйдя из Медведя и перейдя на гражданскую службу, уже через три года был назначен губернатором, а позднее Петроградским градоначальником.

Военным я никогда не был, и судить о том, насколько правильно поддерживалась тогда в войсках дисциплина, я не берусь, но 1905-1906 годы явились ярким показателем того, что далеко не все было в них ладно. В частности, они показали, насколько необходима большая близость офицера к солдату. И в Манчжурии, и в казармах – там, где офицеры заботились о своих подчиненных, жили более или менее общими с ними интересами, в общем, все шло хорошо. Там же, где они были отделены друг от друга перего-

родками, подчас даже не от офицера зависящими, или где офицер переоценивал значение своих погон, подготавливалась почва для будущих эксцессов. Японская война и беспорядки в войсках и во флоте во время революционного движения и после во многих отношениях принесли пользу, но значение близости начальника к подчиненному учтено достаточно не было.

Если не ошибаюсь, летом 1901 г. Васильчиков пригласил меня в Псков присутствовать на созванном им съезде Земских Начальников. Перед тем в Выбитах познакомился я с недавно назначенным им неперменным членом Псковского губернского присутствия В.В. Ковалевским, с которым я проехал в ближайшее Доворецкое волостное правление и познакомил его с тем порядком делопроизводства, который был нами выработан на наших совещаниях. Теперь в Пскове, к моему, сознаюсь, большому удовлетворению, я увидел, что наши постановления послужили ему материалом для его предложений Съезду. С другой стороны, я был, однако, поражен – насколько архаична была вся работа земских начальников в Псковской губернии. Каждый из них работал по-своему, без всякого руководства со стороны Губернского присутствия, и, если среди них были и дельные и еще молодые люди, то немало было и людей во всех отношениях устаревших.

Псковская губерния вообще показалась мне отсталой по сравнению с Новгородской, и некоторые мелочи пахнули на меня духом Гоголевских сатир. Княгиня Васильчикова рассказала мне, например, что сразу после ее приезда к ней явился полицмейстер спросить, по каким дням наряжать жен пожарных мыть полы в губернаторском доме, как это установила ее предшественница графиня Адлерберг (конечно, этот труд никем не оплачивался). Самому Васильчикову пришлось выдержать борьбу за бесплатность службы предводителей дворянства. Не помню, под каким предлогом все уездные предводители губернии получали от земств по 2500 рублей на их личные расходы по воинскому присутствию. Васильчиков опротестовал эти постановления, и они были отменены, но на следующий год те же пособия были проведены по земским сметам под каким-то другим соусом. Васильчиков протестовал вновь, но не помню, удачно ли.

Как раз в эти годы было расширено право губернаторов опротестовывать земские и городские сметы. Уже с 1890 г. они могли опротестовать их не только по формальным нарушениям закона, но и по существу, а около 1900 г. вообще всякое увеличение сметы более, чем на 3% в год, подлежало обсуждению в Губернском Присутствии. Вызван был этот новый закон жалобами на слишком бы-

стрый непосильный для плательщиков рост земского обложения, а весьма возможно и опасениями Министерства финансов, что земства и города своими увеличенными налогами ослабят поступления налогов государственных. На практике, однако, я не знаю ни одного случая, чтобы превышение установленных законом 3% вызвало исключение какого-либо расхода из сметы. Если земства и города того времени и можно было упрекнуть в чем-либо, то в том, что они недостаточно быстро отзывались на нужды масс населения, а не в том, что они производили излишние расходы.

В 1898 г. в Новгородской губернии была введена казенная винная монополия, которая, надо это признать, была наиболее удачным нововведением Витте, конечно, только с точки зрения бюджетной, но наряду с нею монополия должна была якобы явиться фактором морализующим, уничтожив все злоупотребления, связанные с прежним кабаком. Не знаю, насколько искренне Витте и его сотрудники верили в возможность осуществления этой цели, но, во всяком случае, в государственном бюджете появилась новая расходная статья – пособия попечительствам о трезвости. Во всех уездах были созданы комитеты этого попечительства, и мне, как предводителю, пришлось председательствовать в Старорусском Комитете. Рассчитывать на какие-либо поступления, кроме небольшой казенной субсидии, а также и наладить какую-либо серьезную борьбу с пьянством было невозможно (если вообще признать, что она может дать сколько-нибудь осязательные результаты). Комитет решил открыть несколько чайных, которые нам рекомендовались для замещения кабаков, игравших в деревнях роль клубов и исчезнувших с введением монополии.

Позднее мне пришла, однако, мысль использовать Попечительство о трезвости для устройства в уезде библиотечек. Как раз в это время Губернское Земство решило придти на помощь открытию их пособием в размере 50% стоимости книг, если их будет куплено не менее, чем на 250 рублей. В уезде этих денег найти мне не удалось, и я прибег к помощи родителей (вообще, до самого конца я лично зависел от их поддержки). Они дали мне 3000 рублей, и на эти деньги вместе с земским пособием и были открыты первые в уезде сельские библиотеки, по одной в каждой волости. К сожалению, позднее пополнение их новыми книгами почти не производилось, и интерес к ним в населении очень ослабел. Надо добавить еще, что во всех «народных» библиотеках можно было иметь только книги, включенные в особый каталог Министерства народного просвещения; хотя он и был довольно обширен (исключено из него было то, что считалось «крамоль-

ным»), но новые книги включались в него с изрядным запозданием, что ослабляло интерес к этим библиотекам.

Осенью 1904 г. решил я опубликовать мои впечатления о крестьянском законодательстве. В то время в Министерстве внутренних дел была образована комиссия для пересмотра этого законодательства, и мне казалось, что мои наблюдения могут оказаться полезными. Зимой я написал эту книгу, жена ее переписала, и весной 1902 года она была напечатана под названием «К вопросу о пересмотре законодательства о крестьянах». Многое из того, что я в ней высказал, устарело уже в ближайшие годы, а после революции 1917 года, в корне разрушившей прежний сословный строй, вся книга потеряла вообще какое-либо значение, но общего ее тона – что нашей деревне прежде всего необходимо образование – я могу не стыдиться, несмотря на то, что мои наблюдения даже тогда не были либеральными. Мне попались 5-6 отзывов о ней в печати, в общем, средних – не хвалебных, но не слишком ругательных, но несомненно, что она прошла почти что незамеченной.

В 1901 г. родители купили незастроенный участок земли рядом с их домом на 12-й линии Васильевского Острова, и с 1902 г. начали строить на нем большой доходный дом. Проект и наблюдение за постройкой они поручили довольно заурядному, но порядочному архитектору Курзанову, а самую постройку, как подрядчики, взяли на себя двое старших Погоржельских, перед тем построившие себе дом на Бронницкой и приобретшие на нем надлежащий опыт. Построен он был солидно, на цементе, что тогда было редкостью. При начале постройки все казалось, однако, более простым, чем в действительности оказалось; свободных денег, чтобы довести постройку до конца, у родителей не хватило, и надо было прибегнуть к кредиту. В сущности, это не представляло затруднений, ибо никаких долгов у родителей не было, и занять даже крупную сумму им не было бы затруднительно. Обращаться к ростовщикам им, однако, претило, а залог дома в Городском Кредитном Обществе был возможен лишь по полном окончании постройки. Пришлось обратиться в частный банк долгосрочного кредита. Но как раз в это время Министерство финансов напало на этот банк, что они вышли за пределы, установленного уставом соотношения между их ссудами городскими и земельными, и предложило приостановить городские ссуды впредь до восстановления надлежащего соотношения. Распоряжение это было вполне правильным, ибо частные банки своими городскими ссудами сокращали операции городских кредитных обществ, организаций общественных, но моим родителям от этого легче не было. Оказалось, впрочем,

что когда отец пошел в Московский Купеческий Банк (через который делал все дела) только за советом, как ему быть, то там сряду предложили открыть ему крупный кредит без всякого специального обеспечения. Дом был вскоре затем закончен, и все его 193 квартиры были сразу же заняты; и позднее все они сдавались без всяких затруднений.

Уже несколько лет в печати и общественных собраниях обсуждался тогда вопрос о так называемом «оскудении центра». Первым поднял его способный правый журналист Шарапов, приписывавший его тому, что государственные средства расходовались преимущественно на окраинах и что центр страны оказывался систематически обделенным. До известной степени Шарапов был прав, ибо в центре расходовалось государством меньше, чем с него взималось налогами. Уже западная окраина получала значительно больше, чем вносила в государственное казначейство, а Туркестан и Дальний Восток содержались почти целиком на средства центра. Но констатировать этот факт было легко, а указать способы его устранения было гораздо труднее. Это несоответствие было результатом того, что расходы на оборону, составлявшие тогда, если не ошибаюсь, около 40% бюджета, производились преимущественно на окраинах; там были расквартирована большая часть войск, там строились для них казармы и прокладывались для них шоссейные дороги и строились бездоходные железные дороги. Изменить это положение было невозможно, а между тем, экономическое положение центра, и особенно его деревни, из года в год ухудшалось. Промышленность развивалась слабо и медленно, и все увеличивающееся сельское население начинало задыхаться на своих наделных землях.

Как я уже говорил, после освобождения крестьян большая часть помещичьих земель перешла в руки мелких землевладельцев, но население центра удвоилось, техника земледелия не улучшилась и, благодаря все увеличивающейся чересполосице, урожайность крестьянских земель скорее падала. Масса населения, оставшаяся на земле, не находила на ней приложения своему труду, и положение его становилось все хуже. Наряду с этим, переселение избытка населения в Сибирь преследовалось, ибо петербургские власти боялись, что последствием его явится уменьшение поступления налогов в Центральной России. Переселение, тем не менее, существовало, но проходило в формах, несомненно, ненормальных и часто завершалось окончательным разорением переселенцев, обманываемых их «ходаками» и местными сибирскими кулаками. Кстати скажу, что общее недоверие крестьян к

власти и помещикам также сыграло в те годы весьма отрицательную роль. Как раз в Березняговке мне пришлось быть свидетелем такого случая: группа крестьян оттуда распродала все имущество и направилась в Закавказье, где, по словам их ходока, их ожидало исключительное благополучие. Через год они вернулись совершенно прожившимися, и когда мой тесть спросил их, почему они не посоветовались с ним раньше, они признались, что ходок предупредил их не говорить ничего «барину», чтобы он не перехватил найденную им землю. Переселение шло вслепую, и результаты его были поэтому часто плачевными.

Для обсуждения этих вопросов было созвано «Особое Совещение о сельскохозяйственной промышленности», идея которого принадлежала Витте, и была осуществлена им, несмотря на противодействие Министерства внутренних дел, боявшегося, что образованные по идее Витте комитеты усилят революционное или в лучшем случае противоправительственное движение. Страхи эти оказались напрасными: в нескольких только уездных комитетах был поднят вопрос о необходимости дать стране конституцию, результатом чего было устранение от должности предводителей дворянства, допустивших обсуждение этого вопроса, и лишение одного из них, князя Долгорукова, придворного звания. То есть, через 40 лет повторилось почти буквально то же самое, что я отметил выше по поводу предложения Платонова: политическое мышление Петербурга за эти годы вперед не ушло. Немедленных практических последствий Совещение не имело, но в трудах комитетов было сделано немало указаний, которые были затем сведены воедино, и ряд указаний Совещения, написанных несколькими молодыми тогда, но блестящими чиновниками столицы. (Надо сказать, что Витте умел выбирать своих сотрудников, и, быть может, этому надо приписать ту репутацию большого государственного деятеля, которой он пользовался). Позднее эти указания были широко использованы Столыпиным.

Наше Старорусское совещание прошло очень тихо и неинтересно. Список приглашенных участвовать в нем я составил по совету с Карцовым, и было их больше 40 человек, из коих, однако, кроме земского агронома Филипповича, никто в прениях участия не принимал. В то время много обсуждался в печати вопрос об общине, и я предложил комитету обсудить его. Лично я находился тогда под влиянием народнических взглядов, и высказался в смысле необходимости сохранения общины. Насколько припоминаю, никто мне не возражал, и соответствующее постановление было принято единогласно.

Вскоре после этого я был в Березняговке, где тесть предложил мне поехать в Усмань послушать прения в их сельскохозяйственном комитете. Сознаюсь, что они были гораздо более оживленными, чем у нас в Старой Руссе. Вел их фактически председатель Земской Управы Стерлигов (позднее он был председателем губернской Земской Управы и губернатором), человек правых взглядов, но живой. Однако, по существу, и в Усмани ничего сколько-нибудь нового и интересного высказано не было.

Лето 1902 г. на севере было неблагоприятным для сельского хозяйства, а в особенности пострадавшим оказался Старорусский уезд. Дожди лили, почти не переставая, с июля, и овсы, и льны большею частью не вызрели или сгнили в поле. Своего хлеба крестьянам никогда не хватало, и они покупали его обычно с января, продавая для этого овес и лен, но в этом году их не было, и положение крестьян оказалось очень тяжелым, особенно имея в виду, что из-за недозревания и семян для весеннего посева у них не оказалось. Плохи были и всходы озимых посевов, что предвещало плохой урожай ржи и в 1903 г. Наконец, плохо уродились и овощи, и, в частности, капуста. Все это особенно сказалось на западной части уезда, где хотя и были развиты отхожие промыслы, но не было, как в восточной, лесных заработков. У крестьян западной части имелся зато, как я уже упоминал, большой капитал «пахотных солдат», предназначенный для помощи в неурожайные годы. Поэтому, уже в январе-феврале крестьяне этого района стали составлять приговора о выдаче им ссуд из этого капитала.

К несчастью, земский начальник 5-го участка, в который входили наиболее пострадавшие волости, Д.А. Чириков – молодой человек с высшим образованием, очень милый, в общем, и порядочный – уже с 1902 г. стал пить больше, чем надо, и как раз в начале 1903 г. начал запускать дела. В середине марта до меня дошли жалобы, что у него задержались все приговора о ссудах. И, действительно, когда я поехал на станцию Волот, где была камера этого земского начальника, то его делопроизводитель показал мне целый ящик комода с этими приговорами (надо сказать, что по новому закону, кажется 1902 года, продовольственное дело из ведения земств было передано в крестьянские учреждения). Надо было действовать быстро, ибо во всех приговорах испрашивались семенные ссуды, а на месте ни овса, ни льна подходящего не было – весь он был не всхожий. Значит, приходилось закупать эти семена вне уезда, и доставлять их на место к началу сева, т.е. к началу мая. В распоряжении нашем было, следовательно, всего 6 недель. Операция эта была проведена удачно: для закупки овса

в Поволжье были командированы два земских начальника и два члена земской управы. Овес был куплен ими хороший и недорогой, и доставлен на место был своевременно; семена льна поставил Ванюков, с которым тоже не было недоразумений, и крестьяне были ими довольны. Однако при расчете за них произошел спор: никто в точности не знал, какая должна быть нормальная всхожесть льна. Поэтому в контракте о нем мы включили нормальную всхожесть зерновых хлебов – 95%. На деле Ванюковский лен дал всхожесть, если не ошибаюсь, на 28% меньшую. Я предложил Съезду сделать с покупной цены пропорциональную скидку, но Ванюков доказывал, что лен никогда не дает всхожесть в 95%, и большинство Съезда с ним согласилось, почему скидка была сделана значительно меньшая.

И посейчас я не уверен, кто был тогда прав, а тогда я не остался при особом мнении, а посему года через два, когда я ушел уже из предводителей, мне был сделан запрос по этому поводу Гюсконтролем. Мое объяснение, впрочем, было признано удовлетворительным, и дальнейших последствий дело не имело. Должен сознаться, однако, что этот случай только усилил во мне антипатию ко всякого рода хозяйственным операциям, и в дальнейшем я всегда избегал принимать в них непосредственное участие: ни интереса, ни способностей к ним у меня не было.

В апреле появились в этом районе заболевания цингой. Почва для этого, несомненно, была создана недоеданием и отсутствием овощей, но, несмотря на отрицания врачей, я до сих пор не могу отрешиться от мысли, что цинга распространяется каким-то заразным началом, каким-нибудь еще неизвестным вирусом. Только этим, кажется мне, можно объяснить невероятно быстрое распространение этой болезни везде, где она появлялась. В 1916 г. питание войск не было столь плохо, чтобы объяснить распространение ее, однако, на Северном фронте ею заболело немало солдат.

У нас цингой заболело, насколько припоминаю, около 7.000 человек, но тяжелых случаев почти не было, и только смерть двух стариков была, по-видимому, ускорена цингой. Появление ее вызвало приезд в Старую Руссу Г.В. Глинки, тогдашнего начальника продовольственного Управления. С ним и доктором Верманом, эпидемическим врачом губернского земства, отправились мы на станцию Волот, где кипела работа по раздаче семян, и оттуда на лошадях поехали по 5-му и 6-му земским участкам. В одной из деревень последнего как раз в это время было несколько случаев сыпного тифа, и Глинка хотел убедиться, что все необходимые меры приняты. Заключение его было, что, за исключением без-

деятельности земского начальника 5-го участка, все необходимое было сделано своевременно, и сделано хорошо. Однако, чтобы подкрепить население цинготного района, Красный Крест прислал небольшой продовольственно-санитарный отряд. Вместе с ним приехал член Главного Управления генерал Шведов, которого я тогда видел в первый раз. Всю свою карьеру он сделал в Императорской Главной Квартире, благодаря тому, что начальник ее генерал Рихтер был неравнодушен к его, говорят, красивой жене. Закончилась эта карьера назначением Шведова членом Гос. Совета, но лишь за месяц до революции, так что ему даже не пришлось заседать в этом учреждении. Считался Шведов человеком крайне правых убеждений, но, собственно, я не знаю, были ли они у него вообще. Во всяком случае, его назначение в Гос. Совет было одним из самых неудачных даже за последние месяцы империи. Во время Японской войны Шведов играл некоторую роль в Красном Кресте и вызвал нарекания на это учреждение, очень, однако, преувеличенные и в которых повинна была больше общая репутация Шведова, чем работа его в Красном Кресте.

Для руководства работой отряда Шведов привез капитана Егерского полка Коссаговского, толкового, но не очень симпатичного офицера, семь врачей и группу сестер. Быстро был открыт ряд столовых, и началась работа, но очень ненадолго: начались полевые работы, стало тепло, цинга исчезла, и население перестало посещать столовые; некоторые из них просуществовали не больше двух недель. Так как я был назначен и председателем попечительства Красного Креста, то я имел случай ознакомиться с составлением на практике отчетов. С деньгами все обстояло благополучно, но пропала и нигде не объявилась бочка кислой капусты, которую, как я узнал, Коссаговский расписал по ведрам между столовыми. Отчет, надо сказать, вышел блестящим, да и работа персонала Красного Креста тоже была блестяща.

С Коссаговским мне пришлось встретиться вновь во время Японской войны, когда он заведовал пунктом Красного Креста на станции Манчжурия. Учреждение это было большое, и вел он его хорошо, но, в конце концов, уже после заключения мира он проиграл в карты порядочную сумму казенных денег. Так как, однако, в полку он был популярен среди молодежи, то половину этой суммы пополнило общество офицеров, а другую внесла Императрица Мария Федоровна. Не помню собственно, почему тогда ко мне обратились за посредничеством по этому делу с обеих сторон, и из полка, и из Красного Креста, но я предпочел от него уклониться.

На этом почти что и закончилась моя предводительская работа. Расскажу еще только про два случая поверки крестьянских приговоров о высылке в Сибирь. Закон, возлагавший, между прочим, на предводителей эту поверку, вышел, если не ошибаюсь, в 1902 году, и мне пришлось еще иметь в руках два таких приговора. Оба они пришли ко мне с заключениями земского начальника о правильности их, но в виду важности вопроса, я поехал лично переопросить подписавших их. Деревнюшки были небольшие, где-то недалеко от Холмского уезда, и в обоих мне представилась картина полной беспомощности крестьян от хулиганов. Ничего крупного высылаемым в вину не ставилось, но положительно не было никого, кто бы от них не пострадал. Одному он дал без всякого повода в ухо, другого огрел «трёсточкой», девчонке выдрал клоч волос, какой-то тетке Арише побил горшки. В результате в одной из деревень за высылку оказалось почти полное единогласие (по просьбе крестьян я опрашивал их с глазу на глаз из-за их опасения мести). В другой деревне, однако, у высылаемого было порядочно родни, и когда одна старушка переменила свое мнение (высылаемый ее якобы «закупил»), мотивируя это жалостью, то требуемых 2/3 голосов не оказалось, и высылка не состоялась. Защищать какую бы то ни было административную высылку я не буду, но должен сказать, что положение подписавших эти приговоры было действительно безвыходным.

Финляндия

Уже зимой 1903 года у меня появилась мысль о переходе на какую-нибудь другую службу. При всех положительных сторонах предводительской работы никакой широты в ней не было, и меня интересовало стать пока что только хотя бы свидетелем более крупных событий. Как-то я сказал об этом Голицыну, и вскоре после этого он сказал мне, что Медем представил меня к назначению вице-губернатором. По его совету я отправился к Плеве, тогдашнему министру внутренних дел. Принял он меня на той самой министерской даче, в которой позднее было совершено покушение на Столыпина. Плеве мне сказал, что он видел мое представление, что у меня есть все данные для назначения, но что я еще слишком молод и что мне надо еще подождать годика два-три. Больше я Плеве не видел и сохранил о нем очень серенькое впечатление, как о человеке очень холодном и не привлекающем сердца.

Одновременно с этим, однако, мне пришлось иметь случайный разговор с П.Н. Шабельским, в то время состоявшем при Фин-

ляндском генерал-губернаторе Бобрикове, женатом на его двоюродной сестре Сталь-фон-Гольстейн. Шабельский сообщил мне, что Бобрикову нужны люди, и предложил поговорить с ним обо мне, что я и принял. Надо сказать, что финляндский вопрос меня интересовал уже давно; в библиотеке у отца давно была книга Ордина «Покорение Финляндии», которую я прочитал с большим интересом. Будучи всегда националистом, я никогда не мог понять политику Петербурга по отношению к Финляндии, давшую тому же Ордину возможность написать еще брошюрку «Как победители превращаются в побежденных». Возмущало меня главным образом несправие русских в Финляндии, тогда как финляндцы в империи были полноправны. Объяснение финляндцев, что это положение было необходимо сохранить, дабы русские не задавили их количеством, было, конечно, абсурдно, ибо для службы в Финляндии требовалось знание шведского и финляндского языков, что среди русских встречалось в виде исключения. Русские на основании архаической шведской конституции 1772 года могли служить в Финляндии как иностранцы лишь на должностях, на кои они назначались по особому доверию монарха, что было истолковано, как назначение лиц по так называемым высочайшим приказам, т.е. на должности, начиная с 5-го класса; в отдельных случаях это исключение русских из финляндской жизни получало прямо уродливые проявления, вроде, например, того, что аптекар в Териоках отказался изготовить лекарство по рецепту знаменитого Боткина, приехавшего в гости к внезапно заболевшему приятелю, как врача-иностранца.

С политикой Бобрикова я был знаком в общих чертах, и она казалась мне правильной, почему я и принял предложение Шабельского. Вскоре после этого он передал мне приглашение приехать к Бобрикову в его имение Боровичского уезда, где и решился вопрос о моем назначении чиновником особых поручений к генерал-губернатору (должности при нем могли быть замещаемы и русскими). Было решено, что я перейду туда на службу в октябре-ноябре, а пока я вернулся в Рамушево, где в конце августа у нас родился сынишка Леонтий. Во всех отношениях он оказался прелестным ребенком, но когда моя мать его увидела в первый раз, она почему-то решила, что он очень хрупок и, увы, она оказалась права.

В конце октября началась моя недолгая финляндская служба. Еще до приезда в Гельсингфорс я знал, что мне будет отведена за плату квартира в казенном доме, купленном специально для русских чиновников и военных. Выяснив, что нам там понадо-

биться, и все наладив, я перевез туда семью и стал знакомиться с обстановкой; причем уже немного подучившись шведскому языку, мы стали с женой совершенствоваться в нем (финскому я начал учиться несколько позднее).

В центре Гельсингфорской жизни стоял естественно Н.И. Бобриков. О нем немало писали, и большей частью отзывались о нем отрицательно, хотя во многом с его критиками я согласиться не могу. Сын военного врача, Бобриков был человеком, в сущности, простым; свою карьеру он сделал сам без всякой протекции, и к петербургскому обществу, среди которого он прослужил большую часть своей жизни, особого уважения, видимо, не питал. Манера держаться у него была своеобразная: с подчиненными и низшими он был вежлив и даже заботлив, но с равными и даже высшими он всегда старался показать свою независимость, и это часто получало характер грубости. В итоге, в Петербурге его не любили, чему помогло и то, что за долгую его службу начальником штаба Петербургского Военного Округа при великом князе Владимире Александровиче, все приятное исходило от великого князя, а во всех нагоняях винили Бобрикова (в чем, быть может, и были правы). Несомненными качествами Бобрикова были его независимость, ум и редкая трудоспособность. Мне пришлось позднее читать ему мои статьи для «Финляндской газеты», в которые он вносил редакционные поправки, одновременно с этим он диктовал деловые письма и вмешивался от времени до времени в разговор жены с кем-либо из его адъютантов. Работал он сам с раннего утра и до позднего вечера, и умел заставлять работать и вокруг себя (кстати, в умственном и образовательном отношении подбор им сотрудников был прекрасный).

Нельзя, однако, отрицать, что у Бобрикова была некоторая рутинность: около 1870 г. он был начальником штаба 22-й дивизии в Новгороде, и старшим адъютантом у него был Скобелев, о котором, как мне говорили новгородские старожилы, он был весьма отрицательного мнения, как об офицере, из которого ничего не выйдет. Был у Бобрикова и другой большой недостаток. Вырос он еще в Николаевской военной школе, и все его мышление было той эпохи. В Финляндию он попал для того, чтобы провести изменения в Уставе о воинской повинности, но здесь ему пришлось столкнуться с весьма сложным юридическим вопросом об отношениях между Финляндией и Империей, и он оказался по всему своему мышлению неспособным распутать его, а попытался его разрубить, что ему и не удалось.

Сейчас это вопрос безвозвратного прошлого, и о нем, казалось бы, можно судить более спокойно, однако, и в настоящее время о нем судят крайне односторонне, а тогда тем более средних мнений не существовало. В пору, когда состоялось назначение Бобрикова, в России по финляндскому вопросу имелись только уже упомянутые мною книги Ордина, стоявшего на той точке зрения, что Александр II не дал того, что ныне называется конституцией; с другой стороны, в Финляндии уже в 1839 г. приват-доцентом Арвидсоном было высказано мнение, что она отдельное государство, лишь персонально связанное с Россией. Когда Александр II впервые после 1809 г. созвал в 1863 г. финляндский Сейм, эта точка зрения получила в нем преобладание благодаря профессорам-юристам Германсону и особенно Мехелину, и когда в 70-х годах вырабатывался финляндский Устав о воинской повинности, то Мехелин ее и провел в нем.

Говорили потом, что проект этого Устава был послан на заключение военного министра Милютина во время турецкой войны с исключением из него статьи, дающей ему конституционный характер и даже, наоборот, с указанием, что могущие оказаться в нем второстепенные недостатки могут быть позднее устранены. Письмо это никогда опубликовано не было, но, по-видимому, существовало; Милютин против Устава не протестовал, и он стал законом. Так как, однако, финляндское войско по нему предназначалось только для защиты самой Финляндии, то военное министерство уже давно стало против этих ограничений протестовать. К военному вопросу понемногу присоединились и другие разногласия. В опубликованном в 1889 г. Уголовном Уложении была первоначально проведена та же точка зрения на Империю, как на отдельные государства, но затем его введение было приостановлено и соответствующие статьи были из него исключены, вследствие протестов русских профессоров уголовного права.

Однако попытки провести через Сейм изменения Устава о воинской повинности не удались, и тогда в Гельсингфорс был назначен Бобриков. Он всецело стал на точку зрения Ордина и, когда Сейм отклонил предложенные изменения, то настоял на проведении закона об общеимперском с Финляндией законодательстве. В Гос. Совете этот закон собрал только меньшинство голосов, но и Николай II не согласился с мнением большинства. Все позднейшее явилось более или менее логическим последствием этого первого столкновения, причем с обеих сторон было часто проявлено больше упрямства, чем рассудительности. Со стороны Бобрикова, в частности, его непонимание или нежелание понять, что финлянд-

цы будут до конца держаться за свои конституционные права, конечно немало обострило положение, но и с финляндской стороны не могли понять, что поскольку между Империей и Финляндией существует государственная связь, довольно неопределенного характера, уточнение ее подчас с преимуществами в пользу Финляндии, вызовет всегда противодействие с русской стороны.

Е.И. Бобрикова, жена генерала, была женщина выдержанная и тактичная и во многом помогала мужу. Они были очень гостеприимны, и каждый день у них бывали обеды для различных групп местного общества. Сам Бобриков не пил, но все его гости должны были пить, причем дамам вино наливалось наравне с мужчинами, их соседями по столу. Если же они его не пили, то это составляло дополнительную нагрузку их кавалеров. Не раз бывало поэтому, что кое-кто из мужчин выпивал лишнее, но Бобриков на это не претендовал.

Управление Финляндией лежало на административном департаменте Сената. Председателем его был генерал-губернатор, все же члены его, исполнявшие обязанности министров, были финляндцы. В то время они принадлежали к старофинской партии, консервативной и более других шедшей на соглашение с Россией; некоторые из сенаторов служили ранее в России, и враждебности к ней в них абсолютно не было; надо, впрочем, признать, что при мне крупных лиц среди них не было. Заместителем генерал-губернатора в Сенате был очень красивый, но недалекий старик Линдер. Сам он был гофмейстером, дочери его были фрейлинами, сын служил в гвардейских уланах, но это не помешало тому, что одна из его дочерей, хорошенькая Китти, относилась к русским с нескрываемой враждебностью. Мать ее, француженка, держала нейтралитет, что не исключало курьезных случаев. Мы познакомились с Китти за обедом у ее родителей, но после этого она всегда демонстративно отворачивалась от нас, как и вообще от русских, как говорили, чтобы не скомпрометировать себя перед финляндцами. Как-то в театре мы оказались в соседних ложах и, хотя мы разговаривали все время в антрактах с ее матерью и сестрой, она упорно нас не замечала. Впрочем, тогда Китти Линдер была не исключением, а скорее, правилом. Позднее, я читал, что она вышла замуж за известного генерала Маннергейма.

У Бобрикова было два помощника: по командованию округом – старенький и незаметный генерал Турбин, и по должности генерал-губернатора – Дейтрих, бывший судебный деятель, человек умный, но около Бобрикова роли не игравший. Позднее в Гос. Совете он был одним из руководителей его правой группы.

Финляндский военный округ был создан для Бобрикова; войск в нем было немного, всего 16 батальонов, и посему в штаб округа мало кто стремился из видных офицеров Генерального штаба. Начальник штаба округа генерал Ольховский в 1914 г. командовал корпусом, но довольно бесцветно, начальник инженеров округа Сукин был в подчинении у своей жены, которую иронически называли «*stora generalskau*» (большая генеральша), ибо она всюду ставила на вид, что ее муж старший по чину генерал после Бобрикова. Среди молодых офицеров штаба наиболее способным был капитан Кисляков, толстый и довольно нескладный, но с живым умом. О нем, впрочем, мне придется еще подробнее говорить в связи с Большой войной.

Моя служба была непосредственно связана с Канцелярией генерал-губернатора. Кроме меня при Бобрикове состояло еще несколько чиновников особых поручений, один из коих позднее назначенный куда-то губернатором, Папков, был в России если не инициатором, то одним из первых, писавших по вопросу о созыве Поместного Собора. Понадобилось, однако, 20 лет и две революции, чтобы его мечта осуществилась. Наиболее способным из чиновников особых поручений был граф Берг, внучатый племянник бывшего финляндского и варшавского генерал-губернатора, пожалованного также и финляндским графом; поэтому и наш Берг был финляндцем и принимал участие в заседаниях дворянского «сословия» Сейма. Еще совсем молодой человек, он был, однако, удивительно заботлив о своем здоровье и, например, по лестницам всегда всходил строго размеренным шагом. Директор канцелярии полковник Зейн не был моим начальником, но мне постоянно приходилось иметь с ним дела. Это был офицер Генерального штаба, работающий и дельный, но олицетворением того, чем для строевых офицеров были вообще генштабисты. Меня всегда немного претила его чрезвычайная любезность. Надо сказать, что в его частной жизни ему очень помогала его жена, очень милая, моложавая блондинка, к которой все относились с большой симпатией.

Штат канцелярии был большой и насколько я могу судить, работал хорошо. В это время Бобриков уже начал замещать высшие должности финляндской администрации русскими, не только теми, которые, родившись в Финляндии, имели права местного гражданства, но и имперскими, и кое-кто из бывших чинов канцелярии уже замещал должность ландс-секретарей (вице-губернаторов). Из них Старков считался очень способным, а мой товарищ по классу в Правоведении Фукс скорее только добросовестным. В младших

классах Училища он был долго предметом изводки, причем ему долго не могли забыть, что он как-то сказал, что он «сын сенатора Фукса». Позднее он был где-то вице-губернатором, в годы 1-й Войны не поладил со своим крайне реакционным губернатором и ушел в отставку, после чего появился в Красном Кресте на фронте и там же застрелился вскоре после революции. Фукс был ландс-секретарем в Выборге, где губернатором был Мясоедов. Как и все другие губернаторы из русских – Кайгородов, Ватаци и Сверчков, он делал свое дело добросовестно, но скорее формально.

Надо сказать, что вообще финляндское законодательство в те времена было очень архаичным; во многих случаях оно имело 200-летнюю давность, и нужна была «законопослушность» финляндского населения, чтобы не только жить, но и процветать при нем. Наиболее оригинальна была в нем та конституция, на основании которой управлялась Финляндия. В 1772 г. в Швеции были опубликованы по тогдашним понятиям более или менее либеральные законы, но в 1789 г. Густав III опубликовал к ним реакционные добавления. Через несколько лет это стоило ему жизни, но его добавления удержались, и когда в 1809 г. Адександр I обещал Финляндии сохранение ее основных законов, то это была именно реакционная шведская конституция 1789 г. Сейм имел сословный характер, и голосование производилось по сословиям. Из них дворянство было определено шведским по национальности, а крестьянство – финским, духовенство же и горожане становились все больше финскими; партийно левых в Сейме в то время не было; старофинская партия мало чем отличалась от консерваторов шведов, а младофинны были очень умеренными либералами. В общем, все четыре сословия были враждебны политике Бобрикова, но старофинны были более других партий склонны к соглашению с ним.

С 1809 по 1863 г. Сейм не созывался, но после этого по новому Сеймовому Уставу была установлена периодичность его созывов через каждые четыре года. Компетенция его была довольно ограничена, а именно: пересмотр узаконений, входивших в старый шведский кодекс и разрешение новых прямых налогов. Так как жизнь человечества за последние века очень усложнилась, то большая часть современного законодательства оказалась, однако, не предусмотренной кодексом и проходила в административном порядке. Точно также и в области финансов правительство почти не зависело от Сейма, ибо громадное большинство расходов покрывалось таможенными сборами, устанавливавшимися властью монарха, и таким образом Бобриков мог с Сеймом не считаться.

Теперь финляндские события того времени уже забылись, затененные более крупными последующей эпохи, но сами по себе они интересны, как проявление народной солидарности в борьбе за свои права. В основе я считал и считаю, что общеимперское законодательство с Финляндией было правильно, но должен признать, что население ее проявило в этой борьбе большую степень национального развития. Я не скажу, чтобы финны были из числа наиболее способных наций, но они весьма трудолюбивы, были в те времена несомненно честны и настойчивы (подчас даже упрямы). Вне всякого сомнения, после присоединения Финляндии к России она достигла высокой степени благоденствия во всех отношениях, которому другие части империи могли только завидовать. В частности, за это столетие развилась финская национальность, и когда я служил в Финляндии, финский элемент уже пересиливал шведский. Нельзя, конечно, умолчать, что многое оказалось возможным лишь благодаря тому, что Финляндия все это время не принимала участия в несении тягот по защите государства, в империи стоявших на первом плане.

Когда Бобриковым был проведен помимо Сейма новый Устав о воинской повинности, он встретил организованное противодействие. Призываемые не являлись в воинские присутствия, а эти не могли заседать за отсутствием состава. Ответом правительства на это явились роспуск финских войск и образование вместо них русских. Противодействие против политики Бобрикова проявилось и в других областях, и во главе его стал будущий президент Финляндской республики Свинхувуд, который и был за это выслан в Приуралье. Должен признать, что эта высылка и образование Финляндского жандармского управления были актами, которые с точки зрения финляндского законодательства оправдать никоим образом было нельзя. Однако, как бы то ни было, Бобриков справился с этим сопротивлением, и в 1903 г. в среде самих финляндцев стало усиливаться течение в пользу соглашения с Россией; нашлось также немало лиц с безупречной репутацией, готовых сотрудничать с Бобриковым, так что, в сущности, он мог бы обойтись и без назначения на высшие посты русских. По-видимому, однако, у него, как у военного, на первом плане стояли всегда соображения военные и в первую очередь мобилизационные, почему он и считал необходимым на всех постах, от которых так или иначе зависела оборона государства, иметь не финляндцев, а русских.

В частности, директором финляндских железных дорог был назначен полковник Генерального штаба Драчевский, до того заведовавший передвижением войск. По-видимому, он справлялся

с этим делом недурно, ибо был человеком умелым; ничего худого не говорили и про его честность, почему меня удивило позднее, когда он был Петербургским градоначальником, его удаление с этого поста по причине его каких-то денежных операций; его служба в Финляндии не позволяла этого, во всяком случае, предвидеть. Зато многих вероятно не удивило предание позднее суду московского градоначальника Рейнбота, которого я застал в Гельсингфорсе Нюландским ландс-секретарем. Губернатором над ним был Кайгородов, брат профессора, известного своими бюллетенями о прилете птиц, «делавшего» ими, как тогда смеялись, весну. Человек хороший, генерал, однако, был под влиянием Рейнбота, тогда артиллерийского подполковника. Ни в каких злоупотреблениях этого подполковника нельзя было упрекнуть, но по некоторым мелочам можно было уже тогда предположить, что особенно стоек в денежных делах он не окажется. Несомненно, однако, что он был человек способный и энергичный, чем и надо объяснить, что когда его судили за злоупотребления по должности московского градоначальника, то целый ряд местных безупречных общественных деятелей, начиная с городского головы Гучкова, выступил перед судом свидетелями в его защиту. Кажется, в это время Рейнбот уже женился на миллионерше Морозовой, для чего развелся со своей первой женой, весьма незаметной, но с которой, однако, прожил уже 15 лет. Как-то странно, что, как это было и с Меранвилем, женитьба на миллионерше пришла к нему, когда он уже состоял под судом.

Как я уже упомянул, в Гельсингфорсе мы с женой стали усиленно учиться шведскому языку. Учила нас старая дева фрёкен Чечулина, несмотря на свою русскую фамилию, шведка, ни слова по-русски не говорящая. Так как жена хорошо говорила по-английски, а я довольно хорошо знал немецкий язык, то научиться шведскому языку нам было не трудно, но не то было с финским, за который я принялся немного позднее. Уроки его я брал у Каннинена, тогда цензора, а позднее начальника цензурного управления. Он был женат на русской, но сам был типичным финном. На нем мне пришлось как-то убедиться, насколько общественная честность в Финляндии тогда стояла высоко. Я ему рассказал про какое-то злоупотребление, не помню даже – в России или в Финляндии, и увидел, как его этот факт скандализировал, хотя он и ограничился одной только фразой: «Да как же это возможно!». Финский язык сам по себе очень труден со своими 18 падежами и многочисленными глагольными формами, а кроме того, национализм финнов побудил их заменять своими словами даже те,

что употреблялись безразлично во всех языках, вроде, например, «университет» или «электричество». Смеялись, что какое-то общество выплачивает по 5 марок за каждое вновь удачно выдуманное финское слово, но в сущности ведь и у нас в свое время, в эпоху Карамзина, было то же самое. Как бы то ни было, изучение финского языка было далеко не легким и, хотя летом 1904 г. я и провел месяц в деревне у Каннинена, но совершенства в этом языке все-таки не достиг.

Эти первые месяцы нашей Гельсингфорской жизни среди русских шли очень весело. Большинство русских были люди еще молодые или не желающие еще сознаться, что их молодость уже проходит; среди дам был ряд или красивых или интересных, жизнь, и в частности вино, была дешева, и, казалось бы, в тот момент никаких угроз над общим спокойствием не нависало. Жили мы беззаботной жизнью людей обеспеченных и далеко не загадывали. Думается мне, что и вообще, и не только в России, наше поколение было гораздо более легкомысленным, чем последующие.

За эти месяцы мы сошлись более всего с четой Келлер, незадолго перед тем поженившихся. Она – дочь инженера Верховского, некрасивая, но интересная женщина, пользовалась в Гельсингфорсе успехом, он же, адъютант Бобрикова, особенных симпатий к себе не привлекал. Как и его старший брат, командовавший в 1-ю войну кавалерийским корпусом и считавшийся тогда одним из немногих хороших кавалерийских генералов, наш Келлер был человеком, безусловно, порядочным, но с тяжелым характером и независимым; ответы его бывали подчас очень резки и поэтому его побаивались даже лица старшие его по службе. Он участвовал в 1900 г. в подавлении в Манчжурии боксерского восстания и был тяжело ранен; это ранение отзывалось еще в Гельсингфорсе, однако, когда началась японская война, он немедленно подал рапорт о переводе на Дальний Восток. Отправился он туда штаб-ротмистром и вернулся подполковником. Позднее, на маневрах, его с лошады опрокинуло мчавшееся галопом орудие, и он еле выжил от нового ранения. Получив затем казачий полк в Забайкалье, он подал рапорт о злоупотреблениях кого-то из начальства, был за это сам отставлен от должности, но вскоре получил, так как по существу был прав, другой полк, с которым пошел на большую войну, но через год умер от контузии, командуя в это время бригадой. В общем, он дублировал своего брата, которого тоже не раз отставляли за столкновения с начальством. У нас с ним были всегда хорошие отношения, и я особенно ценил в нем его прямолинейность, которая не позволяла ему идти на соглашения с совестью.

Замечаю, что я ничего не сказал про военных, состоявших при Бобрикове. Кроме Шабельского и Келлера, был еще бывший кавалергард, красавец-полковник Львовский и еще два адъютанта. Из них ротмистр Тимирязев славился как пьяница, и, как таковой, попал даже в одну из петербургских газет. К какому-то магазинчику столицы он увидел, будучи на взводе, маленького крокодила, купил его и отправил в «Аквариум» в подарок певичке, за которой ухаживал. Можно представить себе, какой переполох возник, когда, развернув бумагу и вату (дело было зимой), в них нашли этого крокодильчика. После этого и появилась в какой-то газетке заметка о том, что наряду с людьми, допивающимися до белых слонов и зеленого змея, имеются и допивающиеся до крокодилов. Надо, впрочем, сказать, что Тимирязев был человек порядочный и милый.

На 6-е декабря 1903 г., в один из царских дней, я был сделан камер-юнкером; первый из придворных «чинов», он ни к чему не обязывал, но ничего и не давал, кроме права бывать на больших торжествах при высочайшей дворе. Тем не менее, все придворные звания считались тогда весьма почетными, и кандидатов на них было всегда очень много. Первым делом полагалось заказать себе придворные мундиры: малый, обшитый золотым галуном, и большой, вышитый золотом, и по изготовлении малого представиться Государю. Надо сказать, что вся жизнь царского двора текла по издавна установившемуся церемониалу, во многом не отличавшемуся от того, что делалось при дворе еще при Екатерине II и в который все вновь привходящие лица ничего нового не приносили. Старый анекдот о том, как Александр III обнаружил, что каждый день выписывается сколько-то копеек на покупку сальной свечки, только потому, что когда-то Елизавета Петровна потребовала такую свечку, чтобы мазать нос при насморке, прекрасно характеризует эту неизменность раз установленных порядков.

И я влился в них, и просил о представлении Государю, которое мне и было назначено на 27-е января 1904 г. Накануне этого дня у Бобрикова был большой обед, с которого я поехал на поезд, причем Н.И. мне дал указания, что ответить Государю, если тот меня спросит о том, что происходит сейчас в Финляндии (маленькая иллюстрация того, как до Государя доходили сведения о происходящем на местах). Утром в Петербурге меня встретила мать, видимо обеспокоенная, и сряду я узнал от нее про нападение японцев на нашу эскадру в Порт-Артуре. Первую ее фразу об этом я даже, сознаюсь, не понял, столь она мне показалась дикой. Накануне в Гельсингфорсе Бобриков мне сказал, что, по-видимому, на Дальнем

Востоке положение обостряется, ибо он получил телеграмму об отправлении туда из Финляндии нескольких рот для формирования новых восточно-сибирских полков. Однако, ни Бобриков, ни тем более я не думали, что в это время в Порт-Артуре уже дерутся.

Представление мое Государю 27-го января не состоялось, но вместо него я принял участие в высочайшем выходе в Зимнем дворце. Все, имевшие право «приезда ко двору» занимали места в полагавшихся им залах по пути в церковь дворца, а придворные чины выстраивались попарно перед дверями во «внутренние покои» по порядку званий, младшие впереди. Когда церемониймейстеры своими жезлами начинали стучать по полу, воцарялось молчание, открывались двери и появлялись Государь с Государынями, сопровождаемые всей царской семьей и высшими сановниками. Перед церковью все шедшие перед Государем отходили в сторону и в нее входили только сопровождающие его.

27-го января, когда я проходил по залам, в них царило мертвое молчание; кажется, никогда не пришлось мне видеть такого удрученного настроения. Война начиналась разгромом, и главное, никто ее не ожидал и не желал. Вспоминая сейчас все, что пришлось позднее узнать про предшествующие ей события, я убежден, что в тогдашнем нашем правительстве не было ни у кого желания воевать и что и Николай II войны не хотел. Позднее утверждали, что к ней вел Плеве, дабы отвлечь ею внимание народа от революционных настроений, но мне в это не верится: Плеве был человек, несомненно, умный, а думать заглушить этим способом народное движение было бы слишком глупо.

Надо, однако, сказать, что глупости в период перед войной было проявлено в избытке. Меня всегда удивлял захват Порт-Артура и постройка к нему Южной линии Восточно-Китайской железной дороги. Заставив оттуда убраться в 1895 г. японцев, надо было ожидать, что они не простят захвата его нами, а железная дорога на юг от Харбина облегчала китайцам заселение Манчжурии, до того происходившее в крайне медленном темпе. В сущности, правительство, в котором тогда Гогом и Магогом по экономическим делам был Витте, сделало глупость, какой сейчас явилась бы постройка железной дороги на русские средства из Ташкента на Ланчжоу и в центр Китая. Почти пустынная Манчжурия защищала наш Дальний Восток лучше большой армии, и как раз наше же правительство уничтожило эту преграду для вторжения в наши пределы.

Повторяю, войны в Петербурге не ждали и не верили в нее. Военный агент в Токио Ванновский, как тогда уверяли, пред-

упреждал, что японская армия серьезный противник, но отправленный на проверку его Куропаткин этого не нашел. В виду этого, все приготовления к войне выразились в отправке на Дальний Восток еще летом 1903 г. двух пехотных бригад и в приготовлениях к формированию новых трех восточносибирских стрелковых дивизий. В довершение надо отметить, что Кругобайкальская железная дорога еще не была закончена и что ежедневно можно было пропускать на всем протяжении магистрали только 4 пары поездов. Так как для перевозки двух-дивизионного корпуса было необходимо тогда 80 поездов, то в первые дни войны перевозка одного корпуса занимала, почти три недели. На наше счастье и перевозка войск японцев тоже шла вначале медленно, и военные действия на суше начались лишь через два с половиной месяца. Видимо, все расчеты были построены на нашем преобладании на море, но и это не оправдалось, благодаря выводу из строя целого ряда судов в первые сутки войны.

Однако и это преобладание было столь незначительное, что должно было бы продиктовать нам осторожную политику, но и этого не было. В Петербурге царило мнение, что с японцами, как и вообще с восточными людьми, надо держать себя твердо и, исходя из этого, ни на какие уступки в корейском вопросе не шли, а для Японии он являлся в те годы решающим. Я не знаю точно и посейчас, кто был инициатором известных лесных концессий на Ялу, но думаю, что А.И. Звегинцев, позднее бывший со мной в Гос. Думе, а тогда молодой офицер Генерального штаба; по поручению начальства он за несколько лет до того сделал поездку по Корее и напечатал затем отчет о ней; при этом он вынес вполне правильное впечатление, что леса на Ялу представляют громадное, никем не эксплуатируемое богатство, и думается мне, что именно он внушил мысль о концессии на них своим знакомым. На первом плане среди них оказался Безобразов, за несколько месяцев до войны получивший звание статс-секретаря, дававшееся обычно только очень заслуженным сановникам. Наоборот, Безобразов никаких видных постов не занимал и был известен только, как балетоман и брат генерала. Про этого в романе Сергеева-Ценского «Брусиловский прорыв» я прочитал крайне отрицательный отзыв, как о придворном крайне угодливым; насколько я генерала знал, он был, наоборот, человеком независимым и, безусловно, порядочным, которого все любили, но вместе с тем крайне недалеким. «Корейского» его брата я не знал, но все, что мне пришлось о нем слышать, позволяет думать, что и он особым умом не блистал. Очевидно, рассказы о лесах на Ялу вскружили ему голову и, не

будучи дельцом, он с большим легкомыслием влез в это дело. Не знаю, какова была роль в этом деле В.М. Вонлярлярского, но мне кажется, что главной действующей пружиной в Ялусской концессии был он. Когда-то у моего брата бывал его старший сын, будущий преображенец, а тогда товарищ брата по младшим классам Пажеского корпуса; позднее, во время моего предводительства, я познакомился и с самим Владимиром Михайловичем, бывшем тогда председателем сельскохозяйственного Общества, кажется, Северного, распространявшего свою деятельность на Новгородскую губернию. Я был у него как-то по делам этого Общества и вынес впечатление о нем, как о человеке не серьезном и фантазере. Говорили, что он мечтал быть выбранным Новгородским губернским предводителем и что Северное Общество должно было служить трамплином для этого, но, во всяком случае, в общественной Новгородской жизни он участия не принимал. Ходил Ляровский в мундире отставного кавалергардского полковника, хотя и должен был уйти из полка из-за дуэли с родным братом (позднее корпусным командиром), у которого отбил жену; красивая женщина, она была из богатой купеческой семьи и, по-видимому, на ее средства Владимир Михайлович и начал заниматься разными предприятиями (кроме Ялу, на его средства разыскивалось золото на Камчатке). Возможно, что на эти предприятия и ушли все их деньги, ибо через несколько лет после Японской войны он вместе со своим старшим сыном был привлечен в качестве обвиняемого в подлоге завещания князя Огинского.

Как и в деле Соллогуба, о котором я говорил выше, самым странным в этом была та наивность, с которой виновные могли подумать, что факт завещания в их пользу миллионов совершенно чужим им лицом, не вызвал бы протестов со стороны людей более близких к завещателю. Оба Лярских были осуждены, и о них перестали после этого говорить, но роль отца в Дальневосточном предприятии была, как мне кажется, наиболее печальной из всех лиц, в них принимавших участие. Верховное начальство на Дальнем Востоке принадлежало тогда наместнику адмиралу Алексееву. Лично я его не знал, остался он в Петербурге с репутацией хитрого армянина, но когда позднее я прочитал, что во время уже эмиграции во Франции происходил суд о его крупном наследстве, то мне припомнился рассказ моей тещи о том, как Алексеев, тогда еще лейтенант, присвоил бочонок марсалы, порученный ему в Неаполе ее отцом адмиралом Невельским для доставки в Кронштадт. Факт, что проведя все время на морской службе, в строю, Алексеев мог себе составить крупное состояние,

не говорит в его пользу, если иметь в виду эту мелочь из его молодости. Кстати, рассказов, что Алексеев был сыном Александра II, я до революции никогда не слышал.

За два дня до Японского нападения на последнем пришедшем в Порт-Артур пароходе «Саратов» туда пришел и брат мой Леонтий. Серьезно заболев, он летом 1903 г. взял 11-месячный отпуск и отправился пароходом на Дальний Восток. Незадолго до войны он добрался до Японии и где-то внутри ее, уже за неделю до нападения, увидел начало мобилизации. Сряду же отправился он в Йокогаму и попал там на «Саратов». Настроение было уже такое, что, опасаясь нападения, пароход шел по ночам без огней. После этого непринятие в Порт-Артуре мер предосторожности против внезапного нападения является прямо непонятным. Алексеев предложил брату перейти к нему ординарцем, но адъютантская служба его не прельщала, идти в строй в дальневосточную кавалерию ему не позволяло здоровье, и он вернулся в Петербург, где вскоре и перевелся во флот.

Представление мое Государю состоялось через месяц, и хотя мне позднее и пришлось еще раз 10 представляться ему, но это было единственный раз, что я был принят им отдельно в его небольшом кабинете в Зимнем Дворце. До сих пор я ни разу не говорил о царской семье, и теперь сряду изложу все, что мне о ней известно. Предварительно, однако, напомним правило, что кому много дано, с того много и взыщется, и что поэтому Романовым предъявлялись уже в мое время требования гораздо более строгие, чем к простым смертным. Сравнивая их, однако, с другими рядовыми семьями, можно и должно сказать сейчас, что они были не хуже, а скорее выше всех других. Несчастье их было то, что глава семьи, царствующий монарх, считался выделенным из всего человечества в силу помазания на царство, и это его положение распространяло особый ореол и на всех членов его семьи, тогда как они были теми же простыми смертными, одни выше, а другие ниже среднего уровня. Кроме того, пользуясь особыми привилегиями, они не всегда умели соблюсти меру в своих отношениях к простым смертным. Надо сказать, что отношение их к Государю было, если не у всех, то у многих, не иным, чем у большинства монархистов. Мне известен, например, вопрос одного из младших князей, правда не из умных, считают ли в народе Государя за нечто особое; при этом он отметил, что великий князь Николай Николаевич ему говорил, что, по его мнению, в силу помазания Государь занимает особое положение между людьми и божеством.

Уже после революции мне часто приходилось встречаться в Париже с бывшим министром народного просвещения П.М. Кауфманом-Туркестанским, человеком, несомненно, независимым и порядочным, и вопрос о значении помазания на царство не раз служил у нас предметом споров. Будучи монархистом, я, тем не менее, видел в этом обряде лишь акт благословения на новую деятельность, тогда как Кауфман, ссылаясь на Ветхий Завет, видел в помазании акт придания монаршей власти некоторого божественного характера. Особенно на это указывало ему помазание Саула Самуилом, на что, однако, я мог указать ему, что когда Саул оказанного ему божественного доверия не оправдал, то был заменен Давидом в порядке, который, применительно к нынешним понятиям, надлежит признать революционным.

В общем, отношение к монархизму, несомненно, менялось, да и сами монархи становились иными. Александр II еще обращался ко всем на «ты», Александр III и его братья говорили обычно «вы», но обращение их ко всем было грубоватым, тогда как у Николая II оно было уже тем же, что обычно между культурными людьми; параллельно с этим, все усиливался и дух критики на государей, и не только среди революционеров. Подчас мне приходилось встречать в последние годы перед революцией среди крайних правых отношение к монарху, которое напоминало мне известное немецкое двестишестидесятих годов: «Und der König absolut, wenn er unsern Willen thut»^{*}.

Несомненно, что падению престижа монарха способствовал немало Николай II. Его отца никто умным и особенно образованным не считал, но у него была воля и здравый смысл, тогда как Николай, по отзывам людей, и его, и Александра III знавших, и более умный и более образованный, вследствие своей мягкости и безволия постоянно оказывался неспособным быть действительным правителем страны. У него был навык говорить по шаблону с людьми, принимать также шаблонные решения, но вне этих рамок он обычно долго колебался. Кроме того, как человек слабый, он не любил людей более твердых, чем он, а не будучи по мягкости своего характера способен выдержать с ними спор, постоянно уклонялся от спора, если его мнение расходилось с идеями его докладчиков. Тех из них, которые пытались подчинить его своей воле, он очень не любил, и эта нелюбовь, например, к Витте или Гучкову, сохранилась у него до конца. Мягкостью, неспособностью прямо сказать человеку что-либо неприятное объ-

^{*} И король царить свободен, если нам во всем угоден (нем.).

ясняется и то, что называли его фальшивостью в отношениях с его ближайшими советниками. Не раз, как известно, сразу после доклада он посылал министрам письма об их увольнении, ибо не мог решиться сказать им это в лицо.

Очень характерно в этом отношении увольнение министра земледелия Стишинского: будучи назначен в апреле 1906 г., он сам не считал себя прочным на этом посту и не переезжал, поэтому, на министерскую квартиру. Однако, через несколько месяцев после доклада, на котором Николай II был особенно с ним мил, он счел свое положение упрочившимся; дело было уже под вечер, и на следующее утро он вызвал экзекутора министерства и отдал распоряжение о перевозке мебели на казенную квартиру. «А Ваше Превосходительство не изволили читать сегодня Правительственного Вестника?» – «Нет, а что?» – «Да Вы ведь уволены из министров». Так же приблизительно был уволен из Обер-прокуроров Святейшего Синода Алексей Ширинский-Шихматов.

Первый вопрос Николая II, когда я вошел в его кабинет, был: «Это ваши братья в Преображенском и Конном полках?» – «Так точно, и третий в Лейб-гусарах». После этого Государь молча смотрел на меня, и тогда, вопреки церемониалу, по которому надо было ожидать вопросов Государя, я стал рассказывать ему про пребывание этого брата в Японии и Порт-Артуре. «Ах, это интересно, а мне никто про это не говорил». Продолжение разговора было бесцветно, и я его не помню; все позднейшие мои разговоры с Николаем II тоже были малоинтересными (обычно повторялись, впрочем, вопросы о братьях).

Многие из новых чинов двора представлялись почти всем членам царской семьи, но я представился еще только молодой Государыне. Опять же разговор наш интересного ничего не представлял, но позже я убедился, что она, если пожелает, умеет живо говорить. Было это весной 1916 г., когда я был Главноуполномоченным Красного Креста. В один из моих приездов в Петербург мой сочлен по Главному Управлению Ордин мне передал, что Государыня желает меня видеть. Через два дня она меня приняла в Царском Селе. Вид у нее был вполне простой, не напряженный, как на больших приемах, одета она была, как всегда, в широкое, отнюдь не модном, платье, и с места разговор, продолжавшийся около 40 минут, шел без перерыва. Говорили мы о войне, о работе Красного Креста и ее Комитетах, и она была, несомненно, в курсе дела. Какая была цель моего вызова я, однако, так и не узнал, ибо о более общих вопросах она меня ни разу не спросила, хотя о моей работе, как члена Гос. Думы, и знала.

Александру Федоровну не любили и, несомненно, многие ошибки мужа надлежит приписать ее настояниям. Мой разговор с нею в 1916 г. показал мне, что она женщина была, безусловно, не глупая, и поэтому для меня и до сих пор остается психологической загадкой все ее поведение в 1915-1917 годах, несомненно, немало способствовавшее революции. Выросши в Германии и Англии, в семьях, привыкших к конституционному образу правления и к необходимости считаться с волею народа, она, приняв православие, усвоила себе и все крайности того политического учения, которое тогда разделялось следом за Победоносцевым и громадным большинством наших иерархов. По-видимому, к ней перешел, как и к ее сестре, великой княгине Елизавете Федоровне, тот мистицизм, которым отличалась и ее мать, разошедшаяся даже с мужем на почве увлечения религиозными учениями какого-то протестантского пастора, но у нее этот мистицизм получил какой-то политически примитивный характер. Прекрасная жена и мать, она, не будь Государыней, вероятно, пользовалась бы уважением и, быть может, любовью всех окружающих. Но на троне ее роль оказалась плачевной, особенно когда неизлечимая наследственная, переданная ею сыну болезнь, сделала ее послушной поклонницей сперва Филиппа, а позднее особенно Распутина. Удивляет в этом, впрочем, более всего то, что, будучи воспитаны в малорегиозном, в сущности, протестантизме, обе сестры стали такими ревностными православными.

Старой императрице Марии Федоровне я тогда не представлялся, и только осенью 1914 г. был у нее с докладом о работе Красного Креста на фронте. Мягкая, приветливая женщина, она пользовалась симпатией всех ее окружавших, но даже в Красном Кресте, покровительницей коего она была, роли не играла, а тем паче не вмешивалась в политику.

Не играли роли и большинство великих князей, однако, все они занимали высокие посты. Некоторые из них были хорошими специалистами, например, Николай Николаевич кавалеристом и Сергей Михайлович – артиллеристом, но позднее в Гос. Думе Гучков правильно указал, что, будучи людьми по существу безответственными, они подчас служили бессознательно ширмой, за которой таилась бездеятельность, а подчас и нечестность. Например, ни Алексея Александровича в 1904 г., ни Сергея Михайловича в 1914 г. я, безусловно, не подозреваю в злоупотреблениях, но что разные аферисты пытались обдирать дела через их возлюбленных, в первом случае – французскую актрису Балетту, а во втором – Кшесинскую, у меня сомнений нет.

Хорошим и мягким человеком и талантливым поэтом (К.Р.) был Константин Константинович, но как администратор он был бесцветен. Талантливым историком был Николай Михайлович, но, наоборот, морально его ставили очень невысоко. От его товарищей по полку я слышал, что ему доставляло удовольствие ссорить их одного с другим и, например, рассказывали, что он довел Арсения Карагеоргиевича до дуэли с Александровским. Так как товарищи знали, что Карагеоргиевич великолепный стрелок, то они взяли с него слово, что он только легко ранит противника. И действительно, тот получил пулю в ногу. Несмотря на его великокняжеское достоинство, однополчане, в конце концов, якобы неофициально предложили Николаю Михайловичу уйти из полка, и он затем продолжал свою службу на Кавказе.

Сыновья Михаила Николаевича вообще считались наиболее способными в царской семье, но любовью никто из них не пользовался. По-видимому, морально они пошли в мать, красивую, умную, но тоже не любимую женщину. В обществе отзывались о великой княгине Ольге Федоровне плохо и определенно говорили, что когда ее муж – Михаил Николаевич был наместником на Кавказе, то она брала взятки там через посредство помощника наместника князя Святополк-Мирского.

Михаил Николаевич считался самым умным из сыновей Николая I, и мне не раз приходилось слышать от старых членов Гос. Совета, что он был очень дельным председателем этого учреждения; наоборот, об уме Николая Николаевича-старшего отзывались большей частью иронически, к женам его сыновей, дочерям Николая Черногорского, отношение было почему-то сряду враждебное, и позднее, когда стало известно, что через них к Государыне приблизились и Филипп, и Распутин, эта враждебность только усилилась.

Совершенно отрицательным было отношение к двум старшим сыновьям Владимира Александровича – Борису и Кириллу (будущему «императору» эмиграции). В сущности, они были люди безвредные, но не умные и слабовольные. Борису с основанием ставили в укор выходки под влиянием алкоголя и особенно его добрых приятелей вроде, например, того, что, раздев в отдельном кабинете ресторана «Медведь» какую-то девицу легкого поведения, они с компанией выпустили ее голую в общий зал. Или того, что поздно ночью он по телефону поднял из кровати Победоносцева, чтобы справиться о его здоровье (за что и получил нагоняй от Николая II). В эмиграции, уже женатый, он был под влиянием жены и вел вполне степенный образ жизни. Кирилл,

женившийся еще до войны на своей двоюродной сестре, английской принцессе Виктории, разведенной им с принцем Гессенским, братом Александры Федоровны, остепенился еще раньше. Эта принцесса, не менее властная, чем ее сестра, румынская королева Мария, взяла его вполне в руки, и ей приписывали объявление им себя в эмиграции императором.

Пропустил я упомянуть про жену Владимира Александровича Марию Павловну, долго считавшуюся наиболее привлекательней из великих княгинь. Надо сказать, что они с мужем были действительно очень красивой парой, а она, хоть и немка по происхождению, обладала живостью скорее француженки. В различных мемуарах говорится про ее роль в разных семейных совещаниях в последние годы монархии; судить о ней я не могу, но от единственного моего с нею продолжительного разговора в Минске весной 1916 г. у меня осталось впечатление, что она слишком многое говорит о том, что ею следовало бы замолчать в ее собственных интересах.

Говорили, что Владимир Александрович был знатоком истории, но так ли это – не знаю. Лично я только раз разговаривал с ним, и впечатление осталось у меня очень среднее. Его часто винили в растрате сумм, собранных на постройку храма на месте убийства Александра II. Растрата эта имела место, и за нее был осужден конференц-секретарь Академии Художеств Исеев. Все дело постройки храма было приурочено к этой Академии, во главе которой стоял великий князь, доверившийся Исееву, но лично в деятельности его неповинный.

Владимир Александрович мог быть, говорят, интересным собеседником, и передавали его удачные остроты. У меня остался в памяти рассказ, что когда он приехал в Кронштадтский госпиталь, ему явился смотритель этого учреждения, отрапортовавший о себе: «Смотритель Бардаков!», на что великий князь ответил: «Почтенное занятие».

Павел Александрович особой роли не играл, и после командования Конной Гвардией, женившись на красивой Пистолькорс, ставшей затем княгиней Палей, должен был выехать за границу, где и оставался почти до 1914 г. Человек он был скромный, и его любили. Любили в Конной Гвардии и его сына Дмитрия, будущего убийцу Распутина. Несколько иное отношение было в полку к Иоанну Константиновичу, человеку добродушному и безобидному, но очень недалекому, и служившему часто посмешищем для однополчан. Надо вообще сказать, что по мере умножения числа членов царской семьи престиж их падал, и достаточно сказать,

что, например, у двух причислявшихся к царской семье герцогов Мекленбург-Стрелицких, внуков великого князя Михаила Павловича, были немецкие прозвища «esel» и «pudel» (осел и пудель). Впрочем, люди они были недурные.

После начала японской войны общественная жизнь в Петербурге и в Гельсингфорсе сразу, конечно, потеряла свое оживление. Мрачное настроение, которое я отметил 27 января на выходе во дворце, не развеялось, и развитие военных действий отнюдь не способствовало этому. Война была непопулярна, никто, в сущности, не знал, из-за чего мы деремся, и почти сразу усилилось враждебное к правительству отношение. Тем не менее, в высших классах населения число добровольцев, желающих идти на войну, было довольно значительно; мой брат Адам был уже через месяц переведен в Забайкальские казаки, Леонтий, как я уже говорил, перешел во флот, а в Гельсингфорсе из окружавших Бобрикова ушел на войну Келлер. В числе прочих добровольцев отмечу двух очень способных людей: ландс-секретаря Старкова и Арцишевского. Так как главноуполномоченным Красного Креста на самый Дальний Восток был назначен Б.А. Васильчиков, то у меня сряду явилась мысль отправиться вместе с ним, но когда я заявил об этом Бобрикову, он очень резко ответил, что меня не отпустит. Таким образом, попал я в Манчжурию только через год.

За месяцы этой зимы по поручению Бобрикова мне пришлось ознакомиться с постановкой дела общественного призрения в Финляндии. В общем, она была довольно примитивна: нетрудоспособные неимущие финляндцы обычно отдавались общинам на содержание с торгов тем, кто меньше всего за них требовал. При этом сдаваемые расценивались в зависимости от того, могут ли они еще оказывать какую-нибудь помощь в хозяйстве. Не помню точно, сколько было наряду с этим небольших общинных приютов, во всяком случае, меньше десяти. Разбросаны они были от района Улеаборга до окрестностей Санкт-Михеля, и я их все объехал, довольно близко ознакомившись со скучной прибрежной полосой Финляндии и с прелестной, даже под снегом, центральной ее частью. Все эти приюты были, в сущности, простыми крестьянскими домами, в которых старики мирно доживали свои дни, конечно, без всякой роскоши, но в тепле и сытые. Побывал я, если не ошибаюсь, и в единственной тогда в Финляндии больнице для душевнобольных (не помню местечка, где она помещалась) и невольно сравнил я ее с нашей Колмовской. Материально они мало отличались. Быть может, финляндская была обставлена немного богаче, но тоже, во всяком случае, скромно, но медицин-

ская часть в Колмове стояла значительно выше. Тогда как в Колмове уже давно отказались от связывания и даже изолирования буйных больных, считая, с основанием, что пример спокойных соседей в общих палатах действует успокаивающе и на буйных, в Финляндии я увидел нескольких больных под сетками из толстых веревок, в кроватях, похожих на ящики. Размещения спокойных больных среди соседних крестьян, помнится, в этой больнице не было.

Весной 1904 г. жена с детьми уехали в Рамушево, а я остался в Гельсингфорсе до отъезда в отпуск Бобрикова, чтобы после этого тоже присоединиться к семье. У Бобрикова в это время гостила его младшая дочь, бывшая замужем за офицером Генерального штаба Хольмсенем; финляндец, он не сочувствовал политике тестя и после женитьбы просил о назначении куда-нибудь за границу. В 1904 г. он и был военным агентом в Афинах, откуда Любовь Николаевна и приехала к отцу. Вскоре после этого я обедал у него, и когда он пошел с женой и Львовским делать свою обычную вечернюю прогулку в Брунспаркен, то пригласили и меня пойти с ними, чтобы у Любови Николаевны был кавалер. Был чудный летний северный вечер, весело болтал я с Любовью Николаевной и не без усмешки подумал о том, какой смысл сопровождения Бобрикова двумя сыщиками, шедшими шагах в 50 за нами.

Часов в 11 я был дома, и с утра занимался чем-то, когда ко мне почти ворвался Берг сказать, что Бобриков только что тяжело ранен в Сенате. Утром он пошел туда в сопровождении Львовского и дежурного адъютанта, отпустил их при входе в Сенат и направился к лестнице, на которой его ждал чиновник Сената Шауман, сделавший в Бобрикова несколько выстрелов и последней пульей покончивший с собой. Одна из пуль ударилась во Владимирский крест и скользнула по груди Бобрикова, но другая ранила его в живот. Я застал его в генерал-губернаторском доме, когда его выносили оттуда в университетскую хирургическую клинику, где профессор Бонсдорф, лучший хирург города, сделал ему операцию. Оказалось, однако, что кишки были порваны на протяжении 6 вершков, крови было потеряно очень много (переливание ее было еще неизвестно), и Бонсдорф надежды почти не подавал.

Действительно, ночью Бобриков умер, и на рассвете его сослуживцы перенесли его на носилках на своих плечах обратно в его дом. Картина этого, в пустом еще городе, при первых лучах солнца, несомненно, производила впечатление.

После убийства Бобрикова был произведен обыск у отца убийцы, бывшего сенатора Шаумана, генерал-лейтенанта русской

службы, и в одной из книг его библиотеки был найден проект организации стрелковых революционных дружин. Генерал объяснил, что он составил этот проект в свободное время, от нечего делать, но был предан финляндскому суду, который его оправдал. Это оправдание отвечало тогдашним юридическим понятиям, ибо обнаружение преступного замысла, не приводившегося в исполнение, считалось ненаказуемым. Тем не менее, через год с небольшим, образовавшиеся в Финляндии дружины, по-видимому, следовали плану Шаумана.

Похоронили Бобрикова в Сергиевской Пустыни около Петербурга, а я после этого поехал на несколько дней в Рамушево, откуда отправился к Каннинену. Из Рамушева я съездил в Старую Руссу, когда Николай II провожал на войну Вильманstrandский полк. Впервые видел я тогда, какая громада – пехотный полк военного состава. Проводы прошли по шаблону: молебен, несколько слов Государя, благословение им полка иконой, которую он затем передал полковнику Сивицкому, и объезд царем полка. Трудно сказать, с какими чувствами уходил полк на войну. Сивицкий не оказался блестящим командиром, но полк дрался хорошо. В дни ухода его немало разговоров было о капитане Константинове: в первые дни войны из Вильманstrandского полка должна была быть отправлена на Дальний Восток одна рота на формирование новых частей. По жребию выпало идти роте Константинова, но, как говорили, за 5000 руб. он сменился со штабс-капитаном Зверевым, сыном старорусского стойщика. Случай этот вызвал в городе большое негодование, и многие осуждали Сивицкого, что он не предложил Константинову выйти в запас. Когда пошел на войну весь полк, Константинову уже не удалось остаться в Руссе; однако, в первые же дни в Манчжурии он был ранен в палец. Мне рассказывали с возмущением офицеры, что эту рану он получил, выйдя вечером на несколько сот шагов за лагерное расположение полка, когда поблизости японцев обнаружено не было. Солдаты открыто называли Константинова самострелом, но все это не мешало ему, как раненому, получить затем место воинского начальника.

Начальником штаба был генерал фон-Поппен, который, когда было объявлено, что корпус идет на войну, подал рапорт, что он по слабости зрения идти с ним не может; хотя все это истолковали, как проявление трусости, Поппену все-таки дали дивизию в Риге, на войну не шедшую, но и там во время осложнений осенью 1905 г. он проявил полную растерянность, и только после этого был окончательно отставлен от службы.

Из Рамушева я отправился к Каннинену практиковаться в финском языке. Месяц, что я пробыл на этой хуторе в нескольких верстах от линии на Або, оставили у меня самое приятное воспоминание; оба Каннинена были милые, простые, местность была типично финляндская с озером между сосновыми лесами, погода все время была прекрасная, и все гармонировало, чтобы не портить общего настроения. Развлечений, кроме ловли раков на испорченное мясо, и прогулок от времени до времени, не было, но как-то они и не требовались. Учился я усердно, и вскоре мог со всеми соседями говорить по-фински, но знания мои оказались довольно поверхностными, и уже через несколько лет выветрились из моей головы.

Кажется, когда я был у Каннинена, был убит в Петербурге Плеве. Лично его мало кто жалел, а предшествовавшие убийства других министров (Боголепова и Сипягина) после которых ничто не изменилось, дало основание думать, что и после Плеве все пойдет по прежнему шаблону. То, что Плеве был более крупной личностью, чем его предшественники, не принималось во внимание. Позднее, в Новгороде, Д.И. Аничков, бывший во время этого убийства на фронте в сибирских казаках, говорил мне, что телеграмму о смерти Плеве приветствовали в его полку криками ура и шампанским, но подобные явления обобщить было нельзя. Тем не менее, преемник Плеве – Святополк-Мирский, до того совершенно никому не известный и оказавшийся вообще человеком не крупного масштаба, решил ослабить полицейское давление на народ и произнес при вступлении в должность речь, которая скоро получила характеристику административной «весны», хотя, кроме общих фраз о необходимости большего доверия к народу, в ней ничего и не было.

В это время в Гельсингфорс приехал новый генерал-губернатор князь И.М. Оболенский. За год до этого он был ранен в Харькове в городском саду революционером, мстившим за экзекуции во время крестьянских волнений в Харьковской и Полтавской губерниях. Оболенский проявил в них большую энергию: пороли крестьян почти поголовно, тогда как полтавский губернатор Бельгард проявил нерешительность и некоторую мягкость. В результате Бельгард был отставлен, а Оболенский приобрел репутацию энергичного администратора. Поэтому, когда был убит Бобриков, он и был избран для его замещения, причем из отставного лейтенанта флота его переименовали в генерал-лейтенанты: в то время еще считалось, что генерал-губернаторы должны быть непременно военными. Оболенский заявил на общем приеме, что

будет продолжать политику Бобрикова, однако, когда я вернулся в Гельсингфорс, я застал там уже совсем другое настроение.

Тогда как Бобриков много работал сам и всем вокруг себя находил работу, Оболенский был бездельником и относился совершенно безразлично к тому, что делают его подчиненные, к которым он, кстати, относился часто без всяких церемоний. Интересовали его, главным образом, хорошая еда и затем хорошенькие женщины. Жена его, рожденная Топорнина, милая и скромная женщина, принеся ему большое состояние, роли в семье не играла. Лично я чувствовал полное его безразличие ко мне, хотя внешне он и был всегда вежлив со мною. Возможно, что роль в этом играли титул и придворное звание, а также и то, что моя теща была в хороших отношениях с его сестрой Чертковой. Как-то странно вспоминать, как и она, и ее сестра Панютина отличались в хорошую сторону от двух их братьев. Муж Чертковой (не знаю, как он приходился Черткову-толстовцу) был в Воронеже управляющим отделением Крестьянского банка и считался там чуть ли не святым человеком. Панютина была замужем всего что-то две недели; ее муж, лейб-гусар, был сперва женихом дочери известного кавказского генерала Лазарева, но, не порвав с нею, сделал предложение Оболенской. Братья Лазаревы выждали его свадьбу и сряду затем вызвали его все на дуэль. Первым из них дрался будущий известный коннозаводчик и нефтяной делец, и убил Панютина наповал. Вдова Панютина после этого вторично замуж уже не вышла.

В августе должна была уходить из Кронштадта эскадра Рожественского и на ней, на «Бородине», мой брат Леонтий. Я приехал в Петербург к родителям проститься с ним, и действительно это свидание оказалось последним прощанием, ибо никто из нас его больше не видал. То, что он рассказывал тогда про эскадру, было довольно неутешительным. И «Бородино», и другие броненосцы были недоделаны, о командире «Бородина» Серебренникове ничего, кроме хорошего, не говорили, но команда, в значительной степени из запасных, была и недостаточно обучена и недостаточно дисциплинирована. Брат рассказал, что на первой же его ночной вахте, обойдя судно, он наткнулся на часового при пороховых погребках, спящего, оставив винтовку.

Русско-японская война и работа в Красном Кресте

Осенью, когда вернулась в Гельсингфорс жена с детьми, уже выяснилось, что, несмотря на первое заявление Оболенского,

по стопам Бобрикова он не пойдет и что, в сущности, он сам вообще ничего делать не будет, предоставляя всем поступать, как хотят. Русская жизнь в Гельсингфорсе вообще замерла, особенно с упразднением военного округа, когда большая часть военных покинула Финляндию. В виду этого, уже с ноября я стал думать об уходе из Финляндии, и когда в Петербург приехал из Владивостока Васильчиков и предложил мне поехать с ним в Манчжурию уполномоченным Красного Креста, я охотно согласился и принял его предложение. В декабре я уже был уволен от службы в Финляндии и перебрался с семьей в Петербург в дом родителей на 12-й линии.

После моего отъезда ликвидация всего, сделанного Бобриковым, шла непрерывно до октября 1905 г. Кое-что было необходимо сделать в связи с общей переменой политики в империи, но Оболенский пошел значительно дальше и вскоре потерял всякий престиж и среди русских, и среди финляндцев; среди русских, ибо все, что они искренно считали необходимым в интересах России, ему было совершенно безразлично, а среди финляндцев – ибо они убедились, что, играя на личных особенностях Оболенского, можно проводить все, что они пожелают. Закончилась карьера Оболенского в октябре 1905 г., когда революционное движение в империи отразилось и в Гельсингфорсе; он совершенно растерялся и бежал на стоявший на рейде броненосец «Славу». Острили тогда, что он без славы бежал на «Славу».

Когда я переехал в Петербург, отец в то время был гласным Городской Думы, но совершенно бездеятельным, и в переговорах по поводу начавшегося рабочего движения, закончившегося 9-го Января, участия не принимал. Поэтому, ничего не опубликованного об этих событиях я не знаю, и расскажу только, что лично видел и слышал. В Петербурге был тогда мой брат Георгий, младший офицер в Преображенском полку; он сказал родителям, что если его роте будет дан приказ стрелять по толпе, он огня не откроет, и родители были, поэтому, в очень нервном состоянии. На счастье брата его рота стояла на Мойке, и стрелять ей не пришлось. Любопытно отметить, что стреляла в этот день рота будущего градоначальника Оболенского, одна из тех, кто принял участие летом 1906 г. в беспорядках в полку, о которых я уже говорил.

После завтрака в этот день я пошел на 5-ю линию навестить графиню Келлер, жившую против Академии Художеств, и на Большом проспекте фронтом к Неве увидел стоящий эскадрон лейб-улан, который, как потом оказалось, только что разогнал

толпу на 5-й линии, бывшей, поэтому, совершенно пустой. К Келлер я прошел свободно, но швейцар долго не хотел впускать меня в дом. Позднее мы с женой отправились обедать к ее родителям на угол Невского и Надеждинской, но через мосты на Неве не пропускали, как и по Невскому, и пришлось нам пройти по льду по мосткам и далее пробираться к своим кружным путем. Здесь получили мы первые сведения о стрельбе, и настроение у всех было очень мрачное. Вернулись мы рано, причем Невский был во власти мальчишек-хулиганов. Перед нашим извозчиком ехал на другом моряк-офицер Володя Кукель; при въезде на Аничковский мост перед ним пробежали два подростка, которые потом оба упали. Оказывается, они пытались натянуть канат поперек моста, но не удержались от толчка лошади. Около Гор. Думы были слышны какие-то крики о стрельбе казаков, и мы свернули на Садовую, где хулиганы били фонари. Дальше в городе было спокойно.

На следующие дни настроение в городе было мрачное; на Невском толпа была необычайная, много было среди нее рабочих, почти поголовно тогда бастовавших. Приказ Трепова «патронов не жалеть» особого впечатления не произвел, хотя критиковали его во всех кругах.

Несколько раз побывал я за это время в Красном Кресте. Председателем его был старик Воронцов-Дашков, при котором все велось очень патриархально. За Японскую войну на Красный Крест было много нападков, но, насколько я могу судить, большею частью несправедливых. В Главном Управлении критиковали деятельность Шведова, и даже его честность была под сомнением. Я уже писал, что, в общем, он был человек неважный, но получал ли он, как говорили, проценты с заказов, никаких более точных указаний мне позднее получить не удалось. Более виноват Красный Крест был в том, что все делалось медленно и что с самого начала не было учтено, какое развитие получит война, но в этом был виноват не один Красный Крест. В конце войны немало вагонов с грузами Красного Креста было разграблено по пути, и вещи, предназначенные для Манчжурии, продавались и в Заволжье и в Сибири, но это уже не вина Главного Управления.

С начала войны были назначены три главноуполномоченных: в Иркутский район – Кауфман-Туркестанский, во Владивосток – Васильчиков, и на наиболее ответственный пост, в Манчжурии – Александровский. Не знаю, на чем был основан этот выбор: в недавнем прошлом кавалергард и, кажется, полковой адъютант, он был известен шефу полка императрице Марии Федоровне, бывшей покровительницей Красного Креста, но до Японской войны

ничем особенным себя не проявил. Как бы то ни было, однако, он оказался в Манчжурии деятелем энергичным, сделавшим все, что было от него возможно, но одновременно с этим, сам раньше человек с достаточными средствами, он не считался с деньгами Красного Креста, отчетность у него была поставлена слабо, а главное, скоро пошли разговоры о том, что он не разбирается в средствах между своими и краснокрестными деньгами. При Васильчикове, когда в отчетности Александровского разобрались, выяснилось, однако, что в ней сколько-нибудь крупных изъянов не было.

Главноуполномоченным было назначено по 1000 рублей в месяц в бесконтрольное их распоряжение. Васильчиков и Кауфман их не трогали, как и большинство главноуполномоченных в 1-ю большую войну. Лично я покрывал из них тогда только некоторые мелкие расходы по Управлению, но не личные, но Александровский (и Иваницкий в большую войну) смотрели на них, как на вид жалования, что нареканий не вызывало. Сверх этого, как мне пришлось, однако, убедиться в Манчжурии, Александровский, у которого там был открытый стол, относил на счет Красного Креста и расходы по своей прислуге, начиная с хорошего повара, и, по-видимому, все припасы на эти приемы брались из краснокрестных. К этому прибавились нелады Александровского с А.И. Гучковым, уполномоченным великой княгини Елизаветы Федоровны, который уже тогда сумел составить себе в армии особое положение, и в результате уже через полгода после начала своей работы Александровский оказался в неудобном положении.

В начале зимы он и был заменен Васильчиковым, объединившим оба дальневосточных района. Лично я только раз видел Александровского, и наш разговор ничего интересного не представлял, так что судить о нем мне трудно, но могу отметить, что по уходе из Красного Креста он был сряду назначен на вновь учрежденную должность начальника санитарной части 1-й армии и что среди военных он был личностью популярной. Было у него много страстных сторонников и среди персонала Красного Креста, и мне самому пришлось как-то уже позднее, в Гунжулине, выдержать бой из-за моей фразы о недостаточной бережливости Александровского. Особенно защищал его будущий Таврический губернатор Апраксин, человек, несомненно, честный, но на первый план выдвигавший энергию и умение Александровского приспособляться к самой тяжелой обстановке. После войны Александровский был назначен пензенским губернатором, но уже через несколько месяцев был убит каким-то эсером.

Уехал я из Петербурга в начале февраля. Жена проводила меня до Москвы, где дядя Коля Мекк свез меня в большой Кремлевский дворец, где работал по изготовлению белья для раненых комитет великой княгини Елизаветы Федоровны, в котором дядя и его жена играли активную роль. Великая княгиня дала мне небольшой образок, как и всем заходившим в комитет отправляющимся на войну.

До Иркутска ходили сибирские экспрессы, о которых рассказывали чудеса в решете. Оказались они, однако, самыми обыкновенными, хотя и прекрасными поездами дальнего следования. Ехал я вместе с Вороновичем, тоже приглашенным Васильчиковым работать в Красном Кресте.

Дорога до Иркутска прошла, как вообще все поездки в поездах дальнего следования, и если бы не воинские поезда, которые мы обгоняли или встречали (эти больше санитарные), то атмосфера была бы вполне мирная. В Иркутске военное время сказалось только в усиленном пьянстве едущих на фронт офицеров. Пробыли мы здесь пять дней, побывали у Кауфмана и двинулись дальше с Васильчиковым, подъехавшим со следующим экспрессом, в предоставленном ему вагоне. От Иркутска все поезда шли по общему графику и до Харбина добрались мы только через неделю. Движение по Кругобайкальской ж.д. было уже открыто, но еще происходили местами обвалы скал, и движение производилось с опаской. Много говорили тогда про министра путей сообщения князя Хилкова, ускорившего эти работы, а еще раньше наладившего переправу грузов по льду через Байкал. Хилков был человеком, несомненно, интересным: бывший гусар, метавшийся без средств, он отправился в Южную Америку; начав чернорабочим, он был затем там машинистом, а по возвращении в Россию прошел, постепенно повышаясь, через все железнодорожные должности. Человек он был хороший и честный, и, побыв сам рабочим, понимал их психологию гораздо лучше, чем другие тогдашние сановники (и не только в России).

Когда мы ехали на Дальний Восток, главная пробка была на Хингане, где поезда, в виду больших уклонов, шли в половинном против нормального составе и, если не ошибаюсь, к востоку от Иркутска пропускались еще всего 10 пар поездов. Работали тогда на Хингане, прокладывая новую линию с меньшими уклонами, но если не ошибаюсь, то закончена она была только в конце войны.

Не помню точно, в Петербурге ли еще или на этом проезде Васильчиков мне сообщил, что он подал Николаю II записку о необходимости созыва Земского Собора. Как он мне сказал, и неко-

торые другие лица (помню, что он упомянул Кочубея, начальника Главного Управления Уделов) тоже подали подобные записки. Как известно, вскоре после этого и было создано Особое совещание, давшее в результате Булыгинскую Думу.

Уже вскоре после Иркутска появились телеграммы о начавшихся около Мукдена боях, но только на крупных станциях удавалось узнать последние о них новости. Кстати на маленьких станциях, особенно в Манчжурии, люди жили без всяких новостей, и я был свидетелем, как на одной из них начальник ее подошел к почтовому вагону и попросил газетку; почтовый чиновник и дал ее из числа многих адресованных в армию. О решающем характере боев узнали мы только в Харбине, где мы были 23-го или 24-го февраля, откуда Васильчиков на следующий день и отправился в Мукден, взяв меня с собой. В вагоне его были также два представителя общедворянской организации М. Стахович – Орловский губернский предводитель – и Скадовский – Таврический. Оба были потом выборными членами Гос. Совета, а Стахович и членом Гос. Думы; Скадовский роли позднее не играл, а Стахович ряд лет считался выдающимся либеральным деятелем. Он, несомненно, обладал ораторским талантом, был милым человеком и импонировал своей высокой крупной фигурой и авторитетной манерой говорить. Однако мне позднее не раз приходилось убеждаться в его неделовитости и неумении выбирать людей.

До Гунжулина наш поезд шел, хотя и медленно, но сносно. Навстречу шли поезда с ранеными, а как известно, это элемент всегда наиболее пессимистически настроенный, но ничего катастрофического еще они не передавали. В Гунжулине, где мы были ночью, встретили мы один из последних поездов с ранеными, шедших еще из Мукдена; на нем было не то 1800, не то 1900 раненых, которых везли без всяких удобств, даже не в теплушках. Персонал поезда совершенно сбился с ног, раненых не кормили уже более суток, да и продовольственный пункт в Гунжулине не мог сразу всех их накормить. В первый раз пришлось мне видеть такую картину, когда почти из всех неосвещенных вагонов неслись стоны, из многих вытаскивали умерших, в письме к жене я сравнивал эту картину с Дантовским адом, но позднее мне не раз приходилось видеть еще худшие.

Дальше мы продвигались гораздо медленнее вместе с эшелонном какого-то стрелкового полка, и ровно через 30 часов были в Телине. На одной из станций мы встретили последний санитарный поезд, в котором, в числе прочих, мы нашли двух раненых офицеров Генерального штаба Дм. Гурко (младшего из сыновей

фельдмаршала) и Картацци, и от них узнали впервые, что Мукден оставлен и что армия разбита. С тяжелым впечатлением были мы следующим ранним утром в Телине, где Васильчиков отправил меня выяснить, кто и что из краснокрестных учреждений находится в Телине, а сам пошел в поезд Куропаткина.

От него он узнал, что он уже заменен Линевичем, но что он просил оставить его в армии. Куропаткин оправдывался, естественно, в поражении, но из того, что мне тогда передал Васильчиков, у меня в памяти ничего не осталось; Куропаткин сказал Васильчикову, что Телин будет к вечеру оставлен. Около станции нашел я «управление» Красного Креста Южного района, сводившееся к одному уполномоченному М.М. Хилкову, сыну министра, и д-ру Бакину, будущему члену 3-й Гос. Думы. Заведовавший районом д-р Е.С. Боткин, если не ошибаюсь, остался в Мукдене вместе с А.И. Гучковым и частью персонала Красного Креста, чтобы не бросить на произвол судьбы оставшихся там раненых. Хилков отдавал уже распоряжения об эвакуации из Телина последнего госпиталя и имущества Красного Креста, и, узнав от него об обстановке, я вернулся в вагон Васильчикова.

Недалеко от станции увидел я группу военных во главе с пожилым генералом, перед которым проходили войска. Впрочем, на то, что это были войска, указывали лишь винтовки; папахи были обвернуты светлыми тряпками, чтобы не служить мишенью для японских стрелков, а валенки на ногах и китайские ватники, заменявшие полушубки, давали впечатление скорее каких-то паломников, чем солдат. Поразило меня, как мало оставалось офицеров. У всех был крайне утомленный вид, и прохождение отнюдь не имело вида парадов мирного времени. Шли по несколько человек в ряд, затем 1-2; после перерыва опять шло несколько рядов; генерал от времени до времени кричал: «Спасибо, молодцы, славно дрались!», на что, однако, никто почти не отвечал. Оказалось, что это были полки 25-й дивизии, а генерал был командир 16-го корпуса Топорнин.

На вокзале увидел я готовый к отправке поезд, переполненный и с людьми, облепляющими даже паровоз. С утра уже японцы начали наседать на наш арьергард, занимавший позиции верстах в восьми от Телина, и на станции были слышны орудийные выстрелы. При мне подошел поезд из нескольких товарных вагонов и из него перенесли новых раненых в перевязочный пункт в зале III класса; на платформе лежало несколько умерших, а наряду с этим, в буфете I класса шло пьянство, и на меня чуть не упал совершенно пьяный офицер, выходявший из буфета с бу-

тылкой шампанского. Кстати, пьянство офицеров в Манчжурии принимало подчас совершенно уродливые формы, и мне пришлось, например, вскоре прочитать приказ главнокомандующего об отставлении за пьянство от должности какого-то батареинного командира. В самый день оставления Телина через него проходил один из полков дивизии Ренненкамфа, 2-й Верхнеудинский, перед которым ехал на рикше совершенно пьяный его командир барон Деллингсгаузен. Этот полковник, еще когда был офицером в лейб-драгунах, был известен в Новгороде, как алкоголик, но только после Телина был отставлен от командования. Немало способствовало пьянству в Манчжурии и дешевизна спиртных напитков, ибо на них не было ввозной пошлины, и шампанское стоило, например, вдвое дешевле, чем в России. Когда не было ничего лучшего, пили ханшин, плохо очищенную китайскую водку, дававшую все признаки отравления.

Васильчиков прикомандировал меня к Хилкову, а сам вернулся в Харбин. Узнав, что мне пока что делать в Телине нечего и что наш поезд уйдет не раньше 3-х часов, я пошел в китайский город. Хотя армия была еще в хаотическом состоянии после отхода от Мукдена и, казалось бы, были основания, чтобы город пострадал от этого, был он в полном порядке, и лавки были открыты. Кое-где попадались мне навстречу отдельные солдаты, другие просто спали на улицах. Насколько велик был беспорядок в армии, можно судить по тому, что, когда в Телине стали производить разборку оказавшихся в нем бесформенных толп, то в первый же день было разобрано несколько десятков тысяч человек. Позднее, в Маймайкае Каульбарс говорил мне, что в его наиболее пострадавшей 2-й армии перед Мукденскими боями было 93.000 человек, в 1-й день в Телине оказалось всего 28.000, но через неделю на Сыпингайских позициях еще до прибытия каких-либо маршевых частей оказалось 65.000. Хаос и распущенность были такие, что многие докатились до Харбина, так что в нем начальник тыла генерал Надаров установил периодические облавы, а перед Харбиным был поставлен заградительный пункт, на котором с поездов снимали сотнями.

Спрашивается, чем объяснить эту катастрофу? Не будучи свидетелем Мукденских боев, я не решусь ответить на этот вопрос, но мне кажется, что нигде, и в том числе, в общем прекрасной и беспристрастной официальной истории Японской войны, не было обращено достаточное внимание на отсутствие порядка в тылах и на поддержание в них надлежащего настроения. В Японскую войну уже в Харбине оно было очень невысоким и это очень отзывалось

и на ближайших к фронту тылах, в которых во время Мукденского боя было достаточно появления ничтожных японских разведов, чтобы все обозы и десятки тысяч людей обращались в паническое бегство. Правда, это случилось при отходе в песчаную зимнюю бурю, когда в сотне шагов ничего не было видно (позднее в Гунжулине я испытал, что это такое), но достаточной выдержки почти ни у кого тут не оказалось. Рубили построшки, уносились на лошадях, куда глаза глядят, и многие гибли, с разгона срываясь с повозками с крутых берегов реки Пухе. Едва ли кто сможет ответить, сколько-нибудь точно, сколько тут погибло имущества и оружия. Я знаю, что, например, начальник команды конных разведчиков Вильманстрандского полка Дишин получил Владимира с мечами за то, что на следующий день вывез со своей командой что-то 15-20 брошенных орудий. За отход от Мукдена Куропаткина не винили, но за руководство даже очень. Правильно ли это, не могу судить, но беспорядок, который я видел через три дня после отхода, дает мне основание сказать, что он, безусловно, потерял руководство армией.

Днем оставили мы Телин, зная только, что армия остановится на линии Сыпингя и что нам надлежит проехать до Гунжулина. Линия была закупорена эвакуированными составами, и 130 верст мы сделали только в 2 ½ суток. В вагоне я познакомился с Хилковым, который оказался милым и порядочным человеком, и за две недели, что он пробыл в Гунжулине, когда ему пришлось почти все налаживать вновь, распоряжался очень разумно. В вагоне персонала (мы ехали в кадровом санитарном поезде Кр. Креста) с нами оказался бригадный командир, кажется, 9-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии Довбор-Мусницкий. Он не пожелал подобно брату перейти из католицизма в православие, и поэтому попал не в Академию Генштаба, а в Юридическую, и в 1904 г. был уже военным судьей. Подал прошение о назначении его в строй, он попал в одну из боевых дивизий. Позднее я слышал, что подчиненные его не очень ценили, как боевого командира. Конечно, не все такие оценки бывают справедливы и, в частности, я не знаю, справедлива ли она была о Довборе, но во время 1-й мировой войны я не раз убеждался в их правильности. Например, я как-то слышал уже в Манчжурии, что боевая репутация ген. Кондратенко была создана ему исключительно его блестящей 9-й дивизией, и в Великую войну, когда у него этой дивизии не было, он проявил себя очень плачевно; утверждали также, что блестящая репутация ген. Зарубаева, командира 4-го Сибирского корпуса, была создана адъютантом штаба корпуса капитаном

Крымовым, подчинившим своему влиянию и Зарубаева и его начальника штаба генерала Вебеля.

Вероятно, я не ошибусь, если скажу, что Японская война была экзаменом для русской армии, которого она во многих отношениях не выдержала. Безусловно, сохранилась прежняя храбрость солдат и офицеров, а также и большей части генералов, но наряду с этим оказалось, что мало кто в армии был знаком перед 1904 г. с условиями ведения современной войны. Возможно, что анекдот про Штакельберга, что он заставил под Вафангоу какую-то батарею выехать на открытую позицию, обозвав при этом ее командира, возражавшего против этого, трусом, и не правилен (в войсках ему подчиненных Штакельберга, несомненно, любили), но также несомненно, что, например, в 4-м Сибирском корпусе, пришедшим в Манчжурию со старыми клиновыми орудиями, техника использования современной артиллерии была, безусловно, неизвестна. Японская война заставила изучить все, что дала к 1914 г. новая техника и методы ее использования, но я согласен вполне с Зайончковским, что и к 1914 г. это обновление командного состава армии распространилось еще только на часть дивизионных командиров. Об этом мне придется еще говорить позднее, но, во всяком случае, отличившиеся в Японскую войну генералы и штаб-офицеры не были забыты, хоть и не все из них в Великую войну оправдали возлагавшееся на них.

Японская война показала, что необходимо армии в смысле нового вооружения, и оно у нас в 1914 г. имелось, но наш Генштаб не учел правильно опыта 1904-1905 гг., определяя, сколько чего необходимо. В частности запас ружейных патронов к 1914 г. был скорее слишком велик, а орудийных снарядов невероятно мал. Но об этом тоже мне еще придется говорить дальше. Интендантская часть показала себя в Японскую войну хорошо, может быть, потому, что Манчжурия имела достаточные запасы зерновых хлебов, а соседняя Монголия скота. Кроме того, многое доставлялось Грозовым, известным поставщиком Скобелева в Геок-Тепинскую экспедицию, которому Куропаткин предложил поручить многое помимо своих интендантов. В общем, Японская война была первой, в которой наша армия была прилично накормлена и одета, и если были кое-где по этой части недочеты, то по вине нераспорядительности местных командиров. Оговорюсь, однако, что это было достигнуто опустошением запасов частей, оставшихся в России, так что после войны армия наша оказалась абсолютно неспособной в течение ряда лет вновь вступить в бой. Тем не менее, надо признать, что опыт Японской войны был учтен и, если

в следующую войну мы оказались вновь не готовыми, то, главным образом, вследствие некоторых новых ошибок, о которых мне придется говорить позднее.

В Гунжулине Кр. Крест устроился в зданиях железнодорожной больницы. Сряду после нас появился здесь «резерв» сестер милосердия, с которым у меня связано забавное воспоминание. Одна из сестер от сильной усталости в дороге заснула так крепко, что не почувствовала, как крысы, коих было там множество, обьели плечо и рукав ее кожаной куртки, взамен которой мне пришлось выдать ей другую. Такого количества грызунов я не видел с лета 1895 г., когда в Гурьеве мыши бегали всюду без всякого страха даже при свете. Как-то, проснувшись утром, я увидел мышку, сидящую у меня на груди.

В больнице поместится госпиталь Императрицы Марии Фёдоровны, во главе коего стоял известный тогда хирург, профессор Юрьевского университета Цеге-фон-Мантейфель. Типичный немец, он был очень хорошим человеком и пользовался тогда большой популярностью, ибо во время боев работал с летучкой госпиталя в передовых линиях, часто под огнем. Контрастом к этому прекрасному госпиталю являлся заразный госпиталь военного ведомства, помещавшийся тут же около станции, но в землянках. Хотя в них было и чисто и, хотя кормили больных хорошо, строгой изоляции больных по болезням не было, и в одной землянке лежали больные трех форм и в том числе сыпного тифа. Надо, впрочем, сказать, что в отношении эпидемий в армии все обстояло очень благополучно, и ни одна из заразных болезней (если не считать дизентерии) распространения не получила. Среди китайцев немало было случаев натуральной оспы, но и она дала в армию немного жертв. Через несколько лет после войны в Харбине была вспышка чумы, но во время войны про нее слышно не было.

Понемногу в Гунжулине все наладилось. Пополнился наш склад, стал прибывать резервный персонал. Как это часто бывает, когда людям нечего делать, среди них начались ссоры из-за ничего, и мне как раз пришлось разбираться в одной из них. Хилков в это время уехал обратно в Россию, Е.С. Боткин, вернувшийся из Мукдена, еще был в Харбине, и я его заменял в течение нескольких дней. Кормились мы все в столовой Кр. Креста и еда была недурная. На несчастье как-то в супе оказался таракан; студенты, бывшие в резерве, вызвали для объяснений заведующего хозяйством Крупенского, и один из них на не понравившуюся ему фразу последнего, сказал: «Ну, этот номер не пройдет». Крупенский, человек тоже несдержанный, ответил, и затем в течение двух су-

ток сперва я, а затем подъехавший как раз Боткин еле водворили внешний порядок, но настоящее спокойствие установилось только, когда Крупенский уехал в Харбин, а студентов Боткин распределил по отрядам.

В Кр. Кресте в Манчжурии было два брата Боткиных, сыновья знаменитого профессора. Старший Сергей, тоже профессор, заведовал у Васильчикова медицинской частью, а младший Евгений, приват-доцент, считавшийся более способным, заведовал Южным районом. Сергея я мало встречал, а об Евгении у меня осталось самое лучшее воспоминание, как о человеке умном, порядочном и тактичном. После войны он был назначен личным врачом царской семьи, и когда ее отправили летом 1917 г. в ссылку в Тобольск, он счел себя морально обязанным ее сопровождать, и оттуда уже не вернулся. Когда я узнал о его гибели, я его искренно пожалел. Е.С. был человек рыхлый и у него часто распухали суставы на ногах (по-видимому, от ревматизма), от чего он лечился громадными приемами салицилки до тех пор, пока у него не появлялись признаки отравления ею; зато опухоли проходили через день-два.

В Гунжулине познакомился я с уполномоченными при армиях: при 1-й им был Леман, при 2-й – Нитте и при 3-й – Николаев. Леман, человек дельный и порядочный, но с тяжелым характером, заведовал позднее в Кр. Кресте мобилизационным отделом, Николаев ничем не отличился, а Нитте, бывший кирасир, отличавшийся, как все говорили, исключительной храбростью, уже тогда проявлял некоторые странности. По возвращении в Петербург он окончательно сошел с ума (как выяснилось, у него был прогрессивный паралич). Все они до войны были военными в невысоких чинах, и это вредило им и особенно Кр. Кресту, ибо авторитетом они у высшего военного начальства не пользовались, а иногда их подозревали, что они пошли в Кр. Крест, чтобы не быть назначенными в строй на фронт.

Как-то в Гунжулин приехал главнокомандующий Линевич, старичок, произведший на меня очень серенькое впечатление. Говорили, что его любили в войсках, но мне в это не верилось, настолько он был бесцветен. Обошел он наши учреждения, кое-кому раздал боевые ордена и обратился и ко мне с рядом вопросов, ответы на которые очевидно должны были дать ему основание наградить и меня. Я, однако, не дал ему этого повода, за что на меня потом и напали, ибо погоня за орденами была очень развита в Кр. Кресте. Однако, пробыв в Манчжурии всего месяц и ничего еще, в сущности, не сделав, я не считал себя вправе чем бы то ни

было хвастаться. Надо сказать, что в Манчжурии боевые награды раздавались с слишком большой щедростью и подчас лицам, даже издали боев не видевшим. Особенно легко получали их штабные: например, после Мукденских боев получил их весь штаб Куропаткина. Уже само по себе странно, что они были даны лицам, до известной степени ответственным за поражение, но сами же штабные смеялись, что какой-то орден получил полковник Н.А. Данилов (рыжий), находившийся в это время в отпуску в Италии. Говорили, что он получил его за «Италийский поход». В полках ордена с мечами получали за тот или другой бой огульно все офицеры, даже бывшие в тылу. Офицерам штабов высшие боевые награды – Георгиевские кресты (Орден Св. Георгия) и Георгиевское оружие (тогда еще «золотое», хотя золотого в нем ничего не было) давались за командировки на фронт, в которых они давали якобы советы, давшие тот или иной успех.

Это объясняет, почему среди офицеров Генштаба было так много кавалеров этих почетных наград, дававшихся строевым офицерам только за проявление действительного героизма. Впрочем, и тут бывали странные случаи. Уже в Манчжурии рассказывали про казус гвардейского офицера В., подавшего рапорт о награждении его орденом Св. Георгия за «спасение» знамени. Этот офицер, как говорили, стоял на площадке вагона последнего уходящего поезда и к нему обратился командир остававшегося в окружении стрелкового полка с просьбой вывести полковое знамя; поезд благополучно вышел из опасной зоны. В. сдал знамя и подал свой рапорт. Однако он вызвал, по-видимому, большую сенсацию, чем ожидал его автор; возникло дело о потере полком знамени, что угрожало его расформированием; вышедшие с остатками полка из окружения офицеры протестовали против рапорта В. (не помню, остался ли в живых командир полка или был убит) и в военных журналах еще через несколько лет печатались статьи о «гибели» полка. Не помню тоже, получил ли В. Георгия, но, во всяком случае, во времена Керенского эта история не помешала ему оказаться командующим военным округом.

После эвакуации японцами из Мукдена наших тяжелых раненых Гучков со всем санитарным персоналом был ими отпущен. Дали им и несколько повозок; направили их на участок фронта, занимавшийся тогда 2-м Верхнеудинским полком, где их встретили огнем, донеся в тыл о наступлении значительной неприятельской колонны с артиллерией. Через несколько дней в Гунжулине у нас в Кр. Кресте встретились Гучков и брат моей жены Саша Охотников, еще с лета переведенный во 2-й Верхнеудинский

полк и как раз оказавшийся в сотне, обстрелявшей наших медиков. Я помню, как Саша стал весь пунцовый, когда Гучков, смеясь, ему сказал: «Так это вы нас приняли за японскую артиллерию?». Саша был, впрочем, храбрым офицером, и осенью 1904 г. перед боями на Шахе ему удалось произвести одну из немногих удачных кавалерийских разведок в тылу у японцев, поэтому ему была так неприятна насмешка Гучкова над ошибкой, в которой лично он виноват не был.

В Гунжулине впервые пришлось мне встретить А.И. Гучкова, с которым мне потом много пришлось работать. Если вообще чужая душа потемки, то это особенно применимо к Гучкову. Припоминается мне разговор о нем с моим коллегой по Гос. Думе и партии Люцем о том, какая конечная цель Гучкова (было это еще во времена 3-й Думы), и мы сошлись, что обоим нам она неясна; и, тем не менее, когда Гучков умер и бывший крупный чиновник и талантливый человек И.И. Тхоржевский напечатал статью, осуждающую деятельность покойного, то я выступил в его защиту письмом в редакцию эмигрантского «Возрождения». И сейчас, признавая вполне его ошибки (и не малые), я от моего взгляда на него не отказываюсь. Обычно не считаются с тем в своих оценках, что все мы являемся детьми не только своего века, но и своей среды, и что в Гучкове они отразились не меньше, чем во всех нас. Но наряду с этим он не замерз на том, с чем вошел в жизнь, и наоборот его можно назвать «искателем», но не религиозным, а политическим. Откровенен со мною он до конца никогда не был (о своих планах дворцового переворота он мне, например, ни разу не говорил). Но иногда у него прорывались фразы, указывавшие, что ответственность главы партии заставляет его воздерживаться от совершенно открытого выражения своих взглядов, чтобы не развалить и без того не однородную нашу партию. Как-то, например, по поводу разногласий в партии, когда я ему высказал свои взгляды на неизбежность рано или поздно принудительного отчуждения помещичьих земель, он согласился со мною и очень резко отозвался о наших товарищах по партии – помещиках. Обо всем этом мне еще придется подробнее говорить далее, но в начале 1905 г. он был еще определенным монархистом и националистом.

В Манчжурии Гучков был уполномоченным комитета вел. княгини Елизаветы Федоровны, которая избрала его, как энергичного и выдающегося гласного Московской Гор. Думы. Прошлого его действительно было незаурядным. По окончании Университета он был оставлен при нем для подготовки к кафедре, если не ошибаюсь, истории, однако, уже вскоре он оказался «корреспон-

дентом» в Турецкой Армении на стороне восставших тогда армян; после подавления этого движения он вскоре понесся в Южную Африку волонтером против англичан. Здесь во время атаки английской позиции он был тяжело ранен (пуля перебила ему бедро), и остался лежать в открытом поле под огнем противника. По его словам, буры всегда проявляли крайнюю осторожность, и оставили бы его совсем без помощи, но к нему подполз другой волонтер, русский офицер (фамилию его я забыл, он был убит в японскую войну), и так как подняться было нельзя, то он за руки вытащил лежавшего на спине Гучкова в закрытое место. После долгого лечения нога срослась, но осталась несколько укороченной, и Гучков, несмотря на высокий каблук, немного прихрамывал. После этого он оказался офицером в Охранной страже Восточной железной дороги. Мне рассказывали, что здесь он развел жену одного инженера, сестру известного пианиста Зилотти, но, когда после женитьбы на ней сделал визиты с ней целой группе инженеров, ни один из них визитов им не отдал, в ответ на что он всех их вызвал на дуэль. Положение его, когда никто из них вызова не принял, стало, однако, крайне неудобным и он вернулся в Москву с репутацией бретера. В Манчжурии я как-то видел его, как он на 25 шагов всадил из револьвера несколько пуль без ошибки в туза.

Организация Елизаветы Федоровны сводилась к нескольким складам, которыми заведовал в действительности мой двоюродный брат В.В. фон Мекк при помощи г-жи Раабен, жены полковника Генштаба, как раз в это время убитого. Гучкова такая спокойная тыловая работа мало интересовала, тем более, что он знал, что на Мекка и Раабен он мог вполне положиться; и он занимался чем угодно, кроме своих складов. Популярностью среди руководителей Кр. Креста он тогда не пользовался.

В Гунжулине на несколько дней появился, кроме Охотникова, и мой брат Адам. Еще в Забайкалье он застал свою дивизию, в которой офицеров-казаков почти не было. Командовал ею ген. Ренненкампф, приобретший себе репутацию в 1900 г. при подавлении в Манчжурии боксерского восстания. Вспоминая сейчас рассказы брата, я не понимаю, чем, в сущности, он поддержал эту репутацию во время японской войны. Его дивизия (а позднее его 7-й Сибирский корпус) находилась на крайнем левом фланге и за исключением Мукденских боев, кроме перестрелок с небольшими японскими частями, боев не имели. В начале боев дивизия была сосредоточена на Ялу, но после Тюренчена отошла. В этот период из нее был выслан ряд разъездов в тыл японцев; идти в них вы-

звались почти все офицеры дивизии, и пошли в них, вытянувшие жребий; в числе их был пожилой есаул Арсений Карагеоргиевич (о котором я уже упоминал), и почему-то ему одному придали второго офицера, моего брата. Быть может именно вследствие его возраста князь оказался более осторожным, но, во всяком случае, брат к военным его качествам относился очень скептически. Разъезд Карагеоргиевича несколько раз наткнулся на японцев и сразу спешно ретировался, о чем брат рассказывал с возмущением, хотя в одной из этих стычек у него и была убита под ним лошадь. Те из этих разъездов, которые проникли в тыл японцев, были уничтожены, и именно тогда был убит друг моего брата Леонтия – Зиновьев, отказавшийся сдаться. Как это ни странно, но самое тяжелое положение, в котором пришлось оказаться брату, случилось через два дня после подписания мира в Портсмуте. Весть об этом еще не дошла до армии и усиленная разведка, в которой принимал участие брат, наткнулась чуть ли не в упор на японцев вследствие небрежности командовавшего отрядом полковника Фус, первого умчавшегося сразу за несколько верст в тыл. Адаму пришлось тогда с небольшой группой не растерявшихся казаков прикрывать отход отряда.

По окончании войны Ренненкампф сделал подарки всем чинам дивизии: офицерам золотые, а казакам серебряные часы с надписью «от ген. Ренненкампфа». Подарки были сделаны за счет хозяйственных сумм, и, несомненно, были образчиком весьма своеобразного отношения к казенным деньгам. Впрочем, о других хозяйственных операциях Ренненкампфа мне еще придется говорить позднее.

В это время Васильчиков поручил мне заведование питательными пунктами на Южной линии, и я объехал их все, но лишь для того, чтобы убедиться, что работают они прекрасно и ни в каком моем руководстве не нуждаются. Доложил я об этом Васильчикову (кстати скажу, что моя работа в Кр. Кресте, как и громадного большинства уполномоченных, ничем не оплачивалась). Во время этого объезда, который я сделал большей частью в теплушке, мне пришлось два перегона сделать на паровозе. Работа железнодорожного персонала была в Манчжурии тяжелая и подчас небезопасная, ибо не раз бывали обстрелы поездов хунхузами, а во время Мукденских боев был и случай прорыва в наш тыл через «нейтральную» Монголию японского разъезда, подорвавшего небольшой мостик. Хунхузы были все время большим злом Манчжурии, но при условиях тогдашней китайской жизни неизбежным. В то время, как утверждали, происходил постоянный обмен

людей между хунхузскими бандами и «регулярными» войсками. Солдаты, которым не платили жалования и которых не кормили, уходили к хунхузам и наоборот, власти, бессильные справиться с этим, нанимали целые их отряды на свою службу. Часть их отрядов была использована японцами и позднее утверждали, что диктатор Манчжурии маршал Чжан-Дзо-Лин был в 1904-1905 гг. одним из этих японских наймитов. Кстати коснусь вопроса о разведке, которая была прекрасно поставлена у японцев и которая, в чем были согласны почти все, почти отсутствовала у нас. Когда в войсках ловили шпионов (какими признаками они определялись, я не знаю) то после первых месяцев, во избежание долгой процедуры, их не передавали военно-судебным властям, а приканчивали часто на месте. Мне рассказывали, что у казаков, когда им отдавался приказ «убрать», т.е. убить того или другого подозреваемого в шпионаже, они его обычно зарубали, чтобы не тратить патрона. У казаков якобы считалось, что в убийстве китайца нет греха, ибо у него «не душа, а пар».

В связи с хунхузами мне припоминается в Гунжулине спор между нашими врачами, свидетелем коего я был. В местной китайской тюрьме сидел уже приговоренный китайским судом к смертной казни какой-то хунхузский вожак. Его сообщники попытались его освободить, но при этом один из наших казаков разрубил этому вожаку голову. Тяжело раненого его привезли к Цеге, и тут возник вопрос об операции: если раненого не оперировать, то он умрет, а если операция его спасет, то его все равно казнят китайцы. Насколько я помню, Цеге все же решил оперировать, считая, что его долг спасти человека в данную минуту, и что дальнейшее его не касается.

В конце апреля я получил назначение помощником особоуполномоченного Кр. Креста при 2-й армии Нитте и отправился в гор. Маймайкай, где находился штаб армии. Маймайкай находился на линии 84-го разъезда в сторону Монголии и в 20 приблизительно верстах от Сыпингайских позиций. Автомобилей тогда не было, и все сообщения происходили верхом. В Маймайкае поместились мы в небольшой фанзе, мы с Нитте и студент, заведовавший складом. Питались мы в 5-м подвижном лазарете Кр. Креста, по существу же все время бездействовали и скучали. При армии было всего около десятка учреждений Кр. Креста, уже наладивших свою работу и все с персоналом опытным и большей частью давно работающим в Кр. Кресте. Боев после Мукденских почти не было и раненых было везде очень мало. Маймайкай был небольшой городок типично китайский, с узкими не мощеными

улицами, по которым и пройти, и проехать после дождей было почти невозможно. Впрочем, дожди имели ту хорошую сторону, что после них повозки глубоко перемешивали на улицах все отбросы вместе с глиной и, когда солнце высушивало все, то улицы оказывались чистыми (если не говорить о толстом слое пыли). На улицы выбрасывались китайцами все отбросы вплоть до трупов мелких животных и детей-мальчиков до 7 лет, а девочек до 10. Русские коменданты запрещали это выбрасывание детей, но как-то на окраине города я увидел стаю собак, что-то грызущую: оказалось, что они объедают трупик девочки, у которой одна нога была уже отгрызена. Перестав выбрасывать своих умерших детей, китайцы, однако, не стали их хоронить, а оставляли в своих фанзах под навозом. В соседней с нашей фанзой нашли, например, в какой-то яме, еле прикрытой мусором, девочку, умершую от натуральной оспы. От нее заразился один из чинов управления Санитарной части, помещавшийся в этой фанзе, который тоже умер от этой болезни.

Никаких достопримечательностей в городе не было, кроме курильни опиума, которую комендант показывал всем. Ничего грязнее и отвратительнее представить себе невозможно: в чуланах, на грязной сырой соломе лежали накурившиеся, с бессмысленными лицами люди; таких, которые бы еще курили, я не видал. На вопрос, почему он не прекратит этой гадости, комендант, пожав плечами, ответил мне, что курение этим не прекратишь, а все-таки лучше иметь одну курильню под наблюдением. Кажется, рядом с ней помещался и публичный дом.

Сряду по приезде в Маймайкай пошел я к Каульбарсу. Относились все к нему с большим уважением за его безусловную порядочность и редкую храбрость. Рассказывали, что во время Мукденских боев он несколько часов пробыл на каком-то холме под сильнейшим обстрелом, отослав штаб в укрытое место. Можно, конечно, спросить, насколько это было необходимо в наше время для высшего начальства, но вообще надо признать, что распоряжения Каульбарса во время этих боев многими критиковались. Начальником штаба армии был еще в Маймайкае генерал Рузский, но он был болен и уезжал в Россию, так что я его видел только один раз. Заменил его генерал-квартирмейстер Бибилов, считавшийся тогда многообещающим военным, но, пойдя на большую войну командующим дивизией, он как-то сряду сошел со сцены, почему не знаю.

С Каульбарсом я тогда не раз разговаривал; большая часть того, что я от него узнал, позднее было напечатано, и я приведу

только объяснения Куропаткиным его приказов об отходе от Ляояна и о прекращении атак на Сандепу. Отойти от Ляояна он решил под влиянием паники в левофланговой дивизии Орлова и донесения Штапельберга о том, что его прекрасный 1-й Сибирский корпус после недельных боев так устал, что не в состоянии больше драться. Через сутки Штапельберг просил не обращать внимания на его первое донесение, но приказ об отходе уже был дан.

Приказ о прекращении атак на Сандепу вопреки мнению командовавшего тогда 2-й армией Гриппенберга, Куропаткин отдал, как он говорил Каульбарсу, на основании рапорта посланного им ознакомиться с положением в этой армии капитана графа Игнатьева, который нашел, что дальнейшие атаки бесполезны. Приказ главнокомандующего вызвал известное столкновение с Гриппенбергом; по-видимому, симпатии Каульбарса были в этом случае не на стороне Куропаткина, хотя он с ним был дружен еще со времен их совместной службы в Туркестане в 70-х годах.

С молодежью штаба я ездил как-то на осмотр позиций, которые все считали тогда весьма сильными; во время войны с немцами они считались бы, однако, совсем слабыми. В числе участников этой поездки был младший сын Каульбарса, улан, убитый в начале большой войны, и Бер, тогда прапорщик, а позднее талантливый чиновник Министерства иностранных дел, после революции, пошедший в священники. Съездил я в наш передовой отряд в Баиенчен, около Монгольской границы, где стоял этот отряд, и вновь собирался туда, ибо там предполагалась усиленная разведка, но как раз перед этим заболел дизентерией (тогда официально она называлась гастроэнтеритом). Старший врач 5-го лазарета, хирург по специальности, почему-то считал, что все подобные заболевания есть проявление малярии, и стал лечить меня хиной, от чего мне стало только хуже. Так что проезжавший через Маймайкай Цеге-фон-Мантейфель посоветовал мне лечь в 5-й лазарет и поручил меня в нем терапевту д-ру Фридману, очень милому, скромному человеку. Первый день мне было совсем неважно, но понемногу лечение Фридмана стало мне помогать, и через 10 дней я выписался. Лазарет помещался в фанзе и все лежали на канах, на соломенных матрасах. Я помещался в «офицерском» отделении, которое отделялось от общего перегородкой из воценой бумаги, но ничем от него не отличалось. Со мной лежали два офицера, по существу уклоняющиеся от строя; один еще почти юноша, находился в отряде под предлогом невращения, другой же, уже пожилой, кажется, ссылался на какую-то сыпь. Этот последний каждый день делал истории санитарам из-за якобы не-

достаточно горячего чая. Раненых в лазарете совсем не было, и только на одну ночь поместили к нам раненых из Кубанской казачьей дивизии. Она незадолго до этого прибыла на фронт и в конном строю где-то на границе Монголии атаковала японские окопы, которые и взяла, понеся при этом порядочные потери. В числе раненых был войсковой старшина, попавший под пулемет и получивший четыре сквозных ранения; он порядочно страдал и, когда боль становилась особенно сильной, щипал своего вестового. Проходя мимо меня, этот сказал про старшину: «Вот идол», а когда я высказал, что вероятно он это делает бессознательно, то казак мне ответил: «Ну и раньше он был такой же».

На японской войне были казаки всех войск. Из них на первое место по боевым качествам ставили кубанцев, терцев и оренбуржцев, и на последнее донцев. Казаки сибирских войск были, в сущности, те же крестьяне без боевых традиций и без своих офицеров, которыми в громадном большинстве были у них добровольцы из европейских частей.

На следующий день раненых увезли на железную дорогу. Перевозка их производилась большею частью на санитарных двуколках военного ведомства и была крайне мучительна. Повозки Кр. Креста были значительно лучше, но тоже далеки от идеала, и надо вообще сказать, что до самого конца даже Большой войны вопрос о хороших санитарных повозках разрешен не был.

В лазарете Фридман меня подправил настолько, что я вернулся к Нитте, но лишь на несколько дней, чтобы затем снова лечь. В это мое новое пребывание в лазарете у моего соседа по кану температура поднялась вдруг до 41 градуса, и через два дня он оказался больным натуральной, сливной оспой. Каким-то чудом никто от него, впрочем, не заразился. Вскоре после этого, доктора эвакуировали меня в Гунжулин, где Боткин посоветовал мне вернуться в Россию, ибо в это время я очень ослабел. Почти сряду отправил он меня в Харбин, где я тоже не засиделся.

Еще в Маймаймае была получена телеграмма о Цусимской катастрофе, после которой у всех в штабе составилось впечатление, что каков бы ни был исход войны, ничего хорошего ждать от него нельзя, ибо в лучшем случае японцы уйдут на свои острова, сохранив господство на море. Понемногу к этому присоединилось и убеждение, что трудно нам рассчитывать на победу на суше. Позднее Васильчиков говорил мне, что Линевич ему как-то высказал вскоре после моего отъезда свое убеждение, что если начнут наступать японцы, то он их разобьет, но что он совершенно не уверен в успехе, если сам станет наступать. Словом, когда в

конце июня я уезжал из армии, настроение в командных кругах уже было в пользу заключения мира.

Я писал уже, что мой брат Леонтий ушел на войну на броненосце «Бородино». Писем от него было немного. Про инцидент на Доггербанке он писал, что «Бородино» огня не открывало и что на нем японских миноносцев не видали, но у брата было видимо убеждение, что они там действительно были. Было письмо из Дакара и другое с Мадагаскара. В Дакаре они грузили уголь, а в Мадагаскаре сперва дожидались решения Петербурга идти ли дальше (в виду падения Порт-Артура), а затем, когда все-таки было решено продолжать их плавание, то поджидали эскадру Небогатова. Брат хворал в это время, и тон его писем был скорее унылый, хотя о многом писать он не мог. Последнее письмо было из Камрана. Предвидя возможность быть убитым, он просил родителей между прочими распоряжениями на этот случай заказать для кают-компаний «Бородина» картину этого боя. Очевидно о возможности его гибели в Камране разговоров не было. Эту последнюю волю отец попытался выполнить, когда в 1912 г. был заложен эскадренный крейсер «Бородино». Получив на это через Григоровича высочайшее разрешение, отец по совету того же Григоровича заказал известному тогда маринисту Вещилову две картины: одну – боя 1812 г. (точнее боя на батарее Раевского), и другую – гибели броненосца «Бородино» в Цусимском бою. Однако крейсер достроен не был, после 1917 г. был обращен в лом и картины остались у отца. Потом в 1934 г. я получил их в эмиграции и сейчас та, которая изображает бой 1905 г., находится у меня.

Брат командовал на «Бородине» носовой батареей 75-миллиметровых орудий и был убит еще до гибели броненосца. С этой батареей как раз был единственный спасшийся матрос Ющенко*. То, что он нам рассказывал позднее, сходится с тем, что приведено у Новикова-Прибоя в «Цусиме», за исключением фразы брата: «Рано нам в такие бои соваться», о которой Ющенко нам не говорил. Возможно, впрочем, что в то время Ющенко побоялся ее повторить.

Из Харбина до Иркутска я ехал в «кадровом» поезде Кр. Креста. В начале войны в армии были только санитарные поезда нормального тогда типа из классных вагонов со всеми удобствами. Их недостатком было, однако, что они могли вместить не более 400 раненых, а иные даже только 250. Поэтому эвакуировать в них в периоды больших боев было возможно только небольшую часть

* Правильно: Юшин. – *Примеч. сост.*

раненых, и большинство вывозили в простых товарных вагонах, даже не в теплушках, подчас не вымытых, куда раненых клали просто на солому и везли затем, не кормя часто сутками. Поэтому в Кр. Кресте в Манчжурии возникла мысль об образовании специальных кадров поездов из одного классного вагона для персонала и б товарных вагонов: двух – цейхгаузов с 1000 сенниками, набивавшимися соломой перед приемкой раненых, бельем и другим инвентарем, кухни, продуктового вагона, хирургического и перевязочного. Во время больших боев, однако, и этих поездов не хватало и, как я выше указал, мне пришлось встретить в Гунжулине совершенно необорудованный товарный поезд, везший 1800 раненых.

В Москве меня встретили жена и отец, в первую минуту еле меня узнавшие, так я исхудал. На следующий день я был в Рамушеве, где наш сынишка оказался в гораздо худшем состоянии, чем я ожидал. Еще ранней весной в Петербурге после инфлюэнции он заболел желудком и после того, так и не поправился окончательно. Никто из докторов так и не определил точно его болезни. Последний диагноз был, что у него туберкулез кишок, но так ли это, я думаю, и сами они уверены не были. Застал я его худеньким и вялым. От времени до времени наезжал из Старой Руссы петербургский педиатр Терещенко и посоветовал отвезти нашего Лелика на позднюю осень в тепло. Поэтому в начале сентября я повез семью с нашей няней и старушкой фельдшерницей на Итальянскую Ривьеру. Наметили мы сперва Рапалло, но так как приехали мы туда вне сезона, то большинство гостиниц было закрыто, а единственная открытая оказалась нам не по карману; поэтому на следующий день мы перебрались в соседнюю Ст. Маргариту, тогда еще совершенно неизвестное местечко и устроились там в прелестной и, тем не менее, недорогой гостинице.

Надо сказать, что вообще жизнь за границей в те времена была значительно дешевле, чем в России и, несмотря на это, комфортабельней. Пробыл я там с семьей всего неделю и вернулся в Россию, где еще до нашего отъезда было опубликовано положение о так называемой Булыгинской Гос. Думе. За те месяцы, что я пробыл в Манчжурии, настроение в России сильно изменилось. Немало повлияли на это Мукденское и Цусимское поражения и несомненная растерянность правительства. Стали собираться земские и городские деятели, состоялось обращение их депутатов к Николаю II, во время приема которых выделился профессор кн. С.Н. Трубецкой, к сожалению, через несколько месяцев умерший. Возможно, что из него не вышло бы крупного государственного деятеля, но его моральный авторитет был исключительно высок,

и с ним все считались. Брат его Евгений, тоже профессор философии, был позднее выборным членом Гос. Совета, но авторитетом Сергея не пользовался. Семья Трубецких была вообще очень интеллигентная и способная; делилась она по трем женам их отца на три группы, но все братья выделялись, каждый в своей сфере: Петр был выдающимся Московским губернским предводителем дворянства и Григорий способным дипломатом.

Когда я вернулся из Манчжурии, чувствовалось, что жизнь в России сдвинулась с мертвой точки, но никто еще не сказал бы среди интеллигенции, что мы находимся накануне революции. Проявлялось недовольство правительством во всех кругах, но революционная деятельность выражалась только в убийствах, правда все участвовавших, чинов администрации и полицейских и в тоже участвовавших студенческих беспорядках. Правительство принимало свои меры, которые, однако, только больше всех раздражали. Впрочем, весьма возможно, что без войны, причин которой никто не понимал и ход которой всех возмущал, революционные проявления 1905 г. были бы отсрочены еще на несколько лет. Бессмысленные события 9-го Января тоже сыграли свою, и большую, роль в развитии революционного движения, не самим фактом стрельбы по народу, что бывало и раньше, но тем, что они явились кульминативным пунктом, когда у народа исчезло доверие к царю. В этот день массы шли к царю со своими жалобами и просьбами, и, если у его вожаков и были революционные планы, то массам они еще не были понятны, но стрельба, которой их встретили, резко переменяла его настроение, и народ стал искать улучшения своего положения уже в других кругах.

До японской войны левое настроение поддерживалось в интеллигентских кругах «Освобождением» Струве, которое рассылалось из-за границы по почте на имя самых разнообразных лиц. Получил несколько номеров и я и прочитал их с большим интересом. Но теперь должен признать, что успех Струве был скорее лишь сенсационным.

Все запрещенное цензурой читалось тогда с жадностью, не по своим внутренним достоинствам, а просто потому, что легально этого печатать в России было нельзя. Скажу даже больше, что наибольший успех имели среди них или брошюры порнографического характера или, напоминавшие по содержанию «Тайны Мадридского Двора», рассказы о любовных похождениях членов царской семьи. Уже такие издания, как произведения Степняка-Кравчинского имели тогда меньший успех, а серьезные социалистические книги и брошюры попадались еще реже. Поэтому и

«Освобождение» привлекало внимание к себе главным образом приводившимися им фактами, часто очень некрасивыми, из тогдашней русской жизни, а не своей теоретической стороной.

Еще в конце сентября (1905), когда я вернулся из Италии, мало кто ожидал, что мы уже находимся накануне революции. В печати говорилось о недостатках Булыгинской Думы, которая мало кого удовлетворяла, о необходимости дарования равноправия всем, как сословного, так и национального, о свободах политических; обсуждался вопрос о дополнительном отчуждении помещичьих земель и впервые был поднят вопрос об автономии Польши. Однако мало кто думал о том, что правительству придется дать ответ на все эти вопросы уже в течение ближайших недель. Возвращаясь в Рамушево, я остановился в Новгороде, где в то время кристаллизировались два течения среди кругов, представленных в Губернском Земском Собрании. По приглашению Колюбакина собрались как раз в эти дни представители более левых кругов, с которыми я имел несколько разговоров. Подробно переговорил я с Голицыным, с которым я больше сошелся во взглядах, но должен сказать, что различие между обеими группами в тот момент было ничтожно, а большинство просто еще не уяснило себе новой обстановки.

Через несколько дней я отправится в Гурьево повидать мать, которую я еще не видел после возвращения из Манчжурии. 2-го октября в Москве ходили неопределенные слухи о железнодорожной забастовке, а 4-го действительно все железные дороги стали. Рассчитывал я пробыть в Гурьеве неделю, но забастовка задержала меня там до 15-го, когда, в виду неопределенности положения я выехал в Москву на лошадях. До Каширы меня быстро довезли с подставой на полдороги на Гурьевской тройке, зато дальше до Москвы я добрался на обратном московском извозчике, которого я нанял вместе с каким-то лавочником, только через 30 часов. Везде в трактирах, где мы останавливались перекусить и покормить лошадей, шли разговоры о забастовке и о событиях в Москве, о которых передавались самые фантастические сведения. Раньше острили, что никто так не уклоняется от истины в своих рассказах, как старожилы и очевидцы, и в настоящем случае очевидцы подтвердили этот афоризм. Уже верст за 50 от Москвы начались рассказы о стрельбе в ней с употреблением артиллерии, о массе жертв и т.п., но, когда мы добрались до «первопрестольной», то оказалось, что в ней царит полное спокойствие. В «Славянском Базаре», где я остановился, я встретил брата Юшу с женой, застрявших здесь по дороге в Орел. Ни они, ни вообще кто бы то ни было, ничего не знали о развитии событий в стране. На Николаевском вокзале,

охранявшемся солдатами, мне с утра ничего сказать не могли, но позднее я узнал, что после 3-х часов пойдет поезд. Действительно, около 6-ти часов он и отправился (движение в самых ограниченных размерах – одна или две пары поездов в день, поддерживалось железнодорожными войсками). Добрались мы до Петербурга без запоздания, и вполне благополучно, если не считать, что около Клина брошенным камнем разбили стекло окна в одном из вагонов, а в Твери на вокзале царило тревожное настроение: это был вечер, когда в городе громили губернскую земскую управу. Наш поезд был почти пуст; мало кто знал о его уходе, а многие просто боялись ехать в эти тревожные дни.

В Петербурге на вокзале уже продавались газеты с Манифестом 17-го Октября и с известием о поручении Витте составить новое правительство. С этими новостями я отправился на квартиру 2-й сестры жены, которая во время моего пребывания в Манчжурии вышла замуж за товарища моего младшего брата по Пажескому корпусу Глеба Даниловского, в то время офицера Егерского полка. Высокого роста, стройный блондин, он был очень красив, даже, несмотря на сильную близорукость, заставлявшую его носить пенсне. Сын генерала, инспектора Пажеского корпуса и преподавателя Съёмки в Академии Генерального штаба, он не боялся кабинетной работы, но не любил физических усилий, почему до войны 1914 г. почти все время провел на адъютантских должностях. Так как он интересовался автомобилем, то на войну пошел в качестве помощника командира 1-й бронированной автомобильной роты. На эти части в начале войны возлагались большие надежды, которые, однако, не оправдались. Глеба я знал давно, и его женитьбу на сестре жены все приветствовали, хотя и знали, что материальное их положение будет очень скромным: в то время на это обращалось большое внимание.

В Петербург я приехал, в сущности, только потому, что рассчитывал оттуда легче пробраться в Рамушево, в чем и не ошибся, и уже вечером выехал на Волхов. Новгородская линия бездействовала почему-то еще около недели, но пароходы на Новгород и Руссу ходили. За день, 17-го, в Петербурге я видел несколько манифестаций, но без столкновений с полицией и войсками, которые, однако, имели место на Загородном проспекте. Около Технологического Института манифестантов атаковал эскадрон Конной Гвардии под командой корнета Фролова. В этом разгоне пострадал, между прочим, ставший позднее известным приват-доцент Тарле, и Фролов, очень, в общем, бесцветный офицер, стал на некоторое время притчей во языцех всей печати.

В Старой Руссе и Рамушеве все эти события ничем не сказались, и через несколько дней я отправился, все еще пароходом, в Новгород, куда попал на разгром всего левого. Как мне удалось выяснить, в этот день в сонном вообще городе небольшая группа молодежи, большей частью учащейся (как мне говорили, человек 30), устроила манифестацию с красным флагом. Когда они выходили на Московскую улицу, на них набросился стойщик Минкин, здоровый мужчина, и вырвал у них этот флаг. К нему присоединились другие его единомышленники, и манифестанты были разогнаны, а кое-кто и избит. Образовавшаяся толпа направилась затем в средние учебные заведения, ибо в мужской гимназии накануне, как говорили, был разорван царский портрет; в реальном училище толпа поломала обстановку. Затем погромили несколько квартир «левых» деятелей, причем, насколько я знаю, ни одного социалиста среди них не было, а все были умеренные либералы.

В губернскую земскую управу пришли требовать выдачи ее председателя Колюбакина, которому пришлось бежать, перепрыгнув через забор, и спрятаться у Голицына. Кроме того, пришлось бежать еще инспектору реального училища Масловскому, управляющему Отделением Госбанка Тютрюмову и товарищу председателя Окружного Суда Мясоедову. Последнего я лично не знал, остальные же были отнюдь не революционеры. Про Мясоедова рассказывали, что он якобы в дороге на выездные сессии Окружного Суда разбрасывал из тарантаса «мерзавчики», завернутые в левые листовки, но справедливо ли это, не поручусь. Позднее он был адвокатом, но не левее кадетов. И ему и другим названным мною лицам пришлось уйти после этого со службы, и после этого, до 1917 г., «крамола» в Новгороде и Старой Руссе ни в чем в интеллигентских кругах не проявлялась. Медем эти дни был в северных уездах, а заменявший его Дирин распорядительности не проявил. Позднее он говорил, что вызванные им для охраны порядка войска проявили симпатии к толпе, громившей все левое, и что он ничего поделать не мог. Так ли это было, не знаю, но думаю, что глупость Дирина тоже сыграла свою роль в этом бездействии власти.

Я приехал в Новгород уже под вечер, когда город ничего ненормального не представлял, и пошел сряду перекусить в Благодное Собрание, где застал обедающими Голицына и Колюбакина, от которых и узнал про события этого дня. Во время обеда к Колюбакину подошел буфетчик Миша, славный, но недалекий парень, позднее повесившийся после того, что у него из выручки украли что-то около 50 рублей, и таинственно сообщил ему: «За

вами пришли». Все замолчали, ибо первая мысль была, что пришли погромщики, и Колюбакин сразу побледнел; оказалось, однако, что Колюбакину просто принесли вещи из дому.

На следующий день я отправился на пароход, чтобы ехать в Петербург, и при мне Голицын привез Колюбакина. Настроение толпы около парохода было враждебное последнему, но авторитета Голицына было достаточно, чтобы Колюбакина пропустили свободно. В Колмове на пароход приняли еще Мясоедова, а в одной из кают оказался Тютрюмов (или наоборот) и таким образом, почти все наши «революционеры» благополучно выбрались в Петербург.

Революция и Государственная дума

Еще перед этой поездкой я написал в Рамушеве записку о моих политических взглядах, ибо уже тогда решил стремиться попасть в Гос. Думу. Записку эту я прочитал кое-кому в Новгороде и, сделав после этого несколько в ней поправок, скорее редакционного характера, отдал ее отлитографировать в Старой Руссе и разослал по губернии. Это было первое политическое обращение к населению, моя «*profession de foi*»*. Так как едва ли сохранился посейчас хотя бы один экземпляр этой записки, я приведу основные ее положения. Изложил я в ней, что, не быв никогда сторонником борьбы за конституцию (а тем более борьбы революционной), после 17-го Октября я считаю необходимым защищать установленный в этот день новый строй, не стремясь к немедленному дальнейшему его развитию. По существу, я указывал, что необходимо дать всем народностям, населяющим Россию, полное равноправие и, в частности, право употребления своего языка во всех официальных учреждениях и в школах. Это не должно было по моим тогдашним взглядам доходить до политической автономии, почему по страстно обсуждавшемуся тогда вопросу об автономии Польши я высказался против нее. Высказывался я за 8-мичасовой рабочий день (теперь это покажется смешным, но в то время 8-часовой день считался мерой чуть ли не революционной, и кажется еще нигде, и не только в России, в законодательном порядке осуществлен не был). Наконец, едва ли не центральным пунктом записки было утверждение о необходимости дополнительного отчуждения помещичьих земель. Предлагал я его в сравнительно ограниченных размерах, но это был, тем не менее, пункт, вызвавший больше все-

* Позиция, мировоззрение (фр.).

го возражений. Были возражения также против допущения в де-лопроизводство казенных учреждений местных языков.

Разослав эту записку, я снова поехал в Италию, на этот раз за семьей: оставлять ее на чужбине, когда дома было столь беспокойно, не хотелось, тем более что во время октябрьской забастовки я уже испытал затруднения с переводом жене денег. Пробыл я в Санта Маргарите на этот раз около двух недель и побывал с женой во всех ее прелестных окрестностях. В частности, особенное впечатление произвело на меня Портофино, одно из самых красивых мест, которые я за мою долгую жизнь видал. Побывали мы и в Генуе и на ее знаменитом Кампо Санто, кладбище с его замечательными скульптурными памятниками. Кстати, почти везде за границей, где мне приходилось бывать на кладбищах, мне всюду приходилось встречать русские могилы, большею частью заброшенные и очевидно совершенно забытые потомками или родными умерших.

По дороге на обратном пути узнали мы, что в России начались новые забастовки и до Эйдкунена мы ехали в неизвестности, не застрянем ли на границе. Оказалось, однако, что на Варшавской дороге движение не останавливалось, и в Петербурге мы были без приключений. Здесь застали мы моих родителей и брата Адама, вернувшегося в Конную Гвардию, когда началась в Манчжурии демобилизация армии. С собой привез он своего вестового – бурята, человека преданного, но примитивного. Брат вернулся прямо в Гурьево, где, как и по всей России, происходили в увеличенном размере порубки, и вот вестовой брата предложил отцу отправиться в лес и прикончить порубщиков. Когда позднее у брата была дуэль с офицером другого полка из-за неосторожной фразы брата, то тот же вестовой, узнав о дуэли уже после нее, очень сетовал на брата за то, что тот не послал его застрелить его противника: «Что же вы, ваше сиятельство, сами, вы бы мне сказали, и я бы его пристрелил». Через некоторое время брат его брал с собой в Индию и Монголию, но вернулся он в Забайкалье только в 1913 г., женившись на горничной моих сестер, для чего ему пришлось предварительно креститься.

В Рамушеве мы пробыли затем около двух месяцев, и за это время я сделал ряд докладов на политические темы в духе моей записки и в Старой Руссе, и в ряде сел восточной половины уезда. Опять же это были первые официально-легальные собрания. В уезде и на них мне впервые пришлось почувствовать недоверие крестьян к «барину», а также убедиться, что самые простые аксиомы общественной жизни еще непонятны большинству крестьян.

В это время в Петербурге по инициативе адвоката Эгерта образовалась первая правая партия «Правового порядка», отдел которой открылся и в Старой Руссе. В конце декабря в Петербурге был созван ее делегатский съезд, на котором я явился представителем Старорусского отдела. Эгерт, человек порядочный и культурный, к этому времени уже отошел от партии, ибо у него не было необходимой для политического деятеля гибкости. Так как «Правовой порядок» возник раньше других правых партий, то в нем оказались соединенными на съезде самые разнообразные элементы: были на нем (главным образом с юго-запада России) будущие члены «Союза Русского Народа», были мои позднейшие со товарищи по партии октябристов, были и несколько делегатов с определенно социалистическими взглядами. Не помню, кто председательствовал первые два дня Съезда, но, во всяком случае, оба эти председателя не справились с задачей водворения порядка в этой разнородной массе. Так как я сделал за эти дни несколько замечаний по порядку ведения заседания, то, по-видимому, это и послужило основанием для избрания меня председателем на 3-й день. Так как я провел его благополучно, то меня переизбрали председателем и на последующие дни. Надо, однако, сказать, что в последнем заседании моя решительная манера вести прения вызвала протесты правого крыла. Хотя в программу партии и был включен пункт об общем всех равноправии, киевские делегаты, руководимые неким Любинским, внесли предложение о сохранении ограничений для евреев. Против этого восстали будущие члены Думы Е.П. Ковалевский и Л.В. Половцев, которых поддержал и я, и киевляне, после долгих прений, провалились. В сущности, уже в этот момент определился близкий развал партии, но съезд мне все-таки удалось довести до конца, и левые его группы даже поднесли мне на память о нем хорошенький жетон, одну из немногих мелочей, сохранившихся у меня от дореволюционного времени.

Во время съезда в «Новом Времени» была напечатана моя статья в защиту дополнительного наделения крестьян землей, в которой я утверждал также, что оно необходимо для успокоения деревни, которая в эти месяцы проявила очень ярко свое настроение. Мне ответил Пестржецкий, тогда главный теоретик по земельному вопросу противников этого наделения. Нельзя не признать, что при тогдашнем состоянии сельского хозяйства переход значительной части помещичьих пахотных земель к крестьянам должен был дать в результате понижение их урожайности, и Пестржецкий на это главным образом и упирал. Я ему ответил, но это

мое письмо редакция не напечатала; не помню, в нем ли или еще в первом я указывал, что в первую очередь будут подлежать отчуждению земли арендуемые крестьянами, коих тогда было около 20 миллионов десятин и что, следовательно, понижение урожайности коснулось бы сравнительно небольшой части отчуждаемых земель.

Более значительных землевладельцев в Старорусском уезде было очень немного, и посему решающую роль в уездных выборах в 1-ю Гос. Думу должны были сыграть уполномоченные мелких землевладельцев. Собралось их порядочно, и энергично агитировал среди них Г.А. Фальборк, с которым мне позднее не раз пришлось сталкиваться в разных организациях и обычно в противоположных лагерях. Тем не менее, я должен отдать ему справедливость, что он был противником всегда корректным и никогда ни в чем он не руководился нечестными мотивами. Фальборк был очень близок тогда к В.И. Чарнолуцкому, купившему имение верстах в 30 от Рамушева, и сам купил поблизости клочок земли, давший ему право участвовать в выборах. В число уполномоченных он, однако, не прошел, будучи среди мелких землевладельцев лицом совершенно неизвестным. На выборах выборщиков от землевладельцев в тот раз участвовало больше 30 человек, и прошли они без особых разногласий: быстро столковались, что будут избраны ими Васильчиков, я и трое крестьян. В сущности, это были единственные выборы в Старой Руссе более или менее оживленные; остальные были скорее отбыванием формальности.

Выборы членов Гос. Думы в Новгороде тоже в этот раз прошли без особых трений. Большинство выборщиков было умеренно-правых взглядов, и быстро было достигнуто соглашение между ними об избрании двух землевладельцев и трех крестьян. Землевладельцами были намечены от их группы Румянцев и П.А. Корсаков, известный тогда в Петербурге адвокат по гражданским делам и безукоризненно порядочный человек. Я был намечен только третьим кандидатом от этой группы, и поэтому в члены Думы не баллотировался.

Уже этой зимой я стал бывать в открывшемся на Моховой «Клубе Общественных Деятелей», инициатором которого и фактическим главою был М.В. Красовский, раньше бывший главным работником Министерства юстиции, а в 1905 г. членом Гос. Совета и председателем Санкт-Петербургской Городской Думы. Относились к нему с уважением, хотя особой симпатии к нему, кажется, никто не питал. В клубе этом в первые годы его существования было оживленно, и часто делались интересные доклады, на которые собиралось много народа. Политическое направление клуба

было конституционным, правее кадетов. Надо сказать, что только в это время стали дифференцироваться политические настроения отдельных групп. Совершенно определенными вышли из подполья партии социалистического направления, но уже после Московского Декабрьского 1905 г. восстания правительство вновь стало их преследовать и, например, социалисты-революционеры на выборах во все четыре Думы выступали под наименованием трудовиков. По существу партия весьма мало социалистическая, они считались тогда властями наиболее опасными в виду террора, который они поставили в основу своей деятельности. Элементы не социалистические, как я уже говорил, раскололись осенью 1905 г. на течение конституционно-демократическое, главою которого стал с самого начала Милюков и которое настаивало на дополнительном наделении крестьян землей и на автономии Польши, и более правое, которое вскоре стало делиться на дальнейшие группы. Крайние правые, монархисты-абсолютисты, с начала 1906 г. образовали по инициативе д-ра Дубровина «Союз Русского Народа», быстро получивший ультранационалистический характер. Ему приписывали лозунг: «Бей жидов, спасай Россию», и действительно, антисемитизм явился одним из тех пунктов их программы, на который они более всего упирали. Наибольший успех «Союза Русского Народа» и имел, поэтому, в черте еврейской оседлости, где антисемитизм, нельзя этого отрицать, всегда существовал. «Союзу Русского Народа» приписывался часто определенно погромный характер и надо признать, что не раз он давал для этого повод. Между кадетами и «Союзом Русского Народа» до самой революции 1917 г. грани между отдельными партиями точно не определялись, и в I-й Гос. Думе все, что было правее кадетов, образовало одну группу (у «Союза Русского Народа» в этой Думе не было ни одного представителя). Наиболее видными ее представителями были М. Стахович и граф П.А. Гейден, который и стал ее главой.

Ко времени созыва Думы, 27 апреля, министерство Витте уже было сменено. Ни Витте, ни его министров, в сущности, никто не жалел. Левые его осуждали за деятельность его министра внутренних дел П.Н. Дурново, проявившего большую энергию в подавлении революционных выступлений. Правые – за то, что по настоянию Витте был подписан Манифест 17-го Октября (не мог никогда простить ему этого и сам Николай II), а кадеты, которым он предлагал в ноябре вступить в его министерство, но которые от этого отказались, ставили ему в вину, что при нем данные 17-го Октября обещания осуществлены не были. Мне кажется, однако,

что неудача Витте объясняется главным образом тем, что он переоценил свои способности и что, будучи человеком очень правых взглядов, он думал, что сможет быть главою левого правительства. Еще после 1900 г. он подписал известную записку, в которой доказывал несовместимость земства с самодержавным строем, а в 1905 г. должен был сам руководить ликвидацией этого строя. Сряду после 17-го Октября он готов был осуществить обещанное в эти дни, но когда Дурново подавил революцию, сряду повернул вправо и поспешил расстаться с Кутлером, сторонником умеренной аграрной реформы.

Эта неустойчивость его, которую почти все характеризовали, как двуличие, и вызвала его смену и то, что после этого он уже больше роли не играл; даже значительно позднее, когда на него подготовлялось якобы покушение крайними правыми, многие уверяли, что не взорвавшаяся бомба была подложена с его ведома. Странно в этом покушении было, во всяком случае, то, что оно подготовлялось через почти 10 лет после удаления Витте от власти, когда никаких серьезных оснований предполагать, что он снова сможет вернуться к власти, не было. Как я уже говорил, мне всегда казалось, что способности Витте переоценены (быть может, потому, что его коллеги по правительству, среди которых были люди, несомненно умные, слишком придерживались рутины, тогда как он не боялся проводить в своем ведомстве новые мероприятия), но мне кажется, что мемуары Витте подтверждают лучше, чем что-либо мое мнение. Сводить все свои неуспехи исключительно к антипатии к нему Николая II не есть, во всяком случае, доказательство крупного ума. Не любил Витте ни один царь, и уже данное ему прозвище графа «Полусахалинского» указывает на его оценку в России.

В связи с Витте упомяну здесь и про его жену, которую все иначе не называли, как «Матильдой». Лично я ее видел только один раз, в эмиграции, уже старухой, и судить о ней не берусь, но все, кто ее знал ближе, отзывались о ней, как о женщине, умеющей очаровывать и стара, и млада. Все соглашались, что она была, несомненно, умна и то, что, несмотря на свое довольно легкомысленное прошлое, она смогла заставить всех его забыть, подтверждает это; ведь по происхождению она была еврейкой, что в те времена одно закрывало многие двери. То, что супруги Витте оказались после его ухода от власти состоятельными людьми, не раз ставилось ей в вину, но, как мне пришлось позднее слышать, объяснялось ее удачной биржевой игрой, чему при ее обширных знакомствах в финансовых кругах, удивляться не приходится. Но

о некоторых технических подробностях этой игры мне еще придется говорить позднее.

Заменил Витте за несколько дней до открытия Думы старик Горемыкин, который якобы сам про себя сказал позднее, что он похож на старую шубу, которую от времени до времени вынимают в случае надобности из нафталина и который уже тогда мало подходил к посту премьера. Если Витте, хотя и неудачно, пытался приспособиться к новым условиям, Горемыкин даже и не делал таких попыток, и свое министерство составил из людей работающих, способных и честных, но, как и он сам, неспособных работать с людьми, выдвинутыми теперь на первый план выборами в Гос. Думу. Пришел он в Думу с новыми «Основными Законами», не им выработанными, но, несомненно, им считавшимися за максимум уступок народу. Естественно, что для всех тех, кто был выбран в Думу под лозунгом Учредительного Собрания, которое могло бы обсуждать самую судьбу монархии, эти Основные Законы были неприемлемы.

Автором их считали Крыжановского, тогда товарища министра внутренних дел и, несомненно, одного из наиболее способных людей предреволюционного периода. У него была, кроме того, и гибкость, необходимая для государственного деятеля, умение не переть на рожон, а умело обходить препятствия. Но именно это и то, что в молодости он был близок к более левым кругам (он был арестован в годы студенчества после того, что при обыске жандармы нашли у него пакет революционной литературы, оставленной у него товарищем, которого он не выдал). Я уже упоминал, что когда он был следователем в Старой Руссе, его считали чуть ли не революционером. Позднее он все правел, но у меня осталось впечатление, что он лучше, чем кто-либо в правительстве, понимал психологию левых кругов. Естественно, что из двух типов западноевропейских конституций Основные Законы последовали образцу не парламентарному, а тому, который существовал в Германии и Австрии. Технически составлены они были хорошо, но большим их дефектом оказалось отсутствие точного определения, какой ими устанавливался строй и каковы должны быть взаимоотношения между монархом и народным представительством. В старых Основных Законах монарх определялся, как самодержавный и неограниченный. В новых эпитет «неограниченный» был исключен, «самодержавный» же оставлен, как обозначение независимости от какой-либо другой внешне-государственной власти. Не знаю, была ли при этом у составителей новых Основных Законов какая-либо задняя мысль, но факт тот,

что у сторонников старого режима это слово истолковали в смысле сохранения в России и после 1906 г. неограниченной власти. Точных указаний на то, что и сам Николай II так понимал это, не имеется, но несомненно, что Манифест 17-го Октября он всегда толковал ограничительно. Когда у Коковцова уже через несколько лет сорвалась в Думе его известная фраза «Слава Богу, у нас нет парламента», истолкованная им затем в том смысле, что он говорил о парламентаризме, как об ответственности правительства перед парламентом, уверенности, что он действительно не имел в виду конституцию вообще, ни у меня, ни у многих моих коллег по Думе не было.

В числе наиболее критиковавшихся положений Основных Законов была пресловутая 9-я статья, дававшая правительству право в перерывах между сессиями Гос. Думы издавать в случае неотложности законы, с тем, чтобы по возобновлении думских занятий эти законы были представлены на ее утверждение. Взято было это положение из австрийской конституции, но позднее оно перешло и в практику других западноевропейских стран в форме законодательства по декретам правительства. И это понятно, ибо работа законодательных учреждений западного типа идет обычно столь медленно, что правительству приходится давать чрезвычайные полномочия, чтобы пропускать от времени до времени всю законодательную заваль. Разница с Западом только заключается в том, что это право дается там каждый раз по особым законам и правительству, ответственному перед палатами, а у нас оно принадлежало правительству без ограничения срока и притом правительству, ни в чем от Думы не зависевшему.

По случаю открытия Думы состоялся «выход» в Зимнем Дворце. Видно было, что Николай II и Императрица, оба очень бледные, сильно волновались. В Тронном зале, где были собраны члены Думы и Гос. Совета, я не был и речи Государя не слышал. Вечером в клубе мне говорили, что принята она была холодно, и когда Стахович возражал против этого, то кто-то из других членов Думы ему, улыбаясь, заметил, что он сам так громко кричал «ура», что не заметил, что мало кто его поддержал. День этот, впрочем, столь подробно описан, что останавливаться на нем я больше не буду.

В это время я предложил мою помощь Гейдену и его группе, но, в сущности, она мало в чем выразилась. Правительство Гуремыкина совершенно не было готово к совместной законодательной работе с Думой, в чем, в сущности, оно не виновато, будучи назначено всего за три дня до открытия Думы. Но ничего не было при-

готовлено для нее и у министерства Витте, которое должно было бы подготовить надлежащие законопроекты для внесения их в Думу. Зато абсолютно нельзя было оправдать новых министров в том, что они не нашли ничего более подходящего для внесения в Думу, собранную, если не для установления нового режима, то во всяком случае для устранения неурядиц старого строя, как два смешотворных законопроекта о прачечной и оранжерее Юрьевского университета. Таким образом, работа Думы после того, как она организовалась, получила скорее декларативный характер, и в этом периоде членам ее еще мало требовалось материалов по обсуждавшимся в ней вопросам. Припоминаю лишь, что по поручению Гейдена я был за какими-то справками в Переселенческом Управлении и в Совете Гос. Оборона и что в обоих, как только я сказал, что пришел от имени Гейдена, мне без всякой проверки, кто я такой, дали все необходимые сведения.

В Таврическом дворце внешнего порядка в дни 1-й Думы было мало. Приходил, кто хотел, и шел, куда хотел. Рассказывали, что как-то Муромцев заметил против себя на месте членов Думы незнакомое лицо и послал пристава узнать, кто это; оказалось якобы, что это был знакомый одного из членов Думы, заплативший тому 5 рублей за право посидеть на его месте одно заседание. Не ручаюсь за достоверность этого рассказа, но кто бывал в Думе в эти дни, должен признать возможность такого случая.

За несколько дней до роспуска Думы я уехал в Рамушево и не был свидетелем событий, его сопровождавших. Уже позднее слышал я про различные переговоры, происходившие в то время у Столыпина с представителями более правой общественности. Еще, впрочем, до этого Д. Тренев вел безрезультатные переговоры с главарями кадетов о вступлении их в правительство. Они отказались, и мне думается, что, если они отказались пойти в министерство Витте, то согласиться войти в то, которое должен был возглавлять Столыпин, было только последовательно: общее настроение в не революционных кругах значительно ушло за эти месяцы вправо, и кадетам едва ли удалось бы изменить направление правительства. К Столыпину больше подходили Шипов, Н. Львов и Гучков, с которыми он вел личные переговоры, но и они едва ли согласились бы одобрить тогда полностью его политику, и им пришлось бы или уйти от власти, до известной степени скомпрометированными, или остаться в правительстве бессильными пешками. Они предпочли не идти в него и, мне кажется, что они были правы.

В числе новых министров оказался после роспуска Думы и Васильчиков, получивший портфель Земледелия. Когда я его поздравил с назначением, он мне ответил телеграммой, вызывая в Петербург, и предложил мне пойти к нему чиновником особых поручений. Я охотно принял это предложение и вскоре начал свою службу при нем, но уже через несколько дней получил телеграмму от жены, вызывающую меня в Рамушево, ибо нашему Лелику стало плохо. Я сряду выехал, не сомневаясь, что это его конец, и действительно, в Старой Руссе меня встретил д-р Верман, чтобы сообщить, что уже накануне Лелик умер. Все, кто терял детей, знают, что это за горе, и смерть Лелика, которую мы в сущности уже считали неизбежной, не желая только сознаться в этом, была большим для нас ударом. Несколько дней не хватило ему до трех лет, и из них полтора он проболел, но, несмотря на это, он был удивительно мягким и спокойным ребенком; капризов и плача у него никогда почти не бывало, и таким он остался до самого конца, наступившего на руках у матери, которая приняла ее, однако, так же покорно и мужественно, как позднее другие удары судьбы. Похоронили мы Лелика около церкви, а позднее перенесли его в часовню, которую построили при въезде в усадьбу. В часовне этой Стародеревенские служили также молебны, и у нас были сведения, что она сохранилась (и под нею гробик Лелика) до немецкого вторжения. А теперь?

Служба у Васильчикова протянулась недолго: не потому, что жалования я не получал, а потому, что работы для меня у него не нашлось. Сперва давал он мне законопроекты, вносимые в Совет Министров разными министрами, чтобы указывать ему их слабые стороны. По громадному большинству из них у меня замечаний не было просто потому, что они относились к вопросам, в которых я не был компетентен, и в памяти у меня остался лишь законопроект о введении всеобщего обучения. Составлен он был вообще не блестяще, и я дал Васильчикову записку с рядом замечаний на него. Главным из них было, что в законопроекте совершенно не затрагивался вопрос о подготовке учителей, и указывалось лишь, насколько я помню, что их будут поставлять семинарии и епархиальные училища. Мне было очевидно, что этих учителей и учительниц не хватит даже для пополнения нормальной убыли преподавателей в уже существующих школах, а тем более для многих тысяч новых школ. Я на это указал и подкрепил мое мнение справкой о количестве оканчивающих учительские семинарии и епархиальные училища, данные, которые я нашел в Суворинском «Русском Календаре». Как мне говорил Васильчиков, эта справка,

которую он прочитал в заседании Совета Министров, решила вопрос о возвращении законопроекта в Министерство народного просвещения для обсуждения его в особой междудомственной комиссии, в которую от Министерства земледелия он назначил представителем меня. Собралась она всего один раз под председательством П.М. Кауфмана-Туркестанского, бывшего тогда Министерством народного просвещения. Я повторил в ней мои замечания, которые оказались единственными общего характера, ибо другие члены комиссии критиковали законопроект с узковедомственной точки зрения, да и их замечаний было немного. После этого законопроект вернулся в недра министерства, и я его вновь увидел уже только через год, в 3-й Гос. Думе.

Поручил мне как-то Васильчиков дать ему справку о литературе по земельному вопросу, что я и выполнил, но после этого оказалось, что больше для меня у него дела нет, и он предложил мне тогда работать в Департаменте Государственных Земельных Имуществ. Название этого департамента не отвечало производившейся в нем работе, ибо главное его занятие была выработка законов, связанных с Столыпинской земельной реформой. С основными ее положениями я не то, чтобы был не согласен, но считал ее недостаточной, и принял предложение Васильчикова, думая, что мне удастся как-нибудь повлиять на ее развитие. Явился я к директору департамента Риттиху, человеку еще молодому и, несомненно, одному из наиболее талантливых представителей чиновничества этого периода, хотя по своей холодности не привлекавшему к себе сердца. Сказав, что он мне даст самую интересную работу, он меня направил к своему помощнику Соковнину, у которого я узнал, что это самое интересное сводится к тому, что я должен буду делать сводки замечаний с мест на проекты земельной реформы, однако, без каких-либо замечаний с моей стороны. Словом, работа моя должна была быть чисто механической, и я от нее уклонился. После этого Васильчиков предложил провести меня в вице-губернаторы, с тем, чтобы через 2-3 года быть назначенным губернатором. Однако, за три года с 1903 г. русская жизнь так переменялась, что эти назначения меня уже не соблазняли, и я отказался. На этом моя деятельность в Министерстве земледелия и закончилась.

Через месяц приблизительно после этого, в декабре 1906 г. в Новгороде собралось Губернское Земское Собрание, первое после революционного 1905-1906 г. и атмосфера в нем была совсем иной, чем в 1903 г., – несомненно, более правой, чем раньше. Революция очень многих напугала, и левое крыло земцев почти

целиком исчезло. Не оказалось в числе гласных ни Бередникова, ни Колюбакина, ни Ал. Тютрюмова. Сомов к этому времени умер, а Стасов слишком состарился и представителями более левых взглядов были только Булатов и Игорь Тютрюмов, но в Земском Собрании теперь не приходилось заниматься политикой, перешедшей в Гос. Думу и, если в частных разговорах мы и спорили на политические темы, то в заседаниях это не проявлялось. Главную роль в Собрании играл теперь Тютрюмов, заменивший Стасова в председательствовании комиссии, а затем Булатов, и могу без лишней скромности сказать, я. Главным вопросом явилось избрание новой Губернской Управы. Обязанности председателя исполнял уже почти 2 года Прокофьев, но будучи человеком весьма почтенного возраста и за эти годы тоже очень поправевшим (так что со стороны правых он теперь возражений не возбуждал), он стал рутинером и многие считали необходимым избрать председателем более молодого человека. Как-то Голицын и спросил меня, не пойду ли я на это место, но предупредил, что если да, то мне придется оставить мысль о Гос. Думе. В виду этого и так как мечта о ней у меня стояла на первом плане, то от предложения Голицына я отказался, и председателем Губернской Земской Управы был избран Прокофьев, а для оживления действительно мертвой управы членом ее был избран Булатов, что он до 1917 г. и выполнял весьма удачно.

В ноябре 1906 г. в Петербурге происходили выборы половины гласных Городской Думы, и я принял в них участие по доверенности отца. В отличие от всей России, в Петербурге действовало с 1903 г. особое Городовое Положение, главными особенностями которого было то, что в Гор. Думе председательствовал не городской голова, а особый выборный председатель и что гласные выбирались по системе, заимствованной из Германии. Не только право участия в выборах принадлежало лишь обладателям известного имущественного ценза (если не ошибаюсь, не меньше, как стоимостью в 15000 р.), но избиратели разделялись еще на два разряда. В первый входили выборщики, платившие 1/3 городского поземельного налога и избиравшие 1/3 гласных, и во второй – все прочие, на долю коих приходились остальные 2/3. Таким образом, приблизительно 250 человек избирали 54 гласных, 13.000-15.000 остальных избирателей – 108. Как раз перед этим законом отец построил свой большой дом, который поставил его в порядке избирателей по платежу налога на 100-150 место, и он оказался в I-м разряде. Таким образом, и я голосовал по этому разряду и был до выборов приглашен на избирательные собрания стародумской

партии, по списку которой в 1903 г. был выбран гласным отец. В Гор. Думе было тогда две партии: стародумская, считавшаяся более консервативной, и новодумская – более прогрессивная. Если, однако, не считать, что в этой было несколько лиц социалистического направления, то программного различия между обеими группами не было, и позднее в Гос. Думе оказались на одних и тех же скамьях представители обеих городских партий. В общем, различались обе партии не больше, чем левые и правые в Новгородском земстве и скорее можно применить к стародумцам, большей частью бывших в Гор. Думе в большинстве, южноамериканское выражение (хотя и не очень лестное) «ситуационистов», а к новодумцам, определение стремящихся к господству в городском самоуправлении – оппозиции.

Предвыборные собрания происходили на квартире у И.И. Глазунова, владельца известного книжного магазина и издательства и двоюродного брата композитора. Человек богатый и большой хлебосол, он после всех собраний у него угощал прекрасным холодным ужином, в котором неизменно фигурировала севрюга, почему стародумцев иронически называли вообще «севрюжниками».

Мне пришлось выступить на этих собраниях, и эти мои не речи, а замечания, решили мое включение в стародумский список, который затем и прошел крупным большинством. Чтобы не возвращаться вновь к этому вопросу, скажу еще, что позднее меня стали приглашать в небольшие собрания руководящей группы стародумцев у того же Глазунова. В отличие от того, что я видел в Старой Руссе и в Новгороде в земствах и где общая атмосфера была честности, и где, если попадались среди выборных деятелей люди мало надежные, то их сряду извергали, атмосфера городских дум была гораздо хуже и Петербургская не была исключением. Можно даже сказать, что так как денег здесь проходило больше, то больше было и желающих присосаться к общественному пирогу, часто с целями далеко нечестными. Уже позднее я убедился, что среди главарей стародумцев было глубокое презрение к этим лицам, но кое-кого из них терпели, дабы не потерять на выборах голоса лиц, стоящих за ними. Когда Глазунов стал позднее приглашать меня на маленькие совещания главарей, то я убедился, что то, что незаметно со стороны, но фактическим руководителем партии был С.А. Тарасов, владелец известных тарасовских домов. Бывший гродненский гусар и бывший товарищ городского головы, он редко выступал в Думе, но хорошо знал городское дело и подноготную всех его деятелей, а главное был ма-

стером избирательной механики. Кроме него в этих совещаниях я помню всегда молчавших братьев Брусницыных, кожевенных фабрикантов-миллионеров, хороших, но бесцветных старичков, и Елисеева, тоже миллионера и владельца известного гастрономического магазина. В то время он начал увлекаться пением. Не знаю, насколько хорошо он пел, но он поставил у себя в доме на Васильевском Острове какую-то оперу, в которой сам пел заглавную роль. Это увлечение его, уже пожилого человека, вызывало немало шуток и улыбок. Несомненным влиянием пользовался в Гор. Думе граф А.А. Бобринский, бывший Петербургский Губернский предводитель дворянства, крупный сахарозаводчик и известный археолог. Человек он был вообще весьма культурный и позднее я совершенно не мог понять, как в 4-й Гос. Думе он мог принадлежать к крайним правым, отличавшимся чем угодно, но не культурностью.

Другим представителем аристократического Петербурга в этих совещаниях были П.П. Дурново, генерал-адъютант и бывший неудачливый московский генерал-губернатор. Хотя ему было уже около 70 лет, его главной отличительной чертой было увлечение балетом и хорошенькими танцовщицами. Ему принадлежала известная дача в Полюстрове, которая после Февральской революции стала штаб-квартирой анархистов.

Главной рабочей стародумской силой был Демкин, раньше мировой судья, а в то время товарищ городского головы (городской голова Резцов, порядочный человек и дельный инженер, принадлежал к новодумцам). Демкину приходилось давать объяснения в Гор. Думе за большинство членов Управы, которые были почти что бессловесны: бывшего губернатора Тройницкого, удаленного за какой-то формальный промах, Оношкевича-Яцыну, «перелета», принадлежавшего всегда к партии большинства, Бузова и Шлейфера. Этого я знал еще с младших классов Правоведения, откуда он был удален за малую успешность в науках; человек он был недурной и смирный, но очень незаметный. Демкин давал всегда объяснения очень спокойно, но дельно и, несмотря на то, что красноречием он не обладал, выходил обычно победителем из стычек с оппозицией. Из членов управы самостоятельно выступал только Ганьков, еще молодой, но малообразованный, хотя и бойкий человек и д-р Петров, объяснения которого вызывали часто улыбки; относились, впрочем, к нему добродушно. Уже только в эмиграции узнал я, что его главной страстью были не медицина и не общественная деятельность, а пение, уроками которого он и жил позднее в Париже.

Кроме Городской Управы в Петербурге уже издавна существовал ряд исполнительных комиссий, позднее санкционированных Городским Положением 1903 г. Работа была в них платная, и на нее всегда были кандидаты. В центре их стояла финансовая комиссия, во главе которой стоял долгие годы А.И. Кабат, цербером стоявший на страже городских интересов. В санитарной комиссии председательствовал другой старик, д-р Оппенгейм; еврей по происхождению, он меня очень удивил как-то своим ответом, что он не может взять в санитарные врачи одного из моих сослуживцев по Кр. Кресту, ибо тот еврей. От кого другого, но от Оппенгейма я такого ответа не ждал.

Из председателей комиссий особое место занимал П.А. Потехин, известный адвокат и брат драматурга, прекрасно поставивший комиссию по народному образованию и против которого, хотя он и был новодумец, никогда не решались выступать самые крайние правые. Кажется, в то трехлетие не был гласным военный инженер Веретенников, ранее игравший в Гор. Думе большую роль. В то время он был Костромским губернатором, превратившись из либерального общественного деятеля в крайне правого и нелюбимого губернатора. Впрочем, его административная карьера вскоре прервалась, и на следующих выборах он вновь был избран гласным. Говорили, что кто-то из его подчиненных подsunул ему прошение об увольнении его от службы, и он подписал его, не читая. Недоразумение это потом разъяснилось, но оставлять Веретенникова губернатором Столыпин уже не захотел.

Среди гласных новодумцев роль играл Красовский, про которого я уже упоминал, бывший в предшествующее трехлетие председателем Гор. Думы, и генерал Кузьмин-Караваев, бывший профессор Военно-Юридической Академии, удаленный оттуда за свое левое направление. Это удаление было одним из ярких примеров абсурдности тогдашней борьбы правительства с оппозицией, ибо Кузьмин-Караваев, очень порядочный человек, не был даже кадетом. Шумел много Фальборк, выступления которого не всегда были удачны, но пользы их отрицать было нельзя, ибо он часто бывал недурно осведомлен о закулисных шахермахерствах и его вопросы по этим делам служили предупреждением и Думе и тем, кто эти темные дела пытался провести.

Вступил я в Гор. Думу с января, когда ее деятельность началась избранием председателем Бобринского. Собиралась она обычно два раза в неделю, а когда рассматривалась городская смета, то иногда и три.

На этом я прерву воспоминания о Гур. Думе и обращусь к «Мирному Обновлению» – партии, основанной Гейденом и Стаховичем после роспуска 1-й Думы, которая в начале 1907 г. пыталась проявить большую деятельность. Ничего из этого не вышло, но я познакомился тогда в нем с некоторыми общественными деятелями, очень почтенными в общем, но именно в смысле общественной работы малополезными. Таким образом, например, член 1-й Гос. Думы инженер Байдак, управляющий какой-то южной железной дорогой и после эфемерного пребывания в Думе совершенно скрывшийся с общественного горизонта. Мало проявил себя в «Мирном Обновлении» кн. Е.Н. Трубецкой, который, впрочем, и в Гос. Совете, куда он был избран от университетской курии, редко когда выступал. Странное впечатление производил Н.П. Рябушинский, о котором не раз в те годы говорили по поводу его речей, всегда сенсационных, но которому ни разу и нигде не удалось выдвинуться на какую-либо ответственную роль. Даже в эмиграции попытки его объединить вокруг себя экономических и финансовых деятелей успеха не имели.

Много разговоров было осенью 1906 г. о скандале Гурко – Лидваль. Семья Гурко была, несомненно, талантливейшей, но, кажется, нигде ее не любили. Старика фельдмаршала ценили, как хорошего боевого генерала, отличившегося в Турецкую войну двумя походами за Балканы и дельного Варшавского генерал-губернатора, но очень не хвалили его жену. Когда позднее один из ее сыновей, морской офицер, неудачно пытался ограбить на французской Ривьере миллионера Половцова, то говорили, что он пошел в мать; когда он после этого сидел во французской тюрьме, то его брат, будущий товарищ министра внутренних дел, якобы передал ему при свидании яд, которым тот и отравился. Урожай 1906 г. был плохой, и было необходимо произвести срочные закупки зерна и муки, и выпало это на долю Министерства внутренних дел, где продовольственным делом ведал этот Гурко. Почему он доверился в этом деле Лидвалю, портному, ничего с хлебным делом общего не имевшему, для меня и посейчас не ясно. Знакомство с Лидвалем, как тогда писали, произошло через содержательницу дома свиданий, посещавшегося Гурко, но что этот человек, несомненно, крупного ума, мог поручить столь крупный подряд человеку некомпетентному, совершенно непонятно, тем более, что дом свиданий уж совсем не подходящее место для решения государственных дел. Единственное объяснение, которое я нахожу, это то, что Гурко, человек вообще самонадеянный, рассчитывал блеснуть выгодным для казны исполнением крупного дела, но это

ему не удалось; наоборот, казна потеряла несколько сотен тысяч рублей и Гурко с Лидвалем пошли под суд, который признал их виновными, что, впрочем, не помешало Гурко быть через несколько лет избранным членом Гос. Совета от Тверского земства.

Кстати отмечу, что эти годы были эпохой усиленной борьбы с различными злоупотреблениями путем назначения особых «сенаторских» ревизий. Во главе их стоял кто-либо из сенаторов, и при нем работали группы молодежи, обычно горячей и очень строгой ко всякой нечестности. Наиболее известным среди этих сенаторов был Гарин, разоблачивший много злоупотреблений в интендантстве и московской полиции; именно им и был отдан под суд Рейнбот. Были, однако, и случаи, что он отдавал кое-кого под суд без достаточных оснований (в этом больше всего винили главного его помощника, обер-секретаря Сената Хлебникова), но я думаю, что в этом он был отчасти прав. Уже я и тогда считал, да и считаю и теперь, что при наличии тех или иных подозрений лучше передать дело судебным властям, чем удалить просто человека от должности и дать ему в дальнейшем возможность вновь злоупотреблять. В сенаторских ревизиях принимали участие много причисленных к сенатской канцелярии, а позднее ставших общественными деятелями. Например, в ревизии Палена в Туркестане принимали участие мои сотоварищи по 4-й Гос. Думе Васильчиков и Капнист 2-й.

В марте (1907 г.) происходили выборы во 2-ю Гос. Думу. В Старой Руссе они вызвали значительно меньший интерес, чем в 1-ю Думу; я вновь прошел в выборщики без всяких затруднений, зато мечта попасть в члены Думы вновь не оправдалась. Из всех выборов в Думы эти были наиболее странными, чтобы не сказать больше. В числе выборщиков от Боровичского уезда оказался Л.В. Половцов, будущий член 3-й Гос. Думы; он привез с собой двух правых студентов, на которых возложил переговоры с крестьянскими выборщиками. Свелись они к спаиванию части из них и соблазну местом члена Думы. Спаивание происходило в одной из новгородских гостиниц, и не знаю, кто больше напивался – выборщики или студент Тимофеев, который оказался большим дураком. Выборщики оказались разделенными на две почти равные группы: в левой находилось большинство крестьянских выборщиков, из коих только старорусские примкнули к правой. Левая группа провела одного своего кандидата – С.Д. Измайлова (позднее осужденного по делу соц-демократической группы 2-й Думы). Правая выставила вновь Румянцева, Тихвинского земского начальника Тимирева, старорусского горожанина М.И.

Мельникова и устюженского адвоката Константинова. Выборы последнего явились условием присоединения к правой группе устюженских выборщиков, и он прошел, хотя особой симпатии, кажется, никому не внушал. Одно место было уделено старорусским крестьянам, которые по жребию и указали своего кандидата. Я вновь оказался первым кандидатом за избранными и баллотировке не подвергался. Курьезно было то, что на выборах в 1-ю Думу я оказался слишком правым, тогда как во 2-ю правые сочли меня слишком левым.

Самые выборы прошли очень сумбурно, продлились с 12 часов дня весь день и закончились только ночью. Надо сказать, что правое большинство было всего в два голоса, и было достаточно, чтобы один из правых положил кому-либо свой шар налево, чтобы этот кандидат не прошел. Это как раз и случилось, ибо один из старорусских выборщиков, наиболее объединявшийся с Тимофеевым, пришел на выборы сильно на взводе и, будучи не доволен тем, что жребий выпал не на него, стал класть всем налево. Часа через два безрезультатных баллотировок в перерыве один из северных выборщиков, священник, предложил привести всех правых к присяге, что они будут поддерживать намеченных кандидатов, но и это не помогло, и выбрать последнего кандидата удалось только вечером.

Как выяснилось, виновником этого был уже пожилой крестьянин, фельдфебель с полной колодкой, спутник Козлова в его четырех путешествиях. Надо сказать, что десятирублевые суточные членам Думы за время сессий были для некоторых выборщиков большим магнитом, и наш фельдфебель перед ним не устоял. Только когда кто-то предложил, чтобы последний перед ним выборщик, кладя шар, откинул закрывавшее отверстие ящика сукно, фельдфебелю пришлось класть свой шар в открытую, и он со злобой бросил его направо. Присяга и спаивание выборщиков послужили основанием для обжалования выборов, но Гос. Дума, просуществовавшая всего 100 дней, рассмотреть эту жалобу не успела. Наши новгородские избранники во 2-ую Думу, как и в 1-й, особой роли не сыграли. Выступал из них один Константинов, но без особого успеха.

В одном из первых заседаний Гор. Думы мне пришлось выступить с чисто юридическим возражением против допущения в него представителей рабочих, занятых на общественных работах. Я основывался на том, что приглашать разрешается лишь «сведущих» лиц, а эти представители были не сведущие, а заинтересованные лица. В сущности, вся Дума была этого мнения, но она

была в то время запугана настолько, что никто не решился выступить с этим заявлением. Так что, когда я его сделал, никто мне ничего не возразил, и со мной согласились единогласно.

Общественные работы были начаты весной 1906 г., дабы помочь довольно многочисленным тогда безработным, и для заведования ими была создана особая комиссия под председательством гласного Исакова. Я его знал только в лицо, как очень красивого уже не молодого человека с почти белыми волосами, которого считали незаконным внуком Александра II. Был он близок различным художественным кружкам, но почему ему поручили заведование чисто техническим делом я, ей Богу, не знаю. В личной честности Исакова никто не сомневался, но, кажется, все признавали, что общественные работы велись бесхозяйственно, и в самом начале 1907 г. на место Исакова, не переизбранного гласным, председателем комиссии был избран инженер Перцев. Позднее был обновлен и весь ее состав. Причем в число ее членов был избран и я.

Из работ, производившихся комиссией, особые нарекания вызвала перестройка на Фонтанке Цепного (Пантелеймоновского) моста. Грунт оказался здесь очень нестойким, пльвуном, и потребовались дополнительные, не предусмотренные сметой работы. Впрочем, эта перестройка весной 1907 г. уже заканчивалась, и новому составу комиссии надлежало довести до конца только еще поднятие низменных частей Галерной Гавани, заливавшейся при самом ничтожном наводнении. От времени до времени члены комиссии ездили туда на осмотр работ, и я познакомился там с заведовавшими ими инженерами В.А. Берсом (младшим братом гр. С.А. Толстой) и его помощником Ньюбергом. С последним, шедшим всегда впереди и дававшим объяснения, шел обычно и я. Как-то в конце мая мне позвонил заместитель Перцева инженер барон фон-дер-Бригген и предупредил, что днем будет очередной осмотр. Почему-то, на мое счастье, я не мог поехать в Гавань, и только вечером в заседании Думы узнал, что шедшие впереди гласных Берс и Ньюберг были убиты какими-то неизвестными. Говорили потом, что это были террористы-эсеры и что Ньюберг, сам эсер, был убит случайно. В заседании Думы наличными членами комиссии Общественных работ было уже подписано заявление об отказе их от работы в ней, и мне предложили присоединиться к ним, что я сгоряча и сделал; позднее мне, однако, было совестно этого, ибо этот отказ мог быть объяснен трусостью. Надо сказать, что это был период наибольшего разгара политических убийств, и никто из лиц, имена коих упоминались в печати или кои зани-

мали посты, так или иначе ненавистные крайним кругам, не были гарантированы от покушений. Очень развита была тогда и рассылка анонимных писем с угрозами смертью. Сознаюсь, что когда я получил первое такое письмо, в котором меня предупреждали, что мне послан гроб, оно мне испортило настроение, хотя по всем данным принимать его всерьез не приходилось.

Вскоре после избрания меня в комиссию Общественных работ, я был избран и председателем Больничной Комиссии. С больничным делом у меня было соприкосновение лишь по земской моей работе, и петербургские больницы мне были незнакомы, но я был молод, а молодость всегда самоуверенна, и я охотно взялся за это новое для меня дело. После избрания моего в конце мая, оно должно было быть утверждено Министерством внутренних дел, на что должно было уйти около месяца, и я решил использовать это время для того, чтобы подлечить свой ревматизм, который меня это время порядочно мучил. В России в апреле лечить его было невозможно, и поэтому я отправился в северную Италию, где недалеко от Падуи, около гряды невысоких Эуганейских гор были расположены два лечебных местечка – Абано и Батталия, где были горячие источники и были воронки с горячей грязью. И те и другие вулканического происхождения, как и сами горы. Больных обкладывали этой грязью или помещали в гроты, где были целебные источники, и в обоих случаях лечение было основано на обильном потении, которое продолжалось часа два и даже больше.

Я направился в Батталию и не пожалел, ибо, если полного исцеления она мне не дала, то все-таки меня подправила, а кроме того я познакомился с частью Италии, которую иначе вероятно никогда бы не повидал. Падуя, где я был несколько раз, была, например, одним из интереснейших городков страны. В ней работал Джотто, один из основателей современной живописи, в ней был один из старейших в мире университетов с курьезным анатомическим театром и самым старым ботаническим садом, и рестораном Педрокки, основанном около 1300 г., в котором меня накормили, хотя и современным, но довольно скверным обедом. Около Батталии было расположено местечко Арква-Петрарка, где родился знаменитый поэт Петрарка и где сохранялся его дом, превращенный в музей, главной достопримечательностью коего была, впрочем, только мумия кошки поэта, изрядно уже тогда облезшая за шесть веков.

Рядом с Батталией расположено Эсте, местечко, откуда пошел род этого имени, столь известный в истории Италии. Побывал я

и в соседних имениях графов делла Роза и Бальби. В первом из них был замечательный сад с лабиринтом и разными водяными сюрпризами, а во втором был устроен Кальварио* – особенность, часто встречающаяся в католических странах – ряд часовен, напоминающих остановки Христа на его смертном пути к Распятию и расположенных на склоне какого-нибудь холма. Заканчивается обычно этот ряд часовен церковкой, и так было и у графов Бальби. В ней за алтарем был ряд шкафов, которые нам открыли, и в них за стеклом в епископских одеяниях находилось около десятка скелетов; у всех на руках были белые перчатки и в них чаши с причастием. Род Бальби в течение веков служил в Риме папам, и эти скелеты были мощи святых, найденных в римских катакомбах и подаренных папами предкам настоящих Бальби. На всех отделениях шкафов были наклеены этикетки, указывающие мощи какого святого в нем находятся, а на одном, где рядом с большим был маленький скелет, я прочитал, что это мощи какой-то святой и ее святого сына, младенца такого-то, замученного во чреве ее. На мой непочтительный вопрос, как могли узнать имя этого святого младенца, если он погиб еще до рождения, ответа я не получил.

Одновременно со мной в Батталии лечились супруги Кюгельхен, еще молодые люди, но оба неврастеники, не знаю, кто больший. Отец Кюгельхена основал в Петербурге одну из издававшихся там немецких газет, и сын продолжал ее издание; весь его психический уровень был, однако, таков, что я сомневаюсь, чтобы его газета была особенно интересна. Как-то я поехал с ним в Падую; возвращаясь в ней на вокзал весьма заблаговременно, мы увидели входящий на станцию поезд, и Кюгельхен, боявшийся опоздать к жене, как сумасшедший бросился бегом к нему, и я за ним. Уже на ходу вскочили мы в один из вагонов, причем Кюгельхен чуть не оборвался, и только тут мы узнали, что поезд этот – экспресс, идущий в другом направлении и что первая его остановка в Виченце, в 60 километрах. Вернулись мы в результате в Батталию вместо 4-х в 10 часов вечера, причем Кюгельхен все время чуть не плакал, как его жена перенесет его опоздание. Я, наоборот, не пожалел об этом казусе, ибо в Виченце мы попали на празднование годовщины какой-то битвы, в которой в 1866 г. итальянцы разбили австрийцев, и мы увидели более или менее народное итальянское празднество.

* Путь на Голгофу. – *Примеч. сост.*

Вернулся я через ставший позднее знаменитым Бреннер, и по дороге остановился на день в Вероне. Здесь я убедился, между прочим, что известная декорация к «Ромео и Джульетте», которую помнят все посетители старой петербургской оперы, неверно изображает мавзолей Скалигеров с левой стороны сцены, тогда как он должен был бы находиться с правой. Побывал я на гробнице Джульетты и убедился, что глупости человеческой нет предела: мраморный, почему-то открытый саркофаг над нею был весь заполнен визитными карточками посетителей, в большинстве, по-видимому, англичан и немцев.

Вернувшись в Петербург, я принял председательствование в Больничной Комиссии, которая была порядочно запущена. Долгие годы ее председателем был М.П. Боткин, брат профессора и любитель и знаток живописи, человек порядочный, но уже состарившийся. В 1904 г. его сменил тоже уже немолодой М.И. Петрункевич, который, несмотря на свой либерализм, не сумел наладить отношений с персоналом и скоро, в период революционных беспорядков, ушел. Наконец, непосредственно передо мной около года председательствовал в Комиссии профессор-акушер Лебедев, очень мало ею интересовавшийся. В самой Комиссии ее делопроизводитель Околович, позднее бывший мировым судьей, порядочный, но нерешительный человек, и один из его помощников д-р Подановский, роли в ней не играли, и в конце концов тон ей задавал давно уже в ней служивший другой помощник делопроизводителя Волков, человек уже пожилой. Он попытался прибрать и меня к рукам, но когда ему это не удалось, то ушел на пенсию, чему я не воспротивился, ибо репутация у него была неважная, хотя лично я не мог чего-либо поставить ему в вину. Большую роль в Комиссии играл известный врач д-р Нечаев, возглавлявший совет главных врачей городских больниц и распоряжавшийся в Комиссии более или менее самодержавно. В первом заседании ее были выбраны два моих заместителя и попечителя больниц, все из числа членов Комиссии. Функции попечителей были довольно неопределенны и, скорее всего, сводились к роли заступника за интересы больницы и наблюдателя за порядком в ней, но мало кто из них действительно их выполнял. Заместителями моими были выбраны А.И. Кабат, уже раньше исполнявший эти функции, и отставной генерал Нидермиллер, фактически меня заменявший, хороший, но ограниченный человек. Во время Японской войны он был в штабе Куропаткина начальником военных сообщений и уверяли, что его главной заботой было, чтобы почтовые поезда из Харбина приходили без опоздания, что,

однако, почти никогда не случалось. Как-то, впрочем, случилось, что поезд этот пришел на час раньше, но радость Нидермиллера сразу прошла, ибо он получил ответ: «Ваше превосходительство, да это вчерашний».

В канцелярии Комиссии я нашел больше 250 требующих разрешения дел, и в первое же заседание назначил к слушанию около 150 из них, конечно, мелких, но наиболее срочных. В два заседания они были пропущены, затем прошла вторая пачка более крупных и после этого Комиссия могла заняться действительно серьезными вопросами. Еще до моего утверждения в должности я объехал все больницы и продолжал эти объезды и позднее, в различные часы дня и ночи, чтобы проверить довольно многочисленные жалобы на них. Это, а также и то, что я сам докладывал все дела, помогло мне выделять в прениях существенное от неважного, и рассмотрение дел не задерживалось.

С первых же дней мне пришлось установить отношения с Нечаевым. Поводом для этого послужила мелочь: врачи должны были просить отпуска у Комиссии, но Нечаев считал себя выше этого, и только уведомлял, что тогда-то уезжает в отпуск; я доложил это, прибавив предположение, что прошение его об отпуске, очевидно, где-то застряло, и предложил считать его уведомление за прошение. Нечаев растерялся и только что-то промычал, и мое предложение было принято при общих улыбках. Почему-то эта мелочь попала в печать, и с нее начались мои, в общем, всегда дружественные отношения с журналистами.

В дальнейшем мне пришлось налечь на Нечаева только один раз. Ко мне обратился сверхштатный врач Обуховской больницы д-р Едличко с жалобой, что его все время обходят при назначениях на штатные должности, причем объяснял это тем, что он не принадлежит к партии сторонников Нечаева. Когда я спросил последнего про Едличку, он признал, что ничего худого он про него сказать не может, но что он вообще не из крупных врачей; на это я ему сказал, что нельзя же обходить человека ряд лет, назначая перед ним людей, только что начавших свою работу. Сряду после этого Едличко был тоже назначен, но не палатным врачом, а в амбулаторию больницы, чем Нечаев, видимо, хотел показать свою независимость. Ни Едличко, ни я не протестовали, и в дальнейшем недоразумений с Нечаевым у меня не было.

В ведении Комиссии находились в то время 11 больниц и Городские богадельни; из них пять больниц были для общих больных: Обуховская, Александровская, Петропавловская, Марии Магдалины и Барачная (для заразных), две для венерических – Калин-

кинская, женская, почти исключительно для проституток, и Алафузовская (для мужчин); одна детская и три для душевнобольных: Николая Чудотворца, Св. Пантелеймона (на Удельной) и на Ново-Знаменской даче. Насколько я мог себе составить представление о прошлом Петербургских больниц лет за 20 до моего вступления в должность, они были очень приличны, но затем было пропущено время для увеличения [их количества], параллельно с ростом городского развития, и к моему времени число мест в них не отвечало потребности. И тут, однако, надо внести поправку: летом больницы, даже наиболее старые, вроде, например, Обуховской, производили вполне приличное впечатление, но летом никто их не навещал, а зимой, когда они были переполнены, положение в них было весьма тяжелое. Достаточно сказать, что при штатных 7.500 мест число больных превышало зимой часто 12.000, и больные занимали тогда не только палаты, но и все коридоры были заняты больными, лежащими на сенниках прямо на полу. Но и тут это острое переполнение относилось, главным образом, к общим больницам и в них к терапевтическим отделениям. Хроническое переполнение наблюдалось в психиатрических лечебницах, особенно в больнице Николая Чудотворца, куда направлялись все острые больные. На Удельной помещались хроники, но более или менее опасные, а на Ново-Знаменской даче тоже хроники, но более надежные. В виду этого переполнения, городом нанималось еще несколько помещений для душевнобольных хроников: одно в Екатерингофе, другое на Васильевском Острове и третье было нанято уже при мне на Полюстровской набережной. Все они не были, конечно, построены для того, чтобы быть больницами, и были далеки от идеала. Да и больница на Ново-Знаменской даче (ранее принадлежавшей старику В.И. Мятлеву), в которой еще сохранились расписные потолки, тоже во всем напоминала больше прежнюю барскую усадьбу, чем специальную лечебницу.

Современной была лишь Детская больница, незадолго перед тем законченная. На мою долю выпала еще ликвидация дела о постройке этой больницы, на которую было немало нареканий. У меня, однако, создалось впечатление, что, в общем, больница была построена недурно, что я позднее и высказал в Думе. Были небольшие изъяны в центральном отоплении, главное же нарекание, на приемный барак больницы, относилось не к выполнению плана, а к самому плану. В больнице, предназначенной для заразных больных, неоднократно наблюдались случаи внутреннего заражения, и объяснялись они тем, что в приемной «боксы», стеклянные камеры, в которые помещались больные дети до их

осмотра врачом, не были достаточно изолированы. Это, однако, относилось к вине не строителей, а врачей, одоббивших план больницы. Кстати, по поводу этих дефектов, мое изложение их в Думе вызвало обвинение меня со стороны Фальборка, что раньше я осуждал постройку больницы, а став председателем Комиссии, стараюсь замазать ее дефекты. Я ему резко ответил, что это совершенно не отвечает действительности, ибо раньше я об этой постройке ни разу не говорил, и Фальборк в одном из следующих заседаний по справке в стенограммах признал, что он ошибся. Редкий случай, что в общественных собраниях кто-либо признавал свою ошибку.

Обуховская больница делилась на мужское и женское отделения, во главе которых стояли прекрасные терапевты Нечаев и Керниг (кстати, укажу, что насколько я мог судить, врачи городских больниц, как в смысле своих познаний, так и с моральной, могли в виде общего правила выдержать любой экзамен). Остался у меня в памяти также блестящий хирург Обуховской больницы д-р Греков. Печальное впечатление в этой больнице производили бараки для туберкулезных, находившиеся в саду со стороны Загородного и построенные еще во времена, когда больница находилась в ведении Императрицы Марии Федоровны и которым, следовательно, было уже около 100 лет. Сами врачи признавали, что случаев излечения в них не бывало, и что вопрос был лишь в том, когда тот или другой больной умрет. Санаториев для туберкулезных у города тогда не было, да и вообще тогда эту категорию больных начинали лечить только, когда победить болезнь было уже невозможно (и это не только среди неимущих, а и богатых).

С самого начала мне пришлось слышать жалобы на оставление в Обуховской больнице отделения для острых алкоголиков. Редкую ночь полиция не доставляла туда буйствующих пьяниц, часто избитых и раненых, продолжающих буйствовать и в больнице. Побывал я и здесь, и действительно картина отделения была непрезентабельная: хотя при мне полиция и не доставила ни одного нового клиента, вопли, рвота пьяных, попытки их продолжать драться, все это подсказывало необходимость убрать это отделение из Обуховской больницы, но выполнить это я не успел. Почему-то припомнилась мне тут заключительная фраза из «Сказки о тульском левше и стальной блохе» Лескова, как Левшу, весь переход пившего на судне с капитаном, отвезли в больницу, где он и умер, и мне подумалось, что этой больницей именно и была Обуховская.

Петропавловская больница, быть может, из терапевтических наиболее современная, была в ведении проф. Доброклонского и заменяла клиники Женскому Медицинскому Институту. Александровская и Марии Магдалины особого интереса не представляли (если не считать, что в течение лета почти каждый раз, что я бывал в Александровской, меня водили в покойницкую, где почти всегда бывали утопленники, часто в сильной степени разложения, чтобы доказать мне необходимость перестройки этого здания, в чем я, впрочем, не сомневался).

Уже старая Калинкинская больница и сравнительно новая Алафузовская лечили (или, вернее, подлечивали) сифилитиков и венериков. В Калинкинской больнице бывали всегда сотни больных проституток, производившие большею частью жалкое впечатление. В сущности, находились они здесь на полутюремном положении, ибо доставлял их обычно в больницу санитарный надзор, и добровольно поступивших в нее женщин было не много. В Алафузовской больнице показали мне двух прокаженных, ожидавших здесь, когда откроются для них места в Ямбургской санатории. Тогда почти у всех существовало убеждение, что проказа – болезнь исключительно редкая, и только с прогрессом медицины стало известно, что она существует почти повсеместно. В Бразилии, где я пишу эти строки, в одном штате С. Пауло при его 6-миллионном населении, в санаториях помещаются до 7000 прокаженных, а сколько находится вне их, едва ли кто точно укажет.

Из Калинкинской больницы поступило при мне в Совет Главных врачей заявление о безнравственном поведении д-ра Лучинского, которого Совет и представил к удалению. Сам Лучинский явился ко мне еще до этого постановления Совета с попыткой оправдаться в предъявленных к нему обвинениях, но когда я прочитал затем его дело, то ни у меня, ни у членов Комиссии не явилось сомнений в том, что ему не место в этой специальной больнице. Удивил меня лишь цинизм, проявленный Лучинским и который возмутил даже много перевидавших за свою долгую службу в больнице пожилых фельдшериц.

Городские богадельни вмещали тогда что-то около 1000 стариков и старух и нетрудоспособных, которые в громадном большинстве были рады возможности дожить здесь спокойно свои последние годы. Кормили их сносно, помещение было, во всяком случае, лучше, чем то, которое они обычно занимали до богадельней, но сказать, чтобы оно было идеально я, конечно, не решусь. Среди стариков был один более, чем столетний; я попытался с ним заговорить о прошлом, но у него уже мало что оставалось в памяти.

Совершенно сознательно оставил я на последки психиатрические лечебницы, ибо они были наиболее слабым пунктом деятельности Больничной Комиссии. В общем, я могу сказать, что наше новгородское Колмово было несколько выше их, и это, главным образом, по сравнению с больницей Николая Чудотворца. Страшно переполненная и какая-то мрачная, она производила с самого начала неприятное впечатление на всех, и мне и по сию пору кажется, что при ее переполнении собственно лечение больных не должно было давать больших результатов. Винить в этом персонал не приходилось, но помочь положению, кроме устройства нового отделения в Полюстрове, я ничем не смог. На Удельной, в больнице Св. Пантелеймона врачи, как мне показалось, относились к больным с большей опаской, чем в психиатрических больницах вообще, очевидно потому, что к ним направлялись хроники, уверенности в коих не было. Когда мы прошли мимо одного из них, старший врач мне вполголоса сказал, что это убийца московского городского головы Алексеева, и добавил, что это больной весьма опасный, ибо от него всегда можно ожидать, при прекрасном общем поведении, какого-нибудь совершенно несурового поступка. Позднее, в эмиграции, дочь Алексеева – Анненкова, мне говорила, что ее отец был убит революционером. По-видимому, убийца действительно принадлежал к эсерам, но, тем не менее, убийство Алексеева является совершенно непонятным, ибо к числу правых он не принадлежал и человек был порядочный.

Больница Николая Чудотворца произвела и на меня сряду тяжелое впечатление: старое здание казенного николаевского типа, переполнение и неизбежное его последствие – довольно условная чистота, а также какой-то хмурый персонал как-то не радовали глаз. Должен, впрочем, сказать, что в отношении персонала я ничего худого сказать позднее не мог. Вообще здесь, как и в других городских больницах, средний персонал делал свое дело добросовестно и был достаточно хорошо для исполнения своих обязанностей подготовлен, но низший зато не имел абсолютно никакой подготовки: это были большей частью приходившие на заработки крестьяне, с больничной работой не знакомые и шедшие на нее, как пошли бы на любую другую. Мне кажется, что именно эта их неподготовленность (а также недостаточность) и вызывала большинство жалоб на городские больницы.

Надо сказать еще, что вне Петербурга мне приходилось не раз слышать жалобы на его больницы, но иного рода. Лица «податных сословий», и в первую очередь крестьяне, связанные со своей

общиной, платили в Петербурге особый больничный сбор, помнится в размере одного или двух рублей в год. Взимался он с них при прописке паспорта в участке и давал право на бесплатное лечение в городских больницах, но часто случалось, что тот или другой больной, по чьей вине безразлично, попадал в больницу «не прописанным», не уплатив больничного сбора, и тогда был обязан платить за свое пребывание в больнице. Плата была невысокая, но при длительных болезнях больной залеживал иногда сотни рублей, и если, что бывало нормально, он не был в состоянии уплатить, взыскание обращалось на его селение. Обычно и оно было не в состоянии, да и не проявляло желания уплатить эти больничные «недоимки», а власти, которым надлежало их взыскивать, не налегали с их пополнением. Поэтому, если не ошибаюсь, вскоре после этого обязанность общин пополнять эти недоимки и была отменена.

В больнице Николая Чудотворца положение в это время было еще ненормальным. В революционные дни старший врач д-р Реформатский был вывезен персоналом на тачке. Не помню точно деталей этого казуса, но руководил им младший врач д-р Трошин, который за это и находился еще под следствием, когда я вступил в Больничную Комиссию. Обязанности старшего врача исполнял д-р Охочинский, а Реформатский был переведен старшим врачом на Ново-Знаменскую дачу. Несомненно знающий психиатр, человек порядочный и хороший администратор, он принадлежал, однако, к числу тех врачей, которые в постоянном общении с душевнобольными, сами становятся несколько странными. Таким был Синани в Колмове, таким был в меньшей степени Чечотт, таким оказался и Реформатский. Когда я говорил с ним о его «вывозе», он произвел на меня скорее жалкое впечатление; его «обидели», как он говорил, и, принимая эту обиду без возмущения, он не мог лишь понять, за что ему ее нанесли. Сознаюсь, что и я после разговоров с рядом лиц из персонала больницы, иным, как несколько мрачным замкнутым характером Реформатского, объяснить не могу.

В 1915 г. мне вновь пришлось встретиться с Реформатским, когда я был назначен главноуполномоченным Кр. Креста при армии Северо-Западного фронта. С начала войны на Кр. Крест была возложена эвакуация с фронта душевнобольных, и на С.-Западном фронте это дело было поручено Реформатскому, поставившему его, как говорили специалисты, хорошо. Закончилась, однако, его работа здесь тоже неудачей. В числе врачей, работавших у него, была некая Терентьева, которая перед тем сама уже

сидела в больнице для душевнобольных. Когда она поправилась, Реформатский взял ее к себе, и все шло хорошо до первых дней Февральской революции, когда, неизвестно почему, Терентьева с группой солдат явилась ночью на квартиру Реформатского (дело происходило в Минске), перерезала первым делом все телефонные провода и затем арестовала его, как контрреволюционера. Надо сказать, что Реформатский всегда стоял в стороне от политики, и мне думается, что Терентьева, которую я видел через месяц очень экзальтированной, была в этот момент не вполне нормальной, почему и обвинила его в контрреволюционности. На следующий день Реформатского освободили, но еще через месяц я его видел не отошедшим от переживаний этой ночи.

Пришлось мне ликвидировать и дело о Детской больнице, где старший врач проф. Соколов устроил в 1905 г. больничный комитет из себя, одного из фельдшеров и швейцара, которому и передал управление больницей. Вскоре этот комитет был распущен, Соколов устранен от должности, и мне пришлось только провести через Комиссию утверждение в должности его преемника д-ра Зотова.

С больницей Николая Чудотворца связано у меня тяжелое воспоминание о разыгравшейся там летом драме. Надо сказать, что в нее направлялись «на испытание» подследственные арестанты, как уголовные, так и политические, как действительно душевнобольные, так и симулянты. Число политических, некоторым из коих грозила смертная казнь, было в те годы весьма значительным, и больницы ими очень тяготились, ибо за ними требовался особый надзор, а, кроме того, признавать человека симулянтом, зная, что последствием этого может быть его казнь, очень претило персоналу. Кроме того, не лежало сердце у него и к неизбежным в связи с этим сношениям с полицией и жандармами. И вот как-то утром меня вызвал в Больничной Комиссии к телефону д-р Охочинский и сообщил, что в больницу явилась с обыском полиция, ибо ею были получены сведения, что готовится побег испытуемых. Охочинский спрашивал меня, обязан ли он допустить полицию в больницу; вероятно, он и сам признавал, что да, но в виду настроения персонала хотел переложить ответственность на меня; я ее принял и сказал ему, что раз у полиции есть надлежащий ордер, он не допустить ее не может. Через несколько часов, когда я был в заседании Городской Управы по каким-то делам Больничной Комиссии, Охочинский вновь позвонил мне, чтобы сообщить, что во время обыска один из испытуемых убил санитаря и тяжело ранил смотрителя больницы. Сряду же я поехал в больницу вместе

с городским головой Резцовым. Оказалось, что когда полиция в сопровождении Охочинского и смотрителя вошли в мастерскую, находившийся в ней испытуемый «смертник» бросился с ножом к выходу и нанес удары стоявшему около него санитару, которого убил на месте, а смотрителю нанес удар в живот (кажется, он все-таки не выжил). Выяснилось, что действительно побег этого испытуемого (фамилию его не помню) был подготовлен, и в больнице была найдена для него веревочная лестница; однако, бежать убийце не удалось, ибо он был схвачен и обезоружен у выхода из мастерской. Когда я спросил, где он находится, то оказалось, что он сидит в изоляторе совершенно голый, как мне объяснили для того, чтобы он не повесился; мой вопрос, на чем же он может повеситься в изоляторе, ответа я не получил. Сряду после этого врачи признали его душевно здоровым, и если не ошибаюсь, он вскоре был присужден к смертной казни.

Отделения больниц Николая Чудотворца – женское в Екатерингофе и мужское на Васильевском Острове – были похожи скорее на богадельни, чем на больницы. В последнем мне запомнились два больных-хроника. Один из них весь день без перерыва повторял: «Я голоден, я голоден», даже немедленно после еды; другой, слепой, тоже весь день ходил вокруг своей кровати, держась за нее, молча и с совершенно бессмысленным лицом.

Погибший смотритель больницы Николая Чудотворца был человеком заурядным; вообще на смотрителей, как на служащих по хозяйственной части, смотрели отрицательно, но, быть может, в этой общей форме без оснований. Были среди них и очень порядочные люди, но наряду с этим против одного из них, смотрителя Барачной больницы, по моему предложению Комиссия возбудила уголовное преследование. Материал для этого доставил попечитель этой больницы присяжный поверенный Романов, причем компрометировали они и старшего врача больницы Посадского; поэтому под следствие попал и он. Посадский был в городских кругах влиятельным лицом, и факт возбуждения дела против него произвело известную сенсацию. В заседании Городской Думы мне пришлось указать, что для престижа городского самоуправления лучше, чтобы судебные власти сказали по этому делу свое авторитетное слово. Никто мне не возражал, но мне передавали, что недовольных мною было немало. Чем закончилось это дело, не знаю, но, кажется, о Посадском оно было следователем направлено к прекращению. Надо сказать, что вообще по делам о денежных злоупотреблениях доказать виновность не легко, ибо и берущий и дающий оба одинаково заинтересованы, чтобы их сделка огласки

не получила. Замечаю, что я ничего не сказал еще про Барачную больницу: считалась она образцовой и, вероятно, когда она была построена, эти «Боткинские бараки» и были на высоте тогдашней медицинской техники. Но с тех пор до 1907 г. прошло около 30 лет, и эти деревянные здания далеко не производили впечатления образцового лечебного заведения. Уже поздней осенью в Комиссии был переполох. При вскрытии в одной из больниц какого-то умершего он оказался носителем холерных бацилл. Все это лето холера была в Нижнем Поволжье, и в Больничной Комиссии я обсуждал с врачами, что нам надо приготовить на случай появления ее и в Петербурге. В 1907 г. холера до Петербурга, однако, не дошла, и проверка правильности расчетов наших врачей произведена действительностью не была. Это случилось только в 1908 г., и тогда как врачи предвидели, что для холерных больных достаточно иметь в запасе 800 кроватей, в действительности в разгар эпидемии заболело по несколько сот человек больных в день. Я вернулся тогда в Петербург, уже не будучи председателем Больничной Комиссии, в конце сентября, и застал только конец эпидемии. Побывал я уже в качестве только гласного в холерном отделении больницы Марии Магдалины, и все оказалось, несмотря на то, что зашел я туда уже ночью, в блестящем порядке.

Из Комиссии я ушел в середине декабря 1907 г., ибо был в конце октября выбран членом Гос. Думы и совмещать председательствование в Комиссии с работой в Таврическом дворце было невозможно. Сознаюсь, что мне было жаль оставлять Комиссию, ибо у меня было ощущение, что моя работа в ней не бесполезна. Отношения у меня установились хорошие не только в самой Комиссии, но и с Думой, и с печатью, и с этой стороны я тоже мог рассчитывать, что и дальнейшая моя работа в Комиссии пойдет гладко. Но Государственная Дума была гораздо более интересна, и пришлось Больничную Комиссию оставить. Председательствование в ней я передал Нидермиллеру, получил от членов ее на память хорошенькую чернильницу и дальше о больничных городских делах знал не больше, чем все остальные гласные.

Кстати, упомянув о печати, отмечу, что несколько раз за это время мне попадались карикатуры на меня, не злобные, но обычно и не очень остроумные. Одна из них вызвала, однако, глубокое негодование лакея моих родителей, ибо я был изображен в ней в широкополой шляпе и в каком-то балахоне: «Как же можно так печатать, ведь у Мануила Павловича даже нет такого пальто». Все, увы, оценивается обычно с узкопрофессиональной точки зрения, и этот случай был только нормальным.

Уже с весны 1907 г. я окончательно разошелся с «Мирным Обновлением» и во время 2-й Гос. Думы никакого участия в политической работе не принимал. В апреле я был в Италии, а в мае меня целиком захватила работа в Больничной Комиссии. Как известно, от выборов во 2-ю Думу социалисты не уклонились, как от предыдущих, и очевидно вследствие этого состав ее оказался более левым, чем той. С другой стороны, в ней оказалась хотя и маленькая, но энергичная группа правых и в числе их Пуришкевич, и во главе правительства стоял Столыпин, с места показавший, что он не пойдет по пути Горемыкина. Все это вместе сделало заседания 2-й Думы гораздо более бурными, но и более интересными. Как известно, просуществовала она тоже всего около трех месяцев и была распущена из-за столкновения по поводу предания суду членов социал-демократической фракции Думы по делу о подготовке к восстанию в войсках Петербургского гарнизона.

Дела этого я ближе не знаю, но сейчас, через 40 лет, у меня остается впечатление, что оно было раздуто, в сущности, без крайней для того необходимости. Несомненно, в среде военной организации С.Д. были агенты полиции, но едва ли возможно утверждать, что все дело было состряпано только ими; с другой стороны, однако, для осуждения в каторгу всей фракции тоже, мне кажется, не было достаточно серьезных данных. Наиболее вероятно, что Столыпин, убедившись, что ему не удастся столкнуться с 2-й Думой, вел все к роспуску ее, и что дело соц-демократической фракции было сознательно использовано для этого. Как известно, за роспуском Думы последовал Акт 3-го Июня, изменивший избирательный закон в Думу. Сейчас, кажется, все согласны, что он явился своего рода государственным переворотом, ибо юридически оправдать его было нельзя; признал это после революции и Щегловитов, когда его опрашивали в Чрезвычайной комиссии по расследованию преступлений прежнего правительства.

Акт 3-го Июня был составлен, однако, очень ловко и, когда я его прочитал, то у меня первой мыслью было: зачем, в сущности, он понадобился правительству? Сомнение это, однако, отпало, когда я просмотрел расписание числа выборщиков от различных курий избирателей. Боюсь сейчас это утверждать, но мне кажется, что этим актом никто из выборщиков по прежнему закону не был лишен права участия в выборах в Гос. Думу, но новое расписание предоставило решающую роль в них выборщикам от землевладельцев и очень сильно уменьшило число выборщиков от крестьян. Еще когда вырабатывалось положение о «Булыгинской Думе», на крестьян возлагались главные надежды правительства,

как на элемент наиболее консервативный. Аграрные беспорядки 1905-1906 гг. поколебали эту уверенность, а выборы в 1-ю и 2-ю Думы ясно показали, куда направлены симпатии крестьян. Это и объясняет, почему 3-го Июня число выборщиков было составлено так, что одного взгляда на него было достаточно, чтобы убедиться, что оно определенно исключало возможность образования в Думе не только социалистического, но даже буржуазно-оппозиционного большинства.

Много говорилось о давлении правительства на выборы. Несомненно, оно было, но мне кажется, что результаты его переоцениваются. Забывается, что общее настроение в стране было оппозиционное по традиции, и власть – будь это губернатора или исправника – своим вмешательством могла скорее повредить правительственным кандидатам, чем помочь. Кроме того, только ко времени выборов в 4-ю Думу у правительства образовался известный избирательный опыт, который им и был применен, хотя, в общем, и неудачно. До того оно боролось с оппозицией отрицательными способами, преимущественно исключением из списков оппозиционных избирателей. Исключение это производилось по юридическим основаниям и могло быть обжаловано в Сенате, который иногда восстанавливал права исключенного, но это происходило уже по окончании выборов и не имело практического значения. Бывали и случаи привлечения к уголовной ответственности того или иного избирателя, чтобы исключить его из списков. Избирательный закон гласил, что лишаются избирательных прав лица, привлекавшиеся к следствию в качестве обвиняемых в преступлениях, могущих повлечь ограничение прав, и по суду не оправданные. Таким образом, я мог быть присужден к аресту или даже только штрафу без какого бы то ни было ограничения в правах, чтобы на всю жизнь потерять избирательные права, если первоначально я обвинялся в более важном преступлении.

Таков был случай А.М. Колюбакина, который был избран членом 3-й Гос. Думы от Петербурга, но который перед тем произнес где-то, кажется, в Саратовской губернии, речь, за которую, на основании полицейского протокола был привлечен к ответственности. Колюбакин отрицал произнесение инкриминируемых ему слов, и суд присудил его к ничтожному наказанию, но, тем не менее, так как оправдан он не был, то был исключен из Гос. Думы. Не помню, с кем был известный случай, что, будучи освобожден от суда по «манифесту» (об амнистии), он был все-таки, как судом не оправданный, исключен из списков.

Акт 3-го Июня не вызвал в то время того волнения, которое сопровождал роспуск I-й Думы и Выборгское воззвание. Настроение было в то время, в общем, гораздо более благоприятным для правительства, чем раньше и позже. Революционное движение 1905-1906 гг. многих напугало, а многие надеялись, что новая Дума сможет вместе с правительством водворить новый, более свободный строй. Искренность правительства в то время не возбуждала тех сомнений, которые стали образовываться по мере работы 3-й Думы, и в частности верили, что Столыпин будет в состоянии осуществить данные народу обещания. Ценили его лично за мужество, энергию и несомненный ум и, почему этого не признать, что он победил революцию. У меня осталось впечатление, что будь в то время во главе правительства не Столыпин, а кто-либо другой, было бы еще вопросом, оказалась ли бы и 3-я Дума не оппозиционной?

Столыпину одни ставили в плюс, а другие в минус подавление революции. Несомненно, при этом было допущено немало эксцессов, ответственным за которые явилось центральное правительство, но у меня и посейчас не исчезло впечатление, что оно само было бы радо, если бы их не было. Забывают, что среди полиции и тюремного персонала в те годы чуть не ежедневно были жертвы покушений, и это частично объясняет, что они часто не оставались в рамках законности. Нельзя, конечно, оправдывать этого, но по-человечески этих, большею частью простых людей, совершенно чуждых политики, судить слишком строго нельзя. Были, несомненно, среди них люди с пониженной человечностью, но они были скорее исключением, а масса их исполняла свой долг так, как их тогда всюду учили. В частности, правительство очень винили и за еврейские погромы. Несомненно, что власти на местах часто не проявляли энергии в их предупреждении и особенно подавлении, но я знаю, что для центрального правительства на моей памяти они были всегда большой неприятностью.

Не думаю, чтобы им потворствовал уже при Александре III граф Н.П. Игнатъев, но что Кишиневский погром вызвал неприятные осложнения для Петербурга, для меня тоже ясно. Не помню случая, чтобы губернатор удержался на месте, если не проявил энергии в подавлении этих погромов; например, генерал Раабен, бывший губернатором в Кишиневе, был за погром уволен без замедления, то же произошло с Одесским градоначальником Нейдгардтом. Но также ясно, что полицейские пристава и другие низшие власти часто, если не прямо вызывали, то и не противодействовали погромам, особенно это относится к 1905-1906 гг., к

тому периоду, когда «власти ушли» и когда проявились главным образом все худшие инстинкты масс. На войска тогда тоже часто положиться было нельзя – это были большею частью запасные нижние чины и прапорщики запаса, и подчас было неизвестно, на чьей стороне были их симпатии – правительства или революционеров. С этими часто отождествляли тогда вообще всех евреев. В сущности, получался заколдованный круг: неравноправие евреев, несомненно, усиливало среди них революционные настроения, и процент их среди политических преступников был определенно повышенный. Много евреев было среди покушавшихся на представителей администрации и особенно полиции, которые до известной степени жили поборами с евреев и пользовались среди них еще меньшими симпатиями, чем среди остального населения. Не удивительно, что и полицейские видели в евреях своих злейших врагов. А к этому присоединился никогда не исчезающий в Западном Крае антисемитизм, проявлявшийся в революционные годы в самых грубых формах. Это были как раз годы, когда на Украине распространился лозунг: «Бей жидов, спасай Россию», лозунг, который исповедовали тогда, впрочем, не одни некультурные люди.

Лето 1907 г. я провел в Петербурге, работая в Больничной Комиссии, и только на праздники наезжал в Рамушево. Ввиду этого, жена вернулась в Петербург раньше обычного; в этом году ее младший брат Борис женился на одной из дочерей члена Гос. Совета Н.А. Зиновьева. Семья Зиновьевых, детей, если не ошибаюсь, директора Лазаревского института восточных языков, была, несомненно, очень способной. Один из братьев был известным послом в Константинополе, оставившим след в русско-турецких отношениях, другой, сравнительно рано умерший, был Лифляндским губернатором, а Николай Александрович, тесть Бориса, до назначения в Гос. Совет, был товарищем министра внутренних дел. Он представлял очень оригинальную смесь крайнего консерватора с либералом, и заранее нельзя было предсказать в зависимости от обстоятельств, кто из них в нем пересилит. Он был принципиальный спорщик, и почти всегда оказывался противоположного со своим собеседником мнения. Позднее его подчиненные по министерству рассказывали мне, что чтобы получить его согласие они сперва предлагали ему обратное их собственному мнению решение вопроса, и это исключало излишние прения, ибо они, конечно, не возражали ему, когда он сам высказывал то, что они признавали правильным. Несмотря на эту особенность, Зиновьев, человек очень правых взглядов, не был ретроградом,

и в другой обстановке из него вышел бы человек не менее полезный и более либеральному режиму, однако, он вырос при самодержавии и честно служил ему до конца. Кстати, только после революции узнал я, что у Зиновьевых был еще 4-й брат, эмигрант, вернувшийся в Россию лишь после революции в 1917 г. Каких он был убеждений, не знаю, но члены семьи Николая Ал-ча (сам он в это время умер уже), говорили мне, что с этим родственником у них ничего общего не оказалось.

Борис с женой после свадьбы уехали в Дубовец, Охотниковское коренное имение в 18 верстах от Орла, где и занялись хозяйством. Они перестроили там старый и ветхий деревянный дом, в котором якобы ходили привидения, и въехали в новый, еще не совсем просохший, слишком рано. В результате Борис заболел суставным ревматизмом, который с годами все ухудшался и сделал его через 20 лет полным калекой. У жены его в 1917 г. появились головные боли, позднее развившиеся во множественный склероз позвоночника, на долгие годы приковавший ее к постели. Жалкое впечатление производили они в эти годы эмиграции, но, видя их в 1907 г. такими крепкими и здоровыми, кто подумал бы, что их ожидает такая грустная судьба.

Выборы выборщиков в 3-ю Думу в Старой Руссе прошли незаметно, и я был выбран в их число без каких-либо трений. Спокойно прошли и выборы в Новгороде, где на этот раз у правого крыла было определенное большинство. На собраниях его были очень дружно намечены кандидатами в члены Думы Румянцев, уже представлявший нашу губернию в 1-й и 2-й Думах, Тимирев, бывший член 2-й Думы, и Половцов. От городов был намечен Боровичский городской голова М.Я. Шульгин, хороший, но исключительно глупый человек (позднее в Думе он не раз просил меня написать ему текст заявлений, которые он хотел сделать, но и то они выходили плачевными, ибо он не мог их прочитать), и от крестьян Валдайский волостной старшина Евсеев. В правой группе оказались в этот раз крестьяне Валдайского и Старорусского уездов и они, если не ошибаюсь, по жребию наметили Евсева. Высокий, пожилой человек с Георгиевским крестом за Турецкую войну, он в Думе числился в октябристской фракции, но, я думаю, сам затруднился бы сказать, почему. В заседаниях, как фракции, так и Думы, он никогда не выступал.

На последнее 6-е место первоначально оказалось два кандидата: б. Новгородский предводитель дворянства Щербатский и я. Щербатского все любили и уважали. Начал он свою работу в уезде земским начальником, но ушел с этой должности, защитив

диссертацию по кафедре санскритского языка, позднее, уже будучи профессором, он был одновременно и предводителем дворянства. Весьма вероятно, что, если бы он согласился баллотироваться, то и был бы выбран в Думу, а я вновь остался бы за флагом, но он отказался, и тогда выдвинулся я. Против меня была часть группы помещиков из-за моего убеждения в необходимости дополнительного наделения крестьян землею, почему перед моим выставлением кандидатом ко мне обратился Голицын и спросил меня, соглашусь ли я не выступать в Думе, если буду в нее избран, с предложениями по земельному вопросу. Я обещал это, добавив, что я не буду, однако, в этих случаях и голосовать с правым крылом. Это было принято, и я был избран членом Думы. Как я потом узнал, этому, однако, предшествовало совещание выборщиков-священников (кажется, в числе их был в этот раз и 2-й викарий епархии, обычно живший на севере губернии) у преосвященного Арсения, благословлявшего их класть направо всем нами намеченным. Рассказывали мне, что когда Арсений одобрил этот список, то его викарий Андроник, тяжело вздохнув, сказал: «Иерарх православной церкви благословляет на избрание, возможно, что не православного и противника церковноприходских школ», вспоминая, что за год до этого я провел в Старорусском земстве прекращение субсидий на эти школы. Андроник как-то ночевал у нас в Рамушеве во время объезда епархии и произвел на меня впечатление очень хорошего скромного человека, но также очень не мудрого. Сын бедного дьячка, он был всем обязан самому себе, и вел образ жизни вполне соответствующий его сану. Революция застала его епархиальным архиереем в Приуралье, где он и погиб, вероятно, не сумев приспособиться к новой обстановке.

На этих выборах в Думу мне пришлось впервые столкнуться с большим вопросом о конфликте личных убеждений с партийной дисциплиной. В теории верность убеждениям есть большое достоинство всякого человека, но общественному деятелю, особенно партийному, приходится постоянно идти на компромиссы, чтобы, уступая в мелочах, а подчас и в более серьезных вопросах, проводить свою основную линию. Конечно, решить, докуда можно идти в своих уступках не всегда бывает легко, и подчас не только отдельные лица, но и целые партии докатываются на этом пути до чистейшего оппортунизма. Но принципиально отрицать необходимость таких компромиссов нельзя; без них любое общественное собрание превращается в неорганизованное сборище недисциплинированных индивидуумов, неспособных на какую-либо творческую работу.

Вернувшись после выборов в Петербург, я отправился первым делом в Гос. Думу получить членский билет и занять себе место. Я знал Таврический дворец еще по устраивавшемуся на его прудах катку и горам. Позднее помню в нем устроенную Дягилевым историческую выставку русских портретов, очень интересную, но, тем не менее, привлечшую ничтожное число посетителей и, наконец, помню его во времена 1-й Думы, когда всякий мог в него входить и когда в громадном Екатерининском зале (во времена Павла I служившим конюшней для Кавалергардского полка) устраивались импровизированные небольшие митинги со страстным обсуждением насущных вопросов. Теперь, после обвала за несколько дней до открытия 2-й Думы потолка в зале заседаний, дворец был вновь отремонтирован, и громадный талант его строителя Старова проявился во всем своем величии. Непонятно мне было только, как архитектор, создавший такие жемчужины, как круглый зал при входе во дворец и Екатерининский зал, мог успокоиться на столь мало интересном наружном фасаде, как тот, через который входили во дворец со Шпалерной. Кстати, Екатерининский зал часто называли петербургской «Salle des Pas Perdus», но насколько он был и величественнее и в тоже время изящнее своего парижского прототипа!

При входе во дворец меня встретил его швейцар, бывший фельдфебель Преображенского полка, справившийся у меня, не мой ли брат был у него в роте вольноопределяющимся. В швейцары Думы он попал в награду за то, что был моделью для фигуры Александра III на известном его памятнике; выбрала его для этого Императрица Мария Федоровна, нашедшая, что из всех предъявленных ей солдат, этот более всего напоминал ей фигуру ее мужа. Как-то он говорил, что эта работа была самой тяжелой в его жизни: долгие часы приходилось ему сидеть без малейшего движения в неудобной позе, выбранной для статуи царя; все тело затекало и болело, а встать и размяться было нельзя. Едва ли кто-нибудь станет уверять, что памятник Александра III принадлежит к образцовым произведениям скульптуры; утверждали даже, что его автор нарочно хотел олицетворить в грузных фигурах царя и его коня всю тяжесть и тупость его режима. Мне думается, однако, что создавший этот памятник обитальянившийся князь «Паоло» Трубецкой просто не справился со своей задачей. Специальностью его были прелестные небольшие статуэтки, легкие и изящные, большие же монументальные фигуры оказались неподходящими к его таланту. Кстати, не могу не отметить, что его конь на этом памятнике удивительно напоминает коней Вас-

нецовских богатырей на распутье, но с художественной стороны на Васнецова не было тех нареканий, которые вызвал Трубецкой.

В Думе я занял место внизу, в третьем ряду около среднего прохода, на котором и просидел почти 10 лет. Мне кажется, что и сейчас я с завязанными глазами без ошибки прошел бы в Думу на него.

Выборы в 3-ю Думу дали очень правый ее состав, который в общих чертах повторился и в 4-й Думе с той только разницей, что осенью 1907 г. избиратели были еще под впечатлением революционного движения, которое к 1912 г. уже проходило; с другой стороны, в 1907 г. правительство еще не отказалось от всех своих либеральных начинаний, на которые оно согласилось в 1905 г. для того, чтобы успокоить массы. Таким образом, 3-я Дума собралась с явной враждебностью по отношению ко всему, что имело не только революционный, но и подчас просто ярко либеральный характер, и с верой, что дружная умеренно-прогрессивная работа с правительством окажется возможной. Потребовалось несколько лет, чтобы эта враждебность и эта вера ослабли, но вполне исчезли они только в 4-й Думе, уже после начала войны.

В 3-й Думе я оказался одним из самых молодых ее членов; моложе меня были человек пять, и это определило мое положение: вначале я исполнял в ней преимущественно секретарские функции в разных ее комиссиях и группах. Работал я с увлечением и интересом, и эти годы, несомненно, дали мне много, а была ли моя работа полезна для страны, конечно, судить не мне.

Фракция октябристов, к которой я принадлежал, оказалась наиболее многочисленной. К ней первоначально примкнуло около 180 членов Думы. Состав ее оказался, однако, крайне разнородным, и в первые же недели заседаний многие от нее отпали, и этот процесс расслоения продолжался даже в 4-й Думе. Уже в конце 3-й Думы из 180 во фракции оставалось всего около 125 человек, причем большею частью уходили от нее вправо. Тем не менее, до 1917 г. октябристы были центральной группировкой, которая давала перевес своими голосами правому или левому крылу; положение для нее выгодное, но за то на фракцию падала вся ответственность за работу в Думе; редко бывало, чтобы наши мнения и голосования не подвергались резкой критике то справа, то слева.

Справа от нас находилась яркая крайняя правая группа, к которой первоначально примкнуло также около сотни депутатов, еще не определивших своего положения. Вскоре они, однако, откололись от крайних правых на вопросе об отношениях к прави-

тельству; правые находили Столыпина и его министров слишком либеральными, тогда как отколовшиеся слепо поддерживали его. Вскоре они стали правительственной партией «*par excellence*»^{*} и сохранили эту роль и в 4-й Думе. Приняли они название партии националистов и избрали своим лидером Балашова. Надо сказать, что в большинстве в нее вошли депутаты западных губерний, одинаково помещики и крестьяне с национальным чувством, обостренным долгим антагонизмом с польским элементом. Несмотря на свою многочисленность, группа эта была наиболее бесцветной и в 3-й и в 4-й Думе, и близость ее главарей к правительству только уменьшала ее удельный вес в Думе.

Кстати, коснусь здесь денежных отношений правого крыла к правительству: как это ни странно, но непосредственную помощь от правительства получали только крайние правые, причем косвенно она превращалась в помощь отдельным лицам; их газета «Земщина» могла существовать лишь благодаря казенной субсидии и один из их лидеров, Замысловский как-то объяснил мне, не стесняясь, что ему необходима платная работа в этой газете, ибо думских суточных ему не хватает на жизнь с семьей. Националисты прямых пособий, по-видимому, не получали, но про них утверждали, что когда они открыли свой «Национальный» клуб, то Крупенский получил казенные деньги на его оборудование. Уже во время войны в Думе был устроен кооператив и тот же Крупенский получил на него пособие, про которое немало говорили, но это было обычное пособие новым кооперативам, и хотя Крупенского и осуждали за то, что он его испросил, но по существу ничего нехорошего в этом не было. Крупенский принадлежал к многочисленной и влиятельной бессарабской семье. В Бессарабии честность не была наиболее яркой чертой общественной деятельности, но утверждали, что Крупенские были в этом отношении исключением. Зато по части избирательных интриг они всегда были мастерами, и наш П.Н. и в Гос. Думе занял в этом отношении первое место. Надо сказать, что Бессарабия, столь близкая к Румынии по своим нравам, всегда была отрицательным исключением в русской общественной жизни уже с первых годов существования земства. На выборах в 3-ю Думу дядю моей жены Мазаровича просили принять в них участие по Аккерманскому уезду. Он поехал туда, и затем в качестве выборщика принимал участие и в выборах членов Думы; потом он рассказывал с юмором, но и с презрением, о том, что он там видал. Запомнился мне эпизод о

^{*} В высшей степени (фр.).

выборах в Думу какого-то подполковника (забыл его фамилию, ибо из Думы он ушел вскоре после начала ее работы); кто-то из Крупенских сперва агитировал против его избрания, утверждая, что тот обобрал опекаемых им сирот, а на следующий день с той же энергией распинался за него, и на вопрос Мазаровича о казусе с сиротами ответил: «Ну, знаете, это недоразумение». В пользу нашего Крупенского и его брата Александра, губернского председателя, надо, впрочем, сказать, что оба они не предали России, когда румыны захватили Бессарабию.

В 4-й Думе от националистов откололась маленькая группа с П. Крупенским и вместе с несколькими правыми октябристами образовали новую группу центра. Левее октябристов стояли прогрессисты и беспартийные, обычно голосовавшие с левым крылом. Люди они были почти все хорошие, но определить их можно, скорее всего, как политических Маниловых.

О кадетях (конституционно-демократической партии) особенно много говорить не приходится, ибо о них больше всего говорилось в связи с Думами. Как сказал Милюков в начале 3-й Думы, это была оппозиция Его Величества, а не Его Величеству (применяя же здесь известное английское выражение). В этой партии, интеллигентской по всему своему существу, социально господствовали мелкобуржуазные, не социалистические взгляды. Среди кадетов и в 3-й, и в 4-й Думе было много блестящих и талантливых людей и надо признать, что они пропорционально были значительно богаче других партий видными и работающими деятелями.

К кадетам обычно примыкали маленькая мусульманская группа и польское коло, делившееся на собственно польскую и литовскую группы. Мусульмане роли в Думе не играли, чего нельзя сказать про поляков, интеллигентных и способных. Социально они были правее нас, октябристов, но наше отрицательное отношение к автономии Польши откинуло их в сторону кадетов.

Наконец, на крайнем левом крыле были трудовики (скрытые эсеры) и социал-демократы, вместе насчитывавшие около 30 человек. Насколько я помню, в 3-й Думе официального деления социал-демократов на большевиков и меньшевиков не было. Трудовики 3-й Думы были бесцветны, чего нельзя сказать про социал-демократов, хотя, составляя всего около 5% числа членов Думы, они на голосования влияния не оказывали.

Необходимо еще отметить, что понемногу образовались в Думе внепартийные группы духовенства и крестьян. По существу они были ближе к левому крылу, особенно крестьяне, в глубине

души, вероятно, все сочувствовавшие отчуждению помещичьих земель, но священники знали, что им трудно рассчитывать на переизбрание в следующую Думу и что, следовательно, им придется вернуться под власть своих епархиальных архиереев, в то время почти без исключения правых, и поэтому боялись слишком уклониться влево. Кроме прогрессиста Титова, я не помню ни одного священника ни в центре, ни в левом секторе, да и Титову пришлось перед выборами в 4-ю Думу сложить с себя духовное звание. Среди крестьян, несомненно, был ряд таких, которых после революции стали называть «кулаками», но в те времена они не выделялись из общей крестьянской массы, и если примыкали, как и почти все члены Думы – крестьяне – к правому крылу, то потому, что весь склад мышления этих бывших фельдфебелей, унтер-офицеров или волостных старшин был политически традиционно правым.

После открытия Думы товарищем председателя Гос. Совета Голубевым, первым ее делом было избрание ее президиума. Враждебность большинства ко всему левому ярко выразилась тут в том, что ни в президиум, ни в секретариат никто из левого крыла избран не был. Председателем Думы был избран Н.А. Хомяков, сын известного славянофила, поэта и богослова, типичный русский барин в хорошем смысле этого слова. Человек образованный и культурный, остроумный в разговоре и тактичный, он обладал, однако, крупным недостатком – порядочной дозой лени. Это не мешало ему быть прекрасным губернским предводителем в Смоленске, но годы его пребывания на посту директора Департамента земледелия следов после себя не оставили. В Думе Хомяков, несомненно, сыграл умиротворяющую роль и задал этим тон на будущее, но как председательствующий в заседаниях был неважный: за прениями он следил без должного внимания и в случае каких-нибудь ораторских эксцессов опаздывал с замечаниями виновному, что вызывало шум в зале, а иногда и скандалы. Первые два года Думы были также годами наиболее мирного сожительства с правительством, и поэтому Хомякову в его докладах Николаю II не приходилось обычно касаться острых вопросов. И этому надо вероятно приписать то, что из всех председателей Дум он был единственным, к которому Государь относился без враждебности; кроме того, и тон его, нормально действительно очень скучных, по существу, докладов был иным. Видя, что сообщаемые им большие статистические данные скучны Государю, он, как он рассказывал, подойдя с ним к окну (во время этого доклада в Царском Селе в серенький день оба они ходили по кабинету

царя), он ему сказал: «А ведь хорошо было бы, Государь, в такую погоду по лесу с ружьем побродить». Николай II сразу оживился, поговорил об охоте, а затем Хомяков закончил свой доклад. Через два года Хомяков отказался от председательствования в Думе и больше в ней роли не играл. В 1917 г. он был назначен главноуполномоченным на Румынский фронт, но и там себя ничем не проявил. Правое крыло на I-х выборах первоначально выставило своим кандидатом в председатели гр. А.А. Бобринского, но на нем не настаивало, и Хомяков прошел очень хорошо.

Товарищами председателя были избраны кн. В.М. Волконский и барон А.Ф. Мейендорф. Внук генерала-декабриста и его жены, воспитой Некрасовым, сын долголетнего товарища министра народного просвещения в самые революционные годы Александра III и брат писателя-эстета и директора Императорских театров Сергея Михайловича, наш Волконский получил довольно скудное офицерское образование в Тверском Кавалерийском училище, что не помешало ему быть человеком скорее культурным. Очень красивый и элегантный, он внушал всем симпатию и оказался лучшим из всех председательствующих, благодаря его быстроте и решительности, предупреждавшим часто скандалы. При этом случалось, правда, что он поступал вопреки Наказу, потому что не успевал справиться в нем, но скандал бывал предупрежден, а позднее Волконский извинялся в допущенном им нарушении. С правыми членами Думы он бывал даже бесцеремонен; я припоминаю, как он обратился к правому Тимошкину, просрочившему уже время своих объяснений с одним только словом: «Тимошкин, довольно», и показательным жестом согнавшего его с кафедры.

Барон Мейендорф, приват-доцент юридического факультета и исключительно порядочный и добросовестный человек, наоборот, оказался исключительно плохим председательствующим; его добросовестность препятствовала ему принять какое-либо решение, не справившись, соответствует ли оно Наказу, а пока разыгрывались скандалы. Если не ошибаюсь, Мейендорф отказался от обязанностей товарища председателя после скандала, произведенного его замечанием епископу Евлогию. Мне тоже казалось, что слова епископа не заслуживали замечания, и я думаю, что сам Мейендорф сделал его скорее, чтобы не быть обвиненным в том, что он более снисходителен к правым, чем к левым. Но на правом крыле раздались крики, что он оскорбил чуть ли не всю православную церковь, сделав замечание епископу, и что он не имел право ставить Евлогия в один уровень с другими членами Думы.

Нерешительность Мейендорфа сказалась позднее и в других вопросах, но об этом мне еще придется говорить позднее.

Секретарем Думы был избран крайний правый, Варшавский профессор Созонович, скучный и исключительно тупой человек. При нем по Наказу полагалось не то 4, не то 5 товарищей секретаря, из коих два – октябрист Антонов и правый Замысловский – потом оставили след о себе в Думе.

Наказ, о котором я упоминаю, был выработан еще во 2-й Думе комиссией, в которой всю работу выполнил ее председатель В.А. Маклаков, бывший и автором проекта этого Наказа. Однако Сенат отказал в утверждении его, найдя в нем какие-то мелкие противоречия закону и поэтому 3-й Думе пришлось вновь создать комиссию по Наказу, в которой опять всю работу выполнил Маклаков. Наказ был составлен прекрасно и, несмотря на его неутверждение Сенатом, Дума решила руководствоваться им с первых же дней и только позднее одобрив новую редакцию его, которая почти не отличалась от первоначальной, но удовлетворила, тем не менее, Сенат. В Комиссию по Наказу был избран и я, но скоро ушел из нее, и помню только одну поправку Созоновича к нему, гласившую, что председатель Думы должен быть православным и русским по происхождению. Кто-то указал тогда Созоновичу, что кандидат правых Бобринский первый не подошел бы под это требование, будучи потомком незаконного сына немки Екатерины II и отца, официально не установленного. Поправка Созоновича после этого, кажется, даже не голосовалась.

Первоначально Думе надлежало, разделившись на отделы, проверить правильность выборов в нее. Отменены были выборы только одного депутата от Минской губ., некоего Шмидта. Одно время он записался в число октябристов, но по существу был крайним правым, к которым сряду и перешел, хотя можно усомниться в том, чтобы вообще у него были какие либо искренние убеждения. Человек очень развязный, чтобы не сказать больше, он произвел на меня крайне отрицательное впечатление. Когда-то, будучи морским офицером, он был осужден за шпионаж, но позднее был восстановлен в правах. Он попытался привлечь к себе симпатии, хотя бы части членов Думы (требовалось для его исключения $\frac{2}{3}$ голосов), играя на своих правых убеждениях и на своем якобы безупречном поведении, подтвержденным его амнистированием, но все было напрасно. Шмидт оправдывался еще тем, что он продал немцам только старые планы Кронштадтских укреплений и что именно это и послужило основанием к восста-

новлению его в правах. Защищался он до конца и очень энергично, хотя положение его было безнадежным с самого начала.

В первые же дни Думы ушел из нее некий Ушаков, бывший председатель Самарской губернской управы. Его земляки объяснили нам, что при сдаче им должности у него оказались непорядки в кассе; по-видимому, он пополнил эту растрату, ибо суда над ним, кажется, не было, но в Думе оставаться ему было уже невозможно.

Следующим вопросом была организация комиссий. Намечены они были в соответствии со списком, выработанным октябристами. Когда он обсуждался еще в нашей фракции, я предложил создать еще комиссию по окраинным (национальным) вопросам. Мотивировал я мое предложение тем, что, в сущности, у нашего правительства не было определенной политики по национальным вопросам: была политика отдельных генерал-губернаторов, очень часто совершенно расходившихся со своими предшественниками во взглядах. Не вдаваясь в обсуждение вопроса, кто из них прав и кто не прав, я указал на противоречия в политике в Финляндии между политикой Бобрикова и Герарда, на Кавказе Голицына и Воронцова-Дашкова и в меньшей степени в Варшаве Гурко и его преемников. Мое предложение провалилось, и Гучков, бывший противного со мной мнения, потом мне сознался, что он не хотел обострять отношений с прибалтийскими немцами, входившими тогда в состав нашей фракции. Теперь я думаю, однако, что если бы мое предложение было принято, то оно вызвало бы только еще большее обострение национальных отношений; в комиссию попали бы лица с наиболее яркими национальными взглядами, как русским, так и иными, и в ней только пришлось бы людям более умеренным и тактичным умерять страсти без надежды создать в тогдашнем составе Думы что-либо положительное.

Кстати в это время сформировалось бюро октябристской фракции, председателем которого все годы 3-й Думы был Гучков. Я тоже все годы до революции входил в состав Бюро и в 4-й Думе был товарищем председателя его. Уйдя из комиссии по Наказу, я остался в Комиссии по Судебным реформам и в Комиссии Гос. Оборона, в которых продолжал работать до самой революции. В Судебной комиссии меня выбрали секретарем – функции не обременительные: сидеть в заседаниях около председателя и после заседания сообщать журналистам о том, что в нем происходило. Председателем комиссии был избран известный московский адвокат Шубинский, муж знаменитой актрисы Ермоловой. Хотя и октябрист по названию, он, в сущности, был гораздо правее нас

(в 4-й Думе мы его выжили в независимую от нас группу правых октябристов). Главное, однако, было то, что он, очевидно, быстро сошелся с Щегловитовым, все годы работы 3-й и 4-й Дум до 1915 г. бывшим министром юстиции, так что скоро стало невозможным различать, где кончается Щегловитов и где начинается Шубинский и в меньшей степени наоборот. Щегловитов был, несомненно, человек способный и прекрасный юрист; когда-то он был либералом, еще во времена 1-й Думы его мышление более или менее отвечало тону Судебных Уставов 1864 г. Но он поправал значительно уже за полтора года между 1-й и 3-й Думами, а дальше его поправление шло без удержу, параллельно с поправлением Гос. Совета.

Брат Щегловитова, вице-директор одного из департаментов Министерства внутренних дел должен был уйти со службы за какую-то, правда, неслужебную денежную аферу. Министра в нечестности никто не упрекал, но за то, что было не лучше, он терпел в судебном ведомстве лиц далеко не безупречных, если только они отличались крайне правыми взглядами и готовностью исполнять все его распоряжения. Надо сказать впрочем, что непосредственные подчиненные Щегловитова по министерству – его разновременные товарищи министра – Люце, Гасман, Веревкин, Милютин и заведующий межевой частью Чаплин (отец моего товарища по классу) были люди порядочные и дельные, равно как и выдвигавшиеся понемногу за эти годы на их место молодые юристы. По мере того, как мы с ними знакомились, и они также переставали нас опасаться, мы узнавали от них разные «секреты Мадридского двора» министерства, что подчас значительно облегчало нашу работу. Из этих юристов, быть может, наиболее любопытным был Гасман, прекрасный цивилист; еврей, он дошел до члена суда, но, чтобы продвинуться дальше, должен был креститься, и после этого быстро стал товарищем министра.

Комиссия Гос. Обороны позднее (если не ошибаюсь, уже в 4-й Думе) была переименована в Комиссию по Военным и Морским делам, по личной просьбе Николая II, видевшего в первоначальном ее названии посягательство на его прерогативу, ибо ему принадлежало попечение о государственной обороне, а Думе только ассигнование средств на нее. На этой почве еще в начале работы 3-й Думы произошел известный конфликт с правительством. В Думу был внесен законопроект о Морском Генеральном штабе, к которому было приложено и положение об этом штабе, которое докладчик (если не ошибаюсь, Савич) предложил включить в текст закона, что прошло. Моряки против этого не протестова-

ли; но Гос. Совет увидел нашу крамолу и восстановил права монарха. В согласительной комиссии наши представители должны были признать формальную правоту Гос. Совета и в дальнейшем по всем аналогичным законопроектам мы только ассигновывали средства, а текст положения или устава о мероприятии, на которые они испрашивались и которые мы фактически тоже рассматривали, утверждался единолично Государем. По существу, однако, ничто не изменилось, ибо эти тексты помещались в приложении к законопроекту об ассигновании средств, и Дума могла исключить ту или другую часть испрашиваемых кредитов, указывая, на что именно и почему она их не дает.

В комиссии Гос. Оборона участвовали прогрессисты, но ни кадеты, ни социалисты большинством допущены не были: кадеты за Выборгское воззвание, а социалисты, как принципиальные в то время противники постоянного войска. В сущности, это исключение имело характер только правого жеста, ибо из комиссии Гос. Оборона все законопроекты шли на заключение Бюджетной комиссии, в которой участвовали и левые и которая все эти законопроекты пересматривала по существу.

Председателем комиссии Гос. Оборона был избран Гучков, остававшийся во главе ее до 4-й сессии. Надо сказать, что в 3-й Думе, особенно в первые ее годы, он, в конце концов, был хозяином положения, да благодаря хорошим отношениям со Столыпиным он в эти годы мог кое-чего добиваться и у правительства.

Первым делом Думы было принятие адреса Государю. Правые настаивали, как и всегда потом, что царское самодержавие остается неограниченным, но адрес все-таки прошел в редакции октябристов. При обсуждении его блестящую речь произнес Плевако, с эффектной фразой о том, что данной им тоге гражданина правые предпочитают рубашку ребенка. Это было единственное выступление его в Думе, ибо через несколько дней, уехав в Москву, он там неожиданно умер.

После принятия адреса состоялся в Царском Селе прием Государем членов Думы, просивших об этом; кадеты и социалисты об этом не просили. Обстановка приема его была обычная и слова Государя бесцветны.

Перехожу теперь к характеру Думской работы. Была она, несомненно, и приятной и интересной. Если ею заниматься добросовестно, то она, как никакая другая, давала исключительное представление о состоянии не только России, но часто и других стран, причем бывало, однако, подчас необходимо дополнять в общем достаточно подробные сведения правительственных за-

конопроектов и справками в специальной литературе. Лично у меня эти годы работы было достаточно: день проходил в Думе, где заседания общего Собрания и комиссий шли от 11 до часа и от 2 ½ до 6 ½ ; часто бывали и вечерние заседания – два, а то и три раза в неделю. Так как я оставался еще и гласным Городской Думы (где меня в начале 1908 г. выбрали заместителем ее председателя), то это отнимало у меня еще два вечера, а на фракционные собрания и с 1910 г. на Главное Управление Красного Креста уходило еще два вечера. Больше двух свободных вечеров в неделю у меня обычно не бывало. Возвращался я домой около полуночи и еще обыкновенно читал печатный материал по обеим Думам, всегда обильный.

Впрочем, в то время я был молод и усталости не знал. Зато Гос. Дума расходилась летом более чем на три месяца и хотя и в это время бывали разные общественные собрания, за лето всегда бывало возможно отдохнуть, почитать и подготовиться к следующей сессии. По существу работа в Думе была приятна своей безусловной независимостью; кроме контроля избирателей на новых выборах, никакого другого над нами не было, но, так как никаких специальных наказов они нам не давали, то по всем вопросам мы голосовали, как находили наиболее целесообразным (мое обещание не выступать по аграрному вопросу было, мне думается, одним из редких случаев давления избирателей на их представителей).

Нравственный уровень членов Думы был, в общем, высок, и насколько я знаю, почти не случалось, чтобы, пользуясь своим положением, они проводили какие-либо частные интересы; в этом отношении Дума была несравненно выше, например, французского парламента или американского Конгресса. Сознаюсь, однако, что в 4-й Думе имели место два случая, которые не дают мне возможности утверждать, чтобы эта безупречность Думы могла сохраниться и в будущем. Один из них относится к Протопопову, когда во время войны он был товарищем председателя Думы. В то время он был и председателем Союза суконных фабрикантов и, как после революции мне утверждал генерал Маниковский, пользовался своим положением, чтобы настаивать в Военном министерстве на более выгодных условиях контрактов с его коллегами по Союзу. В этом случае Протопопов, вероятно, просто не подумал, что своими ходатайствами он косвенно компрометирует Думу, но другой случай хуже: наши оружейные заводы перед 1-й войной были, несомненно, недостаточны, и было необходимо увеличить их число. Министерство финансов отказывало, однако, в кредитах, необходимых для этого, по ограниченности бюджет-

ных средств, и не удивительно, что возник вопрос о постройке частных заводов. Денег для этого в стране, однако, не было, и естественно, что предложения иностранных предприятий о постройке отделений их заводов в России были приняты благоприятно. Так возник завод Виккерса в Царицыне. Все это было нормально в тогдашних условиях, но хуже явилось то, что проведению этого дела содействовал наш же член Думы и член Комиссии Гос. Обороны Звегинцев, если не ошибаюсь, принявший даже потом участие в правлении этого предприятия. Об этой роли Звегинцева тогда были частные разговоры в октябристской среде, но формально его ни в чем упрекнуть было нельзя, а последствий эти разговоры не имели.

В Думе был очень недурной ресторан, почтовое и телеграфное отделения, библиотека, словом внешне работа была обставлена очень хорошо; единственным слабым местом была недостаточность комнат для комиссионных заседаний: им приходилось заседать во всех углах, особенно комиссиям второстепенным, и часто в небольших и душных комнатухах наверху. Скоро возник вопрос о постройке собственного здания для Думы, но затем он заглох: с одной стороны эта постройка обошлась бы очень дорого, и в Думе не без основания считали, что мы еще не заслужили себе лучшее помещение. А с другой стороны, в центре Петербурга, кроме Марсова Поля, не было подходящего места для нового здания, а правительство категорически воспротивилось занятию его Думой.

Мы застали в Думе канцелярию, составленную в основе чинами Гос. Канцелярии с придачей ей ряда других лиц. Надо признать, что работали они прекрасно и в моральном отношении за все время никаких замечаний не вызывали. Припоминается мне лишь один случай удаления помощника делопроизводителя Комиссии Гос. Обороны Михайлова, за сообщение, кажется, «Биржевым Ведомостям» некоторых данных из секретного законопроекта о перевооружении нашей армии. Ничего важного он газете не сообщил, но самый факт его болтливости заставлял опасаться в дальнейшем худшего и он сразу вылетел.

Канцелярия делилась на три отдела. Во главе общего отдела стоял способный и тактичный Я.В. Глинка, с которым у всех были хорошие отношения. Законодательным отделом ведал Шеин, позднее избранный членом 4-й Гос. Думы; заменил его тогда Огнев, делопроизводитель Комиссии Гос. Обороны. Оба они были профессора-юристы, один Правоведения, а другой – Военно-Юридической Академии и, кажется, оба после революции

ушли в монахи. Оба они были хорошие работники и очень порядочные люди. Финансовым отделом, с которым я почти не имел дела, ведал Маевский, тоже, по-видимому, прекрасный работник, ибо крайне требовательный председатель Бюджетной Комиссии Алексеенко всегда был доволен его работой.

В Думе всегда имелся военный караул, а, кроме того, была и своя охрана: полковник барон Остен-Сакен и помощник его жандармский ротмистр (фамилию его я позабыл). Остен-Сакен всю свою службу провел в адъютантских должностях и в Думе ведал лишь внешним порядком. Утверждали, что сторожа и вообще низший персонал должны были следить за членами Думы и передавать дальше их интересные частные разговоры. Если это и было, то сомневаюсь, чтобы такая слежка могла бы быть кому-либо полезна, ибо этот персонал по уровню своего развития, конечно, был мало способен извлекать суть из наших частных разговоров. Не помню точно также фамилию чиновника, ведавшего «министерским павильоном» (кажется, Куманин), который с изысканной вежливостью старался часто узнать какие-либо детали о предстоящих в Думе прениях, занятие довольно праздное, ибо и мы сами не могли никогда заранее предвидеть, как разовьется заседание. Этот чиновник должен был, главным образом, предупреждать министров о том, когда им надлежит быть на их местах.

Все заседания Думы и ее бюджетной комиссии стенографировались, и уже через полчаса после произнесения речи стенограмма была готова. Обычно почти все ораторы вносили в них поправки, и меня удивило только, что, поправляя как-то мою стенограмму, начало которой помещалось на одной странице с концом речи Маклакова, я убедился, что и этот столь блестящий оратор делает существенные поправки в сказанном им. Пришлось мне также убедиться, что большие поправки в своих речах делают Коковцов, вычеркивая в стенограммах Бюджетной Комиссии те или иные признания, которые ему приходилось в ней делать, но которые он признавал для себя почему-либо неудобными. Зная эту его особенность, Алексеенко внимательно перечитывал его стенограммы и восстанавливал то, что Коковцов пытался уничтожить.

Со стенограммами у меня лично произошел раз казус. Не помню точно когда, кажется, уже в 4-й Думе, Марков 2-й критиковал наше сближение с Францией и отзывался очень некрасиво о ней (как известно, правые были сторонниками сближения с Германией). Меня его слова возмутили, и у меня вырвалось восклицание: «Какой мерзавец!», причем гораздо более громкое, чем я думал. Попало оно в стенограмму, и услышал его и Родзянко, пославший

ко мне Глинку сказать, что он эти слова в стенограмме зачеркнул, но просит меня впредь быть осторожнее. Марков, однако, их видел (если даже их не слышал) при исправлении им стенограммы, и я несколько дней ждал вызова на дуэль, но Марков никак на них не реагировал.

Вскоре после открытия Думы возник для многих ее членов вопрос об их существовании. Если для членов ее – крестьян – 10 рублей суточных во время сессий являлись заманчивыми, то для большинства интеллигентов они давали возможности сколько-нибудь приличного существования. Если исключить 4 месяца летнего перерыва, это составляло в среднем 200 руб. в месяц, а в Петербурге, при его дороговизне и особенно принимая во внимание, что звание члена Думы возлагало известные неофициальные обязанности и расходы, это было определенно недостаточно. Результатом этого было, что уже в 1-ую зиму несколько членов Думы ушли из нее и в числе их очень полезный член ее Н.А. Мельников, вернувшийся в свое Казанское земство. Ввиду этого, [когда] весной 1908 г. был возбужден вопрос об установлении для членов Думы месячного вознаграждения в 300 р., то против этого голосовал только один Курский депутат кн. Барятинский, указывавший, что почетность звания члена Думы должна исключать материальные соображения. Мне невольно припомнилась поговорка «сытый голодного не разумеет», ибо Барятинский был из самых богатых членов Думы.

Кстати, приблизительно в это время в Судебной комиссии прошел законопроект об увеличении окладов содержания чинам судебного ведомства, остававшихся неизменными в течение 40 лет. После заседания журналисты спросили меня, каковы новые оклады. И один из них, еще совсем молодой человек с полупрезрением заметил: «Ну, знаете, я вижу, что в судьи идти не стоит; я и сейчас, через год по окончании университета, зарабатываю больше, чем член суда через 20 лет службы».

Журналисты были необходимым элементом думской жизни и среди них были, естественно, люди разных способностей и разных моральных качеств. Вероятно, самым блестящим из них был приват-доцент Пиленко, работавший в «Новом Времени», остроумный и образованный, но не пользовавшийся большим престижем в Думе. Уважали далеко не блестящего москвича Аркадамского и ценили Полякова-Литовцева; позднее выделились Ксюнин, сотрудник «Нового Времени» и Неманов из «Речи», но оба они уступали Пиленко и Полякову. Правые вообще не любили печати, но у всех остальных отношения с ее представителями были прилич-

ные, даже если политические воззрения наши не сходились. Большинство газет того времени было левее Думы. Очень почтенная «Речь» поддерживала кадетов, также как и «Биржевка», как сокращенно называли распространенную, но мало ценившуюся газету Проппера. На стороне кадетов стояло и Московское «Русское Слово», наиболее тогда распространенная газета в России, и «Русские Ведомости», все менее читаемые. У октябристов, как это не странно, своей влиятельной печати не было. Во времена 3-й Думы в Москве стал издаваться, если не ошибаюсь «Московский Голос», деньги на который собрали московские октябристы, но был довольно неинтересен и через несколько лет прекратился.

В Петербурге нас поддерживало «Новое Время»; Пиленко, а также талантливый Борис Суворин были октябристами, но это была газета, как известно, политически весьма неустойчивая, и в эти годы тоже не раз меняла направление в зависимости от того, куда дул ветер в «сферах». При этом вечернее его издание, редактировавшееся Б. Сувориным, было левее самого «Нового Времени». Пучков попытался купить «Новое Время», когда оно в эти годы превращалось в акционерное общество и, насколько я знаю, по его просьбе Нобель приобрел значительное число акций. Какие установились после этого отношения в «Новом Времени» не знаю, но несомненно одно, что оно своего непостоянства не потеряло и октябристам помощью не стало.

У правых, кроме Дубровинского «Русского Знамени», которому нельзя отказать в независимости, была «Земщина», определенно поддерживавшаяся правительством, которое она, однако, постоянно ругала. Факт этот сейчас трудно объяснить, но мне кажется, что само Министерство внутренних дел было бессильно не выдавать этих пособий. Как я уже указал по поводу Замысловского, в «Земщине» подкармливалось несколько правых депутатов.

Сравнивая 3-ю Думу с 4-й, я должен признать, что если другие фракции мало в них изменились, октябристская была в 3-й Думе не только сильнее численно, но и более блестяща по существу. Я уже не раз говорил о Гучкове и добавлю еще, что, несмотря на слабый голос, он был очень сильным оратором. Когда он говорил в Думе, царило полное молчание, но его одинаково не любили и правые, и кадеты, которых он часто не щадил в своих выступлениях. После него и Плевако все другие наши ораторы, конечно, много теряли (да и вообще в уровень с ними я поставлю только Маклакова), хотя среди них и было немало обладавших даром слова. Однако, два, быть может наиболее влиятельных во

фракции ее члена – Алексеенко и позднее Савич, были ораторами весьма неважными.

Алексеенко, бывший профессор и попечитель учебного округа, был избран председателем бюджетной комиссии, и с места завоевал себе столь общее уважение, что далее переизбирался всегда почти единогласно. Работник он был исключительный и многого требовал и от других. Представителям ведомств, которое влились в бюджетную комиссию, он в большей части не спускал ничего, и выдержать в ней экзамен бывало им нелегко. В начале 4-й Думы (если не ошибаюсь) у Алексеенко был удар, от которого он более или менее оправился, но прежняя его трудоспособность уже не вернулась, и за несколько дней до революции он умер. Все время в Думе я сидел рядом с ним и, если вначале он мне казался несколько хмурым и чрезмерно подчас требовательным, то быстро я привык и ценить, и глубоко уважать его.

В нашем ряду сидел и другой профессор, казанский гигиенист Капустин, тоже милый и порядочный человек, позднее бывший товарищем председателя Думы, но сравнения с Алексеенко он, конечно, не выдерживал. Между этими двумя профессорами сидел наш новгородец Тимирев, аккуратно посещавший все заседания, но никогда нигде не выступавший. Милый человек, он отличался только знанием громадного числа анекдотов и к нему относились как-то снисходительно. Когда на трибуне находился кто-нибудь из скучных ораторов, вроде учителя Тычинина или контрольного чиновника Коваленко, наводивших на всех сон своими длинными речами, Тимирев поднимался и со словами: «Ну, пойду развлеку стариков», шел на председательскую трибуну и действительно их троица начинала улыбаться, услышав очередной Тимиревский анекдот.

Капустин вместе с Анрепом, моим бывшим профессором, были товарищами председателя октябристской фракции. Анреп был председателем комиссии по народному образованию, в которой участвовал и другой октябрист, Ковалевский, которые сыграли оба видную роль в выработке первого серьезного закона о введении всеобщего обучения. Нельзя умолчать, что со стороны Министерства за это время тоже было много сделано, и особенно надо отметить роль Анциферова, бывшего позднее директором Департамента. Между Анрепом и Ковалевским все время шло известное соревнование, не раз вызывавшее во фракции улыбки, когда Ковалевский, несомненно менее способный, чем Анреп, тщетно пытался выдвинуться на первое место.

Секретарем фракции и в 3-й, и в 4-й Думах был Л.Г. Люц, способный, живой умный человек. Сидевший недалеко от него Н.Н. Опочинин как-то при мне обратился к нему: «Чем ломать себе язык и звать вас Людвигом Гютлибовичем (Люц был Херсонским немцем-колонистом) буду я вас звать Лукой Богдановичем». Скоро вся Дума так и стала его звать. У Люца был особый талант подражать чужим подписям, и скоро в Думе у него образовалась особая специальность – подавать разные процессуальные заявления. Количество желающих говорить часто бывало невероятно велико, и поэтому скоро выработалась практика соглашения между фракциями, кто от каждой будет выступать и в каком порядке (обычно занимался этими соглашениями Крупенский). Также по общему соглашению прекращалась запись ораторов, сокращались их речи до 10 минут и совсем прекращались прения. Но для голосования этого надлежало подать председателю заявление за 30 подписями, собрать которые требовало времени; вот тут-то и выступал Люц, у которого всегда в столе лежали уже готовые заявления по разным вопросам с надлежащим количеством подписей, большею частью им же и сделанных. Не раз мы все поражались, как он их не только копировал, но и делал на память; понемногу все настолько привыкли к тому, что, если нужно было подать какое-либо заявление, а Люца в Думе не было, то кто-нибудь шел к его месту и выискивал в его столе нужное заявление, проверяя только, достаточно ли на нем подписей.

В 3-й Думе своего рода церемониймейстером заседаний был октябрист Лерхе (в 4-й Думе таким церемониймейстером был безраздельно Крупенский). Он был председателем Финансовой Комиссии и его энергии надо приписать, что она провела ряд самых разнообразных законопроектов (хотя Алексеенко и относился всегда к Лерхе иронически). К сожалению, Лерхе не довел до конца обсуждения законопроекта о подоходном налоге (а возможно, что и не особенно стремился к этому), а в 4-й Думе и совсем как-то об этом вопросе не говорили. И только во время войны подоходный налог был введен помимо Думы, но только в 1917 г. надлежало его в 1-й раз вносить, и в виду революции мало кто его вообще внес. Лерхе обладал, зато исключительной подвижностью, почти что равняясь в этом с Крупенским. В английском парламенте в каждой партии есть свой «whip» (хлыст), обязанный собирать членов ее к голосованию и т.п. В Думе таких функций ни на кого не возлагалось, но Лерхе сам как-то стал таким «whip»-ом. Особенно припоминаются его дежурства по ночам у входа в Думу; если заседание затягивалось за полночь и

предстояло голосование с сомнительным исходом, то из Думы обе стороны выпускали своих сторонников только попарно, по одному от каждой стороны. И вот приходилось тогда видеть Лерхе и кого-нибудь с другой стороны в пререканиях с каким-нибудь уставшим старичком, которого они задерживали пока не подойдет к нему партнер с другой стороны.

Ответственная работа лежала на комиссиях земельной и по местному самоуправлению, в которых тоже октябристы играли решающую роль. Земельная Комиссия рассматривала Столыпинские законы, которые, в конце концов, и прошли в Думе с второстепенными поправками. Докладывал их Сергей Шидловский, умный и работающий человек, но холодный, почему к нему как-то особых симпатий не питали. После Мейендорфа он недолго был товарищем председателя Думы, но следов после себя не оставил. Более яркую роль играл Юрий Глебов, докладчик по законопроекту о бессословном волостном земстве, который прошел в Думе, но провалился в Гос. Совете, несмотря на то, что с самой консервативной точки зрения он был абсолютно безобиден. Глебов, очень умеренный красивый человек с бархатным голосом, был популярен в Думе, но почему-то оказался совершенно крамольным в глазах администрации и был одной из немногих ее жертв при выборах в 4-ю Думу. Позднее он был товарищем Петербургского Городского Головы. В Думе был и его брат, Григорий, предводитель дворянства и камергер; этот богатый человек оказался kleптоманом и попался на авиационной выставке, где попытался стащить какую-то ничтожную вещицу, стоимостью в 15 рублей. На следующий день Думе было доложено его заявление об уходе из Думы, а через несколько дней он был лишен и придворного звания. Большую работу в Думе выполнял Антонов, очень почтенный юрист, председательствовавший в комиссии законодательных предположений, в которую шли все мелкие законопроекты, не попадавшие в какую-либо специальную комиссию. Антонов был человек культурный и очень обстоятельный, но скучноватый и это мешало ему играть одну из главных ролей в Думе.

В Бюджетной Комиссии отмечу еще из октябристов Годнева и двух инженеров – Маркова I-го и Герценвица. Годнев, медик и приват-доцент Казанского университета, в душе был контрольным чиновником, вьедчивым и неумолимым. Ему Дума обязана обнаружением ряда излишних расходов и некоторых злоупотреблений, в чем ему часто помогали чины Гос. Контроля, доставлявшие ему сведения о делах, в которых они оказались бессильными настоять на проведении своей точки зрения. Роль Годнева и са-

мой Думы в этих делах была более значительной, чем это могло бы показаться с первого взгляда, ибо, если виновные в тех или иных злоупотреблениях или просто упущениях и не подвергались взысканиям, обсуждение этих вопросов в Думе заставляло подтянуться других. После революции Гуднев оказался Гос. Контролером и не уклонился от участия в заседаниях Временного Правительства, хотя все 10 лет перед тем настаивал, что Гос. Контролер для большей независимости должен стоять вне правительства. Из инженеров Марков 1-й, дядя более известного Маркова 2-го, человек уже очень пожилой, перебивал управляющим и председателем правлений ряда железнодорожных обществ и считался большим авторитетом в инженерном мире. Герценвиц, наоборот, был еще совсем молодым человеком, но именно ему принадлежала заслуга, несомненно, большего давления Думы на Министерство путей сообщения в деле приведения в порядок казенных железных дорог, бывших после войны и революционного движения в очень печальном состоянии. Не раз приходилось мне, проходя через комнату Бюджетной комиссии, видеть заседания ее Железнодорожной «подкомиссии», или, точнее, одного Герценвица с десятком видных инженеров, которых он часами пытал.

Должен я отметить в среде октябристов еще трех, несомненно талантливых людей, которые, однако, в партии роли не играли: один из них Гололобов, екатеринославский чиновник, оказался октябристом по какому-то недоразумению, но упорно не хотел от нас уходить; еще не зная его правых взглядов, ему поручили доложить законопроект об исключительных положениях, но когда он выполнял в Комиссии это поручение, то оказалось, что его поддерживает только правое крыло. Доклад этот передали тогда Мейендорфу, который изучил вопрос со своей обычной добросовестностью и пришел, как мне говорили Антонов и Люц, к совершенно неожиданному и поразившему всех заключению, что в России необходимы исключительные положения в виду ограниченности тех полномочий, которые нормально принадлежат в ней органам власти, особенно по сравнению с западными странами. Я этого доклада не слышал и не поручусь за точность изложения мною мыслей Мейендорфа, но, во всяком случае, законопроект этот из комиссии так и не вышел и до Общего Собрания не дошел. Гололобов после отставления его от этого доклада стал менее заметен и вскоре затем ушел из Думы, будучи назначен куда-то вице-губернатором.

Яркой и своеобразной фигурой был Чельшев, Самарский городской голова и ярый проповедник трезвости. Высокий, краси-

вый мужчина с громким голосом, одетый всегда в поддевку, он был несомненным демагогом, но его трезвенная односторонность помешала ему выдвинуться дальше вперед. Кроме трезвости ничто иное для него не существовало. Наконец, хорошим оратором и способным человеком был граф Уваров, но у него была какая-то особенность в его образе действий, отталкивавшая от него людей. Не помню, из-за чего у него была дуэль с Гучковым, ранившим его в ногу; все симпатии были на стороне Гучкова и, если не ошибаюсь, Уваров вскоре после этого ушел из Думы. Надо отдать ему справедливость, что он был единственным в Думе, указавшим на необходимость немедленной постройки в Черном море дредноутов, ибо Турция могла заказать их в любой момент в Англии и получить их раньше, чем будут готовы наши. Как известно, это и произошло, когда Турция перекупила строящиеся в Англии для какого-то южноамериканского государства дредноуты, и они не попали в Черное море только потому, что война 1914 г. началась, когда они еще не были готовы. Морское ведомство спохватилось только, когда эта покупка стала свершившимся фактом.

В заключение отмечу еще двух неврастеников (иначе не решаюсь их назвать): князя Тенишева и Вл. Львова. Тенишев, сын инженера, основавшего известное Тенишевское училище, сыгравшее известную роль в развитии нашей педагогики, был одним из самых молодых членов Думы и, несомненно, из культурных и способных; однако, какая-то развинченность во всех отношениях помешала ему выдвинуться вперед. Наоборот, Вл. Львов (брат Н.Н., гораздо более его способного), после революции оказался во Временном Правительстве Обер-прокурором Св. Синода. Почему-то он считался специалистом по церковным вопросам (быть может, потому, что в молодости собирался, как говорили, постричься в монахи), но в годы 3-й Думы он все время менял взгляды и из самых левых октябристов стал членом группы Крупенского.

Среди крайних правых были, несомненно, порядочные люди, вроде графа А. Бобринского или жандармского генерала Мезенцова, но они среди фракции роли не играли. Господствовали в ней Марков 2-й, Замысловский и Пуришкевич, все трое люди способные, но лично мне одинаково несимпатичные. Марков, сын известного в свое время писателя Евгения Маркова, был гражданским инженером, но этой профессией не занимался. Выдвинула его революция, отзывавшаяся довольно сильно на помещиках Курской губернии, которая в 3-ю и 4-ю Думы посылала сплошь крайних правых. В виде курьеза можно отметить, что когда Пуришкевичу, поссорившемуся с Крупенским, стало ясно, что в 4-ю

Думу по Бессарабской губернии он не пройдет, ему устроили ценз в Курской губернии, которая его и послала в Думу. Не помню, кто окрестил курских депутатов «Курскими соловьями», но если верно, что они говорили много, то соловьиной нежности и изящности в их «пении» отнюдь не было. Марков был из них наиболее грубым, причем наиболее противным в его речах была его манера облечь эту грубость в остроумие и язвительность. Замысловского я знал еще студентом, когда, как я уже говорил, мне приходилось встречаться с ним в Шахматном Клубе. Шахматистом он был, как и я, средним, но немного сильнее меня. Был он сыном профессора и хорошим юристом, с тонким и логическим умом, однако, направленным исключительно односторонне. Подчас именно поэтому его умозаключения производили очень неприятное впечатление, но влияли на многих своей кажущейся логичностью, в которой нелегко бывало проследить подчас натяжку.

Пуришкевич был наиболее популярным из всех крайних правых. Хороший оратор и, несомненно, прекрасно образованный человек, он был, однако, также и весьма неуравновешенным. Его выходки и отдельные фразы вызывали часто своей неожиданностью смех, но обычно бывали совершенно недопустимыми. Уже в Думе утверждали, что обычно эти выходки бывали заранее подготовлены им, и впоследствии, когда мне пришлось встретиться с ним в Красном Кресте, несколько мелочей убедили меня в правоте этого мнения. По-видимому, случай, когда он с кафедры бросил в Милюкова стакан с водой, облив, впрочем, только стенографисток, был не спонтанным, а подготовленным.

Основным пунктом филиппик Пуришкевича был его крайний антисемитизм (разделявший, впрочем, всем правым сектором Думы). Мне говорили, что в те годы мальчишки-кадеты нарочно телефонировали ему на квартиру и спрашивали какую-нибудь еврейскую фамилию, чтобы послушать, как Пуришкевич будет ругаться, а в этом он был мастером. Курьезно, однако, что во время войны, когда он создал целую организацию питательно-перевязочных отрядов, «старшим врачом» ее оказался еврей Лазоверт. Ставлю в кавычки «старшего врача», ибо Лазоверт, весь разукрашенный по представлению Пуришкевича боевыми наградами, был только студентом 3-го курса. Отношение Пуришкевича к нему и вообще к евреям очень ярко проявилось как-то в Минске, где, придя в мое управление, Пуришкевич заявил: «А я моего жида прогнал». Через несколько дней, однако, на вопрос о Лазоверте он ответил: «Знаете, я его простил; он так плакал, а кроме того, он вчера жида задавил». Любопытной фигурой был

еще среди правых Тимошкин, лавочник с Кавказа и бывший унтер-офицер-пиротехник. Человек с несомненным даром слова, он выпускался подчас правыми для смеха в качестве оппонента наиболее видным левым ораторам, например, Милюкову, причем Замысловский, как мне как-то пришлось убедиться, научал его, что надо сказать.

Националисты, которых было почти вдвое больше, чем правых, отделились от этих уже в первые месяцы 3-й Думы, но оказались самой бесцветной группой в Думе. У них был прекрасный оратор Шульгин, хорошо образованный, но я бы сказал, что он не подходил националистам, именно потому, что стоял качественно гораздо их выше. Слушать его бывало всегда интересно, даже когда он критиковал наши выступления. Кроме того, Шульгин издавал тогда влиятельный на юго-западе «Киевлянин» и Думе отдавал поэтому сравнительно мало времени и труда. Недурно говорил и Вл. Бобринский, лет за 10 до этого считавшийся опасным либералом, а теперь оказавшийся на правом крыле Думы, но он был ленив и бесполезен. Он отличался тем, как он спал в Думе, иногда даже с храпом; конкурировал с ним в этом отношении только бессарабец Демьянович, бывший членом всех четырех Дум и ни одного слова в них не произнесший. Не работал он и в Комиссиях, так что и избрание его – как до возвращения Измаильского уезда России в 1878 г. и в румынский парламент – объясняется исключительно тем, что он был благодаря своему богатству полным хозяином этого уезда.

Большим уважением пользовался епископ Евлогий, тогда Холмский. Он вел упорную борьбу за создание особой Холмской губернии, в которой православные были бы отделены от католиков и через это избавлены от польского давления. Позднее он был архиепископом Волынским, и, как он мне рассказывал потом в Париже в 1918 г., поляки отвели его из Житомира во Львов осенью в грязь, привязанным вместе с несколькими священниками к телеге; в Львове, однако, его положение улучшилось, ибо в нем принял участие католический архиепископ, украинец граф Шептицкий: «Нас сблизил с ним нелюбовь к полякам», – добавил Евлогий.

Официальными главарями националистов были Балашов и Крупенский. У Балашова кроме богатства и родственных связей в аристократическом обществе, в сущности, не было никаких данных, и в Думе он почти не выступал; не работал он и в комиссиях. Крупенский был типичный бессарабец; в личной его честности я никогда не сомневался, но на то, что удобно делать или нет, его

взгляды с октябристскими очень расходились, не говоря уже о левых. Не раз бывало, что правительство оказывалось осведомленным о том, что Думское большинство предполагает сделать именно через Крупенского; поэтому не раз бывало, что при приближении Крупенского, разговаривавшие меняли тему разговора. У него была, впрочем, одна специальность, в которой он остался непревзойденным: с поразительной быстротой и безошибочно считать шары при выборах; этот его талант неизменно вызывал в Думе хохот.

Влево от октябристов у прогрессистов в 3-й Думе крупных представителей не было. Кроме Н. Львова из них выступал подчас Ефремов, но большой роли ни тот, ни другой не играли; зато в комиссионной работе ряд из них оказались очень полезным.

Пропорционально наиболее культурной и умственно наиболее сильной фракцией Думы, повторяю, были кадеты. Главою их уже с 1905 г. был, несомненно, Милюков. Человек с исключительным образованием, безусловной порядочностью, умный и прекрасный историк и искренно любящий Россию, он, однако, как политик был очень посредствен, ибо у него не хватало гибкости и понимания положения. Наиболее яркими проявлениями этого было его известное заявление в первые дни революции о том, что Россия останется монархией с царем Алексеем, и его стремление летом 1918 г. убедить все противосоветские группировки стать на сторону Германии. Мысль его, что в России возможно создание строя подобного английскому парламентаризму тоже принадлежит к числу таких ошибок (ему принадлежит, например, фраза, что кадеты «оппозиция не Его Величеству, а Его Величества»).

Припоминается мне еще его речь по поводу деятельности «Союза Русского Народа», в которой он указывал, что эта правая организация готовила покушение на его жизнь, что доказывалось тем, что на Литейном какой-то пьяный чуть не сбил его с ног, и тем, что в каком-то концерте ему подменили его меховую шапку, и в оставленной был вышит внутри крест, якобы предвещавший его убийство. Эти указания вызвали довольно дружный хохот, во время которого к Алексеенко подошел как раз Шингарев, которого я спросил, как кадеты не указали Милюкову на несерьезность таких указаний? Пожав плечами, Шингарев с недожеством мне ответил: «Что ж вы хотите, мы ему это говорили, но он заупрямился». Не знаю, кто окрестил Милюкова «богом бестактности» – название, конечно, преувеличенное, но мне думается, что с другим руководителем фракции кадеты могли бы добиваться больших результатов.

Таким руководителем, мне кажется, мог бы быть Шингарев. Конечно, гораздо менее образованный, чем Милюков, он мог, однако, повторить слова Теренция, что «*homo sum et nihil humanius a me alienum puto*»*, и с одинаковой легкостью мог дельно говорить на любую тему (а говорил он очень хорошо). Вл. Бобринский как-то назвал его «нашим “Мюр и Мюрилизом”», но отрицать умения Шингарева быстро разбираться во всех вопросах, конечно, нельзя. Кроме того, красивый и живой человек, Шингарев пользовался гораздо большими личными симпатиями всей своей партии, чем Милюков, которому ставили еще в укор в более правых партиях, что в 1905 г. он принял участие в агитации во Франции против большого займа, в то время крайне необходимого русскому правительству.

К правому крылу кадетов принадлежал, возможно, наиболее блестящий после смерти Плевако оратор Думы – Маклаков: умный и образованный, он знал, когда и где можно и нужно выдвинуть какой аргумент и умел влиять не только на ум, но и на сердце слушателей; в этом заключалась, быть может, главная его сила. Лично я припоминаю, что когда я был докладчиком по финляндскому законопроекту, на юридические мотивы моих оппонентов, вроде, например, Милюкова, я мог ответить такими же соображениями легального характера, но против речи Маклакова к таким аргументам не прибегавшего, сознаюсь, найти возражения столь же сильные, я затруднился. Маклаков, однако, кроме комиссии по Наказу, мало работал в комиссиях и не имел в Думе того влияния, которое могла бы дать ему его талантливость; возможно, впрочем, что виной этого было и то, что он не всегда сходиллся с взглядами своей фракции.

С ореолом большого борца за свободу пришел в 3-ю Думу Родичев, но роли в ней не сыграл. Человек, безусловно порядочный и лично симпатичный, он был и хорошим оратором, но скорее губернского, а не государственного масштаба. В его выступлениях всегда было много красивых фраз, но мало содержания, а в Думе одних фраз было недостаточно. Я не был в зале, когда он сказал свою известную фразу о «стольпинском галстуке» и вошел в нее только, когда разразился вызванный ею скандал. Говорили тогда, что он сказал ее после хорошего завтрака, но не думаю, чтобы она была вызвана излишком выпитого вина – я не знал Родичева, как грешившего этим; я думаю, что он сам не ожидал такого эффекта этой фразы, и когда вскоре после этого он шел в «министер-

* Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо (лат.).

ский павильон» извиняться перед Столыпиным и проходил около меня, у него был очень сконфуженный вид.

Способным человеком и недурным оратором был Аджемов, несмотря на свою молодость окончивший два факультета.

Скоро умер Караулов, уже пожилой человек, быстро приобретший в нашей, в сущности, очень правой Думе большое уважение своей моральной высотой, несмотря на несколько лет, проведенных им на каторге. Кто-то из правых назвал его как-то поэтому каторжником, на что Караулов ответил, приблизительно, что он и его друзья были на каторге за то, чтобы мы могли заседать в Думе. Я помню посейчас то впечатление, которое произвели его слова, и то, что даже крайние правые не решились ни слова ответить ему.

Трудовики в 3-й Думе были очень бесцветны, если не считать довольно вульгарного литовца Булата и скучного Дзюбинского; более ярки были социалисты: чахоточный Покровский и грузины Гегечкори и Чхеидзе. Оба говорили они хорошо, а Чхеидзе подчас и с успехом, благодаря своему остроумию и находчивости.

В 3-й Думе число нерусских депутатов было невелико, и вероятно не достигало в сложности 50 человек. Надо, однако, сказать, что украинцы и белорусы тогда не выделялись в отдельные группы. Наиболее интересными среди всех этих инородцев были поляки, самые культурные и способные. Кроме Дмовского, ушедшего до конца 3-й Думы, был в числе их Вл. Грабский, бывший позднее недолго главою польского правительства. Прибалтийские немцы, а также и немцы колонисты с юга России, сидели с октябристами, хотя некоторые из них по всему своему мышлению могли бы скорее сидеть среди крайних правых, так что Мейендорф мало подходил к ним. Из колонистов мне припоминается некий Гальвас, нигде никогда не выступавший. Как-то я пришел в Думу раньше времени и, войдя в еще полутемный зал, увидел уже там Гальваса, очень скромно объяснившего мне: «Я не могу, господин граф, как вы – работать в комиссиях и говорить в Думе, так я уж, по крайней мере, сижу в заседаниях от начала до конца».

Евреев в Думе почти не было – ни в 3-й, ни в 4-й, и положение этих 2-3 человек было не легким. Эти, насколько я знаю, вполне порядочные люди, политическими симпатиями не пользовались, а крайние правые их прямо травили, на что, будучи людьми не крупными, они не всегда умели ответить. В начале 3-й Думы был еще в ней одесский адвокат еврей Пергамент, красивый молодой человек и хороший оратор, но он застрелился в конце 1-й сессии, по-видимому, на любовной почве.

Прежде чем перейти теперь к политической работе 3-й Думы, вернусь к городским делам. В начале 1908 г. с уходом Ал. Бобринского из председателей Гор. Думы на его место был избран бывший городской юрисконсульт Унковский, а я принял избрание 2-го его заместителя; позднее, когда 1-й его заместитель Казицын стал председателем Думы, я повысился в 1-е его заместители. Председательствовать мне приходилось, впрочем, очень редко и более по второстепенным делам. В заседаниях Думы первая часть обычно уходила на довольно праздное обсуждение заявлений оппозиции, на которые управа сряду дать ответ обычно не была в состоянии и которое поэтому после долгих разговоров и заканчивались ничем. Мне удалось несколько раз добиться того, что с согласия и заявителей и управы обсуждение этих вопросов откладывалось до следующего раза и благодаря этому и, быть может, моей большей нейтральности, чем Бобринского или Казицына, мне удалось раза два провести всю повестку, чего при них за 6 лет моего пребывания в Думе, ни разу не было.

С моим председательствованием в Гор. Думе у меня связано, однако, одно неприятное воспоминание. По установленному порядку после баллотировки каждого вопроса городской секретарь записывал принятую редакцию, председательствующий тут же ее подписывал, после чего она вносилась дословно в журнал заседания, подписывавшийся председателем подчас лишь через несколько месяцев. При этом лично я, когда мне приходилось их подписывать, текста журнала с резолюциями, сознаюсь, не сверял. Однако не помню точно когда, кажется уже в 1908, а быть может в 1909 г. на этой почве возникло судебное дело. При обсуждении в Думе текста какого-то соглашения с электрическим обществом, были приняты поправки (я в этих заседаниях в Думе не был), внесенные в соответствующие резолюции, подписанные Унковским и городским секретарем Зубаревым. В журнале, однако, был помещен за их же подписями другой текст, более выгодный для общества. Оба они были за это отданы под суд и осуждены. Что Зубарев был виноват, для меня сомнений не было, но у меня не было уверенности, что Унковский сознательно принял участие в этом подлоге. Во всяком деле необходимо доверие к сослуживцам или товарищам по работе, и за мою долгую жизнь мне не пришлось встретиться со случаями, чтобы меня сознательно подвели. И в Гор. Думе, когда ее секретарь давал мне на подпись уже подписанную им копию текста, я считал возможным ему доверяться. В виду этого мне казалось возможным, что и Унковский, у которого до того была репутация честного человека, попался как раз

во щи, как мог бы попасться и я. Однако Унковский сам на это не ссыался. Заменивший его Казицын, в то время вице-директор одного из департаментов Министерства торговли делал во всем волю Глазунова и Тарасова, и был посему очень удачным для стародумцев председателем.

Этой зимой я порядочно прихварывал, как выяснилось по анализу, последствиями моей Маньчжурской дизентерии, после которой во мне остались зародыши амёб. Теперь, особенно в Бразилии, где я пишу эти строки, эти амёбы, вирусы и другие микроорганизмы являются самым обычным возбудителем болезней, но в то время, всего 40 лет тому назад, об амёбах никто, кроме немногих врачей-специалистов, ничего о них не знал, да и методы лечения их были далеки от современных. Лечивший меня д-р Вестфален, специалист по желудочным болезням, уложил меня на 10 дней в кровать, ничего не давал есть, кроме нескольких стаканов молока в день, и убивал амёб сильными дозами ипекакуаны (рвотного камня). Лечение достигло своей цели, но, чтобы вполне меня подправить, Вестфален послал меня летом в Карловы Вары, тогда еще Карлсбад, местечко и само по себе прелестное, а нам, русским, еще напоминающее Петра Великого, лечившегося там методами, только к его железному здоровью подходившими. Нам врачи прописывали по 2-3 стакана целебной воды в день, а Петр выпивал ее ведрами. Все это время я был на исключительно пресном режиме, и так как я был уже ослаблен болезнью, то после Карлсбада у меня появились даже цинготные явления. На обратном пути мы еще заехали с женой в Прагу, производшую на нас глубокое впечатление своим славянским освоением западной культуры.

Зиму 1907-1908 гг. мы прожили еще на Васильевском Острове у родителей, но на следующий год переехали сперва на Сергиевскую, а затем на Шпалерную, где и прожили до революции. На Васильевском Острове родилась в марте наша младшая дочь, и здесь же за неделю до этого пришлось всем нам пережить несколько дней тревоги за жизнь моего младшего брата.

По возвращении из Маньжурии он вернулся в полк и вскоре увлекся одной из самых красивых представительниц петербургского полусвета Решетниковой, бывшей на содержании у очень богатого и милого человека князя Салтыкова. Хотя она далеко не была ему верна, он, в конце концов, женился на ней, но даже став, таким образом, светлейшей княгиней, она солиднее не стала. Увлекались ею многие, и двое ее поклонников уже покончили с собой, когда ею увлекся брат. В этот период у брата была дуэль с

офицером другого полка, косвенно связанная с этой женщиной, а в марте 1908 г., не добившись ее разрыва с ее будущим мужем, брат в собрании полка прострелил себе сердце. Пуля в момент прошла систолы и, хотя пробила обе оболочки, брат через 36 часов пришел в себя и через две недели уже выписался из Благовещенского госпиталя. Ночью, когда он стрелялся, меня и мать мою вызвали из полка, где я застал его еще в дежурной комнате, откуда его на носилках перенесли в госпиталь – сцена, напомнившая мне перенесение убитого Бобрикова.

Оправившись, брат вышел в запас и вскоре с двумя другими офицерами, Половцевым и Остен-Сакеном уехал в Индию, где они в качестве официальной миссии познакомились с английскими войсками. Очень характерно, что на эту поездку не было отпущено ни одной копейки казенных денег. Хотя за границей много писали о громадной сети русского шпионажа, денег на подобную поездку не нашлось, и она могла состояться только потому, что у всех отправленных были достаточные личные средства. Где-то им предложили купить секретную карту Индии, что они и сделали и тоже на свои личные деньги.

Брат после Японской войны, в которой у него в сотне было много казаков-бурят, буддистов, интересовался очень этой религией и Тибетом. Поэтому он очень надеялся, что ему удастся где-либо на севере Индии отделиться от своих спутников и пробраться в Тибет. Однако, когда брат Половцева, тогда генеральный консул в Бомбее, сообщил о намерении моего брата в Министерство иностранных дел, оно категорически и срочно запретило брату осуществление его плана. За год до этого было подписано соглашение с Англией о сферах влияния на Востоке, по которому Россия обязалась не посылать экспедиций в Тибет; министерство боялось, что поездка брата будет сочтена за экспедицию и вызовет осложнения.

За это время сестры мои подросли, и родители устраивали для них танцевальные вечера, на которых собиралась молодежь. Кажется, я не упоминал, что в то время подобные вечера начинались после 11 часов ночи и заканчивались подчас только в 5 часов утра.

В сущности, конечной целью таких приемов и вообще бывания в «обществе» было замужество дочерей, но ни одна из моих сестер замуж не вышла. Красавицами они не были, а, кроме того, были очень скромны и не обращали на себя особого внимания. Надо еще сказать, что богатство (а мои сестры были, несомненно, богатыми невестами) играло гораздо меньшую роль в брачном

вопросе, чем это часто думают; большое значение имело, чтобы стороны подходили друг к другу по своему положению, чтобы не было мезальянса, и в этом вопросе шли очень далеко. Когда, например, очень милая В.А. Ширинская-Шихматова, сестра мужа моей тетки, вышла замуж за очень порядочного и культурного Б.М. Якунчикова, это считалось тогда мезальянсом, ибо он был из известной московской, но купеческой, а не дворянской семьи. Наоборот браки, если и не из расчета, а где можно было только предполагать его, оценивались очень строго. Например, из Конной Гвардии пришлось уйти красавцу Глинке, женившемуся, если не ошибаюсь, на купчихе Варгуниной, ибо она была гораздо богаче его, хотя ее внешность и не исключала возможности увлечения ею. Из моих сестер старшая Ксения не ладила с матерью, на которую она, впрочем, больше всех походила и физически и духовно. Около 1908 г. она пошла в Евгениевскую Общину Красного Креста на курсы (тогда трехлетние) сестер милосердия и два года проработала в ней, живя в Общине. Однако на второй год она заразилась туберкулезом и должна была бросить Общину. Пребывание в горах и хорошие условия жизни подправили ее, но прежние силы ее уже больше не восстановились. Домой она уже больше не вернулась, а поселилась отдельно, живя потом вместе со своей бывшей учительницей старушкой Екатериной Самойловой Барн, то в Петербурге, то на небольшой дачке, которую сестра купила себе в Боровичском уезде. Она была хорошей пианисткой, и когда она еще жила с родителями, у них от времени до времени устраивались трио, постоянным посетителем коих бывал милейший профессор К.А. Поссе.

Средняя сестра, Ольга, была наиболее привязана к матери и, в сущности, отдала ей всю свою жизнь до ее смерти в 1920 г.

Младшая из моих сестер, Екатерина, сравнительно рано стала проявлять некоторые странности, а позднее и определенную ненормальность – очевидно последствие неправильности ее физического строения, в свою очередь бывшего результатом, как я уже отметил, падения матери на лестнице во время беременности. Долгое время мать не хотела отдавать сестру в лечебницу, хотя психиатры и предупреждали, что мания преследования, развившаяся у сестры, может быть опасна даже для самых близких, но изменившиеся после 1917 г. условия жизни заставили ее это сделать. Сестра прожила еще в одной из лечебниц под Ленинградом до 1941 г., когда вместе с другими больными была убита захватившими этот район немцами.

Возвращаясь к Гос. Думе. В одном из первых заседаний Столыпин прочитал правительственную декларацию, в которой перечислил внесенные в Думу законопроекты; при этом он подчеркнул, что задачей правительства в первую очередь является успокоение страны, а затем уже реформы. На это ему возражал Маклаков, которому в своем заключительном ответе Столыпин сказал, что реформы уже и идут. Более важным было по существу столкновение Дмовского с Столыпиным. Дмовский указал, конечно, не без основания, что в тогдашней России были граждане двух разрядов и что поляки находятся во второй категории, против чего он и протестовал. Столыпин по существу не возражал против этого и только ответил, что от самих поляков зависит не быть больше во второй категории. Надо, впрочем, сказать, что, кажется, именно в эту сессию во время бюджетных прений Щегловитов заявил о необходимости бороться с «засорением» судебного ведомства польским «элементом», что, конечно, вызвало аплодисменты справа и шумные протесты слева. Пора для примирения двух главных славянских народов в 3-й Думе еще очевидно не пришла. Прения по декларации закончились ничем, ибо у каждого из трех секторов Думы был свой проект мотивированного перехода к делам, который оба другие не желали принять.

Моя думская работа началась докладом сперва в судебной комиссии, а затем в Общем Собрании маленького законопроекта о размежевании земель в Забайкалье. Мой доклад в Общем Собрании был первым по законодательному отделу, и я помню, как я волновался перед ним и как подробно я его сделал. Позднее такие законопроекты проходили десятками в одно заседание, не вызывая обычно никаких прений, но то, что моим докладом начиналась законодательная работа Думы, тогда привлекло к нему большое внимание. В эту сессию в Судебной Комиссии прошли еще законопроекты о досрочном условном освобождении, который также докладывал я, и, более важный, об условном осуждении, доложенный Аджемовым. Оба эти мероприятия уже давно применялись в Западной Европе, но у нас возбуждали опасение, что результатом их явится ослабление репрессии. Это опасение сказалось и при обсуждении их в Думе, когда все правое ее крыло было против введения условного осуждения, и хотя оно и прошло в Думе, но было провалено в Гос. Совете.

В этом случае впервые сказалось открытое поправление Щегловитова, ни слова не сказавшего в защиту своего собственного законопроекта. Досрочное освобождение не вызвало тех принципиальных возражений, как условное осуждение, но в Думе члены

ее крестьяне внесли поправку, чтобы оно не распространялось на конокрадов, что и пришлось принять. Гос. Совет внес в наш текст несколько поправок (насколько помню, редакционного характера) и законопроект пошел в согласительную комиссию. Эти комиссии составлялись из равного числа членов обеих палат, и решения принимались по большинству голосов. Дума первоначально посылала в нее своих представителей от всех своих секторов, но вскоре оказалось, что по всем разногласиям политического характера правые члены Думы всегда голосуют с членами Гос. Совета, и, таким образом, в комиссии получается большинство против Думы. После этого из Думы стали избирать представителями в эти комиссии только сторонников прошедшей в ней редакции. Должен признать, что по вопросам техническим и в отношении редакции Гос. Совет стоял выше Думы, еще не имевшей достаточного законодательного опыта, и поэтому нам обычно приходилось принимать такие поправки Гос. Совета. Редакция законопроектов обычно еще до внесения их в Думу проверялась в отделе Свода Законов Канцелярии Гос. Совета, где его опытные кодификаторы согласовывали их тексты со старыми законами; в Думе была своя особая редакционная комиссия, скоро сведшаяся, впрочем, к одному ее председателю, в 3-й Думе – Матюнину, очень добросовестно и умело занимавшемуся этим необходимым, но, в сущности, очень скучным делом.

Мне несколько раз пришлось принимать участие в согласительных комиссиях, и сознаюсь, что у меня от них осталось скорее неприятное впечатление, именно благодаря тому, что приходилось, особенно в первые годы, чувствовать себя на положении неопытного ученика.

Немало времени было посвящено и в 3-й, и в 4-й Думе запросам, большая часть которых были внесены левыми, но многие из которых исходили и от правых. Центр вносил их меньше всего, но всегда наиболее обоснованные. Наиболее часто говорилось в запросах левых о злоупотреблениях полиции, об избиениях в тюрьмах, о провокации. Правые запрашивали чаще всего о студенческих беспорядках. Обычно, если по запросу не заявлялась срочность, он механически передавался в комиссию по запросам, заключение которой и предreshало его судьбу. Если заявлялась срочность, то по выслушивании одного оратора «за» и одного «против», Дума решала, согласиться ли с нею, что обычно не проходило. Если срочность принималась, то запрос сряду обсуждался по существу.

В первую сессию из запросов выделился лишь запрос о жандармском офицере корнете Пономареве, который с целью отличиться наладил доставку через границу в районе Вержболова революционной пропаганды с тем, чтобы самому же ее обнаружить. Все это обнаружилось при рассмотрении дела в суде, на основании чего и был предъявлен запрос, принятый в Думе. Каковы были его результаты для Пономарева, не помню точно, но, кажется, он устранился со службы не был.

Ничего пока не говорил я про Комиссию Гос. Обороны. Первые годы председателем ее был Гучков, которого после избрания его председателем Думы заменил его товарищ председателя кн. Шаховской, очень почтенный человек, бывший моряк, брат тогдашнего командира Гвардейского Экипажа и дядя будущего министра торговли. После ухода Гучкова из Комиссии главную роль в ней играл, однако, не Шаховской, а секретарь ее Н.В. Савич. Человек очень скромный, он обе Думы был сравнительно мало известен вне ее, но ни в октябристской фракции, ни в Думе (особенно 4-й) ничто серьезное без него не делалось. Оратор он был плохой, но ум у него был исключительно здравый, и по вопросам военным и морским осведомление у него было громадное, и поэтому с его мнением считались и правые и левые. Первоначально мне давали в этой комиссии самые разнообразные мелкие законопроекты, но понемногу я специализировался на вопросах военно-санитарного ведомства, а в 4-й Думе мне пришлось докладывать и кое-какие секретные вопросы по Генеральному штабу.

Когда Комиссия начала свою работу в конце 1907 г., положение наших вооруженных сил было плачевным. Флот был уничтожен под Цусимой и в Порт-Артуре, а армия не имела никаких запасов, ни боевых, ни интендантских. Кроме того, в ней был большой недостаток офицеров (если память мне не изменяет, не хватало около 6000 офицеров до штатного их состава). Еще до созыва 3-й Думы был проведен законопроект об увеличении их содержания, в общем оставшегося очень скромным, и этот законопроект был утвержден Думой. Затем, так как Японская война показала, что подготовка офицеров была недостаточной, то были повышены требования к поступающим в юнкерские (так называемые, окружные) училища и расширен их курс, так что понемногу они были превращены в военные училища.

В начале 1908 г. в Думу был внесена 1-я большая военная программа, которая к концу сессии Думы и стала законом. Кроме восстановленных интендантских запасов она предусматривала создание тяжелых артиллерийских дивизионов, по одному на корпус

и пулеметных команд по одной на полк. При обсуждении этого законопроекта в бюджетной комиссии Шингарев заявил, что кадеты будут настаивать на том, чтобы численность армии более не увеличивалась, военный министр Редигер принял это условие и в дальнейшем только программа 1914 г. впервые потребовала увеличения штатов армии. До того все новые команды в частях, вроде, например, пулеметных, связи и конных разведчиков, образовывались за счет сокращения числа рядов в ротах, что очень понизило боеспособность пехоты. Но об этом мне еще придется говорить подробнее позднее.

Внесен был еще законопроект об изменении Устава о воинской повинности, которому министерство придавало серьезное значение, но который, по моему скромному мнению, никаких существенных изменений не предлагал. Докладчиком по нему был назначен Протопопов, позднее оставивший после себя столь печальную память; в то время это был милый, но очень незаметный человек. Не помню, чтобы он, кроме этого законопроекта, доложил еще что-либо серьезное – работником он, во всяком случае, не был. Когда ему приходилось говорить в Думе он, неизменно прибегая кстати и некстати к трескучим фразам, от которых, однако, в конце его речи в памяти ничего не оставалось. Скромный офицер Конно-Гренадерского полка, он стал богатым человеком, унаследовав в Симбирской губернии суконные фабрики своего дяди, жандармского генерала Селиверстова, убитого в Париже революционером. Распоряжался он ими, однако, столь плохо, что через несколько лет попал под опеку, которая и привела дела в порядок. Был он затем уездным предводителем дворянства.

У меня осталось о нем за думский период лишь одно яркое воспоминание. Не помню точно когда, кажется весной 1913 г. после затянувшегося часов до 8 заседания, человек около 20 членов Думы оказались обедающими в одном из больших ресторанов. Была чудная петербургская ночь, когда спать не хотелось, и несколько человек из нас поехали еще на Острова и оказались в известной тогда «Вилла Роде». Бывший среди нас Протопопов потребовал сряду отдельный кабинет и распорядился, чтобы в него пригласили артисток; помню, что он сказал распорядителю: «Только, чтобы были хорошенькие», на что тот ответил: «Поми-луйте, ведь это этуаль-с». Было, тем не менее, скучно, все стали расходиться, и последними ушли Дм. Капнист и я. Перед этим, однако, оставшийся в одиночестве Протопопов протелефонировал своему управляющему, вызывая его на «Вилла Роде» с деньгами; позднее он говорил, что оставался там до утра уже один.

Сознаюсь, что когда после его назначения министром пошли разговоры, что у него прогрессивный паралич в начальной стадии, мне невольно вспомнилась эта белая петербургская ночь.

Во главе Военного министерства стоял тогда генерал Редигер и товарищем его был ген. Поливанов. Оба они были бывшие профессора и оба умные люди и порядочные, но у Редигера не оказалось достаточной гибкости на его посту, на котором ему приходилось постоянно лавировать между Думой и Государем, и через два года он был уволен и заменен Сухомлиновым. Вскоре после него ушел и Поливанов, хотя он гораздо лучше умел находить надлежащий путь, но Сухомлинов его боялся, как своего возможного преемника. Заменявший его ген. Вернандер, дельный и честный инженер, не считался, однако, возможным кандидатом на министерский пост и Сухомлинов его не боялся.

В 1908 году мы застали наше военное ведомство разделенным на два независимых органа – Министерство и Генеральный штаб. Совет Гос. Обороны, образованный, как и независимый Генеральный штаб, в начале Японской войны, был уже упразднен, но между Министерством и Генштабом надлежащей связи не было. На создание независимого Генштаба повлиял пример Германии, где издавна установились нормальные отношения между штабом и министерством, где вообще Генштаб проявлял себя прекрасно. Но не надо забывать, что в Германии за 50 слишком лет было всего три начальника штаба: Мольтке, Шлиффен и Мольтке-младший, тогда как у нас за 9 лет существования этой организации у нее было 5 начальников: Палицын, Гернгросс, Мышлаевский, Жилинский и Янушкевич. С Палицыным мне пришлось только раз сидеть в какой-то согласительной комиссии, и я его знаю только по отзывам его подчиненных, которые все относились к нему с большим уважением и утверждали, что при нем в Генштабе была развита настоящая организационная работа. Палицын ушел, однако, когда Генштаб был вновь включен в состав Военного министерства. Заменявший его Гернгросс, уже больной, умер через 6 месяцев, а его преемник Мышлаевский, как утверждали, показался опасным Сухомлинову и вскоре был назначен корпусным командиром на Кавказ. Рассказывали, что доклады Мышлаевского очень понравились Государю и что Сухомлинов испугался, что он скоро будет сменен. Поэтому он, якобы, доложил Государю, что надо всегда иметь в виду заместителей на все посты и что для него самого таковым ему кажется наиболее подходящим Мышлаевский, у которого, однако, есть большой недостаток – то, что он всю службу провел в штабах; поэтому было бы целесообразно

дать ему сперва покомандовать корпусом. Николай II на это согласился. Мышлаевский отправился на Кавказ и скоро был там забыт. Преемник его Жилинский скоро был назначен командующим Варшавским военным округом и в Генштабе тоже следов не оставил, если не считать того, что все сходилось, что характер у него был крайне тяжелый. Еще раньше, но когда он был уже генералом, у него была романтическая история в Варшаве, когда из окна его комнаты выбросилась и разбилась насмерть пришедшая к нему на свидание молодая девушка, что приписывали именно тому, как он порвал с нею.

Наконец, уже незадолго до войны начальником Генштаба был назначен Янушкевич. Я его застал в 1908 г. подполковником, начальником законодательного отдела канцелярии Военного министерства, когда мне, как докладчику какого-то законопроекта, пришлось впервые иметь с ним дело. Вся его служба шла затем в этой канцелярии до совершенно неожиданного его назначения начальником Академии Генштаба. Был он в ней незаметным профессором военной администрации и был назначен на пост ее начальника только потому, что считался твердым сторонником правых взглядов (он был в числе делегатов Псковского дворянства в Совете Объединенного дворянства). В это время группа молодых профессоров Академии во главе с Головиным, прошедшим также курс французской *école de guerre*, настаивая на придании преподавания в Академии более современного характера. Это вызвало недовольство других профессоров, конфликт вышел далеко за пределы Академии и получил огласку, как проявление борьбы правых с революционерами; сторонники Головина получили прозвище «младотурок» и Янушкевич был назначен, чтобы очистить от них Академию. Хотя он за всю свою службу никакого отношения к обсуждению стратегических вопросов не имел, одного факта, что он меньше двух лет был начальником Академии, было достаточно, чтобы выдвинуть его в начальники Генштаба. Человек он был, насколько я знаю, порядочный и, несомненно, скромный, а этого было достаточно, чтобы Сухомлинов мог его не бояться.

Быстрая смена начальников Генштаба сделала то, что на 1-й план в нем выдвинулся генерал-квартирмейстер так называемый «черный» Данилов. Несомненно, умный, он фактически руководил всей нашей подготовкой к войне и ему надо приписать все достоинства, а тем более и недостатки нашего плана. Должен сказать, что когда он защищал в Комиссии Гос. Обороны даже такие требования кредитов, которые нам казались подчас непонятными, он это делал всегда блестяще. Таков был, например, вопрос

об отводе из западной пограничной полосы в центр страны двух корпусов, произведенный чуть ли не накануне войны.

Объединяющим деятельность министерства органом была его Канцелярия, во главе которой стоял другой Данилов – «рыжий», тоже, несомненно, способный человек и тоже умевший показать товар лицом. Однако объединение министерства было в 1908 г. более внешним, ибо при Николае II во главе ряда составлявших министерство главных управлений были поставлены великие князья. При них были опытные помощники и сами по себе нельзя сказать, чтобы они были вредны, но, пользуясь их высоким положением, их управления не считались с военным министром и работали, в сущности, независимо. Если это мало сказывалось на деятельности Главного Управления Военно-Учебных заведений, где вел. князь Константина Константиновича, поэта и простого, хорошего человека, дублировал умный генерал Забелин, и на Инженерном, где помощником бесцветного вел. князя Петра Николаевича был дельный Вернандер, то гораздо хуже отзывалось это на Главном Артиллерийском Управлении, где главенствовал вел. князь Сергей Михайлович. Прекрасный артиллерист и умный человек, он много сделал для поддержания нашей артиллерии на ее прежнем высоком уровне, но вне технической стороны его Управление очень хромало.

В первую очередь работа в нем шла крайне медленно, наиболее ярким примером чего является вопрос о заказе дистанционных трубок. Японская война показала, что главным недостатком нашей скорострельной артиллерии является недостаток у нее снарядов на удар; наступление под Сандепу закончилось неудачей в значительной степени благодаря тому, что наша шрапнель не была в состоянии разбивать даже китайские глиняные фанзы. Поэтому первым делом в Главном Артиллерийском Управлении был поднят вопрос о трубке, бьющей также на удар. Морская трубка, при ее испытаниях оказалась неподходящей для сухопутной артиллерии, ибо давала подчас разрывы при сильных толчках на скачке зарядных ящиков. Поэтому было поручено изобрести новую трубку известному специалисту генералу Гельфрейх. Повидимому, это была обычная практика в Управлении. Гельфрейх, например, всю свою службу с младших чинов до генерал-лейтенанта провел над разными изобретениями, и новая его трубка, как говорили, оказалась прекрасной, но на ее изобретение ушло около двух лет и в результате массовое ее изготовление началось лишь около 1910 г.

Эта медленность оправдывала отказы Министерства финансов в новых кредитах военному ведомству. Если не ошибаюсь, еще в 1911 г. большая часть кредитов разрешенных в 1908 г. для восстановления боевой мощи нашей армии, была не использована и то, что должно было быть закончено еще в 1912 г., заканчивалось лишь в 1914 г. уже в начале войны (например, формирование тяжелых артиллерийских дивизионов). Бывали, правда, случаи, когда виновато было не одно артиллерийское ведомство. Например, когда был выбран тип пулеметов для снабжения ими армии (кажется, отдали тогда предпочтение пулемету Гочкиса), для фабрики его в России были необходимы специальные станки, которые ведомство для ускорения дела решило заказать за границей. Против этого запротестовало, однако, Министерство торговли в интересах отечественной промышленности и пока это междоветовое разногласие был разрешено Советом Министров в пользу заказа станков за границей, было потеряно 8 месяцев. Эта часть программы 1908 г. была, впрочем, выполнена полностью к войне, но наш 4-х батальонный полк пошел на нее с 8-ю пулеметами, тогда как уже около 1910 г. было известно, что немцы имеют на батальон 4 пулемета.

Главные нарекания на артиллерийское ведомство были связаны, однако, но уже во время войны, с недостатком снарядов. В этом отношении ответственность падает, однако, также и на Генштаб, во всех своих расчетах исходивший из предположения, что война продлится не больше 6 месяцев. <...>* Был период недостатка снарядов и в немецкой армии. Но в Германии, как и во Франции, была сильная металлургическая промышленность, которой в России не существовала. Теперь это покажется странным, но тогда вопрос об общей подготовке страны к войне у нас не поднимался не только в среде нас, членов Думы, но среди военных специалистов. В оправдание наше скажу, что не лучше обстоял вопрос, например, и во Франции: достаточно прочитать мемуары Жоффа, чтобы убедиться, что о нем никто там не думал. Впрочем, там даже такие технические вопросы, как заказ тяжелой артиллерии, не были разрешены ко времени войны, и в ее первые месяцы на фронт шли 6-тидюймовые орудия русского образца, заказанные нами в С. Этьенне, но еще не сданные.

Вопрос о винтовках не поднимался в эти годы. Винтовка Мосина прекрасно выдержала экзамен японской войны, и заменять

* Здесь и далее знаком <...> отмечен опущенный повтор в тексте.

– *Примеч. ред.*

ее не предполагалось. Недостаток винтовок после войны был сравнительно скоро пополнен, а запас патронов, первоначально определенный во что-то около 9 миллиардов, было позднее признано возможным значительно уменьшить. Все эти расчеты оказались, однако, ошибочными, и вопрос о винтовках оказался во время войны не менее большим, чем о снарядах. Отмечу еще, что для меня, как я думаю, и вообще для всех членов Комиссии Гос. Обороны оставалось совершенно неизвестным, что ополченские части должны были идти на войну с берданками, оказавшимися совершенно неподходящими к современной войне. Но ко многому из сказанного здесь мне еще придется не раз вернуться позднее.

После того, что Гучков в общем собрании Думы довольно остро поставив вопрос о бессилии военного министра в отношении подчиненных ему великих князей, они все ушли с активных должностей. Но в артиллерийском ведомстве положение от этого не улучшилось, ибо Сергея Михайловича заменил его помощник, порядочный, но слабый ген. Кузьмин-Караваев и за кулисами ведомства оставался тот же великий князь, который именовался теперь только генерал-инспектором артиллерии.

Так как функции Думы формально сводились лишь к ассигнованию средств на оборону государства, а сама она оставалась всецело прерогативой Государя, то официально мы не могли вмешиваться в вопросы личного состава. В частных разговорах, однако, они затрагивались не раз, и Редигер признавал, что высшее наше командование было весьма неудовлетворительно, указывая, что ему часто приходится в этом вопросе сталкиваться с очень сильными влияниями, которые ему не всегда удастся устранить. Остался у меня в памяти казус с удалением двух корпусных командиров, генералов Адлерберга и Новосильцева, совершенно не отвечавших новым требованиям. Редигер уже получил согласие Государя на их увольнение, но за их оставление стали хлопотать влиятельные лица и, в конце концов, они были действительно удалены только через 8 месяцев.

Естественно, что обновление личного состава должно было идти снизу и не могло быть проведено сразу. Ко времени 1-й Великой войны оно было проведено вполне удовлетворительно до полковых командиров включительно. Уже среди командиров дивизий положение было хуже, и суждение по этому вопросу генерала Заиончковского в его истории войны мне кажется слишком оптимистичным. Еще выше наряду с людьми, несомненно, способными и энергичными попадались и люди одряхлевшие и вообще малоспособные. На Кавказе был наместником старик Во-

ронцов-Дашков, на которого в Думе усиленно нападали за его «либерализм» крайние правые. Ничего, однако, не говорилось про то, что он был и командующим войсками округа, совершенно уже неспособном выполнять эти функции, требовавшие других знаний, чем те, которые требовались за полвека до того от командира кавалерийского полка, его последней строевой должности. О другом старике, Скалоне, Варшавском генерал-губернаторе, мне пришлось случайно услышать рассказ, что когда шел вопрос о постройке новой железнодорожной линии к западу от Варшавы, необходимость которой мотивировалась постройкой немцами новых линий в районе Страсбурга, тогда крупного железнодорожного центра около нашей границы, то Скалон резко оборвал докладчика: «Что вы мне говорите о Страсбурге, это французам интересоваться им, а не нам». Старик ничего не знал про существование другого Страсбурга, как раз в районе, который он, однако, должен был бы знать хорошо. Бессилие Редигера в отношении смещения таких лиц было полным, а его преемник Сухомлинов и не старался улучшить положение.

Программа 1908 г. прошла без сколько-нибудь серьезных изменений. Я внес предложение, чтобы в нее было включено изготовление запасов для «кадровых» санитарных поездов, о которых я говорил выше. Первоначально рыжий Данилов возражал против этого, но в следующем заседании принял его и, таким образом, прошел кредит на 60 таких поездов. Могу только сказать, что во время войны свою роль они сыграли, и часто можно было только пожалеть, что их было недостаточно.

Отношения с Морским ведомством были иные. Если всем было ясно, что более или менее нужно было армии в 1907-1908 гг., то нужды флота были неопределенны для самих моряков. В полном разгаре был спор между «подводниками» и «надводниками»; подводные лодки в Японской войне еще не принимали участия, и незадолго перед тем образованный Морской Генштаб категорически был против них. Во главе подводников стоял талантливый лейтенант Ризнич, ненадолго до того ушедший из строя на службу какой-то английской судостроительной фирмы. Это очень ослабляло его аргументы, ибо против них всегда выдвигалось возражение, что Ризнич лишь творит волю своих хозяев, против чего ничего сказать было нельзя. Я оказался, однако, в числе сторонников подводных лодок под влиянием доводов, которые мне привел С. Кукель, уже тогда специализировавшийся на подводном плавании. Вопрос этот обсуждался и в нескольких собраниях членов Думы с офицерами Морского Генштаба на квартире у Ю.Н. Ми-

лютина. Сын известного деятеля эпохи освобождения крестьян и лично очень образованный, культурный и порядочный человек, он сыграл известную роль в образовании октябристской партии, но, не обладая даром слова и будучи довольно инертен, он в 3-ю Думу не попал и скоро совсем сошел в политическом отношении на нет. Собрания с моряками у него имели полуофициальный характер, ибо морской министр испросил разрешение Государя на участие в них его подчиненных. Из числа членов Думы горячо возражал тогда против подводных лодок Звегинцев. Я задал несколько вопросов о них, дабы проверить утверждения Кукеля, но встретил упорную враждебность генштабистов к подводным лодкам. Среди этих офицеров был Колчак, обращавший на себя внимание своей репутацией храброго и дельного офицера, но у Милютина он ничем себя не проявил, также как и будущий адмирал Непенин.

Оппозиция против подводных лодок, впрочем, продлилась не долго, и уже в первой судостроительной программе предусматривалась постройка нескольких их штук. У меня, впрочем, осталось впечатление, что это была скорее уступка общественному мнению, чем результат искреннего убеждения в их пользе. Как известно, к 1914 г. подводных лодок у нас было мало и крайне разнотипных, и в первые же дни войны тот же Кукель был командирован секретно в Данию, дабы провести в Балтику отряд из 10 английских подводных лодок, который затем и принимал участие в военных действиях в этом море.

Другим вопросом, горячо обсуждавшимся у Милютина, было вообще судостроение. Все мы были под влиянием Цусимской катастрофы, в которой наши броненосцы один за другим переворачивались. Объяснялось это тогда чуть ли не исключительно их перегрузкой (объяснение, как показал опыт первой мировой войны, одностороннее), которую в свою очередь приписывали неудовлетворительности нашего судостроения. Говорили нам, что в то время, как в Англии броненосец строился в 2 года, у нас он вступал в строй подчас только через 7 лет. За это время в мировой судостроительной технике делались различные усовершенствования, часть которых применялась на наших строящихся судах, а другая должна была ждать закладки новых судов. Таким образом, наши броненосцы, уже вступая в строй, оказывались несколько устаревшими, а с другой стороны, примененные на них усовершенствования имели последствием их перегрузку, явление, с которым в то время не считались.

Эта медленность нашего судостроения объяснялась тем, что во всех мелочах наши казенные судостроительные заводы должны были обращаться в Главное Управление Кораблестроения, что очень задерживало их работу. Поэтому в самом ведомстве был выработан проект о переводе этих заводов на «коммерческие начала». В сущности коммерческого в этом было только то, что заводам была дана большая автономия, и им было разрешено обходиться в текущих хозяйственных вопросах без санкции Главного Управления, но проведение этого проекта тоже почему-то задерживалось. У этого Главного Управления репутация была неважная. Начальником его долгие годы был адмирал Верховский, о котором Крылов в своих воспоминаниях отзывался положительно. Репутация, которая у Верховского создавалась тогда в Петербурге, была, однако, другой, – насколько правильно, судить не берусь, но его дух еще царил в Управлении, и это заставляло Думу быть осторожной в ассигновании средств на новые суда впредь до реорганизации всего дела кораблестроения.

Новая судостроительная программа была в результате проведена только в 1910 г, когда была осуществлена реорганизация казенных заводов и когда во главе всего Морского ведомства стали вообще более молодые и энергичные люди. В 1908 г. вел. князь Алексей Александрович уже отошел от министерства, во главе которого стоял в это время старичок Диков. По-видимому, это был в свое время дельный моряк, про которого ничего худого не говорили, но его годы мешали ему играть в Думе активную роль, и вскоре его заменил красавец адмирал Воеводский. При Дикове главную роль в министерстве играл его товарищ Бострем, несомненно, умный и энергичный человек. Теперь он был назначен командовать Черноморским флотом, где сломал себе шею неудачным входом в Констанцский порт, когда его желание войти с большим блеском в эту румынскую базу имело последствием то, что его флагманский броненосец вылетел на мель. После суда над ним Бострем поступил в дирекцию одного из частных судостроительных обществ и роли в ведомстве уже не играл.

Заменил его Григорович, бывший в день нападения японцев на Порт-Артур командиром «Цесаревича». Моряки относились к нему несколько иронически, как к боевому командиру: выдержать в этом отношении сравнение, например, с Эсеном он, конечно, не мог, но все отдавали ему справедливость, как человеку, несомненно, выдающегося ума и эту репутацию он, безусловно, оправдал. Уже при Воеводском фактически он ведал министерством, а став министром, действительно направлял в нем все. Конечно, и

при нем в ведомстве были изъяны, но не было противодействия нововведениям, а было понимание, что то, что было хорошо при парусном флоте, не может больше служить основанием современного флота и его психологии.

При Григоровиче начальником Морского Генштаба был сперва адмирал князь Ливен. Полунемец и воспитанник немецкого кадетского корпуса, как раз он установил близкие отношения с французским и английским флотами. Во флоте его глубоко уважали за его порядочность и искренно жалели, когда он скоропостижно умер в Удине по дороге в Россию.

Отмечу здесь еще одну из особенностей нашего бюджетного законодательства этого периода. В случае разногласия между Думой и Гос. Советом по вопросу об ассигновании средств принималась цифра наиболее близкая к ассигнованию предшествующего года; таким образом, Морское министерство получало известные кредиты на кораблестроение и в 1908, и 1909 годах, ибо Гос. Совет не соглашался с нашими их сокращениями. Когда реорганизация заводов была осуществлена, представленная Думе программа восстановления флота была одобрена. Конечно, восстановление это было очень условно, ибо предусматривалась всего на всего постройка двух броненосцев по 23000 тонн для Балтийского флота (не считая, конечно, ряда мелких судов). Уже позднее, в 1912 г., были ассигнованы средства на постройку трех дредноутов для Черного моря и 4 броненосных крейсеров по 28000 тонн для Балтийского. Замедление в ассигновании средств на осуществление 1-й программы позднее ставилось кое-кем из моряков в укор Думе и этим оправдывалась слабость Балтийского флота во время 1-й войны. В виде общего правила можно сказать, что ни 3-я, ни 4-я Думы в ассигнованиях на оборону не отказывали, и если в этом случае морское ведомство не получило того, что просило, то лишь потому, что мы были убеждены, что до реорганизации заводов выпускаемые ими суда будут не лучше их предшественников. Мне и сейчас кажется, что мы в этом не ошиблись.

В начале нашей работы в числе прочих вопросов о злоупотреблениях в морском ведомстве был маленький вопрос о заказе минных катеров (возможно, что я ошибаюсь в их наименовании), оказавшихся мало на это пригодными. Никакого отношения к разоблачению этого дела я не имел и по нему не выступал, однако, почему-то меня вызвали свидетелем по нему после революции в Чрезвычайную Комиссию по расследованию преступлений старого режима; я, однако, и раньше этого дела не знал, и в 1917 г. конечно помнил его еще меньше.

Понемногу подошел я к представителям власти, с которыми Думе пришлось за эти 10 лет работать, и я и дам теперь обзор моих о них впечатлений. Хотел бы я, однако, отметить раньше, что столичное русское чиновничество в подавляющем своем большинстве не заслуживало тех нареканий, которые на него и тогда и позднее делались. Сознание, что дальше дело так идти не может, что необходимы более или менее серьезные реформы, было почти у всех из них, но наряду с этим надо признать, что тоже почти все принимали существующие условия жизни, как неизбежное и против них не протестовали. Лично мне видных чиновников-коммунистов встречать не приходилось, но эсеров я видал даже в генеральских погонах. Однако у большинства рутина с годами преодолевала все остальное и к ним вполне применялась фраза поэта: «Суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано»*. Нечестных чиновников было очень немного, конечно, и несравненно меньше, чем в Западной Европе (которую я, впрочем, узнал ближе только после I-й войны, вообще деморализующе подействовавшей на целые народы). Лица, недобросовестность коих внушала сомнения, были на счету, и их обычно, если не совсем устранили, то держали в стороне от денежных дел. Несомненно, существовал nepотизм**, но где и когда его не было и не будет?

От этого недостатка не был изъят и Столыпин, на многие посты проведенный своих и жениных родственников, частью людей способных, но не всегда. Переходя к отдельным держателям власти, со Столыпина я и начну. В 1907 г. у него был, несомненно, ореол спасителя страны от революции, и надо признать, что в борьбе против революционного движения 1905-1906 гг. он сыграл не меньшую, а может быть, и большую роль, чем П.Н. Дурново. Оба они были люди безусловно умные и с предвидением будущего, но возможность предупредить катастрофу царского режима Дурново видел лишь в усилении полицейского режима, необходимость чего не отрицал и Столыпин, который, однако, отстаивал и необходимость серьезных реформ, ставящих Россию более или менее на уровень Западной Европы. В этом была сила, но как вскоре оказалось, и слабость Столыпина, человека, несомненно, энергичного, не трусливого и прекрасного оратора. Когда он был назначен председателем Совета Министров и провел по 86-й статье ряд мероприятий, которые он считал неотложными, то никто

* Строки из стихотворения Н.А. Некрасова «Рыцарь на час».

** Nepотизм – кумовство. – *Примеч. сост.*

против них в правительственных кругах не возражал: все были запуганы и полагались на этого человека, столь смело взявшегося за дело, с которым никто тогда не мог справиться. Однако, по мере успокоения, оппозиция против Столыпина образовалась очень быстро, сконцентрировавшись в Гос. Совете, этого склада административных древностей. Назначенный после смерти всеми уважаемого старика графа Сольского его председателем Акимов, свояк П.Н. Дурново, принадлежал к крайним правым и с места принялся за образование в Совете их большинства.

В 1907 г. в нем была небольшая группа левых, соответствующих более или менее по своим взглядам кадетам, все же остальные его члены делились на группу центра и правых, причем эти были в меньшинстве, хотя и небольшом. В левой группе, довольно бесцветной, состояли представители преимущественно университетов и кое-кто из промышленников; главари ее были мой бывший профессор Д.Д. Grimm и кн. Е. Трубецкой. Группой центра руководили бывший министр юстиции Манухин и московский губернский предводитель дворянства П.Н. Трубецкой, до его убийства, по-видимому, на любовной почве его племянником Кристи. Это была группа, на которую опирался преимущественно Столыпин и в которую входило большинство выборных членов Совета; по убеждениям они ближе всего подходили к октябристам. Позднее, когда Столыпин начал править и когда его верные последователи образовали в Думе фракцию националистов, в Гос. Совете образовалась соответствующая группа, возглавляемая братом жены Столыпина Нейдгардтом, нижегородским губернским предводителем дворянства. В нее вошли кое-кто из группы центра, но многочисленна она никогда не была и влияние имела лишь в начале, когда ее голоса могли дать перевес той или другой группе.

Усиление правого крыла шло лишь постепенно, и едва ли Государь вначале вполне сознательно к нему относился. Половина членов Гос. Совета назначалась им, и 1-го января в списке назначенных «к присутствию» на начинающийся новый год встречалось всегда, как и раньше несколько новых имен. Однако раньше устранялись члены дряхлые и больные безотносительно от их взглядов (различия в них, кстати, тогда и не бывало), теперь же Акимов сперва осторожно, а позднее открыто стал докладывать Государю о необходимости замены независимых его сочленов молчаливо подчиняющимися ему пешками. К 1910 г. приблизительно у него и было уже в руках большинство. Курьезно, что традиционно все назначаемые в Гос. Совет военные входили в нем в правую группу, хотя подчас ее взгляды совершенно не совпадали

с их личными. Не знаю политических взглядов Палицына, но, например, Редигер и Поливанов были гораздо ближе к центру, чем к правым. В постоянном руководстве правой группой Акимов участия не принимал, тем более что это выполнял без всякого разногласия с ним Дурново.

В назначениях новых членов Гос. Совета впервые проявилось отхождение Государя от Столыпина. Конечно, это лишь моя догадка, но мне кажется, что я не ошибаюсь, что в основе его лежал тот же вопрос о конституции, что прервал карьеру Витте. Столыпин мне всегда казался выше Витте не только умственно, но и морально, и, рассматривая акт 17-го Октября, как дарование конституции, он и действовал соответственно. Не противоречило этому и то, что при нем выдавались субсидии крайним правым организациям, ибо в этом вопросе он уже не был вполне свободен. Пропаганда этих организаций имела, несомненно, влияние на Государя и особенно на Государыню, которая быстро и вполне прониклась идеей, что 17-ое Октября оставило самодержавие незыблемым, и соответственно влияла на мужа уже с первых лет существования Думы. Говорят, что вода камень точит, и, естественно, что такой человек как Николай II, в общем скорее слабый, поддавался понемногу окружающим его влияниям, и отношение его к Столыпину стало на этой почве меняться. Нельзя упускать тут из виду злополучный для Столыпина законопроект о Морском Генеральном штабе, который был врагами министра с успехом использован, как доказательство его безразличия к прерогативам монарха.

Первая проба сил произошла на законопроекте о западном земстве. Сам помещик Ковенской губернии и местный губернский предводитель дворянства по назначению от правительства, Столыпин хорошо знал западные условия и сознавал необходимость создания там местного самоуправления. Ясно было, однако, что земство могло быть тогда только классовым – другое не прошло бы уже в Думе, а в землевладельческой курии большинство принадлежало помещикам полякам. Давать им большинство в земстве при тогдашней остроте национальных отношений в крае было явно невозможно, и отсюда возникла мысль о дополнительном разведении этой курии на национальные группы. Надо признать, что схема получилась сложная, и уже в Думе вызвала очень горячие прения, причем в ней возражали против законопроекта в его правительственной редакции главным образом левые.

В Гос. Совете на него, наоборот, напали правые, и он там провалился; возможно, что сыграло в этом роль и желание повредить Столыпину, горячо отстаивавшему это свое детище. Во всяком

случае, после провала законопроекта у него были разговоры с Государем, в которых он подал в отставку. Гучков говорил мне, что он советовал Столыпину настоять на ней, считая, что вскоре все-таки к нему неизбежно вернутся; соглашаясь не уходить, он оставит у Государя впечатление, что он ничем не отличается от других сановников, цепляющихся за власть до последней возможности. Каков был разговор Столыпина с Государем, никто не знает, но он говорил, что он не смог настоять на уходе, когда Государь его просил остаться, ибо его служба нужна родине. Хуже было, однако, то, что не только он остался во главе правительства, но настоял на удалении «в отпуск» двух главных противников западного земства – П.Н. Дурново и Вл. Трепова (последний после этого окончательно оставил общественную деятельность). Если это было только мелочным удовлетворением столыпинского самолюбия, то роспуск законодательных учреждений на три дня для того, чтобы в этот промежуток времени провести западное земство по 96-й статье, было уже явно противно смыслу основных законов. Правые могли, конечно, только радоваться этому, а сторонники Столыпина были искренно огорчены этим беззаконием. Несомненно, что уход Гучкова из председателей Думы был ускорен, если не прямо вызван этим инцидентом.

Лично мне пришлось иметь со Столыпиным только один более продолжительный разговор, а именно по Финляндскому вопросу. В Думу я вступил с определенной мыслью о необходимости установления определенного порядка в отношениях между империей и великим княжеством, ибо с отменой акта 1899 г. этого порядка более не существовало, и поэтому вскоре после открытия Думы я обратился к М.М. Бородину, которого знал по его историческим трудам о Финляндии. Военный судья и генерал, он давно интересовался этим вопросом и напечатал недурную, хотя и несколько одностороннюю историю Финляндии. Бородин, однако, современного положения финляндского вопроса не знал, и поэтому познакомил меня с Н.Н. Корево, ведавшим тогда в отделе Свода Законов кодификацией постановлений, относящихся к Финляндии и вообще интересовавшимся этим вопросом. Он довел о наших разговорах до сведения Столыпина, и в результате и состоялось мое с последним свидание в его помещении в Зимнем дворце. Тогда было решено окончательно, что октябристами будет внесен запрос правительству по финляндскому вопросу (на это у меня уже была санкция нашего фракционного бюро), и что правительство примет на себя разработку соответствующего законопроекта. Так оно и было вскоре сделано.

Наиболее способным из товарищей министра внутренних дел был при Столыпине, несомненно, Крыжановский, о котором я уже говорил выше. Позднее им стал также А.А. Макаров, впоследствии ставший министром. Человек он был, безусловно, порядочный и убеждениями своими не поступавшийся. Сменен он был из министров, как говорили, по настоянию Государыни, ибо не желал подчиняться ее желаниям относительно Распутина. К сожалению, в историю он войдет, вероятно, исключительно своей неудачной фразой: «Так было, так и будет», сказанной по поводу Ленских расстрелов. Мне думается, что если бы в тот момент Макаров знал всю обстановку на Лене, его отношение к этим печальным событиям было бы иное.

На правах товарища министра был также Гербель, начальник Главного Управления земского хозяйства. Бывший председатель Херсонской губернской земской управы, он пользовался репутацией хорошего хозяйственника, и во время войны (когда он был уже членом Гос. Совета) был назначен ведать какими-то продовольственными заготовками на юге; на меня он, впрочем, производил всегда какое-то среднее впечатление. Заменил его его помощник Анциферов, способный, но типичный чиновник, с которым мне позднее пришлось немало поработать в городской комиссии.

Гораздо слабее обстояло дело у Столыпина с полицией. Часто вспоминалась мне фраза С. Шидловского, что каждое правительство находится в руках своего министра внутренних дел, а этот находится в руках своего начальника полиции, своими докладами способного всегда создать в своем шефе необходимое настроение. Потому роль товарища министра, ведающего полицией, получала, конечно, особое значение, но как раз на этом посту у Столыпина оказался наиболее неудачный из его помощников – Курлов. Лично я его не знал, но слышать о нем мне приходилось немало. Карьера его началась в Конно-Гренадерском полку, где он был товарищем Протопопова, дружба с которым сохранилась у него до конца. Пройдя Военно-Юридическую Академию, он скоро перешел, однако, в гражданское ведомство, и когда я был кандидатом на судебные должности, он был товарищем прокурора во Владимире. Переведенный оттуда в Москву, он помогал здесь Елизавете Федоровне по ее благотворительным делам и вскоре по рекомендации Сергея Александровича попал в вице-губернаторы.

Революция 1905 г. застала его губернатором в Минске, где он, по-видимому, совершенно растерялся. Слева ему приписывали расстрел толпы около вокзала, в чем он, однако, был совершенно

неповинен, если не считать, что в этот день в Минске все власти действовали самостоятельно, независимо от перетрусившего губернатора. Утверждали, что вечером он сбежал из города, переодетый извозчиком; не ручаюсь за это, но, во всяком случае, он вскоре после этого был отставлен от должности и назначение его через некоторое время сперва начальником Главного Тюремного Управления, а затем товарищем министра внутренних дел произвело весьма странное впечатление. Фактически, однако, тайная полиция была в руках не у него, а у директора Департамента полиции, или еще точнее, у начальника «особого отдела» этого департамента. При Столыпине сменилось несколько директоров этого департамента; кажется, застал он им Гарина, честного юриста, затем перебывали на нем Лопухин и Трусевич, о которых я уже говорил, еще один прокурор палаты, болгарин Моллов, и наконец Зуев, всю свою карьеру сделавший в этом департаменте. Уже эта быстрая смена, как мне кажется, доказывает, что Столыпин не был удовлетворен работой департамента, но не был в состоянии найти удовлетворяющих его людей. К этой работе мне еще придется, впрочем, не раз возвращаться.

Говоря о Министерстве внутренних дел, надо еще отметить мало заметного извне Арбузова, директора Департамента Общих дел, через руки которого проходили все назначения губернаторов. Условия службы по министерству существенно изменились после 1900 г. и требования к губернаторам стали иные. Прежняя патриархальность провинциального строя исчезла, от губернаторов стала требоваться большая культурность, большая находчивость, а также и большая личная храбрость. Совместить эти качества удавалось, в конце концов, очень немногим, в особенности, поскольку надо было в 1905-1907 гг. найти надлежащий средний путь между обеими крайностями. Иные ошиблись в эти годы, уклонившись слишком влево, за что и были быстро отставлены, но гораздо большее их число перехватило вправо, что вызвало нарекания в Думе, а подчас и запросы о незаконных их действиях. Нельзя, однако, сказать, чтобы такие уклоны вправо вредили обычно карьере ответственных в них лиц. Все это, казалось бы, налагало на министерство обязанность более строго разбираться в кандидатах на места губернаторов и вице-губернаторов, что, однако, далеко не всегда соблюдалось. Если я могу указать назначения губернаторами, несомненно, умных и порядочных людей, вроде, например, уже упоминавшихся мною Тверского и Вороновича, то я могу, наоборот, назвать назначение моего другого товарища по классу Алабышева вице-губернатором в Могилев; Костю

все любили, но ума в нем не было ни на грош; назначение Андрея Ширинского губернатором в «трудную» Саратовскую губернию вызвало удивление даже среди его близких, тем более, что в Ревеле, где он был вице-губернатором, он проявил изрядную неуживчивость. Впрочем, и в Саратове он долго не удержался.

Надо еще отметить совершенно непонятную терпимость к некоторым лицам. Особенно характерен в этом отношении казус Виктора Лопухина, брата бывшего директора Департамента полиции. Назначен он был в Новгород после недолгого губернаторствования у нас Башилова, неглупого и работающего, но недостаточно тактичного и не поладившего с Голицыным. Лопухин приехал в Новгород изрядно запутавшимся в денежных делах, и следом за ним из мест прежнего его служения стали поступать иски к нему, а то и исполнительные листы; особенно много поступало их из Тулы, где Лопухин был до Новгорода вице-губернатором. Репутация его в этом отношении, словом, очень быстро установилась, и жене Лопухина почти сряду стали отказывать в лавках в кредите. (Кстати, она, несмотря на сильную глухоту, прекрасно слышала по телефону, и поэтому вела по нему бесконечные разговоры, прервать которые было обычно нелегко).

Когда положение Лопухиных в Новгороде стало таким образом затруднительным, он попросил о переводе его в другой город и вновь попал в Тулу, где и стал мстить тем, кто взыскивал с него в Новгороде его долги. В числе их оказался еврей-мебельщик, которого Лопухин постановил выслать в черту оседлости, как фиктивного лишь ремесленника; у еврея оказались, однако, влиятельные заказчики и в числе их товарищ председателя Думы Волконский; дело получило огласку, и закончилось тем, что еврей в Туле остался, а Лопухина перевели в Вологду. Почему он не был совсем уволен, никто не понимал. Во всяком случае, не думаю, чтобы на новом месте его службы его авторитет представителя верховной власти мог быть высок.

Известное понижение морального уровня администраторов наблюдалось и в другом отношении. Если еще в 1906 г. наш Болотов был отставлен от губернаторства за излишнее ухаживание, то никаких прямых скандалов на этой почве у него не было. Через несколько лет один из Екатеринославских губернаторов, Шидловский, был только переведен в какую-то отдаленную губернию за казус, хотя и комичный, но губернатору не подходящий: отправившись ночью на свидание к какой-то местной красавице, он должен был спешно ретироваться, когда ее муж преждевременно вернулся из уезда. Уверяют, что хотя возвращался он в губерна-

торский дом без штанов, все городовые вытягивались перед ним во фронт. Про то, что после 1910 г. ряд губернаторов совершенно открыто проявил себя сторонниками «Союза Русского Народа», не стоит и говорить.

Наиболее видным сотрудником Столыпина в правительстве был, несомненно, Коковцов. Лично ничего плохого сказать я про него не могу, но душа к нему ни у меня, ни, да я думаю, и вообще ни у кого в Думе не лежала. Он был из мелких новгородских дворян (один из его родственников был в Новгороде губернским предводителем дворянства) и начал делать карьеру, женившись на Оом – дочери секретаря Императрицы Марии Федоровны. Наши боровичские и устюженские гласные рассказывали, что он был женихом соседки по имению, милой, но бедной девушки, баронессы Клодт, классной дамы одного из институтов, но порвал с ней, ибо женитьба на Оом обещала ему большие служебные успехи. Рассказ этот мне кажется вполне правдоподобным, ибо, насколько я знал Коковцова, он был всегда прекрасным, но совершенно бездушным чиновником. Другим его недостатком была его рутинность. Как-то Васильчиков, недолюбливавший Коковцова, рассказал мне, что в одном из заседаний Совета Министров, тот, возражая против какого-то новшества, заявил, что он умеет танцевать только от печки. Легкость, с которой Коковцов говорил, делала его чрезмерно многоречивым и подчас монотонным, хотя обычно слушали его с интересом. Припоминается мне случай, когда, заявив: «Господа, еще два слова», он проговорил еще полчаса. Наряду с этим, однако, он, как и Витте, умел подбирать себе подчиненных, и организовано Министерство финансов было прекрасно. Из этих его помощников на первый план надо выдвинуть Н.Н. Покровского, глубоко порядочного, умного и работающего человека с одним лишь недостатком – чрезмерной скромностью. В Думе на нем лежала защита налоговых законопроектов Министерства, и он проводил ее всегда с успехом. Позднее, когда он был в последние месяцы перед революцией министром иностранных дел, одно его назначение устранило все подозрения, связанные с личностью Штюмерера.

Прекрасно делал свое дело и Новицкий, ведавший «неокладными сборами» и казенной продажей питей, тогда главным источником государственных доходов. Много говорилось про безнравственность построения государственного бюджета на народном пьянстве, но, кажется, теперь можно утверждать, что опыт всех стран без различия приводит к заключению, что попытки искоренить пьянство заканчивались всюду неудачей. В 3-й Думе, как

я уже говорил, апостолом трезвости выступил Самарский городской голова Чельшев. Вначале он имел успех новизны, но заманить доходы от «монополюшки» было нечем, новых доводов против нее у Чельшева не встречалось, и его выступления перестали интересовать Думу.

Говоря о Министерстве финансов, необходимо отметить его Кредитную канцелярию, ведавшую вопросами государственного кредита и в особенности заключением новых займов. Состав служащих этого учреждения был, несомненно, очень способным и очень многие из крупных банкиров того времени начали свою службу в нем. Укажу еще, что ни разу мне не пришлось слышать про какие-нибудь злоупотребления в этой канцелярии; во главе ее в те годы стоял Давыдов, безусловно, способный финансист, позднее с успехом работавший в частных банках в эмиграции.

Министры иностранных дел в те времена в России не играли той роли, как они сейчас играют в других странах. Все международные сношения носили характер более или менее традиционный, той срочности, которую они получили в настоящее время, в них не было, а это в значительной степени уменьшило их сложность. Министры иностранных дел носили раньше звание канцлеров, но Александр III не дал его Гирсу, а после него и другие министры канцлерами не были. Мне кажется, что Гирса, в общем, недооценили: он, несомненно, не был из числа тех дипломатов, которые создают эпоху в международных сношениях, но был человек умный и хорошо разбирающийся в обстановке. При нем произошло изменение русской политики, когда Вильгельм II отказался от возобновления союза с Россией, порвав традиционную дружбу двух родственных царствующих домов. Мы знаем теперь, что Гирс отнюдь не сочувствовал этому разрыву, но сумел сделать из него надлежащие же тогдашней обстановке выводы и провести сближение с Францией. Его преемники, в общем, продолжали его политику, но не сумели избежать осложнений на Дальнем Востоке; крупными людьми не были из них, во всяком случае, ни Ламсдорф, ни особенно Муравьев. Наоборот, Извольский, с которым нам пришлось встречаться в 3-й Думе, пользовался репутацией способного дипломата; на чем была она основана, я не знаю, но я был не один в Думе, на которого он произвел с самого начала крайне отрицательное впечатление. Человек напыщенный и самодовольный, он незаметно для себя становился игрушкой в руках тех, кто умел ему льстить и наряду с этим относился с враждебностью к тем, кто перед ним не преклонялся. Этим, мне кажется, объясняется его неудача в Мюрцштеге и его кислые отношения в

Париже. При первой моей встрече с ним в Думе он меня поразил вопросом, не я ли был с ним в одном классе в Лицее; я был на 25 лет почти моложе моего дяди и очень мало был на него похож, и вопрос Извольского не делал чести его сообразительности.

После аннексии Австрией Боснии и Герцеговины Извольскому пришлось уйти с министерского поста, на котором его заменил Сазонов, женатый на сестре жены Столыпина. Человек культурный и очень милый, он не был крупным дипломатом, но его заслугой явилось завершение сближения с Англией, отвлекшего эту страну от поддержки Германии. Кроме того, Сазонов был человеком глубоко порядочным, что было, несомненно, его большим достоинством, но что наряду с этим быть может мешало ему видеть своевременно непорядочность других. Говорят, что еще при Александре III состав наших дипломатов за границей был выдающимся, и, конечно, надо признать, что влиянием они в большинстве столиц пользовались, но наряду с этим у меня осталось впечатление, что средний умственный уровень дипломатов был в нашу эпоху очень невысок. Позднее не раз приходилось мне убеждаться, что даже сравнительно видные посты в наших представительствах занимали прямо ограниченные люди. Чтобы служить за границей требовалось знание языков и денежная обеспеченность (ибо казенного жалования было определено недостаточно), а ум и образованность часто заменялись внешним лоском. Наконец, большим недостатком наших дипломатов было то, что они знали обычно из России один Петербург и плохо понимали после многих лет службы за границей русскую психологию. Я далек от обвинения в недобросовестности наших дипломатов немецкого, греческого и вообще иностранного происхождения (ведь и сам я немецкого происхождения), но все-таки скажу, что немецкий барон из Риги или Митавы, никогда не живший в русской деревне и чуждый русской психологии, многого в русских стремлениях понять не мог; для него его служба была только службой, до известной степени спортом, в котором он должен был победить противника, но не верчением большого национального дела.

Брат А. Извольского – Петр, был обер-прокурором Синода: напыщенности брата в нем совершенно не было, наоборот, был он человек милый и простой. После революции в эмиграции он пошел в священники и подтвердил этим, что назначение свое обер-прокурором он принял из истинного интереса к церкви, а не как этап в служебной карьере. Ему выпала, однако, на этом посту неблагоприятная роль ликвидатора постановления так называемого предсоборного совещания. Созыв Собора и избрание

им патриарха должны были установить независимость церкви от государства, но именно поэтому эти постановления и были неприемлемы для правительства. Из году в год 3-я Дума при обсуждении сметы Синода напоминала правительству про эти постановления и также систематически оно отмалчивалось. Утверждали, что против Собора и Патриарха был лично сам Государь, но я думаю, что скорее они были неприемлемы всему синодскому аппарату, лишь перекалывавшему всю свою ответственность на монарха, как это бывало и в других случаях.

Заменявший Извольского Саблер (во время войны переименовавшийся в Десятовского) был слабой копией Победоносцева, у которого он ряд лет был товарищем обер-прокурора. Что бы ни говорили про Победоносцева, это был человек, импонировавший своей высокой моралью и несомненной культурой, чего у Саблера было гораздо меньше. Единственное, в чем он проводил твердо линию Победоносцева, это было в недопущении в епископы лиц со сколько-нибудь умеренными, не правыми взглядами. Исключения встречались крайне редко и обычно эти лица оставались викарными епископами или назначались на кафедры, где своих политических взглядов им высказывать не приходилось. К этому периоду относится как раз появление иерархов-политиков, вроде митрополита Антония (Храповицкого) или Серафима (Чичагова), деятельность которых, к сожалению, только вредила церкви, ибо обычно они проводили взгляды, уже не разделявшиеся массами. Характерно, однако, что большею частью эти политики не принадлежали к духовному сословию, а были большею частью дворянского происхождения, тогда как масса белого духовенства была аполитична, а часть ее, интересовавшаяся политикой, скорее склонялась влево. Мне могут, конечно, указать, что в 3-й и в 4-й Думах священники склонялись больше вправо, но надо отметить, что почти все они были избраны с благословения своих Преосвященных и, следовательно, представляли наиболее правый элемент среди приходского священства.

Политические страсти разгорались в эти годы особенно в монастырях. Как раз тогда в Царицыне был настоятелем местного монастыря знаменитый Илиодор, в своих проповедях резко нападавший на очень умеренного саратовского губернатора графа Татищева, которого, как говорили, он даже предал проклятию. Удаление его из монастыря причинило администрации немало хлопот, тем более, что местный преосвященный Гермоген по существу поддерживал Илиодора. С другой стороны в Почаевской Лавре архимандрит Виталий прямо вел пропаганду в духе «Со-

юза Русского Народа». Север России был в этом отношении гораздо спокойнее, и у нас в Новгороде поговорили только как-то об архимандрите Юрьева монастыря, бывшем офицере, который решил подтянуть своих монахов, не останавливаясь даже перед личной физической с ними расправой; впрочем, очень быстро и сам он был смещен в братию какого-то захолустного монастыря.

Возвращаясь к остальным нашим министрам. Как я уже упоминал, Васильчиков остался министром земледелия недолго, и был заменен его товарищем Кривошеиным. В те годы у последнего создалась репутация крупного государственного деятеля, и во время войны о нем говорили, даже, как о возможном председателе Совета Министров. Несомненно, что у него было понимание того, что правительство должно иметь опору на местах и эту опору он искал в земствах, но когда мне пришлось ближе с ним познакомиться во время войны и в эмиграции, я очень в нем разочаровался. Особенно поразил меня разговор с ним летом 1916 г., когда я сдавал ему должность главноуполномоченного Красного Креста Западного Фронта и объезжал с ним наши учреждения. Зашел у нас разговор о земельной реформе. Я защищал свою тему о необходимости дополнительного наделения крестьян землею, на что он мне ответил, что он считает ошибочным и основное наделение их ею в 1864 г. И сослался на Прибалтийский край, где в начале 18-го века крестьяне были освобождены без земли и где, по его мнению, именно благодаря этому сельскохозяйственная культура достигла более высокого уровня, чем в остальной России. После революции сперва на юге России и затем в Париже, он принимал участие в группах промышленников, занимавшихся различными спекуляциями; по-видимому, они дорожили его безупречным до того именем, чтобы обделывать за этой вывеской довольно малопочтенные свои операции.

Кривошеин был неважный оратор, и в Думе читал свои, в общем, скучные речи. Зато он умел выбирать своих помощников, и такие лица, как Глинка, гр. П.Н. Игнатьев, Риттих и Тхоржевский, были, несомненно, из числа наиболее талантливых наших чиновников. Деятельность своего министерства он сумел связать с работой земств и 3-я Дума, в которой во всех ее секторах земский элемент был силен, очень это ценила и не только не урезывала его кредиты, а наоборот была готова их увеличивать. Глинка ведал переселенческим делом, которое до него было лишь в зародыше и которое при нем развилось в крупную организацию. В сущности, оно до известной степени заменяло в Зауралье земство, не существовавшее там, и Глинка умел найти для своего ведом-

ства много живых людей. Вероятно, в дореволюционной России это было наиболее левое ведомство. Игнатъев в Департаменте земледелия наладил работу с земствами, которым передавалось большинство кредитов на агрикультурные улучшения; от них требовалось лишь, чтобы они принимали на себя половину расходов. Работа Игнатъева в Департаменте земледелия уже предопределила его продвижение в министры, и можно оказать, что в Думе все приветствовали его назначение в министры народного просвещения. Про Риттиха я уже упоминал, и должен еще раз подчеркнуть, что в числе чиновников царского времени, он был из наиболее талантливых, хотя особой личной симпатии и не внушал, именно потому, что душа у него была слишком чиновничья.

В Министерстве народного просвещения мы застали П.М. Кауфмана, за эти годы уже ставшего Туркестанским в честь заслуг его дяди. Я уже не раз упоминал о нем и еще многократно буду о нем говорить и, в общем, кроме хорошего ничего сказать о нем не могу, хотя крупным государственным деятелем он, конечно, не был. В Париже, работая с ним вместе в Красном Кресте, я одно время чуть не каждый день горячо спорил с ним, оставляясь каждый при своем мнении; в основе его политических аргументов лежало убеждение о божественном происхождении монархической власти и о греховности сопротивления ей. Наряду с этим у него было очень твердое убеждение о масонстве, как организации, цель которой является разложение всякой власти, дабы, в конце концов, установить всемирное господство еврейства. Как раз в эти годы я принадлежал к масонству и быстро повышался в его «градусах», также быстро убеждаясь, насколько неосновательно мнение о всемогуществе этой организации и даже о ее интернациональном характере; поэтому я имел полную возможность опровергать все доводы Кауфмана, но никакого эффекта на него мои доводы не производили.

Очень скоро его сменил старый профессор Шварц. Как и другие министры-профессора, Боголепов, Зенгер и Кассо, он был из Московского университета и так же, как они, очень правых взглядов. Из всех их выделился один Кассо, да и то не в положительную сторону, все же остальные ушли бесследно. Это были годы борьбы правительства с университетской автономией и со студенческими беспорядками, и министры из профессоров – сторонников правых взглядов, были бессильны дать им перевес в университетах. Кассо, точно неизвестно, благодаря кому попавший в министры (возможно, что, будучи бессарабцем, благодаря Крупенским), прославился удалением из Московского Универси-

тета группы профессоров-кадетов, но и он своей цели не добился и быстро сам вылетел из министров. По-видимому, повлиял на это впрочем тоже скандал с молодыми Денисовыми, сыновьями выборного члена Гос. Совета, узнавшими про связь их матери с Кассо и избившими его. Из непосредственных его помощников стоит отметить лишь профессора барона Таубе, обладавшего незавидным талантом раздражать своими выступлениями в Думе по самым мелким вопросам всех, кроме крайних правых. Он производил впечатление шавки, науськанной на Думу и нападавшей на нее, не разбираясь, есть ли для этого основание. В эмиграции Таубе принял целиком немецкий тезис, что никакой вины в 1-й войне с немецкой стороны не было, и читал на эту тему доклады, производившие грустнейшее впечатление.

Надо впрочем сказать, что в Министерстве народного просвещения отделы среднего и особенно начального образования не страдали тем окостенением, которым болели руководители ведомств. В них сидели люди сравнительно молодые и живые, у которых всегда можно было найти отклик на местные запросы. Мне не раз приходилось бывать в них по нашим новгородским, а еще больше старорусским делам и я не zapomню, чтобы мне приходилось встретить безразличие или желание свалить дело на чужие плечи. Очевидно, тон задавал им директор Департамента Анциферов, человек скромный и скорее незаметный, но очень горячо относившийся к своему делу.

При наличии такого отношения к делу, не удивительно, что когда во главе министерства стал живой человек, Игнатьев, работа его приняла сряду другой характер. Из Министерства земледелия Игнатьев принес с собой принцип сотрудничества с общественными элементами (до него допускавшийся лишь в области начального образования) и за его короткое пребывание в министерстве было в нем сделано больше, чем за предшествующие полвека. Не со всем, что было тогда сделано в области среднего образования, лично я был согласен, но новый дух, внесенный Игнатьевым, заставлял забыть те мелкие сомнения, которые возбуждала его реформы.

Немало разговоров возбуждала всегда деятельность Министерства путей сообщения. Уже к 1900 г. две трети нашей железнодорожной сети перешли в собственность государства, но остававшиеся к тому времени в руках частных обществ крупные железнодорожные предприятия продолжали все время развиваться, получая постоянно разрешения на постройку новых и новых линий. Роль частного капитала в них, однако, все более

и более уменьшалась. Еще с самого введения в России концессионной системы, постройка новых частных линий производилась под контролем правительства (правда не всегда достаточно строгим), а еще около 1890 г. все тарифное дело было сосредоточено в Министерстве финансов, и у нас в самом начале были пресечены этим многие злоупотребления, которые на почве тарифной и до сих пор еще не совсем изжиты в Соединенных Штатах. Расширение оставшихся частных обществ было всегда связано с продлением концессионного срока, причем всегда изменялись условия концессии и обычно увеличение чистой прибыли предприятий делилось между акционерами и государством, которому доставалась все большая ее доля.

Такая железнодорожная политика была вызвана затруднениями в заключении новых государственных займов, необходимых для постройки новых линий. Частным обществам заключать эти займы при тогдашних биржевых условиях было легче и поэтому часть этих обществ и была сохранена. Роль их в России, впрочем, никогда, не была аналогичной той, что они играли во Франции и особенно в Соединенных Штатах.

За казенный счет была за последние 25 лет перед революцией построена из крупных линий лишь одна сибирская магистраль. Уже после 1900 г. выяснилась необходимость постройки по стратегическим соображениям линии Бологое-Полоцк, ускорявшей на несколько дней нашу мобилизацию. Постройка эта была произведена казной, но деньги на нее были получены во Франции специальным займом, проведенным французским правительством, ибо экономически эта линия прибылей не обещала. После японской войны и первой революции и частные, и казенные железные дороги работали сперва в убыток и, если не ошибаюсь, то только в 1909 г. положение вошло в норму.

Министром путей сообщения мы застали военного инженера генерала Шауфуса (всю его четырехэтажную фамилию я точно не помню), человека честного и толкового, но не крупного. Вскоре его заменил Рухлов, большую часть своей службы прошедший в Гос. Канцелярии, – несомненно, умный и живой человек, хорошо ознакомившийся вскоре со своим делом. Из товарищей министра при Рухлове надо еще упомянуть двух очень дельных специалистов: профессора Щукина, известного его проектами паровозов, и Думитрашке.

Постройка новых линий обсуждалась в департаменте железнодорожных дел Министерства финансов, в особой комиссии, в которую приглашались представители городов, земств и других ор-

ганизаций в районе, который предполагалось облагодетельствовать этой линией. Мне пришлось несколько раз выступать в ней по поручению Новгородского земства в защиту постройки линии Царское Село-Новгород-Валдай-Москва. Заседания эти привели меня, однако, к убеждению, что они служили лишь отдушиной для выпускания проявлений местного недовольства. Заявления с мест были настолько противоречивы, а подчас и абсурдны, что согласовать их было абсолютно невозможно, и мне припоминается, что уже в одном из этих заседаний у меня появилась мысль, зачем министерство теряет время, выслушивая наши заявления.

Кстати отмечу еще, что тогда же усомнился я в справедливости многих из нареканий на инженеров в том, что они сознательно обходили города, которые им не давали взятки для того, чтобы они приблизили к ним линию и вокзал. Что взятки они иногда брали и изменяли соответственно трассу линии, я не сомневаюсь, но думаю, что нарушение их долга заключалось подчас именно в этом приближении станций. В случаях, когда речь шла о каких-нибудь уездных трущобах без какого-либо будущего и с населением в 2-3 тысячи человек, удлинение линии даже на одну версту вызывало дополнительный расход в несколько десятков тысяч рублей. Кроме того, удлинение линии увеличивало эксплуатационные расходы, на что обычно внимания не обращалось, ибо соответственно увеличивались и сборы, но, в конце концов, платила за все эти излишки страна в ее совокупности и платила, в сущности, зря.

Кажется весной 1913 г. (а, быть может, и 1914 г.) мне пришлось быть у Рухлова в составе депутации Новгородского земства, чтобы просить его об ускорении перестройки Шимского моста через Шелонь, единственной задержки к окончанию перешивки на широкую колею линии Чудово-Старая Русса. Ответ Рухлова был, что единственное для этого препятствие недостаток металла из-за общей слабости нашей металлургической промышленности, отстававшей от роста потребностей страны. Помню, что указал он, что Шимский мост не единственный в этом положении и сослался на Минераловодскую ветвь, на которой также не могли быть перестроены мосты и по той же причине.

Мне остается еще коснуться Министерства торговли и Гос. Контроля. Министром торговли в момент открытия 3-й Думы был Философов, к которому все относились с большим уважением, но через месяц он умер в Мариинском театре, во время парадного спектакля. Заменил его Шипов, считавшийся раньше способным человеком, но как министр ничем себя не проявивший. В его вре-

мя в Думе рассматривались законопроекты о страховании рабочих от болезней и от несчастных случаев. Защищал их живой и умный специалист по вопросам социального страхования Литвинов-Фалинский. Сейчас, конечно, эти законопроекты могут вызвать у многих только улыбку своими узкими пределами, но тогда они были большим шагом вперед, который республиканская Франция собралась сделать лишь на четверть века позднее. Принципиальных возражений против него никем в Думе сделано не было, но московские промышленники устами барона Тизенгаузена, бывшего докладчиком этих вопросов, попытались еще более сузить область его применения, в общем, впрочем, безуспешно.

Шипов ушел из министерства также незаметно, как и был министром, и заменил его Тимирязев, агент Министерства финансов в Берлине, пользовавшийся в то время вместе с таким же агентом в Париже Рафаловичем, репутацией великого финансиста. С этой стороны он себя в министерстве ничем не проявил, но привез с собой нравы западных финансовых кругов. Должен подчеркнуть еще раз, что, как и вообще Россия была страной отсталой, таковой была она и в области политической и общественной безнравственности. Проявления денежной нечестности имели еще в ней примитивный характер; брали взятки, но тех усовершенствований способов использования власти в личных интересах, которые существовали и существуют на Западе, и особенно в Америке, в России не было. Не скажу, чтобы и Тимирязев проявил что-либо особенно новое; во всяком случае, однако, он оказался скоро скомпрометированным в деле самом по себе ничтожном, но предвещавшем другие, гораздо большие посягательства на государственное достояние.

Я уже упоминал, что в нашей среде был приват-доцент Годнев, обладавший душою контрольного чиновника. Занимался он проверкой отчетов по исполнению государственных росписей, и на этой почве у него установились близкие отношения с чиновниками госконтроля, которые часто сообщали ему о тех или иных непорядках, по которым им не удавалось добиться их устранения. По-видимому, этим путем получил он сведения о представлении никому неизвестному отставному генерал-майору Сенявину участка нефтяных земель в районе Баку. На эти казенные земли еще за несколько лет до того были назначены торги, которые были, однако, опротестованы в Сенате, который их и отменил. Сейчас я не припоминаю подробностей этого дела, но, в общем, в нем были заинтересованы все тузы нашей нефтяной промышленности, и речь шла о многих миллионах. Поэтому решение Сената,

усомнившегося в чистоте всей операции торгов, всеми приветствовалось, и вот в это время Тимирязев между прочими мелкими делами подсунил Государю проект повеления о предоставлении Сениявину порядочного участка в наиболее богатом нефтью районе. Государь подписал это повеление, но как только Годнев узнал о нем, в Думу был внесен запрос. Говорили тогда, что Сениявин был выпущен вперед в виде пробного шара, с тем, что если его концессия пройдет незаметно, то за ней пойдут следующие и, в конце концов, торги будут сведены на нет. В числе других конкурентов называли сослуживца Государя по лейб-гусарскому полку Голенищева-Кутузова-Толстого и управляющего Собственной Е.В. Канцелярии по принятии прошений – Мамонтова. Благодаря запросу эта комбинация, однако, не прошла и, наоборот, последствием его явился уход Тимирязева с министерского поста. Заменил его управляющий Гос. Банком Тимашев, человек порядочный, но скорее незаметный.

Государственный Контроль был учреждением, я бы сказал, исключительным во всем мире, и с точки зрения моральной, очень высоко стоявший. Мне всегда казалось, что в нем более чем в каком другом учреждении выявлялась большая моральная высота русского народа, по сравнению с другими племенами. Несомненно, что и преступления и злоупотребления среди русских были, быть может, не менее многочисленны, чем в других странах, но тогда как там они считались чем-то более или менее нормальным, у нас на них смотрели, как на нечто, чего не должно быть. Легендарные разбойники, вроде Кудеяра, на старости лет шедшие в монастыри, или Некрасовский Влас, именно и отражают эту сторону русской морали. В области государственной нашей деятельности Контроль олицетворял эту особенность нашей психологии. Кроме проверки бумажной отчетности он осуществлял также и фактический контроль над работами за счет казны и над поставками ей. Эта его деятельность часто вызывала нарекания, контроль обвиняли в излишнем формализме (что подчас, несомненно, бывало), но самая возможность его вмешательства в осуществление любой хозяйственной операции имело громадное оздоровляющее значение.

Надо, однако, признать, что в высших сферах Контроля подчас наблюдалась уступчивость, которой не было внизу и которую не всегда можно было одобрить. Вызывалась она «высшими государственными соображениями», но, конечно, можно спросить, была ли она, в конце концов, полезна государству или нет; в действительности Гос. Контролер был членом Совета Министров и как

таковой, сидя за одним столом с другими министрами, неизбежно должен был не слишком настаивать на разоблачении изъянов в их ведомостях, особенно, если они наблюдались на верхах. По этому поводу мне припоминается рассказ Булатова-отца, управлявшего эмеритальной кассой Министерства юстиции по поводу придинок к нему Контроля. Дело было еще в додумский период, и как-то, рассердившись, он спросил представителя Контроля, почему он обращает внимание на мелочи, в которых по существу ничего неладного не было, а наряду с этим промолчали, что у Булатова в какой-то ведомости не хватало нескольких миллионов, не помню уже куда-то переведенных. «Ведь вы же должны были заметить это?» – спросил он. — «Заметить-то мы заметили, но сумма была очень крупная и мы знали, что она найдется, а, кроме того, ссориться с Министерством юстиции не хотелось».

Государственными Контролерами были все люди честные и, в общем, достаточно независимые. В прошлом отмечу Т.И. Филиппова, большого любителя русского фольклора и, в частности, церковного и народного пения. «Третий Иванович» был популярен в самых разнообразных кругах и даже попал в один из Горбуновских анекдотов. Из высших чинов Контроля отмечу еще Васильева, как и Филиппов, близкого к славянофильским кругам и ходившего всегда в поддевке.

В 1906 г. Гос. Контролером был крайний правый Шванебах, при Столыпине замененный Харитоновым, считавшимся в Совете Министров представителем левого крыла. Сын его был членом 3-й Думы и сидел среди прогрессистов; вероятно и отец его был приблизительно тех же взглядов. Уже во время войны он был заменен Покровским, о котором я уже говорил.

Бюджетные прения начались, кажется, в марте, тогда как бюджетный год начинался уже с 1-го января. То же повторилось и в следующие годы, почему возникло предположение о перенесении начала исполнения сметы на 1-е июля. Технически это оказалось, однако, столь сложным, что так и не было никогда выполнено. Начинались эти прения всегда длинным докладом Алексеенко, которого все слушали с большим вниманием, хотя оратором был он не блестящим. Во время общих прений выступали и представители всех партий, а также неизменно Коковцов. То же повторялось при обсуждении отдельных смет, только Алексеенко заменили докладчики по этим статьям, а вместо Коковцева защищали их соответствующие министры. Министр иностранных дел выступал всегда с особого разрешения Государя, которому по Основным Законам принадлежало исключительное право руководить ино-

странной политикой. Обычно в этих речах делался министром обзор всего нашего международного положения. Критиками нашей дипломатии выступал обычно с левой стороны Милюков, защищавший Болгарию, в которой он был одно время университетским профессором, против того сдержанного отношения к ней или, вернее, к князю Фердинанду, которое не скрывали в нашем Министерстве иностранных дел. Справа эта политика критиковалась за холодные отношения к Германии, тогда как, по мнению этого крыла, основою нашей политики должно было быть восстановление союзных отношений между обеими монархиями.

Позднее у меня создалось впечатление, что в основе этих нападок лежало опасение (основанное на отражении в стране неудач Японской войны), что новая война, на этот раз с Германией, будет иметь последствием серьезные революционные движения в стране и падение царского режима. Отсюда естественно вытекала мысль о необходимости сближения с Германией, что предупредило бы войну, но естественно за счет отдаления, а, быть может, и разрыва с Францией. Не знаю, насколько это сознавали ясно думские правые главари, но таков был общий ход мышления П.Н. Дурново, который, конечно, политически стоял гораздо выше Маркова 2-го и компании. Что избежание любой войны должно было быть задачей любого правительства, не возбуждало, конечно, сомнений ни в ком, но союз с Германией никому, кроме крайних правых, тогда не улыбался, ибо ни у кого не было веры в то, что он не послужит для Германии исключительно для достижения мировой гегемонии.

В прениях по сметам остальных министерств затрагивались самые разнообразные вопросы тогдашней политики; произносились речи подчас блестящие и умные и принимались пожелания о тех или других нововведениях, но, оглядываясь сейчас назад, я должен подивиться, с одной стороны, безразличию, которое проявлялось правительством к этим пожеланиям, выполнение многих из коих только устранило бы ряд нареканий на правительство, а с другой – иллюзиям, которые руководили нами еще в 1914 г., чтобы через семь лет работы еще думать, что этими пожеланиями возможно что-либо достигнуть.

Весной 1908 г. в связи со сметой Министерства путей сообщения обсуждались проекты постройки Амурской железной дороги и прокладки 2-го пути на всем протяжении Сибирской линии до точки, откуда от нее должна была отделиться Амурская линия. Это работа должна была быть закончена в 1912 г., но затянулась и, если не ошибаюсь, была закончена лишь в 1914 г. На некото-

рых участках она, в сущности, была полной их перестройкой для устранения больших уклонов. Насколько я помню, заданием этих работ было достижение пропускной способности всей линии в 40 пар поездов. Постройка Амурской линии вызвала возражения со стороны незадолго перед тем вступившим в Думу талантливого молодого кадета, инженера Некрасова, находившего проект недостаточно разработанным, особенно в головной его части. Впервые пришлось нам тогда ближе подойти к вопросу о строительстве в районе вечной мерзлоты, который, однако, на Амурской линии не явился, по-видимому, большим препятствием для работ. Проект прошел тогда в форме, предложенной министерством, и позднее других возражений не возбуждал.

В начале мая состоялось обсуждение финляндских запросов: кроме моего, был внесен еще другой, правыми, о революционном движении в Финляндии и о деятельности в ней организации «Войма». Еще когда у меня были разговоры с Корево, он убеждал меня упомянуть в моем запросе об этой организации, но я от этого уклонился, после чего он, видимо, передал бывшие у него материалы правым. В начале прений Столыпин заявил, что правительство берет на себя составление законопроекта об общемперском законодательстве с Финляндией. После этого наш запрос сам собою отпадал, и был мною затем снят, однако, с возражениями против него выступили меньшевик Гегечкори и Милюков. Гегечкори был не знаком с финляндским вопросом, и его аргументы особого впечатления не произвели.

Речь Милюкова была гораздо серьезней, и мне пришлось подробнее ее разобрать. Главные его аргументы совпадали очень точно с доказательствами гельсингфорского профессора Германсона, на что я и указал в моей речи. Это указание настолько обидело Милюкова, что в конце прений он выступил по личному вопросу с заявлением, что его мнения имеют самостоятельный характер. Мне впервые пришлось тогда говорить большую речь (что-то около часа); перед тем как начать ее, я порядочно волновался, а в дальнейшем необходимость напрягать голос меня несколько утомила. Я позднее убеждался, что когда мне приходилось выступать по каким-нибудь вопросам, не возбуждающим большого интереса и мне лично безразличным, говорил я всегда хуже, чем когда я волновался. По финляндскому запросу моя речь шла гладко, но когда я стал уставать, то к ужасу своему заметил, что не знаю, что дальше говорить. Никогда я не писал своих речей (позднее, когда в эмиграции мне пришлось говорить на иностранных языках, пришлось от этого правила отказаться) и брал на кафедру лишь

небольшую записочку с перечислением того, о чем придется говорить. Пришлось в этот раз сделать усилие воли, взяться за свою шпаргалку, восстановить ход мыслей и благополучно закончить речь. Все это я выполнил, не переставая говорить, и в зале мои затруднения остались незаметными, но сам я и посейчас не могу вспомнить спокойно этих тревожных мгновений, в другой раз более никогда не повторившихся.

После этих запросов Дума вернулась к бюджету и впервые напала на Щегловитова, которому ставили в укор его давление на судей. Как известно, они пользовались несменяемостью, но на практике это их право обходилось. Судье, деятельность которого министерством признавалась неподходящей, предлагалось на выбор: или добровольно уйти в отставку или послужить объектом особого дисциплинарного производства в Сенате. Обычно, зная политические взгляды сенаторов, судьи с более или менее левыми взглядами предпочитали сами подать в отставку. Вот эта-то практика, развившаяся при Щегловитове, и послужила объектом критик в Думе и не только со стороны одних левых.

Обсуждение законопроекта о контингенте новобранцев вызвало предложения диаметрально противоположного характер. Дума приняла без прений пожелание о привлечение к отбыванию воинской повинности всех народностей, обитающих в пределах Империи, но параллельно с этим правые внесли предложение об освобождении от отбывания ее евреями. Антисемитизм правых ни для кого не был секретом, и он проявлялся по всем вопросам, к которым можно было пристегнуть евреев, но в вопросе о воинской повинности их выступления были особенно настойчивы, и ряд лет они настаивали на устранении от нее евреев. При обсуждении контингента новобранцев, Редигер заявил еще, что сверх технического оборудования армия особенно нуждается еще в увеличении в ней числа сверхсрочных унтер-офицеров; требования его были, однако, очень ограничены: по его словам было бы вполне достаточно иметь их по два на роту.

По смете Министерства юстиции было принято пожелание о скорейшем внесении законопроекта о реформе Сената, которое и было исполнено Министерством, хотя оно и уменьшило значительно в своем проекте объем независимости этого высшего административного судилища по сравнению с первоначальным проектом, выработанным «Сабуrowsкой» Комиссией в 1905 г. Другое пожелание – это по смете Министерства внутренних дел, о внесении проекта реформы полиции, было выполнено лишь в

1912 г., но, как я уже указывал, в Думе этот законопроект не получил движения.

Когда, после летнего перерыва мы собрались вновь в октябре 1908 г., нам в первых же заседаниях пришлось столкнуться с вопросом об устранении от участия в заседаниях Думы членов ее, привлеченных к следствиям в качестве обвиняемых. Речь шла тогда об устранении наших коллег кадета Колюбакина и социал-демократа Косоротова. Насколько мне помнится, принципиального разрешения этот вопрос тогда не получил, ибо очень скоро и Колюбакин и Косоротов были осуждены за произнесенные ими еще до созыва Думы речи и выбыли из Думы, а позднее таких случаев вновь обсуждать ей не пришлось.

Во 2-ю сессию в числе законопроектов, внесенных в Думу, был один, меня очень заинтересовавший – о реорганизации управления Дальним Востоком. По этому законопроекту предполагалось, между прочим, организовать новую Камчатскую губернию. Этот после Крымской войны совершенно забытый край меня интересовал уже давно. Теперь я перечитал все наши материалы о нем, какие только мог найти, повидал ряд лиц, начиная от будущего генерал-губернатора Гондатти до упоминавшегося мною Ландсберга, и у меня явилась мысль бросить Думу и просить о назначении меня Камчатским губернатором. Выполнена она мною не была, ибо жена оказалась против нее: нашей старшей девочке шел уже 8-й год, надо было думать об ее ученье, а во всей будущей губернии было тогда, если не ошибаюсь, всего лишь одно начальное училище, в Петропавловске. Жалеть мне об этом позднее не пришлось, но сейчас, когда я читаю о всем, что после революции было открыто и сделано во всем этом огромном районе, мне подчас становится жалко, что я тогда не привел в исполнение моей мысли ехать туда. Губернаторами на Сахалин и на Камчатку были назначены тогда весьма заурядные чиновники (а на Сахалин просто глупый), и не удивительно, что в обеих губерниях до революции ничего сделано не было.

В Судебной комиссии мне в эту сессию пришлось докладывать маленький законопроект о размежевании земель в Карской и Батумской областях, который позднее вызвал поправки со стороны кавказских членов Гос. Совета и рассматривался в согласительной комиссии. Тогда мы не обратили внимания на поправки, внесенные в нашу редакцию, но, припоминая сейчас этот законопроект, должен признать, что он осуществил, в сущности, серьезную аграрную реформу. В этой местности действовали еще турецкие, или точнее мусульманские законы, по которым собственником

всех земель является султан, предоставляющий земли в пользование отдельным лицам. Конечно, это была лишь фикция, ибо это право пользования ничем не отличалось от права собственности, но редакция Гос. Совета во всяком случае, незаметно для нас устранила и этот остаток государственного права на землю.

Во 2-й сессии я уже сосредоточил свое внимание в Комиссии Гос. Обороны на вопросах военно-санитарных. Во главе Военно-санитарного ведомства стоял тогда врач Евдокимов. Надо сказать, что у этого ведомства репутация была до него неважная, и он ее не изменил. Утверждали, что все назначения на должности старших врачей производились за мзду. Проверить этого мне не пришлось за все пять лет, что я занимался санитарной сметой, и ни одного наглядного примера подобного назначения за плату мне ни разу указано не было. Но что общий дух управления был затхлый, это несомненно, и Евдокимов его не освежил, хотя ему и удалось провести реформу, сделавшую врачей хозяевами всего военно-санитарного дела. Необходимо сказать, что в войсках врачи все еще находились в худшем положении, чем офицеры, хотя культурный их уровень был и значительно выше среднего офицерского уровня. Чины они получали гражданские, погоны их были уже офицерских, и еще держалось старое презрительное их прозвище «клизтирных трубок». Провести приравнение врачей к офицерам Евдокимову не удалось – предубеждение против этого было еще очень сильно, но зато в военно-госпитальном строе, где до него врачи лишь лечили, а вся административно-хозяйственная часть принадлежала военным и чиновникам с подчинением им врачей, он добился, наоборот, первенства врачей.

Надо, однако, признать, что результаты этой реформы ко времени 1-й войны совершенно не сказались. Карьера военного врача в те времена далеко не являлась заманчивой, и за редкими исключениями все, что среди них было способного, по отбытии обязательных лет службы, сбегало на гражданскую службу. Во время 1-й войны мне не раз приходилось встречать дивизионных и корпусных врачей, быть может, и вполне почтенных людей, но за десятилетия своей службы превратившихся в чиновников военного ведомства, вне своей канцелярии ничего не знавших.

Отмечу еще, что военное ведомство в число врачей не допускало евреев. Таким образом, получился в теории абсурд: в Военно-Медицинскую Академию, предназначенную готовить врачей для армии, студенты-евреи допускались, но по окончании курса двери в эту самую армию им были закрыты. Иные обходили это, переходя фиктивно в лютеранство, но для других это был во-

прос совести драматического характера. На него, однако, скоро обратили внимание правые и внесли в одну из комиссий пожелание о прекращении доступа евреям в Академию, что и произошло и в Комиссии, а затем и в Думе.

По мелким законопроектам об ассигновании средств на постройку новых зданий для Академии мне пришлось несколько раз быть в ней и столкнуться, между прочим, с курьезным фактом, когда рутина все делает, чтобы обойти новшества. В Академии уже было, если не ошибаюсь, построено одно здание для квартир служащих и испрашивались средства на постройку второго. Мне показали, в каких печальных условиях живет этот персонал, и естественно, что возражений у меня против постройки этого здания не нашлось. Однако, тут же мне рассказали, что некоторые из служащих отказываются от переезда в новые квартиры: в новом здании одна кухня полагалась на этаж, то есть, на 6 квартир, и жены служащих боялись, что совместная готовка будет поводом для постоянных ссор. В особенности любопытным был случай сторожа покойницкой, в которую свозились полицейские покойники со всего города для анатомического театра Академии: зарезанные, раздавленные, утопленники, часто изрядно разложившиеся. Помещался этот сторож с женой и несколькими детьми в одной каморке напротив покойницкой, в полуподвале, в атмосфере, даже в мороз отдающей гнилью. Однако даже и этот сторож не желал оставлять своего соседства с покойниками для квартиры в новом здании.

Я уже упомянул выше, что мне, как и всем членам Думы приходилось иметь разговоры с различными лицами, так или иначе заинтересованными в том или ином законодательном вопросе. В числе этих лиц у меня побывала в эту зиму элегантная дама, как оказалась окончившая юридический факультет в Париже, возбудившая тогда вопрос о допущении женщин в число адвокатов. Об этом было внесено в Думу законодательное предположение, но против него категорически восстал Щегловитов – по каким мотивам, в сущности, никто не знал – и дело дальше не пошло.

Во 2-ю сессию с осени рассматривались в Думе вероисповедные законы, в общем установившие свободу совести. В этом случае, в общем, октябристы шли заодно с левым крылом. Наоборот, правые хотели вернуться к прежнему положению недопустимости ослабления официальной роли православия и к запрещению образования старообрядческих общин. Победить им, однако, не удалось. Позднее, уже к весне, рассматривался законопроект об изменении авторских прав, по которому кадеты настаивали на сокращении 50-летнего срока пользования им наследниками ав-

тора до 30 лет. Предложение это, однако, не прошло. Вопрос о предоставлении иностранцам одинаковых прав с русскими авторами, на котором в те времена особенно настаивало французское правительство, особого внимания к себе не привлек, ибо в ту пору подобное соглашение было бы далеко не в пользу России.

Не помню, что послужило мотивом для образования в конце этой сессии особой городской комиссии: не то законопроект об образовании особой правительственной комиссии по канализации и водоснабжению Петербурга, не то законодательное предположение о пересмотре Городового Положения. Я был выбран председателем этой комиссии и оставался им до 1914 г. Работа ее шла дружно, без осложнений, но вместе с тем и незаметно. Представители ведомства в ней Анциферов и его помощник Евстифеев и позднее Витте были всегда настроены мирно, но за пять лет работы комиссии оно все-таки ничего серьезного не сделала.

За эту зиму в Думе был рассмотрен ряд интересных запросов. Первый из них касался деятельности саратовского епископа Гермогена и его конфликта с губернатором Татищевым. Насколько я знаю их по рассказам (ни того, ни другого лично я не знал), оба были люди порядочные и деликатные, но Гермоген опоздал рождением на два столетия, и вся психология его не подходила к послереволюционному времени. В результате он был из Саратова переведен куда-то в Сибирь.

Правые внесли запрос о деятельности наместника на Кавказе Воронцова-Дашкова. Назначен он был туда уже стариком на месте князя Гр.Гр. Голицына, известного во время оно в Петербурге под именем Гри-Гри Голицына, по-видимому, пользовавшегося когда-то большим успехом у женщин, но вне этого ничем не отличавшегося. Попал он на Кавказ в период предреволюционного брожения, и разобраться в нем абсолютно не сумел. В вопросе же армянском своим распоряжением о взятии в казенное управление церковных имуществ, которые, по его мнению, служили источником, из которого питалось революционное движение, он объединил против русской власти все самые разнообразные группы армянского народа.

Заменивший его Воронцов-Дашков приехал в Тифлис с самыми благими намерениями умиротворить Кавказ, но как раз при нем разыгралось революционное движение и, как почти всегда бывает в подобных случаях, его средняя политика вызвала нарекания с обеих сторон. В своем запросе правые напали на него за его слабость и не всегда удачные назначения. Про Воронцова говорили, что он по старости находится под влиянием жены

и своего правителя канцелярии Петерсона, на которого и была направлена главная атака правых. Когда говоривший в этот раз очень удачно Пуришкевич очень ярко и отрицательно обрисовал Петерсона, представитель Воронцова в Петербурге член Гос. Совета барон Нольде назвал его «клеветником». Представители правительства не подлежали дисциплинарной власти председателя Думы и ее самой, и слова Нольде не могли следовательно вызвать реакции, которая последовала бы за такими же словами любого члена Думы. Однако они вызвали довольно дружное негодование, и объяснения Нольде были признаны неудовлетворительными. Это был единственный случай за все время существования Думы и вполне подтвердивший правильность ее тактики. Никаких последствий ни для Воронцова, ни для Петерсона это постановление не имело, да и вообще, перед выбором Государя между Думой, которой он не симпатизировал, и людьми, которым он в тот момент доверял, преимущество несомненно было на стороне последних.

Я уже упоминал по поводу Милюкова о запросе о деятельности «Союза Русского Народа». Личное выступление Милюкова, по моему мнению, только ослабило самый запрос, заслонив суть его различными мелочами, но, оглядываясь сейчас назад, я думаю, что вообще все тогдашние крайние правые организации были очень переоценены. Уже тот факт, что, несмотря на тогдашний избирательный закон, дававший все преимущества правым элементам, «Союз Русского Народа» мог провести в 3-ю и 4-ю Думы всего около 10% ее членов, является в этом отношении показательным. Определенно союзническое большинство было во всех избирательных собраниях только в Курской губернии. По остальным губерниям крайние правые проходили или лично, ввиду своей прежней репутации, или в результате избирательных соглашений. В 4-ю Думу, например, по Саратовской губернии одни и те же выборщики избрали крайних правых и эсеров. У крайних правых мог бы быть шанс на успех в массах, если бы они приняли аграрную программу более или менее социалистического характера, но главные их руководители принадлежали к помещичьему классу и они на это не пошли. Оставались осуждение террора и антисемитизм. Однако, вне черты еврейской оседлости лозунг «бей жидов» эффекта не производил, а эсеровский террор, при всей его подчас абсурдности, имел все-таки, вероятно, не меньше сторонников, чем противников. «Союз Русского Народа», во всяком случае, партией масс не стал и поддерживался преимущественно мелким городским мещанством. Надо, впрочем, отметить, что его высту-

пления против террора привлекали к нему симпатии полиции, особенно, где среди ее чинов было больше убитых. Маленькая любопытная подробность: докладчиком по этому вопросу выступил Протопопов, говоривший против «Союза Русского Народа» столь определенно, что кто-то из правых назвал его доклад «апологией революции» – это был тот же человек, который через 7 лет чуть ли не принадлежал к этому союзу.

Наконец, в эту же сессию был рассмотрен и запрос о провокационной деятельности охранных отделений по поводу разоблачений Азефа. Что секретная полиция имела своих агентов в революционных организациях и что они, дабы не быть обнаруженными, должны были принимать участие в совершении террористических актов, секретом не было ни для кого. Однако, факт, что в данном случае агентом департамента полиции оказался глава эсеровской центральной боевой организации, которая между другими удачными актами совершила убийство вел. князя Сергея Александровича и Плеве, поставил всех в тупик. Столыпин, выступивший сам с объяснениями по запросу, признал, что Азеф был платным агентом полиции и только отрицал, чтобы она была в курсе наиболее крупных организованных им покушений. Что Столыпин был искренен в этих объяснениях, я не сомневаюсь, но был ли он убежден, что при этой системе он сам более или менее безопасен, не думаю. Я уже приводил мнение С. Шидловского о том, что министр внутренних дел является, в сущности, главой правительства, будучи сам, однако, в руках своего начальника полиции. Позднее я убедился, однако, что эту цепь надо продлить дальше: директор Департамента полиции (большею частью не полицейский специалист) зависел от своего начальника «особого отдела», ведавшего охранными отделениями и имевшего свою специальную агентуру. В свою очередь эти отделения имели своих агентов, и обычно каждое из этих учреждений хранило их имена в секрете от остальных. Кто из этих агентов искренно работал на полицию, она сама сказать не могла, и среди них были, несомненно, люди, которые брались за работу с полицией, чтобы вводить ее сознательно в заблуждение в интересах партии. Чаше, однако, это были люди малодушные, которые, когда их рано или поздно обличали в партии, принимали подчас на себя выполнение того или иного террористического акта. Как известно, так погиб и сам Столыпин.

Еще осенью 1908 года Австрия аннексировала Боснию и Герцеговину. Этот акт вызвал общее негодование во всех славянских странах, и в Петербурге состоялась уличная манифестация в районе австрийского посольства. Должен был говорить по этому

вопросу профессор Погодин, но его лекция была запрещена полицией. Выступление в Думе Извольского было очень слабо, и, наоборот, речь Милюкова была, быть может, самой его сильной в Думе. Как я уже упоминал, все признавали, что тогда мы воевать не можем, и единственным возможным выводом было, что нам надо принять аннексию, как свершившийся факт и... узнать вскоре, что Извольский перестал быть министром.

Осенью 1909 г., когда мы собрались вновь в Думе, нам пришлось познакомиться еще двумя другими новыми министрами – обер-прокурором Синода Лукьяновым, недолго занимавшим этот пост между Извольским и Саблером. Профессор-медик, он стоял одно время во главе Института Экспериментальной медицины (где его, кажется, заменил Павлов), но было ли у него что общего с синодальным ведомством, не знаю. На посту обер-прокурора он остался, во всяком случае, незаметным. Несомненно, гораздо более ярким оказался Сухомлинов. Еще в Турецкую войну он был начальником штаба какой-то кавалерийской дивизии и получил георгиевский крест. Способностей его никто не отрицал, и профессура в Академии Генштаба как будто их подтверждала, но так как ему, по-видимому, все легко давалось, то это сделало его ленивым и развило в нем верхоглядство. Уже до назначения его командующим войсками в Киев, он потерял жену, которую очень любил, и уверяли, что когда в Киеве он встретил хорошенькую жену инспектора народных училищ Бутовича, очень будто бы походившую на его первую жену, то он сразу ею увлекся. Бутович был человек состоятельный, и когда она согласилась развестись с ним, чтобы выйти за Сухомлинова, гораздо более старого, чем Бутович, и ничего, кроме жалования, не имевшего, то прельстило ее, по-видимому, его положение. Получение развода оказалось, однако, гораздо более сложным, чем обычно: Бутович отказался его дать добровольно. Уверяли, что на него было произведено давление, чтобы он не только принял на себя вину, но и уступил жене часть своего состояния. Это его возмутило, и он вообще отказался дать развод, и Сухомлинову пришлось прибегнуть к жесвидам. Разводная процедура в те времена была очень сложной и без жесвидетелей вообще ни один развод не обходился. Однако, не знаю почему, в разводе Бутовича эти свидетели показали, что Бутович изменял жене где-то на юге Франции, причем как потом выяснилось, во время, когда он был в России. Поэтому Бутович поднял дело о жесвидетельстве, французские следственные власти по поручению киевского следователя выяснили правильность его обвинений, и вся переписка пришла в

наше Министерство юстиции, где Щегловитов спрятал ее сперва в своем столе. А позднее, когда об этом пошли разговоры, дошедшие до Думы, то все дело о лжесвидетельстве было прекращено по Высочайшему повелению.

До этого момента ничего по тогдашним понятиям позорящего Сухомлинова не было. Однако скоро оказалось, что его молодая жена предъявляет к нему денежные требования, которых он удовлетворить не в состоянии. Тогда начались его поездки по всем окраинам России с целью наездить побольше прогонов. Рассказывали в Думе, что его поездка на Дальний Восток дала ему 13000 р. Всего этого оказалось, однако, мало, и скоро пошли разговоры о сомнительных операциях, связанных с именем Сухомлинова. Первой была концессия на земли в Бухаре (что-то около 60000 десятин), предоставленные эмиром, как утверждали, по просьбе Сухомлинова некоему князю Андроникову. Этот князь, о котором не раз говорили в последние годы империи, был личностью, во всяком случае, курьезной. Лично я его никогда не знал, никаких должностей он не занимал и долго никакого внимания к себе не привлекал. Уверяли, что при всех назначениях министров, даже людей ему совершенно незнакомых, он посылал им поздравительные письма, а если они были женаты, то и цветы их женам. В большей части случаев никаких последствий это не имело, но фамилия его оставалась у всех в памяти и, если ему приходилось обращаться с какой-либо просьбой, то отношение к нему было любезное. До Бухарского дела, впрочем, ничего неладного про него не говорили, и вообще, о нем заговорили больше лишь в связи с Распутиным. После Бухарского дела стали вообще говорить об обстановке, в которой живет Сухомлинов; стали упоминать имена двух киевлян: двоюродного брата Сухомлиновой – Гашкевича (она сама была дочь акушерки Гашкевич) и Альтшулера, которые оба были привлечены позднее в качестве обвиняемых по делу Сухомлинова. Какие у них были дела с ним, я не знаю, но утверждали, что благодаря его поддержке они получали выгодные подряды, о которых были заблаговременно осведомлены. Какая была роль во всем этом Сухомлинова, сказать невозможно, но о его жене создалось общее и единодушно отрицательное впечатление.

Припоминаю, что кто-то в Думе рассказывал, что, быв у Сухомлиновых, он встретил в их гостиной Альтшулера и Мясоедова и тут же на боковом столе увидел планы работ в одной из наших крепостей. Возможно, что это была просто случайность, но, во всяком случае, нежелательная. Вообще, разговоры о Сухомлино-

ве начались, впрочем, не в связи с его денежными затруднениями, а в связи с личностью Мясоедова, которого Борис Суворин в своем «Вечернем Времени» назвал немецким шпионом. Не буду напоминать главные этапы этого дела, но расскажу только про появление в связи с ним в комитете Гос. Обороны Сухомлинова. Когда он давал нам свои объяснения, он очень волновался и на большинство из нас произвел просто жалкое впечатление. Мясоедов реагировал на обвинение его избиением Суворина и вызовом на дуэль Гучкова. У меня тогда осталось впечатление, однако, обо всем этом инциденте, что шпионом Мясоедов не был. Не знаю, как он попал в число близких Сухомлинову людей, но Гучков, осведомленный о делах Военного министерства, обвинял Сухомлинова в том, что он ввел жандармскую слежку в офицерских собраниях и руководство этим делом поручил именно Мясоедову, тогда жандармскому ротмистру. До Сухомлинова вопрос о наблюдении жандармов за политической благонадежностью офицеров путем привлечения к нему самих же офицеров всегда отклонялся военными министрами, и Сухомлинов был первый, согласившийся на него, что и вызвало критику Гучкова.

После этого скандала Мясоедов скрылся с Петербургского горизонта, и вновь о нем заговорили лишь во время войны, когда он был обвинен в шпионаже и повешен. В эмиграции я прочитал две статьи об этом деле, согласно которым виновность Мясоедова отнюдь не была на суде доказана бесспорно, и он явился козлом отпущения за грехи других. Вспоминая теперь, что следствие о нем вел следователь Орлов, позднее по жалобе американского журналиста Кникербокера осужденный за продажу последнему сфабрикованных им, якобы советских, документов, не могу вполне устранить мысли, что действительно вина Мясоедова была очень гущена, если не вполне измышлена.

Возвращаясь к Сухомлиновой, упомяну еще про разговор о ней в Париже с Казариновым, ее защитником в процессе, где главным обвиняемым был ее муж. Казаринов горячо доказывал, что его клиентка, оправданная уже после Февральской революции особым составом присяжных, стояла совершенно в стороне от всякой служебной деятельности ее мужа. Возможно, что это так и было, но, во всяком случае, эта молодая, красивая и легкомысленная жена старого и влюбленного мужа дорого обошлась не только ему, но и России, хотя весьма вероятно, что она и не сознавала всего значения своего поведения. Как они бросали деньги, приведу один пример: в начале июня 1914 г. я был в Красном Селе у брата Адама, отбывавшего тогда ценз в своем Конном

полку. Вечером у его жены собралось несколько офицеров полка и в числе их Курчанинов, через два месяца после этого убитый под Каушеном. Он незадолго до того был в Египте, где, хотя он и был из богатой семьи, ему оказалось не по карману проехать к Нильским водопадам; бывшая же в Египте одновременно с ним Сухомлинова взяла до этих водопадов отдельный вагон.

Вскоре после своего назначения министром Сухомлинов заметил начальника Главного Интендантского Управления Полякова начальником Киевского военного училища Шуваевым. Вскоре Шуваев приехал в заседание комиссии Гос. Обороны, как он сам говорил, познакомиться с нами. Произвел он на нас впечатление простого, но хорошего человека, и в дальнейшем сохранил свою репутацию честного и работающего, но не слишком мудреного человека. Сообщил он нам выработанную им схему реорганизации интендантского управления, предпослав ей слова, что это его личное произведение: «Сел я за него в своем кабинете, передо мной в углу икона, вот мой стол и я за ним». Все это было сказано так мило, что как-то сряду к нему всех расположило.

В Судебной комиссии стал с этого года появляться новый старший юрисконсульт Трегубов, заменивший Милютина, ставшего директором департамента. Юрисконсультская часть была очень дружной, талантливой и порядочной организацией, насколько я мог судить, энергично отстаивавшей свои взгляды. На ней лежала, разработка всех доходивших до министерства сложных юридических вопросов и дача по ним заключений. Трегубов оказался более живым человеком, чем несколько вялый Милютин, но общее направление юрисконсультской части при нем не изменилось. Позднее в эмиграции я получил от него из Сербии программу намечавшегося там съезда находившихся в эмиграции русских юристов, в организационной комиссии которого он был председателем. Программа эта произвела на меня прямо странное впечатление: казалось, что ее авторы забыли все прошедшее, не только с 1917 г., но скажем с 1880 г. В программе встречались такие вопросы, как – надлежит ли награждать судей орденами или выплачивать им прогонные по лошадям. Трегубова я знал, как несомненно умного человека, и то, что он подписал эту программу, я мог себе объяснить лишь тем, что он не мог отделаться от давления авторов таких вздорных вопросов. Во всяком случае, я ему послал тогда мои замечания по вопросам программы, но что с ними сталося не знаю.

В 3-ю сессию Дума занялась, главным образом, законопроектом о местном суде, который докладывался Шубинским; при по-

статейном его обсуждении иногда заменял его я. В общем, законопроект этот в основных его частях восстанавливал мировой суд, таким, каким он был создан в 1864 г., с одним значительным изменением: председатель Съезда должен был назначаться министерством, а не выбираться самими судьями из их среды. Объяснялось это необходимостью иметь в Съезде главой опытного юриста, против чего возражать было трудно, но, кроме того, было и другое соображение, официально не выдвигавшееся. Надо было девать куда-то уездных членов Окружных Судов, фактически большею частью председательствовавших в упраздняемых уездных съездах – они и должны были стать председателями мировых съездов.

Личные соображения, вообще, всегда играли роль и, как я уже упоминал, преобразование 8-орудийных батарей в 6-орудийные задерживались тем, что оно должно было повлечь за собой упразднение должностей дивизионных командиров-подполковников и на ряд лет затормозить продвижение офицеров в штаб-офицерские чины.

Закон о местном суде фактически был введен в действие до войны только в Юго-Западном крае. Он требовал значительного увеличения кредитов по Министерству юстиции, и Министерство финансов старалось поэтому растянуть его введение на ряд лет. Таким образом, его достоинства и недостатки так и не смогли проявиться на практике.

За эти годы мне пришлось доложить в Судебной Комиссии, а затем в Думе, несколько второстепенных законопроектов. Один из них – о зачете предварительного заключения перед судом в срок наказания – был вполне резонен при медленности нашего следственного производства, но вызвал возражения со стороны правых, боявшихся ослабления уголовной репрессии. С другой стороны, также я докладывал закон о преследовании за угрозы в общем, а не частном порядке. В те годы участились разные виды вымогательства под угрозой мести или шантажа, и потерпевшие из страха предпочитали молчать, чтобы не выступить на суде частными обвинителями. Новый закон облегчил их положение; насколько я помню, этот закон возражений не встретил. Гораздо больше прений возникло в связи с двумя законопроектами об ответственности должностных лиц за их неправильные действия – ответственности уголовной (по которой доклад был сделан Антоновым) и гражданской, доложенный мной.

Оба законопроекта вводили лишь второстепенные улучшения, оставляя в силе принцип так называемой «административ-

ной гарантии», по которому государственный или общественный служащий подлежал ответственности лишь в случае, если неправильность его действий признавали и власти, определившие его к должности. Несомненно, что при этом могла быть чрезмерная снисходительность к виновному, но порядок этот существовал тогда почти во всей Европе и наше правительство, обычно шедшее в деле законодательных новшеств в хвосте за западными странами, очевидно боялось отказаться от этой «административной гарантии». Наоборот, левый наш сектор настаивал на ее отмене.

По вопросу о гражданской ответственности должностных лиц был поднят еще другой вопрос – об ответственности за них казны. В этом случае на нее было бы лишь распространено общее правило частного права об ответственности нанимателей за их служащих. Так как громадное большинство должностных лиц жили исключительно на их жалование, то, конечно, правило об их личной материальной ответственности за их неправильные действия было лишь фикцией, и подавляющее большинство потерпевших этих дел не возбуждало, не говоря уже о других соображениях, просто потому, что все равно с виновного нечего было взыскивать. Однако против гражданской ответственности казны категорически было Министерство финансов, опасавшееся больших по этой статье расходов, и в результате Дума только приняла пожелание о разработке правительством этого вопроса.

В 3-ю сессию прошли еще земельные вопросы, докладывавшимися, главным образом, С. Шидловским. За эти годы первоначальный Столыпинский закон в значительной степени развился, и стало ясно, что одно запрещение переделов и закрепление в личную собственность черзполосных участков не может дать благоденствия деревне, и поэтому в новых законах развивалась техника сведения этих участков в отруба и затем расселение деревень на хутора. Как я уже говорил, в обсуждении этих вопросов я участия не принимал.

К весне 3-й сессии в Думу был внесен законопроект об общеперском законодательстве в Финляндии, для рассмотрения которого была избрана особая комиссия под председательством Крупенского; докладчиком был назначен я. Сряду же Гучков, тогда еще бывший председателем Думы, передал Крупенскому и мне просьбу Государя не затягивать рассмотрение этого законопроекта. Главными отличиями этого проекта от указа 1899 г. было то, что теперь к закону был применен перечень вопросов общеперского законодательства и, ввиду создания Думы, в нее, и в Гос. Совет вводились несколько представителей от Финляндии для

участия в рассмотрении общеимперских вопросов. Перед внесением этого законопроекта в Думу он был передан на заключение Финляндского Сейма, который, однако, отказался от его рассмотрения, считая его противоречащим финляндской конституции. И позднее он отказывался от избрания своих представителей в Думу и Гос. Совет.

Правительственный проект, по моему убеждению, шел слишком далеко, и посему я предложил в комиссии исключить из перечня некоторые пункты, что и было принято. В общем собрании Думы против законопроекта выступили вновь Милюков и Маклаков, а также Мейендорф, речь которого произвела своими юридическими доводами впечатление в центре, так что мне пришлось сряду выступить с возражениями против нее. Труднее всего, однако, было возражать Маклакову, доказывавшему, что надо повторить попытку соглашения с финляндцами (эту мысль он повторил и в своих напечатанных в Париже мемуарах). Наоборот, моя точка зрения была и остается до сих пор, что подобная попытка была бы совершенно излишней; думается мне, что если бы Маклаков знал финляндских политиков так, как я их знал, быть может, он меньше настаивал бы на своей идее. Переход к постановочному обсуждению прошел 2/3 голосов, но после этого левый сектор вышел из залы, и постановочное обсуждение прошло без него. Это дало большинство правым, которые могли благодаря этому восстановить в перечне все исключенные из него комиссией пункты. В дальнейшем в Думу на основании этого закона были внесены всего два других законопроекта – один о замене отбывания воинской повинности финляндцами денежным взносом Финляндией в имперское казначейство в размере 20 миллионов марок и о правах русских в Финляндии, к которому мне еще придется вернуться.

Кажется, в марте 1910 г. Думе вновь пришлось вернуться к вопросу о провокации в связи с запросом о взрыве на Астраханской улице, в котором погиб начальник Петербургского охранного отделения Карпов. По этому вопросу были высказаны предположения (насколько мне помнится, главным образом, прогрессистом генералом князем Шервашидзе), что Карпов погиб от преждевременного взрыва бомбы, которую он сам готовил для какого-то покушения совместно с террористом Петровым. Доказательств в пользу этой гипотезы в сущности никаких не было, и надо думать, что Карпов был лишь одним из многих звеньев той цепи, которая началась Судейкиным и через Селиверстова дошла до революции, цепи жандармских офицеров, которые самыми разнообраз-

ными способами завербовывали в свои агенты попавшихся в их руки более духовно слабых из числа террористов. Кстати, отмечу, что среди этих, менее известных, убитых своими агентами жандармов, был генерал Вонсяцкий, начальник охранного отделения или жандармского управления в Радоме, отец будущего «главы» русских фашистов. Младший Вонсяцкий, женившийся на американской миллионерше, содержал, как говорили, на свой счет всю свою организацию, впрочем, исчислявшуюся всегда единицами членов, кроме Харбина, где ее поддерживали также японцы. Во время последней войны мне пришлось читать, что американские власти арестовали и судили этого Вонсяцкого за его деятельность на пользу немцев и японцев.

При обсуждении сметы Министерства народного просвещения Пуришкевич произнес большую речь об университетских порядках. В ней, как и вообще во всем, что говорилось и им, и правыми, меня сейчас удивляют две особенности. Пуришкевич много говорил о разврате среди студенчества; вероятно, он был прав, утверждая это, но я думаю, что не ошибусь, если скажу, что жизнь групп более состоятельных, чем средний уровень нашего студенчества, была гораздо более развратной. Несомненно, были у нас и «огарки», и типы, вроде Санина, но были ли они специальной характеристикой этого периода? Много говорили тогда и о чрезмерном увлечении молодежи политикой. Опять же возражать против этого нельзя, но и это не было каким-нибудь особым явлением тогдашней русской жизни. Политиканство этой часто незрелой молодежи является последствием отсутствия ее веры в своих отцов и особенно отсутствием свободы и веры в правительство. Наблюдается она во всех странах, где жизнь не идет спокойно по налаженным издавна рельсам и, если наши дети не удовлетворяются установленным при нас строем, то надо ответить сперва на вопрос, кто в этом виноват – они ли или мы сами? Странно не то, что молодежь часто бывает левой, а то, что она бывает способна, подчас, не быть идеалистичной, хотя бы этот идеализм и влек ее к крайностям, от которых она позднее сама отказывается. С годами взгляды меняются, но нельзя же отрицать, что в среднем молодежь гораздо более искреннее и честнее нас, умудренных опытом стариков. Мне передавали, что в Петербургском университете одновременно были социалистическими студенческими старостами известный уже тогда «товарищ Абрам» (Крыленко), будущий католический патер Кузьмин-Караваев и советник старика Форда в период увлечения его антисемитизмом – Бразоль. Странного в таком расхождении их путей нет ничего, и осуждать за него нель-

зя, но еще меньше можно осуждать молодежь за ее увлечения. А что взгляды людей меняются под влиянием событий, примером этому может служить тот же Пуришкевич, которого позднее крайние правые осуждали в эмиграции за его нестойкость в 1917 г. в отношении монархии.

В общем, обычно недостаточно считаются с обстановкой: мне вспоминается не раз Милоков, в политической честности которого я глубоко убежден. После аннексии Боснии в одной из своих речей он сказал, что «готовы потерять Сибирь до Байкала те, кто мечтает вновь водрузить крест на Св. Софии», а сам в марте 1917 г. оказался сторонником этого водружения. В ноябре 1916 г. он был проповедником 100-процентной верности союзникам, летом 1918 г., наоборот, считал необходимым соглашение с немцами. А во время 2-й войны, находясь во Франции под властью оккупировавших ее немцев, страстно желал победы Советской России – и, повторяю, несмотря на эти противоречия, сомнений в его искренности у меня никогда не было.

Кажется уже в 4-ю сессию была опубликована утвержденная Государем инструкция о порядке утверждения узаконений, касающихся государственной обороны, о которых я уже говорил выше. Это вызвало новый запрос, по которому хорошую речь сказал Савич, разоблачивший всю правую подоплеку этого вопроса, имевшую целью сперва свалить Столыпина, а затем резко повернуть всю политику назад. Оправдывая эту инструкцию, Столыпин в своей речи сказал, между прочим: «Россия недовольна правительством, недовольна всеми, потому что недовольна собой». Несомненно, что в те времена недовольство собой было в России, но едва ли был прав Столыпин, придавая ему такое широкое значение. Быть может, было бы точнее сказать не про недовольство, а про брюзжание, про оправдание своей бездеятельности, своего постепенного погрязания в болото повседневной жизни громкими фразами про пошлость жизни, про ее печальную обстановку, в которых часто сами же произносящие их бывали виноваты. Связывать, однако, это брюзжание с недовольством правительством было совершенно неправильно.

Обсуждение этого запроса кончилось ничем, ибо на почве тогдашних основных законов правительство было право, а эти основные законы принимались всеми, как существующий факт, обойти который было невозможно.

Другой запрос, по поводу проведения закона о западном земстве во время трехдневного перерыва сессий законодательных учреждений закончился признанием объяснения Столыпина не-

удовлетворительными, что, однако, сряду было забыто, ибо, как все знали, его действия уже заранее были санкционированы Государем.

В эту сессию был еще принят запрос об аварии броненосца «Славы» и связанной с этим неудовлетворительной работе судостроительных заводов. Было при этом указано, что крейсер «Громобой» после Японской войны ремонтировался 4 ½ года, а затем после первого плавания вновь пошел в ремонт. Тем не менее, именно в эту сессию Дума ассигновала средства на постройку новых броненосцев, ибо Григорович провел, наконец, реформу заводов морского ведомства. В дальнейшем быстрота постройки новых судов значительно увеличилась, но, конечно, с английской не сравнялась.

За 2-е – 4-е сессии Думы в нее вступил ряд новых членов взамен тех, кто умирал или кто отказывался. Среди правых появился Новицкий, часто выступавший с удивительно противными, сладенькими речами. Более интересны были три новых депутата-кадета: дельный инженер и недурной оратор Добровольский, управляющий Юго-Восточными железными дорогами, товарищ московского городского головы Щепкин, потомок известного актера и хороший и честный человек, в Думе, впрочем, большой роли не сыгравший, и бывший министр земледелия – Кутлер. Я уже говорил о его предположениях по вопросу о принудительном отчуждении помещичьих земель, на которых он сломал себе шею после того, как Витте не поддержал его. Насколько я его узнал в Думе, это был тип очень добросовестного, усидчивого кабинетного работника, но весьма скучного оратора, который в Думе себя ничем не проявил и через два года переизбран не был.

Кстати, говоря о новых членах Думы, вспоминается мне еще один из тех, которые пробыли со мной в ней все 10 лет и которого следует упомянуть в виде курьеза. Это был наш октябрист Ключев, самарский инспектор народных училищ и уже пожилой человек. Выступал он редко, и скучные его речи были обычно набором громких фраз. В заседаниях Думы он все время что-то записывал; кто-то как-то подсмотрел забытую им книжку, и оказалось, что он заносит в нее содержание речей всех ораторов и, как старый педагог, туда же ставит им отметки по пятибалльной системе; хохоту по этому поводу было немало.

Отмечу еще, что вообще Дума оказалась испытанием для многих провинциальных деятелей, которое далеко не все из них выдержали. В Думе оказались необходимыми и более широкий кругозор и большая трудоспособность, чем это требовалось от уезд-

ных и губернских деятелей, но надо признать, что выдержавшие думский экзамен еще не оказались в большинстве пригодными для занятия постов государственного значения.

В 4-ю сессию из второстепенных вопросов, кроме мелкого законопроекта, одного из немногих прошедших по инициативе Думы, о почти полном уравнивании наследственных прав женщин с мужчинами, прошел еще принятый Городской комиссией законопроект о передаче дела водоснабжения и канализации Петербурга в особую правительственную комиссию, о которой я уже упоминал. Против него возражали во имя того же принципа независимости органов местного самоуправления, кадеты Кутлер и Щепкин и крайний правый граф Бобринский, но успеха не имели. Лично я и был, и остаюсь убежденным, что петербургская городская Дума самостоятельно этих вопросов с места не смогла бы сдвинуть. На основании этого закона была создана комиссия под председательством профессора Чижова, которая ко времени войны разработала проект водоснабжения Петербурга из Ладожского озера, но, по-видимому, не оказалась при тогдашнем состоянии техники способной выработать удовлетворительный проект канализации в Петербургском плывуне.

На рассмотрение этого законопроекта я запоздал, задержавшись на несколько дней в Ницце, куда мы поехали с семьей провести праздники с родителями жены. Мой тесть уже тяжело болел сердцем (через 1½ года он и умер) и мы с женой и детьми поехали его навестить. Это было первое наше знакомство с Ривьерой и ее красотами, и не думали мы тогда, что через 20 лет нам придется вновь оказаться на ней уже в совсем другой обстановке.

Этой зимой в Гос. Думе горячие прения возбудил законопроект о всеобщем народном образовании. В общем, он содержал в себе положения бесспорные, но было в нем и одно новшество: в первые годы начальной школы допускалось преподавание детям на их родном языке; левые шли дальше этого, а наоборот правое крыло увидело в этом чуть ли не потрясение всех основ государства. Теперь это покажется только смешным, но всего 40 лет тому назад с подобными возражениями приходилось очень и очень считаться.

Наконец, в эту же сессию был рассмотрен и вопрос о волостном земстве или о мелко-земской единице, прекрасно докладывавшийся Ю. Глебовым. В сущности, он сводился к привлечению к участию в земской единице, заменявшей прежнюю волость чисто крестьянского характера, лиц всех других сословий, живущих или владеющих имуществами в ее пределах. Так как, однако, и в

правых, да и в центральных группах Думы было сильно опасение, что это мелкое земство тяжело отзовется своим обложением на частном землевладении, то была введена сложная система курий. Много споров вызвал также вопрос об оставлении на волостных земствах различных административных функций, лежавших тогда на волостных правлениях, но освободить от коих земства не нашли возможным; пришлось бы для этого создать особые административные органы, средства на которые тогда не находились. Законопроект этот, впрочем, был похоронен в Гос. Совете в числе ряда других, так называемого, «левого» измышления, и не стоило и пытаться даже повлиять на комиссию, в которой он застрял, чтобы его продвинуть.

Весной 1911 г. в Киеве был найден убитым мальчик Ющинский, и по этому делу в Думу было внесено два спешных запроса – правыми и левыми, одинаково недовольными судебными властями. По одному из них мне пришлось возражать против спешности, ибо наша фракция считала вмешательство законодательных органов в это чисто судебное дело совершенно недопустимым. На полицию, а затем на следствие потом сыпались по этому делу самые разнообразные обвинения, и несомненно, что в начале, когда не предвиделось, какое значение будет придано этому делу, на некоторые подробности не было обращено достаточное внимание, и на этом потом играли стороны. Я не читал тех документов по этому делу, которые были опубликованы после революции, и видел только отчет о них в эмигрантской печати, возможно и не точный. Во всяком случае, мне кажется, однако, что они не противоречат тому, что мне было ясно уже тогда, что все это дело было крайне неприятно правительству. Страсти были настолько обострены вокруг него, что любой шаг властей вызывал вопли то с той, то с другой стороны.

В конце концов, один только акт мог быть поставлен в вину суду: включение в список присяжных, из коих подлежали избранию 14 человек, судивших Бейлиса, преимущественно малокультурных людей. Однако мне в Старой Руссе приходилось председательствовать в Комиссии, которая ежегодно составляла большой список лиц, могущих быть включенными в число присяжных, если память мне не изменяет, по 60 человек на каждую сессию. Из них суд отбирал 36, и вот здесь, собственно, и мог только проявиться произвол суда. Перед вытаскиванием жеребьев присяжных, входящих в состав их по каждому отдельному делу, прокурор и защита могли отвести по 3 имени. Возможно, что суд исключил сознательно из списка 60 имен интеллигентов, но надо признать, что в

то время, еще до суда, почти у всех их были столь определенные и часто предвзятые мнения, что едва ли они могли быть вполне беспристрастными судьями.

Несомненно, однако, что в среде мелких горожан и крестьян Украины существовал антисемитизм и что он мог сыграть свою роль и в ответе присяжных по вопросу о ритуальном характере убийства. Во всяком случае, их независимость сказалась в оправдании Бейлиса. Дело его разбиралось через 10 лет после окончания рассмотрения дела Дрейфуса, и в общем надо признать, что киевский суд присяжных показал себя гораздо более беспристрастным, чем различные элементы французского суда, высказывавшегося по делу Дрейфуса. Не хочу быть чрезмерным националистом, но мне всегда казалось и продолжает казаться, что русский народ всегда проявлял большую чуткость к вопросам справедливости, чем западные.

Не могу обойти здесь, раз коснувшись его, вопроса о ритуальных убийствах. В Бейлисовском процессе личность самого обвиняемого ступала совершенно за ним, так что кто-то правильно сказал, что, в сущности, в Киеве судили не Бейлиса, а еврейский народ. Не говоря о том, что защитниками и представителями гражданского иска выступили наиболее видные русские ораторы, криминалисты того времени, отрицавшие ритуальный характер убийства с различных точек зрения, он был поставлен и перед экспертами. Врачи, лучшие специалисты по судебной медицине и в числе их мой бывший профессор Носорогов, и теологи, знатоки еврейских учений, подробно мотивировали свои заключения. Определенно высказался за существование у евреев ритуальных убийств один лишь католический патер Пранайтис, несомненно отразивший в свои словах те взгляды, которые существовали тогда в Польше. В 1914 г. уже во время войны, когда мне пришлось быть в Сандомире, я зашел с женой в одну из католических церквей, где она увидела большую картину, изображающую убийство евреями христианского младенца. Тут же зашел разговор с настоятелем этой церкви, и он нам категорически заявил, что только в России ритуальные убийства стоят под вопросом, тогда как в Польше никто в них не сомневается.

Позднее, уже в Париже у меня был на эту тему интересный разговор с Г.В. Слиозбергом, ранее видным петербургским адвокатом-цивилистом, знатоком Талмуда и членом различных еврейских международных организаций. Я ему задал вопрос, что подобно тому, как фанатики-изуверы появляются в самых различных религиях (я сослался ему, помню, на известное самоистребление

фанатиков-христиан в Терновских плавнях), не могут ли иметься не меньшие фанатики и среди евреев? Он, однако, страстно отрицал возможность этого, и мне даже показалось, что мой вопрос, несмотря на наши добрые отношения, произвел на него неприятное впечатление. Евреи, вообще, народ с повышенной страстностью (быть может, сейчас под влиянием многих веков гонений), но в вопросе о ритуальных убийствах эта страстность только вредит им.

Дело Бейлиса далеко отвлекло меня от нашей личной жизни, к которой я вернусь теперь. Я уже писал про поездку моего брата Адама в Индию. Вскоре после нее он отправился в новую экспедицию в Китайский Туркестан и Монголию. Опять маршрут ее был назначен Генеральным штабом, и опять брат совершил ее целиком на собственные средства. Если не ошибаюсь, ему был только придан конвой из пяти казаков. Первую часть своего пути (в общем, он сделал около 13000 верст) он сделал со своим однополчанином Кушелевым. Прошли они сперва в Китайский Туркестан, отсюда через Кашгар они направились на север частью по пути Потанина, а частью по местам еще ни одним европейцем не посещенным. Приблизительно дойдя до широты Урги (Улан-Батора), они повернули на восток, и месяцев через 20 были в этой столице Монголии. Кушелев отсюда вернулся в Петербург, а брат пошел дальше на Лянчжау и оттуда на запад вдоль северной границы Тибета. Вернулся он через Улясутай и Манас, откуда вышел на Зайсанек. Продлилось всего это путешествие почти 30 месяцев и в результате брат сдал в Генштаб маршрутную съемку всего своего пути и описание его. В Географическом обществе он сделал доклад о своем пути и напечатал брошюру о статистических своих подсчетах о Монголии. Все время он делал также записи местных легенд и сказок, и по возвращении напечатал их отдельной книгой. Зимой 1912-1913 г. он был занят этой работой и в это же время познакомился со своей будущей женой, тогда Феофанией Владимировной Пашковой. Дочь присяжного поверенного, Вл. Дан. Хвольсона и его жены*, автора известных «Мурзилок», она была племянницей известного физика профессора Хвольсона и внучкой тоже известного ученого-гебраиста и профессора Д.А. Хвольсона. Красавица и удивительно милая, хорошая женщина, она с весны 1913 г., когда состоялась их свадьба, дружно делила с братом все их радости и гораздо более многочисленные невзгоды 1-й Большой войны и гражданской, а также эмиграции и 2-й во-

* А.Б. Душкиной. – *Примеч. сост.*

йны вплоть до смерти брата в 1946 г. К ним мне еще не раз придется возвращаться позднее.

Летом 1911 г. Государь поехал в Киев и его сопровождал туда Столыпин. В антракте парадного спектакля в театре агент охранного отделения и революционер Богров смертельно ранил Столыпина. Вся обнаружившаяся на следствии картина была столь печальна и глупа, что сряду пошли разговоры, что чины полиции, зная, что отношение Государя к Столыпину уже не то, сознательно допустили его. В это мне не верится, но надо сказать, что во всем обнаруженном тогда было достаточно, в лучшем случае, «странностей», чтобы оправдать появление подобных слухов. Расследование всего этого дела было поручено сенатору Трусевичу, а заключение по делу обер-прокурору Сената Кемпе. Обоих их я знал по Новгороду, и если Трусевич, о котором я уже говорил выше, быть может, был недостаточно беспристрастным к своим неудачным преемникам по Департаменту Полиции, то Кемпе, бывший председатель Новгородского Окружного Суда был тип добросовестного немца. Заключение его о предании суду Курлова, Веригина, Спиридовича и Кулябко было достаточно обосновано, и не было, во всяком случае, как позднее, в своих записках пытался доказать Спиридович, подлаживанием под тогдашний тон, наоборот, освобождение всех этих четырех лиц от ответственности по высочайшему повелению произвело на всех очень тяжелое впечатление. Влияние на прекращение этого дела Спиридовича несомненно: он был самым крупным из всех обвиняемых, был начальником дворцовой охраны и весьма вероятно, что среди жандармов был одним из самых талантливых. Предание его суду повлекло бы за собой замену его на посту начальника царской охраны, что вызывало опасения в дворцовых кругах, а прекращение дела об нем одним было невозможно.

Надо думать, что Государю доложили, что прекращение дела необходимо также для поддержания престижа власти, и он дал свое согласие. Основным ответственным лицом за убийство Столыпина был, конечно, начальник Киевского Охранного отделения Кулябко, по всему, что мне пришлось слышать, очень заурядный жандармский офицер, попавший на этот пост, по-видимому, благодаря тому, что был свояком Спиридовича. В дни пребывания Государя в Киеве он не справился с работой, и помощь Спиридовича ему не помогла. Разговоры о Богрове у них, как ныне известно, были, что покушение на Столыпина готовилось, они знали от него самого, и совершенно непонятно, что они именно его оставили вне своего наблюдения и даже допустили его на вы-

сочайшем смотру в ближайшем соседстве Государя. В эту пору мой будущий свояк Снежков был начальником Киевского Удельного округа и занимал квартиру во дворце. Уже заблаговременно и он и все служащие его управления были взяты охраной на учет и пропускались во дворец, лишь после строгой каждый раз проверки, а Богров, элемент с охранной точки зрения, во всяком случае, сомнительный, был допущен с револьвером в кармане на несколько шагов от Государя. Курлов и Веригин в данном случае попали под следствие скорее за компанию: не думаю, чтобы имея на наиболее ответственном посту Кулябко, они могли бы изменить положение в Киеве. Однако, образ жизни их в Киеве был таков, что не возбуждало сомнений (это было подтверждено и следствием), что секретные суммы департамента полиции шли на их кутежи. Про Курлова я уже говорил, Веригина же помню только по Правоведению, где он был на год моложе меня и ни в каком отношении ничем не отличался.

Много разговоров вызвало тогда то, что после ранения Столыпина Государь его не навестил в больнице, где тот умирал. Каково бы ни было личное его отношение к своему министру, тот пять лет без колебаний отстаивал монархию и погибал теперь за нее, почему никто не понимал такого безразличия со стороны Государя. Надо, впрочем, сказать, что это был не исключительный случай в его жизни: ни Ходынская катастрофа, ни Цусимский разгром не вызвали в нем какой-либо яркой реакции; однако, с другой стороны, и революция и все, что после нее произошло, он принимал, по-видимому, с той же покорностью судьбе. Утверждали, что, родившись в день Иова Многострадального, он считал себя обреченным на всякие несчастья и относился ко всему фаталистически. Так ли это было, не знаю, но в случае Столыпина ему, во всяком случае, несомненно, следовало бы его навестить. Вместо этого посещения Государь отправился со всей своей семьей, как полагалось по расписанию, в Чернигов. Как потом говорили, в это посещение он и Государыня обратили внимание на местного губернатора Маклакова. Злые языки утверждали, что позднейшим своим выдвижением на министерский пост он был обязан проявленным им в Чернигове талантом изображения зверей. Лично я его встречал только позднее, когда он был уже министром, и на меня он произвел какое-то очень серое впечатление. Того блеска, которым отличался всегда его брат, член Думы, у него абсолютно не было.

Припоминается мне особенно один очень оживленный обед у И. Капниста, после которого все говорили очень непринужденно

и один Маклаков оставался тем же скучным и холодным, как и когда приехал на этот обед. Как-то в 4-й Думе другой Капнист рассказал мне, что ему пришлось быть в Тамбове товарищем прокурора одновременно с этим Маклаковым и оба они по завещанию вдовы известного профессора государственного права и крупной помещицы Чичериной были назначены ее душеприказчиками. Законным наследником имущества ее и ее покойного мужа был будущий Наркоминдел Чичерин, но так как он уже тогда исповедовал социалистические убеждения, то завещание обходило его и оставляло все на общественные нужды. Не помню, пришлось ли Капнисту и Маклакову выполнить это поручение покойной. (Чичерин будто бы сказал тогда: «Пускай не достается мне, но не достанется тогда и никому другому»).

Исполнение обязанностей председателя Совета Министров после Столыпина легло на Коковцова, который затем и был назначен на эту должность. Если уже Столыпин не был в состоянии достаточно влиять на Государя, то по крайней мере ему подчинялись другие министры; у Коковцова же было еще меньше влияния на Государя, а кроме того и в Совете Министров мало кто с ним считался; особенно ярко повел при нем свою линию Щегловитов.

Коковцов определенно сознавал опасность оставления военным министром Сухомлинова; он получил на эту тему письмо от генерала Иванова, заменявшего Сухомлинова на посту командующего Киевским военным округом. Однако Государь на доклад Коковцова о необходимости смены Сухомлинова внимания не обратил и тогда Коковцов сообщил свой материал Гучкову, который, как я уже упомянул, смог его использовать лишь в малой мере наряду с полученными от военных, чтобы не выдать того, кто его осведомил.

В атмосфере не скажу беспокойства, но определенного недовольства собралась 3-я Дума на свою последнюю 5-ю сессию. В эту зиму в ней прошел законопроект о равноправии русских в Финляндии, по которому я опять был докладчиком. В сущности, нового он ничего не представил после прений по законопроекту об общеимперском законодательстве. Отмечу лишь, что одним из курьезов прежнего финляндского строя было, что если в Империи права евреев были ограничены, то в Финляндию они просто ни под какими условиями не допускались.

Не скажу, чтобы применение нового закона в Финляндии, ставшим в это время ее генерал-губернатором Зейном отвечало и букве и духу его, таким как они понимались в Думе и мною и вообще нашей партией. Мы считали, что он давал право службы

в Финляндии русским, удовлетворяющим требованиям, предъявляемым к местным уроженцам, в толковании же Зейна русские оказывались в привилегированном положении, в частности в отношении требований, предъявляемых к ним о знании обоих языков – и шведского, и финского.

В Городской Комиссии прошел в начале сессии законопроект о введении Городового Положения в городах Царства Польского, а после Нового Года он прошел и в общем собрании. Построен он был на той же системе национальных курий, что и западное земство, но здесь добавлялась еще особая еврейская курия, причем процент гласных-евреев был нормально ниже процента еврейского населения. Гласные могли в заседаниях дум говорить по-польски, но председатели их должны были говорить по-русски. Докладчиком по этому законопроекту был Кишиневский городской голова Синадино, националист, но в действительности гораздо более левый. Несколько раз я его заменял, и раз мне пришлось выступить с заключением, которого я позднее бы не сделал. В пределах Сувалкской губернии, населенной большею частью литовцами, было несколько городов с большинством литовского населения. Не помню точно кто, вероятно, литовец Булат, внес предложение, чтобы в них литовский язык был допущен в прениях городских дум и в делопроизводстве. Я против этого возражал, и Дума согласилась со мной. Насколько я припоминаю, я опасался, что употребление в заседаниях дум трех языков, из коих литовский тогда, кроме самих литовцев, мало кто знал, вызовет своего рода вавилонское столпотворение. Сознаюсь, что мысль об исключении польского языка, на котором говорило в этих городах небольшое меньшинство, мне сряду не пришла тогда в голову – в оправдание мое скажу, что происходило это в спешке заседания и что литовское заявление явилось для меня неожиданным.

Весной 1911 г. я купил автомобиль. И сейчас я в них не знаток, а тогда вообще ничего в этом вопросе не понимал, и покупка эта была определенно неудачна. Купил я маленький автомобиль французской марки «Loggance Dietrich» – сам по себе недурной, но совершенно неподходящий к нашим деревенским дорогам: главное – это, что он был слишком низок и постоянно задевал картером за мосты, которые у нас неизменно на четверть аршина возвышались над полотном дороги. Однако, обменяв его на немецкую машину «Опель» и в 1913 г., купив еще небольшой автомобиль «Гочкис», я постепенно стал приверженцем этого, тогда еще нового в России способа сообщения, в будущем которого многие тогда, ввиду плохого состояния дорог, очень сомневались.

Мой автомобиль был первым в уезде и вызвал немало курьезов. Недалеко от Рамушева увидевшая его старушка упала на колени и стала креститься; кстати, многие считали, что автомобиль приводится в действие бесовской силой, но этих скептиков смущала фабричная марка машины – лотарингский крест. Совместить крест с помощью дьявола они никак не могли. (Кстати, этот крест, близко походящий к нашему 8-конечному, не остался ли в Лотарингии наследием королевы Анны, дочери Ярослава Мудрого? Ведь известное славянское Реймское евангелие, употреблявшееся при короновании французских королей, тоже было принесено во Францию ею).

Был случай, что когда мы приехали в село Борки (в версте от станции Пола), к священнику прибежали его дети сообщить, что на железной дороге, очевидно, было крушение, ибо один вагон оторвался от поезда и докатился до Борков. Несчастных случаев со мной или вызванных мною не было, но раз я попал в Новгородскую газету, где меня обвинили в том, что я опрокинул телегу, чего в действительности не было; что было, это то, что на порядочном расстоянии лошадь напугалась отблесков солнца на стеклах автомобиля, резко повернула, ось соскочила со шкворня и лошадь ускакала в соседнюю деревню. Такие случаи испуга лошадей бывали не раз, и поэтому ездить приходилось очень осторожно, обычно останавливая при встречах мотор, чтобы не пугать лошадей. Много смеялись надо мной, что я заплатил за якобы раздавленного петуха, который по получении его хозяином полтинника, вскочил и убежал. Факт оказался верным, но только с возвращающимся в Рамушево шофером, скрывшим его от меня.

По моему примеру завели себе автомобили постепенно и наши родственники, но в 1914 г. все они были реквизированы на нужды армии.

Зимой 1911-1912 гг. я вступил в число членов Главного Управления Красного Креста и одновременно с этим в Совет Волжско-Камского банка. Не знаю, от кого исходила инициатива приглашения меня в Красный Крест, но я принял его с удовольствием. Главное Управление состояло из 25 лиц. Председателем его был тогда А.А. Ильин, глава картографического заведения, основанного его отцом, и выборный член Юс. Совета, очень порядочный и тактичный человек. Товарищем его был бывший новгородский прокурор и тогда сенатор Вилькен и генерал Мейендорф, хороший человек, но далеко не светило, во время японской войны бывший корпусным командиром. В 1911 г. он уже совершенно одряхлел. У него было много детей, и смеялись, что он говорил, что дойдя до 12, он

остановится; случилось, однако, что забеременев в 12-й раз, его жена родила двойню. Из членов Главного Управления, игравших роль до японской войны, оставался один Шведов, но теперь он такого значения не имея. Кроме меня из Гос. Думы был в Главном Управлении Гучков, из Гос. Совета Иваницкий и князь Голицын, будущий председатель Совета Министров. Из врачей, кроме Евдокимова, директора Медицинского департамента Малиновского и начальника санитарной части флота Зуева, в Красном Кресте работали красивый старик Шапиров и известный талантливый профессор терапевт Сиротинин. Отмечу еще генерала Трегубова, отца уже упомянутого мною юриста; он был физически и умственно бодр и посещал Главное Управление аккуратно, хотя и говорил в нем редко; он был участником еще Севастопольской кампании, а в Турецкую войну был прикомандирован к Сербской армии. Наиболее активную роль играл, однако, из всех членов Управления Ордин, бывший председателем Совета складов. Сын автора известной книги о Финляндии и сам готовившийся к профессуре по кафедре истории, он был исключительно добросовестным во всех отношениях человеком. Склады Красного Креста – центральный в Петербурге и отделения его в Москве, Тифлисе, Ташкенте и Иркутске – были его детищем. Совет их начал свою деятельность разработкой типов лечебных заведений Красного Креста военного времени и типов их оборудования, в общем оказавшихся в великую войну вполне удачными.

Много было разговоров о санитарных повозках, был произведен ряд испытаний их, и в конце концов был избран тогда так называемый финляндский тип их, но не могу сказать, чтобы на войне и они оказались идеальными, хотя, конечно, и были гораздо лучше повозок военного ведомства.

Ближайшим помощником Ильина был управляющий канцелярией Главного Управления Чаманский. Мне пришлось ехать с ним во время японской войны до Иркутска в одном поезде. В Харбине он работал в управлении Васильчикова, который, уйдя с поста министра, был предшественником Ильина на посту председателя Главного Управления и назначил тогда Чаманского управляющим Канцелярией, пост, на котором он оставался до 1918 г. Несомненно, он был человеком умным и очень ловким, но, лавируя между различными течениями и стараясь всем угодить, он заходил подчас слишком далеко в этом направлении. На него во время войны были нарекания в нечестности, в которые я не верю. Человек он был тогда богатый, и, имея брата бывшего директором Московского Купеческого банка, мог на бирже зарабатывать, наверняка,

громадные суммы, в сравнении с которыми те взятки, которые он мог бы получить, были ничем. Однако, повторяю, в своей готовности исполнять любые просьбы он не останавливался, например, перед зачислением в Кр. Крест лиц, которым место было в строю, и это-то и создало ему его отрицательную репутацию.

После революции он продолжал лавировать, на этот раз между политическими течениями, в результате чего к нему потеряли доверие более или менее все, тем более что он продолжал жить широко и на какие средства – неизвестно. В эмиграции его брат давал ему около 1921 г. 5000 франков в месяц, но расходовал он, несомненно, больше. Брат в свою очередь, оказавшись за границей с другими членами правления Московского Купеческого банка, стал распоряжаться остававшимися в Англии значительными суммами этого банка, но исключительно на выплату правлению жалований. Это вызвало протесты акционеров банка и даже предъявление к правлению иска в Англии, не остановившие, однако, расходования им денег исключительно на себя. Когда же деньги эти были все израсходованы, оба Чаманских и жена одного из них покончили с собой.

Если не ошибаюсь, во время японской войны Кр. Кресту были предоставлены два дополнительных сбора: по 5 рублей с заграничного паспорта и по 5 копеек с каждого железнодорожного билета выше известной стоимости. Эти сборы давали около полутора миллиона рублей в год, расходовавшихся, главным образом, на постройки в общинах Кр. Креста. Коснусь здесь, кстати, всего строя этого учреждения. Главное Управление выбиралось по уставу членами его, числящимися по Главному Управлению, что, однако, было фикцией, ибо на эти выборы собиралось всего около 50 человек, в значительной части служащих самого Управления. В губернских и уездных городах были комитеты Красного Креста и в ряде губернских городов Общины Красного Креста и другие учреждения. В Старой Руссе, например, была санатория для лечащихся на минеральных водах военнослужащих. Общины Кр. Креста были учреждениями автономными и управлялись их выборными комитетами; задачей их была подготовка сестер милосердия для военного времени, и для практики их при общинах обычно устраивались лечебницы, нормально становившиеся образцовыми учреждениями. Более крупные общины существовали в столичных городах, где во главе их стояли обычно видные дамы из высшего общества. Работа всех этих учреждений нареканий на себя не вызывала, и я припоминаю только один случай, вызвавший ревизию со стороны Гл. Управления: это была деятель-

ность московской общины «Утоли моя печали», выпускавшей известные почтовые открытки. Не знаю, каким путем дошли до Главного Управления сведения о злоупотреблениях на этой почве, но оно послало в Москву Вилькена для проверки деятельности этой общины. Отчет его был, безусловно, неблагоприятен для попечительницы общины Еремеевой, хотя прямых доказательств ее злоупотреблений он и не мог установить. Позднее эта особа восстановила свою общину в Добровольческой Армии, а когда эту общину пришлось эвакуировать из Новороссийска, то она за хорошие деньги зачисляла в санитары тех, кто бежал оттуда. Будучи, однако, женщиной умной, она везде умудрялась получать субсидии. Косвенно ей помогала в этом ее помощница Лопатина, чуть ли не молившаяся на нее. Лопатина, сестра московского профессора-философа, принадлежала к известной очень почтенной московской семье, и когда нужно было, Еремеева пряталась за безупречным ее именем.

Русский Красный Крест оказывал помощь обычно и во время общественных бедствий, явившись в этом отношении первым из всех красных крестов. Впервые при мне такая помощь была оказана населению низовьев Кубани, пострадавшему от наводнения; руководил ею генерал Дашков, тоже член Главного Управления. Более крупной была помощь Кр. Креста пострадавшим от неурожая в Поволжье, кажется в 1911-1912 гг. Главноуполномоченным Кр. Креста был назначен туда князь Голицын, будущий председатель Совета Министров. Оба они – и Дашков, и Голицын – были люди, безусловно, порядочные, но в заседаниях Главного Управления всегда молчали, да и вообще были очень бесцветны. Про работу их на Кубани и в Поволжье сказать сейчас ничего не могу; нареканий на нее не было, помощь нуждающимся была оказана, но наряду с Красным Крестом в ней принимали участие и Земский Союз, и Попечительство трудовой помощи. С последним учреждением скорее казенного характера, отношения Кр. Креста шли без всяких осложнений, с Земским же союзом уже тогда наблюдались нелады.

Когда впервые обсуждался вопрос о помощи голодающим на Волге, я возбудил вопрос о необходимости координации нашей помощи с работой Земского Союза и, переговоров на эту тему с председателем его кн. Львовым. Меня поддержали только Гучков и Кривенко. Все остальные присоединились к Ильину, который сообщил, что против нашей совместной с Земским Союзом работы было министерство внутренних дел и что посему Кр. Кресту было бы неосторожно принять мое предложение. Несомненно,

что Ильин никогда не забывал, что наша работа держится на полутора миллионах налоговых сборов и соответственно вел нашу политику. Я остался при особом мнении, которое и приложил к журналу, но только один Гучков присоединился к нему. Во время Греко-Турецкой войны были посланы на обе стороны небольшие отряды, во время же I-й Балканской был направлен целый ряд их во все страны, сражавшиеся против Турции. В Черногорию именно тогда, если не ошибаюсь, был отправлен руководить краснокрестным делом Иваницкий. В Болгарии был тогда Гучков, но как частное лицо, а не представитель Кр. Креста. Еще перед тем, после свержения Абдул-Гамида он побывал в Турции и вернулся оттуда с самыми благоприятными впечатлениями о младотурках, как сейчас видим, очень преувеличенными. Своих взглядов он не скрывал, и тогда крайние правые окрестили его самого младотурком. Весьма вероятно, что эти его отзывы повлияли на то, что его роль в Болгарии во время войны против этих самых младотурков была исключительно частной. Однако, когда болгарская армия не смогла взять Чатадджинских позиций и в Петербург приехал генерал Радко-Дмитриев просить помощи русского флота в этой операции или передачи болгарам нескольких судов нашего черноморского флота, то этот генерал оказался уже в самых лучших отношениях с Гучковым, и мне пришлось с ним обедать у Александра Ивановича. Курьезно было то, что с Радко-Дмитриевым приехал личный секретарь царя Фердинанда (фамилию его я не помню), который тоже обедал у Гучкова. Меня, однако, предупредили, чтобы я был осторожен с ним, ибо его считают за агента не только Фердинанда, но и немцев, приставленного к Дмитриеву в качестве шпиона. Как известно, эта миссия Дмитриева последствий не имела.

Еще в один из первых при мне заседаний Главного Управления (собиралось оно очень аккуратно по четвергам), Гучков поднял вопрос о создании особого Мобилизационного Совета, который выработал бы планы работы Кр. Креста в случае войны, до того времени совершенно отсутствовавшие. Предложение его было принято, Гучков был избран председателем этого Совета, а Ордин и я вошли в него членами. Делопроизводство Совета легло на Лемана, бывшего уже особоуполномоченным в японскую войну, а теперь вышедшего в запас и служившего в Канцелярии Кр. Креста. Дабы выяснить роль Кр. Креста в случае войны на западе, мы пригласили генерала Данилова, тогда начальника канцелярии Военного министерства, который дал нам некоторые задания. Непосредственно со дня объявления войны военному ве-

домству требовалось около 3500 сестер милосердия. Числа наших учреждений потребных армии и их типов он не указал, но сообщил, что по расчетам Генштаба бои будут происходить периодами приблизительно в 10 дней и со средними ежедневными потерями ранеными в 20.000 человек.

Исходя из этих данных и того, что могли тогда дать наши общины, мы составили свой мобилизационный план, наметив, какие общины что должны будут выставить и в какой срок. С места выяснилось, что потребуется нам всего с первых же дней 7000 сестер, тогда как в общинах их имеются пригодные идти на фронт всего около 4000, таким образом, нам пришлось в первую очередь наладить устройство 8-месячных курсов для подготовки сестер. Затем все врачи и возможные санитары были военнообязанными, и поэтому нам пришлось войти в соглашение с военным ведомством о предоставлении нам необходимого числа и тех и других. Врачи и были нам предоставлены поименно, все работавшие в наших общинах, а запасные нижние чины должны были быть предоставлены в течение нескольких лет для прохождения ими учебных сборов при общинах для специальной санитарной подготовки. Скажу впрочем, что все наши тогдашние расчеты были превзойдены во много раз во время войны и что, в частности, подготовленных санитаров оказалось исключительно мало. Однако намеченные нами учреждения все были готовы в указанные сроки.

Еще мой дед Мекк был с самого начала в числе крупных акционеров Волжско-Камского банка; акции эти бабушка распределила между всеми внуками и эти акции вместе с купленными моими родителями составили что-то около 700 штук. Кажется в 1909 г. я впервые участвовал в общем собрании акционеров банка и выступил с критикой, по моему мнению, чрезмерной осторожности банка. Надо сказать, что замечания на деятельность правления делались очень редко и исходили больше от мелких акционеров, владельцев одной или двух акций, причем часто делались лишь, если критикующие не сталкивались с правлением на сумме отступного, которое ему выплачивалось за молчание. Замечания эти бывали обычно вздорны, и отступное давалось лишь, чтобы не затягивать зря собрание. Давалось не больше 100 р., но так как получатели их проделывали ту же операцию в нескольких банках, это давало им подчас больше 500 р., по тогдашним временам сумму значительную. Замечания крупных акционеров бывали гораздо более редки, но и более вески, и нормально, как я потом узнал, делавшие их скоро предлагались к включению в состав Совета банка – так было и со мной.

Во главе банка стояло (как и вообще во всех частных банках того времени) правление, один из членов которого, директор, принимал единолично значительную часть решений. Наиболее важные вопросы вносились правлением на обсуждение Совета (например, об открытии кредитов выше известного предела, новом выпуске акций и т.д.). Председателем правления был тогда Мухин, член Гос. Совета от торговли и бывший директор банка, считавшийся долго наиболее выдающимся банкиром России, но к этому времени уже очень устаревший. Директором был Барк, будущий министр финансов. Человек, несомненно, способный, он раньше служил в Гос. Банке и был одним из его директоров (или заведующих отделами). Там он получал хорошее для чиновника жалование, но, конечно, несравнимое с банковским. Правление банка получало 5% чистой его прибыли, и директору приходилась львиная их доля. По-видимому, Барку приходилось в то время около 200.000 р. в год. Другими членами правления были привлеченный Барком в него очень порядочный, но скорее незаметный чиновник Виндельбанд и Малышев, выдвинувшийся из числа второстепенных служащих банка, дельный, прекрасно знающий банковскую технику, но довольно узкий.

Барк при мне пробыл в банке недолго и ушел со скандалом. Кажется, весной 1912 г. было решено произвести новый выпуск акций, причем преимущественное право подписки на них предоставлялось всегда старым акционерам. Операция эта была для них всегда выгодна, ибо биржевая цена старых акций всегда бывала значительно выше выпускаемых новых, устанавливавшейся всегда министром финансов; в данном случае она была около 700 рублей, а биржевая около 1400. Не все старые акционеры, однако, пользовались этим правом и оставшиеся не взятыми ими акции распределялись между служащими банка, составляя небольшую прибавку к их, в общем, скромному жалованию. Однако вскоре после окончания этой подписки в одной из маленьких газет появилась заметка о недовольстве служащих одного не названного банка тем, что в отступление от этого правила директор банка передал неподписанные акции своей возлюбленной (вдове члена Гос. Совета Романовой). Оказалось, что речь шла о Барке, и когда через несколько дней состоялось заседание Совета банка, то в нем сряду зашел разговор об этом случае, причем все были согласны, что для репутации банка он крайне неприятен. На основании этих разговоров председатель Совета переговорил с Барком, который сряду вернул эти акции, на чем, однако, инцидент не закончился. Положение Барка в банке стало после этого

столь неловким, что через несколько месяцев он из него ушел. К сожалению, однако, он получил сразу назначение товарищем министра торговли, а позднее стал министром финансов. Это было второе за время Думы назначение человека (1-й был Курлов) замаранного, на крупный пост.

Не помню, кто был в этот момент во главе Совета банка. Я застал на этом посту Прозорова, вскоре избранного членом Гос. Думы. По внешности подражавший англичанам, с которыми он имел дело в разных предприятиях, он гордился тем, что участвовал только в первоклассных предприятиях. Человек очень порядочный, он выдвинулся на верхушку промышленного мира, будучи председателем Санкт-Петербургского Биржевого Комитета, благодаря исключительно самому себе (он был сыном, кажется, Лужского рядового крестьянина) и держался везде скромно, но с большим достоинством. После его смерти его заменил Э.Л. Нобель, глава известной нефтяной фирмы. Он остался холостяком, как говорили, чтобы дать воспитание своим маленьким братьям и сестрам от 2-го брака рано умершего отца. Человек он был далеко не большого ума, но с хорошим сердцем и очень отзывчивый. Всюду все относились к нему хорошо и с большим личным уважением, независимо от его большого состояния. В Совете сидел также наиболее крупный акционер банка Кокорев, сын известного самородка 60-х годов, позднее ставший и членом правления банка, но в Совете незаметный. Не выступал в нем никогда и Ратьков-Рожнов, сын бывшего Санкт-Петербургского Городского Головы. Старик Ратьков-Рожнов, как и старик Половцев, стали миллионерами, получив состояние, 1-й – Громова, а 2-й – банкира Штиглица. Громов, оставшийся в памяти петербуржцев по Лесной бирже, носившей долго его имя, обойдя свою жену, оставил свое состояние по завещанию Ратькову, ибо ценил его ум. Сыновьям своим Ратьков, однако, ума не передал. Половцев, который позднее был госсекретарем, тоже бывший человеком большого ума, женился на приемной дочери Штиглица (основателя Штиглицкого художественного училища). Еще в 70-х годах Половцев заплатил, как говорили, после смерти Штиглица 4 миллиона наследственных пошлин, что отвечало состоянию в 40 миллионов – возможно, что в то время это было крупнейшее в России состояние. В это состояние входил и известный ныне Магнитогорский район.

Возвращаясь к Волжско-Камскому банку. В числе членов банка, миллионеров, был еще выборный член Гос. Совета Поклевский-Козел. Отец его, ссыльный поляк, составил себе в Сибири

миллионное состояние откупам, и сыновья его еще приумножили эти капиталы. Другой брат моего сочлена по Совету банка был нашим посланником в Бухаресте и считался выдающимся дипломатом.

Кроме этих миллионеров, в Совете всегда было несколько инженеров – в мое время помню Кандаурова и Брадке, обоих видных железнодорожников. Три члена Совета были крупные московские промышленники, но фактически их роль сводилась к ревизии и наблюдению за московской конторой банка. В числе их помню, что особым уважением пользовался старик Бахрушин.

Когда я вступил в Совет банка, он оставался единственным учреждением чисто коммерческого кредита и считался не менее солидным, чем Гос. Банк. Долгое время это положение разделял с ним Московский Купеческий банк, но после того как его директором стал биржевой маклер Шлезингер, которого я помню, когда он приходил к моему отцу по вопросам биржевых операций еще в начале 80-х годов, Купеческий банк понемногу стал все больше склоняться на путь «грюндерства», уже практиковавшийся всюду за границей.

В то время как нормально банковские операции сводились к приему вкладов и выдаче за их счет ссуд, при «грюндерстве» (учредительстве) банки принимали участие в образовании новых промышленных предприятий, частью авансированием сумм, а главным образом распространением их акций. При этом банк зарабатывал на продаже этих акций, а члены их правлений обычно вступали и в состав правлений новых протектируемых ими обществ. Этим путем некоторые финансисты зарабатывали громадные суммы. Утверждали, например, что Путилов и Вышнеградский (сын министра финансов), председатели двух крупных банков, получали в год один 700, а другой 600 тысяч рублей.

Волжско-Камскому банку уже перед самой войной было сделано только одно предложение этого рода его крупным клиентом членом Гос. Совета нефтепромышленником Гукасовым, просившим помочь ему в образовании столь известного ныне «Динамо». Однако и в этом начинании роль банка крупной не была.

Всем банкам приходилось иногда переучитывать свой вексельный портфель в Гос. Банке, когда их наличность не давала им возможности удовлетворять все требования в новых кредитах. Это давало Гос. Банку возможность влиять на банковские операции, требовать в известных случаях большей осторожности и в других открытия специальных кредитов. Волжско-Камский банк в советах об осторожности не нуждался и вообще был неза-

висим от Гос. Банка, но другие банки иногда зарывались в своих операциях и, кажется, в 1913 г. один из Петербургских банков, как у нас говорили, спасся лишь благодаря очень крупной ссуде Гос. Банка. Наоборот, Волжско-Камский банк потерял в эти годы более миллиона на ссудах подрядчикам работ на Забайкальской железной дороге, выданных по настоянию Гос. Банка. Потеряли тогда на них все банки, хотя позднее почти все эти потери и были возмещены. Произошли они вследствие затяжки работ и замедления Министерства путей сообщения в расплате с подрядчиками. Во всяком случае, необходимость хотя бы временного списания в убыток этой суммы была большой неприятностью для банка, едва ли не единственной по размеру за всю его историю. Обычно потеря по выданным ссудам слагалась из мелочных сумм, но если их в каком-либо отделении накапливалось некоторое количество, туда отправлялся один из инспекторов банка. При мне более значительные потери были только в Самарканде, где управляющий отделением выдал слишком легко ряд ссуд хлопководам, за что и был уволен. В этом случае было, по-видимому, только легкомыслие. Наоборот, в Киевской конторе управляющий был уволен, хотя потерь там для банка и не было, ибо были указания, что этот управляющий брал вознаграждения за открытие кредитов сомнительным предприятиям.

Вопрос о злоупотреблении положением со стороны банкиров не раз поднимался в печати и, несомненно, они имели место, на почве биржевой игры. Имея сведения, которыми не обладали простые смертные, банковские руководители всегда могли играть на бирже с большими шансами на успех. Надо, впрочем, сказать, что большею частью эта игра велась ими не от своего имени, и прямо преступного в ней ничего не было; подчас, впрочем, как в случае беспроектной игры на бирже жены Витте, оправдать ее, конечно, было нельзя. В Волжско-Камском банке, должен сказать, что ни разу не пришлось слышать, чтобы кто-либо из его состава был в ней повинен. Тем не менее, практиковались в ней прямо преступные методы, про которые мне пришлось узнать позднее в отношении бывшего банка Юнкера. Пока это была банкирская контора ее основателя и его наследников – это было солидное и порядочное дело, но, преобразовавшись в акционерный банк, он стал гораздо менее почтенным. Один из его руководителей (к сожалению, не помню сейчас точно, кто именно, – чуть ли не кн. А.Д. Голицын) в разговоре со мной удивился тому, что у нас не практиковалась игра главарей банка за счет, в сущности, его клиентов. За день во всех банках проходили десятки различных

биржевых поручений, которые и исполнялись на бирже; и вот, в некоторых из банков наиболее выгодные операции записывались на счета их руководителей, а менее интересные на счет клиентов. Не стоит и говорить, что оправдать такую нечестность ничем нельзя было.

Как я уже говорил, главный, как тогда казалось, пакет акций банка находился в солидных руках, однако, зимой 1912-1913 гг. стала наблюдаться скупка акций банка, причем стало известно, что производит ее банкир Немировский. Весной 1913 г. к общему собранию предъявлены они, однако, не были, и только к весне 1914 г. выяснилось, что скупает их «Торговый Дом Стахеевых», крупная хлебная фирма в Поволжье, или, вернее, ее тогдашний руководитель Батолин. Это был очень интересный человек. Начал он свою карьеру мальчишкой для посылок в доме Стахеевых, а к 40 годам стоял во главе его. Образовательный ценз его был очень невелик, но природным умом он обладал и в коммерческих операциях разбирался хорошо. Он ввел в России неизвестный до того способ расширения дел: закупаая акции одного предприятия, он закладывал их в банке, а на полученные суммы вновь покупал другие акции и т.д. Для облегчения этих операций он скупал акции и банков, в которых он и становился, если не полным хозяином, то влиятельным лицом. Волжско-Камский банк был уже третьим в его сети: до него он скупил уже контрольные пакеты в Соединенном и, кажется, Международном банках. Преобладающая роль Батолина в этих банках позволила ему расширить свои операции и на другие предприятия. Позднее, в эмиграции он говорил мне, что перед революцией актив дома Стахеевых достигал 400 миллионов рублей при пассиве около 300.

Когда выяснилось, что дом Стахеевых стал наиболее крупным акционером Волжско-Камского банка, правление его вошло в переговоры с Батолиным, и в результате их он был избран членом нашего Совета с откомандированием к исполнению обязанностей члена правления. На операциях банка это, впрочем, не сказалось, и Батолин, человек, несомненно, умный, давления на правление не производил, прекрасно понимая, что изменить хорошо налаженный в банке ход дел не в его интересах.

Работа члена Совета банка была очень необременительна: заседания его собирались раз в месяц на 1 ½ – 2 часа; в ежемесячных ревизиях кассы приходилось принимать участие раз в три месяца. Производились они на выборку: проверялись наудачу несколько пачек кредиток по 1000 р. (в кассе бывало иногда больше 10 миллионов рублей) и несколько личных счетов. Перед весен-

ним общим собранием акционеров производилось Советом еще проверка отчета правления. Затем летом обычно три члена Совета ревизовали по 3-4 отделения. Должен сказать, что эти ревизии были очень несерьезны: среди членов Совета техников банковского дела не было, а касса и все денежные документы естественно всегда оказывались в порядке. В соответствии с выполненной членами Совета «работой» между ними распределялись 2% чистой прибыли, причем главная часть их шла на заседания Совета по пожетонной системе. Я бывал в них довольно аккуратно, и в первые годы на мою долю приходилось за год 8.000-10.000 рублей. Перед революцией эта сумма более чем удвоилась. Интересно сопоставить это вознаграждение с жалованием банковских служащих: еще весной не то 1913 г., не то 1914, когда в Петербургских банках (и в том числе в Волжско-Камском) служащие потребовали под угрозой забастовки увеличения их окладов. Машинистка получала, например, при поступлении на службу 30 рублей в месяц; оклад в 50-60 р. считался уже хорошим.

Операции Волжско-Камского банка не распространялись за пределы России; перед 1914 г. были разговоры об открытии отделений в Сербии, но это так и не осуществилось. Работа банка, тем не менее, все время расширялась, и Совету приходилось не раз обсуждать вопросы о расширении кредитов выше пределов, установленных для разрешения их правлением. Остались у меня в памяти миллионные кредиты для закупки хлопка в Туркестане московскими фирмами.

Летом 1912 г. была моя очередь ревизовать отделения. Уже давно никого из членов Совета не было в Туркестане, и я решил поехать туда, ибо ранее никогда там не был. Оставив семью в Березняговке, я направился сперва на Оренбург, где было первое наше отделение на моем пути. Здесь уже меня предупредили, что меня ожидает по пути исключительная жара, и действительно в течение почти трех недель я прямо пекся в среднеазиатской духоте. В Ташкенте меня утешали, что при мне уже посвежело, но и то на солнце бывало еще больше 50 градусов Реомюра. Побывал я, кроме Ташкента, в Коканде и Самарканде. В Ташкенте, как всегда летом пустом, я познакомился с управляющим нашим отделением Крюковским, через год назначенным членом правления банка, но вскоре умершим. Человек он был очень порядочный и дельный и пользовался в Туркестане большим авторитетом. Наоборот, Самаркандский управляющий оказался вскоре недостаточно серьезным, о чем я уже упоминал выше. В Самарканде местные достопримечательности мне показал один из членов нашего учет-

ного комитета. Когда он привез меня к так называемой, если не ошибаюсь, гробнице или мечети Тамерлана и я выразил восхищение ее голубыми изразцами, он предложил мне выломать их несколько штук. Когда я отказался, он очень удивился и рассказал мне, что когда он был аксакалом, в Самарканде был какой-то прусский принц, тоже восхитившийся этими изразцами. Тогда военный губернатор граф Ростовцев отозвал его в сторону и приказал ему, когда все уедут, выломать несколько изразцов и доставить их принцу, что он и выполнил.

Другой член учетного комитета пригласил меня пообедать у него. Никого из женщин его семьи на обеде не было, даже старух. Угостил он меня различными местными блюдами; когда же я высказал восхищение местными фруктами, то он рассказал мне со смехом, что когда в 1896 г. он был на коронации в Москве, то там видел, что дыни едят с сахаром.

Вернулся я по Закаспийской железной дороге, на которой меня поразили тяжелые условия службы железнодорожников; без воды, в вечной пыли и духоте летом и со скудной едой. Когда подходил наш поезд, к вагону-ресторану бежали жены станционных служащих, чтобы достать щей или борща. Неудивительно, что больше года этой службы почти никто не выдерживал, несмотря на увеличенные оклады содержания и разные льготы.

В Баку, благодаря карточке Нобеля мне показали все его предприятия. Балаханы производили и тогда внушительное впечатление, но самый город Баку имел очень унылый вид. После дня, проведенного затем в Тифлисе, я думал проехать по Военно-Грузинской дороге, но порча автобуса заставила меня вернуться поездом и, таким образом, этой дороги мне не пришлось увидеть.

Этим же летом было столетие Бородинского боя, и потомки его участников были приглашены присутствовать на поле сражения; был приглашен и я. Специальный поезд уходил из Москвы около 5-ти часов утра, и когда я оказался в нем, то в нашем отделении выяснилось, что все что-нибудь да забыли: я спохватился, что у меня нет носового платка, а пожилой саратовский губернский предводитель дворянства Ознобишин, с улыбкой, конфузливо признался: «Ну, а у меня хуже, я зубы забыл». Я оказался также в отделении с одним из членов рода фельдмаршала Кутузова – Псковским земским начальником. На поле сражения все были собраны на бывшей батарее Раевского, около памятника сражения. Здесь можно было встретить в то утро носителей почти всех фамилий, связанных с военной славой России первой половины 19-го века.

Надо сознаться, что утро это было утомительным. Началось оно прохождением войск перед Государем. Хотя в нем участвовало всего по роте и эскадрону от каждого полка, участвовавшего в бою 1812 г., этот парад под звуки все того же Старо-егерского марша, продолжался больше трех часов. Погода была прекрасная, но стоять все это время в неизвестности, что и когда будет дальше, было скучно. Все проголодались, и когда перешли к монастырю, где в больших палатках был приготовлен холодный завтрак, то все было съедено в одно мгновение, и, по-видимому, никто не насытился. Поэтому на обратном пути на станции Можайск в буфете все бросились к стойке, и я был свидетелем столкновения между моим спутником Голенищевым-Кутузовым и Люблинским губернатором Келеповским из-за последнего пирожка: оба кричали друг на друга, красные и злые, и я думал, что у них дойдет до рукопашной. Вспомнился мне тут рассказ отца про дуэль в годы его молодости между двумя его знакомыми офицерами, тоже из-за последнего пирожка, окончившуюся, однако, смертью одного из них.

В Москве я задержался на день, получив повестку о царском выходе на следующий день. Все участвовавшие в нем собрались в дворцовых теремах, и самый выход был из дворца в Успенский Собор. Было нас немного, и лично я, получивший на Пасху 1912 г. звание камергера, шел всего на несколько человек впереди Государя. Когда я вышел на Красное Крыльцо, то внизу и перед решеткой и за нею все было черно от народа. Когда через секунду после меня показался Государь, вся эта масса разразилась криками «ура». Для меня было несомненно, что эта манифестация была не искусственной, но позднее я не раз вспоминал ее, когда произошла революция: как мало было нужно времени, чтобы столь радикально изменилось настроение народа.

Осенью 1912 г. должны были состояться выборы в 4-ю Гос. Думу, и поэтому еще зимой Тимирев, Половцов и я побывали в Тихвине, Боровичах и Старой Руссе и сделали там доклады на разные политические темы. Могу, не хвастаясь, сказать, что мой доклад по национальному вопросу был наиболее интересным. Имел он успех даже в Старой Руссе, несмотря на верный, в общем, афоризм «несть пророка в своем отечестве». Тимирев был исключительно слаб и скорее неудачен был и Половцов. О нем я раньше не говорил, и скажу сейчас только, что чем дальше, тем больше мы с ним расходились; за 10 лет Думы он все более правел, стал одним из членов маленькой группы правых октябристов, кроме названия с нами ничего общего не имевший, и выступал в Думе

очень редко. Позднее я потерял его из виду, и знаю только, что он покончил с собой в Уругвае, где последнее время жил в большой нужде.

На выборах в 4-ю Думу правительство выступило в первый раз в активной роли; раньше оно проводило в Сенате ограничительные толкования избирательных законов, но в качестве стороны, поддерживавшей тех или иных кандидатов, оно не выступало. В этот раз оно определенно выразило свои симпатии правым и националистам и в ряде губерний все сделало, чтобы провалить не только левых депутатов 3-й Думы, но и октябристов. Главным орудием его были, конечно, губернаторы, но кроме них в избирательной кампании выступил и Синод, обер-прокурором которого в это время был уже Саблер. По газетным известиям организация духовенства к выборам была возложена им на его чиновника особых поручений князя И.П. Шаховского. Сын председателя Думской комиссии Гос. Обороны, он принадлежал к очень почтенной семье, но сам стал понемногу мелким жуликом. Я его знал еще лицеистом (он был на несколько лет моложе меня), позднее он женился на состоятельной девушке и, казалось, обладал всеми данными для жизненных успехов, но уже в первые годы произвел растрату в редакции «Вестника Красного Креста». Она была пополнена родными, и она не прервала его карьеры при Саблере, но, как утверждали, он вылетел от него после того, что получил с англичан, искавших для покупки дом, какой-то аванс на расходы по продаже им дома обер-прокурора Синода на Литейном. В Париже, где он жил в эмиграции и умер, он существовал мелкими мошенничествами и часто ночевал под мостами. Вот он-то и должен был подготовить православное духовенство к выборам. Ничего серьезного из этого, конечно, не вышло и, главным образом потому, что белое духовенство далеко не было однообразной правой массой и по отношению к тогдашнему правительству было настроено в значительной части оппозиционно. В результате и синодальная и вообще правительственная предвыборная кампания оказалась неудачной, и 4-я Дума по своему составу мало отличалась от 3-й. Ослабленными оказались октябристы, которые в этот раз были не менее нежелательными для властей, чем кадеты, но которые не потеряли и в 4-й Думе своего решающего положения. Удалось губернаторам добиться забаллотирования только нескольких депутатов нашей партии; особенную энергию проявил в этом отношении черниговский губернатор Маклаков, благодаря которому не остался в Думе Ю. Глебов.

Мое переизбрание в уезде было очень сомнительным, ибо если бы мобилизация духовенства удалась, то оно могло бы иметь на выборах выборщиков абсолютное большинство, а провал мною земского пособия на церковно-приходские школы, о котором я уже говорил выше, обеспечивал мне их отрицательные голоса. Однако, духовенство наше проявило в этом году не больший интерес к выборам, чем раньше (как, впрочем, в этот раз и землевладельцы) и на выборы в Старой Руссе явилось всего 13 человек – из них 6 священников. При подаче записок с предложением кандидатов я был предложен единогласно, но при баллотировке обе группы голосовали каждая дружно одна против другой и первоначально все были забаллотированы; вместо единогласия я получил 6 голосов направо и 6 налево. Пришлось пойти на соглашение, и были избраны выборщиками три землевладельца (и я в их числе) и три священника.

В Новгороде в избирательном собрании мое переизбрание, наоборот, с места было несомненным; признаюсь, я не ожидал, что на этот раз мои шансы будут столь хороши. Переизбраны были хорошо Половцев и Тимирев. Зато Румянцева никто не поддержал, и он был заменен профессором Гриммом, основателем в России ихтиологии и основателем также казенного Никольского рыбозаводного завода, человеком хорошим и работающим, но крайне узким специалистом.

Первоначально Новгородские выборщики, наиболее многочисленные, настаивали на избрании бывшего губернатора Болотова; он и получил 45 голосов против 42, однако, после него заявил желание баллотироваться новгородский же адвокат Боголюбов, человек способный, но легкомысленный, а главное беспринципный. Правым он говорил, что разделяет взгляды «Союза Русского Народа», крестьянам – что будет проводить отчуждение частновладельческих земель и т.п., и в результате получил на один голос больше Болотова. Это вызвало возмущение в центре и новые баллотировки. Инженер Кульжинский получил только 43 голоса, и тогда удалось убедить баллотироваться Гримма, раньше отказывавшегося и получившего на два голоса больше Боголюбова, и был объявлен избранным. Боголюбов подал на это избрание жалобу в Сенат, находя, что раз отказавшись от баллотировки, Гримм уже не мог соглашаться на нее, но Сенат его жалобы не уважил. В Думе Гримм был председателем комиссии по рыбоводству, которая рассматривала проект соответствующего устава, но так его и не рассмотрела. И он, и представитель городов дельный инженер Милютин вошли оба в октябристскую фракцию.

Здесь вернуться я несколько назад, чтобы упомянуть о нескольких осмотрах, налаженных Морским министерством. Показали нам Кронштадт, Петербургские заводы и Охтинский полигон со стрельбой из 12-дюймовых орудий по броне. Припоминается мне на этом, что нам объяснили, что стрельба производится толлом, и на мой вопрос, что это такое, добавили, что это тот же тринитротриол, но что его перекрестили в тол, чтобы затруднить работу иностранного шпионажа. Мера довольно наивная, но в деле борьбы со шпионажем не надо пренебрегать никакими мелочами. Как-то члены комиссии Гос. Обороны были приглашены на маневры Балтийской эскадры, но я почему-то не мог принять участия в этой поездке. Тогда этой эскадрой командовал адмирал Эссен, пользовавшийся громадным авторитетом и во флоте и в Думе. Боюсь, впрочем, сказать с уверенностью, в какие годы состоялись эти поездки, возможно, что некоторые из них были и позднее.

Около Пасхи 1912 г. у меня были три недели свободных, и я использовал их для поездки в Италию. Я уже упоминал, что меня всегда интересовала живопись (хотя сам я никогда не рисовал) и в те годы в свободное время я порядочно читал по вопросам искусства. В 1912 г. я и отправился в Италию, чтобы на месте посмотреть ее сокровища. Север страны я знал уже раньше и поэтому в этот раз объехал центральную ее часть между Феррарой и Неаполем. Мало кто из иностранцев и в частности из русских бывал в Равенне, а между тем, именно для славян, столь близко культурно связанных с Византией, этот город особенно нам интересен своими чисто византийскими зданиями и мозаиками времен экзархата. Вместе с тем для тех, кто верит в обособленность человеческих культур, более близкое знакомство с прошлым Италии должно сильно поколебать эту веру. Каждый народ вносит свое в общечеловеческую культуру, но обособить его от других культур, безусловно, невозможно. В Италии именно и видно, сколь во многом современная западная культура обязана Византии, которая сама культурно сочетала наследия древней Греции и Рима. Византия известна больше своей, несомненно, отрицательной политической историей, но мало кто считается с тем, что в Средние Века она было главным и художественным и умственным мировым центром; забывают и то, что своим Возрождением Италия обязана Византии (живопись, в частности, Криту), откуда от господства турок бежало много культурных элементов. Равенна как раз и является тем городом, где взаимная связь европейских культур проявилась наиболее ярко.

Кроме нескольких маленьких городов, вроде Перуджии, Ассизи, Сиены, Мантуи и Модены, а также окрестностей Рима и Неаполя, которые я обошел частью пешком, я по несколько дней провел в этих двух больших городах, а также во Флоренции, которая произвела на меня исключительное впечатление. Несомненно, что и в Риме сосредоточено громадное количество памятников искусства и гораздо больше исторических воспоминаний, но Флоренция сохранила, как ни один другой город, весь ансамбль средневекового города с красотой, равной которой нет нигде. Кроме того, в Риме, кроме Рафаэля (да и то не в лучших его произведениях) и Микеланджело, остальные собранные в нем картины не могут идти в сравнение с флорентийскими. Также и в отношении архитектуры – кроме грандиозного собора Св. Петра, мало зданий может быть сопоставлено с творениями флорентийских художников. Кстати из Римских зданий на меня наибольшее впечатление произвела, пожалуй, церковь Св. Павла «вне стен» со своими поразительными по красоте колоннадами. Правда эта церковь скорее вся в Греческом стиле и как-то не гармонирует с Римом, но сама по себе она гораздо выше барокко, столь распространенного в «вечном городе».

Быть может, здесь сказываются слишком сильно мои личные вкусы, заставляющие меня также так преклоняться перед гением Старова, проявленного им во внутренней отделке Таврического дворца, но все остальное, что я видел в Риме, меня оставило холодным. В те годы было очень принято ругать незадолго до того законченный памятник объединителю Италии королю Виктору-Эммануилу. Несомненно, что своей грандиозностью он не гармонировал с громадным большинством римских зданий, и что белизна мрамора его колоннад и позолота статуи короля резали глаза, но мне думается, что в будущем, когда все сооружение покроется патиной веков, суждения о нем будут менее строги.

В Риме я застал брата Георгия с женой, и там же была его теща Скарятинна со своей младшей дочерью Ириной, тогда расхаживавшей со своим первым мужем, графом Келлером. С ними я сделал несколько прогулок, и в том числе по Форуму; не думал я тогда, что эта молоденькая, хорошенькая, но легкомысленная женщина через 20 лет напечатает в Соединенных Штатах под именем Ирины Скарятиной две интересные книги воспоминаний о России.

Как город, Неаполь, так и его старина, еще больше разочаровали меня, но зато дивная природа его окрестностей, конечно, не могла не оставить у меня, как и у всех побывавших там, незабываемые впечатления. В 1934 г. во время пароходной остановки мне

вновь пришлось провести несколько часов в Неаполе и, несмотря на то, что за годы правления Муссолини немного было сделано для модернизации этого города, я оставил его с еще большим впечатлением от его глубокого провинциализма. Правда, что это было летом, когда иностранцев в Неаполе не было, и город находился в состоянии почти что шестимесячной сиесты. Поднялся я и на Везувий, в то время совершенно спокойный и малоинтересный. В вагончике, который нас тащил наверх, против меня оказались двое русских: он, уже пожилой видный человек, она эффектная нарядная женщина, не слишком порядочного типа. Разговор их был столь откровенен, что я счел нужным предупредить их, что я тоже русский. Они сразу перешли на «вы», но не сконфузились и познакомились со мной, причем оказалось, что он крупный петербургский подрядчик, бывший кавалергард Пешков, а она жена какого-то сибирского вице-губернатора. Русских из разных общественных слоев в те годы вообще за границей было столько, что благоразумнее было не рассчитывать на то, что вас не понимают.

Кажется, по возвращении из этой поездки присутствовал я в Думе при обсуждении запроса о Ленских расстрелах. Тогда уже было известно, что для обследования положения на Лене назначается особая сенаторская ревизия и, несмотря на фразу Макарова, в лучшем случае неудачную, что «так было, и так будет», известие о ревизии смягчило настроение Думы. Надо сказать, что Макаров в известной степени был прав: пока допускались такие порядки, какие, как выяснила ревизия, существовали на Ленских приисках, повторение того, что там случилось, всегда было возможно. Все государственные служащие получали там жалование от предприятия, которое часто предоставляло им и не предусмотренные законом преимущества. Естественно, что они переставали быть административными представителями власти и становились исполнителями воли главарей предприятия. Незадолго до войны мне пришлось говорить об этом деле с Обер-прокурором Уголовно-Кассационного департамента Носовичем, принимавшим участие в этой ревизии, и этот очень порядочный юрист с негодованием говорил мне о том, безусловно бесконтрольном хозяйничании на приисках владельцев предприятия, которое там обнаружила ревизия. Было ли тогда что сделано для изменения этого положения, не знаю.

Уже весной, кажется, мне пришлось докладывать маленький законопроект о русской юрисдикции в Хиве. Распространялась она только на русских, тогда как туземцы подлежали ведению

местных судов и в виду этого законопроект большого значения не имел. Незадолго до того мне попала в руки книга (не помню чья) о бухарских порядках, (более или менее однородных с хивинскими), где описывалось, как, например, по гражданским делам и истца и ответчика первым делом сажают в яму и держат там, пока состояние обоих не перейдет к судьям, как свидетелей бьют палками по пяткам и т.п. Факты были столь возмутительны, что я сряду решил предложить комиссии принять пожелание о реорганизации в обоих ханствах судебного строя. Однако чтобы проверить то, что я прочитал в книге, я поехал к сенатору графу Палену, незадолго перед тем произведшему сенаторскую ревизию Туркестана. Пален, человек очень порядочный, но недалекий, в общем подтвердил то, что рассказывалось в книге, но добавил, что и вообще положение, обнаруженное им в Туркестане, далеко не идеально. Не помню примеров деятельности тогдашних «ташкентцев», приведенных им, но в отношении Хивы и Бухары он высказал мнение, что сохранение в них ханского строя имеет свое оправдание в том, что эти ханства являются по употребленному им немецкому выражению «ein abschrecken der Beispiel»* для туземного населения областей Туркестана, у которого, он это признавал, были основания далеко не всегда быть довольными русскими властями. Тем не менее, я внес свое пожелание, и оно было принято и комиссией, и общим собранием Думы.

В эту же сессию Дума рассмотрела и доклад об образовании особой Холмской губернии. В районе Холма население тогда было в большинстве украинское, но украинские села были перемешаны с польскими, и провести между ними границу было очень нелегко. Отношения между обеими национальностями вообще дружественными в то время не были и осложнялись еще различиями религиозными и социальными: помещик был поляк, а крестьянин украинец. Поэтому законопроект о создании особой Холмской губернии с выделением ее из Царства Польского, на внесении которого настоял член Думы и Холмский епископ Евлогий, вызвал в Думе горячие прения. В конце концов, законопроект этот был принят и Думой, и Гос. Советом и губерния была образована. Однако существование ее оказалось эфемерным. В 1915 г. она была занята немцами, и значительная часть ее украинского населения ушла оттуда с русскими войсками. Затем польское правительство стало усиленно вселять на «кресы» на место не вернувшихся

* Сдерживающий фактор (нем.).

украинцев и белорусов своих солдат, и особенно это сказалось на Холмщине, скоро ставшей по населению местностью польской.

Уже весной 1912 г. в одном из закрытых заседаний по обсуждению военных кредитов Гучков произнес свою последнюю речь, в которой заявил, что «отечество в опасности»: в то время как в кредитах военному ведомству Думой никогда не отказывалось, оно накопило более 200 миллионов рублей неиспользованных кредитов. В этой речи он цитировал несколько указанных мною выше случаев медлительности ведомства и особенно подчеркнул, что еще к этому времени не было налажено массовое производство дистанционных трубок. Конечно, не во всем этом было виновато одно Военное министерство, но конечно, оно было главным ответственным в этой бездеятельности. Этой зимой в преступной халатности, если не больше, Сухомлинова убедился и новый председатель Совета Министров Коковцов. Он доложил о невозможности оставлять Сухомлинова министром Государю, но тот не обратил на это никакого внимания.

Кстати, если не ошибаюсь, вскоре после выступления Гучкова против Мясоедова на Гучкова напал в Комиссии Марков 2-й, объяснивший его речь его происхождением: тем, что он был не православный, а главное тем, что мать его была «жидовка». На это Гучков очень спокойно ответил, что дед его, действительно, был старообрядцем, отец был единоверцем, но сам он уже православный; что же касается его матери, то, хотя он не видит преступления в том, что его мать была бы еврейкой, она была француженка без всякой примеси еврейской крови. Кажется, на всех эта хамская выходка Маркова произвела самое тягостное впечатление.

Расходились мы из 3-й Думы с двойственным впечатлением. Сейчас, когда старый царский строй сметен целиком, роль этой Думы, несомненно, представляется ничтожной, однако, работали мы в ней добросовестно и оставляли Таврический Дворец с убеждением что сделали все от нас зависящее, чтобы продвинуть Россию вперед. Конечно, мы не были революционерами, возможно, что нас охарактеризуют в будущем как оппортунистов, но мы могли бы ответить на это, что в 3-й Думе мы еще только учились государственному делу, хотя, быть может, смотрели на наше собственное положение через слишком розовые очки. Мы были избраны на исходе революционного движения 1905-1906 гг., и, признаюсь, что шли в Думу несколько им запуганными. 3-ю Думу обычно теперь называют помещичьей, и по ее составу это совершенно правильно. Верно и то, что, например, в земельном вопросе Дума не пошла на сколько-нибудь значительные изменения в существую-

щем строе, но могу с уверенностью сказать, что причиной этого у громадного большинства моих сочленов были отнюдь не личные карманные соображения, а просто неумение посмотреть на положение, оторвавшись от тогдашнего традиционного рутинного мышления, как теперь говорят, классового.

Припоминая эти годы, могу сказать и про себя лично, что теперь я голосовал бы по многим вопросам иначе, чем 40 лет тому назад, под влиянием не только личного своего жизненного опыта, но и тех грандиозных мировых событий, которые за эти годы имели место. Однако скажу, что моя внутренняя моральная оценка отдельных фактов мало в чем изменилась за это время, и я думаю, что то же я мог бы сказать и про очень, очень многих моих сотоварищей по Думе. Результаты Думской работы были не велики, но главным виновником этого была не Дума, а правительство, которое оправилось понемногу от шока, испытанного им в 1-ю революцию, и все делало, чтобы свести к минимуму все нововведения первых после нее лет. Подчас, чтобы быть справедливым, надо это признать, оно и само было бессильно перед пассивным сопротивлением Государя и крайне правыми течениями в его окружении, все время усиливавшимися, но во многих случаях и этим оправдать его деятельность нельзя. Крайне странное впечатление производило и то, что даже министры, несомненно, благожелательно относившиеся к идее народного представительства, в составе Совета Министров как будто все делали, чтобы на практике свести это представительство на нет.

Чтобы не возвращаться к моей внедумской работе и вообще жизни за последние годы перед войной, сведу здесь воедино все мои воспоминания о ней. Жили мы эти годы во всех отношениях хорошо и мирно, и, в частности, уже к 1914 г. я дошел до положения, которое для громадного большинства моих сверстников было бы завидным. За эти годы подросла наша старшая дочь, и в 1912 г. мы отдали ее в гимназию Таганцевой, пользовавшейся тогда вместе с гимназией Стоюниной репутацией наиболее серьезной. В ней прошла 8-й класс моя жена и все старшие классы также ее младшая сестра, и наша дочь прошла в ней 6 классов. Ни разу за это время нам не пришлось пожаловаться на гимназию, которой фактически ведала уже не основательница ее Надежда Степановна Таганцева, сильно состарившаяся и умершая вскоре после поступления в гимназию нашей дочери, а ее племянница, дочь моего профессора. Состав преподавателей был хороший и наблюдение за девочками серьезным.

Весной 1912 г. состоялась свадьба моего младшего брата, о котором я уже упоминал. Меньше, чем через месяц он уехал с женой в новую командировку от Генерального штаба, на этот раз в Урянхайский край. По очень неопределенным сведениям, имевшимся тогда, имелась дорога, или вернее тропинка, выводившая через горы в район Иркутска. Надо было от Енисея подняться по одному из его правых притоков и затем перевалить через Саянский хребет, однако, по какому притоку следовало идти, было неизвестно. За год до брата было поручено пройти этим путем офицеру-топографу, но он попал на ненадлежащую реку и должен был вернуться назад. Брату повезло, и он уже поздней осенью благополучно вернулся в Иркутск. К главному перевалу он подошел уже когда лето заканчивалось, и его предупредили, что если на нем его застигнет непогода, вся его экспедиция погибнет, но он рискнул и ничего не случилось.

В 1912 г. Урянхайский край был в неопределенном положении. Еще существовали в нем китайские власти, и брату пришлось иметь с ними сношения. Но, наряду с этим, он шел по этим, официально еще китайским, землям, совершенно не считаясь с местными властями в сопровождении все того же, как раньше, конвоя из пяти казаков. Край заселялся русскими переселенцами, не считавшимися ни с какою властью, ни русской, ни китайской, но наряду с этим показывались в нем и наши полицейские, распоряжавшиеся в нем еще более произвольно, чем в пределах Сибири. В одном случае, когда к брату обратился ряд лиц с жалобами, если не ошибаюсь, на станового пристава, брат решился, не имея на это, конечно, никакого права, приказать последнему изменить свой образ поведения. До ближайшего начальства были тысячи верст, и писать ему было совершенно бесполезно. Сомневаюсь, чтобы и вмешательство брата имело серьезные последствия, но сам он попал через 20 лет в опубликованную во Франции книгу Минцлова об Урянхайском крае, где ее автор был через год после брата и, по-видимому, слышал о нем как раз от этих полицейских чинов. По книге брат был в Урянхае в свадебном путешествии и с великолепным поваром – в действительности его бывшим забайкальским вестовым, бурятом Дагинеевым. Выдавал он себя якобы за члена царской семьи, что было недоразумением, о котором я уже говорил выше. Я советовал брату опровергнуть фантазии Минцлова, но он, по своей мягкости характера не захотел вступать в эту полемику, относясь к таким нападкам, скорее газетного характера, с известным пренебрежением.

В выборах 1912 в Гус. Думу принял участие мой брат Георгий, явившись противником по городу Орлу кандидата «Союза Русского Народа» архиепископа Серафима (Чичагова). Брата поддерживали все умеренные и левые группы, и он победил Серафима значительным большинством голосов. Орел, где тогда был крайне правый губернатор, если не ошибаюсь, Андреевский, был одним из тех городов, где власти сами объединяли умеренных с левыми своим образом действий. Брат рассказывал мне, например, подробности предания суду орловского городского головы (не помню его фамилии), не нравившегося губернатору своим левым направлением. Брат заменял отсутствовавшего председателя губернской земской управы и вместе с двумя другими общественными представителями голосовал в Губернском по земским делам Присутствии против четырех чиновников, отдавших все-таки этого голову под суд. Обвиняли его в том, что, приняв в субботу уже после закрытия городской кассы несколько тысяч рублей, он внес их в нее в понедельник, сряду после ее открытия, однако, после того, что в субботу вечером проиграл в клубе приблизительно такую же сумму. Вывод губернатора был, что проиграны были именно городские деньги. О настроении орловских правых можно судить по тому, что когда местная городская дума постановила переименовать в Тургеневскую какую-то улицу, то один из гласных, член окружного суда обжаловал это постановление, находя неприличным заменять именем писателя имя какого-то праздника Господня, которое носила эта улица.

Осенью 1912 г. происходили выборы гласных петербургской думы. Первоначально я отказался баллотироваться, но меня убедили согласиться на включение моего имени в стародумский список. Победил, однако, список новодумский, о чем я особенно не жалел.

Кажется, этой же зимой принимал я участие в Петербургском Губернском Дворянском Собрании. Имело оно другой характер, чем наше новгородское, более торжественный и я сказал бы менее симпатичный; в нем всегда принимало участие много сановников, но прения были не более интересны, чем в Новгороде.

На этом Собрании выставили мою кандидатуру в петербургские уездные предводители дворянства. Занимал эту должность Шубин-Поздеев, человек неглупый и денежно честный, которого, однако, упрекали в неделикатности и недолюбливали. Должность петербургского предводителя считалась почетной и, хотя она прибавила бы мне порядочно работы и вызывала бы немалые расходы, я согласился выступить кандидатом на нее. Эти выборы

собрали много дворян – больше 150 – но при подаче записок Шубин получил на две больше меня, и я от баллотировки отказался.

Зима 1912-1913 гг. была зимой 300-летия дома Романовых, и по случаю его был большой прием в Зимнем дворце. Все проходили перед Государем и Государыней – ему делали поклон и он подавал руку, она же сидела и все целовали ее руку, лежавшую на подушке. Лицо ее было в красных пятнах, и как раз, когда я проходил, она откинулась в кресле с тяжелым вздохом. Тогда говорили, что ее здоровье нехорошо, и это подтверждало эти слухи, но через несколько дней я ее видел на балу, данном по случаю 300-летия Петербургским дворянством, и вид у нее был вполне нормальный. В самый день 300-летия был торжественный молебен в Казанском Соборе. Я запоздал на него и стал позади других членов Думы. В нескольких метрах от меня, прислонившись к одной из колонн, стоял какой-то довольно незаметный человек, типа провинциального лавочника в длиннополом, поношенном сюртуке. Вдруг к нему быстро подошел Родзянко, толкнув меня и не отвечая на мое: «Здравствуйте, Михаил Владимирович», что-то сказал этому человеку, после чего тот сразу ушел. После этого Родзянко поздоровался со мной и с довольным видом сказал мне: «Ну, в другой раз он около нас не станет». «Да кто же?» – «Разве вы не знаете? Это Распутин». Это был единственный раз, что я видел его, и никаких признаков его необычайных способностей в нем не заметил; правда, я на него особого внимания не обратил, но думаю, что поддавались его влиянию в обществе лишь те, кто этого сам хотел, и в первую очередь искавшие сильных впечатлений женщины.

О Распутине начали говорить в Думе, кажется, еще в последнюю сессию 3-й Думы и уже тогда возмущались его влиянием при дворе, хотя в сфере государственных дел оно еще не проявлялось. В 1913 г. оно начало делаться заметным и уже называли имена лиц, которые окружали Гришку и обдeldывали через него разные делишки или пользовались им, чтобы делать служебную карьеру. Я уже упоминал выше об отношении к нему Государыни; отношение к нему Государя было гораздо менее понятно и объяснялось многими, главным образом, его желанием избежать сцен с женой. Что из себя изображал Распутин, он знал прекрасно, но, начиная с товарища министра внутренних дел Джунковского все, докладывавшие ему о поведении «Гришки» или просто им возмущавшиеся, немедленно устранились из царского окружения. Несомненно, также, что, если Распутинское влияние в начале и встречало с его стороны противодействие, то во время войны оно все более и более слабело.

Во время Романовских торжеств был учрежден особый Романовский Комитет попечения о детях-сиротах. Председателем его был назначен член Гос. Совета Куломзин, старый чиновник и порядочный человек, во время войны бывший недолго председателем Гос. Совета, но за несколько месяцев до революции смещенный, как недостаточно правый, чтобы дать место Щегловитову. Куломзин пригласил меня войти в состав довольно многочисленных членов Романовского комитета, но деятельность его начала проявляться лишь со следующей зимы и лишь в форме назначения пособий уже существующим приютам. С началом же войны комитет совершенно заглох. Приблизительно в то же время ко мне обратился управляющий Собственной Его Величества канцелярией Танеев (отец столь известной Вырубовой), бывший также и председателем Комитета Трудовой помощи, передавший мне «желание» Государыни, чтобы я вошел в состав членов и этого комитета. Подобные желания были, в сущности, приказаниями, от исполнения коих отказываться было нельзя. Этот комитет, учрежденный в ознаменование рождения старшей дочери Николая II Ольги, был любимым детищем Государыни, но это не помогло ему стать крупной и живой организацией. В ведении его находилось что-то около 30 «Ольгинских» домов трудолюбия, о которых мало кто знал в стране и помощь, оказываемая которыми, была ничтожна. Кажется, я был только в одном заседании комитета, которое у меня никаких воспоминаний не оставило. Не помню я также, кто был его членами. Сам Танеев, очень сладенький, мягкий человек, был образцовым честным чиновником, но, насколько я могу о нем судить, исключительным формалистом. Правда, и работа-то у него была чисто формальная – главным образом, проверка правильности представлений к производству в чины и к различным наградам гражданских чиновников. Надо сказать, что на почве Петровской Табели о рангах выработалось целое наградное законодательство, у которого было свое положительное качество, что оно значительно затрудняло продвижение всяких любимчиков. Надзор за правильным применением этого законодательства и лежал на Собственной Его Величества канцелярии, и Танеев очень строго следил за его соблюдением. Кстати, кроме этого учреждения, раньше у этой канцелярии было еще знаменитое 3-е Отделение – корпус жандармов, которое, однако, позднее перешло в Министерство внутренних дел, и 2-е Отделение, которым ведали когда-то знаменитые Сперанский и Блудов и которое занималось кодификацией законов, и в мое время было преобразовано в отделение Свода Законов Гос. Совета, о котором я уже упоминал.

Скажу еще, что Танеев был хорошим музыкантом и композитором, несомненно, уступавшим своему однофамильцу, директору Московской консерватории, но произведения которого исполнялись все-таки в петербургских концертах.

Кроме встреч с Танеевым по делам Попечительства ни с ним, ни с его семьей ни у меня, ни вообще у кого бы то ни было из моих родных ничего общего не было, и поэтому только в виде курьеза укажу, что когда в эмиграции появились подложные мемуары дочери Танеева, известной фрейлины Вырубовой (позднее были напечатаны и настоящие), то я убедился сряду в их подложности по тому, что в них говорилось о проекте женитьбы моего младшего брата на ее сестре. Вырубову я не знал и никогда не видал; знаю только, что все говорили о ней, как о женщине весьма ограниченной. Ее мужа, с которым они скоро разошлись, я встречал еще морским кадетом у Охотниковых, а о моей встрече с ним во время войны я еще буду говорить позднее. Производил он тогда скорее приятное впечатление и со второй женой жил хорошо и имел детей, так что, я думаю, что петербургские рассказы, приписывавшие его расхождение с Танеевой его половой ненормальностью, были ни на чем не основаны.

В летние месяцы 1912-1913 гг. мы использовали наш автомобиль для поездок по нашему району. Кроме объезда нашего уезда побывали мы у моей сестры Ксении в Боровичском уезде, откуда вернулись через Новгород. Здесь, кроме главнейших достопримечательностей города и церкви Спаса Нередицы, побывали мы в Юрьевом монастыре, где нас в соборном его храме удивил его алтарь с окружающим его «диаконником», в который могли входить женщины. У меня осталось впечатление, что это был зародыш того полукружия, которое в католических храмах окружает более или менее открытый алтарь, но которое в православных церквях слилось позднее с алтарем. Так ли это, пусть скажут знатоки.

Когда мы проходили через собор, около нас из одного угла поднялась высокая черная фигура, напугавшая моих спутниц. Это был только что постриженный в монахи наш старорусский священник о. Алексей Демянский, после пострижения проводивший в соборе трое суток в строгом посте и молитве, поднявшийся, чтобы поздороваться со мной. Показали нам гробницу знаменитого архимандрита Фотия, вокруг которой висели украшенные драгоценными камнями образа, дар его поклонницы графини Орловой. Время было перед тем не спокойное, немало было грабежей, и я спросил сопровождавшего нас монаха, не боятся ли они, что эти камни соблазнят кого-либо. Улыбнувшись и подмигнув мне,

он мне ответил: «Не беспокойтесь, настоящие в ризнице, а здесь уже давно на их месте поставлены стекляшки». В ризнице Юрьева монастыря вообще, говорят, хранилось немало драгоценностей, и открывалась она не иначе, как в присутствии настоятеля и еще двух старших монахов. Позднее мы побывали также в Пскове, где осмотрели все его достопримечательности; быть может, во мне говорит мой новгородский патриотизм, но у меня осталось впечатление, что в художественном отношении Псков равняться с Новгородом не может. Зато такого вида, как на Завеличье от Троицы, в Новгороде не было. Показывавший нам этот собор сторож перед гробницей одного из псковских епископов 1-й половины 18-го века пояснил нам, что уже два раза поднимался вопрос о прославлении этого епископа, но оба раза Синод отклонял это ходатайство. «А вот два раза уже гробница его разваливалась, – добавил он, – Это чудеса выходят».

Осенью 1912 г. собравшись в Гос. Думе «считать мы стали раны, товарищей считать». Мы, октябристы, потеряли Гучкова, которого, как главаря партии, заменить никто не смог. Благодаря этому вскоре наша фракция раскололась на три группы. Осенью 1912 г. нас вместо 125, бывших в 3-й Думе, оказалось всего 98, из коих 10 не вполне добровольно ушли вскоре в группу правых октябристов. Из них наиболее видными были Шубинский и Поповцов; в Думе они роли больше никакой не играли. Само отделилось от нас наше левое крыло – 20 человек, среди которых, кроме Хомякова, были Мейендорф, Годнев и С. Шидловский. Кроме Годнева, в 4-й Думе ни один из них того значения, как в 3-й, не имел. Однако, хотя формально от центра фракции – земцев-октябристов – они и отделились, фактически мы почти всегда голосовали одинаково с ними, и сейчас я даже не припомню, из-за чего мы с ними разошлись. В центре октябристском осталось, таким образом, всего 65 членов Думы, но он сохранил прежнее свое значение, ибо их голоса давали перевес правому или левому крылу. Кроме Гучкова, потеряли мы из видных наших товарищей Анрепа, Лерхе, Ю. Глебова и Каменского. Из вновь избранных отмечу только Варун-Секрета и Дм. Капниста, особенно последнего, несомненно способного человека. Позднее в Париже он был шофером такси и умер почти что за рулем от неожиданного внутреннего кровоизлияния.

Председателем нашей группы мы избрали Родзянко, который, однако, сряду был после этого переизбран председателем Думы и формально вышел из фракции. Ненадолго выбрали мы на его место Алексеенко, но его болезнь не позволила ему активно руко-

водить нами, и, таким образом, часто приходилось мне, как одному из двух товарищей председателя выступать от имени фракции (другой товарищ председателя Звегинцев сравнительно мало бывал в Думе). Сознаюсь, что это новое положение льстило моему самолюбию, но вместе с тем и вызывало известное нервное напряжение, ибо часто во время заседаний приходилось принимать решения по вопросам, ранее во фракции не обсуждавшимся, и от меня спрашивали указаний, как голосовать. А бывало и так, что мне приходилось делать от имени фракции заявления по таким вопросам в Общем Собрании Думы. Это было самое неприятное, ибо приходилось более или менее угадывать настроение фракции без всякой уверенности, что она со мной согласится. В этих случаях во время самого заседания приходилось наскоро обойти соседний проход и опросить сидевших около него наиболее видных коллег, главным образом, Савича.

В других фракциях тоже надо отметить значительные перемены, но ни одна из них не потеряла своего вожака, как мы. Правые немного усилились – их оказалось теперь 64; вернулись Марков 2-й, Замысловский и Пуришкевич; этот, как и Марков, был избран в этот раз по Курской губ., но вскоре рассорился с фракцией и выступил самостоятельно. В это время он уже образовал свой «Союз Михаила Архангела», обособившийся от «Союза Русского Народа». Число правых за годы войны значительно уменьшилось и ко времени революции их оставалось во фракции всего 40 – остальные не могли согласиться с ее поддержкой во что бы то ни стало правительства. Из новых правых я отмечу исключительно узкого по своим взглядам Одесского профессора Левашова, и непрезентабельного, но, несомненно, способного Лелявского, из которого (он был из самых молодых в 4-й Думе) мог бы выработаться дельный оратор. После революции, когда его Волынская губерния вошла в состав Польши, он твердо отстаивал в ней во времена Пилсудского права русского меньшинства. Однако наиболее крупным приобретением правых был Хвостов. Сперва он обращал на себя внимание лишь своей необычайной толщиной и тем, что пошел в члены Думы с губернаторского поста. Первоначально он занимал его в Вологде, где в отличие от своих предшественников объехал и обошел все Богом и людьми забытые ее части. Напомнил он Петербургу об Ухте и о возможных водяных сообщениях и скоро, как выдающийся администратор, был переведен в Нижний. Здесь, однако, он проявил себя лишь своей борьбой с умеренным элементом. Его влиянию приписывали, например, забаллотирование в 4-ю Думу, правда очень бесцветного октябриста Хвощин-

ского и проведение в нее подленького чиновника Барача. По-видимому, он перехватил в своем правом усердии даже с точки зрения Министерства внутренних дел, и поэтому-то и пошел в Думу. Хвостов был всегда карьеристом и рекламистом и очевидно на Думу смотрел тоже, как на этап в своей карьере, в чем и не ошибся. Говорил он, впрочем, недурно, и отрицать у него способностей нельзя было.

Националисты мало переменились, и главари их остались те же. Отмечу из них двух киевлян: инженера Демченко, способного подрядчика западного типа и журналиста Савенко, бойкого, но несерьезного. Дерюгин, которого они провели в председатели финансовой комиссии, оказался совершенно бесцветным. С самого начала от них отделилась группа, человек около 20, под главенством П. Крупенского (в 4-й Думе оказался и другой Крупенский, Николай, двоюродный брат Павла, более способный, но и более скромный и посему менее известный). Кроме Крупенского, в этой группе оказался и Вл. Львов. К ней примкнул и офицер Генштаба Энгельгардт, бывший управляющий Крестьянским Банком Мусин-Пушкин, недурной оратор и очень порядочный человек. Скоро он, впрочем, ушел товарищем министра земледелия. Влево от октябристов среди прогрессистов оказалась красочная фигура Караулова, Терского сотника, всегда ходившего в военной форме. Несомненно, человек сумбурный, он подкупал, однако, своей непосредственностью и говорил недурно. После Февральской революции он был избран Терским атаманом и был вскоре убит возвращающимися с Турецкого фронта солдатами. Среди этой фракции Маниловых оказался и московский земец Ржевский, в самый разгар революции рассуждавший по-детски шаблонно.

Среди кадетов, главари которых все вернулись в 4-ю Думу, упомяну вновь избранного Пепеляева, в Думе незаметного, но ставшего позднее главой правительства у Колчака, способного приват-доцента Гронского, милого и порядочного Демидова и князя Мансырева. Этот депутат от города Риги нападал все время на балтийских немцев и особенно на их баронов, что коробило других кадетов. Впоследствии, во время гражданской войны о нем отзывались крайне отрицательно.

Любопытным типом был не то у кадетов, не то у прогрессистов калужский депутат граф Орлов-Давыдов, абсолютный кретин. Избрание его объясняли исключительно тем, что он давал кадетам значительные суммы на их партийные нужды. Глупость этого человека была написана на его лице, и когда вскоре в Петербургском Окружном Суде рассматривалось дело о выдаче его

женой, актрисой Пуаре, чужого ребенка за его, чтобы обеспечить себе после его смерти пользование громадным состоянием мужа – дело, в котором глупость Орлова проявилась в полном объеме, она в Думе никого не удивила.

Среди трудовиков проявился молодой адвокат Керенский, до войны мало чем отличавшийся и считавшийся неврастеником. Наконец, социалисты определенно разделились и в Думе на две их фракции. Из меньшевиков вернулся Чхеидзе, а вместо Гегечкори Кавказ прислал Чхенкели, гораздо менее способного, что не помешало ему, как и Гегечкори, оказаться министром Грузинской республики.

Меньшевиков оказалось 8, а большевиков – 9; во главе их стоял Бадаев, который, главным образом, и выступал от имени фракции, особенно после разоблачения Малиновского. Отказ этого от звания члена Гос. Думы явился для большинства, и в том числе и для меня, полным сюрпризом, и только уже после него узнали мы, что Малиновскому предложил уйти Родзянко, под угрозой сообщения Думе переданных ему Джунковским материалов, доказывающих, что Малиновский был агентом полиции. Утверждали, что черновики его речей одобрялись до их произнесения департаментом полиции, наивно считавшим тогда большевиков менее опасными для старого режима, чем, например, таких умеренных либералов, как кадеты. Кроме Бадаева отмечу еще Покровского и Шагова. Припоминается мне еще, что как-то я встретил выходящими из кабинета Родзянко нескольких большевиков и, войдя к нему, застал его смеющимся: они просили его заступничества, чтобы полиция не высылала Стеклова-Нахамкеса, который писал им большинство их речей.

В заключение отмечу еще поляков – Дымшу, профессора-юриста, дельного, но скучного, и ксендза Мациевича, несомненно талантливый оратор.

4-я Дума, несмотря на то, что партийный ее состав мало отличался от 3-й и что правое ее крыло даже немного усилилось за счет октябристов, оказалось настроенной более лево, чем ее предшественница. На это повлияло поправление правительства, особенно после смерти Столыпина; сказалась и глупая тенденция ряда губернаторов устранять нежелательных им кандидатов в Думу; особенно много говорили тогда про Н. Маклакова, но, конечно, он не был исключением. Полевение это сказалось уже в первые месяцы, но усилилось к концу 2-й сессии. Его мало кто тогда замечал, но я припоминаю разговор в это время главарей нашей фракции, в котором я поднял, как ее председательствующий,

вопрос о том, что за две сессии Думы ничего положительного не сделали, занимаясь больше прениями по запросам правых и особенно левых, и что нам, как руководящей партии Думы надлежит, в собственных же интересах ее престижа, взять, на себя инициативу более интенсивной работы. Все со мной были согласны, но вскоре началась война и с нею дальнейшее полевание и Думы и страны, закончившееся революцией. Характерно, что в 4-ю Думу было избрано 64 правых; уже в 1-ю сессию из них ушли четверо, а осенью 1916 г. их оставалось всего 40, причем ушли из нее почти все крестьяне и священники.

Первым актом Думы была проверка полномочий ее членов. В отделе, в который я попал, оказались выборы по г. Одессе, на которые поступила жалоба, утверждавшая, что при производстве их были допущены прямые подлоги. Жалоба эта была передана в маленькую комиссию под моим председательством, которая затребовала подлинное выборное производство. При проверке его сперва все шло гладко, и я уже думал, что жалоба ни на чем не основана, когда, взявшись за проверку бюллетеней по последнему избирательному участку, я действительно натолкнулся на злоупотребления; не помню, в чем они точно заключались, но со мной согласились и комиссия, а за нею и отдел, что выборы подлежат отмене. Приглашенный нами дать объяснения Одесский правый избранник, местный викарий епископ Анатолий, незаметный, но, по-видимому, хороший человек, ничего сказать не мог, и лично на меня произвел жалкое впечатление. Выборы его были затем Думой признаны неправильными, но двух третей, необходимых для их кассации, не было достигнуто, и Анатолий остался в Думе.

Еще до этого был выбран Думой её президиум. Председателем был переизбран Родзянко и товарищами его Волконский и Урусов, о котором я уже упоминал и который явился кандидатом левого сектора. Указание его, только что вступившего в Думу и ничем вообще неизвестного, вызвало известное недоумение; злые языки утверждали, что это была вообще кадетская тактика выдвигать вперед носителей или титулов (до Урусова двух братьев-близнецов Долгоруких, товарищей председателей 1-й и 2-й Дум) или старых дворянских имен, как-то Муромцева и Головина, председателей 1-й и 2-й Дум, хотя кроме Муромцева все они были ничтожествами. Урусов им не был, но не был и крупным человеком, и отказ его от звания члена Думы уже через несколько месяцев прошел незаметным. Заменил его другой прогрессист, крупный фабрикант-текстильщик Коновалов, человек культурный и милый, но тоже не крупный. Как председательствующие в Думе

– оба они, и Урусов и Коновалов, значительно уступали Волконскому. Добавлю кстати, что при избрании Родзянко правые предложили записками в председатели Балашова, после чего левые отказались голосовать за Волконского в товарищи председателя, после чего он сперва снял свою кандидатуру.

Первый год председательствования в 4-й Думе Родзянко убедил нас, что в интересах собственно октябристских его дальнейшее пребывание во главе Думы нежелательно. С одной стороны уже в 1-й год стало ясно, что установить дружную работу Думы с правительством в его тогдашнем составе совершенно невозможно, а с другой, что Родзянко слишком мелочен, чтобы смочь с достоинством выполнять роль главы оппозиционной Думы. Сейчас у меня встает в памяти сцена, как он в своем кабинете читал письмо министру внутренних дел, тогда уже Маклакову, при котором для сведения Департамента полиции он посылал справочник Гос. Думы; перед тем на какие-то торжества полиция, кажется московская, прислала ему ошибочно пропуск на них на имя Павла Владимировича, шталмейстера (это был его брат), и наш Михаил Владимирович с удовлетворением говорил, как он щелкнул Маклакова. Слушая его, я подумал, наоборот, что Маклаков, получив это письмо, вероятно, только пожмет плечами.

Ввиду таких казусов, когда мы собрались осенью 1913 г. в нашем бюро, был поднят вопрос не выставлять вновь кандидатуры Родзянки. Это, однако, было возможно сделать лишь с его согласия, ибо оба крыла были за его переизбрание: правое, ибо ценило его полные громких фраз речи по торжественным случаям, в которых он, однако, избегал всяких указаний на конституционный строй, а левые придавали слишком большое значение мелким пикировкам Родзянки с министрами, больше личного значения, которые в их глазах имели значение защиты престижа Думы. Помогло нам, однако, что сам Родзянко стал говорить, что он больше не будет баллотироваться. Тогда Звегинцев, Люц и я пошли к нему, и добрый час говорили с ним на эту тему. Однако после первых наших слов он стал доказывать нам, что хотя лично он и хотел бы уйти, но в интересах Думы не должен этого делать. Мы все-таки от нашего мнения не отказывались, и разговор окончился ничем. Выходя из его кабинета, мы встретили Савича, которому передали наш разговор. «Чего же вы от него ждали?» – был его ответ, – «Ну смотрите, он вам этого не забудет».

Секретарем Думы был избран октябрист Дмитриюков, порядочный и умный, но очень скромный, а посему незаметный человек. Революция произвела на него крайне тяжелое впечатление,

и летом 1917 г. он покончил с собой. Старшим помощником его был избран Замысловский, но уже через год он переизбран им не был. Старший помощник входил в состав «совещания» Думы, и другие члены его за этот год могли убедиться, насколько роль Замысловского в любом думском собрании вредна, и настояли на его замене.

Когда вскоре после этого происходили выборы в комиссии, в комиссию по Военным и Морским делам вновь не были выбраны представители кадетов и социалистов. Это вызвало горячие прения, после которых кадеты были в нее большинством Думы допущены, но социалисты и трудовики остались вне её, что было мотивировано тогда тем, что эти партии были тогда против постоянных армий.

После выборов президиума Думы, в особой комиссии, избравшей меня председателем, обсуждался вопрос об адресе Государю. Были представлены три редакции: октябристская обходила наиболее острые пункты об образе правления, тогда как правые подчеркивали, как всегда, что новые основные законы оставили без перемен прежний абсолютизм, тогда как левые, наоборот, выдвигали на первый план мысль о его отмене и установлении конституционного строя. Поддерживание того и другого, мы, октябристы, находили в тот момент неудобным, но наша мысль не нашла отклика ни направо, ни налево, и в результате все три редакции провалились. Доложить об этом Общему Собранию Комиссия поручила мне, что я и выполнил в очень осторожной форме, и прений мой доклад не вызвал.

После этого состоялось представление членов Думы Государю, на этот раз в Зимнем Дворце. Тогда как в 3-й Думе представлялись только заявившие о том желание, теперь были приглашены все мы, но социалисты и трудовики от представления уклонились. Мы стояли в один ряд по губерниям, и Родзянко называл нас проходившему мимо нас Государю, задававшему некоторым вопросы. Меня он вновь спросил, мои ли братья были в гвардейских полках?

За пять лет работы 3-й Думы в нее было внесено правительством 2500 законопроектов, из коих 2200 были рассмотрены и стали законами. Из остальных – некоторые застряли в Гос. Совете, а другие, пройдя через соответствующие думские комиссии не были рассмотрены Общим Собранием. Таким образом, надлежало выяснить вопрос о преемственности думских работ. Вопрос о нерассмотренных 3-й Думой докладах ее комиссией разрешался просто: их передали как «материал» в комиссии 4-й, вопрос же о законах, находившихся в Гос. Совете был юридически более сло-

жен. Было решено, что Согласительные комиссии между обеими Палатами будут рассматривать их лишь в пределах разногласий, но при этом было ясно, что большая или меньшая уступчивость думских представителей будет подсказываться их согласием вообще с содержанием закона, прошедшего через 3-ю Думу.

За время 4-й Думы до начала войны, кроме Н. Маклакова, назначенного министром внутренних дел и о котором я уже упоминал, других интересных назначений министров не было, если не считать, что уже знакомый Думе граф П.Н. Игнатьев с поста директора Департамента земледелия был повышен в министры народного просвещения. Человек умный и тактичный, он прекрасно понимал, что давно прошло то время, когда петербургские канцелярии могут править, не считаясь со страной и с местными её силами, а также и с её общественным мнением. Это создало его успех и в Департаменте земледелия и в Министерстве народного просвещения, в котором он без промедления провел давно необходимые новые программы преподавания в средних учебных заведениях. Позднее, когда он председательствовал в Эмигрантском Кр. Кресте, мне не раз приходилось горячо спорить с ним, ибо я часто находил его слишком снисходительным к некоторым непорядкам, но эти споры никогда не ослабляли моего глубокого уважения к нему, и я посейчас считаю покойного одним из самых крупных деятелей предреволюционного периода.

С Маклаковым, кроме думских заседаний, мне пришлось встретиться только раз, за обедом у моего сочлена по Думе И.И. Капниста. Был там тогда и кн. Н.Б. Щербатов, выборный член Гос. Совета, незадолго до того назначенный главноуправляющим Государственных Коннозаводств, и в 1915 г. сменивший Маклакова в Министерстве внутренних дел. Насколько разговор с Щербатовым и другими приглашенными был оживленным, настолько Маклаков был сдержан; у меня даже осталось впечатление, что он боялся даже в этом, в общем свободном обмене мнений, скомпрометировать себя какой-либо откровенной фразой.

Маклакова выбрал, как известно, лично Государь. Не помню, состоялось ли его назначение до замены Коковцова на постах председателя Совета Министров Горемыкиным и министра финансов Барком, но, несомненно, что Горемыкин против работы Маклакова не возражал, хотя и должен был бы понимать, что она мало кем в стране одобрялась.

Назначение самого Горемыкина вызвало общее изумление. В 70 с лишком лет бывают часто люди, способные занимать посты, требующие и умственного, и физического напряжения, но Горе-

мыкин не принадлежал к их числу. Дряхл был он и телесно, а умственно его мышление отставало лет на 20. Весьма вероятно, что он принял председательствование в Совете Министров с самыми лучшими намерениями и был готов работать дружно с Думой, но сомневаюсь, чтобы он представлял себе, как этого достигнуть. Вскоре после своего назначения он пригласил меня к себе в дом председателя Совета Министров на Фонтанке именно, чтобы переговорить на эту тему. Когда я, однако, задал ему вопрос, как он глядит на некоторые спорные тогда во взаимоотношениях между Думой и правительством вопросы, то ответа не получил, причем я не думаю, чтобы он сознательно уклонялся от ответа, а что он просто не знал, что ответить. В заключение он спросил меня еще только, с кем бы из октябристов ему еще переговорить. По некоторым мелочам у меня создалось тогда впечатление, что главным осведомителем его о думских настроениях был П. Крупенский.

Выше я уже упоминал об аннексии Австрией Боснии и Герцеговины, и что тогда Россия примирилась с этим, не будучи готовой, в случае необходимости поддержать свои требования угрозой войны. В виде примера этой неподготовленности укажу, что, например, в крепости Карс и тогда и еще позднее совершенно не было снарядов для крепостных орудий, во время Японской войны взятых на Дальний Восток и все еще не замещенных. После младотурецкого переворота тогдашний наш посол в Константинополе Чарыков сблизился с новыми вождями Турции и, по-видимому, они должны были сделать нам уступки, каких еще ни одно турецкое правительство не делало, но они угрожали нам конфликтом со всем Западом, на что Сазонов не решился идти, и Чарыков был смнен. Наоборот, политика Певческого моста была в то время направлена в сторону достижения соглашения между славянскими балканскими странами для совместного их выступления против Турции. Осенью 1912 г. оно было достигнуто, и началась Балканская война. Разгром турок принял размеры совершенно неожиданные, но на пути союзников встретились два препятствия – Чатаджа (о которой я уже упоминал) и Скутари; Германия и Австрия успели столкнуться, и Австрия мобилизовала свою армию, на что мы ответили мобилизацией Киевского и Варшавского округов. Тогда Франц-Иосиф прислал в Петербург своего флигель-адъютанта Гогенлоэ с личным письмом к Николаю II, предлагая взаимную демобилизацию, что и было принято. Позднее генерал Калишевский, служивший в то время в штабе Варшавского Округа и у которого было в руках это дело, рассказывал мне, что Скалон был против принятия австрийского предложения, не доверяя ему, но

его не послушали. Оказался прав, однако, именно он: австрийская армия не была демобилизована и осталась угрозой для нас, а мы могли бы вновь мобилизовать эти два округа только через три месяца. Надо сказать, что мобилизационное дело поставлено было у нас прекрасно, что и показал 1914 г., и все офицеры, которых я знал из работавших в мобилизационном отделе, оказались во время войны отличными офицерами Генштаба. <...>

Последние две зимы перед войной через Думу прошел ряд военных законопроектов по Военному министерству. Однако, раньше, чем перейти к ним, упомяну еще два небольших ходатайства Генштаба об ассигновании ему на секретные расходы 200.000 р. по одному из этих законопроектов и, если не ошибаюсь, 160.000 по другому. Считались они столь секретными, что только председатели Думы и Комиссии по Военным и Морским делам и я, как докладчик, знали, на что именно эти суммы испрашиваются, да и то только мне были сообщены кое-какие детали. По получении двух листков, изображающих эти законопроекты, я отправился к черному Данилову, который мне сообщил, что 160.000 испрашивается на отправку Черногории одной батареи 75-миллиметровых орудий и какое-то количество винтовок, а по другому направил меня к 2-му обер-квартирмейстеру полковнику Монкевицу, заведовавшему нашей разведкой.

Позднее мне не раз приходилось читать за границей про громадные суммы, тратившиеся Россией на свой шпионаж. Из разговора с Монкевицем я убедился, наоборот, что на это столь важное дело расходовались буквально гроши. В первый раз тогда ознакомился я с общей схемой международного шпионажа, и у меня уже тогда создалось впечатление, что в нашем Генеральном штабе он был поставлен хорошо. Позднее мне попала в руки книга австрийского военного, заведовавшего этим делом перед войной в австрийском Генштабе (не помню его фамилию), и она подтвердила это моё впечатление. Любопытно, однако, в ней было то, что часто австрийский Генштаб получал сведения о нашей разведке из России, что в нашем Генштабе были получены те или иные другие секретные австрийские сведения, и, исходя из этих данных, обнаруживались наши агенты. Как раз перед войной в Вене произошло сенсационное самоубийство полковника Редля заведующего мобилизационным отделом австрийского Генштаба. Редль был педераст и наш военный агент полковник Занкевич завербовал его в свои агенты страхом разоблачения его порока, о котором он как-то узнал. Занкевич был после этого отозван, но, конечно, сеть его агентов осталась, и мы знали прекрасно все о

подготовке к войне наших западных соседей и об их планах. Относительно иностранного шпионажа у нас мне ничего слышать не пришлось, но указание австрийского военного не раз наводило меня на размышления, был ли это слишком далеко зашедший двойной шпионаж или сознательная измена?

Более крупным законопроектom по военному ведомству были за эти годы два: об отводе из пограничной полосы двух корпусов в Воронеж и, кажется, Саратов и о восстановлении крепостей. Вопрос об отводе корпусов не у меня одного вызвал недоумение, и Ю. Данилову был в комиссии поставлен ряд вопросов по поводу его. Объяснял он его тем, что он ускорял нашу мобилизацию, но каким образом, однако, я и тогда, и теперь себе не уясняю. Что это была ошибка, выяснилось, впрочем, уже через год, когда за несколько месяцев до войны была внесена в Думу большая военная программа, предусматривавшая, между прочим, создание вновь двух корпусов в Киевском и Варшавском округах. Наши военные планы того времени вообще вызвали потом немало критики.

Нападали (особенно генерал Головин) на наш Генштаб (понимай под этим Жилинского и особенно «черного» Данилова) за то, что они приняли на себя обязательство перед французским Генштабом начать наступление на 15-й день после начала войны, тогда как в это время была готова только половина нашей армии, мобилизация которой заканчивалась вполне только на 45-й день. Немало нареканий вызывал и наш операционный план, предусматривавший главный удар против австрийцев, но оставлявший слишком большие силы против германцев. До войны мы, не специалисты, с этими вопросами совершенно, однако, не были знакомы, да и сейчас я не знаю, насколько эти критики были правы. Об этом мне придется, впрочем, говорить подробнее дальше. Кредит на отвод двух корпусов, во всяком случае, тогда был открыт.

После Японской войны ни одна из наших крепостей не могла считаться современной. Около 1912 г. были ассигнованы средства на постройку крепости Петра Великого в Ревеле и укрепленной позиции Нарген-Поркалауд. Еще раньше они были даны на усиление Кронштадта и, в частности, на постройку фортов Ино и Красная Горка. Перед этим Гучков, тогда еще председатель Комиссии Гос. Обороны, был приглашен к командующему войсками Петербургского Военного Округа вел. князю Николаю Николаевичу, объяснившему положение: впечатление было, что в тот момент немцы могли взять Петербург чуть ли не голыми руками. Единственной крепостью, отвечавшей более или менее современным требованиям, был Владивосток, подновленный во время

Японской войны, но и в нем были недоделки, требовавшие ассигнования нескольких десятков миллионов.

В общем, приведение крепостей во вполне современный вид должно было стоить около двух миллиардов, но так как их нельзя было надеяться получить, то Военное министерство выделило на первоочередные работы приблизительно 200 миллионов, о которых «черный» Данилов и сделал думской комиссии прекрасный доклад. Намечалось модернизирование Ковно и Осовца и постройка новой крепости в Гродно; на юге проектировались какие-то укрепления – не то в Дубно, не то в Ровно. Зато намечалось упразднение Варшавской цитадели и крепостей в Ивангороде и Новогеоргиевске. Из всего этого до войны, кажется, ничто осуществлено не было.

В 1913 г. через Берлинский Рейхстаг был проведен второй закон об усилении немецкой армии. Вместе с первым, принятым еще в 1911 г., она увеличивалась на 170.000 человек, причем усиливалось и ее вооружение. Уже после 1911 г. в нашем Генштабе началась разработка проекта о соответствующем усилении нашей армии, а в 1913 г. было решено внести в Думу немедля соответствующий законопроект. Выработан он был под руководством генерала Беляева, заведовавшего отделом по образованию войск. Мне пришлось познакомиться с ним еще в 1908 г., когда я искал квартиру, а он передавал свою, потом я несколько раз разговаривал с ним в Генштабе, где мне приходилось бывать у него за справками по разным мелким законопроектам, но никакого воспоминания, кроме как о его большой внешней вежливости, у меня не осталось. Знал я, что его сослуживцы называют его «Мертвой Головой», ибо он действительно напоминал ее, и слышал, что у него составила репутация исключительно добросовестного работника.

Законопроект этот был готов в начале 1914 г., и 1-го марта, незадолго до внесения его в Думу, было созвано в кабинете председателя Думы Особое совещание для предварительного ознакомления с ним Думы. Кроме 50-60 членов Думы участвовали в нем Сазонов, Барк, Сухомлинов и Жилинский, как начальник Генштаба, по поручению которого Беляев обрисовал военное положение и общие черты законопроекта. После этого Барк заявил, что с финансовой точки зрения законопроект вполне выполним. Не помню, когда говорил Сазонов, кажется, до Жилинского, но после его, в общем, оптимистического заключения Милюков задал ему вопрос, не следует ли опасаться превентивной войны со стороны Германии, на что Сазонов ответил, что он хорошо знает

руководителей немецкой и австрийской политики Бетман-Гольвега и Бергольца и глубоко убежден, что пока они останутся у власти, войны не будет. Как известно, когда началась война, всего через 6 месяцев, именно оба они были у власти. Какой-то вопрос задал я Жилинскому, но вообще объяснения министров дали довольно полную картину политического положения и, насколько помнится, других вопросов не было.

Вскоре после этого заседания я встретил за обедом у общих знакомых нашего военного агента в Берне Дм. Гурко и разговорился с ним о возможностях войны. Он знал о большой программе и категорически заявил мне, что она осуществлена не будет. «Германия будет готова к войне весной 1915 г., а наша программа только начнет осуществляться осенью 1914 г. с тем, чтобы быть законченной осенью 1917 г. Вы увидите, что немцы начнут войну не позже весны 1915 г.». Слова Гурко произвели на меня впечатление, но, сознаюсь, что уверенность Сазонова пересилила, тем более, что при обсуждении сметы Министерства иностранных дел, 10-го мая, Сазонов заявил, что мы вступили в более спокойную пору, и нет недавней напряженности. Такая уверенность, очевидно, производила впечатление на всех, а на массы, несомненно, произвело и заявление, сделанное Сухомлиновым в конце марта сотруднику «Биржевых Ведомостей» о том, что армия вполне готова. О существовании новой большой программы ведь даже в Думе тогда не все еще знали.

По этой программе было назначено три докладчика: Савич, Энгельгардт и я – мне была поручена санитарная часть, Энгельгардту, если не ошибаюсь, пункты, касающиеся Гл. Управления Генштаба, а вся суть программы разбиралась Савичем. Законопроект представлял порядочную тетрадь, которая в начале каждого заседания комиссии раздавалась всем членам комиссии, кажется, под расписку, а в конце его у них отбиралась. Трем докладчикам эта тетрадь была дана за несколько дней до 1-го заседания комиссии, и я припоминаю, как я боялся, чтобы ее у меня не украли, и наказывал жене, чтобы она не выходила из дому, когда меня нет дома. Сделав свой доклад, я эту тетрадь с облегчением вернул военным.

В первом заседании комиссии Беляев говорил 3 ½ часа, излагая законопроект, поразив всех своей памятью. Всего кредиты испрашивались на, кажется, 127 мероприятий: наиболее крупными были два новых корпуса на западном фронте, одна дивизия в Сибири, какие-то кавалерийские части и усиление штатного состава всех частей. В конце законопроекта шли различные мелочи. Нам было указано, что штатный состав армии оставался неизменным

после японской войны, после того, что Редигер обещал в Думской комиссии не увеличивать этого состава. Между тем, пришлось за эти годы образовать пулеметные команды, команды связи и конных разведчиков, авиационные части и т.п., а люди для них брались из рот, число рядов в которых постоянно уменьшалось и кроме корпусов, расположенных в пограничном поясе и содержащихся почти что в боевом составе, дошли до половины всего полагавшегося. Осенью перед прибытием новобранцев в ротах оставалось подчас всего 25-28 рядов. Не было людей для формирования тяжелых дивизионов, орудия для которых уже были почти все готовы. <...>

Еще во время обсуждения большой программы в комиссии мне пришлось докладывать в Думе законопроект о контингенте новобранцев. В связи с ней контингент значительно увеличился, против чего восстали прогрессисты. Возражения их были тем более странны, что при обсуждении программы в комиссии они принципиально против нее не возражали и признавали необходимость усиления армии. Отложить обсуждение контингента на после было невозможно, ибо по закону, если он не был утвержден до 1-го мая (эти прения происходили 24-го апреля), то оставался в силе контингент предшествующего года. Тем не менее, эти доводы их не убедили, и они голосовали против какого бы то ни было увеличения числа новобранцев. При обсуждении программы они вновь подняли вопрос об исключении из нее формирования кавалерийских частей, и, кажется, часть их голосовала против всего законопроекта вообще. Впрочем, когда 10-го июня он был принят, то против него оказалось всего 40 голосов. Законопроекту этому придавалось тогда столь большое значение, что после его принятия Государь прислал Родзянке благодарность Думе за проявленный ею патриотизм. Через 10 дней после этого, 20-го июня, Дума разошлась до осени, и я помню, что общее настроение было веселым, ибо никто не ожидал, что всего через месяц Россия окажется в войне.

Перед тем, как перейти к ней, мне остается еще упомянуть о Думских событиях за последнее время ее существования. Не помню, во время 1-й или 2-й сессии Думы приезжали в Петербург делегации французского и английского парламентов. Во главе французской стоял сенатор Д'Естурнель де Констан, бывший инициатором и председателем междупарламентской организации пацифистского характера. И в Думе была группа, поддерживавшая идеи ее, во главе которой стоял прогрессист Ефремов. Я к ней не примкнул, находя ее, при тогдашней обстановке, слишком

маниловской. Делегация была в Думе и ряде других учреждений, показали ей в Зимнем Дворце коронные драгоценности и в Гос. Банке золотой запас. Был ряд частных приемов и большой обед у «Медведя». Я был в составе группы, принимавшей французских парламентариев и мне пришлось иметь дело, главным образом, с представителями Парижа Лебуком и Гранмезоном. Позднее я узнал, что он был братом известного полковника Генштаба, по плану которого французская армия должна была, в случае войны, начать сряду наступление против Германии. Как известно, из этого плана ничего не вышло.

Приезд английской делегации, состоявшей из членов парламента, военных и моряков, прошел менее заметно, но в разговорах с ними (я в них участия не принимал) выяснилось содержание до того неизвестной нам, не специалистам, англо-французской военной конвенции. В частности узнали мы, что сряду после начала войны англичане поддержат французов армией в составе 4 корпусов или 200.000 человек. Считалось это тогда большой силой.

Во время последней сессии вернулся в Думу из Гос. Совета законопроект о Городовом Положении в Царстве Польском. Так как бывший докладчиком его в 3-й Думе Синадино не был переизбран в 4-ю, мне пришлось его заменять. Хотя Гос. Совет внес в него ряд поправок с правой тенденцией, польские депутаты настаивали на их принятии, находя, что закон этот, во всяком случае, идет навстречу их национальным пожеланиям. Возражения на этот раз были только со стороны левых, главным образом против пониженного пропорционального представительства еврейской курии. При голосовании, однако, многие кадеты воздержались от него, чтобы их голоса не помогли правому крылу вообще провалить законопроект, ибо, в конце концов, при всем несовершенстве его, они соглашались с поляками, что он лучше, чем ничего. По этому законопроекту в согласительную комиссию, кажется впервые, были избраны только сторонники Думской редакции, тогда как раньше избирались представители всех партий пропорционально их силе, и в согласительных комиссиях у Госсовета оказывалось всегда большинство, ибо наши правые голосовали с ним. Теперь голоса в Согласительной Комиссии поделились пополам. Чем закончилось это разногласие, не помню.

Осенью 1913 г., при переизбрании президиума, Волконский, возможно уже ожидавший назначения товарищем министра, отказался баллотироваться в товарищи председателя, правое крыло отказалось выставить другого кандидата, и наша фракция выставила тогда мою кандидатуру. Против нее высказался, однако, Ми-

люков, как было нам указано, из-за моих финляндских выступлений, и хотя я и не мог быть избран против левого крыла, однако, наша фракция не хотела портить начавших устанавливаться тогда мирных отношений с более левыми фракциями и выдвинула вместо меня кандидатуру Варун-Секрета, который и был избран. Этой осенью в Думе образовались две новые группы: независимых из 13 человек, во главе с Карауловым, и диких – из 16, в числе коих единственным видным был Шубинский. Образование этих групп, голосовавших, как видно из их названий, как каждому члену Бог на душу положит, объясняется тем, что для избрания их членов в те или другие комиссии, им надо было быть предложенными той или другой хотя бы небольшой группой. Оставаясь же вне их, они были, таким образом, обречены на почти полное бездействие, ибо лишь в комиссиях шла настоящая работа и в них подготавливался материал для прений в Общем Собрании.

Во 2-ю сессию Дума приняла по моему докладу законопроект о реформе Сената. За два века своего существования это «творение Петрово» не раз меняло свой характер: вначале он заменял царя во время его отсутствий из столицы, позднее был чем-то вроде Совета министров, а со времен Александра I – верховным судилищем. Действовал он по законам в большей части еще екатерининского времени, и только два «кассационных» департамента составляли часть судебного организма, созданного в эпоху «великих реформ» Александра II. Остальные «старые» департаменты функционировали крайне медленно и не обладали необходимой для такого высокого учреждения независимостью. Впрочем, сказывалось это в деятельности только I-го департамента, в который поступали жалобы на действия более высоких административных властей – губернаторов и министров. Кроме того, несомненно, самый способ назначения сенаторов по представлению министров большей частью в награду за службу, но подчас и для того, чтобы избавиться от чиновника, хотя и добросовестного, но не отвечающего занимаемой им должности, далеко не обеспечивая трудоспособного состава Сената. В виду этого не отвечающую его достоинству роль получила в административном Сенате его канцелярия. Обер-секретари её и их помощники были обычно людьми, безусловно, добросовестными и хорошими юристами; они докладывали дела и представляли департаментам свои заключения, которые могли защищать, если кто-либо из сенаторов не был с ними согласен. Однако, их начальники, обер-прокуроры по одному из департаментов и общих собраний были непосредственно подчиненными Генерал-прокурора – Министра юстиции, и он мог

через них влиять на решения Сената, особенно на общих его собраниях, где заседал ряд старичков, уже по своим годам непригодных на самостоятельную работу. Про них-то и рассказывали анекдоты, что разбуженные для голосования они заявляли, что согласны с мнением Ивана Ивановича или Петра Петровича, на что получали ответ, что оба они давным-давно умерли. Не усилил независимостей сенаторов и случай сенатора Закревского, уволенного в отставку за статью или письмо в редакцию какой-то французской газеты, в котором он критиковал наш режим. Конечно, со стороны столь высокого сановника это было недопустимо, но удаление его только подтверждало его фразы о произволе, который у нас везде наблюдался.

Несмотря, однако, на все эти аномальности и анахронизмы надо признать, что в подавляющем большинстве случаев решения административных департаментов Сената были юридически вполне правильными и в редких случаях отступления от этого, когда проявлялась в них та или иная политическая тенденция. Не следовало забывать, что старики всю свою жизнь исповедовавшие те или иные взгляды, не всегда были способны примениться к новшествам, противоречащим убеждениям, в которых они выросли.

Ввиду всего этого, когда в 1905 г. в ряду других реформ была намечена и Сенатская, то назначенная для ее обсуждения комиссия под председательством Сабурова остановилась, главным образом, на двух вопросах: упрощении делопроизводства и поднятии достоинства сенаторов. Сенаторы должны были избираться самим Сенатом и назначаться Государем из числа указанных Сенатом кандидатов. Докладывать дела должны были сами сенаторы, и им предоставлялась несменяемость. Таким образом, Сенат выходил из подчинения Министерству юстиции, что, вполне естественно, не могло улыбаться Щегловитову, не спешившему с внесением Сабуровского проекта в Думу, а когда ему пришлось все-таки это сделать, то несколько его видоизменившему. Главное видоизменение заключалось в том, что министру юстиции предоставлялось наряду с кандидатами в сенаторы, указанными Сенатом, представлять и своих. Ясно было, что при словесном своем докладе министр всегда может выдвинуть вперед своего кандидата, и таким образом, если не вполне свести на нет Сенатские представления, то очень ослабить их значение. С другой стороны, однако, не менее ясно было, что, особенно при Николае II, царь не ограничится одним сенатским представлением, а примет во внимание и другие, неофициально указанные ему имена. Думская комиссия, а за нею и сама Дума приняли, однако, эти изменения, имея в виду, что

полный разрыв с его правительственной редакцией лишил бы законопроект его едва ли не единственного защитника – министра – в Гос. Совете. Помнили мы и то, что Щегловитов, безусловно, не дорожил этим законопроектом и не плакал бы, если бы он был прямо провален Советом. По существу с нами – центром – были согласны и левые, но, чтобы сохранить лицо, настаивали в Общем Собрании на возвращении к Сабуровскому проекту.

Уже после Нового Года был внесен в Думу законопроект о печати, которому придавалось большое значение и который был передан в особую комиссию. Председателем её был избран я, для чего мне пришлось оставить председательствование в Городской комиссии, о чем я не жалел, ибо в последней в это время ничего серьезного не было. Докладчиком был избран Дм. Капнист (кстати, отмечу, что он был сыном известного в свое время попечителя Московского Учебного Округа, имя которого в известном тогда юмористическом студенческом стихотворении рифмовалось со словом «анархист», который якобы был арестован и оказался самим попечителем). В комиссию вошел и Милюков, стоявший во главе известной тогда кадетской «Речи» и горячо оспаривавший ряд статей законопроекта. Наша печать, в общем, была определенно оппозиционна правительству и обе стороны изощрялись в измышлении всё новых способов с одной стороны ущемить печать, а с другой – обойти правительственные прижимки. Отмечу здесь, что в то время русская периодическая печать не имела еще того характера, который особенно ярко наблюдался тогда во Франции, а сейчас в Соединенных Штатах. Влияние капитала на печать путем сдачи объявлений не сказывалось в ней, а из газет определенно капиталистический характер современного американского типа имело одно Сытинское «Русское Слово», правда, в те годы наиболее распространенная в России газета. Наряду с этим, однако, «Речь», тоже много читавшаяся, была, безусловно, независима от каких-либо денежных влияний. Предварительной цензуры не было для газет, но зато они могли подвергаться аресту и суду за признававшиеся опасными статьи. Первым вопросом в комиссии явился, поэтому пункт о предварительной цензуре. В виде общего правила было принято, что она не допускается, но сохраняется в отдельных случаях, которые и вызвали горячие прения. Припоминаю, что в числе их были заграничные издания. Надо думать, что среди них наибольшее внимание Гл. Управления по делам печати привлекали социалистические издания, но в виде образчика того, что печатается за границей, нам были предъявлены не они, а различные задержанные издания порно-

графического характера, иные артистически исполненные. Одно из них – ряд выпусков, в которых воспроизводились картины известных художников, – поразило меня тем, сколь многочисленны были среди них, отдававшие свои досуги порнографии.

Большое внимание комиссии привлекли, однако, не эти второстепенные, в общем, исключения, а статьи карательного характера. Споры возникли по статьям Уголовного Уложения, надо признать довольно общего характера и дававшим посему судам возможность налагать наказания в случаях подчас весьма спорного характера, и едва ли не большие еще по вопросу о применении к преступлениям печати правил о совокупности наказаний. По действовавшему тогда уголовному законодательству совершение нового проступка приостанавливало исполнение предшествующего приговора до рассмотрения судом этого нового дела. Таким образом, осужденный редактор, чтобы избежать отсидки, мог всегда пропустить новые уголовно-наказуемые статьи и, таким образом, бесконечно избегать тюрьмы, имея притом в виду, что наказание по совокупности было не выше наиболее строгого из отдельных назначенных судом. В отступление от этого правила предлагалось правительством, чтобы вперед эти постановления о совокупности к делам о преступлениях печати не прилагались. Не помню сейчас всех деталей законопроекта и наших постановлений по нему; к летнему перерыву доклад комиссии был уже роздан, но война помешала его рассмотрению.

При обсуждении бюджета, кажется на 1914 г., я выступил по смете Пограничной Стражи. Перед тем бывший командир Заамурского Округа Охранной стражи генерал Мартынов приехал ко мне с рядом документов о злоупотреблениях в этом округе. Мартынов, человек, несомненно, способный (он был раньше профессором Академии Генштаба) он был также, безусловно, и рекламистом. В Японскую войну, командуя Зарайским полком, он получил Георгиевский крест, но потом не раз оспаривалась правильность этого награждения. Не знаю, на чем он рассорился с Министерством финансов, но ушел он с поста начальника округа не добровольно, что я тоже знал. Однако, документы, привезенные им, были столь красноречивы, что я решил выступить с ними в Думе. В Заамурском Округе был хозяйственный комитет под председательством генерала Сивицкого (б. командира Вильманстрандского полка) и в документах устанавливались закупки им муки и фуража, столь недоброкачественных, что люди болели и лошади дохли. Округ находился, однако, на особом положении: так как он оперировал на иностранной территории, то соблюдал

лась фикция, что он подчинен только правлению Восточно-Китайской ж.д. и расходы его подлежали, поэтому, проверке только её собственного контроля.

Я не хочу подвергать сомнению порядочность генерала Хорвата, управлявшего этой железной дорогой, но у меня создалось впечатление, что дела его линии велись по-домашнему, придерживаясь правила не выносить сора из избы. Возможно, что Мартынов и провинился, главным образом тем, что нарушил это правило. Во всяком случае, я предложил Думе пожелание, чтобы денежные операции Заамурского Округа были подчинены проверке Гос. Контроля. Мне казалось это во всяком случае меньшим нарушением китайского суверенитета, чем то, что в части округа назначались наши призывные и что фактически он был подчинен начальству Пограничной Стражи в Петербурге. Мне возражал товарищ министра финансов Вебер, но Дума, тем не менее, приняла мое пожелание.

Кажется, в эту сессию был рассмотрен курьезный запрос о секте «имяславцев». Как известно, на Афоне в числе прочих монастырей был и русский, Пантелеймоновский. Среди его монахов распространилась эта секта, суть которой заключалась по-видимому (я не вполне уверен сейчас в этом) в признании святости имени Господня, независимо от святости самого Божества. Учение это было осуждено и Константинопольским патриархом и нашим Синодом, однако, русские Афонские монахи этому решению не подчинились. Руководил этим движением бывший лейб-гусар Булатович. Когда-то я бывал в доме у его матери и не раз танцевал с его хорошенькой сестрой. Сам Булатович был известен, как один из лучших наездников гвардии, и, несомненно, был офицером незаурядным. Принимал он участие в экспедиции в Абиссинию и в каких-то военных действиях в этой стране. Оттуда привез он сироту-ребенка, подобранного им где-то там после боя, которого потом воспитывала его мать. В 1900 г. он пошел добровольцем в Манчжурию во время боксерского восстания и в бою под Хайларом (по-видимому, очень раздутым) командовал конной атакой. Однако то, что он здесь увидел, произвело на него столь сильное впечатление, что он вскоре после этого ушел в монахи.

Не знаю происхождения имяславского учения и вложил ли в него Булатович что-либо свое, но, во всяком случае, он сыграл в нем активную роль. На русских монахов, во всяком случае, поступила жалоба в посольство в Константинополе, которое срядя отправило на Афон одного из своих драгоманов и с ним своего стационара и один из пароходов Добровольного флота. Монахи

отказались подчиниться требованию оставить монастырь и заперлись в трапезной, в которую с парохода провели брандспойты и стали поливать все время певших псалмы монахов студеной водой (дело было в начале весны). Несколько часов они продержались, но понемногу стали ослабевать, и тогда матросы, взломав двери, стали по одному вытаскивать их на пароход. По доставке их в Одессу, их обстригли, переодели в штатское платье и выбросили на улицу без гроша. Вся эта операция вызвала глубокое возмущение даже в самых безразличных к религии лицах. Среди монахов были глубокие старики, не выходившие с Афона по 30-40 лет и не более подходившие к русской жизни, чем какие-нибудь обитатели Центральной Африки. Кроме того, утверждали, что все это дело было раздуто греческим духовенством, надеявшимся после изгнания русских монахов присвоить себе их монастырь. В виду всех этих данных в Думу был внесен запрос по этому поводу. Кажется, из-за войны он не был рассмотрен, но Булатович был скоро восстановлен в сане иеромонаха.

Настроение в 4-й Думе было, как я уже указывал, далеко не спокойным, что и сказывалось в разных скандалах, из коих я остановлюсь на двух. Один из них произошел в день, когда должен был впервые выступить со своей декларацией Горемыкин. Когда он поднялся на трибуну, социалисты и трудовики подняли, однако, такой шум, что он не мог произнести ни одного слова. Тогда Родзянко предложил удалить на 15 заседаний кого-то из них, что и было принято. Однако когда он вновь дал слово Горемыкину, то шум возобновился, и так продолжалось, пока не были исключены все 22 депутата этих фракций. Некоторые из них отказывались уйти и подчинялись лишь, когда к ним подходили приставы.

После этого Горемыкин мог прочитать свою декларацию, но тут произошел другой скандал: его старческий голос был столь слаб, что его не было слышно даже в первых рядах. Впрочем, когда мы затем прочитали эту декларацию, то убедились, что ничего не потеряли, ибо кроме общих фраз ничего в ней не было.

Другой скандал произошел перед самым концом 2-й сессии: я как раз перед ним ушел из Думы, ибо на два дня уезжал в Рамушево, и позднее узнал о нем по рассказам моих сотоварищей. В этот день под конец рассматривался спешный вопрос левых о пристрастном отношении судов к политическим делам. В защиту Щегловитова выступил Шубинский, говоря в своем обычном сладенько-подленьком тоне.

После одной из его фраз Милюков назвал его мерзавцем, на что Шубинский ответил: «Плюю на мерзавца». Председательству-

ющий Коновалов предложил исключить обоих на одно заседание, что и было принято в отношении Милюкова, однако, в отношении Шубинского голосование оказалось сомнительным и пришлось проверить его «выходом в двери». При этой проверке, как мне говорили журналисты, Протопопов оставался в зале последним и вышел, когда его уже почти никто не мог видеть, в сторону против исключения Шубинского. Проходить ему приходилось под ложей журналистов, из которой раздались укорительные возгласы, видимо его сконфузившие. Чуть ли не его голосом Шубинский остался. Сряду после этого Коновалов отказался от звания товарища председателя и левое крыло отказалось выставить вместо него своего кандидата, так что на следующий день снова нашей фракции пришлось выставить своего кандидата. Снова указали на меня, но так как я отсутствовал, то меня сочли невозможным выставить, и тогда выдвинули Протопопова. На возражения против него (ибо они были уже тогда) указали, что его избирают всего на две недели, до конца сессии, а осенью, несомненно, снова будет избран президиум коалиционный. Однако осенью шла война, и состоялось соглашение оставить в президиуме тех же лиц, и так и началось восхождение Протопопова.

Дума разошлась 20-го июня, и я отправился в Рамушево, куда дней через десять приехал на неделю мой младший брат с женой. При возвращении, кажется, из-под Сиверской, где была их дивизия, в его автомобиле на большом ходу сломалось колесо, и он перевернулся. Всем шести его пассажирам удивительно повезло, хотя двух их и прикрыло автомобилем. Никто из них не пострадал, и только у брата, выброшенного на кучу щебенки, было легкое сотрясение мозга, отойти от которого его и отпустили к нам. Любопытно, однако, что уже через год один из его спутников был уволен в «чистую» с пулей в мозг, полученной под Каушеном, четверо были убиты в различных боях и только брат не получил ни за Большую, ни за гражданскую войны ни одной царапины.

12-го или 13-го июля мы поехали на автомобиле через Молвотицы на Осташков. Это была единственная прилегающая к Старорусскому уезду местность, где мы еще не были, и нас влекло посмотреть на Селигер и на Нилову пустынь, к которой мимо нас каждое лето ходило много богомольцев. Часам к пяти мы были в Осташкове, откуда еще смогли нанять маленький буксир, который чудным тихим вечером доставил нас по озеру к Нилу Столбенскому. Там кончалась всенощная, и мы видели еще местного преосвященного Серафима, незадолго перед тем перемещенного из Орла в Тверь. Самого монастыря мы, в сущности, не видели,

ибо уже темнело. На следующее утро мы двинулись дальше, вдоль Селигера на Полново, и оттуда на Никольский рыбопроизводный завод, детище Гримма, кажется, тогда еще единственное в России. Лето в тот год было жаркое и нам пришлось ехать несколько верст лесом, по которому только прошел пожар; в одном месте горели еще ели на канаве вдоль дороги, по которой мы проезжали. К вечеру мы были в Валдае, где, кроме красивого озера, ничего интересного не было. Гостиниц в нем не было, и нас направили в нем к какой-то вдове, у которой обычно останавливались «судейские». Накормила она нас, пятерых, сытным и вкусным ужином, устроила на ночлег и утром еще дала кофе с плотной закуской. За все это, когда мы уезжали, она спросила – не много ли будет семи рублей? Привожу это, как иллюстрация, как жизнь тогда еще была дешева.

Ранним утром мы отправились в Валдайский Иверский монастырь, где когда-то был настоятелем будущий патриарх Никон. Дорога в него шла сосновым бором, какого я нигде больше не видал. Когда мы, однако, попросили показать нам монастырь, то монах сказал нам, что это будет возможно только, если мы закажем молебен. Так как мы спешили, то должны были от этого отказаться. Потом, в Рамушеве, о. Иосиф объяснил, что вероятно в монастыре нас приняли за «туристов», что, по его мнению, было равносильно экспроприаторам. Кстати, отмечу, что употребление иностранных слов у нас вообще бывало подчас довольно неудачным. Припоминается, что как-то наш Рамушевский учитель в ответ на шутку моей жены спросил ее, как понять ее слова, как «комплимент или эпитет», понимая под последним что-то нехорошее.

Из монастыря мы направились в имение Завалишиных, хозяин которого только что приехал из Петербурга с известием о предъявлении Австрией ультиматума Сербии; добавил он, что положение в Петербурге считается очень серьезным. Раньше я не говорил про убийство Франца-Фердинанда и его жены Принципом, и сейчас скажу только, что когда оно случилось, едва ли кто ожидал в России, что оно приведет к мировой войне.

После обеда мы выехали обратно в Рамушево через Демянск, самый глухой из наших уездных городков, какой я когда-либо видел, захватив с собой двух мальчиков Завалишиных, друзей нашей старшей девочки. На следующий день газеты подтвердили, что положение, действительно, очень серьезно, и когда 16-го под вечер к нам прибежал наш начальник почтового отделения с вестью, что только что прошла телеграмма о мобилизации – это меня не удивило, и через полчаса я уже ехал в Руссу, где попал на

последний пассажирский поезд. С полуночи начиналось движение по военному графику, но уже со мной мало кто ехал – мобилизация, видимо, захватила всех врасплох, и мало кто уже выяснил себе, что надо делать, а большинство даже еще и не знало о ней.

Подготовка России к войне

Военным никогда я не был, но был и на Японской и на Великой войне, работал в гражданском управлении Северо-Западной белой армии и, главное, всегда интересовался военным делом, и в течение 10 почти лет работал в Комиссии по военным и морским делам 3-й и 4-й Государственных Дум и был в ней докладчиком по ряду законопроектов, преимущественно касающихся Главного управления Генштаба и Главного Военно-Санитарного управления, а в 4-й Думе и по контингенту новобранцев. Таким образом, я был хорошо знаком с работой по восстановлению нашей армии после Японской войны, ибо, если роль Гос. Думы по закону ограничивалась ассигнованием средств на военные нужды, то фактически это обуславливалось доставлением Думе самых подробных сведений по затрагивавшимся вопросам.

В течение более чем 70 лет наша внешняя политика была основана на «традиционной дружбе» с Пруссией. Начавшись при Александре I, она оставалась неизменной до 1870 г., когда создание мощной Германии вместо ряда второстепенных и часто враждующих между собой государств изменило положение, и Германия стала опасной для России. Поэтому, когда в 1875 г. Бисмарк хотел окончательно добить Францию, Россия выступила против этого и новая война была предупреждена. Однако, через три года, в дни Берлинского конгресса, Бисмарк посчитался за это с Горчаковым. Несмотря на все его заявления, что он был только честным маклером и что он не мог быть более русским, чем сами русские, несомненно, что его нейтралитету Россия обязана была своей дипломатической неудачей, сведшей почти на нет успехи войны. После этого, естественно, стало значительное охлаждение отношений между Россией и Германией. Шаги к ликвидации прежних отношений были сделаны, однако, не с русской стороны – уже в начале 80-х годов Германия заключила оборонительный тройственный союз с Австрией и Италией, направленный с одной стороны против Франции, а с другой – против России.

Однако старый союз с Россией тогда расторгнут не был, и возобновлялся каждые два года, пока был жив старый император

Вильгельм I и у власти оставался Бисмарк. Только после смерти первого из них и устранения второго, уже при Вильгельме II, в 1888 г. Германия предупредила Россию, что союзный договор в 1890 г. возобновлен не будет. В мемуарах Ламздорфа мы видим, какую растерянность, даже подавленность вызвало в Петербурге это заявление Германии. К этому как раз периоду относится известный тост Александра III за приехавшего в Россию князя Николая Черногорского, как за единственного друга России. Вполне естественно, что изолированная Россия стала искать себе других союзников и что взгляд её обратился в сторону столь же изолированной Франции. Произошли посещения французской эскадры Кронштадта и русской Тулона, произошло казавшееся невозможным – самодержец Александр III, стоя слушал Марсельезу, и сближение двух стран столь быстро шло вперед, что уже в 1892 г. приехавший в Петербург начальник французского Генштаба ген. Буадефр подписал с начальником нашего Главного Штаба ген. Обручевым военную конвенцию, впоследствии дополненную формальным Союзом, к которому до известной степени примкнула перед войной Англия. Этим союзом было установлено равновесие в Европе, благодаря которому в течение более, чем 20 лет, в ней поддерживался мир.

Только в 1904-1905 гг. война наша с Японией – неожиданная, ненужная и неудачная – нарушила установившееся в Европе положение; результатом её явилась дезорганизация нашей армии и истощение всех запасов, но, вместе с тем, она указала нам наши дефекты. Россия вышла из этой войны сильно ослабленной, престиж её сильно упал, что и сказалось в 1908 г., когда Австрия присоединила к себе Боснию-Герцеговину. Был момент, когда нам предстояло или примириться с этим фактом или начать войну. В Царском Селе состоялось под председательством Государя заседание Совета Министров, где единогласно было признано, что Россия воевать не может. Работа по восстановлению нашей военной мощи началась сразу по окончании войны, еще в 1906 г. Под руководством военного министра ген. Редигера была разработана программа этого восстановления, которая и была внесена в 3-ю Гос. Думу.

Каково-же было положение нашей армии в те годы и что было этой первой программой сделано?

Единое раньше наше Военное министерство было по примеру Германии еще во время Японской войны или сразу после неё разделено на два независимых органа – Министерство и Генеральный штаб, объединенные Советом Гос. Обороны, во главе

которого стоял вел. князь Николай Николаевич. Однако, оттого ли, что дело это было у нас новым или было проведено неладно, но тех результатов, которые ожидались на первых порах, не получилось; наоборот, каждый тянул в свою сторону, получался разнотой и медленность в работе, несмотря на то, что во главе обоих ведомств стояли люди выдающиеся – Редигер и Палицын. Кроме этого умаления роли военного министра, и в самом своем ведомстве он оказался далеко не полновластным, ибо в ряде подчиненных ему главных управлений главами оказались великие князья.

Начальником Главного Артиллерийского управления был вел. князь Сергей Михайлович, Главного Инженерного – Петр Николаевич, Военно-учебных заведений – Константин Константинович, Кавалерии – вел. князь Николай Николаевич. Последний был прекрасным кавалеристом, так же, как Сергей Михайлович – выдающимся артиллеристом; оба много сделали для своих ведомств, но хозяйственная и техническая части или, вернее, осуществление намеченных мероприятий в артиллерийском ведомстве очень хромало. Главное было, однако, то, что при великих князьях объединяющая, руководящая роль министра сильно ослаблялась. 3-я Гос. Дума сряду по её созыву стала работать, дабы добиться объединения всего в руках военного министра. Это и было достигнуто: Совет Гос. Обороны был упразднен, Главное управление Генштаба вновь подчинено министру, великие князья один за другим ушли с этих постов.

Однако результаты получились далеко не те, которые ожидались. В одном из закрытых заседаний Думы Гучков произнес речь, посвященную многоначалию в Военном министерстве и неудовлетворительности нашего высшего командного состава, коснувшись и великих князей. Редигер ответил ему по существу, указав, что сразу обновить высший командный состав нельзя, что нужно идти в этом вопросе снизу. Сряду за ним Марков 2-й выразил удивление, что Редигер счел возможным отвечать Гучкову, тогда как организация армии есть прерогатива Монарха. Заявление это достигло цели, и Редигер, которого правые не любили, почти сряду был заменен Сухомлиновым, при котором все объединение власти в руках министра оказалось бесполезным. Из Главного управления Генштаба еще раньше ушел Палицын, которого заменил Гернгросс, через полгода умерший, затем пошли Мышлаевский, Жилинский и Янушкевич. За эти 9 лет существования у нас Главного управления Генштаба во главе его сменилось 6 лиц, тогда как в Германии за 60 лет их было всего три – Мольтке-старший, Шлиффен и Мольтке-младший. Неудивительно, что у нас ни

один из руководителей Генштаба не успел дать своего отпечатка работе этого учреждения. Наиболее яркой в нем фигурой явился, поэтому генерал-квартирмейстер его Ю.Н. Данилов, ряд лет беспрерывно разрабатывавший в нем оперативные вопросы, человек очень неглупый, но оказавшийся, как на этом посту, так и на посту генерал-квартирмейстера Ставки, все-таки не доросшим до тех задач, выполнение коих на нем лежало.

Высший командный состав наш и в Японскую войну, и сряду после неё оказался не на высоте. Невольно приходила на ум параллель с временами Ванновского, когда этот волевой министр, пользовавшийся доверием Александра III, умел обновлять командный состав, не считаясь с протекциями и связями. Теперь, несмотря на печальный опыт Японской войны, связи играли еще слишком крупную роль и тем более важную, что сам Государь основывался на своих личных знакомствах. Кажется, в 1908 г. Редигер добился у Государя согласия на увольнение 2 признававшихся негодными корпусных командиров – Адлерберга и Новосильцева, но один из них был преображенец, а другой конногвардеец, и в результате фактическая их смена состоялась лишь через 8 месяцев и после долгих повторных настояний министра.

Результаты получились к Великой войне далеко не завидные, если армия вообще была подготовлена к ней блестяще, то про генералитет этого сказать нельзя. Мне лично уже с первых дней войны пришлось встретиться с ярким примером чисто формального отношения к делу, правда, не в чисто военном учреждении; например, начальник Военно-Санитарной части Северо-Западного фронта из Варшавы в Лиду – штаб фронта – ехал с использованием поверстного срока. Я встретился с ним здесь через день после его приезда сюда, и он только от меня узнал, какие армии входят в состав фронта. Начальником военных сообщений этого же фронта был полковник, потом генерал, Дернов, человек, вероятно, прекрасный, но со столь слабой памятью, что ему решительно все приходилось записывать. Несмотря на лихорадочность работы военного времени, только через год поняли, что он не подходит к этой должности и куда-то его убрали. Командира 30-го корпуса ген. Вебеля в феврале 1915 г. сменили, что, однако, не помешало ему вскоре получить другой корпус. Отсюда его, впрочем, тоже сменили, ибо выяснилось, что он страдает первичной формой прогрессивного паралича. Командир 23-го корпуса ген. Кондратович (во время Японской войны командовавший доблестной 9-й Сибирской стрелковой дивизией, но сам особой доблести не проявивший), был сменен после Сольдауской опера-

ции, но затем вновь получил корпус и вновь был сменен; весной 1916 г. он состоял в распоряжении ген. Эверта, который поручил ему руководить в начале июня операцией в районе Пинского канала. Операция не удалась, и мы зря потеряли 4000 человек.

Когда я спросил П.П. Лебедева, генерал-квартирмейстера Западного фронта, как могли дать это поручение Кондратовичу, он мне с усмешкой ответил: «Хотели дать ему переэкзаменовку, но он снова провалился». Словом, чрезмерная мягкость к людям и терпимость к ничтожествам, вообще вредная, а во время войны пагубная, составляла одну из главных наших язв. И генерал Головин, пишущий в эмиграции, и генерал Зайончковский, писавший в СССР, сходятся в утверждении, что наша армия до полков включительно была прекрасна, командиры дивизий были удовлетворительны, корпусов же и армий, в общем, скорее плохи. Известные меры для подготовки высшего военного состава (большие маневры, военная игра) применялись, но большие маневры устраивались редко, военные же игры не распространялись на командующих округами.

Весной 1914 г. предполагалось устроить их в Петербурге под руководством Государя и Сухомлинова, были вызваны все командующие войсками и их начальники штабов, но в самый день начала её игра эта была отменена. Говорят, что этого добился великий князь Николай Николаевич, считавший эту игру обидной для себя, а быть может, и неуверенный в себе.

Строевое наше офицерство оказалось на войне прекрасно подготовленным, но его было у нас недостаточно. К осени 1908 г. некомплект офицеров равнялся 6000 человек. Еще до этого были приняты меры к улучшению их положения, главным образом, увеличением жалования. Для младших чинов оно составляло до 25%. В результате, к лету 1914 г. некомплект этот сократился до 3000 человек, так что после выпуска в августе 1914 г. должен был исчезнуть. Большое внимание было обращено затем на подготовку офицеров. Раньше в пехоте и в кавалерии большинство их было из юнкерских училищ, куда молодежь принималась по окончании 4 классов средних учебных заведений; теперь стали требовать от поступающих в них аттестат об окончании 6 классов и программу юнкерских училищ, переименованных в военные, сравнивали с программой последних. Большое внимание было обращено после Японской войны и на дальнейшую подготовку офицеров, уже в частях. Работать им приходилось не только с солдатами, чего, например, совершенно не существовало во французской армии, но и над самими собой. Ушли те времена, когда

младшие офицеры ничего не делали, оставляя обучение солдат на унтер-офицеров. Занятия с солдатами шли обычно в течение 7-8 часов, а вечером еще устраивались часто тактические и иные занятия в офицерском собрании.

Если, однако, с постоянным офицерским составом дело обстояло благополучно, то иначе было с офицерами запаса и особенно ополчения. Офицеров запаса у нас было сравнительно немного, если не считать слабо подготовленных прапорщиков и, кроме того, среди них было много людей морально неважных. Обычно, если офицер попадался в чем-либо некрасивом, суд часто давал ему возможность уйти в запас по прошению; все такие удаленные, призванные теперь на войну и надевшие вновь военный мундир, несомненно, не способствовали его блеску. Яркий пример этому я видел еще в Японскую войну. Еще перед нею из Вильманстрандского полка был удален заведующий хлебопекарней за злоупотребления с мукой; призванный вновь в полк в Японскую войну, он был легко ранен и попал затем в делопроизводители к воинскому начальнику. Место небольшое, но дававшее ему во время Великой войны возможность наживаться, особенно когда и вновь назначенный воинский начальник оказался взяточником.

Во всяком случае, однако, у офицеров запаса большею частью была некоторая военная подготовка, чего совсем нельзя сказать про офицеров ополчения. Предназначенные по закону для тыловой работы – охраны складов, железных дорог и т.п. – они сплошь да рядом с самого начала приняли участие в военных операциях, для которых его офицеры совсем не годились. Старшие из них, когда-то служившие в строю, не годились обычно для войны по годам, младшие же, никогда военными не бывшие, были обычно до войны гражданскими чиновниками. Припомнилось мне, как в 1898 г. я подписывал, будучи предводителем дворянства, ведомость о лицах из состава Уездного Съезда, могущих занять в ополчении офицерские должности. Ими оказался я сам – ни одного дня в строю не бывший – и секретарь Съезда, человек лет 45, подагрик и тоже не военный. К 1914-му году положение не изменилось, и я видел во время войны офицеров ополчения столь же мало подготовленных к войне, как и я сам.

В 1905-1906 гг. только единицы из офицеров действительной службы приняли участие в революционном движении. Едва ли больше революционно настроенных офицеров было в ней и перед 1914 годом. Однако, в Военном министерстве, вероятно под влиянием жандармского ведомства, возникла мысль о необходимости бороться с революционным офицерством. С этой целью Сухомли-

нов взял подполковника-жандарма Мясоедова, который должен был организовать внутреннее наблюдение за офицерством, иначе говоря, шпионаж офицеров друг за другом. Так как все высшее военное начальство, начиная с командующих войсками, было против этого, то функции Мясоедова скрывались, и только в закрытом заседании Комиссии Гос. Обороны Сухомлинов сообщил нам об этом, вынужденный определить роль, которую Мясоедов играл при нем.

Сводя все сказанное об офицерском составе нашей армии перед войной, нужно признать, что он, исключая высший генералитет, был подготовлен прекрасно, но смены убывающим не было.

Переходя к вопросу о солдатах, отмечу, что и их положение было улучшено еще до Думы: им стало отпускаться белье – и носильное, и постельное, мыло, чай. Большое внимание было обращено на лучшую их подготовку. Большим дефектом явился, однако, большой в них некомплект. Когда весной 1908 г. в Бюджетной Комиссии Думы обсуждалась первая большая военная программа, Шингарев указал на необходимость остаться при том же контингенте новобранцев, отнюдь не увеличивая его. В тот момент это требование можно было объяснить, ибо только что перед тем контингент был значительно увеличен в связи с Японской войной. Шингарев указывал, вместе с тем, на необходимость, главным образом, улучшения технического оборудования армии. Редигер, отвечая ему, согласился с сохранением того же контингента, указав лишь позднее на срочную необходимость увеличения числа сверхсрочнослужащих; идеалом его он поставил двух сверхсрочнослужащих на роту. Срока, на который должен был быть сохранен все тот же контингент, указано не было, но военное ведомство держалось его до весны 1914 г. Между тем, потребность армии росла, вводились новые технические средства (авиация, беспроволочный телеграф, броневые автомобили, телефоны и т.д.), организовывались в связи с этим новые части и команды, для которых требовалось все новые и новые люди. Единственным источником для них была пехота, кадры которой в виду этого все слабели и слабели. В результате в частях центральных округов роты к весне таяли до 45-50 человек, т.е. становились чрезмерно слабыми, что и сказалось на войне, когда, например, войска Московского округа оказались наименее стойкими.

Перехожу к снабжению нашей армии. В виде общего правила можно отметить, что мы в течение последних 50 лет всегда, хотя и не на много, но отставали во введении усовершенствованного вооружения. В Крымскую войну у нас были гладкоствольные ру-

жья, а у союзников нарезные, в Турецкую у нас были ружья однозарядные (и большей частью совсем устаревшие, системы Крка), а у турок магазинки. В Японскую войну у нас вначале не было пулеметов, не вся артиллерия была скорострельной и была только шрапнель. Ко времени Великой войны у нас, в общем, было все, но расчеты того количества этого всего, которое окажется необходимым, оказались совершенно неверными. Были они построены на предположении, что война окажется молниеносной, или что, в крайнем случае, продлится она не более 6 месяцев. С первых же дней войны необходимые шаги к усилению военного производства предприняты не были, и уже через три месяца после ее начала стал выясняться весь предстоящий нам ужас.

Пройдем по отдельным видам снабжения.

Ружейных патронов было достаточно, жалоб на их недостаток не слышалось, но винтовок было мало. В 1910 г. было закончено изготовление всего необходимого по планам количества скорострельных винтовок, и оказался даже некоторый их излишек, предназначенный для ополчения. Кроме того, имелось 810.000 старых Берданок, предназначенных для вооружения ополчения. Однако во время Балканской войны часть запаса винтовок была уступлена сербам и болгарам и до Великой войны восстановлена не была. Кроме того, запас Берданок был признан чрезмерно большим и часть его, около 400.000 была переделана в охотничьи ружья или обращена в лом. Отмечу попутно, что Берданки стреляли дымным порохом, что сразу указывало на положение наших ополченцев, а, кроме того, сильно смазанные салом патроны их давали быстрое нагревание ружья, что делало необходимым перерыв в стрельбе. По окончании перевооружения армии наши оружейные заводы оказались без работы и, как говорили в Думе, часть мастерских этих заводов была переделана на производство сельскохозяйственных машин. Прямого указания на это ни лично у меня, ни в книге ген. Маниковского нет, но косвенно эти сведения подтверждаются тем, что когда потребовалось усиленное изготовление винтовок на заводах, то не оказалось на них ни рабочих, ни станков.

Как бы то ни было, все наши оружейные заводы за январь-июль 1914 г. выделали всего 41 винтовку (по сведениям Маниковского). По заданиям, данным заводам еще в мирное время, они должны были в течение первого месяца войны довести производство до 2000 винтовок в день, однако, эта норма была достигнута только в апреле 1915 г. Ставка считала, что армии необходимо получать 200.000 винтовок в месяц, однако, ни разу

больше 150.000 в месяц за все время войны изготовлено не было. Впрочем, задание Ставки было, по-видимому, чрезмерным. Норма пулеметов была установлена еще после Японской войны в 2 на батальон. После испытания разных систем их остановились на пулемете Гюкиса, действительно прекрасном. За 800 р. с пулемета был куплен у завода патент на изготовление их, но с началом их выделки произошла задержка. Необходимо было закупить для этого станки, но наши заводы требовали за них значительно более высокую цену, чем заводы иностранные, которым поэтому Военное министерство и хотело отдать заказ, но вмешалось Министерство торговли, отстаивавшее интересы отечественных заводов, дело пошло в Совет Министров и затянулось на 8 месяцев. Во всяком случае, однако, всё намеченное число пулеметов было к войне изготовлено, хотя не следует забывать, что в германской армии число пулеметов на батальон было установлено не в два, как у нас, а в четыре.

Артиллерия у нас имела великолепный личный состав, но числом орудий была слаба и имела недостаточный запас снарядов. На двухдивизионный корпус у нас имелось 96 легких орудий, и в самом начале войны вступили в строй гаубичные дивизионы или ещё 12 орудий на корпус. Всего, значит, у нас было 108 орудий. У немцев в это время было в корпусе 160 орудий, у австрийцев 132, у французов 122; если же принять во внимание, что у нас полки были четырехбатальонные, а в других армиях трехбатальонные, то положение наше оказывается еще хуже. Тяжелых орудий на всю армию у нас было в начале войны 120 (из намеченных 240) и 450 гаубиц (из 512). Правда, у французов тяжелых орудий было всего 280, но у немцев их было 848, так что и тут соотношение было не в нашу пользу. Кроме того, у нас не было достаточного запаса орудий и еще только летом 1915 г. наши заводы выделяли всего 25 орудий в месяц. Интересно отметить, что у Военного министерства не было ни одного своего орудийного завода – они были у Морского ведомства, у Горного департамента, и перед войной возник один частный – Виккерса в Царицыне. Гл. Арт. Управление подымало вопрос о постройке своего завода, но против этого был ген. Поливанов, знавший порядок Гл. Арт. Управления и совершенно им не доверявший.

Еще более серьезным оказался недостаточный запас снарядов. Во Франции запас их к войне равнялся 1390 на орудие, но предполагалось довести его до 1500, причем после Балканской войны стали говорить о необходимости увеличить его до 3000. У нас после Японской войны при Гл. Арт. Управлении было создано

по этому вопросу совещание из техников, артиллеристов – участников войны, и представителей Генштаба; 14 голосов высказалось за 1000 снарядов на орудие и только 2 за 1400.

Позднее, уже перед войной, в 1912 г. об увеличении числа снарядов вновь поднимали вопрос Жилинский и рыжий Данилов, но ход этому вопросу ни в «ГАУ», ни в «ГУГШ» (Гл. Управление Генштаба) дано не было. Независимо от крупного расхода на это – увеличение числа снарядов до 2000 на орудие вызывало расход в 130 миллионов – не знали, как быть с запасом пороха для этого числа снарядов; он разлагался через 10 лет, и невозможно было обновлять его в этот срок. Много разговоров вызывала трубка для гранат, ибо имевшаяся в морском ведомстве не годилась для полевой артиллерии, почему было необходимо выдумать новую. Это было поручено ученому-артиллеристу ген. Гельфрейху, который через два года и изобрел идеальную трубку, но времени было упущено немало, и только около 1910 г. началось массовое их изготовление. В отношении организации нашей артиллерии любопытна еще борьба за преобразование батарей из 8-орудийных в 6-орудийные. Началась она еще при Куропаткине, около 1900 г., и не закончилась до самой войны. Только во время последней недостаток орудий заставил сократить число их до 6 в батарее.

Уже во времена Думы подобная медленность была мне непонятна; как-то в Комиссии Гос. Обороны я задал вопрос о ней представителям ГАУ и получил ответ, что это мероприятие вызывает дополнительный расход в несколько миллионов и посему и не может быть теперь же проведено. И только позднее узнал я, что истинная причина была та, что с сокращением числа орудий в батареях пришлось бы батарейных командиров понизить чином – из подполковников в капитаны – и это вызвало бы сильное замедление производства в артиллерии, на что артиллерийское ведомство не решалось.

Развивалась и инженерная часть, и все отрасли службы связи были образованы к началу войны достаточно хорошо. Новым явились здесь авиация и беспроволочный телеграф. Последний, к сожалению, явился в войсках новинкой, и им еще не успели научиться пользоваться. Не раз во время Сольдауской операции были случаи, что оперативные телеграммы посылались по нему нешифрованными, и неприятель свободно читал самые секретные наши сообщения.

Количеством аэропланов наша авиация была сравнительно достаточно мощна. Перед весной у нас было 216 авионов (самолетов), у Германии 232 и у Франции только 162, но у нас был только

один небольшой частный аэропланый завод, который, притом, не выделял моторов. В виду этого мы оказались в полной зависимости в этом отношении от союзников и быстро отстали от немцев.

Большая часть мною перечисленного была уже в программе 1908 г. К сожалению, осуществилась она со значительными задержками. К лету 1912 г. оказалось в распоряжении Военного министерства около 200 миллионов не разассигнованных кредитов. К этому времени и относится именно речь Гучкова в закрытом заседании Думы, в которой он находил эту медленность ведомства преступной, заявляя, что отечество в опасности.

В общем, однако, дефекты нашего снабжения к моменту объявления войны были таковы, что с ними можно было бы справиться, если бы с первого же дня ее за это принялись с полной энергией.

Перейду к темным пятнам нашей организации. Первым следует отметить здесь отсутствие общего плана ее на случай войны. Уже Японская война указала на необходимость выработки нового Положения о полевом управлении армией в военное время. Работа эта и была произведена в «ГУГШ», но затем ее отложили. Несколько раз Дума про нее напоминала ведомству, но только весной 1913 г. по ней были запрошены заключения заинтересованных учреждений. Между прочим, тогда состоялось обсуждение этого «Положения» в мобилизационном совете Гл. Управления Р. О. Красного Креста, членом коего я состоял. Мы сделали несколько замечаний и сообщили их «ГУГШ», где, по-видимому, дело отложили, ибо «Положение» было опубликовано только за несколько дней до войны и в первоначальной редакции, наши же указания были проведены в жизнь уже позднее.

Когда Обручев и Буадефр заключили военную конвенцию 1892 г., Франция обязалась выставить против Германии 1.300.000 человек и Россия 700.000-800.000. Срок нашего выступления, однако, установлен не был, и это было понятно, ибо, хотя срок мобилизационной готовности с улучшением путей сообщения сокращался, только с окончанием её было бы возможно начало серьезных военных действий. Однако, положение Франции против Германии, заканчивавшей свою мобилизацию на 13-й день, было весьма опасно, и поэтому французский Генштаб постоянно настаивал на скорейшем нашем выступлении, пока в августе 1912 г. приехавшему в Петербург ген. Дюбайль не удалось подписать с Россией новую военную конвенцию, по которой мы обязывались выступить против Германии на 15-й день. Когда Дюбайль пред-

ставлялся тогда Государю, то последний сказал ему, что Германию нужно бить в сердце; очевидно, имелась в виду возможность движения на Берлин. По этому новому обязательству, ответственность за которое обычно возлагается на Жилинского и Ю. Данилова, Россия вынуждалась начать наступление против Германии тогда, когда её мобилизация еще не была закончена, ибо только к 21-му её дню можно было ее считать в главных чертах законченной, и только на 24-й она заканчивалась вполне.

Если же согласиться с ген. Головиным, оспаривающим эти цифры, взятые мною у ген. Добровольского, то мобилизация наша и к 29-му дню еще не была в главных чертах вполне закончена. В результате, во всяком случае, необходимо признать, что начали мы наше наступление, далеко не будучи к нему готовы. Приписать это следует тому, что вообще, по-видимому, у руководителей Военного министерства не было вполне точных представлений о том, как должна развиваться война. Я уже упоминал, что в «ГУГШ» считали, что война продлится от 2 до 6 месяцев и, во всяком случае, не более года. Мнение это разделял и Сухомлинов, и этим и следует в значительной степени объяснить его бездеятельность в первые месяцы войны. Другим примером являются заявления рыжего Данилова в Мобилизационном Совете Р. О. Кр. Креста, когда он исчислял длительность боев в 10 дней и среднее число раненых в каждый день в 20.000. Таким образом, число их в каждую серию боев не должно было бы превышать 200.000 – всякий знает теперь, как действительность отошла от этих цифр. Следующим печальным обстоятельством является непоследовательность в работе министерства или, вернее, «ГУГШ». В 1911 г. «черный» Данилов докладывал нам о необходимости отвода в центр России 2-х корпусов из Западного края, что мотивировалось тогда тем, что здесь можно легче и быстрее их мобилизовать, а в 1914 г. по новой большой программе предполагалось сформировать 2 новых корпуса – один в Киевском, а другой в Варшавском округах. В 1911 г. тот же Данилов предложил упразднение ряда крепостей вдоль Вислы, а в 1914-1915 г.г. он же, как генерал-квартирмейстер Ставки, проводил оборону не только Ивангорода, но и Новогеоргиевска, уже за 4 года до этого им же признававшегося не отвечающим современным требованиям техники, оставляя в нем на гибель гарнизон в 60.000 человек.

План мобилизации был у нас прекрасен, однако, за ряд лет ничего не было сделано для её ускорения, если не считать постройки на специально ссуженные французами деньги линии Бологое-Полоцк. Уже перед самой войной начали производить изы-

скания новой линии Рязань-Барановичи, но даже и их не успели закончить, не говоря уже о начале её постройки.

Не был поднят и вопрос о мобилизации в случае войны промышленности, хотя о работе Германии в этом направлении было известно. Не было предусмотрено и оставление не мобилизованных рабочих в предприятиях, работающих на оборону, и уже во время войны, когда значительная часть их была перебита, стали оставшихся возвращать на заводы. А между тем, вопрос об использовании промышленности был тем более важен, что и в мирное время она не справлялась у нас с предъявляемыми к ней требованиями. <...> В сущности, эта слабость нашей промышленности и явилась, пожалуй, главнейшей причиной наших неудач 1915 г.

Как я говорил, в 1908 г. была принята первая наша большая военная программа, ко времени Великой войны только заканчивавшаяся исполнением. Между тем, Германия в 1911-1913 гг. провела два закона, коими армия её увеличивалась на 190.000 человек. Франция ответила на это возвращением к 3-летнему сроку службы, но необходимых денежных средств для перевооружения армии французское Военное министерство не получило до самой войны. Лишь небольшой заказ гаубиц, повторявших наш их образец, был Францией дан летом 1913 г. и он не был готов в начале войны. В 1913 г. начали разрабатывать новую программу и у нас, но работа эта затянулась и только в марте 1914 г. соответствующий законопроект дошел до Думы. Не буду повторять здесь сказанного мною в моих общих записках по поводу прохождения этого законопроекта – совещание в кабинете председателя Думы, подготовка доклада тремя докладчиками – Савичем, Энгельгардтом и мною, рассмотрение его в Комиссии и в Общем собрании заняли три с половиной месяца. Гос. Совет не задержал его, и около 1-го июля он стал законом. В нем было предусмотрено все, что считалось тогда необходимым для армии, но, увы, осуществление его начиналось только осенью 1914 г. и должно было закончиться осенью 1917 г. Немецкая же программа заканчивалась осуществлением весной 1915 г. – понятно, что немцы не стали ожидать момента, когда с осуществлением нашей программы ведение войны для них стало бы если не невозможным, то значительно более трудным.

Заканчивая на этом мое изложение и сводя его, могу сказать, что личный состав армии у нас, кроме самого высшего, был, в общем, прекрасным, но не было обеспечено его пополнение.

Прекрасно было и снаряжение армии, но запасы его были недостаточны, и пополнение его было не предусмотрено. Недостаточными были, правда, запасы его и во Франции, и в Германии, но там с первого же дня войны начались работы по изготовлению в громадном количестве всего необходимого армии, у нас же первые месяцы были потеряны.

Первая Великая война.

Когда 15/28 июля 1914 г. после трехдневной экскурсии на автомобиле по глуши Новгородской и Тверской губерний, где газет я в эти дни не видел, я приехал в имение одного из моих друзей и услышал от него про ультиматум Австрии Сербии и про то, что в Петербурге положение признается серьезным, возможность войны казалась нам всем совершенно исключенной. И этот день, и два следующие протекли совершенно спокойно, и ничто, даже тон газет, не предвещало столь близкого начала грозных событий; только вечером 17-го ко мне, уже у меня в имении, прибежали с телеграфной станции сообщить о получении телеграммы о мобилизации. Выехав сразу в Петербург, в нашем уездном городе Старой Руссе на вокзале я увидел уже первые признаки войны – некоторых знакомых штатских, отправляющихся в места их призыва, и вообще, массу народа, стремящегося проехать в последнюю минуту перед прекращением нормального движения. Поезд, с которым я ехал, был последним, отходившим по расписанию мирного времени, а через час после его отхода, с 12 часов ночи, вступало в действие мобилизационное расписание. Кстати сказать, и во время мобилизации, да и в первое время после ее окончания для невоенных железнодорожные сообщения были очень затруднены значительным сокращением пассажирского движения.

Хотя объявление мобилизации и являлось само по себе грозным признаком, однако, все же не верилось в возможность наступления войны. По моей 7-летней работе в качестве члена Гос. Думы и члена и секретаря Комиссии по Гос. Обороне, я был близко знаком с состоянием наших военных и морских сил, и знал, что оно все еще было таково, что вынуждало нас быть миролюбивыми до крайних пределов. Я не хочу сказать этим, что Россия была в 1914 г. не подготовлена к войне, но, тем не менее, перед ней оставалось еще сделать многое, только осуществив которое она могла смотреть вполне спокойно на будущее. Войны 1855-1856 и 1877-1878 гг. застали Россию технически совершенно не подготов-

ленной <...> И в той, и другой за все про все пришлось отдуваться нашим доблестным войскам, несшим напрасно колоссальные потери. Пока техника промышленности прогрессировала медленно, пока пути сообщения оставались приблизительно на одном уровне во всех странах, Россия являлась действительно грозным для всей Европы колоссом. Но с развитием техники и улучшением путей сообщения положение резко изменилось, а бедность страны и неудовлетворительные финансы делали его совсем печальным. Впервые это сказалось во время Крымской войны 1854-1856 гг., когда русская армия с гладкоствольным ружьем встретила с вооруженными более дальнобойными нарезными винтовками войск Франции и Англии. Уже при первой встрече, в сражении на Альме, русские полки уничтожались ранее, чем им удавалось подойти к неприятелю на расстояние, на которое хватало их ружья. Лишь благодаря героизму русских войск им удалось на 11 месяцев задержать неприятеля под стенами Севастополя. При этом те громадные, лишенные удобных путей сообщения пространства, которые во времена Наполеона I много помогли спасению России, теперь при наличии у неприятеля значительного парового флота, явились для нее несчастьем.

За все время войны в Крыму, т.е. на своей территории, Россия не смогла собрать там армии, которая численно равнялась бы армиям ее противников. Следующая война – русско-турецкая 1877-1878 годов, опять встретила Россию технически отставшей от ее противника, снабженного в изобилии и отличной артиллерией, и магазинными ружьями (которым русские войска могли противопоставить лишь плохое ружье Крнка и хорошую однозарядную винтовку Бердана) из Англии, в те времена относившейся к России явно враждебно и поддерживавшей всемерно Турцию. Последующий период, который повсеместно должен быть отмечен, как период введения скорострельной артиллерии, повлек за собой перевооружение и русской армии, но ранее, чем оно было закончено, разгорелась русско-японская война. Войскам, отправляемым на Дальний Восток, наскоро давались скорострельные орудия, причем гранат совершенно не имелось, а посылали одни шрапнели, недействительные даже тогда, когда приходилось разрушать простые китайские фанзы, не говоря уже о специально устроенных укреплениях. Первый же пошедший в Манчжурию корпус – 4-й Сибирский – не успел и вовсе получить скорострельной артиллерии. Тяжелой артиллерии не было совершенно, пулеметы считались в начале войны единицами, в конце ее десятками. Обе дальневосточные крепости – Порт-Артур и Владивосток –

были совершенно не готовы к войне и были скорее сильно укрепленными полевыми позициями, чем крепостями. Но главное, что губило в течение всей войны русскую армию, это были пути сообщения. В начале ее «Великая Сибирская ж.д.» могла пропускать не более 4 пар поездов (и то местами не более как в составе 20-25 вагонов), и только к весне 1905 г., т.е. через год, стала пропускать по 7-8 пар. Благодаря главным образом этому, в течение японской войны Россия не смогла использовать всех своих сил и должна была заключить Портсмутский договор, лишивший ее Порт-Артура и южной половины Сахалина.

Возникшая тогда под влиянием главным образом военных неудач, революция, хотя и подавленная, сказала тем не менее, глубоко во всем строе России и ввела в нее зачатки конституционного режима. Внесенные войной и революцией, как в государственный, так и в экономический строй России потрясения были, к счастью, не очень серьезными, и в 1908 г. оказалось возможным приступить к органической работе по восстановлению военной мощи страны.

Не описывая ее хода, укажу вкратце на то, что было за это время сделано. Был пересмотрен Устав о воинской повинности, и этим путем значительно расширен круг лиц, подлежащих призыву на действительную службу, пересмотрены и улучшены мобилизационные расписания и, благодаря постройке новых стратегических железных дорог, сокращен на несколько дней срок мобилизации; были в составе первоочередных частей созданы кадры для значительного числа второочередных дивизий; полевая легкая артиллерия была вся перевооружена и снабжена комплектом снарядов, который признавался тогда всеми специалистами достаточным и который, заметим кстати, мало отличался от комплектов, установленных в других великих державах.

Личный состав артиллерии был подготовлен отлично; были изготовлены орудия тяжелой артиллерии (гаубицы); были введены в пехоте пулеметные команды, хотя правда пока и с числом пулеметов значительно меньшим, чем в Германии (большего не могли изготовить русские заводы). Все части были снабжены всеми необходимыми современными средствами связи. Было обращено большое внимание и на улучшение подготовки войск, для чего в них было значительно увеличено число сверхсрочных унтер-офицеров и улучшена подготовка офицерского состава постепенным преобразованием так называемых юнкерских училищ в военные.

В результате всех этих мероприятий, русская армия могла начать войну и вести ее в первом ее периоде довольно успешно. Однако многого и многого еще не хватало. Полевая тяжелая артиллерия была, как мы сказали, изготовлена, но снарядов для нее почти не было, а сама эта артиллерия ко времени начала войны не была еще вся сведена в части и придана пехоте; современная же осадная артиллерия, ранее не существовавшая, только стала изготавливаться. Магазинных ружей было достаточно для снабжения первой и второй очередных частей, но ополчение получило однозарядные ружья Бердана с патроном, стреляющим дымным порохом. Запас ружей для замены ломающихся и теряемых был ничтожен. На основании опыта японской войны было определено необходимое число патронов, правда, чрезмерное на ружье, но изготовлено оно должно было быть только к 1922 году.

Затем в совершенно неудовлетворительном виде были все русские крепости. Сразу после окончания японской войны, пришлось обратить внимание на приведение в мало-мальски приличный вид Владивосток и несколько позднее Кронштадт. В сущности говоря, последний и был единственной крепостью вполне готовой к 1914 г. выдержать нападение врага. Между прочим, крепость Ино в Финляндии, о которой много говорили за последнее время в газетах, в сущности, была лишь одной из батарей Кронштадтской крепости, и притом рассчитанной на оборону с сухого пути. В 1911 г. был разработан план приведения всех крепостей в современный вид, но так как на это требовалось около 2 миллиардов рублей, т.е. сумма, ассигновать которую по состоянию бюджета представлялось совершенно невозможным, то были выделены некоторые наиболее неотложные работы в крепостях по германской границе, которые и начали выполняться, но к лету 1914 г. ничто закончено не было.

Не было закончено и выполнение заказов по интендантской части. Если для первоочередных частей всего и хватало, то для частей второочередных много, например, походных кухонь, еще не было. Таким образом, к лету 1914 г. русская армия не могла считаться еще готовой к войне. Несколько лучше было положение дел во флоте, в котором тяжелые уроки японской войны не прошли даром, и который под руководством талантливых и энергичных адмиралов Эссена – на посту командующего Балтийским флотом, и Григоровича – на посту морского министра был снабжен всем необходимым. Правда, устарелость русских судостроительных заводов и нежелание прибегать к заказам иностранных, повлекло за собой значительное замедление в постройке новых

современных судов, но и того, что было готово к 1914 г. было достаточно, чтобы оберечь русские побережья от возможности на них высадки. В этом отношении важную роль сыграло вооружение Ревельско-Паркалаудской позиции, благодаря которому проход в Финский залив между островами Наргеном и Паркалаудом, шириною в этом месте в 36 верст (около 39 километров) оказался под перекрестным огнем вновь возведенных батарей, и стало, благодаря этому, совершенно невозможным для неприятеля. Благодаря же неусыпной тренировке личного состава, в особенности на судах минного и подводного флота, он оказался на высоте призвания и полностью использовал все предоставленные в его распоряжение боевые средства. К сожалению, при воссоздании флота после японской войны были сделаны два промаха: с одной стороны морской Генеральный штаб недооценил значения подводного флота, благодаря чему война застала нас с совершенно ничтожным количеством вполне современных подводных лодок (что, впрочем, было возмещено прибытием английских лодок), с другой же стороны потеря двух лет перед приступом к постройке дредноутов в Черном море, в результате чего они вступили в строй уже значительно позже начала войны. Так что, в начале войны немецкие суда «Бреслау» и «Гебен» могли хозяйничать в Черном море, как хотели.

На оба эти вопроса в Гос. Думе обращалось внимание Министерства, но безрезультатно. В общем, однако, с 1907 по 1914 годы прошли в усиленной работе по улучшению снабжения армии. Когда в начале этого периода, в 1908 г., Австро-Венгрия аннексировала Боснию и Герцеговину, и на русские протесты был получен намек о возможности войны, то созданный в Царском Селе под личным председательством Государя Николая II Совет Министров единогласно признал, что Россия вести войну не в состоянии. И все члены Думы, знакомые с тогдашним положением дел обороны страны, должны были согласиться с тем, что иного решения вопроса быть не могло.

Однако к 1911 году положение изменилось, и стало вызывать опасения Германия. Хотя численность русской армии за все это время не изменилась, однако, благодаря улучшению ее вооружения, сила ее значительно увеличилась. И вот в Германии проводятся в 1912 и 1913 годах два закона, которыми численность ее армии мирного состава увеличивалась на 190.000 человек. Так как было совершенно ясно, против кого эти мероприятия направлены, то Военное министерство сразу приступило к выработке ответного законопроекта, который, однако, был внесен в

Гос. Думу только в начале 1914 года. Первоначально здесь было устроено Особое совещание под председательством председателя Думы Родзянко при участии около 100 наиболее выдающихся членов. В этом совещании кроме министра иностранных дел Сазонова и финансов Барка, выяснивших политическую и экономическую стороны законопроекта, говорил военный министр Сухомлинов, начальник Генштаба Жилинский и, главным образом, генерал Беляев. На личностях первого и последнего стоит остановиться подробнее, ибо оба они явились одними из главных виновников крушения старого режима, хотя роль их и явилась весьма различной. <...>

О роли Сухомлинова во время войны мне придется говорить позднее, и пока я о ней умалчиваю.

Совершенно в ином роде был генерал Беляев. Человек с громадной памятью и необычайной усидчивостью, он был идеальным исполнителем, поэтому весьма ценным для всякого начальника. Однако наряду с этим он обладал и громадным недостатком – он всегда стремился все изучить сам и, благодаря сему, задерживался на мелочах, весь поглощался ими и за ними терял возможность останавливаться лишь на крупном, и посему не годился в руководители крупного дела. Между тем, судьба выдвинула его во время войны на пост руководителя сперва Генштаба, а потом и Военного министерства. Этому помогло, между прочим, и то, что благодаря своему податливому характеру и неспособности к борьбе, Беляев был удобен тому течению, которое было связано с именем Распутина.

Возвращаясь к тому совещанию, о котором я начал говорить выше. Все военно-технические объяснения в нем давал Беляев. Со стороны некоторых членов Думы были сделаны попытки получить некоторые разъяснения от Сухомлинова, но напрасно, ибо он оказался совершенно не знакомым с законопроектом. Наиболее интересным был вопрос, поставленный правительству Милюковым о том, не грозит ли России принятие этого законопроекта войной со стороны Германии, в которой уже не раз раздавались голоса о так называемом «preventiv Krieg».* Милюков опасался, что, так как Германия будет готова к весне 1915 г., а Россия только к лету 1917 г., то для первой может возникнуть большой соблазн использовать эту свою более раннюю готовность. На этот вопрос, однако, был дан успокоительный ответ министром иностранных

* Präventivkrieg (нем.) – превентивная война.

дел Сазоновым, который был вполне уверен в миролюбии германского правительства. <...>.

Симпатии громадного большинства собрания, в том числе и мои, были не на стороне Милюкова – нам всем казалось, что, если Германия желает войны, то она и без принятия нами нового законопроекта будет всегда в состоянии начать войну, когда она вполне к ней подготовится, оставляя же Россию в хроническом состоянии слабости по сравнению с Германией мы считали совершенно невозможным.

Замечу кстати, что лично мне именно в начале 1914 г. впервые пришлось услышать утверждение о близости войны с Германией от нашего военного агента в Берне полковника Гурко. При нашей случайной встрече он доказывал мне, что Германия начнет войну не позднее весны 1915 г. и при этом предсказывал, что очень ошибутся те, которые рассчитывают, что Германия не может вести длительной войны по соображениям экономическим и продовольственным.

Законопроект об усилении армии был вскоре затем внесен в Гос. Думу. Он предусматривал увеличение численности армии на 370.000 человек в течение 1914-1916 годов. К лету 1917 г. все намеченные в нем мероприятия должны были быть осуществлены. Сводились они к сформированию 2-х новых корпусов и нескольких отдельных пехотных частей, главным же образом заключались в усилении существующих частей и в увеличении численности артиллерийских и технических частей. Со времени японской войны, т.е. с 1905 г., численность русской армии оставалась без перемен, и поэтому всякое введение новых технических усовершенствований требовало людской силы и влекло за собой сокращение численного состава пехотных частей. Россия настолько мало имела агрессивных намерений, что когда весной 1908 г. в Гос. Думу был внесен законопроект об ассигновании средств на улучшение материальной части, то в секретном заседании комиссии Думы по Гос. Обороне тогдашний военный министр генерал Редигер в своих объяснениях признавал возможным сокращение численного состава армии после того, как в ней будет создан остаточный кадр сверхсрочнослужащих унтер-офицеров.

В соответствии с этим, каждый раз, когда в Гос. Думу вносились законопроекты о сформировании новых воинских частей, то вплоть до 1914 г. всегда указывалось, что предполагается взять людей для этих новых формирований за счет каких-нибудь других частей. В конце концов, численность солдат в ротах оказалась совершенно смехотворной, пехота почти растаяла. Поэтому, за-

конопроект 1914 г. и предполагал довести состав рот до первоначального их состава, и на это шла значительная часть прибавляемых людей. Затем много людей требовалась для формирования тяжелых артиллерийских дивизионов. Замечу попутно, что при обсуждении законопроекта в комиссиях Думы, генерал Беляев, объясняя, почему и после проведения реформы русский двухдивизионный корпус будет иметь всего 108 орудий, тогда как в таком же германском корпусе их будет 160, указывал, что по мнению специалистов, как русских, так и французских, использовать такое большое число орудий на корпусном участке будет невозможно. Как действительность посмеялась над этими расчетами! Законопроект этот быстро прошел через законодательные палаты и стал законом еще до начала войны, но, конечно, о приведении его в исполнение не могло быть и речи.

Вообще следует отметить, что уже до войны, при выполнении военной программы 1908 г. сказалась и обычная медлительность нашей административной машины и слабость нашей промышленности. Даже те кредиты, которые были отпущены Военному министерству оставались неизрасходованными в назначенный для сего срок, и посему министр финансов Коковцов, возражая против увеличения ассигнований на оборону государства, всегда ссылаясь на неиспользование Военным министерством ранее отпущенных ему сумм. Положение уже в 1912 г., перед окончанием работ 3-й Думы, было таково, что А.И. Гучков, подвергнув резкой критике деятельность артиллерийского ведомства, прямо заявил, что «отечество в опасности». Что артиллерийское ведомство, или точнее сказать Главное Артиллерийское Управление, давно нуждалось в реорганизации, было всем ясно, но добиться ее ни Военному министерству, ни Гос. Думе было не под силу. Стоявший во главе его великий князь Сергей Михайлович, правда, оставил свою должность, но был заменен помощником его, находившимся всецело под его влиянием, генералом Кузьминым-Караваевым, человеком, безусловно во всех отношениях порядочным, но с недостаточно сильной волей, чтобы провести коренную реорганизацию ведомства. В результате, во главе ведомства, вместо лица хотя и безответственного, но сильного и отличного артиллериста, появился человек ответственный, но недостаточно сильный и притом посредственный артиллерист. В конце концов, дело от этого лучше не пошло.

С другой стороны сильно задерживали ход усиления армии наши заводы: например, в деле снабжения Военного министерства пулеметами или станками для изготовления ружейных па-

тронов. Производительность же их в деле изготовления орудий была совершенно ничтожной; то же было, к сожалению, и в других областях производства, не только предназначенного для нужд армии. Так, например, уже до войны отлично сознавалось, что в России слишком мало железнодорожных паровозов и что в случае войны предстоят большие затруднения в перевозках. И, тем не менее, при обсуждении бюджета на 1914 г. Гос. Дума должна была сократить ассигнования именно на заказ новых паровозов, ибо заводы все равно не были в состоянии исполнить их. То же наблюдалось и при изготовлении других заказов для железных дорог. <...>

Таково было состояние снабжения нашей армии и нашей промышленности, которые определяли в значительной степени и отношение правительства и народного представительства к вопросу о войне: можно с уверенностью сказать, что ее никто в России не желал, кроме, быть может, наиболее юной части офицерства, но, вместе с тем, у всех было твердое убеждение, что 1908 г. уже не может повториться, что положение уже не то, и что Россия, хотя и не вполне готова к войне, но может, тем не менее, принять неприятельское нападение не без надежды выдержать его с успехом.

Утром 18-го июля я нашел Петроград более пустынным, чем он обыкновенно бывал в это время, и напряженно ожидающим решения вопроса о войне или мире. Утром же узнал я, что с нашей стороны делается все, чтобы избежать войны, и что с противной стороны, главным образом, со стороны Германии совершенно не желают мирного исхода. Сразу же по приезде отправился я в Главное Управление Красного Креста. Красный Крест всегда был учреждением полуофициальным. Главное его Управление и Комитеты всех местных его организаций выбирались общими собраниями их членов, в число которых мог вступать всякий, кто пожелал бы сделать в кассу общества пятирублевый годичный взнос. Однако, наряду с этим, председатель Главного Управления и два его товарища утверждались покровительницей Общества (в течение 37 лет ею была вдовствующая Императрица Мария Федоровна), а средства Общества составлялись, главным образом, путем сборов с заграничных паспортов и с железнодорожных билетов. Этот источник получения средств делал Красный Крест зависимым от правительства и придавал ему тот официальный оттенок, о котором я упомянул выше.

Когда в 1911 г. я был выбран членом Главного Управления, то я застал во главе его А.А. Ильина, члена Гос. Совета по выборам от дворянства. Давнишний деятель Красного Креста, человек ум-

ный и крайне тактичный, он был вполне на своем месте, и только его чрезвычайная мягкость вызывала на него подчас нареkania. К нему я первым делом и обратился. Несмотря на ранний час, я застал однако А.А. Ильина и узнал, что уже накануне вечером после объявления общей мобилизации Главное Управление также разослало телеграммы о мобилизации во все свои учреждения, которые по мобилизационному расписанию Красного Креста должны были сформировать те или другие учреждения.

Я несколько останавлиюсь на вопросе о подготовке Красного Креста к войне. Японская война застала его врасплох; все пришлось импровизировать и устраивать наскоро. Однако война эта дала богатый опыт, который и был по окончании ее использован, к сожалению, впрочем, не во всех частях одновременно. В первые же годы все внимание было обращено на изготовление образцов снабжения лечебных учреждений Красного Креста военного времени и на организацию складов запасов имущества – в первую очередь для всего, что осталось после японской войны. Именно в это время был устроен образцовый склад Креста в Петрограде, учреждение единственное не только в России, но и во всем мире. К сожалению, обратив сразу внимание на хозяйственную часть, Главное Управление в первые годы пренебрегло официальной частью. И только в 1911 г., после вступления в число его членов А.И. Гучкова, был поднят вопрос о создании в Красном Кресте особого мобилизационного Совета с поручением ему разработки всех организационных и мобилизационных вопросов на случай войны.

В 1912 г. эта идея осуществилась, и Гучков стал первым председателем этого Совета, в число членов которого был выбран и я. Делопроизводителем Совета был А.А. Леман, на которого легла разработка всех намечавшихся Советом вопросов. За два с небольшим года, которые Совет проработал до начала войны, он сделал большую работу. Сперва он установил типы лечебных заведений, формируемых Красным Крестом на случай войны; типы эти оказались настолько жизненными, что во время войны потребовались только небольшие изменения в выработанных для них Мобилизационным Советом штатах. Затем по соглашению с военным ведомством было установлено число и сроки подлежащих формированию Крестом лечебных заведений и выработаны мобилизационные для них расписания. К сожалению то, что было тогда намечено, было сообразовано не с масштабом возможной общеевропейской войны, а с наличными силами учреждений Красного Креста мирного времени.

Интересно отметить, что когда в одном из заседаний Мобилизационного Совета Главного Управления рассматривалось это мобилизационное расписание, то представитель военного ведомства Н.А. Данилов указывал, что нужно рассчитывать во время периода боев на поступление на всех фронтах до 20.000 раненых ежедневно и что каждый период можно определить в 10 дней. Как обе эти цифры оказались мало отвечающими действительности и насколько последняя оказалась более ужасной! Затем, создав все мобилизационные планы, изготовить все необходимое имущество Главное Управление смогло бы только к 1915 г., ко времени же войны многого и многого не хватало. Также ко времени начала войны Красный Крест не имел надлежащего количества подготовленных сестер милосердия и санитаров. В составе общин Красного Креста в 1912 г. числилось всего около 3500 сестер милосердия, между тем уже по первому мобилизационному расписанию их требовалось более 7000. Дабы получить этих сестер, при различных общинах были учреждены 9-месячные курсы для их подготовки, которые за 2 года, протекавшие до войны и дали необходимый кадр для укомплектования учреждений первой очереди. Но в дальнейшем сестер с достаточной подготовкой уже не хватало и пришлось прибегнуть к краткосрочным 6-недельным курсам, дававшим сестер, как это выяснилось уже на опыте японской войны, с совершенно недостаточными познаниями.

Что касается до врачей, то почти все гражданские врачи числились или в запасе армии или в ополчении; поэтому пришлось войти в соглашение с военным ведомством, по которому Красному Кресту было обеспечено необходимое ему на первое время количество врачей, причем от самого Креста зависело указать желательных ему лиц. Благодаря сему, Красный Крест имел возможность обеспечить себя первоначально отличным врачебным составом. Нужно сказать, что вообще и позднее Красный Крест не испытывал особых затруднений с врачами, ибо они всегда охотно шли на службу в нем, но вообще врачебный вопрос, несмотря на усиленный выпуск молодых врачей, стал весьма остро – если не в армии, то в стране, где часто на уезд со 150.000-200.000 жителей составлялись иногда 1-2 врача.

В отношении санитаров Красный Крест тоже вошел в соглашение с военным ведомством, которое обещало дать при мобилизации 7000 призываемых из запаса, необходимых для полевых учреждений Креста. Предполагалось, что все эти люди пройдут предварительно особые подготовительные курсы, но так как это должно было осуществиться в течение 10 лет, а первые курсы

были устроены только в 1913 г., то, в громадном большинстве, предоставленные Красному Кресту запасные оказались к санитарной службе совершенно неподготовленными.

Как я уже указывал выше, вопросы об организации отдельных учреждений и об их снабжении необходимым персоналом и имуществом были разработаны в Мобилизационном Совете Красного Креста, но вопрос об общем управлении учреждениями Красного Креста на театре военных действий не подвергался ко времени войны даже разработке. В Мобилизационном Совете Гучков взял на себя разработку этого вопроса, но ко времени войны ничего не выработал, и поэтому война застала в этом вопросе Красный Крест врасплох. Впрочем, следует сказать, что вина в этом лежала, главным образом, на военном ведомстве, ибо, несмотря на то, что прежде 9 лет со времени окончания японской войны, к 1914 г. все еще не было утверждено «Положение о полевом управлении армией в военное время», которое должно было определить и положение на фронте учреждений Красного Креста. Не помогали в этом отношении и неоднократные напоминания Гос. Думы – «Положение об управлении армией» было наскоро утверждено только перед самым началом войны, и посему почти никому не было ни в армии, ни в тылу знакомо.

Рассказываю здесь про это, как про обстоятельство еще раз подтверждающее, как мало Россия ожидала и готовилась к войне в 1914 г. Незадолго до войны Красный Крест только запрашивали, нет ли с его стороны замечаний на касающиеся его статьи этого «Положения», но затем дело дальше не двинулось и, насколько помнится, наши заключения при издании «Положения» не были приняты во внимание.

Итак, утром 18-го июля я узнал от А.А. Ильина, что первые распоряжения уже отданы и что работа по мобилизации уже началась. Так как в 1905 г. я уже работал в Манчжурии в качестве уполномоченного Красного креста и так как я теперь был свободен от призыва на военную службу, то я выразил желание отправиться опять на фронт в качестве активного работника Красного Креста. Тут же, в первом нашем разговоре, выяснилось, что мое желание может быть удовлетворено, и было намечено, что я буду назначен помощником главноуполномоченного Красного Креста на Северо-Западном фронте. Должность главноуполномоченного была предусмотрена в «Положении о полевом управлении армией», делавшем из главноуполномоченного главу всех организаций добровольной санитарной помощи войскам.

На каждом отдельном фронте полагался особый главноуполномоченный, подчиненный главному Начальнику снабжений. В свою очередь последний стоял во главе всей хозяйственной части фронта, будучи помощником главнокомандующего, при котором помощником по оперативной и строевой частям был начальник штаба. Но, описав положение главноуполномоченного самыми общими чертами, «Положение о полевом управлении армией» далее указывало, что права и обязанности главноуполномоченного определяются Уставом Общества Красного Креста. Этот же последний, составленный еще в 70-х годах, был признан совершенно устаревшим еще во времена японской войны, после которой особая Комиссия выработала проект нового Устава. К сожалению, этот проект до самой войны не был рассмотрен Главным Управлением Красного Креста, несмотря на то, что неоднократно поднимался вопрос о необходимости скорейшего его проведения.

По-видимому, в этом проекте проводилась мысль о привлечении в состав Главного и местных управлений Красного Креста представителей органов самоуправления и вообще об установлении более тесной связи их с местными общественными организациями. Однако, это-то и послужило, по-видимому, тем камнем преткновения, через который проект нового Устава не смог перебраться. Как я уже говорил, у старого нашего правительства органы местного самоуправления всегда были под большим подозрением, и посему предоставление им решающей роли в Главном Управлении Красного Креста могло изменить отношение к нему правительственных кругов и лишить его права на получение тех сборов, о которых я уже говорил выше и которыми Красный Крест, главным образом, и жил. Каждый раз, как заходил вопрос о реорганизации Главного Управления, это-то и вызывало его отложение. Скажу даже более – этот страх удерживал и вообще от всякого сближения с организациями, созданными местным самоуправлением, а в первую очередь с Всероссийским Земским Союзом. Когда, например, зимой, кажется, 1912-1913 года выяснилась необходимость оказания врачебно-питательной помощи населению некоторых постигнутых неурожаем восточных губерний и была решена посылка туда отрядов Красного Креста, то я внес в Главное Управление заявление о необходимости попытаться установить по этому поводу связь и сотрудничество с Земскими Союдами с временным привлечением в состав Главного Управления представителей этого Союза. Это заявление было, хотя и в весьма любезной форме, но, тем не менее, похоронено по первому разряду; ко мне присоединились только А.И. Гучков и В.С. Кривенко.

В результате всего этого война застала Красный Крест с устаревшим Уставом, в котором роль главноуполномоченного и его права и обязанности обрисовывались в соответствии с прежними условиями военной организации, совершенно не отвечавшими новому положению, да и то в самых общих чертах. Ввиду сего, пришлось в течение первых же дней по объявлении войны выработать особый для главноуполномоченного наказ, в котором указать хотя бы самые общие пределы его прав и обязанностей. При этом пришлось определить, тоже в самых кратких чертах, и положение представителей Красного Креста при отдельных армиях – особоуполномоченных, должность которых признавали необходимой на основании опыта японской войны. В военных положениях эта должность предусмотрена не была, но оказалась настолько отвечающей потребностям, что в сентябре 1914 года она была уже, так сказать, узаконена новым положением о санитарном отделе штаба армии, выделившим санитарную часть армии в самостоятельный отдел штаба.

Так как не был разработан вопрос о самом строе управления Красного Креста на фронте, то не были и намечены кандидаты для замещения ответственных в нем должностей, и пришлось наскоро их подыскивать. Наиболее видным кандидатом из состава Главного Управления являлся А.И. Гучков, но у него еще недавно было столкновение с Сухомлиновым, а этот последний все еще был военным министром, и посему кандидатура Гучкова на место главноуполномоченного отпала (главноуполномоченные Красного Креста утверждались именно этим министром). Кроме того, сразу стали говорить про кандидатуру другого члена Главного Управления, члена Гос. Совета и бывшего товарища министра земледелия Б.Е. Иваницкого, уже с успехом исполнявшего обязанности главноуполномоченного в мирное время. Он и был назначен и исполнял с кипучей энергией свои тяжелые обязанности на Юго-западном фронте до октября 1917 г., сумев, несмотря на свой крайне горячий нервный характер, высоко продержат все время знамя Красного Креста. Во время гражданской войны Б.Е. Иваницкий стоял во главе Красного Креста у Деникина и Врангеля, а с 1921 г. работал в Париже, будучи товарищем председателя Главного Управления Красного Креста, и фактически возглавлял особую его Комиссию, руководящую работой Красного Креста за границей. К сожалению, за эти годы нервность Иваницкого еще больше увеличилась и подчас заставляла думать о его ненормальности.

Кандидата на вторую должность главноуполномоченного подыскивали не без затруднений, ибо хотели назначить его непременно из членов Главного Управления. Но нужно было спешить, и уже через день было решено, что им будет генерал-майор Д.Я. Дашков, очень порядочный и хороший человек, близкий по своей прежней службе ко двору и давно работавший в Красном Кресте, но до того времени никогда не занимавший крупных административных должностей. Он был назначен на Северо-Западный фронт, и именно к нему я и был назначен помощником. Ильин мне прямо сказал, что назначить меня сразу главноуполномоченным нельзя в виду моего малого опыта в красно-крестном деле, но что он надеется на меня, чтобы выручать Дашкова, и ленивого и неумного. Когда я ушел от Дашкова, он продержался один всего два месяца и был заменен генералом Волковым, управляющим Кабинетом Двора Его Величества, человеком дельным, но неприятным. В число особоуполномоченных при армиях были назначены видные общественные деятели, члены Гос. Думы 3-го и 4-го созывов А.И. Гучков, Г.Г. Лерхе, Н.И. Антонов, князь И.А. Куракин и выборный член Гос. Совета М.А. Стахович.

Между тем, пока еще только начинались переговоры о всех этих назначениях, положение все более усложнялось и быстро шло к развязке. Еще 18-го утром надеялись на возможность мирного исхода, а уже 19-го днем германский посол граф Пурталес передал министру иностранных дел Сазонову ноту об объявлении Германией войны России. Петроград принял войну спокойно; даже больше – еще в начале июля в Петрограде и его окрестностях состоялись массовые забастовки фабрично-заводских рабочих, которые ставили в связь с агитацией германских агентов, но как только появились известия о начале конфликта с Германией, то точно по мановению руки все эти забастовки прекратились. Замечу, кстати, что о конфликте с Австрией никто не говорил. Возмущались ультиматумом Австрии к Сербии, но для России Австрия как будто не существовала. Для всех было ясно, что Австрия одна ничто и что все, что она делает, подсказывает ей Германия. Поэтому даже в простом народе о войне с Австрией не было почти разговоров, все мысли, все вопросы сводились неизбежно к Германии. В тех кружках, которые образовывались около объявлений о мобилизации, около газетчиков, в трамваях – везде шла речь о Германии и почти исключительно о Германии.

Однако ненависти к немцам в то время еще ни у кого не было, и почти все считали, что собственно немецкий народ сам войны не желает, а его толкает на нее правительство и его император,

жаждущий военных лавров, Вильгельм II. Враждебное отношение к немцам появилось лишь позднее, когда получились известия об обращении их с русскими, которых война застала в Германии, а особенно тогда, как то с одного, то с другого фронта стали приходить рассказы о жестоком обращении с нашими пленными и особенно с ранеными. Однако, несмотря на отсутствие враждебности к немцам, отношение к войне было совсем иным, чем в 1904 г.: та война была непонятна и потому непопулярна, эта же не требовала объяснений, и все сознавали, что рано или поздно, несмотря на все миролюбие России, без нее было не обойтись.

Итак, когда 19-го днем стало известно, что война уже факт, то в общем настроении перемены от этого не произошло, тем более, что за последние дни на мирный исход мало надеялись. Мобилизация шла так, как все было назначено. 18-е было первым ее днем, и 19-го уже повсеместно происходила явка запасных, начинался осмотр лошадей, местами повозок, и готовилась реквизиция автомобилей (закон о ней еще не успел пройти через Гос. Думу, и пришлось теперь проводить его в спешном порядке). Вообще все наши мобилизационные планы оказались выработанными отлично, и мобилизация прошла великолепно. В первые дни ее эшелоны приходили на фронт с удивительной точностью, опаздывая всего на час, полчаса. Позднее, вследствие неизбежных при такой напряженной работе случайностей, вроде, например, крушений поездов и т.д., запоздания увеличились, но и то серьезного значения не имели.

Уже 19-го утром выяснилось, что назначение Иваницкого и Дашкова главноуполномоченными состоится, равно как и мое, и вместе с тем, я столкнулся с Дашковым, что через несколько дней я поеду вперед в Вильно, где предполагалось первоначально поместить наше Управление, а он останется в Петрограде для формирования всего штата Управления. Некоторые ближайшие помощники главноуполномоченного были, однако, намеченными при мне. Наиболее важным было, конечно, замещение должности заведующего медицинской частью Управления – этой наиболее существенной его отрасли, при которой все остальные являлись лишь служебными. Уже в японскую войну приобрел себе репутацию отличного фронтового работника тогда всемирно известный хирург, Юрьевский профессор Цеге-фон-Мантейфель. Он и был избран на должность заведующего медицинской частью нашего фронта. К сожалению, выбор этот оказался неудачным, ибо, как вскоре выяснилось, у него вовсе не было административного таланта, а кроме того канцелярская работа, которой ему неизбежно

приходилось отдавать много времени, его совершенно не интересовала, и он ею тяготился. Так что осенью 1915 г. он охотно переменил эту должность на другую, тоже фронтную. Положение Цеге осложнялось при том еще тем, что несмотря на долгую службу в России и на то, что он многие годы читал лекции по-русски, говорил он по-русски очень неправильно и с сильным немецким акцентом, что при той осторожности, которая очень быстро возникла на фронте ко всему немецкому, создавало по отношению к нему известную атмосферу предубежденности.

За эти дни выяснилось также, что в первые же дни ряд учреждений Красного Креста может быть сразу двинут на фронт (вопрос был в получении поездов для них, ибо под особой рубрикой красно-крестные учреждения в мобилизационных расписаниях не фигурировали), и каковы будут те ближайшие задачи, выполнение которых на меня будет возложено. Было решено, что уже 22-го я выеду из Петрограда. Пассажирских поездов уже не было, и посему для быстроты переезда я попросил меня взять в один из отходивших в этот день эшелонов Конной Гвардии, в числе офицеров которого находился мой младший брат. Командир полка, позднее гетман Украины – Скоропадский, дал на это разрешение, и оставалось только закончить ко времени отъезда все мои дела. 20-го вечером приехали в Петербург Катя с детьми, чтобы попрощаться со мной. Так как пассажирские поезда не ходили, то они приехали на автомобиле, сразу после этого сданном по реквизиции военному ведомству.

21-го июля (ст.ст) по случаю объявления войны был торжественный выход в Зимнем дворце. Настроение у всех было приподнятое, и речь Государя, в которой он заявлял о твердом своем намерении не класть оружия, пока хотя бы один неприятельский солдат останется на русской земле, вызвала бурные крики «ура»; некоторые из молодых офицеров в порыве воодушевления выхватили шашки и размахивали ими по воздуху. Можно было с уверенностью сказать, что с речью Государя были согласны сплошь все присутствующие в этот день во дворце.

Встретил я на выходе начальника Генерального штаба генерала Янушкевича, только что назначенного начальником штаба Верховного Главнокомандующего, и великого князя Николая Николаевича. Кто будет верховным главнокомандующим, по-видимому, оставалось невыясненным до последней минуты; по крайней мере, еще зимой 1913-1914 г. один из видных чинов Военного министерства, генерал Н.А. Данилов, передавал мне, что когда Сухомлинов попытался выяснить этот вопрос при общем докладе Государю

о разных мобилизационных предположениях, то получил ответ: «А почему бы мне не взять это на себя?». После сего вопрос этот, как говорят, более не возбуждался вновь до самой войны. Почему теперь Государь не принял сразу сам на себя этих обязанностей, не знаю. Быть может, Сухомлинов прямо указал ему на великого князя Николая Николаевича, и он, по свойственной ему нелюбви к прямому отклонению предлагаемого ему, подчинился этому указанию; быть может, причина была иная, но, во всяком случае, был избран кандидат наилучший из всех, которых можно было бы тогда указать. Знаток военного дела, человек с известной волей, доходившей подчас почти до жестокости, великий князь Николай Николаевич был, вместе с тем, единственным лицом, безусловно вполне независимым от всяких посторонних влияний и притом достаточно сильным, дабы провести необходимые перемены в далеко не идеальном нашем высшем командном составе.

Должность начальника и генерала-квартирмейстера его штаба по положению уже раньше полагалось заместить начальником и генералом-квартирмейстером Главного Управления Генерального штаба, поэтому на них и были назначены тогдашние носители этих должностей – генералы Янушкевич и Данилов. Первый из них, убитый во время революции, был лично порядочный и тактичный человек; ранее он был профессором Военной Академии, но по кафедре администрации, также и вся служба его прошла на должностях чисто административных, большею частью в Канцелярии Военного министерства. Мне приходилось иметь с Янушкевичем дело в Гос. Думе, первоначально, как с начальником Законодательного отдела Канцелярии Военного министерства, а позднее помощником ее начальника, и я всегда имел случай убедиться в его добросовестности. Однако, ничего общего с вопросами оперативными или мобилизационными он никогда не имел и едва ли был в них сведущ. Напомню, что, когда в Военной Академии среди молодых профессоров проявилось новое течение, доказывавшее необходимость внесения новых начал в общий строй службы Генштаба, то оно было принято в высших военных сферах весьма неблагоприятно, и было окрещено «младотуречеством». Когда же выяснилось, что тогдашний начальник Академии генерал Щербачев, позднее Главнокомандующий Румынским фронтом, сочувствует этому направлению, то он был смещен и на его место был назначен (кажется, это было в 1912 г.) Янушкевич. Нужно сказать, что последний был весьма правых убеждений и принимал одно время, будучи делегатом от Псковского дворянства, участие в Совете Съездов Объединенного Дворянства, ор-

ганизации общеизвестной, как реакционного характера. Весьма вероятно, что именно эти его правые взгляды и выдвинули его на пост начальника Академии, также как и на пост начальника Генштаба, откуда он механически попал на должность в Ставку.

В Академии Янушкевич ничем особенно себя не проявил, если не считать предъявленного им главе молодых профессоров талантливому полковнику Головину требования о представлении на цензуру Академии всех его сочинений, что имело следствием уход из Академии как Головина, так и двух других молодых профессоров. На пост начальника Генерального штаба Янушкевич был назначен всего весной 1914 г. на место генерала Жилинского, заменившего умершего тогда Варшавского генерал-губернатора генерала Скалона. У Жилинского были дурные отношения с Сухомлиновым, и потому последний постарался освободиться от него, хотя бы с повышением, и заменить его человеком более податливым. Янушкевич, при всех его прочих качествах, совершенно не обладал боевым характером, и посему был довольно бесцветен, и мешать Сухомлинову не мог.

Три месяца пребывания в должности начальника Генштаба не могли, конечно, дать Янушкевичу необходимых познаний в стратегическом и мобилизационном деле, и посему вполне естественно, что в Ставке он был быстро заменен генерал-квартирмейстером генералом Ю.Н. Даниловым. Этот последний являлся фигурой совершенно иного рода. Занимая в течение ряда лет должность генерал-квартирмейстера Генштаба, он руководил в нем разработкой всех наших оперативных планов и был посему вполне в курсе как того, что было у нас известно о намерениях противника, так и того, что мы сами в состоянии сделать. Вполне естественно, что руководящая роль в Ставке перешла к нему, а следовательно и то, что на его долю выпала в этом периоде немалая толика всякого рода осуждений. Мне пришлось с ним познакомиться в Гос. Думе и я вынес о нем впечатление как о человеке весьма умном и работающем. В тех случаях, когда ему приходилось излагать в Комиссии Государственной Обороны некоторые секретные предположения Военного министерства – например, об усилении крепостей – он делал это значительно сжато и ясно, видимо вполне владея всем материалом. Оставив Ставку, он был назначен сперва командиром 25-го корпуса, а затем 5-й армии, и на обоих этих должностях держал себя очень хорошо, хотя, правда, в выдающихся боевых операциях ему не пришлось тут принимать участия. В общем, я бы сказал, что это был один из умнейших и образованных русских генералов.

Возвращаюсь теперь к моей встрече с генералом Янушкевичем на выходе в Зимнем Дворце. Я тут узнал от него, что по полученным сведениям германцы сосредоточивают все свои войска на Французском фронте и что к нашему фронту перевозок не наблюдается. Вместе с тем, на мой вопрос он дал мне указание, что следует эвакуировать в тыл все красно-крестные учреждения из местностей, лежащих западнее линии Рига-Вильна. На другой мой вопрос, будем ли мы наступать в связи со сосредоточением немцев на Западном их фронте, он затруднился мне ответить, что впрочем было вполне понятно в виду полной еще неясности положения.

На следующий день, 22-го июля, к 4-м часам дня я был на товарной станции Варшавской железной дороги. Эшелон уже был посажен, и заканчивались только некоторые приготовления. Так как станция расположена вдали от города, то постороннего народа почти не было – собралась только группа родных и близких, уезжающих с эшелонем. Минута была волнующая: сознание той опасности, на которые идут уезжающие, страх за их судьбу, уверенность, что многие назад не вернуться, делали ее незабываемой. Вместе с тем, благодаря слезам родных, последним их благословениям и все повторяющимся последним поцелуям матерей и жен, она была глубоко трагичной. Я ехал не в бой, и мог поэтому относиться гораздо спокойнее к той драме, которая передо мной происходила, и, тем не менее, она глубоко захватывала. Но вот раздался последний сигнал, поезд начинает медленно двигаться, раздается «ура» отъезжающих и части провожающих, другая часть которых в это время горько рыдает, а одна из женщин, две недели тому назад обвенчавшаяся с вольноопределяющимся Катковым, падает в обморок.

Командиром эскадрона был командир шедшего в нем 3-го эскадрона Конной Гвардии ротмистр барон П.Н. Врангель. Горный инженер по образованию, он первоначально начал службу по гражданскому ведомству, во время японской войны был призван в Забайкальские казаки и после войны остался на военной службе, перейдя в Конную Гвардию, в которой отбывал первоначально воинскую повинность. Пройдя прекрасно курс Военной Академии, он не пошел затем в Генштаб, а вернулся в родной полк, в рядах которого и пошел на войну. Любопытно, что в Академии он был на одном курсе с будущим маршалом Шапошниковым, и все время у них шло соревнование за первое место. Победил Врангель, как мне говорил один общий их товарищ, благодаря его большому апломбу; надо отметить, и в Конном полку посмеи-

вались над любовью Врангеля пускать пыль в глаза. Позднее он был назначен полковым командиром, и ко времени революции был уже генералом и командовал казачьей бригадой. Роль его в гражданской войне, и особенно в Крыму, всем известна. Кроме него в эскадроне шли офицерами мой брат и несколько совсем молодых офицеров, из них отмечу поручика Каткова, очень милого, образованного и серьезного человека и его брата, вольноопределяющегося, милого юношу, только в мае окончившего курс Московского Лицея.

Меня поместили в одном купе с числившимся в полку флигель-адъютантом полковником Козляниновым. Несмотря на его чин, военного в нем было мало; по крайней мере, он несколько раз принимался говорить о том, что он не представляет себе, как он будет воевать, и выражал надежду, что к декабрю, когда в Петроградском балете начинаются интересные спектакли, война уже закончится. Кроме мужчин в вагоне были и две дамы – жены Врангеля и моего брата, обе сестры милосердия, ехавшие до Вильны, дабы там начать работать в местных учреждениях Красного Креста.

Как офицеры, так и солдаты, среди которых запасных было очень мало, шли на войну очень весело, совсем не чувствовалась в них тревога перед грозной неизвестностью. Молодежь расспрашивала Врангеля и моего брата, проделавших всю японскую войну, о разных практических вопросах, но все это делалось совершенно спокойно. Военный опыт старших офицеров сказывался уже здесь, далеко еще от фронта, в целом ряде мелочей, и при отправке, и в движении.

Между прочим, помнится мне, как Врангель на одной из станций подозвал к себе одного унтер-офицера, чтобы отдать ему какое-то приказание. Фамилия этого унтер-офицера почему-то запомнилась мне, и вспомнилась через полгода, когда я услышав рассказ одного из офицеров полка про гибель этого и другого унтер-офицера: их эскадрон во время Августовских боев, в сентябре, должен был под давлением германцев отойти, причем оба они, серьезно раненные, не могли быть вынесены. Через несколько часов, получив подкрепления, эскадрон перешел в наступление и вновь занял свою прежнюю позицию, на которой и нашел обоих этих унтер-офицеров, но уже убитыми, с снесенными саблями черепами и с выковырянными остриями сабель мозгами, лежавшими тут же рядом.

В Гатчине вокзал был переполнен, и эшелон провожали криками «ура», но ничего особенного здесь не было, зато на следующую

щих станциях проводы имели везде трогательный и часто величественный характер, особенно на Сиверской, где в конце июня Конная Гвардия была на сторожевке и где тогда и офицеры, и солдаты свели много знакомств. Повсюду солдат одаряли сладостями, фруктами, чаем, сахаром и папиросами, многие совали им деньги. При отходе эшелона везде гремело «ура» и почти везде пели «Боже, царя храни». Словом, больший подъем трудно было себе представить. Благодаря всем этим проводам, лишь поздно ночью удалось нам всем улечься, чему, впрочем, способствовало и приподнятое у всех нервное настроение. На следующее утро настроение на станциях было уже не то: вместо русской массы здесь видны были больше евреи, которые относились к проходящим войскам безразлично, русских было немного, и только иногда бывало видно, как к солдату подойдет какая-нибудь женщина и сунет ему белого хлеба, яблоки или иную какую-нибудь снедь.

Перед входом на станцию Вильно, уже поздним вечером, нас довольно долго продержали у семафора. Кое-кто уже спал, женатые офицеры проводили последние минуты с женами своими, я же гулял вдоль полотна с младшим Катковым, делившимся со мной своими опасениями за судьбу своих близких в случае, если он будет убит, в чем он был уверен – предчувствие, которое его не обмануло.

Около 12 часов ночи мы были в Вильне. Вокзал оказался переполненным. Всюду, где было только возможно, лежали и спали люди, большею частью целыми семьями; в громадном большинстве это были евреи. Как оказалось, комендант крепости Ковно (тогда это был, кажется, приобретший себе позднее позорную известность своим бегством из крепости, когда некоторые форты ее были заняты немцами – генерал Григорьев) распорядился срочно выселить из города Ковно все еврейское население, и вот часть его я и видел перед собой. Впервые увидел я тут сцену, подобные которым позднее – в 1916-1917 гг. – стали обычными: отходил поезд на Минск, и при мне, ожидавшая его толпа, брала его приступом – влезала не только через двери, но и через окна, кое-как протаскивала затем багаж. Но, конечно, не всем это удавалось, и по уходе поезда на платформе осталось порядочно багажа, который не смогли втащить в вагон, и среди него несколько горько плачущих женщин и детей, прочие члены семей которых уехали с поездом, невольно разлученные с ними. Начиналось знакомство с ужасами тыла войны.

Проехав от вокзала несколько шагов, у узких Остробрамских ворот, я был задержан Оренбургским пехотным полком, высту-

павшим из города на фронт уже во вполне мобилизованном виде. Кроме этого, в эту чудную летнюю ночь война не сказывалась в городе ничем.

На следующее утро я отправился первым делом в лагерь, где помещался еще штаб командующего войсками округа, генерала Ренненкампа, назначенного ныне командующим 1-й армией. О личности этого генерала, которого я видел лично всего-навсего 2 или 3 раза, много говорить не приходится: по всему, что о нем приходилось слышать, это был тип средневекового кондотьера. Лично очень храбрый, сам прекрасный кавалерист, он был очень хорош на должностях до корпусного командира включительно, и во время японской войны оказался одним из немногих генералов, заслуживших себе хорошее боевое имя. Но, к сожалению, уже тогда слишком свободное расходование им казенных денег вызывало на него немало нареканий. Тем не менее, это был один из тех генералов, на которых перед войной более всего надеялись.

Как известно, эти надежды совершенно не оправдались, и уже к началу 1915 года Ренненкампа был смнен, причем некоторые его хозяйственные операции вызвали судебное расследование. Насколько сам Ренненкампа был виноват в своих ошибках, главнейшими из которых называли то, что он дважды – в Августовских боях и под Лодзью – выпускал уже совершенно окруженные крупные неприятельские силы, или сколько тут было вины Мясоедова, о котором я уже говорил выше и которого Сухомлинов успел всучить Ренненкампу на должность начальника контрразведывательного отделения его штаба, заблаговременно якобы передававшего немцам все оперативные распоряжения штаба армии. Кроме того, за немногие месяцы командования армией, Ренненкампа успел совершенно похоронить и свою прежнюю боевую репутацию, и сделать свое имя одним из тех, которых более всего винили в наших неудачах начала войны.

И от Ренненкампа, и от начальника его штаба я не узнал ничего, кроме того, что немцы на нас наступают и что наше сосредоточение производится западнее, чем предполагалось. Не смог мне ничего сказать и мой старый знакомый по Гельсингфорсу генерал Янов, назначенный начальником этапно-хозяйственного отдела штаба 2-й армии. Так как «Положение о полевом управлении армией» было получено всего за несколько дней, то Янов едва успел сформировать свое управление, а между тем дело не ждало, и он должен был выполнять всю громадную работу и по мобилизации военного округа, и по снабжению армии, готовившейся к наступлению. Меня наиболее интересовало положение санитарной

части, но и в этом отношении я ничего не узнал. Было известно только, что госпиталя начнут подходить только после окончания перевозки войск и что посему первое время положение войск в санитарном отношении будет весьма печальным. Более же детального я не мог узнать ничего: не могли мне сказать даже ничего про 2-ю армию, примкнувшую к левому флангу первой и входивший вместе с ней в состав Северо-Западного фронта.

Упомянув про Янова, отмечу, что именно он явился причиной расследования хозяйственных операций Ренненкампа. Уже вскоре после начала войны последний, войдя в соглашение с несколькими евреями, решил заключить с ними крупный контракт на поставку армии разных продуктов на несколько миллионов рублей. Так как контрактные цены были очень высоки, то Янов сделал Ренненкампу представление о невозможности заключения этого контракта. Ответом явилось, однако, категорическое приказание заключить контракт. Янов контракт подписал, но вместе с тем донес о данном ему приказании в Штаб фронта, последствием чего явилось расследование, а затем и устранение Ренненкампа и предание и его, и Янова суду, который, впрочем, Янова оправдал.

Не узнав, таким образом, ничего существенного в штабе, я отправился к губернатору Веревкину, чтобы выяснить возможность получить помещение под Управление главноуполномоченного Красного Креста, под имевшие засим прибыть в Вильно госпиталя и, наконец, под красно-крестный склад нашего района. Под Управление нам отвели помещение Канцелярии генерал-губернатора, госпиталя же разместились в учебных заведениях, а складу пришлось устроиться на фабрике вышивок на станции Вилейке.

Тут же познакомился я с женой Веревкина, фактически стоявшей во главе местного Управления Красного Креста и уже начавшей работать на войну. Вовсю кипела работа в местной общине Красного Креста. Вскоре уже Виленский Красный Крест, в составе которого образовался особый Дамский Комитет, открыл на поступившие пожертвования прекрасный госпиталь. Следом за ним стали открываться и другие частные госпитали и лазареты. Пожертвования поступали обильно, и часто приходилось не поощрять желание отдельных лиц открывать те или иные лазареты, а наоборот, отказывать им, ибо движимые самыми похвальными желаниями, жертвователи не считались часто с расположением предлагаемых ими помещений, подчас отдаленных от железных дорог или же слишком близких от района военных действий. Из этих частных лазаретов стоит отметить небольшой в начале ла-

заретик крестьян Виленской губернии. Начатый с небольшими средствами, он был поручен руководству ксендза Саросека и открыт рядом с Верками, известным бывшим имением князя Витгенштейна, и после его смерти – его дочери, жены бывшего германского канцлера князя Югенлоэ. Благодаря энергии Саросека лазарет этот быстро укрепился, приобрел себе добрую репутацию и продолжал существовать и после эвакуации Вильны.

Во времена начала войны, кстати, много разговоров было про отношение к России поляков; когда я приехал в Вильно, оно было еще неопределенным, поляки держали себя выжидательно. Вскоре, однако, появились воззвания к полякам Верховного Главнокомандующего великого князя Николая Николаевича, и положение резко изменилось. Началось формирование польских добровольческих легионов, очень усилился приток пожертвованных на разные нужды войны, и враждебная России «австрийская ориентация» как-то сразу исчезла. К сожалению, это настроение использовано не было, а вскоре некоторые бестактные действия представителей власти в Царстве Польском, а главным образом некоторые циркуляры министра внутренних дел Маклакова, опять начали возбуждать недоверие против России. Впрочем, мне лично за все время моего пребывания на фронте ничего, кроме хорошего по отношению к Красному Кресту, да и к армии нашей со стороны поляков, видеть не пришлось. В отдельных же случаях отношение их к нам прямо поражало своей сердечностью.

Через несколько дней и штаб 1-й армии переехал вперед, ближе к фронту, ушли, но в тыл, в Минск, остатки штаба Округа, и Вильна опустела. Жизнь продолжала кипеть только на вокзале, где беспрерывно проходили на фронт войска.

Наладив в течение ближайших дней все наши текущие дела, я отправился в г. Лиду, где должно было поместиться управление Главного Начальника Снабжений фронта, которому был подчинен главноуполномоченный Красного Креста. Должность эту на Северо-Западном фронте занял генерал Н.А. Данилов, «рыжий». Подобно своему однофамильцу, и этот Данилов был очень талантливым человеком с удивительно быстро схватывающим умом, но, к сожалению, весьма легкомысленным и совершенно не терпевшим критики его деятельности. Профессор Военной Академии по военной администрации, он попал на место, которое ему подходило по специальности, а служба в течение 8 лет в должностях помощника начальника и начальника Канцелярии Военного министерства делала из него человека, бывшего вполне в курсе всей нашей подготовки к войне и знавшего посему, на что можно рас-

считывать. Данилова я знал еще капитаном, и отношения у нас всегда были хорошие. В первое мое свидание с ним я получил впервые более или менее точные, хотя и самые общие указания о военных предположениях и, вместе с тем, и краткие директивы о том, что надлежит в ближайшие дни делать Красному Кресту.

Тут же познакомился я и с некоторыми из помощников Данилова. Своим прямым помощником и заместителем Данилов избрал профессора Военной Академии Филатьева. Это был человек сумрачный, неразговорчивый, как говорили его подчиненные – тяжелый, но вместе с тем умный, знающий и работающий. Большинство же других своих помощников Данилов получил из штаба Варшавского военного округа, почти целиком пошедшего на формирование штаба Главнокомандующего Северо-Западного фронта и 2-й армии. Из числа их я познакомился в Лиде с начальником Военных Сообщений фронта генералом Дерновым. Очень милый человек, он оказался однако не на месте, но продержался на нем тем не менее около года: как я уже говорил, память его была настолько слаба, что Данилов, как он сам мне говорил, должен был потребовать, чтобы он записывал все, что ему говорилось. Вполне естественно, что во время войны с таким недостатком занимать ответственный пост было невозможно.

Конечно, познакомился я и с начальником санитарной части, совершенным стариком, занимавшим до войны должность военно-санитарного инспектора Варшавского округа. Для военных условий он совершенно не подходил и через месяц уже был сменен. В Лиду он приехал со значительным опозданием, и на замечание Данилова сослался на то, что он не пропустил поверстного срока. Когда я к нему пришел, то об условиях своей работы он еще ничего не знал, да, по-видимому, и не интересовался ими. По крайней мере, когда я ему передал, какие армии и корпуса входят в состав фронта (он не знал даже этого), то он отнесся к этому безразлично и заинтересовался этими сведениями лишь его помощник д-р Гюббенет, брат актрисы Яворской, проработавший в Порт-Артуре во время всей его осады, а впоследствии занимавший сам должность начальника Санитарной части Западного фронта. Кстати отмечу здесь, что те указания, которые мне дал Данилов, уже через несколько дней были изменены, ибо, по-видимому, были изменены и оперативные планы.

Возвращался я через Белосток, где при мне в местную общину Красного Креста привезли первых раненых, которых я видел в эту войну – офицера и нескольких солдат Харьковского Уланского полка, продвинувшегося немного через нашу границу. Об-

ратно в Вильно ехал я в поезде с моим сотоварищем по Думе Л.К. Дымшей. Все разговоры наши вертелись вокруг воззвания Верховного Главнокомандующего к полякам. Дымшу, естественно, интересовал вопрос о том, во что выльются реально данные в этом воззвании обещания, но рассчитывал он тогда на весьма немного, в лучшем случае на весьма ограниченную автономию.

При возвращении в Вильно, я услышал здесь первые слухи о начавшихся боях. Слухи эти были для нас неблагоприятны: говорили про неудачное наше наступление, про большие потери расположенных в Вильне полков, особенно Оренбургского, попавшего будто бы в засаду, причем командир его, полковник Генштаба Комаров был убит. К счастью, хотя сведения о больших потерях и подтвердились, однако, сообщения об общей неудаче были не вполне верны, хотя частные неудачи и были. Наоборот, в четырехдневном бою 4-7 августа у Сталлупенена и Гумбинена 1-й армии удалось опрокинуть немцев, начавших отходить к Кенигсбергу.

На флангах 1-й армии наступала, главным образом, кавалерия и, в частности, 6-го августа в часы полного солнечного затмения, гвардейская кавалерия столкнулась у Каушена с немецкой резервной бригадой. О бое этом много было написано, и, несомненно, для 4-х полков он был славным, в нем, однако, проявились и все недостатки нашей армии. Поэтому, по поводу его, я коснусь и вопросов непосредственно с боем не связанных. Отмечу, что 1-я Гвардейская кавалерийская дивизия уже после этого наступления лишилась значительного числа лошадей: как кавалерийская, она была посажена на очень крупных тяжелых лошадей, которые стоили гораздо дороже других, однако, кредиты на их покупку не отличались от других, и в результате приходилось задерживать лошадей в строю дольше предельного возраста. После первых же недель войны они оказались к службе совершенно негодными, и дивизию пришлось отвести в тыл для немедленного пополнения ее конного состава.

Очень неровен оказался с места командный состав. Из Гвардейской кавалерии был образован особый корпус под командой Хана Нахичеванского, храброго, но далеко не умного генерала и с импровизированным штабом. 1-я Гвардейская дивизия оказалась, таким образом, без командующего, а 2-я была под командой генерала Рауха; за какие-то признанные неудобными денежные операции он был раньше смещен с поста обер-квартирмейстера штаба Петербургского военного округа, но в момент начала войны уже оказался вновь в гвардии. Считался он выдающимся во-

енным и очень умным человеком, но с первых боев показал, что личной храбростью не обладает. Позднее, когда он командовал кавалерийским корпусом в 9-й армии, то располагал свой штаб столь далеко в тылу, что командующий армией Лечицкий отдал ему приказ находиться со штабом не далее 7 верст от фронта. В гражданской войне он участия не принимал, но, оказавшись в Константинополе, стал там вновь заниматься денежными операциями, но теперь такого характера, что английский суд посадил его в тюрьму. Среди полковых командиров были люди храбрые и дельные, но были и совершенно неподходящие.

Из 8 полков, бывших под Каушеном, четыре фактически участия в бою не принимали, ибо командиры их проявили просто трусость. Брат рассказывал мне, что при нем Хан Нахичеванский отправил великого князя Дмитрия Павловича в кирасирскую бригаду, чтобы заставить ее наступать; до этого два других его однородных приказания не были исполнены, и он надеялся, что великокняжеский авторитет сдвинет их полки с места, но и это приказание исполнено не было. Оба эти командира – Арапов и Верман – были сразу смещены, вскоре та же судьба постигла и двух других, и после этого все четыре полка дрались прекрасно. Зато все остальные командиры и все заменившие устраненных вели себя прекрасно. Перед началом боя командир конно-гренадер Лопухин встретил возвращающийся разъезд с убитым офицером. «Кого везете?» – «Корнета Лопухина», – был ответ. Лопухин слез с лошади, поцеловал и перекрестил убитого сына и повел полк в бой, чтобы через час самому быть убитым. В начале боя уланы и кавалергарды произвели конные атаки, но неудачно, не удались атаки и в пешем строю, и эскадроны залегли, не дойдя до немцев.

И кавалергарды, и конногвардейцы понесли при этом огромные потери в офицерах: в Конной гвардии из 24 бывших утром в строю офицеров 16 были убиты или ранены. Объяснялось это тем, что во многих частях считалось неподходящим для офицеров, особенно гвардии, ложиться, и немцы могли бить их на выбор. В то время, как солдаты делали перебежки, как к этому их подготавливали, офицеры шли, ни на мгновение не нагибаясь. Благодаря этому и получилась дикая несоразмерность в потерях между офицерами и солдатами. Нужно сказать, что и вообще потери в офицерском составе были в начале колоссальными, ибо при полном во многих частях плане мобилизации комплект офицеров считался совершенно необходимым, чтобы все они шли в бой, а так как они всегда обязаны были находиться впереди, то их и выбивали

в громадном количестве, и вскоре армия осталась с ничтожным числом кадровых офицеров. И вообще офицеров у нас не берегли, особенно в начале войны. У немцев рота шла в бой с одним и самое большее с двумя офицерами, тогда как у нас ее вели все пять. Но у нас установить подобные правила считалось невозможным в виду более низкого умственного развития нашего солдата и необходимости держать его под офицерским руководством.

Неудивительно, что уже осенью 1914 года у нас батальонами часто командовали поручики, а ротами часто прапорщики. Рядом с этим в кавалерийских полках бывало более 40 офицеров. Брат рассказывал мне, что как-то их полк с его более, чем 30 офицерами, где-то под Варшавой занял окопы одной роты с одним прапорщиком, который только вздохнул, увидев это изобилие офицеров. Только уже в последний год войны каждая кавалерийская дивизия сформировала по пехотному полку.

Возвращаюсь собственно к Каушенскому бою. Эскадрон, с которым я ехал до Вильны, был в этот день при штабе, охраняя штандарты. Бой, начавшийся около полудня, затягивался, и части использовали все свои боевые запасы настолько, что этому эскадрону было приказано передать свои патроны на фронт. В эту минуту прискакал, однако, офицер-артиллерист Гершельман доложить, что с их наблюдательного пункта выяснена возможность незаметно подойти на близкое расстояние к немецкой батарее в центре их позиций. Сразу эскадрону Врангеля раздали патроны обратно, и Гершельман повел эскадрон, единственный еще не введенный тогда в бой. Атака удалась, прислуга батареи и рота прикрытия были изрублены, но эскадрон, потерявший половину своего состава, фактически рассыпался. Врангель и брат, у которых были убиты лошади, вбежали на батарею, когда на ней уже приканчивали немцев; лежавший на земле раненый немецкий ротный командир нацелился еще в брата из револьвера, но один из солдат раздробил ему прикладом череп. Врангель остался при орудиях, чтобы кто-нибудь другой не перехватил полагавшийся ему по статуту Орден Святого Георгия, а брата послал с «эскадронном» брать мельницу в самом центре позиции. Эскадрон, однако, в эту минуту представляли всего 4 солдата, к которым на сигналы брата шашкой собралось еще человек 30, но четырех различных полков, и с ними он взял мельницу, где, впрочем, сопротивление было оказано слабое. Продвинувшись еще дальше, он услышал вдруг на мельнице звуки рояля; за ним на нее пришел командир кавалергардов князь Долгоруков с двумя офицерами, один из которых сел за рояль. Брат говорил, что эта музыка во время боя,

еще незаконченного, была одним из самых странных его впечатлений.

Бой под Каушеном, в котором был разбит значительно более сильный неприятель, был, конечно, ничтожным эпизодом в этой громадной войне, но участники его могли гордиться своим успехом. Однако он не дал никаких результатов, ибо после боя Хан Нахичеванский отвел корпус более, чем на 20 верст назад, ибо у него не оставалось ни снарядов, ни патронов. Возможно, что так и следовало сделать, но у меня осталось впечатление, что не сделай он этого, и прояви хоть малейшую активность, бой 7-го августа под Гумбиненом, и так, в общем, удачный, мог бы закончиться полным разгромом немцев. Их левый фланг обрушился под утро на нашу правофланговую дивизию, 27-ю, или 28-ю, и разгромил ее. Возможно, что если бы Нахичеванский оставался висеть на их фланге, то их продвижение замедлилось бы, и наша дивизия была бы спасена, а затем был бы разгромлен не один правый фланг немцев, на котором следующей ночью, хорошо дравшийся днем 1-й корпус Макензена, прямо бежал.

Между прочим, в эти бои 6-го августа славная, но тяжелая доля выпала на часть гвардейской кавалерии, половина которой, т.е. 20 эскадронов или около 2000 бойцов со слабой их конной артиллерией опрокинули германскую пехотную бригаду, почти в 2 раза их сильнейшую. При этом, однако, наша кавалерия понесла большие потери в офицерском составе, особенно Конная Гвардия и кавалергарды...

В бою 6-го августа славную роль сыграл 3-й эскадрон Конной Гвардии, с которым я ехал до Вильны. Атака в пешем строю удалась, но около трети эскадрона выбыло в несколько минут из строя; убитыми оказались и оба брата Каткова: младшему вольноопределяющемуся снесло шрапнелью череп, старший прожил несколько минут после ранения в грудь, уверенный, что брат его уцелел. Тяжело был ранен в голову корнет князь Накашидзе, успевший, однако, прежде чем потерять сознание, зарубить ранившего его немца. Вообще бой был ожесточенный; пленных почти не было.

За Каушен брату было присуждено Георгиевское оружие, и позднее этого ему самому несколько раз приходилось принимать участие в заседаниях Думы этого оружия, Георгиевской Думе. От него я слышал, что когда эти Думы собирались в армиях, присуждения бывали более строги, ибо в составе их лучше знали подробности подвигов, за которые награды испрашивались, и труднее было раздуть их. Наоборот, когда Думы стали созывать

при штабах фронтов, подобные незаслуженные присуждения стали гораздо более возможными. Замечу, кстати, что в войсках не раз слышал я недовольство награждением орденами Св. Георгия штабных офицеров Генштаба, которых специально для этого командировали в части, где ожидался бой для дачи «советов», за которые они и могли подучить «беленький крестик». (Половина гвардейской кавалерии – кирасиры, лейб-гусары и лейб-драгуны вследствие полной негодности своих командиров фактически участия в бою не приняли, и оба кирасирских командира были сразу отставлены; при других командирах оба кирасирских полка дрались прекрасно, лейб-драгуны и кавалергарды – посредственно, а про лейб-гусар всю войну отзывались отрицательно, отмечая прямо их трусость).

Жены брата и Врангеля, обе сестры милосердия Георгиевской Петербургской общины, были сразу по приезде зачислены на работу в Виленский местный госпиталь, в котором с началом боев началась большая работа.

Наплыв раненых за 4-7 августа был в Вильне большой, и тут же сказалось, что Россия все время готовилась к войне оборонительной, а не наступательной. Если бы, как предполагалось, наша армия отходила, не принимая боев, то позднее прибытие госпиталей на театр военных действий не имело бы большого значения, но наше наступление дало сразу массу раненых, и помощь им была совершенно недостаточной. Из всех красно-крестных учреждений к началу этих боев не поспело ни одно; к концу их подошли два передовых отряда, но роли сыграть они уже не смогли. По мобилизационному расписанию они должны были начать прибывать лишь через 6 недель после начала войны.

Тем не менее, Красный Крест мог бы оказать большую помощь уже в эти дни, если бы с самого начала у него был при 1-й армии энергичный особоуполномоченный. К сожалению, в самые первые дни войны, по просьбе Ренненкампа на эту должность был назначен отставной генерал от инфантерии Бутурлин, которого в Петербурге никто хорошо не знал. Когда я приехал в Вильно и познакомился с ним, то сразу увидел, что это совершенно одряхлевшая личность, для активной роли непригодная, а к тому же не обладавший в местном обществе и достаточным нравственным авторитетом. Утверждали, что они вместе с Ренненкампом фиктивно покупали на деньги евреев земли немцев и поляков. Евреи, не имевшие права покупать земли в этих губерниях, сводили на них леса, чем и покрывали все свои расходы, а самые земли, конечно значительно обесцененные, оставались Бутурлину и Рен-

ненкампу. Бутурлин, кстати, был отцом преображенца, нарочно зараженного опустившимся врачом Панченко впрыскиванием каких-то гнойных бацилл, и умершего. И Панченко, и подкупивший его зять Бутурлина О-Бриен-де-Ласси были осуждены присяжными, но жена последнего, сестра убитого, до конца не хотела верить в виновность мужа.

Вскоре руководящая роль в Красном Кресте армии перешла, впрочем, к помощнику Бутурлина Петербургскому гласному Маркозову, человеку весьма энергичному, но приехавшему лишь во время этих первых боев. К сожалению, при отходе 1-й армии из Восточной Пруссии Маркозов попал в плен, и опять Бутурлин оказался фактически во главе дела, но на этот раз ненадолго, и вскоре был смещен окончательно.

Так как среди раненых в боях 4-7 августа было много петербуржцев и так как всех их эвакуировали на Петроград, то там сразу стало известно о санитарных беспорядках в 1-й армии, и это вызвало большие нарекания на военно-санитарное ведомство вообще, которое в стране никогда особенной популярностью и раньше не пользовалось. Во главе его после Японской войны все время стоял человек, несомненно, умный и энергичный, врач по образованию – Евдокимов. Программу, которую он себе наметил и последовательно осуществлял, не вызывала возражений в Гос. Думе. Сводилась она, главным образом, к тому, чтобы сделать хозяевами военно-санитарного дела врачей вместо военных чиновников, хотя бы и носящих чисто военные мундиры. Евдокимова лично не любили за его грубоватость и очень правые взгляды. Однако и к результатам его деятельности общество относилось теперь весьма и весьма отрицательно. В первые минуты войны, когда главную роль играли планы военных перевозок, о чем я говорил выше, санитарные дефекты на фронте объяснялись просто, но почему же они проявлялись и позднее? Кроме стесненности в средствах, которая особенно наблюдалась в мирное время, но перешла затем по наследству и на начало периода войны и вызывалась общими нашими финансовыми условиями, главную причину я считал бы неудовлетворительность высшего военно-санитарного личного состава.

В среде наших младших военных врачей всегда имелось большое число талантливых людей, относившихся к своему делу с интересом. Насколько я их мог наблюдать, их уровень был скорее выше, чем уровень соответствующих им врачей на гражданской, преимущественно земской службе. Но на высших должностях, начиная, например, с дивизионных врачей, положение резко из-

менялось в худшую сторону. Здесь, наоборот, талантливые люди встречались редко, а весьма немолодой возраст большинства из них делал их во многих случаях мало энергичными. Кроме того, они оказывались большею частью и какими-то ублюдками: с одной стороны, пребывая долго на административных должностях, они теряли связь с медициной, а с другой стороны, несмотря на долгую службу в военном ведомстве, они военными не становились. Хороших сторон и той и другой профессии у них обычно не бывало, а отрицательные замечались обычно в избытке; главным из них был страшный формализм, любовь к канцелярщине и большой страх перед личной инициативой. Этими недостатками в высшем личном составе и следует объяснить большинство изъязнов в нашей военно-санитарной организации в течение всей войны.

Ими объясняется, например, что при наличии в военно-санитарном ведомстве больших запасов и медикаментов, и перевязочного материала (я это утверждаю, хотя у нас и было общераспространенно обратное мнение), и того, и другого в воинских частях и в госпиталях передовой линии их постоянно не хватало, и они обращались за ними в склады Красного Креста и Земского союза. Происходило это оттого, что как полевые аптеки, так и организованные позднее отделения их при армиях всегда размещались слишком далеко от фронта, а кроме того, деятельность их была обставлена такими формальностями, которые отпугивали от них военных врачей и заставляли их обращаться в Красный Крест. Когда в Главном Управлении последнего об этом были получены сведения, и об этом явлении стали много говорить, то обратило на него внимание и военно-санитарное ведомство, и приняло свои меры, которые выразились, однако, только в том, что... всем военным врачам было запрещено обращаться за чем бы то ни было в склады Красного Креста и общественных организаций. Распоряжение это вызвало взрыв негодования, и вскоре было официально отменено, но мне известны случаи и в 1915, и в 1916 годах, когда обращение в склады Красного Креста вызывало для военных врачей неприятности. Тем не менее, обращения эти продолжались и не в меньшем размере чем раньше.

По мере хода войны в военно-санитарном высшем персонале наблюдались перемены, но недостаточно быстрые, и до самой революции он все еще продолжал оставлять желать лучшего. Улучшился значительно лишь состав дивизионных врачей, замещавшихся более молодыми и живыми людьми. Впрочем, как известно, такое замещение высших должностей людьми устаревши-

ми и имевшими за собой лишь длинную служебную деятельность должно отметить не только в военно-санитарном ведомстве, но и в других отраслях военного ведомства. Вообще, назначение и долгое сохранение на высших должностях людей, не отвечающих своему назначению, было старым злом нашей армии. Во времена Екатерины II и в последующий период Наполеоновских войн выдвигались почти исключительно боевыми заслугами, мирная служба, хотя бы самая образцовая, большой роли не играла. Исключения, если и бывали, то редко и, наоборот, можно привести случаи, когда назначения получали даже люди неприятные монархам, лишь во внимание к их боевым способностям (например, Кутузов или мой прапрадед). Позднее положение изменилось, и в период боевого затишья с 1815 по 1853 год (войны 1828-1819 и 1849 гг. глубоко русской армии не задела), люди выдвигались преимущественно при мирной подготовке войск. А так как это была пора исключительно внешней муштровки и шагистики, связанных с крайне жестоким обращением с солдатами, то на высшие посты попадали генералы с качествами часто обратными тому, что нужно бывало на войне.

Крымская война наглядно показала, как плох был наш командный состав, но, к сожалению, и после нее перемены стали проводиться весьма медленно, и ко времени войны 1877-1878 гг. положение изменилось к лучшему, но не намного. Правда, эта война выдвинула два блестящих дарования – Гурко и Скобелева, отметила многих хороших генералов, например, Радецкого, Лорис-Меликова, Лазарева, Тергукасова, но наряду с этим и указала на весьма большое число людей никуда не годных. Однако эта война имела известное значение на улучшение положения с командным составом. Вскоре после нее на престол вступил Александр III, назначивший военным министром Ванновского, который с двумя своими помощниками – Обручевым и Лобко, сильно обновил командный состав. Можно смело сказать, что в то время высшие должности в армии были большею частью замещены людьми наиболее в ней выдающимися, и большей частью действительно способными вести войска в бой.

Однако прошло 25 лет. Большинство этих лиц сошло со сцены, другие устарели и на место их выдвинулись другие люди, большей частью без боевого опыта и притом обычно и заурядные. Необходимо отметить, что вообще командный состав пополнился у нас преимущественно из двух источников – Генштаба и гвардии. Офицеров Генштаба в армии не любили, однако, нужно признать, что они представляли из себя умственный цвет нашего офицерства.

Характер их службы, как она была поставлена в русской армии, делал их, однако, часто с годами канцелярскими чиновниками, подчас мало знакомыми с практической жизнью войск и потерявшими живую органическую связь с младшим офицерством, и особенно с солдатом. Однако и по уму и по нравственным своим качествам это был все же лучший элемент в армии. По сравнению с рядовым особенно офицерством выделялись и офицеры гвардии, но уже тут различие было не велико, а между тем служба в гвардии давала часто возможность делать даже лучшую карьеру, чем окончание Академии Генштаба.

В гвардейских полках капитаны и ротмистры производились на вакансии по полку прямо в полковники, причем этих вакансий было столько же, сколько в армейских полках подполковников. Затем на должность полковых командиров назначали из одного гвардейского корпуса почти столько же офицеров, сколько из 35 армейских корпусов. Уже это одно давало гвардии громадные преимущества против армии, но затем было еще одно обстоятельство, которое учесть очень трудно, но которое влияло очень сильно: служба в гвардии, и особенно в гвардейской кавалерии, давала связи с царской семьей, а часто и с самим монархом, и эти связи обеспечивали в дальнейшем блестящую военную или административную карьеру. Взаимно поддерживая друг друга, бывшие офицеры лучших гвардейских полков образовали понемногу своего рода касту, вне которой известные назначения совершенно не производились; и это сказывалось даже вне военного ведомства, например, незадолго до войны из числа бывших преображенцев было 9 губернаторов. Бывшие же конногвардейцы заняли все высшие должности по Министерству Императорского Двора. Притом, будучи в большинстве лично известными монарху, все эти бывшие гвардейцы пользовались часто его поддержкой, и посему смена их, даже когда их назначения оказывались неудачными, являлась часто затруднительной. Нельзя также умолчать и про то, что неоднократно бывали случаи, когда эти лица, прослужив долго на придворных должностях или просто простояв десятилетия в свите Государя, вдруг получали выдающиеся должности по гражданской, а часто и по военной службе, от которой они совершенно отстали.

Все эти условия существовали и при Ванновском, но он умел с ними справляться, и при нем высший командный состав, как я уже говорил, был гораздо более удовлетворительным, чем позднее; влияла тут и личность Александра III, который никогда своим личным симпатиям не давал преимущества перед интересами дела.

Иным оказалось положение при слабом Николае II и невлиятельным преемнике Ванновского – Куропаткине, не обладавшим и характером своего предшественника, и не решавшимся проводить тех, кто был наиболее достойным. Все это и сказалось во время японской войны. Большинство наших генералов оказалась во время ее совершенно неудовлетворительными, но что было значительно более печальным – это то, что это не явилось сюрпризом и что многих из них пришлось заменять уже сразу по прибытии их в Манчжурию. Непозволительно мягко было притом отношение к тем, кто для армии не годился. Когда, например, начальник штаба I-го армейского корпуса генерал фон Поппен отказался идти на войну, ссылаясь на слабость зрения, то его не уволили от службы, а назначили командиром дивизии в Риге и погнали только через год за полную растерянность, проявленную во время революционного движения.

Японская война, не выдвинув ни одного крупного военачальника, дала, тем не менее, ряд имен молодых генералов и штаб-офицеров, выделившихся и храбростью и знаниями, которые после нее и стали понемногу продвигаться вперед, например, Лечицкий, Рузский, Крымов, Корнилов. Однако, как я уже говорил, первое время после войны на высших командных постах продолжали оставаться генералы, частью устаревшие, частью зарекомендовавшие себя во время японской войны отрицательно. Следует отдать справедливость новому военному министру генералу Редигеру, что он пытался добиться улучшения высшего состава, но удавалось это ему далеко не всегда. Таким образом, в Варшаве и на Кавказе все время оставались командующими войсками генерал Скалон и граф Воронцов-Дашков, совмещавшие эти должности с должностями глав на этих окраинах и гражданских властей. Оба они были людьми очень почтенными, благородными, но совершенно отставшими от военного дела и с ним незнакомыми. Притом оба они были в весьма преклонном возрасте. Относительно военной осведомленности первого из них мне пришлось слышать рассказ одного из его офицеров для особых поручений, командированного в Петербург для участия в обсуждении вопроса о постройке новой железной дороги от Лодзи на север. Против этого был Генеральный штаб, указывавший, что она явилась бы продолжением немецкой линии, выходившей на город Страсбург, и посему в случае войны значительно облегчала бы передвижение германских войск. В виду этих возражений постройка линии не была разрешена. Когда засим мой знакомый делал об этом доклад Скалону, то последний, услышав про Страсбург, стал иронически

смеяться, причем выяснилось, что он думал, что речь шла о Страсбурге в Эльзасе, ибо совершенно не знал, что есть Страсбург в Пруссии, важный в военном отношении железнодорожный узел, где находился тыл одного из немецких корпусов. И вот такой командующий оставался на посту почти до самой своей смерти, последовавшей незадолго до начала войны.

Далее, на местах корпусных и дивизионных командиров оказалось много генералов, заслуживших себе на войне почетное имя, но наряду с ними едва ли не большее число таких, которых великому князю Николаю Николаевичу пришлось сменить уже в первом периоде войны. Были, правда, среди них люди, на которых в мирное время возлагались надежды, но в большинстве случаев и тогда для всех было ясно, что кроме плачевного, от них ожидать ничего нельзя. В результате, в одних случаях на войне получалось, что такие генералы попадали в полную зависимость от своих начальников штабов или даже младших штабных офицеров, что давало формально хорошие результаты, так как эти последние бывали обычно более их энергичными и знакомыми с современными условиями ведения войны, но в других – если таких людей около них не оказывалось, они ставили подчиненные им войска в крайне тяжелые условия и даже приводили их к гибели.

Отвлекаясь от ближайшей темы моего рассказа далеко в сторону, вернусь теперь к ней. Перед самыми боями 4-7 августа в Вильно приехал, наконец, Дашков с штатом своих помощников и с канцелярией, и понемногу стали налаживать сложное и громадное дело управления районом. Когда я выезжал из Петрограда, то одновременно со мной выехало только два молодых человека, и я был с ними в Вильне совершенно как без рук. Мне приходилось первое время делать решительно все самому, и у меня не бывало свободной минуты, а главное, не хватало канцелярии. Теперь, с приездом Дашкова, казалось бы, можно было бы сосредоточиться на более крупных вопросах, но события так неудержимо стали требовать развития дела, что от мелочей нам и теперь не удалось уйти. А насколько дело росло, видно хотя бы из того, что, если в первый месяц на содержание района было достаточно 200.000 р., то уже в начале 1916 г., несмотря на выделение большей части района в другой, смета основного – западного – составляла 1.500.000 р. в месяц. Вполне естественно, что такое колоссальное развитие дела вызывало и массу новых вопросов, именно новизна которых, несмотря на их мелочность, требовала руководящих указаний главноуполномоченного. Сразу после приезда Дашкова мы отправились с ним вместе в Белосток, где в то время находился штаб Глав-

нокомандующего Западным фронтом, дабы представиться генералу Жилинскому. Встреча его с Дашковым была дружественная, ибо он был его старшим товарищем по кавалергардскому полку. О военных операциях мы узнали мало, только на мой вопрос, что делает 2-я армия и почему она не развивает успех, достигнутый 1-й армией у Гумбинена, Жилинский с явным недовольством ответил мне: «Я все время тороплю Самсонова, но он утверждает, что он не может наступать, что у него тыл еще для этого не готов; сегодня, впрочем, он, кажется, перейдет-таки границу».

Насколько помнится, это было 10-го августа. Позднее, когда я прочитал телеграмму про катастрофу с Самсоновской армией, то эта фраза сразу встала у меня в голове, и тогда уже у меня возникла мысль о том, кто в действительности виноват в ней – вопрос, полного ответа на который еще не дано и посейчас. Ни Жилинского, ни его начальника штаба Орановского я не знал, и посему о них судить не берусь, деятельность его и в японскую, и в настоящую войну была, несомненно, неудачна, так что воспоминания о них осталось в армии плохое; оба они были сменены уже к началу 1915 года. О последнем из них вспомнили лишь, когда он летом 1917 года был зверски убит солдатами в Выборге. Жилинского же попытались послать во Францию, как начальника русской военной миссии, но уже вскоре, еще до революции, пришлось его сменить оттуда за бестактности им там наделанные.

9-го августа утром были получены первые сведения о деталях боев 6-го августа, а через несколько часов пришел поезд с ранеными в этих боях, в числе которых оказалось несколько моих знакомых. Привезли и несколько тяжелораненых, которых сняли с поездов в Вильне в виду опасности дальнейшей их перевозки. Почти одновременно приехали сюда к некоторым из них их родственники, дабы не отсутствовать в случае, если бы течение ранения приняло смертельный характер. Приехали и родственники некоторых убитых за их телами. Все они создавали в Вильне, несмотря на успешный исход боев, довольно подавленную атмосферу. Особенно грустно было видеть отца двух убитых в этом бою моих спутников Катковых, который, совершенно подавленный их смертью, как-то с глубокой грустью, хотя и спокойно, поведал мне, что с гибелью их у него исчезло все в жизни, ибо, кроме их, у него не осталось никого. И действительно, уже следующей зимой он умер от быстро развившегося у него порока сердца.

Во время нашего визита в Белосток выяснилось, что в состав Северо-Западного фронта войдут также 9-я и 10-я армии, которые должны были быть сформированными из войск еще только

подходящих на фронт. В 9-ю армию, которая должна была формироваться в Варшаве, Дашков решил назначить Особоуполномоченным сенатора Тимрота, приехавшего сразу после него и ожидавшего назначения. Тимрот тотчас отправился в Варшаву. Здесь, однако, когда он пытался принять в свое заведывание некоторые учреждения Красного Креста, предназначенные для обслуживания 9-й армии, то ему сразу же пришлось вступить в конфликт с Особоуполномоченным при 2-й армии А.И. Гучковым, который уже по праву первого прибывшего, начал распоряжаться ими. Варшава в район 2-й армии собственно не входила, но так как в этом крупном центре еще не было официального представителя Красного Креста, то Гучков и принял на себя его обязанности, и работа у него закипела; при этом он удачно использовал момент появления воззвания Верховного Главнокомандующего и сумел привлечь к организации самой санитарной помощи польское общество, очень многое сделавшее здесь для русской армии, вплоть до самого оставления Варшавы.

Наряду с Гучковым, человеком с большим общественным именем, Тимрот, усердный чиновник немецкой складки, но далеко не светило, ни для польского общества, ни для деятелей Красного Креста ничего не представлял, и посему естественно, что в Варшаве он никакой роли играть не мог, тем более, что и армия, при которой он должен был работать, еще не собралась. Поэтому вполне понятно, что Гучков отказывался передать ему учреждения, уже поступившие в его ведение и необходимые ему, ибо со дня на день можно было ожидать начала крупных боев во 2-й армии. Между тем, Дашков из Вильны, стараясь наладить отношения между Тимротом и Гучковым посылкой телеграмм обоим, достиг лишь того, что Гучков обиделся и прислал Дашкову резкий ответ, а следом за ним приехал улаживать отношения его помощник князь И.А. Куракин, мой товарищ по 3-й Гос. Думе. Тогда Дашков и предложил мне съездить в Варшаву и переговорить с Гучковым и успокоить его. Я принял это предложение с удовольствием, ибо работа с Дашковым оказалась, вопреки всем моим ожиданиям, совершенно мне не отвечающей.

Несмотря на пожилые годы, у Дашкова совершенно не оказалось умения работать, а тем более руководить крупным делом; притом у него были все привычки старого барина – он любил поспать, хорошо покушать и долго посидеть после еды. Не было в нем желания отказаться от всяких удобств, что было, безусловно, необходимо во время войны, и, кроме того, у него не оказалось совершенно знакомства с условиями боевой обстановки, а посе-

му мне пришлось вводить его в нее. Дашков был офицером Кавалергардского полка, но дальше полкового адъютанта не пошел и военное дело совершенно забыл. В результате, мне пришлось проводить с ним все мое время, сидеть у него в кабинете целые дни, уставать страшно, а вместе с тем, ложиться вечером в кровать с сознанием, что сделано за день очень мало. При этом я совершенно лишился своей личности и в том отношении, что я не мог теперь ничего делать самостоятельно, ибо Дашков оказался очень ревнивым к власти и не позволял мне ничего делать без него. Получилось положение, которое меня совершенно не удовлетворяло, и я стал подумывать о перемене работы. Предложение Дашкова шло навстречу этой мысли, и я за него уцепился, надеясь в Варшаве найти что-нибудь более подходящее.

Выехал я на следующий же день вместе с профессором Цегефон-Мантейфелем, который вез с собой группу профессоров-хирургов для распределения их в Варшаве в качестве консультантов по отдельным армиям. В числе их был профессор Миротворцев, с которым мне позднее пришлось много работать, и профессор Бурденко, занявший после революции место начальника Главного военно-санитарного Управления. Кажется, это было 18-го августа, и в этот день, к вечеру, мы узнали впервые про Самсоновскую катастрофу. Понятно, что бодрое до того у всех нас настроение сразу резко понизилось, тем более, что никаких деталей мы не знали. На некоторых станциях настроение было тревожное, ибо между железной дорогой и немецкой границей наших войск не оставалось.

На следующий день в Варшаве увидели мы и реальные результаты боев 2-й армии – раненых из левофланговых ее корпусов. Составить себе картину того, что произошло, было, однако, еще совершенно невозможно; не могли сказать мне даже того, какие корпуса погибли, хотя и стало выясняться, что кроме двух корпусов, погибших целиком, сильно пострадали и другие корпуса 2-й армии. Однако сразу же по приезде я узнал, что войска 9-й армии перебрасываются в направлении Люблина, где в это время началось генеральное наступление австрийцев, и что посему Тимрот оставляет Варшаву, где остается один Гучков. Таким образом, главная цель моей миссии отпадала, и я, познакомившись с положением дел в Варшаве и с кипучей деятельностью, развитой Гучковым, отправился вместе с Цегефон-Мантейфелем в Белосток переговорить с генералом Даниловым о текущих делах. Получив с него все необходимые указания и узнав, что в состав фронта войдет и вновь формируемая 10-я армия, я, вместе с тем, впервые получил здесь некоторую картину той катастрофы, которая произошла.

Выше я говорил уже, что план нашей мобилизации был рассчитан на необходимость в первом периоде войны отходить, ибо наша мобилизация приблизительно на неделю отставала от германской. Однако так как сразу после объявления войны выяснилось, что против нашей армии германцы оставляют лишь слабые силы и всю массу своих войск направляют против Франции, то пришлось нам, вместо отхода, переходить в наступление, к чему мы совершенно не были готовы. Началось оно, как я уже говорил выше, наступление 1-й армии генерала Ренненкампа через две недели после начала войны, приведшим после удачного боя у Гумбиннена к занятию нами всей Восточной Пруссии вплоть до Инстербурга, причем кавалерия наша доходила до окрестностей Кенигсберга (в частности, мой брат с принятым им после Каушена эскадроном занял Фридлянд, где в 1807 году был разбит наш прапрадед).

Однако двигаться дальше Ренненкампф не решался без поддержки бывшей на его левом фланге 2-й армии, а так как она задерживалась, то и он остановился. Это замедление вызвало недовольство свыше, ибо положение во Франции становилось грозным, оттуда неслись просьбы о помощи, на которые было необходимо ответить. Посему Верховным Главнокомандующим и было дано приказание о беззамедлительном наступлении в Восточную Пруссию 2-й армии, на скорейшем выполнении которого он и настаивал. Штаб Северо-Западного фронта отлично сознавал, как, впрочем, и сам Верховный Главнокомандующий, что наступление это не подготовлено, но под давлением свыше, против которого он сперва тщетно протестовал, также налегал на Ренненкампа и Самсонова, а после первых удач 1-й армии уже, главным образом, на последнего из них.

Не будучи в состоянии уклониться от исполнения этого приказа, Самсонов и начал наступление, как мне говорили видевшие его в эти дни люди, без какой-либо веры в его успех. Вся его армия состояла в эти дни из пяти корпусов, из которых правогофланговый, 6-й армейский, был отделен расстоянием в 30 верст в обе стороны от ближайшего корпуса 1-й армии и от своего соседа с левой стороны, 13-го корпуса, за этим опять был пустой промежуток около 10-15 верст до 15-го корпуса, за которым шли еще два корпуса. Главное свое внимание Самсонов устремил на свой левый фланг, против которого были главные германские силы. Однако так как наступление Ренненкампа после первых успехов остановилось, то германцы получили возможность оторваться от него и бросить часть войск против Самсонова, не ожидая прибы-

тия в Восточную Пруссию 2-х корпусов, взятых им с Западного их фронта, что явилось там одной из главных причин их неудачи на Марне. В первые же дни наступления Самсонова немцы отходили почти без боя, особенно на правом фланге армии, которая быстро шла за ними, исполняя полученное ею и настойчиво повторяемое приказание, теряя при этом связь с тылом и не будучи в состоянии держать ее в полной мере также между отдельными своими корпусами. Уже 13-го августа 13-й корпус дошел, например, до Алленштейна, который и занял. Но уже на следующий день германцы перешли в наступление и началась катастрофа. 6-й корпус и оба левофланговые – 1-й и 23-й, понеся большие потери в личном составе, а частью и материальные, смогли отойти. 15-й корпус, на который пал главный удар, после упорного боя, в котором он понес громадные потери, должен был, обойденный со всех сторон, несмотря на свой героизм, сдаться по израсходованию всех снарядов и патронов. 13-й же корпус, которым командовал генерал Ключев, как тогда говорили, сдался почти без боя, потеряв в первый же день свои парки и обозы, захваченные немцами в Алленштейне.

Катастрофа эта вызвала специальное расследование, которое и выяснило некоторые из ее причин. Кроме неподготовленности наступления, громадную роль сыграла и неудовлетворительность высшего командного состава. Командующий армией генерал Самсонов последние годы перед войной прослужил в Туркестане и потерял знакомство с западным фронтом, хотя и был раньше начальником штаба Варшавского Округа. Прибыв на фронт уже после начала войны, он не знал ни войск, ни своего штаба. Что он сознавал невозможность наступления, я уже говорил выше, и, тем не менее, он должен был его осуществить.

В конце операции он погиб при таинственной обстановке, которая дала повод к многочисленным рассказам: то говорили, что он жив и находится, переодетый солдатом, в плену в Германии, то, наоборот, утверждали, что он погиб, но не в бою, а сам покончил с собой, не желая отдаться в руки врагу. Для проверки справедливости последнего предположения А.И. Гучков с согласия наших военных властей обратился через посредство парламентаря к германским властям за разрешением проехать через германские линии к месту, где был погребен, по немецким данным, Самсонов. Разрешение немцами было дано, и Гучков, в сопровождении рассказывавшего мне позднее про это его помощника д-ра Пучкова, был проведен к могиле Самсонова, которая была открыта, и Гучков мог убедиться, что в ней был погребен именно Самсонов.

Что касается до предположения о самоубийстве, то оно возникло в связи с условиями его исчезновения. Как мне рассказывали, часть штаба армии, в последний день боя, когда катастрофа уже была фактом, поздним вечером пешком отходила по лесу; как отделился от нее Самсонов, по-видимому, сразу не заметили, и когда затем спохватились и стали его искать, то уже не нашли. Из разговоров Пучкова я не вынес определенного впечатления, можно ли было вывести заключения о причине смерти генерала, но, по-видимому, безусловного убеждения о самоубийстве у него, и у Пучкова не составилось.

Ближайшими помощниками Самсонова были его начальник штаба Постовский и начальник этапно-хозяйственного отдела Бобровский. Оба они после расследования о катастрофе, произведенного генералом Пантелеевым, сохранили свои места, но, тем не менее, вскоре затем были сменены, оставив после себя очень среднее, по-видимому, впечатление; по-видимому, Самсонову они были неважными помощниками. Вообще, надо отметить, что штаб 2-й армии, как и Северо-Западного фронта, был сформирован из чинов штаба Варшавского округа, причем лучшие были взяты в штаб фронта, а худшие достались 2-й армии. Далее, был очень неудачен состав корпусных командиров, из коих двое – генерал Мартос и генерал Ключев – попали в плен, а трое остальных – генерал Благовещенский, Кондратович и Артамонов были сразу сменены. Благовещенский, служивший ранее главным образом, в штабах, потом уже роли не играл в течение войны; Кондратовичу, который во время японской войны командовал доблестной 9-й Восточно-сибирской дивизией и заслужил тогда Георгиевский крест, дали через некоторое время другой корпус, но и тут он не продержался. Зимой 1915-1916 гг. я его встретил в штабе Западного фронта, болтающимся без особого дела, а в мае 1916 г., к крайнему своему изумлению узнал, что его попытались опять провести в корпусные командиры, для чего дали ему временно сформированный отряд в составе двух дивизий и поручили осуществлять какую-то операцию в районе к югу от Барановичей на Огинском канале. Однако и тут его деятельность была не более успешной. Операция не удалась, и больше о Кондратовиче во время войны я уже не слышал. В 1920 г. он был в Париже членом какого-то Белорусского комитета, но затем окончательно скрылся из виду.

Третий из удаленных после Самсоновской катастрофы корпусных командиров – Артамонов, был личностью весьма известной в Петрограде. Еще полковником он сделал путешествие в

Абиссинию, где отличился будто бы тем, что переплыл через кишащий крокодилами Нил, дабы доставить какое-то распоряжение одной из групп абиссинских войск. Во время японской войны он сперва был во Владивостоке, а затем командовал дивизией под Сандепу и Мукденом, причем по рассказу мне генерала барона Каульбарса, неудача его предшественника по командованию 2-й тогдашней армией Гриппенберга в первом из этих боев объяснялась отчасти тем, что Артамонов, долженствовавший наступать на левом фланге армии, решительно ничего не сделал, донося, что против него стоят очень крупные силы, чего, по мнению Каульбарса, безусловно, не было. Однако, во всяком случае не приобретя в японскую войну лавров, Артамонов и не скомпрометировал себя, а через несколько лет после нее получил в командование 1-й армейский корпус, одна из дивизий которого была расположена в родной моей Новгородской губернии, где о нем скоро стали много говорить. Хороший оратор, Артамонов любил выступать с речами при всяком удобном и неудобном случае, причем всегда подчеркивая свои правые взгляды. Говорили, что именно благодаря этим взглядам он и сделал карьеру, хотя в чисто военных кругах к нему относились отрицательно. В боях 2-й армии он сыграл, по-видимому, не блестящую роль.

Застрелившийся после Корниловского инцидента известный кавалерийский генерал Крымов, во время этих боев бывший еще полковником в штабе 2-й армии и посланный Самсоновым в штаб 1-го корпуса для выяснения обстановки, рассказывал впоследствии, что при нем Артамонов по телефону лично утверждал Самсонову, что корпус дерется весьма успешно, что атаки немцев отбиты и т.д., что на следующий день он перейдет сам в наступление, тогда как всем было известно, что картина боя была совсем иная и что корпус более держаться не может. Ввиду сего, после этого разговора Крымов должен был, выслав из телефонной комнаты солдат-телефонистов, вновь вызвать Самсонова и категорически заявить ему, что все, только что сказанное ему Артамоновым, совершенная неправда и что верить ему нельзя. Во всяком случае, Артамонов после этих боев был смещен, и даже говорили о предстоящем предании его суду. Однако оно не состоялось, а следующей весной, после падения Перемышля, Артамонов был даже назначен его комендантом, но после отхода из Галиции скрылся с горизонта, и теперь уже окончательно. Крымов еще во время японской войны, тогда капитан Генштаба в штабе 4-го Сибирского корпуса, своей талантливостью подчинил своему влиянию командира корпуса генерала Зарубаева и весь его штаб,

и ему приписывали посему многое в удачных делах корпуса. В настоящую войну из полковников Крымов достиг места командира корпуса и считался, вместе с графом Келлером, единственным блестящим нашим кавалерийским генералом. История его самоубийства пока не вполне ясна, и, по-видимому, она была вызвана грубым отношением к нему Керенского, сыгравшего столь все еще неясную роль во всей Корниловской истории.

Из двух попавших в плен корпусных командиров о генерале Мартосе все отзывались хорошо, относительно же генерала Ключева также дружно все отзывы были отрицательными. Отрицательными были для него, как тогда говорили, и результаты расследования о нем, и, если бы он вернулся в Россию до революции, то ему, несомненно, предстоял бы суд, перед которым он должен был бы дать ответ за свою деятельность. Мне пришлось даже слышать утверждение, что из личной трусости, только лишь, чтобы избежать проезда по обстреливаемой дороге, Ключев, вопреки настояниям своего штаба, дал корпусу приказание отходить по пути, на котором он неизбежно должен был быть окруженным.

В вопросе о Самсоновских боях многое осталось невыясненным и едва ли при гибели сейчас почти всех главных их деятелей удастся окончательно установить, кто был виноват в этой катастрофе. Сам Ключев утверждал, что он по этой дороге пошел по приказанию Самсонова и что у него осталось это письменное приказание (он его показывал в Копенгагене генералу Калишевскому). В общем же следует сказать, что во всей самсоновской катастрофе неудовлетворительность высшего личного состава более чем когда-либо за все время войны, сыграла свою пагубную роль. Утешением же для русской армии остается лишь то, что этой дорогою ценою она отвлекла из Франции значительные силы, что в свою очередь, по утверждению даже германских военных писателей, сыграло громадную роль в исходе сражения на Марне.

Но все это стало известно лишь впоследствии. Тогда же, когда я был в Белостоке, все это только еще намечалось в самых крупных чертах. Детали еще совершенно отсутствовали. Меня лично интересовала судьба 13-го корпуса, ибо в состав его был призван из запаса мой второй брат, но в генерал-квартирмейстерской части фронта мне смогли сказать только одно, что из всего корпуса кроме отдельных офицеров и солдат вышло цельной единицей всего около 200 человек Звенигородского полка. В числе вернувшихся офицеров был брат моего школьного товарища Офросимова, который, несмотря на рану в ногу, смог пробраться лесами до наших линий, и потом рассказывал, что он лично видел, как

немецкие солдаты добивали в лесу найденных ими наших раненых. Вообще по общему отзыву, в этом периоде войны с германской стороны было проявлено немало жестокостей и варварства, которые потом уже не встречались в такой степени, но которые, тем не менее, навсегда положили пятно на так называемый культурный немецкий народ. Что можно сказать, например, про такой случай, бывший в первые дни войны в Берлине, про отъезд оттуда русского посольства, когда графиня Александра Эдуардовна Тотлебен, прикладывая платок к разбитому чем-то брошенным лицу ее спутника, одного из чинов посольства, а прилично одетый господин с золотыми очками стал наносить ей по руке удары палкой? Или что сказать про то, что когда взятых в плен при Самсоновской катастрофе везли по железным дорогам, то собиравшаяся около станций толпа ругала и угрожала им и плевала в лицо, а элегантные дамы, стоя в автомобилях, показывали пленным кулаки?

В Белостоке я пробыл тогда только до вечера, когда поехал дальше, обратно в Вильно. На прощанье Данилов сообщил мне еще, что на место начальника санитарной части фронта назначатся генерал Рейнбот, известный по своей судимости за разные злоупотребления по должности Московского градоначальника и только что заменивший свою немецкую фамилию на русскую – Резвого. Хотя я знал его в прошлом, как человека очень умного и с административным талантом, но репутация его была столь определена, что я выразил Данилову мои сомнения по вопросу о том, насколько удобно было его назначать на столь видный пост. На это я получил от него ответ, что после наших первых успехов в Восточной Пруссии были уже намечены (кем – я, к сожалению, тогда не спросил) кандидаты для замещения постов генерал-губернаторов как Восточной, так и Западной Пруссии, именно Рейнбот и Курлов*, а так как ныне ожидать завоевания последней, по крайней мере, в ближайшем будущем, не приходится, то и нужно дать Рейнботу другое назначение. Таким образом, Рейнбот и стал начальником санитарной части. Насколько я о его деятельности в этой должности слышал – ибо лично мне не пришлось с ним тут работать – работал он очень интенсивно и успешно, но,

* Бывший товарищ министра Внутренних Дел, судившийся в связи с расследованием по делу об убийстве Столыпина, человек самых заурядных способностей, без административного таланта, притом очень сомнительных нравственных качеств. Если Рейнбота во время его процесса защищали многие безупречные общественные деятели, то у Курлова таких защитников не было.

тем не менее, вскоре должен был уйти. Мне кажется, что главным образом повлияло тут его прошлое, ибо из-за него ему не прощали ни малейшей ошибки, ни малейшего неуспеха, а без них на войне не может обойтись никто.

21-го августа я был в Вильне, где холодная встреча меня Дашковым, обидевшемся на меня и на Цеге за то, что мы имели самостоятельный разговор с Даниловым, дала окончательный толчок моему решению уйти из Управления Главноуполномоченного на более самостоятельную должность. Так как я привез известие о предстоящем формировании 10-й армии, то я и попросил о назначении меня в нее особоуполномоченным. Дашков на это согласился, и в течение двух дней я устроил все свои дела, подыскал себе начальника будущей моей канцелярии и заведующего бухгалтерией, получил необходимый аванс и уже 23-го выехал вновь в Варшаву, где должен был формироваться штаб 10-й армии. Мои будущие сотоварищи по работе – делопроизводитель Крестьянского банка Н.В. Миштовт и студент-технолог А.Н. Селянин – должны были выехать следом за мной. Так как работа в районе армии для одного человека была непосильна, то тут же, в Вильне, было выяснено, кто отправится со мной в качестве моих помощников. Кроме трех лиц, которые проработали потом со мной до лета 1915 г. и которые уже были в Вильне, я протелеграфировал тогда же о приезде в Варшаву двум лицам, с которыми мне привелось потом провести немало тревожных и тяжелых минут. Это был мой земляк и мой уездный предводитель дворянства К.И. Шабельский, совсем еще молодой человек, и тоже молодой человек, председатель Волоколамской земской управы А.А. Эйлер. С первым я был в очень хороших отношениях, второго же совершенно не знал лично, и доверился всецело его репутации, которая меня не обманула; позднее он играл видную роль в Земском Союзе, а после революции занял трудный пост Московского губернского Комиссара, который и занимал, кажется, до самого большевистского переворота.

Дорога прошла на этот раз вполне спокойно, и утром 24-го я был в Варшаве. Попад в этот же день по делам Креста к высшему военному начальнику в городе – командиру 3-го Сибирского корпуса Радкевичу, я узнал от него, что только что пришла телеграмма о летящих на Варшаву аэропланах. В то время это было новостью, о которой стоило говорить, и все возмущались немцами, бросившими в Младе бомбы, убившие там несколько человек. Впрочем, в этот раз аэропланы до Варшавы не долетали. Тут же выяснилось, что формирование штаба 10-й армии затягивается,

и в Варшаве о нем никаких точных сведений не имеется. Поэтому я охотно принял предложение А.И. Гучкова проехать вместе с ним на автомобиле в Люблин, где в это время уже шли упорные бои и где наша армия под упорным натиском всех австрийских сил, должна была понемногу отходить к железнодорожной линии Холм-Люблин.

Еще в Вильне я узнал, что работающим в Красном Кресте дана форма, однородная с формой военных чиновников, и посему пришлось ее заводить себе. По этому поводу познакомился я совершенно случайно с варшавскими комиссионерами-евреями. Дольше всего искали я и мои спутники шашки, пока, наконец, на улице к нам не пристал какой-то комиссионер, который свез нас на глухую улицу, где мы в маленькой лавочке нашли две плохенькие, но для нас вполне пригодные шашки. На этом, однако, наш комиссионер не успокоился, и, сидя у нас в ногах на извозчике, стал нам предлагать все, что, по его мнению, могло нам понадобиться, дойдя до предложения верховых лошадей и поездки к женщинам. Чтобы отвязаться от него, мой спутник сказал ему, что нам нужны автомобили, и вот на следующее утро наш комиссионер отыскал нас в гостинице (адрес которой мы ему не сказали) и предложил несколько автомобилей, несмотря на их реквизицию.

Уезжая в Люблин, я оставил в Варшаве обоих моих спутников, один из которых барон Н.Н. Рауш-фон-Траубенберг воспламенился мыслью оборудовать всем необходимым отряд санитаров-добровольцев, образовавшийся по инициативе жандармского полковника на Брестском вокзале, и с этим отрядом отправиться на фронт. В состав этого отряда вошла большей частью молодежь, среди которой было немало студентов, но были и люди средних лет. В числе волонтеров были и русские, и поляки (они были в большинстве), и евреи. Через несколько дней этот отряд прибыл в Люблин вполне снабженным всем необходимым, но попал уже к окончанию здесь работы. Позднее многие из первоначального состава этих волонтеров ушли из него, но кое-кто из них оставался в нем еще летом 1916 года, и отряд продолжал носить свое первоначальное название. Вначале лица, ставшие во главе его, слишком его рекламировали, и это вызывало на него некоторые нарекания, но потом это прошло, и с отрядом примирились. Характерной особенностью этого отряда, по крайней мере, вначале, объясняемой его зарождением из жандармского центра, являлась та система взаимного наблюдения, в которой принимали участие, по крайней мере, некоторые волонтеры: евреи следили за поляками, и наоборот, и результаты своих наблюдений сообщали на-

чальнику отряда, который, видимо, очень этим увлекался; русские следили и за евреями, и за поляками. В моем ведении этот отряд пробыл очень недолго, всего около 2-х недель, и никакого следа о себе в нашем районе не оставил.

Два дня, проведенные в Варшаве, ушли у меня, главным образом, на ознакомление с тем делом, которое уже успел наладить здесь Гучков, и которое как раз выдержало в предшествующие дни тяжелые испытания. В Варшаву шли раненые из левофланговых корпусов 2-й армии, дравшихся в районе впереди Млавы, и посему эвакуировались они по Привислянской железной дороге, очень слабо на этом участке оборудованной и с малой провозоспособностью. Неудача, понесенная армией, вызвала необходимость подвоза к ней свежих войск, а с другой стороны эвакуацию головного участка дороги. Насколько это вещь трудная даже при отходе без неудачи, знает всякий, кто только был на войне, а при неудаче эти затруднения удесятерятся. В данном случае они именно и имели место, и ничтожное расстояние от Млавы до Варшавы поезда шли часто по трое суток.

Так как при загроуженности не могло быть и речи о пропуске по ней санитарных поездов, то раненых пришлось вывозить в простых товарных вагонах или даже на платформах, даже не посылая с поездами санитарного персонала. Питательных пунктов по дороге было мало, кухонь при поездах не шло, и положение раненых было ужасно. В заключение их злоключений, о том, что в простых товарных поездах есть и вагоны с ранеными, иногда не давали знать, и тогда даже в Варшаве эти вагоны первоначально попадали на запасные пути, и раненые выгружались не сразу. Вполне понятно, что многие из них по дороге умирали, не выдерживая этих ужасных условий перевозки. Уже тут блестяще, в первые же дни войны, оправдалось то, что я предсказывал в Комиссии Государственной Думы еще в 1908 году на основании опыта японской войны, а именно, что пользоваться санитарными поездами в разгар больших боев при слабости наших железных дорог и при громоздкости этих поездов, придется лишь в ничтожной мере.

Напомню, что во время боев на Шахе и под Мукденом приходилось увозить раненых на чем попало: и в теплушках, и в простых неотапливаемых вагонах, ибо санитарные поезда задерживались, главным образом, в тылу. И вот тут громадную роль сыграли организованные Красным Крестом кадры временно-санитарных поездов, состоявшие из 6 вагонов – кухни, кладовой, цейхгауза, перевязочной, аптеки и 2-х вагонов для персонала; к

ним прибавлялось от 30 до 35 товарных вагонов, в которые клались раненые; эти кадры, благодаря своему малому объему, могли легко продвигаться куда угодно. Для оборудования этих вагонов в цейхгаузе и аптеке имелись сенники, подушки, одеяла, белье, посуда, фонари, ведра и необходимый запас медикаментов и перевязочного материала. В 1908 году я и предложил подготовить такие же кадры и военно-санитарные поезда. Предложение мое было принято, и кадры военно-санитарных поездов с тех пор стали фигурировать во всех программах по усовершенствованию армии, но сами эти кадры получили совсем другой характер, число вагонов в них было значительно увеличено присоединением классных вагонов для тяжелораненых и больных, а через это поезда сии стали значительно более громоздкими, и продвигаться так легко, как кадры, которые я имел в виду, уже не могли.

Таким образом, опять получилось прежнее положение, которое и было столь печально иллюстрировано эвакуацией под Млавой. Ко времени начала ее в Варшаве еще не успел развернуться надлежащим образом ни один госпиталь Красного Креста, кроме, конечно, местных Варшавских, но несколько госпиталей Красного Креста успели только что подойти. За них сразу схватились, отвели им помещения в учебных заведениях и, ранее, чем они успели разобрать свое имущество, наскоро перевезенное, сюда стали привозить сотнями раненых. Так, на Праге, в женской гимназии, утром был помещен 1-й Георгиевский госпиталь, а уже к вечеру в него перевезли 800 раненых, хотя и персонал, и оборудование его были рассчитаны максимум на 400 человек. Пришлось, конечно, класть раненых на пол, на солому, и думать сперва только о том, как бы их накормить и как бы справиться с теми, у кого промокшие или сбившиеся перевязки требовали немедленной помощи.

Я был в этом госпитале на третий день, когда уже все легкораненые были эвакуированы, и он начал приводиться в нормальный вид хорошего лечебного заведения, но у всего персонала, проработавшего без отдыха трое суток, вид был совершенно измученный. Такая же работа выпала тогда и на долю других наших госпиталей и тоже в таких же ненормальных условиях. На вокзалах же были устроены громадные питательно-перевязочные пункты, которые Гучков поручил польскому Красному Кресту, носившему название Общества санитарной помощи. Это общество, участники которого носили на своих повязках и значках, кроме красного креста – эмблемы всего общества, еще изображение сирены – герба Варшавы, проявило здесь большую энергию, как теперь, так и позднее, во время всех боев, начиная с конца сентября.

Работали его представители всегда очень горячо и, безусловно, вполне бескорыстно, хотя хозяйственные их способности были, по-видимому, не идеальны, так что мне неоднократно приходилось слышать жалобы на неудовлетворительность пищи, которую они давали на своих варшавских пунктах раненым солдатам.

В результате всей этой громадной и энергичной работы к 25-му августа Варшава была уже освобождена от всех раненых, могущих быть эвакуированными, и Гучков мог заняться другим делом. Им и явилась Люблинская операция, хотя, собственно, Люблин лежал вне его района, и там его лечебных заведений не было.

Выехали мы из Варшавы уже вечером и приехали в Люблин после полуночи, сильно продрогшие в этот чисто осенний вечер. По дороге, за Ивангородом, нам говорили, что накануне не遠далеке от шоссе показывались австрийские разьезды, но теперь отошли. Позднее мы действительно узнали, что в этот день наши войска перешли в наступление, и началось оттеснение австрийских армий.

На следующее утро, узнав наскоро о положении дел, мы отправились с Гучковым к командующему 4-й армии генералу Эверту, который сообщил нам, что австрийцы оказывают везде крайне упорное сопротивление, и посему наше продвижение идет медленно, но что линия Холм-Люблин уже опять работает. Нужно сказать, что к этой линии австрийцы стремились особенно упорно и почти дошли до станции Травники. Лишь в последнюю минуту сюда начали подходить головные эшелоны 3-го Кавказского корпуса, которые высаживались, как рассказывали в Люблине, уже под огнем, и сперва задержали неприятеля, а затем и оттеснили его от железной дороги. К Люблину неприятель подходил настолько близко, что за сутки до нашего выезда из Варшавы с окружающих Люблин высот были видны разрывы австрийских снарядов. На следующий же день их видно не было.

Как раз против Люблина был выдвинут в бой гвардейский корпус, так что раненые из него доставлялись именно в Люблин. В числе их оказался ряд моих знакомых по Петербургу. Подвоз их в город производился самыми разнообразными способами – на санитарных двуколках, на грузовых автомобилях и более всего на местных крестьянских повозках, так называемых фурманках; последние – длинные, на двух осях – заполнялись глубоко соломой и сеном и оказались наименее мучительными для раненых. Наоборот, более всего жалоб вызывали автомобили, ибо им приходилось везти раненых не по шоссе, а большею частью по грунтовым дорогам, и трясло в них страшно.

В Люблин раненых свозили, главным образом, на вокзал, где был устроен стараниями главным образом Красного Креста и местного польского общества большой перевязочный пункт. Отсюда все легкораненые эвакуировались прямо по железной дороге, а более серьезные направлялись в развернутые в городе лечебные заведения.

Однако, несмотря на все усилия, эвакуировать сразу всех, кого было возможно, оказывалось не под силу – бывали, уже при мне, дни, когда поступало 6-7 тысяч раненых, а вывозилось не более 5-6 тысяч раненых. Благодаря сему на вокзале бывали часы, когда раненые заполняли не только все громадные пакгаузы, отведенные под перевязочный пункт, но лежали на платформах и на большом дворе товарной станции на наскоро набросанной соломе. Особенно тесно бывало к вечеру и ночью, когда поступали раненые в течение этого дня. К ночи бои затихали, и поэтому под утро приток раненых сокращался, и являлась возможность несколько разобраться и привести все в порядок.

Я, однако, увидел на вокзале все уже в сравнительно благоустроенном виде, когда дело наладилось, но как мне рассказывали, в первые дни картина была ужасающая – толпы раненых и почти полное отсутствие медицинской помощи. Могу с гордостью отметить, что в числе самых первых начавших здесь работу были именно представители Красного Креста, и в их числе много поработавшие потом со мной – уполномоченный К.А. Гросман и студент В.Б. Ковалевский. Оба они приехали в Люблин, когда еще никого здесь не было, и именно они и начали налаживать перевязочно-питательный пункт на вокзале, причем на Ковалевского легла вся работа по оборудованию пункта всем инвентарем, медикаментами, и перевязочным материалом, которую он и выполнил блестяще, сразу зарекомендовав себя, несмотря на свои юные годы, энергичным, толковым работником.

Как я уже упомянул, все более тяжелые раненые, которых нельзя было эвакуировать, отправлялись в госпитали, куда поступали также и раненые, привозимые прямо в город, а частью и легкораненые, приходившие пешком. В результате все госпитали и лазареты в городе оказались переполненными до крайности, хотя в нем непрерывно открывались одно лечебное заведение за другим. Наиболее перегруженным оказался Люблинский военный местный лазарет. В тот же день, когда я в нем был, в нем было 2300 раненых, при 400 штатных местах. Что в нем происходило, трудно описать: ранеными были заполнены не только все палаты, но и все коридоры; дабы выиграть место, пришлось убрать не

только кровати, но и сенники, так что раненые лежали прямо на соломе, посланной на полу, причем ее было только немного больше под головой. В коридоре между ранеными оставался только маленький проход, по которому мог идти один человек, так что при встрече приходилось искать место, куда бы поставить ногу, чтобы не наступить на раненого.

Когда мы шли по коридору, впереди нас вдруг раздался дикий вопль: «Возьмите его, возьмите его!» Оказывается, один раненый – с обоими выбитыми глазами – захотел пить, а так как персонал лазарета, сбившийся окончательно с ног, не успевал своевременно помочь всем, то он и решил сам идти на поиски воды. Лишенный же зрения, он двинулся ощупью вдоль по стенам, наступая на лежащих около них раненых, которые и поднимали крик. Словом, картина была из исключительно тяжелых. Весьма возможно, что, несмотря на все трудные условия в лазарете при другом старшем враче было бы лучше, но во главе его оказался человек того типа, о которой я говорил выше: все свое внимание сосредоточивавший преимущественно на узкой хозяйственной стороне дела и запускаявший медицинскую. Впрочем, когда я был в лазарете, он был уже сменен и как раз сдавал должность своему преемнику.

Вообще, медицинская помощь в Люблине была поставлена весьма печально, причем особенно запаздывало военное ведомство. Посему Гучков, наш товарищ по Гос. Думе и по должности особоуполномоченного Н.И. Антонов и я послали за общей нашей подписью отчаянную телеграмму генералу Н.А. Данилову, в которой настаивали на скорейшей присылке военных лечебных заведений. Впрочем, как раз сразу после этого выяснилось, что в это время район Люблина передавался из Северо-Западного в Юго-Западный фронт, и Данилов уже ничего сделать не мог. Тем не менее, эта телеграмма вызвала большое недовольство у Данилова, отнесшего ее всецело на счет Гучкова, что, в сущности, и было совершенно верным.

На следующий день после моего приезда в Люблин Гучков и я получили от Дашкова телеграммы с поручением убедить Тимрота перейти на должность помощника главноуполномоченного. Хотя он до того времени не успел начать активно работать, но и то, в чем он себя смог проявить, достаточно его характеризовало. Особенно любопытен был случай, рассказанный мне Гросманом: когда он как-то днем попросил Тимрота срочно послать по какому-то, не терпящему отлагательства делу телеграмму и через два или три часа спросил его, послал ли он ее, то получил от Тимрота ответ, что он имеет обыкновение посылать телеграммы только по

утрам. Выяснилось вполне, что для места особоуполномоченного, требовавшего большей подвижности и приспособляемости к самым разнообразным условиям, Тимрот – очень хороший, но канцелярский работник – не подходит, и посему Дашков и пришел к решению представить ему другую работу. Возможно, что это решение было ему внушено телеграммой Гучкова.

Пришлось нам обоим с Гучковым приняться за исполнение возложенной на нас Дашковым миссии, что мы и выполнили, хотя Тимрот сперва и упирался. Как он говорил одному из наших общих сослуживцев, доводы Гучкова и мои были столь убедительны, что он уже по сему одному заподозрил, что его хотят сместить, и потому сперва не хотел принимать делаемого ему предложения. Впоследствии он был вновь назначен особоуполномоченным, и занимал эту должность до лета 1917 года, хотя общие отзывы о нем были отрицательными. Последние полтора года он работал в Северном районе, при 12-й армии, штаб которой относился к нему крайне отрицательно и не предупреждал его о своих боевых предположениях, считая его за Балтийского немца; часто его подчиненные знали больше его самого. Главноуполномоченный этого района А.Д. Зиновьев отлично сознавал необходимость смены Тимрота, но по мягкости своего характера не решался сделать этого прямо, а пытался убедить его уйти самому. Тимрот же этих убеждений не понимал и оставался. Особенно его всегда ругал Пуришкевич, совершенно не понимавший, как такого инертного человека могли держать в Красном Кресте на фронте.

Одновременно с уходом Тимрота выяснилось, что я назначаюсь на его место. Поэтому я сразу же отправился в штаб 9-й армии, который в течение этих дней успел тоже перебраться из Варшавы в Люблин. Начальником штаба оказался мой знакомый по Петрограду – начальник штаба Петроградского военного округа генерал А.А. Гулевич, к которому я первым делом и обратился, и получил от него все необходимые на первое время указания. От него я прошел к командующему армией генералу Лечицкому, тоже встретившему меня очень любезно. Сын священника, заурядный армейский офицер, окончивший курс только юнкерского училища, он обладал несомненным военным талантам. Японская война застала его на Дальнем Востоке полковым командиром. Благодаря своей распорядительности и личному героизму, он закончил ее бригадным генералом с Георгиевским крестом и золотым оружием. Вскоре после того он получил в командование 1-ю Гвардейскую пехотную дивизию, но здесь продержался недолго, ибо, прослужив всю жизнь в глуши, он привык к обращению с

войсками, не гармонизировавшему с Петроградскими обычаями. Пробыв затем недолго командиром корпуса, он был назначен командующим войсками Приамурского округа, где и пробыл до начала войны. Это был человек небольшого роста, худощавый и физически совершенно бодрый. Не обладая особенно разносторонним образованием, Лечицкий был человеком со здоровым житейским умом и большим жизненным опытом. Все это вместе с его полной порядочностью делало для меня позднее работу с ним весьма приятной. Третьим лицом, с которым мне пришлось тут же познакомиться, был полковник Энгельке, начальник Этапно-хозяйственного отдела штаба армии, которому я по схеме нового положения был непосредственно подчинен. В высшей степени деликатный и тактичный, всегда спокойный и притом отличный администратор, он оказался идеальным – не начальником, ибо начальственных отношений по отношению к деятелям Красного Креста как-то само собой нигде не установилось – но старшим товарищем по работе. Нужно сказать, что вообще штаб 9-й армии был сформирован из лучших чинов штаба Петроградского военного Округа, и посему всегда во всех отношениях стоял на высоте.

Ко времени моего вступления в должность, то есть к 28-му августа, армия состояла из 4 корпусов, в числе коих была и гвардия. Все они в это время продолжали преследовать отступающих австрийцев и германцев по направлению к Сану. Таким образом, в район армии входил угол между этой рекой и Вислой, и все течение последней, вплоть до Ивангорода включительно. Во всем этом районе железных дорог не было совершенно, кроме участка Привислянской железной дороги от Люблина до Ивангорода, то есть уже в глубоком тылу армии. Не было в нем и иных хороших дорог, ибо хорошее Варшавское шоссе шло параллельно железной дороге, и единственное шоссе от Люблина к юго-западу – на Красник и далее, на Аннополь, уже давно не ремонтировалось и было в весьма печальном состоянии. Следует сказать, что именно здесь ожидалось (и это ожидание и подтвердилось действительностью) наступление австрийцев, и посему было запрещено и ремонтировать старые шоссе, и строить новые. К югу же от Красника шли громадные леса «ординации», если не ошибаюсь, графов Замойских, в которых дорог и совсем не было. Как показала однако война, бездорожье не явилось здесь препятствием для крупных военных операций, и тут проходили целые армии и в 1914 и в 1915 годах, но для всех снабжений, в первую очередь нашей же армии, они создавали большие трудности. В виду таких условий сообщений в районе армии и связанной с ним трудности

эвакуации раненых и больных, пришлось в первую очередь установить, что должен взять на себя Красный Крест.

К этому времени более или менее выяснилось, что мною может быть получено в районе армий; после долгих хлопот мне удалось выхлопотать для нее три передовых отряда, 4 подвижных лазарета на 50 кроватей каждый и 2 этапных лазарета. Различие между обоими видами лазаретов сводилась лишь к укладке и типу оборудования, но, в сущности, ни те, ни другие полной подвижности не имели. Еще в первые дни войны, когда я один сидел в Вильне, мне пришлось поручить старшим врачам нескольких лазаретов закупить необходимый им обоз у местных крестьян. Теперь, ввиду бездорожья Люблинской губернии, пришлось обратить на снабжение подвижных лазаретов особенное внимание.

Узнав о моем назначении особоуполномоченным в 9-ю армию, я сразу выписал в Люблин мою канцелярию, сам же еще до их прибытия отправился на автомобиле знакомиться с районом, выпавшим на долю 9-й армии, и с учреждениями Красного Креста, уже в нем работавшим. В эту поездку я побывал в Новой Александрии, бывших Пулавах, великолепном имении, ранее принадлежавшем Чарторижскому, где у одного из них бывал не раз его царственный друг Александр I, и в Казимерже, где над Вислой уныло стояли руины старинного королевского замка. Здесь я встретил один из последних транспортов с австрийскими ранеными, подобранными в лесах и других глухих местах. Иные из них пролежали по несколько дней без помощи, и теперь их везли к железной дороге на обывательских подводах, большею частью в весьма грустном виде. Запомнился мне один из них – с оторванной нижней челюстью и языком; он почему-то был оставлен без перевязки, и ехал, сидя на фурманке, не издавая ни единого стога. Тут же встретил я ехавших в тыл двух уланских офицеров, еще полных впечатлениями захвата накануне австрийского обоза. Между прочим, они с возмущением говорили о том, что в одной из повозок – офицерской – был найден большой ящик с презервативами; очевидно, господа австрийские офицеры собирались воевать с удобствами. Из Казимержа мы проехали на Ополе, полусожженное местечко, и далее, заехав в Ходель, через Белжец вернулись в Люблин. И в Ополе, и в Ходеле пришлось услышать рассказы про австрийские жестокости: говорили, что австрийцы повесили здесь одного из ксендзов и что расстреляли нескольких обывателей. Особенно жаловались на венгров. Отмечу, впрочем, что про изнасилование женщин я услышал только один раз, и то, что мне говорили, не внушало особого доверия.

Съездил я также вместе с заведующим военно-санитарной частью армии доктором Белоцветовым, очень милым, скромным старичком, в Ивангород. Здесь побывал я у только что назначенного комендантом крепости героя Порт-Артура полковника Шварца. Молодой, энергичный человек, он бодро смотрел на будущее и готовился к упорному сопротивлению, хотя из слов его помощников для меня выяснилось вполне, что оборонительные сооружения крепости совершенно устарели, что артиллерия весьма слаба, что гарнизон, большею частью, составленный из ополченцев, боевой настоящей силы не представляет. Про этих Ивангородских ополченцев позднее мне рассказывали анекдот, за соответствие действительности которого я, впрочем, не отвечаю: к Шварцу приехала навестить его жена; так как ни она, ни ее шофер в форме не имели пропуска, то их задержал часовой у крепостных ворот. Пока они ожидали здесь разрешения на въезд, г-жа Шварц увидела, что через ворота проходит масса народа, у которых часовой пропуска не спрашивает, и на ее вопрос, почему он их пропускал так свободно, получила от часового ответ: «Да ведь они вольные, откуда же им знать пропуска».

В этих поездках повидал я некоторые краснокрестные учреждения, которые успели уже эвакуировать своих раненых и больных и ожидали распоряжения свертываться и двигаться далее вперед, следом за войсками. В одном из них, именно 1-м подвижном Александровском лазарете, мне рассказали, что за несколько дней до того пролетавший над ними неприятельский аэроплан бросил в них бомбу, несмотря на то, что все отличительные знаки Красного Креста у них были выставлены. К счастью, бомба эта разорвалась почему-то, не долетев до земли. Впервые за время войны увидел я в эту поездку – именно в Ивангороде – раненого неприятельского летчика. Это был офицер-венгерец, которому попала в ногу пуля на высоте 1700 метров, после чего ему удалось все-таки спланировать.

Между тем продвижение войск вызывало необходимость перехода вперед и штаба армии, а, следовательно, и мне с моими помощниками тоже нужно было перебираться. Так как мы еще не обладали достаточной подвижностью, то нам пришлось избрать для себя путь по железной дороге, через Ивангород-Скаржиско на Островец, откуда мы уже предполагали пробраться в Сандомир, поблизости от которого должен был поместиться штаб армии. В Островец же направил я по железной дороге и прибывших вновь в мое распоряжение 3 подвижных лазарета, чтобы там снабдить их необходимым им обозом. Как выяснилось, за Вислой

представлялось весьма нетрудным закупить и хорошие повозки, и лошадей, ибо местные и помещики, и крестьяне, напуганные, правда недолгим, нашествием австрийцев и пруссаков и производившимися ими реквизициями, охотно продавали все, без чего, в крайности могли обойтись.

Перед отъездом я распределил моих помощников по корпусам, входившим в состав армии. Нужно сказать, что должность уполномоченного Красного Креста при корпусе была предусмотрена еще в Петрограде на основании опыта японской войны. В настоящую войну эти уполномоченные оказались, однако, институтом, в общем, нежизненным. Лишь в нескольких корпусах, где установились хорошие личные отношения между уполномоченными и военным начальством, эти уполномоченные сохранились, вообще же они очень быстро уступили место институту районных уполномоченных. Последний был более целесообразным, ибо краснокрестные учреждения, кроме некоторых их типов, не могли обладать той подвижностью, которая присуща войсковым частям, и посему организация их управления территориально была более удобна. Из намеченных мною тогда корпусных уполномоченных лишь один К.А. Гросман проработал около года при 18-м корпусе, остальные ушли из корпусов очень скоро и занялись другим делом. Распределив, таким образом, всех своих помощников и направив вверенные мне учреждения, я сам, однако, перед отъездом в Островец должен был съездить еще в Варшаву.

Вместе с тем, при отсутствии железных дорог само собой напрашивалась мысль об эвакуации по Висле. Она возникла уже у Тимрота, и он получил разрешение на оборудование под плавающий лазарет известного во всей Варшаве парохода «Пан Тадеуш», но затем дело почему-то стало. После переговоров с Энгельке было решено двинуть его, и я поехал в Варшаву, где и поручил Шабельскому оборудовать пароход и 2 баржи (на самом пароходе размещалось слишком мало раненых), которые он должен был буксировать. Все оборудование для парохода Гучков разрешил взять из его склада, и дело закипело. Заручившись согласием Гучкова на снабжение в дальнейшем из этого склада маленького отделения, которое я поручил еще перед отъездом в Варшаву организовать Ковалевскому для 9-й армии, и познакомившись с управляющим Варшавским складом, энергичным князем Н.И. Амаутти, я выехал из Варшавы на Радом, чтобы, переночевав там, на следующее утро ехать далее, на Островец. Шабельскому я поручил, насколько возможно скоро, закончить оборудование «Пана Тадеуша» и, получив для него от Гучкова необходимый для паро-

хода санитарный персонал, немедленно идти в Сандомир. Туда же, но по железной дороге, отправил я Нижегородский этапный лазарет, данный мне Гучковым. Во время моих переговоров об этом с Александром Ивановичем он предложил мне вместо этого лазарета двинуть туда один из оставшихся в Варшаве еще неразвернутых госпиталей, но я побоялся этого, ибо Сандомир лежал в 45 верстах от ближайшей железнодорожной нашей станции – Островец, и в случае нового наступления неприятеля эвакуация оттуда госпиталя была бы крайне затруднительна.

Наконец в Варшаве мне удалось получить для района 2 хотя и плохоньких автомобиля, с которыми я и отправился в путь. Через несколько дней я получил еще два прекрасных собственных автомобиля Красного Креста, но в первые дни войны приходилось довольствоваться тем, что предоставляли в наше пользование отдельные жертвователи – машины большей частью потрепанные, а главное, почти сплошь слабые, городского типа. Иногда лишь среди них попадались хорошие, отдаваемые владельцами в Красный Крест для избежания реквизиции. Впрочем, расчет этот оказался довольно неверным: военное ведомство при реквизиции обычно платило хорошие деньги, Красный же Крест брал машины безвозмездно с тем, чтобы вернуть их владельцам после войны; всякий, однако, может судить, во что превратились эти автомобили уже после первого года усиленной военной работы.

Радом я нашел очень пустынным, совершенно сохранившим мирный облик. Лишь некоторая необычная в мирное время грязь указывала на то, что мы переживаем необыкновенные события. В гостинице, где мы переночевали, хозяин жаловался нам, что немецкие офицеры, останавливающиеся у него (всего-навсего немецкие войска пробыли здесь несколько дней) сильно опустошили его винный погреб, особенно в отношении шампанского, не заплатив ни за что ни копейки. Некоторым из них, правда, выдали квитанции, но когда их предъявили, куда следовало, то эти квитанции вызвали там только смех. Убрались немцы очень быстро; в Радом примчался с востока автомобиль, и через два часа в городе не оставалось уже ни одного немца. Такая быстрота ухода, которая наблюдалась и далее к югу, не дала ни немцам, ни австрийцам возможность осуществить объявленную ими реквизицию лошадей и крупного рогатого скота. В Радоме был целый ряд случаев скрытия поляками русских от искавших их немцев; в те времена, когда у всех в памяти были еще зверства немцев в Калише, это было большим подвигом. Между прочим, в городской больнице скрыли больных русских солдат, которые после ухода немцев и были освобождены.

На 60-верстном пути из Радома через Илжу в Островец все было совершенно тихо, как будто войны и не было. Красивые развалины старинного замка на холме над Илжей переносили скорее наши воспоминания во времена средневековья, заставляя забыть настоящее. Уже ближе к Островцу обогнали мы обоз кавалерийского полка, кроме же него все было мирно и тихо. Подъезжая к Островцу, мы увидели дымящиеся вновь трубы местного чугуноплавильного завода. Несмотря на мобилизацию и на кратковременный визит немцев, завод этот, принадлежавший обществу Островецких горных заводов, продолжал тогда работать, исполняя якобы, как нам говорили на месте, заказы нашего Военного министерства. Позднее это обстоятельство вызвало внимание контрразведки, и тогда стали говорить, что значительная часть акций общества в немецких руках и что посему они и не повредили его, уходя из Островца. Были некоторые нарекания и подозрения на директора завода, которого одно время собирались арестовать. Как бы то ни было, однако завод продолжал работать, хотя и не полным темпом, ибо значительная часть рабочих была призвана по мобилизации, другие же сами ушли домой для замещения призванных.

В Островце я застал уже всех моих сотоварищей и направленные сюда 3 подвижные лазарета, пришедшие частью накануне, частью за несколько часов до меня. Посему первым делом моим было начать снабжение этих лазаретов обозом. Благодаря энергии врачей этих лазаретов, удалось выполнить это в несколько дней и притом очень дешево; после сего эти 3 лазарета вместе с двумя другими, закупившими обоз в Люблинской губернии и шедшими оттуда походным порядком, составили надежный кадр подвижных лечебных заведений Красного Креста при армии. Островец, как единую железнодорожную станцию в районе армии, предполагалось сделать ее главным эвакуационным пунктом, и посему сюда вызвали из Варшавы летучий отряд добровольцев, о котором я говорил выше и который быстро оборудовал в станционных пакгаузах, которые на всем театре войны сыграли неоценимую роль в качестве приютов для раненых, и перевязочные, и питательные пункты.

Пока все это шло, я отправился в Сандомир, дабы выяснить тут обстановку. Этот любопытный, расположенный на высоком, местами обрывистом берегу Вислы, город был занят нашими войсками 2-го сентября. Ночью на это число его атаковали 11 рот 72-го Тульского пехотного полка. Прорвав неприятельские линии, наши молодцы ворвались на окраины города и заняли кладби-

ще и район около церкви св. Павла. Однако атака эта оказалась изолированной. Гвардейские стрелки, которые к этому времени должны были подойти к расположенной против Сандомира галицийской станции Набжезе, своевременно не успели, и австрийцам удалось бросить против тульских рот 3 полка венгерских гонимых.

В результате тульцы были выбиты из занятой ими окраины и потеряли сверх большого числа убитыми еще несколько сот пропавших без вести. Город же был затем почти сразу оставлен австрийцами уже без боя, как только они заметили подход стрелков. В Набжезе они оставили неповрежденными и порядочные склады боевых запасов и громадные склады фуража и провианта, которыми наши войска и стали сразу же пользоваться, ибо наладить правильный подвоз всего по длинной линии от Люблина и Холма было задачей весьма трудной и сразу неосуществимой.

Когда я приехал в Сандомир 4-го сентября, то нашел его еще очень грязным – как всегда бывает с городами, только что оставленными какой-нибудь армией. На некоторых зданиях в особенности на старинной ратуше был замечен след артиллерийского обстрела, но, в общем, город пострадал мало. На австрийцев здесь мало жаловались; рассказывали только, что они по неизвестной причине арестовали ночью и затем увезли с собой местного аптекаря. В булочных и кондитерских можно было сперва получить все, что угодно, но затем, когда начали проходить большие массы войск, то получение белого хлеба стало затруднительным. Нужно, впрочем, сказать, что в течение 2-х лет моего пребывания на фронте такие затруднения являлись обычно непродолжительными, и на фронте нормально бывало все необходимое и даже многое из того, без чего можно было бы обойтись.

При нашем приезде нам отвели сперва здание высшего женского начального училища, где мы и приютились вместе с частью прибывшего уже медицинского персонала. Так как, однако, здание это было наиболее подходящее для какого-нибудь лечебного заведения, то мы и предоставили его подошедшему вскоре Нижегородскому лазарету, сами же перебрались сразу в расположенное поблизости помещение штаба бригады пограничной стражи, где нам отвели квартиру командира бригады. Здание штаба, ранее занимавшееся каким-то упраздненным католическим монастырем, было несколько повреждено артиллерийскими снарядами. В кабинете командира бригады была большая пробоина, другая же виднелась в углу около крыши церкви штаба, устроенной также в этом же здании. Вся квартира была оставлена почти в том виде, в

каком в ней жили, уезжать приходилось наскоро, и увезти почти ничего не удалось.

Позднее в свободные часы мы осмотрели подробно все здание, под которым оказались большие подземные ходы. Говорят, что раньше они выходили к Висле, но что теперь они замурованы, и пробраться далеко вглубь нельзя. Рядом со штабом была расположена бывшая монастырская церковь, под которой тоже идут подземелья, в которых были погребены разные видные в свое время обыватели Сandomира и его окрестностей. Среди них находится тело «Морштынушны», то есть дочери воеводы Сandomира, представителя угасшего ныне знатного польского рода Морштынш. Оно сохраняется нетленным уже несколько сот лет, и до последнего времени имело, говорят, близкий к естественному цвет кожи. К сожалению, недавно одному из ксендзов пришла фантазия для чистоты вымыть ей лицо теплой водой, после чего кожа сразу потемнела и имела теперь темно-бурый цвет.

Тут же в одном из гробов мы увидели два скелета, один побольше, а другой поменьше. Как нам объяснил местный ксендз, его предшественник, когда некоторые из гробов окончательно сгнили, переложил из них кости в лучше сохранившиеся. Это простое распоряжение породило, видимо во время нашего пребывания в Сandomире, довольно курьезную легенду, которая попала затем и на страницы одного из наших исторических журналов. По ней кто-то из бывших магнатов этого края уличил свою жену в измене, казнил ее вместе с ее любовником и для вечного позора приказал похоронить их вместе в одном гробу. Когда я спросил об этой легенде ксендза костела, то он страшно удивился, ибо, как оказывается, он впервые о ней услышал. Ничего не знали про нее ни местный епископ, у которого ксендз навел справки, ни вообще Сandomирские старожилы. Пустил же ее в обращение, надо думать по недоразумению, состоявший в штабе Гвардейского корпуса генерал князь Долгорукий, утверждавший, впрочем, что ему передал ее сторож костела. Напечатал же эту легенду князь Касаткин-Ростовский в «Историческом Вестнике».

Чтобы не возвращаться вновь к Сandomирской старине, упомяну еще о тюрьме, бывшем Сandomирском замке, издалика видном с противоположного, австрийского берега Вислы. Часть этого некрасивого здания была возведена еще при Ядвиге, по временам жившей здесь. Также высоко над Вислой стоит и «катедра», то есть кафедральный католический собор; сильно подновленный, он представляет интерес своей старинной, хотя и далеко не мастерской живописью. Одна из картин изображает принесение

евреями в жертву христианского младенца. В возникшем по поводу этой картины разговора, находившийся в соборе молодой ксендз высказал свое удивление по поводу того шума, который возбудило в России дело Бейлиса. Он утверждал, что и в Царстве Польском, и в Галиции мнение, что среди евреев есть сектанты, производящие человеческие жертвоприношения столь распространено, что о нем споров даже не слышно.

Устроившись в Сандомире, на следующий день я поехал за Вислу повидать некоторые из наших учреждений, прошедших следом за войсками вперед. Переправа через реку по понтонному мосту была очень длительной, ибо долго приходилось ждать очереди, но особенно скучен был затем проезд от реки по кустарникам и далее по оградительным от наводнений реки валам, где всегда стояла масса повозок. За Вислой, почти вдоль всей дороги до Тарнобжега нам встречались местные крестьяне и крестьянки, идущие из этого городка и несущие различного размера мешки и тюки; сперва это было нам непонятно, но в Тарнобжеге мы получили объяснение. Наши войска прошли город накануне, не останавливаясь в нем, этапный комендант, являющийся в передовой линии военно-полицейской властью, еще не прибыл, и город оставался без всякой охраны. Этим и воспользовались местные крестьяне, чтобы пограбить оставленные хозяевами еврейские квартиры и лавки. Повсюду на стенах и на дверях виднелись надписи мелом: «католик, поляк», а в окнах были выставлены католические иконы и статуэтки. Очевидно, польское население города знало о предстоящем погроме и приготовилось к нему.

Впрочем, квартир и лавок, не брошенных хозяевами, по видимому, не трогали. Этим утром счета местного населения с евреями здесь и закончились. Однако через несколько дней произошли новые безобразия, на этот раз произведенные нашими солдатами. В Тарнобжеге находился винокуренный завод графа Тарновского, на котором оставались большие запасы спирта; спирт этот было приказано уничтожить, и его стали выпускать в канавы, откуда его пили все, кто хотел. В результате город оказался полным пьяными, и начались грабежи – конечно, опять направленные против евреев. Как раз в это время – часов около пяти – мы проезжали через город.

На площади мы слышим крики, и затем к нам вдруг бросается несколько евреев: один старик показывает нам свою голову, залитую керосином, и объясняет, что об нее пьяный солдат только что разбил лампу, молодая еврейка показывает своего двухлетнего ребенка и плача утверждает, что другой пьяный облил его горя-

чей водой из чайника. Выскочив из автомобиля, мы побежали по указанному ими направлению. При нашем приближении из лавки этих евреев выскочило несколько солдат и пустились наутек. Двое, однако, не успели удрать и спрятались на чердаке, откуда их и извлек мой спутник. Так как в это время в город входил Каспийский полк, то мы и сдали их командиру полка, приказавшему сразу их обыскать. При этом у одного из них оказалось в кармане несколько, выставляемых обычно в писчебумажных магазинах в виде образчика, коллекций стальных перьев, прикрепленных к картону. Зачем они понадобились грабителю, он сам не мог объяснить. По этому поводу приходится указать, что с самого начала войны в нашем военном ведомстве наблюдалось непозволительно мягкое отношение ко всякого рода преступности и вместе с тем невероятная медлительность в рассмотрении судебных дел, уместная в мирное время, но нетерпимая на войне. Уже в Вильне мне пришлось услышать громкие разговоры про злоупотребления интендантских чиновников при приеме реквизируемого скота, но никаких мер против них принято не было. Кстати сказать, всякому мало-мальски знакомому с сельским хозяйством больно было смотреть на гурты этого скота, прогоняемые через Вильну, – до того мало обращалось на этих несчастных животных внимания, в результате чего многие из них падали и издыхали уже на улицах города.

Позднее, но тоже еще в начале войны в тылу боевых частей появилось мародерство (вообще, все темные элементы армии избегали попадать под огонь), неоднократно говорили про кражи у раненых, совершаемые санитарями, но весьма редко подобные случаи влекли за собой наказание. Еще, однако, страшнее для армии были случаи дезертирства, которые тоже появились в первые же дни войны. Сравнительно редко бывало в этот период, чтобы бежали в глубокий тыл: обычно только отставали от армии в начале войны на переход или два, а позднее верст на сто-полтораста, питаясь на питательных пунктах или у этапных комендантов, заявляя, в случае расспросов, что едут куда-нибудь в командировку, а в случае задержания выскакивая при пересылке из поезда и вновь скрываясь. Я могу смело сказать, что никакой серьезной борьбы со всеми этими злоупотреблениями и безобразиями не велось. Интендантские и иные хищения вызывали расследования, которые затягивались надолго, а, видя безнаказанность преступников, и другие не выдерживали соблазна, и хищения росли.

Также было и с дезертирством: сперва бежали единицы и десятки, позднее сотни, а, в конце концов, перед революцией уже сотни тысяч, и теперь можно смело сказать, что виной и этого

явления была чрезмерная мягкость и приверженность к процессуальным формам мирного времени. Если бы в самом начале войны первые попавшиеся в тылу дезертиры были без суда повешены, или в лучшем случае расстреляны, то это впоследствии дало бы неоценимые результаты. Незадолго до революции один из представителей Военного министерства в Комиссии Гособороны Госдумы определил число дезертиров в 2.000.000 человек, но включая в него и всех, значившихся не явившимися почему-либо к призыву. Правда, в числе последних было много не явившихся по вполне законным причинам.

В Тарнобжеге находилось прекрасное имение графа Тарновского, в котором был устроен небольшой лазарет австрийского Красного Креста, закрывшийся при уходе австрийцев. В этом же имении поместился один из наших передовых отрядов, почему я и заехал в него. Познакомившись с хозяевами, я был приглашен ими заехать к ним на обратном пути пообедать. В доме графа помещались также два офицера, один из коих ротмистр, кажется Малороссийского полка, рассказал мне, как он счастливо спасся в Кельцах, куда он был послан с двумя товарищами на автомобиле для выяснения обстановки. Как потом оказалось, в этом городе находились польские, галицийские «стрельцы» – в то время команды добровольцев, не имевшие еще вполне военной организации. Засев в домах, они выждали пока автомобиль не въехал на площадь, и тут стал расстреливать его со всех сторон, и оба спутника моего собеседника были убиты, равно как и помощник шофера. Сам шофер был ранен, но не растерялся и, сделав полным ходом круг на площади, вынесся из города в то время, как рассказчик расстреливал из винтовки и револьверов бросившихся к автомобилю стрельцов. Позднее мне показывали в лучшем кафе Келец место, где во время этой перестрелки совершенно случайно был убит зашедший в него выпить чашку кофе мирный обыватель города.

Вскоре после этого происшествия нашей кавалерии удалось окружить значительную партию этих стрельцов в одном из имений вблизи реки Ниды, и тогда они жестоко поплатились за Келецкое нападение. Уцелевший во время его ротмистр был прислан в Тарнобжег, дабы охранять имение Тарновского, но, вместе с тем, и дабы следить за самим графом, о котором, как мне рассказывали, велось специальное расследование. Когда наши войска вступили в Галицию, то в Тарнобжегском районе было найдено воззвание к населению с призывом образовывать эти «стрелецкие» дружины. В числе подписавших это воззвание оказался и граф Тарновский,

что и послужило основанием к возбуждению против него уголовного преследования за подстрекательство к совершению уголовного преступления, ибо «стрельцы», не будучи воинской частью, не могли пользоваться тогда охраной норм международного права, а рассматривались, как уголовные преступники.

Приглашение пообедать было мне, в виду этого, крайне неприятно, но отговориться от него было невозможно, ибо у меня были дела в передовом отряде, поместившемся в имении. Особенно же тягостное ощущение создалось, когда, уже идя к обеду, я узнал, что сейчас после него Тарновский будет арестован. Невольно все мы чувствовали себя в положении Иуды, тем более что воззвание было первоначально найдено и передано военным властям одним из служащих Красного Креста и что обвинение было предъявлено, грозящее смертной казнью. Обед прошел страшно мрачно, и после него ротмистр и привезший приказ об аресте жандармский офицер объявили его графу, который принял его удивительно спокойно. Мы поспешили, конечно, уехать, чтобы не мешать, лично я вполне убежденный, что из этого обвинения ничего не выйдет, ибо Тарновский действовал как австрийский подданный, верный своему долгу.

И если «стрельцы» выступили не как воинская часть, а как неорганизованные добровольцы «франтиреры», то это была вина уже не Тарновского, а австрийских военных властей, допустивших это отступление от обычаев войны. В тот же вечер я высказал мое мнение генералу Гулевичу, но получил ответ, что распоряжение об аресте исходило от штаба не армии, а фронта, и что посему он бессилен что-либо сделать. Скоро, впрочем, эта история закончилась для Тарновского благополучно – привезенный в Люблин, он был освобожден, и ему было предложено лишь выехать вовнутрь России.

Пока происходили все описанные мною события, наши войска все продвигались вперед, почти не встречая сопротивления разбитых австрийцев. Это преследование остановилось только на линии реки Дунайце, да и то не вследствие встреченного здесь сопротивления, а вследствие необходимости наладить сообщения армии, которая, имея теперь в тылу около 150 верст до ближайшей нашей железнодорожной линии, начала нуждаться в продовольствии. Следом за армией подошел и штаб ее, разместившийся в 12 верстах от Сандомира, в усадьбе около местечка Збыднев. Обстановка здесь была более боевая, ибо все было перерыто окопами, где австрийцы в последний раз, но тщетно, пытались нас задержать. Этапно-хозяйственный отдел штаба разместился в

Сандомире, что было для меня весьма удобно, ибо облегчало все сношения. За эти дни закончились формирование обозов подвижных лазаретов, и они прошли к корпусам, в которые были предназначены. Пришли в Сандомир и запасы, выписанные для отделения склада, и оно начало функционировать тут же, в одном из сараев занятого нами помещения штаба пограничной стражи.

Начал работать и Нижегородский лазарет, и с места принял довольно большое число больных и меньшее раненых. В числе их оказались и известный тогда авиатор-спортсмен Шпицберг с его механиком, разбившиеся в Збыдневе; только еще в начале сентября я видел его улетающим из Островца, а через какую-нибудь неделю он лежал весь забинтованный в полубессознательном бреду. На его несчастье он прибыл в армию вместе с другим, тоже небезызвестным летчиком Кузьминским (племянником графини С.А. Толстой), который очень много хвастался своими полетами, но в действительности ни разу из Збыднева никуда не вылетал. Это вызвало к нему ироническое отношение в штабе армии, которое несколько отражалось на Шпицберге. Последний чувствовал это, и, по-видимому, чтобы очистить себя от всякой солидарности со своим случайным компаньоном, решил предпринять полет до Кракова, укрепления которого он хотел сфотографировать. Так как, однако, аппарат его не был рассчитан на такой длинный перелет, то он взял много дополнительного бензина, сильно перегрузив машину. Назначенный для полета день оказался очень ветряным, но Шпицберг из ложного самолюбия не захотел его отложить, хотя его убеждали это сделать. Едва он поднялся, налетел порыв ветра, аппарат накренился и, благодаря его перегрузке, Шпицбергу не удалось его выпрямить, и он ударился со всего размаха об землю. Несмотря на самый внимательный уход, спасти Шпицберга, у которого оказалась трещина основания черепа, не удалось, тем более что вскоре, вследствие отхода армии, пришлось его эвакуировать по грунтовым дорогам, и он умер, не доехав до Люблина. Его сотоварищ по приезду в армию, кажется, так и не летал на фронте и вскоре исчез из нашего района, арестованный одно время по обвинению в какой-то денежной афере с казенным аэропланом. Этот арест, причины которого широкой публике были неизвестны, породил самые разнообразные толки, причем более всего говорилось о том, что этот господин оказался немецким шпионом, в чем, впрочем, не было ни слова истины.

За повседневными делами время пролетело незаметно до 15-го сентября, когда, подъехав к Висле с австрийской стороны, я увидел несколько полков кавалерии, ожидающих переправы к

Сандомиру. Оказалось, что их двигают в составе целого кавалерийского корпуса к Кракову, где начали сосредотачиваться значительные неприятельские силы. Нужно сказать, что это было время самых фантастических слухов, из которых по проверке в штабе ни один не подтвердился. То сообщали, что нами взяты внешние форты Кракова, то, что взят весь Перемышль. В действительности нами были взяты тогда два Перемышльских форта. Генерал Щербачев, тогда корпусный командир, приказал 19-й пехотной дивизии генерала Рагозы взять без артиллерийской подготовки 3 Перемышльских форта. Атака удалась в отношении только двух фортов, но в них удержаться не удалось, ибо они подверглись сосредоточенному обстрелу всей крепостной артиллерии. В итоге 19-я дивизия понесла громадные потери. За это дело, как мне рассказывал генерал Рагоза, Щербачев был сперва отставлен от командования корпусом, но через несколько дней был возвращен к командованию.

Поэтому нам и тут сперва показалось, что во всех слухах о назревающих событиях в Краковском направлении очень много преувеличенного, тем более что только недавно еще наша кавалерия, не встречая сопротивления, дошла почти до самого Кракова, причем командир кавалерийского корпуса генерал Новиков наложил стотысячную контрибуцию на свой же город Кельцы за нападение на наш автомобиль, о котором я говорил выше и которое оказалось возможным лишь благодаря тому, что на окраине города кто-то из его обывателей уверил ехавших к ним офицеров, что «стрельцы» из города ушли. Однако на этот раз слух оказался справедливым и, отправившись в штаб, я узнал там, что по всему фронту вдоль западной границы Царства Польского наблюдается сосредоточение германских войск. Вместе с тем мне сообщили, что ввиду сего предполагается наш отход за линию Сана и Вислы и большие передвижения в тылу этой линии, а именно, расположенные левее 9-й армии 4-я и 5-я армии должны были перейти позади ее и занять позиции между Новой Александрией и Варшавой. К Варшаве должна была перейти также 2-я армия, а участок последней доставался 1-й армии, рядом с которой, но севернее, становилась новая 10-я армия. На долю 9-й армии доставался участок вдоль Вислы от Новой Александрии до Сана и нижнее течение последнего, причем один из корпусов, 16-й, у армии отнимался, другой, гвардейский, отводился в резерв, а два остальные – 18-й и 14-й – должны были занять вытянутую в точку громадную линию фронта армии.

Вся эта переброска войск на фронте армии должна была быть закончена к вечеру 21-го сентября, а 22-го армия должна была вновь переправиться через Вислу и Сан и начать наступление против неприятеля по всему фронту. Предполагалось, что наступление неприятеля будет идти столь медленно, что вся эта операция будет выполнена спокойно и без затруднений. При этом на левом берегу Вислы из состава 9-й армии оставлялась в виде заслона 2-я стрелковая бригада. Положение Сандомира считалось вполне обеспеченным – опасности ему в штабе армии тогда не предвидели. Относительно краснокрестных учреждений мне были даны первоначальные указания об отходе их вместе с войсками, но затем мне было разрешено сосредоточить их в Сандомире, откуда они должны были присоединиться 22-го или 23-го к нашим наступающим корпусам.

Не знаю, чему приписать перемену во взглядах, но эти первоначальные предположения о почти полном отходе за Вислу выдержаны не были, и понемногу ко 2-й стрелковой бригаде были прибавлены сперва гвардейская стрелковая бригада, а затем и 80-я пехотная дивизия, и вместе с тем стали говорить о возможности боя на линии верстах в 25-30 впереди Сандомира. По-видимому, инициатива этого принадлежала штабу 9-й армии, главным же образом генералу Гулевичу, который не мог примириться с мыслью об отходе. Во всяком случае, указания, которые он давал мне, были все основаны на расчете о немедленном переходе в наступление. В соответствии с этим, кроме Нижегородского лазарета, в Сандомир пришли два подвижных лазарета и два передовых отряда и расположились здесь в свернутом состоянии. Эти 4 учреждения не внушали мне никаких опасений, ибо, имея обоз, все они, при наличии в тылу мостов, которые должны были быть готовы к 21-му сентября, свободно могли бы отойти, если бы это оказалось необходимым. Вопрос был только в Нижегородском лазарете и в отделении склада: как их вывезти, если придется эвакуировать Сандомир? Здесь расчеты были построены на ожидавшемся приходе «Пана Тадеуша», который уже был закончен снаряжением и вышел из Варшавы. Однако вместо этого парохода 19-го прибыл один заведовавший им уполномоченный Шабельский с известием, что вследствие поломки в машине, пароход на несколько дней застрял в Новой Александрии. Приходилось, следовательно, думать об иных способах эвакуации. Для склада было разрешено воспользоваться баржей, которую должен был увести стоявший в Набжезе казенный пароход «Холм». Для нижегородского же лазарета были обещаны этапным комендан-

том подводы, на которые в последнюю минуту должны были погрузить его имущество.

Так как это была первая моя эвакуация, то я поверил этим обещаниям. Однако все было выполнено далеко не так, как предполагалось. Немцы начали наступать гораздо быстрее, чем у нас рассчитывали, и притом с большими силами, чем ожидалось. Как мне сообщили в штабе, против 9-й армии выяснилось наступление к северу от Вислы не менее чем 3-х корпусов, почему оставленные против них арьергарды удержаться на левом берегу Вислы не смогут. К сожалению, стало это известным только 19-го сентября днем, почему в тот же вечер я дал распоряжение обоим подвижным лазаретам идти на следующее утро в Завихост, переправиться там на правый берег Вислы и двигаться затем далее на присоединение к своим корпусам. Весь день 20-го слышалась канонада: шел бой в районе Климентова, как выяснилось позднее, только артиллерийский. Наши стрелки, в виду явного преимущества неприятеля в силах, отошли к Опатову. Утром в Сандомире внезапно поднялась ружейная стрельба – над городом пролетел неприятельский аэроплан – и всё, что имело ружья, стало его обстреливать, но безуспешно. К вечеру, с получением известий об отходе стрелков на Опатовские позиции, меня вызвал к себе полковник Энгельке и передал, что он со своим Управлением утром 21-го выезжает из Сандомира в Красник, куда переходит также из Збыднева и штаб армии. Вместе с тем он посоветовал и мне с Управлением тоже уходить. Так как «Пана Тадеуша» все еще не было, то я направил Шабельского обратно в Новую Александрию, оба же передовых отряда, стоявшие в Сандомире, двинулись в Опатов на случай необходимости вывоза оттуда раненых. В Опатове же развернулся и Псковский подвижной лазарет, только что закончивший закупку обоза около Люблина и пришедший прямо оттуда ко времени начала боев.

Настало утро 21-го сентября (1914 г.) и принесло нам два неприятных сюрприза: С одной стороны, не оказалось ни одной из обещанных мне 30 подвод, что, впрочем, как выяснилось впоследствии, при отступлениях являлось естественным явлением, а с другой – затонул понтонный мост через Вислу. Как это ни странно, но обслуживание этого далеко не идеального моста было поручено не саперным войскам, а ополченцам, которые и прозевали течь в двух понтонах, к утру 21-го и заполнившихся водой. А часов около трех прекратилось и это сообщение. Благодаря этому погрузка имущества склада на берегу в Набжезе оказалась невозможной, и только после долгих хлопот Ковалевскому удалось до-

биться постановки баржи около левого берега Вислы, куда мы и свезли на автомобилях все, что было в складе. Однако, благодаря отсутствию здесь пристаней, погрузка очень затянулась, а в 5 часов дня командир парохода заявил, что он больше ждать не может, ибо не желает рисковать пароходом, и ушел, не погрузив около десятка тюков, которые пришлось привезти обратно в склад.

В отношении Нижегородского лазарета положение все время оставалось неясным, ибо все еще мечтали достать подводы. Однако около 5 часов вечера из Опатова приехал уполномоченный Гросман с 2-мя сестрами Псковского лазарета и сообщил, что этот город подвергся обстрелу тяжелой артиллерии, почему Псковский лазарет должен был спешно свернуть и уйти оттуда. Все обозы, а за ними и войска стали отходить по указанной им дороге, но, отойдя верст около 10, были обстреляны немецкой кавалерией, причем в обозах возник беспорядок. Обоз Псковского лазарета в этом смятении разбился на несколько частей, и тогда Гросман, захватив 2-х сестер, поехал в Сандомир предупредить меня о ходе событий и затем направился в Завихост, где все обозы должны были переправляться через Вислу и где Гросман для ночлега персонала Красного Креста должен был занять здание школы. Через некоторое время после этого по большому шоссе из Опатова начали подходить войсковые обозы, а за ними потянулись и легкораненые, один из коих, офицер 2-й стрелковой бригады, по ошибке зашедший в Управление вместо Нижегородского лазарета, обрисовал нам общую картину боя – это была несомненная неудача. Почти в это же время вернулся и наш 5-й передовой отряд, привезя, однако, всего четырех раненых: он подошел к войскам уже в начале отхода и не мог больше никого подобрать из тяжелораненых.

Спрашивается, чем же объяснить эту нашу неудачу? Как я уже говорил, еще 19-го сентября мне было сообщено о необходимости отхода в виду приближения крупных неприятельских сил. Артиллерийский бой 20-го числа у Климентова выяснил вполне определенно, насколько сильнее была германская артиллерия, почему же был принят бой 21-го числа? По этому поводу мне рассказывали, что командовавшему Опатовским отрядом генералу Дельсалью было дано штабом армии приказание об отходе в случае серьезного наступления неприятеля. Серьезность его могла, конечно, выясниться лишь с началом боя, почему Дельсаль и не решился дать приказ об отходе еще накануне.

Когда же утром через час после германского наступления он дал этот приказ, то полки уже понесли значительные потери от

артиллерийского огня, а некоторые из рот должны были пробиваться штыками. На неудачный исход боя повлияло и то, что стоявшая на правом фланге пехоты 5-я кавалерийская дивизия ушла на рассвете в северном направлении согласно полученному приказанию. Напрасно Дельсаль, фланг которого через это совершенно обнажился, умолял начальника этой дивизии генерала Морица задержаться хотя бы на несколько часов, дабы дать ему выйти из тяжелого положения, но последний отказал, ссылаясь на категоричность полученного им приказания. В результате германцы совершенно беспрепятственно прошли в тыл Дельсаля и внесли смятение в его обозы, о чем я уже упоминал выше. В итоге боя мы потеряли около 15 орудий и до 7000 человек. 16 батальонов двух стрелковых бригад потеряли около 6700 человек, и в двух полках гвардейской стрелковой бригады осталось по 400 человек.

Когда в Сандомире получились первые сведения об исходе боя, то я отправился в только что пришедший штаб 80-й дивизии, чтобы посоветоваться с ее начальником генералом Герцыком о том, что мне делать с Нижегородским лазаретом. Вместе с тем являлся также вопрос о том, как быть с Управлением. От Герцыка я никакого определенного ответа не получил: Нижегородский лазарет лучше сохранить в городе, ехать сейчас в Завихост не безопасно, но нельзя также поручиться и за то, что на следующей день будет восстановлена переправа через Вислу. Однако начальник штаба дивизии дал мне гораздо более определенный ответ: по его мнению, дорога на Завихост пока была свободна, но утром могла уже быть перерезанной немцами; почему он посоветовал мне теперь же выехать с Управлением, ибо исправление моста вызывало у него известные сомнения.

Из штаба я прошел прямо в Нижегородский лазарет, куда начался усиленный наплыв раненых и где уже кипела работа. В виду сего старший врач лазарета, доктор Питон, не ожидая моего вопроса, первый заявил мне, что он останется в Сандомире со всем своим персоналом до последней крайности. Так как это вполне отвечало и моему мнению, то мы на этом и порешили, согласившись на том, что потеря имущества лазарета не может идти в сравнение с ценностью тех жизней, которые могут быть спасены работой его персонала до последней минуты. Вернувшись в Управление, я сообщил здесь, после некоторого колебания, о моем решении отправиться через Завихост в Красник. Сам я предполагал, отвезя Управление в Завихост, вернуться в Сандомир, откуда и уйти вместе с персоналом Нижегородского лазарета. В Сандомире при лазарете остался Ковалевский.

Выехав около 10 часов вечера, мы нашли улицу против Управления запруженной солдатами – в город уже входили остатки гвардейских стрелков. Тут же нас остановил шофер военного автомобиля – как оказалось, генерала Дельсаля – с просьбой дать ему бензина: обозы бригады отбились, и автомобилю грозила перспектива быть брошенным. Проехав несколько верст, мы были остановлены на заставе, где нам дали пропуск и, кстати, посоветовали ехать без фонарей, ибо по слухам в районе уже блуждали неприятельские кавалерийские разъезды. После этого, хотя и медленно, но вполне спокойно, мы доехали до Завихоста, где в школе нас встретила учительница, очень приветливо, но с весьма удивленным видом. «Как хорошо, значит австрийцы не так близко, как говорили, раз вы собираетесь здесь ночевать?», – спросила она нас и затем на наши встречные вопросы объяснила нам, что стоявшие здесь два батальона уже переправились на правый берег Вислы, оставив для охраны переправы всего одну роту и что мост, хотя и устраивался, но закончен не был, к вечеру был снят и переправа происходит на баржах, буксируемых пароходом. Сразу же мы отправились к переправе, где встретили несколько повозок Псковского лазарета и весь обоз 2-го Московского Александрийского лазарета, еще утром ушедший из Сандомира и все ожидавший в Завихосте сперва окончания наведения моста, а затем очереди переправы. После краткого разговора мы решили переправить на правый берег и наши лучшие автомобили; однако это оказалось невозможным, ибо они не входили на баржи. Тогда я поехал на пароходе, чтобы выяснить обстановку, на правый берег, рассчитывая вернуться и ехать в Сандомир. Однако со следующим рейсом переехал Н.В. Миштовт и привез известие, что в Завихост пришел Уланский Его Величества полк вместе со своим бригадным командиром генералом Маннергеймом и что последний распорядился переправлять бывшую с полком батарею, пулеметы и денежный ящик, а переправу обозов Красного Креста отставил. Сразу затем выяснилось, что следом за уланами идут немцы, что сообщение с Сандомиром прервано окончательно, что переправа через Вислу будет сразу же прекращена. Так как уланы должны были идти из Завихоста для переправы в Аннополь, где был уже давно устроен мост, то я и решил отправить туда же вместе с ними и наши обозы. Мысль об этом была у меня и раньше, но я не посмел этого сделать, ибо еще в Сандомире, в штабе дивизии мне говорили, что у них были сведения, что немецкие разъезды показывались еще днем в районе Ожарова, верстах в 12-ти от Аннополя, почему двигать туда обозы без прикрытия

было рискованно. Замечу кстати, что бригада Маннергейма пришла в Завихост лишь благодаря полученному ими распоряжению штаба армии, в котором так же, как и нам, было сказано, что там устроен мост.

Позднее мне пришлось слышать несколько рассказов про роль отдельной Гвардейской кавалерийской бригады в бою 21-го сентября. Конечно, как и вообще везде кажется всем участникам боя, что именно они сыграли в нем решающую роль, так и здесь – кавалеристы были склонны преувеличивать свою роль, но, несомненно, что благодаря наличию их, левый фланг стрелков был обеспечен. Но, вместе с тем, это обстоятельство дает основание предполагать, что если бы генерал Мориц, считаясь с обстоятельствами момента, не увел свою дивизию сразу по получении о том приказания, то, быть может, обход правого фланга стрелков был бы предупрежден, и они избежали бы постигшей их неудачи. За этот бой Маннергейм настойчиво представлялся к Георгиевскому кресту. Однако Георгиевская дума дважды проваливала его награждение, так что он получил его впоследствии, но уже непосредственно от Государя. Нужно сказать, что подобные награждения, вопреки постановлениям Георгиевской думы, всегда вызывали недовольство, и, быть может, послужили одной из тех мелочей, благодаря которым начало революции было принято так безразлично в значительной части офицерского состава.

В данном же случае мне пришлось слышать указания, что Маннергейм, хороший кавалерийский офицер и лично храбрый человек, как начальник в бою терялся и в серьезные минуты не знал, какое принять решение, что сказалось в бою 21-го сентября, вследствие чего награждение его Георгиевским крестом едва ли могло быть оправдано. Вообще само учреждение Георгиевской Думы в идее очень хорошее, на практике оказалось далеко не совершенным. С одной стороны, несмотря на то, что статут ордена был пересмотрен перед войной, он не вполне отвечал современным условиям войны и давал возможность добиваться награждения орденом св. Георгия и Георгиевским оружием лицам, сделавшим очень малое – особенно в артиллерии. И это вынуждало Думу присуждать награды подчас без особого убеждения в действительной доблести награждаемого. С другой стороны – Дума работала хорошо, лишь если она собиралась вскоре и поблизости от места совершения подвигов, не далее штаба армии, ибо здесь бывали обычно хотя бы по одному участнику Думы, знакомому с условиями совершения подвига, и посему награждались нормально только действительно достойные того. Если же Дума собира-

лась дальше в тылу, то ей приходилось иметь дело исключительно с бумажным материалом, и гарантии награждения только достойнейших уменьшались.

Попутно укажу, кстати, что по статуту солдатский Георгиевский крест мог быть даваем только воинским нижним чинам, так что персонал Красного Креста мог получать только Георгиевские медали. В 9-й армии это правило соблюдалось весьма строго, но в других с самого начала войны стали давать кресты и краснокрестному персоналу, что вызывало среди моих сотоварищей некоторое недовольство. Устранить эту несправедливость так и не удавалось до конца войны, хотя уже в 1916 году, когда я в качестве главноуполномоченного официально обратился к главнокомандующему Западным фронтом с просьбой установить в этом вопросе однообразие, вопрос этот и был тогда разрешен приказом Ставки в смысле прекращения награждения не военных Георгиевскими крестами. Однако случаи этого имели место и после этого. Да и вообще дело награждения различными боевыми наградами было у нас поставлено, как и в японскую войну, совершенно ненормально, особенно в начале войны: награждали огульно всех офицеров за известный боевой период, независимо от того, как он себя держал во время боя – рисковал ли, как и надлежало, жизнью или осторожно держался в тылу. И это производилось, несмотря на то, что уже в японскую войну на этой почве происходило немало недоразумений.

Часто вспоминали, например, получение Н.А. Даниловым, занимавшим канцелярскую должность в штабе Куропаткина, Георгиевского оружия (дававшегося тогда в качестве очередной награды) за Мукденские бои, во время которых он был в Италии, в отпуску, у серьезно больной жены. Это награждение вызвало насмешки и разговоры об «Италийском походе», почему впоследствии приказ о его награждении был заменен другим, в котором Георгиевское оружие Данилову все-таки давалось, но уже за бои на Шахе, за которые он уже одновременно получил другую боевую награду.

И вот в настоящую войну в начале наблюдалось нечто в том же роде, особенно в штабах. Особенно отличился в этом отношении командир гвардейского корпуса генерал Безобразов, про которого ходило на этот счет много анекдотов. Не знаю, насколько верен рассказ, что он пытался добиться награждением Владимиром 4-й степени с мечами своего мозольного оператора-фельдшера, но что у него в штабе весь самый мирный персонал был увешан боевыми наградами – это я видел сам. Даже на счетчиках корпусного казначейства красовались Георгиевские медали, хотя

они никогда даже близко к боевой линии не были. «Это им дано за усердие», – объяснил мне в ответ на мой удивленный вопрос корпусный казначей. Не удивительно, что в конце концов на почве награждения боевыми наградами создавалось масса недовольных и очень мало действительно удовлетворенных, и скоро стали ценить только орден Св. Георгия и Георгиевское оружие.

Возвращаясь к Завихосту. Около 3-х часов ночи наши автомобили и повозки двинулись к Аннополю по левому берегу, весь же персонал, и с ними и я, направились туда же на казенном пароходе «Холм». Часа через полтора вскоре после рассвета мы были в Аннополе, где, однако, стоявший на берегу пост не разрешил нам первоначально высадиться. Пришлось послать одного из них к караульному начальнику, от которого через четверть часа получилось какое-то распоряжение; так как, однако, солдаты были эстонцы (здесь занимала позиции 23-ья дивизия, расположенная обычно в Эстонии и получавшая отсюда запасных) и говорили они на родном языке, то узнать, каково было это решение, мне так и не удалось. На мой вопрос, что сказал начальник, старший по посту ответил мне: «Так, какое-то клюпство (глупость)», – и затем милостиво позволил нам идти в местечко. Так как все оно было занято войсками, то с большим трудом нам удалось устроиться в доме ксендза, где помещалось несколько офицеров Печорского полка, очень гостеприимно нас принявших и угостивших чаем. Особенно любезен и мил был один молодой офицер, которого быстро прозвали «кровяным» подпоручиком, ибо он с большим увлечением рассказывал про взятую им австрийскую лошадь, которую он упорно называл «кровяной» вместо «кровной». На вопрос, что он сделал с австрийцем, он очень просто ответил: «Я его убил».

Все эти офицеры с негодованием рассказывали про очень частое употребление австрийцами разрывных пуль. Особенно заметны бывали их разрывы по ночам в лесу, когда они разрывались, ударяя о деревья или их сучья. Нужно сказать, что по общему утверждению разрывные пули употреблялись австрийцами в таком количестве, что всякая мысль о случайности их употребления отпадала (сами австрийцы утверждали, что эти пули имелись в мирное время только у унтер-офицеров для облегчения пристрелки), тем более что находили их в патронташах и у рядовых. По внешности эти пули отличались от простых тем, что приблизительно в середине их тянулась поперечная темная полоска. Позднее мне пришлось видеть такую пулю, распиленную продольно в артиллерийской мастерской для изучения ее сложного механизма. Впрочем, нужно сказать, что при ранениях такими пулями неодно-

кратно возникали споры о том, чем они причинены, ибо такие же ужасные повреждения давали подчас и ранения простыми остроконечными пулями.

Еще в 1912 г. в одном из заседаний Главного Управления Красного Креста А.И. Гучков указал на статью какого-то немецкого охотничьего журнала, в которой приводились слова императора Вильгельма о разрушительном действии новой тогда остроконечной пули, и предложил поднять пред Военным министерством вопрос об изучении этого действия специалистами дела. В результате оно было исследовано особой комиссией, под председательством профессора хирурга Павлова стрельбою по трупам и живым лошадям. При этом оказалось, что на близких расстояниях эта пуля не только раздробляет части тела, через которые она проходит, но и выносит их с собой, и они сами начинают действовать разрушительно на прилегающие к ним частицы тела, и в результате получается громадное выходное отверстие. То же получалось и на далеком расстоянии, ибо здесь пуля начинала кувыркаться и продолжала это вращательное движение и в теле, благодаря чему тоже получались ужасные повреждения. О «гуманности» поранений, о которой говорили во время японской войны, когда с обеих сторон употреблялись закругленные пули, теперь уже не могло быть и речи.

Все это припомнилось мне во время войны, когда подчас на счет разрывных пуль относились многие ранения, причиненные пулями самыми обыкновенными. Добавлю, впрочем, что позднее у австрийцев разрывные пули, по-видимому, не употреблялись.

В Аннополе я встретил 3-й передовой отряд, который еще 20-го сентября ушел к Опатову. Ему в бою 21-го не пришлось совершенно поработать, ибо уже рано утром он получил приказание уходить. При отходе, во время беспорядка в обозах, он потерял одну из своих кухонь, опрокинутую в канаву, из которой в давке ее не удалось вытащить. Тут же, в Аннополе оказалось несколько повозок Псковского лазарета. Как оказалось впоследствии, когда в обозах возникла паника, и все они перепутались, то старший врач лазарета, бывший при первых повозках, не обратил никакого внимания на то, что происходит с остальными, бросил их и, идя столь быстро, как могли выдержать лошади, не только прошел мимо Аннополя, но и остановился лишь около Красника. К счастью, в конце концов, почти весь обоз лазарета нашелся в разных местах, и из ценного имущества ничего не пропало. Тем не менее, после этого инцидента пришлось разойтись с этим старшим врачом, которого заменил младший врач этого же ла-

зарета Воскресенский, очень хорошо себя зарекомендовавший в эти дни.

К 12 часам дня подошли из-за Вислы и те повозки, которые из Завихоста пошли с кавалерией. Почти сразу после их переправы и Аннопольский мост был уничтожен. Как выяснилось к этому времени, все мы ушли из Завихоста своевременно: к 9-ти часам утра там были уже немцы. В Аннополе вновь подтвердилось, насколько неожиданным явился отход из-за Вислы; то движение через нее навстречу немцам, о котором я говорил выше, в этом районе уже началось, и 21-го сентября тут успела перейти на левый берег реки одна из бригад 37-й дивизии. Теперь она вернулась без боя обратно, причем, однако, Царицынский полк потерял одного из врачей и часть санитаров, попавших в руки немцев. Позднее тогдашний командир этого полка Занкевич утверждал мне, что, судя по всем данным, этот врач – по трусости – сознательно отстал, дабы попасть в руки немцев, ибо приказ об отходе был ему передан своевременно. Тогда же этот господин был предан Занкевичем суду, но, конечно, этот суд не состоялся.

Так как все, что было за Вислой, теперь оттуда выбралось, и так как наметилось, куда какое краснокрестное учреждение должно идти, то мы решили двигаться далее в Красник. Выехали мы около 4-х, а через час после нашего выезда немецкая артиллерия начала обстреливать Аннополь. В Краснике мы были около шести часов, и нашли его переполненным, ибо кроме штаба нашей армии здесь располагались на ночлег различные части проходивших мимо 4-й и 5-й армий. Однако, «пан-квартирмейстер» или, иначе говоря, маленький чиновник магистрата, ведавший расквартированием в местечке воинских частей, поведив нас сперва зря по разным переполненным квартирам и сообщив, между прочим, что есть еще одна хорошая квартира, но что пану генералу (то есть мне) нельзя останавливаться у «жида» (в Царстве Польском и в Галиции это слово не имело того оскорбительного оттенка, который ему придается у нас и заменяет наше слово «еврей»), в конце концов, привел нас обратно к зданию магистрата и отвел нам здесь квартиру бургомистра. Если бы не пыль, покрывавшая все вещи, то можно было бы подумать, что хозяин только что вышел из квартиры. И действительно, оказалось, что по возвращении наших войск после Люблинских боев, он был внезапно арестован и после ускоренного судоразбирательства повешен за оказание австрийцам, во время их кратковременного пребывания в Краснике, различных услуг. Позднее я слышал мнение одного из видных наших генералов, который находил, что эта казнь

была совершенно неосновательна и что несчастный бургомистр собственнно и не имел возможности поступить иначе.

Как бы то ни было, судьба привела нас в его квартиру, и мы благословляли ее за то, что она дала нам пристанище в этом здании, ранее бывшем католическим монастырем. Погода начала хмуриться, уже темнело, и перспектива пребывания в эту ночь под открытым небом нам всем очень мало улыбалась. Все мы настолько устали, что даже не обратили внимания на холод в комнатах и только утром заметили, что кое-где были выбиты стекла.

Сразу по приезде я поехал в штаб армии, где мне сообщили телефоном, что к 6 часам вечера была закончена эвакуация Сандомира и что все раненые и лечебные заведения благополучно из него вывезены. Сразу точно гора с плеч свалилась у меня, но необходимо было выяснить, куда пошли учреждения, остававшиеся в этом районе. Поэтому утром 23-го я отправился на автомобиле обратно на Госцерадов и далее. Так как, однако, и предшествующей ночью и ночью на 23-е шел дождь, то мне с большим трудом удалось добраться только до Ольбенцина, ибо дорога совершенно разгрязнилась и, несмотря на все прекрасные качества моего «Рено», ехать на нем далее оказалось невозможным. Но на счастье здесь оказался очень любезный этапный комендант, давший мне лошадку и бричку, на которой я добрался до Госцерадова, где узнал, что в 4 верстах от него к югу расположился наш 7-й передовой отряд. Не без труда добрался я до этого отряда, который прошел мимо Сандомира правым берегом Вислы утром 22-го сентября, когда оттуда усиленно все переправлялось.

Как оказалось, мост был исправлен саперами, которым теперь поручили эту работу, в течение ночи и днем эвакуировали все, что было возможно; были вывезены и все раненые и больные, кроме нескольких человек, которых по состоянию здоровья совершенно нельзя было трогать с места и которых собрали посему в городскую больницу. После этого все лечебные заведения перешли через Вислу. Нижегородский лазарет двинулся последним, совершенно налегке, захватив лишь самое ценное – свой инструментарий. Повозок, конечно, нельзя было достать и ничего из остального имущества вывести было нельзя. То небольшое имущество, которое оставалось от отделения склада – белье и перевязочный материал – Ковалевский раздал подошедшим войскам, так что оставлено было в нем всего лишь несколько более громоздких предметов, ванн и т.п.

Когда персонал Нижегородского лазарета вместе с последними ранеными подходил к Висле, то над мостом пролетел не-

приятельский аэроплан и бросил дымовую бомбу, очевидно для пристрелки своей артиллерии, ибо сразу после этого открылся огонь, впрочем, в общем, мало действенный. Когда же наш персонал подходил уже к реке, то одному тяжело раненому офицеру стало очень нехорошо, и он попросил оставить его в Сандомире. Тогда Ковалевский вернулся с ним обратно и свез его в городскую больницу, все время идя под обстрелом. Все это время переправа шла в полном спокойствии, лишь за рекой порядка было меньше. Здесь «отличился» наш санитар при Управлении – Азаров, которого я накануне оставил с Ковалевским в Сандомире: оказавшись вне надзора, он столкнул с проезжавшего мимо него рысью повозки ее хозяина, еврея, вскочил сам на нее и помчался на ней дальше, пока не вынесся из района обстрела. Бросив здесь повозку, он присоединился к Ковалевскому и персоналу Нижегородского лазарета и вместе с ними пришел пешком в Красник уже к вечеру 24-го, причем принес все мои, правда, немногочисленные вещи, которые я оставил в Сандомире, предполагая туда вернуться. Когда мы потом ругали Азарова за его поступок с евреем, то он искренно изумлялся нашему негодованию: стремление выбраться скорее из-под обстрела было, по его мнению, вполне естественно, еврей же, он считал, лучшего не заслуживал.

Говоря про отход из Сандомира, я не упомянул пока про работу Нижегородского лазарета, между тем, как она этого стоит. Уже вечером 21-го сентября, как я уже упоминал, в него начали поступать раненые. Всю ночь продолжался их приток, и к утру их оказалось уже более 400 человек (тогда как лазарет был рассчитан на 50, максимум 100 больных). Понятно, работа не приостанавливалась ни на минуту, пока все раненые не были перевязаны, переодеты и накормлены, а как только это было закончено, то началась эвакуация, законченная, как я уже говорил, лишь к моменту ухода из города последних воинских частей. Белье и остаток съестных припасов были розданы солдатам, а остальное имущество пришлось бросить. Впрочем, ровно через месяц я нашел все это имущество, равно как и оставленное имущество склада, в том виде, в каком оно было оставлено. Так как оно не подходило к образцам, принятым в австрийских лечебных заведениях, то австрийцы и не тронули его.

Узнав в 7-м отряде главное из только что мною изложенного, я вернулся в Красник по окончательно разгрязненной дороге; местами на шоссе было грязи поверх щебенки более чем на поларшина. В самом Госцерадове в эти дни на улице в грязи тонули лошади, и мне подарили две фотографии, на одной из которых

в луже грязи видна лежащая на боку издыхающая лошадь, а на другой, снятой через два часа, вместо лошади виднелась лишь на месте ее, в грязи, небольшая выпуклость. Вообще состояние дорог было в эти дни ужасное, одинаковое пагубное и для лошадей и для автомобилей. Говорили, что проходившая через Красник 3-я армии всего в один день потеряла 600 лошадей. По дорогам их беспрестанно попадались поломанные автомобили и трупы лошадей.

Как я уже упоминал, 24-го к вечеру в Красник пришли Нижегородцы и Ковалевский – усталые, голодные и грязные, но бодрые и веселые. Нечего и говорить, как мы все обрадовались их приходу и как долго мы их расспрашивали. Через день весь персонал Нижегородского лазарета отправился далее в Люблин, чтобы там получить новое лазаретное имущество и закупить себе новое личное имущество, ибо все свое они должны были бросить в Сандомире. Из этого личного имущества австрийцы как раз ничего не оставили – все было расхищено, даже платья и белье сестер. Привожу это не в виде особого обвинения, но в виде указания на то, что и австрийцы были не без греха, ибо именно в эти дни имело место разграбление чудного имения Любомирских-Развадов нашими солдатами, которое потом неоднократно цитировалось с австрийской стороны, как доказательство нашего варварства. Не знаю, какие там были наши части, но, в общем, могу смело сказать, что до революции 1917 года такие случаи разграбления войсками были очень немногочисленными; отдельные же ограбления и воровство, конечно, бывали, также как и мошенничества, ибо не нужно забывать, что в состав армии были призваны среди прочих запасных и ополченцев и многие темные личности, которые и нашли себе на войне широкое поле для деятельности, о чем я уже говорил выше. Впрочем, страдали от этого больше помещики и евреи; польское крестьянство страдало гораздо меньше. Мне, например, пришлось встретиться всего лишь с одним случаем недобросовестности с крестьянином: «реквизировав» корову, солдат, очевидно бывший петербургский трамвайный служащий, выдал владельцу этой коровы «квитанцию», которую я потом и видел; это был бланк протокола о происшествии на трамвае, в которой пустое место для обозначения пострадавшего лица было заполнено словами «одна корова». В результате того, что подобные случаи бывали редко, отношение сельского населения к нашим войскам было, в общем, дружественное, даже в польской части Галиции.

Пробыв после этого в Краснике еще день и окончательно выяснив направление наших ближайших действий, я решил пе-

ребраться с Управлением обратно в Люблин, ибо из Красника, благодаря полному бездорожью в его окрестностях, сноситься с нашими учреждениями было почти невозможно – связь с тылом была крайне медленна, а осведомленность, несмотря на соседство со штабом, ограничивалась, главным образом, тем, что происходило в ближайшем соседстве с нами. Двинулись мы из Красника рано утром 27-го сентября и только к вечеру были в Люблине. Все удивлялись быстроте нашего переезда и особенно целостности наших автомобилей, хотя мы и употребили 10 с половиной часов на то, чтобы проехать на них 45 верст. Хуже дороги я не видывал ни ранее, ни позже: вся она была усеяна трупами павших лошадей и поломанными повозками и автомобилями. Особенно плоха была первая половина дороги от Красника – здесь мы употребили 8 часов 20 минут на проезд 23 верст. По временам мы теряли всякую надежду проехать: несколько раз автомобили приходилось откапывать и выталкивать на шоссе, окончательно превращенном в кашу из глины, щебенки, крупного камня и бревен.

Пока мы ехали лесами вблизи Красника, мимо нас проходили толпы людей, одетых в военную форму, и вместе с тем в лесу все время слышалась стрельба; это шли маршевые команды на укомплектование армии и отдельные солдаты из их состава забавлялись стрельбой из винтовок по птицам и белкам. Начиналось главное бедствие армии – пополнение ее вместо солдат одетыми в военную форму обывателями, чуждыми всякому представлению о воинской дисциплине и совершенно незнакомыми с военным делом и современными его требованиями. Уже теперь в ряды армии начали попадать ополченцы, обучавшиеся всего по 6 недель в запасных батальонах, в которых приходился в то время один офицер и несколько унтер-офицеров на роту, часто в тысячу и более человек. Только попадая на фронт, они начинали по-настоящему обучаться военному делу. А между тем, часто обстоятельства бывали таковы, что их почти сразу приходилось посылать в огонь, в котором они не знали подчас даже, как управляться с винтовкой. Вспоминается мне один отставший солдатик, которого я как-то подвозил на автомобиле: с каким изумлением рассказывал он мне про свою подготовку в запасном батальоне и про то, как они там «богато» стреляли. Оказалось, что он сделал там всего 20 выстрелов. Тогда меня эта цифра поразила своим ничтожеством, а позднее и такая подготовка стала казаться идеальной. Тем не менее, и с таким неподготовленным составом оказалось возможным делать чудеса храбрости, если только руководство их было хорошее.

Коснусь здесь, кстати, офицерского состава. При мобилизации большинство пехотных полков выделили из себя второочередные полки, но кадровых офицеров в них вошло всего по 20 человек, остальные были взяты из запаса. Немало запасных офицеров попало, впрочем, и в первоочередные полки, и, тем не менее, уже при отправлении их на войну, во многих из них был некомплект. Эти офицеры, призванные из запаса, делились на две крупные группы. С одной стороны это были люди глубоко штатские, лишь отбывавшие воинскую повинность в качестве вольноопределяющихся и уволенные в запас прапорщиками, люди, которым в большинстве случаев приходилось начинать изучение военного дела сызнова. Среди них потом оказалась масса великолепных офицеров, но в начале войны им, несомненно, не хватало ни знаний, ни опыта.

Среди запасных офицеров, ранее служивших на действительной военной службе, большую часть сохранивших достаточное знакомство с делом и имевших необходимый опыт, большинство тоже проявило себя вполне достойно. К сожалению, однако, в составе этой группы попали обратно в ряды армии и многие такие лица, которые в свое время должны были уйти из нее по мотивам нравственного характера, удаленные из полка по суду общества офицеров или по полной невозможности дальнейшего оставления их на военной службе. По обычной нашей мягкости, таким удаляемым почти всегда давали возможность уйти в запас по прошению, т.е. не ошельмованными. И вот теперь они все вновь надели офицерский мундир, далеко не к чести последнего. Мне, по крайней мере, приходилось видеть несколько крайне печальных примеров этого, об одном из которых я здесь упомяну, ибо я встретился с его героем впервые в Сандомире.

Это был корнет полевого жандармского дивизиона Окулов. По своей службе он должен был поддерживать в армии внешний полицейский порядок, но справлялся он со своими обязанностями столь своеобразно, что сразу обратил на себя общее внимание. Где бы он ни находился, везде он лез драться, по большей части без всякого повода; когда же его попытался остановить какой-то полковник, то получил ответ: «Не могу, господин полковник, бюю по долгу службы». Как выяснилось, удаленный из какого-то кавалерийского полка, Окулов был затем крестьянским начальником, но здесь попал под суд за покушение на убийство жены; впрочем, от наказания он был освобожден, ибо психиатры признали его психически ненормальным. Казалось бы, после этого он не должен был бы уже попасть никуда. Но наступила война, и Окулов

опять всплыл. Он особенно облюбывал Красный Крест, в котором в 9-й армии в числе уполномоченных был Гросман, делопроизводитель Земского отдела, преподававший в нем на курсах подготовки на должности земских и крестьянских начальников, которые прошел и Окулов, и посему пользовавшийся у него особым почетом.

Был как-то случай, что Окулов бросил бить солдат, чтобы приветствовать к его величайшему смущению Гросмана, которого он все величал профессором. В занятом нами районе Галиции производились обыски с целью отобрания у населения оружия. Однако, Окулов, вопреки и закону, и здравому смыслу отбирал попутно и всякие другие вещи, самого разнообразного характера, если только он находил в них преступное содержание, не говоря уже о граммофонных пластинках с польскими патриотическими песнями. Он конфисковал даже детские игрушки, например, сабли и конфедератки, ибо это может воспитывать в детях шовинизм. Все эти вещи Окулов продавал и потом жертвовал деньги в Красный Крест. Уж чуть ли не после первого его посещения нашего управления он произвел на всех нас впечатление сумасшедшего, что я и высказал в штабе. Однако еще более месяца Окулов продолжал безобразничать, пока, наконец, не попал вновь под суд за то, что поранил шашкой солдата. В этом случае в армию вернулся просто душевнобольной, в других же в нее попадали всякие негодяи и мерзавцы, сравившие офицерское звание и дававшие потом повод чернить все офицерство в глазах солдат. Правда, большинство их попадало не на строевые должности, а на тыловые, но от этого дело не выигрывало, ибо в тылу были больше хозяйственные должности, а, следовательно, и больше возможностей для злоупотреблений.

За этими, в общей массе офицерства, конечно, весьма немногочисленными изъятиями, все остальные честно выполнили свой долг перед родиной. Я думаю, не будет ошибочно сказать, что около половины всех офицеров, ушедших на войну в самом начале ее, пала на ней смертью храбрых, а значительная часть второй половины превратилась в нетрудоспособных инвалидов, иные от ран, иные от болезней. Но когда громадный процент их выбыл в первых же боях из строя, то армия сразу оказалась в тяжелом положении, ибо пополнять ее было нечем, кроме малочисленных прапорщиков запаса и еще менее опытных прапорщиков, произведенных из юнкеров ускоренных курсов военных училищ, которые в первое время сами доучивались уже практически на поле сражения и первое время на роль учителя солдат не годились. В

мало-мальски более сложной обстановке они в начале часто не бывали в состоянии разобраться и терялись, а ведь очень и очень часто таким, почти мальчикам, сразу по прибытии в полк приходилось вступать в командование ротами. Вполне понятно, что для очень многих из этой славной молодежи вся их роль сводилась вначале к тому, чтобы умирать, большею частью геройски, во главе их солдат, которые в свою очередь, благодаря их слабой подготовке, дрались хорошо только при наличии офицеров, без них же превращались часто в стадо, на сознательное ведение боя совершенно неспособных. Позднее все это сгладилось, но 1915 год, вообще оказавшийся для нашей армии самым тяжелым и в отношении подготовки личного состава, был хуже всех других.

Возвращаясь к моменту нашего приезда в Люблин. Здесь нас встретил ряд известий крайне тревожного характера о положении Варшавы и Ивангорода. Выше я уже говорил, что наш стратегический план был построен на отступлении внутрь страны. Когда выяснилось, что немцы все свои силы устремили на Францию, то для облегчения последней было предпринято наступление в Восточную Пруссию, которое, однако, привело к разгрому 2-й армии, а затем и к отходу в конце августа 1-й армии, против которой немцы сосредоточили значительные силы после Самсоновской катастрофы. В это время район по левому берегу Вислы оставался как бы забытым и нами, и неприятелем. Варшава прикрывалась с запада почти исключительно кавалерией, пехоты же здесь было до смешного мало. К середине сентября, как я уже говорил, обнаружилось в этом районе сосредоточение значительных немецких сил, в свою очередь вызвавшее перегруппировку наших армий. Однако ко времени начала немецкого наступления она не была еще закончена, и под давлением численно превосходного противника пришлось, хотя и с боем, отходить, и при этом и Варшаве, и Ивангороду стала угрожать опасность. Из района последнего и из Новой Александрии, впереди которой тоже шли бои, в Люблин вновь стали поступать раненые. Впрочем, организация помощи им нас не касалась, ибо оба пункта находились в районе 4-й армии, равно как и сам Люблин. Поэтому здесь и находилось Управление особоуполномоченного Красного Креста при этой армии Н.И. Антонова, помощью которого я в этот период неоднократно пользовался, ибо у него с самого начала было образовано большое отделение склада, которым и стали пользоваться все попадавшие в Люблин учреждения 9-й армии. Так как, однако, в Новой Александрии оставался из-за аварии наш «Пан Тадеуш», то я первым делом отправился узнавать про положение дел в нем.

Оказалось, что этот район только что занял гренадерский корпус и как раз в день нашего приезда в Люблин, то есть 27-го сентября, здесь шел бой. Корпус этот в Люблинских боях понес большие потери. Про один из полков мне говорили, например, что в нем оставалось в строю всего 400 человек, и после сего в начале сентября был укомплектован частью запасными, но большей частью ополченцами, которое в бою 27-го числа и не проявили достаточной стойкости. Корпус дрогнул, и пришлось спешно отходить за Вислу уже под обстрелом немецкой артиллерии. На вопросы – не известно ли, что случилось с «Паном Тадеушем», я получил в Люблине ответ, что он, кажется, потоплен немцами. На вокзале, где вновь начал работать питательно-перевязочный пункт, на котором впредь до восстановления своего инвентаря помогал и персонал Нижегородского лазарета. Путем опроса раненых солдат удалось выяснить лишь, что на переправе был убит военный врач высокого роста, с повязкой Красного Креста, относительно которого по описанию внешности возникли предположения, не был ли это Шабельский, тоже ходивший с краснокрестной повязкой. (Как потом выяснилось, это был военный врач, приват-доцент Штрюмберг, которому оторвало обе ноги и который сразу же умер от потери крови). О судьбе парохода никто ничего не знал.

Тогда я поехал для выяснения его судьбы в штаб Гренадерского корпуса, в местечко Конская Воля, куда попал уже в темноте, и где мне подтвердили гибель парохода и двух баржей, но относительно персонала ничего сообщить не могли, кроме слуха, что видели идущих к Ивангороду людей с повязкой Красного Креста. Единственный раз видел я тут командира этого корпуса генерала Мрозовского, прославившегося во всей русской армии своей невероятной грубостью, на которую жаловались не только солдаты и младшие офицеры, но и генералы. Уполномоченный 6-го передового отряда Креста князь Козловский, работавший при этом корпусе, рассказал мне, что при нем Мрозовский чуть не прямо назвал дураком своего начальника штаба, который не вполне точно передал его приказание. Позднее Мрозовский был назначен командующим войсками в Москву, но так как он сменил здесь генерала Сандецкого, тоже очень строгого и грубого начальника, то впечатления особой крутости тут, кажется, не оставил.

Не найдя здесь следов Шабельского и его сотоварищей, я на следующее утро поехал в Ивангород. День оказался в боевом отношении тихим. В предшествующие дни немцы сильно напирали на наши позиции, накануне пустили несколько снарядов по цитадели, но в день моего приезда только изредка обстреливали,

хотя и совершенно безрезультатно, железнодорожный мост через Вислу. И в Ивангороде я уже не нашел никого из отряда Шабельского, но зато узнал определенно, что все они за несколько часов до меня уехали поездом в Люблин. Оставленные им здесь две приспособленные для перевозки раненых баржи сразу взяла энергичная сестра милосердия Чичерина и вывозила уже на них по ночам раненых из-под Козениц, где дрался доблестный 3-й Кавказский корпус, которому принадлежала честь отстоять Ивангород, понеся при этом громадные потери.

Возвращение из Ивангорода было очень унылым, хотя и на автомобиле, но под дождем, ночью, когда ни зги не было видно, и притом без фонарей, ибо электрическая их проводка испортилась. Пришлось ехать шагом, часто вылезая, чтобы проверить, не въедем ли мы в канаву, и лишь по временам освещая дорогу бывшим у меня карманным фонариком. Зато при возвращении я был обрадован известием, что в отряде Шабельского все целы и невредимы. Как оказалось, починка «Пана Тадеуша» затянулась почти до ухода войск из-за Вислы, почему он начал работать лишь в день переправы из-за реки войск, перевоза вместе с другим пароходом Креста «Кометой» до позднего вечера, часто под огнем неприятеля, на правый берег реки раненых и разное санитарное имущество, а под конец и войск. Ночью штаб корпуса отдал распоряжение, чтобы оба парохода с баржами около 5 часов, то есть до рассвета, вышли в Ивангород. Однако, получивший это распоряжение ведавший судоходством по Висле морской офицер, по-видимому, проспал от переутомления, и посему на наши пароходы распоряжение пришло лишь в 7 часов, и вышли они уже засветло – около семи с половиной часов. Вследствие этого, на полдороге их заметили немцы и подвергли артиллерийскому обстрелу, несмотря на нарисованные на них большие красные кресты. Командир «Кометы», на которой был Шабельский и большинство персонала, дал полный ход и проскочил благополучно. «Пан же Тадеуш» почему-то задержался, в него попало несколько снарядов, и он должен был выброститься на берег. При чем баржи загорелись и, благодаря наличию на них бензина и спирта, сгорели как костер. К счастью, бывшие на пароходе доктор Абрамович и санитары, а равно несколько легкораненых – все высадились без всяких повреждений, и пришли пешком в Ивангород, откуда вместе с остальным персоналом приехали в Люблин. Здесь в течение ближайших дней их вновь снабдили имуществом, выпросили для них несколько вагонов и превратили, таким образом, в железнодорожный подвижной перевязочный пункт, нужда в котором за это время успела выясниться и который

через некоторое время устроил у себя и подвижную кухню, став, таким образом, и питательным.

В эти же дни в мое распоряжение поступил также железнодорожный питательный пункт №8, заведующим которым состоял мой школьный товарищ Л.С. Офросимов, милейший человек, всюду со всеми умевший установить наилучшие отношения. Через несколько дней подошел также лазарет Мраморного дворца, снаряженный и содержавшийся на средства семьи великого князя Константина Константиновича, выразившей желание, чтобы этот лазарет обслуживал I-ю Гвардейскую пехотную дивизию, в рядах которой, в Измайловском полку служил один из сыновей великого князя.

Еще в начале сентября 9-я армия, переданная перед тем на Юго-Западный фронт, в отношении Красного Креста перешла в ведение главноуполномоченного этого фронта Б.Е. Иваницкого. В первых числах октября он приехал в Ивангород, куда я и отправился, дабы переговорить с ним о текущих делах. Уже три года я был знаком с Б.Е. по мирной работе Красного Креста, знал его за человека умного и энергичного, но тут, на войне, он предстал перед всеми в совершенно ином свете. У него уже ранее проявлялась некоторая горячность, которая теперь сказалась особенно сильно. Часто без всякого особого повода он начинал волноваться, кипятиться, а затем и кричать, не разбирая – скажу к его чести – с кем бы он ни говорил, младшим или старшим его. Вследствие этого, на многих он наводил трепет, другие избегали противоречить ему, а более близко к нему стоящие, приноравливались к его обычкновениям, давали ему погорячиться, а затем уже, когда он успокаивался, продолжали спокойный разговор.

Несмотря, однако, на этот недостаток, Б.Е., безусловно, являлся за все время войны лучшим из всех главноуполномоченных Красного Креста. Энергия у него была редкая, что при умении быстро схватывать положение и выбирать подходящих людей давало отличные результаты. У меня с ним всегда были хорошие отношения, и в отношении меня его «горячность» особенно не сказывалась. Нужно сказать, что понемногу, несмотря на то, что с течением войны горячность его только усиливалась, Бориса Евгеньевича успели оценить почти все, и поэтому с ней примирились, лишь рассказывая с улыбкой про последние курьезы в этой области. А анекдотов про эти курьезы рассказывали немало. Но теперь, когда все это отошло в прошлое, я думаю, что даже те, кому больше всего приходилось терпеть от горячности Бориса Евгеньевича, всегда с удовольствием вспомнят работу с ним. Тем

более что это был человек в то время денежно вполне порядочный и, в сущности, не злой.

Ехать в Ивангород мне пришлось опять на автомобиле, ибо движение по железной дороге было прекращено из-за обстрела ее немцами через Вислу, хотя путь все время поддерживался вдоль линии, часто в самых обстреливаемых местах. Через несколько дней я побывал на станции Новая Александрия, куда попал в спокойное от обстрела время. Кроме офицера, ротного командира, и нескольких солдат-железнодорожников, на станции не оказалось никого, равно как и вокруг нее, ибо весь этот район предшествующие дни обстреливался тяжелыми снарядами. Само деревянное здание станции было наполовину разбито одним из них, так что в мезонине через отваливавшуюся переднюю стенку была видна все обстановка, как в детских игрушечных домах. Ротный командир и находившаяся с ним команда помещались в каменном подвале, крытом землей, который один мог дать некоторую защиту от этих снарядов. Вся обстановка была такова, что сразу стало ясно, что приготовить здесь что-либо заблаговременно на случай боев совершенно невозможно и что, в лучшем случае, можно что-нибудь временно поставить на ближайшей станции, где находился и штаб железнодорожного батальона.

Когда я находился у командира последнего, получилось сообщение, что немцы вновь начали долбить по злополучной Новой Александрии. К счастью, стрельба их была почти безрезультатна. Когда я через неделю вновь был на станции, уже в начале нашего наступления, то новых повреждений здесь не заметил; по-видимому, в местечке были немецкие шпионы: по крайней мере, с реки была замечена подозрительная сигнализация, но, несмотря на установленное наблюдение и на обыск, найти шпионов не удалось.

После отхода нашего на Сан и Вислу почти вся эвакуация раненых и больных 9-й армии пошла через Красник, откуда наскоро была проложена конно-железная дорога, выходившая на одну из ближайших к Люблину станций, куда я и направил Ковалевского с несколькими сестрами для устройства там, близ места перегрузки, питательного пункта. Поработать ему пришлось, впрочем, всего лишь несколько дней, ибо потом подвоз больных быстро сократился. Другой питательный пункт, но уже подвижной, конный, отправили мы в Красник, но и там работы ему было очень ненадолго, ибо с нашим продвижением вперед и пути эвакуации были установлены другие.

Между тем, в течение сентября и первых чисел октября переброска войск закончилась, опасность для Варшавы и Ивангорода была устранена. И посему на 10-е и на 11-е октября было назначено общее наступление наших армий, причем около Ивангорода, где и должен был наступать правофланговый корпус 9-й армии – Гвардейский, наступление началось 10-го, а около Новой Александрии, где переправа была возложена на вновь вступившие в состав армии 25-й, а также и на 14-й корпуса – 11-го. Выше по Висле, до Сана, и по нижнему Сану пока ничего не намечалось, ибо весь этот громадный район занимал один лишь 18-й корпус. Так как Ивангород был достаточно снабжен лечебными заведениями, то с гвардией пошли туда только приданные ей подвижные учреждения Красного Креста.

Когда же перед рассветом 11-го началась переправа у Новой Александрии, то туда сразу с первым же поездом двинулся и отряд Шабельского и питательный поезд Офросимова, которые и прибыли сюда около 4 часов дня, когда еще продолжался, правда, уже редкий, обстрел станции. Так как станция была разрушена, да и мала, то пришлось и здесь использовать пакгаузы, отделив меньшую их часть под перевязочную, всю затянутую белой материей, а большую – под раненых. Самое трудное было теперь, как и в других местах, наладить отопление, ибо наступили холода и уже ослабевшие вследствие потери крови раненые под открытым небом застывали и нуждались в тепле, которое приходилось поддерживать при помощи железных печей, дававших тепло, пока топились, и сразу выстывавших, когда огонь гас. В общем, все-таки в следующие дни, когда пакгаузы эти не были сплошь набиты ранеными, лежавшими вповалку на соломе, они имели довольно благообразный вид.

Но с 11-го по 14-е октября положение было крайне тяжелое: поездов, хотя бы товарных, для вывоза раненых было слишком мало и они заполняли все. Весь персонал работал без отдыха, одни – в перевязочной, другие – на питательном пункте, но только 13-го стало полегче. Но если тяжело было положение на станции, то еще хуже было оно за Вислой, откуда не сразу удалось наладить вывозку раненых по единственному пока понтонному мосту, по которому без перерыва продолжалась переправа все новых и новых войск, шедшая, притом, все время под обстрелом неприятеля, правда мало действительным. В первый день боя переправился 25-й корпус, который, несмотря на упорное сопротивление неприятеля, продвинулся на три версты и занял господствующий над рекой кряж. Вечером венгерская пехота, подведенная из ре-

зерва, с музыкой бросилась в контратаку на нашу 3-ю Гренадерскую дивизию, но была с громадными потерями отброшена назад. Между рассказами об эпизодах боев этого дня, мне пришлось тогда же слышать, особенно врезавшийся в память, рассказ о командире 70-й дивизии, кажется, генерале Белове, который, когда дивизия его дрогнула, приказал поставить себе на улице стол с самоваром и, спокойно попивая чай, несмотря на сильный обстрел и близость неприятеля, останавливал отходящие расстроенные группы солдат, начинал с ними мирный разговор, ободрял их, устраивал и вновь бросал в бой. В результате неприятель был сперва сдержан, а потом и отброшен. На следующий день переправился и 14-й корпус, и немцы были принуждены отступать, тем более что с севера на них нажимала гвардия, взявшая его Ивангородские позиции.

В этот день я познакомился с командиром 14-го корпуса, очень симпатичным генералом Войшин-Мурдал-Жилинским, руководившим всей Ново-Александринской операцией. Едва не отставленный в августе от командования за отход его корпуса, хотя и с боями, от Красника, вызванный тройным превосходством сил неприятеля, он прекрасно зарекомендовал себя в последующих боях, и еще летом 1916 года продолжал командовать своим корпусом. 12-го днем, побывав у него в штабе, расположившемся в помещении сельскохозяйственного института, который еще весь день 11-го и утро 12-го сильно обстреливался австрийской артиллерией и, узнав от него подробности о ходе операций, я прошел к реке, которую австрийцы упорно обстреливали, напрасно нащупывая наш понтонный мост; их шрапнели рвались более чем в полуверсте от него и притом на страшной высоте: это был постоянный недостаток австрийской артиллерии, от которого она не могла избавиться еще летом 1915 г., когда я в последний раз видел ее стрельбу. Зато красновато-малиновое облачко при разрыве австрийских шрапнелей понемногу расплывающееся и переходящее в серое было удивительно красиво, куда красивее разрыва наших или немецких шрапнелей. Один из них мне удалось снять моим кодаком, хотя и попав при этом в близкое соседство с другим разрывом – это было первое мое личное знакомство с боевой обстановкой.

Как раз в эти дни, кажется, 14-го или 15-го, через Н. Александрию проехал принц Александр Петрович Ольденбургский, незадолго до того назначенный Верховным начальником Санитарной и Эвакуационной части. Я уже много говорил выше о разных порядках в санитарном деле, особенно сильных в первые месяцы

войны, они-то и привели к мысли о создании особого управления для объединения всего дела санитарии и эвакуации. На первый взгляд вполне правильная, она оказалась, однако, проведенная в жизнь, страдающей одним крупным недостатком: если выделение той или другой отрасли государственного управления в самостоятельное ведомство возможно в условиях мирного времени, то на театре военных действий, где необходимо единство управляющей воли, оно оказалось неосуществимым. Наделенный чрезвычайными полномочиями, Верховный начальник Санитарной и Эвакуационной части попытался было распоряжаться и в районе фронта, но встретил здесь противодействие. Как мне рассказывал Н.А. Данилов, после одной из таких попыток, ген. Алексеев, тогда главнокомандующий Северо-Западным фронтом, написал принцу категорическое письмо, в котором, указывая на свои права, исключающие применение в подчиненном ему районе других, равных ему по положению, властей, просил впредь воздерживаться от вмешательства в дела его фронта.

После этого случаи такого прямого вмешательства действительно, прекратились. Таким образом, объединение управления санитарной частью сохранились только для тыла, хотя и то более внешнее, ибо дальше вниз все осталось по-старому. Но, кроме этого основного недостатка создания должности Верховного Начальника Санитарной части, по существу её, не меньшим недостатком её явился неудачный выбор лица, занявшего эту должность. Принца Александра Петровича Ольденбургского я знал еще с детства, как попечителя Училища Правоведения, в котором я воспитывался, начиная с 11 лет. Это был человек, в сущности, добрый, но недалекий, страшно увлекающийся, непостоянный и, главное, невероятно горячий и взбалмошный. Все эти качества заслужили ему прозвище «Сумбур-паши», которое удивительно подходило к нему. Уже в Правоведении редкое его посещение обходилось без скандалов: влетая, как ураган, почти всегда на что-нибудь распаляясь, он никогда долго у нас не засиживался, оставляя после себя массу рассказов, иногда возмущенных, но большею частью иронических. В первые времена моего пребывания в Училище принц увлекался зубоврачебным искусством, особенно рваньем зубов; тогда ходил анекдот, что к нему специально для удовлетворения этой его страсти командировали ежедневно страдающих зубной болью солдат Гвардейского корпуса, которым он тогда командовал.

Позднее он стал увлекаться бактериологией, в результате чего получилось на этот раз благое учреждение – институт экс-

периментальной медицины в Петрограде. Прошло еще несколько лет и появилось увлечение Русской Ривьерой и в частности Гаграми. Позднее много говорили про то, что он отделил здесь лучшую часть территории, которая была затем пожалована ему в собственность, и в результате дело общепольное он превратил в источник обогащения для себя. Хотя против этого факта возражать нельзя, однако, мне кажется, что все это было проделано им без всякого сознания некрасивости этого, ибо всю свою жизнь принц не умел считать деньги и очень легко раздавал их без всякой задней мысли и без всякой личной заинтересованности, благодаря чему он оказался задолго до революции совершенно разоренным, и лишь покупка Уделами его образцового имения «Рамонь» спасла его тогда временно от банкротства. Не обошлось без анекдотов и с Гаграми: рассказывали, например, что, устраивая этот курорт, принц обратил особенное внимание на акклиматизирование в нем попугаев и ихневмонов, последних потому, что они, кроме крокодиловых яиц, уничтожают якобы, ядовитых змей. Вполне понятно, что из этой затеи ничего не вышло – попугаев разворовали, а ихневмоны подошли первой же зимой, после чего новых не завели, ибо интерес к ним у принца уже пропал.

Ко времени начала войны принцу было уже около 70 лет, но энергия его оставалась прежней, и с места он стал носиться по всей России, наводя повсюду панику своими скоропалительными и большею частью неосновательными распоряжениями и устранением людей от должности часто по самым вздорным причинам. Так в Смоленске он устранил губернатора Кобеко за то, что тот не знал на память, без справки в ведомости, сколько в губернии лазаретных мест и сколько из них занято в данный момент. В Пятигорске он удалил от должности директора Кавказских Минеральных вод Тиличеева, а когда последнего выбрали председателем Пятигорского комитета Кр. Креста, то предписал Главному Управлению устранить его и отсюда. Между тем, отзывы о Тиличееве все сходятся, что это был лучший за последние 25 лет директор Кавказских Вод; отношение же к нему на месте выразилось в том, что сразу после его устранения Пятигорская городская дума выбрала его городским головой.

В Петербурге, как мне рассказывал председатель областного комитета Союза городов Э.А. Эрштрем, принц собирался объявить выговор городскому голове гр. И.И. Толстому и посадить под арест заведующего пунктом на Варшавском вокзале гласного Маргулиеса за то, что на этом пункте кровати были поставлены в ином порядке, чем тот, который указал принц, но который оказал-

ся неудобным. Правда, все эти казусы имели место уже позднее, но принца Ольденбургского в России знали хорошо, и посему, когда в Н. Александрии, на пункте Шабельского узнали про его приезд, сразу заволновались. Впрочем, все приготовления к встрече ограничились тем, что вокруг пакгауза посыпали желтого песочку и лишний раз везде подмели. Случайно за ½ часа до принца подъехал сюда и я и принял участие в его встрече – все свелось к тому, что он прошел по платформе и по пакгаузу, поглядел через открытую перед ним дверь на работу в перевязочной, ни с кем ни о чем не поговорил, и, сделав лишь одно указание о необходимости надставить одно звено на трубе одной из чугунок, уехал, пробыв в Н. Александрии всего 15 минут; уже стоя на площадке вагона, он поручил мне передать его благодарность всему персоналу пункта за его работу. Вот все результаты его посещения. Между тем, для него потребовался экстренный поезд, пропуск которого задержал прибытие очередного санитарного поезда. Нужно сказать, что вообще у нас экстренным поездом, и притом идущими сплошь да рядом не по графику, и, следовательно, сбивающими всё движение, злоупотребляли до крайности, особенно в первом периоде войны.

После переправы началось быстрое отеснение неприятеля от Вислы. Потерпев неудачу около Варшавы и далее к югу, сплошь до Н. Александрии, он уже не пытался более задерживаться, а постепенно отходил к своим границам. При отходе его он не успел подобрать своих раненых, оставшихся лежать по полям и лесам против Новой Александрии, и посему в течение нескольких следующих дней здесь от времени до времени раздавались одиночные выстрелы; эти забытые несчастные привлекали ими к себе внимание победителей в надежде, что кто-нибудь зайдет, услышав их, в те уединенные места, где они лежали.

Вечером, кажется, 13-го, я проехал с Офросимовым в местечко Зволень, расположенное на полдороге к Радому, где оставалось будто бы немало раненых наших и австрийцев. Туда уже пошел лазарет Мраморного Дворца, по моему совету приобретший себе в Люблине полный обоз, и посему Офросимов захватил с собой лишь два больших бидона щей, табаку и папирос. В Зволене мы, действительно, нашли порядочное число раненых, но почти исключительно австрийцев – русских было всего два, захваченных австрийцами в плен под Ивангородом и теперь безумно обрадованных своим освобождением.

Все эти раненые были собраны в школе и в церкви, где мы и нашли их лежащими в полной темноте; голодных между ними оказалось мало, ибо перед нашим приездом их уже успели накормить.

мать, но на табак они все набросились, ибо уже несколько дней его не имели. Вскоре после нас подошел лазарет Мраморного Дворца, который мы обогнали под самым местечком, и принялся сразу за перевязку раненых, многие из которых оставались уже несколько дней без медицинской помощи. На обратном пути нас остановил на шоссе военный врач вопросом, нет ли у нас с собой перевязочного материала: как оказалось, здесь же рядом в деревне около шоссе кипела работа по перевязке собираемых в лесах австрийцев. Перевязочный пункт был устроен в маленькой халупе, причем операционным столом служили две голые доски, на которые поочередно клади раненых, после перевязки относимых в соседние сараи, где солома предохраняла их от холода. Здесь очень пригодились щи Офросимова.

Так как войска все продвигались вперед, то и штаб армии около 15-го перебрался в Новую Александрию. Здесь же в одном из флигелей, в квартире правителя дел Института, устроилось и наше управление. В свободные минуты я постарался познакомиться с хозяйством Института, и был поражен его убожеством. Наглядность обучения ныне всюду признается основным его положением и даже в маленькой, ныне упраздненной нашей сельскохозяйственной школе родного мне Новгородского земства мы старались ее осуществить возможно шире. Здесь же в одном из первых заведений страны я не нашел ни образцовой пасеки, ни птичника, ни даже свинарника. Вообще все производило впечатление, что обучение студентов велось слишком абстрактно, не сопровождаясь показанием преподаваемого тут же, на практике.

Здание Института при обстреле пострадало, но не сильно, лишь в двух или трех местах были видны пробоины, и притом только одна была произведена тяжелым снарядом; все же службы и хозяйственные постройки Института сохранились совершенно целыми – по-видимому, неприятель их не обстреливал.

Через несколько дней после перехода Вислы нами был занят Радом, куда я на следующее утро и поехал. Шоссе за Зволенем было во многих местах перекопано, мосты сожжены, но наши саперы их уже временно исправили, так что, хотя и медленно, но проехать было возможно. Радом и на этот раз пострадал мало: лишь кое у кого из обывателей немцы забрали теплые вещи, а с кожевенных заводов и с мукомольных мельниц увезли некоторые части, делавшие функционирование их временно невозможным. Зато жестоко была разрушена железнодорожная станция. Здесь было подорвано все, что только возможно, не только водокачка, от которой осталась стоять одна стена, но и все стрелки и даже

сложенный сбоку запас рельс. Интересно, что взрывчатое вещество действовало разрушительно на самом ограниченном расстоянии: например, в рельсах было вырвано в длину всего по 2-3 вершка. Впрочем, все эти повреждения серьезного значения не имели, и уже через несколько дней поезда стали ходить не только до Радома, но и до Скаржиска, т.е. на 40 верст далее. Из Радома я проехал дальше, в местечко Скарышев, где застал штаб Гвардейского корпуса и познакомился с его командиром генералом Безобразовым, очень волновавшимся в этот момент, что не удастся отхватить австрийских обозов, замеченных в значительном количестве около переправы их через реку Каменку – около Вержбника. Вообще неприятель отходил столь быстро, что нагнать его положительно не удавалось. Тут же в штабе мне рассказали, что одна из Измайловских рот попала в засаду и понесла значительные потери. Кстати, в начале войны, неоднократно рассказывали про случаи, когда австрийцы, подняв белый флаг, потом, в нескольких уже шагах, открывали по нашим огонь или бросались на них в контратаку. Мне называли даже фамилии погибших таким образом офицеров-гвардейцев. Понятно, что такое предательское ведение войны страшно возмущало наших, и, если потом австрийцы уже действительно сдавались по-настоящему, то пощады им не бывало.

В Новой Александрии мы не засиделись, и уже 20-го вместе со штабом армии перебрались в Островец, где после долгих хлопот нашли себе помещение в одной из пустых квартир для заводских служащих. Все местечко было в этот момент переполнено ранеными, которых сюда свозили из Опатова, за которым, около деревни Влостова шел трехдневный упорный бой. Австрийцы попытались здесь остановить наш 14-й корпус, но не смогли удержаться и вновь отошли, потеряв часть своей артиллерии и 5000 пленных. Большая часть наших раненых и была двинута из-под Опатова на Островец, где в эти дни громадная работа выпала на долю нашего 2-го Георгиевского подвижного лазарета. Благодаря энергии его персонала, особенно же его старшего врача, отличного хирурга В.А. Бетезтина и старшей сестры М.М. Иолшиной, он проявил исключительную деятельность. Вместо нормальных 30 больных число раненых в нем доходило до 700. Все они были разбросаны по целому ряду помещений: наиболее тяжелые, около 200 человек, в самом лазарете и около него в палатках, более легкие в заводской больнице, где нашему персоналу помогал заводский фельдшер, а ходячие раненые в версте далее, на сахарном заводе.

Так как в военных госпиталях, развернувшихся в Островце, хирургов не было, то всех тяжело раненых они присылали в Георгиевский лазарет, причем В.А. Бетезтину приходилось все время ругаться, ибо часто приносили таких, которым оставалось всего несколько минут жизни. Наши доктора утверждали, что это делалось исключительно в целях понижения процента смертности в отсылавших этих умирающих госпиталях. В виду переполнения всех лечебных заведений, привозившие раненых транспорты в первые дни складывали их куда попало, в частные, подчас оставленные жильцами, квартиры местечка, иногда даже никому не говоря про это. В результате дня через два после нашего приезда два наших санитар-добровольца, осматривая эти квартиры, нашли в одной из них 3-х забытых раненых, которые оставались в ней более 3-х суток без еды и медицинской помощи. Конечно, их сразу перевезли в Георгиевский лазарет, но одному помощь опоздала, и он вскоре умер.

Все затруднения с размещением раненых в Островце и Опатове, где тоже два дня все было переполнено, происходили вследствие бездействия железной дороги, еще не восстановленной после отхода австрийцев, и длинной эвакуационной линии. Кроме того, эвакуация раненых встретила затруднения в наступивших холодах и малом еще количестве одеял и теплых вещей, чтобы покрывать перевозимых. Тогда говорили, что за эти дни замерзли при перевозке двое раненых. Восстановление железной дороги шло с двух сторон: от Островца шла обратная перешивка линии на широкую колею, а от Радома восстановление мостов, а затем замена подорванных рельсов. Между прочим, австрийцы оставили в Островце два своих узкоколейных паровоза; когда наши решили воспользоваться ими, то оказалось, что в топке одного из них были спрятаны взрывчатые вещества, к счастью своевременно обнаруженные.

21-го октября, ровно через месяц после того, как мы уехали из Сандомира, наши войска вновь заняли его, и посему 22-го утром я отправился туда. Опатов, несмотря на многочисленные рассказы очевидцев о том, что он 21-го сентября был чуть ли не целиком уничтожен германской тяжелой артиллерией, оказался почти совершенно неповрежденным, но страшно загрязненным. Нужно сказать, что вообще после ухода австрийских войск везде оставалась большая грязь; можно было подумать, что они нарочно ее разводили, ибо мне приходилось видеть города, оставленные немцами или оставляемые нами и ничего подобного австрийской грязи я в них не видел. В 5 верстах далее большой Властовский свекло-

сахарный завод оказался порядочно поврежденным артиллерией; наоборот, по другую сторону дороги, в усадьбе Карского, в господском доме только были выбиты стекла. Поля около дороги были изрыты траншеями, равно как и на самих полях, валялось еще много австрийских трупов, уборка которых производилась местными крестьянами. Меня заинтересовал один из этих трупов – молодого, крепкого австрийца: он точно сидел в траншее, без всяких внешних повреждений и притом, чего я себе объяснить не могу, с румянцем на щеках и вообще розоватым оттенком кожи. Иллюзия сна была такая полная, что я его даже потрогал, но он оказался застывшим. Тут же около дороги стояли взятые у австрийцев трофеи – легкие и тяжелые орудия и прочее. Еще в нескольких верстах далее в канавах около шоссе и в полях стали попадаться трупы наших солдат, а немного дальше я встретил повозки 7-го передового отряда, разыскивавшие и подбиравшие раненых полков 83-й дивизии, остававшихся без помощи с 19-го числа.

Попав, наконец, уже после полудня в Сандомир, я отправился прямо на нашу бывшую квартиру, в штаб пограничной стражи. Чуть не со слезами встретил нас – я был с Ковалевским – остававшийся здесь сторож здания. Оказывается, что на этот раз австрийцы основательно пограбили частных обывателей и не пожалели даже жалкого имущества сторожа, обобрав его, вплоть до ситцевых платьев его жены. Вся обстановка квартиры была переломана или просто испорчена. Зато оставленное нами громоздкое имущество Кр. Креста осталось нетронутым, только один кипяtilьник был почему-то вытасчен на улицу. Отсюда зашли мы в бригадную церковь, которую нашли оскверненной и до крайности загаженной. Очевидно, австрийцы, которые и католические костелы употребляли под размещение солдат, и нашу церковь тоже использовали для него. Престол был снят с места и стоял на жертвеннике, а на его месте валялись пустые жестянки из-под консервов. Все было застлано соломой, на которую надо было, однако, наступать с опаской, чтобы не попасть в какую-нибудь гадость. Одна из икон была прострелена. Вообще, картина была отвратительная, неприятная даже для безразличного к религии человека.

Из штаба я пошел в женское училище, чтобы узнать о судьбе имущества Нижегородского лазарета. Спокойно пройдя мимо стоявшего у входа часового-ополченца, и найдя сложенными под лестницей складные кровати лазарета, а в помещении аптеки разное другое его имущество, я повернул по коридору в другую сторону. Уже при входе в здание меня поразил отвратительный запах, теперь же я узнал его причину, увидев на полу струйку

жидких испражнений. Вместе с тем, из одной из смежных комнат я услышал тихий говор, почему и вошел в нее. Здесь же на соломе лежало несколько австрийцев, очевидно больных желудочными болезнями – как я решил по виду испражнений – дизентерией; последние переполняли ведро и текли по полу. Пройдя через эту комнату в следующую, я и здесь нашел ту же картину, только среди живых лежало два трупа. Увидев меня, один из больных, громадный черный венгерец вскочил и с диким безумным смехом двинулся на меня, но не смог дойти и сел обратно на свое ложе. В двух комнатах по другую сторону коридора было то же самое; всего в этих 4 комнатах я насчитал 19 живых и 3 умерших. Войдя обратно в коридор, я увидел через стеклянную дверь, выходящую на черную лестницу, лежащего на носилках больного австрийца, глядящего на меня и манящего меня к себе рукою. Только подойдя ближе, я увидел, что это тоже был покойник, застывший с выражением ужаса на лице, с открытыми глазами и с согнутой рукой; налетавшие же порывы ветра, двигавшие волосами, дополняли иллюзию жизни. Ниже его на лестнице в подвал лежали частью на носилках, частью прямо на ступеньках еще семь покойников.

Невольно становилось жутко в этом доме смерти и страданий – покойники и умирающие, и ни одной души, чтобы оказать им помощь. Однако, придя затем во 2-й этаж, я нашел здесь около тяжелобольного австрийского майора сторожа училища и ксендза: оба последние самоотверженно отдали себя уходу за этими брошенными больными, большая часть которых, как оказалось из разговора с ксендзом, страдала не дизентерией, а холерой. Холера перед началом войны была в одном из уездов Волынской губернии, подвергшейся в первые дни военных действий нашествию австрийцев, занесших ее отсюда в свою армию, где она долгое время не прекращалась, и откуда неоднократно, но уже только начиная с ноября, переносилась в наши войска. При выходе из училища меня остановил часовой, спросивший меня, кто я такой и потом добавивший, что собственно в здание это запрещено ходить, ибо в нем лежат заразные больные.

Отправившись далее по городу, я нашел некоторое оживление около городской больницы, где был устроен перевязочный пункт врачами, кажется, Самарского полка. Большинство раненых было, впрочем, 83-й пехотной дивизии; в числе их был и командующий одним из полков ее, тяжело раненый в грудь. Переговорив с ними, я отправился обратно, захватив с собой двух более легкораненых офицеров, которые могли ехать в автомобиле. По дороге мы с Ковалевским прошли еще в сторону от шоссе в

усадебу, где стоял 7-й передовой отряд, все это время работавший с 83-й дивизией и сейчас интенсивно перевозивший её раненых. И здесь оказалось несколько раненых офицеров, которые, также как и все те, с которыми я разговаривал раньше, с глубочайшим негодованием говорили про бой их 83-й дивизии 19-го числа и винули в его неудаче своего дивизионного командира.

За время войны мне пришлось слышать немало рассказов с обвинениями тех или иных генералов, которые оказывались иногда справедливыми, но часто и неосновательными, но ничего подобного рассказам, которые я тогда услышал про генерала Гильчевского, командовавшего этой дивизией, я ни раньше, ни позже не слышал. Не знаю, какова была его роль в Люблинских боях, но только после их окончания, подъехав к группе офицеров одного из полков дивизии, он поздравил их с победой, но прибавил к этому площадное ругательство. По жалобе возмущенных офицеров было произведено следствие, но по определению генерала Безобразова (дивизия была тогда придана Гвардейскому корпусу) дело окончилось объявлением генералу Гильчевскому выговора (этот инцидент был мне рассказан председателем корпусного суда Гвардейского корпуса). Вообще без площадных ругательств Гильчевский не обходился, по-видимому, ни одного дня, особенно, когда выпивал, что тоже бывало с ним очень часто.

Когда началось наше октябрьское наступление, то 18-му корпусу, в который входила 83-я дивизия, было предписано переправиться через Вислу, пользуясь местными средствами, ибо понтонных мостов ему по недостатку их не могло быть предоставлено; тем не менее, Гильчевский, на дивизию которого эта переправа была возложена, исполнил ее блестяще. Кроме нескольких лодок, которые удалось найти у местных обывателей, он использовал плоты, и ночью переправил авангард, с которым отправился и сам. Во главе солдат, сам по грудь в воде, Г. бросился в атаку, и благодаря тому порыву, который он сумел внушить солдатам, австрийцы были смяты, и должны были отойти, оставив около 1500 пленных. Преследуя их, Гильчевский подошел к шоссе Опатов-Сандомир, на линии которого австрийцы попытались, как я уже говорил выше, дать отпор 14-му корпусу, и посему остановились и против Гильчевского. Дело было к вечеру, позиция противника была невыяснена, и посему, как мне рассказал тот раненый полковой командир, которого я видел в Сандомире, на военном совете, созванном Гильчевским, все высказались против немедленной атаки, предлагая произвести ее на следующий день. Тем не менее, Гильчевский, бывший не вполне трезвым, приказал атаковать

уже ночью. Поначалу атака оказалась удачной – фронт австрийцев был прорван, и была захвачена батарея. Однако скоро выяснилось, что наши полки, продвинувшиеся на несколько верст вперед, оказались окруженными: главные силы австрийцев были расположены на двух холмах, между которыми была направлена наша атака, и посему наших стали расстреливать с трех сторон. Пришлось отходить, что часть дивизии и смогла выполнить, хотя и с громадными потерями, многим же это не удалось, и они попали в плен. В одну ночь дивизия совершенно бесполезно потеряла около 6000 человек.*

Через сутки австрийцы отошли уже без боя в виду неудачи под Влостовым, причем всех наших лежащих раненых оставили частью в Сандомире, частью разбросанными по деревням вблизи от поля сражения. Впрочем, и вообще австрийцы, видимо, не справлялись с эвакуацией раненых: например, в Опатове они тоже оставили много раненых, в числе коих были и многие наши раненые, оставленные на поле сражения 20-го октября. Что касается до Гильчевского, то он после этого инцидента был отставлен от должности, и против него было возбуждено следствие, которое, однако, окончилось для него вполне благополучно, ибо весной 1915 г. он уже командовал вновь ополченской бригадой, вскоре превращенной в дивизию в составе той же 9-й армии. Через год под командой все того же Гильчевского эта дивизия блестяще действовала во время Брусиловского наступления в мае 1916 г., причем имя Гильчевского, получившего за эти бои Георгиевский крест, цитировалось с большими похвалами. Беда его была та, что в начале войны он не отказывался от спиртных напитков.**

В Островце мы пробыли очень недолго: армия все продвигалась вперед, и штаб решил двигаться дальше. Однако перед уходом отсюда было необходимо выяснить, куда направить и какое из учреждений Красного Креста, приданных не корпусам, а армии.

* Характерно, что об этой неудаче штаб армии узнал только от меня, и подтвердилась она сперва только данными о составе дивизии перед и после нее. Штаб корпуса или не знал про нее или замолчал ее.

** Кстати, коснусь здесь и генерала Безобразова. В том же романе Сергеева-Ценского он выставлен подлизывающимся придворным, чем он в действительности не был. Наоборот, он был человеком независимым, но командиром он на войне оказался неважным, и о его распоряжениях обычно отзывались с улыбкой уже в первые месяцы войны. Однако человек он был храбрый и подчиненные его любили. Позднее он был назначен командиром особой армейской группы и был смнен только после неудачных боев на Стоходе, в которых он винил великого князя Павла Александровича, наоборот, обвинявшего его самого. Сменили тогда и великого князя.

Генерал Гулевич, к которому я сперва обратился, заверил меня, что к 26-му октября вся линия до Келец будет восстановлена и в соответствии с сим и дал различные указания. Совершенно случайно, сразу после этого я встретил на его прогулке нового генерал-квартирмейстера армии полковника Н.Н. Головина, с которым я пошел, и в разговоре совсем случайно узнал от него, что Гулевич ошибается не менее, чем на неделю и что посему все мои планы приходится менять. При этом мне был дан совет лучше к Гулевичу за сведениями не обращаться, ибо, будучи человеком весьма способным, он вместе с тем не любил заниматься мелочами и, если ему приходилось иметь с ними дело, то часто в них путался.

Я должен здесь остановиться попутно на личности Н.Н. Головина, с которым мне пришлось встречаться в 9-й армии в течение 8-ми месяцев и о котором мне, кроме хорошего ничего сказать не приходится. Выше я уже упоминал о нем, говоря о генерале Янушкевиче, из-за которого он должен был оставить профессию в Военной Академии. В своих лекциях Головин, вразрез с господствующими у нас издавна и считавшимися непоколебимыми положениями, рекомендовал введение у нас ряда новшеств в организации штабной службы, которые он позаимствовал из французской армии. Так как прямое давление на Головина было неудобным, то Янушкевич предпочел обходной путь, а именно – предъявление Головину требования, чтобы он представлял ему, Янушкевичу, на цензуру все свои печатные работы. В ответ на это Головин подал прошение об увольнении от профессуры, и был назначен командиром Финляндского драгунского полка, откуда в первые дни войны был переведен на ту же должность в Гродненский Гусарский полк, а отсюда через два месяца попал в штаб 9-й армии.

Со времени занятия им этой должности я обычно от него и получал все необходимые мне сведения, причем должен отметить, что он удивительно умел это делать, не открывая того, что действительно являлось военным секретом. У нас, к сожалению, в деле хранения военных тайн всегда впадали, как и во многом другом, в крайности: во время японской войны наша безграничная откровенность, слишком поздно понятая, обошлась нам очень и очень дорого, и потому вполне естественно, что теперь были приняты меры к безусловному сохранению тайны. Но, увы, все тайное и теперь очень быстро становилось явным, главным образом, конечно, благодаря нашей распушенности. Раз два видел я, например, одного военного цензора и этого было достаточно, чтобы получить от него на веру несколько его штемпелей на пустые конверты, к чему он только присовокупил «прошу не упоми-

нать в письмах никаких имен». Все переброски войск являлись, конечно, главной военной тайной, но достаточно бывало проехать несколько верст в простых пассажирских поездах, чтобы от попутчиков узнать всю картину расположения или переброски армий. В результате всего этого, как бы секретно что-нибудь не предпринималось, уже в ближайшие дни все эти планы становились известными, особенно начиная с 1916 г., когда для подготовки наступления стали требоваться значительно большие массы артиллерии и всяких боевых запасов и сосредоточить их тайно было совершенно невозможно.

Итак, по совету с Головиным и Энгельке я дал указания, куда какому из учреждений Креста идти и затем следом за штабом армии отправился со своим управлением в Сташов, где мы устроились на квартире у местного аптекаря. Как и все польские маленькие городки, Сташов ничем не отличался, кроме грязи и большого количества евреев. Пробыли мы в нем всего несколько дней, и пребывание наше здесь не отличалось бы ничем от серых дней в других местечках, если бы мы тут не получили первого предупреждения и притом грозного, по части холеры: в течение двух дней заболело ею более 15 солдат одной из хлебопекарен, и один из них умер. Все необходимые меры были приняты, хлебопекарня была закрыта и части, бравшие из нее за последнее время хлеб, были предупреждены, но к счастью все ограничилось этой вспышкой и пока новых случаев более не было. Но этот инцидент, вместе с теми больными, которых я видел в Сандомире, заставили ожидать более серьезных вспышек. В Сташове часть этих больных была принята 2-м Александринским подвижным лазаретом, пришедшим сюда из Опатова. В Сташове я видел в этом лазарете интересного больного, подростка-гимназиста, работавшего в качестве нашего шпиона; по его утверждению, он неоднократно бывал в тылу у австрийцев, а так как он был принят в лазарет из штаба армии, то весьма вероятно, что его утверждения были истинны.

Спрашивается, каким же образом он пробирался и через наши, и через австрийские линии? Тут мы подходим к самому большому вопросу разведки и контрразведки, к своего рода «провокации», о которой всегда так много говорилось в борьбе нашего старого правительства с тайными революционными группами. По-видимому, большинство шпионов работало на два фронта, доставляя сведения и нам, и нашим врагам. Причем задача нашей разведки заключалась в том, чтобы наладить дело так, чтобы шпионы давали неприятелю только те или другие неважные све-

дения, которые им указывались нашим штабом, нам же сообщали все, что они видели или узнавали у неприятеля. Иногда это удавалось, и тогда эти шпионы особенно ценились, иногда же, наоборот, шпион оказывался работающим, главным образом, на противника, и тогда его вешали.

У нас много говорилось про шпионаж местных евреев в пользу неприятеля и про то, что масса их была за это преступление осуждена. И, действительно, уже в 20-х числах октября мне говорили в штабе Гвардейского корпуса, что только в этом корпусе было к тому времени повешено 17 шпионов, сплошь евреев. Их же обвиняли и в умышленной порче наших телеграфов и телефонов, так что для них даже одно время была установлена своего рода повинность по охране телеграфных и телефонных линий, выполнение которой обеспечивалось заложниками, забираемыми из числа наиболее видных местных евреев. Обычно с наступлением вечера по всем дорогам и по полям размещались они группами по 2-3 человека, вооруженные дубинами, и охраняли провода от покушений. Впрочем, как и многое другое, эти измышления продержались недолго, и уже месяца через 2 эти своеобразные караулы исчезли. Как бы то ни было, однако, в армии в то время твердо держалось убеждение, что шпионаж держится, главным образом, евреями, и посему отношение к ним в то время было в ней весьма враждебное.

Разбираясь теперь, когда со времени начала войны прошло уже 4 года, во всех этих обвинениях, я не решусь, однако, так решительно бросить за все эти факты камень в еврейство. Несомненно, что наиболее подходящим для соращения в шпионаж являлся элемент наиболее нуждающийся, а таковым был городской пролетариат, в Польше сплошь еврейский. Притом же это был элемент более развитой и толковый, чем польское крестьянство в массе своей и необразованное, и неразвитое. Этим объясняется, что именно еврейская гольтьба и давала такое количество шпионов, а то отношение к еврейству, которое тогда существовало в России, конечно, не могло повлиять в этом отношении задерживающим образом. Впрочем, для установления истины нужно отметить, что и наши шпионы, или как их официально называли – агенты, тоже почти сплошь набирались из числа евреев: словом, если они служили неприятелю, то служили и нам, не проявляя, таким образом, особенного пристрастия к немцам, а лишь ища возможно большего заработка.

Через несколько дней штаб продвинулся в Буск, куда переехали тогда и мы. Здесь нам отвели большую виллу «Дерслава», слу-

жившую в летнее время пансионом для приезжающих на местный курорт больных. Хотя это было одно из лучших зданий в местечке, однако, на него никто не позарился, ибо большая часть его не отапливалась, почему оно годилось только для такого маленького учреждения, как наше. Благодаря её близости к курорту, мы имели возможность довольно хорошо ознакомиться с последним. В общем, про него следует сказать то же, что и про все другие наши курорты: главным его недостатком являлось, по-видимому, неудовлетворительность, или точнее недостаточность приличных помещений для приезжающих – все то, что мы видели, было весьма мизерно. Что касается до ваннх зданий, то они были невелики, но довольно приличны. В Буске австрийцы пробыли дольше, чем в городах, где мы были раньше, но ни местечко, ни курорт не пострадали. Почему-то исключением явилась квартира директора минеральных вод, из которой, по словам смотрителя курорта, австрийцы порядочно порастаскали всякого добра.

В нескольких верстах за курортом, на берегу Ниды, была расположена усадьба (название её я забыл), где нашей кавалерии удалось окружить партию стрельцов, с которыми они и расправились за ту западню в Кельцах, о которой я говорил выше. Должен сказать, что добраться до Буска нам было с нашими автомобилями нелегко. Хотя от Сташова сюда шло шоссе, но местами оно было испорчено австрийцами, а местами само пришло в такой отчаянный вид, что ехать по нему была пытка. Особенно плоха была дорога между Сташовым и Стопницей, где дорога идет сперва песками, а потом низменной поймой какой-то речки, на которой многочисленные мосты были частью сожжены, частью взорваны австрийцами. Стопница, небольшое еврейское местечко, по грязи своей была достойна занять место рядом с Сташовым и Буском, но только местность здесь была несколько покрасивее.

Из Буска я проехал вперед, в местечко Дзялошицы переговорить о нескольких делах Креста в штабе Гвардейского корпуса. Мне приходилось уже бывать в корпусных штабах весьма громоздких уже с самого начала войны, но то, что я увидел здесь, меня все-таки поразило той массой людей, которая здесь болталась, и для которых подчас создавались специальные должности. Такова была, например, должность особого коменданта «тыла» Гвардейского корпуса, как будто одной должности коменданта корпуса было недостаточно. От строевых офицеров мне не раз приходилось слышать самые нелестные отзывы об этих господах, вплоть до обвинения их в трусости. И, действительно, странно было видеть гвардейских полковников или капитанов, делающими здесь

то, что в других корпусах делали прапорщики запаса. Насколько некоторым было нечего делать, видно хотя бы из того, что про одного из них, кавалергарда Арапова, мне с улыбкой рассказывали, что его специальностью, по-видимому, стало вешать шпионов: «Вот сегодня повесил еще трех». Один из таких полковников, семеновец Назимов, получил в краснокрестных учреждениях прозвище «Сеня-пиши» после того, как он рассказал в одном из наших лазаретов про начало своего корреспондирования в одну из петроградских больших газет: «Знаете, когда меня провожали, то говорили мне – Сеня, пиши, ну вот я и пишу». Не знаю, печаталось ли что из его корреспонденций, но, во всяком случае, весь его облик не внушал доверия к его писательским талантам. Все эти господа, несмотря на то, что они в боях, конечно, не участвовали, были изукрашены боевыми наградами, что вызывало глубокое негодование их товарищей, честно несших службу в строю.

Вообще говоря, в штабе Гвардейского корпуса многие из начальствующих лиц производили в то время весьма печальное впечатление. Командир корпуса генерал-адъютант Безобразов, хороший и честный человек, вероятно, был бы на войне хорошим кавалерийским полковым командиром, но как командир корпуса уже тогда вызывал немало улыбок. Как раз, когда я приехал к нему в Дзялошицы, он с большой горячностью обсуждал, как он на следующий день сам лично во главе нескольких эскадронов своей корпусной кавалерии будет производить усиленную разведку фортов Кракова. Эта нелепая затея не была, однако, осуществлена, ибо штаб армии, который был о ней предупрежден, успел своевременно ее запретить.

Начальником штаба корпуса был в то время граф Ностиц, генерал, хотя и не старый, но уже полурамольный. В управление корпусом он, по-видимому, вмешивался мало, тем более что в это время уже пошли в Петрограде слухи о его жене, обвинявшие ее, как не русскую, в разных неблагоприятных действиях, чуть ли не в шпионаже. Вскоре он оставил должность начальника штаба, и более на фронте, кажется, не фигурировал; по-видимому, слухи про жену сыграли тут роль, хотя суду она предана не была, да, возможно, оснований для этого и не было. Спрашивается, как же при таком начальнике штаба и при ограниченности Безобразова гвардия все-таки могла действовать и притом часто блестяще?

Уже в Ивангороде, где я видел кое-кого из штаба корпуса, тогда там стоявшего, мне говорили, что всем в нем вертит старший адъютант штаба полковник Даманевский. Позднее и в штабе армии мне советовали обращаться по делам именно к Даманевско-

му, несколько раз мне пришлось иметь с ним дело, и я тогда убедился, что это действительно человек способный. В результате сего получилось положение, подобное тому, которое в японскую войну создалось в 4-м Сибирском корпусе, когда адъютант штаба капитан Крымов (в настоящую войну известный кавалерийский генерал) руководил всем корпусом и создал боевую славу его командира, генерала Зарубаева, храброго и порядочного, но не слишком умного генерала. К сожалению, у Даманевского был большой недостаток – слабость к спиртным напиткам; каждый раз, что я его видел, от него пахло вином, а раз я его встретил почти не понимавшим, что ему говорят. Эта его слабость была известна и в штабе армии, так что, например, когда как-то при мне здесь была получена очень резкая по тону телеграмма генерала Безобразова, то Головин очень спокойно заметил только: «Ну, опять Даманевский пьян». Благодаря этой слабости, Даманевский и не удержался в штабе корпуса и не сделал карьеры, на которую по своим способностям мог рассчитывать. Не лучше Безобразова и Ностица оказались и некоторые другие из высших чинов штаба. Начальником артиллерии был герцог Мекленбург-Стрелицкий. Во время оно его и его умершего брата товарищи их по 1-й Гвардейской артиллерийской бригаде прозвали одного «Эзелем» (ослом), а другого «Пуделем». Хотя тот, о котором я говорю, был, кажется, «Пудель», однако, и он не блистал талантами.

Корпусным врачом был лейб-медик Буш, личность в высокой степени зараженная «генералином» и притом ограниченная; в штабе рассказывали, например, что он чуть ли не делал скандалы, если его помещали не в одном доме с Безобразовым. Еще в начале октября мне пришлось получить от него длинейшее письмо в ответ на мою просьбу передавать распоряжения, касающиеся наших учреждений, непосредственно уполномоченному Кр. Креста при корпусе Рахманову. Мое письмо было вызвано тем, что Буш, видя Рахманова каждый день, тем не менее, как будто не желал его признавать, а писал мне. В своем письме Буш, возражая мне, доказывал, что он не мог обращаться к Рахманову, ибо он действовал в интересах раненых (которых, кстати, в этом периоде как раз не было). Все письмо было, очевидно, написано исключительно с целью уколоть меня и доказать мне, что мне интересы раненых безразличны. Мои помощники настаивали, чтобы я ответил Бушу, но я от этого категорически отказался, руководствуясь правилом, что от пререканий с неумным человеком только сам станешь глупее, тем более что Буш все-таки стал с тех пор фактически признавать Рахманова. Посещая наши краснокрестные учреждения,

Буш оценивал их, по-видимому, больше по тому, насколько его встречали почтительно, на медицинскую сторону обращал значительно меньше внимания. К счастью для дела он пробыл в должности недолго и был скоро сменен. В конце 1915 г. я его фамилии уже больше не слышал.

Чтобы не возвращаться к нему, рассказу еще про один инцидент, бывший несколько позднее, в ноябре: во время Ивангородских боев 1-й Московский Александринский лазарет работал не-далеке от линии боев, даже в селении, другой конец которого обстреливался неприятельской артиллерией, но, тем не менее, не ближе, чем в версте от места разрывов. Зная, насколько Лечицкий был строг к награждениям боевыми наградами, и вполне разделяя его взгляды в этом отношении, я и не подумал представлять персонал этого лазарета к георгиевским медалям; тем не менее, это сделал Буш, и Безобразов всем им дал эти медали. Сразу после этого Буш приехал в лазарет и при очень торжественной обстановке стал их раздавать, но вдруг одна из сестер, к всеобщему конфузу, отказалась принять эту медаль, заявив, что недостойна принимать то, что не заслуженно, ибо даже близко к огню лазарет не был. К сожалению, остальной персонал такой щепетильности не проявил.

В Буске казалось, что нам придется пробыть здесь довольно долго, ибо наш штаб считал, что дальнейшее наше движение, при том состоянии тыла, в котором он в то время находился, является невозможным. А так как раньше, чем числу к 13-му ноября нельзя было ожидать восстановления железной дороги до Келец, то передо мной открылась возможность проехать на недельку в Петроград, дабы переговорить в Главном Управлении о целом ряде вопросов. Выехал я 1-го ноября через Кельцы, до которых добрался не без труда, ибо по дороге некоторые мосты были сожжены и еще не вполне восстановлены. И далее до Радона и Варшавы еще везде шла работа как по постройке новых мостов, так и по исправлению шоссе, испорченного отходившими австрийцами.

На полдороге между Кельцами и Радомом, в Шидловце, виднелся у самого шоссе сильно разбитый немецкой артиллерией старый костел этого местечка, один из наиболее достопримечательных всего Царства Польского. Далее по дороге, начиная с Гроец (Гройцы), северная окраина которых была сожжена, уже виднелся след Варшавских боев октября; большая часть деревень была сожжена, и в лесах около дороги виднелось много деревьев, разбитых снарядами. Тем не менее, в общем, однако, местность пострадала не слишком сильно. Жизнь Варшавы с лета мало изме-

нилась, по крайней мере, на мой взгляд, взгляд человека мало ее знающего. Прибавились госпитали, в ресторанах и в «Бристоле» больше стало видно разных тыловых героев, но городская жизнь как будто шла своим чередом. Однако, во всяком случае здесь чувствовалась война, известное напряжение после боев конца сентября и начала октября осталось, об этих боях говорили, и польское общество справедливо гордилось той ролью, которое оно сыграло в деле оказания помощи раненым. И действительно, эвакуация последних была выполнена тогда удачно лишь благодаря помощи местных варшавских добровольцев, многие из которых работали под огнем.

Дорога до Петрограда прошла как обычно, и через день я увидел нашу столицу, живущую, как и в мирное время, своими обычными мелкими сплетнями и дрызгами. Война здесь не сказывалась почти ни в чем, если не считать того, что она давала лишние темы для сплетен и самых фантастических слухов. В общем, мне пришлось наблюдать уже в этот приезд то же самое, что я видел в японскую войну – чем дальше в тыл, тем больше слухов, тем больше уныния и тем больше паники. Во времена японской войны в Манчжурии смеялись, что когда наши войска отходили, хотя и с боем, то в Харбине волновались, в Иркутске укладывались, а в Москве собирались бежать. Теперь на фронте в самые тяжелые минуты бывали бодры, и часто веселы, в близком тылу брюзжали, а в Петрограде предавались панике; при этом об армии, об её нуждах говорили здесь как-то между прочим. Много отдавали времени делу помощи раненым и больным, появились особые анекдотические дамы-утешительницы, но вместе с тем, не чувствовалось, чтобы в дело войны все вкладывали свою душу. А если прибавить к этому, что все увеселительные места были переполнены, что в ресторанах по-прежнему шли кутежи, только, пожалуй, более широкие, с вином или в чайниках, или под видом кваса, то, в общем, картина Петроградской жизни производила на приезжающего с фронта довольно неблагоприятное впечатление.

Дав маленький отчет о моей работе в Главном Управлении Кр. Креста и устроив здесь все, что было необходимо, я навестил кое-кого из моих влиятельных знакомых и из товарищей по Думе, чтобы обратить их внимание на необходимость усиления снабжения армии различными предметами и в первую очередь артиллерийскими снарядами. В первую голову, конечно, именно снарядами, о бережливости в расходовании которых начали твердить из Ставки уже в начале сентября. Однако везде мне давали успокоительные ответы, что все заказы уже даны, что производство

их усиливается и что вскоре, по утверждениям Военного министерства, армия ни в чем нуждаться не будет. С этими успокоительными заверениями я и выехал из Петрограда, пробыв здесь всего меньше недели. Между тем, на нашем фронте, вопреки тем предсказаниям, положившись на которые я уехал из армии, развивались крупные события. Уже на следующий день по приезде в Петроград я прочитал в сообщении штаба Верховного Главнокомандующего, что как раз на участке 9-й армии идут упорные бои и что нами взято здесь несколько тысяч пленных. Сообщения о боях в этом районе появились и в следующие дни, но ясной картина того, что здесь происходило, не получалось.

В Варшаве я нашел всех в ликующем настроении: только что было получено сообщение, что полтора немецких корпуса окружены нашими войсками и должны сдаться. Все это время около Лодзи и Петрокова шли упорные бои. Положение Лодзи, окруженной немцами с трех сторон, было крайне тяжелое, доставлять или вывозить что-либо из нее было возможно лишь по одному шоссе, которое притом еще часто обстреливалось. А.Н. Гучков, как особоуполномоченный в армии, дравшейся в районе Лодзи, чуть не каждый день наезжал в нее, возвращаясь затем на несколько часов в Варшаву, чтобы дать и здесь необходимые указания. Это был период, когда он наиболее энергично и широко работал на фронте и за который наши раненые наиболее ему обязаны.

Спрашивается, что же произошло за время моего отсутствия? Как я уже говорил, с 10 октября началось наше наступление от Вислы на запад, и причем после первых упорных боев неприятель стал отходить, не оказывая почти сопротивления. Причем на левом их фланге наш фронт первоначально был очень растянут, и армии шли уступами, южные все более отставая, ибо исходным их пунктом была линия Вислы и Сана, уклоняющаяся к востоку. При этом 4-я армия, наступавшая севернее 9-й, оказалась впереди, и 9-я как бы явилась её резервом, вследствие чего пришлось войска 4-й армии несколько продвинуть севернее. В общем, в этом районе войск оказалось даже больше, чем было нужно. Наоборот, далее к северу, на участках 5-й и 2-й армий войскам пришлось растянуться более широко, ввиду чего, когда неприятель, успевший подтянуть резерв и перебросить сюда войска с других фронтов, перешел в контрнаступление, то войск здесь оказалось мало и нам пришлось опять отходить.

Началось это встречное наступление тогда, когда эти наши армии подошли почти что к немецкой границе и когда в одном месте наши кавалерийские разъезды даже перешли через нее и за-

хватали одну из немецких железнодорожных станций. Центром боев явилась при этом Лодзь, в которую отошли штабы обеих армий, 2-й и 5-й. Направив главный удар к северу от неё, немцы смогли вдавить здесь наш фронт глубоко внутрь, а с другой стороны, с юга они продвинулись почти до Петрокова, так что Лодзь оказалась в мешке с очень узким выходом из него на юго-востоке, и положение её оказалось крайне опасным. Однако в это время стала подходить переброшенная с более северной части фронта 1-я армия, и ударила с севера на немцев, обходивших Лодзь также с севера. После упорных боев их удалось отбросить, и наиболее выдвинувшаяся их часть, около корпуса или полутора, была почти совершенно окружена, так что в тылу у неё оставалась лишь узенькая полоска около трех верст, по которой они могли отойти и которая на несколько часов была совершенно перерезана. По-видимому, и сами немцы сознавали неизбежность их гибели (это подтверждается и немецкими официальными изданиями), по крайней мере, бывший при этих войсках один из сыновей Вильгельма улетел на аэроплане.

И вот произошло что-то и до сих пор не вполне ясное, в результате чего немцы спокойно вышли из этого мешка. Виновником этого считали Ренненкампфа, очень неудачно распорядившегося, кричали даже об измене. Во всяком случае, Ренненкампф именно после этой операции был окончательно удален с фронта, хотя, как я уже писал, не за это, а за свои денежные операции. Мне пришлось в то время слышать рассказ одного офицера, который передавал мне, как на глазах у него немцы спокойно уходили из мешка и его части ничем не могли воспрепятствовать этому, в виду полного исчерпания снарядов и лишь ничтожного остатка патронов.

Далее к югу, в 4-й армии, все атаки неприятеля были свободно отражены и армия за это время, по-видимому, даже продвинулась вперед. Наконец, в 9-й армии опять положение оказалось серьезным. Я уже говорил выше о том, как в октябре шло её наступление. После моего отъезда расположение корпусов несколько изменилось: гвардия оставалась на правом фланге армии; слева к ней примыкал 25-й корпус левым своим флангом, упиравшийся в Вислу. 14-й корпус сперва отошел в резерв, а затем был переведен, когда начались новые бои, на правый фланг армии, а 18-й корпус продолжал наступать по правому берегу Вислы, но не вровень с 25-м, а несколько отставая от него, примерно верст на 20. Левее его шла 3-я армия, опять же несколько отставая от него. Когда началось наступление неприятеля, то наряду с упорными атаками

на фронте гвардии и 14-го корпуса, он попытался использовать тот промежуток, который оставался между 18-м и 25-м корпусами, сосредоточив большие силы на левом фланге последнего с тем, чтобы, опрокинув его, выйти в тыл армии.

Однако, вся эта операция австрийцам, бывшим против 9-й армии, не удалась; два дня они усиленно атаковали её левый фланг, но, понеся громадные потери, ничего не добились, а на третий день наши корпуса усиленные 18-м корпусом, переведенным теперь на левый берег Вислы, сами перешли в контратаку и отбросили неприятеля за его первоначальную линию. Однако атака нами австрийских позиций на горе около Скалы успеха не имела, и наша армия здесь остановилась. В этих боях и у нас были большие потери: например, 75-я дивизия, стоявшая на левом фланге армии и принявшая первый удар австрийцев, оказалась после этих боев в составе всего 1700 человек. Правда, часть дивизии была захвачена в плен, но масса погибла. Большие потери были и в 25-м корпусе. В гвардии потери были весьма неравномерны; особенно сильно пострадал Л. Гв. Гренадерский полк. Не знаю, чья была в том вина, но с ним произошел весьма печальный случай: взяв в плен во время атаки около полутора тысяч австрийцев, часть этого полка, оставив при них всего несколько караульных, продолжала двигаться дальше. Воспользовавшись малочисленностью караула, австрийцы набросились на него, разоружили и разобрали свое оружие, которое оставалось лежать тут же рядом в куче, открыли огонь в тыл значительно продвинувшимся уже вперед гренадерам, которые, очутившись между двух огней, понесли большие потери.

Все раненые во время этих боев стекались как из 9-й армии, так частью и из 4-й в Кельцы, до которых от линии фронта было в среднем около 90 верст. Еще до отъезда моего в Петроград шли разговоры о передаче Келец в район 9-й армии, однако ввиду несогласия на это штаба 4-й армии, эта передача не состоялась. В результате этот город оказался обслуженным в лечебном отношении гораздо слабее, чем следовало бы при том громадном наплыве раненых, который имел место. Пришлось наскоро занимать разные помещения, застилать их соломой и размещать здесь раненых, которых подвозили на различных обозах, измученных и полузамерзших, ибо как раз во время начала боев температура сильно упала, и мороз доходил до 10 градусов. И тем не менее, часто приходилось часа два-три возить их по городу, пока находили место, куда бы положить этих несчастных раненых. Мало было

и медицинского персонала, которому приходилось работать без всякого отдыха.

Главная работа по организации здесь краснокрестной медицинской помощи выпала на долю особоуполномоченного при 4-й армии Н.И. Антонова и его помощника Л.В. Голубева, которые на лошадях перевезли сюда несколько, так называемых, подвижных этапных лазаретов, оказавших здесь громадную пользу. Как только была, наконец, восстановлена железная дорога до Келец, сюда продвинулись отряды Шабельского и Офросимова, и несколько позднее Нижегородский лазарет. Первый из них принял на себя работу в здании католической духовной семинарии, сплошь заполненном ранеными, которые первым делом поступали именно сюда, так как это здание было расположено у въезда в город со стороны фронта. И нужно отдать справедливость всему персоналу отряда, что он работал великолепно. Отряд Офросимова, связанный с рельсовым путем, начал интенсивно работать на станции железной дороги, совершенно разрушенной и лишенной всяких удобств. Наконец, Нижегородский лазарет в первые дни работал только в качестве перевязочного пункта за отсутствием подходящего помещения. Начало движения по железной дороге несколько облегчило положение в городе, ибо с первым же обратным порожним составом удалось отправить в тыл всех ходящих и легкораненых. Однако и после этого в городе оставалось все время около 6-7 тысяч более серьезно раненых, из числа коих удавалось в день вывозить в среднем всего около 1000 человек. Нужно сказать, что благодаря отдалению армии от железной дороги, снабжение их явилось крайне затруднительным, и в самый решающий момент боев обе армии – и 9-я и 4-я – оказались без снарядов. Поэтому с первыми же поездами в Кельцы начали спешно доставлять снаряды и патроны, и отсюда отправляли их на всех имевшихся автомобилях – и грузовых, и легковых – в войска. Однако, в этой спешке станцию Кельцы, недостаточно еще благоустроенную, загрузили подвижным составом, и какая бы то ни было работа на ней стала затруднительной. Лишь через 10 дней все пришло в норму, пока же наладить надлежащим образом эвакуацию раненых не удавалось, несмотря на все старания Голубева.

В Кельцах впервые мне пришлось услышать тогда про поезд Пуришкевича. На него жаловались в то время железнодорожники, которых он прямо терроризировал, требуя и добиваясь пропуска своего поезда туда, куда было необходимо доставить сперва разное, чисто военное снаряжение. В тот раз я Пуришкевича не видел, но позднее я встречал его на фронте часто. На западном

фронте в 1916 г. у него было уже несколько поездов, в которых у него была столовая для офицеров и для солдат и производилась раздача необходимых и тем и другим предметов. Офицерская столовая была обставлена у него прекрасно, но в солдатских кормили очень посредственно. Большая часть раздаваемого получалась Пуришкевичем из складов Кр. Креста, откуда получал он и часть денежных средств на содержание поездов, но считаться с Кр. Крестом не хотел и отчеты сдавал крайне неаккуратно, из-за чего у него было немало столкновений с представителем Гос. Контроля при Кр. Кресте Северо-Западного фронта А.В. Татариновым, очень милым, но также очень ограниченным человеком, в отношении которого Пуришкевич придумывал постоянно более или менее остроумные эпиграммы и выходки. Медицинская часть у Пуришкевича была поставлена слабо: «старшим врачом» отрядов яркого антисемита Пуришкевича был еврей С.С. Лазоверт, студент 3-го или 4-го курса, получивший, вопреки статуту, 3 Георгиевских креста и несколько боевых офицерских наград. Обращаясь с ним Пуришкевич невероятно, часто ругал, не стесняясь в выражениях, что тот спокойно переносил. Повсюду Пуришкевич возил с собой автомобиль, на котором мчался, как сумасшедший, постоянно давя людей и относясь к этому совершенно безразлично. Как-то он заявил в Минске, что выгоняет Лазоверта, а на следующий день его простил, говоря, что тот очень плакал, а затем, кроме того, «он вчера на автомобиле жида раздавил».

Из Келец через день по приезде я поехал в свое Управление в город Мехов. Все это время стояли морозы, и дорога была легкая, но отсутствие железнодорожного сообщения очень сказывалось на всяком снабжении. Восстановлено оно было только к 20-му ноября, а туннель за Меховым, взорванный австрийцами при их отходе, был расчищен только ко дню нашего обратного отхода на Ниду. Кроме главного шоссе Кельцы-Мехов было построено несколько поперечных второстепенных шоссе, но все, вообще хорошие здесь грунтовые дороги были быстро разбиты, и в теплую погоду проезд по ним стал очень трудным. В Мехове нашел я мое Управление отдохнувшим от усиленной работы после первых боев под Краковом. Когда 9-я армия подошла к этой крепости, то австрийцы, быстро собрав сюда, благодаря очень развитой железнодорожной сети, значительные силы, перешли в контрнаступление против 14-го корпуса и Гвардейского. 25-й корпус был атакован одновременно и с фронта и с левого фланга из-за Вислы.

Пришлось ему очень туго, но вышел он из этих затруднений с честью. Очень тогда хвалили спокойствие его командира генера-

ла Рагозы и начальника штаба Юнакова. Остававшийся за Вислой 18-й корпус был спешно оттуда переведен на левый её берег и стал между гвардией и 25-м корпусом. После упорных боев удалось отбить атаки неприятеля и гвардии, и 18-му корпусу, однако, когда они попытались продвинуться и оттеснить неприятеля, то и им это не удалось. Особенно упорны были бои около местечка Скалы; потом здесь около месяца стояла 1-я Гвардейская пехотная дивизия, все время неся потери, ибо благодаря каменистому грунту не удавалось выкопать сколько-нибудь приличных окопов. Во время этих боев гвардия понесла очень тяжелые потери: в Лейб-гвардии Гренадерском полку в строю осталось всего 6 офицеров. Выше тоже я упоминал, говоря про бой при Каушене, о том, что в гвардейской кавалерии многие полковые командиры оказались никуда не годными; в гвардейской пехоте положение оказалось иным, например, после боев под Люблиным и Краковым мне упоминали только одного командира Семеновского полка генерала Эттера, оказавшегося не на высоте положения – остальные и в смысле распорядительности и личной храбрости проявили себя прекрасно.

Вполне понятно, что за Краковские бои наплыв раненых был громадный, однако, положение на фронте было, пожалуй, еще более тяжелым, чем в тылу, в Кельцах. Из краснокрестных учреждений поспели за войсками кроме передовых отрядов только подвижные лазареты, из которых мне пять удалось к тому времени поставить на колеса. Этого было, конечно недостаточно, и работа, выпавшая на них, была явно им непосильна, тем более что помещения им были отведены в Мехове ужасающие, кроме одного, занявшего какую-то небольшую больницу, кажется, заводскую. Управление мое заняло две комнаты в квартире трактирщика, над самым трактиром, во время боев в помещении трактира и еще в одном доме был устроен Ковалевским питательный пункт, на котором работал и весь прочий персонал Управления.

После боев в нашем трактире мы устроили своего рода ночлежку, в которой часто останавливались проезжающие через Мехов военные. У хозяина нашего трактира оставался под домом запечатанный склад вина, которое он, однако, как-то оттуда доставал и продавал всем желающим; и мы покупали у него прекрасное сухое венгерское вино. Потом поставили у нас при складе охрану из полицейских, но все свелось к тому, что очередной стражник получал бутылку вина, и торговля шла по-прежнему. Вообще, хотя торговля спиртными напитками и была запрещена, но достать вино и спирт было возможно везде. В кавалерии в обо-

зах спирт выписывался, например, ветеринарами на «спиртовые компрессы» лошадям. Краснокрестные учреждения оплачивали многие любезности (особенно на железных дорогах) спиртом или вином. Последнее, да и водка, подавалось везде – давали его за Царским столом в Ставке, пили его в штабе 9-й армии, попадались иногда и пьяные солдаты. В штабе 9-й армии первые месяцы обедали и ужинали все вместе во главе с генералом Лечицким. Еда была очень простая, общего вина и водки не было, но иногда у молодежи появлялось вино; пил последнее и полковник Головин. Лечицкий смотрел на это не сочувственно, сам не пил, но другим пить не запрещал. Вообще на фронте пьянства я в то время, однако, не видал, да и отдельные пьяные почти не попадались. Пили лишнее, пожалуй, в одном штабе Гвардейского корпуса, где генерал Безобразов смотрел на это сквозь пальцы. Полковник Даманевский, о котором я уже упоминал выше, напивался, как мне говорили, почти каждый день.

За время нашей стоянки в Мехове, продолжавшейся до 2-го декабря, железнодорожное движение открылось, как я уже говорил, почти до линии фронта, раненых же и больных стали грузить в поезда в Андрееве, на полдороге до Келец. Поэтому я перевел сюда один из Московских подвижных лазаретов. Городишко Андреев был прескверный, почему помещение лазарету отвели очень неважное, а наплыв раненых и особенно больных сразу начался очень большой. Переполнение получилось страшное, и большинство больных лежало на соломе. Здесь, в Андрееве, стоял одно время отряд Шабельского, в котором я встретил генерала Ф.Ф. Трепова, приехавшего по поручению принца Ольденбургского ознакомиться с эвакуацией раненых. Меня поразило, как этот сановник (в то время член Гос. Совета, а ранее Киевский генерал-губернатор), бывший в японскую войну начальником Санитарной части главнокомандующего, разменивался на мелочи. Обратив внимание на способ погрузки раненых в вагоны, он стал сам обучать ему санитаров. Впрочем, это, кажется, был его конек; вообще же этот Трепов был очень милый и порядочный человек, которого в японскую войну все любили.

Из Мехова я часто ездил осматривать наши лечебные заведения, расположенные большей частью непосредственно за войсками. Остались у меня в памяти помещения лазарета Мраморного Дворца в фольварке, верстах в 8 в тылу от Вольбром. Как-то, сидя в уютной столовой лазарета и мирно беседуя с персоналом, я услышал беготню и вызов сестер и врачей: с позиции привезли штабс-капитана Преображенского полка С.Е. Бюцова с про-

стреленным горлом. Вскоре я услышал за стеной в перевязочной его хрип. Когда отходили, Бюцова на руках донесли до Мехова, дальше повезли его на удобном автомобиле до Келец, но, тем не менее, спасти его не удалось, и в поезде, недалеко от Петрограда, он умер. Старшей сестрой лазарета была В.Г. Масленникова, сердечный человек и отличная работница.* Старшим врачом отряда был недурной хирург д-р Шарецкий.

Немного дальше впереди расположился штаб 1-й Гвардейской пехотной дивизии, где я навестил её начальника ген. Ольховского, которого я раньше встречал еще в Гельсингфорсе; знакомым моим был и его начальник штаба полковник Рыльский, тоже служивший ранее в Гельсингфорсе. Еще дальше верстах в 4-х по шоссе стоял наш 3-й передовой отряд, расположенный уже в полосе ружейного огня. Стать где-нибудь в более укрытом месте ему было невозможно за отсутствием другого помещения. В этом отряде первые месяцы все происходили разные истории и смены. Первый начальник его – поляк, кажется, Ленский, работавший в Кр. Кресте уже в японскую войну, быстро ушел, не освоившись с условиями работы в передовой линии. Его заменил его помощник Прозоров, сын члена Думы, неврастеник, хотя и очень милый, сбежавший уже в октябре. А затем во главе его стал очень талантливый молодой человек – Соколовский, прекрасный музыкант, ученик, кажется, Римского-Корсакова. Распорядительный и храбрый, он держал отряд в большом порядке. Старшим врачом отряда был д-р Таиров, кажется, эсер, очень открыто проявлявший свой взгляды, совершенно не гармонизировавшие с настроением, как прочего персонала отряда, так и офицерства гвардии, при которой этот отряд работал, почему и пришлось перевести его на другую тыловую должность. Еще раньше Таирова по требованию военных властей мне пришлось отчислить от отряда, пробывшего в нем недели две, поляка, очень угрюмого и молчаливого, кажется, родственника первого начальника отряда Ленского. Его заподозрили в шпионаже в пользу немцев, ибо в числе его родных были какие-то пруссаки.

Впереди 3-го отряда в Вольброме на резиновой фабрике стоял штаб и собрание Егерского полка, куда я дважды ходил. Оба раза было тихо, и только изредка посвистывали пули. В первый

* В эти дни она познакомилась, и в 1915 году стала невестой брата этого Бюцова – Сергея, тоже преображенца. Уже был назначен день их свадьбы, Бюцов должен был ехать для этого в отпуск, но накануне отъезда был убит наповал во время Холмских боев. Впоследствии, в 1916 году Масленникова ездила в Австрию на осмотр лагерей для наших военнопленных.

раз я навел на моих знакомых егерей; один из них, полковник Квицинский при мне получил приказ выступить с батальоном на позицию, и я был свидетелем, как в минуту он собрался, наскоро пожал руки остающимся и бодро пошел к батальону. Одновременно с этим открыла огонь стоявшая немного сзади наша батарея, снаряды которой, уныло свистя, удалялись над нашими головами. Во второй раз я был в Вольброме с профессором И.П. Алексинским, заведующим медицинской частью Управления Главноуполномоченного Красного Креста Юго-Западного фронта, приехавшим ознакомиться с положением в 9-й армии. В течение двух месяцев я просил убрать от меня трех старших врачей и, по-видимому, это породило у Алексинского некоторые сомнения в отношении моей деятельности, проверить которую он и приехал. Одну из ночей мы провели в 3-м отряде, а рано утром пошли в околоток Егерского полка. Алексинский посмотрел его, а я постоял при отпевании двух убитых за ночь солдат-егерей. Быстро это на войне делалось. Во время наших объездов краснокрестных учреждений мы разговорились с Иваном Павловичем о его двоюродном брате, тогда известном революционере Г.А. Алексинском. По словам Ивана Павловича, его родственник в университете был правым, затем стал левым; однако, при неуравновешенности Григория Алексеевича, Иван Павлович предсказывал его новый переход вправо, в чем, как известно, не ошибся. Не предсказал только И.П. своего превращения из председателя Центрального комитета народно-социалистической партии в крайнего монархиста и сотрудника А.Ф. Трепова и А.Н. Крупенского.

Ко времени приезда в Мехов Алексинского я только что урегулировал положение в другом из бывших в 9-й армии Московских Александринских подвижных лазаретах. Старший врач – фамилии его не помню – увлекся одной из младших сестер (военного времени), девицей крайне легкомысленной, и подпал всецело под её влияние. В лазарете образовалось два лагеря (весь прочий персонал образовал другой лагерь), все время враждовавших. Сверх всего старший врач оказался и нераспорядительным, и понятно, что лазарет при нем скоро стал пятном на работе Кр. Креста. Я был вынужден временно устранить его от должности и предложил ему сдать ее младшему врачу. Тут выяснилось, что ко всему прочему, у него присоединилась и растрата, кажется, 3000 р., истраченных им на его возлюбленную. После долгих разговоров со слезами и уверениями в неизбежном самоубийстве, он уехал в Москву, откуда сразу возместил растроченные деньги. Сбитая им с толку сестра, была лишена общиною этого звания. Это был

первый случай кары, наложенной на сестру по моему настоянию; к сожалению, строгое отношение к сестрам было явлением редким – наоборот, обычным было чрезмерно снисходительное отношение к сестрам всякого рода военного начальства, усиленно за этими сестрами ухаживавшими.

Не всегда удавалось пресечь возникавший соблазн даже в краснокрестных учреждениях, а в военных, где наш надзор был слабее, это явление было постоянным. Впрочем, пока на фронте не было сестер Земского Союза, поведение сестер не бросалось в глаза, но земские сестры сразу принесли с собой особый пошиб. В первое время мне удавалось запрещать езду сестер верхом, катанье с офицерами на автомобилях, но позднее сверх этого появилось посещение ресторанов, а еще дальше и романы. К сожалению, при массовом наборе новых сестер, проходящих краткосрочные курсы, строго проконтролировать еще на курсах их моральную сторону не всегда удавалось, и в результате поведение их вблизи от фронта подчас заставляло желать лучшего.

В Мехове появилась, между прочим, в форме сестры одна оригинальная особа, носившая солдатскую шинель; ее муж был офицером Л.-Гв. Московского полка, правда, женившимся на ней, как я позднее узнал, уже после мобилизации. Часто она проводила время в траншеях, снимая только тогда косынку сестры. Видная красивая женщина, она невольно останавливала на себе внимание. Мне пришлось просить ее оставить фронт. Так как в это время гвардия уходила на отдых, то она спокойно подчинилась моему распоряжению, но потом, по-видимому, вновь с гвардией вернулась в полосу боевых действий. Летом 1916 г. мне пришлось прочесть в газете заметку про её любовную драму, закончившуюся тем, что её муж её убил. Если это была особа только неуравновешенная и несколько свободных нравов, то в этом же периоде появились на фронте уже и проститутки, часть которых тоже надевали сестринскую форму. Проникали эти особы, благодаря своему обаянию, до передовых линий и вполне понятно, что своим поведением не способствовали поднятию престижа сестер. Уже в Мехове я несколько раз обращаюсь к коменданту с просьбой снять форму с одной такой особы, но, увы, напрасно, ибо с нею сошелся кто-то из штабных офицеров, у которого она на время пряталась, а под конец поступила под видом сестры в холерное отделение местной больницы и оставалась там до самого нашего отхода от Мехова.

Выше я упоминал про вспышку в Сташове, в хлебопекарне, холерных заболеваний. После этого в нашем районе холера дер-

жалась все время до января, появилась она вновь в войсках и летом 1915 г.; по временам получались крупные вспышки её, но осенью 1914 г. заболевания носили, большей частью, единичный характер. Так было и в Мехове, где в больнице набралось понемногу ко времени нашего отхода до 20 больных. Не помню точно, когда появились в армии впервые сыпной и возвратный тифы; в Мехове их еще не было, но и позднее, за первые годы войны обе эти болезни широкого распространения не получили. Уже весной 1915 г. в 9-й армии в Галиции было несколько десятков случаев сыпного тифа; по-видимому, появился он от местных русских горцев-крестьян. Мне говорил тогда Калушский уездный врач, что среди них сыпной тиф не переводился никогда. Однако у этих галичан, как и в армии, смертность от этой болезни была очень невысокая – в то время около 3%. В то время организмы были еще не истощены и не истрепаны и лучше справлялись с этой заразой, ставшей таким бичом во время гражданской войны.

Из других поездок помню посещения штаба 25-го корпуса. Он был расположен в имении неких Гальперн, родственников семьи Герард, где я встречал двух из Гальпернов. Прекрасное их имение оставалось в то время целым, вероятно потому, что Гальперн всё время никуда не уезжал. Вместе с высшими чинами штаба и я позавтракал у Гальперна. Странно было сидеть в нескольких верстах от линии огня в прекрасной столовой за нарядным столом. Кажется, даже дворецкий был во фраке.

За время стоянки нашей в Мехове появились в нем, в армии, два новых больших краснокрестных отряда – чисто краснокрестный, вел. княгини Ксении Александровны с очень светским подбором сестер, впрочем, все время отлично работавших, другой – «под-флажный», Союза Городов. Про них мне ничего, кроме хорошего, сказать не приходится. Во главе первого стоял управляющий Двора вел. князя Александра Михайловича – В.А. Шателен. Бывший моряк, он ввел в отряде чисто военные порядки, производившие в краснокрестных учреждениях несколько смешное впечатление. Когда я про это сказал Шателену, он на меня сперва обиделся, но, тем не менее, понемногу кое от чего отказался. Кстати, я себя чувствовал первое время преглупо в передовых отрядах, в которых часто по приезде моем команду выстраивали, мне рапортовали, и я должен был с ней здороваться; не быв никогда военным, я больше всего боялся тут попасть впросак. Понемногу, однако, я эту премудрость постиг, и потом церемонии эти проходили благополучно, а кроме того, в отрядах, где я уже раньше был, я везде просил мне этих парадов не устраивать. Очень глупо

чувствовал я себя также, когда два наших санитаря, кажется, еще в Сташове, основательно напились и наскандалили. Можно было или сдать их коменданту для отправления их в строй, но вина их была для этого не достаточно серьезна, или подвергнуть взысканию моей властью. После совещания с военным начальством я поставил обоих виновных под ружье – наказание, о котором я до того и понятия не имел.

Во главе отряда Союза Городов стоял бывший товарищ председателя Гос. Думы А.И. Коновалов, с которым у меня лично всегда были хорошие отношения; и тут мы встретились с ним очень дружелюбно. Военного в Александре Ивановиче не было ничего, и поэтому меня несколько не удивило, когда я услышал через несколько дней юмористический рассказ его подчиненных, как он растерялся, когда в распоряжение отряда немецкий аэроплан бросил бомбу, впрочем, вреда не наделавшую. Наряду с этой нервностью А.И. любил носиться с дикой быстротой на автомобиле. Позднее он предложил мне как-то проехать из Келец в Варшаву на его автомобиле: была гололедица, и на перегоне, в 96 верст от Радома до Варшавы автомобиль три раза делал полные повороты (de'garage'i), причем, первый раз мы ударились в встречную подводу, во второй – въехали в канаву, а в третий – на тротуар предместья Варшавы. Несмотря на это, быстроту хода мы не замедлили, а Коновалов только посмеивался над моими опасениями.

За время пребывания в Мехове мне пришлось откомандировать от Управления в тыл присланного мне из Главного Управления в мое распоряжение помимо всякого запроса о моем согласии некоего Кана, молодого человека, еврея, как оказалось родственника А.Д. Чаманского. Положение в армии евреев вообще было тогда нелегким, а малейшая их бестактность делала его прямо невозможным. Как раз Кан оказался из последнего разряда – сперва по его просьбе я отправил его в 3-й передовой отряд, но оттуда его потребовало убрать военное начальство, заподозривши в нем шпиона. В Управлении он не ладил с другими моими сослуживцами. Наконец, не больше успеха имел он и в отделении склада, которое я к тому времени сформировал. Пришлось отчислить его в тыл, где я и потерял его из вида, пока не встретил его вновь в Париже, где он был, по его словам, журналистом.

Кстати, отношение к евреям-врачам было совсем иное, чем к административному персоналу Красного Креста. В последнем, если видели еврея, то сразу видели в нем уклоняющегося от строя, если не шпиона, и требовали его удаления. В 4-й армии служил в Кр. Кресте некий Гиршфельд, сын известного Харьковского оку-

листа и его жены кн. Кудашевой. Это был молодой человек, очень скромный и отличный работник, рвавшийся работать под огнем, и неоднократно лично выносивший из линии огня раненых. И, тем не менее, его не раз подозревали в шпионаже, и Н.И. Антонову приходилось постоянно заступаться за него, доказывая, что он русский душой, православный – обращали внимание исключительно на еврейский тип Гиршфельда, а остальное было безразлично.

Последние три недели ноября в 9-й армии прошли сравнительно спокойно, но в соседних армиях продолжались упорные бои; левее нас 3-я армия, продвигаясь с боями, дошла тоже до укреплений Кракова и здесь остановилась. Правее все продолжались упорные бои в районе Лодзи и севернее её. Уже около 20-го ноября в Ставке появился план несколько отвести войска назад, но возражения против этого со стороны Главнокомандующего фронтом заставили временно Ставку не приводить его в исполнение. Тем не менее, штаб армии был предупрежден об этом плане, и мне было сказано подготовиться к эвакуации. Поэтому, когда, если не ошибаюсь, 30-го ноября я, сидя у генерала Гүлевича, был свидетелем получения им директивы об отходе на линию р. Ниды, причем начало отхода было назначено в ночь на 2-е декабря, то меня это распоряжение не застало врасплох. Вопрос был исключительно в эвакуации раненых и больных, но и он разрешался благополучно.

К сожалению, однако, я передал сведения об отходе во все наши учреждения, кроме состоявших при 18-м корпусе, надеясь на добрые отношения со штабом его уполномоченного Гросмана, всегда бывшего, благодаря им, своевременно обо всем осведомленным. Однако, на этот раз про Гросмана в штабе забыли, и только в полдень 1-го он узнал, что лазарет должен вечером сняться. Пришлось на подводах лазаретов сразу вести больных и раненых в Мехов за 20 верст и оттуда возвращаться немедленно за имуществом и персоналом. Благодаря этому, а также доставке в Мехов раненых и больных последнего дня, здесь набралось около сотни подлежащих эвакуации при полном отсутствии каких бы то ни было транспортных средств. Штаб уходил из Мехова в середине дня, но я успел их перехватить и получить обещание прислать за больными особый транспорт. С уходом штаба, как и полагается, Мехов опустел; наступила ночь, но транспортов все не было. Около полуночи пришёл штаб 2-й Гвардейской пехотной дивизии, но и начальник её генерал Драгомиров не мог мне помочь в эвакуации. Вскоре затем снялся телеграф штаба армии, и я остался окончательно без связи со штабом. Под утро я решил

сам ехать разыскивать транспорт и встретил его еще верстах в 25 от Мехова. Так как, однако, отход наш замедлился, то цепи наши прошли через Мехов только около 6 часов вечера, и транспорт этот успел забрать всех, подлежащих эвакуации. В Мехове оставлены были одни холерные больные, дабы не распространять ещё более заразу. Как потом выяснилось, начальник транспорта, которому было приказано спешить во всю в Мехов, вместо этого, выйдя из Андреева, стал на ночлег и уже только под утро его поднял специально посланный на его розыски офицер санитарного отдела штаба армии.

Самый отход войск происходил совершенно спокойно – австрийцы его сперва не заметили, и только утром, 3-го, начали свое наступление. Однако во второй половине ноября погода была мягкая, часто шли дожди и дороги разгрязнило очень сильно; вследствие этого в некоторых частях обозы не могли вывезти всех своих грузов и пришлось кое-что бросить. Местами закопали часть снарядов, ибо переутомленные лошади не вывозили зарядных ящиков. Впервые за время этого отхода наблюдалось много печальных явлений, что отдельные солдаты, отставая от своих частей, заходили в избы, и здесь дожидались прихода неприятеля, чтобы ему сдаться. Пришлось штабу послать кавалерию собирать этих отсталых и гнать их за армией. К счастью, неприятель, испытывая те же затруднения от бездорожья, нас не преследовал, и мы отошли без всяких боев, и 4-го декабря заняли позиции по реке Нида, после чего и началось наше Келецкое 2 ½-месячное сидение, однообразное и покойное. Боевых действий это время почти не было, и бороться Кр. Кресту приходилось больше с различными заболеваниями.

9-я армия после отхода на Ниду была сокращена до двух корпусов. Гвардия ушла на отдых к Ивангороду, а 14-й корпус был передан в 4-ю армию. Из двух остальных корпусов 25-й занял северную часть нашего участка против Келец, а 18-й – южную, по низовью Ниды, начиная от Пинчова. В Кельцах поместился штаб 25-го корпуса, с которым мы за это время хорошо познакомились. Командир его А.Ф. Рагоза оказался очень милым простым человеком, с необходимой для военачальника настойчивостью, но не очень умным. Генерал Юнаков, профессор Военной Академии, отставленный вместе с Головиным, держался очень скромно и, по видимому, страдал некоторою нерешительностью. Оба они часто бывали в наших краснокрестных учреждениях в гостях у персонала. Нужно сказать, что во всех наших отрядах, расположенных в Кельцах, персонал был удивительно симпатичный. На станции

железной дороги стоял питательно-перевязочный поезд Офросимова (кажется, № 8), в котором было несколько очень милых и энергичных сестер. В городе сперва стоял госпиталь гр. Е.В. Шуваловой; вскоре, однако, Иваницкий потребовал перевода его в тыл, опасаясь за его безопасность, ибо неприятель был всего в 18 верстах. После этого в Кельцах остались всего два лазарета – Нижегородский и 2-й Московский-Александринский. Впрочем, как потом выяснилось, их было вполне достаточно. Эвакуация раненых производилась санитарными поездами, приехавшими раза два в неделю.

Как-то мне пришлось быть свидетелем отказа коменданта поезда Императрицы Александры Федоровны генерала Римана взять с собой уже привезенных на вокзал, с одной стороны, больных и легкораненых, с другой – очень тяжелых, обезображенных ранениями. Последних потому, что Государыне тяжело будет их видеть, так как все раненые с этого поезда поступали в Царско-сельский Ея госпиталь. Пришлось всех этих бедняг, порядочно позамерзших на вокзале, здание которого было сожжено немцами и еще не восстановлено, везти обратно в город. Об этом случае я протелеграфировал Иваницкому, но движение дальше телеграмма не получила, и я узнал позднее, что Риман везде проделывал то же, но справиться с его самодурством никто не смог, ибо это был поезд Государыни, да возможно, что никто и не решался попробовать этого.

Управление мое поместилось в Кельцах, как наиболее центральном пункте района; отвели нам 3 комнаты на Веселой улице, в которых мы и разместились. По делам Кр. Креста пришлось мне познакомиться с местным губернатором Лигиным и вице-губернатором, сухим неинтересным стариком. Оба они были выбиты из колеи военным начальством, распоряжавшимся, совершенно не считаясь с гражданскими властями, и только, если ему самому не удавалось чего-либо добиться, прибегавшим к помощи местной администрации. Последняя же была столь беспомощна, что, например, когда стала развиваться холера и в гражданском населении и потребовалось принять против неё экстренные меры, то вице-губернатору не на чем было выехать из Келец и он прибег к Кр. Кресту за помощью.

Из польского общества мне пришлось первоначально познакомиться с местным католическим епископом Лосицким, к которому отправился по какому-то благотворительному вопросу; произвел он на меня самое приятное впечатление своей простотой и готовностью идти навстречу всякой нужде. Про него мне

рассказывали, что он обошел пешком почти всю свою епархию, везде беседуя с паствой. Когда в Кельцах были австрийцы, то они потребовали от него поминания на службах вместо Государя императора Франца-Иосифа, но Лосицкий от этого отказался, ссылаясь на свою присягу. В Кельцах жил член Гос. Думы Яронский, к которому мы и зашли с моим помощником, членом Гос. Думы Л.Г. Люцем. Потом он собрал у себя несколько городских нотаблей, с которыми и провели как-то вечер, обмениваясь мыслями по вопросу о декларации вел. князя Николая Николаевича по польскому вопросу и о выводах, которые из неё следует сделать. Впрочем, в этих разговорах поляки были очень осторожны, и у меня осталось впечатление, что до конца они не выговаривались.

Люц был назначен моим помощником в декабре, а затем до самого оставления мною 9-й армии мы дружно проработали с ним вместе, ни разу ни по одному вопросу не ссорясь. В Кельцах окончательно сформировалось и отделение Склада при 9-й армии. Во главе его стал помощник присяжного поверенного Тимофеев. До войны, еще студентом, он работал в агитационном бюро октябристской партии. <...> Позднее он работал в бюро октябристской партии, а с начала войны попал на фронт в качестве помощника начальника передового отряда. Не помню уже, почему он перебрался оттуда в Кельцы и в Склад, но, во всяком случае, сразу заразился здесь откуда-то «генералином». Кроме того у него появилась мания, общая, впрочем, для многих заведующих складами – непременно выдавать меньше, чем требуют. К последнему все учреждения 9-й армии скоро, однако, приспособились, составляя требования в склад с известной надбавкой против действительной нужды. В конце концов, с Тимофеевым ладили, хотя и подсмеивались над ним. Пробыл он в складе до моего отъезда из армии; как раз в это время до управления нашего дошли из Каменец-Подольска, где тогда стоял склад, сведения о том, что Тимофеев стал вести там азартные игры. Появились подозрения об источнике средств для этой игры, была мною назначена ревизия Склада и обнаружилась растрата, правда небольшая, сумм Кр. Креста, которую Тимофеев пополнил, но был сразу же удален.

Штаб армии помещался в это время около Сташова в какой-то усадьбе, где я был несколько раз. Близкие к Лечицкому постарались устроить его подальше от населенных мест, ибо командарм очень раздражался, видя тыловую распущенность, что отзывалось на всем штабе. Как-то досталось и мне за недостаточно военный вид наших санитаров в Кельцах. Лечицкий был по существу совершенно прав, но как было нашим докторам, столь же мало во-

енными, как и я, добиться у санитаров военной выправки, которой не было и в тыловых воинских частях. Как раз в это время генерал Гулевич ушел из армии, будучи назначен начальником штаба Северо-Западного фронта. Его заменил генерал Санников, в деловом отношении стоявший несомненно выше своего предшественника; отношения и с ним у меня установились самые лучшие.

Еще в Мехове выяснилось, что из состава этапно-хозяйственного отдела выделяются в особый отдел все санитарные дела. Начальнику этого отдела подчинялся и особоуполномоченный Кр. Креста, получающий от него руководящие указания. Начальником этого санитарного отдела был намечен генерал Белозор, но, так как он еще был в Хабаровске, то временно его заменил полковник Генштаба П.А. Базаров, состоявший в штабе армии без особого назначения. Бывший военный агент в Берлине, человек очень милый и деликатный, Базаров не обладал военным духом и предпочитал тыловые должности. Белозор приехал в конце ноября и оказался очень уравновешенным и дельным строевым офицером. Японскую войну он начал батальонным командиром 5-го стрелкового Сибирского полка, и был столь тяжело ранен под Цзинжоу, что его оставили на поле сражения, как умирающего, почему в приказе он и был исключен из списков за смертью. Между тем, японцы подобрали его, вылечили, и после войны он возобновил свою военную службу. Заведование Санитарным Отделом он рассматривал как этап для возвращения в строй и, действительно, весной 1915 г. был назначен командиром 2-й стрелковой бригады. Из всех трех начальников Санитарного Отдела, с которыми мне пришлось работать, он был, несомненно, самым дельным.

В этом периоде войны штаб, уже значительно более многочисленный, потерял прежний характер простоты; Лечицкий обедал отдельно, и вообще между отдельными элементами штаба установились более сухие формальные отношения.

По приезде в Кельцы и размещении там всех наших учреждений, работа на первое время свелась к эвакуации последних раненых еще периода Краковских боев и к борьбе с холерой, в первый раз тогда значительно развившейся. Пришлось создать в Кельцах особый краснокрестный холерный лазарет, заведование которым я возложил на Люца. Назначать в него мне пришлось больше сестер моего резерва, подготовлявшихся, большей частью, к уходу за ранеными, но не за заразными больными; это вызвало некоторое недовольство, почему я неоднократно заходил

в этот лазарет для придания сестрам бодрости и иногда в нем ужинал с персоналом. Вообще, я установил за правило посещать все учреждения моего района не менее двух раз в месяц, причем в начале месяца развозил по ним деньги и отбирал у них отчеты. Вопрос своевременного получения денег мною был первые месяцы войны довольно сложным; почта действовала неаккуратно, и не раз я оставался без гроша.

Выручал меня тогда штаб армии, любезно авансировавший мне довольно крупные суммы. Мне ни разу за все время не приходилось, развозя эти, подчас довольно крупные суммы (в кармане у меня нередко бывало больше 100.000 р.), испытывать опасения быть ограбленным. В тылу армии было совершенно спокойно, и преступность была в нем, вероятно, значительно ниже, чем в мирное время. Упомянув о почте, отмечу, что позднее она работала гораздо лучше, но вначале письма доходили очень поздно – нередко из Петрограда до штаба армии две недели; задерживала и военная цензура. Работала она это время довольно своеобразно, цензоры, кажется, сами не знали, что можно, а что нельзя пропускать. Пришлось мне в эти месяцы наблюдать, как отдельные цензоры по знакомству заранее ставили на пустые конверты штемпель «просмотрено военной цензурой». Позднее и это дело наладилось.

В середине декабря в Келецком районе холера стала снижаться, но вскоре появились новые её вспышки в районе Корчина, в низовьях Ниды. Здесь в конце 2-й половины декабря произошли упорные бои. Австрийцы потеснили стоявшую здесь второочередную нашу дивизию (кажется, 80-ю), составленную, после Краковских боев, почти исключительно из вновь прибывших на фронт солдат. Они отошли, оставив немало пленных; винили тогда и её начальника генерала Штегельмана, почти совершенно глухого, как говорят, человека. Подошедшие подкрепления опрокинули австрийцев, взяли и у них несколько тысяч в плен и заняли часть их позиций на правом берегу реки. Местность была низменная, склоны были залиты здесь водой, как оказалось, зараженной холерными вибрионами, ибо у дравшихся здесь австрийцев было много холерных больных; зараза распространилась и среди наших, и в несколько дней дала около 700 заболеваний. Среди пришедших на помощь был и персонал, присланный мною, которому я придал и небольшой питательный пункт.

За это время впервые в армии был констатирован случай газовой гангрены. Со времени Пирогова ее у нас, кажется, не наблюдали, и поэтому врачи наши сперва растерялись, по-видимому,

считая себя как бы виновными в ее появлении. Из Буска, где этот случай был обнаружен, мне дали о нем срочно знать. В ту пору никто из врачей армии не мог мне объяснить, что эта форма гангрены была результатом заражения анаэробными бактериями, и что винить в появлении её медицинский уход было у нас нельзя. За все время войны это заражение распространения не получило, и случаи его носили единичный характер, более даже, пожалуй, редкий, чем заболевания столбняком. Очень характерный случай газовой гангрены я наблюдал лично весной 1916 г. в Минске: около 5 часов дня в одной из деревень около Барановичей был во дворе избы неопасно ранен в ногу осколком гранаты, сперва ударившим в кучу навоза, артиллерийский офицер Эверт, племянник главнокомандующего Западным фронтом. Уже рано утром следующего дня он был доставлен в Минск, где его встретил на вокзале профессор Миротворцев и сразу обнаружил у него газовую гангрену. Через час зараженная часть ноги – почти до колена – была ампутирована, но зараза уже пошла дальше, и только тщательное лечение и уход спасли раненого, около недели пробывшего между жизнью и смертью. Лечили его прививками серума, который приват-доцент Недригайлов, заведующий краснокрестной лабораторией, приготовил еще в день операции из отрезанной ноги.

Скажу здесь кстати, что среди врачей Кр. Креста в передовой линии было первоначально немало хороших хирургов, но подходящей работы для них, собственно говоря, здесь не было, ибо в передовых отрядах обстановка не позволяла делать сколько-нибудь серьезных операций. Немногим лучше была она и в подвижных лазаретах, помещавшихся, большей частью, в неподходящих помещениях – сельских школах, усадьбах и т.п., вследствие чего здесь делали только самые неотложные операции. И только в этапных лазаретах работа носила более серьезный характер – здесь делались и более серьезные операции. Естественно, что такая работа не давала удовлетворения серьезным хирургам, и на второй год войны среди врачей передовой линии появилось стремление к переходу в тыловые учреждения, где они могли бы полностью использовать свои знания и опыт.

Среди пунктов, куда мне приходилось ездить, отмечу Хенцины, местечко в 14 верстах от Келец по дороге к Андрееву; на горе над ними стояли руины какого-то старинного замка. Почему-то немцы облюбовали их, как цель для своих тяжелых орудий, но при мне повреждений в руинах не было. В Хенцинах одно время у нас был питательный пункт. Позднее одно время был у нас небольшой пункт также севернее Хенцин в лесу, в расположении

25-го корпуса. Еще дальше к северу мне пришлось раз побывать во Влощове, где тогда был штаб 4-й армии. Я ездил туда навещать младшего моего брата, упавшего при прыжке и надорвавшего себе об камень почку при падении на спину; во Влощове он лежал временно в каком-то лазарете.

Дорога ко Влощову была самая красивая в районе Келец, особенно недалеко от последних, в горах, около католического монастыря. Вблизи от последнего стоял одно время наш краснокрестный санитарный транспорт. Эти транспорты в это время стали как раз появляться на фронте, и я их направил в район, где перевязочных средств было наименее всего. Между прочим, один из транспортов я направил в Хмельник, еврейское местечко верстах в 30 к югу от Келец. Вскоре оттуда приехал ко мне начальник этого транспорта, прося убрать его помощника, барона Лаудона, совсем еще молодого человека, кажется, бывшего лицеиста, который при всяком удобном и неудобном случае напивался, и как-то устроил дебош с музыкой в местном публичном доме. Пришлось этого юношу попросить поискать себе другое место работы. Кстати, замечу, что иногда, хотя и редко, мне приходилось жалеть, что в отношении таких молодых людей, принадлежавших к категории так называемых у французов «*embusquer*»*, у меня не было права передавать их в распоряжение комендантов для отправки их на фронт в строй. Санитары бывали уже призваны и переданы затем Кр. Кресту, эта же молодежь укрывалась в тыловых учреждениях, еще только предвидя свой призыв. В виду этого, не будучи военнослужащими, они с одной стороны не подлежали действию военных законов, а с другой, даже при неудовлетворительном исполнении своих обязанностей, подлежали только отчислению от должности, что не мешало им, уехав в тыл, устраиваться в другое аналогичное учреждение. Между прочим, позднее этот самый господин во время кампании Юденича занимал в тылу в Ревеле какую-то ответственную должность.

Уже в Сандомире впервые видели мы над собой немецкий аэроплан. В Кельцах они стали постоянными нашими гостями, каждый раз бросая в город бомбы, преимущественно в район железнодорожной станции. Жертвою первой аэропланной бомбы явился мальчик, которому сильно поранило ногу; течение ранения было таково, что наши доктора предполагали, что бомба была отравленная. Серьезных повреждений эти бомбы не причинили ни разу, если не считать, что раз бомба упала в нагружавшийся на

* Устроенный в тылу (фр.).

станции обоз и перебила около 15 лошадей. В этот раз пострадал и один санитар отряда Офросимова, работавший в вагоне-кухне. Небольшой осколок, пробивший стенку вагона, вонзился ему в мягкие части и засел довольно глубоко. Противозаэропланной артиллерии тогда у нас еще не было, и при появлении неприятельских аэропланов начиналась со всех сторон дикая стрельба, для врага почти везде безвредная. По крайней мере, ни одного аэроплана за это время сбито в нашем районе не было.

30-го декабря в Кельцы приехал для осмотра краснокрестных учреждений армии генерал-майор Гадон, командированный к нам по повелению Императрицы Марии Федоровны, и я решил сопровождать его в этом объезде. Начали мы его с поезда Офросимова. Как раз, когда мы его обходили, налетел аэроплан и бросил бомбу, разорвавшуюся шагах в 40-50 от нас. Гадон отнесся к этому совершенно спокойно, но разговаривавшая с нами сестра совсем растерялась. Оба дня, что мы ездили с Гадоном по нашим учреждениям, стояла чудная солнечная погода; и вот во всех учреждениях сплошь, Гадон, став посредине палаты, заявлял «А погодка-то, погодка какая, солнышко какое светит, а царица наша матушка шлет вам свой привет». Осмотрели мы с ним учреждения в Кельцах, Хмельнике, Буске и Корчине и заночевали в 17-м передовом отряде, расположенном в маленьком, мне до войны неизвестном курорте – Солец, верстах в 6-7 от Корчина.

Во главе этого отряда, пришедшего в армию в конце ноября или начале декабря, стоял товарищ министра внутренних дел сенатор Харузин, в числе же сестер были его жена и жена генерала Шведова, члена Главного Управления Кр. Креста, о котором я уже упоминал в моих воспоминаниях, особа совсем не интересная, но, видимо, энергичная. В этом отряде был священником иеромонах Антоний Булатович, о котором я уже говорил. В этот день мы побывали в штабе 37-й дивизии, где как раз заседала Георгиевская Дума. Командовал этой дивизией генерал Заиончковский, которому в этот день в 3-й раз Дума отказала в ордене Св. Георгия. На его несчастье в составе Думы все три раза были офицеры его дивизии, которые его не любили и каждый раз проваливали его награждение, зная, что храбростью он не обладал. Кажется, в этот день был присужден орден Св. Георгия офицеру Беломорского полка (фамилию его не помню) за переправу через Сан, еще в октябре. Засев со своей ротой на австрийском берегу, он несколько дней от них отбивался, пока австрийцы сами не отошли под давлением наших на других участках. Когда вышли все патроны, он делал вылазки, отбивая австрийские ружья и патроны, и стре-

лял ими. Когда же стало очень тяжело, то вызвался доброволец, переплывший Сан, несмотря на ледяную воду, и доставивший донесение в штаб. Позднее я видел этого офицера в одном из наших лазаретов в Буске, очень тяжело раненным; тогда боялись, что он не выживет, но, к счастью, эти опасения не оправдались.

На второй день мы побывали с Гадом в Стопнице, а затем в штабе армии около Сташова, и вечером добрались до Островца, где на станции стоял все время отряд Шабельского. Оттуда ночью двинулись мы в Скаржиско, где я водворил Гада в его вагон. Ехать пришлось нам здесь очень тихо, ибо стоял густой туман, и дорогу почти не было видно. Новый Год встретили мы в дороге, поздравили друг друга и поцеловались. В Кельцах я был в 4 часа утра, но еще в Управлении никого не застал – вся моя молодежь засиделась в одном из лазаретов, куда собрался на встречу Нового Года весь свободный персонал Креста в Кельцах. Еще перед тем у нас в Управлении была устроена елка, на которой были многие наши краснокрестные сослуживцы; благодаря присланным мне из Петрограда закуским и особенно вину, время прошло очень весело.

Как-то уже в январе [1915 г.] мне пришлось снова поехать в штаб армии. На обратном пути поднялась вьюга, и уже при выезде из Сташова мой автомобиль застрял в быстро наметенных сугробах. Недалеко от меня застрял другой автомобиль, в котором ехал небольшой кругленький, уже пожилой прапорщик. Посоветовавшись, мы решили вернуться в Сташов и ехать вместе обратно в Кельцы на лошадях и, получив от коменданта фуhrманку, за ночь добрались до Келец. Мой спутник оказался военным цензором, приват-доцентом Е.В. Аничковым. В свое время, достигнув 50 лет, он забыл сообщить воинскому начальнику об исключении своем из запаса, и был призван. Получился курьез, что либеральный по тогдашним временам ученый оказался цензором; но еще больший курьез, что за время долгих разговоров за эту бесконечную ночь, Аничков с прискорбием сознался мне, что, несмотря на весь его либерализм, каждый день, проведенный им в армии, все больше делает его антисемитом.

Быстро, несмотря на боевое затишье, пролетел январь, в начале же февраля как-то вечером я получил вызов меня по прямому проводу из штаба армии; мне передавали распоряжение о срочном переходе армии в Галицию на левый фланг всего нашего расположения; к этому были присоединены какие-то общие указания о том, что мне надлежит переводить с армией из учреждений Кр. Креста и что я должен оставить на месте.

Переговорив по этому поводу еще с ген. Рагозой, обдумав все с моими сотрудниками, рано утром я двинулся в штаб армии. В Буске я еще заехал в штаб 18-го корпуса и с уже более или менее выяснившейся картиной, явился к вечеру сперва к генералу Санникову, а затем к Белозору. По дороге около Стопницы я чуть не застрял, ибо на две-три версты шоссе было совершенно разбито. Так как я знал, что штаб армии уходит уже на следующий день, то я поволновался, боясь опоздать в Сташов, но мой «Рено» вывез и тут, и, хотя и поздновато, но доставил меня в штаб.

Положение оказалось следующим: с самого начала войны наш крайний левый фланг от румынской границы до перевала Тухолка включительно, был занят очень слабо; первоначально здесь были расположены всего одна 71-я пехотная дивизия и несколько кавалерийских дивизий, подкрепленных затем несколькими ополченскими бригадами. Одно время вся Буковина была занята двумя батальонами 71-й дивизии и все эти войска составляли 30-й корпус под командой генерала Вебеля. Еще в сентябре какая-то кавалерийская дивизия, кажется, терская, была брошена в Венгрию и дошла до Мункача. Сюда австрийцы успели, однако, подвести пехоту и нашим казакам пришлось столь же быстро уходить назад. Мне рассказывали потом, что хотя наши и пробыли достаточно времени в Мункаче, они ничего здесь не уничтожили, хотя в городе был большой завод, работавший на оборону (что он изготовлял, не помню), якобы единственный в этом роде во всей Австро-Венгрии. По-видимому, штаб дивизии этого не знал. Через некоторое время наших потеснили и из Буковины, но вскоре получили подкрепления и они опять заняли прежние позиции. Главный город её – Черновицы, несколько раз переходил из рук в руки, причем рассказывали, что губернаторы этой области – австрийский и наш, русский – Евреинов очень корректно оставляли в полном порядке всю обстановку губернаторского дома, до серебра включительно. Охранял все это имущество какой-то старый слуга-австриец, ни разу не покидавший Черновицы.

В январе, собрав силы, австрийцы атаковали наши войска на всем фронте Карпат и первоначально потеснили нас. Особенно тяжелые бои пришлось вынести нашим войскам, занимавшим перевал Тухолку. Занимавшая этот перевал второочередная дивизия под командой генерала Альфтана выдержала первые атаки, но появление здесь значительных сил немцев заставило перебросить сюда из района Сувалок 22-й корпус генерала фон дер Бринкена, составленный из финляндских стрелков, и здесь начались бои около деревни Козювка, известными по упорству, проявлен-

ному с обеих сторон. В то же время австрийцы перешли в наступление и восточнее Тухолки и всюду потеснили наших, значительно им уступавшим и количеством, и качеством вооружения. У ополченцев были здесь еще берданки и старые поршневые орудия, без стереоскопического прицела. Значительное усиление в этом районе австрийских сил заставило штаб 8-й армии, которой был подчинен 30-й корпус, перебросить сюда также 11-й корпус, а штаб фронта решил выделить этот район, начиная от города Долина к востоку в особую армию, для чего сюда и было приказано перейти штабу 9-й армии. Вместе с ним сюда из прежнего района этой армии был переброшен и 18-й корпус. Штаб нашей армии, сообщив мне это распоряжение, указал мне вместе с тем, что я должен взять с собой все учреждения Кр. Креста, имевшие характер приданные армии, а также к 18-му корпусу. Все остальное я должен был передать особоуполномоченному 4-й армии, которой подчинялся наш прежний район.

Все было сделано быстро. В Галицию были направлены поезда Шабельского и Офросимова. К последнему была придана временно часть Склада. Простившись с отрядами, которые оставались, и с штабом 25-го корпуса, мы двинулись на Радом. Отсюда, переговорив с Н.И. Антоновым, которому я передал все, касающееся учреждений, оставшихся с 25-м корпусом и имущества, мы понеслись далее – через Зволень и Новую Александрию – район, покрывавшийся теперь целой сетью укреплений, входящих в состав Ивангородской укрепленной позиции. Не знаю, почему, но особого доверия они мне не внушали, несмотря на общепризнанную талантливость их строителя генерала Шварца. Как потом оказалось, мое предчувствие меня не обмануло – Ивангород был нами оставлен без боя.

К вечеру мы были в Люблине, где тогда находилось управление Главноуполномоченного Юго-Западного фронта Иваницкого, с которым мне нужно было столкнуться об условиях работы в новой обстановке и местности. Уже в январе я был в Люблине, и тогда познакомился впервые с высшими чинами этого Управления. Кроме Алексинского, в числе их был В.Ф. Романов, вице-директор одного из департаментов Министерства земледелия (здесь – в должности начальника канцелярии Иваницкого и позднее его помощника), прекрасный работник, долго выдерживавший нелегкий характер своего начальника; Резниченко – чиновник Переселенческого Управления, а ныне заведующий хозяйственной частью, и В.Д. Евреинов, управляющий Складом, в мирное время управляющий Церемониальной частью, известный деятель по трудовой помо-

щи при народных бедствиях. Непосредственными помощниками Иваницкого были член Гос. Думы Н.А. Хомяков, гр. И.И. Капнист и П.А. Демидов. Ни один из них роли в Управлении, впрочем, не играл. В январе у меня были длинные и горячие споры с Иваницким о роли подвижных лазаретов. При них присутствовали все высшие чины Управления, все время упорно молчавшие. Закончились они тем, что Иваницкий, не переубедив меня (он был против системы придания подвижных лазаретов корпусам, которой я придерживался), приказал мне на будущее время от неё отказаться, на что я мог ответить только: «Слушаюсь». В феврале Иваницкого я в Люблине не застал, и посему все переговоры в Управлении закончились быстро и к обоюдному удовольствию.

На следующий день рано утром выехали мы на Львов через Замостье и Раву Русску. Уже некоторое время стояли небольшие морозы, но снега не было, и ехать было очень легко и приятно. Интересного по дороге не было ничего, кроме цитадели упраздненной Замостьской крепости. Уже перед самым Львовом были горы с укреплениями на них, казавшиеся в наступающих сумерках значительно более высокими, чем они были в действительности. Въезжал я во Львов с большим интересом, почти волнением: в то время верилось, что этот старинный русский край станет окончательно нашим, и что нам не придется больше с ним расставаться. Устроились мы в одной из лучших гостиниц города, и в ресторане её я встретил Головина, осведомившего меня с последними данными о боевом положении на будущем фронте армии. Его сообщение было, как всегда, очень ярким.

На следующий день отправился я к Н.А. Хомякову, помощнику главноуполномоченного по Львовскому району. Впечатление, вынесенное от разговора с ним и с его сослуживцами было прямо удручающим – полное незнание обстановки на фронте и даже нежелание постараться ознакомиться с нею. С Хомяковым я был знаком по 3-й и 4-й Гос. Думам, знал его за хорошего порядочного человека, но и за редкого сибарита, но мне казалось, что на войне все, и он в том числе, должны были бы от этого безразличия ко всему отказаться, но этого в действительности не было. Приятное впечатление оставил у меня лишь разговор с М.И. Терещенко, который тогда заведовал Львовским отделением Склада Кр. Креста. Быстро столковались мы с ним о способах пополнения моего отделения; меня удивило только, что и ему боевая обстановка была совершенно незнакома.

От Хомякова я отправился в Управление особополномоченного Кр. Креста 8-й армии Г.Г. Лерхе. Знал я его еще с 1906 г.,

со времени начала политической деятельности в России. Человек кипучей энергии, хотя и несколько бестолковый, Лерхе был в некоторых отношениях незаменим. Финансовая комиссия, председателем которой он состоял, сделала в 3-й Думе очень много, правда, благодаря тому, что Лерхе во всех серьезных вопросах действовал по указаниям М.М. Алексеенко. В Кр. Кресте Лерхе проработал уже всю японскую войну, будучи уполномоченным передового отряда, и оставил по себе хорошую память; с самого начала Великой войны он был назначен особоуполномоченным при 8-й армии и оставался в ней до конца 1917 г. Все время он носился по фронту из одного отряда в другой, посещая при этом то один, то другой штаб. Тыл его, по-видимому, интересовал мало и ведал им, главным образом, начальник канцелярии Лерхе, а позднее его помощник В.А. Нежинский. Бывший лицеист, очень мало служивший и занимавшийся больше промышленным делом, Нежинский по своему складу был большим формалистом и канцеляристом. Все его дела, естественно, были всегда в большом порядке, но персонал Красного Креста его не любил именно за его формальное отношение к делу. Когда я зашел в их Управление во Львове, то Лерхе был где-то на фронте. Все переговоры вел я с Нежинским, и быстро столкнулся с ним о том, что из краснокрестных учреждений переходит в мое ведение. Выяснилось, что в 30-м корпусе есть особый уполномоченный гр. А.А. Коновницын, который находится постоянно при штабе корпуса. В ведении его было очень мало наших учреждений, ибо боевых действий здесь до февраля почти не было.

В тот же день выехал я из Львова дальше в Тарнополь, где устроился штаб нашей 9-й армии. Около Львова и дальше около Злочева дорога была сносная, бесснежная, но дальше под Тарнополем начались сугробы и ухабы, очень задерживавшие ход наших автомобилей. Тем не менее, поздним вечером мы достигли своей цели. Ни в этот раз, ни потом Тарнополь мне не понравился – в нем не было уже простоты наших западных городков, их полудеревенского характера, а вместе с тем он не приобрел и характера западноевропейских городов. Кроме того, война очень сказалась на его чистоте.

В штабе армии, еще не вполне устроившемся, узнал я, что наши войска перешли в наступление, что неприятель начал отходить и что скоро можно ожидать занятия нами вновь Станиславова. Ознакомившись к этому времени с обстановкой в Галиции, я пришел к убеждению, что, оставаясь при штабе армии здесь, как и на Ниде, я буду разобщенным с большинством краснокрестных

учреждений, ибо главная масса наших войск будет расположена около Станиславова и к западу от него, а к востоку будут занимать фронт только кавалерия и ополченцы. В виду этого я решил ехать с моим управлением в Галич, где находился в то время штаб 30-го корпуса и вместе с ним пробраться в Станиславов. Познакомившись с краснокрестными учреждениями, находящимися в Тарнополе, и, столковавшись с санитарным отделом штаба, через день я и двинулся в Галич. Так как снега за эти дни еще прибавилось, то ехать на автомобилях было невозможно, и мы двинулись поездом; машины наши были поставлены на платформы, нам дали теплушки и в неуютную серую ночь мы тронулись в путь.

Вся ночь ушла на переезд до Галича, где мы застали на железнодорожном вокзале весь штаб 30-го корпуса. Бывшая столица Галицкого княжества ныне представляла грязное и бедное еврейское местечко, вдобавок очень пострадавшее от войны. Позднее я не мог поместить в нем ни одного лечебного заведения, понятно поэтому, что и штаб корпуса предпочел городу вокзал. Сразу пошел я знакомиться с его начальством. Про командира корпуса генерала Вебеля я узнал уже в штабе армии, что еще генерал Брусилов, командовавший тогда 8-й армией и коему до сих пор был подчинен 30-й корпус, просил о его замене, и неизвестно было лишь, кто его заменит. Брусилов просил о назначении в 30-й корпус генерала Каледина, но Лечицкий почему-то был против этого назначения, и вскоре Вебеля заменил начальник 37-й пехотной дивизии генерал Заиончковский. Мое знакомство с Вебелем поэтому было очень кратковременным и я не могу ничего о нем сказать. В 1915 г. он получил позднее один из 40-х корпусов на Северо-Западном фронте, но вскоре был и оттуда смещен, ибо, как мне говорили потом в штабе этого фронта, у него появились явные признаки начала прогрессивного паралича. При Вебеле всю работу штаба выполнял начальник его генерал Монкевиц, с которым я познакомился еще по работе в Гос. Думе, где он не раз давал объяснения в комиссии Гос. Обороны. Теперь в Галиче мы встретились с ним, как добрые старые знакомые, и он ознакомил меня со всей обстановкой боев. Оказалось, что накануне вечером (кажется, это было 17-го февраля) наши войска, а именно «Дикая дивизия» вступила в Станиславов и что сегодня же туда переберется и весь штаб корпуса. 11-й корпус наступает правее, на Калуш-Долину и тот оттесняет австрийцев в Карпаты, где они занимают позиции в предгорьях.

Левее Калуша наступали уссурийцы генерала Крымова, кубанцы, терцы и кавказская туземная дивизия (Дикая) вел. князя Ми-

хаила Александровича. Находившийся на крайнем левом фланге армии 2-й кавалерийский корпус генерала гр. Келлера, выдержал в это время бои приблизительно на линии государственной границы. 18-й армейский корпус должен был по мере прибытия с Ниды сосредоточиться в районе Станиславова, кавалерия же, находившаяся здесь, должна была, образовав 3-й кавалерийский корпус генерала Хана Нахичеванского, перейти в район Тлумача-Залещиков. Ополченские части подлежали сосредоточению в районе Новоселиц, где из них должен был быть образован новый, 33-й корпус, под командой ген. Федотова. Наконец, в конце марта в районе Коломыи, которая все оставалась в руках австрийцев, должен был начать сосредоточиваться 32-й корпус, составленный вновь в Манчжурии из войск Заамурской пограничной стражи.

Оговорюсь, что, быть может, не всё мною только что изложенное, я узнал именно тогда, но, во всяком случае, Монкевиц сообщил мне многие детали плана, который Головин указал мне в самых общих чертах. Вскоре после нашего разговора штаб корпуса уехал в Станиславов, а мы отправились знакомиться с Галичем и выяснять возможность размещения в нем каких-либо учреждений. Уже под вечер только удалось нам выехать в Станиславов. Первое время дорога шла открытым полем, где снега было мало, но за Иезуполем шоссе идет только в закрытых местах и автомобили попали в сугробы, в которых мы изрядно намучились, потеряв одно время надежду выбраться за день до Станиславова. Однако, как-то понемногу стало полегче, и часов около 9 вечера мы попали в чудную гостиницу «Унион», правда, недостаточно протопленную, но со сносным рестораном и даже с вином. Нас это очень поразило после воздержания Варшавского района. Как нам говорили, вино продавалось здесь все время, и никаких эксцессов раньше не было; вскоре, однако, положение изменилось: начали прибывать полки 18-го корпуса, состав которых уже полгода почти не видал спиртных напитков, на которые они теперь и набросились. Начались пьяные скандалы и уже через несколько дней командир 18-го корпуса, принявший, как старший, командование в районе, совершенно запретил всякую торговлю спиртными напитками.

На утро стали мы знакомиться со Станиславовым. Город с населением около 100.000 жителей разросся в самое последнее время, и посему ничего старого в нем не было. Наоборот, он поражал своей современностью и культурностью. Когда мы въехали в него, он был, конечно, грязен, как всегда бывает при переходе во время войны населенных пунктов из рук в руки, но уже через несколько

дней приобрел вполне культурный вид. Грязен и заброшен был прекрасный вокзал. Все мосты через Днестр в этом районе – и в Галиче и в Нижнёве были взорваны, и до их восстановления железные дороги в Станиславове бездействовали. Еще в день нашего приезда вокзал служил казармой и был потому заложен соломой. Когда мы пришли сюда, комендант был занят приведением всего в порядок; как раз он поймал перед нами солдата, у которого карманы шинели были заполнены горелками от газовых фонарей – спрашивается, на что они могли ему понадобиться?

В городе и вода, и газ, и электричество подавались все время без перерыва, ибо вообще городское управление работало на пользу населения, не считаясь, под чьей властью оно находится. При первой оккупации нами города почти никто не успел из него уйти, и он сохранил, как мне говорили, совершенно мирный вид. В гостиницах и кафе оставались, например, даже женские оркестры. Однако за время недолгого пребывания в городе австрийцев, перед нашим новым приходом, очень и очень многие его обыватели поспешили выехать в более безопасные районы. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что выехали все, у кого были для этого материальные средства; поэтому в городе оказалось много свободных квартир, в которых все управления и разместились очень просторно. В частности, Кр. Кресту отвели очень миленький домик на Липовой улице, а позднее прибавили еще чистенькую уютную квартирку в доходном доме напротив. Обе квартиры были заняты евреями, и впервые пришлось нам увидеть на дверях на притолоках медные футлярчики с помещенными в них сверточками текстов Св. Писания. В одной из квартир на стенке красовалась на видном месте фотография толстой некрасивой его хозяйки с претенциозной надписью: «J'aime qu'on m'aime, comme j'aime quand j'aime»^{*}.

В доме Управления на камине стояли часы под бронзу с аляповатым рисунком над циферблатом, изображавшим взятие французами Малахова Кургана. Как-то к нам зашел генерал Заиончковский, увидел эти часы и сразу отдал распоряжение забрать их с собой в случае нашего нового отсюда отхода – генерал был главным работником по устройству Севастопольского музея, и он решил направить туда эти часы. Часы эти были вывезены (даже с неприятностями из-за них с хозяйкой дома, откуда-то взявшейся в последнюю минуту), но можно сомневаться, чтобы они достигли когда-либо Севастополя. Население города, большею частью

^{*} Я люблю, чтобы меня любили, как я люблю, когда я люблю (фр.).

еврейское, относилось к нам по внешности безразлично, но симпатизировать нам не могло, ибо с приходом нашим оно лишилось почти всяких заработков. В частности, этой причиной объясняется очень сильный рост проституции.

У нас было очень распространено, особенно в левых кругах, мнение, что в Галиции с самого начала мы стали русифицировать население и переводить его насильно в православие. Винили в этом обычно Галицийского генерал-губернатора гр. Г.А. Бобринского и архиепископа Евлогия*. Лично я за 4 месяца пребывания в Галиции ни того, ни другого не видел, а позднее, в беженстве, я познакомился с воспоминаниями заменившего гр. Бобринского при Временном Правительстве русского украинца Дорошенко. Порицая деятельность в Галиции наших военных властей, он, вместе с тем, признает, что со стороны гр. Бобринского были проявлены и такт, и благородство, и полное желание сгладить все большие стороны военной оккупации. Нельзя, однако, не признать, что со стороны подчиненных генерал-губернатору второстепенных чинов допускались, по-видимому, подчас различные злоупотребления. При занятии Галиции пришлось спешить с замещением всех должностей по полиции, людей же под рукой не было. Тогда было предписано губернаторам Европейской России срочно командировать каждому в распоряжение гр. Бобринского определенное число чинов полиции. Весьма понятно, хотя и не особенно похвально, что командировали далеко не всегда лучших, и посему не удивительно, что скоро начались разговоры о злоупотреблениях некоторых из них.

Мне не приходилось лично иметь дело с этими господами, и посему только раз мне определенно указали на непорядки у Бучачского уездного начальника, который вскоре и был сменен. Заменил его делопроизводитель Канцелярии Гос. Думы гр. Кронгельм. По-видимому, вообще Бобринский старался подобрать состав подчиненных возможно лучший – в одном из уездов около Тарнополя уездным начальником, например, был гр. Белевский, сын вел. князя Алексея Александровича (о нем, впрочем, отзывались, как о человеке несколько шалом). Трудно сказать мне что-либо об отношении местного населения к нашим администраторам. В Бучаче много говорили про ухаживание местного магната гр. Потоцкого за дочками вышеупомянутого уездного начальника, но это, конечно, факт единичный, а масса населения из-

* На гр. Бобринского нападают, между прочим, за это в своих книгах о войне и генерал Ю.Н. Данилов, и Бизили.

бегала общения с русскими. Впрочем, в нас они все-таки видели, по-видимому, чужих, пришедших ненадолго. Наши деньги шли вообще всюду, но в более глухих деревнях в горах, где я, между прочим, вполне свободно говорил с крестьянами по-русски, случалось, что просили вместо рублей дать им кроны, называя их «нашими» деньгами, и говорили про «нашего» кайзера Франца-Иосифа. Еще больше нападок раздавалось на архиепископа Евлогия и на «воинствующее православие».

Не могу судить о северной Галиции (район около Брод), которого я совершенно не знал и где, говорят, были случаи перехода в православие целых деревень. Но что касается до Станиславовского и Тарнопольского краев, то не только никакого принуждения к переходу униатов в православие я не видел, но даже и вообще пропаганды последнего не было, уже хотя бы потому, что и духовенства-то нашего, кроме полковых священников, здесь не было. Думается мне, что скорее всего около Брод имел место чисто стихийный порыв населения объединиться с русским народом и в области веры, подобно тому порыву, который мы видели через несколько лет в Прикарпатской Руси, уже под чешской властью. Не было здесь ни «царизма», ни «Евлогия», ни «воинствующего православия», а тем не менее серые русские горцы-мужики также бросали своих бискупов и ксендзов и тысячами принимали православие. Лишь однажды за все время в Станиславове я был удивлен тем, что в одной из униатских церквей я застал православное богослужение, отправляемое военным священником при хоре русских певчих; не знаю, как относилось к этому местное униатское население, но слышал, что наше церковное пение здесь очень понравилось. До войны здесь придерживались исключительно старинных церковных напевов, и даже Бортнянский явился здесь новшеством.

Уже до войны мне пришлось читать у Грабаря про Галицкую деревянную церковную архитектуру, являвшуюся вместе с нашими старинными северными церквями своеобразными остатками старинного русского зодчества. Теперь мне удалось и лично увидеть ряд таких церквей, например, в Яблонице (между Галичем и Станиславовым), в Богородчанах, в Скале. В 1916 г. телеграммы штаба Верховного Главнокомандующего сообщали об упорных боях около двух первых деревень – уцелели ли тогда их церкви? Богородчанскую церковь я осматривал не раз, и каждый раз восхищался ее наружным видом. Рассказывали нам, что якобы до войны какие-то англичане предлагали крупную сумму за алтарь этой церкви. Не знаю, верно ли это, но, во всяком слу-

чае, этот алтарь, резной из дерева, по-моему, ничего особенного не представлял.

Несколько раз был я в Станиславове на униатских богослужениях, но не трогали они мою душу так, как наши православные службы: оттого ли, что это было все-таки не своё, а чужое, или оттого, что вообще в них ничего захватывающего не было – боюсь сказать, но, кажется, что последнее вернее. Раза два сталкивался я с униатскими священниками, но оба раза это были «щирые украинцы», к нам относившиеся враждебно. Наши войска относились в то время к населению очень хорошо. Весной, в период полевых работ воинские части помогали крестьянам обсеять их поля. Поляки в это время были как-то незаметны, а евреи, как и в русской Польше, отдувались за всех. Отношение к ним в войсках было определено враждебное, как и в Польше. Разрушенных деревень мне часто не попадалось, но сгоревших и разграбленных местечек и усадеб – немало, особенно позднее, за Днестром. Отличались в этом особенно казаки. Часто совершенно бессмысленно: не помню уже в какой усадьбе, где стоял один из наших отрядов, управляющий рассказывал, что в начале войны проходившие казаки изрубили всю обстановку, а юный хорунжий упражнялся в стрельбе из револьвера в хрустальную люстру. Жалко было смотреть также на обгорелые стены усадьбы в имении Любомирских, где было раньше большое рыбоводное хозяйство; теперь пруды стояли пустыми, ибо первые же проходившие части выловили всю рыбу. Впрочем, все это время сказывался больше дух разрушения, чем желание пограбить. Проявление последнего я видел только весной 1915 г. у туземцев «Дикой дивизии»; тогда пришлось послать сотню, чтобы схватить живыми или мертвыми 18 всадников, кажется, Чеченского полка, дезертировавших и занимавшихся грабежами в районе Калуша. Между прочим, они напали на семью волостного писаря, ограбили ее и изнасиловали беременную их дочь. Позднее все эти 18 разбойников были повешены.*

Понемногу ознакомившись с городом и наметив расположение в нем разных наших прибывающих учреждений, я двинулся в объезд района. Снега было много, хотя и начинало таять, и ехать на автомобиле было невозможно; пришлось отправиться на тележке парой, по дороге сменяя подводы в краснокрестных учреждениях. В Калуше, кажется, застал я штаб 11-го корпуса и побывал

* Мне помнится, что это были чеченцы, но в Париже мне говорили, что это были ингуши.

у его командира генерала Сахарова, бывшего начальника штаба генерала Куропаткина в Манчжурии и впоследствии командующего 11-й армией и главнокомандующего Румынским фронтом. И в эту войну Сахарова сопровождала всюду его жена, женитьба на которой во время японской войны, а также пребывание её все время в штабе ставилось ему в вину. Теперь она была старшей сестрой перевязочно-питательного отряда Кр. Креста при штабе корпуса. Работал этот отряд, по-видимому, недурно, но вне связи с другими учреждениями Кр. Креста и вследствие особого благоволения к нему командира корпуса большими симпатиями не пользовался.*

Через Калуш мне пришлось потом ездить очень часто, и тогда никому не могло представиться, что он прогремит потом, как место одного из первых и жестоких эксцессов наших солдат. Население было сплошь еврейское, и, быть может, этим здешний эксцесс и объясняется. Ведь нужно отметить, что христианское население Галиции не любило евреев, в руках которых была вся торговли, и которые обращались с ним крайне высокомерно. Считалось обычным, что крестьяне целовали руку арендатору или землевладельцу, безразлично – поляку или еврею; это враждебное настроение передавалось и солдатам; когда же после революции власть ушла, этот антисемитизм и проявился особенно ярко.

В Калуше была недурная больница, в которой я нашел несколько десятков наших раненых. На содержание как их, так и вообще самой больницы никаких средств, однако, не отпускалось, почему старший врач и прибег к моей помощи. Из разговоров с ним я выяснил, что ничего подобного нашей бесплатной земской медицины здесь не было – всякий амбулаторный прием, всякое посещение больного на дому, все оплачивалось. Кроме того сельских врачей было весьма мало.

Далее за Калушем, на полдороге к Долине на станции железной дороги, кажется, Рознатов, нашел я перевязочно-питательный пункт, выдвинутый сюда уполномоченным А.М. Дерюгиным из Стрыя. На эту станцию одно время, в начале марта, шло довольно много раненых и особенно больных из 11-го корпуса, которые все направлялись отсюда на Стрый. Со Станиславовым сообщения не

* Как контраст, можно отметить, что наш особоуполномоченный при 8-й армии Г.Г. Лерхе, о котором я уже упоминал выше, женился во Львове на сестре милосердия О.М. Гучковой, вдове Ф.И. Гучкова. Свадьба была в 4 часа, а в 7 Лерхе уже умчался вновь на фронт. И позднее семейные обязанности не задерживали никогда Лерхе в тылу – он всегда улетал туда, где были бои.

было и отсюда, все из-за взорванных мостов. У Дерюгина был в Стрые очень сильный перевязочно-питательный отряд, из которого он выдвинул летучки в Рознатов, Выгоду и Скале.

К вечеру я добрался до Долины, где нашел в здании школы, на горе, около вокзала, Иркутский лазарет Кр. Креста. В нем я и заночевал в часовне школы, обычно занятой ранеными, но сейчас свободной, на окровавленных носилках, кажется, сменив на них покойника. Иркутский лазарет производил во всех отношениях очень приятное впечатление – очень толковый старший врач, скромные, немолодые сестры; за это учреждение можно было всегда быть спокойным. Позднее в Долине расположился также Александровский подвижной лазарет, когда сюда перешел 18-й корпус, и работа нашлась для всех. Впереди Долины к Вышковскому перевалу был устроен перевязочно-питательный пункт в Выгоде. Сперва здесь работал высланный Дерюгиным отряд, пришедший с 18-м корпусом.

Ко времени моего возвращения назад в Станиславов стали подходить понемногу наши учреждения, которые я распределил по фронту по соглашению с Санитарным отделом штаба армии. Пришлось вновь съездить для этого в Тарнополь, где я узнал о скором уходе в строй ген. Белозора, получившего 2-ю стрелковую бригаду. На его место должен был вступить генерал Новицкий, которого я знал в Гельсингфорсе делопроизводителем Военно-Окружного Совета и вместе с тем разных благотворительных учреждений. Позднее он служил в штабе Приамурского Военного Округа, откуда его и взял на фронт генерал Лечицкий. Добросовестный работник, но немудрый человек, он оказался далеко не блестящим начальником Санитарного Отдела. Сам он как-то признавался мне, что ему часто и сильно достается и от Лечицкого, и от Санникова, и что он тогда от горя уезжает ловить рыбу. Потом я узнал, что именно за ловлю рыбки ему как-то и досталось жестоко, ибо его долго не могли найти, когда он был на ней, по весьма срочному делу.

Одной из моих забот в первое время в Станиславове было пополнение моего отделения Склада. Очень мне тут помог Львовский склад, откуда М.И. Терещенко прислал железнодорожное подвижное отделение Склада, обильно снабдившее меня всем необходимым. Меня несколько удивили только тогда оба руководителя склада – некий Тарновский и Хомяков, сын Н.А. Хомякова. Последний жестоко пил, а первый вообще производил очень несерьезное впечатление. Мое отделение Склада устроилось на станции Станиславов, где его было очень удобно разгружать и нагружать.

В то время, как в районе Станиславова и далее к Долине положение наше упрочилось, на левом фланге оно продолжало оставаться серьезным. На крайнем левом нашем фланге австрийцы наседали на нашу кавалерию и как-то потеснили ее до самого Хотина. Позднее я видел наши окопы здесь, сейчас за уездной тюрьмой. Однако генералу гр. Келлеру после ряда блестящих кавалерийский боев удалось оттеснить австрийцев к государственной границе. Правее положение было серьезным около Залещиков. На правом берегу Днестра здесь у нас был тет-де-пон*, расположенный, однако, крайне неудачно, по обрыву над рекой, изгибающейся здесь в сторону австрийцев. Вся наша позиция обстреливалась с трех сторон, обстреливался и мост, соединявший тет-де-пон с левым берегом Днестра; и далее в тылу дорога, ведущая в Чортков, верст на 6 обстреливалась австрийскими орудиями, что очень затрудняло и снабжение войск и вывоз раненых.

Первоначально в этот район была двинута Дикая дивизия, а затем и 37-я пехотная дивизия, подкрепившая, а затем и сменившая несколько батальонов 71-й дивизии, долго оборонявших Залещики. Поскольку мне помнится, район самых Залещиков составлял участок Каспийского полка. Обслуживание в санитарном отношении этого района лежало на краснокрестном передовом отряде (номер его не помню), снаряженным на средства Бакинских богачей-татар, и на автомобильной колонне 5-го Земского Отряда. Кавказский отряд был расположен впереди Чорткова (возможно, что в Тлумаче), где у него был лазарет, весьма и весьма своеобразный. Доктор в нем был очень посредственный, а сестры – большей частью татарки – хотя и из высшего класса, производили впечатление некультурных и мало интересующихся делом. Как-то я провел у них вечер и просидел там с большим интересом, ибо узнал много характерных особенностей про Дикую дивизию: например, персонал отряда горячо защищал двух татар, приговоренных к смерти за убийство однополчанина, объясняя это убийство кровной мстью; однако, бывший тут же гостем дивизионный врач д-р Ангелов, спокойно заметил, что, кроме мести, убийство было вызвано и наличием у убитого 200 р., которые они похитили; все же кавказцев эта деталь совершенно не убедила. В числе помощников начальника отряда был один маленький кавказский человек, которого якобы за его элегантность называли в отряде «маркизом из Версаля». Для меня было непонятно, как это прозвище совмещалось с грязью этого господинчика.

* Предмостное укрепление.

5-й Земский отряд пришел тогда впервые в Галицию. Во главе его стоял председатель Волоколамской Земской Управы А.А. Эйлер. Я знал раньше его родителей: когда я был уездным предводителем в Старой Руссе, старик Эйлер был вице-губернатором в Новгороде. Я привык уважать эту семью, и когда А.А. Эйлер младший обратился ко мне в первые же дни войны с просьбой взять его уполномоченным, я с удовольствием исполнил это желание. Однако, уже в октябре его вызвал в Москву кн. Львов, председатель Земского Союза, и теперь Эйлеру удалось вернуться на фронт во главе особого, прекрасно снабженного земского отряда. И я, и все мои сослуживцы были очень рады вновь его встретить.

Оригинально, что, как я узнал впоследствии, Эйлера упрекал кн. Львов именно за его хорошие отношения с Кр. Крестом. Повидимому, злобность в отношении Кр. Креста считалась в Всероссийском земском Союзе особой заслугой. В составе 5-го отряда была и особая автомобильная колонна, составленная из «Фордов». Вот эта-то колонна и была направлена в Залещики, откуда и вывозила раненых, в то время, как собственно отряд остался в Станиславове. Во время боев под Залещиками по официальному сообщению Штаба Верховного попал на короткое время в руки австрийцев, ворвавшихся в наши окопы, телефонист Каспийского полка, которому мадьяры отрезали язык. Через несколько дней я увидел Эйлера, который рассказал мне, что командир этого полка был очень сконфужен, ибо оказалось, что у героя этого происшествия язык цел, но на нем имеются всего лишь два поверхностных пореза, в причинении коих подозревают его самого. Позднее, в Тарнополе в одном из краснокрестных госпиталей я видел этого солдата; язык у него уже почти совершенно к тому времени зажил, но он все-таки упорно молчал. Доктор определенно считал, что он сам нанес себе эти ранения и что молчит он лишь из страха ответить за свой поступок. Бои у Залещиков тянулись весь март и до 20-го апреля приблизительно. После падения Перемышля сюда пришла 81-я пехотная дивизия, часть же 37-й дивизии ушла к Долине. Около 20-го апреля неожиданным нападением австрийцы захватили Залещицкий тет-де-пон; занимавшие его шесть батальонов попали в плен почти без боя. Впрочем, через несколько дней часть их была освобождена во время начавшегося нашего наступления – австрийцы не успели еще препроводить их в глубокий тыл.

Перемышль сдался нам, кажется, 9-го марта [1915 г.]. Всех тогда поразило, что гарнизон его положил оружие так легко – ведь осаждавшая его 11-я армия была и численно слабее гарнизона и

состояла почти исключительно из второочередных частей, а частью даже и из ополченских дружин. После этого 11-я армия была временно расформирована, командующий ею генерал Артамонов был отправлен в тыл (в это время закончилось расследование генералом Пантелеевым Самсониевской катастрофы, по которому роль Артамонова, тогда командира 1-го армейского корпуса, представилась в далеко неприглядном виде), а войска распределены по фронту. Вскоре после этого началось наступление наше на фронте Карпат в районе 3-й и 8-й армий. Австрийцы были отеснены, местами сбиты с перевалов, но разбиты не были, наши же войска понесли громадные потери и израсходовали много снарядов, запасы коих были давно уже невелики.

Здесь уместно будет вспомнить, что еще в конце января состоялась продлившаяся всего несколько дней сессия Гос. Думы, центр тяжести которой лежал в заседаниях комиссии Гос. Обороны, председателем коей был выбран тогда Шингарев. Я в одном из них выступил с горячим заявлением о необходимости принятия экстренных мер для усиления изготовления в первую очередь снарядов, а засим и всего прочего боевого материала, указывая на факты, с которыми меня познакомил штаб 9-й армии. Сухомлинов, отвечавший и мне и некоторым другим моим коллегам, торжественно заявлял, что все необходимые мероприятия уже приняты и что армия скоро получит все ей необходимое.

В напечатанных позднее, кажется, в Берлине выдержках из его дневника, Сухомлинов упоминает про это мое заявление со злобой, определяя его чуть ли не как личную интригу против него. Позднейшее показало, кто из нас был прав. Между прочим, тогда я узнал, что все наши заводы вместе могли производить к моменту объявления войны только 6000 винтовок в месяц. Снабжение армии трехлинейными винтовками было закончено в 1912 г., и тогда Генштаб дал отзыв Главному Артиллерийскому Управлению, что более 6000 винтовок в месяц армии не потребуется. На основании этого отзыва большинство станков для выделки ружей было сразу заменено другими – для производства сельскохозяйственных орудий.

Около 15-го марта был передан во 2-ю армию и 22-й армейский корпус. Сразу после этого поехал я познакомиться и со штабом этого корпуса и с нашими в этом районе учреждениями. Дорога в Стрый, где стоял штаб, шла от Долины на Болехов и дальше через невысокие горы, на которых я чуть не застрял, до того была там в одном месте разбита дорога. В Стрые кипела оживленная работа на вокзале, где стоял перевязочно-питательный краснокрестный

пункт. Тут я познакомился с А.М. Дерюгиным, уполномоченным при 22-м корпусе, очень энергично здесь работавшим. В штабе корпуса познакомился я с командиром его – генералом фон-дер-Бринкен, произведшим на меня очень приятное впечатление. Его все очень хвалили и как толкового начальника и как порядочного человека. Начальник штаба генерал Зорин имел вид очень бурбонистый. Впрочем, Дерюгин, больше знавший его, отстаивал его всегда, в чем обычно, быть может, сказывалось то, что они были земляками. С братом этого Зорина я был вместе членом 4-й Гос. Думы, отец же их долговременный мировой судья и земский начальник Порховского уезда был известен и во всех соседних уездах, а в том числе и в нашем Старорусском, своею совершенно анекдотичной патриархальной деятельностью.

Стрый, как и прочие города района сохранился целым. Ночуя в небольшой гостинице, я нашел в ней все необходимое, но чуть не замерз, ибо угля в городе было мало, и гостиница почти не отапливалась. Рано утром я двинулся затем в Скале, местечко, расположенное уже в горах, в очень хорошенькой местности. Отсюда шла дорога к перевалам, на одном из которых около деревни Козювки уже с января шли упорные бои. На всем Карпатском фронте только здесь стояли германцы, и вероятно этим и объяснялась их настойчивость. Первоначально наши позиции здесь защищались, как я уже упоминал, второочередной дивизией генерала Альфтана, потом с приходом 22-го корпуса здесь стала также одна из Стрелковых финляндских дивизий, кажется, 1-я, под командой генерала Обручева. В Скале находилась чудная усадьба барона Гредль, с сожженным ныне дворцом; теперь в ней помещался довольно хорошо обставленный отряд Юго-западного Областного Земства, руководимый гр. А.И. Коновницыным.

Юго-западные земства не вошли во Всероссийский Земский Союз и имели свою особую организацию помощи раненым и больным. Отряд Коновницына выдвинул летучку в Козювку, которая занимала в этой деревне одну из крайних халуп, почти рядом со штабом дивизии. Этот край деревни находился за выступом горы и не на виду у неприятеля, дома немного же дальше были видны немцам, и обстреливались ими от времени до времени; тем не менее, и здесь уцелевшие халупы были густо заселены. В середине деревни находилась церковь; окружающее ее кладбище было взрыто тяжелыми снарядами и немало костей было выброшено на поверхность. Передавали мне, что только в марте была обнаружена сигнализация неприятелю из церкви, и при тщательном её обыске, в верхней части её, в нише за образами был найден шпи-

он, подававший эти сигналы; после его обнаружения и начался обстрел и церкви и кладбища, до того остававшихся невредимыми.

Наши позиции тянулись по горам, обходившим Козювку почти полукругом. Прямо против деревни лежала высота 996 (кажется, не ошибаюсь в её высоте), знаменитая самыми упорными боями. Вершина её была наша, но уже немного ниже проходили окопы немцев. Когда я был в Козювке, то после визита в штаб и осмотра летучки я прошелся по деревне; было совершенно тихо. Меня, впрочем, предупредили, чтобы я долго в ней не оставался, ибо близился час, когда обычно немцы открывали огонь.

Между Скале и Козювкой был расположен небольшой отрядик сестры Бекаревич, обслуживавший полки финляндских стрелков, расположенных в горах, правее Козювки, куда пробраться было очень трудно. Как обычно в этих случаях бывает, войска очень дорожили этим отрядом, однако, Дерюгин обратил мое внимание на ведение в нем денежных дел, и пришлось мне после долгих и неприятных разговоров с сестрой Бекаревич убедить ее уйти из этого отряда. Боюсь сказать, чтобы у нее были злоупотребления, но своеобразностей, во всяком случае, было много.

В конце марта, около Благовещения, стрелков сменили вторые очередные полки, не помню уже какие, и почти сразу с ними произошла катастрофа. Говорили тогда про нестойкость этих полков, про то, что после захвата немцами высоты 996 их нельзя было сдвинуть в контратаку, но как бы то ни было, нам пришлось отойти на высоты за Козювкой, которыми высота 996 командовала.

Еще в марте, пока он стоял около Станиславова, 18-й корпус усиленно укреплял свои позиции. Не раз потом проезжал я по ним, и каждый раз удивлялся, как они были тщательно отделаны, но вместе с тем, как они были несерьезны. Прикрытием они могли служить только от шрапнели, да и то посредственным. В одной из деревень сводилась она к валикам из дерна, притом устроенными целиком над уровнем земли, почти в рост человека. Как-то меня пригласили здесь на испытание новых изобретений по устройству дымовых завес. Испытание было скорее неудачным, и про применение этого изобретения я потом не слышал. Дыма было много, но держался он очень недолго. В районах, где я работал, кроме этого изобретения мне пришлось слышать еще только про один случай испытания изобретателя – это еще под Меховым, в гвардейском корпусе, где полковник Войно-Панченко нашел способ определения расположения неприятельских батарей по звуку выстрелов. Теоретически правильный, этот способ оказался, однако, неприменимым, ибо, когда сливались звуки стрельбы

нескольких батарей, получалось и в аппарате слияние их, делавшее наблюдение невозможным.

Австрийские части ближе всего к Станиславову были против Богородчан; неприятельские окопы были здесь видны простым глазом на первых же холмиках за селом. Мне не раз приходилось здесь бывать в нашем передовом отряде, кажется, 15-ом, всю войну проработавшим с 32-й пехотной дивизией. Во главе этого отряда стоял полковник С.Н. Ильин, управляющий двором принца Ольденбургского, помощниками же у него было двое очень милых молодых людей – братья Воейковы. Когда я ушел из 9-й армии на Западный фронт, то Ильин был назначен на мое место особоуполномоченным, после революции был одно время главноуполномоченным Западного фронта, а затем во время гражданской войны был начальником Санитарной части в Крыму у Врангеля, а после эвакуации стал заведующим у последнего политической частью. Умер он в Сербии в 1923 или 1924 году. Уже после революции он женился на подруге моей сестры Каси – Нате Корф – бывшей сестрой в одном из отрядов Креста 9-й армии. Ильин был хорошим начальником передового отряда, охотно верю я, что он был и хорошим особоуполномоченным и главноуполномоченным, но не могу себе представить его политиком; все-таки он был человек далеко не крупного масштаба.

В другие отряды, работавшие при 11-м корпусе, дорога из Богородчан шла сперва на виду у австрийцев, которые иногда обстреливали даже отдельные повозки, не говоря уже об автомобилях. Позднее, однако, они это занятие прекратили, и я не раз совершенно спокойно проезжал этой дорогой, с обеих сторон которой зияли глубокие воронки от тяжелых снарядов.

32-й дивизией командовал тогда генерал Яблочкин, герой японской войны и бывший командир Л.-Гв. Егерского полка, начальником же штаба был у него полковник Вандам, еще до войны переименованный в эту фамилию из менее благозвучной Едрихина. Мне не раз приходилось до войны читать его статьи в «Новом» и «Вечернем Времени», где он проводил ту точку зрения, что главный враг России – Англия. По внешности это был человек очень невзрачный и неинтересный; после революции он получил известность в Северо-Западной противобольшевистской армии. Яблочкин, уцелевший под Тюренченом и в других боях с японцами, доблестно ведший себя всю Великую войну, погиб, расстрелянный после революции.

В течение всего марта в армии шла подготовка к наступлению и подтягивание к фронту новых войск. Не знаю, что именно нам

предназначалось делать, но в начале апреля началось предупредившее нас наступление армии Макензена на Краковском участке фронта. Вследствие недостатка сперва снарядов, а затем и винтовок, а местами и ружейных патронов, наши войска нигде не могли удержаться и все отходили. Несколько попыток наших перейти в контрнаступление с образованием для этого особых групп, не удались, и понемногу от одной реки наш фронт относился за другую. К началу апреля относится выделение правого фланга 9-й армии, а именно 22-го и 18-го корпусов в новую 11-ю армию, командующим коей был назначен ген. Щербачев. Так как до назначения в эту армию отдельного особоуполномоченного Кр. Креста я должен был продолжать руководить и при ней нашими учреждениями, а это было фактически невозможно, и я рисковал растерять при начинавшемся отступлении свои учреждения, то я командировал в штаб 11-й армии моего помощника Л.Г. Люца, который недели 2-3 и нес весьма нелегкие во время отхода обязанности особоуполномоченного. Однако особоуполномоченным ни в 11-ю, ни позднее в 9-ю, после моего ухода, Люц назначен не был, в виду противодействия военного начальства, и оба раза предпочтение было дано лицам, в деловом отношении стоявшим гораздо ниже его – кн. И.В. Барятинскому и С.Н. Ильину.

Люц происходил из Херсонских немецких колонистов, и этого было достаточно, чтобы сделать его подозрительным в глазах военных, весьма слабо разбиравшихся в вопросах национально-политических. Вполне понятно, что после этого Люц на фронте не остался. В 11-й армии Щербачев был вооружен еще другим членом Гос. Думы и тоже елисаветградцем, использовавшим, между прочим, то, что в Думе Люца стали именовать Лукой Богдановичем, о чем я уже говорил выше; по словам Викторова, это придумал сам Люц, чтобы скрыть свое немецкое происхождение.

Отход 3-й армии от Кракова прошел в краснокрестных учреждениях, приданных этой армии, очень печально. М.А. Стахович, особоуполномоченный этой армии, вообще мало занимался своими делами, а отдавался здесь больше ухаживанию за сестрами; по-видимому, не особенно занимались делами и прочие члены управления, и очень быстро связь управления с учреждениями была потеряна, в результате чего пропало немало имущества. Стахович после этого быстро ушел и был заменен гр. Андреем Александровичем Бобринским. Милейший и благороднейший человек, большой культуры, это был тип полного безволия, и я могу лишь удивляться, как он мог быть особоуполномоченным, хотя бы и недолго, в такое тяжелое для армии время. Уже в авгу-

сте я его в этой должности не застал (впрочем, Бобринского в то время я не знал, и узнал его лишь позднее, в Париже).

Неизвестность, удастся ли остановить наступление неприятеля на Львов, вызвала приказание 9-й армии начать наступление на всем фронте, дабы оттянуть этим часть неприятельских сил. Приказание это начали приводить в исполнение, если память мне не изменяет, в ночь с 24-го на 25-е апреля 1915 г. Уже за несколько дней все было готово, подтянуты были куда нужно все учреждения Кр. Креста, и первоначальные задания, поставленные армией, были выполнены. Около Новоселиц австрийцы были отброшены к Пруту, Заамурский корпус тоже потеснил их почти всюду за Прутом, но запнулся около Коломеи. Повторные атаки заамурцев на позиции около этого города, несмотря на громадные потери, оказались unsuccessful. Рассказывали у нас, что впервые введенные в серьезный бой, заамурцы слишком пренебрегали перебежками и окапыванием, и жестоко за это поплатились. У австрийцев проволочные заграждения были устроены здесь на металлических стержнях, установленных на бетонных основаниях (в мирное время я видел такие установки на виноградниках около Падуи, в Италии, для поддержания лоз), и наша легкая артиллерия справиться с этими заграждениями не могла, а тяжелой у нас не было.

Правее заамурцев наступала 71-я дивизия, и тоже отбросила неприятеля за Прут; здесь А.А. Коновницын устроил сразу за исходной нашей линией наступления перевязочный пункт, и вообще наладил настолько хорошую эвакуацию раненых, что уже около 4-х час. дня (атака произошла под утро), когда я приехал на перевязочные пункты, почти все раненые уже были эвакуированы. Боюсь сказать, работали ли уже в это наступление при Заамурском корпусе передовые отряды Русского Национального Союза. Их было снаряжено этим Союзом всего 4 (по-видимому, полностью на казенные деньги), и из них два попали в 9-ю армию; отсюда они и были направлены мною в Заамурский корпус, у которого никаких других перевязочных учреждений не было. Во главе одного из этих отрядов стоял инженерный генерал Ветеренников, бывший Костромским губернатором, с которым пришлось быть вместе гласным Спб. Городской Думы, где он когда-то был в числе наиболее энергичных деятелей; на меня он производил всегда впечатление довольно странного человека. Кажется, из одного из этих отрядов мне пришлось наблюдать в раннее ясное утро обстрел австрийцами нашей позиции под Залещиками – рвались, особенно красивые в голубом небе, розовые их шрап-

нели, а изредка подымались бурные столбы дыма от разрывов тяжелых снарядов. Тут было так ясно, жизнерадостно, а там, всего в 3-4 верстах, так ужасно. И как затягивающе, захватывающе было для меня, не бойца, это зрелище...

Воспользовавшись возможностью быстро добраться до Новоселиц, я раза два или три съездил туда и в Хотин. По Галиции дорога, по недавно оставленным австрийцами местам, была удивительно пустынна. Уже только около Садагуры движения было больше, но и то лишь благодаря войсковым обозам; наоборот, за Новоселицами было очень оживленно. Около Новоселиц очень оживляли местность костюмы населения – белые или ярко-цветистые; очень характерны здесь женские юбки – кусок материи, большей частью холста, обмотанный вокруг бедер.

Меня предупредили, что ехать в Садагуру, где стоял штаб ополченской бригады, нужно было сперва по шоссе в Черновицы, а затем свернуть влево; к сожалению, где – никто точно указать не мог. В результате, уже в темноте, въехав на какой-то холм, я почти сразу, благодаря своим фарам, был нащупан австрийским прожектором. В Садагуре высшего начальства бригады не было, а застал я только в штабе двух ополченских офицеров Орловской дружины, глубоко штатских и не могущих, видимо, свыкнуться с тем, что и они на войне. Штаб этот как-то сразу поражал своим отличием от других штабов, и военного духа в нем не чувствовалось. Объяснили мне здесь, что дальше ехать по шоссе невозможно, ибо оно идет по долине Прута, где местами по нему проходят наши передовые окопы, и все оно обстреливается не только орудийным, но и ружейным огнем, и указали дорогу по холмам над рекой. Проплутавши здесь еще часов около двух, я добрался, наконец, до Новоселиц. Ехать приходилось очень тихо, объезжая большие воронки от тяжелых снарядов, коими австрийцы обстреливали проходившие здесь наши обозы. Несколько раз останавливался вновь на моем автомобиле прожектор, ибо тушить фары было невозможно, чтобы не попасть в воронку, но, вероятно, и у австрийцев снарядов было мало, и огня они по мне не открывали, хотя, как мне говорили в штабе, раньше они не пропускали ни одной повозки. С Холмов виднелись за рекой огни Черновиц, как мне говорили, очень своеобразного и интересного города.

В Новоселицах я заночевал в Одесском Касперовском лазарете Кр. Креста, прекрасном учреждении прекрасной нашей общины этого имени. Община эта очень стойко стояла за свои права, из-за чего у меня была в то время довольно кислая переписка с председателем какого-то комитета при ней, бывшим Одесским

градоначальником ген. Григорьевым, судя по этой переписке, довольно курьезным типом, с большой дозой «генералина», несмотря на свое военное звание не понимавшим, что учреждения на фронте должны подчиняться фронтовым властям. Здесь, в Новоселицах, лазарет был расположен в здании, кажется, земской больницы – очень уютном, с большим тенистым садом. Познакомившись с генералом Федотовым, командиром 32-го корпуса, и его начальником штаба генералом Байковым, я двинулся дальше на Хотин. Дорога сперва шла по шоссе, потом по грунтовой дороге, была ниже всякой критики – за все время войны мне впервые пришлось попасть в такой большой район с такими плохими путями сообщения. Характер деревень был здесь совсем иной, чем в Галиции – белые мазанки с большими фруктовыми садами вокруг них тянулись местами на целые версты. Хотин не на много отличался от этих сел – такие же одноэтажные дома, такие же сады и такая же пыль. За ним шло шоссе к Днестру, переправившись через который мы попадали в Жванец, местечко уже в Подольской губ., а затем через Збруч вновь переезжали в Галицию. Характерны в этом районе старые турецкие крепости, через одну из которых проходило шоссе.

У генерала Федотова была какая-то связь с Синодальными кругами, почему к нему в корпус вскоре после его формирования, был направлен передовой отряд имени Духовных Учебных Заведений. Начальником этого отряда был тип, в то время казавшийся курьезным – бывший католик и воспитанник иезуитов, кажется, французский подданный граф дю-Шайла. Уже при мне его деятельность начала вызывать сомнения, главным образом, по части денежной отчетности. Вместе с тем, выяснилось, что это большой рекламист, сумевший очень быстро получить от ген. Федотова Георгиевский крест, который полагается по статуту, как я уже говорил, только воинским чином. У моего преемника С.Н. Ильина и у других особоуполномоченных, к которым отряд дю-Шайла попадал, отношение к нему определялось окончательно, и в конце концов он должен был из Кр. Креста уйти. Во время революции он оказался уже прапорщиком, играл на Юге очень сомнительную политическую роль, в эмиграции пытался довольно неудачно освободиться от тяготевших на нем обвинений и затем скрылся с горизонта. Для меня лично было совершенно непонятно, как этот бывший иезуит мог так втереться в доверие Саблера, чтобы быть поставленным во главе Синодального отряда.

В Новоселицах мне пришлось встретить Туркменский полк. Очень лично храбрые, составлявшие его текинцы мало подхо-

дили к условиям современной войны. Немало на их счет ходило анекдотов, часть которых, впрочем, уже в японскую войну рассказывали про туземцев «Дикой» бригады. В Новоселицах мне рассказали про вызванный текинцами дипломатический инцидент с румынами. Здесь сходились три государственных границы – русская, австрийская и румынская. По румынскому берегу Прута вышел погулять одетый в свою форму начальник румынской таможни; не разобравшись в его форме, текинцы решили, что это австриец, переправились через Прут, схватили этого таможенника, и, несмотря на его крики, перевезли связанным на нашу сторону, где с торжеством представили его по начальству; последнему пришлось потом ездить к румынам извиняться за усердие не по разуму своих подчиненных.

В Хотине краснокрестных учреждений не было, кроме работавшей под флагом Кр. Креста земской больницы. Уполномоченным Кр. Креста по уезду был предводитель дворянства, один из многочисленных Крупенских, у которого был и свой личный небольшой лазарет. Жил этот Крупенский в имении, и мне не пришлось с ним познакомиться. Зайдя в Земскую Управу, я познакомился, зато, с председателем её Оатт, у которого как-то и завтракал. Был я в этот раз с женой, и помню, как нам, после пыльной дороги по солнцу, было приятно посидеть в свежести у гостеприимных Оатт и выпить по стакану легкого белого вина из собственных их виноградников. Комична была маленькая фигурка земского начальника Соломона, с которым мы познакомились у Оатт. Он очень любезно взялся помочь нам сделать в городе разные покупки из провизии, которой в Станиславове нам не хватало, и был, по-видимому, страшно рад, что ему пришлось проехать в моем автомобиле, ибо до того ему ездить в подобных экипажах ни разу не приходилось. Это была личность, удивительно напомнившая мне Добчинского и Бобчинского.

Продвинувшись до Коломеи и вообще линии Прута, наши войска сперва приостановились, чтобы пополниться и подготовиться к следующему наступлению. Однако, совершенно неожиданно, кажется 30-го апреля, после ужина в штабе корпуса, меня отозвал в сторону генерал Заиончковский и предупредил, что только что им получена телеграмма с приказанием через 36 часов отойти от Станиславова, и чтобы я принял меры к эвакуации на следующий день всех наших учреждений. После нашего более или менее удачного наступления приказ об отходе, вызванный нашими неудачами в 3-й и 8-й армиях, был для всех нас совершенно неожиданным. По подсчетам нашим, для вывоза раненых и имущества красно-

крестных. учреждений было необходимо до 80 вагонов, между тем, как ночью, сразу после разговора с Заиончковским, на железной дороге мне обещали дать утром всего 10-15 вагонов. Понятно, какую пришлось поднять горячку, чтобы не оставить чего-либо неприятелю, но все хлопоты мои и моих помощников оказались не напрасными, и под утро мы прилегли уже с надеждой, что всё будет устроено. Действительно, после горячей работы в течение всего дня, раненные были уже отправлены, а к вечеру выяснилось, что и все имущество будет за ночь погружено. Однако, к этому вечеру было получено распоряжение об отмене отхода от Станиславова, и большинство наших учреждений вновь разложились, впрочем, после этой тревоги в Станиславове мы оставались уже налегке.

Продвижение наших войск вперед вызвало и выдвигание наших железнодорожных отрядов, сперва к Тлумачу, а затем дальше к Коршову. Между тем, линия отхода для нас была одна – через Станиславов, и посему положение их было все-время несколько рискованным, ибо и далее за Станиславовым до Галича, приходилось отводить поезда параллельно фронту. Другая линия – на Нижнѳв, все еще не функционировала, ибо для исправления здесь моста через Днестр был необходим особый домкрат, которого в течение двух месяцев не могли доставить из России. Следует отметить из числа новых отрядов, пришедших в это время в армию, отряд (название его не помню), бывший под начальством кн. М.А. Черкасского, милейшего человека, вскоре оставившего Кр. Крест и бывшего к революции Ярославским губернатором.*

Поместил я его в Тлумаче, где в числе прочих требований, предъявленных ему, одним из самых настоятельных оказалось требование о дезинфекции одежды, особенно зимней, переполненной вшами. К сожалению, дезинфекционные камеры, имевшиеся у нас к тому времени, были недостаточно объемисты и не справлялись с предъявлявшимися к ним запросами. Не справлялись, впрочем, с ними и появившиеся в то время впервые на фронте дезинфекционные отряды Кр. Креста, и военные, число коих пока было еще очень мало. Впрочем, кроме холеры, заразных болезней в то время еще почти не появлялось. Другим новым отрядом был 6-й отряд Земского Союза кн. Григ. М. Волконского. Очень хорошо всем снабженный, он был направлен мною в Заамурский корпус, с которым и проработал все время, до моего ухода из армии. Благодаря прекрасным сестрам и живым помощникам уполномоченного, от-

* Сознаю, что это назначение меня немало удивило, ибо, кроме душевности Черкасского, других качеств я в нем не замечал.

ряд этот работал прекрасно, обезвреживая несколько мертвящее влияние своего начальника, занятого, казалось, главным образом, мыслью о том, как бы не унижить своего достоинства.

Еще раньше, в Келецком периоде, мне надлежало отметить появление на фронте первых транспортов Кр. Креста. Наши передовые отряды, составленные из перевязочно-питательного пункта с 3 врачами и транспорта из 30 повозок, оказались несколько громоздкими, причем для перевязочно-питательной их части было, большей частью, слишком мало дела. В виду этого, наряду с ними в тылу стали формировать транспорты из 30 повозок только с двумя сестрами при каждом в виде медицинского персонала.

Весь Май прошел в неопределенном положении. Севернее нас все шло отступление, у нас же получились приказания развивать апрельское наступление, которые чередовались с распоряжениями об отходе. В связи с этим, штаб корпуса перешел вперед, в Тлумач, куда я и ездил каждый день, дабы быть в курсе дела. Бывало, достаточно увидеть Заиончковского, чтобы знать, как у нас идут дела. Особенно ярко это выразилось около 20-го мая – приехав в этот день в штаб с утра, я увидел Заиончковского, нервно гуляющим по саду, с воспаленными глазами; на мои вопросы он отвечал очень неопределенно. Пришлось пойти к Монкевицу, который и объяснил мне, что ночью австрийцы атаковали 71-ю дивизию и прорвали наше расположение, но что, однако, утром положение было восстановлено.

За это время, после 25-го апреля, по мере нашего продвижения, наши передовые перевязочные пункты тоже продвигались, дабы быть рядом с войсками. За Коршовым летучка отряда вел. княгини Ксении Александровны работала дня два под огнем, другая летучка была выдвинута вперед, в направлении Прута, прямо к югу от Тлумача, где и расположилась в глухой местности около бывшего стеклянного завода, по местному «Хуты», где проходило большинство раненых 71-й дивизии. Здесь видел я унтер-офицера этой дивизии, пришедшего с позиции из-за 8-ми верст с оторванной кистью, не перевязанной и только перетянутой туго для прекращения кровотечения. Он заявил, что и дальше пойдет пешком, ибо повозки нужны для более тяжелых раненых.

Приехав как-то в Коршов, я узнал здесь, что в 71-й дивизии, немного выше Коломеи, этим утром было произведено наступление, и что бой еще продолжается. Так как это было очень недалеко, то я проехал туда, и действительно, выехав из леса, за Коршовым, увидел в некотором расстоянии впереди по шоссе разрывы шрапнелей, а несколько правее дороги, над халупами, белый флаг

с Кр. Крестом. Свернув сюда, я узнал, что здесь находится околоток одного из полков; работа еще кипела, хотя новых раненых больше не поступало. В углу лежал труп офицера без головы, с торчащим сзади куском затылочной кости; рядом нервно рыдал легко раненый молоденький вольноопределяющийся, как оказалось, брат убитого.

Отсутствие новых раненых, несмотря на продолжение боя, объяснялось тем, что наши войска (кажется, два батальона), отбросив австрийцев еще до рассвета к Пруту, переправились через него вслед за ними и засели на высотах непосредственно над рекой. Однако, соседние высоты, а ровно и второй ряд их, командующий, оставались в руках неприятеля, который усиленно обстреливал брод и не позволял сообщаться между берегами. Положение наших за рекой было рискованным, и уже сразу я слышал опасения за их судьбу. Кажется, что им не удалось переправиться обратно, и потом, в 1917 г., я встретил в Дании одного батальонного командира, именно тут и попавшего в плен. Одним из полков 71-й дивизии командовал в то время подполковник Желиховский, доблестный офицер, георгиевский кавалер; в 1916 году я его видел под Минском в штабе 1-й Польской дивизии, в которой он тоже был полковым командиром. Позднее я узнал, что именно этот самый Желиховский, или, как его называли за границей Зеллиговский, самовольно присоединил Вильну к Польше.

В другой раз, приехав в Богородчаны, я узнал, что часа два тому назад получено известие о взятии нашими Надворной. Сразу я поехал туда. По дороге я встретил Вандама и Ильина, уже побывавшими в ней и сообщивших мне, что, по-видимому, австрийцы оттянули здесь свой фронт, ибо Надворная была занята небольшой казачьей частью. Оказался этот городок, к которому мы давно стремились, в сущности, деревушкой, да еще наполовину сожженной и притом почти совершенно пустой. Кроме 3-4 казаков и нескольких евреев, никого в городе не было видно, быть может, впрочем, оттого, что перестрелка на окраинах города еще не вполне успокоилась и изредка в город залетали шальные пули. Вечером в штабе я узнал, что по приказанию штаба армии на Надворную за какую-то провинность ее жителей во время нашего январского отступления была наложена контрибуция в размере 1.000.000 р. Меня, только что побывавшего в ней, несколько не удивило, что посланный для выполнения этого распоряжения офицер смог набрать, однако, только 100 р. Другого примера столь малой осведомленности штаба армии о районе ее действия мне не пришлось видеть.

Как-то в середине мая, возвращаясь после полуночи в Станиславов, я увидел на улицах его кавалерию, как оказалось 12-ю кавалерийскую дивизию. Из расспросов знакомых офицеров я узнал, что образованная уже к этому времени 11-я армия неожиданно для 9-й отошла по приказанию фронта на 30 верст и оголила правый фланг 30-го корпуса, в это время вместе с другими корпусами нашей армии продолжавшего еще наступать. В частности, совершенно открытым оказался участок против Галича; сюда-то и была направлена 12-я дивизия, чтобы наскоро заткнуть эту дыру.

Говоря об интересных впечатлениях этого времени, я не упомянул об имевшей место еще в апреле поездке в штаб 2-й стрелковой дивизии к ген. Белозору. Приняв меня очень любезно, он предложил мне пройти на наблюдательный пункт, откуда открывался великолепный вид на австрийские позиции. В качестве путевода со мной отправился офицер Генерального штаба дивизии. Сперва он повез меня по деревне, при выезде из которой с австрийской стороны мой автомобиль завяз в грязи и стал на 1-й скорости сильно дымить; это привлекло внимание австрийцев, которые открыли по месту, где стоял автомобиль, шрапнельный огонь. Однако за несколько минут, которые за это время прошли, мы вытащили машину, и шрапнели стали рваться над пустым местом. В это время, шагах в ста от дороги, местные девушки, одетые в яркие костюмы (дело было на Пасху) водили что-то вроде наших хороводов. Шрапнель на них впечатления не произвела, танцы не прерывались, зато испугался мой спутник и рысью побежал прятаться за стенкой, куда медленно подошел и я. Сознаю, что вид бегущего капитана подействовал и на меня, и меня тоже потянуло бежать, но мысль о веселящихся бабах удержала меня. Идя, я угадывал, где должны произойти разрывы, мне казалось по звуку предшествующих разрывов, что они не должны быть особенно близко, и я не ошибся. Выпустив две очереди, австрийцы прекратили огонь, и мы пошли дальше в гору, на которой и находился наблюдательный пункт. Вид отсюда был действительно замечательный – я долго не мог оторваться от панорамного прицела, в котором, на расстоянии 7 верст, видна была жизнь австрийцев и все их работы. Напротив белел домик (кажется, ксендза), на чердаке которого у австрийцев был раньше наблюдательный пункт – теперь в крыше зияла большая дыра от нашей гранаты. За гребнем нашей горы стояла наша батарея, на которой как раз происходило ученье. Огня наши не открывали, да скажу, чудный весенний день и Пасха не создавали настроения, чтобы убивать друг друга или хотя бы пытаться убивать друг друга.

В мае после первой тревоги еще раза два приказывалось нам срочно сниматься и отходить, но потом эти приказы отменялись, и мы оставались на месте, пока, кажется 28-го, нам не было окончательно приказано отойти. К этому времени, казалось, все лишнее было отведено и вывезено, и, тем не менее, в последнюю минуту все-таки были некоторые волнения. К этому времени в Тлумаче набралось довольно много раненых, и эвакуация оттуда нашего перевязочно-питательного пункта затянулась. Через Станиславов, который подлежал очищению к 12 часам, поезд с этим отрядом, уже последний, прошел только около часа дня. Были затруднения в вывозе имущества из одного из наших полуавтономных отрядов, несмотря на все мои указания отправить в тыл все, что не может быть взято на подводы, сохранившего при себе немало всякого добра, и теперь спасшего его только тем, что часть его перевез сперва за 4 версты в Тысменицу, на новую линию нашего фронта, и оттуда понемногу убравшего его в тыл.*

В общем, однако, отход совершился вполне благополучно. Наше управление выехало около трех часов дня одним из последних; наших властей уже в городе не оставалось, и в гостинице «Унион», где мы позавтракали, появилось вновь вино. Часа через два после нашего отъезда через Станиславов прошли последние наши части и подверглись при выходе из города обстрелу из нескольких домов, занимавшие которые молодые евреи были тут же уничтожены. При этом обстреле был тяжело, кажется даже смертельно, ранен один из сотенных командиров Терской дивизии. Про это нападение совершенно согласно рассказывали мне и С.Н. Ильин и член Гос. Совета по выборам гр. Уваров, сам сотенный командир этой дивизии, пошедший на войну добровольцем и отходивший рядом, так что, я думаю, что преувеличения в их рассказах не было.

Из Станиславова мы отошли в Нижнѳв, где нам отвели две комнаты в католическом женском монастыре, занятом штабом корпуса. Из разговоров с настоятельницей монастыря я узнал, что здесь помещалось воспитательное учреждение для девушек, нечто вроде французских *Sacre Coeur***, каковых до войны в Галиции было два, как она мне сообщила. Естественно, впрочем, что с началом войны учреждение это не функционировало. В Нижнѳве

* Таких «подфлажных» отрядов, содержавшихся целиком на частные средства, было немало, и нужно было проявлять всегда дипломатию, чтобы не задевать их самолюбия, и вместе с тем заставлять выполнять мои приказания.

** Святное сердце.

пробыли мы очень недолго. Успел я еще съездить отсюда в наши учреждения в Заамурский корпус, пока еще почти не отошедший, и выяснить расположение других на правом фланге. Здесь, в виду обстрела района Галича с австрийских позиций, пришлось поставить наш головной железнодорожный перевязочно-питательный пункт на следующей станции к северу – если не ошибаюсь, это были Бржезяны. Впрочем, вскоре и здесь он подвергся обстрелу тяжелой артиллерии. Кстати, должен отметить, что на Юго-Западном фронте не было почти образовано для обслуживания железнодорожных станций особых эвакуационных пунктов, и функции их обычно исполняли большей частью отряды Красного Креста, а иногда, но очень редко, Земского Союза. В это же время на Северо-Западном фронте ген. Н.А. Данилов на всех крупных станциях создал большие эвакуационные пункты и через них подчинил и на железных дорогах всю частную помощь военно-санитарному ведомству. Конечно, нельзя не признать, что организация Северо-Западного фронта была гораздо совершеннее.

Кажется, уже через 3-4 дня, вернувшись днем из какого-то отряда, я был встречен моими сослуживцами сообщением, что штаб корпуса уходит в Монастыржиско. Уже через несколько часов выяснилось, что ослабленная в предшествующих боях 71-я дивизия не выдержала повторных австрийских атак и подалась назад, где-то получился даже прорыв. В виду этого штаб корпуса решил отойти, но, задержавшись, во всяком случае, впереди Днестра. В связи с этим в наш монастырь входил тут же, еще при нас, штаб 71-й дивизии. Здесь я познакомился с начальником этой дивизии ген. Десиной, известным еще по японской войне; здесь у него военная репутация была не особенно блестящая, но, во всяком случае, выше, чем его предшественника ген. Лаврентьева, которого я видел мельком еще в феврале, когда он был удален в резерв чинов фронта. Уезжали мы уже вечером, в темноте, и как-то грустно было покидать этот мирный хорошенький уголок.

В Монастыржиске нас поместили у местного униатского священника. И он сам, и его попадья были угрюмые, несимпатичные люди. Впрочем, пробыли мы у них очень недолго, ибо события шли очень быстро. Едва успел я побывать в Заамурском корпусе, а оттуда проехать еще левее, в район Залещиков, как узнал, что австрийцы непрестанно атакуют наши новые позиции и что положение наше очень серьезно, ибо на весь фронт 71-й дивизии в 6 верст длиною у нас остается всего 2000 бойцов, причем и снарядов у нас осталось крайне мало. При нашем отходе от Прута 71-я дивизия заняла участок против Нижнёва, 32-я стала левее ее,

защищая район против дуги Днестра, не доходя до Залещиков, засим стоял 3-й кавалерийский корпус, Заамурцы и 2-й кавалерийский корпус. Один 33-й корпус остался на прежних позициях. Первоначально австрийцы начали наступать только против Нижнёва, о чем я уже и упомянул выше. В связи с этим у меня остались в памяти волнения начальника артиллерии 30-го корпуса генерала гр. Баранцова, у которого снарядов совершенно не оставалось. При слабости нашей линии вся надежда была на артиллерию. Между тем, кроме небольшого их транспорта, подходившего к Бучачу, ничего в виду не было, почему в штабе в этот день было сильное волнение. Помнится мне, что долго не подавали завтрака, в ожидании которого я ходил по цветнику и разговаривал с только что приехавшим из Омска подполковником, ротным командиром тамошнего кадетского корпуса, добровольно пошедшим на войну сразу по окончании учебного года. После завтрака этот очень симпатичный офицер уехал на фронт в один из полков 71-й дивизии, и в эту же ночь был убит.

Сейчас мне трудно восстановить на память последовательный ход событий этого периода, но кажется именно в этот день после завтрака ездил я в Заамурский корпус*, а на следующий день вечером, по возвращении с правого фланга, узнал про катастрофу 71-й дивизии. Снаряды, которые так ждал гр. Баранцов, были израсходованы в одно утро, затем австрийцы повели новые атаки, и наши тонкие цепи были прорваны, а часть их – несколько батальонов, составлявших вместе не больше 1000 человек, была прижата к Днестру. Человек 200 смогли перебраться частью вплавь, частью вброд, а остальные попали в плен. Только около Нижнёва наши смогли удержаться на правом берегу Днестра. В результате этого прорыва участок нашего фронта вниз от Нижнёва верст на 20 оказался совершенно обнаженным, и утверждали, что австрийцы бросили сюда кавалерию; потом оказалось, что всего у них был здесь небольшой разъезд, но этого оказалось достаточным, чтобы взбудоражить наши тылы, и около Бучача в обозах произошла паника. Чтобы задержать неприятеля, если бы он стал переходить здесь через Днестр, сюда были, как я узнал от Монкевица, направлены отдельные гвардейские кавалерийские бригады, весь в этот момент резерв армии.

Осведомившись в штабе об этих происшествиях и зная, что единственным учреждением, которому прорыв угрожал опасно-

* Этим корпусом все лето 1915 г. командовал генерал Добротин, а Терской казачьей дивизией генерал Арутюнов.

стью, был 6-й земский отряд кн. Волконского, расположившийся в этом районе за день до этого, я решил сряду, хотя весь день был в разъездах, ехать дальше и предупредить земцев, дабы потом совесть не мучила меня, что я их бросил на произвол судьбы. Сменив автомобиль и взяв другого спутника, я помчался дальше. На дороге паники уже не было, и от нее оставались следами лишь две-три опрокинутые повозки. По дороге встретились мне уланы Его Величества, но австрийцев, как выяснилось, никто не видел. Земцев на месте я уже не застал – их своевременно предупредил штаб Заамурского корпуса, и они ушли заблаговременно. Редко когда так уставал я, как в этот день, когда к чисто физической усталости присоединялось волнение за наше общее, а в частности и краснокрестное положение. В Управлении в ту ночь я был уже только под утро.

Кажется, на следующий день я встретил на шоссе ряд грузовиков с батальонами 32-й дивизии, которых спешно перевозили к Нижнёву, а еще через день была произведена попытка оттеснить здесь австрийцев от Днестра. Хотя немного их и потеснили, однако значения это не имело, и через несколько дней мы оставили окончательно Нижнёвский плацдарм австрийцам. В утро этого нашего последнего наступления я съездил в Нижнёв узнать, что там происходит. Австрийцы обстреливали тяжелыми снарядами малозастроенную сторону ущелья, в котором находится Нижнёв. Самый городок и шоссе, проходящее через него, не задевались, и я мог совершенно спокойно проехать до монастыря, где мы несколько дней тому назад жили и где теперь помещался какой-то перевязочный полковой пункт. Оставив здесь автомобиль, я прошел дальше в гору, следом за шедшим на позиции батальоном Старооскольского полка. Наверху стояла наша батарея, изредка постреливавшая. К сожалению, пройдя еще немного дальше, я все-таки, вследствие холмистости местности ничего выяснить не мог. Бой был только слышен, но не виден. Даже разрывы наши происходили где-то за горой.

В Монастыржиске я оказался в очень неудачных условиях связи с нашими учреждениями, и посему через несколько дней перебрался с Управлением в Бучач. Говорю «с Управлением», хотя по-прежнему оно оставалось столь же малым и перебиралось если не в двух, то в трех автомобилях, к которым только присоединили после Станиславова еще одну двуколку. Третий автомобиль появился у нас вместе с уполномоченным В.И. Кринским, тоже членом Гос. Думы; в моем деле он оказался мне совершенно бесполезным, ибо был человеком очень ограниченным и не энергичным.

На фронт он попросился, по-видимому, только для того, чтобы избавить свой автомобиль от реквизиции, и был очень недоволен, когда его машине задавали гонку наравне с другими. Вскоре, впрочем, с уходом Черкасского, я назначил Кринского на его место, и автомобиль его постигла общая участь всех краснокрестных автомобилей.

В Бучаче мы устроились в усадьбе гр. Потоцкого. Владелец имения, молодой человек, отзывы о котором были довольно средние, до самого последнего времени жил здесь, но незадолго до нашего переезда ему было предложено уехать в тыл, что он и выполнил. Усадьба, расположенная несколько в стороне от города, на склоне холма, была в полном порядке; производило впечатление, что и из дома ничто убрано не было, разве только со столов. Первоначально, до перехода в Бучач и штаба корпуса, следовавшего примерно через неделю после нас, мы разместились очень просторно, и потом нам пришлось потесниться в двух небольших комнатках.

Бучач расположен очень красиво на холмах, между которыми извивается речка, и на одном из которых расположены очень живописные руины старинного замка еще времен войн с турками. В стороне от города, под кладбищем, была расположена женская гимназия, в которой поместился отряд вел. княгини Ксении Александровны. С персоналом его мы все успели ближе познакомиться, а в долгих разговорах с ним проводили подчас скучные вечера. В этом году и май, и июнь были дивно хороши, и часто в Бучаче я вспоминал по ночам фразу Гоголя, о том, как хороши украинские ночи. Действительно, при луне, особенно здесь яркой, в теплом, пахучем воздухе, около фантастических руин было на редкость и красиво, и уютно. Не верилось как-то, что где-то совсем недалеко люди дерутся, убивают друг друга. Да то же ощущение уюта было у меня и в других местах Галичины в эти теплые, светлые ночи.

За время пребывания в Бучаче у меня осталась в памяти попытка австрийцев перейти через Днестр и укрепиться на левом его берегу. Не помню уже названия деревни, где они переправились через реку и в которой засели, но только сразу же началось их выбивание оттуда. Переправа через реку была взята нашей артиллерией под обстрел, и переправившиеся австрийские части были отрезаны. Им, однако, удалось продержаться почти трое суток, прежде чем эта деревня была вновь нами взята. Под вечер второго дня боя здесь, мы с Люцем поехали в направлении боя, но правее атакуемой деревни. Мы думали, что находимся еще далеко от линии боя, как выделившийся из-за деревьев казак махнул нам рукой. Оказалось, что мы попали уже в передовую цепь.

Пройдя еще каких-нибудь шагов двадцать, мы в бинокль казачьего урядника могли рассмотреть внизу, в пойме Днестра, австрийские окопы, жизни в которых, однако, видно не было. Вместе с тем выяснилось, что уже верстах в полутора левее находится и деревня, в которой сейчас идет бой.

Поэтому, повернув автомобиль и отъехав шагов 500, мы вновь вылезли из него и прошли шагов 50 немного вверх к пустому заброшенному и несколько разрушенному фольварку, от которого нам открылась совершенно исключительная картина: атакуемая нами деревня находилась верстах в двух. Левее же ее, по ржаному полю, верстах в полутора наша пехота (части 32-й дивизии) производила перебежки, понемногу, но очень медленно приближаясь к австрийцам. Над нашими цепями, в которых нам были видны простым глазом все отдельные фигурки, затем пропадавшие во ржи, одна за другой разрывались австрийские очереди. Как всегда рвались они очень высоко, и сказать, несли ли наши значительные потери, было трудно. В деревне, кроме шрапнелей, рвались наши тяжелые снаряды, поднимались в ней столбы бурого дыма и пыли. Ни разу не пришлось мне быть столь близко от боя, и картина его прямо захватывала, но уже темнело, и нужно было ехать домой.

Взята деревня была только через 36 часов приблизительно, и в тот же день я был в ней. К крайнему моему изумлению разбита она была гораздо меньше, чем можно было ожидать. Пленные были уведены, трупы были уже убраны, и только валялась убитые лошади. Шрапнели продолжали рваться над деревней, но на этот раз уже австрийские, да и то изредка, как бы лениво.

Кроме этих боев, в июне в 9-й армии столкновения происходили значительно левее, где австрийцы потеснили нашу кавалерию и заняли несколько сел Хотинского уезда. Потом их оттеснил отсюда Заамурский корпус, пока его наступление не было остановлено около какого-то замка, так и называвшегося Шлёсом. Легкие гранаты его не брали, а тяжелых орудий у нас здесь еще не было. В результате все попытки атаковать его второочередной дивизией оказались напрасными и имели последствием только тяжелые для нее потери.

Уже к середине июня выяснилось, что на линии Липы нам не удержаться, и я получил указания об отводе тыловых краснокрестных учреждений на линию Проскуров-Каменец-Подольск, причем, однако, Проскуров отходил в район 11-й армии, а затем между 11-й и 9-й армией должна была еще стоять новая, 7-я армия, штаб которой находился до тех пор в Одессе и которая имела первоначально своей задачей оборону Черноморского побережья, а

затем, по-видимому, и высадку около Константинополя. Галицийский наш разгром заставил отказаться от мыслей о высадке, а с другой стороны операции на Черном море развивались для нас благоприятно, и вот 7-я армия, или вернее ее штаб, и был двинут на Галицийский фронт. В ожидании высадки в Одессу с Кавказа была перевезена 5-я Кавказская стрелковая дивизия; теперь она была переброшена в Хотинский уезд и выбивала отсюда австрийцев. Как-то я был здесь в нашем транспорте, недавно пришедшем в мое распоряжение и который я этой дивизии придал. В этом транспорте большинство санитаров были молокане. Несмотря на обычно хвалебные о них в наших левых кругах отзывы, здесь о них отзывались скорее отрицательно. Тут же из разговоров с военными мне пришлось впервые услышать про сильное дезертирство в маршевых ротах и притом не в рядовых армейских частях, а и у пластунов, считавшихся отборными частями. Один молодой офицер, только что приведший с Кубани роту на укомплектование этих великолепных частей, рассказывал мне, что у него по дороге отстала почти треть ее.

Тыловых учреждений у меня, кроме Склада, было всего два госпиталя, оба расположенные в Тарнополе. Объехав весь район, я убедился, что кроме Каменец-Подольска их, безусловно, некуда больше поставить. Сознаю, что переводил я их туда очень неохотно, ибо в случае дальнейшего отступления они оказывались там как в западне. Во всем этом районе не было ни железной дороги, ни шоссе, кроме идущих от Каменца на Троекуров, да и то железная дорога туда еще только заканчивалась. Из Галиции к нашей границе шел ряд шоссе, но дальше они не продолжались, кроме шоссе от Волочиска до Проскурова и от Жванца до Каменца. В первую мою поездку сюда я проехал на Гусятин по очень сносному австрийскому шоссе, видел развалины этого городка после боев, имевших здесь место в самые первые дни войны, и затем попал на грунтовую дорогу, очень жесткую и неприятную.

Каменец-Подольск поразил меня своим смещением трех стилей – турецкого, польского католического и нашего казенного Николаевского. Как расположение – нигде такой оригинальности в России я не видел: белые обрывы и скалы в самом центре города, со старинными стенами и башнями над ними, извивающаяся по городу река – все это производило прямо редкое впечатление. Размещение здесь наших учреждений встретило некоторые затруднения, ибо распоряжаться в своем городе так, как в Галиции, у себя было невозможно. Штаб армии из Тарнополя перешел в имение графа Голуховского, бывшего австрийского министра

иностранных дел, расположенное на самой границе, кажется, не далеко от Гусятина. Меня поразило, как это имение хорошо сохранилось: как будто война и не шла вокруг него уже целый год. Здесь побывал я раза два до моего отъезда из армии. Отношения в штабе армии со всеми у меня оставались хорошие, но прежней сердечности и простоты первых месяцев войны уже не было.

Да, нужно сказать, что и в среде самого штаба отношения были уже не те. Считали, что Лечицкий находится под влиянием подполковника Суворова и прислушивается к наущничанью своего ординарца гр. Буксгевдена, которого поэтому очень остерегались. В генерал-квартирмейстерской части появилось почему-то враждебное отношение к Головину, которого его подчиненные называли интриганом и с которым старались иметь только служебные отношения. Как-то здесь у Головина мне пришлось перед подробной картой расположения всего нашего фронта слышать его предположения о ближайших боевых действиях немцев. Сейчас я не помню их, но общее впечатление осталось, что дальнейшее оправдало его предсказания. В то время Головин утверждал, что он, еще недели за две до начала Галицийского наступления австро-германцев, послал тогдашнему генерал-квартирмейстеру штаба фронта генералу Дитерихс записку, в которой предсказывал, что удар будет направлен на нашу 3-ю армию и что затем, вбивая все глубже свой клин, неприятель заставит нас отходить все дальше и дальше. Однако Дитерихс ответил, что это предположение Головина не оправдывается имеющимися в штабе фронта данными. Головин показал мне и ленту своего разговора по аппарату с Дитерихсом, но аргументов его я не помню. В то время в армии упорно говорили, что начальник штаба фронта генерал Влад. Драгомиров сошел с ума, и этим объясняли многие наши неудачи. Вскоре Драгомиров и был сменен, но потом получил вновь корпус. Я видел его только раз, ночью в Мехове, когда мы оттуда отходили, и тогда он произвел на меня какое-то угрюмое впечатление; любовью он, во всяком случае, не пользовался.

Заговорив о разных предположениях о будущих военных операциях, вспомню еще про рассказ генерала Занкевича, тогда начальника штаба 18-го корпуса, а раньше военного агента в Вене, о больших маневрах, бывших в Галиции года за 2-3 до войны в присутствии императора Вильгельма. Тогда армия, изображавшая русских, наголову разбила «австрийцев», причем все произошло совсем так, как это было в 1914 г. Командовали обеими сторонами тогда генералы, игравшие видную роль во время войны.

После отъезда из Тарнополя штаба армии мне пришлось быть в нем, между прочим, в день, когда выпускался спирт из местных складов. Чтобы его не пили, его выпускали в сточные трубы, а у выхода из последних поставили казаков. Тем не менее, в городе была масса пьяных; рассказывали, что караульным казакам давали бутылки, и за 50 коп. они наполняли каждую той бурдой, которая вытекала из сточных труб. Приблизительно в эти же дни мне пришлось быть в последний раз в Бржезьянах, куда отошли наши отряды из-под Галича. Мы отходили отсюда почти без боев, не думая, что через год, под этими самыми Бржезьянами окончательно разобьется наступательный порыв наших войск, во время большого Брусиловского наступления 1916 г.

Закончив на этом записи о моем пребывании в Галиции, я коснусь еще двух вопросов – отношения к евреям высшего военного начальства и посещения нас всякими знатными визитерами. До июня еврейского вопроса мы не знали; отношения войск к евреям и обратно было менее чем дружественным, но, тем не менее, ни погромов, ни случаев нападения на войска со стороны евреев (как в Станиславове) почти не бывало. Поэтому совершенно неожиданным явилось распоряжение Ставки Верховного Главнокомандующего о выселении всех евреев из прифронтовой полосы. В Бучаче как-то, возвращаясь городом уже около часа ночи, я был удивлен, услышав вдали барабанный бой. Оказалось, что по улицам идут два барабанщика для оповещения всех евреев, что они должны через 6 часов – в 7 часов утра – все выселиться из города, ибо последовало распоряжение о высылке всех их вглубь России. Действительно, утром началось переселение евреев под конвоем нескольких казаков. Можно себе представить, что это было, ибо выселяли их одновременно по всему фронту; все дороги были заняты евреями. У гражданского населения лошадей оставалось немного, железная дорога в Галиции была занята военными перевозками, и посему очень многим евреям пришлось двинуться в путь пешком. Не знаю почему, но в пути, уже часа в 2-3 дня было получено распоряжение об отмене выселения, и все евреи двинулись обратно, и уже поздно ночью Бучач успокоился. Говорят, что все хорошо, что хорошо кончается, но в данном случае кончилось хорошо не всё, ибо двое старых евреев умерли внезапно в этот день от сильного потрясения. После этого евреев выселяли, но уже не огульно, а лишь наиболее привлекавших к себе внимание контрразведки. Не могу, однако, умолчать, что враждебность к евреям наблюдалась подчас и не только у интеллигентов, но и у солдат; до поры до времени дисциплина предупреждала эксцес-

сы, но с падением дисциплины после марта 1917 г. начались и погромы, вроде Калушского, столь «прославившегося» в летописях 1917 года.

В Станиславове побывали у нас два «знатных» гостя – наш главноуполномоченный Б.Е. Иваницкий и председатель Гос. Думы М.В. Родзянко. Оба они дальше Станиславова на фронт не забирались, осмотрели некоторые лазареты, имели разговоры с корпусными командирами. Иваницкий разнес какой-то военный автомобильный транспорт, встреченный им на дороге, за быструю езду; и через день оба исчезли. Родзянко и тут играл свою обычную роль чуть ли не первой персоны в России, был очень доволен, что Заиончковский всячески ухаживал за ним, но сомневаюсь, чтобы особую пользу от посещения нас он мог для себя извлечь. С Иваницким приезжал д-р Н.Н. Исаченко, очень милый и остроумный человек, у которого уже тогда начиналось отмирание пальцев от занятий радиографией. Никто, как он, не умел справляться и ладить с Иваницким.

Из лиц, с которыми мне пришлось еще познакомиться в Станиславове, упомяну еще очень милого офицера-англичанина, прикомандированного к штабу 30-го корпуса – некоего Блера, и хирурга-профессора Киевского университета Волковича. Последний, приезжавший к нам уже в Кельцы, был уже человеком пожилым и, по-видимому, хирургию знал больше теоретически, чем практически; по крайней мере, операции он делал очень медленно, и часто удивлял наших молодых врачей, дружно утверждавших, что такая работа при сколько-нибудь значительном наплыве раненых невозможна; кроме того, он старался избежать наркоза, и благодаря этому зря мучил раненых, которые умоляли не давать их ему. Проездом был у нас как-то Одесский хирург проф. Сапешко, тоже уже старик и большой оригинал, с характером далеко не легким. Отмечу еще один крайне неприятный случай за это время. В Тарнополе меня попросил как-то подвести в Бучач новый уездный начальник граф Кронгельм. В дороге какой-то крестьянин не смог сразу дать нам дорогу, возможно, что напугалась его лошадь, но Кронгельм сразу выскочил из автомобиля и стал бить крестьянина стеком. Пришлось резко остановить его и добавить, что такое обращение не поднимает престиж русского имени.

В начале июля должна была быть созвана Гос. Дума и мы вместе с Люцем решили ехать в Петроград. Перед отъездом побывал я у Лечицкого, который принял меня в присутствии Санникова и заговорил о наших неудачах. Требуя от меня, чтобы я определен-

но добивался усиления снабжения армии всем ей необходимым, прямо и определенно он добавил: «Ну, а без ответственного министерства не возвращайтесь сюда». Санников молчал, но производило впечатление, что он сочувствует этим словам командарма. Оба меня поразили тогда особенно потому, что об ответственном министерстве в широкой публике разговоры еще только начинались, сам же Лечицкий никогда ни в какие политические разговоры не вдавался. Очевидно, Галицийская катастрофа произвела на него глубокое впечатление.

Поехали мы с Люцем через Каменец-Подольск и Проскуров. По дороге в последнем нам сообщили, что незадолго до нас по шоссе из Каменца проезжал профессор-хирург Оппель и его автомобиль вылетел на крутом повороте за канаву. Все обошлось благополучно, Оппель только поцарапал слегка руку и лицо, причем к общему тогда всех изумлению сразу потребовал первым делом вспрыскивания ему противостолбнячной вакцины.

От Проскурова шел в Киев скорый поезд, в котором нам удалось еще сравнительно легко достать лежачие места. В Киеве в два дня удалось мне сбить все дела в Управлении Главноуполномоченного. Иваницкий держал себя здесь по-министерски, и в городе ходило немало анекдотов про то, как он то на одного, то на другого накричал. Уже кто-то из его сослуживцев начал от него уходить, не будучи в состоянии вынести его все более резкого обращения.

Через сутки я был в Петрограде, где сразу охватили меня другие впечатления. Уже в январе атмосфера значительно отличалась здесь от фронтовой, теперь же тут почувствовалось совсем другое настроение. На фронте мы знали, чего у нас не было, что нам было нужно, а здесь стали обдавать и меня, и других приехавших с фронта целыми потоками разных прямо уголовных сведений о бездеятельности разных управителей Военного министерства и, конечно, главным образом Главного Артиллерийского Управления. К этому времени или как раз в это время, был уже удален Сухомлинов и заменен Поливановым, и против первого из них уже было начато уголовное преследование. Поливанов всецело пошел навстречу работе с Гос. Думой, из числа членов Законодательных Палат и чинов разных министерств были образованы несколько особых Совещаний – по Обороне, (которое уже энергично работало в мае), по Продовольствию и по Топливу. Сессия и свелась к обсуждению законопроектов об этих Особых Совещаниях и к подробному обсуждению в Комиссии Государственной Обороны вопросов о всех нуждах армии. В Комиссии этой участвовали те-

перь и левые, ранее в нее не допускавшиеся. Председателем ее был, как я уже упоминал, А.И. Шингарев, и работа в ней пошла очень дружно, причем представители Военного и Морского министерства шли полностью навстречу нашим запросам.

Это было время расцвета увлечения общественностью, и почти все искренно думали, что Военно-промышленный Комитет и Земский и Городской Союзы смогут действительно сделать что-нибудь крупное. Самым серьезным вопросом был, несомненно, вопрос о снарядах. Еще в мае Ставка поставила требование о доставке на фронт ежемесячно не менее 60 парков (т.е. 1.800.000 легких снарядов), но уже в июне число их было повышено до 108, а позднее и до 130. Когда мы съехались, уже многое было сделано, но об удовлетворении полностью требований Ставки еще и речи не было. Только зимой можно было рассчитывать подойти к первому их требованию о 60 парках. Производство ружей было все еще ничтожно, и приходилось закупать ружья, где угодно. Некоторые части вооружались захваченными австрийскими ружьями, некоторые японскими, для запасных частей покупались ружья в Италии, образец которых там в армии был заменен другим. Заказывались ружья нашего образца в Америке, но как скоро выяснилось, там и заводов соответствующих не было, и они еще только начинались постройкой на имеющие быть выданными нами задатки. Изготовление легких орудий было тоже еще ничтожно – что-то около 25 штук в месяц.

Наконец, в отношении снабжения нас тяжелой артиллерией, все надежды были только на союзников, как в отношении орудий, так и снарядов к ним. В общем, картина, показанная Комиссии Гос. Обороны и еще раньше нашим сочленам – участникам Особого Сопровождающего по обороне представителями Военного министерства была очень печальна. Армия истекала кровью, кадры ее растаяли, а пополнить ее было нечем, ибо не было людей и в запасных батальонах; и с призывом следующих групп министерство запоздало. Но при призыве их в запасных батальонах нечем было обучать новобранцев – не было даже и патронов для учебной стрельбы. Растаяли и офицерские кадры; необходимо было их пополнить молодежью, и в первую очередь из высших учебных заведений, проводя их через краткосрочные офицерские курсы. Но пока в армии имелся ужасающий некомплект офицеров, пополнить который было нечем.

Вообще всюду получалось впечатление, что в течение первого полугодия войны Военное министерство спало и проспало самое драгоценное время, которое теперь нагнать было невозможно.

Особенно преступно вело себя Главное Арт. Управление, где бездеятельность сочеталась с злоупотреблениями. Особое Совещение по Обороне, с которым пошел рука об руку новый военный министр Поливанов, порасшевелило этих господ, но пока еще результаты не сказывались. Впрочем, во время наших заседаний в Комиссии Гос. Обороны лично у меня создалось впечатление, что самые тяжелые минуты мы уже пережили, как показало однако дальнейшее, далеко не точное. Вполне понятно, что если даже на фронте, у генерала Лечицкого могла под влиянием наших неудач явиться мысль о необходимости политических перемен, что она явилась и в тылу в законодательных учреждениях.

Уже с первого дня сессии начались разговоры о принятии в Общем Собрании Думы резолюции о необходимости создания ответственного министерства. Хотя этот вопрос единодушия в среде членов Думы не встретил, однако, значительное их большинство объединялось на мысли о том, что идти дальше так, как они шли до сих пор, дела не могут, что необходимы перемены в общем строе правительства и что в первую очередь необходимо удаление Горемыкина, дряхлость и безразличие которого в такое тяжелое время делали его совершенно неподходящим. Вопрос об ответственном министерстве явился первым серьезным испытанием прочности этого блока. Увы, уже на нем единодушия не получилось. Большинство партий блока признавало несвоевременным обострение этого вопроса сейчас, считая, что не в разгар войны следует проводить столь серьезные реформы. Однако, с этим взглядом не согласились прогрессисты, и все-таки в общем собрании Думы высказались за ответственное министерство. Сответствующий переход к очередным делам был, однако, отклонен подавляющим большинством голосов, и Дума высказалась лишь за правительство, пользующееся общественным доверием. От кадетов возражал тогда Милюков, а земцами-октябристами было поручено сделать заявление мне. В нашем фракционном собрании я указал, что я смогу выступить только, если будет одобрена моя мысль о том, что принципиально мы стоим за ответственное министерство и после войны будем за него бороться, но сейчас, в разгар военных действий, мы считаем несвоевременным настаивать на нем. Фракция меня на такое заявление благословила, и я его сделал. К величайшему моему удивлению, мое заявление вызвало потом во фракции несколько возражений, из которых наиболее страстным было возражение Ип. Капниста. Он потребовал обсуждения этого вопроса вновь во фракции, но последняя осталась на моей стороне.

Разногласие наше с прогрессистами не разорвало блока, ибо всем была известна характеристика этой фракции. Это были почти сплошь индивидуалисты, не признающие ни партийной, ни какой-либо иной дисциплины, люди большею частью очень порядочные, но вносящие сумбур во всякую организацию. Уже раньше неоднократно прогрессисты сбивали все расчеты и предположения при спорных голосованиях, когда голоса их распределялись обычно весьма случайно. Впрочем, на этот раз они голосовали очень дружно за немедленное создание ответственного министерства. К сожалению, наше голосование учтено тогда не было, не было понято, насколько народное представительство было тогда готово идти по одному пути с правительством и Верховной Властью, и с каждой следующей сессией отношения все только обострялись.

Во время этого моего пребывания в Петрограде ко мне обратился А.А. Ильин и сообщил, что главноуполномоченный Красного Креста при армии Северо-Западного фронта, генерал Е.Н. Волков оставляет вскоре свою должность, ибо должен вернуться к исполнению своих прямых обязанностей начальника Кабинета Двора Его Величества, предложил мне занять его должность. Я принял это предложение, попечительница Красного Креста Императрица Мария Федоровна изъявила свое согласие на направление Военному министру соответствующего предложения Главного Управления, и я помчался опять в Галицию.

Нового здесь было мало; рассказали мне только про не бывавший еще в 9-й армии факт, что на Днестре, выше Залещиков, в сущности без боя, сдались австрийцам 6 батальонов дивизии генерала Парского. Раньше эта дивизия (кажется из 80-х) дралась очень сносно, причем сам Парский держался все время очень хорошо. Теперь, с укомплектованием ее из запасных батальонов, они потеряли прежнюю стойкость, и достаточно было ничтожного натиска, чтобы 6 батальонов подняли белый флаг. Парский был сгоряча отдан под суд, оправдавший его, и это не помешало ему через полгода получить гренадерский корпус, где он быстро стал известен, главным образом, как пьяница.

Так как мое назначение еще не было оформлено, то я только частным образом кое-кому в армии сказал о нем, простился с ближайшими сотрудниками и через Волочиск и Проскуров поехал вновь в Петроград. Перед тем, как ехать на Северо-Западный фронт, мне пришлось, однако, взять на две недели отпуск и поехать на ревизию отделений Волжско-Камского банка, членом Совета коего я продолжал быть. Теперь подошла моя очередь

ехать на ревизию, все были очень заняты, я уже и так целый год почти не принимал участия в заседаниях Совета, и отказываться от поездки мне было невозможно. На мою долю выпала поездка в Астрахань и на обратном пути в Тамбов, Пензу и Борисоглебск. В Астрахань я проехал через Царицын, и оттуда пароходом по Волге.

Впервые пришлось мне плыть на Волжском пароходе, и у меня не оправдалось за эту поездку то общее впечатление, которое, по-видимому, у всех составлялось о путешествии по Волге. Жара жестокая, грязь в каютах, очень средний буфет и шум по ночам при приставании – все это отнюдь не создавало той обстановки, о которой обычно приходилось слышать. Кроме того, нижний плес Волги очень однообразен, так что и красотой природы увлекаться не приходится. Астрахань, где мы были рано утром, оказалась неинтересной: кроме Кремлевских стен и нескольких церквей (очень обыденных), старины в ней нет. Много приходилось мне слышать про очень живописный картинный характер местной толпы, в которой смешаны в одно целое Восток и Запад. Быть может, европейцу, никогда на востоке не бывшему, астраханские базары и интересны, но мне, видевшему и Туркестан, и Баку, и Тифлис, Астрахань показалась только жалкой их копией. Расположение города на низменных плоских островках, отделенных друг от друга широкими, но пустынными протоками Волги, исключительно некрасиво, улицы же ее, пыльные, плохо мощеные, не дают глазу, на чем остановиться. Быстро обревизовав отделение банка, я направился обратно по железной дороге, сперва по интересным искусственным сооружениям по дельте Волги, а затем унылой однообразной степью. Утром я был в Саратове, а на следующее утро в Тамбове. И здесь, и в Пензе я не задержался, хотя и обежал все в этих городах интересное. Старины в них нет, и главную их красоту составляют некоторые живописные уголки по рекам.

Борисоглебск, расположенный в черноземной пыльной степи, тоже ничего интересного не представлял, хотя и является одним из крупных и богатых наших уездных городов. Отсюда я увез из местной гостиницы уникум – «правила» для ее посетителей, или, как в ней именовали – «пассажиров», коим запрещалось, например, ложиться на кровати в сапогах, приводить с улицы женщин, предлагалось платить за номер вперед, в случае занятия его без багажа и т.д.

В Петрограде, по возвращении в него, я не засиделся, и, сдав свой отчет о ревизии в банк (все обревизованные мною отделения были в полном порядке), отправился в Минск, где находилось

в тот момент Управление Главноуполномоченного Северо-Западного фронта. Меня предупредили, что в мое распоряжение поступит особый вагон, который и был прицеплен к скорому поезду. С тех пор, в течение почти года, передвигался я в этом вагоне и по своему району, и в тылу его, и свyksя с этим своим вторым обиталищем, в которое обычно набирался ряд лиц, не нашедших себе иного помещения в поезде.

В Минске меня встретили помощник главноуполномоченного М.К. Якимов и начальник канцелярии Р. Гершельман. Якимов, чиновник министерства внутренних дел, в последнее время начальник одного из Отделов Главного Управления по делам Местного хозяйства, скоро ушел помощником к Самарину, главноуполномоченному Московского района. Очень аккуратный и работающий, мне он, однако, никогда не был особенно симпатичен, ибо был человеком холодным и более всего думающим о своей карьере. Гершельман до войны служил по судебному ведомству, и последнее время исполнял обязанности товарища прокурора Варшавской Судебной Палаты, приобретя себе в судебном мире известность блестящего обвинителя, успешным проведением сенсационных тогда дел гр. Роникера и барона Биспинга. Очень выдержанный, всегда одинаковый, Гершельман на первое время производил впечатление человека сухого, однако те, кто ближе с ним занимался, скоро убеждались, какое у него было отзывчивое сердце. Часто бывало, что, чтобы только не уволить человека, непригодного к тому или иному делу, сам выполнял его работу; это последнее ему облегчалось тем, что работоспособность его была совершенно исключительной. Около него всегда лежала папка неисполненных бумаг, которые он оставлял для ответа лично себе, и записок с пометками о бумагах, переданных им его помощникам и ими еще не исполненных. Приходил он всегда в Управление довольно поздно, зато работал в нем долго ночью, когда его не отрывали от работы и он мог сосредоточиться на наиболее серьезных вопросах. Прекрасный оратор, он и писал прекрасно; положиться на него было возможно во всем, и вполне естественно, что среди всех, знавших его, он пользовался уважением и любовью.

Якимов и Гершельман провезли меня в Управление, где я познакомился со своими ближайшими сослуживцами, и затем в некоторые наши учреждения. Описание их я начну с Управления. Помещалось оно на Захарьевской улице в помещении управления одной из служб Либаво-Роменской или Полесской жел. дорог. Кроме Якимова, у главноуполномоченного был еще помощник по Медицинской части – профессор Цеге-фон-Мантейфель.

Прекрасный человек и выдающийся хирург, как я уже говорил, Цеге был никуда не годным администратором; кроме того, как чистокровный немец, говорящий притом по-русски с акцентом, он был кое-где у военных под подозрением. Ввиду этого, еще до моего приезда был предreshен вопрос о его переходе на другую должность, каковую только изобретали и нашли в виде старшего консультанта при фронте. С тех пор Цеге больше разъезжал по фронту, иногда показывался в Минске, делал кое-где серьезные операции и затем вновь исчезал. По поводу этих его разъездов весной 1916 г. я получил из штаба запрос по поводу его, вызванный доносом на него в Ставку со стороны Пуришкевича, усмотревшего в нем шпиона. Конечно, такой донос на человека, безусловно, порядочного, лично хорошо известного Государю и Императрице Марии Федоровне, последствий не имел, но для другого немца он, конечно, так безрезультатно не прошел бы.

С уходом Цеге передо мной встал вопрос о его заместителе. Мне рекомендовали двух кандидатов – профессоров Бурденко и Миротворцева. Первый из них, человек очень солидный, работал все время в качестве консультанта при 2-й армии и очень поддерживался А.И. Гучковым, который после революции назначил его начальником главного Военно-Санитарного Управления, на котором он и стал известен всей России. Так как, однако, Бурденко предпочел остаться на чисто медицинской работе, то назначен был профессор Миротворцев. Человек еще молодой и красивый, он, как хирург, считался уступающим Бурденко. В начале войны он приехал из Саратова, где был профессором, в 4-ю армию, где его узнал Л.В. Голубев и взял к себе заведующим медицинской частью на Кавказ, когда его назначили туда главноуполномоченным, и оттуда теперь вернулся на Сев.-Западный фронт. В обществе Сергей Романович, женатый на известной певице Петренко, был человек веселый и любил проводить время в товарищеской компании. Весной 1916 г. у него появилась какая-то опухоль в животе, которую он постоянно сам прощупывал, подозревая в ней рак. Несмотря на отрицания его коллег, он похудел и ослабел, более доверяя своему собственному диагнозу. В 1922 г. в Варшаве мне сообщили о его смерти, однако, в 1947 г. мне пришлось прочесть о его 50-летнем юбилее врачебной деятельности. Помощником у Миротворцева остался занимавший эту должность с начала войны приват-доцент Юрьевского университета Хольбек, очень аккуратный и работающий немец, любящий Красный Крест и давно в нем работавший. На нем, в сущности, и лежала вся работа медицинской части, ибо начальник канцелярии ее, лаборант тоже Юрьевского университе-

та Б.В. Сукачев (написавший, как смеялись его коллеги, магистерскую диссертацию на тему о мужском детородном члене какого-то морского паука) был замечательным образчиком ученого, к повседневной жизни, хотя и усердного, но мало пригодного.

При медицинской части состояли консультанты – профессора-хирурги Арапов, Богораз и Бурденко, работавшие обычно там, где в них была нужда. В период затишья оба первые больше находились в Минске. Кроме того, в числе консультантов находился профессор химик Д.М. Лавров, специализировавшийся на изучении ядовитых газов и на борьбе с ними. Постоянно носился он по фронту, откапывая неразорвавшиеся немецкие снаряды с этими газами, анализируя их и производя опыты с ними. Как-то и я, надев маску, вошел в особый вагон, наполненный затем этими газами; выдержал я что-то около двух минут, после чего должен был выйти. Лавров ездил и на опыты пускания нами удушливых газов – в общем неудачных, и на места применения их немцами, весной 1916 г., к северу от Молодечно. К сожалению, и тут газы оказались сильнее масок, тем более, что отношение к последним было тогда еще очень небрежное.

Обособленно от Медицинской части стоял консультант, профессор Варшавского университета Игнатовский, ведавший эпидемической частью. В его ведении были все эпидемические и дезинфекционные отряды, а также острозаразный госпиталь в Минске, который он вел лично. В ведении Игнатовского была и бактериологическая лаборатория, руководимая приват-доцентом Недригайловым. Этот последний решил как-то, хотя и с оговорками, что смог выделить микроб сыпного тифа; об этом и его докладе в обществе врачей в Минске я сообщил Принцу Ольденбургскому, который сразу запорол горячку, прислав партию обезьян для опытов и требуя заготовления вакцины сразу на 100 лошадях. К сожалению, из всего этого ничего не вышло: микроб сыпняка оказался очень не стойким, сохранить его долго не удавалось, свежих больных больше не было (дело было уже к весне) и выделять его было неоткуда; обезьяны, благодаря той же весне, оказались крайне истощенными, и в результате ничего из всего этого дела не получилось.

Отмечу, кстати, что принц Ольденбургский делал все возможное, чтобы найти радикальный способ борьбы с сыпным тифом, посылая специальных лиц в Тунис, где директор Пастеровской станции тоже будто бы нашел этот микроб, но и там ничего не получилось. Если не ошибаюсь, то микроб сыпного тифа теперь относится к числу фильтрующих. Осталась одна борьба со вша-

ми, передающими сыпной тиф, которая и производилась тогда, в общем, довольно успешно. За всю зиму 1915-1916 гг. была на Западном фронте только одна, довольно значительная вспышка сыпного тифа недалеко от Полоцка, в партиях окопных рабочих, поставленных, как оказалось, в самые безобразные санитарные условия. Впрочем, и здесь справились с сыпняком быстро. Более распространился на фронте, особенно к северу от линии Молодечно-Полоцк, возвратный тиф, как известно передававшийся блохами, выводить которых крайне трудно. Поразительно пресекал эту болезнь сальварсан, но получать его можно было только из Германии, а немцы выпускали его только в обмен на другие продукты, необходимые им, но которые были только у союзников и которых уломать на этот обмен было не просто.

Летом и осенью 1915 г. довольно распространена была в 3-й и 4-й армиях холера (в остальных армиях ее было гораздо меньше), но с наступлением морозов она исчезла. Между прочим, от нее погиб начальник Санитарного отдела штаба 4-й армии (фамилии его я не помню); днем, во время обеда зашел он в холерный госпиталь, попробовал разносимую больным пищу, вечером заболел, а ночью умер. К весне, преимущественно на правом фланге фронта появилась цинга, но больше в легкой форме, тогда как на северном фронте она проявилась в гораздо более тяжелом виде. Появление этой болезни при, в общем, очень сносном питании войск, является для меня загадкой.

Несмотря на отрицание врачей, у меня все еще остается вопрос – не играет ли тут роль пока неизвестное инфекционное начало? Лично мне пришлось видеть цинготных больных в этом году только в 4-й армии, около Замирья, и в числе их нескольких довольно серьезных, с одеревеневшими ногами.

В ведении медицинской части состоял также резерв сестер милосердия, во главе которого стояла первоначально сестра Брянцева*. Еще не старая женщина, не профессиональная сестра милосердия, она, несмотря на свой тактичный характер и ум, почему-то не пользовалась в сестрической среде большим авторитетом. Ввиду сего, когда она попросила уволить ее ввиду довольно серьезной женской болезни, я не стал ее переубеждать и заменил ее старшей сестрой 2-го Георгиевского подвижного лазарета М.М. Иолшиной. Уже пожилая и коренная сестра Георгиевской общины, она благодаря своей доброте и мягкому, спокойному ха-

* Брянцева заменила приехавшую на эту должность в начале войны сестру Миркович, про которую ходили упорные слухи о ее приверженности к лесбосской любви.

рактеру, быстро приобрела всеобщие симпатии даже тех сестер, которые попадали в резерв за слишком легкое поведение в отрядах, откуда их за это отчисляли и которых мне приходилось за это отчислять часто дальше с фронта в общины.

Последствием этих отчислений являлось обычно лишение звание сестры милосердия, и поэтому применялось довольно редко и лишь по серьезным поводам, большей частью за легкость нравов. Нужно сказать, что если громадное большинство сестер вело себя прекрасно, то попадались сестры, которым, действительно, не место было в Красном Кресте. Самое курьезное дело такого рода поступило ко мне из Пинска, из штаба 3-й армии по поводу одного военного госпиталя, в результате покушения на самоубийство священника этого госпиталя. Как-то он переночевал в местной гостинице в одном номере с сестрой, с которой он жил. Старший врач сделал ему за это выговор, что так подействовало на батюшку, что тот и пустил себе пулю в грудь. Произведенное по этому поводу расследование выяснило, что все 4 сестры этого учреждения жили – одна со старшим врачом, другая с младшим, третья с заведующим хозяйством, и последняя со священником. Всех их я и откомандировал в их общины.

Еще в начале войны было запрещено сестрам служить в учреждениях, во главе коих стояли их мужья. Позднее стали, однако, наблюдаться отрицательные случаи иного рода – работа сестры в учреждениях при воинских частях, во главе коих стоят близкие этим сестрам лица. Это часто вызывало нежелательное вмешательство этих командиров во внутреннюю жизнь наших учреждений. Помнится мне, например, случай, бывший во 2-й армии, когда начальник одной из сибирских стрелковых дивизий, профессор генерал Ельчанинов страстно ввязался в дела нашего передового отряда, где его жена была младшей сестрой, а старшей была жена одного из полковых командиров.

В число сестер милосердия Красного Креста еврейки допускались лишь с разрешения Главного Управления. Несколько раз я за них и просил, и отказа не получал. Большею частью, однако, они направлялись не в Красный Крест, а к главному начальнику Снабжений Н.А. Данилову, и он давал им обычно записки в Земский Союз (особенно если они были хорошенькие), и их там сразу зачисляли.

Вся хозяйственная часть Красного Креста Северо-Западного фронта была сосредоточена первоначально в руках В.В. Ковалевского, бывшего заведующего продовольственной частью в Империи. Потом он ушел особоуполномоченным в 1-ю армию, и не

помню, кто его заменил. Мне пришлось вновь замещать эту должность, и я выбрал на нее управляющего Минским, бывшим Варшавским, Складом Красного Креста князя Н.И. Аматауни. Типичный армянин, человек очень усердный, он пользовался репутацией хорошего хозяина, но насколько он был удовлетворителен, как управляющий Складом, настолько экзамена на заведующего хозяйством он не выдержал. И у него была мания сокращать требования, что и тут вызывало такое же преувеличение запросов, как и в складе 9-й армии. Когда я приходил в склад, где порядок был всегда блестящий, то меня поражала всегда требовательность Аматауни к внешнему чинопочитанию. При хозяйственной части состояли резервы санитаров, и конский и автомобильные мастерские, которыми ведал инженер Войцев, от коего мне удалось скоро избавиться, сплавив его в Москву: это был очень яркий пример столь многочисленных у нас инженеров многоречивых, много проектирующих, но мало что умеющих толково наладить.

Пополнение санитаров происходило через их резерв, куда они поступали или из Главного Управления или – и это бывало чаще – от Дежурного генерала штаба фронта, должность которого занимал генерал Галкин, очень милый, простой человек, не производивший, впрочем, впечатления слишком мудрого. Смена санитаров происходила довольно часто, главным образом, конечно, вследствие заболеваний; впрочем, в большинстве случаев наши санитары всегда старались попасть обратно в свои учреждения. Кроме того, число учреждений все росло и требовались для них все новые и новые назначения людей. Большею частью к нам попадали теперь или раненые или старики; в числе последних встречались ополченцы, проходившие весь курс своего военного обучения в краснокрестных резервах и никакого понятия о военной службе не имевшие; не удивительно, что их выправка постоянно вызывала негодование строевого начальства.

Пополнение лошадей происходило через конский резерв, в котором происходило также лечение больных лошадей, а частью и выездка молодых. Дело в том, что к нам присылали лошадей из Самарского резерва Красного Креста, куда они поступали часто из степи и где их не успевали как следует объездить. Наш резерв сперва помещался около Смоленска в известном имении княгини Тенишевой – Талашкине, обстроенном в русском стиле. В мирное время здесь помещался и ее музей, однако теперь отсюда вывезенный. Грустно было смотреть на эту чудную усадьбу, изрядно испакощенную. Позднее конский резерв был расположен под Минском, тоже в усадьбе, но уже гораздо более скромной.

Видную роль играл в Управлении Контроль. Был у нас представителем Госконтроля шталмейстер А.В. Татаринов. Глубоко порядочный человек и совершенный джентльмен, он был несколько мелочен и давал иногда повод для нареканий на него, принимавших у Пуришкевича даже резкую и оскорбительную форму. В общем, однако, деятельность его заслуживала полной поддержки, которую я ему всегда и оказывая. Должен, однако, сказать, что больших непорядков наш контроль не обнаруживал, да их и не было в сколько-нибудь значительном числе, ибо с злоупотреблениями и главно- и особоуполномоченные вели постоянную войну. Для текущей ревизии в Управлении был отдел Контроля, коим ведал контрольный чиновник Гавдзинский. Когда я приехал, то нашел завалы непроверенных отчетов, которые ожидали отправки в Главное Управление. Отчеты эти уже проверялись большею частью в Управлениях Особоуполномоченных, где особенное внимание обращалось на проверку их по существу, в Управлении же Главноуполномоченного они проверялись больше внешне. Гавдзинский с двумя его помощниками работали очень усердно и ко времени моего ухода из Минска все завалы были ликвидированы. Гавдзинский обратил особое внимание на нашу собственную хозяйственную часть и ее закупки, и установил довольно твердо, что хозяйственность Аматыни скорее должна была бы быть определена как бесхозяйственность; начали мы с ним бороться, несколько раз собирались, чтобы установить, как от нее избавиться, но, увы, при всем добром желании изменить и улучшить свои порядки, Аматыни ничего не удалось сделать по его бестолковости.

Перечисляя все отделы Управления, я не упомянул пока нескольких лиц ближе всего пожалуй ко мне вместе с Гершельманом стоявших. Переходя на Сев.-Западный фронт из 9-й армии, я никого с собой не взял. Только на должность чиновника особых поручений я захватил из Петрограда В.М. Иславина, милого молодого человека, бывшего до того заведующим хозяйством нашего Новгородского лазарета; месяца через три он ушел, однако, юнкером в артиллерийское училище, и тогда у меня остался один «чин для поручений», бывший при Управлении и ранее – камер-юнкер граф Стефан Пржедецкий, занимавший позднее в Польше должность директора Канцелярии Министерства иностранных дел и умерший в Риме, где он был послом. Очень милый и услужливый человек, особым умом и образованием он не отличался; пользовался я им для мелких поручений по Управлению и для связи с польскими кругами и Комитетом Польского Красного Креста. Рядом с ним чинами для поручений числились еще два поляка – кня-

зья Радзивилл, один женатый на мексиканке, а другой, владелец Несвижа, на красавице американке, которая, впрочем, от него после войны сбежала. Оба они фактически у нас не работали, но так как они военной службе не подлежали, то я на это смотрел сквозь пальцы. Уже позднее я узнал, что в Красный Крест их привлекла возможность носить форму, что им давало кое-какое положение в отношении низших воинских чинов.

Ближайшими помощниками Гершельмана весь год пробывали начальники отделений Канцелярии Д.С. Ключарев и Троицкий. Оба хорошие работники и милые люди, они не выделялись из среднего уровня русских обывателей и были хороши на своих местах, главным образом, благодаря руководству Гершельмана.

После ухода Якимова передо мной встал вопрос о его замене. Перебрав всех моих подчиненных, я остановился на управляющем Витебским (бывшем Виленским) нашим складом, свиты генерал-майоре С.П. Мезенцеве. Артиллерист по образованию и службе, он в строю давно не служил, не был знаком со скорострельными орудиями, и посему не годился вновь на строевые должности. Человек очень искренний, деликатный и порядочный, он был, однако, очень скромн, что иногда ему вредило. Его любили, кажется все, кроме Аматауни, который не мог ему простить того, что не он был назначен помощником главноуполномоченного.

Приехав в Минск, я в первый же вечер познакомился с чинами Управления и с некоторыми учреждениями, а поздно ночью с Якимовым и Гершельманом стал разбираться в наиболее серьезных вопросах. Положение фронта, а с ним и Красного Креста было очень тяжелым. Уже с начала июня на Северо-Западном фронте шло отступление, и уже несколько назначавшихся для него пределов были перейдены. Не было уверенности, что теперь и мы скоро остановимся. Фронт наш проходил в этот момент, т.е. около 20-го августа, от Пинска, Барановичей, Лиды, Вильны, и дальше шел приблизительно на Митау. Штаб фронта находился в Барановичах, а главный начальник снабжения фронта с его управлением – в Минске. К последнему – все еще Н.А. Данилову – я и отправился сразу.

Встретились мы с ним хорошо; я знал, что с ним работать мне будет нелегко, ибо у моих предшественников установились с ним отношения очень холодные. При всей его дельности, у Данилова в эту войну появилось довольно рано заигрывание с так называемой «общественностью», и в результате этого приближение непосредственно к себе учреждений Городского, и особенно Земского

Союза, с ослаблением связи их с Красным Крестом. Понятно, что на этой почве настояния моих предшественников, добивавшихся соблюдения и закона, и соглашений Главного Управления Красного Креста с Союзами – особенно с Земским, встречали со стороны Данилова постоянное противодействие.

Когда я был назначен главноуполномоченным, то, проезжая через Москву, заехал к председателям обоих Союзов: Городского – М.В. Челнокову и Земского, кн. Г.Е. Львову. Первый прямо сказал мне, что их Союз признает свою полную подчиненность Красному Кресту на фронте и что соответственные указания даны их фронтовым комитетам. И действительно, председатель комитета Городского Союза на Западном фронте Н.Н. Щепкин всегда подчеркивал свою готовность работать совместно с Красным Крестом. Должен сказать, что со стороны Красного Креста, как при мне, так и при других главноуполномоченных, никаких поползновений разыгрывать начальство в отношении Союзов не было, и что посему со стороны Щепкина это было просто проявлением корректности. Со стороны Львова я с места слышал жалобы, главным образом, на моего предшественника Волкова и надежды, что со мной дела пойдут иначе. Пришлось ему ответить, что в 9-й армии я с земскими отрядами всегда ладил хорошо, но что для того, чтобы такие же отношения установились и на Сев.-Западном фронте, нужно, чтобы доброе желание этого было проявлено и со стороны главы союза там, Вырубова. К сожалению, при постоянной внешней любезности со стороны последнего, как будет потом видно, никакого желания установить действительно нормальные отношения не было, особенно благодаря поддержке его Даниловым. Обо всем этом мне пока не пришлось, однако, возбуждать вопроса, ибо на очереди стоял вопрос о том, где нам удастся остановиться.

Отступление шло, как мне показалось, довольно случайно, и планомерности в нем не было видно. При этом оно внесло уже значительное расстройство во все сообщения. Хаос был и на железных дорогах, и на телеграфе. На телеграфные запросы, посылаемые мною особоуполномоченным 5-й и 12-й армий, находившихся в районе Двинска и Риги, ответы часто получались через неделю. Ни управление Данилова, ни он сам хорошо не знали, что там происходит; не мог я точно знать от него, куда направлять отводимые в тыл госпитали. Было ясно только одно, что разместить в районе фронта всех их не удастся и что часть их нужно отвести в тыловой район, но сколько, откуда и куда, пока мне Данилов ничего сказать не мог. Ясно было только одно, что отступление будет еще продолжаться.

В эти же дни возобновил я знакомство с ближайшими сотрудниками Данилова – его помощником генералом и профессором Филатьевым, молчаливым и угрюмым человеком, говорят, хорошим работником, позднее бывшим помощником военного министра, и ген. Дерновым – начальником военных сообщений. Как я уже говорил выше, очень милый человек, он уже в начале войны совершенно потерял память и должен был решительно все записывать. Вскоре, в виду этого, ему пришлось оставить свою должность, в такое напряженное время требовавшую более живого, энергичного человека. С интендантом фронта генералом Немовым у нас были дела, ибо многое мы получали из интендантских складов. Пожаловаться на Немова мне ни разу не приходилось. Казалось бы, более всего Красному Кресту надлежало иметь дело с начальником Санитарной части, теперь В.Б. Гюббенетом. Человек, знакомый с войной еще по осаде Порт-Артура, где он пробыл все ее время, не лишенный административных способностей, он недурно справлялся с своими обязанностями. Однако, отношения его и к Красному Кресту, и к Союзам не было свободно от чувства некоторой зависти, и это делало наши отношения несколько лишенными сердечности. По «Положению о Полевом Управлении армией в военное время» главноуполномоченный Красного Креста был подчинен непосредственно Главному Начальнику Снабжений, в виду чего с Гюббенетом работа наша шла параллельно, с чем он помириться не мог и что, в сущности, было ненормальным.

Побывал я также у В.В. Вырубова. Член Пензенской Губернской Земской Управы и близкий родственник кн. Г.Е. Львова, он с начала войны пошел в Земский Союз руководителем его на Западном фронте. Не знаю до сих пор, каковы его политические убеждения – вернее всего, что он был просто карьеристом. Уже в Минске у меня были достаточные основания считать, что Вырубов давал несомненно преувеличенные и приукрашенные сведения о работе подчиненных ему учреждений. У генерала Деникина в его мемуарах я нашел указания на политическую странную роль Вырубова, тогда товарища министра внутренних дел Временного Правительства во время переговоров Корнилова с Керенским в августе 1917 г. Наконец, уже в Париже, в беженстве, ему пришлось уйти из Комитета здешнего Земгора; кроме того, в разговорах с ним, даже после обеда, за вином, у меня всегда было ощущение какой-то фальши с его стороны, которое заставляло быть с ним всегда настороже.

В Минске же застал я также Управление Главноуполномоченного организаций вел. княгини Марии Павловны; должность это-

го главноуполномоченного занимал К.П. Гревс. У организации этой на фронте был недурной госпиталь в Минске, руководимый известным хирургом доктором Кожиным, и большой передовой отряд на фронте, работавший, большей частью, в районе 4-й армии; кажется, на Юго-Западном фронте у них был еще один отряд. Жили в этом отряде более широко – устраивали они и торжественные фестивали по случаю официальных празднеств, и маленькие интимные приемы. И на тех, и других рекой лилось шампанское, частью вывезенное ими самими из Варшавы, частью получаемое ими от заведующего передвижением войск полковника Савченко-Маценко, очень милого и способного человека, но изрядного пьяницы.

При объявлении войны во всех пограничных таможах осталось лежать большое количество шампанского, принадлежащего заграничным фирмам и ими пошлинами еще не очищенного. Все оно при отходе было взято в распоряжение военных властей. Несколько вагонов досталось по распоряжению Данилова и Красному Кресту, но у нас оно было на строгом учете, у Гревса же, благо его запасы пополнялись без счета от Савченко-Маценко, расходование шампанского происходило без счета. Благодаря этому друзей у Гревса было немало, тем более, что человек он был общительный, не лишенный талантов. Между прочим, он обладал даром слова и умением писать. Денежная сторона организации, однако, обстояла, по-видимому, далеко не блестяще. Например, Данилов мне рассказывал, что ему пришлось потребовать удаления помощника Гревса камергера Кавелина, бравшего с Варшавских обывателей, часто евреев, крупные куши, по 3000-5000 р. за принятие их в санитары в их отряды. Позднее Гревс рассорился с Кожиным, и по жалобе последнего была произведена ревизия М.И. Старицким. Вскоре после нее Гревс из главноуполномоченных ушел, а когда еще скоро после этого в Минск приехала сама вел. кн. Мария Павловна-старшая, то она, без всякого с моей стороны повода, стала ругать Гревса, причем рассказала мне, что передовой отряд их организации был снаряжен на пожертвования Киевского миллионера Гальперина, на средства которого и далее содержался. При этом Гальперин, назначенный помощником начальника отряда и избавившийся благодаря этому от призыва в войска, заплатил будто бы 100.000 р., из коих, однако, в организацию поступило только 20.000 р.

Оглядевшись в Минске, я отправился в Барановичи представиться Главнокомандующему фронтом Эверту. Первое мое впечатление о нем было скорее неблагоприятное, благодаря некото-

рой внешней грубости, позднее, однако, я научился и ценить, и уважать его. Человек безусловно порядочный, умный и работающий, он любил военное дело и знал его. Быть может, он стоял несколько далеко от жизни войск и условий их работы, и судил о боевых событиях больше по донесениям, не видя самих боев, но я не знаю, как он мог бы на его посту ближе непосредственно подойти к боевой обстановке. Воля у него была, и требовать он умел, но у него было слишком развито – не знаю качество или недостаток – мнение о необходимости давать подчиненным проявлять свою инициативу. Говорили мне, что того же взгляда держался и вел. князь Николай Николаевич, и часто очень пассивно относился к бездействию его подчиненных. Что касается до Эверта, то дабы не стеснять инициатив командующих армиями, Эверт на моих глазах не вмешивался в распоряжения командующих армиями – на Нароче в марте 1915 г. и у Барановичей в июне того же года распоряжения, которые он, по словам Лебедева, признавал неудачными и мог еще изменить. Но об этом я скажу подробнее дальше, пока же повторю, что в лице Эверта я встретил одного из крупнейших наших военных 1-й Войны. На него очень нападали за то, что он не поддержал Брусиловское наступление, якобы из зависти, но я глубоко убежден, что этого чувства у него, безусловно, не было.

В тот раз разговор наш был довольно кратким, речь шла, главным образом, о беженцах, которыми были заполнены и Барановичи и все окрестности его. Часть их ожидала здесь посадки, часть проходила мимо на своих подводах. При отходе войскам было приказано гнать перед собой в тыл все население (приказ об этом я нигде не видел, а иные оспаривали его существование) и жечь все жилье, будь то помещичьи усадьбы или крестьянские дворы и деревни. По дороге часть крестьянского скота гибла, если не уничтожалась войсками, часть продавалась перед посадкой в поезд. Вполне понятно, что при массовом его предложении и малом количестве покупателей цены невероятно упали и, например, Пуришкевич покупал для своих отрядов лошадей по цене не выше 25 р., что вызвало негодование Эверта, сравнивавшего это с ростовщичеством. Среди беженцев начали развиваться заболевания, особенно холерой, ибо питание их было очень неудовлетворительно, далеко не всегда на питательных пунктах. Среди беженцев началась усиленная смертность, и около шоссе и всех беженских бивуаков начали появляться ряды крестов. Отправляли беженцев и в вагоны, и на платформах, сидели они и на крышах вагонов, и на буферах (картина тогда еще сравнитель-

но новая). Эверт, видя все это, очень просил меня обратить внимание на оборудование всех путей отхода беженцев сетью питательных и медицинских пунктов.

Побывал я в Барановичах и у начальника штаба фронта генерала А.А. Гүлевича, о котором я уже упоминал выше. Нашел я его в довольно унылом настроении. За несколько дней до этого при вступлении в должность, Эверт заявил ему, что, признавая его талантливость и знания, он сомневается, однако, чтобы они могли работать вместе, ибо у Гүлевича слишком сказывается в работе его индивидуальность, а ему, Эверту, необходим, главным образом, исполнитель его указаний. На это Гүлевич ему возразил, что именно, как исполнителя Эверт его не знает и посему он просит его испробовать, на что Эверт пока и согласился. Во всяком случае, положение Гүлевича оставалось очень неопределенным.

О нашем дальнейшем отходе я не узнал пока ничего точного. Выяснил я только, что штаб переходит на днях в Минск. Вернувшись сразу туда, я начал понемногу входить в текущую свою работу. Но уже через несколько дней выяснилось, что немцы усиливают свой натиск на Вильно, а сразу за этим получились самые тревожные телеграммы о перерыве железной дороги в тылу от Вильны у Ново-Свенцяи, и затем о боях к востоку от Вильны на линии железной дороги Вильно-Молодечно, а затем и о прорыве немцев к Вилейке, а их кавалерии почти до района Борисова. Вместе с тем я получил самые отчаянные телеграммы из Вильны от особоуполномоченного при 10-й армии К.А. Крузенштерна, заменившего незадолго до того в этой должности кн. И.А. Куракина. Крузенштерн, по близорукости оставивший военную службу, хотя перед тем и прошел, правда, по 2-му разряду, курс Военной Академии, служил с 1907 г. в канцелярии Гос. Думы и был делопроизводителем Комиссии Гос. Обороны, где я с ним и познакомился, как с очень добросовестным работником. Теперь он телеграфировал о перерыве большинства сообщений, затруднениях в эвакуации раненых и имущества и полном у него отсутствии денег. Сразу пошел я к генерал-квартирмейстеру штаба фронта П.П. Лебедеву, чтобы осведомиться о настоящем положении дел. Так как мы с ним еще с 1906 г. дружно работали вместе в комиссиях Гос. Думы, где он постоянно выступал представителем Военного министерства по вопросам о контингенте новобранцев и по Уставу о Воинской Повинности, и так как у нас еще там на работе по разным секретным вопросам установились очень хорошие отношения, то он очень откровенно ознакомил меня с положением и с теми мерами, которые принимаются, чтобы парировать

немецкий прорыв. Это было начало известной Молодечненской операции, которая так высоко поставила имя генерала Алексева. В тот день, однако, еще было неизвестно, во что она в точности выльется и, в частности, не ясно было, будем ли мы во что бы то ни стало удерживать Вильно. Одно для меня выяснилось, что Крузенштерну необходимо помочь, а так как в Минске положение Красного Креста в Вильне представлялось совершенно туманным, то я решил сразу поехать туда, что и выполнил в тот же вечер.

Прямая дорога через Молодечно в это время считалась прерванной, и посему я решил проехать поездом в Барановичи, взять там у перешедшего туда со своим Управлением Особоуполномоченного при 4-й армии Н.И. Антонова автомобиль и на нем ехать в Вильну через Лиду. В Барановичах положение за эту неделю сильно изменилось; все было заполнено беженцами, по шоссе трудно было проехать, и только Пуришкевич носился, как сумасшедший на своем автомобиле, опрокидывая беженские телеги и скотину, а подчас задевая и самих беженцев. Меня такое дикое отношение к беженцам крайне удивило, что я ему и высказал. На железной дороге был открыт Антоновым громадный перевязочно-питательный пункт, уже ранним утром работавший полным ходом. Несмотря на все мое желание выехать дальше пораньше, мне удалось выбраться только после полудня, так что в Лиде я был уже только в темноте. По дороге беженцев было мало, только в Новогрудке была незначительная их партия. В Лиде я был раньше в самом начале войны, когда здесь помещалось Управление Главного начальника Снабжений Северо-Западного фронта. Как с тех пор обстановка изменилась! Лида и так небольшое еврейское местечко, теперь была особенно грязной и заполненной всякими самыми разнообразными учреждениями. Здесь находилось и Управление Особоуполномоченного Красного Креста при 2-й армии. А.И. Гучкова не было, и его заменял его помощник, делопроизводитель канцелярии Гус. Думы И.И. Батов, тоже хорошо знакомый мне по Думской работе – человек очень толковый и ценный работник, но также очень молчаливый и мало заметный. У них в Управлении я и переночевал. Куда они двигаются, хорошенько никто не знал; пока было известно только, что и 2-я, и 1-я армии перебрасываются в район Молодечно-Полоцка и станут севернее 10-й, которая пока дралась севернее их. Для этого, однако, необходимо было опрокинуть сперва немцев из района Молодечно-Вилейка, находившегося в тылу от Лиды.

Утром 3-го сентября выехал я из Лиды пораньше и около 11 часов был в Вильне. Местность была пустынная, иногда только попадались отдельные беженцы. Приблизительно на полдороге я увидел слева, на идущей недалеко железнодорожной линии Вильна-Лида громадный поезд, вагонов в 120-130 с двумя паровозами спереди и двумя сзади, составленный самым странным образом и нагруженный самым разнообразным грузом. Шла эвакуация Вильны по единственному пока не перерезанному пути. Около Вильны было тихо, предместья ее были мертвы, да и сам город был мало оживлен. Боя поблизости не было слышно, хотя немцы стояли совсем недалеко от города. Крузенштерн, увидев меня, не хотел верить своим глазам; положение их казалось всем таким отчаянным, что они никак не предполагали, что главноуполномоченный может навестить их. Особенно обрадовали его привезенные мною, кажется, 100.000 р., ибо он сидел буквально без гроша.

Наскоро рассказал он мне про положение, действительно, невеселое: немцы наступали с севера и с запада, наши же пытались пробиться на востоке, отбросив их от линии Вильно-Молодечно. От него поехал я к командующему 10-й армией генералу Родкевичу, с которым мне пришлось познакомиться еще в начале войны, когда он командовал 3-м сибирским корпусом, человеку простому, но крепкому. Он меня уверил, что положение скорее улучшается и что раньше, как через два дня Вильна, во всяком случае, оставлена не будет. Затем поехал я к жене губернатора Веревкиной, еще в августе 1914 г. устроившей в доме генерал-губернатора прекрасный госпиталь, в который мы с нею и проехали. Отсюда уже увозили раненых, подлежащих эвакуации, и отбирали тех, для кого перевозка была равносильна смерти. Уже был отобран персонал, долженствовавший остаться с этими ранеными в городе при приходе немцев, к которому я, по просьбе Веревкиной, сказал несколько ободряющих слов, желая им успешно справиться с их нелегкой задачей. Из числа оставляемых раненых ко мне обратился один красивый унтер-офицер Л.-Гвардии Финляндского полка, тяжело раненный в живот, прося его эвакуировать, ибо, заявил он, финляндцы не должны попадать в плен. Мои слова, что его случай не подходит под это правило, видимо, его совсем не успокоили. Из госпиталя я вернулся пообедать к Крузенштерну, встретившему меня сообщением, что только что у заведующей Отделением Склада Красного Креста при армии сестры Ю.Н. Данзас (сестры моего школьного товарища) был ее большой друг, сам командарм Родкевич, чтобы ее первую предупредить о полученном им приказании к 6 часам оставить Вильно.

Наскоро пообедав в Управлении, я переговорил еще с Крузенштерном, отдававшим попутно последние распоряжения об эвакуации, заехал по дороге предупредить Веревкину, а затем посмотрел, что происходит на вокзале, где уже составов оставалось немного, и около 3-х часов выехал обратно в Лиду. Когда стемнело, справа в разных местах стали видны зарева – горели сжигаемые нашими войсками деревни и усадьбы. Одно время я их видел сразу не то 5, не то 6. Между прочим, потом мне рассказывали, что в этот период войны генералу Киселевскому, тогда командиру 3-й Гренадерской дивизии, пришлось отдать артиллерии приказ зажечь и разрушить его же собственную усадьбу. В Лиде я попал в поезд штаба 2-й армии, уходивший сразу в Барановичи. Так как я спешил вернуться в Минск, то отпустил автомобиль, на котором мог бы ехать дальше только утром, и спокойно уселся в прекрасное купе, в надежде утром быть в Минске. Увы! Рано утром мы оказались только в нескольких верстах от Лиды и в поезде, стоявшем где-то в поле, я услышал разговоры о том, удастся ли нам проскочить через мост на Немане, к которому уже подходят немцы. Недалеко от поезда стоял обоз, чтобы в случае нужды погрузить на него имущество штаба. Однако через мост мы перебрались благополучно, и часов около 10 на станции Молчадь нас нагнал поезд командующего 4-й армией генерала Рагозы, который перебирался со своей оперативной частью куда-то в район Столбцов.

Его поезд должны были пропустить вне очереди, и посему я пересел к нему, и благодаря этому около полудня был в Барановичах. Сразу побежал я просить прицепить мой вагон к поезду Рагозы, и через какой-нибудь час вместе с ним выехал дальше. Тут, однако, начался затор; на несколько десятков верст путь был сплошь заставлен поездами, ибо все запасные пути далеко за Минском были заполнены составами, эвакуированными со всех дорог Виленского и Барановичского узлов, и больше их некуда было пропускать. Положение оказалось столь безнадежным, что на рассвете Рагоза с ближайшими помощниками бросили свой поезд и поехали дальше на автомобилях. У меня этой возможности не было и пришлось томиться в поезде. Стояли мы бесконечно, в упор поезд за поездом, переходили из одного поезда в другой и, двинувшись, через версту-полторы останавливались вновь. Через сутки мы оказались только в 20 верстах от Барановичей на станции Погорелица. Здесь нас обрадовали, однако, что получено распоряжение гнать поезд, не останавливаясь, не обращая внимания на сигналы и с угрозой военного суда, если кто-нибудь задержит поезд. По-видимому, это подействовало, и утром сле-

дующего дня мы были в Минске. В общем, этот отход прошел на железной дороге благополучно. Был только один случай, что на уклоне поезд налетел на предшествующий и разбил несколько товарных вагонов.

В Минске меня встретили сообщением, что получено распоряжение об отходе всего Управления главного начальника Снабжений в Смоленск, куда мне сразу пришлось послать квартирмейстеров и от нашего Управления. Вместе с тем, нам было приказано снять госпиталь из Орши, куда намечался переход штаба фронта (Ставка должна была из Могилева перейти в этом случае в Калугу). Все эти меры были результатом продолжавшегося наступления немцев, и неизвестности еще, какие результаты даст Молодечненская операция. Еще через несколько дней, проезжая через Борисов, я видел здесь далеко беспокойное настроение и опасения налета немецкой кавалерии.

Самым сложным, конечно, был перевод нашего склада. Правда, прекрасное помещение для него нашлось и в Смоленске в виде казенного винного склада (кроме Волковыска, где для нашего склада были построены специальные бараки везде на Западном фронте, он помещался именно в винных складах), но получить вагоны было при хаотическом положении на железных дорогах, очень и очень нелегко. Тем не менее, все наладилось, и мы около середины сентября оказались в Смоленске. Странно и грустно было оказаться здесь нам – учреждению фронтовому: за год привыкли мы находиться в обстановке еврейско-польских городов и местечек, а здесь мы впервые оказались в чисто русской обстановке, среди воспоминаний об осадах Смоленска поляками и о боях 1812 г.

Управление поместилось в женской гимназии, какой-то из отделов – в мужском монастыре, лично я жил за городской чертой, в маленьком уютном домике генерала Столица. Кстати, коснусь здесь нашей краснокрестной жизни. У нас была своя общая столовая, в которую все собирались к часу дня и 7 часам вечера. Еда была очень простой, но сытной, вино, кроме исключительных случаев, когда всем давалось по стаканчику, не допускалось и обходилось все очень дешево. К обеду, в час дня, собирались все, а по вечерам многие отсутствовали. Лично я дорожил этой столовой, ибо она всех нас объединяла в одну семью; на службе были начальники и подчиненные – здесь же все были равны. Среди служащих было и несколько барышень. Одна из них, хорошенькая полька, значилась невестой какого-то офицера, но потом бросила службу у нас и чуть ли не пошла к этому жениху на содержание.

Очень сердечное, чисто отеческое отношение было у всех к одной молоденькой барышне, миленькой блондиночке лет 17, только что окончившей гимназию в Варшаве. Эта «Шурочка», как все ее называли, была под особым покровительством Гершельмана, заботившегося о ее здоровье (у нее были слабые легкие) и о ее материальном положении, причем оговорюсь, что ухаживания за нею не было, безусловно, никакого.

Еще до поездки в Вильно мною были приняты некоторые меры помощи беженцам. Район Минск-Орша был от них освобожден довольно быстро, но линия Пинск-Слуцк-Бобруйск-Рославль, где беженцы двигались походным порядком, была занята ими еще очень долго; кроме того, очень многие беженцы оседали поблизости от фронта в надежде при нашем продвижении вперед вернуться поскорее на свои пепелища. Военные власти всячески старались от них избавиться, ибо они занимали избы, в которые размещались войска, и распространяли среди них разные заразные болезни, ибо в той тесноте и при том недоедании, которое, несмотря на все меры, все-таки имело место, беженцы первые поддавались всякой инфекции. На линии Слуцк-Рославль, да и в других пунктах, был устроен целый ряд питательных пунктов Красного Креста и Земского Союза, через некоторые из которых, ближе к фронту, беженцы первоначально проходили тысячами в день.

Почти сразу после переезда в Смоленск, я отправился через Рославль на автомобиле в Слуцк. Уже в Рославле производилась очистка от беженцев, отправляемых дальше железной дорогой в тыл, приемка лошадей. Дальше по шоссе до Рогачева было пустынно, и только в Чирико была небольшая партия беженцев. Зато после Рогачева число их вновь увеличилось, а после Бобруйска, где я переночевал, число их было еще больше, особенно от Уречья, где их сажали частью в вагоны. Удручающе действовала масса свежесрубленных крестов на обочинах шоссе, большей частью на детских могилах. Наконец, в Слуцке все еще была главная масса беженцев, сосредоточенных в районе питательных пунктов.

Здесь нашими учреждениями руководил особоуполномоченный Красного Креста при 3-й армии Л.В. Кочубей, мой товарищ по 3-й Гос. Думе. Человек очень милый, но не слишком энергичный, он всегда производил на меня впечатление, что на него чрезмерно влияли его подчиненные, главным образом начальник канцелярии Карташевский, старший помощник пристава Гос. Думы; очень вредил Кочубею состоявший при нем некий (фамилию забыл) начальник отделения Кишиневской Казенной

Палаты, бывший раньше начальником канцелярии у особоуполномоченного 4-й армии. Очень заносчивый и чванный, хотя недурной работник и человек, считавшийся честным, он стал прямо нетерпимым на этом месте, и Антонов его сменил. Ему удалось, однако, разжалобить Кочубей, а тот взял его к себе в Управление, но ненадолго. Скоро Кочубей дал ему в управление отделение Склада Красного Креста при армии, разместившееся в чудном помещении Полевой Аптеки в Бобруйске, где он и успокоился. Впрочем, потом и там пришлось расстаться с ним, ибо Кочубей же уличил его в мелких злоупотреблениях.

В Слуцке познакомился я со штабом 3-й армии. Командир – генерал Леш, недавно переименовавшийся из Вильгельмовича в Павловича, производил впечатление армейского бурбона, не слишком умного, да и не слишком энергичного. Начальником штаба у него был генерал Баиов, профессор Военной Академии. Впечатление о нем у меня получилось, как о человеке сухом и формалисте. Следующая моя с ним встреча была в 1919 г. в Ямбурге, во время отхода белых от Гатчины. Каким он был тогда опухшим и прямо восковым от голодовки в Петрограде!

Из разговоров с Кочубеем и из всего, что я видел по дороге, я убедился, что необходимо всю беженскую помощь Красного Креста объединить в одних руках, что я и сделал, назначив для этого состоявшего в моем распоряжении подполковника Шпанова, очень толкового и хозяйственного человека, безукоризненной честности. Много сделать ему, впрочем, не пришлось, ибо ввиду создания особых правительственных главноуполномоченных по беженцам, все кредиты на этот предмет были переданы им, и Красному Кресту в них было отказано, почему работа Шпанова, начавшая было очень успешно развиваться, скоро совершенно замерла. Этих главноуполномоченных было два – по Северо-Западному фронту член Гос. Совета по выборам С.И. Зубчанинов и по Юго-Западному – тоже выборный член Гос. Совета князь Н.П. Урусов. Оба бывшие Губернские предводители дворянства, лично честные люди, со своим делом они не справились, особенно Зубчанинов, в районе которого и беженцев было больше, и условия работы тяжелее. Одной из причин их неудачи было то, что им пришлось использовать наиболее слабые чиновничьи элементы Западного края, лучшие из которых уже были разобраны в другие организации.

К помощи беженцам были привлечены земские начальники, а главным образом чины полиции. «Юго-беженец» как-то меньше вызывал к себе нареканий, но «Северопомощь», как ее окре-

стили – «Себепомощь», породила немало разговоров. Во многих случаях злоупотребления были несомненны, особенно когда речь шла о содержании лошадей или рогатого скота. Падеж его был громадный, и зарабатывать удавалось крупные суммы, просто затягивая исключение из ведомостей павших животных на несколько дней. Случалось, что лучшие животные обменивались местными крестьянами на худших, или, что было еще хуже, просто на кожи от их павшей скотины. Первоначально весь скот беженцев (а всего у них было принято более 800000 голов рогатого скота) был передан в ведение особого Уполномоченного Министерства земледелия, но последнее почти сразу должно было от этой задачи отказаться. Их представитель приехал с 200.000 р. и пришел прямо в ужас от сообщенной ему Даниловым цифры голов скота. Он рассчитывал, что его 200.000 р. ему хватит недели на две-три, а оказывалось, что их недостаточно даже на 2-3 дня.

В связи с появлением у военного ведомства массы кож, в этом периоде разыгрался в Витебской губернии большой скандал. Председатель местной Губернской земской Управы Карташов и член Гос. Совета по выборам Я.Н. Офросимов под флагом какого-то союза артелей по исключительно льготной цене получили от военного ведомства очень крупную партию кож для передачи их этим артелям, работавшим на армию. Передали они им, однако, как утверждали, лишь ничтожную их долю, а большую часть перепродали дальше уже по нормальной цене. По этому поводу был внесен запрос в Гос. Думу, и, если память мне не изменяет, Офросимов ушел тогда из Гос. Совета.

Были злоупотребления и в Красном Кресте на этой почве. Уже в первое время после моего вступления в должность я возбуждал уголовное преследование против уполномоченного при 10-й армии Ржевского. На Западный фронт этот господин попал с Кавказа, где его принял в Красный Крест Голубев по просьбе тогдашнего начальника штаба генерала Мышлаевского, кажется зятя Ржевского. С увольнением Мышлаевского и Ржевский вскоре предпочел с Кавказа удалиться, и по рекомендации Голубева попал в 10-ю армию. Здесь по приезде моем, еще кажется в Вильно, Крузенштерн рассказал мне про очень странный случай, имевший место с Ржевским незадолго до того: ввиду недостатка в лошадях в наших учреждениях, Крузенштерн поручил особой комиссии из 3-х знатоков лошади закупить их партию. Комиссия выполнила это поручение и поручила Ржевскому отвести лошадей в Управление Особоуполномоченного. По приводе их, однако, в тыл, оказалось, что доставленные им лошади сплошная ка-

лечь; отсюда возникло обвинение Ржевского в подмене лошадей, улики в чем, по мнению Крузенштерна, было вполне достаточно. Ввиду сего, отчислив Ржевского от 10-й армии, я сообщил об этом Главному Управлению для лишения Ржевского звания уполномоченного и возбуждения против него уголовного преследования. Вскоре я получил из Петрограда запрос и по другому делу Ржевского – оказывается, он не сдал несколько бланков провозных свидетельств и попался в торговле ими. Вскоре же после этого сей самый Ржевский оказался чуть ли не главным деятелем в намечавшемся министром внутренних дел А.Н. Хвостовым покушении на Распутина при участии Илиодора.

По возвращении в Смоленск, узнал я про разделение Северо-Западного фронта на два – Западный, на котором оставался я, и на Северный, на который был назначен главноуполномоченным член Гос. Совета А.Д. Зиновьев, совместивший эту должность с обязанностями главноуполномоченного Петроградского Тылового района. В руках главнокомандующего Северо-Западного фронта было сосредоточено до разделения семь армий и одно время еще три крепости. Справляться ему с этим было исключительно трудно, и посему и последовало разделение фронта на два. В Северный фронт отошли две армии – 5-я и 12-я. Скажу откровенно, что меня это выделение прямо обрадовало, ибо эти две армии были столь отдалены, что связи с их краснокрестными учреждениями у меня не было почти никакой. Их особоуполномоченных я ни разу за этот месяц не видел, а руководить ими, при полном бездействии почты и почти полном телеграфа совершенно не мог. Однако, еще до передачи мною моих обязанностей по этим армиям Зиновьеву, мне пришлось по требованию нового Главнокомандующего Северным фронтом генерала Рузского, основанному на «Положении о полевом Управлении армией в военное время» отчислить от должности старшего врача, находившегося в Пскове Евгениевского госпиталя (фамилии его не помню) за его якобы бестактность и отсутствие административных способностей. К сожалению проверить эти обвинения я уже не мог. Как выяснилось, причиной этого требования явилась жалоба Рузскому со стороны бывшей сестрой в этом госпитале вел. княгини Марии Павловны Младшей. Утверждали, что она находилась под влиянием одного из младших врачей, не ладившему со старшим, и пожаловалась на него Рузскому. Про этот инцидент великая княгиня говорит сама в своих мемуарах.

Уже около 25-го сентября положение на фронте установилось, Молодечненская операция была доведена до успешного конца, и

дальнейший отход был остановлен. Вместе с тем, остановился и отвод наших краснокрестных учреждений, началось их постепенное устройство и размещение, не всегда безболезненное, по отбираемым для них помещениям, часто учебных заведений, переводимых для этого в случайные помещения или стесняемых в нескольких классах, где им приходилось вести занятия в две смены. Мое положение было тут далеко не легким: с одной стороны мне отдавались категорические распоряжения Данилова разместить так-то такие-то госпитали, с другой же – ко мне летели жалобы и просьбы местных общественных учреждений. Впрочем, большею частью все улаживалось, и только в Вязме все время тянулись нелады между старшим врачом лазарета и директором гимназии, в которой лазарет был помещен. Ездил я туда, но примирить их мне так и не удалось, и пришлось воспользоваться первой возможностью уже к весне 1916 г., чтобы перевести этот лазарет вновь на фронт, когда подготавливалось там наступление наше на Кревском направлении.

Вскоре после этого начал я хлопотать о возвращении в Минск, ибо пребывание в таком далеком тылу, как Смоленск, было крайне неудобно и для меня, и для особоуполномоченных. Сперва Данилов был против этого, но затем мне удалось получить его согласие на переезд, и около 25-го октября я перебрался в прежнее помещение Красного Креста на Захарьевской улице. В Смоленске временно оставался склад и резерв санитаров и конский. Последними в это время заведовал впоследствии убитый во время революционных дней В.Г. Глинка, сын известного начальника переселенческого Управления Григория Вячеславича Глинки; позднее его заменил его помощник, очень толковый и бойкий прапорщик Саркисов. Недели через две после нас в Минск вернулся и Данилов с его управлением, а через некоторое время после этого появились у нас и оставленные временно в Смоленске части управления.

Понемногу познакомился я со штабом фронта. Я уже упоминал не раз про генерал-квартирмейстера П.П. Лебедева, теперь я познакомился и с его помощником полковником Самойло, также, как и Лебедев, служившим позднее в Красной армии, занимая одно время пост Главнокомандующего Северным фронтом. Самойло – маленький кругленький человечек, очень заискивающий, не производил на меня впечатление крупного человека, отличаясь от Лебедева, наоборот, очень привлекательного. С Самойло мне, впрочем, дело приходилось иметь мало, больше я обращался к Лебедеву; когда намечалась какая-нибудь операция, о которой

мне обычно сообщал только в самых общих чертах Данилов, то я отправлялся к Лебедеву, от которого удавалось получить всегда только несколько дополнительных деталей. Их восполняли рассказы особоуполномоченных, с которыми я проверял всю картину и принимал окончательные решения, еще раз сверив их разговором с Лебедевым, обычно удивлявшимся моей осведомленности, и уже тогда сталкивался с Даниловым, который, если не отмалчивался, то принимал очень наставительный тон.

С Самойло мне пришлось иметь только один разговор, оставшийся у меня в памяти. Как-то приехал он ко мне с просьбой дать командировку для закупки медикаментов для Красного Креста в Румынию некоему Альбрандту. При этом Лебедев предупреждал меня, что это личность такого рода, что даже его близкий родственник Пуришкевич рекомендовал не оставлять при нем на столе даже полтинника, но добавил, что командировка эта штабу нужна, ибо в действительности Альбрандт будет работать там от разведки Западного фронта. Сперва я в просимом удостоверении отказал, независимо от моральных свойств Альбрандта, а потому, что Управления Главноуполномоченных медикаментов сами не заготавливают, а также и потому, что Румыния не является рынком фармацевтических товаров. Однако, после этого на меня налегли и Лебедев, и Квицинский, новый после Гулевича начальник штаба, и, в конце концов, я согласился написать письмо, что при поездке Альбрандта в Румынию я прошу его собрать сведения о возможности закупки там медикаментов.

Разведывательным отделением штаба ведал при мне полковник Тонких, заменивший убитого в авиационной катастрофе члена Думы А.И. Звегинцева, а контрразведывательным – подполковник Сизых, раньше начальник Лодзинского охранного отделения. Последний несколько раз приезжал ко мне по делам его отделения. Кроме дела по доносу Пуришкевича на Цеге-фон-Мантейфеля, о котором я уже говорил выше, он обращался ко мне по поводу старшего врача Екатеринославского лазарета д-ра Крейса. Будучи прекрасным работником, и особенно организатором, Крейс, не немец, а еврей, стал подозрителен контрразведке тем, что был выпущен немцами из Германии, где его застала война, и что там осталась сестра его жены (между прочим, чисто русская, из известной московской купеческой семьи). Впрочем, и для Крейса дело закончилось благополучно, и никаких мер против него принято не было.

Наиболее оригинальным, однако, оказался случай, когда Сизых обратился ко мне с просьбой за одного еврея в Витебске. Ко

мне как-то поступило сообщение, не помню уже точно от кого, но, во всяком случае, от каких-то лиц медицинского персонала, что содержатель зубоврачебной школы в Витебске и вместе с тем амбулатории, находящейся под флагом Красного Креста (фамилию его я забыл) является немецким шпионом. Так как в жалобе этой заключались некоторые своеобразные подробности, то я поручил, кажется нашему Уполномоченному по Витебской губернии, барону Н.Г. Черкасову (моему сочлену по 3-й Гос. Думе и управляющему Акцизными Сборами в Витебске) собрать по ней сведения. Не помню уже подробностей сообщенных им мне, но оказались они такими, что я обратился в Главное Управление с просьбой о снятии с этого учреждения флага Красного Креста. Через некоторое время после этого ко мне приехал вдруг Сизых с просьбой за этого зубодера. Оказалось, что еще в Лодзи он был осведомителем охранного отделения о еврейских местных кругах, за что и последнее оказывало ему разные услуги. С оставлением Лодзи он перебрался в Витебск, и здесь, не без помощи контрразведывательного отделения штаба фронта, открыл зубоврачебную школу. Так как ученикам этих школ давались отсрочки по призыву в войска, то оказалась их масса, почему пришлось нанять для них большое помещение школы, дававшей ее хозяину до 20.000 р. в год, и не реквизировалось под военные учреждения, как краснокрестное. Хотя, в сущности, принятая под Красный Крест амбулатория занимала только незначительную часть помещения.

На мое указание, что по полученным мною сведениям директор школы находился в сношениях с уличёнными шпионами, я получил от Сизых ответ, что его клиент получал от этих шпионов, работавших в Копенгагене, интересные для него сведения и разные медикаменты, ввозившиеся обычно из Германии, откуда получение их было теперь невозможно. К этому он добавил, что эти шпионы работали на нашу разведку, но были изобличены в том, что работали в действительности еще больше на немцев, поэтому должны были со дня на день быть повешенными в Петрограде, куда их под каким-то предлогом заманили. «Мы и Витебского дантиста повесим, если окажется, что он больше работает на немцев, чем на нас», – добавил Сизых, указав, что без флага Красного Креста у дантиста отнимут помещение школы, которым они вознаграждают его за его шпионаж, ибо денег для этого у контрразведки нет. Объяснения Сизых меня, однако, не убедили, я от своего решения не отступил, и флаг Красного Креста со школы был снят.

До того, как положение на фронте установилось, в Минске находились также штабы 2-й и 10-й армий. После Нового Года, однако, штаб 2-й армии ушел отсюда. В нем еще осенью встретил я в должности начальника Этапно-Хозяйственного Отдела генерала Кислякова, которого за 11 лет до этого я знал в Гельсингфорсе еще молодым капитаном Генерального штаба. Теперь все очень хвалили его, отдавая дань его административным талантам. Вскоре он перешел в штаб фронта и заменил здесь генерала Дернова в должности Начальника Военных Сообщений. Будучи человеком очень тактичным и мягким в обращении, он, вместе с тем, умел требовать и настаивать на исполнении своих требований, которые всегда были очень разумны, ибо железнодорожное дело он знал прекрасно. Благодаря всему этому, Кисляков быстро упорядочил дело сообщений на Западном фронте и вместе с тем и приобрел себе среди железнодорожников большую популярность. Лично мне не раз приходилось обращаться к нему по разным делам Красного Креста, и всегда я встречал у него полное желание сделать все возможное.

Благодаря своей работе в Минске, Кисляков стал известен и в Ставке, и в конце 1916 года был назначен туда начальником Военных Сообщений, и вместе с тем и товарищем министра путей сообщения. Однако было уже поздно, и большой роли сыграть здесь ему не удалось – слишком велик был развал в тылу. Во времена после первых месяцев после Октябрьской революции Кисляков был убит, кажется, в Полтаве.

Со штабом армий у меня непосредственных сношений теперь не было, и посему мне пришлось лишь сделать в них визиты. Больше пришлось мне иметь дела лишь с начальниками Санитарных их Отделов. Во 2-й армии им был отставной артиллерист генерал де-Роберти, несколько полоумный, выживающий из ума, но очень милый старичок, всегда хорошо относившийся к Красному Кресту. Каждый раз, когда я его видел, он жаловался на свое начальство, от которого ему постоянно, и кажется поделом, попадало. Хорошее было всегда отношение к Красному Кресту и в 4-й армии, в 10-й же значительно хуже. Здесь и начальник Санитарного Отдела, полковник Дом-Штрубо, был более властен, да и особоуполномоченный Крузенштерн, не пользовался влиянием своего предшественника князя И.А. Куракина. На Крузенштерна в штабе косились за то, что он и во время войны предпочел Красный Крест военной службе. А кроме того, его товарищи по Академии служили в разных штабах армии в чинах не старше подполковника, что как-то и его низводило с его положения осо-

боуполномоченного до их уровня, когда ему приходилось иметь дело с генералами. И сам Крузенштерн почувствовал скоро неловкость своего положения, и около Нового Года начал хлопотать о переводе его обратно в Генеральный штаб, что и состоялось с назначением его в штаб Западного Фронта.

Избрал я на его место бывшего помощника главноуполномоченного Северо-Западного фронта Молво, ушедшего с этой должности при моем на нее назначении. Тогда почти сразу от меня ушли и Якимов, и Молво, и оба по одной и той же причине – невозможность дальше служить вместе, ибо Якимов отбил у Молво его жену. После ухода и Якимова, Молво с удовольствием вернулся на фронт. Должен сознаться, что особоуполномоченным он оказался из средних. Еще раньше 10-й армии мне пришлось заместить должность особоуполномоченных при других армиях фронта – 1-й, 2-й и 4-й. Особоуполномоченный при 1-й армии В.В. Ковалевский был вызван министерством внутренних дел, членом Совета коего он был, обратно в Петроград, где получил какие-то поручения по продовольственной части, заведующим которой он был раньше. На его место попросился заведующий Мобилизационным отделом канцелярии Главного Управления Красного Креста, отставной полковник А.А. Леман, у которого к этому времени совершенно испортились отношения с А.Д. Чаманским, начальником этой канцелярии. Зная Лемана как хорошего и знающего работника и порядочного человека, я его охотно взял особоуполномоченным. К сожалению, я не учел тогда того, что в глазах генералов погоны отставного полковника будут лишать Лемана, как и Крузенштерна, части его авторитета, а тяжелый его характер явился причиной немалого числа осложнений в отношениях с врачами, которых, в сущности, можно было бы избежать.

Особоуполномоченный при 2-й армии А.И. Гучков уже с весны 1915 г. вошел в состав Особого Совещания по Обороне, и фактически уже не исполнял обязанностей особоуполномоченного; теперь же окончательно отказался от них, и мне пришлось представить на его место состоявшего в его распоряжении доктора Пучкова, ибо заместитель Гучкова, И.И. Батов, вернулся в Канцелярию Гос. Думы. В лице Пучкова, несмотря на его весьма молодой возраст – ему не было и 30 лет – я получил лучшего из бывших у меня особоуполномоченных. Сын старого члена Московской Городской Управы, С.В. Пучкова, и А.С. не был чужд по духу началам общест-венности, врачам он был свой по образованию, а тактичностью и умом он импонировал всем военным. За все время моей работы на Западном фронте ко мне не поступило на него ни одной жало-

бы; и во время революции, когда мало кто удержался на своих местах, Пучков без всякой демагогии сумел остаться руководителем Красного Креста во 2-й армии.

В 4-й армии особоуполномоченный ее Н.И. Антонов тоже вернулся в Петроград к работе в Гос. Думе. Так как первоначальные его помощники Л.В. Голубев и Л.В. Кочубей были уже давно – первый главноуполномоченным Кавказского фронта, а второй – особоуполномоченным при 3-й армии, то его заменил последний его помощник В.Н. Карпов. Богатый южный помещик, Карпов совершенно не обладал тактом, и у него часто происходили разные недоразумения с врачами, в которых он бывал обычно неправ по форме, даже тогда, когда по существу правда была на его стороне. Ввиду этого, я не считал возможным представить его на место Антонова, что вызвало затем посещение меня моим добрым приятелем бароном А.А. Врангелем, тогда начальником передового отряда в 4-й армии, которому Карпов поручил чуть ли не вызвать меня на дуэль, ибо увидел в назначении его оскорбление его чести. Вслед затем он ушел сразу из Красного Креста.

Заменил Антонова бывший начальник передового отряда и начальник отделения Канцелярии Совета Министров Т.И. Тарасов. У него в Красном Кресте создалось имя во времена Лодзинских боев, где он вел себя великолепно. Особоуполномоченным он оказался средним, благодаря, быть может, очень большой его скромности и молчаливости, хотя дело у него шло вполне исправно. Помощником к нему пошел состоявший при Управлении Главноуполномоченного М.Н. Редкин. Мой младший товарищ по Училищу Правоведения, потом редактор официального «Варшавского Дневника», человек очень неглупый, но по внешности незаметный, он очень подходил Тарасову.

Воспоминание о Редкине переносит меня к нашему Училищному празднику – 5-го Декабря, который отпраздновать в этом году в Минске нас собралось, кажется, 6 человек. Старейшим среди нас был С.Д. Набоков, недавно ушедший из Курляндских губернаторов и причислившийся к нашему Управлению. Он явился жертвой крайних антинемецких течений в штабах фронта и 12-й армии, и посему часто очень подробно рассказывал, до каких крайностей доходило тогда в Прибалтийском крае преследование немецкого шпионажа. Нельзя, действительно, не сказать, что в обобщении несомненных случаев измены отдельных немцев (С. Бродерих, Мантейфель, Кайзерлинг) наши военные власти зашли слишком далеко, создавая часто среди немцев этих губерний совершенно напрасное озлобление. Противодействие Набокова

этим эксцессам и привело к положению, при котором оставаться далее губернатором в Митаве ему оказалось невозможным. 5-го Декабря, кроме Набокова, помню еще среди участников нашего обеда, тоже состоявшего при Управлении Князева (скоро назначенного вице-губернатором в Сибирь) и поляка Велевейского. Вообще поляки держались эти годы довольно обособленно, даже в правоведской семье, и хотя на обед и пригласили Велевейского, однако, думали, что он не решится провести этот вечер с нами. На следующее утро мы все снялись на общей группе, причем, помню комичный случай – обращаясь к Редкину, Князев шутя говорит: «Миша, сделай умное лицо», – на что фотограф-еврей ответил: «Ну, зачем же умное, достаточно и просто интеллигентное».

Велевейский состоял в организации Польского Красного Креста при ее главе княгине Воронцовской, которою он фактически и руководил. У организации этой был передовой отряд и несколько небольших тыловых учреждений. Когда я познакомился ближе с этой организацией и с лицами, входившими в состав ее, меня поразило, как во всех польских семьях регулярно часть членов их ушла к русским, часть же осталась на месте; если уходил муж, оставалась жена или один брат был у нас, другой у неприятелей. При этом все они старались установить возможно лучшие отношения с властями обеих сторон. По-видимому, в этом была определенная система, проводимая всей польской знатью (в средних классах этого не замечалось), производилась своего рода страховка на случай любого исхода войны.

Когда были образованы в составе нашей армии особые польские войска, то вполне естественно, что организация польского Красного Креста приняла на себя их обслуживание. Не помню уже точно, когда мне пришлось быть на освящении какого-то их учреждения (кажется, это был лазарет) в нескольких верстах от Минска. Там я познакомился с полковником Желиховским, о котором я уже упоминал выше. Командира польского корпуса генерала Довбор-Мусницкого не было. Про него говорили, что это очень способный военный, но мне лично не понравилось в его биографии, что он перешел в православие, чтобы получить право поступления в Военную Академию, но позднее вернулся в католицизм. Во время гражданской войны Довбор командовал армией в польский войсках, но затем был затерт австрийскими военными.

Княгиня Воронцовская, женщина уже не первой молодости и некрасивая, была особой очень пронырливой и старалась повлиять на каждого особыми специфическими способами. Уверяли, например, что когда ей нужно бывало что-нибудь от Данилова,

то в виду его слабости к хорошеньким женщинам и хорошей еде, он приглашался на изысканный обед со старыми винами и хорошенькими сестрами, за которыми Данилов и ухаживал во всю, после чего ему и подносились та просьба, из-за которой собственно и устраивался обед.

Выше я уже упоминал про генералов Родкевича, Рагозу и Леша, командующих 10-й, 4-й и 3-й армиями. Командующего 2-й армией генерала Смирнова я видел всего два раза; про него говорили, что ему везло. Все неудачи с подчиненными ему войсками происходили без него. Например, он очень удачно командовал 20-м корпусом – как только он оставил его, с корпусом произошла катастрофа. Во 2-й армии отступление проходило сравнительно удачно (правда, другие объясняли это тем, что тогда начальником штаба у него был способный генерал Квицинский), перед неудачным же Нарочским боем марта 1916 г. Смирнов заболел, и его временно заменил Рагоза, на которого и пала, до известной степени, ответственность за неудачу. Начальником штаба армии был после Квицинского ген. Соковнин. В штабе 1-й армии, расположившейся в усадьбе около города Дриссы, я был только раз. При входе в вестибюль господского дома я увидел большой манекен в конногвардейском мундире. Оказалось, что это было имение уже умершей к тому времени певицы Вяльцевой, доставшееся ее мужу генералу Бискупскому. Командарма ген. Литвинова я не застал, и видел только его начальника штаба генерала Одишелидзе, впоследствии бывшего военным министром Грузинской республики, типичного грузина, видимо, неглупого.

Наконец, закончил я мои официальные знакомства; в Минске посетил губернатора и архиерея. Последним был мой сотоварищ по 3-й Гос. Думе, епископ Митрофан. Очень простой по внешности и не очень умный, он, как я убедился, во время неоднократных наших бесед в Минске, был хорошим и искренним человеком, ставшим крайне правым на почве той крайне острой борьбы, которую ему приходилось в Западном крае вести с католиками-поляками и с евреями, экономически господствовавшими над православной его паствой, слабой и образованием, и материально.

По назначении меня главноуполномоченным я побывал дважды в Ставке. В первый раз я был в Могилеве еще осенью, вторично весной. Совершенно не могу припомнить почему, но в первый мой приезд туда из руководителей ее я никого не видел. Как будто, между тем, это совпало с переменами в составе Совета Министров, ибо вечером при отъезде вагон хотели сперва прицепить

до Орши к экстренному поезду Горемыкина (но не успели этого сделать), ибо он спешил обратно в Петроград по получении, как оказалось через несколько дней, именно в этот приезд в Ставку, согласия Государя на увольнение в отставку группы министров во главе с Кривошеиным, находивших, наоборот, невозможным дальше оставление в должности самого Горемыкина. Во второй мой приезд в Ставку, кажется, в августе 1916 г., с утра я отправился к главноуполномоченному Красного Креста при Ставке, бывшему министру народного просвещения П.М. Кауфману-Туркестанскому. Хорошо знакомый Государю и лично очень независимый, Кауфман был в Ставке в особом положении, так что ему было поручено расследование нескольких дел, к Красному Кресту никакого отношения не имевших, например, о высылке в Сибирь по распоряжению штаба Северного фронта нескольких помещиков Прибалтийского края.

Позвонив к министру Двора Фредериксу, Кауфман устроил мне приглашение в этот день обедать к царскому столу. В течение дня я представился сперва М.В. Алексееву, тогда начальнику штаба Верховного, произведшего на меня впечатление человека крайне переутомленного. Разговор наш был кратким и неинтересным, чисто деловым. Завтракал я в Собрании Штаба, помещавшемся в очень неуютном помещении. Среди состава штаба встретил я ряд знакомых, так что завтрак, очень простой, пролетел крайне быстро. Перед царским обедом я представился Фредериксу, уже тогда совершенно дряхлому умственно, но все-таки благодаря привычке почти целой жизни не делавшему совершенно ошибок в церемониале и этикете. Перед обедом нас всех собрали в зале перед столовой, где нас сперва обошел дворцовый комендант Воейков, а затем вскоре вышел и Государь.

Со всеми он поговорил, но недолго, задав мне несколько вопросов о Красном Кресте. Передо мной с полковником Генштаба, очевидно из штаба Ставки, поговорил о сроке окончания Трапезундской железной дороги, приближение которого признавал необходимым вел. князь Николай Николаевич. Подле меня стоял тоже полковник, лицо которого мне показалось сразу очень знакомым; я его действительно знал, но в ином виде – это был председатель Автомобильного Общества д-р Всеволожский, переименованный на время войны в зауряд-полковники, ввиду назначения начальником какой-то военной автомобильной колонны. С ним разговор у Государя был об автомобильных вопросах. После обхода перешли в столовую. Государь выпил рюмку водки, закусил кусочком какой-то закуски и отошел, уступив место другим. Почти все также

пили только по одной. Обед был хороший, но простой и подавался быстро. После обеда Государь поговорил еще немного с кем-то из военных представителей союзников и, сделав общий поклон, удалился. Разошлись после этого и мы. Замечу еще, что при пропуске в Ставку и в губернаторский дом, где жил Государь, соблюдались обычные порядки, установленные при дворе – документы большей частью не требовались, но спрашивали, кто вы такой.

Еще раньше моего назначения главноуполномоченным я представился в первый и единственный раз в России покровительнице Красного Креста Императрице Марии Федоровне. Эта милейшая старушка, очень для своих лет бодрая и живая, расспрашивала меня о работе Красного Креста в 9-й армии, сама же все возмущалась ужасами, творимыми немцами. Говорила она, как всегда по-французски, и оставила у меня, да как, впрочем, и у всех, впечатление очень неумной женщины. Заодно упомяну еще, что весной 1916 г., кажется, в марте, я был принят в Царском Селе Императрицей Александрой Федоровной, про желание которой видеть меня мне сказал Б.К. Ордин. Почему она хотела меня видеть, я так и не узнал, и никакого намека во время нашего разговора она не сделала на это. Здесь на приеме нас было всего двое – я и командир какого-то кавалерийского шефского полка. Со мной Государыня говорила около 40 минут. Приняла она меня стоя, сразу посадила и стала расспрашивать о жизни фронта, не только о Красном Кресте. Разговор наш не останавливался ни на мгновение; несомненно, это была женщина и образованная, и умная и говорить с нею было интересно. Говорила она, большей частью, по-русски, но частью по-французски. До того я представлялся ей в 1904 г., после получения камер-юнкерства, но какой с тех пор в ней наблюдался сдвиг! Тогда производило впечатление, что она стесняется, не знает, что сказать, теперь видно было, что она хорошо сознавала, что в разговоре ей должно сказать, и вела его в определенном направлении. Симпатии мои, благодаря всем распутинским историям, были не на ее стороне, но, тем не менее, это представление произвело на меня впечатление. Главное, в ней чувствовалась воля, гораздо более сильная, чем у Государя, но, увы, направленная не куда надо.

После этих двух представлений я уже ни Государя, ни Государыни больше никогда не видел. Кстати отмечу, что во время войны мне пришлось еще видеть Государя в Минске, в декабре 1915 г., при проезде его в Вильну, где он должен был смотреть войска. Собраны тогда были на платформе Либавского вокзала все высшие чины штаба фронта, к коим причислялся и я. Выстроили нас в один

ряд, и Государь прошел мимо нас, причем все мы называли себя, когда он к нам подходил, и он некоторым задавал вопросы. Было морозно, выюжно и очень, в общем, неудобно: обход нас Государем в полутьме, при слабом освещении платформы ничего в себе торжественного не имел и продолжался недолго, каких-нибудь полчаса.

Относительно царских посещений войск мне пришлось позднее слышать мнение, что они только зря отвлекали войска от дела, утомляли их и настроения не поднимали. Лично я слышал тогда же рассказы только про Виленский смотр и то, что мне говорил персонал нашего Георгиевского лазарета, расположенного здесь, напомнило мне посещения Государем учебных заведений в Петрограде, когда молодежь в восторге долго бежала за царскими санями. По Виленским рассказам настроение у войск было несомненно поднято этим посещением.

В течение зимы и весны объехал я раза по два и по три все армии и побывал почти во всех наших учреждениях. Наиболее серьезная медицинская работа производилась в госпиталях, большей частью прекрасно расположенных в тылу. В Полоцке наши Георгиевские госпитали заняли кадетский корпус и образовали здесь крупное учреждение в 800 кроватей, очень солидное и с прекрасными медицинскими силами. Хорошо поставлены были госпитали также в Витебске, Смоленске и Гомеле. В последнем были расположены два Крестовоздвиженских учреждения – госпиталь и лазарет; первый из них, потом, в 1916 г., был отправлен во Францию для обслуживания посланных туда наших войск, и с персоналом его, врачами и сестрами, мне пришлось там потом часто встречаться. Во главе его стоял д-р Белавенец, выдающийся хирург, и в числе врачей были д-ра Лясковский и Овен, хорошо знакомые потом русскому беженству Парижа по работе в амбулатории русского Красного Креста. О Гомеле раньше я слышал только, как о грязном еврейском местечке, который обыватели его, в подражание Баден-Бадену, якобы называли Гомель-Гомелем, а теперь был очень удивлен, когда увидел, что он стоит много выше большинства западных наших городов и по распланировке, и вообще по внешнему своему благоустройству. Такую гостиницу, как здешний «Савой», мне в этом районе нигде не пришлось видеть.

К сожалению, времени у меня было мало, и поэтому не удалось побывать в усадьбе князя Паскевича (в то время уже его вдовы). Позднее я слышал, что во время революции часть дворца сгорела, и сохранились только церковь и музей. Старушка-княгиня после революции долго жила у своей бывшей прислуги, кажется, в Киеве, где ей, без ее ведома, помогали Гомельские евреи, многим

из которых она в свое время широко помогала. Покойный муж княгини, единственный сын фельдмаршала, будучи еще молодым человеком, был назначен генерал-адъютантом к Александру II, но затем провинился своими симпатиями к конституции, получил за это от Государя выговор и вышел в отставку. Я их обоих – и его и княгиню – встречал стариками лет 70-ти после того, как мой брат Георгий в 1902 г. женился на их внучатой и любимой племяннице О.В. Скарятиной. После смерти Паскевича и княгини его громадный майорат должен был перейти к его племяннику, члену Гос. Совета Балашову, отцу члена Гос. Думы, и без того одному из богатейших людей России, и создать таким образом чуть ли не первое в России состояние, но судьба судила иначе!

В районе Гомеля мне пришлось еще побывать в Клинцах и Новозыбкове, где тоже были наши лазареты. Впереди Гомеля по направлению к фронту несколько раз проезжал я через Бобруйск. Удивительно, как похожи были друг на друга все эти Николаевские крепости – Двинск, Бобруйск, Ивангород, видимо, и Ново-георгиевск. Бобруйск лежит на большом шоссе из Минска в Варшаву, по которому я не раз проезжал обычно дальше на Слуцк. По железной дороге мне приходилось ездить из Гомеля в Речицу – маленький неинтересный городок, и дальше по станциям, где были расположены наши отряды. Впереди Слуцка мне пришлось быть как-то в усадьбе, где находился наш передовой и дезинфекционный отряды. Тут же помещался и авиационный отряд; здесь мне показали дыры в потолке и в полу, совсем около кровати нашего летчика, неприятно разбуженного немецкой бомбой, брошенной с аэроплана, но по счастью не разорвавшейся.

Чаще всего на фронте мне пришлось бывать в районе Барановичей, где не раз заезжал я в штабы корпусов. Стояли здесь тогда 25-й корпус, гренадерский, 9-й и 10-й. Первым из них командовал в то время Ю.Н. Данилов, о котором я уже не раз упоминал. Как-то я попал к ним на проводы начальника штаба корпуса генерала Никитина, молодого, живого, интересного человека, назначенного начальником дивизии. Не думал я, что месяца через 2-3 мне придется прочитать телеграмму о том, что этот самый Никитин убит пулей при обходе траншей. Гренадерами командовал ген. Куропаткин, недавно назначенный и вскоре ушедший главнокомандующим на Северный фронт. Как командир корпуса он оказался очень хорош, но переэкзаменовки на главнокомандующего он не выдержал, и вскоре был сменен. Видел я его только один раз, в его штабе, недалеко от станции Погорелицы. Был я у него вечером, в слабо освещенном, но уютном его кабинете, и сам он

был какой-то уютный. Говорили мы на разные темы и все, что он высказывал, было умно и своевременно.

В 9-м корпусе я застал только начальника штаба, незнакомого мне по фамилии, генерала Покатова. Каково было мое удивление, когда, войдя в его кабинет, я увидел старого знакомого по комиссиям Гос. Думы, бывшего начальника Азиатского отдела Главного штаба – Цейля, как оказывается, переименовавшего за время войны фамилию. В 10-м корпусе я помню посещение только при Н.А. Данилове, уже весной 1916 г., когда он, не поладив окончательно с Эвертом, оставил место главного начальника Снабжений. Странное это было назначение – после батальона человек ничем не командовал, обе войны пробыл на тыловых должностях, и прямо был назначен командовать корпусом! Впрочем, боев сколько-нибудь крупных при Данилове в корпусе не было, и он смог мирно просидеть в нем до революции, когда Гучков даже провел его в командующие армией.

В 3-й армии я застал командира 3-го Кавказского корпуса известного генерала Ирманова. Вероятно, у него были известные боевые качества. Личная храбрость у него несомненно была, но то, что он мне изложил – его проект о быстром окончании войны путем посылки отряда в Болгарию – было изумительным детским лепетом; умом этот генерал безусловно не блистал. Очень среднее впечатление произвел на меня и генерал Розанов, начальник штаба корпуса. Позднее, в эпоху падения Колчака, он был генерал-губернатором во Владивостоке, и славы там не приобрел, что меня несколько не удивило.

Столь же серое впечатление, как Ирманов, произвел на меня и другой Порт-Артурский герой, командир 2-го Кавказского корпуса генерал Мехмандаров. Артиллерист и, видимо, более образованный человек, чем Ирманов, таких фантазий он не высказывал, но и вообще мыслей своих не обнаруживал.

Весь Западный фронт представлял из себя ряд невысоких кряжей между большими болотами, причем районы армий большей частью отделялись друг от друга болотами, как, например, между 4-й и 10-й. Здесь стояли какие-то ополченские и кавалерийские части, ибо наступления здесь сколько-нибудь значительных немецких сил нельзя было предполагать, несмотря на то, что немцы проложили тут массу дорог. Не было здесь и наших лазаретов и отрядов, часть которых по самому существу своему тяготели к железным дорогам, куда свозились и все раненые; другие же были переданы корпусам, тоже тут не располагавшимся. Передовым учреждениям Красного Креста здесь обычно отводи-

лись помещения из лучших, но далеко не всегда они были хоть сколько-нибудь сносными; в лучшем случае это были запущенные, загаженные усадьбы, но обычно деревенские избы. Во многих из наших учреждений мне пришлось побывать за эту зиму, во многих я ночевал. Приезжал я всегда невзначай, не предупреждая о себе, и посему видел наши учреждения такими, какими они всегда были. Бывало, что лица, к которым я обращался, сперва меня не признавали и показывали учреждения, как чужому. Но про все эти учреждения я могу сказать, что стыдиться за них Красному Кресту было нечего, а большинством из них он мог бы гордиться, несмотря на те крайне тяжелые условия, в которых им приходилось часто работать.

Добавлю еще, что ко всем прочим тяжелым сторонам работы на фронте с весны 1916 г. присоединилось еще бросание бомб с аэропланов. Налетали они и раньше, но больше в одиночку, теперь же сразу появлялась целая эскадрилья, и тогда как раньше бросалось 2-3 бомбы, теперь бывали случаи, что бросались их больше 100. При мне особенно больших бед они лечебным учреждениям не причиняли, хотя и случалось, что бомбы в них попадали. После же моего отъезда в районе 2-й и 10-й армий немецкая бомба упала в отряд одной из наших сибирских общин и убила и ранила несколько сестер, и в том числе одну очень милую и дельную сестру Чагину, показывавшую мне их отряд, когда я у них был месяца за два до этой катастрофы. Вообще, несомненно, немцы совершенствовались неустанно и технику налетов, и самые бомбы. Зимой 1915-1916 гг., например, под Минском показывались только изредка, и те по ночам, лишь цепелины; еще в сентябре или октябре 1915 г. одному из них удалось разрушить бомбой небольшой двухэтажный домик около Либавского вокзала, позднее же над самым городом им уже не удавалось показываться: их задерживал артиллерийский огонь. Интересная была картина ночью, когда по небу начинали бегать лучи прожекторов, а затем показывались и разрывы снарядов. К весне 1916 г. появления цепелинов прекратились, но зато стали появляться, и уже днем, аэропланы. Как в Минске, так и на фронте, повсюду около штабов и станций были поставлены орудия, которые и приветствовали эти аэропланы своим огнем.

Сами бомбы, ими бросаемые, стали гораздо опаснее. Раньше они делали воронку в земле, а взрыв шел веером вверх, теперь же, как мне объясняли артиллеристы, взрывчатое вещество оставалось над землей, в которое заделывалось несколько пружин, прикрепленных под бомбой. Разрыв шел тогда параллельно зем-

ле, так что осколки залетали подчас за $\frac{3}{4}$ версты, и еще за $\frac{1}{2}$ версты свободно пробивали дюймовую доску, причиняя громадный вред. Пришлось в лагерных расположениях насыпать валики, которые задерживали бы осколки. Однако большая часть этих усовершенствований стала применяться уже после моего отъезда с фронта. В общем, мне пришлось видеть падение бомб на Западном фронте довольно редко – больше попадал я под пули и осколки наших снарядов, рвущихся в небе около аэропланов. Подчас эти осколки давали немало жертв, и лично мне пришлось в одном из наших отрядов видеть унтер-офицера, которому оторвало руку и обнажило ребра упавшим обратно стаканом нашей шрапнели. В другом отряде я нашел и начальника его А.А. Киндякова, и помощника его еще совершенно обалдевшими, ибо как раз перед моим приездом разрывом аэропланной бомбы их обоих отбросило на несколько сажень, впрочем, не причинив другого вреда ни им, ни вообще отряду, работа в котором шла нормально.

Бывая на фронте, я часто удивлялся, как люди привыкают ко всяким шумам. Видел я, как наш персонал спал под непрерывный писк и гудение полевого телеграфного аппарата или, как неожиданный артиллерийский огонь, открытый совсем рядом, не будит людей. Как-то в 4-й армии я ночевал в одном из отрядов вместе с Тарасовым и Пржездецким в какой-то избушке. Рано утром, около 5 часов, обычный здесь пролет немецких аэропланов в более глубокий тыл был встречен огнем батареи, стоявшей шагах в 200 от нас. Я проснулся, но остался лежать; Пржездецкий вскочил и стал одеваться, а Тарасов даже не пошевелился и продолжал спать.

Бывали и курьезы: как-то ночевал я в Управлении у Пучкова, которого не застал у него. Опять под утро начинается стрельба. Уже когда все успокоилось, раздается неистовый звон телефона: сообщали из службы связи, что такая-то батарея, такой-то бригады открыла огонь по неприятельскому аэроплану, а минут через 5 звонок повторился – на этот раз сообщали, что батарея огонь прекратила, что я и сам слышал уже за $\frac{1}{4}$ часа до того.

В районе Барановичей стояли тогда транспорты бар. А.А. Врангеля и К. Гиршфельда. В первом я был на Рождество: помещались они в деревне, в самых бедных избах, вместе с хозяевами их; несмотря на эту обстановку, отряд был в полном порядке. Прекрасным был и транспорт Гиршфельда, очень сердечного и увлекающегося делом; всегда приходилось мне здесь видеть или слышать про что-нибудь новое, про то, как бы лучше использовать имеющиеся средства. Несколько дальше к югу, в районе 9-го корпуса, мне пришлось как-то зимой заночевать в одном из пере-

довых отрядов в сравнительно хорошей усадьбе. Под утро сквозь сон я услышал во дворе отчаянные крики и, открыв глаза, сразу вскочил, ибо мне спросонья показалось, что моя комната в огне; оказалось, что горели людская и скотный двор, расположенные шагах в 25 от дома, где я спал. Благодаря сену, сложенному на чердаке, здание это горело, как свеча, и нужно было удивляться, как при этом успели спастись люди и как они успели вывести лошадей. Тут же рядом стоял мой автомобиль с порядочным запасом бензина, но и его успели откатить. Позднее по поводу этого пожара у меня была переписка с владелицей имения, требовавшей уплаты ей стоимости сгоревшего, хотя у меня было впечатление, что загорелось в части здания, где помещались обозы какого-то штаба, а не наши санитары.

В 3-м Кавказском корпусе постоянно работал передовой отряд сестры Чичериной; сперва маленький перевязочно-питательный отрядик, работавший в Ивангороде в сентябре-октябре 1914 г. и обслуживавший уже там 3-й Кавказский корпус баржами, полученными от Шабельского, постепенно он развернулся в настоящий передовой отряд. Хотя в нем имелся начальник отряда, главою его была все-таки В.В. Чичерина, в которую весь мужской персонал отряда был всегда немножко влюблен. Несомненно, это была женщина интересная и по уму, и по внешности. В корпусе и в 3-й армии, как и в Красном Кресте, она могла сделать все, особенно у Кочубея.

Дальше к северу, в 10-й армии, мне пришлось быть несколько раз в 9-м перевязочном отряде, считавшимся там выдающимся. Молодечно не было тогда крупным лазаретным центром, но таковыми были Пруды, к северу от Молодечна, и 2-я станция к западу от него (что-то вроде – Листопад). Сперва стоял наш лазарет и на 2-й станции к северу от Молодечна, но скоро немцы стали обстреливать прямым огнем дорогу к станции, совсем около нее, а потом и самую ее, так что наш лазарет должен был оттуда уйти. Большинство лечебных помещений было устроено в этом районе в лесу, частью в палатках, частью в землянках, нужно сказать очень хорошо и лучше, чем в избах. В Прудах лечебные заведения были размещены уже позднее, когда подготавливалось наступление на Крево. Здесь стоял Георгиевский лазарет д-ра Едличко, из-за которого мне пришлось в 1907 г. выдержать бой с главным врачом Обуховской больницы д-ром Нечаевым, упорно не хотевшим пропустить его на штатную должность. Здесь Едличко оказался человеком довольно вялым. В Прудах же был поставлен и перевязочный отряд Гершельмана-младшего, сперва работавший в

тылу. В составе этого отряда был младший врач, очень боязливый, которого перевод отряда в местность около фронта совершенно лишил душевного равновесия. В первой его просьбе о переводе в тыл я ему отказал, но когда к его просьбе присоединился и Гершельман, удостоверяя, что состояние этого врача делает его совершенно негодным для работы и влияет и на остальной персонал, то я назначил его в один из тыловых госпиталей. И тут-то сказалась судьба: между Прудами и Молодечно на выехавшего ликующим нашего доктора упал с полки окованный солдатский сундучок и проломил ему череп, от чего он, впрочем, выжил.

В 3-й армии работали также отряды Объединенных дворянских обществ и Петроградского дворянства. Во главе первого состоял мой товарищ по Училищу Н.В. Мятлев, милейший человек, но, к сожалению, пристрастившийся, особенно в то время, к вину. За несколько лет до этого он был смещен из прокуроров Окружного Суда в Орле обратно в товарищи прокурора Окружного Суда в Москву, именно за похождения в пьяном виде. Говорили мне, что и здесь, в отряде, его слабость сказывалась отрицательно на всем ходе дел. Начальником отряда Петроградского дворянства сперва был свиты Его Величества генерал-майор светлейший князь Салтыков, бывший Петербургский губернский предводитель дворянства. Оставил он эту должность из-за женитьбы на хорошо известной веселящемся Петербургу красавице Решетниковой, с которой он уже давно жил. Своих повадок она не оставила и после свадьбы, и в отряде, в котором она была сестрой милосердия, происходили сцены ревности, но без участия мужа, а между его помощниками.*

Я уже не застал в отряде Салтыкова, и при мне прибыл туда сенатор С.П. Фролов, неглупый, но удивительно напыщенный человек, вероятно благодаря этой напыщенности не попавший в Гос. Совет, хотя и был крайне правых взглядов и считался притом и хорошим юристом. В отряде он навел порядки, но сам попал под подозрение в штабе армии. Как-то, обедая там, он заговорил с Лешем и Баиовым о положении в Германии и усомнился в правильности сообщенных штабом сведений об отчаянном внутреннем положении в ней; этого было достаточно, чтобы начать переписку о благонадежности Фролова. Если его не удалили с фронта, то лишь благодаря мне, ибо мне удалось доказать Эверту, что

* Салтыков, очень хороший, но недалекий человек, безумно любил ее, и после ее смерти, уже после революции, поставил на ее могиле в Финляндии особую церковь, и как мне передавали, первое время был сам, под влиянием этой потери, почти сумасшедшим.

криминала в словах Фролова, сказанных не публично, а самим же командующим лицам, никакого нет. Однако, тянулось это дело, пожалуй, месяца два. Позднее мне называли Фролова, как одного из главарей русского мартинизма.

В районе 4-й армии вспоминается мне еще отряд Курского губернского земства, единственного из старых земств отказавшегося от совместной работы с Земским Союзом. Во главе этого отряда стоял В.В. Павлов, как можно догадываться, человек очень правых убеждений, но лично скорее мягкий.

Все эти отряды зимою я видел в деревнях, к лету же большинство из них перебралось в леса, где было больше укрытия от аэропланов для их обозов. Однако на леса было грустно смотреть, ибо уже к июню вся поросль в них была или вытоптана лошадьми или обглодана ими, равно как и большая часть коры на взрослых деревьях, что обрекало эти деревья на гибель. То же было и дальше к северу, в 10-й, 2-й и 1-й армиях.

В 10-й армии помню я транспорт, во главе коего стоял инженер Верховский. Когда-то начальник движения, кажется Либаво-Роменской ж.д., уже лет 15 бывший в отставке. Теперь уже старик под 70 лет, Верховский крепостью и выносливостью мог перегнать многих молодых; еще незадолго до войны он на велосипеде проехал из Петербурга до Москвы, и каждую зиму, не переставая, купался, несмотря на самые лютые морозы, в Неве. В Красном Кресте я его, впрочем, несколько побаивался, ибо знал его по Петрограду, как обладателя некоторых характерных отрицательных инженерных особенностей. Но назначили его из Петрограда, и привел он на фронт транспорт уже незадолго до моего ухода, и ничего сомнительного у него заметить мне не пришлось.

Во 2-й армии на станции Вилейка расположился в целом городке из палаток и юрт Георгиевский лазарет, очень симпатичный по своему составу. Позднее он был продвинут в район Постав. В этом отряде была шалая, но удивительно милая сестра Энгельгардт, готовая на всякий подвиг. Говорили мне, что она была убита на Юге после революции. Дальше, за Вилейкой, армии заняли вдоль железной дороги совершенно пустынные места. Около станции железной дороги не было даже поселков, да и в сторону от линии к северу от нее, если не считать Дуниловичей, не было ни значительных селений, ни больших усадеб. Сама местность была низменной и в значительной части болотистой, особенно около озера Нарочь. Наши учреждения были и здесь, ввиду этого, размещены большею частью в землянках на более высоких местах, в лесах. Особенно хорошо был помещен один лазарет, ка-

жется, Саратовский, в районе 5-го корпуса, в целом ряде светлых, чистых землянок. Здесь же недалеко, тоже частью в землянках, стоял передовой отряд, во главе коего находился кн. Гюрчаков, кажется Константин, впоследствии в мартовских боях смертельно раненый. Очень милый, выдержанный, он резко отличался от своего брата Михаила, его помощника по должности в отряде, проявившего себя в эмиграции в Париже своими крайне правыми выступлениями. Константина искренно пожалели все его знавшие. Ранен он был пулей вечером, в первый день боя, когда он поехал верхом узнать, нет ли еще раненых, которых следовало бы вывести его отряду.

Все в том же районе около Нароча, уже к весне 1916 г. был расположен транспорт, во главе которого стоял инженер Верблюнский, уже пожилой человек, всюду решительно сопровождаемый женой его, маленькой сухонькой старушкой. Он всюду носился с идеями о разных усовершенствованиях, изучал повозки, сооружал новые, устраивал для войск бани, причем родство с С.В. Кокоревым давало ему возможность привлекать в транспорт большие частные средства. К сожалению, довольно богатая фантазия и любовь приукрасить свои рассказы заставляло всегда относиться к его словам с некоторой осторожностью. Дальше, уже за Нарочем, была вновь выстроена узкоколейная ветка до Глубокого, откуда уже до войны шла тоже узкоколейка на Ново-Свенцяны, теперь находившаяся в руках немцев. Сообщения по этой линии были пыткой. Мне пришлось проехать по ней только раз в период мартовских боев, когда вследствие полной распутицы иные способы сообщения были недоступны, и с меня этого было достаточно. Во всяком случае, перевозка по ней совершалась и крайне медленно, и в весьма малом количестве.

В этом районе мне пришлось в двух передовых отрядах решать неприятные истории. В одном из них был назначен помощником начальника некий Донченко; недолго пробыл он здесь, как на него пошли жалобы и из штаба корпуса, и от товарищей по отряду. Ничего серьезного не было, но из всех этих жалоб вытекало одно, – что такта у Донченко было крайне мало. Штаб корпуса жаловался, например, на него, что он навязчиво стремится войти в курс всех секретных сведений, несмотря на повторные просьбы не приставать. Пришлось, в конце концов, перевести его в транспорт, где он и оставался благополучно до самой революции. Когда в апреле 1917 г. я приехал в Минск на Краснокрестный Съезд Западного фронта, то в числе наиболее активных делегатов оказался и Донченко, в одном из заседаний сделавший резкий лич-

ный выпад против одного из ораторов. Впрочем, сочувствия он не встретил, и отповедь ему была покрыта громом аплодисментов почти всего зала, после чего Донченко сразу скрылся с красно-крестного горизонта.

Другая история имела место в другом передовом отряде, в который я назначил помощником начальника присяжного поверенного барона Остен-Сакена, которого мне рекомендовал В.В. Ковалевский. Месяца через два вдруг кто-то из работавших в Красном Кресте адвокатов сообщил мне, что Остен-Сакену запрещена практика и что он находится под следствием. Запрошенный мною по этому поводу начальник отряда подтвердил это и вместе с тем сообщил мне некоторые мелочи, не особенно хорошо рекомендовавшие Остен-Сакена, в виду чего я вызвал его в Минск и предложил ему уйти из Красного Креста, ибо факт состояния под следствием он не отрицал. Он всячески старался смягчить меня, утверждая, что самое привлечение его к следствию явилось гнуснейшим фактом, интригой известного Вонлярлярского, уже осужденного судом и теперь привлечшего к суду его – Остен-Сакена, бывшего ранее его поверенным. Однако все его старания остались напрасными, и Остен-Сакену пришлось уехать в Петроград.

Через некоторое время и я поехал туда на февральскую сессию Гос. Думы, и здесь ко мне обратился судебный следователь по особым важным делам Середа, прося меня пересмотреть дело Остен-Сакена, который, по его мнению, явился действительно жертвой В.М. Вонлярлярского – дело это было в производстве у него и не было им еще направлено на прекращение только по некоторым формальным основаниям. Так как, однако, положение Остен-Сакена уже стало в Красном Кресте невозможным, то я должен был Середе отказать. Во время этого нашего разговора Середа, бывший одновременно со мной в Правоведении, на мой вопрос о производившемся у него следствии по делу о злоупотреблениях в Главном Артиллерийском Управлении, ответил мне, что оно после замены Поливанова Шуваевым совершенно не движется, ибо Шуваеву даны по этому поводу категорические приказания свыше постараться замять его. Вел. князь Сергей Михайлович лично не был замешан в грязные дела, но нити следствия подходили в упор к секретарю Кшесинской (забыл его фамилию).*

* Кстати, в марте 1916 г. Кшесинская приезжала на Западный фронт с подарками для солдат от Императорских театров. Ее сопровождал танцор Владимир. Перед ее приездом С.П. Мезенцов получил из Ставки от вел. князя Сергея Михайловича телеграмму с просьбой облегчить ей разъезды

Отмечу еще начальника транспорта Добрынского, оставшегося у меня в памяти только своей чрезмерной предупредительностью, даже, пожалуй, низкопоклонством. Меня крайне удивило позднее, что он мог оказаться видным лицом в окружении Корнилова в период его выступления.

В 1-м Сибирском корпусе все время работал один из наших передовых отрядов, в числе сестер которого была и жена командира этого корпуса генерала Плешкова. Хотя она была и не старшей сестрой отряда, держалась она настолько тактично, что никаких недоразумений в персонале не было. Нужно сказать, что и сам Плешков держался в отношении отряда столь хорошо, что можно было только пожелать, чтобы везде у Красного Креста с военными властями были такие же отношения. Мне пришлось как-то обедать в этом отряде, обедали в нем в этот день и Плешков, и начальник его штаба генерал Зиборов; по-видимому, оба они бывали здесь частыми гостями. После обеда Плешков предложил всем спеть, и пошли одна за другой хоровые песни, причем сам Плешков был и запевалой. Зиборов сидел против меня, и комично было смотреть на него, с каким серьезным, даже угрюмым видом пел он. Позднее он получил дивизию, и после революции был убит солдатами. Уже и раньше про него говорили, что характер у него был очень тяжелый и вероятно после революции он не сумел примениться к новым обстоятельствам.

Интересна была еще организация, образованная на фронте Л.И. Любимовой. Жена помощника Варшавского генерал-губернатора Д.Н. Любимова и сестра известного экономиста М.И. Туган-Барановского, она работала самостоятельно по Красному Кресту еще в Варшаве, часто ездила на фронт, и уже осенью в Минске я познакомился с нею, украшенной тремя георгиевскими медалями, а вскоре Эверт, которого она заговорила своими предложениями, дал ей и 4-ю. Не скрою, что первое мое впечатление о ней было не особенно благоприятным; забравшись ко мне в кабинет, она прямо одуряла меня своими крепкими духами и непрерывным трещаньем, ибо говорить, не останавливаясь, она умела как никто. Затем она уехала в Москву, и вскоре оттуда приехала с сообщением, что по ее инициативе железные дороги Московского узла взялись оборудовать и содержать особый санитарный поезд. Помог ей в этом другой ее брат, тогда директор канцелярии Министерства путей сообщения, а позднее сенатор. Вскоре по-

по фронту. В Минске я ее тогда видел и положительно не могу понять, чем она могла увлекать целый ряд и видных, и умных людей.

езд прибыл на фронт и поразил всех своей роскошью, часто даже совершенно ненужной. Ему уступали даже поезда Императрицы Александры Федоровны. Через несколько месяцев поезд Любимовой надоел, и вот на средства того же Московского железнодорожного узла был снаряжен передовой отряд, из которого потом выделился особый лазарет. Врачи в отрядах и в поезде были посредственны (все хорошие были разобраны раньше), но среди сестер было много хороших работниц и много хороших, что помогало Любимовой делать рекламу отряда. На работе я видел этот отряд только весной 1916 г., и он мне тогда понравился.

В 1-й армии я бывал менее всего, и из отрядов здешних я запомнил только 1-й передовой отряд Буторова, который я навещал где-то около Креславки. Вообще, в этой местности изобилия помещиков не наблюдалось, и даже в более крупных поселениях – Дрисса и Креславка – наши лечебные заведения были размещены неблестяще. Исключением был лишь Полоцк, но и тот только благодаря зданию Кадетского корпуса, о котором я говорил выше.

С Полоцком у меня связано воспоминание о местном уполномоченном Красного Креста предводителе дворянства по назначению А.В. Вырубове, брате деятеля Земского Союза. Ранее он был женат на известной фрейлине Танеевой, столь близкой Государыне Александре Федоровне и Распутину, но разошелся с нею, причем со стороны Танеевых на него было брошено обвинение в педерастии. В Полоцке я нашел его женатым уже вторично и отцом нескольких детей, так что обвинение в педерастии видимо отпадало. Первое впечатление от Вырубова у меня было скорее благоприятное – человека живого и всем интересующегося. В городе он устроил Конно-железную линию от железной дороги до корпуса для перевозки раненых и больных; тут же устроил он «краснокрестную» телефонную сеть. В лечебные заведения молоко поставлялось от «беженских» коров, взятых им на содержание в свое имение от интендантства. На все это денег он от Управления Главноуполномоченного не требовал, и посему меня эти учреждения не касались. Тем не менее, у меня возникли тогда же некоторые вопросы, на которые, однако, ответ я получил лишь позднее, через посредство А.В. Татарина, от нашего контроля.

В один прекрасный день, вскоре после поездки в Полоцк, я получил от принца Ольденбургского, тогда Верховного Начальника Санитарной и Эвакуационной части, поступившую к нему анонимную жалобу на злоупотребления Вырубова с предложением расследовать ее. Я поручил поехать в Полоцк Татарина и недели через две получил от него подробный доклад. Выяснилось, что

Вырубов жулик и притом не из мелких. Из его злоупотреблений в памяти у меня осталось два: телеграфную сеть, свою личную, а отнюдь не краснокрестное предприятие, он эксплуатировал при помощи военных санитаров и с расхождением на нее собранных на нужды Красного Креста денег, хотя и в небольшом количестве. А затем, что было серьезнее, взяв на прокорм беженский скот и получая за это от интендантства деньги, он кормил этот скот фуражом, бесплатно получаемым от того же интендантства по удостоверениям Красного Креста, причем Красному Кресту стоимость этого фуража, конечно, не возмещалась. Наоборот, молоко от этих коров он поставлял Красному Кресту за наличные. Все эти сведения, объяснения по которым данные Вырубовым были очень слабы, я представил принцу Ольденбургскому с заключением о возбуждения против Вырубова судебного преследования. Почему-то принц не решился, однако, рассмотреть это дело сам, а передал его Главному Управлению Красного Креста, а здесь Ильин и Чаманский, испугавшись скандала, неизбежно связанного с преданием суду хотя бы и бывшего мужа друга Государыни, положили все дело под сукно, так что до революции дальнейшего движения оно не получило.

Как-то я спросил в Управлении Принца, состоявшего при нем полковника Корчагина (или Кочергина, вполне в фамилии не уверен), почему принц сам не разрешил этого дела. Но тот усмехнулся и ответил мне полувопросом: «А фамилию его вы разве забыли?» За все время моей работы в Красном Кресте с 1911 по 1917 гг. это был единственный известный мне случай, чтобы против злоупотребления не последовало должной реакции. Впрочем, оговорюсь, что случаев злоупотребления было вообще немного. Кроме случаев Ржевского и Вырубова, у меня остался в памяти еще только один случай на Западном фронте, когда врач, заведующий перевязочно-питательным отрядом, был уличен своим заведующим хозяйством в преувеличенных записях якобы израсходованного мяса. Всюду происходили злоупотребления со спиртом и вином, но на это приходилось смотреть сквозь пальцы, такими они стали обыденными. Кстати, уже в первой половине 1916 г. тайное винокурение получило около фронта колоссальное распространение. Барон Черкасов цитировал мне, например, данные по Витебской губернии, по которым в начале 1914 г. в месяц обнаруживались в губернии по 2-3 случая тайного винокурения, а в начале 1916 г. они уже исчислялись сотнями в месяц. За вино или спирт можно было устроить все, в особенности на железных дорогах, где спирт легко устанавливал и поддерживал хорошие отношения.

Если уже в 9-й армии у меня бывали тяжелые минуты, когда я не получал своевременно денег, то на Западном фронте эти минуты стали повторяться гораздо чаще. Расходы Красного Креста оказались столь великими, что жертвуемых ему сумм оказалось недостаточно, и он жил, как и Земский и Городской Союзы, на казенные средства. Сметы его рассматривались в особой комиссии под председательством одного из членов Военного Совета (сперва ген. Фролова, а потом Веденяпина), что брало немало времени. В результате средства отпускались обычно уже после истечения сметного периода, и только небольшая их часть отпускалась в виде аванса. В тылу с этим еще справлялись, но на фронте являлась необходимость производить займы в военных казначействах, которые обычно разрешались, но что часто бывало очень неприятно. Как-то, еще в первые месяцы моего пребывания в Минске, денежное положение мое было столь остро, что я послал в Главное Управление телеграмму, прося или перевести мне необходимые средства или научить обходиться без них. Ответа на эту телеграмму я не получил, но потом узнал, что она очень смутила старого барона Мейендорфа, председательствовавшего в заседании Главного Управления, когда она была доложена.

Попутно коснусь вопроса о вознаграждении персонала Красного Креста, по поводу которого немало бывало разговоров, как о якобы преувеличенного. Санитары и сестры получали в Красном Кресте тот же оклад, что и в военном ведомстве (сестра – 30 р. в месяц на всем готовом); врачи получали оклады, иначе исчисленные, чем в военном ведомстве, но по размеру мало от них отличающиеся. Первоначально наши оклады были несколько выше, потом, наоборот, несколько ниже военных. Обособленно стояли оклады административного персонала. Большая часть его получала определенное содержание, уполномоченные же в принципе должны были работать бесплатно. Так как, однако, часть их не имела достаточных для этого средств, то им были установлены суточные в размере 10 р. Первоначально почти все работали бесплатно, но с течением времени положение изменилось, и, наоборот, большинство брало эти суточные. Особоуполномоченные сперва все работали безвозмездно, но потом и тут положение изменилось, и, например, на Западном фронте один Кочубей имел возможность ничего не брать. Главноуполномоченным суточных не полагалось, но зато им отпускалось в безотчетное распоряжение по 1000 р. в месяц. Большинство из них этой суммы на себя не пользовалось или, как например, Волков и я, употребляли ее на нужды, сметой не предусмотренные, но некоторые, как напри-

мер, Иваницкий и, кажется, Зиновьев, средства которых были ограничены, рассматривали ее, как суррогат жалования, как, в сущности, она рассматривалась и Главным Управлением при ее установлении.

Нужды в персонале обычно не наблюдалось, кроме как в врачах. Сестер и санитаров недоставало лишь случайно, пока не успевали их прислать, врачей же не хватало вообще, и вместо настоящих врачей, чем дальше, тем больше, присылали зауряд-врачей, т.е. студентов 3-4 курсов. Наряду с этим стали появляться и врачи-самозванцы, нескольких из которых удалось изловить и удалить. Хорошие врачи довоенного времени стали, наоборот, стремиться в тыл, где работа была и более интересна для них, и более поучительна. Получилось такое положение, что я давал согласие на перевод врача в тыл, только под условием замены его другим, равноценным. Помню, что именно по такому поводу очень обиделся на меня старший врач одного из Георгиевских лазаретов д-р Стасов, заместителя которому прислать из тыла не смогли, и ему пришлось остаться сидеть в какой-то дыре, где-то в районе Слуцка.

В административном персонале тоже нужды не было, наоборот, предложение превышало спрос, ибо служба в Красном Кресте избавляла от призыва в войска. Ввиду этого при приеме в Красный Крест я старался выбирать не военнообязанных. Отмечу кстати, что среди поступивших в Красных Крест в начале войны целый ряд из них – и большею частью прекрасных работников – ушли на военную службу, когда стали призываться их года и которые ушли (укажу, например, Буторова, Иславина) специально, дабы их не могли упрекнуть в уклонении от военной службы. За поступившими в Красный Крест были сохранены по особому Высочайшему повелению их должности по гражданскому ведомству. С течением времени, однако, с увеличением в тылу нужды в чиновниках, от нас стали требовать нашу молодежь обратно в Петроград. В числе прочих, Министерство иностранных дел потребовало от меня начальника 3-го передового отряда Соколовского, который, однако, был так этим обижен, что оставил службу в министерстве. Однако и после этого затруднений с административным персоналом не наблюдалось.

Среди моих подчиненных была группа Варшавских судебных деятелей, рекомендованных Красному Кресту Гершельманом и работавших у нас прекрасно. Забавным типом среди них был некий Шокальский, член суда, занимавший у нас ряд должностей и, в конце концов, ставшим заведующим питательным пунктом в

Орше. Очень усердный и порядочный человек, он как-то не принимался никем всерьез, и у всех, даже своих подчиненных был известен под прозвищем «Шакал». В числе поляков был и наш санитар-буфетчик управления, в мирное время портье «Бристоля» в Варшаве, очень хорошо и добросовестно справлявшийся со своими обязанностями. Вообще должен сказать, что на группу санитаров нареканий было сравнительно мало, что, правда, объяснялось возможностью, вероятно также страхом, попасть в строй в случае отчисления от Красного Креста. В Управлении у нас я помню только один случай отчисления в строй 2-х санитаров за пьяный скандал. Не могу не вспоминать еще нашего курьера, до войны курьера Департамента общих дел Министерства внутренних дел. Какой это был корректный и умный человек и как он умел разбираться в людях!

Стремление сократить расходы привело нашу хозяйственную часть к мысли о хозяйственных заготовках. Правда, все медицинское снабжение и большую часть хозяйственного мы получали из Складов Главного Управления, продовольствием и фуражом снабжало нас интендантство, бензин давало инженерное ведомство, однако, с отходом к Минску кое в чем нам стали отказывать, в частности стали нам отказывать в сене, которого не хватало и для армий. Это обстоятельство, а также и указания Контроля, побудили меня налечь на Аматуни, чтобы он приступил к самостоятельным закупкам и сена, и дров, в которых тоже наблюдался недостаток. Увы, в обоих случаях опыты Аматуни оказались неудачными, и оба раза в виду неумения его выбирать подходящих людей. Дрова закупались около Бобруйска и просто были плохого качества, сено же, по-видимому, было куплено и невысокого качества и попортилось во время долгой перевозки. В дровяной поставке было проявлено, по моему мнению, только неумение, а в сенной – агент Аматуни, которому он доверился слишком легко, по-видимому, оказался не вполне чист на руку, почему мы с ним скоро разошлись, хотя прямых улик против него не было.

В январе 1916 г. единственный раз за все два года пребывания на фронте я захворал. Сперва два дня с жаром около 39 я ходил в Управление, несмотря на жестокие морозы, но затем не смог больше, и должен был слечь. Около недели ко мне приходили мои помощники с докладами только по наиболее серьезным делам, да и то дня два я плохо разбирался в них. Оказалась серьезная инфлуенция. С этой болезнью связано у меня воспоминание о нашем консультанте по нервным болезням приват-доценте Урштейне, просидевшим у меня в один из этих дней часа два и прочитавшим

мне прямо очень интересную лекцию. Между прочим, он сообщил мне, что у одного из наших начальников отрядов, начавшего проявлять странности, видимо начинается прогрессивный паралич, ибо Вассермановская реакция дала положительный результат, хотя больной и отрицал, чтобы у него когда-нибудь был сифилис. Тут же он рассказал мне, что подчас сифилис бывает столь слабым, что больной его не замечает, и изложил мне все открытия в деле борьбы с ним.

Уже к концу болезни приехала ко мне жена и осталась в Минске около недели. На обратном пути она попала в Орше в скорый поезд, который около Ново-Сокольников налетел на поезд какого-то бактериологического отряда и разбил его. Кажется, в этом именно крушении погиб очень способный артиллерист генерал Дымша. Вспоминаются мне еще, как при въезде в Варшаву еще в конце 1914 года погиб другой генерал, инженер-фортификатор: шофер, проезжая под приподнятым барьером, взял слишком близко к нему, и спавшего генералахватило головой о бревно; когда через 10 минут автомобиль подкатил к Европейской гостинице, генерал был уже мертв. Раз заговорив о несчастных случаях, остановлюсь еще на гибели в Минске генерала Дюбрейль-Эшапара, начальника одного из именных санитарных поездов. Как-то он довез до Минска в своем купе нескольких офицеров-автомобилистов. Теперь они приехали пригласить его к себе, взяли в автомобиль и помчались от станции полным ходом; дым от паровоза застлал дорогу, автомобиль налетел на столб, и Эшапара выбросило на улицу. Все усилия наших профессоров не помогли, и через сутки бедняга умер от трещины в черепе, не приходя в себя.

В один из моих поездок в Витебск, кажется, в марте, ко мне в вагон вошел наш уполномоченный барон Черкасов, несколько взволнованный, и сообщил мне, что накануне через город проезжал принц Ольденбургский, справился открыт ли большой разный госпиталь на 2000 мест во вновь строящихся бараках, и на ответ губернатора, что нет и что открыть его должен Красный Крест, приказал Черкасову открыть этот госпиталь в трехдневный срок. Действительно, в разговорах с Н.А. Даниловым не раз шла у меня речь об этом госпитале, и я брался по окончании постройки бараков открыть здесь госпиталь, постепенно доведя его до 2000 мест. На постройку бараков первоначально было ассигновано военным ведомством около 2.000.000 р., но уже выяснилось, что он обойдется не дешевле 7.000.000 р. Данилов в разговорах со мной возмущался этим, говорил, что кого-то из инженеров он уже устранил от постройки, но дело лучше от этого

не шло. Во всяком случае, ко времени приезда принца ни один барак не был закончен; полы были настланы, но рам нигде не было, не было печей, к устройству водопровода только приступали, а о канализации только говорили. Между тем, для крупного заразного госпиталя необходимо было наладить надлежащим обрезом очистку всех сточных вод; не было и дезинфекционных камер. Все это Черкасов сообщил мне наскоро, а я позднее убедился во всем этом и сам лично.

На следующее утро я был в Петрограде, а еще через день, часов в 7 утра у меня раздался телефонный звонок с приказанием от принца прибыть к нему к 9-ти часам. Ясно было, что это по поводу Витебского госпиталя, в чем я не ошибся. Когда я вошел к принцу, то он подал мне телеграмму губернатора, что три дня прошли, а госпиталь не открыт. «Так точно, ваше высочество, но позвольте доложить, что его не в чем открыть», – и затем в самых кратких чертах я изложил положение дела. «Но старайтесь все-таки открыть его поскорее», – было мне на это указано. Весь наш разговор взял не больше 5 минут, но освободился от принца я только около часа дня, ибо, не кончив разговора со мной, принц перешел к другому вызванному, затем к третьему, и в конце концов нас набралось в его кабинете около 20 человек, переходивших за принцем из комнаты в комнату и зря терявших время.

Понемногу я перебрал все стороны моего пребывания в Минске, но не коснулся еще главной – военных операций за это время. Первое время после ликвидации Молодечненского прорыва армия устраивалась и пополнялась, формировались новые дивизии из ополченских частей, улучшалось, хотя и слабо, снабжение войска снарядами и винтовками. Боевых действий, однако, первое время совершенно не происходило, ибо наша армия пока ни на что серьезное не была способна, а немцы устраивали свои тылы. Больших операций до весны с нашей стороны и не предполагалось. Однако в начале февраля немцы начали наступление на французов, так называемую Верденскую операцию. Уже с самого начала ее с французской стороны было проявлено беспокойство, и в нашу Ставку полетели просьбы о помощи. Ответом явилось решение начать сразу наступление на Западном и Северном фронтах.

В начале февраля выбиралась Гос. Дума, и я поехал на ее открытие в Петроград. Когда я уезжал из Минска, никаких разговоров о наступлении не было, но дня через три, около 30-го февраля, я получил шифрованную телеграмму от Гершельмана о срочном распоряжении Данилова оборудовать 2000 новых госпитальных мест.

Открытие Думы в этот раз ознаменовалось совершенно неожиданным приездом в нее Государя. По-видимому, это была его личная мысль, о которой мы все узнали только за несколько часов. Настроение среди членов Думы было приподнятым: гимн после молебна повторялся бесконечно. Государь после службы прошел через средний проход зала заседаний, но ни с кем не разговаривал. Я стоял около моего места и, вероятно, моя форма обратила на себя его внимание, он замедлил ход и пристально на меня глядел, видимо припоминая, кто я такой. Уже второй раз смотрел он на меня так – в первый раз это было в Старой Руссе в 1904 г., когда Государь приезжал туда провожать на войну Вильманstrandский полк. Настроение среди членов Думы после отъезда Государя было такое, что при ничтожных уступках со стороны правительства от Думы можно было добиться всего. Увы, ни тогда, ни потом никакого желания идти навстречу Думе не оказалось. А ведь даже среди правых членов Думы уверенность в неизбежности шагов навстречу общественности была тогда господствующей. Помню, например, разговор в этот день с Алексеем Бобринским, тогда уже членом Гос. Совета, который уверял меня, что приезд Государя только начало, и что теперь отношение к общественности непременно наладится.

В Петрограде я оставался недолго, и поехал в Минск, ибо не мог оставить без себя подготовку Красного Креста к большим боям. В Минске от Данилова и от наших особоуполномоченных я выяснил картину предполагаемого нами наступления. Намечалось оно в районе 2-й армии в начале марта, для чего сюда сосредотачивались войска и из других армий. Эвакуация раненых должна была производиться на линию железной дороги Молодечно-Полоцк, на станции от Вилейки до узкоколейки Глубокое – Ново-Свенцяны. Так как здесь помещений для их приема не было, то Данилов отдал приказание выстроить к 1-му марта бараки на 2000 мест для Красного Креста, и, кажется, на 1000 мест для Земского Союза. Последнему места были отведены у выхода на широкую колею Ново-Свенцянской ветки. Вот для этих-то барачных и необходимо было перевести наши лечебные заведения из других мест. В общем, я нашел их что-то на 1500 мест, взяв, главным образом, госпитали из глубокого тыла, те, которые были туда отведены еще в августе-сентябре. Однако и этих госпиталей использовать нам не пришлось. На линии Молодечно-Полоцк строительных материалов совершенно не было, и приходилось их привозить из тыла. Так как количество поездов было очень ограничено и по железной дороге производилась в первую очередь усиленная

перевозка артиллерийского снабжения и интендантских запасов, то строительные материалы перевозились очень медленно, и постройка барakov затянулась. К началу марта не было готово и половины предполагаемых мест, и большинство моих госпиталей были размещены в них уже тогда только, когда бои закончились.

В общем, однако, особых затруднений с размещением раненых на линии железной дороги не было, кроме места выхода на нее Ново-Свенцянской узкоколейки, куда стекалось довольно много раненых (не припомню теперь название этой станции). Особенно тяжела была доставка раненых до линии железной дороги, ибо наступление совпало с началом распутицы, несчастных везли подчас двое суток там, где нормально их должны были доставить в день. В результате все лечебные заведения по пути к железной дороге были загружены, и класть раненых больше было некуда. Затем, если из района западнее Ново-Свенцянской линии раненые вывозились поездами довольно быстро, то к востоку от нее произошел затор. Не помню, сколько по графику здесь полагалось санитарных поездов, но, во всяком случае, очень немного, и было ясно, что на номерных поездах всех раненых отсюда не вывезут. Поэтому еще сразу по возвращению моем в Минск, проехав по району предполагаемых боев, я высказал Данилову мое мнение о необходимости использования здесь кадровых или так называемых временно-санитарных поездов. Данилов категорически отказался от этого, заявив мне, что ни разу до сих пор на Северо-Западном фронте временными поездами не пользовались. Это было и фактически неверно, ибо уже не раз масса раненых вывозилась и на этом фронте даже в простых товарных вагонах, но главное, что уже почти сразу после начала боёв раненых повезли в совершенно необорудованных товарных поездах, и часто без кухонь. Лично я видел такой поезд недалеко от Полоцка, и комендант его жаловался мне, что раненые уже сутки не получали пищи.

В связи с этими боями у меня произошел инцидент с Вырубовым. Уже в начале их я получил от Верховного начальника Санитарной части телеграмму с предложением расследовать правильность жалобы на беспорядки в Земском лазарете в районе Ново-Свенцянской линии. Не имея возможности поехать туда лично, я поручил поехать туда Мезенцеву. Вернувшись, он сообщил мне, что, несомненно, беспорядки там были, но, что при указанных мною выше условиях – неготовности барakov к началу боев и слабой эвакуации раненых, беспорядки эти были извинительны. Об этом я и донес принцу Ольденбургскому, не поместив в моей телеграмме ни одного резкого выражения по адресу Земского Союза.

Мезенцев рассказал мне также, что во время осмотра им одного из земских госпиталей, к нему обратился уполномоченный Земского Союза Ковалевский, к которому этот район, как оказалось потом, был на это время подчинен, и стал оспаривать, правда очень корректно, право Мезенцева осматривать учреждения Земского Союза. Впрочем, после разговора Мезенцеву показалось, что Ковалевского его разъяснения удовлетворили.

Однако через несколько дней у меня вдруг раздается звонок телефона, и я слышу резкий голос Данилова, спрашивающего меня, по какому праву и по каким основаниям я счел возможным поручить Мезенцеву осмотр земских учреждений? Я ответил ему, что право это мне давало «Положение о Полевом управлении армией в военное время», а основанием была телеграмма принца Ольденбургского. На это я получил указание, что фактически «Положение о Полевом управлении армией» в области взаимоотношений Красного Креста и Земского Союза не применяется; тогда я указал ему, что если это и так, то недавно состоялось признание князем Львовым, председателем Земского Союза, подчиненности его на фронте Красному Кресту. «Как так?» – удивленно воскликнул Данилов, – «И у вас есть об этом бумага?» На мой утвердительный ответ он попросил меня приехать с нею к нему, что я и выполнил сразу.

Здесь разговор продолжался уже в другом тоне. Письмо Львова, действительно, было таково, что отрицать дальше мое право контролировать земцев было невозможно. Но, не желая сразу признать, что Вырубов ввел его в заблуждение, Данилов стал тогда говорить о невозможности двоевластия на фронте, что он уже имел очень резкие столкновения с Ольденбургским по этому поводу и добился того, что сей последний перестал распоряжаться в его районе. Ввиду этого он предложил и мне впредь на требования принца внимания не обращать. На это я ему ответил, что я не военный, а штатский, и что мне не считаться с требованиями принца, действующего на основании высочайшего повеления, невозможно. Впрочем, я прибавил, что Данилов может быть спокоен, что все шаги мои в отношениях к принцу не вызовут на фронте ни двоевластия, ни беспорядка, что я слишком дисциплинированный человек, чтобы не понимать полную их недопустимость. Дальнейших разговоров на эту тему с Даниловым у меня уже не было, но с Вырубовым был, и я ему определенно высказал, что вмешиваться во внутренний строй его учреждений я совершенно не желаю, готов всегда ему во всем помогать, но совершенно не понимаю его нежелания не считаться, даже в этих ограниченных

пределах с тем, что, несмотря на все свое нежелание, должен был все-таки признать Львов.

Заговорив о санитарной обстановке мартовских боев, я ничего пока не сказал про самые боевые действия, теперь я к ним и перейду. Раньше первых дней марта начать какую-нибудь крупную операцию для помощи французам было совершенно невозможно. Между тем, в начале марта на Юго-Западном фронте обычно уже бывает распутица, и посему там наступать в это время было почти невыносимо, и приходилось наступать только на Западном и Северном фронтах. У нас был выбран, как центр удара, район озера Нарочь и Поставов, занимавшийся 2-й армией. Сюда было сосредоточено для него всего 12 корпусов. Так как распоряжение таким количеством единиц было для одного лица непосильно, то корпуса эти были распределены на три группы, под командой корпусных командиров генералов Плешкова, Сирелиуса и Балуева. Как потом выяснилось, мера эта оказалась неудачной, ибо особых штабов в группах создано не было, и руководство ими легло на штабы корпусов, командиры коих руководили и группами, и это не могло не сказаться на успешности руководства. Командующий армией генерал Смирнов незадолго до начала боев серьезно заболел, и его эвакуировали в Москву, а его заменил командующий 4-й армией генерал Рагоза, ни с районом, ни с войсками не знакомый, да и вообще гением не бывший. Серьезно заболел инфлуенцией накануне боя и генерал Плешков, и, хотя командования не сдавал, но вполне понятно, что с температурой около 40 градусов не мог всем заниматься лично, и посему фактически группой руководил его начальник штаба генерал Зиборов, особого доверия к своим талантам никому не внушавший. В группе Балуева возникли трения между командиром одного из корпусов (кажется, 3-го) генералом Короткевичем и его соседями, одним из коих был сам Балуев. Короткевич отказывался исполнять приказания Балуева, что, однако, потом не повлекло для него никаких последствий.

Наступление наше началось 5-го марта. Почти всюду мы взяли первую линию немецких укреплений, но не смогли тогда продвинуться дальше, кроме южной конечности озера Нарочь, где 5-й корпус Балуева отбросил немцев версты на 3-4. В 1-м армейском корпусе, на правом фланге армий, не удалось взять второй линии, несмотря на то, что атакуемый немецкий участок занимала всего одна кавалерийская бригада. Словом, наше наступление явилось, несмотря на весьма значительные потери, совершенно неудачным. Даже в 5-м корпусе, где удачно отбросили немцев, наши только подошли к следующему поясу немецких укреплений.

ний и притом расположенному на холмах, в то время, как наши стояли внизу, в болотах. Не удивительно, что через месяц, оправившись, немцы 15-го апреля ударили по 5-му корпусу, отобрали все ими потерянное в марте и захватили у нас около 20 орудий и 5.000 пленных.

Мне лично пришлось через 3-4 дня после начала боев побывать в районе 1-го Сибирского корпуса, где было решено, как раз в этот день, в 6 часов вечера вновь повторить атаку. В это время я проезжал в нескольких верстах за фронтом; за полчаса, а быть может, и за 20 минут всего, начался ураганный огонь, затем он сразу затих, и началось томительное ожидание. Ночью я узнал, что и эта атака была неудачной. Ужасно было в это время положение раненых на поле сражения: оттепель наступила раньше, чем ожидали, и ко времени атаки все поля, особенно в районе Постав, где местность была совершенно плоская, была сплошь покрыта водой, которая по ночам подмерзала. Не удивительно, что немало раненых, ослабленных потерей крови, погибло, будучи насквозь промокшими, от холода. Да и среди не раненых было немало заболевших разными простудными болезнями. В этот момент западнее, ближе к Сморгони, где местность была холмистая, положение было лучше, все-таки здесь было суше. Кстати, вспоминается, что Сморгонь, оставшаяся между нашими и немецкими линиями, была осенью местом чуть ли не еженощных поисков наших и немецких команд, отправлявшихся туда за кожей, оставшейся там в значительном количестве на многочисленных местных кожевенных заводах, с которых эту кожу увезти при отступлении не удалось.

Кажется, именно в эту поездку, проезжая вдоль фронта ночью, я видел то тут, то там красивые полеты ракет, которыми обе стороны освещали позиции противника, в то время, как на небе, виднелось слабое, северное сияние.

Так как первый наш удар определенно показал, насколько мы слабо еще подготовлены, а условия погоды становились все более и более неблагоприятными, то уже к 10-му марта это несомненно импровизированное наступление само собой прекратилось. Началась подготовка к настоящему наступлению уже в конце апреля, которое было намечено к западу от Молодечно, в районе Крево, в 10-й армии. Сюда были собраны крупные силы, подтянута вся наша тяжелая артиллерия, но вдруг, чуть ли не накануне наступления, оно было отменено. В штабе армии говорили, что шансы наши на успех прорыва были значительны, но в штабе

фронта было пессимистическое настроение, которое пересилило, и от этого наступления отказались.

В апреле до меня дошло отданное Ставкой еще в марте распоряжение о переводе с фронта в тыл всех евреев. Для Земского и Городского Союзов это требование было весьма серьезным, ибо у них евреев административных служащих, а особенно врачей, было очень много, но в Красном Кресте их были единицы, и те так хорошо себя зарекомендовали, что всех их удалось отстоять. Мне непосредственно пришлось хлопотать только за одного студента, представителя, кажется, Горного Института в отряде Петроградских Высших Учебных Заведений. Штаб корпуса, при котором отряд работал, и 2-й армии не решились сами его оставить; тогда ко мне приехал начальник отряда, не то приват-доцент, не то лаборант университета, прося помочь ему. Обращение к Данилову осталось безрезультатным, ибо он не посмел взять решение на себя, зная свою юдофильскую репутацию. Ввиду этого я обратился прямо к Эверту, который только спросил меня и начальника отряда, который поехал к нему со мной, ручаемся ли мы за этого студента, и затем сказал, что если командарм телеграфно запросит его, то он разрешит оставить этого студента. Так оно и было сделано. В другом случае меня просил генерал Апухтин, начальник 56-й дивизии, за какую-то сестру-еврейку, работавшую при их дивизии и заслужившую там общую симпатию. В этом случае мне оказалось невозможным заступаться за нее, ибо она не была, как выяснилось по проверке, сестрой милосердия и у нас нигде не числилась.

Отмена наступления у Крево сопровождалась принятием решения наступать у Барановичей, куда и стали спешно перебрасываться и войска, и артиллерия, и запасы. Тем не менее, на подготовку этого наступления потребовалось более месяца. В отношении санитарной части в районе Крево был возведен специальный лазаретный городок около станции, кажется, Листопады. Как и другие станции, Листопады забрасывались бомбами с аэропланов, и как-то случилось, что бомба разорвалась в одном из военных госпиталей, рядом с операционной, где как раз производилась операция; доктор проявил полное самообладание, и операция не приостановилась ни на одну минуту. В районе Барановичей никаких специальных лазаретных городков уже не строилось, а все лечебные заведения размещались преимущественно в лесах, как около станции, так и в местах, куда стекались раненные отдельных дивизий и корпусов.

Ко времени наступления в районе Барановичей там тоже было сосредоточено более 10 корпусов. Как мне потом, сразу после первого нашего удара, говорил генерал-квартирмейстер П.П. Лебедев, первоначально фронтом предполагалось ударить сразу 3-4 корпусами. Однако, командир 9-го корпуса генерал Абр. М. Драгомиров, которому было вверено командование ударной группой, решил иначе, и фронт не посмел отменить это распоряжение – обычный наш страх ответственности – выполнить свои собственные предположения. Мысль Драгомирова была поставить корпуса в затылок один за другим, на расстоянии около перехода, и атаковать одним корпусом. Для первой атаки им был выбран его 9-й корпус, занявший незадолго до того позиции Гренадерского корпуса к северу от железной дороги Минск-Брест. Немного севернее должен был демонстративно атаковать 25-й армейский корпус или точнее 46-я дивизия, а к югу от 9-го корпуса демонстрировал 10-й корпус, командование которым перед этим как раз принял Н.А. Данилов. На участке 25-го корпуса позиция неприятеля считалась столь сильной, что назначить здесь серьезный удар считалось невозможным. Не было учтено лишь одно обстоятельство, а именно, что здесь, и только здесь, в германские войска была вкраплена австрийская дивизия. В результате, в то время, как 9-й корпус, потеряв 50% своего состава, смог взять только две линии укреплений и остановился перед третьей, 46-я дивизия прорвала все три линии. К сожалению, резервов за нею не было, и через несколько часов она была выбита обратно немецкими резервами. На следующий день атака была около Барановичей повторена уже другим корпусом, но тоже напрасно. Вообще, атаки на всем этом участке повторялись, если не ошибаюсь, 4 дня подряд, но всегда безуспешно.

Еще в феврале я заявил Ильину, что прошу освободить меня с 1-го июля от обязанностей главноуполномоченного, чтобы работать в Гос. Думе. В конце марта меня уведомили, что моим заместителем будет А.В. Кривошеин, уже несколько месяцев бывший особополномоченным при 7-й армии, и приехал в Минск за несколько дней до этих боев. Я познакомил его с нашим Управлением, рассказал ему о наиболее интересных делах и мы решили вместе поехать с ним в район боев. Если не ошибаюсь, то выехали мы в вечер того дня, в утро которого была произведена первая атака. В этот вечер или в следующий у меня был с ним разговор о земельном вопросе, причем он возражал против нового надения крестьян землею, которое я отстаивал; ссылаясь на то, что результатом его будет понижение средней урожайности. Указал

он также, что в Прибалтийском крае, где крестьяне были освобождены без земли, хозяйство стояло на более высоком уровне. Я мог ему возразить только тем, что в Прибалтике, именно благодаря сему, аграрный вопрос стоял еще более остро, чем в остальных частях империи, что и проявилось в 1905 г.

Следующим утром, посмотрев учреждения на ст. Погорелицы, до которой доходил поезд, мы поехали в штаб 9-го корпуса, или вернее, к ген. Драгомирову, находившемуся на «Куропаткинском» наблюдательном пункте, на высоте, правее железной дороги. Проехав мимо немногочисленных и крайне редко стрелявших тяжелых батарей, мы вышли из автомобиля и ходами сообщения, в которых легко было заблудиться, прошли к Драгомирову, который познакомил нас с положением и сообщил, что в 6 часов вечера будет новая атака. Присутствовать при ней он нам не позволил, говоря, что чужие – к несчастью. После этого нас провели на другой наблюдательный пункт, откуда я увидел совершенно ясно взрывы наших тяжелых снарядов в немецких траншеях – столбы бурого дыма и пыли и отдельно летящие камни, бревна и как будто человеческие тела. Все время нас предупреждали не выпрямляться, чтобы не быть замеченными немцами и не обнаружить им наблюдательного пункта. С него мы проехали в лес, где стоял наш транспорт, обслуживавший 46-ю дивизию.

Большинство раненых уже было вывезено, и оставались лишь вновь поступающие и наиболее серьезные, перевозка которых считалась опасной. В числе последних был полковник генштаба Аджиев, командир одного из полков этой дивизии, в сообщении Ставки уже показанный убитым. При нас его положение считалось еще очень серьезным, но, тем не менее, он выжил. В этот день мы побывали еще в штабе 25-го корпуса и в лазарете в лесу около Погорелиц, где лежали раненые 42-й (кажется) дивизии, 9-го корпуса. И здесь все помещались в палатках, а частью и просто под открытым небом, благо погода была хорошая, жаркая. Настроение раненых офицеров, с которыми я говорил, было очень бодрое. Здесь погрузка производилась без задержек, из 46-й же дивизии, откуда раненых везли за 40 верст на Замирье, эвакуация несколько замедлилась. Около станции Погорелицы стояла зенитная батарея для обстрела аэропланов, несколько раз при нас открывавшая огонь. Когда мы, уже под вечер, отъезжали вновь от Погорелиц, за нами, но далеко, примерно в полуверсте, упали две немецкие бомбы. Не знаю почему, наш шофер страшно перетрусил и пустил автомобиль полным ходом, несмотря на очень плохую дорогу. Только мой, возможно грозный, окрик привел его

в себя. На следующий день мы объехали ряд учреждений к югу от железной дороги и побывали, между прочим, в штабе 10-го корпуса. Н.А. Данилов здесь уже не производил того блестящего впечатления, что в Минске, но все, что он и здесь говорил, было все также умно. Узнали мы тут, что накануне был легко ранен его верный сотрудник за все время войны подполковник Сулейман, с которым мне часто приходилось встречаться в Минске.<...>

По возвращении из поездки к Барановичам я сделал последние прощальные визиты и через несколько дней уехал в Петроград. Перед этим меня очень сердечно чествовали в Управлении, вместе все мы снимались, поднесли мне адрес. Эверт пригласил меня завтракать в Собрание Штаба, где предложил выпить за мое здоровье и объявил мне благодарность в приказе, но довольно казенного образца.

По приезде в Петроград я доложил в Главном Управлении о ходе дела на Западном фронте и о порядке сдачи мною должности. Постарался я продвинуть несколько дел, в том числе и дело о предании суду А. Вырубова, но натолкнулся на противодействие и Ильина, и Чаманского. Оба они всегда придерживались политики неподнимания скандалов, и так как жена Вырубова была тогда в полной силе, то, несмотря на все мои настояния, это дело так и не сдвинулось с места. Крупно поговорил я с Ильиным и по другому делу: еще в Минске ко мне обратился Л.В. Кочубей, прося помочь одной сестре, которую баронесса Иксуль исключила из Кауфмановской общины, попечительницей которой она была, за то, что эта сестра была переведена из одного учреждения в другое по распоряжению Кочубея, утвержденному Миротворцевым, причем, однако, согласие Общины предварительно испрошено не было. Сестру эту по моей просьбе приписали к Минской общине, но вместе с тем я написал в Главное Управление жалобу на Иксуль, находя, что если кто и виноват, то Кочубей и Миротворцев, а не сестра, а кроме того, что на фронте двоевластия быть не должно. Из сего, однако, ничего не вышло, ибо Ильин с Чаманским не решились сделать замечание такой решительной и авторитетной в петербургском обществе особе, как баронесса, имевшая в Петрограде большие связи в самых разнообразных кругах, не исключая и довольно левых.

Пробыв в Петрограде дней 10-12, я поехал в Рамушево, где была жена с детьми, и начал писать отчет о моей работе на фронте – и как особоуполномоченного, так и главноуполномоченного. Хотя у меня были и не все материалы под рукой, однако отчет вышел довольно объемистым, и когда я его привез в Главное Управ-

ление, то Чаманский, собравшийся его сперва напечатать в «Вестнике Красного Креста», должен был от этого отказаться. Затем наступила революция, и о печатании его, конечно, не пришлось больше и думать. Так он и остался лежать в Главном Управлении, и я не знаю, уцелел ли он вообще. Вместе с этими записками он должен дать довольно полную картину моей работы на фронте за два года войны. Занимаясь этой работой, я прожил в Рамушеве около двух месяцев.

Война в то время у нас сказывалась еще сравнительно мало, если не считать, конечно, того, что в редкой семье не было кого-нибудь на войне, а во многих были и убитые. Все товары еще были, цены поднялись немного, и с сельскохозяйственными работами справлялись. Говорили только, что заготовка дров становилась затруднительной, хуже стали земские почтовые станции; все постройки остановились, и в том числе и земские. Уже два года стояла недостроенной и земская больница в Рамушеве. Иногда, гуляя в лесу, приходилось слышать вдали пулеметы – это на поддороге к Старой Руссе на стрельбище упражнялись солдаты запасного батальона. Ими были переполнены все казармы Вильманstrandского полка, Реальное училище (на постройку которого я выхлопывал деньги в Министерстве народного просвещения) и еще какие-то здания. По-видимому, порядка в батальоне было мало; мне пришлось еще тогда слышать, что офицеры его по ночам не смели ходить по казармам из страха быть избитыми. Теснота в них была страшная, люди, постоянно сменявшиеся, были офицерам неизвестны, распушенность уже начала сказываться, и если явно не сказывалась в наружной дисциплине, то уже заставляла офицеров быть настороже. Про дезертиров, скрывающихся в ближайших деревнях, я не слыхал, но в Руссе говорили, что в уезде их немало. Общего недовольства я не заметил тогда, но дважды было, что меня спрашивали о роли Распутина при дворе; раз это был наш отец Иосиф, скромный и тихий священник; очень смущаясь, он спросил меня, что верного в слухах о таком старце, появившемся при Дворе и якобы хлысте; в другой раз на лугу меня спросил о Распутине один из пожилых, степенных крестьян (не помню точно кто), но более грубо – что вот неладно говорят про царицу. Однако потом выяснилось, что то, что царица находится под влиянием «нашего брата мужика», ему скорее нравится. Пришлось в обоих случаях ответить уклончиво, ибо разговоры о Распутине получили столь широкое распространение, что отрицать все было решительно невозможно.

Дабы знать, что происходит на белом свете и особенно на войне, я подписался на военные бюллетени Телеграфного Агентства. Стоили они недорого, но, тем не менее, я пожалел об этом, ибо получал их, ввиду перегруженности линий, очень поздно, часто после Петроградских газет, в которых соответствующие телеграммы были помещены.

Кажется, около 1-го сентября, а, быть может, и в конце уже августа, я вернулся в Петроград и стал работать в Красном Кресте. Кроме ежедневных почти заседаний Главного Управления, я возобновил работу в Мобилизационном Совете. Председательствовал в нем теперь В.К. Анреп, которого я во время его отъездов заменял. Работа в нем наладилась и шла нормально и спокойно. Состав служащих был хороший и знающий; во главе Канцелярии Совета стоял тогда заменивший Лемана Никитин. Большим вопросом было в тот момент требование Военного министерства об откомандировки от Красного Креста целых категорий военнообязанных. И Анреп, и я были всецело готовы идти навстречу этому требованию, но против него дружно стояли почти все наши сотоварищи по работе и подчиненные. Если и на фронте в краснокрестных учреждениях было немало избегающих строевой службы, то в тылу они составляли 99 % вселившихся к нам во время войны служащих. Большинство из них попало к нам по протекции или по знакомству, и, конечно, и теперь все эти связи были пущены в ход. Кстати отмечу, что многих устраивал в Красный Крест Чаманский, очень отзывчиво откликавшийся на все подобные просьбы и этим способом составлявший себе прекрасные связи. Это помогло ему, не имея 40 лет, стать членом Совета Министерства земледелия и действительным статским советником. В те времена это было очень много, особенно для еврея. Эти же связи пускались в ход и теперь, и вполне понятно, что тон, задаваемый начальником Канцелярии, отражался всюду, и отчисления от Красного Креста сводились к минимуму.

Работа в Петроградских учреждениях, находившихся в непосредственном ведении Главного Управления, шла хорошо, кроме автомобильных мастерских. Сознание неудовлетворительной их постановки и дороговизны их работы было, но умение поставить их лучше не было. Заведовала ими особая комиссия под председательством В.Н. Сиротинина – не специалиста по этому делу, руководил мастерскими офицер-автомобилист Чебыкин, но ни тот, ни другой не знали, как исправить дело. Склад Красного Креста – наш орган снабжения, наоборот, работал всю войну великолепно под руководством Б.К. Ордина.

Главное Управление работало все время, как Исполнительная Комиссия в составе не только своем, но и представителей целого ряда общественных организаций – земских, городских, дворянских, разных ведомств, во главе с военными и т.д. Иногда сидело в заседании человек 40. Руководил заседаниями А.А. Ильин, и, надо ему отдать полную справедливость, прекрасно.

В числе вопросов, наиболее интересовавших Главное Управление, был вопрос о положении наших военнопленных в Германии и в Австрии. Для помощи им первоначально образовался в Москве особый городской комитет с отделениями в Копенгагене, Гааге и Берне. Заведующий его канцелярией, очень бойкий молодой человек, Д.С. Навашин, раза два делал в Главном Управлении сообщения об их деятельности. Выступали у нас сестры милосердия, ездившие в Германию и Австрию осматривать лагеря военнопленных, с сообщениями о том, что они там видели. Раза два шумел в заседаниях М.В. Родзянко, требуя усиления помощи военнопленным, и иногда, но очень незаметно, говорил о ней наш сочлен князь Н.Д. Голицын, тогда председатель Комитета Императрицы Александры Федоровны для помощи военнопленным. Деятельность этого комитета была очень слаба, но в значительной степени не по его вине, ибо одной из причин ее недостаточности в это время была невозможность пропустить через Торнео, где между железными дорогами была переправа через реку на паромках или саях, все необходимое для подкармливания военнопленных количество продовольствия. Говорю «в это время», ибо первоначально Ставка была вообще против всякой помощи военнопленным, дабы не давать лишнего стимула сдаваться в плен. В этот период как-то к моим родителям приезжал даже офицер из штаба округа проверить их частную помощь военнопленным лагеря, где находился мой брат*. На свои личные средства они отправляли посылки сотнями, израсходовав на это несколько десятков тысяч рублей и помогая ими не только брату, но всему лагерю. По мере перевода пленных из этого лагеря в другие и оттуда тоже начинали поступать к моим родителям просьбы о помощи, и понемногу у них оказался целый ряд обслуживаемых ими, конечно, сравнительно по необходимости, очень слабо, лагерей. Дело это у них наладилось настолько совершенно, что позднее к ним приезжал кто-то знакомиться с постановкой его из Комитета Государыни. Отношение Ставки к помощи пленным изменилось только понемногу под влиянием отчасти общественного мнения,

* Георгий Беннигсен. – *Примеч. сост.*

а, главным образом, сведений о том, что наши враги умело повели среди военнопленных пропаганду, указывая, что в то время, как англичане и французы широко помогают своим соотечественникам, только русский военнопленный ничего почти с родины не получает.

Осенью 1916 г. в дело помощи пленным хотел вмешаться и принц А.П. Ольденбургский и даже исходатайствовал на личном докладе у Государя отпуск ему крупной суммы на это дело. Но затем на следующем докладе Трепов, тогда председатель Совета Министров, добился аннулирования этого ассигнования, чего принц ему в эмиграции забыть не мог.

С выделением особого Румынского фронта пришлось туда назначить особого главноуполномоченного, коим был избран член Гос. Совета кн. Н.П. Урусов, оказавшийся, однако, очень скоро, несмотря на свое общественное прошлое, совершенно не на месте. Позднее, кажется уже после революции, он был заменен Н.А. Хомяковым. По поводу образования Румынского фронта следует сказать, что вступление Румынии в войну далеко не вызвало у нас, в осведомленных кругах, восторга. Было известно, что наша Ставка, главным образом ген. Алексеев, была против этого, считая Румынию неспособной к войне и опасаясь, что в результате (как это и случилось) нам только придется удлинить наш фронт. Тем не менее, наше Министерство иностранных дел настояло на объявлении Румынией войны, за что все военные очень дружно обвиняли Штюмерера, незадолго перед тем занимавшего пост министра иностранных дел. Уже потом только узнали мы, что и Штюмерер сам не сочувствовал этому шагу, но подчинился, как, в конце концов, и наша Ставка, настояниям наших союзников, а главным образом французов. Отношение к Штюмереру уже ранней осенью 1916 г. было, безусловно, враждебным во всех кругах, его называли определенным сторонником соглашения с немцами и возмущались, что такое лицо ведает нашей внешней политикой. Рассказывали со злорадством про инцидент с английским посланником Бьюкененом, задетым в какой-то правой газетке, кажется, Булацеля, заметкой, инспирированной чуть ли не самим Штюмерером. Бьюкенен поднял скандал, и Штюмереру пришлось извиняться.

Из дел личного состава в Главном Управлении еще неоднократно возникали разговоры об особоуполномоченном при 12-й армии Тимроте, о котором я уже говорил выше. На него как-то очень горячо обрушился Пуришкевич, которому очень спокойно возразил А.Д. Зиновьев, случайно бывший в этом заседании, что он находит совершенно невозможным такие личные нападки на

человека, который отсутствует и не может на них возразить. Вообще Пуришкевич наводил в Главном Управлении панику, и ему не смели ни в чем отказать; Склад Красного Креста он прямо опустошал, отчасти потому, что Ордин принадлежал к числу поклонников его фронтовой работы. Тем не менее, всего этого Пуришкевичу было мало, и он всюду называл Красный Крест мертвым учреждением. Деньги у Пуришкевича всегда были, однако, почти исключительно казенные, даже возможно из Департамента полиции, про что говорил в своих показаниях Белецкий. Как-то в Петрограде я был в поезде Пуришкевича. Самое интересное в нем был вагон-читальня, чистый и аккуратный и, конечно, снабженный литературой исключительно самого правого направления. Кстати, говоря о Западном фронте, я забыл упомянуть про два доноса Пуришкевича в Ставку – один на Цеге-фон-Мантейфеля, которого он обвинял в шпионаже в пользу немцев за то, что тот в качестве старшего консультанта объезжал госпиталя, как на Западном, так и на Северном фронтах как во время боев, так и перед ними. По этому поводу ко мне приезжал собирать сведения полковник Сизых. Узнав об этом доносе сам Цеге и полетел в Ставку жаловаться на Пуришкевича, был, как лейб-хирург, принят Государем, и дело кончилось ничем.

Припоминается мне курьезный донос Пуришкевича на Н.А. Данилова. Весной 1915 г. Пуришкевич приехал в Минск читать доклад на тему, кажется, о немецком засилье, который он читал уже в целом ряде городов. В Минске он снял для лекции здание городского театра. У генерала Данилова была в нем ложа, которую Пуришкевич хотел тоже пустить в продажу, но Данилов, не любивший Пуришкевича, на это не согласился. Тогда Пуришкевич пожаловался на Данилова и в Ставку, и Гос. Контролеру, указывая, что, незаконно пользуясь ложей, Данилов приносит ущерб казне, лишая ее с этой ложи сбора за увеселения. Кажется, эта жалоба осталась без последствий.

На Западном фронте я забыл отметить еще одно учреждение – организацию помощи душевнобольным. У военного ведомства ничего в этой отрасли не было, и всю ее пришлось создать Красному Кресту. На Северо-Западном фронте ею руководил известный психиатр д-р Реформатский, с которым я был знаком еще с 1907 г., когда я был председателем Больничной Комиссии в Петрограде; это был человек очень дельный, порядочный и хороший организатор, но, как это часто бывает у пожилых психиатров, он сам производил несколько странное впечатление. Организация его заключалась в приемных покоях около фронта, откуда душевно-

больные перевозились в тыловые лечебные заведения. Организация эта функционировала все время вполне правильно, и никаких жалоб на нее мне не приходилось слышать.

Настроение в Петрограде осенью 1916 г. было скверное, самое тыловое. Не было веры в успех, передавали рассказы про упадок духа в войсках даже на фронте, все брюзжали, ныли, возмущались, правда, с полным основанием, министерской чехардой, ругали Распутина и Государыню, но о революции еще не говорили. За это время министры, действительно, менялись постоянно. Назначенные летом 1915 г. более, не скажу, либеральные, но порядочные министры, уже осенью того же года ушли вместе с некоторыми старыми министрами, в числе коих был и Кривошеин, за обращение к Государю с указанием о необходимости сменить Горемыкина. Правда, через полгода и этого последнего заменил Штюрмер, но новые министры были не лучше старых. Начались на верхах власти скандалы, о каких раньше и не слыхали. Около министров стали вертеться такие темные личности, каких раньше не видывали. Около Алексея Хвостова – Ржевский, около Штюрмера – Манасевич-Мануйлов и около их обоих князь Андроников. Хвостова самого упрекали еще раньше в разных некрасивых делах, Штюрмера называли взяточником, еще когда он был губернатором в Ярославле.

Влияние Распутина, раньше только предполагавшееся, стало всюду проявляться явно. Даже митрополит Петроградский Питирим был сюда назначен благодаря поддержке Распутина, и держался благодаря связям с ним. Если Хвостов и слетел вскоре, то благодаря неудачно затеянному им покушению на жизнь Распутина при участии такой личности, как Ржевский, отданный мною под суд. Другие министры, наоборот, слетали обычно за свою порядочность. Так министр юстиции А.А. Хвостов (дядя Алексея) был смещен из министров за отказ прекратить дело Сухомлинова, а через месяц и совсем уволен. Немало вредила в это время престижу власти и военная юстиция, особенно комиссия генерала Батюшина, возбуждавшая громкие дела, бросавшая в массы клич об измене, но затем вынужденная по недостатку улик прекращать дела (например, Киевских сахарозаводчиков или Митьки Рубинштейна), что вызывало толки о произволе или, что еще хуже, о вмешательстве в эти дела через Распутина самой Верховной власти.

Наконец, к общему удивлению даже членов Гос. Думы, на пост министра внутренних дел в сентябре 1916 г. был назначен товарищ председателя Гос. Думы А.Д. Протопопов. В среде Гос. Думы

это вызвало почти возмущение. Мы знали его хорошо, многие с 1907 г., знали, что это человек несерьезный и с маленьким образованием. В 3-й Думе он сидел в Рабочей комиссии, где вместе с бароном Тизенгаузеном проводил, иногда не без успеха, точку зрения промышленников; затем он был докладчиком по законопроекту об изменении Устава о Воинской Повинности, и на этом его работа в Думе закончилась. Сперва он был на левом крыле октябристов, а затем постепенно стал склоняться вправо. Все знали его, как оратора, говорившего фразы иногда красивые, но всегда удивительно бессодержательные. <...>

Вспоминаю, как он попал в товарищи председателя Думы. В конце мая 1914 г., недели за две до роспуска Думы на лето, товарищ председателя А.И. Коновалов отказался от несения этих обязанностей. Место это принадлежало левому крылу, но оно отказалось от указания какого-либо кандидата, и в результате нашей партии земцев-октябристов, имевший в президиуме уже двух своих членов – Родзянко и Варун-Секрета, пришлось выставить своего кандидата на эту должность. За три месяца до этого, перед выборами Варун-Секрета, когда отказался Волконский, то был выставлен сперва я, но меня тогда отвели кадеты, как говорили, не то за мое юдофобство, не то за финляндские законы. Поэтому и теперь во фракционном собрании сперва было указано мое имя, но меня не было в Петрограде, я как раз уехал на неделю в отпуск в Рамушево, а без моего согласия не сочли возможным ставить мою кандидатуру. После этого кто-то назвал Протопопова, и так как к нему относились во фракции хорошо, то возражений не нашлось, тем более, что выборы производились на две недели, до перерыва. Однако летом этого года началась война. Зимой, когда собралась Дума, было решено, чтобы не возобновлять старых споров, переизбрание президиума лета 1914 года, и таким образом Протопопов укреплёлся на этом месте. В качестве товарища председателя Думы он вошел в состав Особого Сопровождающего по Обороне, а весной 1916 г., когда было решено отправить нашу парламентскую делегацию ознакомиться с положением дела у союзников, то во главе ее стал опять же Протопопов, ибо считали, что Родзянко выезжать из России не должен, а Варун-Секрет иностранных языков не знал.

Поездка эта дала возможность Протопопову представиться Государю и сделать ему большой доклад о виденном за границей. Этот доклад очень понравился Государю, и месяца через два Протопопов был неожиданно для всех назначен министром внутренних дел. Выяснилось при этом, что еще весной Родзянко

говорил Государю о Протопопове, как о кандидате на пост министра торговли, но я себе этого иначе объяснить не могу, как тем, что Протопопов сумел подъехать к Родзянко, очень падкому на лесть, восхвалением его образа действий. Только после назначения Протопопова стало известно, что он уже некоторое время через врача Бадмаева познакомился с Распутиным и его кругами, и, по-видимому, этим путем и сделал карьеру. О чем, однако, совершенно тогда не говорили, это что Протопопов, с одной стороны, уже, по-видимому, болел, прогрессивным параличом в начальной стадии (это утверждали наши сочлены-врачи), а затем, что он пользовался своим положением во время войны, чтобы влиять на Военное министерство для проведения в последнем разных дел, в которых он был так или иначе лично заинтересован (рассказывал мне про это уже после революции генерал Маниковский, определенно называвший эти дела темными).

Попав в министры, Протопопов сразу поссорился с Родзянкой, взяв к себе на правах товарища министра известного Курлова, своего бывшего однополчанина, человека в достаточной мере скомпрометированного. Назначить его прямо товарищем министра, однако, постеснялись, а указ о возложении на него несения обязанностей товарища министра Сенат отказался опубликовать, почему Курлов оказался вскоре без официального положения, продолжая, однако, оставаться близким к Протопопову человеком и работать в министерстве. Уже назначение Курлова возмутило многих думцев, сведения же о близости Протопопова к Распутину отшатнули от него и остальных. Уже около 1-го октября на квартире у Родзянки состоялась беседа Протопопова с бюро Прогрессивного Блока. Сильно запоздавший Протопопов своими заявлениями произвел на всех столь странное впечатление, что именно после этого вечера пошли разговоры о его ненормальности, на что тогда первый указал Шингарев, сам врач по профессии. Кстати, сразу оказалось, что Протопопов совершенно не умеет работать и не умеет распределять своего времени. В результате он ничего не успевал сделать своевременно, все страшно затягивал и с делами не успевал знакомиться.

Повторяю, однако, что, несмотря на общее недовольство властью, до осени революционного настроения не было не только в деревнях, но и в Петрограде. Несмотря на некоторое вздорожание всего, лишений еще не приходилось испытывать, и все можно было достать. Однако, как раз к этому времени относится мера, которая потом имела фатальное значение. В августе было собрано совещание, которое должно было установить цены, по кото-

рым в разных губерниях должны были закупаться хлеба. В виду вздорожания стоимости производства их, все члены совещания – сельские хозяева и в числе их Родзянко, высказывались за повышение этих закупочных цен, и к ним присоединились сперва большинство Особого Совещания по продовольствию, а затем и Министерство земледелия. Хотя повышение цен было и небольшое, однако, меньшинство во главе с Шингаревым и статистиком Громаном, не успокоилось и сумело привлечь на свою сторону Алексева, который к этому времени стал вмешиваться в целый ряд вопросов, казалось бы, прямого отношения к его должности начальника штаба Верховного Главнокомандующего не имевших.

Алексеев опротестовал постановление Совещания и добился того, что повышение цен было отменено; основывался он, главным образом, на том, что повышение цен на хлеб вызовет недозволенность населения, которого необходимо избежать. Тогдашний министр земледелия гр. А.А. Бобринский вскоре после этого ушел из министров (тем более, что в это время Государь стал проявлять свое сочувствие идее Протопопова о передаче продовольственного дела в Министерство внутренних дел). Но положение сразу ухудшилось – деревня перестала продавать хлеб, закупленные запасы его стали уменьшаться, тем более, что и вообще-то его в виду сокращения запасов уродилось, несмотря на недурной урожай, значительно меньше. С этого времени и начались у нас собственно продовольственные затруднения, хотя сказываться они стали не сразу. К этому времени относится также и сокращение запасов разного рода топлива, в частности угля. Количество рабочих в каменноугольных копях значительно увеличилось, но в виду их неопытности производительность их труда упала, и количество добываемого угля недостаточно возросло. Не хватать стало и чугуна, но здесь вследствие увеличения требований на него для нужд войны. К концу года появились и более грозные признаки: из-за недостатка топлива стали останавливаться доменные печи, правда, пока в небольшом количестве. Однако пока это ухудшение все еще шло понемногу, и только в конце декабря и в январе положение стало более серьезным.

После 20-го декабря начались суровые морозы и длились почти весь январь, доходя в Сибири до 40 градусов Реомюра, и повсюду с заносами. В Сибири результатом этих морозов было охлаждение десятков паровозов, выход их из строя и сокращение и замедление движения. Когда на Рождество мы приехали в Рамушево, то все разговоры там шли о получении продуктов из кооператива, через который Земство распределяло все полученное от продоволь-

ственных организаций. Ржаную муку получали довольно свободно, но пшеничной муки и сахара было уже мало, и сразу начались пререкания о неправильном их распределении из кооперативов. Недостаток, вообще, муки стал на севере выясняться уже до декабря, и мне в это время пришлось не раз бывать в Управлении Главноуполномоченного по продовольствию, прося об увеличении нарядов вагонов в нашу Новгородскую губернию; бывал я там и единолично, и в составе целых депутатий от Земства.

Управляющим Канцелярией Главхлеба был в то время Н.Н. Малышев, коренной делопроизводитель канцелярии Гос. Думы, ведавший до войны делопроизводством Комиссии по Городским делам, в которой я был председателем. Человек работающий и дельный, он и здесь разбирался во всех предъявляемых ему с разных сторон требованиях, очень быстро и спокойно, но к концу, по-видимому, положение стало становиться сильнее его. Обычно, выслушав просьбы наши, он вызывал для справок и указаний одного из своих помощников, фамилия которого у меня врезалась в память своей своеобразностью – Зефиров; еще молодой человек, он, видимо, занимал маленькое место, ибо Малышев его не сажал и с нами не знакомил. По-видимому, именно он через два года, тем не менее, оказался у Колчака министром продовольствия, но не удержался на этом месте и даже как будто за какие-то подряды им сданные попал под суд.

Рассказы о разных материальных затруднениях страны увели меня немного вперед, и посему мне приходится вернуться назад, к октябрю 1916 г. Повторяю, что в то время не было еще определенно революционного настроения, но известное недовольство было уже в массах. Как раз, однако, к этому времени относится, как я узнал позднее, образование первой группировки общественных деятелей уже революционного характера, наметившая князя Львова, Челнокова, Коновалова, Кишкина и Бубликова в качестве руководящего центра. Кто-то из них (не помню, кто именно) приехал в Петроград и попытался привлечь к этому центру и Бюро Прогрессивного блока Гос. Думы. Как мне потом говорил Н.В. Савич, вопрос этот подвергся обсуждению в очень небольшом кружке думцев, в числе коих был и сам Савич, и М.В. Родзянко. Предложение москвичей сочувствия не встретило, и было единогласно отклонено. Несмотря на очень ограниченный круг участников этих совещаний, о нем узнал Департамент полиции, а затем и Протопопов, который потом в ноябре, во время бурных заседаний Думы, сгоряча про эти совещания сказал Родзянке и Савичу, обвиняя левых в подготовке революции.

Настроения Петроградского гарнизона мы не знали (о разгроме лавок осенью 1916 г. мало кто слышал, и не придавали этому значения), но следует отметить, что именно летом 1916 г., по настоянию Алексеева Петроградские части стали укомплектовывать и местными фабричными рабочими, тогда как раньше по соображениям полицейским в них назначались почти исключительно призываемые из сельских местностей. Вполне понятно, что это облегчило революционную пропаганду этих частей, что очень скоро и сказалось. Позднее, в Дании, В.М. Безобразов уверял меня, что он, как командир Гвардейского корпуса своевременно протестовал против этого, но так ли это было действительно, не знаю.

Замечу еще одно – военные операции после успехов начала лета 1916 г. пошли хуже, немцы, заменившие австрийцев в самых серьезных пунктах Галицийского фронта и на Волыни, быстро закрепились здесь, и наши войска, все еще слабо технически оборудованные, разбились в упорных атаках. В числе их были, например, такие корпуса, как Гвардия на Стоходе и 3-й Кавказский корпус под Бржезанами. Стоходские бои вызвали в Петрограде целую бурю негодования неудачными распоряжениями в них начальства, командующего Гвардейским отрядом ген. Безобразова и командира 1-го Гвардейского корпуса вел. князя Павла Александровича, долго хлопотавшего о назначении его на фронт и наконец попавшего на Стоход. Кто из них виноват в этой неудаче, я судить не берусь, но сменили их после нее обоих, и, по-видимому, правильно. Во всяком случае, пребывание их обоих на ответственных военных постах, несмотря на прекрасные их душевные качества, было обстоятельством весьма печальным и весьма поднимающим в войсках общее недовольство всем нашим строем. Позднее, с вступлением Румынии в войну, началась, после разгрома румынской армии немцами, спешная переброска наших войск на Карпаты к югу от нашей границы и окапывание там в горах. На всех остальных фронтах началось вновь зимнее стояние, но с настроением худшим, чем в предшествующую зиму. Однако опять же ничего грозного пока в этом настроении не чувствовалось, если не считать все продолжающегося легкого сдавания в плен и дезертирства. По данным, сообщенным этой осенью в комиссии Гос. Обороны, из 18.000.000 призванных 2.000.000 сдалось в плен и 2.500.000 не явилось по призыву или дезертировали; картина очень печальная, но еще не казавшаяся тогда страшной.

Гос. Дума была созвана 1-го ноября; не буду особенно останавливаться на событиях этой сессии – так как она теперь подробно

изложена. Жалею я только, что не опубликованы пока записки Н.В. Савича*, очень хорошо обо всем осведомленного и, благодаря своему спокойствию, более беспристрастного, чем кто-либо. Как всегда Родзянко сказал в этот день громкую речь о необходимости добиться победы, а затем выступил Штюрмер со своей декларацией, бесцветной и которой никто не поверил. Кроме того, когда ему удалось после долгого, совершенно заглушавшего его шума, начать ее читать, то его не было совсем слышно, и вообще, даже у сторонников его осталось впечатление, что не такого нужно России премьера в такое время. Про предстоящее выступление Милюкова было известно заранее, и уже несколько дней шли переговоры, чтобы смягчить его речь. С этой целью с представителями Бюро Прогрессивного Блока говорили гр. Игнатьев и Покровский, оба и любимые, и уважаемые даже в левых кругах, но натолкнулись на недоверие к Штюрмеру и презрение к Протопопову. Переговоры эти ни к чему не привели, и Милюков так и сказал свою речь о предательстве или «измене», произведшую тогда громадное впечатление. Милюков потом считал, что с этого дня началась наша революция и, пожалуй, он был прав. В этой речи Милюков прочитал по-немецки цитату о Государыне из какой-то немецкой газеты о том, что около нее образовалась немецкая партия (кажется, так). Большинство членов Думы, не говорящих по-немецки, не обратили на эти слова внимания, не разобрал их и председательствовавший в это время Варун-Секрет, тоже не понимавший по-немецки, и своевременно Милюкова не остановил. Понятно, что все это вызвало страшную бурю; речь Милюкова в газетах напечатана не была, правительство подняло вопрос о предании его суду, но все это только усилило интерес к его речи, которую стали распространять усиленно по всей России.

Впечатление от всех речей в Думе было столь сильно, что у всех явилось сознание в необходимости сделать перерыв заседаний, чтобы дать событиям самим успокоиться и, с другой стороны, убедить Государя в необходимости произвести перемены в правительстве. К сожалению, смнен был только Штюрмер, Протопопов же остался. Заменил Штюрмера министр путей сообщения А.Ф. Трепов. Сперва ходили слухи, что премьером будет адмирал Григорович, но они не оправдались, хотя, по-видимому, у Государя эта мысль одно время и была. Позднее П.М. Кауфман-Туркестанский говорил мне, что сам Трепов, будучи в эти дни в

* Опубликованны намного позже. См.: Савич Н.В. Воспоминания. СПб.: Издательство «Logos»; Дюссельдорф: «голубой всадник», 1993. 496 с.

Ставке, указал Государю на Григоровича, добавив, однако, что, к сожалению, не входя в состав Совета Министров, он не может быть его председателем – мысль едва ли верная, но на Государя повлиявшая.

В одном из заседаний после 1-го ноября выступили ген. Шуваев и Григорович, и были Думой встречены очень сочувственно, чем подчеркивалось то, что принципиальной враждебности к правительственной власти вообще нет. Ум Григоровича, его административные таланты и умение ладить с Думой при несомненно правых взглядах и выдвинули сперва его кандидатуру на место Штюмерера, но, как тогда говорили, против нее указывали именно на его с Шуваевым выступление в Думе, усматривая в нем подчеркивание того, что они с Штюмерером не солидаризируются. Во всяком случае, назначен был Трепов. Человек сравнительно малообразованный, но очень неглупый и гибкий, он обладал несомненной решимостью, и посему, быть может, и отвечал обстоятельствам более других министров того состава. Дума приняла его очень холодно, но он сумел начать налаживать с нею отношения, отгородившись определенно от Распутина и Протопопова и заявив определенно, что он считает невозможным оставление последнего министром.

Как я уже говорил выше, когда-то, еще в 90-х годах, я играл не раз в Английском Клубе в карты с Треповым, тогда еще предводителем дворянства в Полтавской губернии. Потом он служил в Гос. Канцелярии, быстро попал в сенаторы и затем в члены Гос. Совета; был всегда он очень правых взглядов, но никогда не считался кандидатом на крупные посты. Поэтому его назначение министром путей сообщения всех изумило, но следует признать, что, если он был не идеальным министром, то оказался выше, несомненно, Рухлова. Трепову не особенно верили, не любили, но в то тяжелое время, когда он стал премьером, в Думе были готовы работать даже с ним, только бы сдвинуть дело с места. Казалось, что этому положению поможет также назначение глубоко всеми уважаемого Н.Н. Покровского министром иностранных дел и А.А. Риттиха министром земледелия. Оба были люди способные, образованные, честные, а Риттих, которого как человека черствого, недолюбливали, и с большой волей и энергией. Наряду с этим, однако, оставался на своем посту, кроме Протопопова, также кн. Шаховской, которого в противоположность Риттиху, признавали человеком, не умеющим организовать свое ведомство.

Наконец, тяжелое впечатление произвело назначение на место Шуваева генерала Беляева. Многие в Думе знали его, знал его

и я, как человека очень трудоспособного, усердного, но закапывающегося в мелочах и посему многое не успевающего сделать. Я, кажется, уже писал, что после его увольнения в 1916 г. с должности начальника Генштаба его преемник, генерал Аверьянов, просил назначить комиссию для приемки дел в его кабинете. Между прочим, оказались в нем валяющимися на столе весьма секретные документы, и наряду с ними, между нераспечатанными конвертами, один, лежащий еще с первых дней войны, несмотря на надпись «Весьма срочно, по мобилизации». При нем, никто в этом не сомневался, Военное министерство с места не сдвинется.

Отзвуки борьбы Думы со Штюрмером сказались и внутри ее – когда Марков 2-й, подойдя к Родзянке во время заседания, называл его мерзавцем, якобы за оскорбление Государыни. Нельзя не сказать, что возмущение этой выходкой было общее, и в результате ее явилось еще большее изолирование крайних правых, от которых тогда ушло около 20 человек. Когда теперь читаешь, что как раз эта кучка лиц постоянно получала под разными видами пособия из Министерства внутренних дел, то положительно приходишь к убеждению, что все члены Думы, вне этой группы материально заинтересованных лиц, были отброшены в оппозицию власти.

В то время личные вопросы, к сожалению, занимали слишком много времени. Много возмущались назначением Курлова, о котором я уже говорил, князя Жевахова, молодого человека, попавшего в товарищи Обер-прокурора Синода в качестве, главным образом, родственника священника Иоасафа Белгородского, и притом на должность специально для него учрежденную за счет не то свечных, не то каких-то других специальных Синодальных сборов, в обход законодательных учреждений.

Лично у меня работы в это время было сравнительно мало. Ни в одно из Особых совещаний я не вошел, а в комиссиях работы было мало. Не принимал я участия и в Бюро Прогрессивного Блока, в котором шла в то время самая интересная думская подготовительная работа – я был на фронте, когда образовывались все эти учреждения, и остался посему за флагом, о чем, впрочем, сейчас особенно не жалею. Работал я в Думе в Комиссии по Военным и Морским делам и в нашем Фракционном Бюро. В то время в обществе много говорили о работе Военно-промышленных Комитетов, кстати, очень себя всюду рекламировавших и распространявших убеждение в том, что именно благодаря их работе начало улучшаться снабжение армии. По работе в Комиссии по Военным и Морским делам я убедился, что фактически, если Про-

мышленные комитеты что-либо и делали, то только в таких отраслях военной техники или снабжения, которые играли совершенно второстепенную роль. Все крупное было сделано помимо них Военным министерством и Совещаниями по Гос. Обороне. Зато в области революционизирования страны Промышленные комитеты известную роль сыграли, начав объединять вокруг себя представителей рабочих и помогая образованию в них, быть может, и бессознательно, ячеек, из которых создались позднее Советы рабочих депутатов.

В общем, в то время создавалось впечатление, что обрабатывающая промышленность наша могла бы тогда удовлетворить главные запросы армии, если бы только добывающая доставляла все необходимое. Но эта последняя, как я уже указывал выше, стала проявлять к этому времени тревожные признаки частью истощения, частью падения добычи. Не хватало кожи, мяса, масла и жиров, недостаточно добывалось угля, чугуна, дров.

В начале декабря политическое положение в Петрограде определилось совершенно ясно – с одной стороны было все общество, Дума и большинство правительства; с другой – Распутин, Протопопов и назначенный как раз в то время председателем Гос. Совета Щегловитов, поддерживаемый меньшинством нашей верхней палаты.

Насколько настроение общества изменилось, видно из того, что не только Дума, Земский и Городской Союзы, Военно-Промышленные комитеты оказались на левом крыле его. К ним примкнули даже многие дворянские общества и даже Объединенное Дворянство, председатель которого А.П. Струков только за год до того помог Горемыкину удержаться на посту премьера своей телеграммой Государю. Теперь на Съезде Объединенного Дворянства было принято обращение к Государю, если не по форме, то по существу мало отличающееся от обращений более левых группировок. Я был на этом Съезде в качестве представителя Новгородского дворянства, впервые вошедшего тогда в эту организацию, и не чувствовал здесь сколько-нибудь заметных отличий от думских настроений. Но в то время, как в других организациях жизнь скорее пробуждалась, в Гос. Думе она, наоборот, глохла или вернее временно замирала. Все сознавали, что дальше так идти не может, и ожидали, чем кончится конфликт между Треповым и Протопоповым, в тот момент символизировавший собою борьбу между Распутиным и его врагами. От этого зависела большая или меньшая целесообразность и производительность работы в Думе.

Пока что в середине декабря было решено, что Дума разойдется на Рождество с тем, чтобы собраться вновь в начале января.

Не дождавшись этого перерыва, я дня за два до него отправился в Минск навестить моих сослуживцев по Красному Кресту. Кажется, мы были обоюдно рады повидаться, но общее настроение в Минске оказалось гораздо серее, чем летом 1916 года. Никакой революционности еще не чувствовалось, но война, несомненно, надоела. Побывал я у Эверта, который рассказал мне, что незадолго до того был случай, что один полк отказался идти из резерва на позиции только потому, что ему недодали сахара, в результате чего в нем было расстреляно 7 человек. Этот случай в связи вообще со сведениями о настроении в армии, заставил Эверта смотреть более пессимистически, чем ранее, на будущее. Спрашивал он меня про Петроград, но я мог ему рассказать только еще более унылые вещи. Видел я несколько раз Кривошеина и как-то обедал у него. Он очень изменил свои порядки – прямо попасть к нему было невозможно; дела шли в порядке иерархической постепенности снизу вверх, и Кривошеин не допускал, чтобы они перескакивали к нему в обход какой-либо инстанции. Отношение к нему массы краснокрестных служащих было ввиду этого довольно холодным – они его не знали и не понимали. Я бы сказал, что после министерской должности должность главноуполномоченного Красного Креста было для него слишком мелка.

В день моего отъезда Кривошеин сказал мне в последнюю минуту, что только что Эверт получил сообщение от кого-то в Ставке, что с Распутиным что-то случилось, и высказал тут же мнение, что это будет иметь благотворнее влияние на ход государственных дел. Вечером в Орше, где наши Минские вагоны прицеплялись к Могилевскому поезду, от офицеров Ставки я узнал уже вполне определенно, что Распутин убит. И тут все считали, что этому приходится только радоваться; порадовала эта весть и меня. Всем казалось, что последствием этого события должны быть перемены в общей политике. Кто убийцы, в тот день в Орше еще не знали, и лично я узнал это, только приехав в Петроград. Симпатии всех были на стороне убийц. Приведу в виде примера, что когда флигель-адъютанту гр. Кутайсову было приказано сопровождать в Персию великого князя Дмитрия Павловича, сосланного туда за это убийство, то все осуждали его за то, что он от этого не отказался; но когда мой младший брат* отправился выразить свое сочувствие Дмитрию Павловичу, находившемуся под домашним

* Адам Беннигсен. – *Примеч. сост.*

арестом, то оказалось, что из сочувствующей массы почти никто, однако, не решился хотя бы этим проявить свое истинное отношение к поступку великого князя, что тот в разговоре с братом отметил с некоторой горечью.

Отмечу еще, что в декабре или в конце ноября имели место два обращения к Государю и Государыне с мольбой об устранении Распутина, о которых я не упоминал выше. К Государю обратился в Ставке главноуполномоченный Красного Креста П.М. Кауфман-Туркестанский. В долгом разговоре он изложил Государю весь вред для монархии от близости к престолу такой личности, как Распутин. Государь был с Кауфманом ласков, даже поблагодарил его, но через несколько дней А.А. Ильин получил письмо от министра Двора гр. Фредерикса с сообщением, что Государь признает дальнейшее существование в Ставке особого главноуполномоченного Красного Креста излишним. А ведь Кауфмана Государь любил и уважал. Государыне написала горячее письмо по поводу Распутина княгиня С.Н. Васильчикова (жена князя Б.А. Васильчикова). Ее подчас смешивали с фрейлиной Васильчиковой, не княгиней, жившей всегда за границей и во время войны привезшей Государыне письмо от каких-то ее родственников с предложением мира, за что и была выслана из Петрограда. Единственным результатом письма С.Н. было приказание ей выехать в Выбити, куда с нею отправился и ее муж.

Через несколько дней по возвращении в Петроград из Минска я отправился с семьей в Рамушево, где и провели мы все праздники. Уже здесь прочитал я в газетах о замене Трепова князем Н.Д. Голицыным. Я хорошо знал его по Красному Кресту. Человек порядочный, но не большого ума, корректный, но и очень смирный, он, конечно, не годился в премьеры, да и сам прекрасно сознавал это. Назначен он был, несмотря на повторные отказы. Уход Трепова приветствовали телеграммами Государю и Государыне все местные отделы «Союза Русского Народа» по распоряжению от Маркова 2-го или Дубровина. Эти телеграммы поддерживали в Государыне решимость не уступать Думе, и вообще общественности, и своими заявлениями укрепляли в ней убеждение, что настоящий народ за нею и Государем. Не могу утверждать, что эти телеграммы были внушены Маркову Департаментом полиции, но думаю, что без этого не обошлось.

Через несколько дней после ухода Трепова, на Новый Год, был опубликован новый список присутствующих членов Гос. Совета на 1917 год. Благодаря влиянию только что назначенного председателя его Щегловитова был включен в него ряд новых исключи-

тельно правых членов, набранных понемногу отовсюду, подчас из людей далеко не первоклассных (например, Н.К. Шведов – наш член Главного Управления Красного Креста). Единственной целью было создание в Гос. Совете не рассуждающего правого большинства, которого до сих пор, несмотря на все меры, там не образовывалось. На этот раз это удалось, но использовать этот состав уже не пришлось.

Прежде чем покончить с 1916 годом, отмечу еще, что осенью я был по указанию Государыни Александры Федоровны включен в состав Комитета Попечительства о Домах Трудолюбия, и раза два был в его заседаниях, скучных по содержанию и по внешности. Председательствовал А.С. Танеев, отец Вырубовой, до приторности любезный. Всю работу выполнял по Комитету управляющий его делами Бобриков, по-видимому, очень добросовестный человек.

Указатель имен

- Mac-Kenzie Wallace – 82
Аверьянов Петр Иванович – 742
Авинов Сергей Александрович – 219
Адам (Adam) Жюльетта – 239
Аджемов Моисей Сергеевич – 371, 376
Аджиев – 727
Адлерберг – 23
Адлерберг Александр Александрович – 384
Адлерберг Александр Яковлевич – 23
Адлерберг Дарья Николаевна – 152
Азаров – 577
Азеф Евно Фишелевич – 416
Акимов Михаил Григорьевич – 390
Аклечеев – 245
Аксаков Иван Сергеевич – 64, 66
Аксенов А.М. – 160
Алабышев Константин Платонович – 394
Александр I – 14, 15, 17, 18, 154, 229, 232, 266, 485
Александр II – 23, 33, 36, 73, 86, 163, 230, 234, 250, 263, 275
Александр III – 59, 75, 79, 86, 107, 110, 121, 164, 270, 275, 347, 397, 486, 488, 531
Александра Федоровна, императрица – 137, 277, 393, 459, 621, 701, 734, 745
Александр Михайлович, в. кн. – 617
Александровский Сергей Васильевич – 286, 287
Александр Федоровна, императрица – 107
Алексеев Евгений Иванович – 273
Алексеев Михаил Васильевич – 700, 732, 737, 739
Алексеев Николай Александрович – 68, 336
Алексеевко Михаил Мартынович – 359, 362, 369, 407, 462, 632
Алексей Александрович, в. кн. – 104, 277, 387, 636
Алексей (Демянский), о. – 461
Алексий, патриарх Московский – 222
Алексинский Григорий Алексеевич – 615
Алексинский Иван Павлович – 615
Алехин Александр Александрович – 95
Алопеус Иван Самойлович – 25, 89
Альбрандт – 693
Альтшулер – 418
Альфтан Владимир Алексеевич – 629
Аматуни Никодим Исаевич – 676, 677, 717
Анатолий (Каменский), архиепископ – 466
Ангелов – 641
Андреев Василий Васильевич – 208
Андржейкович Мария-Леонарда – 11, 17
Андржейкович Михаил Фадеевич – 14, 21
Андроников Михаил Михайлович – 418, 734
Аничков Дмитрий Иванович – 283
Аничков Евгений Васильевич – 210, 628
Аничков Иван Васильевич – 210
Анненкова (рожд. Алексеева) – 336
Аннинский Василий Михайлович – 70
Анреп Василий Константинович – 118, 362, 462, 730
Антоний (Храповицкий Алексей Павлович), митрополит – 205, 399
Антонов Николай Иванович – 353, 364, 512, 550, 582, 610, 619, 630, 683, 697
Анциферов Николай Николаевич – 393, 414
Апраксин Петр Николаевич – 287
Апухтин Алексей Николаевич – 26, 108
Арапов Алексей Борисович – 673
Арапов Петр Иванович – 603
Арбузов Алексей Дмитриевич – 394
Арсений, архиепископ – 199, 222
Арсеньев Константин Константинович – 66
Артамонов Леонид Константинович – 540, 643

- Арцишевский – 280
 Багратион Петр Иванович – 15
 Бадаев Алексей Егорович – 465
 Бадмаев Петр Александрович – 736
 Базаров Павел Александрович – 623
 Байдак Николай Дмитриевич – 325
 Байков Иван Васильев – 52
 Байков Лев Львович – 650
 Баюв Алексей Константинович – 689, 708
 Бакин Матвей Петрович – 290
 Бакунина Варвара Ивановна (рожд. Го-
 ленищева-Кутузова) – 14, 18
 Балашов Петр Николаевич – 349, 368,
 467, 703
 Балетта Элиза – 277
 Балуев Петр Семенович – 723
 Барановский Егор Иванович – 133
 Баранцов Михаил Александрович – 658
 Барач Павел Александрович – 464
 Барклай де Толли Михаил Багданович
 – 16, 18
 Барк Петр Львович – 441, 473
 Барн Екатерина Самойловна – 375
 Бартнев – 243
 Барятинский Анатолий Иванович – 32
 Барятинский Иван Викторович – 360,
 647
 Батов И.И. – 684
 Батолин Петр Прокопьевич – 445
 Батюшин Николай Степанович – 734
 Бахрушин Алексей Александрович – 149
 Бахрушин Дмитрий Петрович – 443
 Башилов Петр Петрович – 395
 Башкирцева Мария Константиновна –
 107
 Безобразов Александр Михайлович –
 272
 Безобразов Владимир Михайлович –
 572, 593, 598, 603, 739
 Бейлис Менахем Мендель – 428
 Бекаревич – 645
 Белавенец – 702
 Белевский Алексей Алексеевич – 636
 Белецкий Степан Петрович – 733
 Белозор Юлиан Юлианович – 623, 629,
 640, 655
 Белоцветов – 554
 Бельгард Александр Карлович – 283
 Беляев Митрофан Петрович – 127
 Беляев Михаил Алексеевич – 473, 474,
 503, 741
 Беннигсен Адам (Адя) Павлович, брат
 автора – 33, 63, 110, 226, 280, 298, 311,
 373, 419, 430, 457, 519, 525, 526, 527, 744
 Беннигсен Адам Леонтьевич, прадед ав-
 тора – 11, 19, 20, 75
 Беннигсен Александр Адамович, дед ав-
 тора – 20, 30, 34
 Беннигсен Александра Карловна (рожд.
 фон Мекк), мать автора – 27, 28, 31, 33,
 36, 39, 43, 47, 50, 52, 61, 64
 Беннигсен Александр Леонтьевич – 84,
 85, 113
 Беннигсен Виктория-Станислава (рожд.
 Шимборская) – 19
 Беннигсен Георгий Павлович (Юша),
 брат автора – 17, 67, 110, 124, 223, 226,
 249, 251, 285, 307, 452, 458, 703, 731
 Беннигсен Екатерина Павловна (Кит-
 ти), сестра автора – 64, 375
 Беннигсен Екатерина Платоновна
 (рожд. Охотникова), жена автора – 202,
 227, 239, 240, 268, 288, 344, 718
 Беннигсен Иосиф Карлович – 21, 76, 113
 Беннигсен Карл Адамович – 20, 21, 22,
 23, 76
 Беннигсен Ксения Павловна (Кася), се-
 стра автора – 375, 461
 Беннигсен Леонтий (Левин) Леонтье-
 вич – 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 85, 531
 Беннигсен Леонтий (Лелик), сын авто-
 ра – 261, 305, 319
 Беннигсен Леонтий Павлович, брат ав-
 тора – 109, 110, 226, 274, 280, 284, 304
 Беннигсен Леонтина Николаевна
 (рожд. Суровцева) – 21, 71
 Беннигсен Ольга Владимировна (рожд.
 Скарятина) – 249, 703
 Беннигсен Ольга Павловна, сестра ав-
 тора – 375
 Беннигсен Павел Александрович, отец
 автора – 11, 13, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 32,
 36, 37, 38, 71, 106, 114, 157, 224
 Беннигсен Рудольф – 113
 Беннигсен Феофания Владимировна
 (рожд. Хвольсон) – 430, 519, 528
 Берберова Нина Николаевна – 102
 Бергольц – 474
 Бередников Сергей Григорьевич – 212,
 213, 321
 Бер Николай Алексеевич – 302

- Берс Вячеслав Андреевич – 328
 Бертенсон – 59
 Бетезтин В.А. – 593
 Бетман-Гольвег Теобальд фон – 474
 Билинский Витольд Брониславович – 25
 Бискупский Василий Викторович – 202, 699
 Бисмарк Отто фон – 485
 Блудов Дмитрий Николаевич – 156, 460
 Блюнчли Иоганн Каспар – 27
 Бобрикова Елизавета Ивановна – 264
 Бобриков Николай Иванович – 261, 262, 264, 266, 267, 270, 280, 281, 354
 Бобринский Алексей Александрович – 323, 352, 366, 372, 720, 737
 Бобринский Андрей Александрович – 647
 Бобринский Владимир Алексеевич – 368, 370, 427
 Бобринский Георгий Александрович – 636
 Бобрищев-Пушкин Александр Владимирович – 95, 104
 Бобрищев-Пушкин Александр Михайлович – 139
 Бобровский Борис Павлович – 540
 Богданович (Кобозев) Юрий – 73
 Боголюбов С.П. – 83
 Богров Дмитрий Григорьевич – 431
 Болотов Александр Владимирович – 207, 395
 Бонсдорф – 281
 Борейша Петр Антонович – 61
 Борис Владимирович, в. кн. – 278
 Бородин Михаил Михайлович – 392
 Бороздин Корнилий Александрович – 233
 Бострем Иван Федорович – 387
 Боткин Дмитрий Петрович – 217
 Боткин Евгений Сергеевич – 290, 294, 303
 Боткин Михаил Петрович – 331
 Боткин Сергей Сергеевич – 295
 Бразоль – 424
 Брасова Наталья Сергеевна (рожд. Шереметьевская) – 151
 Бринкен Александр Фридрихович – 644
 Бродерих С. – 697
 Брусилов Алексей Алексеевич – 633
 Брусницыны – 323
 Буадефр Рауль-Франсуа-Шарль – 486
 Будберг Александр Андреевич – 225
 Будберг Андрей Романович – 139
 Булат Андрей Андреевич – 371
 Булатов А.А. – 407
 Булатов Алексей Алексеевич – 205, 207, 321
 Булатович Александр Ксаверьевич (Антоний) – 481, 627
 Булгарин – 106
 Бунин Иван Алексеевич – 243
 Бурденко Николай Нилович – 537, 672
 Буткевич Михаил Николаевич – 211
 Бутович Владимир Николаевич – 417
 Буторов – 713
 Бутурлин Сергей Сергеевич – 528
 Буш – 604
 Бьюкенен Джордж Уильям – 732
 Бюцов Борис Евгеньевич – 613
 Бюцов Сергей Евгеньевич – 613
 Вандам Алексей Ефимович – 646
 Ванновский Глеб Максимилианович – 271
 Ванновский Петр Семенович – 488, 531, 532
 Ваниюков Иван Иванович – 181
 Варун-Секрет Сергей Тимофеевич – 462, 477, 735, 740
 Васильчиков Александр Илларионович – 161
 Васильчикова Софья Николаевна (рожд. Мещерская) – 154, 161, 252, 745
 Васильчиков Борис Александрович – 161, 162, 163, 166, 173, 174, 181, 196, 197, 223, 252, 280, 285, 286, 287, 288, 299, 303, 313, 319, 320, 396, 400, 745
 Васильчиков Илларион Васильевич – 161
 Васильчиков Илларион Сергеевич – 326
 Вебель Фердинанд Маврикиевич – 293, 488, 629, 633
 Вебер Сергей Федорович – 481
 Веденяпин Александр Алексеевич – 715
 Вейде фон дер – 245
 Вейде Адам Адамович фон дер – 157
 Вейде Михаил Михайлович фон дер – 170, 172
 Велевейский Иосиф Казимирович – 698

- Вентворт-Поля Мария (рожд. Беннигсен) – 81, 86
 Верблонский – 710
 Веревкин – 355
 Веревкина – 685
 Веревкин Петр Владимирович – 685
 Веретенников Алексей Порфирьевич – 648
 Веригин Митрофан Николаевич – 432
 Верман – 190, 258
 Верман Александра Васильевна (рожд. Жуковская) – 61
 Верман Кристиан Генрих фон – 61
 Вернандер Александр Петрович – 380, 382
 Верховский – 709
 Верховский Владимир Павлович – 387
 Вещилов Константин Александрович – 304
 Виктория Федоровна, в. кн. – 279
 Вилламов Григорий Иванович – 228
 Вильгельм I – 486
 Вильгельм II – 397, 513
 Вилькен Дмитрий Рудольфович – 185, 435
 Висновская – 243
 Витворт – 233
 Витгенштейн Грицко – 131
 Витгенштейн Петр Христианович – 19
 Витте Матильда Ивановна (Лисаневич, рожд. Нурок) – 207, 315
 Витте Сергей Юльевич – 256, 308, 314, 315, 396
 Вишняков Евгений Петрович – 190
 Владимир Александрович, в. кн. – 104, 124, 126, 192, 249, 278, 279
 Владыкин В.Н. – 178
 Власовский Александр Александрович – 138, 152
 Воейков Александр Федорович – 12
 Воейков Владимир Николаевич – 700
 Войно-Панченко – 645
 Войшин-Мурдал-Жилинский Ипполит Паулинович – 588
 Войшев – 676
 Волков Евгений Николаевич – 512, 669, 679, 715
 Волконский Владимир Михайлович – 352, 466, 467, 476, 735
 Волконский Григорий Михалович – 652
 Волконский Сергей Михайлович – 352
 Володзько – 192
 Вонлярлярский (Лярский) Владимир Михайлович – 273, 711
 Вонсяцкий Анастасий Андреевич – 424
 Вонсяцкий Андрей Николаевич – 424
 Воронец Александра Филаретовна (рожд. Фраловская) – 50
 Воронец Александр Васильевич – 129
 Воронец Василий Александрович – 50
 Воронец Вера Кронидовна (рожд. Панаева) – 129
 Воронец Дмитрий Васильевич – 129
 Воронцовская, княгиня – 698
 Воронович Михаил Михайлович – 185, 288
 Воронцов-Дашков Илларион Иванович – 286, 414, 533
 Врангель Анатолий Анатольевич – 706
 Врангель Ольга Михайловна (рожд. Иваненко) – 518
 Врангель Петр Николаевич – 116, 511, 517, 526, 528
 Вревский Александр Борисович – 187
 Всеволожский – 700
 Всеволожский Василий Павлович – 700
 Всеволожский Владимир Николаевич – 193
 Всеволожский Иван Александрович – 104
 Вульферт Антон Карлович – 151
 Вырубова Анна Александровна (рожд. Танеева) – 460, 461, 746
 Вырубов Александр Васильевич – 713, 721, 722, 728
 Вырубов Василий Васильевич – 679, 680
 Вышнеградский Александр Иванович – 443
 Вышнеградский Николай Алексеевич – 26
 Вяземская Мария Владимировна (рожд. Левашова) – 242
 Вяземский Борис Леонидович – 243
 Вяземский Дмитрий Леонидович – 243
 Вяземский Леонид Дмитриевич – 242, 243
 Вяльцева Анастасия Дмитриевна – 202, 699
 Гааз Федор Петрович – 194
 Гавдзинский – 677
 Гавеман Роберт Самуилович – 124

- Гагарин Александр Иванович – 25
 Гагарин Павел Павлович – 231
 Гадон Владимир Сергеевич – 152, 251, 627, 628
 Галкин Алексей Семенович – 676
 Галл Александр Александрович (младший) – 201
 Гальвас Генрих Генрихович – 371
 Гальперин – 681
 Гальперн – 617
 Гамбетта Леон Мишель – 239
 Ганике Александр Богданович – 89
 Гарин Николай Павлович – 326, 394
 Гартман Николай Николаевич – 76
 Гаршин Георгий Михайлович – 168
 Гасман – 355
 Гатцук Владимир Алексеевич – 220
 Гегенлоэ-Шиллингсфюрст Готтфрид цу – 470
 Гегечкори Евгений Петрович – 371, 409, 465
 Гейден Логин Логинович – 219
 Гейден Петр Александрович – 314, 317, 325
 Гейден Федор Логинович – 219
 Гельфрейх Павел Оскарович – 382
 Георг IV – 233
 Георгиевский – 124
 Гераков Павел Константинович – 187
 Герард Владимир Николаевич – 108
 Герард Екатерина Владимировна – 107
 Герард Иван Николаевич – 107
 Герард Николай Николаевич – 108, 354
 Гербель Сергей Николаевич – 393
 Германсон Роберт Фридрих – 263, 409
 Гермоген, епископ – 414
 Гернгросс Евгений Александрович – 380
 Герстенцвейг Александр Данилович – 24
 Герценвиц Дмитрий Михайлович – 364, 365
 Герцык Александр Антонович – 569
 Гершельман Р. – 671, 678, 688, 707, 716, 719
 Гершельман Юрий – 526
 Гильчевский Константин Лукич – 597
 Гирс Николай Карлович – 397
 Гирш Густав Иванович – 80
 Гиршфельд К. – 618, 706
 Гитри Люсьен – 104
 Глазунов Илья Иванович – 322
 Глебов Григорий Николаевич – 364
 Глебов Юрий Николаевич – 364, 427, 449, 462
 Глинка В.Г. – 692
 Глинка Григорий Вячеславич – 258, 692
 Глинка Яков Васильевич – 358, 360, 400
 Гогенлоэ-Шиллингсфюрст Готтфрид цу – 470
 Гогенлоэ-Шиллингсфюрст Константин цу – 522
 Годнев Иван Васильевич – 364, 405, 462
 Голицына Александра Николаевна (рожд. Мещерская) – 154, 186
 Голицын Александр Дмитриевич – 444
 Голицына Софья Карловна (рожд. Мекк) – 54
 Голицын Григорий Сергеевич – 414
 Голицын Дмитрий Михайлович – 54
 Голицын Лев Сергеевич – 144
 Голицын Николай Дмитриевич – 436, 438, 731, 745
 Голицын Николай Сергеевич – 25
 Голицын Павел Павлович – 186, 208, 223, 260, 307, 309, 321, 346
 Головин Евгений Александрович – 41
 Головин Николай Николаевич – 104, 381, 489, 599, 634, 663
 Головин Федор Александрович – 466
 Гололобов Яков Георгиевич – 365
 Голубев Л.В. – 610, 672, 697
 Гольмстен Адольф Христианович – 119
 Гондатти Николай Львович – 411
 Гончаров Сергей Сергеевич – 139
 Горбунов И.Ф. – 58
 Горемыкин Иван Логинович – 26, 316, 469, 482, 700, 734, 743
 Горчаков Александр Михайлович – 485
 Горчаков Константин – 710
 Горчаков Михаил – 710
 Горчаков Михаил Дмитриевич – 22
 Грабский Владислав Феликсович – 371
 Градовский Александр Дмитриевич – 76
 Гранмезон Луи – 476
 Гревс Константин Петрович – 681
 Григорович – 149
 Григорович Иван Константинович – 304, 387, 426, 501, 740

- Григорьев Апполон Гаврилович – 650
 Григорьев Владимир Николаевич – 519
 Гримм Давид Давидович – 116, 390
 Гримм Оскар Андреевич – 209, 450
 Гриппенберг Оскар-Фердинанд Казимирович – 302
 Громницкий Михаил Федорович – 139
 Гронский Павел Павлович – 464
 Гросман Константин Александрович – 549, 555, 568, 581, 619
 Губонин Петр Иванович – 79
 Гудим-Левкович Павел Павлович – 77
 Гулевич Арсений Анатольевич – 551, 566, 599, 623, 683
 Гурко Владимир Иосифович – 325
 Гурко Дмитрий Иосифович – 289, 474, 504
 Гурко Иосиф Владимирович – 354, 531
 Гучков Александр Иванович – 191, 219, 243, 277, 287, 290, 296, 297, 298, 318, 354, 356, 361, 366, 378, 384, 392, 419, 422, 436, 438, 439, 453, 462, 472, 487, 495, 505, 507, 511, 512, 536, 539, 545, 547, 550, 551, 555, 574, 607, 684, 696
 Гучков Николай Иванович – 510
 Гюббенет Виктор Борисович – 523, 680
 Давыдова Наталья Михайловна (рожд. Гудим-Левкович) – 136
 Давыдова Татьяна Львовна – 56
 Давыдов Василий Львович – 56
 Давыдов Денис Васильевич – 12, 14, 18
 Давыдов Дмитрий Львович – 136
 Давыдов Лев Алексеевич – 136
 Давыдов Лев Васильевич – 56
 Дагинсеев – 457
 Даманевский Владимир Николаевич – 603
 Данзас Ю.Н. – 685
 Данилов (рыжий) Николай Александрович – 296, 382, 494, 508, 514, 515, 522, 543, 550, 572, 589, 657, 675, 678, 679, 692, 704, 718, 720, 721, 722, 725, 726, 728, 733
 Даниловская Мария Платоновна (рожд. Охотникова) – 308
 Даниловский Анатолий Алексеевич – 308
 Даниловский Глеб Анатольевич – 308
 Данилов (черный) Юрий (Георгий) Никифорович – 381, 471, 472, 488, 496, 516, 703
 Данильченко Петр Антонович – 52
 Дашков Дмитрий Яковлевич – 438, 512, 513, 534, 535, 536, 544, 551
 Дебюсси Клод – 45
 Дейтрих Владимир Фёдорович – 264
 Деллингсгаузен Александр Юльевич – 291
 Дельсаль Петр Александрович – 568
 Десянов Иван Давыдович – 87
 Демидов Игорь Платонович – 464
 Демидов П.А. – 631
 Демкин Иван Иванович – 323
 Демченко Всеволод Яковлевич – 464
 Демчинский Борис Николаевич – 208
 Демчинский Николай Александрович – 208
 Демьянович Антон Каэтанович – 368
 Деникин Антон Иванович – 511, 680
 Дervиз Павел Григорьевич – 30, 31, 70
 Дervиз Сергей Павлович – 70
 Дернов Дмитрий Михайлович – 488, 680
 Дерфельдт Антон Антонович – 230
 Дерюгин Анатолий Михайлович – 639, 644
 Десино Константин Николаевич – 657
 Д'Естурнель де Констан – 475
 Джунковский Владимир Федорович – 152, 459, 465
 Дзюбинский Владимир Иванович – 371
 Диков Иван Михайлович – 387
 Дирин Павел Георгиевич – 292
 Дирин Павел Николаевич – 208
 Дирин Сократ Николаевич – 166, 309
 Дитерихс Михаил Константинович – 663
 Дитерихс Федор Карлович – 110
 Дмитриев-Мамонов Василий Александрович – 96
 Дмитрий Павлович, в. кн. – 525, 744
 Дмитриуков Иван Иванович – 467
 Дмовский Роман Валентьевич – 371, 376
 Добровольский Анатолий Александрович – 426
 Добровольский Николай Александрович – 426
 Доброклонский Василий Павлович – 335
 Добротин Сергей Федорович – 658
 Добрынский Иван Александрович – 712
 Добряков Александр Васильевич – 91

- Довбор-Мусницкий Иосиф Романович – 698
 Довбор-Мусницкий Константин Романович – 292
 Долгоруков Александр Николаевич – 526
 Долгоруков Владимир Андреевич – 68
 Долгоруков Николай Александрович – 179
 Дом-Штрубо Василий Семенович – 695
 Донаурова Ольга Михайловна – 130
 Дондукова-Корсакова Мария Михайловна – 109
 Донченко – 710
 Дорошенко Дмитрий Иванович – 636
 Достоевская Анна Григорьевна – 108
 Достоевская Любовь Федоровна – 108
 Достоевский Федор Михайлович – 108
 Дохтуров Дмитрий Сергеевич – 18
 Драгомиров Абрам Михайлович – 726, 727
 Драгомиров Владимир Михайлович – 663
 Драчевский Даниил Васильевич – 267
 Дрейфус Альфред – 429
 Дружинин Яков Александрович – 73
 Дубровин Александр Иванович – 314, 361, 745
 Дунин-Слепец Иосиф Константинович – 88
 Дурново Иван Николаевич – 219
 Дурново Петр Николаевич – 120, 219, 314, 389, 391, 392, 408
 Дурново Петр Павлович – 323
 Душкина А.Б. – 430
 Дымша Любомир Клеофасович – 465, 524
 Дымша Михаил Петрович – 718
 Дюбрейль-Эшаппар Федор Владимирович – 718
 Дягилев Сергей Павлович – 129
 Евдокимов Александр Яковлевич – 412, 529
 Евлогий (Георгиевский Василий Семенович), епископ Холмский – 368
 Евреинов Василий Дмитриевич – 630
 Евреинов Сергей Владимирович – 125
 Евсеев Поликарп Евстифеевич – 345
 Едличко – 332, 707
 Екатерина II – 12, 14, 163, 232, 270, 531
 Екатерина Владимировна Романова (рожд. Меллер-Закомельская) – 109
 Екатерина Павловна, в. кн. – 15
 Елизавета Алексеевна, императрица – 228
 Елизавета Федоровна, в. кн. – 151, 153, 288, 298, 393
 Елисеев Григорий Григорьевич – 323
 Ельцов В.П. – 189
 Ельчанинов Андрей Георгиевич – 675
 Еремеева – 438
 Ермолов Алексей Петрович – 12, 15, 16
 Ермолов Алексей Сергеевич – 59, 236
 Ермолова Мария Николаевна – 202
 Ефремов Иван Николаевич – 369, 475
 Жевахов Николай Давидович – 742
 Желиховский Люциан Густавович – 654, 698
 Желтухин Владимир Петрович – 24
 Жеребцова Ольга Александровна (рожд. Зубова) – 232, 233
 Жилинский Леонид Паулинович – 588
 Жилинский Яков Григорьевич – 380, 472, 473, 487, 494, 516, 535
 Жихарев Сергей Степанович – 144
 Жуковский Владимир Иванович – 131
 Забелин Александр Федорович – 382
 Завадский Владислав Ромулович – 143
 Завадский Сергей Владиславович – 185
 Завалишин – 484
 Зайончковский Андрей Медардович – 293, 384, 489, 627, 633, 635, 652, 653, 665
 Закревский Арсений Андреевич – 17
 Закревский Игнатий Платонович – 478
 Замбержицкий, доктор – 43
 Замысловский Георгий Георгиевич – 349, 353, 361, 366, 463, 468
 Занкевич Михаил Ипполитович – 471, 575, 663
 Зарубаев Николай Платонович – 293, 604
 Засулич Вера Ивановна – 131
 Звегинцев Александр Иванович – 272, 358, 386, 463, 467, 693
 Зейн Франц-Альберт Александрович – 265
 Зеленко, адвокат – 224
 Зернов о. Александр – 198
 Зефилов – 738
 Зиборов Вячеслав Иванович – 712

- Зиновьев – 299
 Зиновьев Александр Дмитриевич – 164, 551, 691, 716, 732
 Зиновьев Николай Александрович – 344
 Зичи Михаил Александрович – 200
 Зорина Вера Васильевна – 59
 Зорин Алексей Дмитриевич – 644
 Зорин Николай Дмитриевич – 644
 Зотов – 338
 Зубарев – 372
 Зубов Валериан Александрович – 12, 13, 232
 Зубов Платон Александрович – 12, 13, 229, 233
 Зубчанинов Сергей Иванович – 689
 Зуев Александр Ювенальевич – 436
 Зуев Нил Петрович – 394
 Иваницкий Борис Евгеньевич – 436, 439, 511, 513, 585, 621, 630, 665, 716
 Иванов – 187
 Иванов А.Т. – 194
 Иванов Дмитрий Дмитриевич – 139, 145
 Ивков Федор Помпеевич – 146
 Игнатовский Александр Иосифович – 673
 Игнатъев Алексей Алексеевич – 105, 114, 119, 226
 Игнатъева Наталья Николаевна – 154
 Игнатъев Николай Павлович – 343
 Игнатъев Павел Николаевич – 154, 400, 402, 469, 740
 Извольский Александр Петрович – 76, 397, 417
 Извольский Петр Григорьевич – 25, 59
 Извольский Петр Петрович – 398
 Измайлов С.Д. – 326
 Илиодор (Труфанов Сергей Михайлович), иеромонах – 399
 Ильин Алексей Александрович – 745
 Ильин Алексей Алексеевич – 435, 506, 509, 668, 726, 728, 731
 Ильин Егор Егорович – 182
 Ильин Сергей Николаевич – 646, 647, 650, 656
 Ильяшевич Валериан-Станислав – 26
 Иоасаф (Жевахов Владимир Давидович), епископ – 742
 Иолшина Елизавета Карловна (рожд. Мекк) – 61
 Иолшин Александр Александрович – 61
 Иолшина М.М. – 593, 674
 Иордан Н.П. – 42
 Ирманов Владимир Александрович – 704
 Исаков – 328
 Исаченко Н.Н. – 665
 Иславин Владимир Александрович – 716
 Иславин Владимир Михайлович – 677
 Иславин Михаил Владимирович – 185
 Кабат А.И. – 324, 331
 Кавелин – 681
 Казицын Александр Дмитриевич – 373
 Казицын Дмитрий Александрович – 372
 Казицын Дмитрий Алексеевич – 372
 Кайгородов Дмитрий Никифорович – 266
 Кайгородов Михаил Никифорович – 268
 Кайзерлинг – 697
 Кайсаров Паисий Сергеевич – 232
 Каледин Алексей Максимович – 633
 Калишевский Анатолий Иосифович – 470, 542
 Каменский Михаил Федотович – 14
 Каменский Петр Валериевич – 462
 Канкрин Егор Францевич – 24
 Каннинен – 283
 Кантакузен – 103
 Капнист Дмитрий Павлович – 326, 379, 433, 462, 479
 Капнист Ипполит Ипполитович – 432, 469, 631, 668
 Капустин Михаил Николаевич – 115
 Капустин Михаил Яковлевич – 362
 Карагеоргиевич Арсений Александрович – 278, 299
 Караулов Василий Андреевич – 371
 Караулов Михаил Александрович – 464, 477
 Карлов Александр Осипович – 91
 Кармин Николай Валерианович – 95
 Карпова Е.Г. – 220
 Карпов Виктор Иванович – 135
 Карпов В.Н. – 697
 Карпов Сергей Георгиевич – 423
 Картаци – 290
 Карташов Михаил Львович – 690

- Карцов Владислав Владиславович – 182, 190, 256
 Карцов Георгий Павлович – 108
 Касаткин-Ростовский Федор Николаевич – 559
 Кассини, графиня – 81
 Кассо Лев Аристидович – 401
 Катенин Александр Андреевич – 244
 Катков Андрей Андреевич – 517, 518, 519
 Катков Андрей Михайлович – 535
 Катков Михаил Андреевич – 517, 518, 527
 Катков Михаил Никифорович – 32, 64, 66, 75
 Каульбарс Александр Васильевич – 291, 301, 302, 541
 Каульбарс Василий Романович – 23
 Каульбарс Владимир Александрович – 104
 Каульбарс Николай Васильевич – 23
 Кауфман-Туркестанский Петр Михайлович – 76, 275, 286, 288, 320, 401, 700, 740, 745
 Качалов Николай Николаевич – 204
 Квицинский Михаил Федорович – 693, 699
 Кейзер Павел Федорович – 137
 Келеповский Аркадий Ипполитович – 448
 Келлер Александр Федорович – 452
 Келлер Артур Артурович – 269, 280
 Келлер Ирина Владимировна (рожд. Скраятина) – 285, 452
 Келлер Федор Артурович – 542, 641
 Келлер Федор Эдуардович – 110
 Кемпе Петр Альбертович – 431
 Керенский Александр Федорович – 465, 680
 Керниг – 334
 Киндяков А.А. – 706
 Кирилл Владимирович, в. кн. – 278
 Кирьяков Владимир Михайлович – 130
 Киселев Павел Дмитриевич – 17
 Киселевский Николай Михайлович – 191, 686
 Кисляков Владимир Николаевич – 695
 Ключев Николай Алексеевич – 539, 540
 Ключев Иван Семенович – 426
 Ключарев Д.С. – 678
 Кнорринг – 15
 Князев Николай Ильич – 698
 Кобеко Дмитрий Дмитриевич – 93
 Ковалевский В.Б. – 549, 576, 577, 578, 586, 595, 596, 722
 Ковалевский В.В. – 252, 675, 696
 Ковалевский Евграф Петрович – 312, 722
 Кожин Александр Евгеньевич – 681
 Козлова Варвара Александровна (рожд. Охотникова) – 108
 Козлов Александр Александрович – 68, 138
 Козловский Владимир Владиславович – 583
 Козлянинов – 518
 Коковцова Анна Федоровна (рожд. Оом) – 396
 Коковцов Владимир Николаевич – 191, 317, 359, 396, 407, 433, 455, 469, 505
 Кокорев Василий Александрович – 442
 Кокорев С.В. – 710
 Колчак Александр Васильевич – 386, 464
 Колубакин Александр Михайлович – 204, 212, 223, 307, 309, 321, 342, 411
 Комаров Петр Дмитриевич – 524
 Кондратенко Роман Исидорович – 292
 Кондратович Киприан Антонович – 488, 540
 Коновалов Александр Иванович – 618, 735
 Коновницын А.А. – 632, 648
 Коновницын Алексей Иванович – 644
 Константин Константинович, в. кн. – 278, 382, 487, 585
 Константинов – 282
 Константин Павлович, в. кн. – 228
 Коншин Николай Николаевич – 60
 Корево Николай Николаевич – 392, 409
 Корнилов Лавр Георгиевич – 533, 680
 Короткевич Николай Николаевич – 723
 Корсаков Иван Ассигкритович – 211
 Корсаков Павел Ассигкритович – 313
 Корф (Карцова) О.К. – 235
 Корчагин – 714
 Косаговский Владимир Андреевич – 210
 Косоротов Василий Емельянович – 411
 Коссаговский Александр Павлович – 259

- Костливцов М.А. – 206
 Коцебу-Пиллар-фон-Пильхау – 77
 Кочергин Михаил Васильевич – 714
 Кочубей Виктор Сергеевич – 225, 242, 289
 Кочубей Лев Сергеевич – 225
 Кочубей Леонтий Васильевич – 688, 697, 707, 715, 728
 Красовский Михаил Васильевич – 313, 324
 Крейс Сампсон Николаевич – 693
 Кречетников Михаил Никитич – 12
 Кривенко Василий Силович – 510
 Кривошеина Елена Геннадиевна (рожд. Карпова) – 220
 Кривошеин Александр Васильевич – 219, 400, 700, 726, 734, 744
 Кривошеин Аполлон Константинович – 120
 Кринский Болеслав Иванович – 659
 Кристи Владимир Григорьевич – 390
 Кронгельм, граф – 665
 Крузенштерн Константин Акселевич – 683, 690, 696
 Крупенский Александр Николаевич – 615
 Крупенский Николай Дмитриевич – 464
 Крупенский Павел Николаевич – 243, 349, 363, 366, 368, 422, 464, 470, 651
 Кршивицкий Александр Фадеевич – 184
 Крыжановский Сергей Ефимович – 165, 316, 393
 Крыленко Николай Васильевич – 424
 Крылов Алексей Николаевич – 387
 Крымов Александр Михайлович – 533, 541, 604, 633
 Крюковский – 446
 Ксения Александровна, в. кн. – 617, 653, 660
 Ксюнин Алексей Иванович – 360
 Кузьмин-Караваев Владимир Дмитриевич – 324
 Кузьмин-Караваев Дмитрий Дмитриевич – 505
 Кузьмин-Караваев, патер – 424
 Кузьминский Александр Михайлович – 564
 Кукель Владимир Андреевич – 286
 Кукель Мария Геннадиевна (рожд. Невельская) – 238
 Кукель Сергей Андреевич – 385
 Куломзин Анатолий Николаевич – 460
 Кульнев Яков Петрович – 19
 Кулябко Николай Николаевич – 431
 Куракин Иван Анатольевич – 512, 536, 683, 695
 Куракин, князь – 14
 Курганович – 190
 Курзанов Владимир Родионович – 254
 Курлов Павел Григорьевич – 393, 432, 543, 736, 742
 Куропаткин Алексей Николаевич – 272, 290, 292, 302, 331, 494, 533, 572, 639, 703
 Курчанинов Александр Сергеевич – 420
 Кутайсов Константин Павлович – 744
 Кутлер Николай Николаевич – 426, 427
 Кутлер Петр Николаевич – 315
 Кутузов Михаил Илларионович – 16, 17, 18, 531
 Кучинский Алексей Иванович – 168, 194
 Кушелев-Безбородко Николай Александрович – 165
 Кшесинская Матильда Феликсовна – 102, 277, 711
 Кюгельхен Карл – 330
 Кюгельхен Пауль – 330
 Лаврентьев Антон Дмитриевич – 657
 Лавров Дмитрий Мелитонович – 673
 Лагранж, патер – 231
 Лазарев Иван Давидович – 531
 Лазарев Михаил Иванович – 284
 Лазоверт С.С. – 367, 611
 Ламберт Карл Осипович, генерал – 23
 Ламздорф Владимир Николаевич – 486
 Ландсберг – 411
 Лапицкий Иосиф Михайлович – 95
 Ласковский Василий Павлович – 217
 Ласси, генерал – 13
 Лаудон – 626
 Лебедев Павел Павлович – 489, 683, 692, 726
 Лебук – 476
 Левашов Сергей Васильевич – 463
 Левиз-оф-Менар Лидия Карловна (рожд. Мекк) – 52, 61
 Левиз-оф-Менар Макс – 143
 Левиз-оф-Менар Федор Федорович – 61
 Лейхтенбергский Евгений Максимилианович – 58

- Лейхтенбергский Максимилиан – 157
 Лейхтенбергский Николай Максимилианович – 237
 Лелявский Борис Николаевич – 463
 Леман А.А. – 295, 439, 507, 696, 730
 Ленский – 614
 Лермонтов В.М. – 25
 Лерхе Герман Германович – 363, 462, 512, 631, 639
 Лечицкий Платон Алексеевич – 525, 533, 551, 605, 613, 622, 633, 640, 663, 665, 668
 Леш Леонид Вильгельмович – 689, 708
 Ливен Александр Александрович – 388
 Ливен Андрей Александрович – 83
 Лигин – 621
 Линдер Китти – 264
 Линеви́ч Николай Петрович – 290, 295, 303
 Литвинов-Фалинский Владимир Петрович – 405
 Лихачев Александр Никифорович – 243
 Лобанова-Ростовская Александра Николаевна (Фафка) – 152, 153
 Лобанов-Ростовский Михаил Борисович – 250
 Лодыженский А.А. – 54
 Лопатин – 146
 Лопатина – 438
 Лопухин Алексей Александрович – 141, 394
 Лопухин Виктор Александрович – 395
 Лопухин Дмитрий Александрович – 525
 Лорис-Меликов Михаил Тариэлович – 531
 Лохвицкий – 187
 Лошкарев – 148
 Лукьянов Сергей Михайлович – 417
 Лучинский – 335
 Львов Алексей Федорович – 232
 Львов Владимир Николаевич – 153, 366, 464
 Львов Георгий Евгеньевич – 438, 642, 679, 680, 722
 Львов Николай Николаевич – 318, 366, 369
 Львовский Александр Сильвестрович – 270
 Любимова Людмила Ивановна (рожд. Туган-Барановская) – 712, 713
 Любимов Д.Н. – 712
 Людвиг II Баварский – 69
 Люце – 355
 Люц Людвиг Готлибович – 297, 363, 467, 622, 647, 660, 665
 Лясковский – 702
 Маевский – 359
 Мазарович Николай Иванович – 349
 Макаров Александр Александрович – 145, 393, 453
 Макаров Александр Константинович – 103
 Макензен Август фон – 647
 Маклаков Василий Алексеевич – 353, 359, 370, 376, 423, 432, 449
 Маклаков Николай Алексеевич – 465, 467, 469, 522
 Маковская Юлия Павловна (рожд. Леткова) – 65, 108
 Маковский Константин Егорович – 65, 108
 Максимович Константин Клавдиевич – 50
 Максимов, полковник – 131
 Малиновский Леонид Николаевич – 436
 Малиновский Роман Вацлавович – 465
 Малышев Н.Н. – 738
 Мамонтов – 406
 Мамонтов Савва Иванович – 144
 Манасевич-Мануйлов Иван Федорович – 734
 Маниковский Алексей Алексеевич – 357
 Маннергейм Карл Густав – 264, 571
 Мансырев Серафим Петрович – 464
 Мантейфель – 697
 Мария Николаевна, в. кн. – 157
 Мария Павловна, в. кн. – 279, 680
 Мария Павловна (младшая), в. кн. – 151
 Мария Федоровна, в. кн. – 334
 Мария Федоровна, императрица – 229, 251, 259, 277, 506, 669, 701
 Мария Федоровна, императрица (Павел I) – 13, 17
 Маркевич Болеслав Михайлович – 62
 Марков (1-й) Николай Гурьевич – 364
 Марков (2-й) Николай Евгеньевич – 359, 366, 408, 455, 463, 742, 745
 Марков Николай Николаевич – 140
 Маркозов В.В. – 529
 Мартенс Федор Федорович – 118
 Мартос Николай Николаевич – 540

- Мартынов Евгений Иванович – 480
 Масленникова В.Г. – 614
 Масловский Константин Федорович – 185
 Матюнин Павел Гаврилович – 377
 Махотин В.Е. – 44
 Мацевич Станислав Гиляревич – 465
 Медем Александра Дмитриевна – 184
 Медем Н.Н. – 167
 Медем Оттон Людвигович – 183, 192, 223, 260
 Мезенцев Сергей Петрович – 678, 722
 Мезенцов Сергей Николаевич – 366
 Мейендорф Александр Феликсович – 352, 365, 371, 423, 462
 Мейендорф Феофил Егорович – 435, 715
 Мейер Елизавета – 11
 Мекк Александр Карлович, дядя – 55, 56, 67
 Мекк Анна Львовна (рожд. Давыдова), тетя – 57
 Мекк Варвара Геннадиевна (рожд. Карпова) – 102
 Мекк Вильгельмина (рожд. Гафферберг) – 29
 Мекк Владимир (Воличка) Владимирович – 60, 102, 111, 220
 Мекк Владимир Карлович, дядя – 34, 57, 58, 70, 102, 111
 Мекк Елизавета Михайловна (рожд. Попова) – 59, 113
 Мекк Карл Федорович, дед автора – 28, 29, 30, 31, 32, 46, 49, 50, 440
 Мекк Людмила (Милочка) Карловна – 61
 Мекк Максимилиан Карлович, дядя – 55, 100, 103, 107, 122, 129
 Мекк Михаил (Миша) Карлович, дядя – 49
 Мекк Надежда Филаретовна (рожд. Фраловская) – 28, 29, 34, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 60, 67, 69, 102, 111, 113, 440
 Мекк Николай Карлович, дядя – 34, 53, 56, 57, 70, 101, 113, 136, 288
 Мекк Ольга Михайловна (рожд. Кириакова) – 130
 Мекленбург-Стрелицкий Георгий Георгиевич – 280
 Мекленбург-Стрелицкий Михаил Георгиевич – 280, 604
 Мельников Иван Семенович – 181
 Мельников Михаил Иванович – 327
 Мельников Николай Александрович – 360
 Меньшиков Александр Сергеевич – 22
 Меранвиль-де-Сен-Клер – 225
 Меренберг Наталья Александровна (рожд. Пушкина) – 114
 Меренберг София Николаевна (графиня де Торби) – 114
 Меркулов – 170
 Мехелин Леопольд – 263
 Мехмандаров Самед-бек – 704
 Мечников Илья Ильич – 216
 Мещерская Мария Александровна (рожд. Панина) – 154
 Мещерский Николай Петрович – 154
 Миловидова Нунехия (или Анефья) Васильевна – 37
 Миловидова Татьяна Ефимовна – 37
 Миловидов Ефим Иванович – 37
 Милорадович Л. – 106
 Милюков Павел Николаевич – 314, 350, 369, 370, 408, 409, 415, 417, 423, 425, 473, 476, 479, 482, 668, 740
 Милютин Владимир Васильевич – 212, 450
 Милютин Дмитрий Алексеевич – 263
 Милютин Иван Андреевич – 212
 Милютин Николай Алексеевич – 234
 Милютин Юрий Николаевич – 385
 Минцлов Сергей Рудольфович – 457
 Миркович – 674
 Миротворцев Сергей Романович – 537, 672
 Митрофан (Краснопольский Дмитрий Иванович), епископ – 699
 Михаил Александрович, в. кн. – 151, 633
 Михаил Михайлович, в. кн. – 114
 Михаил Николаевич, в. кн. – 278
 Михайлов – 358
 Михайловский-Данилевский Александр Иванович – 17
 Михаил Павлович, в. кн. – 280
 Миштовт Н.В. – 544, 570
 Молво – 696
 Моллов Русчу Георгиевич – 394
 Мольтке Хельмут Иоганн Людвиг – 227, 380
 Мольтке Хельмут Карл Бернхард – 380
 Монкевиц Николай Августович – 471, 633, 658

- Мориц Александр Арнольдович – 569
 Мосолов – 177
 Мосолов Александр Николаевич – 199
 Мосолов Николай Хрисанфович – 178
 Мравина Евгения Константиновна – 102
 Мравинский Александр Константинович – 102
 Мравинский Константин Иосифович – 102
 Мрозовский Иосиф Иванович – 583
 Муравьев Николай Валерианович – 187
 Муромцев Сергей Андреевич – 318, 466
 Мусин-Пушкин Владимир Владимирович – 464
 Мухин Александр Флегонтович – 441
 Мышлаевский Александр Захарьевич – 380, 487, 690
 Мясоедов Николай Александрович – 266
 Мясоедов Николай Николаевич – 309
 Мясоедов Сергей Николаевич – 418, 419, 455, 491, 520
 Мятлева Варвара Ильинична – 102
 Мятлев Владимир Иванович – 200, 333
 Мятлев Иван Петрович – 151
 Мятлев Николай Владимирович – 102, 708
 Набоков Сергей Дмитриевич – 697
 Навашин Дмитрий Сергеевич – 731
 Надаров Иван Павлович – 291
 Назаров В.А. – 58
 Назимов – 603
 Накашидзе Константин Тимофеевич – 527
 Наполеон Бонапарт – 15
 Направник Константин Эдуардович – 105
 Направник Эдуард Францевич – 105
 Нарышкина Елизавета Алексеевна (рожд. Куракина) – 100
 Нарышкин Кирилл Анатольевич – 100
 Нахичеванский Гусейн Хан – 524, 527
 Невельская Екатерина Ивановна (рожд. Ельчанинова) – 238
 Невельская Екатерина Ивановна (рожд. Охотникова) – 238
 Невельский Геннадий Иванович – 238, 273
 Невельской Николай Геннадиевич – 238
 Недригайлов – 625
 Нежинский В.А. – 632
 Незеленов Александр Ильич – 91
 Нейдгардт Дмитрий Борисович – 390
 Некрасов Николай Виссарионович – 409
 Неманов Лев Моисеевич – 360
 Немировский – 445
 Немов Евграф Евдокимович – 680
 Немцов А.Я. – 38
 Непенин Адриан Иванович – 386
 Нессельроде Лидия Арсеньевна (рожд. Закревская) – 17
 Нечаев Александр Афанасьевич – 331, 332, 334, 707
 Нечаев Н.Н. – 209
 Нидермиллер Николай Егорович – 331, 340
 Никитин – 730
 Никитин Павел Андреевич – 703
 Николаев – 295
 Николай I – 17, 24, 84, 156, 161, 163, 278
 Николай II – 75, 102, 121, 135, 137, 227, 251, 271, 274, 275, 276, 282, 288, 305, 315, 317, 351, 381, 391, 431, 432, 459, 460, 469, 470, 475, 489, 502, 515, 533, 700, 740, 745
 Николай Константинович, в. кн. – 187
 Николай Михайлович, в. кн. – 17, 106, 278
 Николай Николаевич, в. кн. – 134, 240, 277, 472, 487, 489, 514, 515, 534, 682, 700
 Николай Николаевич (старший), в. кн. – 278
 Никольский Борис Владимирович – 96
 Нильский Александр Александрович – 202
 Нитте – 295
 Нобель Эммануил Людвигович – 442
 Новиков Александр Васильевич – 565
 Новицкий Константин Георгиевич – 640
 Новицкий Петр Васильевич – 426
 Нольде Эммануил Юльевич – 415
 Норд Егор Егорович – 233
 Носович Владимир Павлович – 453
 Ностиц Григорий Иванович – 603
 Оболенская (рожд. Топорнина) – 284
 Оболенский Александр Николаевич – 251
 Оболенский Дмитрий Дмитриевич – 86, 145

- Оболенский Иван Михайлович – 283, 285
 О'Бриен-де-Ласси Казимир Петрович – 529
 Обручев Николай Николаевич – 486
 Овен – 702
 Огнев – 358
 Озеров – 251
 Ознобишин Владимир Нилович – 447
 Окулов – 580
 Окунев Николай Александрович – 211
 Олферьев Александр Александрович – 136
 Ольга Александровна, в. кн. – 94
 Ольга Константиновна, в. кн., королева Греции – 200
 Ольденбургская Евгения Максимилиановна, принцесса – 92
 Ольденбургский Александр Петрович, принц – 80, 92, 135, 588, 589, 591, 673, 714, 718, 722, 732
 Ольденбургский Петр Александрович – 89
 Ольденбургский Петр Александрович, принц – 94
 Ольденбургский Петр Георгиевич, принц – 24
 Ольдерогге Василий Васильевич – 135
 Ольхина – 106
 Ольховский Петр Дмитриевич – 265, 614
 Опочинин Николай Николаевич – 363
 Оппенгейм – 324
 Орановский Владимир Алоизиевич – 89
 Ордин Борис Кесаревич – 107, 436, 701, 730
 Ордин Кесарь Филиппович – 263
 Орлов Алексей Федорович – 233
 Орлов Владимир Георгиевич – 419
 Орлов-Давыдов Алексей Анатольевич – 464
 Орлов Михаил Федорович – 233
 Остен-Сакен, полковник – 359
 Остен-Сакен, присяжный поверенный – 711
 Офросимов Лев Сергеевич – 542, 585, 587, 592, 610, 621, 627, 630
 Офросимов Яков Никандрович – 690
 Охотникова Александра Геннадиевна (рожд. Невельская) – 238
 Охотникова Вера Николаевна (рожд. Зиновьева) – 344, 345
 Охотникова Дионисия Игнатъевна (рожд. Потапенко) – 236
 Охотников Александр Михайлович – 176, 235
 Охотников Александр Платонович – 296, 298
 Охотников Алексей Яковлевич – 228, 229
 Охотникова Ольга Александровна (рожд. Платонова) – 229
 Охотникова Софья Федоровна (рожд. Плохово) – 236
 Охотников Борис Платонович – 344, 345
 Охотников Григорий Михайлович – 236, 237
 Охотников Михаил Александрович – 229, 234
 Охотников Михаил Михайлович – 47, 236
 Охотников Михаил Михайлович (младший) – 236
 Охотников Платон Михайлович – 230, 237, 238, 256
 Охотников Яков Александрович – 234
 Охочинский – 337, 338
 Ошанин Никифор Федорович – 139, 143, 144
 Павел I – 13, 17, 154, 233
 Павел Александрович, в. кн. – 151, 279, 598, 739
 Павлов В.В. – 709
 Павлов Евгений Васильевич – 574
 Палей Ольга Валериановна (Пистолькорс) – 151, 279
 Пален Константин Иванович – 138
 Пален Константин Константинович – 454
 Пален Петр Алексеевич – 12, 13
 Палицын Федор Федорович – 380, 391, 487
 Панаева-Карцова Александра Валерьяновна – 108
 Панаев Валериан Александрович – 108
 Пантилеев Александр Ильич – 99, 122, 540
 Панчулидзе Сергей Алексеевич – 106, 228
 Панютин – 284
 Панютина (рожд. Оболенская) – 284

- Папков Александр Александрович – 265
 Парский Дмитрий Павлович – 669
 Паскевич Иван Федорович – 250
 Паскевич Ирина Ивановна – 702
 Паскевич Федор Иванович – 250, 703
 Паткуль – 23
 Пахман Семен Викентьевич – 117
 Пахульская Юлия (Юля) Карловна (рожд. Мекк), тетя – 52, 53
 Пахульский Владислав Альбертович – 52, 62
 Пахульский Генрих Альбертович – 52
 Пепеляев Виктор Николаевич – 464
 Пергамент Осип Яковлевич – 371
 Передольский Василий Степанович – 218
 Пестржецкий Дмитрий Иларионович – 312
 Петерсон Николай Леонтьевич – 415
 Петр III – 163
 Петренко Елизавета Федоровна – 672
 Петр Николаевич, в. кн. – 240, 382, 487
 Петрункевич М.И. – 331
 Пешков – 453
 Пиленко Александр Александрович – 360, 361
 Пирх Карл Карлович – 232
 Писемский Алексей Александрович – 249
 Питирим, митрополит – 734
 Плазовский Даниил Антонович – 128
 Платонов Александр Платонович – 229, 230, 232, 256
 Платонова Наталия Александровна – 233
 Платонова Эжени (Eugénie) – 232
 Платонов Валериан Платонович – 232, 234
 Плевако Федор Никифорович – 147, 356, 361, 370
 Плеве Вячеслав Константинович – 260, 283, 416
 Плешков Михаил Михайлович – 712, 723
 Победоносцева Екатерина Александровна (рожд. Энгельгард) – 107
 Победоносцев Константин Петрович – 75, 107, 122, 278, 399
 Погодин Александр Львович – 417
 Погоржельская Елизавета Александровна (рожд. Беннингсен), тетя – 73
 Погоржельская Мария Викторовна – 74
 Погоржельский Виктор Казимирович – 73
 Познанский Дмитрий Васильевич – 132
 Поклевский-Козелл Викентий Альфонсович – 442
 Покровский Николай Николаевич – 396, 407, 741
 Покровский Павел Алексеевич – 465, 740
 Поливанов Алексей Андреевич – 380, 391, 666, 668
 Поливанов Д.А. – 83
 Половцев Александр Александрович – 374, 442
 Половцев Лев Викторович – 312, 326, 345, 448, 450
 Половцев Петр Александрович – 374
 Полуэктов Евгений Григорьевич – 116
 Поляков Владимир Алексеевич – 420
 Поляков Лазарь Соломонович – 32
 Поляков-Литовцев Соломон Львович – 360
 Поляков Самуил Соломонович – 31
 Попов Александр Николаевич – 146
 Попов Дмитрий Николаевич – 42
 Попов Николай Дмитриевич – 42
 Попов Сергей Николаевич – 42
 Поповцов – 462
 Поппен Георгий Васильевич – 282
 Посников Николай Петрович – 134, 136, 139, 143, 144, 145, 147, 151, 155
 Поссе Константин Александрович – 82, 375
 Постовский Петр Иванович – 540
 Потемкина Анастасия Демьяновна – 29
 Потемкин Григорий Александрович – 232
 Потемкин Петр Иванович – 29
 Потехин Павел Антипович – 324
 Поярков Михаил Петрович – 133
 Прасковья Артемьевна, няня – 37, 39
 Пржедецкий Стефан Константинович – 677, 706
 Принцип Гаврила – 484
 Принц (Принтц) Николай Густавович – 25
 Прозоров – 614
 Прозоров Алексей Яковлевич – 442

- Прокофьев Михаил Алексеевич – 204, 215, 321
- Протопопов Александр Дмитриевич – 357, 379, 483, 734, 736, 740, 743
- Пузанов Николай Михайлович – 143
- Пузино Сергей Поликарпович – 205
- Пуришкевич Владимир Митрофанович – 366, 367, 415, 424, 463, 610, 677, 684, 693, 732
- Пурталес Фридрих фон – 512
- Путилов Алексей Иванович – 165
- Пучков Александр Сергеевич – 696, 706
- Пучков Сергей Васильевич – 696
- Пятницкий Константин Петрович – 83
- Пятницкий Петр о. – 83
- Раабен Рудольф Самойлович – 343
- Рагоза Александр Францевич – 565, 612, 620, 629
- Радецкй Федор Федорович – 531
- Радзивилл Станислав Вильгельм – 74, 678
- Радкевич Евгений Александрович – 544
- Радко-Дмитриев Радко Дмитриевич – 439
- Радлов Эрнест Леопольдович – 116
- Раевский Николай Николаевич – 18
- Распутин Григорий Ефимович – 277, 459, 503, 729, 734, 743, 745
- Ратьков-Рожнов Владимир Александрович – 442
- Ратьков-Рожнов Яков Владимирович – 442
- Раух Георгий Оттонович – 524
- Раухфус Карл Андреевич – 80
- Рауш-фон-Траубенберг Николай Николаевич – 545
- Рафалович Артур Германович – 405
- Рахманов – 604
- Редигер Александр Федорович – 379, 380, 384, 385, 391, 410, 475, 487, 491, 533
- Редкин (Редькин) Михаил Николаевич – 697
- Редль Альфред – 471
- Резниченко – 630
- Резцов Николай Александрович – 339
- Рейнбот Анатолий Анатольевич – 268, 543
- Рейнбот Павел Евгеньевич – 187
- Рейтерн Михаил Христофорович – 33
- Ренненкампф Павел Карлович – 291, 298, 299, 520, 521, 528, 538
- Реформатский Николай Николаевич – 337
- Ржевский – 690
- Ржевский Владимир Алексеевич – 464
- Ржевский П.С. – 41
- Ржевский-Раевский Борис Михайлович – 691, 734
- Ризнич Иван Иванович – 385
- Риман Николай Карлович – 621
- Римская-Корсакова Вера Львовна (рожд. Давыдова) – 56
- Римская-Корсакова Наталья Львовна (рожд. Давыдова) – 56
- Римская-Корсакова Софья Карловна (рожд. Мекк) – 53
- Римский-Корсаков Александр Александрович – 54
- Римский-Корсаков Александр Сергеевич – 54
- Римский-Корсаков Алексей Александрович – 53, 54, 223
- Римский-Корсаков Николай Александрович – 53, 54
- Римский-Корсаков Сергей Александрович – 54
- Риттих Александр Александрович – 400, 741
- Рихтер Отгон Борисович – 259
- Роберти де Александр Валентинович – 695
- Родзянко Михаил Владимирович – 204, 207, 359, 459, 462, 465, 466, 467, 468, 665, 731, 735, 736, 738, 740, 742
- Родзянко Павел Владимирович – 467
- Родичев Федор Измайлович – 370
- Родкевич Евгений Александрович – 685
- Рождественский Зиновий Петрович – 284
- Розанов Василий Васильевич – 198
- Розанов Сергей Николаевич – 704
- Розенберг Василий Петрович – 207
- Розен В.В. – 42
- Романова Екатерина Владимировна (рожд. Меллер-Закомельская) – 109
- Романов Владимир Вадимович – 109
- Романов В.Ф. – 630
- Ростовцев Николай Яковлевич – 447
- Рузский Николай Владимирович – 301, 533, 691
- Румянцев Николай Федорович – 212, 345

- Рухлов Сергей Васильевич – 403
 Рыльский – 614
 Рябушинский Николай Павлович – 325
 Рябушинский Павел Михайлович – 60
 Саблер Владимир Карлович – 399, 449
 Сабуров Андрей Александрович – 478
 Савенко Анатолий Иванович – 464
 Савин – 46
 Савина Мария Гавриловна – 193, 202
 Савич Г.Г. – 164
 Савич Иван Яковлевич – 207
 Савич Никанор Васильевич – 355, 362, 378, 425, 463, 467, 474, 497, 738, 740
 Савич Яков Иванович – 207
 Савченко-Маценко Лев Иванович – 681
 Сазонов Сергей Дмитриевич – 470, 473, 504
 Салтыкова Екатерина Ильинична (рожд. Решетникова) – 373
 Салтыков Иван Николаевич – 708
 Самарский-Быховец Владимир Васильевич – 119
 Самойло Александр Александрович – 692
 Самсонов Александр Васильевич – 535, 538, 539
 Сандецкий Александр Генрихович – 583
 Санников Александр Сергеевич – 623, 666
 Саркисов – 692
 Саросек, ксендз – 522
 Сахаров Владимир Викторович – 639
 Свенцицкий Генрих Ипполитович – 193
 Сверчков Николай Егорович – 249
 Свинхувуд Пер Эвинд – 267
 Святополк-Мирский Петр Дмитриевич – 283
 Секерина Наталья Валериановна – 234
 Селиверстов Дмитрий Николаевич – 379
 Селиверстов Николай Дмитриевич – 423
 Селянин А.Н. – 544
 Сеньявин – 405
 Серафим (Чичагов Леонид Михайлович), епископ – 399
 Сергеев-Ценский Сергей Николаевич – 598
 Сергей Александрович, в. кн. – 151, 153, 176, 416
 Сергей Михайлович, в. кн. – 277, 382, 487, 505, 711
 Сергиевский Николай Дмитриевич – 150
 Серебренников Петр Иосифович – 284
 Серeda Виктор Николаевич – 711
 Сесицкий Юлиан Болеславович – 170
 Сивицкий М.Л. – 480
 Сизых – 693
 Симанский Н.А. – 166
 Синадино Пантелеймон Викторович – 434
 Синани Борис Наумович – 215
 Сипягин Дмитрий Сергеевич – 90, 221
 Сирелиус Леонид-Отто Оттович – 723
 Сиротинин В.Н. – 730
 Скадовский Сергей Балтазарович – 289
 Скалон Георгий Антонович – 385, 470, 533
 Скальковский К. А. – 59
 Скальковский П.А. – 58
 Скарятин Ирина Владимировна – 452
 Скарятин Мария Михайловна – 452
 Скарятин Владимир Владимирович – 249
 Скобелев Михаил Дмитриевич – 63, 239, 262, 531
 Скоропадский Павел Петрович – 514
 Слефогт Николай Юльевич – 136
 Слиозберг Генрих Борисович – 429
 Случевский Владимир Константинович – 119
 Случевский Константин Константинович – 124
 Смидович – 141
 Смирнов Владимир Васильевич – 699, 723
 Снежкова Ольга Платоновна (рожд. Охотникова) – 242
 Снежков Григорий Григорьевич – 242, 432
 Соболевский Василий Иеронимыч – 80
 Созонович Иван Петрович – 353
 Соковнин Михаил Александрович – 699
 Соколов – 338
 Соколов А.А. – 71
 Соколовский – 614
 Соколовский Павел Эмильевич – 152
 Солдатенков Козьма Терентьевич – 149

- Соллогуб Александр Владимирович – 131
 Соллогуб Владимир Александрович – 128
 Соловьева (Аллегро) Поликсена Сергеевна – 72
 Соловьева Поликсена Сергеевна (Аллегро) – 72
 Соловьев Сергей Михайлович – 109
 Солодовников Гаврила Гаврилович – 70
 Сомов Андрей Иванович – 67
 Сомов Николай Николаевич – 204, 212
 Сорохтина Ольга Геннадиевна (рожд. Невельская) – 238, 239, 241
 Сорохтин Леонид Владимирович – 238
 Спасович – 231
 Сперанский Михаил Михайлович – 156, 460
 Спиридович Александр Иванович – 431
 Стадольский Александр Андреевич – 143
 Станиславский (Алексеев) Константин Сергеевич – 149, 152
 Старков – 265, 280
 Стасов – 716
 Стасов Владимир Васильевич – 210
 Стасов Дмитрий Васильевич – 210, 321
 Стасюлевич Михаил Матвеевич – 66
 Стахович Алексей Александрович – 152
 Стахович Михаил Александрович – 289, 314, 317, 325, 512
 Степанов Александр Васильевич – 185
 Степняк-Кравчинский Сергей Михайлович – 306
 Стерлигов Илья Иванович – 257
 Стишинский Александр Семенович – 276
 Столыпин Петр Аркадьевич – 136, 318, 376, 389, 390, 391, 392, 393, 396, 409, 425, 432, 433
 Страубе Александр Андреевич – 123
 Страховский Михаил Федорович – 125
 Струве Генрих Антонович – 17
 Струве Петр Бернгардович – 306
 Струков Ананий Петрович – 743
 Суворин Алексей Сергеевич – 65
 Суворин Борис Алексеевич – 361, 419
 Суворов Александр Васильевич – 12, 13, 228
 Суворов Михаил Николаевич – 663
 Судейкин Георгий Порфирьевич – 423
 Сукачев Б.В. – 673
 Сурин – 170, 171, 173
 Сухомлинова Екатерина Викторовна (Бутович, рожд. Ташкевич) – 419
 Сухомлинов Владимир Александрович – 380, 381, 417, 420, 433, 455, 473, 474, 487, 489, 490, 503, 511, 515, 520, 643, 666, 734
 Сушчев Николай Николаевич – 133
 Сытин Иван Дмитриевич – 65
 Таганцева Надежда Степановна – 456
 Таганцева Надежда Николаевна – 456
 Таганцев Николай Степанович – 117
 Таиров – 614
 Таль Рудольф Иванович – 69
 Танеев Александр Сергеевич – 460, 461, 746
 Тарасов Сергей Алексеевич – 322, 706
 Тарасов Т.И. – 697
 Тарле Евгений Викторович – 308
 Тарновский, граф – 562, 563
 Тарраш Зигберт – 103
 Татаринов А.В. – 677, 713
 Татищева Екатерина Ильинична – 201
 Татищев Илья Леонидович – 201
 Татищев Леонид Леонидович – 201
 Татищев Сергей Сергеевич – 399
 Таубе Глеб Владимирович – 402
 Тверской Сергей Дмитриевич – 116
 Тенишев Вячеслав Николаевич – 366
 Тергукасов Арзас Артемьевич – 531
 Терентьева – 337
 Терещенко – 305
 Терещенко Михаил Иванович – 631, 640
 Тетеревенков Владимир Николаевич – 116
 Тетерюковский М.И. – 162, 168
 Тизенгаузен Евгений Евгеньевич – 735
 Тиличев Сергей Васильевич – 199, 590
 Тимашев Сергей Иванович – 406
 Тимирев Константин Николаевич – 345, 362, 448
 Тимирязев Василий Иванович – 405
 Тимофеев – 622
 Тимошкин Федор Федорович – 352
 Тимрот Александр Григорьевич – 536, 550, 555, 732
 Титов Иван Васильевич – 351
 Тихомиров – 146

- Толстая Софья Андреевна – 151
 Толстой Дмитрий Андреевич – 87
 Толстой Иван Иванович – 590
 Толстой Лев Николаевич – 141, 151
 Толстой Петр Александрович – 16
 Топорнин Дмитрий Андреевич – 290
 Тотлебен Александра Эдуардовна – 543
 Трегубов Николай Николаевич – 436
 Трегубов Сергей Николаевич – 420
 Трепов Александр Федорович – 219, 615, 740, 743, 745
 Трепов Владимир Федорович – 221, 392
 Трепов Дмитрий Федорович – 220, 286, 318
 Трепов Федор Федорович – 613
 Трепов Федор Федорович (старший) – 220
 Третьяков Павел Михайлович – 149
 Троицкий – 678
 Трошин – 337
 Трубецкой Григорий Николаевич – 41, 306
 Трубецкой Евгений Николаевич – 306, 325, 390
 Трубецкой Павел Петрович – 347
 Трубецкой Петр Николаевич – 306
 Трубецкой Сергей Николаевич – 305
 Трусевич Максимилиан Иванович – 394, 431
 Туган-Барановский Михаил Иванович – 712
 Турбин Николай Матвеевич – 264
 Тхоржевский Иван Иванович – 297, 400
 Тютрюмов Александр Кириллович – 213, 309, 321
 Тютрюмов Игорь Матвеевич – 213, 321
 Уваров Алексей Алексеевич – 366
 Уваров Федор Алексеевич – 656
 Унковский Сергей Владимирович – 372
 Урусов Александр Иванович – 50, 129
 Урусова Надежда Васильевна (рожд. Воронец) – 129
 Урусов Борис Иванович – 129
 Урусов Дмитрий Дмитриевич – 140, 466
 Урусов Николай Петрович – 689, 732
 Урусов Сергей Дмитриевич – 140
 Урштейн – 717
 Успенский Глеб Иванович – 216
 Устинский, протоиерей – 198
 Ушаков Андрей Андреевич – 354
 Фадеев о. Иосиф – 198
 Фальборк Генрих Адольфович – 313, 334
 Федоров Н.П. – 145
 Федотов Иван Иванович – 650
 Феноменов Николай Николаевич – 247
 Феоктистов Евгений Михайлович – 32
 Фигнер Вера Николаевна – 105
 Фигнер Николай Николаевич – 105, 108
 Филатьев Дмитрий Владимирович – 523, 680
 Филипповский Н.И. – 188
 Филиппов Третий Иванович – 407
 Философов Дмитрий Александрович – 404
 Фраловская Анастасия Дмитриевна (рожд. Потемкина) – 29
 Фраловский Александр (Саша) Александрович – 62
 Фраловский Александр Филаретович – 46, 57, 62
 Фраловский Василий Александрович – 62
 Фраловский Владимир Александрович – 111
 Фраловский Сергей Александрович – 62
 Фраловский Филарет Васильевич – 29
 Франц Иосиф I, император Австрии – 470
 Франц-Фердинанд, эрцгерцог австрийский – 484
 Фредерикс Владимир Борисович – 700, 745
 Фридман – 302, 303
 Фролов – 308
 Фролов Петр Александрович – 715
 Фролов Сергей Петрович – 708
 Фукс Анна Эммануиловна (рожд. Беннигсен), дочь автора – 247
 Фукс Владимир Эдуардович – 265
 Харитонов Петр Алексеевич – 407
 Харузин Алексей Николаевич – 627
 Хвольсон Владимир Данилович – 430
 Хвольсон Даниил Авраамович – 430
 Хвольсон Орест Данилович – 430
 Хвольстон Анна Борисовна (рожд. Душкина) – 430
 Хвостов Александр Алексеевич – 734
 Хвостов Алексей Николаевич – 146, 463, 691, 734

- Хилков Михаил Иванович – 288
 Хилков Михаил Михайлович – 290, 291, 292, 294
 Хлебников Николай Владимирович – 326
 Хольбек Оттон Маркович – 672
 Хольмсен Любовь Николаевна (рожд. Бобрикова) – 281
 Хомяков Николай Алексеевич – 351, 462, 631, 732
 Хорват Дмитрий Леонидович – 481
 Храповицкий Александр Павлович – 204, 207
 Хрулев Степан Александрович – 63
 Хрулев Степан Степанович – 63
 Цеге-фон-Мантейфель Вернер Германович – 294, 300, 302, 513, 537, 671, 733
 Цейль Сергей Владимирович – 704
 Цур-Мюлен Александр Андреевич – 129
 Цур-Мюлен Вера Борисовна (рожд. Урусова) – 129
 Чагина – 705
 Чайковская Александра Ильинична – 56
 Чайковский Анатолий Ильич – 136
 Чайковский Ипполит Ильич – 56
 Чайковский Модест Ильич – 56
 Чайковский Петр Ильич – 26, 28, 34, 49, 50, 52, 102, 108
 Чаманский Анатолий Данилович – 436, 696, 728, 730
 Чаманский Георгий Данилович – 436
 Чаплин Николай Дмитриевич – 355
 Чаплин Николай Николаевич – 116, 135, 150
 Чернолуцкий Владимир Иванович – 313
 Чарыков Николай Валерьевич – 470
 Чебыкин – 730
 Чевкин Константин Владимирович – 33
 Челноков Михаил Васильевич – 679
 Чельшев Михаил Дмитриевич – 365, 397
 Черевин Петр Александрович – 59
 Черкасов – 718
 Черкасов Николай Гаврилович – 694
 Черкасский Алексей Михайлович – 63
 Черкасский Владимир Александрович – 35, 41
 Черкасский Евгений Александрович – 35, 43
 Черкасский Михаил Алексеевич – 652
 Черткова Елена Михайловна (рожд. Оболенская) – 284
 Чертков Федор Дмитриевич – 284
 Чжан-Дзо-Лин – 300
 Чигорин Михаил Иванович – 103
 Чижов Н.К. – 427
 Чириков Д.А. – 257
 Чихачев Николай Матвеевич – 238
 Чичерина Вера Вадимовна (рожд. Романова) – 109
 Чичерина Вера Владимировна – 707
 Чичерин Георгий Васильевич – 433
 Чхеидзе Николай Семенович – 371, 465
 Чхенкели Акакий Иванович – 465
 Шабельская (рожд. Сталь-фон-Гольштейн) – 261
 Шабельский К. И. – 544, 555, 566, 583, 591, 613, 628, 630
 Шабельский Павел Николаевич – 260
 Шагов Николай Романович – 465
 Шайл дю – 650
 Шапошников Борис Михайлович – 517
 Шарапов Сергей Федорович – 255
 Шарецкий – 614
 Шателен В.А. – 617
 Шауман Фредрик Вальдемар – 281
 Шауман Эйген (Евгений) – 281
 Шауфус Николай Константинович – 403
 Шаховской Дмитрий Иванович – 741
 Шаховской Иван Петрович – 449
 Шаховской Петр Иванович – 378
 Шванебах Петр Христианович – 407
 Шварц Александр Николаевич – 401
 Шварц Алексей Владимирович – 554, 630
 Шведов Николай Константинович – 259, 436, 627, 746
 Швихельт – 11
 Шебеко Николай Игнатьевич – 33
 Шевяков П.М. – 196
 Шеин Василий Павлович – 92, 358
 Шемякин – 179
 Шептицкий, архиепископ – 368
 Шервашидзе Прокофий Леванович – 423
 Шереметев Сергей Дмитриевич – 58
 Шидловский Сергей Илиодорович – 364, 393, 395, 416, 422, 462

- Шилов Петр Федорович – 114, 115
 Шингарев Андрей Иванович – 244, 369, 379, 491, 643, 667, 736
 Шипов Дмитрий Николаевич – 318
 Шипов Иван Павлович – 404
 Ширинская Людмила Карловна (рожд. Мекк) – 53, 54, 100
 Ширинский-Шихматов Александр Прохорович – 99
 Ширинский-Шихматов Алексей Александрович – 99, 276
 Ширинский-Шихматов Андрей Александрович – 100, 395
 Ширинский-Шихматов Платон Александрович – 99
 Ширинский-Шихматов Прохор Александрович – 99
 Шифферс Э.С. – 74
 Шишкин Н.И. – 133
 Шлезингер Александр Данилович – 443
 Шлейфер Александр Николаевич – 323
 Шлифен Альфред фон – 380
 Шмидт – 353
 Шокальский – 716
 Шпицберг Евгений Ростиславович – 564
 Шрейбер Николай Николаевич – 133
 Штакельберг Георгий Карлович – 302
 Штегельман Михаил Иванович – 624
 Штейнгель – 15
 Штиглиц – 442
 Штриттер – 209
 Штромберг Генрих Генрихович – 583
 Штюмер Борис Владимирович – 183, 732, 740
 Шубин-Поздеев Николай Дмитриевич – 458
 Шубинский Николай Петрович – 354, 420, 462, 477, 482
 Шуваев Дмитрий Савельевич – 420, 741
 Шувалова Елизавета Владимировна – 621
 Шувалов Петр Павлович – 231
 Шульгин Василий Витальевич – 368
 Шульгин М.Я. – 345
 Щегловитов Иван Григорьевич – 135, 355, 376, 410, 413, 418, 433, 478, 743, 745
 Щегловитов Семен Григорьевич – 355
 Щепкин Николай Николаевич – 426, 427, 679
 Щербатов Николай Борисович – 469
 Щербатский – 345
 Щербачев Дмитрий Григорьевич – 515, 565, 647
 Щукин Николай Леонидович – 403
 Эверт – 625
 Эверт Алексей Ермолаевич – 489, 548, 681, 683, 712, 725, 728, 744
 Эгерт – 312
 Эйлер Александр Александрович – 184, 544, 642
 Энгельгардт Александр Платонович – 128
 Энгельгардт Борис Александрович – 474, 497
 Энгельгардт Вера Вадимовна – 709
 Энгельке Владимир Александрович – 600
 Эрштрем Эдуард Андреевич – 590
 Эссен – 15
 Эссен Николай Оттович – 501
 Эттер – 189
 Юденич Николай Николаевич – 76, 626
 Юнаков Николай Леонтьевич – 612, 620
 Юргенс Георгий Владимирович – 104
 Юрьевская (Долгорукова) Екатерина Михайловна – 33
 Юсупова Зинаида Николаевна – 154
 Юсупов Николай Борисович – 154
 Юсупов Феликс Феликсович (старший) – 153, 154
 Ющенко (Юшин) – 304
 Яблочкин Владимир Александрович – 646
 Яворская Лидия Борисовна (рожд. Гюббенет) – 523
 Языков Александр Петрович – 25, 26
 Якимов – 696
 Якимов Михаил Константинович – 671
 Якубовский – 194
 Якунчикова Варвара Александровна (рожд. Ширинская-Шихматова) – 375
 Якунчиков Борис Михайлович – 375
 Янов Георгий Дмитриевич – 520, 521
 Янушкевич Николай Николаевич – 380, 381, 487, 514, 515, 517, 599
 Яронский Виктор Феликсович – 622
 Ярошенко Николай Александрович – 72

Содержание

От издательства	5
О записках графа Э.П. Беннигсена	6
Пояснение	9
Введение	10
Детство и немного истории	11
В Училище правоведения	72
На службе	136
Финляндия	260
Русско-японская война и работа в Красном Кресте	284
Революция и Государственная дума	310
Подготовка России к войне	485
Первая Великая война.	498
Указатель имен	747

Беннигсен Эммануил Павлович

Записки

(1875 – 1917)

Подписано в печать 28.10.2018

Формат 60х90 1/16

Усл. печ. л. 50

Тираж 1500 экз.

Заказ № 1222

Издательство им. Сабашниковых

119270, Москва, Фрунзенская набережная, 38/1

тел.: 8(499) 242-59-63

e-mail: sabashnikov@sabashnikov.ru

www.sabashnikov.ru

Отпечатано в ППП Типография «Наука»

121099, Москва, Шубинский пер. 6